

18 Kyranobans



Андрей Пучков

KULAKOVIVS

КИЕВСКИЙ ПРОФЕССОР РИМСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ
В СТРУЖКАХ ВРЕМЕНИ

Эпопея

Издательство «Алмаз»

Нью-Йорк — 2019

Пучков Андрей

П909 **Kulakovius:** Киевский профессор римской словесности в стружках времени (Эпопея) / Андрей Пучков. — Нью-Йорк: Алмаз, 2019. — 1136 с.: 480 ил.

ISBN 1-68082-014-1

В эпопее показано, что жизнь обычного профессора российского университета второй половины XIX века — 1910-х, который каждодневно и честно исполнял роль учёного и человека, не менее интересна, поучительна, насыщена смыслом, поверхностно комична и глубоко драматична, — когда он больше придан пестованию духа, нежели попечению о быте.

Лишённые произвольных мыслииспусканий, акты его письменного творчества, в которых литературное мастерство изящно соединено с академическим занудством, закрепляет имя киевского филолога-классика, археолога и византиста Юлиана Андреевича Кулаковского (1855–1919) в истории — не столько «Большой», сколько «маленькой», — свидетельствуя: внутренние впечатления важнее внешних, если ты причастен приятностям умственных абстракций в большей степени, нежели неотвязности зримых форм окружающего.

Построенная по биографическому принципу, документообразная антибиографическая хроника Кулаковского призвана в мозаичном мерцании «фон / персонаж» закрепить гуманистический контур созидательно-творческого человека в каузально-хаотических чертах его времени.

Для культуроведов, науковедов, историков, для киевлян и досужих читателей.

УДК 929+94(47+54) «18/19»

ISBN 1-68082-014-1

© А. А. Пучков, 2019

© «Алмаз», Нью-Йорк, 2019

Собеседнику, слушателю, другу —
жене Светлане Симаковой
с благодарностью

Я почти никогда не скучал, мне всегда не хватало времени для дела моей жизни, для исполнения моего призвания. У меня не было пустого времени. Но многое, слишком многое мне было скучно. Я испытывал скуку от мироощущения и мирозерцания большей части людей, от политики, от идеологии и практики национальной и государственной.

Николай БЕРДЯЕВ
«Самопознание», 1940

— Вы спрашиваете, что я думаю? Думаю, что вы на хорошей дороге. Вы сейчас переделываете по-своему одну старую историю. Вернее, единственный раздел истории, где кое-что зависит иногда от нас. Во всех других мы уже ничего не можем изменить. Сколько бы вы ни бились, дату смерти Юлия Цезаря вам не передвинуть ни на один день. А здесь вы с самим героем можете обойтись как угодно жестоко, можете даже лишить его права на существование.

Ян ПАРАНДОВСКИЙ
«Небо в огне», 1934–1936

У литературы, как в царстве небесном, много обителей, и автор волен пригласить вас посетить любую. Все они имеют право на существование, нужно только приспособиться к обстановке, в которую попадаете.

Уильям Сомерсет МОЭМ
«Чарльз Диккенс и “Дэвид Копперфилд”», 1954

БИОГРАФ НА ЗАВАЛИНКЕ, или Самовременение интересного

*Молодость как таковая интересна
лишь в телятине.*

Борис ЛИВАНОВ

Да, согласен: заглавие слегка барочно.

Сейчас, когда больше десяти страниц нормальный человек не прочтёт, оно должно отпугивать; обязано отпугнуть. Какие-то такие «стружки»?

Нехорошо выдумывать заглавия, подчиняясь воле к стилизации. Но стилизация стилизации рознь.

Михаил Леонович Гапаров в «Записях и выписках» записал (не выписал), что лишь после того, как историзм отделил человека от прошлого, стало возможным это прошлое не спокойно-связно переосмысливать, но эмоционально-прерывисто *перепереживать*, — тогда и появилась романтическая автобиография.

Но это кажущийся парадокс: не всё в культуре рождается от страха, многое — из его преодоления.

Автобиографии рождаются из страха не остаться, если полагаешь, что заслужил; биографии — когда в квартире пахнет слоновой костью и, стало быть, время строить башню.

Тогда от её высоты рождается энигматичность, от удобств устройства — уверенность, от изящества отделки — доверие.

Тогда биограф начинает чувствовать себя человеком.

Реконструируя чужую жизнь при помощи письма, он радостно проживает её взамен собственной. Делает он это с охотой, которая лучшего применения не предполагает.

Читатель, обращаясь к результатам биографических нотаток, невольно берёт пример с биографа, и, читая написанную кем-то совсем чужую биографию, тоже тратит время собственной жизни, правда, не столь роскошно, как биограф.

Его читательское действие, как ни странно, осуществляется в порядке, который тоже не предполагает лучшего применения: читаю и читаю, — говорит себе читающий.

Пишу и пишу — говорит биограф, прокашливая архивную пыль документа, но писать продолжая.

Почему они это делают?

Во-первых, потому что чужая жизнь кажется занимательней, чем собственная — и читательская, и писательская, — хотя это так не всегда.

Во-вторых, за недостатком собственного опыта кажется полезным занять чужой, хотя бы и эфемерно перечтённый.

В-третьих, поскольку биограф всегда занят сочинением биографии человека необычного, выделяющегося среди прочих, «героя» (в терминах Карлейля), его биографическое письмо ориентировано на читателя, в котором больше простых жизненных средств и целей, нежели у биографируемого персонажа, и высечь искру всегда приятно. Тем более если эта искра умопостигаемая.

В-четвёртых, чтение биографии предполагает в читателе известный навык просматривать в прошлое сквозь интерес к нему, который приобретается неведомым способом: то ли потому что современность кажется мельче прошлого, то ли твоя жизнь казённой, — трудно сказать наверняка. Биограф, кстати, опирается на сходные импульсные посылки, и в этом он сродни читателю.

В-пятых, если быть до конца честным, писатель закрепляет своим биографическим письмом прошлое, дабы не сбежало бесследно, читатель проволакивает это прошлое до самого себя и становится если не более счастливым, то более цельным и контекстно заполненным.

Историк-биограф делает вот что: он показывает в персонаже наиболее выразительное, в чём он больше всего был самим собой, предъявляя эти наблюдения читателю в модусе возможности, который его историей выявлялся неопределённо.

Гегель говорил, что необходимость часто облачается в одежду случайности. За маской клоуна — лицо человека.

Попытка биографа сводится скорее к тому, чтобы постигнуть и описать на свой манер *возможное* персонажа-эвентуала, нежели фигуранта действительной истории. Случайность в этом случае рядится в тогу возможности, и биограф бережно, будто римский раб, помогает патрицию обернуть тело суровой тканью. Что такая попытка оказывается подчас интересной,

свидетельствует, что реконструктивная способность биографа, его пульс, совпадает по «правдивости» и с историческими фактами «из жизни персонажа», и с его возможностью как замкнутого, вновь обретающего (типографскую) плоть организма.

Историк занят развремением прошлого в акте самовременения себя.

Вместо исторического времени, им изучаемого и переживаемого в представлении, он порождает внутреннее время, награждая его качествами внешнего времени, поддающегося схватыванию, — как гусак за глотку, — овнешняя его в тексте, выпукливая его актом письма и самим же текстом.

Историк-биограф не раздвигает, а сдвигает грани времён так, что в комнате становится тесно.

Если он и имеет дело с временем, в точном шекспировском образе будто «сорвавшиеся с петель» ритмические черты, которые отделяют прошлое от будущего, то — действует как столляр, спокойно, с карандашиком за ухом, привешивающим время на прежнее место, мурлыча по ходу дела то ли: «люди гибнут за металл», то ли: «виноградную косточку в тёмную землю зарю». Когда время прилажено к историческому косяку, в комнате историка уютно — о каких бы временах («временех мирных») и событиях («о благорастворении воздухов, о имении плодов земных») он ни рассуждал.

Важно не *о чём*, но *как* рассуждать. Ведь, например, удача «Французской революции» Карлейля, по слову Дж. Саймонса, «служила блестящим (и единственно полным) оправданием избранному Карлейлем своеобразному стилю»: читатель видел события как бы при вспышках молнии. Это были молнии за окном и карлейлевского кабинета, и читательского. Была ли сама французская революция молнией — вопрос, оттого что, если верить Шекспиру, «любое завтра выше, чем вчера».

* * *

Осмысление прошедшего неизбежно ведёт к его актуализации, к *онастоящиванию* (Vergegenwärtigung), и исследуемый персонаж становится нашим современником, равно как и описываемые в связи с ним обстоятельства. Мы делаемся соучастниками, безопасно стоящими соглядатаями, но всякий раз рискуем получить в ухо упрёк, что для нас нет истории и все

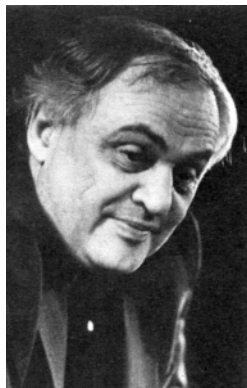
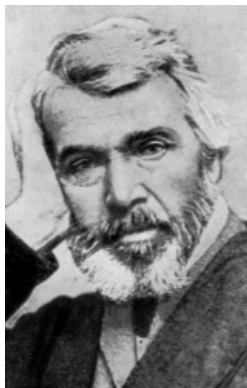
кошки серы, хотя пушисты и ласковы. Здесь как бы вступает в права онтология неклассического опыта историка, который наравне с классическим по-своему изящно осмыслен Мерабом Мамардашвили: «Точную картину физических явлений в мире, — настаивает он, — мы покупаем ценой нашего непонимания сознательных явлений. Я подчёркиваю — ценой нашего *научного* непонимания». Иначе говоря, моделируем полученные нами опытные данные при помощи собственного духовного устройства и всякий раз вынуждены воевать с экраном сознания, на который проецируется исполнившееся событие: косо, не подчиняясь законам композиции, расфокусированно и вообще с фокусами.

Но этот экран, «являющийся трансцендентальным элементом организации познания и его актов и мешающий увидеть присутствие субъекта за спектаклем мира, предстающим как объект», — неизбежное и неодолимое следствие *интуитивного мышления* о вещах, о людях и положениях.

«Мысль здесь не понятие, — говорит Карен Свасьян, — а сущность самой вещи, отражающаяся в понятии и через понятие причащающаяся к осмысленности и понятности».

Глаз видит цвет, ухо слышит тон, мысль промышливает идею. Прошлое, прокипячённое в субъект-объектных казусах каузальных парадоксов, это чистое гравитационное поле смыслов, притягивающих мои переживания, и в этом случае они выбирают меня так же, как я выбираю их.

Выбор обусловлен, по мнению Свасьяна, не столь ожиданием, сколь воспоминанием. «Ожидать можно чего угодно; “выбор”, несущийся из будущего, не считается с субъективистическими причинами синоптических служб нашего опыта. *Его критерий коренится в прошлом.* Поэтому радикально настроенное воспоминание всегда работает “*профорочески вспячь*” <...> Направленное “*вспячь*”, оно “*профорочески*” предвидит перспективы». Только кажется, что сознание историка творит предмет изучения не из себя, а из импликаций самой предметности. Перочинно — пером и чинно — вторгаясь (если не вламываясь) в биографию другого человека, формируя представление о нём, историк исходит из наличных способов его явленности в своём сознании и продуцирует — волевым усилием осмысленного письма — его характеристику, опираясь не на пустоты вымыс-



Сэр Томас Карлейль, Евгений Тарле, Натан Эйдельман

ла, а на самый феномен, предлежащий ему как понятие, стиснутое правилами *эпистемологического* порождения. Свасьян пишет: «Конституирование в этом смысле можно было бы определить как самообнаружение предметности в сознании, разумея под предметностью не эмпирически-индуктивную данность, а эйдетически-смысловую самоданность». Спасибо ему за это — и Канту: эти красавцы с двух сторон доказательно растормошили трансцендентальное единство *исторической* апперцепции.

Творческий импульс историка начинается с стремления воспроизвести «правду жизни», но в итоге содержанием искусства историографического письма становится катастрофа описываемой жизни, её развороченный, расковырянный пером конфликт с собой и средой. Иначе писать не имело смысла.

* * *

Три историка остаются для меня примером профессионального исполнения долга перед Богом — не столько по мотиву исчерпанности привлекаемых к изложению источников (это и без того понятно), сколько по изяществу пользования словом *в связи* с этими источниками. Это *сэр Томас Карлейль* («Французскую революцию» которого Диккенс таскал с собой вместо Библии), *Евгений Тарле* и *Натан Эйдельман*.

Слог не только делает письмо этих историков литературой, не только позволяет говорить о них как о культуроведах: он за руку выводит из пыльного цеха записных летописателей,

точно следующих ненужному порой факту, — на опушку, где расселись за этюдниками живописцы, где скульптор долотом грызёт гранит, машут палочкой дирижёры и суетится с треножником киношник.

Если они и приподымают занавес только за краешек, то делают это артистично, легко (чего стоит им эдакая лёгкость), как и водится в театре.

Мастера художественной прозы, они знают, что язык может стать последним оплотом их свободы, и не манерничают, не выкаблучиваются, не «запускают глазнапа», не «телёпкаются» (Чехов) с фактами, но «с немножечком коньячку» играют пьесу по собственному сценарию, — режиссёры и мастера сцены в обличье одном.

Корней Чуковский, познакомившись с Тарле на даче Короленко, вспоминал:

«Вообще для него не существовало покойников: люди былых поколений, давно уже прошедшие свой жизненный путь, снова начинали кружиться у него перед глазами, интриговали, страдали, влюблялись, делали карьеру, суетились, воевали, шутили, завидовали — не призраки, не абстрактные представители тех или иных социальных пластов, а живые, живокровные люди, такие же, как вы или я.

Я слушал его, зачарованный. И, конечно, не только потому, что меня ошеломила его необычайная память, но и потому, что я никогда не видал такого мастерства исторической живописи».

Вот-вот, очень точно: «мастерство исторической живописи»: сюжет, композиция, цвет, движение, интрига.

Да ведь это повитушество. Согласитесь, историк/биограф своего рода повивальная бабка, *майэвт*, дающий персонажу ещё одну жизнь, которую зачинает, вынашивает, растит и провожает на погост.

Сократ спрашивал Теэтета: «А не слышал ли ты, что я сын повитухи — очень почтенной и строгой повитухи, Фенареты?»

Историк — то же. Всякий раз ловишь себя на том, что под видом биографии в литературу протаскивается автобиография — особенно когда речь заходит о характеристиках, чувстве вины и угрызениях, по которым опознается совесть.

В непопулярной шекспировской «мрачной трагедии» на эллинские мотивы «Троил и Крессида» Улисс внушает Ахиллу:

...Собирает
Все подвиги в суму седое Время,
Чтоб их бросать в прожорливую пасть:
Забвенье всё мгновенно пожирает <...>
Ведь Время как хозяин дальновидный,
Прощаясь, только руку жмёт поспешно,
Встречая ж — в распростёртые объятия
Пришедших заключает. Слово «здравствуй»
Улыбчиво, а тихое «прощай»
Уныло. Забываются легко
Былая доблесть, красота, отвага,
Высокое происхождение, сила,
Любовь и дружба, доброта и нежность.
Всё очернит завистливое Время
И оклеветает...

Пер. Т. Г. Гнедич

Боюсь, Шекспир (или кто там писал за него) переусердствовал, сам клеветает на время, подозревая его в способности забвения. «Критику способности забвения» ещё не сочинили.

Время безразлично, необидчиво и потому снисходительно.

Не время очерняет или обеляет, а люди, которым оно говорит «здравствуй» или «прощай». «Лучше не рождаться. Но не каждому так везёт», — восклицает ребе в «Поминальной молитве» Горина. Действительно, нужно заслужить, чтобы твои кости не перемывались якобы всё о тебе знающим потомком.

Это тихонько понимали Стефан Цвейг, Андре Моруа, Ирвинг Стоун, Ромен Роллан, Карел Шульц и Ян Парандовский. Юрий Тынянов и Ольга Форш. И особенно Джеймс Босуэлл. Или Сартр (о Флобере: «Идиот в семье», 1970). Они — каждый в свою меру, хоть и вели себя аккуратно, — занимались алхимией биографического слова и, время от времени перетряхивая линиялые орнаменты образов, выворачивали их наизнанку. И не зависели от ремёсел письменной моды.

Истории бывают полезны большие расстояния и большие темы, потому что история это борьба с расстояниями и — подчас раздутым или просто дутым величием.

ДОМ НА ПУШКИНСКОЙ

*И букв кудрявых женственная цепь
Хмельна для глаза в оболочке света, —
А город так горазд и так уходит в крепь
И в моложавое, стареющее лето.*

Осип МАНДЕЛЬШТАМ

Каждый пишущий должен написать чужую биографию: коллеги, врага, философа. Рано или поздно, коряво — цветасто.

Обычно пишут о том, кто нравится. Особенно, если тот, кто нравится, уже умер: не возразит, не поправит, примет на небесах с благодарностью, поскольку безразличное, а не уродливое противостоит эстетическому, и оттого что всякая биография это эстетизация ушедшего.

Дом, в котором почти тридцать лет прожил Кулаковский, становясь киевлянином, хиреет под каштанами незаметно. И фасадом особо не вышел, и уличной тишиной, презиравшейся извозчиками, ещё больше лошадьми, не мог похвалиться, другими жильцами не славен.

Соседи как соседи были у Кулаковского. Только вот рукой подать — и книжные полки, доверху забитые, отцветали телячьими корешками; ногой подать — Императорский университет, через сквер с зелёным памятником Николаю Павловичу, царский выход профессора классической филологии. Вот его соседи. А соседи что родственники: порой невыносимые, надоедливые, но всё-таки иногда прощают. И когда сознаёшь, что хуже их лишь ты сам, начинаешь потихоньку меняться. Если успеешь — получится.

Евгения Андреевна Кулаковская, младшая сестра, педагогичка, упрекала брата на излёте жизни его, перед большевизским переворотом: «Тебе всегда в своих всё не нравится. Это такая твоя несчастная особенность, и ты делаешь из своего дома могилу». Его передёргивало, когда старший сын начинал громко разговаривать или шутить. Кулаковскому уже некогда было меняться, не до того: в 1917-м Сергею — 25, Арсению — 24, супруга, Любовь Николаевна, урождённая Рубцова, — три года

как на Виленском кладбище. За плечами, буквально, за спиной, в книжном шкафу, три тома «Истории Византии» и ворох книжек поменьше. Конечно, за плечами не таскать их — пусть, но на письменном столе с истёртым сукном рукопись четвёртого тома, казавшаяся автору ненужной в нетопленной квартире, и томилась, и томила, и задерживала на земле не в пример настырнее, чем заботы о сыновьях: удачнике и неудачнике.

«Разум — суровое солнце; он и освещает, он и ослепляет. В этом резком свете, без облаков и теней, души растут обесцвеченными, — кровь их сердца высосана», — романтически точно писал Ромен Роллан в девятой книге «Жан-Кристофа». Ну, конечно, не так чтоб кровь была высосана до конца: оставшаяся кое-как питает мозг, и иному организму (организму Кулаковского, например) порой того довольно.

С другой стороны, как сказал Роллан в другом месте эпоса: «Убожество человеческих чувств неопишимо. Вне родового инстинкта, этой космической силы, которая является рычагом мира, не существует ничего, кроме лёгкого праха волнений». А если и родовой инстинкт развит слабо? Остаются разум и воля. И властное требование «покоя и воли». И, возможно, — робкая, невыслуженная «просьба о любви».

Разве можно творческому человеку перед смертью *всё* закончить? Каждый раз, подметаясь после венков, натыкаешься на недоконченное. Тогда возникают книжки с странными названиями «Неопубликованное». Почему же неопубликованное, когда вот же, только что — опубликованное. Природа по-прежнему не терпит пустоты.

С соседями по бытию — книгами и университетом — дело иначе: здесь требовались выдержка, внимание и известная деликатность. При его-то мизантропии и тяге к уединённости, от людей — к письменному столу, эти общественные необходимости выматывали, что английское потрошение — кишки.

Это потому, что большой художник, как и большой учёный (а Кулаковский был им), будто Самсон (не Христофор), тащит на плечах ворота (их точно — носить), за которыми его хотят запереть или он сам себя запирает, даже если ключ оттягивает карман сюртучных брюк. Приходится делать вид, что ноша легка.

Это искусство — радоваться жизни, даже если она радостна не каждый день.

Среди характеров Феофраста есть какие угодно, кроме счастливых. Потому что нет счастливых характеров.

Почему-то биографам нравится начинать повествование о персонаже с его дома. Или с описания города, в котором тот родился. Шкловский начал биографию Толстого словами о зелёном диване, что потом был обит чёрной клеёнкой: на нём появились на свет Толстой и его братья. Шкловский добавил, что яснополянский дом стоит как-то косо. Булгаков, пиша о Мольере, и вовсе начал с акушерки и патриотизма — лучшее из известных мне начал чужой биографии. Помните? — «Осторожнее поворачивайте младенца, не забудьте, что он рождён раньше срока. Смерть этого младенца означала бы тяжелейшую утрату для вашей страны».

Поскольку приходится с чего-то начинать, если уж взялся, начинают с чего попало. Могут со смерти и похорон, могут с женитьбы или какого-нибудь высокого назначения (как Саймонс — о Карлейле, едущем получать шапку ректора Эдинбургского университета), могут начинать с грустного, могут с смешного. В любом случае нужно с чего-то начинать, и если к моменту рождения не знали, кто из персонажа получится — иерей или банщик, — на место физической беспредпосылочности метит любая предпосылка, угодная автору: страна, город, улица, дом, диван, стульчак. О родителях позже: модель есть модель. Если родители и причём, то, как правило, лишь физиологически, на них природа *уже* отдохнула; если потом оказались ещё и людьми, — подробней; если большими людьми — в отдельную главу. В конечном счёте, как полагал сэр Уинстон Черчилль, дети приходят в этот мир очень необычным образом («как только Господь до этого додумался?»), и родители в состоянии контролировать их только до рождения.

В общем, жанр есть жанр, и незачем выкаблучиваться, считая, что твой рассказ о Кулаковском в чём-то лучше, чем рассказы других о других. Считай, что он просто твой сосед, правда, не совсем обычный. И помни, как назидал Шкловский: мы не знаем судьбу слов, среди которых живём.

ЗАЧИН, ЗАДЕЛ, ЗАВЯЗКА Поневеж, Вильна, Москва, первая заграница и Моммзен

— Какой ты страшный спун! Что-
бы сейчас было встало!

Корней ЧУКОВСКИЙ

Случилось. Кулаковский родился в первый год царствования императора Александра II, второй год Крымской войны, — когда отгремели Балаклавский бой и Инкерманское сражение, но Севастополь ещё не пал. Родился в войну. Английские корабли с моря обстреливали Таганрог — снарядами был разрушен купол собора, пострадали порт и множество построек.

Он родился в среду, 13 июня¹ (25 июня — по новому стилю) 1855 года, в уездном городе Поневеж Ковенской губернии (ныне литовский Паневежис или Панявежис — «над рекой Невежис»), в семье православного священника. Городок был небольшой, зелёный, в 1857-м насчитывал чуть менее 6 тысяч душ, среди них девять — семья Кулаковского: отец, мать, семеро детей: четыре девочки, затем три мальчика. Или наоборот.

Тяжёлый дух времени, будто сон разума, — рождает чудовищ. То ли это призрак коммунизма с оскалом всеобщего равенства, то ли фантом национальной исключительности, то ли фанатический синдром толпы: самый страшный, поскольку на булыге вяжет идеальное с физическим, и почему-то всегда недоволен результатом. Даже если засыпаешь сладко, всякий раз страшно после пробуждения. За секунду до пробуждения.

¹ Далее все даты до 31.01.1918 приводятся по старому стилю (юлианскому). Как известно, в соответствии с Декретом Совнаркома РСФСР от 25.01.1918 датой, следующей за 31-м января, было не 1-е, а 14-е февраля. Николай II в тобольском узилище оставил в дневнике от 1/14.02.1918 запись: «Узнали, что на почте получено распоряжение изменить стиль и подравняться под иностранный, считая с 1 февраля, то есть сегодня уже выходит 14 февраля. Недоразумениям и путанице не будет конца». Отчего же? Рано или поздно нужно было синхронизироваться с Европой.

Конечно, Кулаковский не слышал хроста «костей в колесе» севастопольской страды, Толстой прочтён им позже, и в речи памяти худенького, умершего на станции Астапово графа он как председатель скажет в Историческом обществе Нестора Летописца вынужденное, но изящно умное слово.

Фамилия «Кулаковский» может быть польского, белорусского, западноукраинского происхождения, образована от топонима «Кулаково» или, быть может, от «кулака». Кулаком называли валун, зубец мельничного колеса, причальную сваю; к тому же, кулак есть кулак: врежешь по столу, блюде подскочит, домашние заботятся. Хорошая фамилия.

Отец¹ — кандидат богословия, протоиерей Андрей Иванович Кулаковский (1812–1860) — «малорос» родом с Волини, с 1849-го служил настоятелем приходской поневежской Вознесенской, или Казанской (в честь иконы Божией Матери «Казанская») церкви Литовской епархии.

Времени было у него много, жил при церкви в сравнительно обустроенном доме и, как водится, занимался производством потомства, чтением Священного Писания вслух, по праздникам и выходным дням исправно исповедовал.

В последний год жизни устроился ещё и законоучителем Поневежской гимназии (её закрыли в 1864-м после Польского восстания). Как воспитанник Жировской (Литовской) духовной семинарии и СПб духовной академии (1835–1839), человеком Андрей Иванович был образованным: священники бывали начитаны не только в круге непосредственной профессии. Знал латынь, древнегреческий, древнееврейский, пытаюсь привить

¹ Договоримся: здесь не будет ссылок на архивы, документы, книги и статьи. Я устал играть в большую и очень точную гуманитарную науку. Хочется проверить — проделай за мной поисковый путь: в киевском Историческом архиве и в Институте рукописи «Вернадики» на формулярах использованных дел живёт мой автограф. Вообще, не веришь — не читай. «На шею не дави». Верь: цитата верна. Откуда взята — сам должен знать. Не знаешь — доверься. Где будет выдумка, предупрежу. Где нужно-таки будет сослаться, ссылка последует. Но пестрить ими не стану: есть два издания моей книжки «Юлиан Кулаковский и его время: Из истории антиковедения и византистики в России» (Киев: А.С.С, 1999. 352 с.; С.-Петербург: Алетейя, 2004. 478 с.) — там всё как положено: скучно и неинтересно. Эта книжка-биография — документ — последняя антибиографическая летопись жизни Кулаковского, и если взбрёт цитировать, цитируй смело по этим страницам.



Понежеж весной, фото начала XX века

трём сыновьям (Платону, Юлиану, Осипу) и четырём дочерям уважение к духовному не только в исповедальном смысле: Гомер с Вергилием отдалены от православия всего лишь фактом рождения. Одна из тёток, Евгения Андреевна, в мае 1915-го писала Сергею Юлиановичу Кулаковскому:

«Смерть его была в полном смысле этого слова горестной для его семьи: семеро детей, из которых старшему — Платону было 12 лет, а младшему Осипу — три года <...> С удовольствием он любил провести часок-другой за преферансом в компании своих знакомых. Писем его, к сожалению, у нас никаких не сохранилось, нет и его портрета. Тогда фотография ещё не существовала».

Алексей Николаевич Деревницкий, будущий коллега Кулаковского, одесский ректор и киевский тайный советник, отмечает, что Кулаковский и по отцу, и по матери «происходил из духовного звания»: «Личная жизнь его не отличалась богатством или разнообразием внешних событий». Отец Кулаковского рано умер, 48 лет от роду († 16.06.1860) от какой-то изнурительной хвори, кончившейся водянкой, оставив семью без денег. В Институте рукописи НБУВ, в фонде Сергея Маслова (№ XXXIII), видел фотографию погоста Вознесенской церкви с могилой Андрея Кулаковского: как обычно — дере-



Понежеж. Синагогальная площадь, фото конца XIX века

вянная церковь, рядом свежий крест на свежем холмике. Эрзац портрета? Человек как раб Божий безлик.

Итак, Кулаковскому (равно его братьям и сёстрам) пришлось «вступить на жизненное поприще без родительского руководства».

В 1888-м, выражая соболезнования другу Тимофею Дмитриевичу Флоринскому по поводу кончины его батюшки, ключаря столичного Петропавловского собора протоиерея Дмитрия Иродионовича Флоринского, магистра богословия и историка церкви, — Кулаковский вспомнил о смерти отца:

«то было уже 28 лет тому назад, когда я был совсем несмыслённым младенцем и мало понимал происходившее вокруг, хоть и врзалось оно мне в память со всеми подробностями. А тяжело ему было умирать, оставляя нас всех мал мала меньше».

Рядом оставалась мать, Прасковья Самсоновна Бренн (1825–17.08.1872), дочь Лидского благочинного протоиерея Самсона Бренна, деятельного помощника митрополита Иосифа Семашко по воссоединению униатов с православными.

Прасковья Кулаковская была строга, «умна и энергична». Она умерла 47 лет от роду, когда Кулаковскому было семнадцать. «Всю эту “детскую лестницу” мать наша вывела при ма-



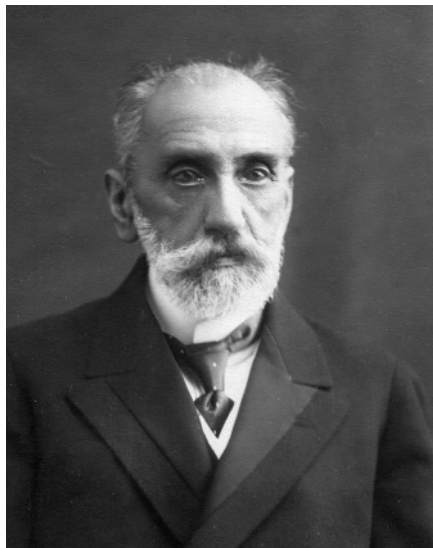
Понежеж. Вознесенская церковь. Построена в 1892-м на месте предшественницы, в которой служил и на погосте которой в 1860-м похоронен прот. Андрей Кулаковский

ленькой (400 рублей в год) пенсии, поставила на ноги, всем дала образование <...> Мы все были способными детьми и учились усердно <...> Бренны помогали ей чем могли, и за это им вечная память», — писала виленская тётка киевскому племяннику.

Как несколько высокопарно, некроложисто писал одногодок Арсений Иванович Маркевич (1855–1942), Кулаковский вырос и

«воспитался в среде, которая была пропитана преданностью православию, русским национальным чувством и в которой живо было уважение к науке, воспитывавшееся между прочим Виленским университетом, где на богословском факультете получила образование лучшая часть местного духовенства — сотрудники митрополита Иосифа Семашки и его последователей».

Старший брат, Платон Андреевич Кулаковский (26.06 (8.07)1848, Поневеж — 18(31).12.1913, С.-Петербург), стал именитым славистом, доктором славянской филологии, тайным советником; профессорствовал в университетах Белграда и Варшавы. В 1886–1902-м — редактор-издатель полуофициальной газеты «Варшавский дневник», в 1902–1905-м — главный редактор «Правительственного вестника», в последние годы — чиновник для особых поручений при министре внут-



Платон Андреевич Кулаковский

ренных дел. Магистерская диссертация Платона называлась «Вук Караджич, его деятельность и значение в сербской литературе» (Москва, 1882). Докторская, главный труд, — «Иллиризм: Исследование по истории хорватской литературы периода возрождения» (Варшава, 1894), посвящённый так называемому «хорватскому ренессансу» 1830–1840-х, — до сих пор пребывает в нестройном научном обороте.

Младший брат. Памяти рано ушедшего младшего брата Осипа (1857–1877) Кулаковский посвятил магистерскую диссертацию «Коллегии в древнем Риме» (Киев, 1882).

«Младший Осип был даровитый, — (товарищи называли его “ходячая энциклопедия”), одарённый красноречием и прекрасной душой юноша; умер 13-го июня 1877 г. 20-летним, будучи уже студентом-математиком Московского университета. Дядя Платон после смерти Оси выразился так: “он был изящнейшим завершением нашей семейной пирамиды”» (Евг. А. Кулаковская).

На прелиминарном листе диссертации Кулаковский написал: *«Hei misero fratri iucundum lumen ademptum / Nunquam ego te, vita frater amabilior, / Aspiciam posthac. At certe semper amabo»*. Это попуризм из стихов Катулла.

Первую строчку автор взял из LXVIII, 93, переводится она

ПАМЯТИ МОЕГО БРАТА

Осипа Андреевича Кулаковского

СЪ ЛЮБОВЬЮ ПОСВЯЩАЮ ЭТОТЪ

МОЙ ТРУДЪ.

Hei misero fratri iucundum lumen ademptum,
Nunquam ego te, vita frater amabilior,
Aspiciam posthac. at certe semper amabo.

Посвящение памяти Осипа Кулаковского магистерской диссертации

так: «*Брат мой несчастный, увы, отрадного света лишённый*»; вторая и третья — из «Ad Ortalum» (LXV, 9), в неточной цитации Монтеня (из 28 главы «О дружбе» в первом томе «Опытов»): «*отныне никогда не увижу тебя, мой возлюбленный брат. / Но буду любить тебя вечно*».

В те времена пользовались латынью точно для того же, для чего и сейчас: для незнающего загадочно, будто Элевсинские мистерии, для знающего — эрудиционное козыряние, проверка на образовательную вшивость, знак отличия от низших сословий. Если эрудиция и была вбита учительными розгами на гимназической лавке, её применение благодарно возвышало над окружающими: можно и по-русски сказать, так ведь хочется показать «тоску по мировой культуре», им, басурманам, недоступную.

«Козыряй!» — учил Козьма Петрович. Латинисты слушались.

Муравьев-Виленский. Когда Кулаковскому было семь-девять лет, как раз перед гимназией, в виленских краях в январе 1863-го разгорелось так называемое Польское восстание, длившееся полтора года. История запутанная, но, вместе с тем, в идее простая: польская шляхта вознамерилась восстановить западные границы Речи Посполитой в пределах 1772 го-



Вильна. Открытие памятника графу М. Н. Муравьеву, 8.11.1898

да. Границы находились в Российской империи. Александру II это на душу не легло: он аккуратно, жестоко восстание подавил.

Последнее задание было возложено на командующего войсками в Северо-западном крае, вновь назначенного минского, гродненского и виленского генерал-губернатора, бывшего министра государственных имуществ генерала-от-инфантерии Михаила Николаевича Муравьева (1796–1866). Обычной силой, без рассуждения и моральных каверз Муравьев быстро положил конец польско-католическому доминированию над белорусским православно-крестьянским большинством края.

В 1865-м, в знак признания заслуг, пожалован графским титулом. В образовании двойной фамилии «Муравьев-Виленский» постарались либералы и абстрактные человеколюбцы.

Муравьев был простым государственным мужем, честно радевшим о державном спокойствии «земли русской».

Через много лет, в 1898-м, Кулаковский напишет в монархическом «Киевлянине» статью «Памяти Муравьева», вызвавшую в тех самых либерально-добродетельных кругах бурю негодования. В Вильне Муравьеву открывали памятник, и Кулаковский, мальчишкой видевший польские события 1863–1864 годов,



Михаил Николаевич Муравьев

не промолчал, хотя уже мог и уметь. Тогда ему было 34 года. Газеты плохо хранятся, через столетие ветшают, превращаясь в труху. Как, впрочем, и большинство сведений, что в них напечатаны. Сведения — практически молниеносно.

Статья Кулаковского без подписи. Это умный, поучительный текст, при каждом упоминании фамилии непременно инициалы (как «Н. Я.» Марр в брошюре Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» и ныне в страшеньких кандидатских диссертациях).

«...Мы также разделяем мнение, что печальные события 1863 г. были политическим безумством и что они, в конце концов, при всяких условиях окончились бы неудачей; однако это едва ли умаляет значение тогдашних деятелей и их заслуги, ибо размеры борьбы и последствия её могли бы быть иные, если бы своевременно не выступили такие люди, как М. Н. Муравьев и М. Н. Катков, явившиеся яркими выразителями глубокого патриотического чувства и русской государственной идеи в долгом историческом споре. При оценке государственных заслуг М. Н. Муравьева необходимо иметь в виду, что некоторые политические условия сложились в тот момент, когда он был призван в Северо-западный край, весьма неблагоприятно. Внутренние силы России были поглощены незакончен-

ной огромной реформаторской работой; прошло лишь несколько лет со времени неудачной Крымской войны, и правительство решительно не желало внешних осложнений и столкновения с Западной Европой.

Между тем, из-за границы к нам обращались с недвусмысленными настояниями, и возникала опасность новой европейской коалиции. При таких условиях в правительственных сферах обнаружилось разногласие и нерешительность, а в обществе — растерянность. На самом деле, как показали дальнейшие события, опасения европейского вмешательства были преувеличены, но оценить в тот момент положение вещей представлялось очень трудной задачей... М. Н. Муравьев своим верным пониманием положения вещей, своей быстротой и решительностью, своей настойчивостью в выполнении намеченной программы не только очень скоро водворил спокойствие в охваченном мятежом крае, но оказал сильное влияние на изменение воззрений и настроения в Петербурге в критические минуты.

С другой стороны, для оценки личности М. Н. Муравьева необходимо иметь в виду, что весьма трудную и крайне неприятную задачу управления Северо-западным краем “виленский диктатор” принял на себя исключительно как государственный долг.

Старику, удрученному годами и физическими недугами, нечего было искать. Его государственная карьера не только была сделана, но совершенно закончена, и он удалился на покой. За два года раньше он оставил пост министра государственных имуществ и управляющего делами и уехал за границу. Если он ушёл отчасти потому, что не сходился с тогдашними государственными деятелями, то главную причину были утомление и болезни. Принимать на себя при таких условиях управление охваченным мятежом краем представлялось действительно подвигом ради государственного блага. Здесь не приходилось рассчитывать на военные и даже на административные лавры, а предстояли крайне тяжкий труд, крайне неприятная кабинетная борьба и даже личные опасности.

Мотивы, руководившие М. Н. Муравьевым, — мотивы исключительно патриотические, — служат лучшим ответом на обвинения его в личной жестокости. Его крутые и устрашающие меры, которые он нарочно афишировал, были в его руках лишь необходимыми, по его убеждению, государственными мерами. На революционный террор он отвечает устрашением; он уничтожал единицы, но спасал от гибели десятки и сотни людей, которые могли быть вовлечены в мятежное движение. Очистив край от мятежного движения, он спешил внушить дворянству составной адрес о помиловании <...> Памятник гр. М. Н. Муравьеву не есть увековечение воспоминаний о последнем эпизоде кровавой братоубийственной распри.

Это есть памятник патриотическим заслугам и патриотическим чувствам; памятник истинно русскому человеку, сумевшему положить начало возрождения искони русского края и приложившего к этому великому делу все свои силы и энергию» (*Киевлянин*, 1898, № 309).

Некогда Герцен, увидев в «Illustrated Times» изображение Муравьёва и признаваясь, что ни в статуях Микеланджело, ни в бронзах Челлини, ни в клетках зоологического сада ему не доводилось встречать такого художественного соответствия между животным и его наружностью, — писал:

«Портрет этот пусть сохранится для того, чтобы дети научились презирать тех отцов, которые в пьяном раблении телеграфировали любовь и сочувствие этому бесшейному бульдому, налитому водой, этой жабе с отвислыми щеками, с полузаплавленными глазами, этому калмыку с выражением плотоядной, пресыщенной злобы, достигнувшей какой-то растительной бесчувственности».

Герцен был мастак навешивать ярлыки: и калмыкам досталось, и Муравьёву, наводившему порядок в государстве средствами, которых требовала ситуация, и хорошей собаке по национальности «бульдог». Доживи этот пламенный перьевой боец до большевиков, какими бы эпитетами были награждены «чахоточная сволочь» Дзержинский и прочие большевизаны «ленинского типа»?

Памятник Муравьёву (скульптор — реалист Матвей Афанасьевич Чижов), о котором пишет Кулаковский, был открыт в столице Северо-западного края, в Вильне в день Архистратига Михаила (7.11.1898). Просуществовал до 1915-го, когда Вильна была взята немецкими войсками.

Зачем здесь, в начале, стал я писать о Муравьёве и статье Кулаковского, до которого хронология событий ещё не доползла? Затем, чтобы показать, в каких обстоятельствах формировалось политическое мировоззрение Кулаковского, который всем был обязан имперскому устройству, подвигавшему, возможно, и к выбору темы дальнейшего бытия — истории Рима (республиканского и императорского), и ещё дальше — к истории Византии, изящной в её элегантно-двуличности и живописном интриганстве.

В зародышево-демократических движениях, особенно студенческих, Кулаковский, конечно, не мог вызывать симпатии как монархист, но был ценен даже студентами как эрудит и ум-



Вильна на Вильне, фото конца XIX века

ница. Когда он вместе с профессорами Варшавского университета физиком Петром Зиловым (будущим попечителем Киевского учебного округа) и историком Иваном Филевичем официальной телеграммой приветствовали открытие памятника Муравьёву в Вильне, студенты-поляки в Университете св. Владимира устроили ему форменную обструкцию: «кошачьи концерты», Katzenmusik, на лекциях, обидные выкрики итд. (Зилову с Филевичем от слушателей тоже досталось.) Зато именно студенты-поляки впоследствии тепло отзывались о Кулаковском как человеке и учёном.

Итак, после Польского восстания Поневежскую гимназию закрыли, и Кулаковские числом восемь человек (мать и дети) перебираются в Вильну. Вернее, Прасковья Самсоновна с Юлианом, Осипом и четырьмя дочерьми: Платон уже учится в Первой Виленской мужской классической гимназии.

Вильна. Мстислав Добужинский, художник, описывая Вильну середины 1890-х, литераторствовал:

«Восхитительная панорама Вильны с красными черепичными крышами и множеством костёлов и колоколен. Особенно зимой, в солнечный день, в розовых лучах солнца, когда шёл дым из всех труб, а всё кругом было бело, лишь чернели далёкие леса на холмах, а внизу — деревья Бер-



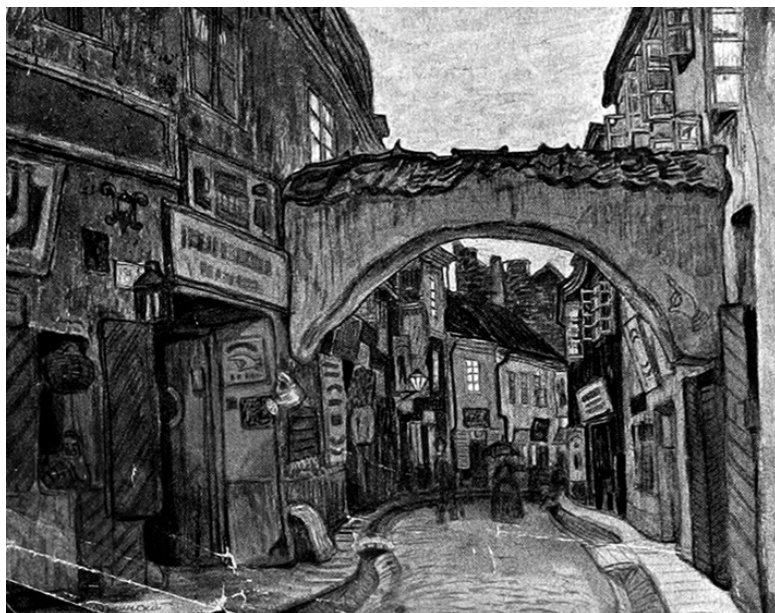
Вильна. Женская гимназия на Георгиевском проспекте (ныне проспект Гедиминаса)

нардинского сада, — всё было по-другому, и не знаю, когда лучше <...> Старый университет представляет собой сложный конгломерат зданий с внутренними дворами и переходами. От прежних времён сохранилась и небольшая башня давно упразднённой обсерватории с фризом из знаков зодиака. Все эти постройки окружали просторный двор Первой гимназии, засаженный деревьями. К двору примыкал стройный фасад белого костёла св. Яна, рядом с ним высилась четырёхугольная колокольня с барочным верхом, возвышавшаяся над всеми крышами Вильны.

Драгоценным делало город и то, что в величавом кафедральном костёле почивали в гробницах великие князья и княгини литовские, и, по преданию, сам Витовт. Всё в Вильне казалось полным таинственности, геройства и святости».

В Вильне вырос Мицкевич. Томас Венцлова (р. 1937), поэт, литературовед, друг Бродского, писал, что

«ему <Мицкевичу> повезло вырасти в Вильне — цивилизованном европейском городе с большой западной общиной и в то же время воплощением “инакости” и экзотики; до некоторой степени Вильна была даже “восточным” городом <...> Поражая характерными чертами консервативного классицизма и барочной архитектуры, город сохранил в себе многое из барочной карнавальной традиции. Наследие средневековья и пережитки язычества также были в нём налицо. Кроме того, Вильна



Мстислав Добужинский. Вильна, Стеклянная улица, 1913

была окружена необычными живописными пейзажами, которые при определённой доле воображения могли восприниматься как «дикая природа». Добужинский восхищается грациозностью и изяществом виленских костёлов, построенных в XVIII веке;

«В Вильне накопились наслоения нескольких эпох: была и готика, и грозное барокко, и классика (губернаторский дворец, где останавливался Наполеон [и через столетие — Пилсудский]). Очарователен был маленький кирпичный костёл св. Анны — поздней, но подлинной готики — зимою, в снегу, это была настоящая театральная декорация. Говоря, что Бонапарт, увидев эту готическую игрушку, жалел, что её нельзя взять с собой».

Не такими ли «наслоениями» привлекал, возможно, Кулаковского впоследствии Киев, в котором, как раз кроме готики (не добрела), было и венское, и мазепинское барокко, и подольский классицизм? Не в Вильне ли, среди костельных грациозностей и духа митрополита Иосифа (Семашко), зародился у него, сына православного пастыря, интерес к католичеству, о котором я расскажу в своём месте?

Среди всего этого урбанистического разнообразия в 1866-м



Вильна. Бывшая классическая гимназия, внутренний двор, современное фото

с золотой медалью заканчивает Первую гимназию брат Платон, в 1875-м — брат Осип.

Там же, в старом здании ликвидированного (да, после Польского восстания) университета, по тогдашней улице Благовещенской, 26 (ныне её поделили на две: Dominikonu и Sv. Јоно), в 1865–1871 годах и воспитывался Юлиан — Юлик по домашнему величанию.

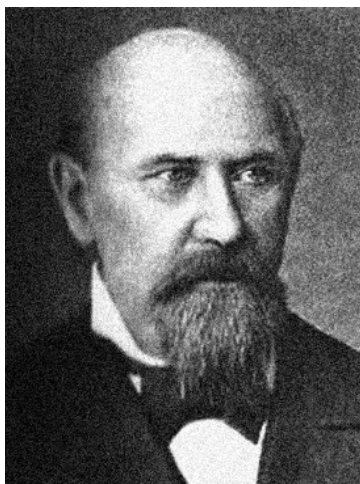
В Первой гимназии в разное время учились поэт и драматург Юлиуш Словацкий, Первый Маршал Польши Юзеф Пилсудский (в 1877–1885-м), ехавший в одном трамвае с социал-демократами и спрыгнувший с подножки на остановке «польский национализм» (А. Новачиньский); византинист Владимир Бенешевич (окончил в 1892-м с золотой медалью), умученный в 1937-м; арабист Иосиф Крачковский (1901); большевицкий палач Дзержинский (1895), артист Василий Качалов (тогда ещё Шверубович и без собаки, воспетой Есениным), замечательно декламировавший «Луку Мудищева»; и композитор Цезарь Кюи — заслуженный профессор фортификации и инженер-ге-

нерал, рассказывавший Николаю II о тайнах созиждения крепостей. В соседней — через двор — 2-й гимназии сидели за чёрнолаковыми партами художник Мстислав Добужинский, ярко вспомнивший о годах учения; великий, но неудачливый реформатор Пётр Аркадьевич Столыпин; философ от филологии Михаил Михайлович Бахтин, а ещё — дед Александра Ширвиндта, племянник Марка Антокольского и отец Павла Антокольского, и другие хорошие люди. Директором гимназии в 1865-м был Пётр Алексеевич Бессонов, по совместительству — председатель Виленской археографической комиссии и директор Виленского реального училища.

Одним из преподавателей был «небезызвестный педагог, критик и публицист М. Ф. Депуле» (или: Де-Пуле), выпустивший как раз в годы учения Кулаковского две книжки: «Краткое руководство к изучению прозаических сочинений» (Вильна, 1866) и «Старые писатели и новые педагогические на них взгляды» (Вильна, 1869). Другим преподавателем был «отец русского византиноведения» Василий Григорьевич Васильевский (1838–1899), которому Кулаковский постоянно присылал оттики публикаций с вежливыми автографами. «Угнетаемый обстоятельствами, которые для него становились тем тяжелее, что он в это время сделался уже семейным человеком, Васильевский решил бросить Петербург и отправиться учителем гимназии в Вильну. Его магистерская диссертация, совершенно готовая и отданная им Баксту для напечатания ещё в 1865 г., появилась в свет лишь в 1869 г.», — припоминал друг Васильевского (и позднейший крутоватый оппонент Кулаковского) филолог-классик Василий Модестов.

Юзеф Пилсудский в статье «Как стать социалистом» (1903) вспоминал:

«Хозяйствовали здесь, учили и воспитывали молодёжь царские педагоги, которые приносили в школу всякие политические страсти, считая в порядке вещей попираие самостоятельности и личного достоинства воспитанников. Для меня гимназическая эпоха была своего рода каторгой <...> Не хватило бы воловьей кожи на описание неустанных, унижающих придинок со стороны учителей, их действий, позорящих всё, что ты привык уважать и любить <...> В таких условиях моя ненависть к царским учреждениям, к московскому притеснению возрастала с каждым годом. Хотя это и позднейший портрет, но едва ли неточный.



Пётр Алексеевич Бессонов, Юзеф Пилсудский

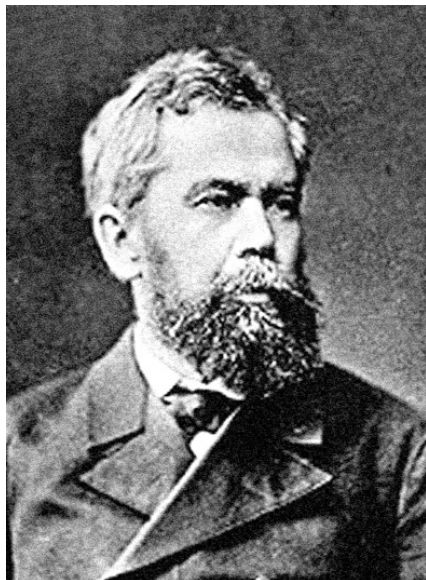
Кулаковский, поступивший в гимназию положенных десяти лет от роду, в 1865-м, писал о ней (от третьего лица) иначе:

«Виленская гимназия была тогда обставлена отличными силами благодаря стараниям тогдашнего попечителя Виленского учебного округа И. П. Корнилова. В числе своих учителей К. с благодарностью помнит имена Г. М. Кустовского, В. Г. Васильевского, А. А. Миротворцева, А. Г. Новосёлова».

Мне не привелось встретить развитого человека, который с теплом отзывался бы о школьных годах; наверно, таких и нет. Остаются какие-то сомнительного качества ощущения памяти (даже не воспоминания, которые можно формулировать) о двух-трёх учителях (которые выделялись среди массы посредственных), предметы которых не делали погоды в «учебном процессе» (скажем, у меня это черчение и музыка), а весь прочий педсостав — малопритягательное месиво из бесталанных неудачников, которые вымещали ошибку рождения на растущих учениках. Так было всегда: учителем рождаешься редко, зато жандармом часто. (В институте дело обстояло чуть краше, но не намного.)

Васильевский был не училкой, а учёным, одним из первых внятных российских византистов, а потому — исключением.

Его влияние, оказывавшееся в течение нескольких лет



Василий Григорьевич Васильевский

на впечатлительного юношу, через десятилетия проявится в интересе Кулаковского к истории Византии. «Во всяком случае, уже на школьной скамье благодаря урокам В. Г. Васильевского, тогда ещё скромно начинавшего учёную и педагогическую карьеру, Ю. А. получил основательную подготовку в области истории», в том числе, конечно, ромейской. Не каждому в жизни так фартит.

Сергей Перевалов пишет, что

«тревожные впечатления детства во многом повлияли на формирование взглядов Платона <...> и Юлиана Кулаковских, ставших в дальнейшем противниками отделения Польши и сторонниками сильной имперской политики. Показателен такой факт: уже в бытность профессором Киевского университета Ю. А. Кулаковский, идя поперёк общественному мнению, печатно высказывался в защиту памяти известного виленского генерал-губернатора М. Н. Муравьёва».

Этнического литовца Пилсудского русификация раздражала, «малороса» Кулаковского — не раздражала. Потому один сделался воином, другой профессором. Встречаться в Первой гимназии не могли: годы учения не пересекаются (Пилсудский был на двенадцать лет младше), но у обоих в Вильне была родня, оба стара-

лись навещать её. Кулаковский перед самым началом Великой войны похоронил здесь супругу, побывав в городе отрочества в последний раз, Пилсудский через двадцать лет, за несколько месяцев до кончины — на похоронах сестры, «тёти Зули».

О старшем брате Платоне Николай Кареев писал, что это «очень боевой, антипольским образом настроенный белорус». По-видимому, то же самое следует отнести и к Кулаковскому, хотя его сын Сергей, заполняя в 1945 году в Лодзинском университете анкету, записал себя поляком.

«Судьбы северозападного русского края, — считал Арсений Маркевич, — были очень близки и дороги Юлиану Андреевичу. Он внимательно следил за ходом русско-польских отношений, горячо скорбел по поводу ошибок правительства по отношению к его родному краю <...> Между прочим, он отозвался статьёй на появление в свет монументального академического издания “Записки митрополита Литовского Иосифа Семашки”, откликнулся по вопросу об учреждении в Вильне православной духовной академии; у него хватило мужества сказать и правдивое, веское слово в память виленского генерал-губернатора М. Н. Муравьёва.

Но это чувство любви к родине не носило у него характера узкого местного патриотизма. Юлиан Андреевич был глубоко русский человек, пламенно любивший Россию, её мощь и величие в прошлом, горел надеждой на её светлое будущее, и до глубины души страдал по поводу развала России и внутреннего её нестроения в последнее время».

Но всё это — позже.

В Виленской гимназии он шесть лет учился «на отлично», и это — в дополнение к статусу сироты — позволило по окончании шестого класса (1871) переехать на дальнейшую учёбу в белокаменную, в число бесплатных учеников только пред тем открытого Лицея цесаревича Николая при Императорском Московском университете.

Московский Лицей Каткова и Леонтьева. Лицей был открыт как высшее учебное заведение для детей дворян, высшего духовенства и крупной буржуазии 13.01.1868 по инициативе и на личные средства одиозно известных профессоров: Михаила Никифоровича Каткова (1818–1887), «верного сторожевого пса самодержавия» (как он сам, по уверению Ленина, себя называл), «реалиста с фантазией» (как его характеризовал Вл. Соловьёв), вдохновителя «толстовской реформы», ратовавшего за упразднение университетской автономии (устав '1884),



*Московский Императорский лицей в память Цесаревича Николая
(«Катковский лицей») в Москве на Остоженке, существовал в 1868–1917-м*

за обязательное изучение в классических гимназиях древних языков, — и Павла Михайловича Леонтьева. В 1872-м при Лицее открыли особое отделение для бесплатного обучения и содержания (на личные средства Каткова и Леонтьева) мальчиков из «народных школ». В 1878-м Достоевский писал жене, что «при Лицее есть Ломоносовские стипендиаты. Этот Лицей содержит даром [детей] из сирот беднейшего класса, но даёт им высшее образование». Михаил Сергеевич Грушевский писал, что Катков в 1860-х «у своїх виданнях збирав гроші на друкування українських підручників». Точно: верный сторожевой пёс самодержавия. Разумные люди скроены сложно.

Устав Лицея был утверждён Александром II в июле 1869-го. В первом параграфе документа написано, что Лицей, посвящённый памяти в Бозе почившего цесаревича Николая Александровича, состоит под августейшим покровительством государя наследника цесаревича великого князя Александра Александровича (будущего Александра III).

Лицей имел целью:

«1) содействовать утверждению основательного образования русского юношества; 2) путём живого опыта способствовать развитию в Рос-



*Корпус пансионата «Катковского лицея», служивший жильём для учащихся;
нагрудный знак для выпускников Лицея, 1890-е*

сии самостоятельного педагогического дела и выработать на практике его основания, приёмы и способы».

Учреждено одиннадцать классов: восемь — гимназического курса,

«причём объём преподавания в оных должен быть не менее положенного для правительственных классических гимназий, и — три класса университетского курса, последние с разделением на факультеты, но с удержанием между факультетами связи, требуемой для полноты общего образования. Питомцы университетского курса, по назначению правления Лицея и при пособии лицейских тьюторов, посещают лекции в Московском университете в качестве вольных слушателей».

В Лицее преподавались: закон Божий, древнегреческий и латынь, русский и иностранные языки (французский, немецкий, английский), математика, физика, космография, «обзор царства природы», история, география. В общий план преподавания входили «наиболее способствующие педагогическим целям искусства и телесные упражнения» — хоровое пение, гимнастика, черчение и рисование, чистописание, инструментальная музыка. В «пансионатах», где жили ученики, им полагался стол и «помещение».

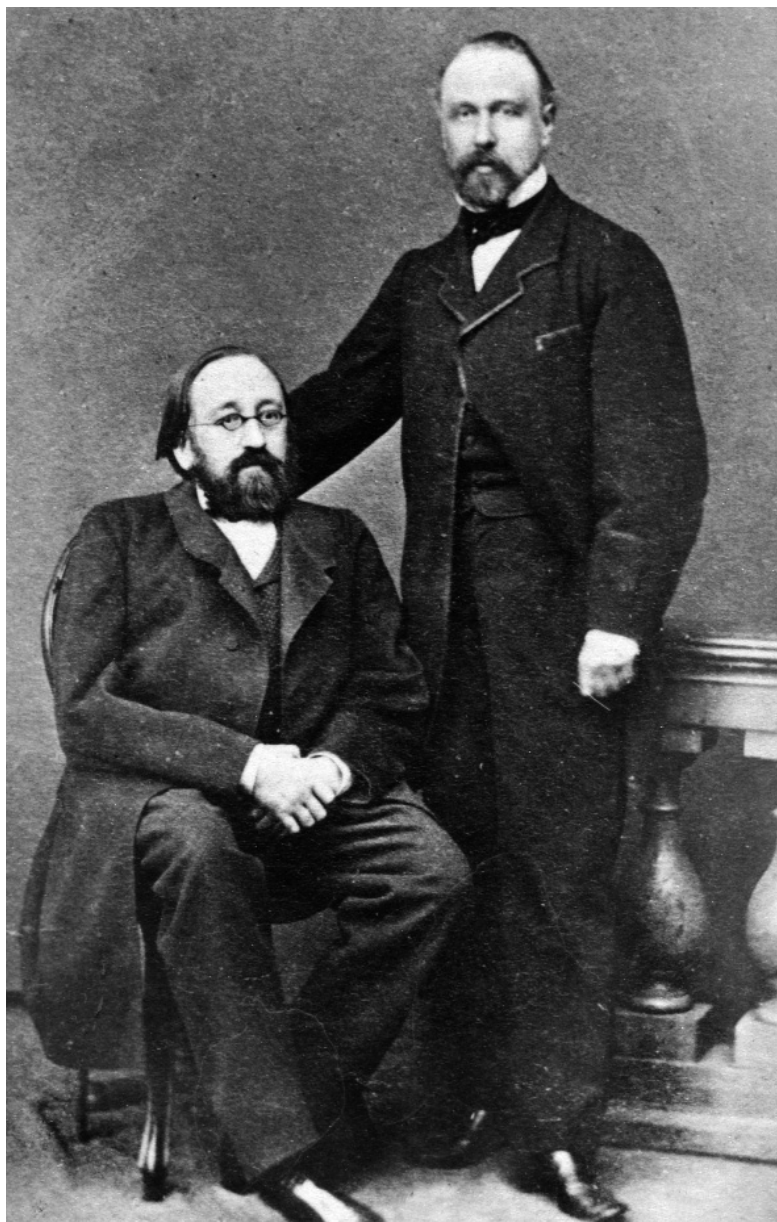
С чистописанием у Кулаковского, пожалуй, не сложилось: может, в Лицее он писал и «чисто», и каллиграфически, но потом, когда письмо стало ежедневным занятием, инструментом и продуктом труда, почерк его превратился в малочитаемую скоропись, доставлявшую затруднения эпистолярным корреспондентам и типографским наборщикам. В последнем случае приходилось тратиться на переписчицу, позднее — на машинистку. Это сейчас пишущий человек на самообслуживании: сочинил, настучал на абулафии, отправил редактору; в те времена технический путь от рукописи к книге был в колдобинах, лужах и бездне затрачиваемых усилий.

«В 1871 г., — пишет Кулаковский в автобиографической заметке 1884 года, — К. было предложено через помощника попечителя Виленского учебного округа Шульгина перейти для окончания гимназического курса стипендиатом в Лицей Цесаревича Николая, в котором тогда открывался седьмой класс. Приняв это предложение, К. прошёл в Лицее курс седьмого и восьмого классов и окончил курс в первом выпуске Лицея с золотой медалью в 1873 г.»

(Как вижу это «К.», так сразу Кафка с «Замком» — на ум.)

Вероятно, статус отца Кулаковского, который был церковным настоятелем и принадлежал к «белому духовенству» (титуловался «ваше высокопреподобие»), позволил Кулаковскому как его наследнику поступить в это привилегированное заведение. Не обошлось, вестимо, и без протекции со стороны попечителя Виленского учебного округа Ивана Петровича Корнилова (1811–1901), о котором Кулаковский упоминает в автобиографии.

Осмелюсь предположить, что одним из покровителей осиротевшей семьи был также Игнатий Гаврилович Кулаковский, действительный статский советник, директор Белостокской гимназии (Виленского же учебного округа), имевший придворный чин камер-юнкера, который по статусу давал возможность общаться с представителями царствующего дома. Впрочем, пушкинские времена миновали, и в течение второй половины XIX века лишь малая часть камер-юнкеров действительно выполняла какие-то обязанности при дворе, а «придворные кавалеры» из провинции и подавно не допускались к дежурству при императрицах и августейших особах. Тем не менее, вполне вероятно: во-первых, Игнатий Кулаковский — родственник



Павел Михайлович Леонтьев и Михаил Никифорович Катков



*Николай Иванович Кареев,
рисунок Георгия Верейского*

Андрея Кулаковского по отцовской линии и, во-вторых, он не оставлял попечения об осиротевшем виленском семействе.

Среди его солищеистов стоит назвать братьев Дмитрия Ивановича (1857–1900) и Льва Ивановича (1860–?) Сапожниковых, ставших известными: последний, как и Кулаковский, — в области классической филологии.

Начиная с 1871/72 учебного года, Кулаковский не только учится на «весьма удовлетворительно», но и как первый ученик получает наивысшее содержание: 800 рублей в год. Это очень много.

В то время, пишет Мих. Кальницкий, старшие учителя Киевской гимназии получали 1375 (позднее 1625) рублей в год, фабричные рабочие, вкалывавшие ежедневно по тринадцать–пятнадцать часов, имели в год от силы 60–120 рублей на хозяйских харчах при условиях постоянной работы. Стоило себя хорошо зарекомендовать в учёбе, чтобы глядеть на преподавателей почти как на социальную ровню. (Запомним эту соотношение: разные суммы будут мелькать на моих страницах.)

Подобно Вильне, в Лицее судьба предьявила Кулаковскому яркого наставника: к учёно-воспитательной школе Васильевского, который уже перешёл на доцентскую должность в Московский университет, прибавился опыт общения с Павлом Михайловичем Леонтьевым (1822–1874).

Михаил Катков и Павел Леонтьев. Леонтьев состоял директором (главным учителем) «Катковского лицея» и вместе с Катковым был фигурой популярной, даже одиозной, и особенным расположением либеральных коллег за свои политические воззрения не пользовался.

Наверно, им обоим нравилось теребить «мудрейших».

Тогдашний ректор Университета профессор русской истории, тайный советник Сергей Соловьёв оставил такое воспоминание:

«маленькая, двугорбая фигура с четверугольным матово-бледным лицом, густыми русыми волосами, карими, холодными, не пронизательными, но внимательными, старающимися проникнуть, и потому очень неприятными глазами <...> Он был способен заниматься пустяками без устали, причём ему помогала необычайная медленность в словах и делах <...> Хвалили его привязанность к родным; привязанность его к Каткову и семейству последнего была изумительна <...> Интрига — было первое и последнее слово Леонтьева; всё, по его мнению, интриговало, ничего не делалось просто; каждое движение, каждое слово искусно подводилось под известную интригу».

Невысокого мнения о Леонтьеве как педагоге был и Кареев. Он указывал, что Леонтьев из трёх объявленных лекций, как правило, две пропускал, а на «третью являлся с таким запозданием, что только записные латинисты терпеливо дожидались его появления», относился к профессорским обязанностям неохотно и по истечении 25 лет работы в Университете был «забаллотирован Советом факультета».

«Леонтьев <...> был для студентов олимпийцем, да и политическая его физиономия как сподвижника Каткова прямо от него отталкивала».

Не хочу вдаваться в подробности отношения к Каткову и Леонтьеву как деятелям народного образования, издательского дела и имперской политики, игравшим заметную роль в умственной жизни России второй половины XIX века, со стороны их не менее значительных современников. Точка зрения здесь должна быть выбрана не либеральная, как это сделано в большинстве воспоминаний, но та, на которой стояли Катков и Леонтьев, — предметно-монархическая. Меня больше интересует другой аспект.

Катков и Леонтьев были (вместе с Николаем Алексеевичем Любимовым, о котором — ниже) издателями газеты «Москов-

ские ведомости» и толстого журнала «Русский вестник», в котором впервые были напечатаны шедевры российской литературы и первые статьи Кулаковского. Катков, например, как редактор «Русского вестника» в 1866-м выдал Достоевскому вперёд, в счёт гонорара за публикацию «Преступления и наказания», три тысячи рублей, что позволило писателю сыграть свадьбу с Анной Григорьевной, смотаться за границу, проигратся в рулетку, отвлечься от тягот письма. Леонтьев же отрицательно повлиял на решение редакции «Русского вестника» напечатать в 1859-м повесть Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели»: «Всё зависит от согласия Леонтьева, а в расположении этого господина ко мне я не могу быть уверенным», — жаловался первой супруге Марии Дмитриевне нервный Фёдор Михайлович. А вот с «Катковым я в наилучших отношениях, в каких когда-либо находился».

Своеобразными были отношения Каткова с графом Толстым. «Почему вы говорите, что я поссорился с Катковым? — наиграно удивлялся Лев Николаевич в письме к А. А. Толстой в 1865-м. — Я и не думал. Во-первых, потому, что не было причины, а во-вторых, потому что между мной и им столько же общего, сколько между вами и вашим водовозом». И через двенадцать лет — Николаю Страхову:

«Оказывается, что Катков не разделяет моих взглядов, что и не может быть иначе, так как я осуждаю именно таких людей, как он, и, мямля учтиво, прося смягчить то, выпустить это, ужасно мне надоел».

Когда речь зашла о публикации первой части «Войны и мира», за печатанье которой автор требовал гонорар в 300 рублей за лист, Катков поначалу сопротивлялся.

«Потом пришёл Любимов от Каткова. Он заведует “Русским вестником”. Надо было слышать, как он в продолжение, я думаю, 2-х часов торговался со мной из-за 50 р. за лист и при этом с пеной у рта, по-профессорски смеялся. Я остался твёрд и нынче жду ответа».

Любимов читал в Лицее (и, стало быть, у Кулаковского) курс физики. (Позднее, в книге «Мой вклад», он высказался о Каткове: «Воздухом дышали потому, что начальство, снисходя к слабости нашей, отпускало в атмосферу достаточное количество кислорода».)

Резкий отказ Каткова, обусловленный политическими мотивами (события в Сербии) печатать последнюю часть «Анны



Борис Васильевич Варнеке

Карениной», послужил поводом к окончательному разрыву отношений с Толстым.

«Приедешь в Москву, думаешь, отстал — Катков, Лонгинов, Чичерин вам всё расскажут новое; а они знают одни новости и тупы так же, как и год и два тому назад, многие тупеют, а Фет сидит, пашет и живёт, и загноёт такую штуку, что прелесть».

Один памфлетист 1870-х сочинил о Каткове стишок:

Кто основал лицей, в котором,
Классическим питая вздором,
Готовят родине сынов?
Михал Никифорыч Катков.

Памфлетисту памфлетистово, но без «сынов» как-то сложно «родине», и готовить их нужно, чтобы эта самая родина как-то продолжала существовать.

Из отзывов, оставленных выпускниками о Леонтьеве, можно сложить впечатление, что как человек он был странен, подивившись, однако ж, почему именно он — профессор кафедры римской словесности и древностей — оказал не только на Кулаковского яркое влияние. Повторю вслед за Борисом Варнеке (1874–1944): заслуги Леонтьева «перед русской наукой и русской педагогикой не нашли себе ещё надлежащей оценки», изучением его наследия не занимались.

Одно дело — человек, другое — учёный. Их маски для того и маски, чтобы не совпадать с выражением лица, их стóит и должно изучать раздельно, как селёдку и лук, мирно соседящих на блюдечке для вящей исторической убедительности.

Герцен в письме Николаю Огарёву:

«Министр [Дмитрий] Толстой сказал одному из своих приятелей: “Ещё *шесть лет* латыни — и вы увидите, как угомонится наша молодёжь”. Что хорошо, то хорошо. А это ты знаешь, что никто из профессоров по выбору не пошёл в члены катковского лица, так что упали в Любимова, который никогда о Каткове не говорит иначе как “оне” и “их превосходительство”?» (17.10.1869);

«Что за скотный двор, в котором Катков боровом, а Леонтьев — филологом?» (Н. М. Сатину, сентябрь 1869 г.).

Я не выдрал эти цитатки из контекста — я пытаюсь их в контекст поместить.

«Государь, рука об руку с Катковым, на бале московского дворянства напоминает прогулку Нерона с Пифагором по улицам Рима», — спутывая времена и обстоятельства, попросту остроумничая (причём неясно, кто из названных Пифагор), Герцен в статье «На этапе» (1863) всё-таки Каткова по месту, *in situ* оправдывает, стараясь понять.

«„Колокол” — власть”, — говорил мне в Лондоне, *horribile dictu* <страшно сказать>, Катков и прибавил, что он у Ростовцева лежит на столе для справок по крестьянскому вопросу; это — из седьмой части «Былого и дум».

Странный был литератор: его «Колокол», кажется, никого не будил, а Герцена, как известно по тексту иного литератора, «разбудили» близорукие декабристы. (Порой кажется, что они для того и сделались декабристами, чтобы показать, *на что способны их жёны*. Ведь сам декабрист «С его озлобленным умом, / Кипящим в действии пустом», мало кому интересен.)

Леонтьев одним из первых обратил внимание на изучение археологических древностей Надчерноморья, напечатав в основном им альманахе «ПроPILEИ» (в 1851–1856-м вышло пять томов; 2-е издание — в 1869-м) серию статей, которые дали начало надчерноморскому антиковедению. Деятельность Леонтьева в Университете и Лицее, где он читал лекции по классической филологии, собиравшие аудиторию (вопреки цитированным свидетельствам сослуживцев), вызывает уважение.

Сергей Радциг (1882–1968), оценивая деятельность Леонтьева, писал, что

«как профессор Московского университета П. М. Леонтьев показал блестящие способности. На его лекции собирались студенты разных факультетов. Под влиянием своих товарищей Ф. И. Буслаева и О. М. Бодянского П. М. Леонтьев обратил внимание на сравнительно-исторический метод в языкознании и, будучи профессором, стал слушать лекции П. Я. Петрова по санскриту; он первый в Московском университете читал студентам курс сравнительной грамматики классических языков».

Воспитанник Московского дворянского института и Московского университета, образование Леонтьев продолжил в Германии (в Берлине), где слушал лекции Августа Бёка и Карла Лахмана по классической филологии и Шеллинга — по философии. В 1847-м, по возвращении, начинает преподавать в Университете, в 1850-м защищает магистерскую диссертацию «О поклонении Зевсу в древней Греции», пропитанную шеллингианством, в 1851-м назначается профессором. В 1856-м Академия наук избирает его в члены-корреспонденты.

«Мы работаем почти публично, — говорил Павел Михайлович на Торжественном акте Лицея 12.04.1871, — может быть, допускаем даже излишек гласности в своих отчётах. Нет на свете заведения, которое было бы более доступно, чем наше, не только во время экзаменов, но и во время ученья, и даже на первых неделях учебного года, когда съехавшиеся после летней вакации дети представляют группу слишком пёструю как по поведению, так и по учению.

Результаты наших трудов впереди, когда воспитательные планы будут завершаться при окончании курсов гимназического и университетского. Теперь ещё нельзя их видеть, а тем паче судить о них.

Для справедливого и всестороннего суждения теперь ещё нужна известная степень доверия к будущему и предварительного убеждения в том, что управление Лицея Цесаревича Николая способно обнять цели здорового национального воспитания в их совокупности».

О соотношении роли гимназии и университета Леонтьевым высказана мысль, как ни странно, жизненная и сейчас:

«Гимназический курс тем и отличается, что учит бесспорному, общепринятому. Университетское же преподавание, напротив, должно вводить в область исследований, сомнений, заблуждений; оно обязано знакомить студентов с вопросами спорными, со всем разнообразным множеством взглядов и теорий, нередко смутных и противоречивых.



Императорский Московский университет на Моховой

Люди, не получившие надлежащего умственного воспитания, выносят из университетского учения только фразы, машинально повторяемые, либо, что ещё хуже и что случается именно с наиболее даровитыми, запутываются в этом умственном лабиринте и, желая выйти из него, впадают в односторонности и крайности, которые нередко губят их <...> [Лицей] будет выпускать из гимназических классов только по удостоверении в том, что молодой человек действительно созрел, что он действительно *maturus* <поспел> для того, чтобы без опасности для себя приступить к науке».

Если директор и главный учитель Лицея с такими воззрениями подходил к организации образования, можно порадоваться. Касательно послушания и повиновения ученика учителю Леонтьев высказался:

«Повиноваться нужно не рабски, из чувства страха, а добровольно, как учит закон христианский. Цель воспитательного надзора в том, чтобы он перестал быть нужен, чтобы воспитание заменилось самовоспитанием, которое должно продолжаться всю жизнь нашу».

Но может, всё это существовало только на словах, в высокопарно-торжественной говорильне под сенью Афины — «покровительницы общих собраний»? Как бы ни было, немудрено, отчего такой творчески активный человек, как Кулаковский, о времени пребывания в Лицее говорил тепло.

«С 1871 г. основатель Лицея П. М. Леонтьев, оставив свою кафедру в Московском университете (мы помним, что его вынудили это сделать. — А. П.), взял на себя должность главного учителя <...> в этом заведении и нёс эту обязанность до самой смерти, последовавшей в 1875 г. Согласно уставу Лицея, П. М. Леонтьев взял на себя специальное руководство восьмым классом, и давал здесь до 16 уроков в неделю. Уроки покойного Леонтьева остались навсегда в памяти у всех, имевших счастье быть в ту пору в Лицее.

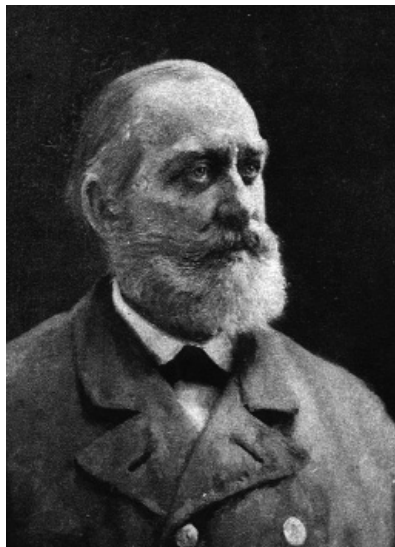
Леонтьев применял и проверял здесь непосредственным трудом ту систему классического образования, водворению которой в наших гимназиях Россия обязана главным образом усилиям его и его сподвижника [Каткова]. Чтение Гомера, Софокла, Платона, Цицерона, Горация и других древних авторов имело в его руках целью не только всесторонне ввести учеников в живое и непосредственное понимание древней жизни, но и развить их в философском, эстетическом и моральном отношениях. Он старался о том, чтобы уразумение философской мысли древнего мира развивало способность к мышлению, чтобы красоты древнего поэта будили эстетическое чувство в юношах. Он старался вселить им то благоговение к древнему миру, то любовное к нему отношение, которыми сам был проникнут в такой широкой степени».

Кулаковский, став университетским доцентом, наверняка пользовался педагогическими приёмами и приёмчиками, — не без театральности, — которые вынес из уроков Леонтьева.

Университет на Моховой. Пользуясь льготой, предоставлявшейся выпускникам Лицея, в 1873-м Кулаковский, окончивший его с золотой медалью, переводится в Московский университет, в котором он как лицеист состоял прежде вольнослушателем, и в течение трёх лет прослушивает четырёхгодичный курс.

Ему восемнадцатый год: отец с матерью умерли, сёстры, кто старше, кто младше — нуждаются (ибо барышни) в опеке. Ничего весёлого, как у большинства непростых людей: стремясь творчески куролесить, приходится «печься о мирских». Но голова на плечах не жмёт, и студентом третьего семестра, в 1874-м, за сочинение «Мифы об Оресте по памятникам античного искусства» Кулаковский удостоивается серебряной медали Университета.

Забавно же: начав сознательную научную работу (школьное сочинение — учебно) с попытки объединения давно существовавшей классической филологии с малоупотребительным ещё ис-

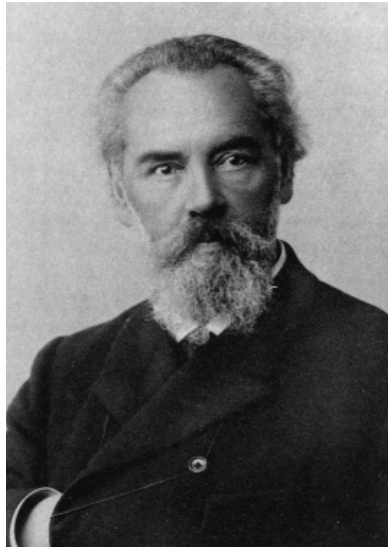


Сергей Михайлович Соловьёв

куствознанием, на примере образа Ореста (сына Агамемнона) объединяя два приёма разрешения задачи: истолкования мифа, ставшего фабульным в трагедийной трилогии Эсхила («Орестея»), с описательной интерпретацией иконографии Ореста в античной вазописи, — девятнадцатилетний учёный будто попытается подсмотреть за классической филологией через дверцу классического искусства, а не через замочную скважину текстов.

Приёмы такой искусствоведческой герменевтики, свидетельствующей об усложнении и визуальном дополнении традиционной дисциплины, к времени его профессорства в киевском университете принесли вкусный плод: ученик Кулаковского (и Антоновича по российской и малороссийской истории) Григорий Павлуцкий использовал такой же приём в магистерской и докторской диссертациях: коринфский ордер и жанровая живопись эллинов получили в российском искусствоведении последней четверти XIX века убедительный вид на библиотечно-учёное жительство.

В 1876 году, выдержав необходимые квалификационные испытания на учёную степень кандидата по классическому отделению историко-филологического факультета (вроде нынешних госэкзаменов) без представления диссертации, Ку-



Александр Николаевич Веселовский

лаковский получает диплом о высшем образовании с присвоением почётного звания «действительного члена Лицея Цесаревича Николая».

В Послужном списке:

«По окончании гимназического курса учения в Лицее <...> с аттестатом зрелости и золотою медалью поступил студентом в Университетское отделение сего Лицея, держал в Московском университете экзамен из предметов, читанных на историко-филологическом факультете, и за оказанные им отличные успехи определением Совета Университета, 11-го сентября 1876 года состоявшимся, утверждён в степени кандидата по отделению классической филологии, в удостоверение чего выдан ему аттестат за № 115».

Конечно, Кулаковский не был из числа тех, о ком сокрушался Леонтьев в речи на Годичном акте Лицея, иначе не пришлось бы сочинять о нём такую толстую книжку: будучи «наиболее даровитым», он не запутался в «умственном лабиринте» и не впал «в односторонности и крайности», которые могли бы его погубить, как губят по молодости многих амбициозных.

Этому способствовала не столь творческая обстановка, царившая в Лицее и Университете (едва ли они там вправду были), сколь личные качества: уверенность в себе, здоровое желание

не быть похожим на остальных и нездоровое, разбросанно жадное влечение к знанию.

В стенах университета Кулаковский встретился с многими.

Он слушал лекции Измаила Срезневского по славянской филологии, Василия Бауера по новой истории, Владимира Герье — по всеобщей, начинавшего показывать себя на научном поприще Фёдора Корша — по греческой словесности, Гавриила Дестуниса по Платону, Эсхилу и «Поэтике» Аристотеля, Михаила Владиславлева (в то время декан факультета) по психологии и истории философии, Александра Николаевича Веселовского по истории французской и древнерусской литератур, Ивана Помяловского по Вергилию, Плинию, истории римской литературы и латинской эпиграфике, Фёдора Соколова по греческой истории и древностям, Васильевского по истории Средневековья, Адриана Прахова по эллинской пластике, Дмитрия Беляева (с которым, как и с Помяловским, его будут связывать годы научного общения) по «Одиссее», греческой грамматике и Гесиоду; Фёдора Буслаева, Сергея Соловьёва, Карла Гёрца, Николая Тихонравова и других. Эти люди составляли умственную гордость тогдашней Российской империи.

К тому же, в годы учения Кулаковского в Университете ещё преподавал Памфил Данилович Юркевич (1827–1874), киевский философ, стараниями Каткова и Леонтьева переведённый из Киева в Москву и бывший в 1869–1873 годах деканом историко-филологического факультета. Правда, как вспоминал однокашник Кулаковского Алексей Соболевский, в ученической программе 1874-го значилась фамилия Юркевича, но лекций он не читал. За него их читал приват-доцентом молоденький, но уже гениальный Владимир Соловьёв.

В 1874-м в Париже состоялась первая выставка импрессионистов. Дело давнее, но они и сегодня выглядят современнее многих. Это оттого, что у искусства нет прошлого.

«Свежесть и яркость впечатлений своих студенческих годов, — писал Деревицкий, — Ю. А. сохранил навсегда и любил к ним возвращаться воспоминаниями». Пастернак в «Охранной грамоте» ухватил такое состояние с точностью фотографической карточки:

«Как необозримо отрочество, каждому известно. Сколько бы нам потом не набегало десятков, они бессильны наполнить этот ангар, в кото-



Фёдор Иванович Буслаев

рый они залетают за воспоминаниями, порознь и кучею, днём и ночью, как учебные аэропланы за бензином. Другими словами, эти годы в нашей жизни составляют часть, превосходящую целое.

Время для воспоминаний приходит в своё время: прошлое, если его время от времени не реанимировать, способно вызывать фантомные боли.

Мандельштам написал «Шум времени» в тридцать три года: будто знал, что до старости не дотянет. Евгений Оскарович Патон — старцем: тоже знал, что откладывать некуда.

Кормиться воспоминаниями можно и нужно, когда место энергии замещается усталостью, когда вместо радости наступает «взгрустнулось», будто собачьи глаза перед пустой миской, — но не раньше.

В случае Кулаковского и вправду стоит говорить: после Москвы и перед женитьбой, довольно поздней, он прожил, успев состояться как учёный, после этого — до самой смерти сбегал к письменному столу, уединяясь от домашних и недомашних, чтобы работать, и его письменная выработка возрастает.

Воспоминания, письмо, лекции и «возьми всё и уходи» — обычное «музыкальное» сопровождение его бытия второй половины совсем не-по-толстовски долго.



Дмитрий Андреевич Толстой

Всё, как в жизни: сначала мечтаешь о славе, кушаешь водку и выкуриваешь по пачке в день, а потом думаешь, как бы с твоей эмфиземой подняться по ступенькам на третий этаж и проковылять к кушетке, отдышаться, не напугав домочадцев.

Державная каллиграфия классической филологии.

Место классического образования в России после Положения 1872 года о городских училищах и учительских институтах, когда в гимназию снова вернулись древние языки, было для развития классической филологии в полудикой стране перспективным.

Пристрастие к классике, свойственное государственным мужам, видевшим в ней спасение от «язв материализма», прослеживается подряд у министров народного просвещения: графа Дмитрия Толстого (1866–1880), Андрея Сабурова (1880–1881), графа Ивана Делянова (1882–1897), Николая Боголепова (1898–1901), Григория Зенгера (1902–1904), графа Ивана Толстого (1905–1908). Министры народного просвещения — в 1901–1902 годах бывший военный министр, генерал Пётр Ванновский, в 1904–1905-м генерал Владимир Глазов, с 1901-го служивший начальником Академии Генштаба, в 1908–1910 годах профессор классической филологии Шварц, в 1910–1914-м профессор гражданского права Кассо, в 1915–1916-м граф Павел Игнатов — про-



Николай Павлович Боголепов

водили политику всяческого притеснения университетских свобод, и ни о каком классицизме речь уже практически не шла.

При Александре Николаевиче Шварце запрещён приём женщин вольнослушательницами в высшие учебные заведения, строго соблюдалась процентная норма для евреев-абитуриентов; Лев Аристидович Кассо препятствовал открытию новых вузов (в частности, Народного университета Шаняевского), запрещал студенческие союзы и собрания, славен расправой над студенчеством и «прогрессивными» (то есть либеральными) профессорами итд.

К слову сказать, министр Григорий Зенгер (1853–1919) — доктор римской словесности (*honoris causa*) и тайный советник, отец десяти детей (среди которых пушкинистки Татьяна Цявловская и Мария Ашукина) — защитил в 1886-м магистерскую диссертацию, официальным оппонентом по которой выступил Кулаковский (об этом — дальше). Как вспоминал граф Сергей Витте, один из умнейших деятелей Российской империи (наряду с Михаилом Сперанским и Петром Столыпиным), отнотившийся к Зенгеру не слишком приветливо, — это был

«человек кристальной чистоты, но не от мира сего. Классик, до такой степени увлекавшийся классическим языком, что перевёл, и очень хорошо,

на латинский язык «Евгения Онегина» Пушкина, Зенгер вёл министерство народного просвещения в духе порядка, но не реакционном, потому в скором времени он должен был оставить свой пост, и на его место назначен был генерал Глазов».

По новому уставу гимназий 1871 года графом Дм. Толстым (при поддержке Александра II) был дан перевес классицизму как основе общего научного образования, открывающего доступ в университеты.

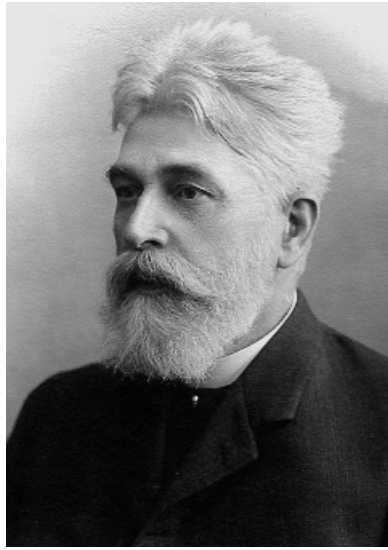
Реальные гимназии¹, переименованные в реальные училища, призваны были давать юношеству общее образование, приспособленное к практическим потребностям «низших классов городского населения». Это увлечение школьно-гимназическим классицизмом и неумеренные старания высших чиновников просвещения к его насаждению «вызвало, — по замечанию Эд. Фролова, — раздражение в прогрессивных общественных кругах и, в конце концов, привело к компрометации всей системы классического образования в России».

Объяснялось это, по мнению Фролова, столько же «общей утвердившейся ещё с XVIII столетия установкой на традиции западноевропейского классицизма, сколько и осознанным практическим расчётом противопоставить разрушительному движению новых материалистических идей прочный консервативный барьер в лице классического образования».

Однако восстановление в гимназиях древних языков спровоцировало развитие классической филологии, к концу XIX — началу XX века являвшейся едва ли не самой заметной сферой умственной деятельности наравне со всеобщей и русской историей.

В ЖМНП («Журнале Министерства народного просвещения») наряду с «Правительственными распоряжениями», «Критикой и библиографией», «Современной летописью» и «Отделом наук» (с 1909) придуман специальный «Отдел классической филологии» (в 1903–1917 годах его редактором был Сергей Жебелёв). Недавно (2015) выпущенный в С.-Петербурге аннотированный указатель статей по классической древности в ЖМНП за 1834–1917 годы — почти бронзовый памятник этой элитарно забавной, затухающей науке.

¹ В 1864-м принят компромиссный вариант, введивший два типа гимназий: классическую, нацеленную на университет, и реальную — на технические учебные заведения.



Григорий Эдуардович Зенгер

Показательно высказывание Горького:

«Проекты Каткова, Леонтьева [в 1863–1864 годах] — о введении обязательного обучения латыни и греческому языку — “Искра” первая оценила как попытку забить головы начавшему мыслить русскому юношеству».

Трудно сказать, почему именно «Искра», основанная в 1900-м, «первой» так оценила идеи классического образования сорокалетней давности: шум вокруг вопроса нарастал издавна; упрощённое же понимание сущности классического образования превращает в диковинку утверждение Горького о попытке «забить голову»: пожалуй, как раз наоборот — изощрить мозги.

В середине 1900-х в переводческом предисловии к первому выпуску «Истории» («*Rerum gestarum libri*») Аммиана Марцелина Кулаковский, размышляя над судьбами общеобразовательной школы, обоснованно сетовал, что

«крушение надежд, возлагавшихся на классическую школу, отодвигает <...> образованных людей от возможности непосредственного изучения классического мира в памятниках его слова».

В 1901–1902 годах среднее и высшее образование заметно упрощается, скукоживается: принимается новый устав гимна-



Пётр Семёнович Ванновский

зий (1904), что приводит вновь к отказу от изучения в гимназиях древнегреческого. Эх, понимали бы в славянских державах так, как понимали в развитых европейских, что для нации нет более долгосрочной инвестиции, чем кормить детей сначала молоком, затем просто кормить, затем кормить образованием (Черчилль), в том числе классическим.

Читая предисловие к первому тому «Истории Византии» (1910), чувствуешь, как филолог-классик едва сдерживается:

«Теперь, когда ввиду свершившегося перелома в нашем политическом строе (Манифест 17 октября и создание Государственной думы. — А. П.), наше народное самосознание особенно нуждается в просветлении своих основ, принесена неведомо зачем тяжёлая жертва в ущерб народному делу. Те люди, которым было вверено верховное руководство делом русского просвещения, отказались в системе высшего образования от того элемента, который даёт ему силу и мощь в Западной Европе. Устранение греческого языка из программы среднеобразовательной школы («заслуга» Ванновского. — А. П.) является добровольным принижением нашего просвещения перед тем его идеалом, который живёт и действует в Западной Европе. Ущерб, причинённый делу просвещения, ставит печальную перспективу для нашего будущего. Хотелось бы надеяться, что рост русского самосознания и просвещения <...> вызовет в русском об-

ществе сознание потребности восстановить на нашей родине то первенство греческого гения в системе высшего образования, которое водворила у себя Западная Европа. Быть может, поймём и мы, русские, как понимают в Европе, что не в последнем слове современника, а в первом слове эллинов заключено творческое начало высокой европейской науки и культуры».

После убийства министра просвещения Боголепова на его место был назначен генерал Ванновский, начавший службу военным приказом, где «поставлялось учебному персоналу в неуклонную и непрременную обязанность внесение в дело воспитания юношества разума, любви и сердечного попечения». Студенты, которые при гуманитарии Боголепове были отданы в солдаты, при вояке Ванновском освобождены, и эта мера более не практиковалась. Надо же столь низко ставить военное служение, чтобы сделать из него пугало. Позднее, при большевизме служба в армии для интеллигентного юноши была, во-первых, сильным испытанием на прочность, во-вторых, точно рассматривалась наказанием: «не поступишь в институт, пойдёшь в армию» — будто в тюрьму. Государство, в котором солдатская служба выглядит наказанием лишь за то, что родился мужчиной, — недолговечно.

В конце 1901-го публикуются правила, которыми студентам предоставлялась возможность корпоративной организации, легализировались курсовые старосты, дозволялось устройство курсовых собраний, учреждение научно-литературных кружков, столовых, касс взаимопомощи итд, но всё это было обставлено такими стесняющими условиями, что студенты всё равно роптали нервическим ропотом.

Так, в области высшего образования Ванновский примирения не достиг. Зато в средней школе его деятельность оказалась «плодотворней»: греческий язык устранён из большей части классических гимназий и сделан необязательным для поступающих в университет.

Впрочем, реформы Ванновского до конца доведены не были¹. Сколь ни диковинно, февральский и особенно октябрьский

¹ 11-го апреля 1902-го, через несколько дней после убийства Балмашовым министра внутренних дел Дмитрия Сергеевича Сипягина, генерал Ванновский оставил свой пост (со страху?), а министром был назначен его заместитель («товарищ») — Зенгер. Академик Никодим Кондаков в письме Чехову (февраль 1902-го): «Если Ванновский выйдет, на его

перевороты 1917-го довершили процесс, начавшийся в недрах Министерства просвещения ещё в 1901–1902 годах, чем превратили изучение классической филологии в удел избранных энтузиастов, в элитное умственное предприятие. Может, так и должно? Зачем непременно всем разумным знать на утончённо высшей гуманитарной грамоте? Кому же тогда стоять в позе удивления? «Мандельштам, чеши собак!»

К вопросу об отношении Кулаковского к развитию среднего и высшего образования на классицистической основе я вернусь в своём месте.

Здесь стоит вспомнить статью Льва Толстого «Воспитание и образование», в которой назидательнейший писатель ещё в 1862-м здравосмысленно указывал, что для него

«одинаково возмутительны гимназия с своею латынью и профессор университета с своим радикализмом или материализмом. Ни гимназист, ни студент не имеют свободы выбора. По моим наблюдениям, даже результаты всех этих родов воспитания одинаково уродливы. Разве не очевидно, что курсы ученья наших высших учебных заведений будут в XXI веке казаться нашим потомкам столь же странными и бесполезными, какими нам кажутся теперь средневековые школы?.. Сколько бы признанных всем миром мудрецов и почтенных по характеру людей не утверждали, что для развития человека полезнее всего выучить латинскую грамматику, греческие и латинские стихи в подлиннике, когда их можно читать и в переводе, я не поверю этому так же, как не поверю тому, что для развития человека нужно стоять три часа на одной ноге».

Кроме максималистского нигилизма (впрочем, темпорально верного), горячим суховеем сквозящего в этом размышлении, хочется обратить внимание на последние слова: автор почти дословно (сознательно или бессознательно) использует строчку Горация о поэте-памфлетисте II века до Р. Х., «творце римской сатиры» Гае Луцилии: «*In hora saepe ducentos, Ut magnum, versus dictabat suans pede in uno*» — «Он считал за великое дело Двести стихов диктовать, на одной ноге простоявши» (Са-

место будет, вероятно, назначен Зенгер, карьерист, но умный. Этот последний относился враждебно к совершающейся ныне реформе средней школы — очень уж безобразно составлена комиссия, из невежд, жалких угодников. Туда попал даже пресловутый [Николай Ефимович] Чижов, полуидиот, одесский профессор». В аналогичную комиссию Зенгером был назначен и Кулаковский.

тиры I 4, 10). Странно слышать из уст человека, порицательно относящегося к древним языкам и классической образованности, цитату из древнего поэта. А при том, что Толстой недурно знал древние (и новые) языки, его высказывание удивительно тем более, что речь идёт о России середины XIX века — царстве, в котором просвещение (тем более высшее) было делом, как говорят, «на ущербе».

Вот ведь насмешник Лев Николаевич. Пожалуй, если человеку нет надобности (и желания) знать древний язык, не обязательно стремиться в гимназию или университет: реальное училище и должность гражданского инженера — не худший статус. Стоит ли заниматься тем, что не по душе, что не принесёт положенья после нескольких лет излишних мучений?

Как бы ни было, Кулаковский мог повторить вслед за Желобёвым, что в гимназии и университете он «древними языками занимался без всякого отвращения и не без успеха», и уже наверняка увлечение древностью было у него, как всякое удивление, искренним.

Пастернак в начале «Доктора Живаго» по аналогичному поводу писал, что «ни одна из книг, прославивших впоследствии Николая Николаевича, не была ещё написана. Но мысли его определились. Он не знал, как близко его время».

Первая заграница. Исправив в Лицее меньше года (март 1877 — январь 1878) должность тьютора (англ. *tutor* — репетитор, наставник, младший преподаватель), — «допущен к исправлению должности тьюторского помощника при Лицее Цесаревича Николая с преподаванием латинского языка в 3-м классе. Утверждён на двадцать втором году [жизни] в вышеуказанной должности тысяча восемьсот семьдесят седьмого года марта четырнадцатого дня», — с января 1878 по осень 1880-го Кулаковский — пансионер в германских филологических центрах: Бонн, Тюбинген и Берлин. Были тогда в полумонгольской феодальной России такие учёные блага.

Эта почти трёхлетняя поездка стала возможной благодаря финансированию Министерства просвещения, которое, понятно, мыслило в развитии классического образования залог устойчивости державного строя («Командирован за границу с учёной целью на 2 года на счёт сумм Министерства народногo просвещения в размере 1500 р. в год — 30.XII 1877 »).

Сергей Перевалов напомнил, что

«кандидат на поездку получал на руки довольно крупную сумму, коей свободно распоряжался, самостоятельно составлял программу своих научных занятий, определял маршрут путешествия сроком, как правило, на 1,5–2 года. Поскольку ведущей страной в антиковедении в ту пору была Германия, её и выбрал Кулаковский для командировки».

Не чудо ли? — в Европу на три года; на полном иждивении; для удовлетворения научного любопытства.

Вокруг тебя библиотеки, пахнущие кожей переплёты, лаковая мебель покрытых сукном письменных столов, запах чернил «чернять дубом с железинью», выметенные улицы, водопровод, стройная общественная стратификация (*suum cuique*), чистые купе, чистые воротнички, чистые руки, речь без подольского суржика и поволжского оканья, театры и музеи, ставившие и хранившие вместе с архаическим современное, и странные многоэтажные люди, говорящие так, как никто кроме них не говорит. Но эта инъекция культуры только на три года.

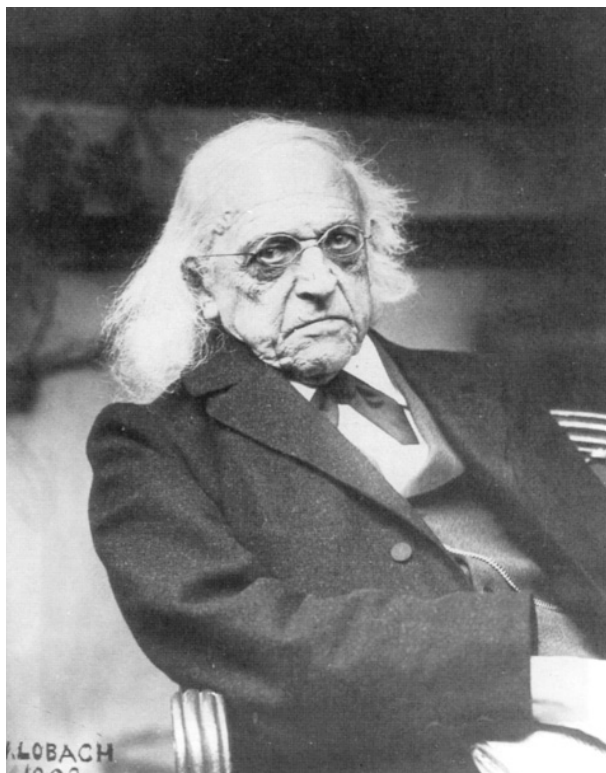
Так, в Тюбингенском университете Кулаковский послушал лекции Альфреда фон Гутшмита, «реабилитации учёной памяти которого он посвятил [позднее] страстную заметку на страницах “Филологического обозрения”, побуждённый к этому, — по мнению Варнеке, — рискованной попыткой [Карла Генриха] Гессельмейера одну свою весьма неудовлетворительную работу прикрасить авторитетом тюбингенского профессора». Итд.

Моммзен. Особое, самое яркое, на всю жизнь впечатление на молодого московского кандидата произвели несколько берлинских лекций (зимний семестр 1878/79 учебного года) знаменитого Теодора Моммзена (1817–1903) и участие в его семинаре (летний семестр 1879 года) по римской эпиграфике.

Как сухо отмечает Алексей Соболевский, «воздействие последнего заметно отразилось на трудах Ю. А. в первый период его учёной деятельности». Только ли в первый?

О том же самом твердит Деревицкий:

«Моммзен оказал огромное влияние на весь ход и направление занятий Ю. А. Кулаковского. Кроме лекций по истории Рима, он слушал у него курс римской эпиграфики и участвовал в практических занятиях <...> Увлекаясь примером его гениального руководителя, он уже тогда сосредоточил внимание на некоторых вопросах, которые впоследствии



Теодор Моммзен

послужили ему темами для собственных исследований. Отсюда, из аудитории Моммзена, вынес он никогда потом не покидавший его интерес к тёмным проблемам начальной истории Рима, к его военной истории, к вопросу о развитии в древнем Риме различных общественных организаций, так называемых “коллегий” и “товариществ”, — словом, к всему тому кругу явлений римской жизни, к которому относятся учёные работы первого десятилетия его профессорской и писательской деятельности.

Что воздействие Моммзена было впечатляющим, захлёстывающим сознание, будто девятый вал, свидетельствует, по замечанию Э. Фролова, что название выпускного университетского сочинения Моммзена, посвящённого религиозно-профессиональным корпорациям и сообществам римлян, «De collegiis et sodaliciis Romanorum» (1843), «под копирку» совпадает с названием магистерской диссертацией Кулаковского: «Кол-

легии в древнем Риме: Опыт по истории римских учреждений» (1882), хотя предметы в них обсуждаются разные.

Быть может, переводя на русский язык заглавие Моммзенной диссертации, но посвящая её несколько иным вопросам, 27-летний учёный желал прослыть «русским Моммзеном» — по крайней мере, в лице тех, кому имя и труды Моммзена известны. Всё-таки была у него нормальная страсть к убеждённому осознанию личностной исключительности. Показное самоуничтожение — жест непоказно сомневающегося, а мания величия, как говорил Черчилль, «единственная форма здравомыслия».

Моммзен до сих пор — столп римской истории. Его краткий курс по эпиграфическим древностям, который — в числе прочих слушателей — выслушал Кулаковский, следует полагать, окончательно подвиг будущего киевлянина к специальным занятиям именно в этой области.

В сфере римской эпиграфики, по признанию Кулаковского, искал он «вопросов для специальных работ и, после нескольких опытов, поставил себе задачей обработать обширный материал по вопросу о коллегиях в римском мире».

«Мне хотелось, — уточняет, — между прочим порешить на основании всего ныне находящегося в обладании науки материала давно поставленный, но весьма спорный и трудный вопрос о том, в какой степени ремесленные общества, существовавшие у римлян, могут быть сближены с теми, которые под именем цехов получили такое широкое распространение в городских общинах средневековой Европы».

Как увидим позже, задача, научное поле для которой было вспахано Моммзеном, благодаря тщанию Кулаковского дала колосющиеся всходы. Отчасти им же был сжат и урожай.

В эмоциональной речи по поводу кончины Моммзена Кулаковский восхищённо вспоминает:

«Мне лично пришлось учиться у Моммзена, когда он был уже старцем и помышлял оставить преподавание <...> Кажется, я выражу чувство всей тогдашней аудитории Моммзена, если скажу, что он вызывал к себе благоговение. Помимо его славы, так действовал и самый вид этого человека. На маленьком тщедушном теле красовалась чудесная голова с острыми чертами лица, изрытой морщинами кожей, правильным носом, большим ртом, с великолепным ореолом поредевших уже волос».

Это впечатление должно было быть тем более сильным, что речь шла о взаправдашнем «великом и властном царе науки».



Берлинский университет имени Гумбольдта (*Alma Mater Berolinensis*)

Тот раздел классической филологии, где собственно филология срастворена с историей, в европейской науке *эры позитивизма* привлекал учёных именно филигранностью отделки исторической детали, поставлявшейся данными эпиграфики. Не удивительно поэтому, что Кулаковский, заряженный энергией моммзеновских идей, привёз их в Россию уже акклиматизированными к этой, быть может, и поначалу чужой для них почве. Эдакие вкусенькие «бере зимние Мичурина».

Так, через несколько лет, чуть поостыв от германских учёных впечатлений, он скажет, что

«теперь более чем когда-либо нужны нам учёные деятели на почве изучения классического мира; теперь является настоятельная необходимость, чтобы в целой фаланге деятелей, посвятивших свою жизнь изучению классического мира, осмыслить у нас это направление, чтобы оно стало своим, туземным, родным, чтобы мы могли стать на свои ноги, отрешиться от постоянной зависимости от западной науки, которая убивает нашу собственную продуктивность, делает нас рабами чужих знаменитостей, лишь отразителями тех движений и направлений, которые текут и сменяются в богатой западной науке».

Моммзен непременно входил в число чужих знаменитостей, и русак Кулаковский, негодуя по этому поводу, тем са-

мым в глазах аудитории утверждал себя как будущую «туземную» знаменитость. Между нами, мальчиками, говоря, он имел для такой самооценки уже тогда известные основания.

Стоит согласиться с Робинот ДЖ. Коллингвудом, что оставленное Моммзенот наследствот «в современной историографии, если брать фактографическую сторону, состоит <...> в комбинации беспрецедентного мастерства в решении маломасштабных проблем с беспрецедентной беспомощностью в решении проблем крупномасштабных».

«Так, Моммзен, этот величайший историк позитивистской эры, оказался в состоянии составить корпус надписей или учебник римского конституционного права, проявив при этом почти невероятную точность. Он смог показать, как, используя его корпус и обрабатывая, например, военные эпитафии статистически, мы можем установить, где набирались легионы в различные периоды римской истории. Но его попытки создать историю Рима прервались на том самом месте, где его собственный вклад в римскую историю начинал становиться значительным. Он посвятил всю свою жизнь изучению Римской империи, а его “История Рима” кончается битвой при Акциуме».

Не важно, что историк Коллингвуд не вполне точен в факте (битва при Акции, в которой Антоний потерпел поражение от Августа, произошла в 31 году до Р. Х., а Моммзен заканчивает «Историю Рима» 46-м годом до Р. Х. — победой Юлия Цезаря в битве при Тапсе), главное схвачено пронциательно.

Действительно, — и это будет явствовать из трёхтомной «Истории Византии», написанной маститым исследователем, из учёных отзывов на неё, — умение виртуозно составлять исторические факты, взятые из разрозненного эпиграфического, агиографического и летописного материала, порой идёт вразрез с аналитической способностью пользования ими для сочинения труда, в котором имя исследователя превращает этот труд в увлекательный научный роман, в остренькое по концепции произведение, «литературный памятник», никем иным не могущий быть созданный. Школа Моммзена конвенциально сказала и в этом.

Однако такие упрёки, несмотря на их внутреннюю, как мне видится, непротиворечивость, лишены основания по отношению к тем исследователям древностей, которые долгом считали — и по праву — подготовить фактологически выверенное

историко-археологическое основание для дальнейших научных рефлексий, для работ того же Коллингвуда, Тойнби, Ясперса и — на худой конец — Освальда Шпенглера и Карена Свасьяна.

Прав Кулаковский, утверждая, что

«нерасторжимыми узами связал Моммзен своё имя с Римом, и та вечность Рима, в которую верили римляне, когда влагали эту веру в легенду, когда говорили о ней устами своих поэтов и гордыми словами историков даже в ту пору, когда настоящее было омрачено готской угрозой, а в грядущем уже виднелись тучи готского нашествия, та вечность, не посрамившая веры древних, — будет уделом и для имени Моммзена».

Зять Моммзена, не менее знаменитый учёный-археолог Ульрих фон Виламовиц-Мёллендорф (был женат на Доротее, старшей дочери Моммзена), в латинской автобиографии 1928 года признавался: «меня ужасала в нём необузданность по части вина, языка и тщеславия» (*nam perhorruí in eo impotentiam et vini et linguae et ambitionis*). «Наконец, сходным образом, своим невольным примером, он научил меня не только переносить обиды, не теряя приязни и восхищения его умом, но и оплачивать услугами». Трудно жить рядом с многоэтажными людьми. Зато интересно чертовски.

Всемирная слава Моммзена не давала Кулаковскому покоя. Можно представить, как он в 1902-м встретил известие о Нобелевке Моммзена по литературе за «Римскую историю».

Уже через год, в ноябре 1903-го, в речи «Памяти Моммзена», несколько раз переиздававшейся, Кулаковский говорит:

«Свою задачу историка Моммзен понимал как полный отчёт о судьбах народа во всём объёме его творчества политического, духовного, словесного и художественного, и он сумел и смог дать полную картину. Он совместил в себе критика, стоящего на высоте учёной разработки материала, с блестящим повествователем и глубоким мыслителем <...> Моммзен одолел свою колоссальную задачу сразу, и дал в свои молодые годы цельную критическую и в то же время художественную римскую историю <...> Подобно древнему историку Ливию, Моммзен становится всё более и более полным в своём изложении по мере приближения к эпохам, где уже критика предания позволяет историку чувствовать под ногами твёрдую почву современных записей о событиях, и наибольшей полноты и цельности его изложение достигает там, где наши источники не только восходят к современным записям, но дают подчас живую летопись

изо дня в день, хотя и в субъективной окраске переживающих те времена людей <...> Он шествует царственным путём своего универсального знания, своего понимания, своего проникновения в смысл и дух политической жизни античного мира».

Не замыслил ли он, чтоб о его трудах сказали в тех же выражениях, с той же восторженной интонацией, когда останутся лишь труды?

В этой связи трудно согласиться с Ключевским, который сетовал, что привозная с Запада наука надолго оставалась бесплодной для российской жизни, поскольку встречалась с житейскими понятиями и порядками, чуждыми этой науке и, не трогая окружающих, оставалась нарядной и бездеятельной роскошью отдельных умов (из записей 1909-го). Да где это видано, чтобы наука, притом гуманитарная, глубоко проникала, «трогала» толщу обывательской «русской жизни»? Разве могли спасти от имперского умственного бездорожья исправные берлинские калоши?

Показательно: и магистерскую диссертацию, и «Историю Византии» Кулаковский назвал по-моммзеновски: в незатейливом названии «История Византии» аллюзия с не менее лапидарным заглавием Моммзеновой «Истории Рима».

Ещё деталь. Сейчас трудно свыкнуться с мыслью, что историей античности занимались преимущественно не историки, а филологи: историки занимались Новым временем.

Здесь, в связи с Моммзеном, стоит привести его восклицание, сделанное с бокалом вина на студенческой вечеринке, созванной по инициативе слушателей летом 1879-го (среди участников её был и Кулаковский) в одной из берлинских *Weinkneipe*: «*Es lebe hoch unsere deutsche Philologie... nicht Geschichte, nein... Philologie soll leben!..*» — «Да здравствует наша немецкая филология... не история, нет... Филология должна жить!..» Вероятно, не окажется натяжкой возглас престарелого патриарха классической филологии¹ вложить в уста его

¹ По образованию Моммзен был не филологом, а юристом, потому и смог, по удачному замечанию Михаила Леоновича Гаспарова (1935–2005), сделать переворот в римской историографии, и «в своём завещании писал о себе приблизительно так: “мне пришлось всю жизнь работать среди историков и филологов, не будучи ни тем, ни другим, и мне стыдно”» (открытие А. Пучкову от 19.02.2001). Жюль Верн тоже был юристом.

вдохновенного слушателя, ведь Кулаковский оставался филологом даже тогда, когда внешне становился похож на историка, примеряя перед большим научным зеркалом платье византийского кроя.

Некролог Моммзену 1903 года, сочинённый через четверть века после юношеских впечатлений, следует признать главным его текстом, помогающим понять — посредством объекта восхищения — научные, политические, человеческие и прочие взгляды и качества самого Кулаковского.

Среди научных, например, рассуждение о методе Моммзена в его «Истории Рима», которым Кулаковский будет пользоваться не без успеха не только в «Истории Византии»:

«Моммзен не повёл своего читателя на путь непосредственного извлечения из источников того, что можно признать достоверным в свидетельствах предания посредством его всесторонней критики; но, обобщив своё критическое отношение к традиции, предложил связный обзор тех фактов, которые он признал подлинным и достоверным или, по крайней мере, вероятным зерном её».

Не о том ли впоследствии напишет Люсьен Февр в «Суде совести истории и историка» (1950-е)?

«Поля истории усеяны горами камней, кое-как отёсанных добротными каменщиками и брошенных на месте без употребления... Камни эти ждут толкового архитектора, не особенно, впрочем, надеясь на его приход, но мне кажется, что если он и впрямь появится, то обойдёт стороной эти бесформенные завалы и начнёт строительство на свободной и пустой площадке. Здесь — механический труд, там — творческий порыв».

Кулаковский о страстности исторического письма, — «свободной и пустой площадке»:

«Умом, сердцем и страстью пережил Моммзен великую историю Рима до времени падения Республики и смерти первого императора. Свою страсть вложил он в самое изложение и трактовал борьбу политических партий в древнем Риме как живую историю настоящего. В нестройных, далеко не полных и часто неясных свидетельствах, дошедших до нас от времён Грахов и Суллы, умел он угадать живую действительность и дал полную картину исторической жизни, в которой действуют живые люди».

Вот сопоставление двух страстностей: ораторской и письменной — на примере Цицерона:

«Всем известны страстные инвективы Моммзена по адресу Цицерона, мнившего себя великим политиком, неустойчивого и вечно колебавше-

гося в своём отношении к нарождавшемуся новому порядку. Несправедливость Моммзена к Цицерону успела стать общим местом.

Упомянув об этом, я далёк от всякой мысли делать упрёк великому человеку, который стал сам достоянием истории нашего времени, и делаю это лишь для того, чтобы привести наиболее наглядное свидетельство о тоне и характере исторического изложения Моммзена.

Под пером Моммзена люди живут и борются со всей страстью, на какую они способны. Не сопоставление свидетельств источников, после их критической проверки, даёт Моммзен в своей истории, не свои гипотезы, построенные на этом основании, он излагает: он воссоздаёт картину исторической жизни. По условиям предания этого нельзя сделать для Цинцината, Кориолана, Спурия Кассия и даже Лициния, но можно для Гракха и Цезаря с их врагами и антиподами...»

И не кажется ли мрачным совпадение, что и четвёртый том «Истории Рима» Моммзена, и четвёртый том «Истории Византии» Кулаковского постигла одинаковая участь: пропали.

«Когда в 1880 году пожар опустошил квартиру и самый кабинет Моммзена, пошли слухи, что рукопись четвёртого тома истории сгорела, и в печати высказывались надежды, что гениальный старец найдёт в себе силы восстановить своё изложение.

Прошло несколько лет, и Моммзен дал продолжение своей “Римской истории”, но выпустил в свет не IV, а V том, и этим признанием промежуток как бы обязывался заполнить его».

Пожара у Кулаковского не было, он просто умер, и рукопись пропала (или хранится в каком-нибудь архиве). Дальше третьего тома он точно двинулся, а вот наличие сожжённой рукописи четвёртого тома «Истории Рима» усомнил:

«Вопреки широко распространённому мнению, что такая история была в бумагах Моммзена и её уничтожил пожар, позволяю себе думать, что это совсем не так. В зрелые годы Моммзена не прельщала мысль изобразить в живых образах деятелей, историю первых веков Империи, дать нам портреты императоров и их сотрудников в великом деле культурного роста античного мира. В отношении к этому периоду он стал историком фактов; таким он был в V томе своей “Римской истории” и в необозримом множестве этюдов и специальных исследований, которые продолжали появляться до самого последнего года его жизни».

Собственно, Кулаковский намекает на то же, о чём писал Коллингвуд.

Зато приёмы работы над «Историей Византии», выкукли-

вавшиеся у Кулаковского вскоре после некролога Моммзену, в 1906–1907 годах, он перенял у немецкого историка.

«Автор считается только с источниками и только их приводит. Учёных трудов своих предшественников и современников он не цитирует и не называет имён учёных, как соглашавшихся с ним и поддерживавших его воззрения, так и возражавших ему и развивавших мотивы своего разногласия. Он шествует царственным путём своего универсального знания, своего понимания, своего проникновения в смысл и дух политической жизни античного мира».

«Путём» того же аромата Кулаковский будет двигаться по брусчатке ромейской истории: видя лишь источники.

И в политическом смысле деяния Моммзена и Кулаковского имели близкие по характеру интенции:

«Пламенный немецкий патриот, он верил в счастливую звезду Пруссии и с увлечением пережил процесс воссоздания Германской империи под эгидой прусского короля.

В 1870 году, когда началась франко-прусская война, он писал страстные статьи, настаивал на исключительном праве германцев на Рейн, который со времён Цезаря несколько раз превращался в немецкую реку и опять утрачивал этот характер вследствие романизации населения. Резкий тон этих статей оскорбил французов, тем более что Моммзен до того времени пользовался самым искренним расположением императора Наполеона [III] и всеобщим вниманием со стороны представителей французской науки <...> Моммзен был членом прусского ландтага, где примкнул к партии национал-либералов. За одну свою речь 1883 года, где он резко нападал на политику Бисмарка, он был привлечён к суду, но был оправдан».

Вскоре после начала Великой войны, в связи с необходимостью эвакуации Университета св. Владимира в Саратов, на Совете Университета Кулаковский настаивал, что Университет св. Владимира может находиться только в Киеве, переживать вместе с ним его тяготы, и — противился эвакуации. Затем написал резкую, гневную статью против украинского сепаратизма, в которой особенно нападал на Грушевского. Едва не был избран от Киевской губернии во Вторую Государственную думу, но не очень-то ему и хотелось, а вот членом Киевского клуба русских националистов несколько лет состоял.

«Так хватало сил и чувств этого великого человека и на внимание к текущей действительности, сознательным и полноправным членом которой он себя чувствовал. Но не политика дала славу Моммзену».

Некролог Моммзену заключают латинские слова, взятые Кулаковским из финала Тацитового «Жизнеописания Юлия Агриколы» (полководца, наместника Британии и тестя):

«Если манам праведных будет уготовано особое обиталище, если, как утверждают философы, великие души не распадаются вместе с телами, покойся в мире и призови нас и своих близких от бесплодной тоски и женских жалоб к созерцанию твоих добродетелей» («Si quis piorum manibus locus, si, ut sapientibus placet, non cum corpore extinguuntur magnae animae, placide quiescas, nosque domum tuam ab infirmo desiderio et muliebribus lamentis ad contemplationem virtutum tuarum voces, quas neque lugeri neque plangi fas est»).

Пожалуй, сам Кулаковский был бы не прочь, чтобы его некролог заканчивался с эдаким пафосом. Но в 1880-м некролог ему нужно было ещё заслужить.

Вячеслав Иванов, Моммзен и Кулаковский. На поминальную статью Кулаковского о Моммзене откликнулся в «Весах» (1904, № 11) другой его ученик — Вячеслав Иванович Иванов (1866–1949), который, будучи на одиннадцать лет младше Кулаковского, проучился у Моммзена девять семестров — с осени 1886-го по лето 1891-го, к 1895-му намереваясь представить учителю написанную по-латыни диссертацию о системе государственных откупов в Риме.

Докторскую диссертацию «De societatibus vectigalium» Иванов представил, но не защитил из-за двойственного отношения Моммзена к тексту (некоторые положения противоречили мысли учителя), зато сохранил тёплое, но не лишённое иронии, чувство к старому историку.

В сей день счастливый Моммзен едкий
Меня с улыбкой похвалил.
Он Ювенала очертил
Характеристикою меткой,
Тревожил искры старых глаз
И кудрями седыми тряс.

Вот текст этой рецензии.

«Русский ученик возлагает венок на гроб Моммзена... Красивый очерк исполнен сердечной теплоты и благоговения к великой тени, естественных в том, кто сам, как говорят немцы, “сидел у ног” гениального учителя. Автор даёт несколько биографических черт и личных воспоминаний; но главную целью ставит себе — растолковать задачи и значение



Вячеслав Иванович Иванов

гигантской учёной деятельности чудотворного историка — юриста-филолога. Ибо Моммзен (как признавал он сам в одном из своих циркулярных благодарственных заявлений, обращённых к его почитателям) был деятелем того освободительного движения в современной науке, которое ищет разрушить искусственные перегородки факультетов.

С особенною обстоятельностью г. Кулаковский говорит о Моммзене как о творце монументального собрания латинских надписей, как об основателе современной эпиграфической дисциплины и эпиграфического метода. Наиболее знакомый большинству, Моммзен-историк также с любовью охарактеризован составителем очерка. Бледнее изображение Моммзена-юриста, и кажется, что автор колеблется в установлении точки зрения на “Roemisches Staatsrecht”, книгу, которая должна быть, однако, признана величайшим творением этого ума, равно дивного по силе анализа и синтеза. Подобно тому, как Кант редко бывает постигаем в своей двойственной целостности, как критик “чистого” и “практического” разума вместе, — так многим (сошлёмся, например, на полемики проф. Грима в Петербурге) как бы противоречием в Моммзене представляется, при его глубочайшем проникновении в исторически конкретное, эта попытка отвлечения правовой идеи, в её логическом развитии, из нестройной и внутренне нецельной, исторической действительности.

Но что может оказаться опасным при исследовании других исторических организмов, — было необходимо в отношении к римскому: римляне не могли принять действительность в иной схеме, чем та, которую вскрывает юрист-Моммзен; он научил мыслить о Риме по-римски, — и римские формы стали впервые мыслимы.

Он был настолько юрист, что не мог обходиться без дедукций; эмпи-

рическому изучению древности он дал тем как бы математическую основу. Поразительна острая меткость, с которою он схватывает глубочайшее существо, зерно-понятие изучаемого явления, чтобы с крайнею энергиею логического процесса развить затем из него необходимые следствия, надёжные опоры дальнейшего анализа. Таков Моммзен в своём “Государственном праве”, таков он и в кругу своих учеников, когда сразу ослеплял автора студенческого исследования внезапным разоблачением жизненного нерва затронутой темы, с открытием которого вся задача вставала непредвиденной и новой. Быстроокий синтетик упреждал в Моммзене зоркого аналитика; и энергия того и другого была такова, что обусловила физиогномические черты писателя и человека.

Крупный мастер стиля, Моммзен писал периодами; ибо только в периоде, с его внутреннею координацией и субординацией, могли сочетаться в необходимом взаимодействии синтез и анализ. Период Моммзена — не период внешней соразмерности и согласия: это живой механизм мышц и жил, пластика борьбы, охвата и преодоления. Нам непонятно, как г. Кулаковский мог находить его беседу мало оживлённою: какие искры поминутно тревожили острые глаза подвижного старика, какие молнии мыслительного одушевления бороздили его вообще спокойную речь, поверит и не видевший его, — *le style, c'est l'homme* [«стиль это человек»] (Ж.-Л. де Бюффон)]. Нам казалось, что на нём воочию можно наблюдать холеризм гения. Волевою избыток мыслительной энергии, привычка доводить мысль до её последней остроты, привычка глядеть на всё с высоты исторического трибунала (он был в своём мире поистине государственный человек, как он был и римский стратег-техник) — увлекали его в его политических суждениях до тех крайностей, каких не могут простить ему, например, славяне.

Но он знал, что немцы и славянство — враги не на жизнь, а на смерть; он был одним из энтузиастов того национализма, который был в его время освободительной силой; он разделял догмат времени о государстве как высшей цели народных культур. И его темперамент был тот бес, что нащёптывал ему злые выходки и едкие остроты вроде знаменитой и озорной о Наполеоне III, его гостеприимце и почитателе, в “*la Perseveranza*” [“Усидчивости”], — будто Вторая империя хотела подчинить полсвета господству полусвета. И — *last not least* [последний не в последнюю очередь] — он был поэт, то есть существо, которому с тою же лёгкостью прощают излишнюю возбудимость, с какою приписывают известную невменяемость. Он не только любил выступать переводчиком стихотворцев, но в молодые годы, в годы странствий по Италии, был и самостоятельным лириком: большая часть стихотворений в незабвенной книжке “*Lieder-*



Поневеж. Базарная площадь, фото конца 1890-х

buch dreier Freunde” [“Песенник трёх друзей”] написана им. Задолго до Вагнера он умел подслушать в природе мелодии, —

Dem Liede gleich von Tristan und Isolde

[Песни прямо из Тристана и Исольты].

Очень желательно издание всех его многочисленных ненаучных работ. Из наших личных воспоминаний (он любил беседовать со своими студентами и угощать их в своей “тесной” вилле) нам приходит почему-то на мысль его меланхолическое предчувствие наступающего варварства: этому гуманисту казалось порой, что начатая его поколением культурная работа не найдёт продолжателей, что поднятые памятники древности снова будут подавлены долгою ночью...»

В программной книжке «Дионис и прадионисийство» (издана в Баку в 1923-м), за которую Иванов решением Учёного совета Бакинского университета был удостоен степени доктора филологии, он ссылается на место из лекций Кулаковского «Смерть и бессмертие в представлениях древних греков» (1899), где тот обращается к оргиям Диониса.

Нарекая Кулаковского «почтенным русским исследователем», Иванов приводит цитату из его книги о том, что целью и смыслом оргий Диониса был экстаз («Древнейший смысл этого слова, как истолковывали сами древние, есть выхожде-

ние души из тела») и комментирует эту цитату на нужный ему лад, присовокупляя объяснения вакхических состояний по Аристотелю. Это случится через несколько лет после Красной Поляны. Летом 1923 года Иванов в письме Брюсову жаловался, что не может прислать свою книгу, «потому что Наркомпрос, с трудом выкупивший её у Полиграфтреста (ибо печатание обошлось дорого), захватил весь небольшой завод издания». Кулаковскому — одному из немногих специалистов — книга тоже не досталась бы, тем более что в 1923-м он уже четыре года как был мёртв.

Но живя вместе с семьёй Владимира Фёдоровича Эрн и женой на даче Кулаковского в Красной Поляне напряжённым летом 1916 года, Вяч. Иванов за вечерним чаем наверняка припоминал и причудливые черты их германского наставника, и общий интерес к эллинской эсхатологии.

Итальянское. Весной же 1880-го Кулаковский метнулся из Тюбингена в Италию, где, по всему вероятно, летом наведался и в Помпеи.

Племянник Афанасия Афанасьевича Фета Пётр Иванович Борисов (1858–1888), соученик Кулаковского по Лицею Цесаревича Николая и Университету, чуть сбивчиво упоминал о нём в письме дяде 23.05.1880 из Йены.

«Внешняя история моя за это время следующая: в воскресенье я проехал в Баден-Баден, в понедельник подъехал Кулаковский из Тюбингена, и мы с ранцем, попеременно носимым за плечами, отправились в Шварцвальд <...> Кулаковский, много ездивший по Европе и теперь только что вернувшийся из Италии (а у него всего только средств, что стипендия — 1500 р., и с этим он всё-то умеет делать — конечно, роскоши себе не позволяет и не щеголяет галстуками!) <...> от рассказов о московских профессорах или выдающихся студентах и магистрантах мои товарищи переходили к разбору той или другой новой книги, рассказывали ту или другую черту жизни Павла Михайловича [Леонтьева] и Михаила Никифоровича [Каткова] — потом приходили на очередь наши лицейские воспоминания, потом опять обсуждалось то или другое новое сочинение <...> и наконец Кулаковский, по поводу того или другого слова или вида, вспоминал Италию, откуда только что вернулся <...> (он привёз много прелестных и очень дешёвых римских фотографий) — и музеи, в которых

И целомудренно и смело,
До чресл сияя наготой,



Вильна. Кафедральный костёл св. Станислава, 1783–1801, архитектор Лауринас Стуока-Гуцявичюс, фото конца 1890-х

Цветёт божественное тело
Неувядаемой красой.

(Ты это писал, если не ошибаюсь, о не-итальянской Венере — Кулаковский говорит, что многие итальянские напоминают эти слова <...>).

Борисову здесь 22 года, Кулаковскому — 25, интерес к итальянским и неитальянским Венерам объяснять не стоит. А вот обсуждение новых сочинений — стоит.

Первопечатное. В начале 1880-го, ещё до поездки в Германию (и Италию), Кулаковский опубликовал первый труд: «Критическая разработка источников древнейшей римской истории» (*Критическое обозрение*, 1880, № 1), посвящённую разбору монографии Карла Людвиг Петера (1808–1893) «Zur Kritik der Quellen der älteren römischen Geschichte [К критике источников ранней римской истории]» (Halle, 1879) и готовил вторую — для ЖМНП.

Считалось: если ты опубликовался в ЖМНП, значит, можешь держать себя за учёного — о тебе «узнала Россия». (Это не нынешние пресловутые *Scopus*, *Web of Science* итд — полуприватные отстойники для недужных околонучных писателей.) В июльской книжке ЖМНП появилась большая статья «Praemiae Militae в связи с вопросом о наделе ветеранов земель», в августовской — рецензия на книгу профессора грече-

ской словесности Варшавского университета Филиппа Никитича Дьячана (1831–1906) «Геродот и его музы: Историко-литературное исследование. Часть 1» (Варшава, 1877), и о филологе-классике Кулаковском узнали.

В 1882-м он печатает в ЖМНП «Отношение римского правительства к коллегиям (в первые три века Империи)» (№ 1) и «Коллегии в среде рабов в Римской империи» (№ 6). Неглупый юноша кормился рецензиями в прямом смысле слова: если Алексей Сергеевич Суворин платил Антону Чехову 12 копеек за строку в «Новом времени», то научные журналы в зависимости от тиража и «столичности» благодарили авторов пятнадцать–двадцатью рублями за печатный лист.

Система российских гонораров за публикации в периодических «толстых» и научных журналах, введённая «Бароном Брамбеусом» (Осипом Сенковским), до сих пор не изучена, но в приблизительной соотнесённости картинка выглядит так: учёный получал примерно вдвое меньше писателя. Для сравнения: оклад ординарного профессора составлял 250 рублей в месяц, фунт пшеничной муки (0,5 кг) стоил 8 копеек, судак с потрохами — 25 копеек за фунт. Печатными листами рецензии, как правило, не пишутся (если не разгромные), но и те «четвертушки» и «половинки» листа, которыми промышлял начинающий приват-доцент (получавший 100 рублей в месяц — по-своему тоже немало), были известным подспорьем в холостяцком бюджете: хватало и на конную езду в Голосеево, на книги и меблированные комнаты, на эпизодичный ресторанный обед.

Быть может, у Кулаковского не было краснощёкого беллетристического таланта, — у него была умственная хваткость, и он напоминает комнату, в которой даже днём горит лампа.

«Указом Правительствующего Сената от 25 ноября 1881 г. за № 149 произведён за выслугу лет в коллежские асессоры со старшинством с 14.III 1877», что соответствовало VIII классу Табели о рангах, майорскому чину пехоты или капитан-лейтенанту гвардии. «Зато был фрунтовой профессор! / Но фрунт герою надоел — / Теперь коллежский он асессор / По части иностранных дел!» (Пушкин), «ваше высокоблагородие», гоголевский Ковалёв, предпочитавший называться майором. Надо думать, к чином и орденам Кулаковский относился спокойно: будто к поручням на служебном подъёме.



Вильна. Железнодорожный вокзал, 1862, открытка конца 1890-х

«Первое, что бросалось в глаза в характере Юлиана Андреевича, — вспоминал Маркевич, — это была его живость, горячность. Эти свойства молодости он сохранил и в зрелые годы, и они невольно влекли к нему, так как всегда были полны искренности, чуткой восприимчивости, как бы юношеского пыла. Эта его горячность рельефно сказывалась и в том увлечении, с которым входил он в ту или иную область научных изысканий; она проявлялась и на учёных съездах, в которых он принимал участие, например, Виленском, Харьковском, Киевском 2-м <археологических>, и в его учёной полемике, и в выражении любви к родине».

И, добавлю, даже в почерке: стремительном, неразборчивом. Если верно, что в почерке, как в характере, есть неизменные привычки, которым человек повинуетя инстинктивно и против которых воля бессильна, — по почерку Кулаковского можно угадать такую степень внутренней свободы, законченность и простоту, которые ныне забыты и которые сохранились, быть может, у поэтов, переставших пользоваться авторучкой. Потому что точка приложения таланта по-прежнему не важна: важен талант.

В юности всегда боишься не успеть, пришпоривая пегаса, в зрелости удивляешься, отчего пегас тогда не сбросил седока.

Юноша из провинции, сирота, не без способностей, вкалывал так, как иным, доходно-дородным, в страшных снах не сни-

лось. Пока же просто вкалывал, без оглядки, впрочем, находя силы пребывать в неизменном размышлении, скрываемом от окружающих.

Под самой крышей светится окошко:
Ночь напролёт там бледное лицо
Склоняется над книгами. Быть может,
Он сочинитель, или же учёный,
Или чудака умелец — лишь ему
И нужен свет в сем городе всю ночь.
Я вам скажу: не доверяйте свету,
Не так уж он всемогущ. Например:
Он разве проникает к нам в нутро?

Пер. А. С. Самойлова

Эти строки — из драмы Юстинаса Марцинкявичюса «Соброр» (1970), которая посвящена Лауринасу Стуока-Гюцявичусу (1753–1798), архитектору и бунтарю, автору виленского Кафедрального костёла св. Станислава.

Труд и размышление очень скоро вытолкнут Кулаковского из социальной передней в гостиную.

Это позже, будто омочив коленки в державном «потоке становления», он не суетясь начнёт обсыхать на берегу.

КИЕВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,
РИМСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ, СКАНДАЛЫ
и СОСЛУЖИВЦЫ

Киев и другие столицы, 1880-е

*Ме́ра поступков задана продолжи-
тельностью солнечного дня в двад-
цать четыре часа.*

ЛЕ КОРБЮЗЬЕ

Киев был тихим, чаще шелестящим, реже цокающим.

Рина Зелёная, вспоминая о 1930-х, писала, что в Московском театре сатиры был маленький оркестрик, и один из оркестрантов, пожилой человек Исаак Абрамович Иткис обо всём узнавал позже всех. Другой музыкант, молодой скрипач Яша, рассказал Рине Васильевне историю.

Шли они с Иткисом после спектакля, и Яша, посмотрев на небо, сказал: «Как всё-таки странно представлять, что всё это мчится в бесконечном пространстве, и мы вечно несёмся куда-то». И дальше что-то банально-романтическое, вызревающее в сознании, когда задумываешься о высоком и суетности: при виде свежего покойника, «который утром ещё бегал», или «звёздного неба над головой».

Иткис между тем остановился и строго спросил:

— Что вы хотите этим сказать, Яша?

Когда тот ответил, что имеет в виду движение Земли в пространстве, старый Иткис потребовал более подробного объяснения. Яша стал разъяснять школьную пропись, мол, Земля вертится вокруг Солнца, Луна вокруг Земли, сказал про галактики и чёрные дыры. Образованный был скрипач.

Иткис слушал внимательно:

— Вы знаете, Яшенька, я теперь всегда буду ходить домой вместе с вами: от вас всегда услышишь чего-нибудь новенького.

Яша удивился:

— Вы шутите, Исаак Абрамович: неужели вы этого не знали?

— Откуда? — отвечал старик, — я всю жизнь прожил в Киеве.

В том самом Киеве, где в начале XX века не было ни электричества, ни трамваев, ни приличной канализации, ни даже телефонов. Что говорить о последней четверти девятнадцатого? По бокам скверно обрусчатченных кострубатых улиц, то карабкающихся вверх, то стекавших вместе с помоями, снегом и собачьим дерьмом, стояли белые одноэтажные домики, выкрашенные в бледно-голубое, и жёлтые кирпичные двухэтажные особняки, со всех сторон отороченные палисадниками, раз в году утеплённые ватой тополиного пуха.

Ещё, пожалуй, веяло каким-то старым хуторским Киевом, по которому до самой Троицы бродили богомольцы со всей Украины в живописных лохмотьях и онучах, источавших молочно-коровий дух.

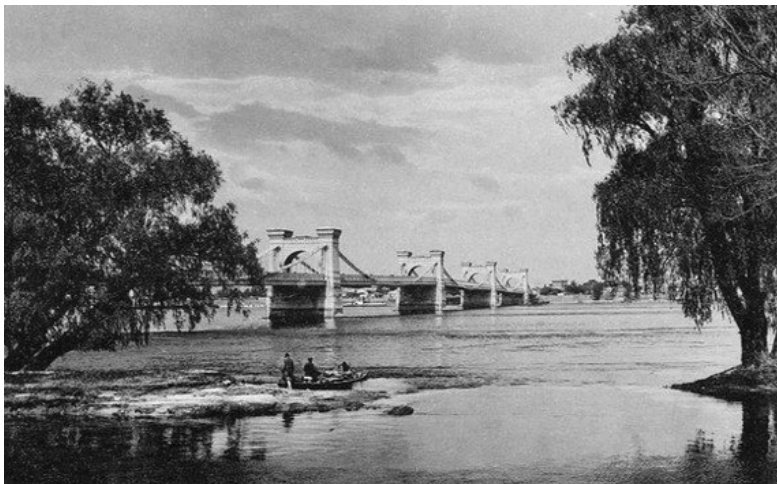
Эти люди пахли, как и жилища их, тухлой селёдкой — едва выносимым запахом нечистоплотности; люди-схемы, люди-статисты, шаркавшие поклониться лаврским святыням под «муаровыми лентами сумерек» (Бабель).

Только кроваво-чёрный фасад Университета и златоверхое (или зелёнокупольное?) торчащее вверх вымя куполов Святой Софии высились над «очень и очень» древним Киевом, господствовали же над ним пожарная каланча и сложноскрытые застенки Старокиевского полицейского участка.

Так или приблизительно так писал Мартирий Галин (1856–1943), хирург, генеральный хорунжий санитарной службы, возглавлявший в 1918-м терминологическую комиссию Министерства народного здоровья при ясновельможном гетмане Павле Петровиче Скоропадском.

Другой человек, писатель Вадим Собко (1912–1981), вспоминая университет, писал, что его береттиевский корпус был таким же красным, как и ныне. Довелось видеть его всяким: жёлтым (любимый цвет архитекторов классицизма), зеленоватым, серым; перекрашивали его многожды, но всё равно родная красная краска протискивалась сквозь наслоения, поскольку была вроде неуничтожимой сути университета.

Среди девяти университетов на территории тогдашней им-



Киев. Николаевский (Цепной) мост, 1848–1853, инженер Чарльз Виньольт, фото 1890-х

перии только киевский был выкрашен в красное с чёрным: не по Стендалю, а по цвету ленты ордена Св. Владимира. В конце концов, от перекасок, утомившись в борьбе с колоритом, отказались, наоборот — ещё более усилили красность красного и подсветили здание со всех сторон. Но это позже, в добродетельную эру электричества.

В Киев без электричества Кулаковский, навидавшись электрифицированной Европы, въехал на поезде из Москвы сырой осенью 1881-го. Скверно выметенная привокзальная площадь пахла свежеспавшим листом и прелью конского навоза.

Нащупывание. Лекции и семинарии Моммзена оставили правильный, надёжный оттиск на самом если не *методе* (тусклое слово), то на *подходе* к исследованию, пришедшимся Кулаковскому впору. Этот подход оказался ферментом, благодаря которому увлечение древностью — как уходом от действительности или приближением к ней с подветренной стороны — получило у молодого античника характерно-личностные очертания. Тайный советник Деревицкий написал:

«Большая часть его научных планов, осуществлённых потом в литературных работах, вышла отсюда, из круга его курсовых чтений, ближайшим предметом которых были латинские авторы, римская литература и история Рима, а впоследствии и Византии».

Со временем разумные люди, посмотрев в зеркало на научное мировоззрение, выяснят, что *метод* это внутренняя закономерность движения человеческого мышления, взятого как субъективное отражение объективного мира, или, что то же самое, — переведённая в сознании объективная закономерность, которая используется намеренно, планомерно как орудие объяснения (и изменения) мира вещей и явлений. Методом выступает не инструментарий, как будут полагать начётчики, а самое *мировоззрение*. Киевский философ Павел Копнин в середине 1960-х подчеркнёт, что успех человека в превращении внешней природы в свой мир зависит от того, каков человек (а не мир). Поскольку и собственный мир человек стремится изменять по *своему же* образу и подобию, а не по каким-либо иным причинам, — система его воззрений, то есть мировоззрение, и есть главный метод «о-своения» мира по мерке человеческой природы. И если Моммзен пытался обучить тем или иным приёмам такой переделки студияозуса в учёного, он действовал тоже «своим методом» — показывал, как нужно пестовать в себе форму научного мировоззрения, которая бы позволяла с максимальной степенью объективности переводить явления и вещи внешнего мира в явления и «вещи» мира внутреннего, то есть аналитически научного.

Что для этого, по большому счёту нужно? По-моему, всего два момента: 1) понимать, чем и для чего ты занимаешься тем, чем занимаешься, и 2) быть человеком.

Поскольку, как полагал Декарт, действие мысли, посредством которой мы думаем о вещах, отличается от действия мысли, посредством которой мы сознаём, что думаем о ней, — для выполнения первого условия нужно стремиться согласовывать первое со вторым, по мере сил отделяя эмоциональное восприятие от умственного; для выполнения второго условия, как предложил тот же Декарт, нужно стремиться побеждать скорее себя, чем судьбу, изменять свои желания, а не порядок мира, и вообще привыкнуть к мысли, что в полной нашей власти находится только наша мысль и что после того, как мы сделали всё возможное с окружающими нас предметами, то, что нам не удалось, следует рассматривать как нечто невозможное, а потому — усилий не стоящее. Особенно это относится к требованию от других людей, чтобы они соответствовали нашим



Михаил Тариелович Лорис-Меликов

о них представлениям. При соблюдении этих двух условий научность подхода к действительности станет более обоснованной, и постепенно можно будет каждому написать своё собственное «Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках». Я уверен, что Кулаковский, не столько послушав Моммзена, сколько *посмотрев* Моммзена как человека и учёного, тайно старался быть на него похожим в учёном действии и человеческом поступке.

По возвращении из Германии, вдохновлённый общением с одним из столпов европейской гуманитарной науки, он будто играючи, без проволочек весной 1881-го сдаёт в Московском университете магистерский экзамен, а с осени — по приглашению из Киева — начинает службу в Императорском университете св. Владимира, с которым свяжется *вся* учёно-педагогическая жизнь.

Почему именно Киев? Сложно ответить.

Конец 1870-х и начало 1880-х — годы революционного террора, народовольческих покушений на государя и высших сановников. Какая там «народная воля»? Хоть и не народная, а всё-таки воля: к *собственной* власти. Учини референдум, спроси, а потом «вольствуй». Так нет: без спросу.

Молоденький народоволец еврей-выкрест Ипполит Млодецкий 20.02.1880 совершил покушение на фактического прави-

теля тогдашней России, главу Верховной распорядительной комиссии по подготовке конституции графа Михаила Лорис-Меликова (1825–1888). Хотя пуля лишь слегка попортила графский мундир, молодчика арестовали и через сутки прилюдно вздёрнули на традиционном Семёновском плацу. Впечатлительный писатель Всеволод Гаршин (1855–1888), умолявший графа простить Молодецкого, узнав о казни, свихнулся. С писателями это бывает.

Достоевский, пришедший посмотреть на повешение, припомнил собственный тридцатилетней давности позор на этом же месте, и наверняка «проверил» правильность описания казни в «Идиоте»: в не меньшей степени, чем революции, автор «Бесов» страшился контрреволюции. Кто их поймёт, писателей. Зато власть знала толк в театральные извращениях.

Свежий царь. Через год после этого покушения, 1 марта 1881-го в столице был смертельно ранен — бери выше — император Александр II.

Шкловский удивлялся: почему бомбу бросают в царя, а гибнут конвойный и мальчуган из мясной лавки? Лес рубят.

Павел Николаевич Милуков записал:

«[Московский] университет, избалованный невмешательством властей, забушевал <...> Но это были уже последние дни лорисмеликовского либерализма <...> Студенчество всё ещё не понимало, что его дело было проиграно. Студенческие сходки были запрещены».

Да и государство как-то вяло умеряло пыл недовольных: невмешательство хорошо в делах зарубежных, но во внутренних — «учёт и контроль»: позднее умный Ленин покажет народу, особенно тем, кто больше всего возмущался, козью морду. Что, вразвалочку вздумали? Строевым!

В России, недавно, после полвека затухания декабризма, вспомнили, как следует закручивать гайки. Александр II поручил это деликатное дело сначала министру внутренних дел графу Михаилу Тариэловичу, вновь помазанный на царство Александр III — новому министру графу Николаю Павловичу Игнатьеву (1832–1908), и тот вместе с умнейшим Константином Петровичем Победоносцевым (1827–1907) справились: революционные бесчинства подавлены крутыми репрессиями, и в политической жизни наступило затишье. Хотя Россию изнутри колошматили, меры смирения общественных беспорядков,



*Профессора историко-филологического факультета
Императорского университета св. Владимира, фото середины 1880-х*

без особенных моральных околочностей, тогда принимались
вовремя, in situ. Политика «перманентной провокации» со сто-
роны жандармов принесла плоды, и бомбисты с народовольца-

ми, все эти гриневицкие, желябовы, халтурины с перовскими потихонечку сгрызли друг друга грызом подозрительности.

Впрочем, не совсем: большинство закомплексованных просто притихли до начала XX века, и — всё сначала.

53-летний Лев Толстой и 26-летний Вл. Соловьёв (о котором отдельный сказ) с позиций *абстрактного гуманизма* обратились к Александру III с внушением о помиловании убийц его отца. Царь не обратил внимания: «вор должен сидеть в тюрьме», убийца — болтаться в петле, а подставляние щёк для побоев и вечерние разговоры о всеобщем человеколюбии оставим нервически курящим философам и обеспеченным гонорарами литераторам; и без них вся морда от затрещин опухла.

Не в последнюю очередь Устав '1884, отменявший академические свободы, был элементом последовательной — почти по Константину Леонтьеву — политики подмораживания горячих голов, которым хотелось вместо эволюции — бодреньких скачков с присвистом: *хочу диссонансов прямо сейчас*.

Горячекатаные студенческие головы в Киеве имели бо́льшую температуру, чем в других университетских городах. Причин несколько, и главная — сила польской партии в стенах Университета, студенческие кружки «виленских», «минских», «ковенских» землячеств, — тренируемая революционным движением молоденьких отпрысков мелкой буржуазии.

Кулаковский стоял на позициях здравого смысла и римского государственного права. Он разделял монаршие взгляды: на свои и — государственные. За тринадцать лет правления Александра III Россия жила мирно — внутри и снаружи.

«Александр III встал на престол, не только окровавленный мученической смертью отца, но и во время смуты, когда практика убийства слева приняла серьёзные размеры, — писал граф Витте. — После тринадцати лет царствования он оставил Россию сильной, спокойной, верующей в себя. Он внушал к себе всеобщее уважение, ибо он был царь миролюбивый и высокочестный. Главная заслуга Александра III заключается в том, что своими прямыми и честными действиями он поставил политический престиж России так высоко, как до него он никогда не стоял. Россия была главной фигурой на шахматной доске мировой политики».

И ещё неизвестно, за что получил он подзаголовок «Миротворец»: за изящную внешнюю политику «невстревания» или за наведение внутреннего порядка.



Киев. Императорский университет св. Владимира, фото конца 1880-х

Новый царь, новые порядки, новая должность: Кулаковский «утверждён в звании приват-доцента Университета св. Владимира по кафедре римской словесности 3.XI 1881», — каллиграфически выписано в Послужном.

Первая статья в «Университетских известиях». Летом 1881-го, не успев распаковать в Москве германские чемоданы, Кулаковский везёт их вместе с собой в Вену. Человек начинает кататься либо когда ему тяжело, либо на пенсии.

Будучи автором нескольких публикаций в «Критическом обозрении» и даже ЖМНП, он 5.06.1881 шлёт Владимиру Степановичу Иконникову (1841–1923), редактору киевских «Университетских известий» и декану историко-филологического факультета Университета св. Владимира, рецензию на ряд немецких изданий о «Политии афинян».

«Вы говорили мне, что я имею право печатать мою диссертацию *pro venia legendi* в Ваших «Известиях». Если это значит, что вообще столбцы их для меня открыты, то позвольте сначала воспользоваться критическим их отделом. Посылаю Вам статью о «Политии афинян». Если я имею право в наполнении страниц номеров «Известий», то чем скорее будет напечатана прилагаемая статья, тем это мне будет приятнее, как потому что приятно разделаться с тем, что готово, так и потому ещё, что я нахожусь в довольно стеснённых денежных обстоятельствах, что не нахожу воз-

возможности приобретать кое-какие нужные мне книги <...> Я пришлю Вам не одну критическую статью, если только Вы найдете для них место! — Если же Вы почему-либо не можете принять этой статьи, то, будьте добры, отошлите её мне назад, и я тогда буду искать ей места в “Журнале министерства [народного] просвещения”. Мне, конечно, было бы приятнее не иметь в том надобности: но прибавляю это на всякий случай».

Неизвестно, насколько доверительными были отношения магистранта и профессора, но самый тон письма вызывает удивление. Иконников, вероятно, ответил отказом, сославшись на какие-то трудности, скорее всего, нетехнического характера, и письмо Кулаковского от 10.07.1881 начинается словами:

«Крайне сожалею, что причинил Вам такое затруднение, прислав Вам мою статью. Но ведь исправить дело было легко прежде, можно и теперь. Я высказывал и сам сомнение касательно моего права принимать участие в наполнении страниц “Киевских университетских известий” <...> Если обратился сначала к Вам, то сделал это только потому, что надеялся у Вас на более скорый ход дела с напечатанием, чем так, как то бывало в “Журнале Министерства просвещения”, где часто приходилось очень подолгу ждать. Если Вы пошлёте мне мою статью теперь, то я поступлю с нею так, как поступал прежде с другими, то есть отошлю <...> в Учёный Комитет, с которым я — в качестве министерского стипендиата — нахожусь в постоянных сношениях».

Но не склонный к склоке «тихий интриган» Иконников изменил отношение к статье не слишком критически к себе настроенного (мало бит) исследователя, и, сдав в набор, выслал вместо рукописи корректуру.

Ответ Кулаковского:

«Отсылаю Вам корректуру, которую я вчера получил. Что касается до числа оттисков, то мне не нужно больше двадцати или двадцати пяти — для круглого счёта. Денег же мне не трудитесь посылать, так как я приеду к Вам гораздо раньше, чем предполагал: тогда и получу что будет следовать. Искреннее спасибо Вам за надежду, которую Вы мне даёте, иметь возможность зарабатывать деньги литературными трудами. Ваш (тогда ещё “ваш”, вскоре станет “наш”. — А. П.) Киев в этом отношении действительно гораздо счастливее, чем другие университетские города, где или негде печататься, или же можно поместить что-нибудь только с большими трудами и хлопотами».

Мне всякий раз хочется отредактировать цитируемые места, но вынужден держать себя в руках: подменять документ от-



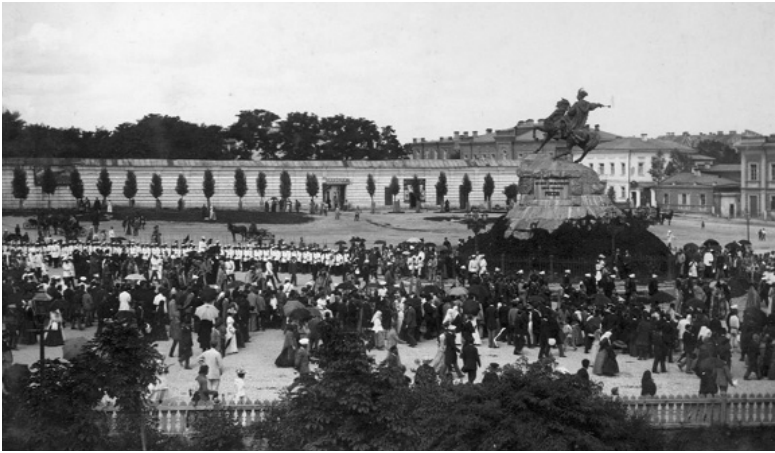
*Киев. Меблированные комнаты Франца Чарнецкого на улице Владимирской, 16,
Кулаковский жил здесь с ноября 1881-го по октябрь 1886 года*

себятиной, в которой обязательно будет виден стилевой подлог, последнее дело.

В июльской (№ 7) книжке «Университетских известий» за 1881-й «Полития афинян» увидела свет. С неё начинается сорокалетняя история публикаций Кулаковского в этом повременном издании.

Киевское обзаведение. По приезде в Киев Кулаковский поселился вместе с другом, Тимофеем Флоринским, в совсем новеньких и недорогих меблированных комнатах адвоката Франца Чарнецкого на улице Владимирской, 16, недалеко и от Софийского подворья, и — Андреевской церкви.

Здание, построенное в 1879–1881 годах по проекту киевского архитектора-монополиста Владимира Николаевича Николаева, располагало десятью номерами для «лиц среднего достатка». В нём жила Врубель (1888) и Нестеров (1890). Сменяя друг дружку, с начала XX века здесь размещались частная мужская гимназия доктора греческой словесности Вячеслава Ивановича Петра (будущего коллеги Кулаковского), Первая гимназия Совета родителей, женская гимназия Варвары Жеребцовой, при большевиках вместо гимназий обосновались сначала музей,



*Киев. Крестный ход в честь 900-летия Крещения Руси, 15.07.1888
и освящение памятника Богдану Хмельницкому на Софийской площади*

затем школа, а с 2003 года — Посольство Узбекистана. Кулаковский жил у Чарнецкого с ноября 1881 по октябрь 1886-го, потом переехал в квартирку на Афанасьевской.

В 1881-м он мог быть свидетелем закладки памятника Богдану Хмельницкому (столичный скульптор Михаил Микешин) и точно наблюдал его долговременное возведение: памятник сооружался на пожертвования, но их собрали в три раза меньше, чем требовалось. Денег хватило, чтобы отлить конную статую, привезти в Киев и поставить на временном кирпичном постаменте. Александр III хотел устроить постамент в виде кургана. Задача стараниями Николаева была решена, и 15.07.1888, в дни празднования 900-летия Крещения Руси, памятник был открыт «при большом стечении народа».

Перед тем в течение семи лет статую гетмана окружал деревянный забор, ставший предметом иронии киевлян, оставивших ехидные надписи мелом. Одна из них — от имени конной статуи — звучала так (по Мих. Кальницкому):

Змилуйтеся, добрі люди!
Коли цій нуді кінець буде?
Зніміть з мене цю буду собачу,
Нехай я трохи світа побачу!

Ходя мимо памятника на лекции в Университет, Кулаков-



*Тимофей Дмитриевич
Флоринский
Публикуется впервые,
фото из коллекции
Виктора Короткого*

ский развлекался чтением весёлых инскриптов, которые, смытаясь дождями и жандармами, появлялись вновь. Это же римская газета — в городе с претензией на европейскость.

Габилитасьон. Перебравшись в Киев, обустроившись бытово, Кулаковский первым делом начинает обустраиваться бытийно, зарабатывать моральные и учёные дивиденды.

Сначала защищает *pro venia legendi* (на право преподавания) сочинение «Надел ветеранов землёй и военные поселения в Римской империи: Эпиграфическое исследование»; 11.10.1881 выступает в Университете с габилитационной лекцией «Армия в римском государстве».

Об этом событии сохранились свидетельства в письмах Иконникову.

«Я долго откладывал дело о приват-доцентской диссертации, так как прежде мне казалось возможным прибегнуть для этой цели к какой-нибудь отдельной части из моей работы о древних Collegia, которую я

был почти исключительно занят в последнее время. Но теперь, когда время приходит уже к концу, я увидел, что прибегнуть к моей старой работе о земельном наделе ветеранов во всех отношениях удобнее. Исправив её кое в чём и немного дополнив, посылаю её теперь Вам. — Я всё ещё в Вене, но завтра надеюсь выбраться отсюда сначала в Берлин, а недели через две — явлюсь, по всему вероятно, в Киев. Если бы Вы нашли возможным отдать статью мою немедленно в набор так, чтобы я мог застать уже готовую корректуру, то она бы могла, вероятно, появиться в печати в номере 1 октября. Тогда бы — если только профессора её одобряют, — в начале октября я бы мог её и защитить».

Труд «Надел ветеранов землёй и военные поселения в Римской империи» напечатан в сентябрьской книжке, текст выступления на защите (наш автореферат) — в октябрьской.

Исследовавшая этот текст Леся Матвеева отмечает, что филологические студии Кулаковского с самого начала его научных занятий сопровождались историческими и наоборот. Такое объединение открывало возможность на основе документальных источников дать живую картину развития классической филологии в контексте исторического события. Так, используя эпиграфический материал из восьмого тома «Корпуса латинских надписей» Моммзена и работы по истории Римской империи, Кулаковский впервые вводит в историографический оборот новые данные о возникновении ветеранских колоний. Он указывает, что ветераны для государства были не только готовым материалом в процессе основания сугубо римских городских поселений, но одновременно служили проводником специфически римской культуры.

В течение каких-то десяти дней Кулаковский читает, таким образом, три лекции кряду: помимо габилитационной (11-го числа), 16 октября — «Светоний и его биографии цезарей» — первая пробная лекция на тему от историко-филологического факультета, и 19-го — «Краткий обзор архаизмов у Плавта в связи с влиянием их на критику текста» — вторая лекция тоже на тему, заданную факультетом: от римской истории Кулаковского сдвигали к римской литературе. Выступления были встречены аудиторией дружелюбно, профессурой оценены положительно. С 3.11.1881 в статусе приват-доцента Кулаковский начинает работу на историко-филологическом факультете. «Поручено ему, — видим в Послужном, — чтение студентам



Алексей Иванович Соболевский

обязательных лекций по вакантной кафедре римской словесности с вознаграждением из сумм, положенных на содержание этой кафедры, по 1200 руб. в год — 26.XI 1881».

Конечно, залогом успеха публичных лекций, да и лекций Кулаковского вообще, служила быстро сложенная и правильно заgroundованная эрудиция автора в вопросах его компетенции, что, впрочем, не должно быть диковинным в человеке, несколько лет вплотную только этим и занимающемся.

Студентом не пил он по московским подворотням пиво с водкой, барышень не тискал (позже наверстает), а сидел в библиотеке, ища для собеседования не человека, но тему, — и вскоре учебное пуританство стало приносить вместе с учёными и денежные плоды.

Магистерская. Приват-доцентские лекции и печатание статей в начальный киевский период являлись главной статьёй доходов Кулаковского, но, по замечанию Алексея Соболевского, служба в звании приват-доцента и вскоре штатного доцента не доставляла ему «достаточных удобств» для научных занятий: денег хватало, времени — нет.

Однако он написал «целый ряд критико-библиографических статей и две диссертации». О постоянном напряжении Ку-

лаковский писал Иконникову ещё из Вены, где жил на министерском иждивении.

Так, заручившись поддержкой редактора «Университетских известий», он получил возможность регулярно принимать участие в «наполнении страниц» этого издания, поддерживая штаны гонорарами (так и не удалось выяснить размер вознаграждения за строку в этом временнике). Но печатать большую работу «Коллегии в древнем Риме», которую он защитит позднее как магистерскую диссертацию, всё-таки не торопится.

«Те два листа моей работы, которые появились в майской книжке, были присланы мне в нескольких экземплярах ещё в Молодечну. Наборщик, вероятно, догадается послать мне и пятый полулист, но он не знает моего домашнего адреса. Если Вы распорядитесь, чтобы мне из типографии выслали две новые книжки “Известий”, то можно бы приложить сюда и несколько экземпляров пятого полулиста. Рукопись мою дальше 43-ей страницы я так и не выслал в типографию: скоро думаю вернуться в Киев, так уж тогда и буду продолжать печатанье» (15.07.1882, Иконникову — из Пушкино).

Кроме существа дела, эти строки проливают свет на благоприятную публикационную обстановку, созданную для Кулаковского Иконниковым, в которой он даже заимел смелость позволить себе относиться к печатанию сочинений слегка небрежно.

Интересна и география передвижений (места, откуда шлёт письма): молодость за библиотечной полкой не утаишь.

Впрочем, Иконников в ответном письме ставит ему затяжку с печатанием «Коллегий...» в укор, а Кулаковский оправдывается:

«Ваше письмо начинается с упрёка за то, что рукопись моя в бегах. Мне и самому это неприятно, да и для неё совершенно бесполезно. Но ведь надо же сказать, что печатать что-нибудь в нашей типографии, когда находишься в отдалении, крайне неудобно, так что даже если бы я и послал продолжение <...> то вряд ли за это время было бы напечатано более полутора листов. А между тем за всё это время лежала бы на мне и постоянно мучила забота, и мысли вертели бы все около одного и того же предмета...» (31.07.1882, из Пушкино).

Дело сложилось благополучно: начиная с июльской книжки (и кончая октябрьской), «Коллегии...» возрастают в объёме ежемесячным тиснением.

Фёдор Успенский — Тимофею Флоринскому: «Поблагода-

*Антоновичу
в знак благодарности
Д. Кулаковскаго*

КОЛЛЕГІИ

ВЪ ДРЕВНЕМЪ РИМѢ.



Опытъ по исторіи римскихъ учрежденій

ЮЛІАНА КУЛАКОВСКАГО.



КІЕВЪ.

ВЪ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФИИ (І. І. ЗАВАДЪКАГО).

1882.

*Титульный лист магистерской диссертации Кулаковскаго
с дедикацией В. Б. Антоновичу (из фонда НБУВ, скверно обрѣзан при переплѣте)*

НАДѢЛЬ ВЕТЕРАНОВЪ ЗЕМЛЕЙ

II

ВОЕННЫЯ ПОСЕЛЕНІЯ ВЪ РИМСКОЙ ИМПЕРІИ.

*Маслоуфскому
Киселеву, Сидоренко
Уварову
и др.*

*12 Октября 1881
г.*

ЭПИГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Юліана Кулаковскаго.



КІЕВЪ.

ВЪ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКѢ (И. ЗАВАДСКАГО).

1881.

*Титульный лист первого монографического сочинения Кулаковскаго
с дедикацией В. С. Иконникову (из фонда НБУВ)*



Иван Васильевич Помяловский

рите г. Кулаковского как за его очень интересную диссертацию, так и за память об Академии. К сожалению, я теперь ничем не могу отблагодарить его из своих статей» (28.04.1884). Успенский сделает это позже.

Если кратко, книжка посвящена тому, что с институтом римских коллегий всякий исследователь встречается в религиозной сфере с начала римской истории: это были обособленные сообщества, связанные каким-либо культом. Опираясь на данные эпиграфики, «De vita Caesarum» Светония, «Historiae» и «Annales» Тацита, «De nuptiis Philologiae et Mercurii» («О браке Филологии и Меркурия») Марциана Капеллы и проч., Кулаковский перечисляет и описывает римские культы, в которых встречаются коллегии, различные по направлениям исповедания. Разделив их на три группы, он особо останавливается на *sarca*, заимствованных римлянами у других народов (например, *sacra peregrina* — «чужеземный культ» восточного происхождения). К римлянам эти заимствованные культы попадали через греков, у которых с давних пор существовали сакральные союзы, проникавшие, в свой черёд, с Востока.

Алексей Деревницкий, в некрологе характеризую диссертацию Кулаковского, сказал, что

«особенно важное историческое значение приобрели *collegia funeraticia*, “погребальные товарищества”, по их связи с первыми христиански-

ми общинами, и этому виду коллегий в книге Ю. А. Кулаковского посвящён особый обстоятельный очерк (§ 7). Впоследствии ему пришлось снова возвратиться к вопросу о погребальных товариществах в своей наделавшей много шума лекции “Христианская церковь и римский закон”. Вся книга написана живо и остроумно, и, если нельзя согласиться с основным положением автора, будто первоначально римский *collegium* имел характер территориальный, что он развился из условий соседства и представлял собою не что иное, как видоизменение деревенской общины (*pagus*) с её общим святилищем и общими *sacra paganalia*, то многие из других его догадок, обильно рассыпанных в книге, подкупают читателя правдоподобием, а его аргументы — убедительностью».

Уже тогда, в начале письменного поприща, Кулаковский отдавал в изложении дань беллетризму больше, чем академизму, потому его до сих пор интересно читать.

Леся Матвеева пишет, что он видел генетическую связь между коллегиями, известными из эпитафийки, и корпорациями более позднего времени, известными из Кодекса императора Феодосия. Он рассматривает это явление как естественное и необходимое продолжение римской истории. На основе большого числа документальных источников и данных эпитафийки Кулаковский выясняет причины возникновения ремесленных корпораций, их характер, показывает создание новых коллегий — объединений поэтов, музыкантов и учёных.

Оба отклика, как и цитируемый ниже отзыв первого официального оппонента, заставляют говорить, что текст Кулаковского имеет все права на комментированное переиздание. Это тем более необходимо, что в редакторском предисловии Леонида Кофанова к коллективному труду «Жреческие коллегии в Раннем Риме» (Москва, 2001) отмечено, что работы XIX века дают лишь самое общее представление о жреческих коллегиях и не имеют характера систематического изложения. Это не так: Кулаковский *первым в европейской науке* сделал удачную попытку систематизировать накопившийся к началу 1880-х материал о раннеримских сакральных коллегиях.

Сплин и первая защита. Новый, 1883-й год, снимавший вместе с Флоринским комнату «у Чарнецкого», Кулаковский встретил в одиночестве.

«Вообще я провёл время самым будничным образом, и новый год встретил совершенно так, как в былое время в Германии — один за своим

делом — сосредоточенно спокойно, а в душе — с разными мыслями и чувствами насчёт того, что ведь таков и удел мой стоять одиноко свидетелем среди чужой жизни», —

писал он другу-«сокамернику», вознамерившемуся жениться, в Рыбинск 2-го января.

С этих пор ощущение одиночества, в том числе научного, оторванность от друзей, обычная депрессия молодого неженатого человека будут толочься вместе с Кулаковским на протяжении почти десятилетия.

Диссертацию «Коллегии в древнем Риме: Опыт по истории римских учреждений» на соискание степени магистра римской словесности он защищает 29.01.1883 в заседании историко-филологического факультета Московского университета. Профессор математики Петровской сельхозакадемии Яков Цветков упоминает о послезащитной пирушке, «которая, конечно, была весела, шумна и, может быть, поучительна».

О «поучении» можно гадать: выпили лишнего? — так это нормально; бузили зело — тоже не криминал. А что на утро было стыдно — закон. Вот уж подлинно яловые нравы 1880-х, нам ведомые.

Незадолго до этого, 23.01.1883 Кулаковского избирают действительным членом Исторического общества Нестора Летописца¹, председателем которого он впоследствии будет в течение дюжины лет. Членство в этом Обществе престижно, избрание в его члены — дань учёным заслугам.

Одним из официальных оппонентов по магистерской диссертации выступил профессор Иван Васильевич Помяловский (1845–1906), вошедший в историю науки зачинатель российской латинской эпиграфики, исследователь древних латинских табличек наговоров (*tabulae defixionum*) и римских колумбарных надписей (докторская диссертация «Эпиграфические этюды»,

¹ Общество основано по инициативе первого ректора Университета св. Владимира Михаила Максимовича в 1872-м при Первой гимназии; официально открыто в январе 1873-го и по 1921-й функционировало при Университете, в 1921–1929 годах — при Всеукраинской академии наук (ВУАН). Число членов в 1873-м — 13, в 1877-м — 33, с 1890-х — более 100 человек. С 1879-го выпускало «Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца» (ЧИОНА) (в 1879–1914-м вышло 24 тома; 25-й за 1915 год остался в рукописи). Редактором последних томов вместе с Кулаковским был Андрей Митрофанович Лобода (1871–1931).



Иван Давидович Делянов

1873), а также — как составитель «Сборника греческих и латинских надписей Кавказа» (1881).

Перед защитой Помяловский написал Кулаковскому, адресуя ему «письменную благодарность за прекрасный труд Ваш <...> Скажу Вам, что виделся с И. В. Цветаевым, которому также очень нравится диссертация Ваша, ближайшее её изучение он откладывал до праздников. Ввиду такого мнения одного из главных её рецензентов я не имею ни малейшего сомнения в блистательном исходе Вашего диспута». Ну правильно: как говорил Черчилль, относись серьёзно к всему, что ты делаешь, но никогда — к самому себе, и будет тебе счастье.

В мае 1883-го, через несколько месяцев после защиты, Помяловский сообщает Кулаковскому, что заканчивает перерабатывать текст оппонентского отзыва в рецензию для ЖМНП:

«рецензия, за множеством срочных казённых дел, делалась медленно, и только сегодня подписал я под ней свою фамилию. На днях сдам её в редакцию журнала Министерства, которая обещала дать ей место в июльской книжке. Простите, если не удовлетворитесь рецензией: писал я её между делом, многого не имел под руками и был принужден почти ограничиться сделанными выписками».

Тем не менее, занятый Помяловский хорошо сказал о сочинении, заключив, что оно

«обличает в авторе учёного даровитого, знакомого в достаточной степе-



Пётр Александрович Валуев

ни с источниками и пособиями и владеющего надлежащими научными приёмами. В особую заслугу автору ставим то, что он сумел найти в массе разнообразных, разбросанных и одиночных свидетельств, сумел свести их к нескольким группам, которым постарался дать надлежащую организацию... Это составляет самую сильную сторону труда г. Кулаковского. Само собою разумеется, что в частностях о многом можно с ним спорить, со многим не соглашаться, кое-где найти неточности, но всё это нисколько не ослабляет того приятного впечатления, которое производят на читателя знание, остроумие и талантливость автора».

Жанр *самостоятельного* писания отзывов и рецензий как-то сходит на нет; их сейчас обычно не пишут, а подписывают. Если и пишут, то чаще всего получается обезчеловеченный канцелярит, лишённый авторства и озорства. В прежние полтора века жанр рецензии стоял на особой высоте, и учёный дегустатор текста ценился не меньше, нежели учёный его кулинар. Возврата к этому, пожалуй, не предвидится, но обратить внимание на дореволюционную научную рецензию как *произведение изящной словесности* безусловно стоит.

Равно как стоит вспомнить ценное признание Кулаковского, свидетельствующее, что он прекрасно отдавал отчёт в том, чем именно занят, и позволяющее думать, что эти занятия — под воздействием Моммзена — стройно вписывались в римское антиковедение конца XIX века.



Нил Александрович Попов

«В своём изложении даю я почти исключительно факты. Теория не столько высказана, сколько заложена, так сказать, в самое основание, а потому самая группировка данных служит её оболочкой».

Это — центральный тезис научного метода Кулаковского, который, изощряясь, сохранится до последних его писаний. Это же в равной степени позволяет заключить (как сделал С. Перевалов), что для Кулаковского нелюбовь к всякого рода обобщениям и теоретическим построениям, выходящим за рамки точного знания, связана и с особой требовательностью к себе, и с осознанием трудностей, которые ставит перед учёным предмет истории и условия работы в известном, но всё-таки провинциальном (по европейским меркам) киевском университете.

«Факты говорят сами за себя», — считали историки позапрошлого века. «Факты говорят лишь тогда, когда их спрашивает историк», — откликается наш человек. Они молчат лишь когда о них забыли. Они кричат, когда на них забыли.

Вопросы, с которыми Кулаковский и коллеги по цеху обращались к фактам и общались с фактами, были вполне пригодны для выяснения широких контекстов самого существования фактов. Получать ответы он всё-таки умудрялся.

Москва защитная. Письма Кулаковского Иконникову и Флоринскому из Москвы сберегли следы не только защиты диссертации, но и вообще университетского быта начала 1880-х.

«В первый же день, как я начал шататься по Москве из одного конца в другой, встретился мне на улице Нил [Александрович] Попов и сказал, что заседание, в котором должен быть представлен отзыв, предполагается 19, но он может устроить дело, назначив его 14 числа, если я ему сообщу, что на это согласны специалисты, то есть [Гавриил Афанасьевич] Иванов и [Иван Владимирович] Цветаев. Иванов был готов это сделать, но ни он, ни я не могли повидать Цветаева, ибо последнего постигла большая радость: 10-го утром родилась у него дочь (Валерия; Марина появится на свет в 1892-м. — А. П.). — Так и не мог воспользоваться я любовью Попова. Таким образом, раньше 25, 26 я не буду свободен, и придётся, стало быть, просрочить свой отпуск.

От Попова слышал много об университетском уставе, ибо он читал и проект самый, и разные приложенные к нему записки, но не стану об этом распространяться, так как, вероятно, Флоринский привезёт такие сведения из Петербурга, где всё это ближе лицам, заинтересованным и, по всему вероятно, до подробностей известно. Хотел повидаться с виновником устава, Любимовым, который теперь здесь; но застал дома только его дочь и вряд ли попаду туда в другой раз, ибо отделяет меня от его местопребывания огромное расстояние. Катков находится — уже дней десять — в Петербурге, но скоро вернётся, так что, вероятно, придётся побеседовать о том же предмете с ним <...> Был вчера на университетском акте, но было мне так скучно и так мало знакомых (профессора почти не посещают своего акта), что я не дождался до конца. Почему-то опасались скандала, но — как слышно — ничего не было. Пьянство в городе вчерашний вечер было большое, как то всегда бывает в этот день» (Иконникову, 13.01.1883).

Кулаковский попал в Москву на Татьянин день, когда все бывшие и «наличные» студенты наполняли наиболее ходкие харчевни и здорово кутили. Татьянин день описан был Петром Боборыкиным в романе «Китай-город» в том же 1883-м. Против этого обычая позднее вооружился Толстой в 39 главе повести «Юность», и студенты придумали оправдательную песню:

Нас Лев Толстой бранит, бранит

И пить нам не велит, не велит, не велит

И в пьянстве обличает.

А кто виноват? Разве мы? Нет! Татьяна!

Да здравствует Татьяна, Татьяна, Татьяна!

Песня вылась перепитым студенчеством наряду с традиционными «*Gaudeamus igitur*», «Дубинушкой» и менее традици-

онной на первых порах «Марсельезой». Универсальность безвкусицы говорит о разношерстности певцов.

Флоринскому 20.01.1883:

«Сегодня две недели, как я приехал в Москву, придётся сидеть ещё одну неделю. Надеялся я было, что всё это скоро пройдёт, да не так выходит. Только вчера прочитали в заседании отзыв [Помяловского] и определили срок диспута — а именно 26 число, среда. Иванов и Цветаев предлагали мне 24, но тут нашёлся ещё один добровольный оппонент — [Павел Гаврилович] Виноградов, доцент по всеобщей истории, который просил затянуть ещё на два дня... Как только всё это пройдёт, немедленно направлюсь домой.

Подивился я известию об избрании [Николая Карловича] Ренненкампа [ректором Университета св. Владимира]. Ведь иного отзыва про него, как: “Умный человек, но подлец”, — я ни разу ни от одного из профессоров не слышал; ну а теперь сами выбрали в начальники¹. Так как он хорошо стоит в глазах правительства, то ведь с уверенностью можно полагать, что он и будет утверждён в этой должности для проведения нового устава.

А что до последнего, то Любимов надеется, что к Пасхе он будет проведён в законодательном порядке, и тогда же и приступят к его введению. К слову, в Москве предлагали ректорство [Ф. А.] Бредихину и [А. Ю.] Давидову <...> Вероятно, предлагали Иванову, после тех двух, но тот, конечно, никогда на себя не возьмёт такой деятельной роли, хотя вполне соответствует самому делу: ему это не по характеру».

Об Уставе '1884 и «любимовской истории» расскажу дальше. Гавриил же Афанасьевич Иванов позже и неоднократно служил ректором Московского университета, — это было ему «по характеру».

Кулаковский ценил Иванова как преподавателя. В его

¹ Кареев вспоминал по сходному поводу: «Помню, шли мы раз вместе с [Боголеповым] по Гагаринскому переулку от Герье и беседовали о происходивших тогда студенческих волнениях. Герье отозвался о них резко, что дало повод Боголепову сказать мне: “Неужели, Николай Иванович, так может говорить профессор, и неужели мы потом будем с вами так же думать?” Компания Ковалевского сумела произвести Боголепова в ректоры как наиболее умеренного из их среды, но жестоко ошиблась: Боголепов сделался ректором, а потом реакционным почитателем и министром. Вероятно, он забыл наш разговор, когда в 1899 году изгонял меня из Петербургского университета». Как известно, власть не меняет человека — иронически выявляет истинную его природу, характер и лицо.



Иван Владимирович Цветаев

письме, довольно странном для будущего профессора латинской словесности, есть строчки:

«Я писал по-латыни всегда только как ученик и вовсе не чувствую уверенности в себе, когда мне приходится теперь писать текст, подлежащий не только напечатанию, но и торжественному прочтению в Англии, где пишут в школах латинские стихи.

<...> Будьте так добры, многоуважаемый Гавриил Афанасьевич, просмотрите этот текст, как Вы просматривали многие мои упражнения в былые годы. Совестно мне перед другими сознаться, что не владею я латинским языком, но пред Вами — стыдно может быть разве в том только отношении, что несмотря на многие годы усилия, я не приобрёл того, чему Вы нас так усердно учили».

Едва ли всё, написанное здесь, не есть кокетство. Кто из нас не рисовался в объяснениях с учителями, желая показать собственное ничтожество и превознести — к его приятствию — усилия собеседника?

По воспоминаниям позднейших слушателей Кулаковско-го, особенно барышень Высших женских курсов, его русская речь по конструкции фраз, по синтаксису была как бы переводом с латыни: он думал по-латыни, писал по-латыни, переводил тексты латинских авторов. Что говорить: уже в Правилах поступления в Университет св. Владимира за 1834 год требуется, чтобы испытуемый «мог переводить и объяснять из прозаиков

Саллустия, Ливия и Цицерона, из поэтов Вергилия и лучшие оды Горация; равно излагал бы мысли свои на латинском языке без грамматических ошибок». К профессору латинской словесности требования были, пожалуй, повыше.

Образчик латинского панегирика. Сохранилась мало-читабельная кулаковская рукопись поздравительного адреса, по-видимому, университетскому лектору немецкого языка Фёдору Карловичу (Фердинанду-Эмилю) Андерсону (1855–?) по случаю его 40-летия, в 1895-м.

Вот её латинский оригинал, буквально дешифрованный поздней весной 2001 года¹:

Carissime sodalis,

Hoc die festo, quo nos collegae et amici tui, quinquennialicia tua celebramus, permittas questo ut te senem latino sermone alloquar, quo a puero institutus eras. Omnia, quae praeterierunt, etiam labores, quos sumus perpessi, imunda memoratu nobis sunt, sermo latinua, qui adulescentiae et iuventutis te commonefacit, praeceteris gratus tibi esse debet atque est, quod tu saepe ipse dixisti. Quid[t]antem tibi dicam? Multi iam de te optime dixerunt, ingenium atque mores tuos, merita atque labores laudantes. Extollentes equitem non sum plane novus in nostro collegio academico, tertius decimus iam labitur annus, ex quo sum tuus collega teque paene quotidie video, tecumque loquor. Semper te vidi atque sensi hilarum benevolum amabilem, bonorum artium amicum, cruda virilique senecta pru[d]entem. Si grande hoc aevi spatium, quod tu Kioviae vixeras, te talem, qualem nunc te videmus, nodis reliquit, morum hoc est tuorum munus, praecepta sequebaris Horatii nostri, qui nos monet aequam nanta omnibus in rebus tam arduis laetis servare. Tuum hoc est vitae principium. Labores aegritudines mala omnia vitae humanae aequo animo es permessus, laetas quoque res eodem modo sentiebas. Itaque cum te nunc senem videmus, admiramur iuvenilem tum animum et quasi exemplum amicum adoramus. Valeas, collega carissime atque vir bone! Di deaeque omnes senectutem tuam usque protegant, serventque te talem, qualem nunc te videmus, documentum praeteritorum exemplum ruturo- rum. Valeas et floreas in multos annos.

¹ Неоценимую помощь в переводе оказали филологи Пётр Махлин и Юрий Мосенкис.

Carissime caralis

Pae me pater, qui nos collega et amicus tui,
quoniam quumvis tua celebramus, permittes
quoniam ut te seriem latinis sermone colloquar
que a pater institutus es. ~~Et amica, quoniam~~
~~practonista, etiam labores quos sumus per passi~~
~~invenit~~ ^{numerata} ~~etiam invenit~~ ~~serius latinis,~~
qui adolescentibus et inventibus te canissime
facit, pro ceteris gratias tibi esse debet atque
est, quod tu saepe ipse dixisti. Unidantem
tibi verum? Multi iam de te optime
dixerunt, ingenium atque viros tuos
~~extantentes~~, raritate atque labores tuis.
Equidem non sum plane novus in ~~habetis~~
collegio madonico, totidem facinus iam habitus
annus, ex quo cum tuos collega teque
prae me quilibet vides, tumque legior
Semper te ^{semper atque} ~~videt~~ hilorum benevolentem
emabilem, bonorum artium amicum,
corda viritum senecta frontem. Si quidem
Pae vero optime, quod tu Kivonia videris,
te talem, quidem nunc te videris, vides
reliquit, nostrum hoc est tuorum nuncus

Черновик латинского поздравительного адреса Фёдору Карловичу Андерсону, сочинённого Кулаковским в 1895 году, первая страница

Перевод:

Дражайший товарищ,

В этот праздничный день, в который мы, твои друзья и коллеги, празднуем твой юбилей, прошу позволить, чтобы я к тебе, старику, обратился по-латыни, которой с детства обучен. Всё, что минуло, даже тяжкие труды, которые мы претерпели, нам не хочется вспоминать, латинская же речь, напоминающая тебе о детстве и юности, больше других тебе должна быть мила, да и является таковой, как ты сам частенько говаривал. Что бы такое я мог сказать тебе? Уже многие замечательно о тебе говорили, восхваляли твой талант, заслуги, черты характера, хвалили твои сочинения. Я не буду слишком оригинальным в своём товарищески-официальном приветствии, тринадцатый год уже проходит, как я твой коллега и почти каждый день вижу тебя и беседую с тобой. И всегда видел тебя весёлым, добродушным, достойным любви, другом науки, мудрым в суровой мужской старости. Если столь долгий век, какой ты прожил в Киеве, тебя сберёт таким, каким мы тебя нынче видим, то на тебе лежит обязанность как и прежде следовать наставлениям нашего Горация, который советовал нам во всех обстоятельствах — и скорбных, и радостных — сохранять спокойствие. И это твой жизненный принцип. Труды, болезни, все напасти жизни человеческой принял ты со спокойной душой, также испытал и много радостного. Итак, всякий раз, когда мы видим тебя стариком, мы удивляемся молодости души твоей и восхищаемся тобой как примером друга. Будь здоров, милейший коллега и прекрасный человек! Пусть все боги и богини и дальше покровительствуют твоей старости и хранят тебя таким, каким сейчас мы видим тебя — живое свидетельство прошлого и пример будущего. Здоровья и процветания на многие годы.

Про сорокалетнюю старость, конечно, здесь выписано иносказательно, в духе «дедушка старенький, лет пятьдесят...», но цicerонианское изящество слога не заметить трудно.

Оригинал короче перевода — это потому что язык военный. Язык-выстрел.

Помните:

«Также и тебя прошу, Марк Фанний, я настоятельно прошу — каким ты уже давно проявил себя по отношению к римскому народу, когда председательствовал в этом постоянном суде, таким покажи себя нам и государству в настоящее время» (*М. Т. Cicero. Pro S. Roscio Amerino IV, 11*)?

Если и этот текст покажется неизящным, трудно сказать, что же такое изящество.

Латинская сноровка Кулаковского с годами приобретала

эластичность, и едва ли ему впоследствии приходилось прибегать к помощи коллег: мол, почитайте.

Он понимал: если опыт не приходит с годами, то вообще не приходит, и ты бессмысленно стареешь, если долго живёшь.

Как всякого разумного, жизнь лепила Кулаковского по лекалам Божьего замышления, и если уж ему на роду было написано стать хорошим латинистом и даже больше (гимназические учителя, пожалуй, знали латынь получше Кулаковского), он становился им эволюционно, без особой экзальтации, эмоциональных диссонансов и нервической неуверенности.

Магистр и сверхдоцент. Итак, первый шаг в научной социализации сделан: «По представлению и удовлетворительном защищении написанной им диссертации под заглавием: “Коллегии в древнем Риме” удостоен историко-филологическим факультетом Московского университета степени магистра римской словесности 29.I 1883, Советом Университета утверждён в этой степени, на каковую степень и выдан ему диплом 11-го февраля 1883 года за № 481», — написано в Послужном.

Киевский университет только и ждал, чтобы видеть Кулаковского магистром, и 9.04.1883, через месяц после защиты, он вместо «привата» — штатный доцент по кафедре римской словесности.

В письмах Флоринскому не единожды прочтётся: «то ли дело в нашем тихом спокойном Киеве», «Привлекательна наша спокойная жизнь в Киеве», «Тянет в Киев, в нашу доцентскую семью». «Семья» это: Флоринский, Дашкевич, Кулаковский — до тех пор, пока Флоринский не женился; «доцентская» — пока все трое не сделаются профессорами.

Через пару лет «Указом Правительствующего Сената от 10.V 1885 за № 39 утверждён, по занимаемой им должности, в чине надворного советника, со старшинством с 9 апреля 1883 г.» Этот чин (VII класс) соответствовал должности столоначальника в центральных учреждениях гражданского ведомства, обращаться и посылать следовало по «вашему высокоблагородию», а претендовать можно на Владимира 4-й степени (ещё не «на шее», но уже на планке).

Всего через год, в августе 1884-го 29-летний доцент назначается экстраординарным профессором (сверхдоцентом): «По случаю введения в действие высочайше утверждённого

в 23-й день августа 1884 года Устава Университетов утверждён экстраординарным профессором Университета св. Владимира по занимаемой им кафедре римской словесности — 1.X 1884». Бывают кучные совпадения.

Тогда же он командирован на VI Археологический съезд в Одессу на две недели (с 15.08 по 1.09), где выступает с докладом «Италия при римских императорах»: тянет его всё-таки от филологии в историю.

Из содержания доклада в Кулаковском отчётливо просматривается человек, обладающий если не целостной концепцией вопроса, то во всяком случае уверенными её начатками.

Тезис «*Рим возник сразу как город*», часто оспаривавшийся впоследствии разными писателями, но повторённый с новой силой во введении к первому тому «Истории Византии» (1910), звучит уже здесь.

Вот модель:

«В начале истории Рима слова “город” и “государство” соответствуют одному понятию, термин *civitas* обозначает известную территорию и совокупность её населения, всех граждан, *civer* <...> Город Рим, и как город, закрывал собою государство. <...> Принадлежность всех римских граждан к городу Риму стала фикцией в течение первого же века жизни римской республики, но фикция эта господствовала в римском народном сознании и сказывалась со всей силой факта в римских государственных учреждениях».

И о том же самом — в университетских лекциях:

«Рим с самого начала был городом. Понятия *civitas* — *populus* — *urbs* — были синонимами в начале исторических судеб Рима. Вырастая за счёт покорённых общин, Рим становился постепенно политическим центром Италии и, включив в союз с собою все племена и общины Италии, начал свою победу над миром. Уже во второй половине II века до Р. Х. Полибий понял свою современность как слияние истории всех народов. Вся жизнь римского народа сосредоточена в этой победе Рима над миром».

Устав '1884. Там, в Одессе, Кулаковский узнаёт о введении нового университетского устава. Народная мудрость говорит: не надо сравнивать Москву и Одессу — в Одессе похороны проходят куда веселее, чем в Москве именины.

Здравый смысл восставал против этого документа, с одной стороны, преклонялся — с другой.



Эрнест Леопольдович Радлов

Как же без университетских свобод? — ворчали одни.
Какие университетские свободы могут быть, когда в стране бардак? — ворчали другие.

И вроде казалось симметрично.

По Уставу '1884 отменена существовавшая ранее (устав от 18.06.1863, восстановивший автономию университетов) выборность административных должностей и профессоров, установлен новый порядок назначения ординарных и экстраординарных профессоров (§§ 98–106), доцентов и приват-доцентов (§§ 109–113), усилен правительственный контроль за преподаванием, ограничен приток «малоприготовленных» и малообеспеченных слушателей, сужены ранее очень широкие права Совета профессоров и проч.

Документ отразил организационную сложность обеспечения устойчивости тогдашней умственной России: от студента до профессора, от университета к учебному округу, от учебных округов к Министерству просвещения.

Ещё в 1874-м совещание министров под председательством интеллигентнейшего статс-секретаря графа Петра Александровича Валуева высказало мнение о необходимости пересмотра Устава '1863 в связи со студенческими волнениями, причину которых усматривали в организационной конструкции университетов.



Алексей Николаевич Деревицкий

Если бы студенты не возмущались (вместо того, чтобы учиться), поддерживаемые некоторыми демократствующими профессорами, которые получали на этом небольшой моральный гешефт среди молодёжи, у студентов и профессоров свобода осталась бы больше. А так, чтоб было тихо, ленивой власти приходится напрягаться, и в 1875-м под председательством статс-секретаря графа Ивана Давидовича Делянова образуется комиссия по подготовке проекта нового устава. Несмотря на противостояние университетов, к концу 1879-го проект был готов, и в феврале 1880 года министр народного просвещения граф Толстой внёс его, с соизволения Александра III, на рассмотрение Государственного совета. Проект возвращён на доработку, но не похерен: студенты продолжали шуметь уже по поводу подготовки нового устава.

Много шума вокруг проекта устава натворил уже склонявшийся в первой главе профессор физики Московского университета Николай Алексеевич Любимов (1830–1897), соратник Каткова и более двадцати лет редактор одиозного «Русского вестника». «Слюнявый», «мелкий человек, мелкая душонка» — говорил о нем Вл. Соловьёв. Не во мнении Соловьёва дело, и полагаться на его безусо-максималистский отзыв едва ли позволено. Как физик Любимов собирал аудитории, и не раз слушатели провожали его с кафедры овацией; впервые в России он осветил

электричеством университетский двор и прилегающие к Манежной площади местности. Вместе с Любимовым Катков и Леонтьев образовывали своего рода «тройственный союз», распавшийся только со смертью участников. Энергично содействовал Любимов и созданию «Катковского лицея» (*almae matris* Кулаковского), где в течение двенадцати лет бесплатно преподавал физику. За фундаментальную «Историю физики: Опыт изучения логики открытий в их истории» (в трёх томах, 1892–1897) Императорская академия наук почтила его посмертно Макарьевской премией (как в своё время прижизненно почтит Кулаковского за отзыв о труде Модестова). Что Любимов оказался участником большой дискуссии об университетском уставе, непосредственным участником его разработки, не удивляет: должен же кто-то взять на себя смелость уравновесить два разнящихся недовольства.

И вообще: нравственное лицо учёного и его научная деятельность должны рассматриваться отдельно, тем более, если под «нравственным лицом» понимать политические убеждения (преданность, скажем, «царю и отечеству»), иной раз мирно соседствующие с внутренним благородством и порядочностью. Кстати, в этом Кулаковский не был исключением. Тогда вообще мужчины были честнее перед собой и обществом. Про купеческое «слово» и речи нет, а вот профессорские убеждения могли меняться, и если оставались прежними в течение десятилетий — это, вкуче с сомнением в разумности, тем не менее вызывает уважение.

Например, Эрнест Радлов (1854–1928), философ и друг, ябедничает Кулаковскому:

«Первый мне о тебе неблагоприятный отзыв дал Кареев, — я тебе сообщаю это в надежде, что ты не воспользуешься во зло (ни для кого) этим сведением, а отнесёшься к нему с пренебрежением. Потом я заметил, что все, говорящие дурно о тебе, принадлежат к так называемым либеральным кругам наших профессоров и литераторов; люди достойные, но они узкие и истеричные, для них составляет уже преступление участие в таком органе, как “Русский вестник”, и не зная человека, они по одному этому готовы осудить его».

«Узость» и «истеричность», эти бабьи качества, особенно мерзко выглядящие в мужчинах талантливых, долгое время были флажком мирочувствия в либеральном бульоне российской



Николай Павлович Дашкевич

интеллигенции. Всякая нравственная жёсткость и уверенность в себе порицались, ссылка на несчастный загнанный (кем? куда?) «народ», нерешительность в действиях, обидчивость и недалёковидность были неперемёнными. Причём, дальше слов у российского обеспеченного либерала дел не было. «Человечные» функции выполняла церковь, бесчеловечно-(статистически)-управленческие — государство, и в той степени, в которой первая могла быть безответственной (по природе явления), в той же вторая волокла всю тяжесть ответственности за устойчивость монархической конструкции. Оскорбление государства действием (мятежи, волнения, битьё стёкол и разорение жандармских участков — например, харьковские беспорядки 1872-го) каралось жёстче, чем оскорбление словом: за первое могли повесить, лишив возможности действовать, за второе ссылали, не запрещая болтать. Позже, после 1905-го, конечно, не побоялись и совместили.

Итак, по Уставу '1884, о естестве которого не место распространяться, университеты были отданы в ведомство Министерства просвещения и подчинены непосредственно учебным округам и их попечителям. Сошлюсь лишь на письмо Помяловского Кулаковскому:

«Профессорский авторитет подорван, студенты предоставлены сами себе и в перспективе имеют драконовские правила государственных экзаменов. Понятное дело, что они чувствуют себя выбитыми из колеи и мнутяся как стадо».

С другой стороны, устав дал в университеты дорогу многим учёным, которые раньше не могли в него попасть из-за, скажем, противостояния Совета профессоров, субъективной неприязни. В случае Кулаковского этот момент значения не имел, поскольку он *уже* служил в университете, а повышение случайным образом совпало с принятием нового устава, и было осуществлено в ознаменование его введения: «Указом Правительствующего Сената от 1 мая 1886 года за № 1751 утверждён по занимаемой им должности экстраординарного профессора в чине коллежского советника со старшинством с 1.X 1884». От коллежского советника один шаг до статского, и через два года Кулаковский его сделает, превратившись из «вашескобродь» в «ваше высокородие».

Неуставное. Нужно, правда, сказать, что введение нового устава и особенности толкования его параграфов вызвало возмущённую докладную записку, представленную Кулаковским 16.09.1886 в адрес историко-филологического факультета. Никакой идеологической экзальтации — всё по делу.

«Факультету известно, что в прошлом семестре у меня было семь часов лекций [в неделю]. Седьмая лекция была посвящена практическим занятиям по латинскому языку с старшим отделением студентов. В распоряжении Министерства об устройстве стипендий для практических занятий по древним языкам было обещано вознаграждение за часы сверх обязательной для профессоров по уставу нормы, в особенности, если прибавка часов потребуется для устройства практических занятий. Г. декан говорил мне, что я весной был представлен к добавочному вознаграждению в 250 рублей. Но этих денег я не получил. — В настоящее время узнал, что из правительственных сфер сделано сообщение о том, что я лишён этой суммы в наказание. Моя вина состоит, насколько мне известно, в том, что я, в согласии со всеми членами факультета и г. деканом, держался определённого мнения по вопросу о толковании § 109 устава, с которым не было согласно начальство университета. Так как в настоящее время оказалось, что толкование факультета есть в то же время и понимание этого параграфа Министерством, то тем самым, конечно, вина, лежавшая на нашем факультете весной, превращается в заслугу правильного толкования <...>

Наказание меня из всех членов факультета за эту мнимую вину является для меня незаслуженной честью, так как все члены факультета были единогласны в правильном толковании закона <...>

Так как в организации практических занятий я вполне следовал предписаниям Министерства, то и смею надеяться, что отчёт мой [перед факультетом] встретит одобрение, а не послужит поводом к указанию мне каких-либо недочётов в ведении дела».

Речь идёт о толковании статьи о приват-доцентах. Сейчас в это вникать неинтересно, но тогда, по-видимому, копыя во-круг нового устава ломались и долго, и длинные.

Кулаковский объясняет, почему:

«О делах и характере министерских бумаг не знаю <...> ничего. Должен прибавить, что и интереса у меня ко всему этому теперь стало не в пример меньше против прежнего; да и то соображаю, что особенно нового — ничего быть не может, и мы, т[о] е[сть] университетское дело, теперь надолго в том заколдованном круге, в какой ввёл [нас] не столько новый устав сам по себе, сколько циркуляры верхнего правительства и манера действия ближайшего начальства. Да, кстати, — знаешь ли, я не получил никакого талона весною, и оказалось, что обо мне вопрос почему-то задержан, хотя вам всем выдали, и считал бы себя вправе получить за седьмую лекцию вознаграждение в силу специального распоряжения Министерства» (31.08.1886, Флоринскому в Прагу).

Через три месяца, 23.11.1886, повторяет:

«Король Бабеш (“полосатый”, как его звали здесь часто прежде) продолжает править нами через ректора, втирает ему очки, как захочет. Ко мне Бабеш не благоволит, и я не только не получил тех денег, что тогда были удержаны, но он же говорил другим, что я наказан, и знаю, за что — я сначала очень серьёзно сердился, — а теперь плюнул и как-то позабыл. Тем более я в жутком положении, что потом задним числом послали какую-то бумажку в Министерство о том, что у меня были часы сверх нормы — этим я лишился права заявлять о том, что имею право на деньги. Самых денег как денег мне, слава Богу, и не нужно, ибо теперь при старых, — хоть и несколько расширившихся привычках, усвоенных при меньшем доходе, — у меня есть даже кой-какой излишек».

Если бы и в самом деле забыл, сколько и где тебе должны, не стал бы вспоминать затухающим рефреном. Но это не забывчивость, это обида. Кто таков «король Бабеш» (персонаж из «Синей Бороды» Оффенбаха), неизвестно, но вполне вероятно, что им мог быть Оттон Михайлович Паульсон (1837–

1886), профессор зоологии, распространявший в Крыму рациональное пчеловодство, тогдашний проректор Университета, в частности, отличившийся излишним служебным рвением во время отмечания 50-летнего юбилея Университета. Отличаться служебным рвением есть признак идиотизма.

Ранее, летом 1883 года, доцентом, Кулаковский совершает второй вояж в Италию и Грецию (с 20.06.1883 на летнее «вакационное время и 28 дней» командирован с учёной целью за границу, «просрочил семь дней по болезни — причина просрочки признана начальством удовлетворительною»), взлазит на Везувий — не разыскать Эмпедоклов башмак: взглянуть на солнце, море, помпео-геркуланские виноградники свысока.

«Я хотел бы — почему бы и нет — совершить прогулку в компании таких вот Никто. В горы, конечно, куда же ещё? Как они сбиваются гурьбой, все эти Никто, как заплетают друг в друга свои ножки и ручки, как семянят! Все, разумеется, во фраке» (Ф. Кафка).

Затем, спустившись, Кулаковский посещает Помпеи, Геркуланум, Пестум, бенедектинцев Монтекассино. Об этих событиях он — вероятно, по просьбе Каткова — осенью 1883-го тиснул в «Московских ведомостях» две статейки в четвертушку печатного листа, которые я здесь, чтобы не затерялись и не пересказывать, перепечатаваю целиком¹.

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ВЕЗУВИЙ

Давно манил меня к себе Везувий. Часто и подолгу любовался я на него из Неаполя с разных пунктов, при различных освещениях. У его подножия по берегу моря тянется сплошной ряд зданий — от Портичи и Резина; выше, у подножия горы начинаются виноградники, и приблизительно до третьей высоты своей Везувий представляет зелёный пояс садов, в которых тонут разбросанные там и сям виллы. А выше — гора подымается широким конусом и заканчивается почти пиком. Особенно хорош Везувий из Неаполя при вечернем освещении, когда заходящее за Позилипо солнце играет на нём всеми переливами от голубого до розового. Постепенно подымается вверх

¹ Возможностью републиковать эти тексты обязан исключительной любезности моего коллеги доктора философских наук, профессора Сергея Геннадиевича Иванова.



Неаполь и Везувий сегодня

тёмная полоса: тухнет розовая дымка на Портичи, темнеет пояс виноградников, а затем уж медленно и постепенно тускнеет и тухнет розовый отлив на мощном конусе вулкана. Струя дыма, никогда не перестающая подниматься над кратером, чернеет и становится грознее на вечернем небе. А когда ступит ночная тень, над кратером начинает появляться время от времени пламя. То вспыхивает, то потухает этот светоч вулкана, в одну ночь он ярче, в другую слабее, и лишь изредка выпадают ночи, когда огня не видно вовсе, и один только дым говорит о подземной непрерывной работе.

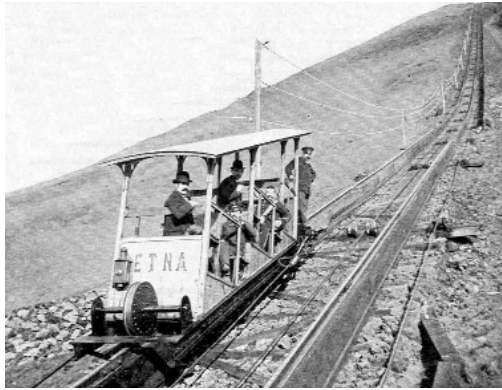
Но ещё величественнее, ещё грознее Везувий из Помпей. Лишь только потухнет дневной свет, как на его склоне обозначается огненная река лавы, которой вовсе не видно из Неаполя. Лава вытекает из трещины немного пониже главного кратера на юго-восточном склоне горы. Каждую ночь иные очертания принимает эта река, то становится шире, то уже, с каждым днём пробирается всё ниже и ниже по скату горы, даёт новые разветвления. И вспыхивание пламени наверху конуса ярче и сильнее, когда следить за ним из Помпей. Серп огня подымается на огромную высоту, часто можно различать даже невооружённым глазом раскалённые камни, выбрасываемые вместе с клубами дыма.

Мне давно хотелось побывать на Везувии. Теперь есть туда железная дорога, идущая почти до кратера. Но мне хотелось забраться

на него более простым способом, мне хотелось почувствовать в полной мере, что значит подняться на Везувий. Улучив удобный день, отправился я в путь пешком, с сыном хозяина моей помпейской гостиницы, который вызвался быть моим проводником. Было около двух часов дня, когда мы вышли из дому. Из Помпей надо пройти в городок Torre dell' Annunziata, отсюда верстах в двух находится поселение Tre Case; миновав его, приходится идти столько же через виноградники по лёгкому скату южного склона Везувия. С самого поселения Tre Case под вашими ногами сыпучий чёрный вулканический пепел, на этой-то почве и растёт лучше всего здешний виноград. Но кончились виноградники, и дорога становится лучше. Склон Везувия в этом месте очень отлог, пепел лежит плотною массой, и вы подымаетесь вверх без особенного усилия. Позади открывается всё более и более широкий вид на Неаполитанский залив. По берегу целый ряд городков: Торе-дель-Аннунциата, Каstellамаре, Сорренто, левее — широко расстилается зелёная равнина, на которой лежат Помпеи, Скафаши, а прямо напротив высится группа гор с господствующим над нею пиком Monte S. Angelo.

Вид дивный, но вам некогда на него любоваться; впереди большой путь, а вам ещё засветло нужно добраться до вершины. По дороге кое-где торчат громадные глыбы лавы, которые не успел засыпать Везувий своим пеплом; изредка попадает и растительность, кое-где успели вырасти даже большие деревья, большею частью сосны. Направление, по которому они идут, как будто говорит за то, что их здесь сажали, но мой проводник ничего не мог мне объяснить по этому поводу, и для меня так и осталось вопросом: сами ли собой выросли они на пепле Везувия, или то люди пытаются всё выше поднять культивируемый пояс Везувия и, быть может, дойти до высоты так называемого Monte Somma, как то было в эпоху Страбона.

Через час подъёма по отлогому склону горы пришлось нам перебираться через лаву 1848 года. Поток этот представляет собою груды обломков лавы всевозможных размеров, которые лежат друг на друге, образуя массу метра в три вышиной над поверхностью пепла. С недоумением остановился я пред этим препятствием. Чёрные куски лавы своими неправильными очертаниями легко лежат друг на друге, и под вашу тяжесть комки проваливаются вниз и скатываются в сторону. Для каждого шага выбираешь камень; но то и дело, что только ступишь на него, а он ускользает из-под ног, задевает другой; стараешься выбрать камень побольше, в надежде найти в нём более устойчивости,



*Фуникулёр на Везувий,
фото 1900-20*

но и он то и дело обманывает расчёты: под ним пустота, он держится лишь краями за соседей. Ежеминутно оступаясь, высвобождая ноги из-под камней, помогая себе руками, перебрался я наконец через этот поток лавы. Очутившись на правой его стороне, пошли мы дальше вперёд. Дорога постепенно становилась всё круче, и пепел всё более и более сыпуч. Нога начинает глубоко уходить в него, напряжения требуется всё больше. Полчаса такой дороги, и мы пред новым препятствием: поток лавы, и уже не 1848 года, а свежий, недавний, нижний конец той огненной реки, которую я так часто любовался из Помпеи. По словам проводника, здесь недавно ещё была свободная дорога; обходить кругом — значит терять часа полтора времени; делать, стало быть, нечего: начинаем взбираться. Здесь гряда камней и выше, и гораздо шире, чем этот поток, который уже пришлось перейти. Опыт уже сделан, смелее лезешь на камни, реже обрываешься. Но преодолев самый скат потока, я замечаю, что над его серединой реет в воздухе и от его камней чувствуется теплота. Становится немного страшно: ведь камни эти черны только днём, а к вечеру они будут светить. Многие из них поостыли, но как теперь днём это разобрать, когда они все кажутся чёрными? Но идти вперёд нужно.

Не раз чувствуешь теплоту почвы через подошву, не раз хватаешься рукой за горячий камень — становится жутко, но проводник идёт впереди и уверяет, что нет никакой опасности. В средней части потока лава имеет вид коры старого дерева. По ровному идти легче, но зато здесь часто у вас под ногами щели, из которых струится дым и сквозь которые просвечивает красная раскалённая масса.

Оглядываюсь вверх по течению лавы: поток подымается с изви-

линами высоко-высоко, почти до самой вершины вулкана. Там, где-то в вершине, раздаётся треск. Это отщепился кусок лавы, обнажилась красная масса; камень с шумом скатывается вниз и сваливается где-нибудь при повороте в сторону. Таким путём образуется гряда камней по краям потока лавы, закрывается ровная корообразная его поверхность, и чем ниже, тем скорее это происходит. Этот шум обрывающихся камней, этот вид верхнего слоя потока напомнил мне живо альпийские ледники. Медленное сползание вниз — там масса льда, здесь лавы — свершается под теми же условиями и одинаковым приблизительно образом.

Долго перебирались мы по камням, наконец сошли на правый берег и этого потока, и очутились на высоте кратера Везувия в древние времена, так называемой Monte Somma. Со времени достопамятного извержения 79 года нашей эры Monte Somma разрушена со стороны моря и Неаполя, но со стороны суши она охватывает верхний конус и подымается на высоту до 1100 метров над уровнем моря. Здесь, со стороны моря, её край снесён, и выровнялась небольшая площадка на склоне горы.

Отсюда начинается самая трудная часть пути. Конус вулкана подымается круто. Его поверхность покрыта сыпучим пеплом, кое-где на нём выступают потоки лавы разных времён. Скат очень крут. Если могу судить по личному впечатлению, то сказал бы, что он имеет наклон от 45 до 60 градусов.

Нога глубоко уходит в пепел; делаете шаг вперёд, но пепел слезает под вашей тяжестью, и вы остаётесь на месте. Идя зигзагами, опираясь на палку с железным наконечником, хватаясь за куски лавы, где они выдаются из-под пепла, взбираетесь вы наверх со страшным напряжением сил, поминутно останавливаясь, чтобы перевести дыхание и стереть пот и пыль с лица. Солнце стало склоняться к вечеру, и дым с потоков лавы, который течение воздуха несло в сторону Неаполя, закрывал нам вид на море. С половины этого пути стал по временам доноситься грохот с вершины Везувия. Это поддерживает бодрость, желание и надежда скоро очутиться лицом к лицу с жерлом вулкана побуждают вас собраться с последними силами и карабкаться выше по крутизне. Уже в восьмом часу вечера, когда стало садиться солнце, добрались мы до вершины.

Обширная верхняя площадка, обращённая в сторону Неаполя, имеет новый слой жёлтой лавы, застывшей прихотливым узором. Гулко отдаётся звук ваших шагов, напоминая вам, что там, внизу, пустота.

Есть и ещё одно более реальное напоминание: верхний жёлтый, а местами красноватый, слой весь в трещинах, и из них пышет удушливым серным дымом. Лавируя между струями этого дыма, чтобы не задохнуться, направляетесь вы к конусу главного жерла вулкана: он высится над площадкой на несколько метров.

Дым со страшным оглушительным грохотом вылетает огненными клубами из жерла. С ним несётся вверх дождь раскалённых камней, иные из них в несколько квадратных метров своей площадью. Камни побольше подымались невысоко и падали вниз, в жерло кратера, а что было помельче, взлетало на высоту нескольких сажен и затем падало на скат кратера. Лёгкое течение воздуха направляло дым, пламя и эти камни в сторону моря, на юг.

Под кратером с этой стороны есть небольшое ущелье, туда и падал огненный дождь. Долго стоял я над краем лощинки и любовался на это дивное зрелище под неистовый оглушительный грохот усиленно «работавшего», как здесь выражаются, Везувия. Однажды огненный дождь направился ближе в мою сторону. Пористые раскалённые куски лавы легки, падают сравнительно медленно, так что, следя за их направлением, нетрудно уберечься от опасности.

Мне хотелось подняться на край самого жерла, но мой проводник, боясь ответственности, не соглашался вести меня туда. К счастью, тут оказался другой проводник. Теперь, когда железная дорога доходит почти до вершины горы, наверху всегда можно застать людей. Они предлагают нам вино, воду и другие услуги в случае надобности. С помощью одного из таких постоянных обитателей Везувия поднялся я по крутому скату конуса на его край.

Самый конус состоит весь из тех камней, что оставляет здесь непрерывный дождь. Они скоро остывают при своих большей частью мелких размерах, так что — да в особенности с помощью опытного проводника — не представляет большой трудности подняться на самый край конуса. Дым и пламя, оглушительный, порывами возобновляющийся грохот, — вот всё, что здесь перед вами, что вас захватывает, заставляет замирать в этот момент непосредственного созерцания последнего результата далёкой неведомой подземной работы стихий. Зрелище так поразительно, что забываешься в этот миг и даже не ощущаешь ужаса, не боишься, что вот-вот повернётся ветер в левую сторону, и погребёт тебя навек под этим огненным дождём, задохнёшься в этом дыму...

Но пора было и назад. Солнце давно село, успел сгуститься ноч-

ной мрак, серные испарения из щелей площадки под кратером, дым от лавы образовали кругом мгlistую атмосферу, так что мне и не пришлось любоваться видом с Везувия. Впрочем, признаюсь, зрелище, представляемое работой вулкана, так величаво, что я позабыл о всяком виде на окрестность. А говорят, он хорош с этой высоты. Везувий стоит совсем особняком, и во все стороны с него должна расстилаться чудесная панорама.

Полюбовавшись ещё несколько минут на клубы огненного дыма с площадки, начинаем спускаться вниз. Самая трудная при восхождении часть пути стала теперь самую лёгкою. Несколько шагов вниз, и вы приспособляетесь к тому, как следует ступать по этому сыпучему пеплу, и без малейшего усилия делаете в четверть часа то расстояние, которое требовало прежде около двух часов времени. Вы спускаетесь при величественной иллюминации: поток лавы на юго-восточном скате вулкана загорелся пламенем, и глубоко вниз спускаются несколькими рядами огненные ручейки. Грохот Везувия становится всё глуше, и скоро его совсем уже не слышно. При крутизне пути не видно вам пламени его светоча, а лишь грозная полоса его дыма струится высоко над вами и застилает небо чёрною тучей.

Целый час шли мы при волшебном освещении от потоков лавы; потом они скрылись за поворотом, пришлось зажечь факел и спускаться к подошве при его скудном, слабо мерцавшем в ночной темноте пламени...

(Московские ведомости, 1883, 6 сентября, № 247)

ПОЕЗДКА В ПЕСТУМ¹

Кому не приходилось слышать о Пестуме и его великолепных храмах? Но в прежнее время лишь немногим путешественникам удавалось побывать на месте этого древнего города и полюбоваться уцелевшими остатками старины, и какой старины! Храмы Пестума древнее

¹ Древнейшее имя Пестума есть Посейдония; под этим именем заложен был здесь город греками из Сибариса. Позднее греческое население смешалось с туземцами. В третьем веке до Р. Х. сюда выведена была латинская колония, а в эпоху цезаря Пестум стал римскою колонией. При Веспасиане колония была усилена новыми поселенцами из ветеранов римской армии. Эпиграфические находки на территории города восходят до половины IV века нашей эры. — *Примечание Кулаковского.*



Пестум. Храм Посейдона (Второй храм Геры), фото 1880-х

афинских, главный из них, которому присвоено имя храма Нептуна, ровесник развалинам храма в Коринфе, принадлежит, стало быть, VI в. до Р. Х. Недалеко от Пестума из Салерно, но расстояние это — всего несколько десятков вёрст — приходилось проезжать на лошадях по местности, прославленной своей *malaria*. С июня месяца нынешнего [1883] года открыта ветвь новой железной дороги. Она начинается от третьей станции (*Battipaglia*) по дороге от Салерно в Метапонт и доходит до приморского городка *Agoroli*, который лежит на десять километров южнее Пестума. Вблизи Пестума приходится четвёртая станция этой железной дороги. Таким образом, в настоящее время поездка на его знаменитые развалины представляется делом лёгким и удобоисполнимым в один день, направитесь ли вы туда из Неаполя или Салерно. Мне пришлось сделать эту экскурсию из среднего между этими двумя городами пункта, из Помпей. Проведя там несколько дней, я решил оторваться на один день от этого пленительного для всякого филолога места, чтоб осмотреть знаменитые храмы.

Рано утром выехал я по направлению к Салерно, выслушав целое напутствие от хозяина своей гостиницы касательно гигиены, какую следует держать на пестумской равнине. Не спать в вагоне, не пить воды, не есть фруктов — вот что внушал мой хозяин, а в случае нарушения этих предосторожностей грозил лихорадкой.

Дорога в Пестум так восхитительно хороша, что даже не будь Пе-

стум целью путешествия, поездку можно бы предпринять ради удовольствия любоваться этой местностью с её волшебными видами. Сначала мы ехали по открытой равнине *terra di lavoro*. Всё зелено, обработано, не оставлено впусе ни пяди земли. Виноградники, сады померанцевых деревьев, поля маиса, огороды, густо заросшие всякими овощами, плантации хлопчатника — всё это стелется пред вашим взором как один огромный волшебный сад. Горы справа и слева замыкают вдали панораму. Но вот первая станция *Anagni*. Направо отсюда разыгралась некогда, давно-давно, в 553 году нашей эры знаменитая битва. Велизарий разбил здесь готов с их царём Тея, когда они спускались на юг с *Monte S. Angelo*. С этого места долина суживается, надвигаются слева и справа горы, местность становится ещё разнообразнее, ещё красивее. В густой свежей зелени тонут посёлки, виллы и усадьбы. На высотах глаз ваш различает кое-где развалины давно забытых замков и укреплений, иные из них хранят воспоминания о крупных событиях далёкого прошлого. Близ станции *Nocera de'Pagani* (на месте древней Нуцерии), налево, на горе, развалины замка, где вдова Манфреда и её сын были заключены Карлом Анжуйским после битвы при Беневенте и где их потом казнили.

Горы всё теснее обступают дорогу, начинаются тоннели. Несколькими мгновениями темноты, и пред вами раскрывается новый вид на цветущие холмы и долины волшебного сада. Десять километров такой дороги с вечно новой панорамой, и пред вами раскрывается голубое море. Внизу городок Вьетри спускается до самого берега. Отсюда дорога принимает восточное направление, идёт она по склону горы, и всё время глаз ваш любителю на безбрежный простор лазоревое моря. Так вы доезжаете до Салерно. За ним опять начинается равнина, горы остаются левее, отступают всё дальше, и голубая долина дали всё сгущается на них по мере вашего движения вперёд. Кругом широкая, ровная местность с таким же цветущим видом, как на всём пространстве *terra di lavoro*. Чем дальше от Салерно, тем всё более местность принимает характер нашей русской степи. Виноградники и сады сменяют нивы, с которых давно уже успели убрать жатву. Кое-где пасутся, а там широкие луга, на которых пасутся стада быков и буйволов. Проехав около двадцати километров за Салерно, приходится менять поезд. Новая дорога идёт в южном направлении от Батипальи. Широко стелется степная местность, в воздухе начинает веять влагой и от моря, и от сырой болотистой почвы Пестумской равнины. Кругом нивы и луга, кое-где разбросаны усадьбы, местами попадаются озёрки и бо-



Пестум.

*Храм Деметры (Афины),
фото 1880-х*

лота, в которых полощутся и лежат целые стада буйволов. Приходится проезжать через несколько мостов над каналами, которые проведены в недавнее время для осушения и оздоровления местности. Наконец, поезд останавливается на станции Pesto. Вы выходите из вагона, и перед вами в десяти шагах стоят ворота древнего города.

Городская стена древнего Пестума сохранилась почти на всём протяжении. Она построена из больших квадратов серого камня, гладко пригнанных один к другому. Под стеной ещё кое-где сохранился ров, местами он засыпан и зарос кустами и деревьями. Стена в этом месте стоит приблизительно до половины своей высоты. Со стороны города почва выросла и почти везде выровнялась до высоты сохранившейся стены. Территория древнего города представляет прекрасно обработанную местность с разбросанными кое-где усадьбами и виллами. Две дороги, пересекающиеся под прямым углом в центре города, начинаются от древних сохранившихся ворот в стене. Выйдя на этот перекрёсток и повернув налево, мимо усадьбы, окружённой высокой каменной стеною, я увидел перед собой храм Посейдона и колоннаду так называемой Базилики. Участок земли вокруг этих великолепных памятников глубокой старины оставлен без обработки, обнесён загородкой, и для охраны приставлен сюда солдат из *guardia dei Scavi*, взимающий лиру за право осмотра развалин. Всё пространство так густо поросло колючей сорной травой, достигающей подчас высоты человеческого роста, что к храму трудно пробраться, и тем более приходится терпеть от колючек, что поневоле смотришь не туда, куда ступаешь, а вперёд на величественный храм.

Мощная внешняя колоннада храма сохранилась вся, уцелели все

антаблемент и фронтон с карнизом, так что когда смотришь на храм немного поодаль, получается впечатление вполне целого здания. Только подходя ближе, видишь, что нет на здании крыши, что внутренние его части сильно пострадали, что недостаёт нескольких колонн внутренней колоннады, что от стены целлы остались только анты, что из ряда маленьких колонн, которые высились над внутренней колоннадой и поддерживали крышу, уцелело только пять с одной стороны и три с другой. Входя под портик храма, вы замечаете, что не сохранилось ни одного кессона на месте. Но всё это, однако, не мешает целостности впечатления; воображению гораздо легче дорисовать здесь недостающее, чем в каком бы то ни было храме из тех, что мне, по крайней мере, приходилось видеть. Здесь чувствуешь себя даже ближе, лицом к лицу, с произведением древней архитектуры, чем во храме Тезея в Афинах, где рука человека Нового времени сделала столько перемен, чтобы приспособить здание для христианского богослужения. В пестумском храме Посейдона люди только грабили здание. Огромные квадраты, из которых состояла стена целлы храма, показались годными норманнам для постройки собора в Салерно, они и разобрали эту стену, оставив от неё лишь жалкие следы: уцелели лишь углы и анты. Но здание сохранило во всём свой древний характер, и высится теперь так же мощно над окружающей его пустынной местностью, как две тысячи лет тому назад среди живого движения городской жизни.

По характеру своей архитектуры здание представляет лучший образец строго выдержанного древнедорического стиля. Материал, из которого построен храм, — травертин, принявший от действия солнца и влаги тёмно-бурый цвет. Размеры храма 58 метров длины и 26 ширины. Колонны поставлены на стилобате, возвышающемся метра на полтора над почвой. Внешняя колоннада состоит из 36 колонн (по 6 на узких сторонах и по 14 на длинных сторонах здания, то есть считая угловые колонны каждую два раза). Высота колонн почти 9 метров, диаметр их $2\frac{1}{4}$. Они канеллированы, утончаются кверху довольно заметно. Капители их очень широки, как будто несколько расплоснуты, что мне напомнило развалины храма в Коринфе. Впрочем, спешу прибавить, что они гораздо гармоничнее и изящнее рассчитаны, нежели коринфские, в которых наглядно сказывается некоторая немелость выдержать гармонию частей.

Архитрав сложен из огромных квадратов безо всяких архитектурных украшений. Фриз украшен только триглифами, на метопах нет рельефов. Карниз довольно значительно выдаётся вперёд. Фронтоны,

уцелевшие на обеих сторонах, закрыты каменными плитами. Стояли ли здесь когда-либо группы статуй, как то было в афинских храмах, остаётся вопросом. Иные исследователи древней архитектуры склонны допустить это; что до меня лично, то мне казалось бы более естественным, в связи с общим строгим, лишённым украшений характером постройки этого храма, допустить, что во фронтонах не было [скульптурных] групп. Карниз фронтона также сохранился, и это-то последнее обстоятельство и позволяет, когда стоишь перед храмом, не чувствовать, что пред тобой лишь развалина, что на здании нет его крыши.

Внутренняя колоннада храма, в пределах его целлы, состоит из четырнадцати дорических колонн, по семи с каждой стороны. Своими размерами они несколько уступают внешним: их диаметр — два метра. Над ними покоится простой архитрав вышиной на взгляд полметра. На этом последнем возвышается ряд меньших колонн, поддерживавших крышу здания. Сохранились из них пять с южной и три с северной стороны. Эти меньшие колонны также дорического стиля, что характеризует отчасти эпоху постройки, ибо позднее для верхней колоннады в дорических храмах прибегали к ионическому стилю. Что до крыши, то напомним тем, кто знает Рим, что мы должны представлять её себе в том роде, какова она в базилике S. Lorenzo fuori le mura¹. Над верхними колоннами лежали балки, на концах которых были укреплены стропила.

Время положило свой отпечаток на материале колонн: камни во многих местах повыветрились и покрылись словно язвами. Но если пострадал самый камень, то, к удивлению, удержалась ещё кое-где штукатурка на стволах колонн. Когда она была положена на них и для какой цели — вопрос, на который нелегко дать ответ. Хотя в настоящее время всё чаще приходится убеждаться, что греки с самых древних времён прибегали к полихромии в своих постройках, тем не менее, трудно допустить, чтоб эти массивные колонны были окрашены.

Побродив по храму Посейдона и обойдя его кругом, я направился к так называемой Базилике. Это здание находится в очень недалёком расстоянии от храма, на юг от него. Сохранилась прекрасно внешняя колоннада, а от антаблемента уцелел один архитрав. Пространство, охваченное колоннадой, несколько менее, нежели храм По-

¹ Это единственный храм, где — правда, только в половине здания, именно, более древней восточной его части — нет потолка того общего типа, с избытком золота и всяких украшений, который утвердился со времени эпохи Возрождения в римских церквах. — *Примечание Кулаковского.*

сейдона (54 метра длины и 24 $\frac{1}{4}$ ширины). Но впечатление получается обратное, благодаря пропорциям колонн и их распределению. Самые колонны и ниже, и тоньше, пол здания покрыт землёй и зарос травой. С фронта — по девяти колонн, на длинных сторонах здания по восемнадцати, то есть во всей колоннаде — 50. Они дорического стиля, с очень широкими капителями, ширина которых ещё больше поражает зрителя благодаря одному обстоятельству. Дело в том, что уменьшение колонны кверху идёт здесь не так, как обыкновенно в дорических колоннах, то есть чуть-чуть заметно для глаза; здесь помимо обычного утончения колонны под самой капителью словно перетянуты, и толстый ствол их переходит в какое-то горлышко, на котором и лежит широкий расплюснутый эхин. После строгого величественного стиля храма Посейдона эта прихоть в дорике производит невыгодный эффект, кажется какою-то профанацией строгости линий, которая отличает дорический стиль.

Внутри здания уцелело три колонны в направлении параллельно фронту здания; уцелели также три колонны на средней оси его. Эти остатки внутренней колоннады, разрезывавшей здание пополам (на южную и северную половины), представляют большое затруднение в объяснении назначения здания и также для его реставрации. Следует ли предполагать, что здание имело крышу? Как компоновать его в целом? Это неразрешимые вопросы. В настоящее время принято называть его базиликой, но надо сказать, что это наименование вовсе не подходит к зданию, если исходить из тех образцов базилик, какие до нас сохранились. Что до меня лично, то я бы предпочёл называть это здание *porticus dorica* вместе с учёным монахом прошлого [XVIII] века Paolo Antonio Paoli, предложившим в своём учёном труде «*Rovine della sitta di Pesto*» (Roma, 1784) это объяснение для загадочной колоннады. Паоли предполагал, что здание имело плоскую крышу над целым лесом колонн. Внутри поныне остаётся открытым.

В последнее время появилось несколько трудов о храме Посейдона, но соседними развалинами, сколько мне известно, никто не занимался. Да и не мудрено: храм поражает своею величавостью, прекрасными пропорциями и малою сравнительно степенью разрушения; а эта колоннада, оскорбляющая наше эстетическое чувство своей вычурностью, стоит рядом с ним точно для того, чтобы заставить зрителя ещё более дивиться красоте храма.

Третья достопримечательность Пестума лежит в другой части города. Это так называемый храм Цереры. Дорога к нему идёт мимо

усадыбы, среди распаханых нив и виноградников. На половине пути, на левой стороне, заметны следы развалин театра. Храм Цереры значительно меньше Посейдонова (32 метра длины и 14 ширины). Здание построено в дорическом стиле, но его колонны опять-таки обезображены в своих верхних частях наподобие того, как в описанной базилике; впрочем, утоньшение верхней части ствола колонны здесь далеко не так резко, как там. Всех колонн 34 (6 с фронта и 13 на длинных сторонах); в диаметре они имеют один метр 60 сантиметров, то есть значительно меньше, чем колонны храма Посейдона, а соответственно с этим и самое здание много ниже. От антаблемента сохранился на длинных сторонах только архитрав, и только на восточном фронте сохранились фриз, карниз и фронтоны. Последний в таком же виде, как и во храме Посейдона, то есть безо всяких признаков того, чтобы там стояли какие-нибудь статуи. Что до внутренности здания, то здесь сохранились на месте только камни нижнего слоя стены, окружавшей целлу.

Вообще храм Цереры оставляет довольно гармоничное и приятное впечатление, но всё-таки невольно бредёшь от него опять ко храму Посейдона, чтоб ещё раз взглянуть на него, прежде чем проститься с Пестумом.

(Московские ведомости, 1883, 6 ноября, № 308)

Каприз о Риме и его истории. Можно было бы здесь придумать что-нибудь ещё об итальянских впечатлениях Кулаковского, но лучше не делать: человек с душой и внешностью римского патриция наверняка чувствовал себя на Апеннингах комфортней, чем в Киеве.

А вот отвлечься стоит.

Кулаковский был филолог-классик. Это человек, знающий и преподающий древние языки, шире — античную словесность как явление, лёгшее в культурное основание, с одной стороны, европейского просвещения (процесс), с другой стороны, европейской образованности (результат).

Мы помним: образование это то, что остаётся, когда забываешь всё, чему тебя учили.

Чем же по большому счёту занимался Кулаковский и его коллеги, интерпретируя основы римской словесности?

Трюизм: занимались культурным делом, поскольку культура, по наблюдению Мирона Петровского, «становится одно-

му лишь человеку присущим способом поддержания связи времён — прошлого, настоящего и будущего, средством и целью существования одновременно».

«Средства» и «цель» существования Кулаковского, если бы он больше ничего не оставил, его педагогическими занятиями вполне оправданы.

«Поднимите смелою рукою завесу времён протёкших, — призывал до-“исторический” Карамзин, — там, среди гибельных заблуждений человечества, там, среди развалин и запустения увидите малоизвестную стезю, ведущую к великолепному храму истинной мудрости и счастливых успехов. Опыт есть привратник его <...> Историк напоминает деяния и умолкает».

Да нет, не умолкает историк, продолжает разговаривать, рыть архивы в поисках невиданных трюфелей, строить модели и вообще — ворошить то, чего давно нет.

И не напоминает о деяниях — кричит.

Подлинной, высокой литературе всё равно, когда её произведение будет напечатано: сейчас или через сто лет. Тем более ей должно быть всё равно, когда оно будет хоть раз прочитано. Правильному литератору ещё больше всё равно.

Сочинения римских авторов, «переродившись», переписавшись, издавшись в средневековье и Ренессансе, пользовались постоянным умно-читательским успехом, будучи своеобразным буфером между Грецией и современностью, и потому для средних веков Цезарь и Август значили больше, чем Солон и Перикл, Вергилий — больше, чем Гомер, Дионисий Ареопагит и Августин — больше, чем Гераклит и Горгий. Но как Аристотеля называли просто Философ, так Вергилий титуловался просто Поэтом.

Мандельштам не говорил об учёных, он говорил об акмеистах «и тоске по мировой культуре». Мировая культура в то время — европейская культура, без америк, без парагваев.

Преимущественно литература, затем живопись и музыка, вернее, то, как «вылупилась из оркестра современная дирижёрская палочка», не результат, но процесс, подход к снаряду, движение, что устремлено к результату, как бегун к ленточке.

Как *urbs et orbis*, «Город и мир», во время господства этой формулы олицетворяли и мировую литературу, и литературу Города, так в последующие времена история римской литера-

туры — история литературы Города — сохраняла за Римом его гордый культурный статус, хотя самый Город в это время постепенно его утрачивал.

Такая традиция лишней раз свидетельствует, что письменное слово долговечнее устного, а словесность и литература, как однажды (в «Поэтике ранневизантийской литературы») показал Сергей Аверинцев, совпадают не всегда.

Мир Рима (и Италии) воспринимался Кулаковским как некое *эстетическое* явление, и всё, что было в этом явлении по-настоящему *выразительным*, что ярко «блестело» Золотым веком Августа, — регулярно, из года в год подвергалось освещению со стороны киевского профессора.

Он заимствовал фонарь Диогена и бродил с ним по университетским аудиториям, запахнувшись в латинские падежи.

Он пояснял:

«как филолог и представитель того факультета в Universitas Litterarum [Мире букв], специальная задача которого — объективное изучение прошлых судеб человечества, — я считаю своей обязанностью только дать характеристику, представить посильное уразумение <...> фактов жизни человеческого духа в прошлые века, не внося в него осуждения и обличения. Дело филолога стараться только всесторонне понять данное произведение древней литературы».

И тут же из-за двери выглянул ухмыльнувшийся историк.

Эти слова, произнесённые в январе 1887-го, можно зачесть либо девизом, либо эпиграфом к педагогическому и научному творчеству Кулаковского, главной ценностью которых оставались учёная акрибия, уверенность пера и честность размышлений.

С (будущим) орденом св. Владимира на шее и «Владимирским крестом» киевской планировки в сердце Кулаковский утверждал историю римской литературы как художественную форму истории, выступив остроумным интерпретатором её *обратной перспективы*.

Он показал зависимость этого этапа античной литературы от предыдущего (от «игравшего воображения греков») и оригинальность его, руководясь гоголевским установлением: слово гнило да не исходит из уст наших. Иначе «Dabunt malum Metelli / Naevio poetae» — «высекут Метеллы Невия поэта».

Как филолог Кулаковский был в Киеве занят такой работой научно и пропедевтически, так, скажем, писатель Михаил

Булгаков — художественно и мистически. И для каждого из них, как и для каждого вообще, существовали собственный образ и понятие о Риме, чаще сходные, чем различающиеся с идеей Рима как единицей географической и единицей исторической. Ведь одно дело ходить в горы, другое — читать о них, отличая облака над головой от обсидианов под ногами.

«Фамилию пиши Koulakowsky — так у меня на карточке, по которой я спрашиваю письма», — сообщает он Флоринскому 30.07.1883 из неаполитанской гостиницы.

Так вот, «что до меня, — пишет Кулаковский дальше, — то я много извездил мест, много видел, людей встречал много. В Афинах очутился благодаря прелестному старцу, тамошнему нашему архимандриту Анатолию, в русском кругу. Сам он принял меня как родного, с ним я уехал 10 июля в Лутраки (близ Коринфа), где и прожил у него в гостях три дня. Потом, не без приключений, добрался до Brindisi, а с вечера субботы обретаюсь здесь.

Неаполь представляет во всех отношениях и для всякого столько интереса, что тут совсем завертеться можно. Но, впрочем, для меня обязательно спешить в Помпеи, и я, вероятно, завтра же туда уеду. Сегодня получил я билет для бесплатного посещения Помпей, какие выдаются занимающимся людям от дирекции раскопок, и теперь, стало быть, надо туда двигаться. В качестве туриста я бы предпочёл оставаться здесь, ездить в Капри, Сорренто, — но надо спешить, и так уже много ушло времени и от каникул осталось менее двух месяцев, а ведь надо заниматься и сделать кое-что, и запастись кое-чем в своей области, чтобы не оказалось потом, что даром съездил.

Описывать, что видел, что вижу теперь кругом себя, — не пытаюсь, да ведь оно и лучше приберечь для наших бесед, когда мы опять в Киеве составим свою доцентскую семью, как ты когда-то выразился».

Пересказ впечатлений о Риме сохранился в письме к Вере Ивановне Флоринской, супруге Тимофея Дмитриевича, написанном в следующие «римские каникулы», 15.04.1887.

«Рим, конечно, несравним ни с чем, но иное дело смотреть его как туристу, и иное — изучать в нём что-нибудь. Вообще, я теперь холоден и спокоен и далёк от всякого радужного настроения, в каком я бывал от Рима прежде и был по приезде. Итальянцы сами по себе ничего симпатичного не имеют, да я и не интересуюсь ими вовсе».

К научной археологии: прото-РАИК. Об отношениях к постановке археологического дела в Италии и Немецком ар-



Фёдор Иванович Успенский

хеологическом институте в Риме Кулаковский плотненько написал в статьях «Из Рима» и «Археология в Риме», сочинённых в Вене и опубликованных по возвращении в Россию в 1887–1888 годах.

В «Археологии...» он отметил, что если итальянцы по отношению к родной археологии стоят далеко не на высоте, «то иноземцы давно уже на римской почве с успехом разрабатывают широкое поле римской археологии». Кулаковский предлагает создать наряду с немецкими, французскими и британскими учёными колониями археологов российскую колонию.

Надежда Эрастовна Успенская (в девичестве Ващенко) (1862–1942, умерла в блокаду), жена академика-византиниста Фёдора Ивановича Успенского, дама неглупая, писала Кулаковскому по поводу этой статьи:

«Дай Бог, чтобы высказанная Вами мысль об основании учёной колонии в Риме осуществилась; потребность в ней чувствуется в Риме, но в Афинах, пожалуй, ещё больше. В Риме всё-таки легче ориентироваться новому человеку, в Афинах же он совершенно предоставлен самому себе».

А лучше было бы и в Риме, и в Афинах, и в Константинополе: тогда бы российская археологическая наука охватила *en kyklos paideia* — «весь круг учёности», создав своего рода энциклопедию археологического знания. Отчасти такая задача была решена в Константинополе, в первую очередь практиче-

ски, в 1894-м усилиями Успенского, возглавившего там Русский археологический институт (РАИК). Как раз в 1888-м Успенский обсуждал с супругой детали распространения исследовательского внимания к древностям вне территории Российской империи, читая вместе с ней письмо российского посла в Константинополе Александра Нелидова (1835–1910), образованнейшего из тогдашних дипломатов.

Надежда Успенская сообщала по этому поводу Кулаковскому:

«Знаете ли Вы, что поднят вопрос об устройстве чего-то вроде археологического института в Константинополе? Эта мысль русского посла, который прислал письма [Никодиму] Кондакову, [Александру] Кирпичникову и Фёдору Ивановичу с просьбой высказать свои соображения по этому поводу. Все трое отвечали [положительно], и дело теперь в Петербурге».

Помяловский ещё в 1887-м писал Кулаковскому, что Нелидов выступил инициатором создания РАИК — по образцу существовавших в Афинах французской и немецкой школ:

«Предполагалось привлечь магистрантов из университетов и духовных академий, занимающихся классицизмом, Византией, славяноведением и Востоком».

Кулаковский будто в воду глядел, подчёркивая, что российский

«современный классицизм заимствовали мы от Западной Европы. Но наша история связала нас не с западным, а с восточным Римом, с Византией. Связь эта никогда не прерывалась, и её традиция выразилась в нашей духовной школе, обнаруживаясь и в таком внешнем факте, как новогреческое чтение в семинариях и академиях. Почему бы нам не позаботиться о том, чтобы основать наш классицизм на эллинском, а не римском элементе?»

То есть, перевести стрелку с юго-запада на юго-восток?

От этого замечания один шаг до Босфора и Дарданелл, который был сделан *культурно* при Александре III, утвердившем штаты и бюджет РАИК, и *некультурно* — во время привычно дурацких геополитических притязаний России по секретному соглашению Антанты от 18.03.1915.

Вл. Соловьёв в энциклопедической статье о Константине Леонтьеве (1891) писал, что Леонтьев хотел, чтобы Россия завоевала Константинополь, но не затем, чтобы сделать его цен-



Киев. Центральная часть с Ботаническим садом Университета св. Владимира.

Аэрофотосъёмка 1918 г.

тром славянской либерально-демократической федерации, а затем, чтобы в древней столице укрепить и развить «истинно консервативный культурный слой и восстановить Восточное царство на прежних византийских началах, только восполненных национально-русским учреждением принудительной земледельческой общины».

Вот где гнездились российское завоевательное начало: вместо того, чтобы организовывать и просвещать гигантские дикие территории, уже находящиеся в услужении, российским деятелям нужен был символ — метафора, аллегория, фетиш, фейк в виде креста над Софией Константинопольской вместо исторически обрётённого ею полумесяца. Но, конечно, в те годы об этом нельзя было говорить, здравый смысл должен был отдохнуть от трудов. Хотя Соловьёв и пытается дерзить начальству: боявшийся либералов умеренный западник

«Леонтьев во всех сферах высоко ценил *принудительный* характер отношений, без которого, по его мнению, жизненные формы не могут сохранять своей раздельности и устойчивости».

Начальство смолчало.

Монтекассино. Ещё в статье «Монте-Кассино», написанной в Помпеях по свежим впечатлениям и высланным в редакцию «Русского вестника», Кулаковский говорит, что в Италии, стране с самой древней культурой, современная действительность поражает на каждом шагу отсутствием преданий и забвением связи с прошлым. Что же удивительного?

«Путешественник видит это прошлое в вещественных памятниках, но это, сохранившееся по природе самого вещества, материальное прошлое стоит в самом резком контрасте со всем складом существующей действительности».

Ну, конечно, иначе бы оно было современностью, а не прошлым. Побывав в Монтекассинском монастыре св. Бенедикта¹, положившем начало ордену бенедиктинцев, Кулаковский написал о воздействии его фресок.

«Не знаю, какое впечатление производит эта живопись на итальянцев: она слишком чужда их приученному к реализму и манерности чувству; но на человека русского она во всяком случае произведёт впечатление, что он находится в церкви, — впечатление, которое так редко может дать ему Италия, со всеми её знаменитыми храмами, начиная со св. Петра в Ватикане. Я долго бродил по этим тесным и тёмным комнатам “башни св. Бенедикта”, как называется сооружённый им монастырь его жизни, любуясь этою живописью и читая латинские надписи, объясняющие содержание фресок, и невольно думалось о том, что без помощи богатой своей наукой и образованием Германии никогда бы не существовать этому интересному уголку в Кассинском монастыре».

Мы часто встретим у Кулаковского высказывания, — впрочем, не лишённые оснований, — о превосходстве немецкой археологической и искусствоведческой науки, развивающихся под небом Италии, над собственно итальянской, с родными донжуанскими облаками. Любопытно было бы вместе с тем

¹ Монастырь в 529 году основал св. Бенедикт Нурсийский (480–550). Разрушен в 1944-м ударами британской авиации, в 1964-м восстановлен.

Интересный был год 529-й: когда св. Бенедикт разрушил последнее языческое святилище итальянцев — храм Аполлона в священной монтекассинской роще, — Юстиниан Великий разрушил твердыню античного мирочувствия в Греции — Платоновскую академию.

Александр Александрович Васильев, первым указавший на это соответствие, забыл, что 529-м же годом датирована кодификация Юстинианом Великим «Римского права».

Не эта ли дата может считаться формальным началом европейского средневековья?



Аббатство Монтекассино сегодня

прочсть о его впечатлении от фресок Дионисия в Феррапонтовом монастыре. Но уже то хорошо, что он первым в России обратил внимание на помпейские росписи — в специальной рецензии на книгу Августа Мау.

В Риме и «Из Рима». О самом же Риме, каким он его застал, Кулаковский удручённо отзывается в статье «Из Рима».

«Нет места в целом мире, которое бы могло так много сказать уму и сердцу, как дивный Рим... Преимущество Рима прежде всего в том, что за все века своего существования он был и стоял как центр самостоятельной жизни, источник культуры. Человечеству и человеку нужны символы, и Рим был за всё время символом великих идей... Мне не приходилось знать Рима при папах: в первый раз я увидел его уже в 1880 году, через десять лет после взятия его итальянцами и [авиньонского] «пленения папы». С тех пор я был в нём трижды, и самое долгое моё там пребывание было весной текущего года».

Новое впечатление было не менее мрачным, чем прежнее:

«Сотнями строятся дома — все это огромные четырёхугольные ящики для людского помещения, вышиной в шесть–семь этажей, созданные по одной мерке без малейшего разнообразия. Неужели же дом современного человека не может стать предметом художественного творчества?»

Неужели итальянские архитекторы не могли бы создать какой-нибудь своей архитектуры, применяясь к условиям своего климата, национальным привычкам своего народа? Неужели богатое прошлое архитектуры в Италии и в самом Риме не могло бы дать поучения современным архитекторам? Неужели они не могли бы отвлечь от своих памятников чего-нибудь для создания особого своего стиля в постройке человеческого жилища? — Но ничего этого нет, и новый Рим, простой, вульгарный, буржуазный, без своего образа и вида город, — какие возникают повсюду в Европе...

Как ни плоха и слаба современная Греция, как ни мало интересны современные Афины, но надо отдать честь архитекторам, работавшим там в последние годы: в Афинах есть стремление применить в дело родные материалы и дать стиль новым зданиям, отвлекая архитектурные мотивы от древних греческих стилей. В новом Риме нет ничего подобного: тут растёт на святой почве шаблоннейшая из столиц европейских.

Пожалуй, это единственное рассуждение об архитектуре, — причём человека бездомного, живущего на съёмных квартирах, — встречающееся в публикациях Кулаковского. И выглядит он в нём как ретроград, старичок «из раньшего времени», эдакий член общества охраны памятников от самих себя: от *естественности* смерти.

Итальянцы пресыщены культурными богатствами, доставшимися им даром, чтобы с их соседством считаться серьёзно. Жизнь жизнью — богатства богатствами. Впрочем, проблема тактичного поведения архитектора в среде, будучи затронута в возмущённых строчках филолога-классика, со второй половины XIX века до сегодняшнего дня острит со всех сторон новостроя. О необходимости охраны старых памятников, бережном отношении к ним Кулаковский будет писать, занимаясь раскопками в Крыму в 1890-х, участвуя в работе Киевского общества охраны памятников старины и искусства в 1910-х.

Но тогдашние старые памятники это не совсем то же, что нынешние. Тогда — памятники древности и средневековья, теперь — памятники провинциальной «фоновой» архитектурки столетней давности, которые сами были младше Кулаковского лет на двадцать. Но — *tempora mutantur*.

Друг Аландский. Параллельно с Университетом Кулаковский с января 1884 года начинает преподавать на Высших женских курсах (ВЖК) историю Греции, сменив рано умершего коллегу и товарища Павла Аландского (1844–1883).



*Экслибрис-импринт (суперэксслибрис)
на книге из библиотеки Аландского*

Николай Стороженко (1862–1942 или 1944), историк, ученик Антоновича, будущий многолетний директор Первой киевской гимназии и эмигрант, вспоминал, что

«Аландский был очень учёным человеком, хотя умер только магистром и доцентом. Читал “Историю древней Эллады”. Он хорошо знал всю литературу своей науки вообще, больше всего — немецкую и английскую, скажем, “Историю Греции” Грота, преподавал её с философской точки зрения и очень искусно. Так и слушали его студенты в большой группе, хотя и была для его лекций приспособлена небольшая (VIII) аудитория. Был он невысокого роста, рыжий и, к сожалению, болел сухотой, потому вскоре умер».

В начале июня 1883 года — Флоринскому:

«Сообщу тебе об Аландском, что он стал сильно хворать в последнее время. Живёт он теперь в Китаево, где я его раз посетил. Доктор говорит, что это острый катар желудка, он же сам боится, что это рак. Дай Бог, чтобы последнее оказалось ошибкой и преувеличением». В середине июня: «Аландский стал сильно хворать <...> Собирается уезжать через Одессу и морем <...> до Неаполя».

Самодиагноз Аландского не подтвердился, никуда он не поехал, 28 октября его не стало. Правда, умер он не от туберкулёза и не от рака, а, будучи уже очень больным, утоп на рыбалке в Пуща-Водице.

Через год Кулаковский вместе с окладисто бородатым профессором кафедры философии Алексеем Александровичем Козловым (1831–1901) готовил к публикации и держал корректуру «Лекций по истории Греции» Аландского, доказывая делом память (в данном случае спасая для науки имя) рано почившего старшего товарища. К слову, позднейший отзыв Кулаковского о Козлове более чем сдержан: «Симпатии к Козло-

ву не было у меня никогда, а видеть развалину-человека — скорбное зрелище» (Флоринскому из Вильны, 17.06.1897).

Именно Аландский в 1883-м сочинил в факультетский совет рекомендацию Кулаковскому для его избрания на должность штатного доцента.

В предисловии к «Лекциям» Кулаковский и Козлов писали:

«Ещё свежие воспоминания о личности покойного освобождают нас от обязанности предлагать здесь его характеристику; скажем только, что то был человек образования энциклопедического, с философским складом ума и обладал талантом блестящего лектора. Преподавательский цикл Аландского обнимал толкование многих греческих авторов, курсы грамматики греческого языка и энциклопедии классической филологии, а равно истории греческой и римской литературы и греческих древностей. В течение нескольких лет читал покойный также и латинских авторов (Плавт, Лукреций, Тацит). За отсутствием специального преподавателя по древней истории в нашем Университете покойный товарищ наш взял на себя преподавание и по этому предмету».

Позже Кулаковский посвятит памяти Аландского отдельную статью. «Вчера получил я Вашу “Поминку по Павлу Ивановичу”. Она прекрасна тем, что написана искренне и тепло. Прочли мы её вместе с женою [Варварой Дмитриевной Иловайской]», — написал Кулаковскому Иван Цветаев (3.04.1884).

Речь идёт о первой лекции для барышень 16.01.1884, посвящённой памяти Аландского.

«Одно вечно в мире, — заканчивает её Кулаковский, — это непрерывная работа духа, вечно обновляющаяся, вечно текущая. Стать к этому течению, внести свою деятельность в этот процесс, быть орудием в этом движении мировой жизни духа — это и есть тот высший идеал, какой человек может избрать себе в этом мире. Здесь человек не орудие, не орган чего-то внешнего, не слуга материального порядка вещей, — он здесь стоит выше, его дело — *wirken der Götttheit lebendiges Kleid* [живую одежду ткать божеству], говоря словами Гёте».

Аристотелевско-гегелевские идеи владеют избранными, и Кулаковский, их исповедующий, в Киеве был едва ли не исключением.

Флоринскому 29.12.1883 — из Москвы в Киев:

«Шлю тебе поздравление своё с наступающим Новым годом и свои пожелания — выиграть то пари, что ты держал у Фортинского, так чтобы в будущем Новом году приходилось поздравлять уже не только одного



Николай Владимирович Стороженко

тебя, но и твою спутницу жизни. Вчера удалось повидать нашу новинку театральную — “Медею” Суворина–Федотовой, которую я не видел уже года три, [и которая (Гликерия Николаевна Федотова)] является действительно великой артисткой в этой тщательной античной драме, — хотелось бы попасть и в оперу, но при этих страшных расстояниях и суете огромного города день проходит так быстро, едешь, едешь и не попадаешь туда, куда хочешь или предполагаешь, когда выходишь из дому. То ли дело в нашем тихом спокойном Киеве; когда потолчешься тут несколько дней, тогда становится привлекательной наша спокойная жизнь в Киеве». Вообще-то, не так чтобы очень спокойная.

Казённые торжества. 8-го сентября 1884 года Университет сделал себе полувековой юбилей. Лучше б не праздновал.

Поскольку киевское студенчество считалось самым беспокойным среди российской университетской братии, всякий повод политически побузить воспринимался студентами как должное. Вправду: зачем в университете учиться?

Усатый начальник Киевского губернского жандармского управления генерал-лейтенант Василий Дементьевич Новицкий (1837–1907) писал впоследствии:

«Боже мой, что делалось в Киевском университете до введения автономии! Это что-то ужасное, что не поддается описанию. Храм науки превращён был в сбор не студентов, а людей, у которых ничего святого и человеческого не было. Мне пришлось, по распоряжению генерал-гу-

бернатора [Михаила Ивановича] Драгомирова, всего однажды очистить здание университета от собравшихся в нём на ночь 800 человек студентов в двух аудиториях, где они расположились на ночлег, куда принесены были едомые вещества и водка. <...> Выдержать даже все нападения студенческой толпы, не только возгласы, крики и ругательства, стоило больших нравственных сил, воздержанности и такта, коими только и пришлось совершить удаление такой массы из здания университета без боя и без схватки войск, в университетском здании находившихся».

И в другом месте:

«Мне приходилось знать массу студентов лично, но весьма немногие из них относились серьёзно к науке и занимались; большинство же только числились в числе студентов, находя это даже выгодным в материальном отношении через получение денежных пособий, а другое большинство ровно ничего не делали и время проводили праздно, при этом непременно занимались политикою, что считалось молодцеватостью и непременным условием пребывания в студенческой среде, в которую врывались агитаторы и вносили полное разложение студенчества как в товариществе обществе, семейном быту, так и по отношению к науке».

Почему социалистическая идея в практическом смысле несостоятельна? Потому что рассчитана на честных и порядочных, а люди разные.

Во все времена процент действительных учёных и учёных яловых, пристроившихся был примерно одинаков — 15 : 85.

Настоящие учёные бежали интриг, конфликтов, политики, зная, что всем этим есть кому заниматься — их неталантливым, рвачески настроенным коллегам из соседнего лагеря.

Студенты бойкотировали юбилейные торжества 1884 года, устроив на площади перед Университетом митинг, потом прошли по улицам шумной демонстрацией, побили окна в квартире ректора Николая Карловича Ренненкампа, «которого студенты ненавидели»; полковник Фёдор Фёдорович Трепов (будущий генерал-губернатор), вступившись за шефа, генерал-губернатора Александра Романовича Дрентельна, подрался с профессором-гигиенистом Виктором Андреевичем Субботиным: дал зуботычину, а тот хотел побить Трепова стулом. Киевляне вместе с жандармами смеялись, Дрентельн нервничал, Трепов отмораживался.

Меньше чем через неделю, 14 сентября Университет — до 15 января 1885 года — был закрыт, все студенты (причаст-



Фёдор Фёдорович Трепов (младший)

ные и непричастные) исключены: «всех студентов уволить и вернуть им документы с воспрещением приёма уволенных в другие университеты», — грозно циркулировал министр просвещения. Самые активные участники митинга были арестованы, 34 из них привлечены к суду, некоторые отправлены в ссылку. Обратно студентов принимала особая комиссия, которой «вменялось собирать самые точные справки и удостоивать приёма лишь тех, благонадёжность которых не будет подлежать никакому сомнению».

Эпоха всероссийских «студенческих беспорядков», связанных с подготовкой нового устава, начавшаяся студенческим митингом в Киеве ещё 14.03.1878, разрасталась по университетским городам и приобрела характер стихийного бедствия, в конце XIX — начале XX века сотрясавшего высшее образование.

Торжественный акт был сорван. Но как бы ни было, в памятном адресе Московского археологического общества, подписанном помощником председателя Иваном Деляновым и секретарём Иваном Помяловским, говорилось:

«Общество прежде всего не может не вспомнить о тех археологических открытиях и трудах, какими, на заре университетской жизни, мог уже гордиться Киев...

Наше Общество с отрядным чувством может указать на свои труды по изданию древних изображений Ярославовой Софии как на связь свою

с археологической почвой пращура русских городов. Связь эта возобновилась на блистательном по успеху III-м Археологическом съезде, когда под гостеприимным кровом Университета многим из нас довелось прочесть свои домыслы и положения по различным вопросам археологии — этой, поистине классической для русской науки почвы».

Кулаковский, среди прочих преподавателей присутствовавший на юбилее, конечно, слышал этот едва ли фальшивый умиротворяющий текст.

Европы. Как ни шумна Москва и сколь относительно тихим ни был Киев, каждый год холостяк Кулаковский совершает путешествия по Европе.

«Фортинский побуждает съездить в Англию. Мысль хорошая — чего доброго я действительно поеду туда, пробыв, впрочем, во всяком случае, некоторое время в Германии (Лейпциг и Берлин). — Но этого ещё не решаю, пока думаю только о маленькой экскурсии на наш Юг, чтобы подышать днепровским, а затем деревенским воздухом».

Лучше смешить Господа планами, чем огорчать просьбами. Он это, пожалуй, чувствует, и потому Кулаковскому Божьим попустительством реализация планов удалась.

«Сегодня неожиданно пришлось мне сделать знакомство с Галаганами, ибо вчера получил я приглашение на обед, которым они обыкновенно заканчивают учебный год. Стол был большой — оканчивающие ученики, учителя да четыре профессора, и я в том числе. Галаганы — очень любезные и предупредительные люди. — Были разные спичи, один особенно понравился и того заслуживал по сердечности своей, — это спич старого [Фридриха Фридриховича] Меринга, сказанный ломанным русским языком» (31.05.1885).

Григорий Павлович Галаган умер через три года после этого письма, и Коллегию имени рано почившего сына Галаганов опекала супруга, Екатерина Васильевна (урожд. Кочубей), старушка консервативных воззрений на воспитание, подпортившая директорскую кровь Иннокентия Фёдоровича Анненского. Наверняка Галаганы приглашали Кулаковского на торжественные предвыпускные обеды и в следующие годы (отчего бы им, раз пригласивши, не делать этого впредь?), и, быть может, именно на застолье в Коллегии в 1891-м он познакомился с Анненским, тогда ещё совсем неизвестным поэтом, начинавшим делать имя педагогическими публикациями в журнале Якова Гуревича «Русская школа».



Василий Дементьевич Новицкий

В Послужном списке: «Командирован за границу с учёной целью на летнее вакационное время 1885 года».

Из Берлина — Флоринскому:

«Вернулся [из деревни] в Киев только 15 июня, а затем тронулся оттуда 18-го через Прагу в Лейпциг. Скоро, впрочем, думаю двинуться дальше на запад, а именно в Антверпен, а оттуда — в Лондон. <...> Да и всё время за границей я больше с русскими выдаюсь. В Праге — [Александр] Потёбня с семьёй и приятель их, харьковский профессор [Константин] Гаттенбергер. В Лейпциге — русские студенты; здесь — Арсеньевы. — В Лейпциге я больше занимался разысканиями за книгами и диссертациями и наглотался пыли антикварных магазинов до того, что грудь стала болеть. Заглядывал, конечно, и в Университет, познакомился с некоторыми профессорами. Здесь — все люди знакомые [по 1878–1879 годам] — [Kurt] Hübner, [Otto] Hirsselfeld, некоторые бывшие товарищи по учению, состоящие приват-доцентами. — К сожалению, Моммзена не увидел, ибо он в Швейцарии.

Учёная живая атмосфера, которая мне мила и привычна по прошлому, ободрила меня, и я стал свежее против того, как был, уезжая из России» (2.07.1885).

Строчки из Лондона:

«Лондон страшно, необъятно велик, нового здесь на каждом шагу не оберёшься, видеть можно и даже должно очень много; но это так трудно при этих страшных расстояниях и — главное — без языка. В англ-

лийском языке я вообще очень слаб, а разговорного языка и вовсе не разумею; беру уроки, но не надеюсь далеко уйти. Пользы в научном отношении от моего здесь пребывания — конечно — не будет для меня никакой. Вы вот, сидя в России, на одном месте, гораздо лучше воспользуетесь каникулами для научных целей, нежели я в моих скитаниях по чужим землям. Это освежает, правда, оживляет и расширяет интересы, но не позволяет сосредоточиться и не даёт возможности отдохнуть ни духом, ни телом; а то и другое не только полезно, но необходимо нашему брату».

«Лондон с его необязательностью, с его серым небом, ибо солнце не в силах пробиться сквозь тучи каменноугольного дыма, с его шумом, гамом и треском, — уже перестаёт быть для меня привлекательной новинкой» (Флоринскому, 18.07 и 5.08.1885).

Сколько бы ни жаловался Кулаковский на трудности заграничных командировок, связанных с ними бытовых неудобств, на невозможность сосредоточиться, — нужно же было о чём-то писать в Киев, давая знать.

Опыт работы в заграничных библиотеках, вопреки всяким трудностям, сказывался благотворно, поставляя уголь к раздумке свежих размышлений.

Поездка в крупные английские университетские города, знакомство с системой высшего образования позволили по приезду в Россию написать обстоятельную статью «Современное состояние английских университетов», опубликованную в «Русском вестнике» тем самым Любимовым, за отпечаток которой, поднесённый попечителю Киевского учебного округа, Кулаковский получил благодарственную записку.

Экстемпоральные экстемпоралии. Стороженко вспоминал о курьёзе, случившемся в его бытность студизусом.

Студенты должны были переводить комедию Теренция «Adelphae» («Братья»).

Ненавистные для учеников упражнения в переводах, экстемпоралии, были настоящим бичом для лиц, не склонных к гуманитарному развитию.

«Тягни норовисту скотину хоча й на налігачі — не буде з неї пуття, тільки снасть понівечиш», — говорят о таких.

Но склонные не всегда бурно радовались экстемпоралиям.

Например, уж куда лучше всех склонный к гуманитарному развитию Осип Мандельштам, сдавая в конце сентября 1915-го

в Петербургском университете латинский экзамен Александру Иустиновичу Малеину (1869–1938), жаловался потом Сергею Кабукову, что Малеин требует знания Катулла и Тибулла, Мандельштам же изучил лишь Катулла, Тибулла переводить отказался, за что был изгнан с экзамена (он пересдал его через год). С древнегреческим у Мандельштама сложилось попроще: он не выучил греческий язык, но «отгадал его» (К. Мочульский).

Так вот, наибольшую часть студентов в киевском университете составляли ученики уездных гимназий, однако поскольку латинисты по глухим городам были кое-какие, студенты в классических языках смыслили мало, хотя гимназический устав 1871 года ставил акцент именно на этом элементе прививки европейской образованности к умственному чепыжнику дикой российской лесостепи.

Поскольку сдача экстемпоралий Теренция была обязательной для всех студентов, они так перепугались, что даже пригорюнились: как бы вывернуться?

Разговоры с Кулаковским ни к чему не привели, и тогда они позвали на помощь студентов других факультетов и на совместном совете приняли решение: поскольку Кулаковский якобы «агент Каткова и жандармов», нужно заставить его покинуть Университет. Конечно, глупость: уберут одного, представят другого, а программа есть программа. Университетский совет, с своей стороны, решил: если студенты в конце семестра не сдадут Теренция и не извинятся перед невинно оскорблённым Кулаковским, всех их либо лишить именных стипендий, либо выгнать. Но главные агитаторы подговаривали не повиноваться.

Теренций не создавал трудностей для Стороженко и ещё двоих студентов, окончивших курс в гимназиях с золотыми медалями; они решили переводить Теренция и просили Кулаковского, чтобы он приходил в назначенное для этого время.

«В конце семестра те [из студентов], которые не хотели с нами даже здороваться, а не только беседовать, бросились с просьбой помочь им подготовить Теренция для экзамена. Все остались при своих стипендиях, потому курс Кулаковского благодаря нам состоялся, все сдали экзамен и всё обошлось».

Когда нерадивые всё же осилили Теренция, они сразу же начали вымещать на отличниках злость. Дело привычное.

«Заводилами были некто Полунин из Житомира и трое старших студентов: долговязый Чумаченко и длиннородые Федорченко и Мальченко, последний, кажется, из Глухова. Как встретят, бывало, студенты нас на тротуаре, то поднимут такой шум, что хоть беги, а нам всё равно. Оказывали им поддержку трое из Киевской Третьей гимназии на Подоле — Григорий Григорьевич Павлуцкий и его двое сателлитов — Яновский и Янишевский. Тем не менее, тот же Павлуцкий только благодаря Кулаковскому сделался профессором по кафедре истории искусств в Киеве после скандального диспута в Дерпте, где профессор [Владимир Константинович] Мальберг посрамил его публично за то, что он описал в подробностях статую Венеры, которую никогда не видел, и так далее».

С первым украинским искусствоведам Павлуцким как учеником Кулаковского мы позже встретимся.

Стороженко дальше пишет, что ещё до Теренция, зная Кулаковского по его отношениям с братом, он понимал, что тот никаким «агентом Каткова и жандармов» не был.

«Был он одинаковым вплоть до своей смерти в Киеве <...> У него был большой талант к учёной деятельности, всегда он впахивал искренне — не так, как бывало, другие профессора, составят две диссертации и на том и успокоятся.

[Кулаковский] очень хорошо знал греческий, латинский, немецкий, английский, французский и итальянский языки, и был прекрасным, артистичным оратором. Хотя характер у него был диковинный. Долговязый, стройный, всегда наклонён вперед, остроносый и с голой, как колено, головой. Если не найдёшь его, бежит, как шар, поздоровается, бросит какой-то вопрос, но, не дожидаясь ответа, бросит ещё один-другой вопросы, и побежит дальше. А как сам начнёт что-то рассказывать, то такое взвинтит, что и не разберёшь, что к чему, о ком только он в это время не вспоминает».

Насчёт знания Кулаковским иностранных языков, перечисленных выше, конечно, перебор: читать наверняка читал, а вот свободно говорить мог едва ли. Так ведь и не сказано, что свободно говорил. Важно, что свободно обращался с материалом, понимая, что история это «картинная галерея, где мало оригиналов и много копий» (Алексис де Токвиль), и каждую из них вынужден мастерить самостоятельно.

ЮЛИАН КУЛАКОВСКИЙ и ВАСИЛИЙ ЛАТЫШЕВ

Отступление первое

Здесь последует отступление, посвящённое отношению Кулаковского к Василию Васильевичу Латышеву (1855–1921), крупнейшему эпиграфисту, умевшему направлять исследовательскую энергию на достижение почти невероятных высот как в научной деятельности (академик), так и в административной (директор департамента в Министерстве просвещения, директор института итд).

По-видимому, между Латышевым и Кулаковским всегда существовала потаённая конкуренция: Кулаковский вслед за Латышевым стремился одно время заниматься теми же вопросами, которые входили в круг интересов последнего, — *крымскую эпиграфику*. Это следует из их сношений, выразившихся в рецензировании трудов друг друга на страницах научных журналов, полемика по ряду вопросов итд. Причём, полемика принципиальная.

Впрочем, когда весной 1919-го Национальная библиотека Украины (ныне — НБУВ) приобрела у сыновей Кулаковского (Сергея и Арсения) его книжное собрание, в информационном сообщении о событии указывалось, что «среди многочисленной специальной литературы на русском и западноевропейских языках имеется почти полная подборка трудов акад. Латышева (более 90 названий)», и почти все эти издания — с авторскими инскриптами.

Кулаковский в письмах подробно говорит о Латышеве, описывает их знакомство, раскрывая «тайную историю» попытки ректора Университета в 1883–1890-м — Николая Карловича Ренненкампфа (1832–1899) — занять Латышева в преподавателях древних языков.

Первое письмо — Иконникову, 15.06.1883, из Одессы.

Кулаковский излагает предмет, сведший двух учёных на административно-учебной почве.

«Спешу дать Вам отчёт о моём свидании с Латышевым. Вчера я провёл с ним почти что целых 12 часов и вынес вообще самое приятное впечатление от знакомства с ним. Он мне подробно и вполне откровенно рассказал весь ход дела, свои переговоры с ректором, показывал и письма



Василий Васильевич Латышев

последнего. Я сниму с писем копии и покажу их Вам при свидании, а теперь пока расскажу главнейшие факты. — Дело было так. За докторским обедом у [П. В.] Никитина [Ф. Ф.] Соколов получает письмо от [В. И.] Ламанского, который приглашает его немедленно повидаться с ним по важному делу. (Соколов, по-видимому, души не чает в Латышеве.) При свидании Соколов узнаёт, что наш ректор спрашивает Ламанского, нет ли у них грека. Тот указал на Латышева. Устроилось свиданье. Ректор предложил ему доцентуру по греческой филологии и командировку в Петербург до января 1884 года, ссылаясь на то, что у нас два грека, и мы можем, стало быть, обождать. Латышеву особенно привлекательна командировка, так как ему очень важно в Петербурге <...> приняться за печатание своего сборника надписей; но тут же заявил, что на 1900 рублей он ехать не может, и ректор ему тут же обещал две тысячи. При следующем свидании Латышев передал ректору свои писания и curriculum vitae. В своих разговорах ректор называл ему Вас, Латышев упоминал о знакомстве со мной и между прочим о том, что мои сёстры всегда будут знать адрес его жены, а потому, если что понадобится ему сообщить в ту пору, когда он будет в скитаниях, то можно-де сделать это через меня. Ректор просил его строго держать секрет, так как он-де боится, что могут после его обвинить, что он слишком самостоятельно вмешивается в дела историко-филологического факультета, высказывая, однако, полную уверенность, что дело <...> скоро пройдёт в факультете, а затем в Совете. — Просьба ректора и была причиной того, что Латышев ни разу не обмолвился мне

в своих письмах об этом деле. Доцентура по латинской кафедре была предложена в письмах Соколову, копию с которых я Вам покажу. Там тоже речь идет о двух тысячах, и о командировке.

<...> Латышев человек такой милый, простой и открытый, что я с своей стороны не считал нужным держать от него что-нибудь в секрете и говорить дипломатическим языком. Надо Вам добавить, что его жена [Наталья Адриановна Бессмертная¹] была большая приятельница моих сестёр ещё до замужества, и таким образом Латышев в Вильне был знаком с ними и знал про меня. Сёстры мне всегда его расхваливали, и теперь вижу, что они были совершенно правы в своих отзывах. Иметь такого товарища было бы очень приятно, и не будь этого пункта о двух тысячах, я бы не колебался начать это дело. Но теперь, при таком условии, ничего тут не поделаешь, — Латышев очень скорбит о том, что всё так устроилось (важнее всего в данном положении дел была командировка до января, так как срок его командировки истекает 1 июля и он принуждён занять место в Историко-филологическом институте с 9 часами лекций [в неделю], а это отвлечёт его от издания, им приготавливаемого). Так как в Институте все вакансии заняты, то он приглашается только на лекции — 4 по греческому и 5 по латинскому и окладом в 1800 рублей.

<...> По характеру занятий и работ Латышева Киев его нисколько не привлекает. Ему нужен или Петербург, или Одесса, так что он всегда бы ради этих городов — если бы дело шло об ординатуре <должность ординарного профессора> — готов будет оставить Киев и, стало быть, при новом уставе он сам будет искать Одессы».

Второе письмо — Флоринскому, из Киева, 7.06.1883, перед отъездом в Италию.

Если в письме Иконникову изложена внешняя суть дела и общее (восторженное) впечатление Кулаковского от знаком-

¹ Н. А. Бессмертная (?-?) — младшая сестра киевского архитектора Владимира Адриановича Бессмертного (1861–1940) и мать Петра Васильевича Латышева (1882–1942), горного инженера, после октябрьского переворота — начальника монетных пределов Петроградского монетного двора, который организовывал чеканку советских полтинников и рублей — знаменитых, серебряных: на полтиннике рабочий молотом стучит по наковальне; на рубле, заплодливо приобняв крестьянина, сулит ему светлое будущее. На реверсе — советский герб. Инициалы «П. Л.» («Пётр Латышев») — в гуртовых легендах полтинников (1922, 1924–1927) и рублей (1921–1922, 1924). С инициалами «П. Л.» связана легенда, будто первые советские монеты были платиновыми. П. В. Латышев умер от голода в блокадном Ленинграде, похоронен в братской могиле на Волковом кладбище.

ства с Латышевым, здесь — в письме, написанном за две недели до этого, — дело изложено более откровенно.

«Я всё ещё, как видишь, в Киеве. Но скоро его покину, так как отпуск уже пришёл и вся задержка за паспортом. Получу его на днях и тронусь в путь — но как? — хочется через Одессу и морем дальше. Теперь я знаю стоимость пути от Латышева: билет во II классе на пароходе 275 франков до Неаполя. Дорогонько это, и меня смущает, но всё-таки, вероятно, решусь ехать именно этим путём. Быть может, в Одессе придётся подождать парохода, не соберётся ли туда скоро Васильевский? Ты не упоминаешь, когда он думает двинуться в путь, а мне бы так хотелось с ним повидаться, такой он прелестный человек! — В Одессе повिдаюсь и с Латышевым, что даже полуофициально возложил на меня ректор.

Эта история довольно курьёзна, чтобы о ней потолковать. Тут виноват сильно передо мной Влад. Степ. [Иконников], который оказался, по своей бесхарактерности, пляшущим под дудки ректора и затянул меня в довольно неприятную историю. Я не ожидал от Влад. Степ. такого злоупотребления дружественными сношениями и моим к нему доверием. — При свидании расскажу больше, а пока прошу тебя, не говоря ничего обо мне и моих суждениях, узнать у Ламанского, как и почему он рекомендовал Латышева Ренненкампфу? Хотел ли к нам Латышев, если ректор искал дня нас классика помимо нашего факультета? Дело в том, что ректор надавал от себя самых широких обещаний Латышеву (тот мне сам писал об этом), так что тот думал, что ещё весной пройдёт его баллотировка у нас; а мы и не думали об этом. Почему так действовал ректор, Бог его знает; но опорой были для него рассуждения Влад. Степ., который советовался со мною, как бы от себя, ссылаясь на несуществовавшее письмо к нему от Ламанского. — Ректор заговорил теперь со мною, предлагая вопрос, — нельзя ли пригласить Латышева по латинской кафедре (хоть он магистр греческой словесности) и к тому же — выставяя его крупной учёной силой — просить для него содержания в 2000 рублей. — Я, конечно, не поведу этого дела, но с Латышевым переговорю и познакомлюсь. Так как Ламанский в отличных отношениях с Ренненкампфом, то ты будь осторожен в разговоре, чтобы не вышло каких неприятностей для меня». Из Неаполя Кулаковский довольно сухо пересказывает эпизод знакомства:

«С Латышевым я провёл два дня в Одессе. Человек он хороший, но особенного расчёта приобретать его — нам нет. Он не пополнит никоим образом у нас того, что нам недостаёт в классических кафедрах, то есть элемента сравнительно-грамматического, или филологии как кри-

тики текста и близкого знакомства с рукописями. Я лично вовсе не хочу его приглашать».

Как известно из биографии Латышева, затея не выгорела; в Университете св. Владимира он не преподавал. Однако дело о переводе решилось всё-таки в пользу Латышева и лишь в связи с его тактичным отказом замерло.

Сохранилось обстоятельное письмо Латышева Иконникову от 30.12.1883 в ответ на эпистолу последнего, в котором содержалось изложение заманчивых условий приглашения Латышева в Киев.

«Вы позволите мне, надеюсь, отнять у Вас несколько минут Вашего дорогого времени для того, чтобы изложить Вам чистосердечно и откровенно те соображения, которые побуждают меня, к крайнему моему сожалению, отклонить честь, делаемую мне факультетом, по крайней мере *в настоящее время*. Соображения эти двоякого рода, — научные и материальные.

1) Я не знаю, из каких источников получено Вами сведение, что моя докторская диссертация почти уже готова, но позволю себе уверить Вас, что оно далеко от истины. Вам, быть может, неизвестно, что я лишь в начале текущего года (20-го февраля) защитил диссертацию на степень магистра [“О некоторых эолических и дорических календарях: Эпиграфические исследования” (1883)]. Эта диссертация и предшествовавшие ей статьи в “Журнале Мин. нар. проsv.” и других сборниках заслужили мне весьма лестное внимание здешнего историко-филологического факультета, гораздо более лестное, нежели я смел надеяться, так что при суждении о диссертации в факультете было даже сделано предложение дать мне сразу степень доктора, — предложение для меня столь неожиданное, что я отказывался ему верить. Оно встретило, однако, оппозицию, и было оставлено — “на время”, как мне говорили, но Вы согласитесь, что с моей стороны было бы слишком смело и безрассудно надеяться на столь высокую честь, которой я заслуживаю совсем мало, — так что придётся идти обыкновенным путём, то есть представить особую диссертацию на степень доктора, и, притом, после хорошей магистерской работы хотелось бы представить и докторскую не хуже, на что надо немало времени. Задолго ещё до получения степени магистра я получил от Имп. Русского археолог. общества предложение заняться сборником и сравнением всех греческих и латинских надписей, найденных на северных бережьях Чёрного моря с целью издания их в одном общем сборнике, и после своего диспута окончательно отдался этой работе, в высшей степени

для меня интересной. Несмотря на крайний недостаток свободного времени с сентября месяца [1883 года], эта работа идёт вперёд довольно успешно, так что нынешнею весною я надеюсь уже приступить к печатанию первой части сборника (которая будет заключать надписи Ольвии, Тирь и др.), которую Общество просило подготовить к [VI] Археологическому съезду в Одессе¹. Вот об этой-то работе, быть может, и говорили Вам как о докторской, но я во всяком случае не считаю её таковою² <...>

Далее. Поручение Археологического общества требует разработки очень обширного и многосложного учёного материала, рассеянного во множестве книг и журналов, которые иногда с большим трудом нахожу в библиотеках, которыми имею возможность пользоваться, — академической, университетской и институтской <библиотекой Историко-филологического института>. Только недостаток времени заставляет меня очень мало пользоваться сокровищами Публичной библиотеки. В большинстве случаев мне приходится иметь дело с брошюрами, журналами и газетами 20–30-х годов, но также и с новыми. Я не знаю, насколько богата библиотека Киевского университета, но тем не менее смею думать, что по той специальной отрасли науки, которою я занимаюсь, в ней найдётся далеко не всё то, что мне нужно, так что недостаток материалов был бы, по всей вероятности, очень для меня ощутителен, быть может, даже настолько, что заставил бы меня отказаться от дела, которому я очень симпатизирую и которым надеюсь оказать хотя небольшую услугу нашей историко-филологической науке. Вот это — *первая и главная причина* моего желания остаться в Петербурге *по крайней мере до издания* первой части сборника и разработки диссертации.

[2] Теперь соображения материальные. Будь я человек одинокий и холостой, я, конечно, не счёл бы возможным и заикаться о них там,

¹ К одесскому съезду намеченный сборник выпустить не удалось, и на самом съезде — в августе 1884 го — Латышев выступает с информационным сообщением о ходе работы, представляя депутатам в качестве образца несколько корректурных листов готовящегося им издания.

² Докторская диссертация «Исследования об истории и государственном строе города Ольвии» была подготовлена и выпущена в свет только в 1887-м. Эд. Фролов писал: «По полноте привлечённых материалов, по глубине исторической реконструкции работа В. В. Латышева об Ольвии не знала себе равных в русской научной литературе: она далеко оставила позади ранее созданные труды, посвящённые отдельным городам Причерноморья, и даже сейчас <...> остаётся эталоном всестороннего монографического исследования такого рода» (Э. Д. Фролов. Русская наука об античности. С.-Петербург, 1999. С. 231).

где дело идёт о служении отечеству и науке, но для человека семейного они также имеют известное значение. Известно, что оживившийся печётся о мирских... Тут приходится начать довольно издалека. В 1880 г. я оставил службу в Виленской гимназии, провёл два года в заграничной командировке (вместе с женою), а третий (1882–1883) — в командировке по поручению Археологического общества, получая по обоим довольно ограниченное содержание. В этот же промежуток времени (в начале 1882 г.) скончался мой тесть, оставив без всяких средств вдову и трёх сыновей-студентов. Все эти обстоятельства очень сильно повлияли на наше материальное положение, и только со второй половины истекающего года, получив место при Историко-филологическом институте, я вздохнул свободнее и мог заняться исправлением разных прорех в виде долгов, недостаточности моей библиотеки, гардероба и пр. Предполагая оставаться в Петербурге на более или менее продолжительное время, я обзавёлся мебелью, хозяйством и пр., — всё это теперь снова пришлось бы бросать или продавать за бесценок, даже не попользовавшись самим. В Институте я имею по должности на ставке 1400 р. и квартиру (что по нынешним временам очень важно), получаю по 200 р. за лекции и по 250 р. за 3 лекции на Высших женских курсах по древней истории, так что всего имею до 4000 р. В будущем году количество лекций в институте значительно уменьшится, но все-таки я буду иметь до 3000 р. с квартирой. Согласитесь, что эти условия значительно превышают те, которые я имел бы в Киеве».

По всему вероятно, письмо было прочитано Иконниковым в заседании факультета, извинения приняты, и вопрос о приглашении Латышева в киевский университет больше не поднимался, поскольку тот, взяв правильный служебный разбег, быстрым прыжком, подстёгиваемый безденежьем, начал хлопотать о столичной карьере.

Отношения же Латышева и Кулаковского оставались товарищескими. Ещё весной 1883-го, когда Латышев собирал надписи Надчерноморья, Кулаковский передал ему эстампажи Ольвийских памятников, хранившиеся в Университете св. Владимира. Слова признательности за помощь в издании и даже ведении корректуры, которые Кулаковский адресует Латышеву в предисловиях к первому и второму изданиям «Прошлого Тавриды» (1906, 1914), тоже об этом свидетельствуют.

К первому изданию:

«Императорская археологическая комиссия оказала мне любезное внимание, приняв мой очерк в серию своих изданий. Благодаря этому сча-

стливому для меня обстоятельству, я имел возможность дать книжке тот внешний вид, в каком она является на благосклонный суд читателя (откуда ему знать, что именно *благосклонный?* — А. П.), а в то же время воспользоваться содействием и помощью такого авторитетного знатока древних судеб Крыма, каким является академик В. В. Латышев, товарищ председателя Комиссии. Прочитывая в качестве редактора изданий Комиссии корректурные листы моей работы, В. В. Латышев делал ценные указания, которыми я мог воспользоваться для улучшения моего текста.

К второму изданию:

«Печатание моего текста шло под наблюдением товарища председателя Императорской археологической комиссии В. В. Латышева, который не отказался взять на себя труд просматривать корректуры».

Рецензии Кулаковского на осуществлённые Латышевым издания эпиграфических древностей Надчерноморья и другие его труды всегда носили благожелательный характер. Хотя и *cum grano salis*.

Архимандрит Анатолий, глава русской православной миссии в Афинах, дружески ябедничал Виктору Карловичу Ернштедту (1854–1902): «Г-н Латышев добрый человек, я его уважаю как честного труженика науки, но любить его не могу, у него сердце завистливое, без поэзии. Кирия (супруга Наталья Адриановна Латышева. — А. П.) дочь нашего времени, отродье бюрократа, женщина без сердца, вкусившая философии г. Писарева, моральный эмбрион!» (14.03.1883), «Боже мой, бедный человек г. Латышев, его подруга жизни везде будет ему мешать, жена без веры, бич божий для мужа. Бога ради вы не женитесь на нигилистке!» (18.12.1884). Какой спрос с его высокопреподобия? А вот что жить с учёным нормальной женщине порой трудно, чаще невыносимо — правда; она тоже должна быть с придурью — для симметрии.

За год до кончины Кулаковского, 14.01.1918, в самый разгар властной чехарды в Киеве (за две недели до первого пришествия большевиков), Латышев писал:

«Дорогой Юлиан Андреевич,

Спешу откликнуться на Ваше письмо, полученное вчера, хотя и не уверен, дойдёт ли до Вас мой ответ при теперешнем положении нашей почты и “состоянии войны” между Смольным и Украиной. Открытки, посланной мною в ответ на Вашу, Вы, по-видимому, не получили.

О современном положении распространяться не буду: слишком тя-



Виктор Карлович Ернштедт

жело... Вы сами так прекрасно охарактеризовали его, что я готов подписаться под каждым словом. Главное — не видно никакого просвета! Ко всему прочему здесь, в Петрограде, присоединяется голод, грозящий принять самые острые формы. Мы едим хлеб пополам с мякиной, на все продукты сумасшедшие цены, но и некоторых предметов первой необходимости не достать ни за какие деньги. Давно не видел белого хлеба, молока (сгущённое — 14 р. баночка!), яиц, масла, исчез картофель и пр., и пр. Но лучше не говорить о всех этих ужасах... Нередко вспоминаю “украинскую” пословицу: “бачили очи, що купували, тепер йште, хоч повилазьте”, получается, что мы именно ничего не “бачили” и действовали, как слепые котята...

Второго издания “Прошлого Тавриды” в складе Археологической комиссии имеется ещё 375 экземпляров, так что новое издание является, пожалуй, преждевременным, и симферопольский магазин при ином положении почтовых сношений легко мог бы выписать из Комиссии потребное ему количество экземпляров, но теперь вряд ли это возможно. Я знаю, по крайней мере, факт, что Почтамт отказался принять для пересылки в Симферополь тюк с таблицами, изготовленными к моей статье для очередного выпуска “Известий Таврической учёной архивной комиссии”, и пришлось переслать их “с оказией”. Однако в Керчь посылки принимались. Думаю, что симферопольский книжный магазин мог бы получить несколько экземпляров из Керчи от В. В. Шкорпила, у которого всегда имеется небольшой запас Вашей книги.

<...> В печатном деле полный застой, типографии работают отвратительно, так что и давно начатые издания или идут крайне медленно, или лежат в типографиях без движения. Мне очень хотелось выпустить “Биографический словарь профессоров и преподавателей” Историко-филологического института целиком, но ещё летом я был вынужден ограничиться только первой половиной; когда явится возможность печатать вторую — не знаю. Давно приготовлено к печати и 2^е издание 2^{го} тома IosPE¹, которое лежит в ожидании лучших времён, которых, пожалуй, и не дожждёмся...

Примите мой сердечный привет и искреннейшие благожелания, хотя бы в виде сентенции Феокрита, которую я часто теперь вспоминаю: *elpides en sooisin, anelpistoi de pbanontes* [“Надежды — живым, безнадёжности — мёртвым”]».

Больше они не встретились.

Латышев пережил Кулаковского на полтора года.

Сергей Жебелёв (1867–1941), этот Харон классических древностей в российской науке, в некрологе Латышева настаивал, что, начиная с 1885 года, когда появился первый том IosPE, и до конца жизни Латышев был почти монопольным хозяином издания и объяснения греческих надписей, происходивших из Надчерноморья. К этой монополии он относился ретиво и ревностно; не очень жаловал, если кто-то другой вторгался в область, в которой он считал себя — имел право — безраздельным хозяином.

С одной стороны, такая монополия имела хорошие стороны: каждая вновь находимая надпись попадала в надёжные руки, её публикация была молниеносной. С другой стороны, Латышев не дал возможности другим войти в надчерноморскую эпиграфику, не создал школы, не оставил преемников. Однако как бы ни было, за то, что им было выполнено, учёные постоянно будут ему признательны.

«Удивительна методичность, которую умел вносить В. В. во все свои

¹ *Basilii Latyschev. Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini* [Graecae et Latinae]. Petropoli, 1885–1916. Рукопись второго тома IosPE после смерти автора взята на доработку Жебелёвым, но и тот не успел довести её до публикации. Работа продолжена в 1950–1960-х (В. В. Струве, М. Н. Тихомиров, В. Ф. Гайдукевич, А. И. Доватур, Д. П. Каллистов, Т. Н. Книпович) и опубликована («Корпус боспорских надписей», 1965). Кулаковский приветствовал благосклонными рецензиями каждый новый том IosPE.

работы, касались ли они области классической или византийской филологии. Он всегда ясно сознавал цель, достигнуть которой стремился в своих исследованиях, и шёл к достижению этой цели твёрдым и неуклонным путём, невзирая на трудности, какие этот путь представлял. Оттого все работы В. В., независимо от того, приемлемы или неприемлемы те или иные результаты их, навсегда останутся глубоко поучительными в методологическом отношении».

Что ещё нужно имени учёного после смерти и самому учёному при жизни? «Труды В. В., — завершает погребальный спич Жебелёв, — смело можно рекомендовать всякому начинающему исследователю для изучения того, как нужно вести исследование».

В те времена, когда научный работник стремился тщательно додумывать мысль до результата и договаривать фразы, происходило активное переопыление учёных методик и методологий. Филологи и историки пеленали народившееся вместе, без чинов, орденов и званий, заботясь лишь, чтобы окутать научное знание в чистые простыни, извлечь из хаоса времени, показав миру характер и сноровку, придав оформление и надеясь на приближение всеобщего умственного порядка в их науке.

Наука только отчасти зиждется на вере — *вере учёного в свои силы*, — и к ней отчасти применима сентенция Порфирия, мол, «как допустить, что божественное стало эмбрионом, что после рождения его пеленают всего в крови, желчи и хуже того?» Как же иначе? Тогда наука становится дисциплиной, когда в ней с противостоянием и борьбой утверждается внутренний методологический устав. (Примерно о том же говорил в утопической, смешной гипотезе «ноосферы» старенький оптимист Владимир Вернадский.)

Через несколько десятилетий после советской лагерной отсидки, в 1978 году в связи с фигурой Зелинского о Латышеве вспоминал Аристид Иванович Доватур (1897–1982): Латышев не подавал руки Зелинскому.

«Общественная уборная в университете... и вдруг Латышев видит: на гвозде висят те его статьи, которые он глубокоуважаемому Зелинскому подарил. Причём Латышев — действительный статский советник, виднейший филолог... Потом Зелинский сказал, что все эти надписи Северного Причерноморья, которыми тот занимался, — что “отдам их все за один стих Еврипида”. За одну строку Еврипида всё то, чем занимался



Сергей Александрович Жебелёв

Латышев! Латышев будто бы очень охотно людям делал пакости... Видите, он был ещё озлоблён, потому что с революцией он потерял всё: своё место директора, свой чин, свой большой-большой оклад...»

Мне не хочется заканчивать на такой невесёлой истории. Потому вспомню весёлую — из «Жили-были» Шкловского, который учился в питерской Окружной гимназии — что прямо напротив Министерства народного просвещения. Директором её был «гордый латинист Латышев».

«Старые гимназии царского времени были не совсем плохи, но только потому, что были не совсем царскими: в них учили хорошие преподаватели, знающие своё дело, имеющие опыт, робко хотящие родить добра.

Были в гимназии даже любимые предметы: история, русская литература, естественная история. Я даже видел латинистов, которые хотели передать ученикам своё восхищение перед Римом.

<...> В Окружную гимназию меня приняли. Это было учреждение старательное — чуть-чуть либеральное, с хорошо выметенными и хорошо натёртыми полами.

<...> Идеологически руководила нами седовласая, румяная, коротко стриженная дама в синем платье, госпожа Латышева. Вероятно, она окончила Высшие женские курсы. Эта дама была инспектором.

Инспектриса мужской гимназии была неглупа, деятельна и осто-

рожна. Все мечты юности, опровергнутые положением жены крупного чиновника, осторожно вкладывались в хоровое пение.

<...> — Искусство смягчает и облагораживает. Оно превращает школу в единую семью. Слушайте же, Шкловский, только внимательно.

Голоса пели фразы, переплетая напев.

<...> Вспоминаю прошлое, будто протирая стёкла. Вижу молодость тяжёлую и невнятную».

Из гимназии Шкловского, конечно, выперли — он не вписывался в неё по всем параметрам. Но портретик Наталии Адриановны Латышевой нарисовал в 1964-м достаточно точно: запомнилась.

Магистерский диспут Григория Зенгера. В октябре 1886 года в стенах Университета произошёл публичный диспут по защите магистерской диссертации Григорием Эдуардовичем Зенгером, будущим тайным советником, министром народного просвещения, членом-корреспондентом Императорской академии наук (1907), на тему «Критический комментарий к некоторым спорным текстам Горация» (книга с таким заголовком появилась в Варшаве летом 1886-го). Магистр римской словесности, экстраординарный профессор Кулаковский выступил официальным оппонентом.

Сразу после защиты — в письме Флоринскому:

«Диспутом Зенгера я был сам доволен. Он вышел интересным для присутствующих, которые, вероятно, не ожидали чего-либо другого, кроме сухих и невнимательных прений. Публики, впрочем, кроме студентов, явившихся в достаточном числе, было мало. Не мог я не увидеть в этом и того, что, значит, мною мало кто лично интересуется (Зенгера ведь не знают здесь, а кто знает — был).

Виноват, впрочем, отчасти и “Киевлянин”, который хоть и получил уведомление задолго, сообщил о диспуте только в самый его день <...> Ты увидишь в первом замечании, быть может, проявление тщеславия, — но пусть так, пишу, что действительно думаю, озирая залу пред прением <...> Для меня это появление перед публикой было своего рода событие, и ответственный для меня диспут долго занимал меня и стоил труда <...> Надо теперь писать рецензию на книгу для “Журнала Министерства народного просвещения” (как мне было предложено), да не пишется, да и другие дела отвлекают. — Жизнь проходит день за днём в обычном труде, который меня, впрочем, нисколько не тяготит — без него я бы пропал.

Живу я на старой квартире <меблированные комнаты Чарнецкого>, хоть и собирался переехать и устроиться. — Но так и остался.

Обновил обстановку только тем, что купил кресло к письменному столу, оказавшееся очень удобным, — за целых 20 рублей; да ещё заказал конторку дубовую, которую должны доставить завтра утром.

Квартиру соседнюю заняло в этом году милое семейство — медик-ординатор хирургической клиники (до сих пор не знаю фамилию), окончивший курс два года тому назад, но уже успевший жениться.

От соседей имею прислугу, так что больше порядка. Обедаем старому в “Северной гостинице” втроем [Крещатик, 6]. Живём единодушно, но и общение не продолжается больше, нежели обед и обычная прогулка на Крещатике с заходом в “Семадени”¹. Погода побаловала было нас несколькими прекрасными днями недавно. Но не удалось сесть на коня и скакать в рощу и Голосеевский лес, ибо как раз в день диспута опять подвергся я краже, и оказался между прочим без пиджака, а ехать в сюртуке чёрном неудобно (ты, вероятно, знаешь, что по дороге из Москвы в Варшаву я лишился одного из двух чемоданов — там был и мой прежний костюм для верховой езды).

Похоже, Кулаковский был искусным наездником и любителем покататься верхом. Где он мог пристраститься к этому, неизвестно, может, ещё в Вильне. Не раз в его письмах встречается указание на «хорошее отношение к лошадям». Например:

«Погода — большею частью — плохая — холодно и дожди. Вчера был великолепный день, я воспользовался им, чтобы поскакать на коне в чистом поле — и в лесу Голосеевском. — Верховая езда — что-то совсем особенное — никогда голова так не свободна, как когда сидишь на коне, совсем нет мыслей никаких, а только созерцание и чувство природы» (С. Т. Голубеву, 1886).

Невольно вспомнишь путешествие Гулливера в страну гуйгнмгов. «Вообще, всё поведение этих животных отличается такой последовательностью и рассудительностью, что в конце-концов у меня возникла мысль — уж не волшебники ли это, которым по каким-то причинам понадобилось превратиться

¹ Знаменитый кондитерский магазин и ресторан-кафе (с бильярдом), куда «солдат, людей в ливреях и крестьян в простой сельской одежде и всех в неприличном наряде» не пускали. Основан в 1885 году на Крещатике, 15, принадлежал швейцарцу Бернарду Семадени (1845–1907), который был «непобедим хотя бы потому, что его учреждение располагалось в идеальном месте — напротив Думы и вблизи Биржи» (Анат. Макаров).

на время в лошадей», — удивлялся Гулливер. «На языке гуингнмов совсем нет слов, обозначающих *ложь* и *обман*», а самое слово гуингнм «на местном языке означает *венец творчества*». Пожалуй, наездник Кулаковский, галопирующий по горкам Голосеевского леса, мог бы солидаризоваться с деканом Свифтом в прорисовке лошадиных характеров, как позднее, увы, с деканом Флоринским в ненависти к украинскому языку и естественным надобностям национальной идентификации.

Рецензию на книгу Зенгера он написал, и не одну. Простой отзыв был напечатан в «Университетских известиях» (1886, кн. 12), большая статья «Русский учёный труд о Горации» с тщательным и достаточно ядовитым, но объективным разбором, — в ЖМНП (1887, март).

Николай Дашкевич, будущий академик, один из троих, с кем Кулаковский кофейничал и шоколадничал у Семадени, вспоминал о диспуте Зенгера в письме Флоринскому:

«С Зенгером он <Кулаковский> препирался в возвышенном стиле, говорил о своём несогласии с диспутантом в “принципе”. Публика отнеслась к Зенгеру весьма сочувственно несмотря на то, что [И. А.] Лециус заявил, что книга Зенгера весьма “толста”, “производит усыпляющее действие” и т. п. В особенности, вероятно, понравился Зенгер дамам, потому что сиял красотой, блистал остроумием в ответах, изяществом речи, живостью (один раз даже подпрыгнул на эстраде)» (11.10.1886).

Зенгер, человек «не от мира сего» (Витте), стал одним из приятелей Кулаковского (слишком критическими замечаниями которого не оскорбился), и в юбилейном сборнике к 30-летию научной деятельности бывшего официального оппонента «*Serta Vorysthenica*» тогда уже бывший министр народного просвещения опубликовал одну из многочисленных текстолого-поэтологических заметок, на этот раз к текстам Сенеки.

Многодетный отец, он был и автором многих стихотворных переводов на латынь как из русских (например, «Евгений Онегин»), так и иностранных поэтов. В конце 1902-го, будучи министром, созвал большую комиссию для выработки нового университетского устава, в которую от киевского университета вошли князь Евгений Николаевич Трубецкой (1863–1920) и Кулаковский: результатом работы этой комиссии стали пять объёмистых томов.

Князя Трубецкие. Чтобы в последующем не возвращаться к персонажу по имени «князь Евгений Николаевич Трубецкой» и разотождествить его с более знаменитым старшим (на год) братом, князем Сергеем Трубецким (о котором речь дальше), скажу несколько слов.

Род Трубецких в течение нескольких столетий считался одним из достопамятных, имея в Киеве множество мест жизненной локализации. Киевские адресные книги и календари хранят списки мест жительства княгинь Веры Александровны, Марии Гавриловны, князей Сергея Петровича, Владимира Петровича, Александра Георгиевича, Евгения Николаевича и его сыновей Сергея Евгеньевича и Александра Евгеньевича. Среди адресов, например, Владимирская, 3, Богдана Хмельницкого, 21, Вознесенский спуск, 27. В 1999-м мой друг кандидат искусствоведения Александр Иванович Тищенко (1954–2005) установил принадлежность с 1895 года большой городской усадьбы на углу улиц Рейтарской и Олеса Гончара, 27–29/29, князю Евг. Трубецкому, опубликовал полезную статью в сборнике «Архітектура спадщина України» (Киев, 2005, вып. 5, с. 364–371).

Выпускник юридического факультета Московского университета, собеседник и оппонент Вл. Соловьёва, князь Трубецкой преподавал в Университете св. Владимира более десяти лет: с 1892-го (сначала приват-доцентом, затем профессором) по начало 1906-го: баллотировка в Государственную думу от партии кадетов, переезд в Москву после смерти брата Сергея Николаевича — занять его осиротевшую кафедру философии в Московском университете. Андрей Белый в мемуарах «Между двух революций» называет Трубецкого «кит тогдашний»:

«Евгений Трубецкой играл в Москве крупную роль; он твёрдо обосновался в салоне Морозовой; она издавала “Еженедельник”, в котором он выступал с ответственной публицистикой; публицистика носила характер высказываний по вопросам культуры; Трубецкому приспичило, что высказыванья есть политика; два-три протеста против режима, тяжёлых и косолапых, как он, в “онные времена” создали ему репутацию радикала и укрепили в нём несчастную мысль создать фикцию партии “мирообновленцев”, которой он был едва ли не единственным членом; даже кадеты посмеивались над его правизной; косолапо слонялся он меж Гучковым и Милюковым; и от того и этого его отделяла порядочность; он был честен и прям, но политически туп».

*Евгений Николаевич
и Сергей Николаевич
Трубецкие*



Одиознейший советский стукач Давид Заславский, «исключительно ловкая, долговечная и прожжённая газетная тварь» (В. Шубинский), студент юрфака Университета св. Владимира, в пасторальных воспоминаниях намемуарил:

«В особенности много народа, притом со всех факультетов, набиралось на лекциях Евг. Трубецкого по философии права. Он привлекал не только содержанием своих лекций, а и своей манерой читать, и своей личностью. Он не похож был на других профессоров, ходил не в синем форменном сюртуке с позолоченными пуговицами, а в чёрном сюртуке, и по виду своему был не замухрышкой-чиновником, а светским человеком с изящными свободными манерами.

Читал он не по запискам, говорил красиво, даже чересчур красиво. Его считали хорошим оратором, и он явно любил слушать самого себя. Но говорил он протяжно, монотонно, и речь его скоро утомляла. Избытком темперамента кн. Евгений Трубецкой не обладал, но благородства и учтивости в нём была бездна. Это imponировало студентам.

Подкупало их и то, что молодой профессор обращался с ними не как с новобранцами, которых надо вымуштровать в университетской казарме, а как с младшими товарищами. Он с готовностью отвечал на вопросы, весьма любезно беседовал, не уклоняясь от щекотливых тем, в лекциях затрагивал модные вопросы о роли личности в истории, о борьбе классов, историческом материализме и т. д. <...> Богатство, титул и связи создавали князю Трубецкому некоторое независимое положение. Всё же он вдруг оборвал свои лекции и уехал за границу, в научную командировку <...> Сам он был убеждённым противником всяких студенческих волнений и принципиальным врагом революции. Весьма мягко,

бархатным своим голосом, но и весьма решительно он высказывался против социализма, против марксизма. Он был единственным профессором, который старался примиряющее воздействовать на молодёжь и удерживать её от революционной активности».

Познакомившись с Трубецким в Москве, Василий Ключевский в записных книжках оставил:

«Трубецкой — экзотичность и ненужность мысли, хоть и красивой; сеяли рожь, а выходил испанский лук или что-нибудь тропическое, оранжейное», «Евг. Трубецкой etc. — это не бойцы, а только застрельщики. Они способны расшевелить нервы, но не дадут идей».

Не в той ли интонации публицист Богданович написал о Витте: «Витте не лгун, Витте — отец лжи»?

В деле работы с массой, в желании переделать существующее всякий политик, если он, конечно, разумный и благочестиво-меркантильный человек, сталкивается с одними и теми же задачами: как сделать, чтобы вышло по-твоему.

Во всяком случае, как коллега Кулаковского по Университету и Комиссии 1902 года по выработке устава Трубецкой, автор пары дюжин тягучих философских трактатов и прекрасный оратор, вполне мог нагнать требуемую волну.

Умер он январе 1920-го в Новороссийске, где был с отступавшей Добрармией, и, обнявшись с провожавшим его Вернадским, нехотя заразил Владимира Ивановича сыпняком.

Зенгер и жандармы в 1902-м. В начале 1902-го, ещё будучи товарищем министра народного просвещения, Григорий Зенгер приехал в Киев и, как водится, навещал знакомых.

С шефом киевских жандармов Василием Новицким, которого «почтил посещением», Зенгер беседовал об Университете, в котором тогда были очередные шумные нестроения.

«Он между прочим, — пишет Новицкий, — коснулся евреев, поступающих в гимназии, и я ему откровенно сказал, что по достоверным сведениям <...> поступление евреев в гимназии сопровождается громадным взяточничеством гимназического начальства с родителей и родственников за приём в число учеников и доходит от 300 до 700 рублей с ученика, что, в общем, страшно озлобляет евреев, наплыв которых во всевозможные противозаконные общества и тайные сообщества идёт с невозможной быстротой, натиском и большою численностью, и что поэтому необходимо принять неотлагательные меры пресечения этого по министерству просвещения во что бы то ни стало, в особенности по Киеву.

*Муниципальные
служащие готовятся
к открытию памятника
Богдану Хмельницкому,
июль 1888 г.*



На это я получил короткий, но знаменательный от Зенгера ответ, который останется у меня в памяти навсегда:

— К сожалению, это везде так делается».

Что он мог ответить, если отмена процентной нормы для евреев, поступающих в гимназии и университеты Империи, зависела всецело от благоусмотрения государя императора, а тот всё не благоусматривал. Граф Витте напоминает, что когда он был председателем Совета министров (октябрь 1905 — апрель 1906 года), вопрос о процентном отношении евреев в школах был возбуждён графом Иваном Ивановичем Толстым, но «возбуждён в совершенно обратном смысле, то есть в смысле уничтожения тех стеснений относительно образования евреев, которые были в то время. Новым же положением Совета министров сделан был шаг в совершенно обратном направлении, в направлении значительного стеснения евреев в получении образования в российских средних и высших учебных заведениях».

Чтобы не говорить в дальнейшем на эту тему и о растерявшемся Зенгере, напомню, что утверждённое 16.09.1908 Николаем II положение «Об установлении процентных норм для приёма в учебные заведения лиц иудейского вероисповедания», вследствие которого число евреев не должно превышать 3% всех учащихся учебных заведений «вне черты еврейской оседлости» и 10% «в черте оседлости» (*Полное собрание законов Российской империи, изд. 3-е, т. XXVIII, № 31008*), было

проведено в «порядке верховного управления», помимо Госдумы, поскольку Столыпин хотел избежать дебатов в Думе по этому «национальному вопросу». Едва ли Кулаковский был приверженцем таких норм и той омерзительной глупости, которая стоит за разделением людей по национальности, цвету кожи и языку. Свидетельств об этом я не нашёл.

Генерал Новицкий продолжает:

«На этом разговор и был закончен, и Зенгер поехал в университет на лекции, куда я ему не советовал ехать ввиду враждебно настроенного студенчества, но он совет не принял, явился на лекцию и, вместе с попечителем [Киевского учебного округа] Вельяминовым-Зерновым и ректором [Фортинским], был из аудитории удалён студентами, бросившимися на аудиторию, и бранью, криками, свистом и пением песен провожавшими по коридорам до помещения университетского совета. Зенгер, попечитель Вельяминов, ректор Фортинский, профессор, читавший лекцию, шли по коридорам с поникшими головами, безответно».

В тот же день или на следующий, 8.02.1902 Зенгер навещал Кулаковского в его квартире на Пушкинской, не застал, оставил визитку с надписью:

*Фригорий Эдуардович Зенгер
сердечно благодарит дорогого Юлиана Андреевича за книги,
жалеет, что не выдался, будет завтра у него
к 1 [асу] пополудни, дабы проститься.
Душевно преданный Г. Зенгер*

Через полтора месяца Николай II назначит его министром просвещения, а через два года уволит и, как водится, сделает сенатором. Царь никак не мог взять в толк, что опасаться нужно не тех людей, которые не соглашаются с ним, а тех, которые боятся показать, что не соглашаются.

Кулаковский поддерживал отношения с Зенгером до самой смерти: умерли оба в один год, будто Филимон и Бавкида, только один от переживаний и чахотки, другой с голоду.

Квартира, Иконников и Голубев. В том же октябре 1886-го Кулаковский перебрался на новую квартиру: улица Афанасьевская (ныне Ивана Франко), 32, — откуда 24 числа шлёт Флоринскому в Вену письмо:

«Нового особо сказать мне нечего. — Вот разве, что хотя я люблю

Визитная карточка
министра народного
просвещения
Григория Зенгера
с «телеграммой»
Кулаковскому,
8.02.1902
лицевая сторона
и оборот

Зенгер
Григорий Зуварович
Зенгерь седмично
Клантуну) дупно М, аа Андутиана
за камин, фалтер, че и видален.

Будет лектора з нево ки 19. публична
габн претисава.
Григорий Зенгер

преподавание и живу собственно этим, но за эти почти восемь непрерывных недель работы притупился, и лекции выходят много хуже, чем прежде. Неделю бы роздыху, и опять была бы та же бодрость для текущей работы. Сегодня лекция по древностям вышла из рук вон плохо. На этой неделе я больше один, чем как то обыкновенно».

Нынешний препод понимает, что такое семь лекций в неделю в течение двух месяцев: можно посочувствовать. Но при этом Кулаковский *успевае*т не бросать составление рецензий, большими работами, правда, не занимаясь.

Любопытен его отзыв об Иконникове, про которого в 1880-х он был невысокого мнения (называл его в письмах Флоринскому «бестолковый декан», «кураца»):

«Вчера он самым позорным образом доказал свою полную несостоятельность [как декан]. Две недели говорил и горячился о каком-то протесте, а как вышло до дела, с его языка не сошло ни одного умного слова. Хотя я был ко всей этой истории совершенно равнодушен, и мне совершенно безразлично, как кончится вопрос о Голубеве (хочу, однако, чтобы

это было скорее, в его интересах), но меня глубоко возмущает этот гадкий моральный характер дела и самого Иконникова¹».

Дело не только, конечно, в характере Иконникова, но и в характере Степана Тимофеевича Голубева (1849–1920). Наталья Дмитриевна Полонская-Василенко вспоминала, что на ВЖК Голубева не жаловали, с возмущением относясь к его чёрносотенной деятельности, охотно сплетничали о его не достойных профессорского звания поступках.

«Читал Голубев очень скучно, и курсистки выкручивались, чтобы его не слушать. Экзаменовал он слишком мягко, всем ставил “отлично”, и этим не увеличивал свой престиж. Голубев имел, кажется, 8 человек детей: две дочери и шесть сыновей. Один из них, Владимир, отличился ещё в университете своей чёрносотенной деятельностью. Он был основоположником “Двуугового орла”, чёрносотенной организации, пользовавшейся большим успехом среди ретроградной части студенчества <...> При советах Голубев жил в совершенном одиночестве, очень бедствовал, даже жена и дочь жили отдельно».

В письме от 23.12.1886 та же интонация: Иконников

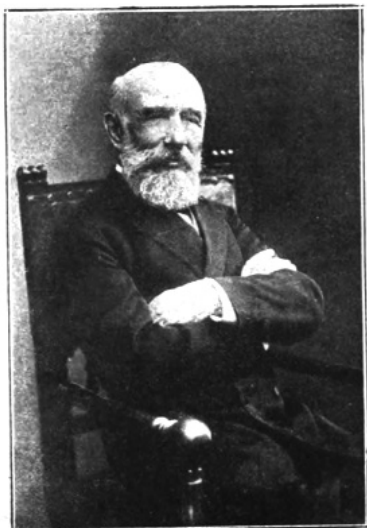
«теперь мною очень недоволен; я имел случай (вовсе не приискивая повода и даже не желая этого) сильно его оскорбить². Но я его никогда не уважал, а чем дальше, тем больше даёт он повод к суждению о себе и своём характере, или, скорее, отсутствии оно».

Об Иконникове встретились отзывы всё больше отрицательные. Василий Данилевич, пища об Антоновиче в связи с проведением III Археологического съезда (Киев, август 1874) пугается:

«Я не могу навести тут жажної своєю бруталністю характеристики Іконнікова, що її дав Селін. Але тая характеристика аж надто правильна. В кожному разі Іконніков, що заздри́в талановитому В. Антоновичеві, постійно шкодив йому й всім його учням. Проте, він нічого не робив одверто й навіть особисто. Він чудово вмів підмовити та підштовхнути інших реакційних професорів. У справі III Археологічного з'їзду його повод-

¹ Речь о затянувшейся по разным причинам истории с защитой магистерской диссертации «Киевский митрополит Пётр Могила и его сподвижники» Голубевым.

² Им самым забавным образом помыкает и попечитель [Киевского учебного округа С. П. Голубцов], задумав всунуть к нам учителя одного, а именно — [Алексея Осиповича] Поспишила (зятя [Вячеслава Ивановича] Петра), — нашёл в нём слепое орудие. — *Примечание Кулаковского.*



*Владимир Степанович Иконников в 1871 и 1914 годах,
нарная фотография в «Киевской мысли» (1914, 14 февр., № 8)*

ження було таке ж саме, й тут він зумів сховатися за іншими. До речі, Іконніков так само страшенно не любив за його талановитість проф. В. О. Ключевського та заздрив йому. Той же лише сміявся з цього. Студенти мого часу звали Іконнікова «сплошное примечание».

Вспоминаемый здесь Александр Иванович Селин (1816–1877), по иным строкам мемуаров Данилевича об Антоновиче, был впору Иконникову по характеру и методам поведения с окружающими. И даже если уж Селин был недоволен, то дело и вправду швах. Погоняйло «сплошное примечание» имеет вполне конкретные истоки: громадные подстраничные примечания в грандиозной научной эпопее Иконникова «Опыт русской историографии», над которой он трудился всю жизнь. Иногда основного текста три-четыре строчки, потом традиционная черта, и под ней мелким бисером тщательные библиографические данные и комментирующие пояснения, по большей части тоскливые. В случае Иконникова это была вынужденная, необходимая мера, но разве студенту до того? Студенту в педагоге важно равновесие между человеком и учёным, между тем, что он рассказывает в аудитории, и тем, что пытается писать

в книжках. Когда равновесие нарушается, рождается погоняйло, чаще — весёлое, незлобливое, реже — объективное. Ректора Университета в 1883–1887 годах Ренненкампа называли «хитрая лиса», и он очень обижался, потому что был хитрой лисой. Пожалуй, Иконников тоже серчал на «сплошное применение».

С годами, в совместном старении отношения Кулаковско-го и Иконникова, человека в личном общении сомневающегося и достаточно безвольного, но хитрого, налаживаются: об этом говорит их переписка и участие в иконниковских домашних журфиксах.

Сейчас на проректорско-деканских должностях такого учёного рохлю держать, конечно, не стали бы.

Наталья Полонская-Василенко, одна из студенток Кулаковского 1910-х, вспоминала об Иконникове как о «дьяке, в приказах поседевшем»: небольшого роста, сутулый, седобородый, бледно-прозрачный, он был милым хозяином и «интересным собеседником».

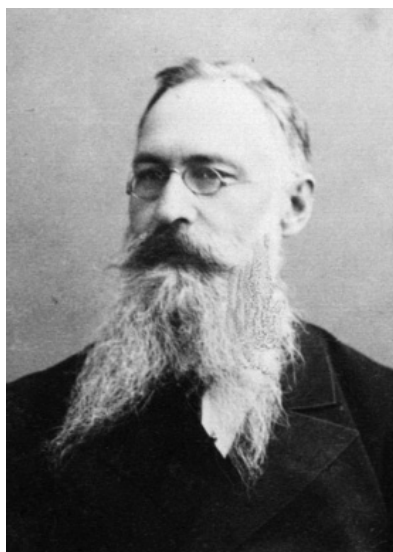
Журфиксы у Иконниковых происходили обыкновенно по субботам, дважды в месяц. Собирались старые знакомые: Николай Петрович Яснопольский, профессор финансового права на Высших женских курсах, Флоринский с супругой, Кулаковский с супругой, Сонни с супругой, несколько престарелых дам.

Эти журфиксы, начавшись в 1880-х, продолжались, вероятно, с перерывами, до начала 1910-х (воспоминания Полонской относятся к времени после 1911 года, после окончания ВЖК). Дашкевич, один из ранних участников, в письме Иконникову сокрушался:

«Вспоминается мне доброе старое время, когда Ваш дом был одухотворяющим центром дружеского кружка нашего факультета» (14.07.1894).

Среди иконниковских гостей Дашкевич поминает и Алексея Ивановича Соболевского. Сам Николай Павлович выбыл из числа журфиксантов в конце 1886-го, не в последнюю очередь в связи с ёрничаньем Кулаковско-го, который троллил его по делу и без дела (о чём — чуть ниже).

В письме Иконникову, находясь «в полном отрешении от мира и его сумятицы, о которых узнаю лишь из газет», Дашкевич говорит:



Степан Тимофеевич Голубев

«Не знаю потому, как поживают мои братцы (соучастники иконниковского кружка. — А. П.) и в какую сторону направился беспокойнейший из них [Кулаковский]» (16.07.1886).

Очень уж тонкой была учёная историко-филологическая прослойка в тогдашнем Киеве, и перебирать старыми коллегами, даже с не вполне внятными характерами, не приходилось.

Деканские журфиксы. Самое время сказать об иконниковских журфиксах, сначала возвращая читателя к концу весны 1883 года. Дашкевич в письме Флоринскому: он

«всё поджидал каких-нибудь событий. Самым крупным из них считаю нынешний обед у татап¹ по случаю предстоящего моего отъезда, но и он прошёл без особенного оживления: видно сейчас было, что наша компания лишилась одушевляющего члена, не было слышно звонкого смеха, когда мы с татап поддевали Юлиана Андреевича, он напал, по обычаю, на меня, но речи были мало интересны, не было даже тостов.

¹ «Матап», супруга Иконникова, Анна Леопольдовна Иконникова (Родзевич) (1847–1922); таким прозвищем её именовали за глаза мужчины сослуживцы. Среднее образование получила в Институте благородных девиц, высшее — на Высших женских курсах; член Попечительского совета при ВЖК и преподаватель истории во Второй женской гимназии. Автор нескольких культуртрегерских сочинений, преимущественно о Киеве и истории ВЖК.

После обеда гуляли по [ботаническому] саду, посидели в “аллее мечтаний”, но мечты что-то не прилетели, Юлиан Андреевич был мрачен, кажется, по случаю усталости (он сегодня ассистировал у Сильв[естра] Сильв[естровича Гогоцкого] и даже сам экзаменовал по философии)» (28.05.1883).

Через несколько дней уже из фамильного имения Бежев Дашкевич пишет:

«Перед отъездом в *понедельник* у татап были <нрзб> чаепитие, на котором присутствовала вся компания. Сидели довольно долго, а потом я с Юлианом отправился провожать М. А. домой. Она весь вечер чрезвычайно грустна, говорила напевами, из которых явствовало, как то заметил Юлиан, что она скорбит о быстром прекращении его чувств; по-видимому, М. А. питала некоторое благорасположение к нему. Значит, мои догадки были небезосновательны. Но теперь всё прежнее непоправимо, и мы примирились с Юлианом Андреевичем» (8.06.1883).

О какой из пассий Кулаковского идёт речь, даже неважно, — будь она «Мимозой», «Геранью» или «Медвежонком». Скорее всего, это была «Герань» — слишком домашнее слово.

Через три года, в 1886-м, практически то же самое:

«Надо отдать должное проницательности Ю. А. История букета с шипами начинает выясняться: по-видимому, цветы подбирались целой компанией, в которой председательствовала татап. Тем неприятнее! Значит, разболтано всё! Новый урок осторожности. Надоели эти вмешательства до крайности, и я жду — не дождусь отъезда из Киева: авось новая обстановка изгладит неприятные воспоминания. Не с кем отвести душу. Скучно без Вас <...> Но довольно о себе: я уже в Киеве успел порядком измучить Вас подобным хныканьем. Поговорю лучше о других.

Начну с вечера субботы. Он удался, публики было очень много, но не было многих Ваших знакомых, в том числе “белой розы” (она знала, что не будет fleur d’orange’a), татап, рара [Иконников], “надменного левкоя” [Кулаковского] и маргаритки.

В воскресенье новые удовольствия. Обед был многолюден, цветов было довольно, Иван да Марья, Левкой и маргаритка, Львиная пасть (Молдаванка), старавшаяся поглотить Святогора, Василёк. Бельдежур был грустен, потому что ему нередко преподносили шипы. Зато у Нестора было довольно весело; по обычаю, преломлялись копя; выбрали в д. чл. Прохаску, которого, если увидите, поздравьте» (15.12.1886).

Кроме «надменного левкоя», как прозывали Кулаковского, да четы Иконниковых (татап и рара), остальные зверушки

и «милые цветочки» остаются неизвестными: времяпрепровождение интеллигенции в эпоху без радио, телефона, телевизора и интернета вынужденно было весёло-питейным, и кроме чтения лекций и чтения книг осуществлялось в таких сатирических формах.

Бедный Дашкевич. Ещё в начале службы в Университете, как утверждает Андрей Чуткий, Дашкевич имел неосторожность поведать Кулаковскому о некоторых проблемах частной жизни своей семьи, и тот использовал эту откровенность против самого Дашкевича, после чего Николай Павлович, «неприятательный, мягкий и деликатный в отношении к другим, необычайно строгий к самому себе» (писал о нём Кулаковский в некрологе 1908-го), начал относиться к людям недоверчиво.

В длинном слезливо-сентиментальном письме Флоринскому Дашкевич жаловался:

«Теперь я вижу ясно ошибки прошлого и горю нетерпением их исправить. Одной из главных ошибок было то, что я не решался ранее открыть вполне Вам те муки, которые терзали мою душу. Меня страшил испытанный мною опыт дружеской откровенности с Ю. А. Вы знаете, к чему привёл меня этот опыт, знаете, как много раз Ю. А. публично оскорблял меня (ещё недавно он обозвал меня в большой компании “душевнобольным”) и в то же время уверял меня в своей дружбе; я начал бояться такой дружбы, впадающей в чересчур уже несправедливое порицание и не приносящей никакого облегчения.

Я боялся, что и Вы взглянете на меня глазами Ю. А. и так же жестоко станете осуждать меня, видя в моих чувствах одно неразумие <...> Я достаточно уже наказан укорами собственной совести за эту неполную откровенность [с Вами], наказан и тем, что был так долго лишён возможности услышать от Вас слово искренней человечности, которое ускорило бы моё решение и прекратило бы мучительные сомнения <...> Я считал вполне естественным порицанием меня за то, что я давно, давно не сделал решительного шага и не спас, таким образом, моей нынешней невесты от печальных событий в её жизни и ложных шагов. Не стану оправдывать себя. Скажу только, что полюбив некогда мою нынешнюю невесту со всем пылом чистого, горячего и молодого сердца, совсем не звавшего до той поры ничего подобного, я до крайности идеализировал её и никак не представлял себе, что можно когда-нибудь разлюбить обожаемое существо; и что оно может помыслить о ком-нибудь другом; мне казалось, что и она будет любить меня вечно, беззаветно, несмотря на то, что мы

не будем видеться по месяцам и годам... Увы! Я ошибся и поздно убедился, что донкихотствовал <...> Я был ужасно наказан за то неразумие ужасной её судьбой и жестоко оскорблён в своей идеальной вере. Оттуда моё разочарование и готовность забыть первое чувство ради той, которая, казалось мне, любила меня так безгранично, как я был способен любить, но которая опять разбила мою веру в возвышенную натуру женщины тем, что кокетничала, а в сущности не любила меня (это моё глубокое убеждение, подтверждённое тем, что М. А. грозила меня вынудить к браку имеющимися у неё документами) и нанесла мне ещё недавно публичное жесточайшее оскорбление, какого никогда не позволит себе поистине любящая девушка» (11.03.1887).

Нет желания комментировать эти душераздирающие строки: дело житейское, вполне вписывающееся в известные модели отношений. Сначала полюбил одну, потом другую. Первая, якобы разлюбленная, родила двоих внебрачных детей и тем самым оказалась «дважды запятнанной» в глазах «общества». Другая («М. А.»), кокетничая с Дашкевичем, завязала роман с Кулаковским и разочаровалась (или Кулаковский к ней охладел). Наконец, 34-летний профессор, истерзавшись, «начал возвращаться к старому чувству, самому дорогому в моей жизни, потому что оно было первое», — женился 27.05.1887 на бежовской крестьянке Александре Козьминичне Шереметьевой (28 лет), усыновив её внебрачных дочерей Марию (р. 1881) и Марфу (р. 1883), родившихся в Бежове (их крестил отец Дашкевича, священник Павел Дашкевич), и всё стало «как у людей».

Конечно, такая модель женитьбы большинством в служебном окружении Дашкевича была воспринята отрицательно: имперский профессор и «не-барышня-крестьянка»! «Пташка з рибою гнізда не звивають», — романтично подумал украинофоб Тимофей Флоринский, со вздохом повертев пальцем у виска: совсем, мол, «куку-намуню» (так евреи Западной Украины говорят про больных на голову). Но будучи человеком деликатным, виду не подал, нашёл слово утешения для влюблённого, угрызаемого всеми возможными угрызениями Дашкевича, убедив его в своей искренности, едва ли, правда, подлинной. Кулаковский был человеком более непосредственным и прямым, без сопливо-сентиментальных околичностей: в отношениях между профессором и крестьянкой лишь профессор может быть сумасшедшим. Но Дашкевичу-то должно быть всё равно:

Письмо Александры Шереметьевой
Николаю Дашкевичу, 1886
(из книги Андрея Чуткого)



«жизнь моя была бы весьма печальна со всякою иною женою, кроме настоящей», — напишет он, счастливый (или кажущийся себе счастливым), через три брачных года.

Вообще говоря, понятно, отчего отношения с Кулаковским у Дашкевича были волнообразными: от хороших к плохим и наоборот.

Первый был резок и прямодушен, часто говоря друзьям что думает, второй скрытен и многообразен, с комплексом двойной лояльности (раздвоение меж духовным, национальной идентификацией украинца, и материальным — политической преданностью российскому царю), обижающийся на дружескую правду, сколь бы противно она ни звучала. Но *время* и *делание* излечивают большинство душевных ран, уничтожая память свежими впечатлениями, к счастью, тоже проходящими.

К концу 1890-го дружество Кулаковского и Дашкевича, которым между тридцатью и сорока, обретает постоянство: «С Юлианом Андреевичем у нас завелась переписка непосредственная» (9.12.1890). Уже через пару недель после женитьбы на крестьянке Шереметьевой Дашкевич сообщает Флоринскому, что «Юлиан Андреевич прислал мне поэтическое приветствие из Неаполя и приложил к письму цветок “из жаркой Сици-



*Село Бежов
Житомирской области,
усадьба Дашкевича
(«профессорская вилла»),
фото 1920-х
(из книги А. Чуткого)*

лии». Думаю, однако, что он переменит отношение ко мне, как скоро киевская молва обстоятельно ознакомит его с историей моей женитьбы. Письмо Юл. Андр. помечено 19-м июня (1-м июня н. ст.). Через две недели он рассчитывал быть в Варшаве и там, вероятно, и находится теперь. Сообщаю Вам на всякий случай варшавский адрес его: Медовая улица, дом № 20» (14.07.1887). Стоит думать, что именно с этого времени дружеские контакты двух профессоров стали потихоньку налаживаться. В письмах Дашкевича Флоринскому имя Кулаковского поминается с неизменным почтением.

Например, весной 1888-го он пишет: «Приезжал в Киев [Томаш Гарриг] Масарик (философ и политик, в 1918–1935-м первый президент Чехословакии. — А. П.), которого Юлиан Андреевич угостил обедом. Адрес [Аполлону Николаевичу] Майкову (по случаю избрания его почётным доктором Университета «в ознаменование 50-летней литературной деятельности и заслуг, оказанных русской литературе». — А. П.), составленный Юлианом Андреевичем, Вы уже, вероятно, прочли. Словом, нет новостей, которые были бы для Вас неизвестны» (22.04.1888);

– «Среди постигших меня невзгод (болезнь жены. — А. П.) я не сообразил раньше попросить у Вас извещение о дне свадьбы Юлиана Андреевича и, таким образом, его не поздравил. Прошу передать ему мою просьбу об извинении этой моей оплошности и пожелания всего хорошего» (6.10.1890);

– «Обращаясь специально к себе, скажу лишь, что ближе было бы к истине суждение Юлиана Андреевича, обозвавшего

меня (и может быть, называющего и теперь) “больным человеком”, но только надо принимать, если я не ошибаюсь, касательно моего здравомыслия, этот отзыв не в смысле моей близости к сумасшествию, а в смысле особенностей моего характера, которые могут казаться людям в высшей степени странными или же признаками нравственного ничтожества, нравственного бессилия и т. п. (пусть называют это как хотят).

Эти особенности, отделявшие меня от остального мира уже со школьной скамейки, должны были рано приучить меня к весьма тщательному анализу своего характера, что, может быть, отозвалось и вредно во мне. Быть может, эти особенности весьма несимпатичны и отвратительны, но всё же во имя правды я должен сказать, что с малых лет я вёл борьбу с собою и стремился стать хорошим человеком, не поддаваясь пошлости» (11.02.1891);

– «Юлиану Андреевичу кланяюсь. Я от души люблю его, хотя, вероятно, он повторяет своё старое мнение, что я человек “больной” и “ходульный”» (20.03.1891);

– за несколько месяцев до смерти: «Как бы мне допечатать 4-й выпуск “Чтений [в Историческом обществе Нестора Летописца]”, сборник Ю. А. [«Serta Borysthenica»] и прекратить свою издательскую деятельность, которая не может продолжаться при усилении моих болезней. Позвольте просить Вас насчёт хоть небольшой статейки в сборник Ю. А.» (12.07.1907). Конечно, Флоринский статейку сочинил.

Остаётся добавить, что именно Кулаковский (с Фортинским, Флоринским и Петром Владимировым) выступил 24.05.1890 на Совете Университета с идеей присуждения Дашкевичу без подачи диссертации и её защиты учёной степени доктора всеобщей истории литературы. 30-го мая Николай Павлович был возведён в докторскую степень *honoris causa*, «по совокупности» сравнившись с коллегами в статусе и получив должность ординарного профессора, соответствующее вознаграждение и прочие полагавшиеся в таких случаях блага.

Снова сплин. На службе дела у Кулаковского идут скверно: «Не в фаворе я наверху, — восклицает он, — и пусть притесняют. Пред собой я во всяком случае чист и могу всякому прямо смотреть в глаза».

Декарт считал печаль одной из главных страстей: она бо-

лее необходима, говорил он, чем радость, ненависть и любовь, поскольку для человека важнее удаление вредных и опасных вещей, чем приобретение вещей, способствующих достижению какого-нибудь совершенства, без которого можно обойтись. И печаль здесь — средство наипервейшее. «Баня очищает».

В 1886 году студент историко-филологического факультета Феофан Витольдович Вилинский, будущий статский советник и преподаватель латыни в Киевском кадетском корпусе, выпускает (за свой счёт) литографированный конспект лекций Кулаковского «История Рима», читанный в 1884/85 учебном году.

Вероятно, в эти же годы у Кулаковского, параллельно с чтением лекций по римской истории, наклёвывается план второй диссертации — докторской, — которую он посвятит вопросу о начальном периоде Рима.

«Последнее время шатаюсь, и хотя думаю про себя, что хорошо бы сделать затвор; но в сознании его бесполезности продолжаю шататься, — пишет он Флоринскому. — Если бы это шатанье приносило веселье, то я бы и не имел ничего против своего поведения; но должен сказать, что шатаюсь совсем бесцельно и без последствий касательно общего настроения духа. Делаю же это больше с досады на себя, как когда-то — сам помнишь — распевал в конце марта в Царском саду, закончив самой неудачной лекцией своей курс римских древностей. Не спорится что-то совсем работа, и лекции выходят плохо, и не пишется ничего. Я же считал бы себя счастливым и чувствовал себя хорошо только в случае, если бы мог соизнавать, [что] у меня выходят хорошие результаты умственной работы — она ведь одна составляет содержание моей жизни».

В сентябре 1918-го, при гетмане, Михайль Семенко сочинил стишок о Царском (перетекающем в Купеческий) саде, в котором Кулаковский «распевал», а другие прогуливались:

Жду як освітлиться естрада —
За мармуровим столиком
Жду.
Вже почувується стороння влада —
Але нудно бути символіком
В саду.
Музиканти в осінніх зодягах —
М'яко заструнить симфонну містерію
Оркестр.



Київ. Сад Купецького зібрання, фото 1890-х

Мрії рушили на фіолетових потягах —
Розпочнеться в виснаженій Берберії
Осінній семестр.

Сетования Кулаковського в письме Голубеву: «Вообще мне теперь как-то совсем не хочется быть с людьми. — Не могу заставить себя хотя вид иметь интересующегося другими. Сидишь дома, поедешь в театр — так как там никому до тебя нет дела». «Хотя» в то время писалось без нашего «бы».

Менялись научные пристрастия Кулаковського, настроение, служебный ценз, были переезды с квартиры на квартиру, случилась женитьба, родились сыновья, — но призвание — учёное призвание, мимоходом упомянутое в частном письме, — оставалось неизменным, и терзало его как всякого, кто причастен письму, изредка преподнося рюмочку удовольствия. Наверно, кроме умственной работы, нет у жизни иного, осмысливающего её (хотя бы для формы) содержания.

«Благодаря мягкой зиме и я в своей холодной квартире чувствую себя легче; — пишет он 13.12.1886 в Вену, — только за последние дни недомо как и когда простудился и не то чтобы нездоров, а так — не по себе что-то <...> Я газет не читаю по целым неделям, а потому только слышу об этом и не хочу верить. Из-за чего же война? Разве оккупация Болга-

рии, если таковая и предстоит, не может случиться при взаимном соглашении? Я никак не верю, что наш царь имел завоевательные мечты насчёт австрийских славян; да и стоили ли все они крови одного русского солдата? — Но это не моё дело».

Александр III завоевательных целей не имел, потягивал винцо, зарабатывая нефрит, и мирно царствовал. В конфликте, возникшем в 1885–1886 годах в связи с похищением болгарского князя Александра Баттенберга группой русофильски настроенных болгарских офицеров и насильственным отречением его от болгарского престола, Александр III занимал умеренную позицию, хотя и ненавидел Баттенберга за открытую антиросийскую политику в Болгарии и за ехидные замечания о своих «медвежьих повадках». В августе 1886-го Баттенберг был взят под стражу, отрёкся и был перевезён в Галицию. Когда он оказался во Львове, еврейская печать тут же объявила его жертвой имперского произвола и насилия. Буча, конечно, была большая, но до кровопролития не дошло.

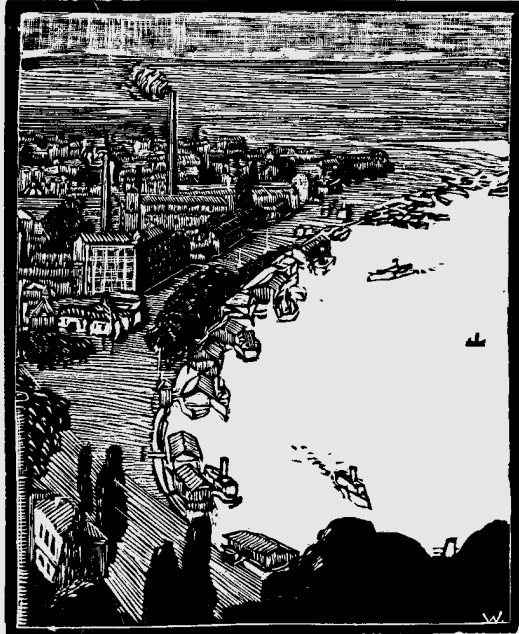
«О нашей жизни сообщать как-то нечего. Интересного ничего не случилось, а такие вещи, что в Университете теперь выставка передвижников, что в воскресенье юридический диспут некоего [К. Н.] Яроша из Харькова (на доктора государственного права) и т. под. — то вряд ли для тебя интересно».

О визуальности. Художественные выставки Кулаковскому были небезразличны, как не были ему безразличны визуальные искусства как таковые. Во всяком случае, портрет Владимира Соловьёва кисти Ивана Крамского (1885), бывший на XV Передвижной выставке картин в Киеве в августе 1887 года, Кулаковского взволновал, вызвав желание посвятить Владимиру Сергеевичу речь о Лукреции, от чего он, правда, затем отказался.

Вообще, Соловьёва рисовали многие. Александр Бенуа, вспоминая о семействе Кавосов, «заслушивался вдохновенных или полных каверзной иронии речей Владимира Соловьёва, портрет которого, писанный Катенькой Зарудной[-Кавос], почитался как весьма схожий».

Кулаковский вообще помнил киевские экспозиции Товарищества передвижных художественных выставок. На той самой XV были показаны «Христос и грешница» Поленова и «Боярыня Морозова» Сурикова, но эти картины сразу стали

К И Е В Ъ



Владя Ванѣкъ:

Подоль

(гравюра на деревѣ).

как бы хрестоматийными, обложившись газетными восторгами Стасова и Короленко. В письме Афанасию Фету 11.02.1888 Кулаковский писал:

«Я ещё не поблагодарил Вас за Ваш подарок. Ваши “Вечерние огни” и теперь у меня пред глазами на моём письменном столе, где слева у меня “Faust” [Гёте], “Buch der Lieder” [“Книга песен” Генриха Гейне], Хомяков [“Стихотворения”, 4-е изд., М., 1888], а с ними и дидотовский Вергилий [вероятно, издание “Didot” с “дидотовской” гарнитурой шрифта]. Хоть они и называются “вечерние”, но от них веет утром, прекрасным светлым утром, таким, как было недавно у нас пред глазами на последней передвижной выставке в картине [П. А.] Брюллова [“Утро”, 1886], которая напомнила мне и один прекрасный уголок Вашего сада [в Воробьёвке], который надеюсь повидать нынешней весной. Вспомнил про эту картину

и потому, чтобы, к слову, придаться к Вам за Ваше отрицание нашего редкого умения достигать высокого в живописи, хоть мы и не прошли через “Мадонну” Рафаэля. (Помню я, как Вы об этом говорили, когда я Вас видал в первый раз у Соловьёва зимою [18]84 года.)».

Отзывы об архитектуре европейских городов и рецензии на книги, связанные с искусством (например, о четырёх стилях помпейских росписей), радение об эстетической целостности выходящих в типографии Стефана Кульженко его собственных книг говорит, что Кулаковский был человеком с хорошим вкусом. Его манера одеваться тоже не осталась без внимания мемуаристов: небрежность в костюме, перхоть на сюртучном воротнике, невымытые волосы, скверные зубы, позавчерашние носки и нечищенная обувь — классические привилегии одинокого, рассеянного, оторванного от земли профессора (каковым рисуется в представлении, простите, Антонович) — так вот, всё это запашное роскошество не про Кулаковского. Он одевался как денди, следил за собой с той мерой утончённости, которую ему позволял доход, год от года увеличивавшийся.

Праховская врубелевщина. Трудно сказать, например, насколько тесно располагался эстетический интерес Кулаковского к росписям Владимирского собора (в 1884–1896-м), личности Врубеля и других приезжих художников, трудившихся тогда в Киеве, однако общение с Адрианом Праховым (1846–1916), вращение в кругу «киевских интеллектуалов» (собираТЕЛЬНЫЙ образ), о котором в письмах ни слова, но которого не могло не быть, — позволяет считать: равнодушным к этим обстоятельствам Кулаковский не оставался.

Я уверен, что он хорошо был осведомлён о работе Прахова по росписи Владимирского собора и реставрации Кирилловской церкви — коллеги всё-таки: Прахов занимал кафедру истории изящных искусств на историко-филологическом факультете Университета св. Владимира в течение десяти лет — с 1887 по 1897-й (его сменит Павлущий). Наверняка виделся с Врубелем, который пробыл в Киеве с 1884-го по 1889-й, Нестеровым, Васнецовым и «поляками» (Вильгельмом Котарбинским и Павлом Сведомским). Да и жили все они рядышком. Кулаковский в меблированных комнатах Чарнецкого на Владимирской, 16, Прахов — на Владимирской, 11/6: оба из окон видели одну и ту же пожарную каланчу на перекрёстке Большой



*Адриан Викторович Прахов,
рисунок тушью Василия Матэ,
публикуется впервые
из собрания Евгения Жаркова*

Житомирской¹. Правда, Кулаковский видел её в 1881–1886-м, а Прахов — в 1891–1896-м, но это неважно.

Врубель квартировал сначала чуть дальше, у подножия Андреевской церкви, на Десятинной, 14, а затем, в 1888-м, переехал к Чарнецкому, и тоже видел из окна каланчу в течение нескольких месяцев. Он писал сестре Анне: «Нанимаю за 30 руб. мастерскую <...> с комнатой при ней и балконом на Днепр, возле церкви Андрея Первозванного с хозяйским отоплением» (октябрь 1886); затем:

«Да, чуть не забыл: я живу теперь Chambers garnies <...> Так как у меня две мастерских — у [Н. И.] Мурашки и у стариков Тарновских, то маленький номерок чистенький, светлый, тёплый, полный мебели и стоящий мне с двумя самоварами всего 15 руб. в месяц — вещь для меня очень подходящая, главное — есть минуты полной изолированности, а мне, флюгероватому, это очень полезно» (11.01.1888).

¹ Более подробно о Прахове и Врубеле см.: *Андрій Пучков. Між навігаційними щоглами: Профілі українських мистецтвознавців (архітектура і візуальне мистецтво)*. Київ: Дух і Літера, 2018. С. 29–90.

Пожалуй, Кулаковского у Франца Чарнецкого привлекали те же самые удобства, что Врубеля, да и характеры у них, пожалуй, были схожими.

Мих. Кальницкий не без оснований полагает, что, вероятно, дом Чарнецкого привлёк Врубеля ещё и тем, что находился совсем близко от места жительства Прахова и его семьи с Эмилией Львовной во главе.

Так вот, если присмотреться, Васнецов с семейством в 1885–1889-м жил ближе к Университету, на Владимирской, 28. Наверняка Кулаковский, идя на лекции, чуть не каждый день встречал длиннородого Виктора Михайловича направляющимся во Владимирский собор — на леса. Но с Врубелем он всё равно виделся чаще, может, просто раскланиваясь: путь в собор пролегал с Десятинной подле меблированных комнат Чарнецкого. «Всякая душа является и становится тем, что она созерцает» (Плотин. *Эннеады*, IV 3, 8:15). «В работу начинаю совсем влюбляться, а это для меня самое главное; ослабления духовной жизни боюсь пуще всего», — утверждал Васнецов Василию Дмитриевичу Поленову (17.01.1886), описывая начало работ в соборе.

Кулаковский вместе с удивлёнными художниками созерцал лишённый гранитных набережных, ампириной строгости, отточенного совершенства разомкнутый, хаотичный, громоздящийся вверх по горкам и сползающий вниз к оврагам, постоянно пребывающий в движении окаштаненный, затоплённый, слегка брусчатчатый Киев.

Весной 1890-го у Чарнецкого поселится Михаил Нестеров, привлечённый Праховым к росписям в соборе: дело затянулось на пятилетку.

Актовая речь о Лукреции. Итак, к концу декабря 1886-го чиновные дела Кулаковского всё же поправляются, командировка от Министерства разрешена и, выступив 8.01.1887 на ежегодном Торжественном акте Университета с речью «Поэма Лукреция “О природе”», он снова уезжает в Италию, где проводит весну и лето в подготовке докторской монографии «К вопросу о начале Рима».

«Ты спрашиваешь, думаю ли я о диссертации. — Думать-то думаю, но ответ касательно результата думы — читай впереди. О моём отпуске пока ничего не слышно, и я продолжаю весьма слабо надеяться на успех



*Киев. Бессарабская площадь. На горизонте слева от Бибиковского бульвара —
щипец Университета св. Владимира, справа — купола Владимирского собора, 1888*

моего прошения в Петербург, куда оно отослано без задержек, как мне говорили, отсюда. Сегодня Иконников говорил, что ректор считает вероятным мой отпуск, ибо говорил о размере суммы, которую придётся отсчитывать из [университетских] сумм на командировку в мою пользу. (Уже в Правлении Университета шли предварительные толки.) Поминал Иконников и о твоём деле <...> Людей здешних ты и сам знаешь. Иконниковым я часто возмущался, и если сам в настоящую минуту не сержусь на него, то только потому, что надоело о нём думать. Эта невозможная бесхарактерность, эта робость и отсутствие намёка на чувство собственного достоинства — возмущали меня слишком часто — у него вместо характера и выдержки только одна какая-то цепкость, которая позволяет ему держаться на месте и кое-что улаживать, правда, постоянно поступаясь собственным достоинством и немало подчас оскорбляя достоинство других <...> Ты спрашиваешь о числе студентов — всего у нас 140 или 135 — поступило в сентябре 17, и с оставшимися на первом семестре всего 20. С первого декабря начнутся экзамены на 4 курсе — к январю на 40 человек убавится» (Флоринскому — в Вену 23.11.1886).

Позднее, умалчивая о постоянном недовольстве характером и действиями Иконникова, Кулаковский пишет:

«Разрешение вопроса о моей командировке пришло в утвердит[ельном] смысле, чего я не ожидал. Оно меня не особенно обрадовало, теперь

даже как-то смущает меня мысль, что скоро придётся укладывать пожитки, сдавать вещи и двигаться далеко. — Раньше конца января я не собираюсь уехать. Направиться думаю в Рим. Где ты будешь в ту пору? <...> Занят я эти последние дни своей актовой речью. Почитываю кое-что и делаю наброски, но далеко ещё до конца работы» (13.12.1886).

И дальше:

«Ты спрашиваешь меня о диссертации, начало которой, по словам Дашкевича, я отдал в печать. — Скажу, что это вряд ли будет диссертация — я не имел времени, а ещё больше того надлежащего рабочего настроения, чтобы приняться за серьёзную работу. С лета ещё лежит у меня глава исследований по вопросу о начале Рима. — За неё я так и не принялся, но приделал к ней начало, которое лежит теперь в корректуре у меня на столе — и очень мне не нравится. Постараюсь переписать и напечатать до отъезда и ту главу, что вчерне давно готова. — Но в виду отъезда за границу не знаю, будет ли эта работа иметь продолжение и выйдет ли из этого исследование. Вообще, я чувствую себя растерянно и бестолково».

Здесь актовая речь о Лукреции — будто снег с крыши.

Ещё 19.12.1886 Дашкевич писал Флоринскому:

«В Киев явлюсь позднею — 13-го января. Ранее нечего являться, потому что лекции начнутся только 15-го. Было бы, конечно, интересно послушать, как Юлиан Андреевич будет с кафедры пленять красноречием и глубиной мысли, когда будет говорить актовую речь о Лукреции, но я надеюсь ещё не раз наслаждаться его красноречием и потому откажу себе в удовольствии послушать его на этот раз. Посижу лучше в деревне».

Ехиднённое, между нами, письмо.

Впрочем, похоже, это ответственное выступление поменяло Кулаковскому настроение, и его отъезд в Италию происходил приподнято.

Сразу после речи — Флоринскому:

«Пишу тебе ночью в день моего бенефиса. Сбыл я свою речь о Лукреции и, по-моему, довольно благополучно. Приехал и митрополит Михаил, сказавший мне любезность, что сделал это для меня и заранее прошивший не длить речи слишком. Это последнее обстоятельство занимало и меня все эти последние дни, когда я читал и перечитывал свою речь, выискивая способы сократить, но не испортить этим. Хотя в результате я всё-таки занял не меньше 50 минут, но как сказали многие потом <...> публика не была утомлена.

Я говорил, держа на пюпитре свою рукопись и перелистывая; я надеялся, что живая речь, а не чтение, позволят дольше занять публику,

не утомляя её. Аплодировали очень скромно. А так как после я слышался разных комплиментов, то полагаю, что дело следует приписать моей плохой репутации у студентов. Это одно из недоразумений моих в Киве, которое меня иной раз тяготит. Кто-то сразу позаботился о дурной для меня славе, и потом она в массе оставалась по традиции (я имел и за последнее время немало мелких доказательств этого). — В Москве за живое, складно сказанное слово не так вознаграждают.

После акта подошёл ко мне между прочим и Дрентельн со словами: “позвольте познакомиться с вами, господин профессор” и разными комплиментами. По совету ректора я немедленно с акта в полной парадной форме нанёс ему визит и имел краткое свидание.

Одна Матап старалась испортить моё хорошее настроение <...> Она сначала утверждала, что не была на акте, но только слышала от других (а я сам её видел там), — потом начала делать свою критику кое на что, старалась высказать своё мнение о Люкреции и даже оспаривать меня (!). Допускаю её всякую учёность “по Модестову”, но ещё раз увидел, как мало в ней сердца и умения сочувствовать другому, когда она считает [его] даже близким.

В этом полугодии она изобрела и пустила в оборот ещё новую сплетню на мой счёт и окончательно развела меня с [Фёдором Ивановичем] Кнауэром. Потеря не велика, но этих сплетен я ненавижу, и искренне дивлюсь её мешчанству <...> Я просился в командировку, когда был в ужасно тяжёлом состоянии духа, а теперь как-то и самая поездка меня не прельщает» (8.01.1887).

Флоринский ответил:

«Спасибо тебе, мой дорогой, за присланную речь. Какое славное, умное, живое слово ты сказал! Мы с большим удовольствием прочитали его, читают его и некоторые из здешних русских. Искренне порадовался я за твой триумф 8 января» (25.01.1887).

Дашкевич 13.01.1887 в письме Флоринскому завидовал:

«Знаю только, что речь Ю. А. понравилась и доставила Ю. А. знакомство с Дрентельном, с которым он обменялся визитками. Теперь Ю. А. будет витать в самых высших сферах и, быть может, перестанет жаловаться на отсутствие приятных знакомств. О том, что он напечатал начало своей диссертации, Вы, вероятно, знаете. До отъезда, кроме введения, он напечатает ещё и 1-ю главу, которая была написана ещё летом. Ну, нельзя же взаправду прямо вот так вот, в лоб?

Впрочем, как говорил Черчилль, великое и хорошее редко сочетаются в одном человеке: славным учёным был Дашкевич.



Александр Романович Дрентельн

Кулаковский был слишком занят, чтобы выкраивать время для страхов, тревог и беспокойств.

16-го февраля Эрнест Радлов, прочтя присланный ему от- тиск речи о Лукреции, порадовал:

«Твой слог очень хорош и не напрасно ты им гордишься, потому что ты совершенствуешься; в первых статьях встроилось много галлицизмов (впрочем, и в Лукреции есть один: “стали держать речь”, кажется, с. 6), в последующих попадался иногда слишком напыщенный тон, теперь ты пишешь просто и красиво, красота же слова, очевидно, в том и состоит, чтобы оно искусственно было доведено до той простоты, в которой ис- кусственность вполне изумила бы и была нечувствительна.

В содержании для меня было ново, что Лукреций был великим по- этом; хоть я и замечал в нём много художественных сравнений, но в голо- ву не приходила мысль, что на Лукреция следует смотреть тоже как на поэта. Не совсем понравилось мне противопоставление философии на- уке, противопоставление, которого я не понимаю, ибо они скорее друже- ственны, как мне кажется; напрасным также показалось мне твоё прекло- нение перед современным естествознанием — это общее место, и как такое заключает в себе и ложь и правду».

Через два месяца, 17 апреля, Вл. Соловьёв сообщает Кула- ковскому в Рим, что его речь о Лукреции была прочтена вслух Фету. «Радуюсь, что филология не вытеснила из Вашего ума философию, к которой Вы, как вижу, сохранили и живой инте-

рес, и ясное понимание», — отреагировал поэт. Неясно, кто читал текст о Лукреции вслух: сам ли Соловьёв или кто другой?

Такая (и не только именно такая) моральная поддержка во время подготовки к докторской командировке и в самом Риме сказалась на умонастроении Кулаковского, подвинув к решению по возвращении из Италии навестить в гости к Фету. Но об этом ниже, в связи с Соловьёвым.

Заграничный вояж утвердил Кулаковского в выборе темы второй диссертации. Если в Киеве, удручённый, он раздумывал, о чём писать, то домашние заготовки, публикация одного печатного листа «К вопросу о начале Рима» в январской книжке «Университетских известий» (за 1887-й) и самый визит в Рим сделали дальнейшие поиски темы излишними.

20 июля 1887-го умер Михаил Никифорович Катков.

Флоринский писал другу 29.07.1887:

«Вчера из газет я узнал, что в числе ораторов на погребении Каткова был и г. Кулаковский. В том случае, если это был ты, а не Платон Андреевич. Это настоящее моё письмо уже не застанет тебя в Варшаве. Тем не менее пишу, так как не знаю другого твоего адреса.

Да вот и Каткова схоронили! Ух, как убывает на Руси умных, честных, великих людей! Лично я не знал покойника, ни разу не видел его, но всегда высоко уважал его, удивлялся силе его ума и таланта, и теперь благоговею перед его памятью. У нас в Киеве помянули бы Михаила Никифоровича не так, как подобало бы. Евреи в этом отношении показали себя более русскими, чем православные. На университетской панихиде присутствовало около 30 человек с профессорами и сановниками. [Управляющий канцелярией Святейшего Синода В. К.] Саблер назначил у себя приём или представление как раз в час панихиды. “Киевское слово” посвятило покойному нелепую и даже безграмотную статью, а “Киевлянин” отозвался о великом человеке хотя и умнее, но не без желчи и скрытой злобы <...>

Мы ведём жизнь тихую, скромную, в непрерывном труде, почти ежедневно бываем в Ботаническом саду».

После кончины Каткова Кулаковский в «Московских ведомостях» и «Русском вестнике» не печатался.

«Статью Иконникова не выслал; приедешь — тогда и прочитаешь, а то, пожалуй, огорчишься, — продолжает Флоринский. — В этой статье рассказана история твоих отношений к известной Ванде и описана поездка в Черторой. Все лица очерчены весьма прозрачно и сейчас же узнают-

ся. Ты изображён под именем Albiano, Ванда — полька Венефра, дочка, Ник[олай] Пав[лович Дашкевич] — Belle и т. д.».

О какой статье Иконникова идёт речь в письме, так я и не выяснил; это мог быть памфлет, которыми от нечего делать грешили учёные, печатно отдыхая от научных занятий.

Это оттого, что каждый пишущий в известном смысле графоман, порой очень даже неплохой графоман, но всё же графоманские качества его писаний (длинноты, отступления, не слишком идущие к делу, — как в этой книжке) проступают время от времени: вместо того чтобы колоть дрова пишущий не без удовольствия марает бумагу. Учёный люд не исключение.

Полусмешные тексты вроде иконниковского (под забавным псевдонимом «*Рокиноки*») время от времени появлялись в киевских газетах. Да и в частной переписке проскакивали описания любовных интриг.

Полонез. Вот, например, письмо Кулаковскому некоего морского офицера Николая Ильина от 22.08.1888, с которым он познакомился, отдыхая летом 1888-го в Ялте.

«Вчера, неожиданно, как землетрясение, по Ялте распространился слух, что с севастопольским пароходом исчезли разом три лица: профессор Кулаковский, некая девица Ханыкова (свадьба которой была назначена вчера же, в 2 часа) и некий моряк — второй жених этой беглянки, а первый, настоящий — молодой кавалерист, — остался здесь, как Марий на развалинах Карфагена. Весь город теперь того убеждения, что Вы, глубокоуважаемый Юлиан Андреевич, были главным организатором и исполнителем этой великолепной записи. В самом деле, в этот сезон Ялта была до такой степени скучна и сонна, что благодаря только Вашей изобретательности мы теперь только стали жить и смеяться».

Чехов в «Даме с собачкой» (1899), через десять лет после этих событий, свидетельствовал, что в рассказах о нечистоте ялтинских нравов много неправды, «он презирал их и знал, что такие рассказы в большинстве сочиняются людьми, которые сами бы охотно грешили, если б умели». Морской офицер Ильин, конечно, не в счёт, и собачки у девицы Ханыковой, пожалуй, не было, но что же ещё оставалось делать Кулаковскому, когда, как писал где-то О. Генри, франты в белых полотняных костюмах, помахивая тросточками, уже начали вечернюю прогулку, столь опасную для дамских сердец? «Человеческое заполонило собою весь воздух: деланные чары, кокетство, празд-



Ялта. Гостинница «Россия», фото 1900-х

ность, развлечения — созданный человеком смысл жизни». На Юге люди отдыхают.

Николай Ильин:

«Вчера целый день только и разговоров было что о Вас и Ханьковой. Новый жених её в такой степени ступевался на задний план сцены, что мы даже не интересуемся знать его фамилии, ни даже его профессии: моряк ли он там или монах. Все Ваши ленивые знакомые, дамочки и барышни, аплодируют Вам, хотя некоторые и не довольны в то же время, во-первых, за то что ни с одной из них Вы не простились и, во-вторых, — почему Вы предпочли услужить Ханьковой, а не одной, по крайней мере, из них. Вчера вся наша честная компания пила чай с дынями на террасе «России». Мне пришлось сбегать в лавочку за папиросами. В потёмках, на тротуаре набережной, за мною следовали два полицейских, которые неоднократно повторяли Вашу фамилию, очевидно для того, чтобы следить за тем впечатлением, которое произведёт на меня этот разговор. По возвращении на террасу я доложил, конечно, это дамскому ареопагу, и он постановил решение, весьма благоразумное по моему мнению: в виду возможности опроса нас полициею по этому делу — стоять всем на одном: знать ничего не знаю и ведать ничего не ведаю. Родные подняли дело это, как говорится, на нож, а на случай, если обратятся к Вам, — мы постановили довести до Вашего сведения заблаговременно. До сих пор дознано только одно, что невеста «бежала» из своей квартиры на даче

Дундукова[-Корсакова], через окно, со всеми вещами, ровно в шесть часов и что около этого времени уехали и Вы из “Франции”, не дав с вечера положительного распоряжения нумерному.

Вот уже второй день что драгунский жених гоняет по городу на извозчиках, а у всех церквей стоят городовые. Очень может быть, что дело это и уладится благодаря тому обстоятельству, что в Ялте нет никакого начальства и даже Головы, но всё-таки Вам необходимо принять меры и с своей стороны.

Я весьма сожалею, что Вы не только не пригласили меня помочь Вам в таком интересном деле — воровать невест есть чистейшая специальность моряков, — но даже забыли рассчитаться со мною по поездке в Гурзуф. Посылаю Вам примерно 5 рублей, с поклоном от всех дам, ожидающих от Вас — так же как и я — подробностей весьма интересного романа. Во всяком случае задуман он и исполнен на славу. Очень и очень сожалею, что Вы рано бросили нас, но надеюсь, что знакомство наше не порвётся на этом. Жму крепко руку».

Во многих мемуарах, связанных с Кулаковским, поминается, что до женитьбы это был отменный бонвиван, и цитированное полностью курортное письмо курортного знакомца едва ли исключение из правил повседневного поведения Кулаковского.

Дело привычное: в начале четвёртого десятка неженатый вот-вот доктор наук и «полный» профессор — редкость по тем временам, — пользовался благосклонностью с стороны барышень, и на это расположение грех было не обращать внимания. В чём же каяться на исповеди? Может ли быть иначе, если в карьерном смысле всё обустроено, а в семейном нет?

Например, к маю 1883 года относится воспоминание Дашкевича о женщинах Кулаковского: в письме Флоринскому он писал, что по инициативе четы Иконниковых

«Юлиану Андреевичу был послан букет, в котором были: *увядающая* роза, “растерзанные сердца”, белый какой-то цветочек и охлаждающая мята. Я доставил по назначению букет. Но Юлиан Андреевич остался им не совсем доволен. Завтра собираются в Китаев, в Царство Зелёной царевны».

Наталья Полонская-Василенко пишет, что Кулаковский был весёлым, остроумным, элегантным, пользовался успехом у женщин и сам влюбился в киевскую красавицу Любовь Михайловну Гуляеву, дочку профессора Киевской духовной академии Михаила Спиридоновича Гуляева (1828–1866) и сестру профессора Киевского университета академика Алексея Михайло-



Наталья Дмитриевна Полонская-Василенко

вича Гуляева (1863–1923). Но она, тоже будучи равнодушной к Кулаковскому, требовала от него слишком большой покорности, внимания и подшучивала над ним. «Он этого не выдержал. Любовь Михайловна осталась незамужней». Любовь Гуляева окончила в 1887-м Киевскую Фундуклеевскую гимназию, в которой в 1888–1903-м была классной дамой, с 1903-го — начальница Каменец-Подольского женского училища; была удостоена Мариинским знаком отличия беспорочной службы «за XX лет». Её сестра Надежда Михайловна, тоже оставшаяся незамужней, преподавала музыку в Институте благородных девиц — на холме выше Крещатика.

У меня стёрты ханжеские рамки, мол, нельзя в биографии *учёного* обсуждать его амурные предприятия, моменты совершенно личной жизни, мол: фу-фу-фу. Можно и должно. А то ведь принято писать, скажем, о здоровье большого человека, лишь поминая смертный диагноз. Какая разница, от чего ты помер: смерть причину найдёт.

Михаил Леонович Гаспаров в «Записях и выписках» выпишал: некто остался душеприказчиком большого филолога (В. В. Виноградова?); тот, зная цену точным фактам, позаботился оставить в домашнем архиве собственноручный донжуканский список. «Я не удержался и спросил: аннотированный?» Кулаковский, пожалуй, был менее щепетилен в таких делах.

Донжуанский список Пушкина не смутил Петра Губера, и получилось интересно. Ведь не только наш персонаж по заграницам ездил, вдыхая библиотечные ароматы книжных корешков, обедал, чихал, читал лекции и портил бумагу умной латинской буковкой вперемеж с русскими.

Не стала краденная Ханыкова женой Кулаковского (как и «черторойская Ванда»), и Любовь Михайловна Гуляева не стала, и «А. М.», и чем дело кончилось, нам не узнать. Вот здесь вопрос «зачем?» осмыслен.

Потому вернусь на год раньше.

Флоринскому 14.07.1887 — из домика в лесу под Варшавой, где после очередных римских каникул приходил в себя.

«Каждый из нас по опыту знает, какая это своего рода нравственная попытка выпускать в свет свою работу, где исполнение неминуемо ниже того, что хотел и что надеялся сделать, и когда авторская добросовестность и щепетильность заставляют придирается к себе часто и там, где совсем не за что. Сам я, должен сказать, даже отстал от начатого писания и не знаю, когда удастся довести до конца своё “К вопросу”. Скитался я не бесцельно, но был в такой стране, где слишком много и слишком разнообразны интересы, возбуждаемые окружающей действительностью.

Стараясь собрать внимание и мысли, которые пришли в разброд от продолжительных и разнообразных скитаний по далёким местам. Я, как ты знаешь, собираюсь на [VII археологический] съезд в Ярославль, и теперь всё ещё не могу заставить себя приняться за изготовление реферата. Надо бы засесть за отчёт о командировке, да и к “началом Рима” вернуться, над которыми я думал, соображал, для которых кое-где и поездил и немало читал, когда жил в Риме. Да времени уже мало...

Увидишь Лециуса, поклонись и спроси, что он пишет. Большой поклон Дашкевичу».

В августе 1887 года он участвует в работе VII Археологического съезда в Ярославле, вероятнее всего, выступая с докладом по свежим, будто спагетти болоньезе, итальянским впечатлениям.

В 1912-м ocasionально вспоминая о римской поездке, в письме приват-доценту Университета Василию Данилевичу он вспомнит:

«уезжая в Италию в 1887 году, я оставил свои книги в ящиках. Их поместили на большом подъезде [Университета] внизу около квартиры старшего сторожа».



Фёдор Фёдорович Соколов, Фаддей Францевич Зелинский

Но 1887-й завершался не слишком весело. Университеты трясло студенческим недовольством, не в последнюю очередь спровоцированным введением 5% нормы для евреев.

«Мы пока не теряем надежды, что наш Университет останется не задетым той волной, которая уже прошла по другим. Дай-то Бог! Университетское дело и так находится в тяжёлом положении, и эти волнения могут сделать его ещё печальнее. Вообще год заканчивается очень мрачно — но ведь и это будет тем запасом, из которого слагается “доброе старое время”» (Фету 7.12.1887).

Вторая диссертация. В течение 1887–1888 годов в «Университетских известиях» регулярно печатаются части диссертации «К вопросу о начале Рима», и в марте 1888-го она видит свет отдельной книжкой, небольшой, всего-то 155 страниц, что наша кандидатская.

Книга это всегда большая вещь. Черчилль, лауреат Нобелевской премии по литературе за «высокое мастерство произведений исторического и биографического характера», с опаской оглядываясь, записал на клочке: написание книги напоминает любовный роман — сначала книга для вас развлечение, затем любовница, потом госпожа и, наконец, тиран. Куда точней?

Автору ещё нет 33-х. Он тотчас же, забрав у переплётчика, начинает рассылать подсыхающие от клея экземпляры знатокам.

Знатоки благодарили. Помяловский в начале апреля: книга «мне очень понравилась по ясности изложения, свежести материала и хорошему методу его разработки».

Он же — в середине мая:

«Спешу уведомить Вас о том, что вчера <14-го> было у нас заседание факультета, в котором я представил прошение Ваше и экземпляры диссертации. Ввиду того что она касается как римских древностей, так и истории, рассмотрение ей и составление отзыва поручено профессорам Соколову и Зелинскому, которые и будут Вашими официальными оппонентами <...> Что касается экземпляров диссертации, то сверх двадцати, которые Вы пришлёте для факультета, потребуется ещё экземпляров 50–60 для совета, которые Вы привезёте с собою осенью. Профессорский состав здесь так велик, что меньшим числом удовлетворить его невозможно».

Хорошо, что книжка Кулаковского не была слишком объёмистой, и требуемое число переплетённых экземпляров, пожалуй, заняло один чемодан. Правда, большой, такой, какие на досуге мастерил химик Менделеев.

О предыстории её появления Кулаковский пишет во введении, датированном 24.03.1888:

«Выпуская в свет эту работу, я должен сознаться, что приведён я был к рассматриваемым в ней вопросам словно помимо своей воли. Не личная склонность к этого рода вопросам влекла меня в мрак начал истории Вечного города. Мои интересы к судьбам Рима сосредоточены были на периоде его истории много более позднем. Не гордая надежда рассеять этот мрак и сказать нечто совсем новое и вполне для всех убедительное вызвала эту работу. Но вопросы о начале [Рима] восстали предо мною как *dira necessitas* [острая необходимость], когда мне пришлось читать университетский курс по истории Рима. Чем ближе знакомился я с литературой по предмету, тем настоятельнее воздвигалась предо мною необходимость <...> самому разобраться как в материале, так и в том, что на его основании было сделано в науке <...>

В этом своём искании истины о начале [Рима] я старался поставить критику литературного предания в уровень с теми данными, какими располагает современное археологическое исследование почвы Рима и Италии. Ознакомиться с археологическим материалом, топографией Рима и современным состоянием их изучения дало мне возможность моё пребывание в Италии в первой половине истёкшего 1887 года».

В этих словах — деталь, уточняющая свойства процесса

классического (и, стоит думать, не только классического) образования в России конца XIX века, которую извольте пристально заметить.

Лекции как текст, звук и наука. Подготовка к лекциям по тому или иному предмету и сами эти лекции в то время были уникальным по значимости *научным явлением*, не сравнимым с тем, чем они являются ныне. Если теперь подготовка к лекции и само её чтение требует от лектора лишь общей ориентированности в предмете изложения и опоры на солидный стос учебников и пособий по курсу, которые всегда под рукой на доступном языке, — подобный процесс в университетской жизни второй половины XIX века был сродни серьёзной источниковедческой работе.

Никаких учебников по готовым курсам не было, и каждый новый учебник или опубликованный цикл лекций (литографированно или в виде монографии) воспринимался научным событием, вызывая появление рецензий, отзывов и содержательной критики в учёной печати, поскольку вмещал по преимуществу весь на тот момент обозримый критический материал по вопросу, собранный лектором в разных источниках, чаще всего, — иноязычных.

Подготовка к лекции, повторяюсь, была настоящей научной работой и ценилась высоко.

Именно по этой причине студенты *записывались и платили* за право слушать тот или иной учебный курс.

Большинство дисциплин, преподававшихся в российских (и европейских) университетах, были уникальными, и увидеть иного профессора приезжали из других университетов. Так Кулаковский в юности поехал к Моммзену в Тюбинген.

Не должно удивлять наличие бесчисленного количества «дореволюционных» учебников, популярно излагающих общеизвестные нынче вещи. Их *научная* ценность непреходяща, поскольку каждый такой учебник вводил российского читателя и слушателя в храм изучаемой проблемы едва ли не впервые.

Почему-то не удивляет, что чтение Кулаковским оригинального, авторского курса по истории Рима подвигло его к более углублённому изучению истоков его истории, в то время в России не предпринимавшемуся.

И не менее понятно, почему за свой труд он рассчитывал

на предусмотренное Уставом 1884 вознаграждение. Хотя главный киевский жандарм Василий Новицкий и писал, что профессора Университета в большинстве относились к занятиям пренебрежительно, на лекции не являлись, что расшатывало и без того нестройную учебную дисциплину, — к Кулаковскому этот попрек отношения не имеет. В вафельно-начётнической среде он был одним из *многих* исключений.

Через Рим к его началу. Состоянием историко-археологической науки в Риме, куда Кулаковский приехал для работы над диссертацией, он недоволен.

Открыто высказывается об этом Кулаковский в статье «Археология в Риме» (*Русский вестник*, 1888, № 1), написанной тотчас по приезде и выше цитированной («Если итальянцы по отношению к родной археологии стоят далеко не на высоте, то иноземцы давно уже на римской почве с успехом разрабатывают широкое поле римской археологии. Первое место по праву принадлежит немцам»), и в письме Вере Флоринской, выше цитировавшемся:

«За последнее время больше сижу дома и читаю. Следовало бы записаться за писание, но всё ещё не могу этого сделать, хотя и уяснил себе, что нужно написать. Бывал в Институте археологическом, откуда беру и книги. Вчера было последнее заседание. Признаюсь, я от этих заседаний ожидал гораздо больше, чем как нашёл. Бывал в университете, и буду ходить, хотя уровень учёный здешнего университета очень невысок, но надо в этом убедиться ещё более, да и для языка полезно».

В той же статье исполнена очередная здравица немецкой науке:

«Германия богата своей наукой, имеет множество учёных, богатейшую учёную литературу и в её университетах держится дух выработки учёных школ, почти даже дрессуры. Италия не имеет ничего подобного. Интерес к археологии остаётся, за немногими исключениями, уделом дилетантов, которые благодаря общению с [Немецким археологическим] Институтом [в Риме], получают некоторое посвящение в науку. В университетах учёные интересы стоят до крайности слабо, об учёных школах — нет в них и помину и в среде учёного люда нет никакой привычки к самостоятельности. Долго жилось им хорошо за германским щитом Института, пока он не выставил на вид своего германизма; теперь настанет нужда выступать уже вполне самостоятельно, но в области археологии у них нет сил для этого, ни авторитета».

*Многоуважаемый
Владимир, Станислав
Иконников*

ЮЛИАНЪ КУЛАКОВСКІЙ.

*Дружески
Вашъ 88
Кол.*

КЪ ВОПРОСУ
О НАЧАЛѢ РИМА.



КІЕВЪ.

Въ Типографіи Императорскаго университета св. Владимира
1888.

*Титульный лист докторской диссертации Кулаковского
с дедикацией В. С. Иконникову (из фонда НБУВ; скверная обрезка при переплёте)*

Выпуская въ свѣтъ эту работу, я долженъ сознаться, что приведенъ я былъ къ разсматриваемымъ въ ней вопросамъ словно помимо своей воли. Не личная склонность къ этого рода вопросамъ влекла меня въ мракъ началъ исторіи вѣчнаго города. Мои интересы къ судьбамъ Рима сосредоточены были на періодѣ его исторіи много болѣе позднемъ. Не гордая надежда разъяснить этотъ мракъ и сказать нѣчто совсѣмъ новое и вполне для всѣхъ убѣдительно вызвала эту работу. Но вопросы о началѣ возстали предо мною какъ *dira necessitas*, когда мнѣ пришлось читать университетскій курсъ по исторіи Рима. Чѣмъ ближе знакомился я съ литературой по предмету, тѣмъ настоятельнѣе воздвигалась предо мною необходимость не то, чтобы на свой страхъ попытаться—скажу словами Люкреція:

caecae... latebras

Insinnare omnis et verum protrahere inde,—

но лишь самому разобраться какъ въ матерьялѣ, такъ и въ томъ, что на его основаніи было сдѣлано въ наукѣ.

Въ этомъ своемъ исканіи истины о началѣ я старался поставить критику литературнаго преданія въ уровень съ тѣми данными, какими располагаетъ современное археологическое изслѣдованіе почвы Рима и Италіи. Ознакомить съ археологическимъ матерьяломъ, топографіей Рима и современнымъ состояніемъ ихъ изученія дало мнѣ возможность мое пребываніе въ Италіи въ первой половинѣ истекшаго 1887 года. Въ какой степени этого рода матерьялъ помогъ мнѣ въ моихъ попыткахъ угадать истину въ преданіи—судить объ этомъ предоставляю читателю.

Ю. К.

24 марта 1888.

Кіевъ.

Инсигнии. Ещё 27.12.1887 он «Всемиловейше пожалован кавалером» низшего по рангу Царского и Императорского ордена Св. Станислава III степени, который давался за «неоспоримо полезные открытия в науках, искусствах и ремёслах, а также за сочинение и обнародование творений, признанных общепользовными». Это был первый орден Кулаковского. (А, скажем, у Чехова — и последний.)

Награждение дворян за выслугу лет орденами — явление рядовое, обязательное: указы о награждениях и возведениях в следующий чин, как правило, датировались 1-м января. В общем порядке старшинства орден Св. Станислава с девизом «Награждая, поощряешь» следовал за орденом Св. Анны («Любящим правду, благочестие и верность»). Согласно ст. 528 статута ордена Св. Станислава награждённый должен был внести в Капитул Орденов «на дела благоугодные» 15 рублей, а затем метнуться в ближайшую ювелирную лавку и купить серебряную эмалевую висюльку.

За прочие ордена плата взималась в иных размерах: за Андрея Первозванного следовало внести 500 рублей, за Белого Орла — 300, за Владимира I степени — 450, Владимира IV — 40 итд. Если взяться сопоставлять профессорское жалованье (3000 рублей в год) с орденской пошлиной, окажется, что один раз в пять лет на законных основаниях человек мог обзавестись новенькой штучкой, каждый раз платя за неё дороже. Но за ордена полагались ежегодные доплаты, потому награждённые в накладе не оставались.

Кулаковский как малоэксцентричный человек был лишён гордыни Густава Курбе, который сделал себе известную рекламу на отказе от ордена Почётного легиона, обосновав этот отказ по всем правилам французского изящного письма:

«Государство не компетентно в искусстве. Беря на себя вознаграждение, оно узурпирует общественный вкус <...> Оно выполнит свои обязанности по отношению к нам в тот день, когда оно перестанет стеснять нашу свободу» (23.06.1870).

Либеральный министр изящных искусств Морис Ришар, на чьё имя была отправлена эпистола, пожал плечами; художники отметили невинный и ни к чему не ведущий нонконформистский жест очередной абсентной пьянкой в «Красной мельнице». Курбе был доволен, как ребёнок, гордо поломавший игрушку.

Кулаковский не был художником, свободу научного поиска понимал сообразно обстоятельствам бытия и быта, адекватно изучаемой им материи, и потому естественное встраивание в социальный организм путём постепенного формального различения себя с остальными прежде всего киевлянами было для него незаметным, нетягостным и в чём-то, пожалуй, приятным. Как городовые и дворники должны выделяться среди прочих медными бляхами, так университетский профессор — сюртучной униформой и «Станиславом» в петлице или каким-нибудь чёрно-красным «Владимиром» на шее. Сейчас носить не принято, а тогда — время было такое. Важно понять, какое.

В апреле 1888-го Кулаковский, исполняющий обязанности декана факультета, которым был назначен вместо Иконникова Тимофей Флоринский, незадолго до того защитивший докторскую диссертацию о Стефане Душане, «царе греков и сербов», — пишет другу в Питер:

«Я исправлял твои обязанности, то есть вписывал: “допустить”, “разрешить” и т. д. Дальше мне ничего не пришлось делать <...> О моём деле <защите докторской> сообщу, что я получил ответ от [В. И.] Герье — послал прошение в Москву и два экземпляра. — Ничего дальше не знаю и не могу ещё назвать своего дела устроившимся» (14.04.1888).

Афанасий Фет и его компания в их переписке. Летом того же года Кулаковский ездил на юг, в Ялту (попутно заглядывая ради забавы чужую Ханыкову), на Кавказ, в Железноводск и Пятигорск.

Между прочим — по пути — заехал в Воробьёвку к Афанасию Афанасьевичу Фету (1820–1892), с которым познакомился ещё зимой 1884-го в Москве на квартире Вл. Соловьёва.

Весной 1888-го он писал Афанасию Афанасьевичу, что получил вторую часть фетовского перевода «Энеиды», прочёл её, но всё не собрался поблагодарить за подарок.

«Если Вы, в самом деле, уже ждёте весны в Вашей Воробьёвке, то шлю Вам привет с приездом и искреннее пожелание скорейшего наступления весны, которая у нас тут было появилась, да и опять уступила место зиме. Наскучили уже эти снега и холода, да и время им проходит <...> Пока не сочиню что-нибудь о [Вашем] Вергилии, буду считать себя должником перед собственной совестью, но, к сожалению, такое состояние должно продлиться, ибо пока совсем нет свободы голове для того, чтобы сочинять другое, помимо необходимого. Нехорошо, когда свободы

I.

Царская исторія и синонимизмъ Рима.

Quod habemus institutae reipublicae tam clarum ac tam omnibus notum exordium quam huius urbis condendae principium profectum a Romulo?—Такъ говорилъ о началѣ Рима Цицеронъ, влагая эти слова въ уста главнаго собесѣдника въ своемъ диалогѣ De republica, Сципиона (II, 2, 4). Сказаніе о Ромулѣ, какъ основателѣ Рима, было издавна облечено каноническимъ авторитетомъ непреложной истины. Съ 296 года до Р. X. стояла на Люперкалѣ статуя волчицы, кормицы близнецовъ Ромула и Рема¹⁾. Отсюда необходимо заключать, что въ періодъ самнитскихъ войнъ, легенда эта пользовалась общей извѣстностью и была предметомъ народной вѣры²⁾. Съ тѣхъ поръ прошло до времени Цицерона довольно поколѣній, чтобы она могла стать въ сознаніи Римлянъ исторіей въ полномъ смыслѣ этого слова. Въ вѣкъ Цицерона увѣренность, что традиція о началѣ города имѣла историческій характеръ, шла гораздо дальше призна-

¹⁾ liv. 10, 28, 11. Eodem anno Cn. et Q. Ogulnii aediles curules aliquot faeneratoribus diem dixerunt; quorum bonis multatis, quod in publicum redactum est, ad ficum Ruminalem simulacra infantium conditorum urbis sub uberibus Lupae posuerunt.—Dionys. I, 79, позволяетъ утверждать, что мѣстомъ статуи былъ Lupercal.—Всѣ свидѣтельства о Люперкалѣ и статуѣ волчицы собраны у Швеклера. Römische Geschichte, I, 8, 3. Статуя, водвигнутая Огульниами въ 296 году до Р. X., сохранилась и до настоящихъ дней и находится въ одной изъ залъ Капитолійскаго Музея въ Римѣ. Lübke. Geschichte der Plastik, I, p. 257, гдѣ и приложено ея изображение.

²⁾ Положеніе это общепринято въ современной ученой литературѣ по римской исторіи. Смоленса на Моммзена: Die Remuslegende, p. 2. (Hermes. Band. XVI. H. 1.—1881 г.).

Городъ на Палатинѣ.

Начало Рима является въ римскомъ преданіи какъ личный актъ воли царя-создателя. Въ основѣ всѣхъ дошедшихъ до насъ изводовъ сказанія и обрывковъ отъ нихъ лежитъ одна основная схема. Напомнимъ ее здѣсь въ краткомъ об орѣ, раздѣливъ для удобства дальнѣйшихъ ссылокъ на четыре пункта.

1. Въ Альбѣ Лонгѣ царствуетъ, вопреки праву первородства, Амулій. Въ обезпеченіе своего трона онъ посвятилъ богинѣ Вестѣ дочь своего старшаго брата, Нумитора, Рею Сильвію. Но у весталки рождаются отъ бога Марса два сына, Ромуль и Ремъ. Амулій ищетъ погубить ихъ, но чудо спасаетъ дѣтей бога и его звѣрь оказываетъ первую помощь младенцамъ. Ромуль и Ремъ вырастаютъ въ средѣ пастуховъ. Фаустиулъ замѣняетъ имъ отца.

2. Случай выводитъ на свѣтъ истину ихъ происхожденія. Они отицаютъ обиду дѣда, но не остаются жить съ нимъ въ Альбѣ и замышляютъ основать новый городъ. Вопросеніе боговъ путемъ ауспцій совершаютъ братья отдѣльно на разныхъ мѣстахъ: Ромуль на Палатинѣ, Ремъ на Авентинѣ. Полученныя ауспіціи таковы, что не ясно, какому мѣсту отдать преимущество; дѣло рѣшается однако въ пользу Ромула и Палатина.

3. Закладка новаго города совершается съ соблюденіемъ всѣхъ правилъ „этрусскаго чина“ (ritus etruscus). Городская черта проводится плугомъ, въ который впряжены бѣлые быкъ и телѣца. На мѣстѣ будущаго воротъ плугъ приподнимается. Во время возведенія стѣнъ происходитъ разногласіе между братьями, и Ромуль убиваетъ Рема.



Крест ордена Св. Станислава 1-й степени

такой нет, но подчас оно много лучше, чем если её много. Разумею Владимира Сергеевича [Соловьёва]. Как жаль, что он написал свою статью в «Вестнике Европы» (11.03.1888).

Недостаток, как и избыток свободного времени для занятий тем, что нравится, — одинаковые помехи творческому человеку. На перевод «Энеиды» Кулаковский так и не откликнулся, хотя частично отозвался о нём в юбилейной статье Фету. А вот с Вл. Соловьёвым, об отношении которого с Кулаковским чуть дальше будет сказано подробнее, он продолжал общаться, независимо от того, что статья Соловьёва «Россия и Европа» (*Вестник Европы*, 1888, №№ 2, 4), посвящённая разбору книги Николая Яковлевича Данилевского, вызвала у него недоумение: обычный спор между славянофилами и западниками, зачем был нужен Соловьёву?

Через три месяца — Флоринскому:

«К Фету заехал во время моего пребывания в Воробьёвке [Яков] Полонский, который возвращался в Петербург из Киева, который он на старости лет ездил осматривать. Так я был в обществе сразу двух поэтов. — В ожидании Полонского перечёл я его стихи — восхитился “Кузничиком-Музыкантом” и нашёл, что это единственное достойное вечности в его писаниях» (16.06.1888).

Не стану комментировать это заключение, в комментариях не нуждающееся: Кулаковский, по воспоминаниям, отличался *завидной крайностью мировидческих воззрений*.

В 1889-м он опубликовал статью к 50-летию Фета, в которой высоко ставил его переводческие заслуги перед российской словесностью.

«Русские филологи должны быть признательны г. Фету за ту помощь, которую оказывает он им в их задаче сближать русское просвещение и русскую образованность с античным миром». Однако, «если г. Фет желал создать себе такой огромный литературный памятник, и мы все искренно дивимся его обширным размерам, то нельзя при его созерцании не заметить и того, что хорошо отделаны в нём далеко не все части, и далеко не все они из лучшего мрамора... Мы, филологи, признавая в почтенном Афанасии Афанасьевиче добровольца в нашем лагере, дивясь той неустанной энергии и рвению, с которыми он ратует за наше дело, должны принести ему дань нашей сердечной признательности и самого глубокого уважения».

В мае 1888 года из Варшавы Кулаковский рассказывает Фету о будущей защите докторской диссертации.

«Дело в том, что я надеялся, что в Москве устроят мне в мае месяце диспут. Я подал её [книжку “К вопросу о начале Рима”] в качестве диссертации. Но в Москве факультетские дела в таком странном положении, что я до сих пор не знаю и того, доложено ли моё прошение. В Варшаве получил я письмо от [Г. А.] Иванова, из которого я узнал, что о диспуте в мае нечего и думать: он сам слишком занят, а у [В. И.] Герье приключилась болезнь (брюшной тиф), другие филологи — кроме Иванова — все в отпуске или командировке. Это — частное сообщение, а об официальной постановке дела я так-таки ничего не знаю, не знаю и того, принимают ли они мою книгу в качестве диссертации. — Если бы я мог предвидеть, как странно стоят дела в факультете московском, то и не обращался бы туда, обращаться теперь в другие университеты уже поздно, и приходится отложить дело до осени, когда и для меня самого все вопросы, задетые в моей книге, потеряют свежесть» (3.05.1888).

К осени большие выздоровели, командировочные и отпускники вернулись в Москву, Иванов чуть разгрузился, но дело с защитой Кулаковского не сдвинулось — даже Отто фон Бисмарк сафористичничал, мол, русские долго запрягают, но быстро едут. Да, но в Москве эти скорости не сработали.

В письме Фету Кулаковский описывает предзащитное лето, проведённое на Кавказе после недели в Воробьёвке (начало июня 1888-го).

«Я ожидал найти Кавказ на водах, куда проехал прямо от Вас, и не нашёл там ничего. В заботах о ваннах в Железноводске потянулось время ров-

III.

Аборигины и Сабины.

Въ преданіи о началѣ Рима Ромулъ и Титъ Тацій суть два различныхъ лица, принадлежать двумъ различнымъ народностямъ. Сынъ бога Марса, Ромулъ, основываетъ городъ на Палатинѣ и начинаетъ съ своей дружиной новый родъ людей на землѣ, создаетъ пошеп Романумъ. Титъ Тацій приводитъ свою дружину съ сѣверо-востока изъ сабинской земли и, пововавъ Ромула и заключивъ затѣмъ союзъ съ нимъ, селить свою дружину на землѣ, прилегающей въ палатинскому городу. Пришельцы, послѣ смерти своего царя, объединяются подъ властью царя-основателя и сливаются съ исконнымъ населеніемъ Рима.

Въ преданіи утверждается, такимъ образомъ, двойственность состава римскаго народа. Въ современной ученой литературѣ по римской исторіи эта данная традиціи признается обыкновенно за исторически достоверную и въ основѣ государственнаго строя Рима полагается синоизмъ.

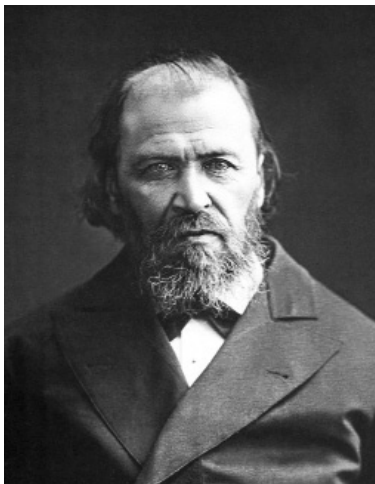
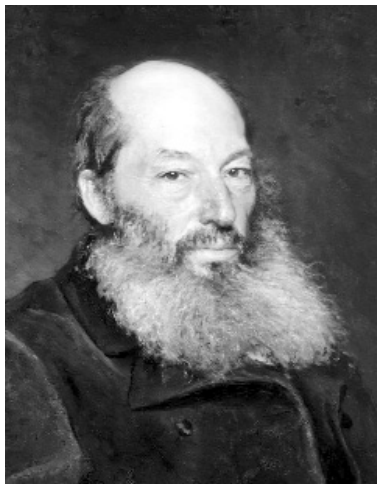
Мы съ своей стороны не считаемъ возможнымъ утверждать такое начало Рима. Литературная обработка преданія имѣла въ своей основѣ образы, принадлежавшіе народному творчеству. Въ начало исторіи города поставлены были два образа, Ромулъ и Титъ Тацій. Они являлись для Римлянъ какъ два историческихъ лица. Для насъ они могутъ быть лишь образами, воплощающими различныя представленія о началѣ Рима. Ромулъ—представитель идеи объ исконности Рима: онъ творитъ римскій народъ и создаетъ городъ Римъ. Титъ Тацій представляетъ въ своемъ лицѣ воспоминаніе о первомъ утвер-

IV.

Этруски въ Римѣ.

Преданіе о царской исторіи Рима, какъ его сложили и какъ въ него вѣрили Римляне, пронизуемо представленіемъ, что всякое существовавшее въ Римѣ учрежденіе имѣетъ ясное историческое начало. Отсюда тотъ результатъ, что въ немъ „событія“ являются причиною какъ существованія, такъ и формы учрежденій. Древнѣйшее дѣленіе римскаго народа на три трибы нашло свое объясненіе въ синойкизмѣ трехъ въ извѣстной послѣдовательности времени сложившихся, первоначально самостоятельныхъ и независимыхъ, группъ населенія съ опредѣленными героями-эпонимами. Но, признавая дѣленіе на три трибы какъ основу древнѣйшаго государственнаго строя Рима, мы вовсе не имѣемъ надобности слѣдовать за древними въ его объясненіи. Въ предшествующемъ было предложено изясненіе образовъ героев-эпонимовъ двухъ трибъ, отклоняющееся отъ общепринятаго въ современной критической разработкѣ римской исторіи. Чтобы закончить разсмотрѣніе данныхъ, относящихся до синойкизма, мы должны теперь остановиться на вопросѣ о третьей трибѣ начальнаго Рима, *Luceges*.

Если возникновеніе двухъ первыхъ трибъ, *Ramnes* и *Tities*, облеклось въ народныхъ представленіяхъ въ формы вполне опредѣленныя и въ изложеніяхъ историковъ получило каноническое однообразіе, то по отношенію къ началу третьей трибы этого не случилось. Въ преданіи утверждается и здѣсь „событіе“, но оно не получило полного развитія въ народныхъ представленіяхъ: оно явля-



Афанасий Афанасьевич Фет (Шенин), Яков Петрович Полонский

но и как-то очень тихо и просто. Потом я переехал в Кисловодск, затем пытался проехать на юг, но по случайным обстоятельствам остался на северном склоне Кавказа (наверняка очередной вакационный роман. — А. П.) и через Новороссийск пробрался в Крым. Старался вообще ничего не делать и ни о чём не думать, так как я за прошлое полугодие сильно устал и вообще очень скверно себя чувствовал.

По возвращении сюда [в Киев] в конце августа получил, наконец, весть о том, что диссертация моя принята в Петербурге, воротился мыслями к ней, а тут начало семестра и всегда трудно дающиеся вначале лекции. Уезжая из Киева 17 сентября, я ещё мечтал на обратном пути явиться к Вам и напомнить о себе лично, но и это не удалось. Отпуск был у меня самый краткий, да и надо было спешить домой, так как с 28 сентября у нас гостит министр [Деянов].

В Петербурге я очень много мыкался из конца в конец, вспоминал я часто “Кузнечика” [Полонского], но не решился разыскать его, так как от него же слышал жалобы на обилие знакомых и посещений. Оказалось, однако, что тот сам меня вспомнил и разыскивал мой адрес. Тогда я явился к нему — и повидался уже в день отъезда; нашёл я его бодрее и сильнее, чем каким он был в Воробьёвке. — В Москве я остановился только <на> два часа между поездами, случайно виделся с [Я. К.] Гротом, который не знал ещё, что Вы уже вернулись [в Москву] <...> Простите моё долгое молчание и не наказывайте отплатой» (2.10.1888).

Яков Полонский 8.10.1888 тоже вспомнил о встрече — они только в июне познакомились:

«В конце сентября был у меня Кулаковский. Адрес мой он узнал от Якова Карловича Грота... он был так мил и любезен, что посетил меня за несколько часов до отъезда в Киев, куда он спешил в надежде застать там Деянова <...> Он говорил мне, что он виноват перед тобой, что с весны не писал тебе».

Через несколько десятилетий, которые до неузнаваемости поменяют людей, города и годы, Вячеслав Иванов, давно бежавший в Италию, в «Римском дневнике 1944 года» от 24.10.1944 запишет такую «коллективную» характеристику:

Таинник Ночи, Тютчев нежный,
Дух сладострастный и мятежный,
Чей так волшебен тусклый свет;
И задыхающийся Фет
Пред вечностию безнадежной,
В глушинах ландыш белоснежный,
Над оползнем расцветший цвет;
И духовидец, по безбрежной
Любви тоскующий поэт —
Владимир Соловьёв: их трое,
В земном прозревших неземное
И нам преуказавших путь.
Как их созвездие родное
Мне во святых не помянуть?

Соученик Кулаковского по школе Моммзена, Вяч. Иванов вспомнил о Тютчеве, Фете и Соловьёве скорей всего потому, что — как сам здесь признаётся — числил их, предтеч символизма, в наставниках собственной версификации. «Тютчев истинный родоначальник нашего истинного символизма», — писал он в статье «Заветы символизма» (1910). Вл. Соловьёв содействовал публикации стихотворений Иванова «Тризна Диониса» (в «Cosmopolis'e» Фёдора Батюшкова, 1898, № 12, в котором тогда же Кулаковский печатал лекции по эллинской эсхатологии), «Дни недели» (в «Вестнике Европы» Михаила Стасюлевича, 1898, № 9), «На миг», «Воспоминание», «Сны», «Полёт» (там же, 1899, № 6), вошедшие затем в первый поэтический сборник Иванова «Кормчие звёзды» (название тоже было одобрено Соловьёвым). Понимание философии и поэзии

ПРИЛОЖЕНИЕ ¹⁾.

О такъ называемой „Ромуловой стѣнѣ“ на Палатинѣ ²⁾.

Въ изложеніи о городѣ на Палатинѣ мы считали возможнымъ дать вѣру свидѣтельству нашего преданія о томъ, что въ исторіи обитанія территории Рима было время, когда городъ не выходилъ за предѣлы этого холма. Но тамъ же было высказано наше несогласіе съ мнѣніемъ, которое является въ настоящее время общепринятымъ въ средѣ специалистовъ по римской исторіи и археологіи, а именно: будто на Палатинѣ найдены были вещественные памятники, которые могутъ быть привлечены къ разъясненію вопроса о померіи древнѣйшаго города. Хотя объясненіе этихъ остатковъ древнихъ сооружений въ томъ смыслѣ, что здѣсь явились на свѣтъ слѣды стѣны ромулова города, могло бы служить подтвержденіемъ принятаго нами рѣшенія вопроса о померіи, но мы не считаемъ возможнымъ признать это объясненіе за правильное. Несогласіе наше съ общепринятымъ мнѣніемъ основано на непосредственномъ знакомствѣ съ этими памятниками и многократномъ ихъ личномъ осмотрѣ весною 1887 года.

Чтобы обосновать наше отрицаніе уважемъ прежде всего, какъ стоитъ вопросъ о стѣнѣ вокругъ Палатина въ нашемъ преданіи.

Сага о царѣ-основателѣ говоритъ вполне опредѣленно о возведеніи стѣны вокругъ Палатина. Неотдѣлимой и не подлежащей никакому устраненію частью этого повѣствованія является совершен-

¹⁾ См. стр. 57.

²⁾ Вопросъ этотъ былъ предметомъ моего реферата, доложеннаго на VII-омъ Археологическомъ Сѣздѣ въ августѣ 1887 года въ Ярославѣ.

ное Ромуломъ братоубійство. Мотивомъ пролитія братней крови, въ которомъ Гораціи въ прекрасныхъ стихахъ указалъ какъ-бы перво-родный грѣхъ Рима—

Ut immerentis fluxit in terras Remi

Sacer nepotibus cruor—

является преступленіе Рема: онъ оскорбилъ святость городской стѣны и подлежалъ смерти. Смерть Рема символизируетъ святость того, что защищаетъ человеческое общество, создаетъ возможность государственнаго быта⁴⁾. Въ легендѣ объ основаніи утверждается, такимъ образомъ, существованіе стѣны вокругъ Палатина. Діонисій вводитъ въ свое псевдоисторическое изложеніе и такую подробность, что Ромуль, въ ожиданіи нападенія со стороны Сабинъ, старался обезпечить своихъ Римлянъ особыми мѣрами: онъ повысилъ стѣны Палатина и укрѣпилъ валомъ и ровомъ Авентинъ и Капитолій, чтобы дать возможность укрыться тамъ сельскому населенію съ его стадами (II, 37). Но ни сказаніе объ основаніи города, ни эти подробности въ нему приросли въ періодъ литературной обработки традиціи, никакъ не могутъ ослабить значенія того обстоятельства, что ни одинъ изъ дошедшихъ до насъ писателей не сказалъ намъ, что стѣна эта существовала въ позднѣйшія времена хотя бы въ своихъ остаткахъ. Образъ царя-основателя жилъ въ дѣломъ рядѣ памятниковъ, которые имѣли значеніе народныхъ святынь, но къ нимъ, очевидно, не принадлежала стѣна, защищенная въ своей святости братоубійствомъ. Она не существовала. Утверждать это можно, какъ намъ кажется, на основаніи слѣдующихъ данныхъ.

⁴⁾ Повѣствованіе о смерти Рема имѣло впрочемъ нѣсколько изводовъ: см. Dion. I, 87; Ovid. Fast. IV, 835—856. Намъ кажется, что всѣ она, кромѣ указанной выше версіи непосредственнаго братоубійства, носятъ на себѣ слѣды искусственнаго издѣльнаго возмущенія: они явились результатомъ стремленія облегчить вину царя-основателя. Какъ въ томъ изводѣ, гдѣ Ремъ, а вмѣстѣ съ нимъ и Фаустиулъ, поддаютъ въ битвѣ, такъ и въ другомъ, гдѣ Рема убиваетъ Целеръ, приставленный Ромуломъ къ охранѣ стѣны,—царь-основатель не есть непосредственный виновникъ смерти брата. Подлиннымъ элементомъ сказанія естественно, потому, признатъ ту версію этого повѣствованія гдѣ, не замѣтно заботы о томъ, чтобы смягчить строгій характеръ этого „дѣянія“ царя-основателя. Это подтверждается и тѣмъ, что въ римскомъ народномъ сознаніи выступаютъ съ ореоломъ высокой доблести, *virtus*, образъ отцовъ, называющихъ собственныхъ дѣтей, каконы: Брутъ и Манлій Торкватъ. И дѣло Ромула понималось, вѣроятно, не какъ преступленіе, а какъ подвигъ.

Соловьёва Иванов изложил в статье «Религиозное дело Вл. Соловьёва» (1911), а учение Владимира Сергеевича, по слову Аверинцева, «во многом отразилось в поэзии Иванова».

Докторское сочинение Кулаковского было переадресовано в историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, и 25.09.1888 без проволочек защищено на соискание учёной степени доктора римской словесности. 17 октября Совет Университета утвердил факультетское решение, и Кулаковский стал доктором наук, одним из слишком немногих — по пальцам сосчитаешь — в Российской империи.

Защита вторая и последняя. Полонский — Фету:

«В прошлое воскресенье в Университете Кулаковский защищал свою диссертацию. — Я не знал и не попал на диспут, где он здесь остановился, не знаю, иначе бы поздравил его со званием доктора. Если найду вчерашнюю газету, то вырежу для тебя отчёт об этом диспуте» (28.09.1888).

Нашёл, вырезал, прислал.

В «Новом времени» сообщалось:

«Сегодня, в воскресенье, 25 сентября, в 1 час дня <...> профессор Университета св. Владимира Юлиан Андреевич Кулаковский <...> защищал докторскую диссертацию под названием “К вопросу о начале Рима”, представленную им для получения степени доктора римской словесности».

Официальными оппонентами выступили Фёдор Соколов и Фаддей Зелинский. По окончании диспута декан историко-филологического факультета Иван Помяловский «объявил диссертанту, что факультет признал его достойным получения искомой степени доктора римской словесности» (*Новое время*, 1888, 26 сент., № 4518).

Диссертация «получила резонанс».

Когда к мосту маршем подходит солдатский взвод, он переходит на обычный шаг, чтобы не разрушить конструкцию.

Описать это явление можно лишь при помощи дифференциального уравнения.

Резонанс, произведённый сочинением Кулаковского, тоже может быть описан дифференциально, как линейная часть приращения функции.

Сочинение состоит из четырёх глав (экскурсов) и приложения: 1) Царская история и синойкизм Рима; 2) Город на Палатине; 3) Аборигены и сабины; 4) Этруски в Риме. В приложе-

нии, относящемся к второй главе, говорится о так называемой Ромуловой стене на Палатине.

Вячеслав Бузескул в труде «Всеобщая история и её представители в России в XIX и начале XX века» указывает:

«Нельзя не отметить, что при всём уважении к авторитету Моммзена, Ю. А. Кулаковский решительно разошёлся с ним по вопросу об этрусском влиянии. Надо представить себе, как преклонялись перед авторитетом Моммзена, чтобы оценить эту смелость. “С редким для того времени мужеством”, справедливо замечает проф. И. В. Нетушил, “Кулаковский высказывается против некоторых взглядов Моммзена, в том числе особенно против его отрицательного отношения к этрусскому владычеству”. Иначе, чем Моммзен, толкует он сказание о Тите Тации.

В общем, книга Ю. А. Кулаковского даёт свод того, что сделано в науке по затронутым вопросам, с самостоятельными соображениями и замечаниями».

Алексей Деревицкий в некрологе:

«Книга “К вопросу о начале Рима” обладает теми же достоинствами живого, увлекательного изложения и остроумных комбинаций, что и книга о римских коллегиях. В ней, по тому времени, к которому относится её появление, было много нового, и хотя некоторые из её тем также навеяны работами Моммзена <...> однако Ю. А. Кулаковский в разработке этих тем умел быть вполне самостоятельным <...>

Сказанию о Тите Тации он дал новое толкование. По Моммзену, в этом сказании отразилось воспоминание о покорении сабинской области Курием Дентатом (290 г.). [Бенедикт] Низе видит в легенде о Тите Тации отклик другого исторического события, — а именно союза Рима с самнитами 354 г. По Кулаковскому, эта легенда есть продукт историзирования отношений, слагавшихся исподволь, веками, и он ставит её в связь с легендой о Ромуле: как Ромул является фигурой, воплощающей в себе теорию исконности, автохтонности населения Лациума (аборигены), так Тит Таций воплощает другую теорию, а именно теорию об иммиграции из сабинской земли, которая считалась родиной всех италийских племён.

По вопросу о начале и значении трёх древних триб (то есть подразделение людей Рима по происхождению: *Rampes* (римляне), *Tities* (сабиняне), *Luceres* (альбанцы или этруски), существовавшее до Сервия Туллия, которые разделили территорию Вечного города на 35 округов: 4 — *tribus urbanae* и 31 — *tribus rusticae*. — А. П.) у Кулаковского сделана тщательная сводка и приведён обстоятельный разбор главнейших взгля-

*Служебный знак доктора наук
российских университетов
(не отсюда ли эмблема киевского «Динамо»?)*



дов, высказанных на этот вопрос другими учёными, причём сам он становится на сторону признания за люцерами этрусского происхождения».

Диссертация Кулаковского явилась достаточным вкладом в вопрос о начальной истории Рима, чтобы стать трудом, мимо которого в дореволюционное время нельзя было пройти исследователю, заинтересовавшемуся аналогичным вопросом. Но ходяков обнаружилось немного.

Энман — неофициальный оппонент. Одним из споткнувшихся был Александр Фёдорович Энман (1856–1903), выпускник Дерптского университета, тогдашний преподаватель питерской немецкой гимназии св. Екатерины (Katherinenschule). Он наиболее чётко выразил отношение к работе Кулаковского, включив её в число основных монографий по тематике наряду с трудами Бартольда Нибура, Теодора Моммзена, Альберта Шwegлера и Бенедикта Низе при написании гиперкритической работы «Легенда о римских царях, её происхождение и развитие» (СПб., 1896; публиковалась в ЖМНП в 1894–1896-м).

В рецензии на работу Энмана «Zür römischen Königs-geschichte» (1892) в 1893-м, через пять лет после выхода в свет «К вопросу о начале Рима», Кулаковский так расценивает характер проблемы и собственный вклад в её разработку:

«Начало Рима — это такой вопрос, по которому исследователь

никогда не может прийти к выводам, для всех в равной степени убедительным, даже при полном согласии насчёт методов, какие приложимы в данном случае. Причина этого лежит в самом характере материала, каким обладает наука по этому вопросу. Простой и количественно ограниченный материал этот, однако, таков, что история Рима в царский период останется для нас навсегда загадкой, которую будут непрестанно вновь и вновь разгадывать. Присоединяться к отгадывателям этой загадки приводилось и пишущему эти строки.

Своё отношение к подлежащему материалу формулировал я тогда в такое положение: “Загадка исторической критики в вопросах о царской истории сводится к разысканию общих фактов, лежащих в основе данных предания”. С этой точки зрения и в этом направлении производил я анализ литературного материала и, привлекая на помощь данные археологии, пытался определить и установить общие факты, за которыми бы можно было признать, как мне казалось, характер достоверной истории.

Выводы мои, выражая их вкратце, состояли в следующем.

Синоикизм Рима из латин, сабин и третьей трибы, люцеров, происхождение которой было спорным уже у римских исследователей отечественной старины, я признавал лишь теорией древних исследователей о начале римской истории; в образе первого царя, Ромула, я находил эпонима города Рима и воплощение идеи начала и роста Рима из самого себя; в образе представителя сабин, Тита Тация, — эпическое лицо, тождественное в своей основе с Ромулом, но воплотившее в себе воспоминание о происхождении римлян как народа, из “общей родины” италийских племён, горной области вокруг Реате и Кутильского озера. Что ж до второго периода царской истории, представленного в нашей традиции царями Тарквиниями, то мне казалось наиболее вероятным признать в этих образах претворение народной памятью того факта, что Рим был завоёван этрусками и в течение некоторого времени был центром этрусской державы...

Я не верю в возможность того, чтобы в наших попытках разгадать великую загадку царской истории Рима мифология, а особенно этимология могли оказать какую-либо помощь; но я настаиваю на возможности и даже необходимости привлечь к исследованию данные археологии. Эти последние не были широко введены в анализ исторических свидетельств о начале Рима; я пытался восполнить этот недочёт и, смею думать, достаточно оценил и показал то важное значение, какое они могут занять в подобной работе».

Энман возражает:

«один из наших талантливых учёных увлёкся мыслью соединить ар-



Киев. Крещатик и Думская площадь, фото 1900-х

хеологическую задачу с критически-литературною, ставя решение последней в зависимости от первой. Это явная ошибка в постановке вопроса; поэтому и не удивительно, что предпринятый новый разбор предания о начале Рима не привёл ни к каким значительно новым результатам. Автор труда “К вопросу о начале Рима” напрасно оставил дорогу, проложенную его авторитетными предшественниками, особенно же высокоуважаемым всеми [Альбертом] Шwegлером».

Но дело, кажется, не столь уж безнадежно, как это представляется Энману. Скорее, наоборот.

Кулаковский, вероятно, *одним из первых в российской классической филологии* попытался соединить на конкретном материале *метод археологический*, основанный на изучении вещественных памятников, и *метод литературно-критический*, предметом которого были эпиграфические памятники и вообще данные языка, — иными словами, пытался превратить традиционную историко-археологическую науку, каковой она стала к последнему десятилетию XIX века, в таковую, под которой принято понимать ныне классическую филологию. И в этом заслуга Кулаковского должна быть признана *приоритетной* без оговорок и околичностей.

Как писал Юрий Мосенкис касательно метода общего языковедения, последнее

«отчасти выигрывает перед археологией: по языку можно описать в общем жилище и быт носителей речи, но по жилищу и утвари нельзя судить о языке (при отсутствии письменных памятников в обоих случаях). Кроме того, лингвистика в отличие от археологии может строго дифференцировать унаследование из общего источника и заимствование из общего источника. Из сказанного следует, что в синтетических работах надо идти от языка к истории материальной культуры, так как противоположный путь (Н. Я. Марр и его “палеонтологическая” школа) неудачен».

Стоит добавить, что эти оба пути могут и должны идти *параллельно* или навстречу друг другу, и труд Кулаковского о начале Рима отчётливо доказывает это.

Что подобный подход был тогда удивителен и нов, ещё не свидетельствует о его ошибочности, как стремится уверить Энман. Кулаковский был прозорливей Энмана и на своём пути пришёл к неожиданным (для него самого) выводам, на резонности которых гиперкритически настроенный Энман даже настаивает. Это касается, в частности, толкования Кулаковским легенды о Тите Тации и появлении сабинян в Риме.

«Мнение Кулаковского имеет одно преимущество перед другими попытками объяснения легенды: оно сообразуется с местным характером её».

И на том спасибо.

В связи с этим не может не вызвать удивления утверждение знатока начальной истории Рима, Ии Леонидовны Маяк (1922–2018), которая в монографии «Рим первых царей: Генезис римского полиса» (1986), в обзоре литературы вопроса, не только тщательно обходит вниманием работы Кулаковского и Энмана, но и отмечает, что «интерес к древнейшему Риму постепенно нарастал, хотя вплоть до послевоенного времени царский период освещался только в общих работах». Чуть выше: «В отечественной дореволюционной и в советской исторической науке изучение проблемы раннего Рима <...> зависело от состояния источниковой базы и оценки её достоверности». Конечно, всё это так. О каких «общих работах» может идти речь, когда уже до большевицкого переворота этот вопрос в специальных монографиях скрупулёзно разрабатывали Кулаковский (1888), Энман (1894–1896), Модестов (1902–1904)?

На следующий же день по защите диссертации Указом Правительствующего Сената Кулаковский «произведён за выслугу лет в чин статского советника со старшинством с 1.X 1888». Чин

V класса соответствовал гражданской должности вице-директора департамента и вице-губернатора, располагался по табели между полковником и генерал-майором. Статским советникам «петлица полагалась витая, наподобие военной генеральской», но ордена Св. Станислава и Св. Анны 1-й степени, Белого Орла и Св. Владимира 3-й степени ещё не давались.

Флоринскому 21.09.1888:

«Хорош Петербург, но куда ему до той прекрасной картины, какую представляет наш Киев утром 17 числа, когда я с ним расставался. Осень не вступила здесь [в Питере] ещё во все свои права, но воздух такой резкий, что первое, что я здесь испытал, было ощущение насморка.

Первый вечер провёл я с Соболевским, а сегодня рыскал с 9 часов утра до 10 часов вечера, посещая разных лиц. Начал с декана <...> продолжил Ламанским, Радловым, Латышевым, Академией художеств, Васильевским и Зелинским, моим ратоборцем в будущее воскресенье.

Завтра буду обедать у Ламанского, где будут также [Ватрослав] Ягич и Соболевский».

В 1911-м анонимный автор журнала «Гермес», пиша о Кулаковском, вспомнил про защиту:

«Все, присутствовавшие на его диспуте в СПб университете, помнят увлекательную, проникнутую горячей любовью к вечному городу речь докторанта и его остроумную защиту своих положений».

Вероятно, Зелинский как наиболее модернистский античник конца XIX — первой четверти XX века, друг Вяч. Иванова и вообще человек необъятных культурных горизонтов, тоже высоко оценил работу Кулаковского. Отзыв не сохранился.

В свою бытность Иосиф Моисеевич Тронский, сторонник «классического», а не «модернистского» изучения античной культуры, отказался от перевода в С.-Петербургский университет лишь потому, что там преподавал Зелинский, а такая оценка свидетельствует о многом, принимая во внимание громадный вклад Зелинского в изучение античного мира, всё-таки не сравнимый с вкладом Тронского. А вот Лосев в 1985-м говорил Виктору Ерофееву о Зелинском, которого считал идеалом учёного:

«во-первых, <он> был в душе поэт-символист, а во-вторых, крупнейший, европейского масштаба, исследователь античности. Сейчас я думаю, что он часто увлекался и преподносил её односторонне, но всё-таки он её давал в очень живой художественной форме, очень оживлённой форме... Так что его статьи в трёх томах, которые называются “Из жизни

идей”, читаются и сейчас с удовольствием и пользой. По-моему, вот это вот совмещение классика, филолога-классика, поэта и критика замечательно. Ну, так же был настроен Иннокентий Анненский».

(Замечу в скобках и не вовсе к месту, что даже такой талантливый учёный, как Георгий Филимонович Церетели (1870–1939?), папиролог и переводчик, шовинист и антисемит, не нашёл в себе умственного мужества признать так называемую «импрессионистическую», западную школу русского антиковедения (Зелинский, Ростовцев, Смирнов и др.). В его по-кавказски темпераментных высказываниях досталось на исторические орехи многим видным учёным того времени. Среди них Моммзен, Виламовиц-Мёллендорф, Бенешевич, Зелинский, Крашенинников, Марр, Пападопуло-Керамевс («Пападошка»), Платонов, Ростовцев (ему — особенно, хотя последний сыграл свою роль в переводе Церетели в Петербург и в избрании его членом-корреспондентом Императорской академии наук), Якову Смирнову, Фёдору Успенскому и «даже» мягчайшему египтологу Борису Тураеву.)

«Для звуков сладких и молитв». Итак, диссертация защищена, её автор утверждён Советом университета в докторской степени, и меньше чем через месяц, с 24.10.1888, молодой доктор римской словесности статский советник Кулаковский уже состоит ординарным, сиречь штатным профессором Университета св. Владимира.

Ему 34-й год. Титулуется (с точки зрения русского языка, грамматически нелепо) «вашим высокоородием»; доктор наук и «полный» профессор с жалованием 3000 рублей в год (собственно жалование — 2400 руб., столовые — 300 руб., квартирные — 300 руб.), то есть по 250 рублей в месяц; холост и «живчик», здоров, энергичен, бескомпромиссен, прямодушен и резок. «Своих убеждений не скрывал, выражал их открыто; его искренность, благородная смелая прямота, его идеализм были всем известны и вызвали уважение к нему в кругах людей других убеждений», — свидетельствовал Арсений Маркевич.

Однако Надежда Успенская, с которой у Кулаковского были дружеские отношения, наставляла:

«Из Вашего письма я заметила, что Вы продолжаете быть в пессимистическом настроении. Мне почему-то казалось, что Вы должны были измениться в этом отношении, и я была удивлена тоном некоторых фраз.

Я Вам и в Риме говорила, и теперь опять повторяю, что Вы слишком требовательно относитесь к людям, слишком огорчаетесь их недостатками, и через это чувствуете себя одиноким, не сближаетесь с другими. Мне кажется, что нет ничего тяжелее одиночества, даже если от него отвлекает “верчение колеса веры”».

Откуда Надежде Эрастовне, души не чаявшей в супруге Фёodore Ивановиче, создававшей ему условия для работы, а после смерти кропотливо разбиравшей мужнины бумаги в Государственной академии истории материальной культуры, — откуда знать, что такое для иного творческого человека уединённость, необходимое творческое одиночество, базированное на принципе: «возьми всё и уходи»? Всё-таки — *suum cuique*.

О таком состоянии знал Николай Александрович Бердяев: высшее одиночество божественно.

«Сам Бог знает великое и страдальческое одиночество, переживает покинутость миром и людьми <...> Одиночество вполне соединимо с универсальностью, в одиночестве может быть больше универсального духа, чем в стадной общественности. Всякое дерзновение, всякий творческий почин дают чувство одиночества, непризнанности, перерастают всякую данную общность <...> Один может быть соборнее, универсальнее целого коллектива» (*Смысл творчества*», 1914).

Однажды утратив одиночество, творческий человек постоянно ищет его, и найдя, порой чувствует себя подобным Богу.

С таким формальным багажом и содержательной репутацией Кулаковский вступил в девяностые, отмеченные не только кончиной императора Александра III и восшествием на престол Николая II, но и начавшимися изменениями в системе просвещения и политическом климате: в Империи смеркалось.

На глазах Кулаковского Россия за четверть века пройдёт нервный путь от голодомора в центральных губерниях 1891 и 1898 годов, «Ходынской трагедии» в мае 1896-го, продолжавшихся студенческих и начавшихся дёрганных рабочих бунтов конца 1890 — начала 1900-х, неудач русско-японской войны, «Кровавого воскресенья», так называемой «революции» 1905–1907 годов, так называемой «Столыпинской реакции» и Великой войны — к февральскому и большевицкому переворотам, падению Дома Романовых, разрухе и «национальному позору».

Кулаковскому, живо реагировавшему на политические события, быть свидетелем этих изменений было непросто.

ЮЛИАН КУЛАКОВСКИЙ, АФАНАСИЙ ФЕТ и ВЛАДИМИР СОЛОВЬЁВ

Отступление второе, эпистолярное

Кулаковский, знакомец Соловьёва, в известных мне исследованиях о Соловьёве не упоминается, как не упоминается и в сочинениях, принадлежащих перу знавших и Владимира Сергеевича, и Юлиана Андреевича Василия Величко, Сергея Соловьёва, князя Евгения Трубецкого, князя Дмитрия Цертелева, Марии Безобразовой, Александра Введенского, Николая Кареева, Петра Милюкова, Константина Мочульского и прочих.

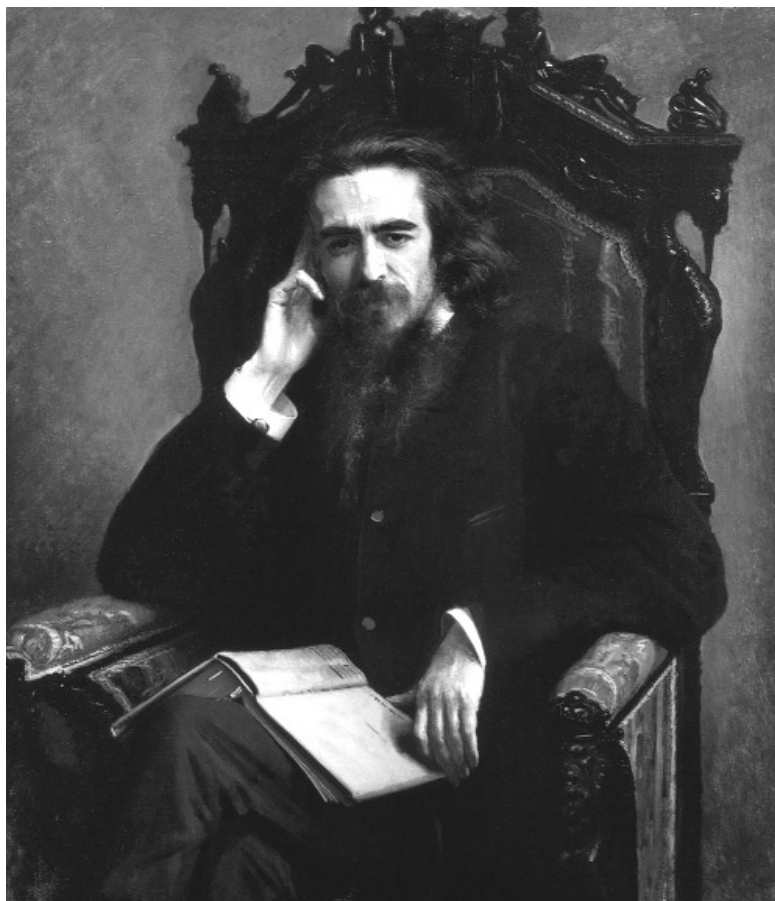
Лишь в двух известных мне публикациях — давней — Александра Оглоблина (1950) и сравнительно недавней — Вячеслава Моисеева (2003) — сделаны попытки попристальной рассмотреть фигуру Кулаковского в качестве персонажа бытийного и научного контекста биографии самого провокативного из российских мыслителей.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА, ПОЧТИ КОНФЛИКТНАЯ

Московский университет, вторая половина 1870-х

В должности доцента Московского университета в январе 1875-го Соловьёв прочёл студентам, среди которых был Кулаковский, первую лекцию по философии, а затем совсем небольшой курс. Читал он вскоре после кончины учителя, Памфила Даниловича Юркевича, и недолго: «Дело в том, что Юркевич, не будучи в состоянии читать лекции, просил меня взять это на себя во второе полугодие, а потому я должен торопиться со своим магистерством», — писал Цертелеву 13.09.1874.

Летом 1875-го Соловьёв отпросился на год в научную командировку в Лондон, однако успел побывать в Египте («таинственным зовом Софии»), влез на пирамиду Хеопса, выкупался в Ниле, «видел настоящую сфинксу», в Фиваиде посетил аскетов, ночевал на сыром песке, «чуть не был убит бедуинами, которые ночью приняли меня за чёрта», и предавался видениям Софии, о которой потом сочинил почти каббалистический трактат. Как ещё может вести себя гениальный городской сумасшедший, Божьей волей очутившийся в незаасфальтированной пустыне?



Владимир Сергеевич Соловьёв, портрет кисти Ивана Крамского, 1885

Летом 1876-го Соловьёв снова в Москве, осенью пытается возобновить тягостное для него преподавание, и весной 1877 года, найдя удобный повод — профессорские дрязги — бросает университет, перебирается в Петербург и начинает служить в Учёном комитете Министерства просвещения. Правда, тоже недолго: чиновный петербургский самум не свежее египетского, а «продырявленный воздух чёрен и сладок».

Юркевич скончался от рака печени 4.10.1874, Соловьёв шумно защитил магистерскую диссертацию «Кризис западной

философии» 24.11.1874, «в хмурый ноябрьский день». Он тогда сильно поразил народника Михайловского реакцией на острые замечания оппонента Владиславлева: «где мог этот молодой человек, так рано отлетевший от брэнной земли к вечному небу философии, где мог он научиться так разнообразить своё отношение к людям?»

«Прошла только неделя со времени этого диспута, но о нём уже сложились мифы и легенды; сказания одно другого страннее переходят из газеты в газету; фельетонисты ужасаются, плачут, философствуют, пророчат, издеваются», — фиксировал Николай Страхов.

Заняв 19.12.1874 кафедру философии, осиротевшую с кончиной Юркевича, 27.01.1875 22-летний магистр философии произнёс в Московском университете вступительную (pro venia legendi) лекцию «Метафизика и положительная наука»: на девять с хвостиком страниц в первом томе Собрания сочинений (1901) — две страницы больших цитат из текстов Юркевича. В весеннем семестре 1874/75 академического года читает студентам (в том числе и Кулаковскому), которые едва ли намного моложе его, историческое введение в метафизику.

Сергей Соловьёв, племянник:

«Курс, прочитанный Соловьёвым в 1875-м, был невелик: в феврале отпала неделя Масленицы, а в апреле уже начиналась Страстная. Мы присоединяемся к мнению С. М. Лукьянова, что содержание лекций почерпалось главным образом из магистерской диссертации, приспособленной “к уровню понимания студентов или даже неприспособленной”. Студенты <...> находили лекции Соловьёва очень трудными».

Лукьянов полагает, что «судя по всему, те немногие лекции, которые Соловьёв успел прочесть во второе полугодие 1874/75-го учебного года, едва ли представляли собою что-нибудь существенно новое и веское — как по преподавательской неопытности Соловьёва, так и по краткости времени, бывшего в его распоряжении». Далее он делится соображениями, что

«трудно судить <...> насколько велик или мал был успех Соловьёва перед его слушателями в эту самую раннюю пору его преподаательства. А. Н. Шварц <...> рассказывал нам, что особенно громкой славы о лекциях Соловьёва в то время не ходило. Лекциями его, бесспорно, интересовались, но, как кажется, по-преимуществу в виду его молодости и в виду того, что отец его был знаменитым учёным и ректором университета».

На Соловьёва «ходили» как на забавную учёную зверушку, на вундеркинда-переростка, эдакий онтологический курьёз посреди квасной капустно-купеческой Москвы.

Тем не менее, свидетельства о яркости первых доцентских лекций Соловьёва находим как раз в письме его слушателя, Кулаковского, который в 1873-м пересел со скамьи катковско-леонтьевского Лицея Цесаревича Николая на университетскую лавку историко-филологического факультета, и в три года прослушал четырёхгодичный университетский курс.

Мы помним, что в январе 1887-го Кулаковский прочитал в Киеве публичную лекцию «Поэма Лукреция “О природе”», после которой писал Флоринскому:

«Речь моя в том виде, как я её произносил, появится в “Киевлянин”, а в “[Университетских] Известиях” отпечатаю её целиком как написано и прибавлю небольшой учёный аппарат, а также посвящение Соловьёву Владимиру, портрет которого на передвижной выставке, гостившей у нас, вдохновлял меня, заставляя переживать в воспоминании обаяние его первой лекции в Москве в январе 1875 года. Содержание [моей] лекции имеет отношение к философии, оно и кстати украсить его именем брошюру листа в два».

Посвящения Соловьёву на публикации в «Университетских известиях» не последовало, хотя портрет кисти Крамского и вправду хорош. Но как бы ни было, 1887 год у Кулаковского прошёл, как мы увидим из дальнейшего, под буквосочетанием «Соловьёв».

Наиболее эффектным для амбициозного 21-летнего Кулаковского была, пожалуй, молодость преподавателя, непривычно и под завязку запроваженная оригинальным знанием и будто бы мудрёно-старческим умением смело, с вызовом противопоставить себя миру.

В молодости, стоя в возрастной шеренге, ты должен видеть грудь четвёртого человека. В зрелые годы главное уметь взглядывать со стороны на себя.

Таким образом, с лета 1876 по весну 1877-го магистр философии Соловьёв и кандидат классической филологии Кулаковский — полноправные коллеги по Московскому университету (напомню: Лицей был его составной частью), затем их пути разошлись. Со слов Радлова — издателя Собрания сочинений и четырёхтомника «Писем» Соловьёва, давнего приятеля Кула-



Сергей Михайлович Лукьянов

ковского, — известно, что между Соловьёвым и Кулаковским наблюдались сперва взаимопонимание, затем отторжение, затем снова взаимопонимание; всё, как в жизни.

За каким камнем может крыться исток их расхождений? Когда они проявились?

Пожалуй, описанные Радловым обстоятельства относятся к периоду между 1875 и 1877 годами. Попробую выяснить.

Соловьёв юношей примыкал к славянофилам (Каткову, Аксакову, Суворину, Мещёрскому и др.), даже танцевал на празднестве своего друга Льва Лопатина в кружке шекспироведов с дочерью Каткова (правда, плохо и без удовольствия), а затем, после публикации трактата «Великий спор и христианская политика» в зимних номерах «Руси» 1883 года, узнав о насмешливом отзыве Каткова, осерчал и резко от него отвернулся.

Сергей Соловьёв:

«Вслед за К. П. Победоносцевым перед Соловьёвым встаёт второй столп русской государственности, Катков, столь благосклонно относившийся к молодому философу при его первых выступлениях. Как всегда в таких случаях, борьба ведётся нечестно. Стоило Соловьёву заговорить о поляках и евреях, как его философия показалась Каткову “детским лепетом”. В 6-м номере “Руси” (15 марта [1883]) напечатана третья речь Соловьёва о Достоевском <...> Но уже это первое выступление Соловьёва

адвокатом Рима Аксаков не мог допустить в своём славянофильском органе без примечания редакции».

Для того чтобы грести против течения, нужно сначала войти в воду: Соловьёв до 1883-го примыкал к крайне правым, пользуясь их расположением и поддержкой. Оказавшись в изоляции, он начинает тяготеть к стану, противоположному и славянофилам, и правым.

«Горячие симпатии евреев и поляков влекут его влево, и к 90-м годам он уже будет своим человеком в кружке “Вестника Европы”».

И вправду чёрт-те чё. Анатолий Фёдорович Кони записал, что как все богато одарённые люди, Соловьёв не укладывался сразу и навсегда в определённые рамки:

«способность быстро становиться законченным целым есть в сущности удел заурядных людей».

Запомним апофегму.

Нетрудно заметить, что частных, межчеловеческих причин для конфликта не было. Да и какие могли быть здесь частные причины: ни Соловьёв, ни Кулаковский не оспаривали друг у друга университетских кафедр — не только потому, что для обоих на первом месте было размышление, а не служба, а потому, что, несмотря на мизерную (двухлетнюю) разность в годах, находились в разных весовых категориях.

Соловьёв уже в юности был знаменит.

В должностном смысле их движение осуществлялось в разных плоскостях как по службе, так и в науке: Кулаковский был филолог-классик, историк античного мира, Соловьёв — философ, публицист и поэт. Даму сердца они тоже друг у друга не оспаривали.

Пожалуй, точки замерзания, а затем оттаивания отношений Соловьёва и Кулаковского приходится искать не во внешних обстоятельствах их биографий, но в обстоятельствах внутренних, так сказать, ментальных, точнее — идеологических.

Остановлюсь на двух центральных моментах.

Радлов рассказал биографу Соловьёва, Сергею Михайловичу Лукьянову, следующее. Группа либеральных профессоров Московского университета (в том числе и ректор Сергей Соловьёв) из-за приверженности Николая Любимова к направлению Каткова перестала подавать ему руку.

«Неодобрение Вл. Соловьёва обусловилось <...> главным образом

тем, что он сам был в то время близок к редакции “Русского вестника”. В пользу такого истолкования говорит то обстоятельство, что, когда дело касалось людей, заподозренных в недоброжелательстве к катковскому направлению, осуждаемый Соловьёвым приём, то есть неподавание руки, пускался и им в ход. Таково было, например, его отношение к Ю. А. Кулаковскому, который чем-то досадил М. Н. Каткову. Вообще, в молодости Соловьёв был весьма нетерпимым».

Катков, которого, несмотря на правые убеждения, Соловьёв находил талантливым человеком, скончался 20.07.1887, когда Соловьёв и Кулаковский гостили в Воробьёвке у Фета.

Сохранилась рукопись некролога Каткову «Великий подвижник за русскую землю», которая до сих пор не опубликована. Для Кулаковского это едва ли характерно: он стремился публиковать всё, что сочинял. Вспомним хотя бы эпизод с публикацией статьи о графе Муравьёве-«Вешателе» в «Киевлянин», за которую со стороны либералов автор подвергся обструкции.

Однако, как следует из публикуемых здесь писем № 2 и № 3, и в июне, и в сентябре 1887 года, то есть в промежутке, когда скончался Катков, отношения Соловьёва и Кулаковского были дружескими: чего стоит факт соловьёвского обещания презентовать Кулаковскому один из редкостных экземпляров загребского издания монографии «История и будущность теократии», которые полугегально везла в Россию бесстрашная фетовская свояченица.

По всей видимости, охлаждение отношений непосредственно связано с персоной Каткова, возможно также, что некролог Михаилу Никифоровичу написан Кулаковским в Воробьёвке по впечатлению от бесед с Соловьёвым и Фетом, но в печать по возвращении в Киев отдан не был.

Наоборот, Кулаковский обсуждал в письме Соловьёву возможность протекции своим статьям о римской поездке в «Русском вестнике», которым Соловьёв аргументированно в протекции отказал, а факт публикации свидетельствует, что статьи были посланы Кулаковским в этот журнал самостоятельно и приняты без соловьёвского соучастия.

Итак, Соловьёв 14.02.1877 выходит в отставку из Московского университета, не желая «участвовать в борьбе партий между профессорами», и весной переезжает в Санкт-Петер-



*Константин Петрович Победоносцев,
портрет кисти Ильи Репина, 1903*

бург: «Столкновение 23-летнего доцента с целю университетскою коллегией могло, конечно, иметь только два исхода: или подчинение диссидента, или его удаление. Я предпочёл последнее и простился с Московским университетом», — вспоминал он в 1897 году.

«Это было в декабре 1876 г., а летом следующего года произошёл со мной трагикомический эпизод, более прямым образом связанный с Катковыми. Ему показалось практичным отправить меня на театр военных действий в качестве политического корреспондента “Московских ведомостей”».

Соловьёв поехал, едва избежал смертной казни в Систово и турецкого плена, отправил Каткову две корреспонденции (из которых одна дорогой пропала) и недовольный поездкою вернулся в первопрестольную, осенью начав печатать в «Русском вестнике» докторскую диссертацию «Критика отвлечённых начал». Катков, по слову Соловьёва, «был увлечён политической страстью до ослепления и под конец потерял духовное равновесие. Но своекорыстным и дурным человеком он не был никогда». (Вспомним герценовские характеристики.)

Итак, Радлов (в сообщении Лукьянову) относит соловьёвское «неподавание руки» Кулаковскому, по всей видимости, именно к полугодию зимы 1876 — весны 1877 года, то есть за десять лет до публикуемых ниже учтивых писем.

Наверняка Кулаковский — горячий, по молодости судивший о людях без полутонов, — желал загладить перед Соловьёвым десятилетней давности вину «досаждения Каткову», сочинив в 1887-м о том некролог. Впрочем, и сам Соловьёв изменил с временем отношение к Каткову, веру которого в русское государство как в абсолютное воплощение народной силы в конце 1880-х обзвёт «подлинно мусульманским фанатизмом». «В середине 80-х годов, — подтверждает С. Соловьёв, — окончательно порывается связь Соловьёва с правыми кругами». «С казённой Россией я потерял всякое соприкосновение. Дивлюсь только издалека её мудрости», — писал Соловьёв брату.

В 1889-м он чётко формулирует причину:

«Поклонение своему народу как преимущественному носителю вселенской правды; затем поклонение ему как стихийной силе, независимо от вселенской правды; наконец, поклонение тем национальным односторонностям и историческим аномалиям, которые отделяют наш народ от образованного человечества, то есть поклонение своему народу с прямым отрицанием самой идеи вселенской правды, — вот три постепенные фазы нашего национализма, последовательно представляемые славянофилами, Катковым и новейшими обскурантами. Первые в своём учении были чистыми фантазёрами; второй был реалист с фантазией; последние, наконец, — реалисты без всякой фантазии, но также и без всякого стыда».

Василий Розанов, по давнишней привычке нелицеприятно характеризуя мыслителя, «упоминал <...> о полном отсутствии у Влад. Соловьёва “русского духа”. Действительно, это — замечательно не русский, а международный, европейский писатель» («Литературные изгнанники», 1913). И здесь каждое слово правда.

Розановская привычка подтрунивать над мёртвым львом появилась после статьи Соловьёва «Особое чествование Пушкина (Письмо в редакцию “Вестника Европы”)» (1899, № 7, с. 432–440), в которой им обсуждаются юбилейные публикации Розанова, Мережковского, Минского и Сологуба в «Мире искусства» (№ 13/14). Соловьёв откровенно троллит Розанова, величая его «оргиастическим мыслителем», обильно цитирует, подавлявая на противоречиях и очевидном недомыслии, на глупостях, сочинённых вокруг Пушкина для красного словца:

«Дело в том, что г. Розанов, хотя мало смылит в красоте, поэзии и Пушкине, но отлично чувствует дельфийскую расщелину и дыру с сер-



*Яков Петрович Полонский, Николай Николаевич Страхов
и Афанасий Афанасьевич Фет в Воробьевке, 1891*

ными парами; поэтому он по инстинкту отмахивается от Пушкина, — это цельное явление в своём роде».

Таких характеристик обычные люди не прощают. Но Розанов не был обычным, потому-то и диковинно, что он простил и троллил Соловьёва в ответ.

Можно допустить лишь идеолого-политические мотивы охлаждения между Соловьёвым и Кулаковским в полугодие 1876–1877 годов, замешенные на отношении первого и второго к «катковскому [правому, консервативному] направлению»: у первого поначалу положительном, у второго отрицательном, — которые через десять лет в связи с кончиной Михаила Никифоровича сгладились и тем самым уравнились. Кулаковский и Соловьёв теперь по отношению к Каткову стояли на одной идейной платформе, и делить им уже нечего. В течение десяти лет столь споро развивавшиеся персонажи, без сомнения, по многим вопросам общественной и университетской



Василий Васильевич Розанов

жизни если не стали единомышленными, то, по меньшей мере, научились не столько рассматривать разность в человеческих точках зрения, сколько искать с людьми *трудного* мировоззренческого единства.

Вообще, в ту пору люди умственных занятий взрослыми быстро и к тридцати пяти годам оправданно считали себя стариками. 44-летний Соловьёв в воспоминаниях о Каткове старался быть как можно более объективным в оценках его деятельности. Едва ли Кулаковскому был тогда известен этот текст, опубликованный в газете «Кавказ» (11.11 и 12.11.1897). Комментаторы новейшей републикации «Нескольких личных воспоминаний о Каткове» справедливо полагают, что драматургия этой статьи отчасти сродни той, которая легла в основу заметки «Памяти императора Николая I»: это не только попытка воздать уважение крупному державному человеку, чьё имя для российской либеральствующей публики одиозно, но и акт косвенного осуждения эпигонов Каткова, которым недоставало ни катковской человеческой значительности, ни его образо-

ванности. Можно допустить, что Кулаковский, руководившийся теми же соображениями, рассказал Соловьёву о намерении сочинить некролог Каткову, к которому некогда относился отрицательно, а быть может, даже знакомил Владимира Сергеевича с его рукописью, по какой-либо причине не смог получить одобрения и потому не опубликовал. Но это лишь догадка.

К слову сказать, если взяться бегло сопоставлять шедшую поперёк интеллигентского «общественного мнения» статью Кулаковского о графе Муравьёве (1898) с заметкой Соловьёва «Памяти императора Николая I» (1895) в связи с сорокалетием смерти не менее одиозного (в либеральных же глазах) государя Николая Павловича, непременно убедимся, что писали их люди, двери мировоззрения которых выходили на одну лестничную площадку. Во главе угла этих публикаций расположился прежде всего человек, а не деятель.

«Кроме великодушного характера и человеческого сердца в этом “железном великане”, — какое ясное и твёрдое понимание принципов христианской политики! “Мы этого не должны, именно потому, что мы — христиане”, — вот простые слова, которыми император Николай I “опредил” и свою и нашу эпоху, вот начальная истина, которую приходится напоминать нашему обществу», — писал Соловьёв.

Едва ли придёт в голову заподозрить Соловьёва или Кулаковского в стремлении получить за эти публикации какие-то политические дивиденды: в конце 1890-х они скорее могли заработать презрение либеральных коллег, нежели похвалу, а подъём в чиновных глазах едва ли можно полагать серьёзной для российских профессоров целью.

Этой черте характера, пожалуй, положительной, — вспоминать добрым письменным словом о покойных недоброжелателях, — есть ещё одно подтверждение: некролог филологу-классику Василию Модестову (1907), о котором скажу в свою бытность.

Желание посвятить Соловьёву речь о Лукреции явилось у Кулаковского в январе 1887-го, через двенадцать лет после слушания первой лекции Владимира Сергеевича и как раз в тот год, осенью которого Кулаковский и Соловьёв встречались в Воробьёвке у Фета. Вероятно, в это время Кулаковский постарался выбросить из головы соловьёвское по-юношески максималистское неручкование в 1876–1877-м, а их общение в Во-

робьёвке в связи с переводом «Энеиды» Вергилия, возможно, укрепило его и в забвении обиды: не каждое десятилетие на пути Кулаковского встречались фигуры, сомасштабные Соловьёву. Пожалуй, их вообще больше не было.

**ВТОРАЯ ВСТРЕЧА В ТРЁХ ПИСЬМАХ,
ОКЦИДЕНТАЛЬНО-ПАСТОРАЛЬНАЯ**
Фетовская Воробьёвка, соловьёвские письма 1887-го

Начать с того, что воззрения Соловьёва — основа и смысл бытия — на протяжении его жизни менялись.

Кн. Евгений Трубецкой насчитал три творческих периода: 1) подготовительный, 2) утопический и 3) связанный с крушением идей теократии; Дмитрий Стремоухов насчитал четыре, прибавив к последнему период апокалиптический.

Было бы странным подозревать за мыслящим человеком умственную стагнацию, свойственную догматикам; конечно, Соловьёв эволюционировал, и, скажем, после 1889-го, с выходом книги «Россия и Вселенская Церковь», стал сомневаться в возможности экуменизма, утратив не столько теоретический, сколько практический интерес к его эфемерным материям. От влияния пессимистических идей Шопенгауэра, впитанных с юности и нашедших отпечаток уже в магистерской диссертации «Кризис западной философии», Соловьёв, похоже, не избавился вовсе. «Его раннее мировоззрение, — пишет о. Георгий Флоровский, — с полным правом можно назвать “розовым христианством”, это была очень благополучная утопия прогресса, — “христианство без антихриста”».

Какое же может быть христианство без антихриста? Нарушение логической связи. Ведь даже атеисту нужен Господь, чтобы было, в Кого не верить. А поскольку Господь, постольку и антихрист.

Соловьёв хоть и был человек полунормальный, то есть творческий, в быту избыточный и оттого невыносимый для окружающих, однако логическая архитектоника собственного мировоззрения беспокоила его, пожалуй, глубже и дольше мирских несуразностей.

Над построением этих основ, отливая их вовремя в тексты, Соловьёв трудился до последней болезни и смерти 47-ми лет

*Особняк Шеншиных
в Воробьевке,
современное состояние*



от роду в Узком, в подмосковном имении Трубецких. Из тех высказываний, которыми полнятся его сочинения — от ранних работ до поздних, от лирических стихотворений до шуточных пьес и переводов, от публицистики до богословия, — как ни странно, довольно трудно составить статико-биографическую справку — это ветвящаяся структура, кино, избавленное от синхронических последовательностей и пересыпанное диахронической стружкой.

«Философское творчество Соловьёва вообще росло не из одного, а из нескольких корней, — но вместе с тем его уму с чрезвычайной силой преподносилась всегда задача органического синтеза» (В. Зеньковский).

Так, его богословствование строилось на синкризе разнородных элементов: христианской мистике, рационалистическом философском теоретизировании и естественнонаучных очевидностях. Такие себе три источника и три составных части соловьёвского богословствования. Imodium'ом здесь была религиозно-антропологическая идея богочеловечества (личного и общественного) и вытекающая из неё концепция т. наз. «положительного всеединства» — свободы составных частей в совершенном единстве целого. Собственно, эти две идеи и лежат в основе *соловьёвской экклесиологии*, сообщая ей известную стабильность, хотя взраставшие на этой почве цветки в богословствовании Соловьёва на протяжении его жизни менялись от орхидей до одуванчиков. То же самое можно заключить и о его внебогословских трудах.



Иосиф Штроссмайер

Оглушительно остроумный (буквально, до колик) в публицистике, стихах, пьесах и эпистолярной литературе, Соловьёв становился навязчивым и нравоучительным в толстых книгах (не говорю об «Оправдании добра», где вязкость и учительная нравоучительность оправдываются темой), сквозь которые приходится продирается, порой преодолевая зевоту и закрывая глаза на болезненное стремление автора высказать нечто и к вечеру непременно исчерпать вопрос.

С закрытыми глазами читать книжки трудно, сколь бы в литературном отношении ни был отделан текст. Содержание большинства его многостраничных сочинений ловкий лаконист с успехом сведёт к десяти–пятнадцати строчкам аннотации (как это сделали, скажем, Зеньковский, Флоровский или Лосев). Особенно это относится к так называемым богословским сочинениям, в подчас велеречивой софистике которых всё-таки удаётся вышелушить разумное зерно.

Так, в «Истории и будущности теократии», книги, по выходе в свет в Загребе запрещённой духовной цензурой (без объяснения причин) к ввозу и распространению в России, тем самым сделавшейся популярной и преспокойно переизданной в 4-м томе посмертного Собрания сочинений в 1911-м, Соловьёв обсуждает «ложную и истинную жизнь».

Прочтёмте навскидку:

«Существенная ложность всякой природной жизни, — пишет он, — состоит в том, что она, уничтожая чужое бытие, не может сохранить своего, — что она съедает своё прошедшее и сама съедается своим будущим, и есть, таким образом, постоянный переход от одного ничтожества к другому. Явное выражение этого свойства мы находим в непрерывной смене поколений живых существ. Такая безостановочная передача из рода в род смерти под личиной жизни есть явно ложное существование».

Что же предлагается Соловьёвым читателю в противоположность этому в качестве существования истинного? Какую искусственность выдумает Соловьёв взамен естественного хода вещей, заповеданного Господом? А вот какую:

«По противоположности ложной жизни, истинная жизнь есть такая, которая в своём настоящем сохраняет своё прошедшее и не устраняется своим будущим, а возвращается в нём к себе и к своему прошлому. Это есть истинная и истинно бесконечная жизнь».

Здесь можно было бы остановиться и повертеть пальцем у виска (мол, вроде разумный человек, а пишет эдакие непоследи-довательности), если бы не кода:

«Этой истинной жизни нет в природном человечестве, она осуществляется лишь в духовном человечестве — в Церкви».

Вроде и место расположения истинной жизни указано, но получается как в том анекдоте из «Трёх мушкетёров»: Порше, денщик д'Артаньяна, просит трактирщика заменить белое вино на красное; трактирщик безропотно меняет бутылки; Порше уходит; трактирщик нагоняет и требует платы: «да ведь я обменял красное вино на белое», — удивляется Порше. — «Но ты и за белое не заплатил!» — «Да, но ведь я его и не выпил». Растерянный трактирщик не находит что сказать и отступает.

Соловьёвское «да, но нет» в цитированном, взятом наугад, фрагменте — рассуждение того же ряда, и может быть оправдано лишь тем, что перемещено с плавно катившихся катушек рассудка на привлекательно зыбкую колею веры. Речь, конечно, о том, что через вселенскую Церковь человек как богочеловеческое тело становится причастным во Христе абсолютному содержанию жизни и, уравниваясь в этом с прочим народонаселением, составляет собой и им подлинное братство. Отсюда (логически) следует перейти к общим основам нравственности: благочестию, жалости и стыду. Соловьёв переходит, подчёрки-

вая, что сообразно благодати Божьей действия человеческие должны выражать идеалы нравственной нормы, которая заключена в триединстве отношения: к Богу, к людям, к собственной психосоме. Итд.

В другом взятом почти наугад месте встречаем такое наблюдение:

«отрицать государство как необходимое историческое условие для всего того, что выше государства, — в сущности, всё равно что отрицать это *высшее*, то есть все те умственные и нравственные блага, до которых человечество должно было довоспитаться и доработаться, — которые были ему недоступны в диком догосударственном состоянии. Без государства не было бы культуры, без культуры не было бы общественной нравственности, а без нравственности общественной высокая личная добродетель если бы и явилась каким-то чудом, то не могла бы осуществиться, осталась бы только случайным и бесплодным порывом».

Первый отрывок датируется 1887 годом, второй — 1891-м. Временной отрезок в четыре года рисует, что в мировоззрении Соловьёва действительно произошёл сдвиг в антиклерикальную сторону: отступая от рассуждений о Церкви и о единении католичества с православием, из добропорядочного воинствующего *кафолического утописта*, из социалиста с антибольшевицким лицом он превращается в человека с устойчиво державным *образом* мысли.

Современный наблюдатель как-то естественно выпускает из виду, что речь идёт о времени, когда *все* были религиозны и названия национальностей заменяли названия форм вероисповедания. Священнический клик отца Фёдора: «Стой, мусульманин!» в «Двенадцати стульях» — реверберация дореволюционной клерикальной модели в конце советских 1920-х.

Религиозность заменяла многое из того, что её вытесняет из быта ныне: дореволюционные атеисты, которые казались тогда чудаками, сейчас представляются какими-то недоумками, взбалмошными, экзальтированными, кое-как перебивавшимися «вшивыми интеллигентами» («вшивыми» их стали называть в хлебных очередях времён общегражданского тифа), болтунами с прохвостцой, со скверно оконченной гимназией и неоконченным высшим, с залеченной гонореей и большим апломбом. Дореволюционный атеист это чернь, о которой высказался пятнадцатилетний Пушкин:



Владимир Иванович Ламанский

Не дерзал в стихах бессмысленных
Херувимов жарить пушками.

Или высмеял 20-летний Чехов в «Письме к учёному соседу»:

«Вы изволили сочинить, что человек произошёл от обезьянских племён мартышек орангуташек и т. п. Простите меня старичка, но я с Вами касательно этого важного пункта не согласен и могу Вам запяточку поставить. И, если бы человек, властитель мира, умнейшее из дыхательных существ, происходил от глупой и невежественной обезьяны, то у него был бы хвост и дикий голос» итд.

Большевицкие, с марксистской твердолобостью (которую они называют прямоотой) атеисты — персонажи пушкинско-чеховского толка, достойные разве что сожаления.

«Под именем “соединение Церквей” Соловьёв проповедовал некий вечный союз Римского архиеерея с Русским царем, — союз высших носителей двух величайших даров: Царства и Священства <...> Без Русского царства и самое Папство не может осуществить своего теократического призвания. Ибо только в славянском элементе может Священство найти среду для своего окончательного воплощения. Здесь, очевидно, сказывалось увлечение Штрассмайером».

В одном абзаце о. Георгий Флоровский очертил сущность теократических ориентаций Соловьёва, называвшего славянство и Россию «новым домом Давидовым в христианском мире».

Прежде чем показать письма, замечу, что высказывания середины и конца 1880-х, не касающиеся *теоретических* клерикальных вопросов, выказывают в Соловьёве здравомысленного человека, рассуждающего прагматически и современно даже по сегодняшней мерке.

Например:

«Министерство народного просвещения не нажило и едва ли когда наживёт своего Гегеля, который подарил бы нам “феноменологию духовного ведомства” и “философию епархиальных консисторий”; обращаться же в этом деле к русскому народному взгляду частью бесполезно, а частью и опасно, ибо можно вместо оправдания встретить “несносные хулы”».

Или:

«Религиозная и церковная истина вся сполна находится на сохранении в крепком казённом сундуке за казёнными печатями и под стражей надёжных часовых. Безопасность полная, но живого интереса никакого. Где-то далеко происходит религиозная борьба, но нас это не касается».

Афористика Соловьёва, будучи собранной в отдельном издании, представила бы нам мыслителя со всей силой её иронической убедительности:

«Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности»; «Если от вас требуется махать по воздуху картонным мечом, то вопрос о том, насколько добросовестно вы им махаете, будет, пожалуй, и неуместным»; «Процветание государственных финансов утешает меня в расстройстве моих собственных. Всё хорошо, что хорошо кончится»; «Фиал не столько гнева, сколько презрения был излит мною по особым соображениям, ибо мне стало достоверно известно, что разные мои благоприятели, пользуясь летним рассеянием, хотели выдать моську за смертоносного аспида и василиска, а потому нужно было “констатировать” действительный характер животного» итд.

Не хотелось, чтобы читатель подумал, будто я (кто такой?), выдёргивая цитаты из разных мест соловьёвских текстов, как из погребального венка, потешаюсь над ярчайшим философом и богословом.

Человек со значительным досугом, не имеющий определённого рода занятий, перебивающийся нетвёрдым литературным заработком, не брезгающий месяцами пребывать на иждивении восхищённых друзей, мог позволить себе, презрев земную суету (в быту Соловьёв как всякий разумный человек был непряхотлив), создавать странные толстые книги, порой



Папа Лев XIII

восхваляя Всевышнего за временный роспуск геморроидальных шишек. Но это и не зависть занятого человека к человеку, жившему на вечных вакациях, — попытка пристальней рассмотреть *свободного человека*, сполна платившего по бытийным счетам.

«Он пробирался в щёлочку, садился пугливым гостем, готовым вот-вот вспорхнуть и улететь со своим двусмысленным смехом. Какой странный у него был этот смех, шумный и, может быть, маскирующий постоянную грусть. Если кому усиленно не было причин “весело жить на Руси”, то это Соловьёву» (В. Розанов).

* * *

Во время оно стали доступны три *несохранившиеся* в Центральном государственном историческом архиве Украины в Киеве (ЦГИАУК), в «фонде Кулаковского» (ф. 264), письма к нему Соловьёва от весны–осени 1887 года.

Их в 1950-м опубликовал в Париже в журнале «Украина» киевский профессор Александр Оглоблин (1899–1992), исследователь общественно-политической и экономической истории

конца XVII — начала XIX века. В 1932–1933-м Оглоблин служил директором Всеукраинского центрального архива древних актов. В 1941-м, во время фашистской оккупации Киева был председателем Киевской городской управы, организовал и возглавил Музей-архив «переходовой доби», а также руководил распределением имущества жертв Бабьего Яра. После этих «подвигов» в 1944-м году покинул СССР, с 1951-го жил в США.

Очевидно, Оглоблин был первым исследователем фонда Кулаковского в нынешнем ЦГИАУК, и ему — путём кражи — надоумилось опубликовать письма Соловьёва Кулаковскому. За это, конечно, спасибо: ведь мог просто в тиши домашнего кабинета медитировать над оригиналами автографов большого философа.

№ 1. Вл. Соловьёв — Ю. А. Кулаковскому

из Воробьёвки в Рим, 17.04.1887

с. Воробьёвка, 17 апр[еля] [18]87 г.

Многоуважаемый Юлиан Андреевич!

Только что прочёл вслух Вашего Лукреция А. А. Шеншину (Фету), к которому приехал гостить, вероятно, на всё лето. Очень хвалю Вашу содержательную, прекрасную по тону и изложению речь. Радуюсь, что филология не вытеснила из Вашего ума философию, к которой Вы, как вижу, сохранили и живой интерес, и ясное понимание. Благодарю Вас сердечно и за речь, и за письмо, которое меня глубоко тронуло. Вы не пишете, сколько времени остаётесь в Риме. Если это письмо дойдёт до Вас, то прошу Вас очень написать мне несколько слов по нижеприлагаемому адресу. Если в течение нескольких недель не получу от Вас известия, то приму это за знак, что Вас уже не было в Риме, и напишу Вам вторично в Киев, в Университет. Туда же будет Вам прислан из Загребской типографии 1-й том моей «Истории [и будущности] теократии», который уже напечатан. Надеюсь, что цензура не будет задерживать отдельные экземпляры этого нарочно мною кастрированного тома. Впрочем, если Вы напишете, что долго ещё пробудете в Риме, то я распоряжусь, чтобы Вам прислали мою книгу туда, — это будет ещё верней.

О себе лично ничего хорошего сообщить Вам не могу. Стараюсь *aequam rebus in arduis servare mentem* <Хранить старайся духа спокойст-



Франц (Франьо) Рачки

вие / Во дни напасти (*Carminum* II 3 1–2)>, — второй половины Горациевой строфы <в дни же счастливые / Не опьяняйся ликованьем, / Смерти подвластный, как все мы, Деллий> применять к себе не приходится.

Благодаря отеческой заботливости начальства, я осуждён здесь на бездействие и вместе с тем лишён всяких средств к независимому существованию. Слава Богу, я не имею своего семейства, а один проживу у родных и добрых знакомых. Но невозможность действовать свободно и достойно, бессмысленная опека глупой и подлой цензуры тяготее и давит, как какой-то кошмар.

Не пишу ничего более, потому что не уверен в Вашем теперешнем местопребывании. Жду известий от Вас.

Душевно Вам преданный

Влад. Сол[овьёв]

Московско-Курской жел. дор. Станция Коренная Пустынь. Е[го] в[ысо]к[облаго]родию Афан. Афан. Шеншину (с. Воробьёвка) с передачей В. С. С[оловьёву].

№ 2. Вл. Соловьёв — Ю. А. Кулаковскому

из Воробьёвки в Неаполь, 13.06.1887

Многоуважаемый Юлиан Андреевич!

Надеюсь, что это письмо дойдёт до Вас, но не имею таковой же надежды относительно своей книги. Посланный мною в типографию список адресов был задержан на пути. Нет причины, чтобы и вторич-

но посылаемый [список] не подвергся той же участи. Те экземпляры, которые типография *proprio motu* <собственноручно> послала в книжные магазины и на моё имя, арестованы, и книга рассматривается теперь духовною цензурою и будет, наверно, запрещена.

Во всём этом деле я не нашёл ни единого человека в России (а искал усердно), который бы пошевелил пальцем в мою защиту: Бог не выдаст, свинья не съест.

О. Тондини, о котором Вы пишете, так преувеличенно хвалит меня в печати, что мне не приходится сказать о нём ни хорошего, ни дурного. Пожалею только, что он по свойственной иностранцам дурной привычке (касательно России и русских) не воздержался от сообщения недостоверных или перевернутых сведений в своей брошюре. Напрасно он также не умерил панегирического тона, который может только ослабить впечатление его рекомендации. По поводу описанного Вами схоластического диспута я надеюсь, что Вы не принадлежите к числу людей, рассуждающих таким образом: католичество устарело, оно живёт прошлым; ergo: долой католичество! Это была бы логика тех дикарей, которые убивают своих престарелых родителей.

Не распространяюсь ни об этом, ни о других предметах, так как надеюсь увидеть Вас в Воробьёвке. Афанасий Афанасьевич поручает передать Вам свой сердечный привет и усерднейшее приглашение. Он будет в высшей степени рад принять Вас не только как приятеля своего приятеля, но и как интересного для себя специалиста. Мы теперь переводим с ним «Энеиду», и уже близимся к концу (он сидит на 11-й, а я на 10-й книге); с особенным удовольствием подвергнем свой перевод Вашему суду.

Будьте здоровы.

Душевно преданный Вам

Влад. Сол[овьёв]

№ 3. Вл. Соловьёв — Ю. А. Кулаковскому

из Воробьёвки в Киев, 18.09.1887

Дорогой Юлиан Андреевич!

Во-первых, о деле: примите к сведению, что [кн. Д. Н.] Цертелев не есть ни официальный, ни (сам по себе) действительный редактор «Русского вестника». Он исправляет до 1-го января должность редактора совместно с [С. А.] Петровским. Хотя после Вашего отъезда из Воробьёвки я получил троекратное приглашение сотрудничать, но

тут же немедленно обнаружилось, что никакого ни прямого, ни косвенного, ни близкого, ни далёкого участия в «Русск[ом] в[естнике]» при теперешней редакции мне принимать не приходится. В частности, по поводу моей «протекции» в деле напечатания Вашей статьи расскажу Вам анекдот. Несколько лет тому назад одна бывшая слушательница «Бестужевских» курсов усиленно просила меня воспользоваться моим знакомством с некоторыми высокопоставленными лицами и в частности с Победоносцевым, чтобы ходатайствовать за одного её родственника, которому грозила смертная казнь. Я решительно отказал ей в этом на том основании, что если бы моя просьба, обращённая к Победоносцеву, и могла оказать какое-нибудь действие, то разве только обратное желанному. Хотя Ваше дело не имеет ничего общего с делом этой дамы, и хотя мои личные чувства и отношения к Цертелеву несравненно более приязнены, нежели к Победоносцеву, тем не менее, Ваша проницательность найдёт настоящий *point de comparaison* <точка сопоставления> в этих двух случаях.

Обратите внимание ещё на следующее: я знаю, что Вы пишете хорошо и живо, предмет Вашей статьи или корреспонденции не лишён интереса, — отчего же её не решаются напечатать в «Русск[ом] в[естнике]»? Не оттого ли, что Вы относитесь если не с симпатией, то и без предвзятой вражды к католицизму и католическим монахам? А если так, то судите, какой эффект может произвести моё вмешательство. Вы понимаете, что мне ровно ничего не стоит написать Цертелеву, и если я так об этом распространяюсь, то единственно из опасения навредить Вам.

Очень рад, что Вы хорошо устроились в Киеве. Если соберусь туда, то непременно воспользуюсь Вашим дружеским приглашением.

Я несколько не простудился, провожая Вас, и очень был доволен, что не остался дома. На днях получил известие, что сестра Марии Петровны [Фет] благополучно провезла 4 экз[емпляра] моей книги и, следовательно, как только увижу эту даму, так тотчас же пришлю Вам Ваш экземпляр. Через три дня выезжаю отсюда, сначала под Серпухов, а потом в Москву, где мой адрес прежний: Пречистенка, д[ом] Лихутина.

Будьте здоровы и не забывайте искренно любящего Вас

Влад. Сол[овьёва]

Вроде бы Соловьёв сам указал (в письме № 3) на причину совместности взглядов между ним и Кулаковским. Это, если можно так выразиться, «третий субъект» — отношение обоих

к католической вере и месту католицизма посреди российского православия. Попытаюсь реконструировать, насколько позволяет материал, ход событий, чуть подробнее сказав о католических ориентациях Соловьёва.

В 1880-х он особенно интересовался вопросом воссоединения церквей.

«По приглашению епископа Штроссмайера, выдающегося прелата римско-католической церкви, он [летом 1886-го] посетил Загреб в Хорватии и там опубликовал книгу “История и будущность теократии”. В 1889 г. Соловьёв снова посетил Штроссмайера и напечатал в Париже книгу “La Russie et l’Eglise Universelle” (“Россия и Вселенская Церковь”). В этой книге Соловьёв с похвалой отзываясь о римско-католической церкви и указывает, что именно она сумела создать всемирную надгосударственную организацию. Католики полагали, что Соловьёв отошёл от православия и примкнул к римско-католической церкви» (Н. О. Лосский).

Он пребывал в убеждении, что западная и восточная ветви христианства нерушимо связаны некими мистическими узами, несмотря на внешний почти тысячелетний разрыв.

Итак, в письме № 1 речь идёт о книге Соловьёва «История и будущность теократии» (1887), вышедшей только первым томом. В мае–июне 1887-го эта книга, равно как и третье издание «Духовных основ жизни», была запрещена к распространению в России духовной цензурой.

С хорватским епископом Иосифом Штроссмайером (1815–1905) Соловьёва сближало идейное взаимопонимание: оба стояли за соединение католической и православной церквей, вследствие чего у Соловьёва появилось много врагов и много неприятностей, вплоть до запрещения писать на церковные темы. Кроме Штроссмайера, Соловьёв свёл знакомство с Францем Рачки (1828–1894) — хорватским богословом, Штроссмайеровым клерикальным соумышленником. В 1884-м Рачки приехал в Россию на VI Археологический съезд в Одессе, где наверняка познакомился с Кулаковским; побывал в Киеве, Москве, Петербурге, Вильно и Варшаве. Опубликовал «Путевые заметки о России» (журнал «Vienas», 1887), которые являются, по мнению Владимира Ламанского, примером едва ли не единственного «любовного отношения римско-католического каноника и аббата к схизматической России».

Лето 1886-го Соловьёв «проехал в Загреб, пользуясь ра-



*Яков Полонский
и Афанасий Фет
в Воробьёвке*

душным гостеприимством того самого каноника Рачки, которого Катков прочил в митрополиты наших католиков» (Соловьёв). Значительная часть материала, который должен был составить второй и третий тома «Истории и будущности теократии», вошла в книгу «Россия и Вселенская церковь», увидевшую свет в Париже в 1889-м.

Работу над этим изданием Соловьёв, по всей видимости, начал в Воробьёвке, гостя у Фета. «Если можешь (конечно, можешь), то привези мне три или четыре экземпляра моей книги «La Russie et l'Eglise Universelle», которую найдешь у Albert Savine, Nouvelle Librairie Parisienne, 12, rue des Pyramides. Сочтёмся при свидании», — просил Соловьёв князя Цертелева.

Штроссмайер, «покровитель Юго-славянской академии наук и художеств, основатель Хорватского университета», в 1874-м избран почётным членом Московского университета; ему принадлежит характеристика Соловьёва: «Soloviev anima candida, pia ac vere sancta est <Соловьёв есть душа светлая, мягкая и подлинно святая>» (Лукьянов).

На Ватиканском соборе 1869–1870-го он упорно боролся против догмата о папской непогрешимости, не подчинился, когда догмат приняли, и впоследствии (1881) организовал специальное славянское паломничество в Рим. Добился введения церковной службы на хорвато-сербском языке. В июле 1888-го, когда Университет св. Владимира принимал славянских гостей по случаю 900-летия Крещения Руси, Штроссмайер направил ректору поздравительную телеграмму, вызвавшую позитивный резонанс.

Вне России телеграмма породила бурю негодования: «если его сердцу так дорога историческая миссия России, то пусть он отправляется подобру-поздорову в Киев или Сибирь. Его телеграмма доказывает, что он не годится ни в хорватские патриоты, ни в католические архипастыри». Ассистент Льва XIII кардинал Марьяно Рамполла дель Тиндаро упрекнул Штроссмайера в телеграмме, посланной «собранию схизматиков в Киев».

Император Франц Иосиф дважды заметил хорватскому екуменисту:

«вы, должно быть, были больны, когда вы посылали вашу телеграмму в Киев; дело киевского собрания было делом самых скверных революционеров... Там злоумышляли против католической церкви и папы».

Штроссмайер отвечал достойно: кто из здравомыслящих мог бы отрицать, что стоимиллионный народ в порядке божественного провидения предназначен к некоторому высокому делу? Кулаковский как приват-доцент Университета св. Владимира и Соловьёв как фрилансер непременно знали об этих происшествиях.

Летом 1888-го Соловьёв вторично побывал в Загребе, и в виде письма к Штроссмайеру сочинил меморандум об объединении церквей. Отпечатанный в количестве десяти экземпляров, он попал в руки папы Льва XIII, заслужил его одобрение, но дальше этого дело не пошло. В России Соловьёва начали порицать, и он вынужден был на разные лады объясняться, мол, что напечатанное им о соединении церквей содержит в себе лишь предварительные соображения об этом предмете с общих точек зрения нравственности, политики и всемирной истории.

«Мне никогда не приходило в голову *выводить* решение вопроса о соединении церквей из каких-либо отвлечённых философских начал <...> Я никогда не усвоивал философской мысли вообще (и своей в част-

ности) права распоряжаться по-своему догматами веры <...> Но отвергать отвлечённый *догматизм* не значит отвергать самые догматы, как отвергать рационализм не значит отрицать самый разум в его необходимых истинах. <...> Рассуждая о соединении церквей, я признавал и признаю, принимал и принимаю, считал и считаю для себя безусловно обязательными все без исключения догматы, изъяснительно определённые церковью на семи Вселенских соборах, а равно и после сих соборов все те учения, которые могут (и поскольку могут) оказаться догматами вселенской церкви» (Вл. Соловьёв).

Последнее утверждение, набранное курсивом, звучит в тональности Символа веры, краткого, убедительного и бездоказательного.

«Он прошёлся ледоколом по нашему религиозному формализму именно оттого, что в нём уже загорелся энтузиазм к подлинным религиозным темам, к самому “существованию” религии, а не “мнениям” около неё» (Розанов). И потому «нельзя излагать Вл. Соловьёва без учёта его церковно-политических взглядов» (Алексей Лосев).

Напомню, что православное богословие усматривает расхождение с католической церковью по пяти центральным позициям. Во-первых, в учении об исхождении Святого Духа (*filioque*); во-вторых, в учении о непорочном зачатии Пресвятой Девы; в-третьих, в учении о главенстве римского первосвященника («*Pastor aeternus*», 1870); в-четвёртых, в учении о непогрешимости папы; в-пятых, в учении о спасении и оправдании.

Отличие в обрядах и в учении о браке, вкупе с различием в материальном оформлении обрядовой жизни (храмы) довершают начавшуюся в IX веке и доведённую к 1054 году до апогея схизму. Традиция взяла верх, и непреодолимыми догматическими преградами к воссоединению католической и православной церквей оставались главенство папы и догмат об исхождении Святого Духа. До Пия IX существенными причинами разделения церквей считались также католическое учение о значении добрых дел для спасения («пеллагианство в римской церкви») и в связи с ним учение о сверхдолжных заслугах святых, об индульгенциях и Чистилище. Пий IX придал разделению церквей ещё два догматических основания: догмат о непорочном зачатии Богородицы и непогрешимости папы в вопросах веры.

В России в первой половине XIX века усилиями иезуитов и вследствие наплыва (по причине восприятия Павлом I звания

гроссмейстера Мальтийского ордена) мальтийских кавалеров активно проводилась мысль об отсутствии существенных различий между латинским и православным обрядами; был даже подготовлен законопроект о воссоединении церквей, но, как шутили, «император скончался апоплексическим ударом табакеркой в висок». Во времена Александра Павловича католическая пропаганда продолжалась. Однако высылкой иезуитов её успехам был положен конец, дальнейшая возможность диалога исключалась, с одной стороны, польским восстанием 1831 года, с другой, — воссоединением униатов (1839), с третьей, — общим характером политики, выраженной уваровской формулой «православие, самодержавие, народность», остроумно скалькированной с «свободы, равенства, братства».

С наибольшей точностью экуменические ориентации Соловьёва представил Мирон Петровский в рецензии 1991 года на рукопись книги польского историка Богуслава Мухи «W kręgu rosyjskich katolików i filokatolików» (1995):

«Философские усилия Вл. Соловьёва — одна из вершин русского католического мышления: от идеи сближения Востока и Запада как предисловия к католицизму, через общехристианскую идею милосердия, трактованную как общечеловеческая (“каким ты хочешь быть Востоком — Востоком Ксеркса или Христа?”) — к идее преодоления национализма и выхода в общечеловеческие идеологические пространства. Объединителем у Соловьёва должна выступить даже не католическая церковь, а некая “Всеобщая церковь” — только ли псевдоним католической? Неубедительный переход Соловьёва в католичество, а затем столь же неубедительное возвращение в православие — свидетельство попыток мыслителя связать две церкви, уже связанные в его сознании, — собой, своей личностью» (цитирую по рукописи в моём архиве).

Таким образом, с точки зрения совсем здравого смысла, практическая сторона абстрактных рассуждений Соловьёва могла реализоваться в дружеском рукопожатии российского императора и римского понтифика со всеми последствиями, которые этот акт мог за собою повлечь. Конкордат, заключённый Россией с папой в 1847-м, просуществовал до Польского восстания 1863–1864 годов, которое спровоцировало перерыв дипломатических отношений России с Ватиканом и стеснительные меры в отношении российского католического духовенства. В 1888-м, находясь во Франции, Соловьёв намеревает-

ся обратиться к государю императору Александру III с соответствующей эпистолой, о чём сообщает католическому другу Евгению Тавернье. Сергей Соловьёв указывает, что черновик такого письма был составлен, но не сохранился.

В середине 1890-х Соловьёв сочинил письмо с требованием о веротерпимости недавно взошедшему на престол Николаю II, которое, впрочем, тоже не было отправлено. В этом письме он проводит свою давнюю мысль, что «упразднить принудительное православие — вот первое элементарное средство для возрождения истинного православия, для общего обновления наших церковных сил в пастырях и пастве».

«Со времени крещения Руси, — якобы обращается Соловьёв к государю, — не было во всей нашей истории такого важного дела, как то, которое ныне предстоит Вашему величеству. Россия, выведенная пращуром Вашим, Петром Великим на поприще всемирной истории, избавленная Вашим дедом от рабского клейма и Родителем Вашим утверждённая в своём политическом строе, ждёт от Вашего величества того блага духовной свободы, без которого она не может проявить свои положительные внутренние силы и исполнить своё высшее назначение <...> Если только Вы скажете, государь, вслух всем, что нет Вашей царской воли на стеснения Ваших верноподданных в делах совести и религии — мрак, застилающий солнце правды Христовой, разом исчезнет, разом спадёт тяжелое бремя с души народной».

От этих здравомысленных призывов до телесных лобзаний российского самодержца с наследником престола св. Петра большое, традиционно непроходимое расстояние. Впрочем, официальные отношения между Россией и Ватиканом были формально возобновлены в 1894-м, как раз при папе Льве XIII и императоре Николае II.

К середине 1890-х Соловьёв постепенно избавился от «бессмысленных мечтаний» и надежд на воссоединение Церкви, и его усилия в этой области сосредоточивались на наведении *теоретического* клерикального порядка в церковном хозяйстве самой России.

Но тогда, в апреле 1887-го, он со всей силой убеждения писал иезуиту о. Мартынову, что «русская идея требует соединения церквей, т[о] е[сть] признания нами Вселенского Первосвященника, чтобы перестать быть пустою претензией. Можете себе представить негодование московской славянофильствующей

щей публики, которая в большом числе собралась меня слушать. Я очень доволен этим негодованием».

Провокатор? Шалун? Отчасти и то, и другое.

Конечно, причислить Соловьёва к роду homo ludens только по причине его религиозного свободомыслия было бы упрощением. Если он и говорил Льву Лопатину, что его считают католиком, а между тем он более протестант, чем католик, то в уме держал другие, совсем неигривые констатации: вероисповедные перегородки до неба не доходят, потому спастись можно во всякой церкви (то есть и в той, которая на соседней улице), поскольку главное не внутри церкви, а внутри тебя.

На какой основе совмещались в голове Соловьёва эти разновекторные клерикальные устремления?

Едва ли в треножнике здравого смысла. Скорее, речь должна идти о каверзах умозрения, столь объяснимых в сознании провокативно и оттого творчески мыслящего персонажа. Но в то же время, как отметил Василий Зеньковский, не только в жизни, но и

«в литературном даровании Соловьёва была большая склонность к иронии и насмешке. Даже самые задушевные свои переживания Соловьёв любил сопровождать шуткой, нередко грубоватой. Вкус к пародийному слогу был очень силён у него, — он для него самого был нужен, чтобы ослаблять внутреннюю патетичность, которую он стыдливо прятал за насмешливой речью».

Соловьёв был очень, подавляюще учён и умён и, чтобы вынести тяжесть этих качеств, предпочитал бутылке игристого вина иронию в отношении себя и окружающих. Себе ты простишь, окружающие тебе — никогда. Оттого Розанов, умница, злился на Соловьёва: сам не мог избавиться от патетики и ёрничал над теми, кто может.

Итак, если для Соловьёва Рим был средоточием «единства и свободы Церкви», а папство — «международной и независимой властью, единственной действительной и пребывающей основой для вселенского действия Церкви», то есть теоретическим местом, для Кулаковского Рим был вполне реальным историко-культурным организмом с глубокими цивилизационными корнями, родиной римской литературы и латинского языка.

С каким, пожалуй, удовлетворением, он мог читать строки Михаила Осоргина в «Вестнике Европы» за ноябрь 1909-го:

«Говорят, что Рим — искусственный центр и не представляет Италии. В этом есть значительная доля правды. Итальянская промышленность — в Турине и Милане, итальянская торговля — в Генуе, нищета — в Неаполе, безграмотность — на юге; в Риме нет ничего характерного для современной Италии, кроме экстерриториальной ватиканской твердыни».

Однако каждый камень здесь молчаливо дышит историей, в каждом римском извозчике есть капля крови *auriga* (победитель в беге колесниц), полководцы стали полковниками, дискоболы — футболистами, триумфаторы — велосипедистами, и великое сделалось смешным.

Оглоблин, комментируя письмо № 3, пишет, что в киевских академических кругах (в основном, среди профессоров Духовной академии) толковали о больших симпатиях Кулаковского к католической церкви. Он считает, что с этим было связано прозвище «Юлиан Отступник» и полемика с профессором КДА Д. Богдашевским. Это неверно: означенное прозвище Кулаковский обрёл вследствие полемики с профессором Академии Михаилом Ковальницким, развернувшейся по поводу публичной лекции «Христианская церковь и римский закон в течение двух первых веков», читанной в Университете в декабре 1891-го. Затем Оглоблин указывает, что в 1912–1913 годах появилась в Киеве брошюра за подписью Алексея Голубева (в 1950-х — Ермоген, архиепископ Казанский и Свяжский, ректор Московской духовной академии, а тогда ученик седьмого класса Третьей Киевской гимназии, где в то время учился и Оглоблин), исполненная ругани по адресу Кулаковского за его будто бы тенденциозное и неверное освещение деятельности Кирилла Александрийского в первом томе «Истории Византии» (1913).

Это отдельный оттиск из № 11 ежемесячного церковно-



Вл. Соловьёв в Узком



Архиепископ Димитрій
(Михаил Георгиевич Ковальницкий)

общественного журнала «Голос церкви» за 1913 год. Статья на тридцати страницах называется тоже длинно: *«Несколько слов о жизни и церковно-общественной деятельности св. Кирилла, архиепископа Александрийского (ум. 444 г.): По поводу трактаций проф. Ю. А. Кулаковского по данному вопросу в его сочинении “История Византии”, т. 1 (395–518), 2-е изд., пересмотренное. Киев, 1913 г.»*. Отдельный отиск был оттиснут в Москве по благословию Волынского и Житомирского архиепископа Антония (Храповицкого). К этому тексту вернёмся в последней главе, где речь пойдёт о первом томе «Истории Византии».

Оглоблин пишет, что

«Кулаковский до конца жизни, помимо даже своей реакционной позиции в академической политике 1905 года, был под подозрением и даже обстрелом со стороны чёрносотенных академических кругов. Я думаю, что это было прежде всего на основе его прокатолических симпатий, которые появились у него ещё с молодых лет, возможно, под воздействием В. Соловьёва или во всяком случае, в связи с ним».

Здесь, задев упоминание о «воздействии», нужно вспомнить письмо Соловьёва в редакцию «Нового времени» от 28.11.1886:

«Желая полного и плодотворного соединения обеих церквей ради общественного блага России и всего христианского мира, я никогда и ни-

кого не убеждал переходить из восточной церкви в западную, а, напротив, имел случай решительно отговаривать иных от такого намерения, ибо всякое личное “обращение” (равно как внешнюю унию) считаю не только ненужным, но и вредным для вселенского дела, хотя, конечно, не могу бросать камня в “обращающихся” по искреннему, если и ошибочному убеждению».

Аналогичные объяснения Соловьёв даёт в журнале «Церковный вестник» от 6.12.1886.

Оснований, что под «иными» автор мог подразумевать среди прочих Кулаковского, нет, поскольку свидетельств, что они в это время общались, тоже нет, однако, как бы ни было, сходство умонастроений двух учёных даёт основание полагать, что Кулаковский в 1880-х внимательно знакомился с экуменическими — и не только — текстами московского товарища. Следует согласиться с Оглоблиным, что прокатолические симпатии могли появиться у Кулаковского «под воздействием В. Соловьёва или во всяком случае, в связи с ним» хотя бы потому, что этот тезис едва ли поддаётся опровержению.

В подтверждение этому приведу — вслед за Оглоблиным — выдержки из писем Кулаковскому Алексея Соболевского (одно письмо действительно сохранилось в ЦГИАУК, второе — отсутствует).

«Успел уже сообщить многим о том, что Вы, во фраке и белом галстуке, преклоняли колена пред папою и приняли от него благословение. Не могу утаить от Вас, что многие из выслушавших мой разговор изъявили прискорбие или даже негодование, особенно Людмила Николаевна [Губарева] и [профессор по кафедре геологии К. М.] Феофилакт; 1-я поручила, кроме того, спросить Вас, не целовали ли Вы туфлю» (12.03.1887).

При всей ироничности вопроса его придётся зачесть серьёзным и закрыть, не открывая: может, и целовал, но, как и Соловьёва, Кулаковского впоследствии исповедовал и отпевал священник православный (как Льва Карсавина в ГУЛАГе — католический, правда, за неимением православного).

Вернувшись из Италии в Россию, в сентябре и октябре 1887-го Кулаковский гостит у Фета. К этому времени относятся все заметки о Кулаковском в письмах Соловьёва.

«Учёные были знакомы и прежде (в письме к матери Соловьёв представляет Ю. Кулаковского даже как общего знакомого), — пишет Вячеслав Моисеев, — но встреча в гостях у Фета для Соловьёва была осо-

бенно памятной: в Воробьёвке он читал Кулаковскому свой перевод “Энеиды” Вергилия, и киевский специалист остался доволен этими литературными пробами. Возможно, именно в это время или чуть позже (на титульном листе “Истории [и будущности теократии]” имеется карандашная приписка “23 Октября 87 г.”) была сделана дарственная надпись на экземпляре загребского издания, которое тогда только-только вышло из печати».

Кулаковский гостил у Фета с 23 по 26 августа 1887-го, Соловьёв — с середины апреля по конец сентября.

Соловьёв выполнил обещание, данное в письмах № 1 и № 3, и подарил Кулаковскому один из экземпляров редкой загребской книги. «Первый том “Теократии” должен уже быть напечатан, и я распорядился, чтобы типография выслала на Ваше имя 3 экземпляра: один для Вас, другой для о. Пирлинга, а третий для г-жи [О. Н.] Смирновой», — сообщал Соловьёв 14.04.1887 священнику Мартынову.

20 июня другое письмо:

«О себе ничего хорошего пока сообщить не могу. Книга моя (первый том “Истории теократии”) подверглась полнейшему секвестру. Что же касается до экземпляров, назначенных Вам и другим лицам в Париже, то неполучение их, о чём извещает меня о. Пирлинг, зависит, конечно, лишь от неисправности типографии. Разузнаю и распорядюсь о высылке. Пишу теперь по-французски “Philosophie de l’Eglise universelle”. Выходит целая книжка. Даст Бог, не пропаду вконец от греко-российского тупого кулака».

Экземпляр «Истории и будущности теократии» с дедикацией: «Юлиану Андреевичу Кулаковскому с давнею приятнью от Владимира Соловьёва», содержащий множество исправлений в тексте, сделанных рукой автора (Кулаковский пометил на титульном листе: «Собственноручные поправки Вл. С[оловьё]ва на стр. 130, 141, 175, 305, 308, 309, 316, 319, 320, 342, 343, 344, 347, 351, 359, 364»), и датой 23.10.1887 сохранился в библиотеке Института восточнославянской филологии Ягеллонского университета в Кракове (шифр 2015).

Вячеслав Моисеев обнаружил в этой же библиотеке экземпляр магистерской монографии Соловьёва «Кризис западной философии: Против позитивистов» 1874 г. (шифр 2078) с автографом: «Юлиану Андреевичу Кулаковскому от Владимира Соловьёва», поднесённой Кулаковскому осенью 1887-го.

Моисеев задаётся вопросом:

«Глядя на раритеты, несомненно, бывшие когда-то в руках Соловьёва, невольно задаёшь вопрос, как и когда попали они в библиотеку Института восточнославянской филологии? Этого мне установить, к сожалению, не удалось».

Автор выдвигает гипотезу:

«Стоит, может быть, указать на одну из возможных ниточек в поиске. Старший брат Юлиана — Платон Андреевич — не менее славный славист и историк, специалист по хорватской литературе, в 1892–1902 гг. работал в Польше».

Это предположение неверно. Зная о библиофильских пристрастиях Кулаковского, едва ли можно думать, что он по своей воле расстался с соловьёвскими дарами, из которых один был не просто большой, но невероятной в России книжной редкостью. Скорее всего, эти книги по его смерти вывез в Польшу осенью 1922 года старший сын Сергей, филолог-славист, радостно покинувший большевицкую Россию (якобы отпросившись в научную командировку) и до конца дней живший в Польше.

Не стану вдаваться в подробности творческих взаимоотношений Фета и Соловьёва: ещё в 1990-м они проанализированы Валентином Фатющенко и Николаем Цимбаевым.

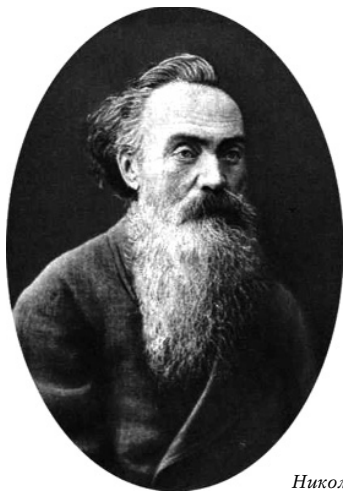
Интересен «триумвират»: *Фет — Соловьёв — Кулаковский*. Если связка *Фет — Соловьёв* окрашивалась темой: поэт Фет и Соловьёв-поэт (вспомним «ожесточённые споры о гекзаметре и пентаметре»), связка *Соловьёв — Кулаковский* темой: философ Соловьёв и филолог Кулаковский, то связка *Фет — Кулаковский* имела подтекст: поэт Фет и филолог-классик Кулаковский. Рассмотрим соотношение.

К Фету в Воробьёвку (в окрестностях Коренной пустыни, Золотухинский уезд Курской губернии) приезжали разные люди, имена которых на интеллигентном слуху: Лев Толстой, Тургенев, Чайковский, Полонский, Страхов.

Сергей Соловьёв:

«Среди современных ему писателей Фет отличался необыкновенной простотой, скромностью, действительной добротой и остроумием. С ним трудно было поссориться даже такому неуживчивому человеку, каким был Тургенев. Несмотря на разницу мирозерцаний, Соловьёв хорошо чувствовал себя с Фетом и отдыхал в его обществе.

А мирозерцания их были весьма различны: Фет был крайний пра-



Николай Николаевич Страхов

вый, Соловьёв именно в 80-х годах вступил в стан западников-либералов; Соловьёв был христианином, а у Фета, при его консервативном уважении к русской церкви как к одному из устоев быта и государства, было ироническое отношение к основным догматам христианства.

Его философия в зрелые годы сложилась под влиянием Шопенгауэра, с одной стороны, под влиянием пантеизма Гёте — с другой. Соловьёв всегда подчёркивал своё расхождение с Фетом в вопросах религиозных. Кулаковского в Воробьёвке ждали и Соловьёв, и Фет.

В июле–августе 1887-го в фетовское имение заехал Николай Страхов (1828–1896), с которым, впрочем, Кулаковский не встретался. Соловьёв писал Страхову:

«Не забывайте ввиду проблематичности наших дальнейших свиданий, что письма, не дополняемые устными сообщениями, должны быть обстоятельными. Не могу показать Вам примера, потому что после отъезда вашего, кроме незнакомого Вам киевского профессора Кулаковского, никаких новых лиц не видел, и у нас всё по-старому» (6.09.1887).

В это время он «услуждал Фета, говоря ему наизусть Катулла (“Когда Катулл мне наизусть твоими говорил устами”). Они вместе переводили “Энеиду” и “валяли в день по 80 стихов”. Шестая книга “Энеиды” была переведена общими силами, седьмая, девятая и десятая — одним Соловьёвым. Несмотря на спешность работы, перевод Соловьёва весьма звучен и выгодно отличается от Фетова», — считает Сергей Соловьёв.

Лето и осень 1887 года Соловьёв проводил, деля время между сочинением «России и Вселенской Церкви», переводом «Энеиды» и писанием бесчисленных эпистол, «а на ночь читал Сведенборга по-латыни. Несмотря на то, что Соловьёв в это лето вёл правильный образ жизни, вставал в 8 часов, ложился в 12, пил железную воду и купался, здоровье его было очень плохо: он не выходил из состояния невралгий и бессонниц» (С. Соловьёв).

Как мы уже знаем, в самом начале июня 1888 года Кулаковский снова гостил у Фета в Воробьёвке — целую неделю, а затем, с 11 июня принимал ванны в Железноводске. За месяц до этого, возвратившись из Варшавы, где десять дней провёл с семьёй брата Платона, 3-го мая Кулаковский пишет Фету и о диссертационных делах, и о Соловьёве.

«Я Вам сердечно благодарен за сообщение касательно Соловьёва.

Жаль мне его. Ведь он человек с гениальностью и проходит так бесплодно. — Что до моих суждений о его книге [“История и будущность теократии”] в разговоре с [М. И.] Хитровым (это было на балу у Боткиных¹), то я на заявления Хитрова о его восторге по поводу “Теократии” говорил только, что мне “жаль, что Соловьёв её написал”, и подивился, что Хитров — сам историк — допускает возможность такой некритической трактовки исторических вопросов. Если встречу с Соловьёвым, то постараюсь развеять недоразумение — впрочем, если замечу, что это возможно. Но вряд ли скоро встретимся, а письменных сношений у меня с ним нет: он не ответил мне на письмо моё, которым я отозвался на его книгу, и у меня нет повода писать ему» (3.05.1888).

Религиозное мировосприятие Кулаковского, судя по всему, было куда более устойчивым и устройчивым, нежели у Соловьёва. Во всяком случае, он не впадал в морализаторство, не испытывал к христианству экуменических чувств, и если внешняя сторона католической обрядности могла привлекать его в Риме, то по возвращении в Россию эти оболъщения оставляли его. Соловьёв же и в «Теократии», и в книге «Россия и Вселенская Церковь» (которая должна была быть вторым томом «Теократии», но стала самостоятельным размышлением)

¹ В доме на Покровке, 27 — у Дмитрия Петровича и Софии Сергеевны Боткиных, где, в частности, Фет познакомился с протоиереем, магистром богословия Михаилом Хитровым в августе 1880-го. Хитров был домашним учителем детей Боткиных и Михаила Соловьёва, брата Вл. Соловьёва.

развивает — и последовательно-спекулятивно — идею о все-ленской католической церкви, единении Востока и Запада, православия и католичества в «священную империю», в которой церковная сторона должна быть представлена римским понтификом, руководству которого вверяет себя российский самодержец — мирская власть; такая двуединая власть должна соотноситься с духом свободы, выразителем и защитником которой становится некий пророк — третье лицо «земной троицы». Славянофильски-западническое, демократически-утопическое и антигосударственное, евразийски возвышенное смешение всего, что можно смешать, конечно, не делает Соловьёва как мыслителя последовательным. Конечно, «все люди братья»; но зачем же кричать об этом столь голосисто. После эдакой писанины разумно опасаясь гонений, Соловьёв жалуется Фету 15.07.1888 из Парижа: «Из России мне пишут про разные вздорные сплетни в газетах на мой счёт <...> Как бы не вышло какого-нибудь затруднения с возвращением моим из-за границы». Рыгнуло-таки у философа его философское очко.

В самом начале октября 1888-го, возвращаясь из столицы в Киев после докторской защиты, Кулаковский делится с Фетом дальнейшими впечатлениями:

«Не далее как вчера утром проезжал я неподалёку от Вашей Воробьёвки и различал не без *Sehnsucht* [тоски] горб Вашего прекрасного парка, что склоняется к тихому Тускеру. В руках у меня был номер “Московских ведомостей” с статьёй о Соловьёве, где провозглашена отходная нашему богато одарённому и так бесплодно гибнущему русскому человеку¹. В прошлом году, когда мы с ним гуляли по Вашему саду и Вашим полям [23–26.08.1887], он был уже по дороге к гибели, но можно было ещё надеяться, а теперь, увы, — он уже оттолкнулся от нашего берега и никто и ничто его не вернёт. — Ужасно мне за него больно и обидно. Одолеет его грех самомнения и гордыня мышления» (2.10.1888).

«Обидно», «гордыня мышления», «больно», «оттолкнулся от берега», «грех самомнения» итд — творчеством Соловьёва начали заниматься ещё при его жизни, и уже больше столетия

¹ Аноним в статье без заглавия, излагая воззрения Соловьёва, наделавшие столько шуму, писал: «Трудно себе представить, сколькой слепой, фанатической ненависти выражено, сколько голословных обвинений против православной России нагромождено» (*Московские ведомости*, 1888, 29 сент., № 271).

имя его громыкает по российским умственным чернозёмам; а о сокрушающемся Кулаковском, который явно чувствует себя и увереннее, и упруже, и последовательней, нежели мятущийся Соловьёв, начали узнавать лишь лет двадцать назад. Если ты здравомыслящий современник, должен учуять масштаб человека, который на твоих глазах сам творит будущее, и постараться соотнести с ним свой собственный: отойти тихонечко в сторону, наблюдать, запоминать, отсвечивать.

За день до письма № 3 Кулаковскому, 17.09.1887 Соловьёв написал ставшее программным стихотворение, которое завершается грифельно-державинским четырёхстишием:

Смерть и время царят на земле,
Ты владыками их не зови.
Всё, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.

В отличие от Кулаковского, лишь дважды гостившего в Воробьёвке, Соловьёв нередко и подолгу жила в фетовском имении, занимаясь переводами, бродя по полям и лесам. Стихов писал мало: присутствие Фета, по его словам, «мешало». Тем не менее, «жить у Фета приятно и очень спокойно», — пишет он матери в 1887-м.

В поэтическом творчестве Фет в глазах Соловьёва стоял высоко, выделялся в потоке «утилитарной» русской литературы. Последние четыре прижизненных сборника Фета выходили отдельными выпусками под общим названием «Вечерние огни». Пожалуй, неслучайно первый выпуск (1883) был подарен автором Соловьёву с надписью — *«зодчему этой книги»*. Исследователи поэзии Фета приходят к мысли, что композиция этого выпуска, по-видимому, принадлежала Соловьёву. Комплект «Вечерних огней» Фета с авторскими дедикациями был в библиотеке Кулаковского.

В письме Цертелеву от 4.09.1887 Соловьёв, предлагая в «Русский вестник» выполненный вместе с Фетом перевод трёх книг «Энеиды» Вергилия («Хотя при окончательной редакции мы работали сообща с Афанасием Афанасиевичем и, разумеется, я ему обязан более, чем он мне, тем не менее эти три книги я могу считать своей долей перевода и предлагаю её тебе от себя, — конечно, с согласия главного переводчика»), присовокупил, что

«за верность перевода может поручиться специалист, профессор латинской словесности (Киевского университета), которому я читал эти книги [“Энеиды”] и который остался чрезвычайно доволен переводом. Насчёт русского стиха ты можешь судить сам, и если найдёшь какую-нибудь какофонию, то я с удовольствием исправлю, коли это возможно без существенного ущерба для верности перевода».

Брату, Михаилу Соловьёву, философ жаловался, что «ужасно трудно переводить с латинского на русский. В латинском слова все короткие, а в русском длинные, да ещё одним словом не всегда и обойдёшься. Например, по-латыни стоит *asínus* [осёл], а по-русски пиши: его высокопревосходительство господин обер-прокурор Святейшего Синода!» В цитированном выше письме Цертелеву Соловьёв в скобках замечает, что, «впрочем, *entre nous soit dit* [между нами], — мои гекзаметры вообще благозвучнее и яснее Фетовых».

Это не только рисовка. Корней Чуковский тоже полагал, что Фет-переводчик совершенно не похож на того сильного мастера, «каким мы привыкли любить в его лирике; стремясь переводить стих в стих, слово в слово, Фет нередко впадал в тяжёлый и неудобопонятный буквализм», «искусство перевода никогда не давалось ему» («*Высокое искусство*», 1968). Хотя Николай Максимович Минский и утверждал, что

Переводимы все — прозаик и поэт.

Лишь переводчикам — им перевода нет, —

это не вполне так. Ефим Эткинд (1918–1999) заметил: «Практика лучших мастеров поэтического перевода доказывает, что так называемая “переводимость” зависит от степени близости к оригиналу или, вернее, удалённости от него» («*Поэзия и перевод*», 1963). Хороших переводчиков должно быть много, как и хороших литературных оригиналов, и хороших развитых языков, на которых эти оригиналы создаются — как ребусы для переводчика. Упражнения в поэтических переводах с латыни, наиболее живого из мёртвых языков, изучавшихся в российских гимназиях и университетах, так или иначе, хорошо ли, плохо ли, приближали русскоязычную публику к традиции изящной словесности во времена, когда собственная насчитывала чуть более столетия (от Василия Кирилловича Тредиаковского) и не всегда была изящной.

Тот же Эткинд, крупнейший знаток русских переводов, ут-

верждал, что расхождения между языками не могут служить препятствием для абсолютного перевода.

«Ведь с классицистической точки зрения слово однозначно, оно носитель объективного смысла, и поэтому найти ему иноязычное соответствие принципиально всегда возможно; затруднением может оказаться только недостаточная развитость языка перевода, то есть его количественная недостаточность» («Русские поэты-переводчики от Тредиаковского до Пушкина», 1973).

Вот Фет с Соловьёвым и развивали русский язык, а что это развитие не было достаточно ярким, образным и удовлетворяющим абстрактным требованиям к развитию языка, так ведь задача развить язык не ставилась, ставилась задача перевести Вергилия, чтобы было похоже на оригинал, на его время и его дух.

В предисловии к тому же «Стихотворных и шуточных пьес» Соловьёва (1974) Зара Григорьевна Минц (1927–1990), пиша о Соловьёве-переводчике, сказала: тема «Соловьёв — переводчик Вергилия» ждёт исследования. До сих пор ждёт.

Соловьёв покинул Фета 22.09.1887: Кулаковский в это время уже в течение трёх недель читал лекции в Киеве, держа в «Университетских известиях» корректуры диссертации «К вопросу о начале Рима», которую защитит в С.-Петербургском университете в сентябре следующего года.

А ещё через полгода, к полувековому юбилею литературной деятельности Фета (в 1839-м Фет передал Гоголю «жёлтую тетрадку» со стихами, и Гоголь посоветовал трудиться дальше: «это несомненное дарование», — якобы сказал Гоголь) Кулаковский отправляет ему приветственную латинскую телеграмму «Poetae clarissimo, cui per decem lustra molliter atque facete Camenae adnuebant, viro egregio, de litteris Rossicis optime merito pio atque amico animo gratulatur» [«Поэту славнейшему, которого уже десять пятилетий Камены приветствуют благосклонно и радостно, мужу исключительному, российской словесности оказавшему высшее благодеяние, с благочестием и любовью, — поздравление»] и письмо, в котором сожалеет, что опоздал к торжественному обеду в московском отеле «Эрмитаж».

«Мне обидно, что я опоздал, тем более что я всё поджидал вестей о Вашем юбилее, надеялся встретиться ещё в декабре, а первое, что прочёл [в “Киевлянине”] по этому поводу, — было известие о юбилейном

обеде, назначенном на 29 число. Хочу надеяться, что моя телеграмма дойдёт в исправном виде до юбиляра и он простит мне моё опоздание и пришлёт свои стихи, которые раздавал вчера поздравлявшим.

До сих пор я ещё не поблагодарил Вас за Вашего Проперция [“Элегии”] и не откликнулся на письмо, полученное мною в ответ на моё в октябре месяце прошлого года. Я предполагал тогда, что юбилей Ваш будет в декабре и что мне приведётся поздравить Вас лично. Но вестей о юбилее не было, в Москву у меня не было повода попасть, так я и промолчал. Простите» (29.01.1889).

Латинскую телеграмму Кулаковского Фету в отчёте о юбилее в «Московских ведомостях» не напечатали, и автор «немного пожалел, что там не нашли уместным привести моей телеграммы, как сделали с другими, так как мне думалось, что немного латыни было бы кстати» (15.02.1889). Кулаковский, пиша об этом, не знал, что ещё 11.02.1889 Фет сообщил Полонскому: «Я уже переслал Исакову пропущенное в печати прелестное стихотворение графини Сологуб и латинскую телеграмму Кулаковского», и двумя днями раньше — тому же и о том же: «Я писал Исакову, приложивши ему латинское поздравление к моему юбилею от киевского профессора Кулаковского, премилое юбилейное поздравление Владимира Соловьёва и чудесное стихотворение графини Сологуб. Но до сих пор никакого известия о получении этих документов для издания <...> я не получал». Идея об издании сборника о трёх юбилеях — Полонского, Майкова и Фета, — не реализовалась; текст телеграммы Кулаковского был опубликован впервые С. А. Ипатовой в 2013-м.

Александр III по случаю юбилея возвёл Фета в придворное звание камергера (тайный советник, «ваше превосходительство»), Фет 15.03.1889 представлялся государю в Зимнем дворце, а Кулаковский поздравил его «с монаршей милостью»:

«хотя про нашу современность и нельзя, к счастью, сказать с Ювеналом “Et spes et ratio studiorum in Caesare tantum” [“И надежда, и план занятий в Цезаре только”]. Но нельзя, однако, не радоваться, когда про него можно сказать, что он *Samoenas Respexit* [оглянулся на Камени] — Вам, быть может, придётся или уже пришлось совершить путешествие на север, чтобы явиться ему в Вашем новом к нему отношении. Вы не поминаете о намерении перебраться в деревню в тот срок, как Вы сделали это в прошлом году, чтобы там пережить начало новой весны, которая уже чувствуется на нашем юге <...> Сам я в настоящее время нахо-

жусь в садах Эпикура. Вам, быть может, известно, что открыты новые подлинные изречения Эпикура. Я хочу по их поводу прочесть здесь публичную лекцию» (6.03.1889).

Лекцию Кулаковский прочёл 25 марта, её оттиск из «Университетских известий» (1889, № 4) выслал Фету, и тот, восхитившись, спровоцировал лектора на «благодарность за благодарность»:

«Ваша изящная похвала моему Эпикуру исполнила меня радостью и гордостью. В обуздание этой второй я подумал о возможности и того, что Ваше дружеское ко мне расположение повлияло в смысле смягчения строгости тех требований, которые надлежит и должно предъявлять ко всякому произведению человеческого слова, а Вы, как признанный мастер в этой сфере на нашем языке, имеете тем большее право на эту строгость. Гордость моя от этого умалилась, но радость осталась <...> Благодарю Вас за приглашение посетить Воробьёвку» (3.06.1889).

В Воробьёвке Кулаковский тогда больше не был — и вообще больше не был: с 10.03.1889 вместе с семьёй брата в Друскининкае на нанятой Платоном даче, а затем за границей.

В конце сентября Кулаковский сообщает Фету университетские подробности, будто не о чем больше писать (видать, и вправду не о чем):

«Прошло лето, настала осень, а с нею и старое дело, к которому на этот раз прибавилось и нечто новое — первый опыт университетских экзаменов в назначенных министерством комиссиях» (25.09.1889).

Ещё в июне он поведал, что в конце мая вернулся из Чернигова:

«Два раза ездил я туда и провёл там большую половину прошлого месяца. Попечитель наш, Ваш земляк [петербуржец В. В. Вельяминов-Зернов], которым мы все здесь очень и очень довольны, возобновил обычай посылать депутатов в гимназии на время экзаменов. Так я и познакомился с этим городом, современным Илье Муромцу, но и напоминающим своим видом и характером в большей, чем бы то желательно, степени старое время. Завтра поеду туда ещё раз на два дня, чтобы покончить в нём свои обязанности» (3.06.1889).

Здание Черниговской классической мужской гимназии размещалось в самом центре Черниговского детинца восточнее Спасского и Борисоглебского соборов, Коллегиума и шестиколонного архиепископского особняка.

Среди преимущественно деревянных домиков с палисадни-



Владимир Владимирович Вельяминов-Зернов

ками, вишенками, заборами, среди гористых вертикалей Мазеповых храмовых наверший и толстеньких колоколен, построенное в 1830-х классицистическое здание гимназии если и выглядело не вполне в духе кирпичной Пятницкой церкви, что смутило Кулаковского, зато было вполне в духе украинского баснописца Леонида Глибова (1827–1893), который в этом заведении учительствовал с 1858-го. Кулаковский, будучи председателем испытательной комиссии, знакомясь, наверняка пожал его старческую руку.

Через четыре года после того, как Фет умер естественной смертью при попытке покончить с собой (3.12.1892), Вл. Соловьёв почтил его память стихотворением (16.01.1897):

Он был старик давно больной и хилый;
Дивились все — как долго мог он жить...
Но почему же с этою могилой
Меня не может время помирить?
Не скрыл он в землю дар безумных песен;
Он всё сказал, что дух ему велел, —
Что ж для меня не стал он бестелесен
И взор его в душе не побледнел?..
Здесь тайна есть... Мне слышатся призывы
И скорбный стон с дрожащею мольбой...

Непримиримое вздыхает сиротливо,
И одинокое горюет над собой.

Время и вправду не могло примирить Соловьёва с уходом старшего друга и коллеги, возможностью общения с которым дорожил. Это потому, что человек не выбирает родителей и детей, он выбирает жену, порой ошибаясь, и друзей — почти безошибочно. Уход друга, пожалуй, страшнее прочих уходов, поскольку с ним исчезает та часть свободы, которую создавало пространство выбранного общения. Оттого «непримиримое вздыхает сиротливо», что осознание сиротства такого толка кажется наиболее тягостным, и время здесь забвению попутчик скверный.

Впрочем, с иной стороны, как сказал 26-летний поэт:

Что дружба? Лёгкий пыл похмелья,
Обиды вольный разговор,
Обмен тщеславия, безделья
Иль покровительства позор.

ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА, ЗАОЧНАЯ Публичные лекции, конец 1891 года

Рассказ, который я здесь помещаю, конечно, должен быть в следующей главе. Но чтобы закружить Соловьёва с Кулаковским, приходится жертвовать композицией.

Это как память: никогда не знаешь, что и где вспомнится.

Это как архив: никогда не знаешь, что и где найдётся.

Это как время: никогда не знаешь, что было на самом деле, и так ли, как о деле пишут.

Соболевский писал из Петербурга 1.03.1893:

«Нельзя не считать напастью таких критиков, какие подвизаются в “Трудах Киевской духовной академии”. Я заглянул в февральский № и ужаснулся: и грубо, и глупо, и нахально, вообще таково, что подобного можно ожидать лишь от духовно просвещённых особ. Мы, светские люди, пишем хорошо, но всё же как-то иначе, с другим букетом. Но я надеюсь, Вы воспользуетесь возможностью дать сдачи (“Университетские известия” в этом отношении хороши) и оставите последнее слово за собою. Самое скверное — деликатничать с такими господами и давать им возможность трубить, якобы они торжествуют. Только не надейтесь на чьё-нибудь реальное сочувствие».

Что же это за текст, принесший Кулаковскому, кроме прочего, упоминавшееся выше прозвище «Юлиан Отступник»?

8-го декабря 1891 года он выступил в Университете с публичной лекцией в пользу пострадавших от неурожая на тему: «Христианская церковь и римский закон в течение двух первых веков».

Здесь высказана мысль, что религиозная нетерпимость была чужда римскому законодательству и установилась только при римских христианских императорах. Церковный же тезис говорил обратное и, ссылаясь на римский закон, утверждал, что преследование иудеев и язычников было закреплено юридически. Речь не могла не вызвать резких нападок со стороны академических клерикалов, поскольку подрывала сложившийся стереотип рассмотрения начал христианской истории на римской государственной почве. В ней была умственная острота, а такие церковные догматики не прощают.

Коллега главного (анонимного!) оппонента Кулаковского профессора древней церковной истории Киевской духовной академии Михаила Ковальницкого (1839–1913), будущего архиепископа Херсонского и Одесского Димитрия, профессор того же заведения Владимир Завитневич (1853–1927), умудрился переложить суть полемики былинным стихом: «Былина про славного богатыря сына Егоровича и злого отступника Юлиана поповича». Глуповатое, но по-своему забавное чтиво.

Как на матушке, на святой Руси,
В славном городе, в стольном Киеве
Люди верные, православные
Собиралися и дивилися,
Что отступник злой, сам поповский сын,
Над святынею христианскою
Насмехается, издевается,
Всех угодников, святых Божиих,
В воровской разряд зачисляючи,
А обидчиков, злых мучителей,
Честным именем прославляючи.
И взмолились тут все епископы,
Все епископы со игумены:
«Где девались вы, добры молодцы,

Добры молодцы, Ильи Муромцы?
Выступайте же, люди верные,
Люди верные, православные,
Не стерпите вы злой обиды той,
Заступитесь вы за угодников,
За угодников, людей Божиих».
Тут христианский мир взволновался весь,
Ряды первые расступилися:
Выступал боец, славный молодец,
Славный молодец, сын Егорович,
Плечи мощные расправляючи,
Руки крепкие потираючи.
И смутился вдруг весь христианский мир,
Во след витязю тому глядячи:
«Где ж, детинушка, твой червлёный щит?
Где, молодец наш, твой булатный меч?
С чем пойдёшь, боец, на отступника,
На отступника, на поповича?»
И возговорил добрый молодец,
Добрый молодец, сын Егорович:
«Не смущайтесь вы, люди верные,
Люди верные, православные!
Мой червлёный щит — мудрость книжная,
Мой булатный меч — слово острое,
Я убью врага словом истины,
Я сражу его правдой вечною.
Ну, Юльянушка, мой сердечный друг!
Выступай-ка, брат, супротив меня;
Я пришёл сюда не шутить с тобой;
Я пришёл на бой, на смертельный бой;
Иль сложу свою буйну голову,
Иль собью твою спесь высокую».
Лишь сказал боец слово грозное,
Приключилось тут диво дивное.
Поднимал Юльян гордо голову,
Выше облака, до небесных сфер (звёзд).
Тут зарывал он по-звериному,
Засвистал злодей по-соловьиному,
С плеч своих снимал котомушку,

Раскрывал её, чародейскую,
Выпускал он темь-пыль туманную,
Заслонял он свет Солнца Божьего.
И смутился весь православный люд,
Что затмилися очи ясные,
Замутились души светлые.
«Ишь, нахальщина, чародейский сын!
Что затеял он, чернокнижник злой!»
Так возговорил добрый молодец,
Удалой боец, сын Егорович;
Раскрывал он тут книгу мудрую,
Книгу мудрую, голубиную.
Лишь прочёл он там слово истины,
Туман по полю весь рассеялся,
Солнце красное прояснилось.
И схватил боец ту котомушку,
Он встряхнул её рукой мощною;
И посыпалась нечисть всякая
Из котомки той Юлиановой.
«Фу-ты, чёрт возьми, чародейщина!
Мерзость скверная, сатанинская!»
Так возговорил добрый молодец,
Удалой боец, сын Егорович,
И взвалил опять он котомку ту
На спину его Юлианову.
И пошёл с тех пор по белу свету
Юлиан бродить с той котомкою.
Опустил он вниз свою голову,
Свою гордую, непокорную.
Так-то, милый друг мой Юлианушка!
Не смирился ты правдой честною;
Так смирил тебя добрый молодец,
Удалой боец, сын Егорович.

Конечно, всё было не так, как в стихке. Как в стихке, обычно не бывает. Лишь дурак отождествит актёра с ролью.

Ограничусь комментарием к упомянутому в нём имени Сперата. Сперат — один из «первых христиан», за веру казнённых в Карфагене 17 июля 180 года по приказу проконсула Са-



Владимир Зенонович Завитневич

турнина. В «котомке» у Сперата лежали Священное Писание и Послания апостола Павла.

Завитневич, автор этой версификации, состоял членом Совета Киевского религиозно-философского общества и множества российских учёных обществ, профессором Академии по кафедре русской гражданской истории, преподавал на ВЖК и в Институте благородных девиц; в 1909-м организовал при Университете зверинец и навёз в него неведомых зверушек (многих подарили профессора, граф Потоцкий — барсуков и фазанов, миллионер Терещенко — лебедей-шипунув). Как сказал его коллега, православный библиист Владимир Петрович Рыбинский (1867–1920), это был «живой, всем интересующийся, много знающий, трудолюбивый и деликатный человек, — он всюду был полезным и приятным членом». Завитневичу принадлежит одна из ведущих ролей в организации в 1917-м в Киеве Археологического института (идея его организации витала в университетском воздухе еще в 1910-м). Труды его касались преимущественно изучения творчества Алексея Хомякова, которому он посвятил многотомную монографию, высоко оценённую Флоренским (не без иронии).

Отчего этот «деликатный человек» и «везде приятный член» разразился таким текстом — личная неприязнь к Кулаковскому? фанатичность клерикальной закалки?

Вернусь к Ковальницкому. Будто бы прав поначалу язвительный критик: «г. Кулаковский как филолог чуждается софистических изворотов; он любит точность и определённую слововыражения». Точнее не скажешь.

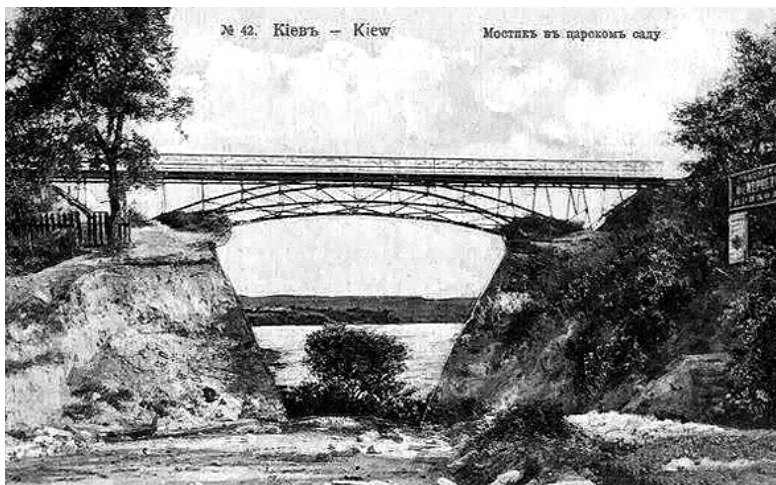
Но вот Ковальницкий как человек, «благоговеющий перед истиной и силой христианства», движется дальше: «Теория г. Кулаковского есть крайняя крайность, абсурд: у него нравственно-религиозному, духовному фактору в борьбе народа-государства за сохранение своего исторического религиозно-политического облика и веками сложившегося строя места почти не даётся, из дела устраняется религия, а выступает только внешний общественный порядок и индифферентная к вопросам религии полиция»; «знание он заменил смелостью, развязностью, бесцеремонностью. С напускным видом знатока дела он принялся обсуживать и подгонять под своё предвзятое последнее слово науки самому ему неясно представляющиеся факты замечательнейшей исторической эпохи, когда совершался величайший кризис в духовной жизни человечества». Итд.

Вывод:

«Лекция г. Кулаковского представляет легкомысленнейшее вторжение в область мало ему знакомую, где он, под давлением предвзятой идеи, одно опрокинул, другое скомкал, третье разломал и втоптал в грязь. Без компаса и руля, подставивши парус своей учёной ладьи по либеральному ветру, он пустился в “море великое и пространное” истории, и сразу же потерял верный курс; его занесло в водоворот-пучину, и он наловил там, вместо рыбы, “гадов, их же несть числа, малая с великими”, и состряпал из них либеральное блюдо с пикантнейшим соусом. На западноевропейском учёном поле собрал куколя и мякины, минуя полновесную пшеницу, подбавил весьма значительную долю своего киевского песочку, и изготовил месиво, мало напоминающее здоровый хлеб; всем этим он и угостил собравшихся на его благотворительный обед».

Если отбросить ретирадную метафорику, которой пересыпаны эти и многие другие строки, ничего конкретного автор в них и не выразил.

Кулаковский же, отвечая, выказал себя не только специалистом, который ладно владеет предметом, но и остроумным полемистом, виртуозно изымающим почву из-под упрёков и претензий выученного деятеля церкви. Причём, кратко — не в пример оппоненту.



Киев. Пешеходный мост («Мост влюблённых», «Тёщин мост», «Чёртов мост»), инженер Е. О. Патон, 1910

Тот, конечно, взбеленился.

«Ответ Юлиана Кулаковского на наши замечания только подтвердил наше предположение: мелкий личный, а не серьёзный научный интерес был у него на первом плане <...> Кто прочёл “Ответ” Юлиана Кулаковского, тот не мог не быть поражён полным отсутствием в нём достоинства, самообладания, спокойствия. Кулаковский взбешён и неистовствует. Руки его полны грязи, которую он мечет направо и налево в страстном возбуждении и не подозревая, что марает только самого себя. Не имея возможности назвать имя своего “антагониста”, который интересует его более, чем “существо дела”, он направляет свои самые грубые и оскорбительные, какие только мог придумать, выходки против Киевской духовной академии, в богословских идеях которой и в понимании истории христианства не может быть, конечно, ничего общего с воззрениями и уяснениями Кулаковского <...> Серьёзного в “Ответе” Кулаковского ничего нет, потому что ничего серьёзного он и не мог возразить против наших “Замечаний”».

Какой здравый человек выдержит глумление на протяжении стольких страниц? Едва ли есть что-нибудь приятное и умственно выразительное в этой околонучной разборке: оставим на совести Ковальницкого его риторические упражнения. К Кулаковскому, просто и кратко выдвинувшему *свою* концепцию, это отношения не имеет. Ковальницкий же отобедал блю-

дом, им самим приготовленным, надо полагать, досыта, и остался там, где положено, — в дураках.

Деревицкий в некрологе Кулаковскому писал, что и в выборе темы, и в материале этой лекции

«можно усмотреть некоторую зависимость от Моммзена, всего только за год перед тем (в зибелевской “Historische Zeitschrift”, 1890, кн. 3) коснувшегося вопроса о религиозных преследованиях в Римской империи в статье “Der Religionsfrevl Nach Römischen Recht” [(1890)]. Однако в общем понимании смысла гонений на христианскую церковь со стороны римской государственной власти Кулаковский совершенно разошёлся с великим германским историком. Моммзен видел в религиозности римского народа проявление в сакральных формах присущего этому народу патриотизма; наоборот, Кулаковский считал римскую религию чем-то мёртвым, — по его словам, “она замкнулась в кругу обрядности”, а потому к религиям других народов относилась равнодушно. Власть в Риме интересовалась религиею только с точки зрения общего государственного порядка, — государство даже не располагало органами, кои ведали бы делами религиозными. Борьба могла происходить лишь в той среде, в которой распространялось христианство, и за вызванные этой борьбой волнения римская власть только и судила христиан, — “хотя им казалось, что их судили за самое имя христиан”.

Эта точка зрения, да ещё в применении к толкованию таких памятников, как “Acta proconsularia martyrum Scyllitanorum”, не могла не вызвать возражений». Ковальницкий «с большим диалектическим искусством и не без ядовитости и полемического задора старался доказать Ю. А. Кулаковскому ошибочность его взгляда. Он укорял его в тенденциозности, в предвзятости, в слепом, непродуманном следовании сомнительному авторитету Обе (*Aube*. “Histoire des persecutions de l’Eglise”), в непонимании смысла тех актов, на которые он ссылался, даже в сознательном их искажении. Эти обвинения глубоко уязвили Ю. А-ча, и он, в свою очередь, разразился в ответ не менее резкою полемическою статьею <...> Полемика эта стала принимать характер скандала и причинила немало огорчений Ю. А-чу. Но в это время, к счастью, внимание его было отвлечено в сторону новых учёных задач, заставивших его перенестись в другую область и заняться крымскою археологиею».

В конечном счёте, обличавший Кулаковского Ковальницкий остался «неотвеченным».

Ещё раз подчеркну (судя по свидетельству Деревецкого): Кулаковского не только не покидало желание прослыть «рус-

ским Моммзенем», но он в некотором — пусть и скандальном — смысле, сам о том, похоже, не подозревая, разделил судьбу Соловьёва, который за два месяца перед тем, 19.10.1891, в заседании Московского психологического общества прочитал реферат «О причинах упадка средневекового мирозерцания», который был, как следовало ожидать, наполнен «чувством катастрофизма по отношению к традиционному православию». После этого выступления Соловьёву вновь запретили чтение публичных лекций, чем он охотно воспользовался и до конца дней носа в аудиторию не казал.

Лекция, в которой в качестве диспутантов на закрытом заседании выступили князь Дмитрий Цертелев, Николай Бугаев (отец Андрея Белого), Николай Зверев, Сергей Трубецкой, Дмитрий Анучин и Юрий Говоруха-Отрок, вызвала одну из самых ярких полемик в творческой биографии мыслителя.

Говоруха-Отрок — Розанову:

«В отчётах *Русских Ведомостей* о заседании Психологического Общества, где я спорил с Соловьёвым, всё ужасно переврано: и его и мои слова. Впрочем, спор вообще был бестолковый, благодаря тому, что он уклонялся от прямой и ясной постановки вопроса» (14.03.1892).

Из опубликованной много позже стенограммы этого, впрочем, не видно. Николай Бердяев в статье к 25-летию со дня смерти Соловьёва отметил, что в этой лекции, которая в своё время наделала много шума и вызвала нападки на Соловьёва, автор изобличает полуязыческий характер средневекового христианства и видит в прогрессе гуманности, в общественных реформах, осуществление христианских начал, хотя и не осознанных.

Кулаковский не мог не знать об октябрьском выступлении Соловьёва. И хотя его текст был опубликован подпольно, на гектографе в 1892-м (широко же — посмертно, в 1901-м, а затем в Собрании сочинений, в 1911-м), в «Московских ведомостях» в октябре 1891-го появились два соловьёвских «письма в редакцию», из которых можно контекстно разузнать о главных соображениях, излагавшихся в реферате. Кроме того, в ноябрьской книжке «Вопросов философии и психологии» за 1891-й, в теле отчёта о заседании Московского психологического общества, были опубликованы семь тезисов реферата.

Выбирая тему для публичной лекции, Кулаковский вполне

мог просматривать и «Московские ведомости», и «Вопросы философии и психологии», в которых, конечно, издание реферата планировалось. Соловьёв писал редактору, Якову Колубовскому:

«Я предлагаю совсем не печатать большого реферата (то есть, ничего из него для первого отдела журнала), потому что я хочу (и начал) <его текст> распространить и переделать. Следовательно, теперь нужно перебрать другим шрифтом набранное (сокративши вступление) в тех размерах, как я его говорил (это я Вам сделал сейчас на имеющихся у меня гранках, которые я посылаю), а прочее набрать по моей подлинной рукописи, которую также посылаю и прошу беречь, так как она мне понадобится. Составление подробного протокола без моего участия (пока оно физически возможно) есть нелепость. Другое дело, если бы я умер или лежал в бреду».

Корректурa планировавшегося к изданию реферата сохранилась и стала основой для новейших переизданий в Перестройку, в конце 1980-х.

В «Письме в редакцию» газеты «Московские ведомости», опубликованном 30.10.1891 (№ 300), Соловьёв закавыченно цитирует фрагмент своего реферата:

«Возможность мученичества всегда и везде висела над христианами и придавала очищающий, трагический характер их жизни. Важное преимущество тех веков перед последующими состояло в том, что христиане могли быть и бывали гонимыми, но ни в каком случае не могли быть гонителями. Вообще, принадлежать к новой религии было гораздо более опасно, чем выгодно, и потому к ней обращались обыкновенно лучшие люди, с искренним убеждением и одушевлением. Жизнь тогдашней церкви если и не была проникнута *вполне* духом Христовым, то во всяком случае высшие религиозно-нравственные мотивы в ней преобладали. *Было* среди языческого мира действительно христианское общество, далеко не совершенное, но всё-таки управляемое иным, лучшим началом жизни».

Под несколько иным углом — не религиозно-нравственным, но историко-культурным — ставит себе задачу и Кулаковский:

«Я имею в виду уяснить вопрос о так называемых “гонениях”, ограничив его хронологическими пределами первых двух веков нашей эры. В учёной литературе нет единства во взглядах по этому вопросу, и, следует прибавить, широко распространены, в особенности у нас, некоторые существенные недоразумения и неточные представления. Выясняя вопрос



Киев. Крыши трёх учебных заведений: Коллегия Павла Галагана, Первая гимназия, Императорский университет св. Владимира, фото 1900-х

о «гонениях» в указанный период времени, я тем самым надеюсь показать, как и почему могло распространяться христианство в римском мире под охраной общих законов».

Так и подмывает предположить, что Кулаковский был знаком с гектографированным оттиском лекции Соловьёва:

«Гонения не были явлением обычным, повсеместным и повседневным. Безусловно всеобщих гонений — во всей Римской империи — не было вовсе; большинство же гонений имело местный и случайный характер. Но так как были римские законы, в силу которых можно было преследовать христианство в качестве уголовного и государственного преступления, то *возможность* мученичества всегда и везде висела над христианами и придавала очищающий, трагический характер их жизни». У Кулаковского:

«Гонения от государства не было за весь II век, как не было и в течение I-го. Но если были мученики, если лилась кровь и щедро расточались смерть и казни, то это преследование шло из самых недр общества, из той среды, где распространялось христианство. Там вело оно борьбу за убеждения, там прививало оно свои верования и идеалы; и так как эти верования и эти идеалы были опровержением и разрушением старого ми-

ра, были его отрицанием, — старый мир и отстаивал себя, и боролся с этим своим смертельным врагом <...> Просвещённое общество не проявляло интереса к новому вероучению, а в той среде, где распространялось христианство, борьба идей шла напряжённо, а в иных местах с яростью и ожесточением. Она вызывала случаи обвинения данным лицом данного христианина, а подчас и крупные волнения, когда фанатически настроенная чернь бросалась разбивать христианские дома собраний и разорять самые жилища христиан. События в этом последнем роде вызвали указ императора Марка Аврелия, в котором повелевалось подвергать наказанию виновных в распространении учений, которые волнуют народ и вызывают беспорядки». Итд.

Правда, внимательный читатель сам отметит различия?

Здесь следует вспомнить ещё об одном труде Соловьёва, опубликованном в пятой, сентябрьской книжке 1891 года «Вопросов философии и психологии», почти за четыре месяца до лекции Кулаковского о римских гонениях.

В статье «Из философии истории» Соловьёв писал:

«Римское государство со своею апофеозою кесарей признавало себя абсолютною формой людского единства, окончательным воплощением объективного разума в мире, и свой закон, своё право — безусловною нормой человеческой жизни; могла ли эта самодовлеющая громада без отчаянного сопротивления преклониться перед высшим началом и отказаться от своей ложной абсолютности, чтобы приобрести истинную — чрез свободное служение делу Божию, чрез солидарное участие в созидании царствия Божия?»

Что Кулаковский наверняка был знаком с этой статьёй и этим «римским» высказыванием Соловьёва, совсем не удивительно: журнал исправно поступал в библиотеку киевского университета.

Удивительно иное: отчего Соловьёв в течение осени 1891-го в двух программных выступлениях комментирует явления римской истории — казалось бы, дело научной жизни Кулаковского? Да ещё так:

«Борьба языческого государства и языческой мудрости против христианства продолжается донныне. Открытая борьба, окончившаяся в IV веке, представляет сравнительно мало интереса с точки зрения философии истории. Общие причины, по которым христианство должно было восторжествовать, не требуют особых объяснений».

Как это «не требуют»? Ещё как требуют, — наверняка по-



Василий Осипович Ключевский

думалось Кулаковскому. Читая соловьёвскую лекцию, многое может прийти на ум. Например, Ключевскому пришло:

«Хочет догматизировать и канонизировать свои социалистические и даже просто служебные похоти <...> Навязывает христианские основы социализму. Наполовину припадок неясной и воспалённой мысли, наполовину риторическая игра словами <...> Трактирная терминология психиатрического общества <...> Наружность протрезвившегося Любима Торцова (герой комедии А. Н. Островского “Бедность не порок”, олицетворение “русской национальной идеи”. — А. П.) с отросшими волосами — нечто среднее между длинноволосым попом и лохматым нигилистом — расстрига.

Десертный оратор, Дон Жуан философии.

Что-то пошлое, дурацкое, точно дуралей озорной ворвался в рабочую комнату, где делали своё дело, всё перепутал, напакостил и убежал <...> Атеисты всемилостивейше пожалованы в действительные статские христиане» итд — на полторы страницы дневника.

Не правда ли, есть сходство с текстами Ковальницкого по поводу речи Кулаковского? Но здесь — частный дневник, там, в Киеве, — цикл объёмистых публикаций.

Недолюбливал здравомысленный Ключевский Соловьёва — может, из-за отца, Сергея Михайловича, с которым занимался в рабочей комнате одной и той же российской историей?

«В средневековом миросозерцании признавался Христос без христианства; в соловьёвском новейшем — истинное христианство без Христа торжествует, созидаемое неверующими».

Не принял остроумный и умный Ключевский позицию Соловьёва, и вправду модернизовавшего христианскую доктрину. Любопытно было бы знать мнение Василия Осиповича, успей он прочесть «Столп и утверждение истины» о Павла Флоренского, проведшего такую модернизацию куда более последовательно. Но до выхода этой книги в 1914-м Ключевский не дожил.

Василий Зеньковский, характеризуя «необычайно острое ощущение истории» у Соловьёва, усмехался: недаром тот был сыном историка, — потому-то в философских построениях Соловьёва и чувствуется постоянно Гегель, что для него «историчность» была главной формой бытия, его цветением.

«Не космоцентризм определяет подход Соловьёва ко всем вопросам — не в том смысле, что он превращает проблемы в исторический обзор их решений, а в том, что для него все “лики” бытия раскрываются в истории» (1950).

Соловьёв обладал большим даром *философской архитектуры*, и если порой какие-то части его постройки, конечно, организованные систематически, кажутся какофоническим смешением мелодической стилистики (Спиноза и Конт, Кант и Каббала), то это лишь оттого, что мы привыкли к чистоте стиля, будто для соблюдения этой чистоты предоставлены экологические моющие средства.

В Соловьёве было слишком «мало немца», недоставало педантичности, чтобы продуманный полёт мысли вколотить в схематизацию системы. Его бы затошнило в этой клетке.

Может, оттого понятие Богочеловечества объединяет космологию, антропологию и историософию Соловьёва, что ему хотелось разные «задушевные переживания» сопроводить грубоватой шуткой, «продёрнуть лёгким матючком», показывая, что главное не в философской порче тряпочной бумаги, а в том, что у тебя просто есть такая возможность.

Николай Онуфриевич Лосский в «Истории русской философии» подытожил:

«В философии Соловьёва много недостатков. Часть этих недостатков перешла по наследству к его последователям.



Киев. Александровский спуск и панорама Подола, фото 1890-х

Однако именно Соловьёв явился создателем оригинальной русской системы философии и заложил основы целой школы русской религиозной и философской мысли, которая до сих пор продолжает жить и развиваться» (1951).

Недаром Соловьёв, по наблюдению Розанова, был не столько русским, сколько европейским, космополитическим, сиречь *общечеловеческим* философом.

Здесь аргумент стоит предложить ещё одно объяснение притягательности католицизма для российских умников. Оно подсказано Бердяевым в книге «Философия свободы» (1911).

«Католичество остаётся осью западной истории. Всё проходит, всё минует, всё тлеет, одно католичество остаётся <...> Даже неверующие должны признать, что в этой исключительной силе католичества скрывается какая-то тайна, рационально необъяснимая <...> Сила католичества есть иррациональный остаток для всякого рационального объяснения истории».

Это пишет певец православия, поборник соборности: «великая европейская культура — католическая культура».

У Бердяева в текстах каждый замечает кроме естественных, приличествующих делу поворотов, малоприличные несообразности, противоречия внутри излагаемого материала, но удивлённый подскок читательской брови вознаграждается целостным взглядом Бердяева на мироустройство, прозрачным

и убедительным до рези в глазах. Так и в размышлениях о католицизме, в этих вот констатациях, мол: «папа Лев XIII многими головами выше пап предшествующих эпох». При неприятии концепта папоцезаризма Бердяев справедлив: «предоставленное себе католичество так же мало способно преодолеть злое в себе, как и предоставленное себе православие». И нечего досадовать.

«Католическое возрождение проходит через романтику и декадентство. Православие не порождает из себя романтики и с трудом соприкасается с декадентством или сатанизмом. На православном Востоке есть, конечно, и романтики, и декаденты, но они внеправославного происхождения, на Западе же — происхождения католического».

Соловьёв не мог прочесть эти строки, а Кулаковский мог, хотя о наличии в его библиотеке книг Бердяева утверждать нельзя. Но ведь были же и другие библиотеки, кроме домашних, — чужие домашние.

Припоминая свои отставленные прокатолические ориентации 1880-х, он мог порадоваться бердяевскому соразмышлению:

«Западная католическая культура с её томлением и устремлением вверх имеет свою творческую миссию, но на почве восточноправославной мистики легче рождается сознание апокалиптическое, так как Церковь православная не претендовала быть, подобно католической, уже осуществлённым Градом Божиим на земле».

О своём якобы католичестве Соловьёв выразился предельно ясно в письме к Аксакову:

«Обо мне распространился решительный слух, что я перешёл в латинство. Я бы не считал постыдным сделать это, но именно мои убеждения не допускают ничего подобного. Употреблю глупое сравнение: представьте себе, что моя мать на ножах со своей сестрой и даже не хочет признавать её за сестру. Неужели, чтобы помирить их, я должен бросить свою мать и перейти к тётке? Это нелепо. Всё, что я должен сделать, — это внушать всеми силами своей матери (и своим собратям), что противница её всё-таки родная законная сестра, а не... и при всех своих старых грехах всё-таки порядочная женщина, а не... и что им лучше и благодарнее бросить старые счёты и быть заодно».

Осмелюсь предположить, что Кулаковский воспринимал православие и католичество, по меньшей мере униатство, в среде которого вырос, тоже — как и Соловьёв — как *единую модель христианства в его досхизматической версии*.



Киев. Думская площадь. Слева — главный фасад Киевской городской думы, справа — кофейня Бернарда Семадени, фото 1900-х

Его космополитический — иначе не назвать — профессиональный интерес к истории и римских территорий, и восточно-европейских, «византийских», составляет основания для такого заключения. Ведь странно было бы ожидать от человека, сочинившего антидогматический с православной точки зрения трактат о первых веках христианства, отсутствие сомнений в верности какой-либо из ветвей христианской доктрины. Далёкий от доктринальности, сомневающийся и размышляющий, Кулаковский воспринимал историю веры как свою современность, сущую в его сознании вне времени и пространства, во всяком случае — вне времени и пространства современной ему Российской империи, едва становившейся как культурная держава, и современного ему западного мира, славно усвоившего себе равновесно культурную форму бытия и быта.

Бердяеву наверняка пришлось бы по сердцу нестандартность таких мировоззренческих бракосочетаний, знай он о киевской лекции Кулаковского. Недаром в другой неровной книжке, «Смысл творчества», он утверждает, что только переживающий в себе всё мировое и всё мировым, только победивший в себе эгоистическое стремление к самоспасению и самолюбивое рефлекти-



Пётр Яковлевич Чаадаев

рование над своими силами, только освободившийся от себя отдельного и оторванного силён быть творцом и лицом. «Только освобождение человека от себя приводит человека в себя». Ой ли?

Философам позволительно выражаться туманным слогом. Учёный должен быть точным, и отдавать отчёт в системе координат, в которой вознамерился трудиться. Бердяевским «всем» наверняка было для Кулаковского христианство как целостность мироотношения, отличная от других форм духовной целостности. С его ритуально-бытовым «крестить лоб» такое мироотношение соотносилось, как поэзия с прозой.

Тот же Бердяев высказался о Соловьёве, мол, образ его, если брать его в целом, является более интересным и оригинальным, нежели его философия в собственном смысле. Но что значит здесь образ в отрыве от созданного Соловьёвым более или менее целостного, даже в чём-то системного учения? Образ философа без его философии — пустое место, пыль по углам неубранной квартиры, позавчерашние носки под кроватью. Образ проявляется через дело, через думанье и записывание итогов этого думанья.

Здесь позволю себе «отступление в отступлении» — на этот раз связанное с темой чаадаевских «философических писем». Впервые они были обнародованы, как известно, в конце 1923 го-

да Михаилом Гершензоном, а до того — с времени появления — пачками ходили по интеллигентным квартирам в списках. В 1913-м Соловьёва уже давно не было в живых, а вот Кулаковский, конечно, не мог пройти мимо чаадаевского двухтомника.

Тогда же 23-летний Мандельштам был глубоко увлечён гершензоновским изданием и текстами Петра Яковлевича. В ноябре 1914-го, в первые эйфорические месяцы войны, он уже предлагал редакции «Аполлона» статью «Пётр Чаадаев».

У крупнейшего русского западника XIX века его поразила идея единства как вневременной смысловой связи, являющейся, однако, в невыдуманной конкретности исторической преемственности. Его зримое воплощение Чаадаев искал в ритуальном явлении католицизма.

«Сильнейшая потребность ума, — писал поэт, — была для него в то же время и величайшей нравственной необходимостью. Я говорю о потребности единства, определяющей строй избранных умов».

В мандельштамовских стихах 1914–1915 годов, по наблюдению Аверинцева, «очень громко звучат католические мотивы». Выкрестившись из иудеев в методистской кирхе в Выборге (чтобы иметь право поступления в С.-Петербургский университет), Мандельштам оказался не внутри протестантизма, но между православием и католичеством, по слову Аверинцева, «действительно задевающими его душу и вдохновляющими его поэзию». — «По отношению к православию и католицизму крещение у методистов — “нулевой вариант”, отодвигание выбора» (Аверинцев). Поверим Сергею Сергеевичу, однажды сказавшему, что труднее всего верить или не верить, и что приятнее пользоваться неотчётливыми состояниями ума.

Для нынешнего человека вопрос действительно обострён, но для XIX века, не говоря о предыдущих, он стоял не так: конечно, верить, но в рамках какой концессии (я не беру параноидальные случаи вроде вольтеровского). Думающие люди искали для себя выход из затруднения, предлагая соединить обе ветви христианства — для чистоты вероисповедной модели. Но дверь для такого выхода была не той же самой, что и для входа.

Мне очевидно, что Кулаковский, в сентябре–октябре 1891-го знакомясь с находящимися в плоскости непосредственного интереса высказываниями Соловьёва (общаясь с кн. Евг. Трубецким, он мог знать подробности московской лекции 19 октября),

тему собственного выступления выбрал с оглядкой на Соловьёва, на его римские (верней, антиримские) размышления.

Броско, колко, непривычно мыслил Соловьёв, а дерзость привлекательна. Кулаковский тоже мыслил колко и непривычно, и тем самым изготавился для ведения латентной, лишь ему да Соловьёву понятной полемики.

Не надеялся ли Кулаковский, что опубликованный текст его «Христианской церкви и римского закона» постигнет та же счастливая судьба, и вызовет со стороны Соловьёва желание либо стать на его точку зрения, либо вступить в спор?

Ведь тезис Соловьёва, что «Римская империя, преследуя христианство и тем как бы объявляя себя несовместимую с истиной, теряет своё внутреннее оправдание, — и внешнее её единство оказывается случайным и непрочным», — этот тезис не мог не задеть законосообразных суждений Кулаковского, не породить в нём желание распетушиться.

И не является ли скрытым ответом на эти строчки следующее место из лекции Кулаковского:

«Когда римская государственная власть должна была прийти к сознанию, что она своим попущением дозволила развиваться союзу единомышленников, покрывшему своей сетью весь римский мир, союзу, который успел выработать сильную и централизованную внутреннюю организацию со своей иерархией, со своими капиталами и с прочным единством одного вероучения, — тогда она должна была взглянуть на христианство как на факт политического значения, признать в нём политическую опасность?»

Соловьёв рассматривает христианские явления Римской империи с нравственных позиций, Кулаковский — с фактических, однако их выводы скрещиваются в историко-культурной рецепции начала 1890-х подобно вертикали и горизонтали.

Замусоривая читательское сознание вопросительными знаками, я стремлюсь показать, что Кулаковский и Соловьёв, расставшись в дождливый день осени 1887-го на железнодорожной станции в Воробьёвке, сохраняли — хотя на учёном уровне — любопытство к трудам друг друга, самопровоцируясь к скрытой полемике.

Так осенью 1891-го научные судьбы двух прогрессивно мыслящих и строго судящих умников пересеклись в третий раз — будто поодаль скрещённые шпаги, без секундантов, дóктора и вопреки правилам дуэльного кодекса.



Киев. Николаевский костёл на Большой Васильковской, 1899–1909, архитекторы В. В. Городецкий, С. В. Воловский, скульптор Э. Саля, фото 1910-х

Их первая встреча — в студенческой аудитории — завершилась конфликтом, со временем потерявшим идейную яркость и растаявшим. Вторая встреча — двумя месяцами плотного общения в компании Афанасия Фета, сблизившая их учёные воззрения и расставившая акценты в экуменическом вопросе. Третья встреча, заочная и оттого наиболее выразительная, осевшая в письменной переписке и без специального пароля едва заметная, — подтвердила внимание Соловьёва к научной деятельности и воззрениям Кулаковского в области римской культурно-политической истории и породила непосредственный отклик на такую форму отношений.

Как любимой формой досуга Кулаковского было берейтерство («ни один час, проведённый в седле, не может считаться потерянным», — утверждал Черчилль), формой труда — поиск и дискуссия, так у Соловьёва любимой формой бытования были спекулятивная мысль и задиристое письмо.

Конечно, если бы Соловьёв и Кулаковский знали о себе столько, сколько знаем о них мы, они, пожалуй, вели бы себя иначе: не ссорились, содержа свои поступки в благообразии, активно переписывались (тогда это было в моде, иначе зачем почта), давая материал для текстолога с историком, живо обменивались книжками и оттисками статей, уснащая их долгими инскриптами, похваливали бы друг друга с завидным регулярством, и оказались бы в конце концов кем-то другим, только не самими собой. Быть может, — средними вузовскими преподавателями, лекции которых влекут лёгкий храп студента с риском разбудить ближнего. Нет, научная обывательщина не про этих одержимых размышлением персонажей.

Как писал Бердяев, альтруизм глубоко противоположен всякому творчеству, пытается создать ему моральную задержку.

«В творческой морали личное переживается как мировое и мировое как личное. Для неё перестаёт быть интересным банальный и элементарный вопрос об эгоизме и альтруизме».

Кулаковскому с Соловьёвым, как и всякому творчески ориентированному персонажу, альтруизм противопоказан, губителен. (Не оттого ли Кулаковский совсем не торопился жениться?) Цинично? Ну и пусть. Слишком оба — Кулаковский и Соловьёв — не вписываются в школьное представление о значительных людях. Ну, понятно:



Киев. Дом генерал-губернатора на Литках, гравюра 1880-х

«Владимир Соловьёв — избранный сосуд, Пушкин русской философии: все прочие частичнее, он же взялся за ВсеЦелое, объять необъятное, что нельзя по житейской мудрости. И потому безумен в веке сем, кто берётся. И он надорвался: все последующие русские философы начинают с того, что отталкиваются от Соловьёва и критикуют» (Георгий Гачев).

А Кулаковский? — Не стану сравнивать. Не потому что лишь «живущий несравним», а мертвецов можно, — потому что сопоставлять стоит не по общему, а по частностям.

Общее — это образ учёного на ветру столетий, формирующийся не обязательно его научным вкладом; частное — человеческий поступок, к большим ветрам истории, как правило, отношения не имеющий («дуй, ветер, дуй, пока не лопнут щёки»), но к порче воздуха иногда причастный.

Кулаковский, первый в России, мог громыхнуть о стол тремя объёмистыми томами «Истории Византии», затем — высыпать несколько килограммов найденных в Крыму немых артефактов, указать на полочку с «римскими» и прочими сочинениями и переводами. Пара сотен студентов смогли бы назвать его учителем, двое ребятшек — отцом, одна женщина — мужем, несколько — любовником. За каждой из этих позиций — труд, напряжение, победа над нежеланием и желанием,

и многолетняя ответственность, со стороны кажущаяся прикрытой лёгким крeпдешинoм дамского воображения.

Так ли важны причины, вызвавшие размолвку между Соловьёвым и Кулаковским, столь ли существенно, что Кулаковский помогал Соловьёву с Фетом в переводе «Энеиды», целовал ли Кулаковский туфлю Льва XIII (профессиональный латинист), стращал ли его Соловьёв державным догматизмом православия, прельщал ли католицизмом; важно ли, что совпала римская магистраль их публичных лекций в Москве и Киеве, итд?

Важно, что оба понимали простое:

Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий —
Только отклик искажённый
Торжествующих созвучий?

Павел Николаевич Милюков восторгался так называемой загадкой Вергилия: «sic vos non vobis», «так вы не для себя», многожды обыгранной в истории литературы. О чём это? О том, что проходят в гимназии, а в жизни пытаются забыть.

В пересказе Тиберия Клавдия Доната (IV век), автора биографии Вергилия, дело выглядит так. Авторство написанного Вергилием (на воротах дворца) стихотворения в честь Августа приписал себе другой поэт, Батилл, который получил за него кесареву награду. Вергилий отозвался на это загадочно: «sic vos non vobis» и по требованию императора разъяснил странность:

Hos ego versiculos feci, tulit alter honores:

Sic vos non vobis nidificatis, aves,

Sic vos non vobis vellera fertis, oves,

Sic vos non vobis mellificatis, apes,

Sic vos non vobis fertis aratra boves.

[Я написал стихи, а другой получил награду.

Так вы не для себя вьёте гнёзда, птицы.

Так вы не для себя отращиваете шерсть, овцы.

Так вы не для себя делаете мёд, пчёлы.

Так вы не для себя тянете плуг, волы.]

Двусмысленность на двусмысленности, никакой очевидно-сти, уверенности, «ещё ничто не решено, ещё ничего не кончилось». Конструкции нет, но есть ощущение правоты.

Странный человек Александр Фёдорович Керенский, кото-

рый «не справился с управлением», считал историю последовательностью иррациональных событий, поскольку

«за самой точной статистикой, самыми жёсткими экономическими законами, самыми совершенными политическими доктринами и идеальными теориями всегда стоит человек со своей волей, и в зависимости от случайных обстоятельств человеческая сила или слабость, разум или глупость порождают новые исторические факторы, не предусмотренные никакими научными законами».

Неужели оправдывался? Наверно, просто зарабатывал на заграничный хлеб российскими мемуарами. Хотел понять, почему у него не получилось, где, с кем. Кто вышиб табуретку?

По гамбургскому счёту, всякие отношения между двумя незаурядными людьми (как и многое другое, чем занят историк оттого, что ему интересно) имеют смысл как поучение, как воскресная проповедь, как демонстрация эдакого нерасказуемого изящества того времени, когда прежние потомки ещё не сделались предками, народонаселение характерно бедностью, пьянством, расточительством, полуношничеством и естественным неблагоразумием, когда влюблённым не постыдно было ощущать себя нормальными и не чудить, а книжная пыль оказывалась пушистее, ароматнее той, которой для продолжения рода взаимоопыляются растения.

Это оттого, что людей много, а целей мало, оттого, что пригреть на груди строку упоительней, чем женщину, оттого, что кинематографическая тишина событий — с змеиным шипением киноплёнки — не успокаивает, оттого историческое поучение это указание пути от аскетического бесстрастия к страстности, к греховной сладости бытия, к самоистязанию творчеством, наконец.

Бердяев считал, что творчество необъяснимо, что оно тайна, и тайна творчества есть тайна свободы.

«В творческой свободе есть неизъяснимая и таинственная мощь созидать из ничего, недетерминированно, прибавляя энергию к мировому круговороту энергии <...> Акт творческой свободы прорывает детерминированную цепь мировой энергии <...> Свобода предельна, её нельзя ни из чего выводить и ни к чему сводить. Свобода — безосновная основа бытия, и она глубже всякого бытия <...> Творческая энергия есть энергия прирастающая, а не перераспределяющаяся».

Ставя правильные акценты, формуя программу отношения к творчеству как единственно возможную форму мироотноше-

ния к свободе, Бердяев настаивал, что каждый думающий человек стоит перед неизбежностью оправдать себя творчеством, а не оправдать своё творчество, потому что творчество есть прирост энергии не из другой энергии, а из ничего. Он не признаёт абсолютного и вселенского характера за законом сохранения энергии, преодолевает его, хамит ему самым разнузданным образом. Но забывает, что на самом-то деле свободный человек склонен не к бунту, а к подчинению.

На середине четвёртого десятка Кулаковскому показалось, что юность, та самая, вот-вот ушедшая, полуголодная, но лёгкая, библиотечно-коньячная, которая когда-то ходила на лекции, закутавшись в рыцарский плащ Казановы, глядит на него из беспорядочных, весёлых латинских строк.

А вокруг аккуратненько прислушиваются сикофанты, боязливо поглядывая на себя со стороны.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ГУТТАПЕРЧЕВОСТЬ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОЛОГИИ и ДРЕВНОСТИ НАДЧЕРНОМОРЬЯ Конец 1880-х и первые годы 1890-х

*Предположение реальности, поглощающей
крупицу наших сведений, — и есть научный по-
двиг. Духовный смысл научного открытия не в
расширении сферы познания, а в преодолении
её ограниченности.*

Андрей БИТОВ

Граф Толстой считал, что все романы, как правило, кончатся свадьбой, «словно это так хорошо, что дальше и писать нечего», в то время как со свадьбы-то романы и нужно начинать.

Хуже:

«Брак следует сравнивать с похоронами, — говорил он возмущавшейся Софье Андреевне, — а не с именинами. Человек шёл один — ему привязали за плечи пять пудов, а он радуется. Что здесь и говорить, что если я иду один, то мне свободно, а если мою ногу свяжут с ногою бабы, то она будет тащиться за мною и мешать мне».

Писатель должен быть циником. Циники это самые тонко чувствующие люди.

Так ли это или не совсем так, но всё-таки новую главу начну не со свадьбы. До свадьбы Кулаковского, надеюсь, доживём.

Ещё один, последний царь. То ли ощущение последнего в XIX веке десятилетия, то ли относительно долгий мирный путь империи при Александре III, но умственный народ начал как-то пристальней обращать внимание на то, где живёт, чем занят, и есть ли главным то, чем занят. Время для отсутствовавших внешних волнений нужно было чем-то заполнить, и вот нашли средство: *рефлектировать*. А это сомнительного качества полезное для ума занятие, как ни странно, до добра доводит редко.

В конце 1880-х разбушевался тоскливыми романами Достоевский, Толстой перестал питаться как мужчина и начал тащить *moralité* (не в средневековом духе, а в расейском), Писем-

ский давно умер, Григорович ещё старел, приступая к воспоминаниям, Боборыкин тачал «Василия Тёркина» (да-да, задолго до Твардовского) и пятикнижие «Китай-города», пыхтел Лесков (отчим Николая Михайловича Бубнова, декана историко-филологического факультета в 1905–1919-м). Чехонте-Чехов начал смешить «осколками московской жизни». Станюкович, будто молодой корвет, наскочил на блестящую морскую тему и, не ободрав словесных бочков, поставлял замкнутые отвлечённости морских поступков. Передвигались передвижники, рассыпавшаяся Могучая кучка (пардон, Балакиревский кружок) продолжала испускать слаженный звук; Прахов затеял роспись Владимирского собора, привлекая возможностью модернизации церковной живописи наиболее способных российских микеланджел. Врубель потихоньку начал съезжать с катушек.

В 1890-е один царь сменился другим: Николай II взошёл на престол 1.11.1894, в день смерти Александра III, короновался после двенадцатимесячного траура и полугодовой подготовки 26.05.1896: тщательно разработанным планом торжеств и увеселений, на которые казна выделила около ста миллионов рублей, руководили градоначальник великий князь Сергей Александрович и обер-полицеймейстер Москвы Александр Власовский.

Сергей Юльевич Витте вспоминал, что Александр III «был, несомненно, обыкновенного ума и совершенно обыкновенных способностей, и в этом отношении император Николай II стоит гораздо выше своего отца как по уму и способностям, так и по образованию». Тем не менее, в январе 1895-го, в Зимнем, новый 26-летний царь произнёс перед депутациями очень краткую речь:

«Мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начало самодержавия так же твёрдо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный, покойный родитель».

Бумажку держал перед собой в снятой фуражке, и подглядывал. В тексте вместо: «бессмысленными мечтаниями» стояло: «несбыточными мечтаниями», но смысл особо не мигрировал. Слушавшие возмутились: «Вы хотите борьбы? Вы её



Юлиан Кулаковский, фотоателье Владзимижа Высоцкого (Крещатик, 29/1), 1888,
На обороте надпись будущей супруге: «Любови Николаевне Рубцовой
в исполненье "хочу". Юлиан Кулаковский. 7 ноября 1889 г. Киев»

получите», — написал в прокламации Пётр Бернгардович Струве, зачем-то пророчествуя о том, из-за чего ему пришлось зимой 1918-го по финскому льду бежать вприпрыжку в чуждый сердцу Париж. Миriskусник Мстислав Добужинский вспоминал, как в Петербурге многие поддавались обаянию молодого царя, какие создавались вокруг него легенды, сколько возлагалось на него надежд, которые так обидно были им названы бессмысленными мечтаниями, и как затем разочаровывались. Причём, разочарования настигли слишком разумных, деятельных, тех, кого уничижительно называли *энтузиастами*. В XIX веке это было бранное слово, означавшее нечто вроде восторженного собственными идеями недоумка. Теперь точное значение, к сожалению, утрачено.

Новый ректор. Ректором Университета св. Владимира к осени 1890-го был назначен Фёдор Яковлевич Фортинский (1846–1902), историк средневековья, учившийся в Гёттингентском университете, ратовавший за введение на историко-филологическом факультете курса всеобщей истории. Он прослужил начальником Университета до самой смерти († 12.12.1902). Его брат Николай был протоиереем храма Христа Спасителя в Москве. Иван Помяловский радовался:

«Поздравляю Вас с новым ректором и радуюсь за университет, который приобретает в нём честного и открытого представителя, не способного кривить душой, — вместе с тем обладающего тактом и умением уживаться среди разносторонних течений».

Студент Павел Блонский, ставши советским чиновником от психологии и педагогики, вспомнит, что Фортинский, грузный седой старик, читал лекции весьма своеобразно: он садился на стул боком к аудитории и громко скороговоркой говорил содержание лекции. «Следить за ней и за этой скороговоркой было очень трудно. Впрочем, читал он недолго. Так мы и остались без средней истории». Другой слушатель, Николай Стороженко, в течение почти четверти столетия (в 1895–1919-м) побывавший директором Четвёртой и Первой киевских гимназий и попавший в «Повесть о жизни» Паустовского под кличкой «Маслобой», говорит о Фортинском иначе:

«Редко какой профессор столь тщательно готовился к лекциям и ни одной не пропустил. Литературу своей науки он знал почти всю, где что было напечатано на Западе, хотя новые европейские языки знал лишь те-



Николай II в трудах. Царское Село, 1913, фото Анны Вырубовой

оретически, разговаривать толком не мог из-за акцента, потому как был поповичем из Владимирской губернии и только студентом Московского университета начал их изучать. Память у него была образцовая: сядет, бывало, на кафедру, и только головой вертит с боку на бок, будто не глядя на слушателей, и целый час вспоминает события Меровингов, Каролингов, Капетингов, гвельфов, гибеллинов, Плантагенетов и т. п. с массой хронологических дат, а после каждой лекции, бывало, выдаёт издателю литографированных его лекций студенту Василию Васильевичу Дьяконову из города Варва Лохвицкого уезда коротенький конспект лекции и указатель литературы к ней на разных языках, и советует нам, чтобы



*Фёдор Яковлевич Фортинский —
делегат XI Археологического съезда, 1899*

знающие новые языки читали хотя бы основные рецензии. Ни одна из его лекций не была литографирована, прежде чем он сам её не отредактировал. Потому те [литографированные] курсы его были драгоценными, всё равно что печатные. Один экземпляр имел я до последнего времени в своей библиотеке.

Был он небольшого роста, крепенький, с маленькими, немного прикрытыми глазами, круглолицый, с складистой бородой; для всех доступный, всегда приветливо улыбающийся; голос имел немного глухой; держал себя с уважением, спокойно.

Кроме лекций, он ещё завёл для нас семинар, где мы читали рефераты, вроде диспутов — коллеги оппонировали, а тот, кто составил реферат, должен его защищать; в конце Фортинский высказывался о реферате и подчёркивал ошибки. Читал и я о “Хронике Генриха Латыша”, и мой реферат понравился Фортинскому настолько, что он хотел его отредактировать и напечатать, однако за разными занятиями эта мысль не осуществилась. Все студенты его так уважали, что экзамены проходили блестяще, потому все хорошо подготавливались.

Жил он в собственном доме на Нестеровской улице (с 1926-го улица Ивана Франко. — А. П.) под самой горой. Перед домом был палисадник,

и надо было через калитку по дощатому помосту идти к крыльцу (дом № 1. — А. П.). Между пятым и шестым часом [вечера] на звонок он сам открывал дверь и дружелюбно приветствовал студентов, которые заходили к нему в назначенное для них время или за книжками, или за консультацией, и выходили из его маленького, чистенького, с окном в сад кабинета, словно со свежими силами: учиться и просвещаться.

Упомяну об одном забавном случае из его жизни. Я уже закончил Университет, познакомился с Орестом Ивановичем Левицким и В. П. Горленко, как заходит ко мне Орест Иванович, тогда учительствовавший в Киевской Четвёртой гимназии, и говорит: “Не желаете ли принять участие в гимнастических тренировках, организованных небольшим кругом знакомых вам людей в зале нашей гимназии дважды в неделю по одному часу под руководством нашего же классного надзирателя Петра Назаровича Захарченко?” Я согласился. Прихожу в первый раз (Четвёртая гимназия находилась тогда в частном доме Снежка на углу Бибиковского бульвара (ныне Тараса Шевченко. — А. П.) и Пироговской улицы (№ 22–24. — А. П.), где спустя время был заведён профессором Митрофаном Викторовичем Довнар-Запольским Коммерческий институт), и гляжу: кружок состоит из Фортинского, Кулаковского, Горленко и Левицкого. Сняли мы верхнюю одежду, остались в нижнем белье, и начали производить различные экзерциции под руководством Захарченко. Смешно было смотреть на Фортинского, который с важным видом безропотно выполнял все задания. Тогда Захарченко хвалился, что никогда не видел, и не было у него столь послушного и способного ученика. Так как он [Фортинский] был старшим меж нами, бывало, вынужденно лидировал в той или иной показанной Захарченко экзерциции».

О занятиях Кулаковского гимнастикой в кругу киевских коллег упоминает в письме Флоринскому в январе 1887-м Николай Дашкевич:

«Фёдор Яковлевич выглядит бодро и занимается гимнастикой вместе с Юлианом Андреевичем и др., а Анна Феоктистовна, говорят, хворает».

Пожалуй, воспоминание Стороженко о его гимназических экзерцициях в обществе экстраординарного профессора Кулаковского и декана Фортинского относятся как раз к 1886–1887 годам, перед поездкой Кулаковского в Рим. Фортинский с 1890-го ректор Университета, с 1895-го Стороженко — директор той самой Четвёртой гимназии, и едва ли в середине 1890-х их совместная гимнастика могла продолжаться. Хотя: если нормальные люди, почему нет?

«Жена его [Александра Феоктистовна], — продолжу цитату из Николая Стороженко о Фортинском, — родом из города Сумы на Слобожанщине, и туда порой они ездили летом к её родным; двое детей — сын Иван (?) и дочь Надежда, которая, когда я уже был начальником Ольгинской гимназии, некоторое время была классной дамой, а о сыне не вспомню, какая его постигла судьба.

Фёдор Яковлевич умер задолго до Мировой войны, кажется в году 1902-м, недолго и трудно проболев. Царство ему небесное! Хороший он был человек — спокойный, правдивый, благоволивший молодёжи, искренне исполнявший все свои обязанности по отношению к ней!

Школы учеников он как-то не создал. Был у него едва ли не единственный ученик — Владимир Григорьевич Ляскоронский, бывший некоторое время приват-доцентом по той же кафедре, но остававшийся учителем Киевской Пятой гимназии, что на Печерске.

Напротив, раздражённый магистрант Евгений Викторович Тарле (1874–1955), будущий советский академик, писал о Фортинском Ивану Луцицкому:

«Только что отослал по Вашему совету экземпляры диссертации Фортинскому и два экземпляра в факультет (на имя Флоринского) и одновременно прошение о допущении к защите на имя Фортинского. Защищать буду (если допустят) в Киеве, как Вы советуете» (13.04.1901).

Об этой защите расскажу чуть дальше, а здесь только мнение о Фортинском, едва ли объективное:

«На Киевский университет — пока там сидит этот лысый Иуда Фортинский — смотрю как на пропавшее дело (по крайней мере, в течение одного года)» (14.07.1901).

Отвлекусь. Для Тарле, как и для Кулаковского, по слову Чуковского, содачника Тарле в Куоккале, не существовало покойников: люди былых поколений, давно свершившие жизненный путь, снова начинали кружиться у него перед глазами, интриговали, мучились, влюблялись, делали карьеру, суетились, шутили, воевали и завидовали — не призраки, не абстрактные представители тех или иных социальных стратов, но живокровные люди, как мы с вами. «Я слушал его, зачарованный. И, конечно, не только потому, что меня ошеломила его необычайная память, но и потому, что я никогда не видал такого мастерства исторической живописи». И вправду — считаешься. Вот портрет графа Витте:

«Его интересуют дела, и прежде всего те, которые делал или будет



*Сергей Юльевич
Витте,
портрет кисти
Ильи Репина*

делать именно он, Витте. Да и вообще он не очень представляет себе важное для государства дело, которое могло бы успешно осуществиться без его участия. Сознание своих громадных умственных сил, своего неизмеримого умственного превосходства над прочим родом человеческим, в чём он убеждён, невидимо сопричастует в каждой странице его мемуаров. Тут он исключений не знает. И “идеальнейшие”, и “бесчестнейшие”, и император Александр III, венец всех добродетелей, и император Николай II со всеми своими пороками, и Иосиф Гессен, и адмирал Дубасов, и Абаза, и Дурново, и Морган, и Вильгельм II, и Гапон — все они предназначены либо быть послушными марионетками графу Витте на утешение, отечеству на пользу, либо они бунтуют против Витте и губят и себя самих, и своё собственное дело. Это нас подводит к вопросу об историческом мирозозерцании Витте, чего тоже уместно коснуться в этих предварительных замечаниях» (1927).

В одном из исследований об Александре Богомольце, будущем академике, я нашёл подробности о посвящении в студенты в 1900-м.

Длинная очередь тянется по светлому, холодному коридору Киевского университета к приёмной ректорского кабинета.

Совершается традиционная церемония: новички накануне первой лекции представляются ректору. Фортинский равнодушно пожимает каждому молодому человеку руку и предлагает подписать торжественное обещание не принимать участия в студенческих организациях, не посещать сходок. Процедура смешная и жалкая. Представляться принято в сюртуках, а у большинства молодых людей сюртуков нет. Приходится за гроши брать у педелей напрокат донельзя лоснящийся парадный костюм. Эта комедия — ещё одно препятствие для «кухаркиных сыновей» на пути к высшему образованию. Массивная дверь кабинета то и дело выпускает одну за другой нелепые фигуры то с рукавами, едва прикрывающими локти, то с фалдами, болтающимися до щиколоток. Впрочем, тут же, у порога, с них этот сюртук стаскивают, и очередная карикатура готова к представлению.

Умственный засев 1890-х. В 1890 году родились Пастернак, Голосовкер, Ольга Фрейденберг и Мыкола Зеров.

В 1891-м — Мандельштам, Эренбург, Булгаков, Габричевский, Лиля Брик, Рюрик Ивнев, Константин Гамсахурдиа, Юрий Клён (Бургарта) и Павло Филипович.

В 1892-м — Цветаева, Паустовский, Георгий Адамович, Сергей Шервинский и Сергей Третьяков.

В 1893-м — Шкловский, Маяковский, Владимир Маккавейский, Вадим Шершеневич, Мыкола Хвылёвый и античник Лосев.

В 1894-м — Юрий Тынянов, Бабель, Зощенко, Георгий Иванов, Борис Пильняк, Григорий Петников, Виктор Петров (В. Домонтович), Виталий Бианки и Валентин Асмус.

В 1895-м — Багрицкий, Есенин, Перец Маркиш, Ирина Одоевцева, Тодось Осьмачка, Тициан Табидзе, Максим Рыльский, Бахтин и Константин Большаков.

В 1896-м — Евгений Шварц и Евгений Ланн.

В 1897-м — Илья Ильф (Иехиель-Лейб Файнзильберг), Мариенгоф, Евген Маланюк и Татьяна Зенгер-Цявловская.

В 1898-м — Оболдуев, Олейников, Эйзенштейн, Рита Райт-Ковалёва и Евген Плужник.

В 1899-м — Сельвинский, Вагинов, Андрей Платонов, Набоков, Олеша, Габрилович и Григорий Косынка.

В 1900-м — Николай Эрдман и Александр Копыленко.

Как-то кучно появились на свет главные персонажи грядущего

щего Серебряного века. По одному, по три на год — самый раз. Порой случались годы более урожайные.

«Мне смешно, — серьёзно, в скобках, пишет Надежда Мандельштам во “Второй книге”, — когда их называют “серебряным веком”, но в них была тревога и предчувствие конца. Все последующие преступления коренятся не в десятых и не в двадцатых годах — их корни гораздо глубже».

Читатель уже заметил, как с этими именами менялось время: рождённый в начале 1890-х совсем не тот человек, что рождён в их конце. Эрдман и Голосовкер — из разных времён, хотя возрастная разница невелика. А Лев Лунц и Вениамин Каверин, серапионовы братья, появившиеся на свет уже в XX веке, — вообще, кажется, другого замеса культурный контент.

Надежда Яковлевна в «Воспоминаниях» говорила, что родившиеся в девяностых Ахматова, Лозинский и Мандельштам оказались в тридцатых годах старшим поколением интеллигенции, потому что старшие уже успели погибнуть, уехать или сойти на нет.

«Для окружающих эти трое очень рано стали стариками, в то время как “попутчики” — Каверин, Федин, Тихонов и другие им подобные — очень долго ходили в мальчиках, хотя были моложе лишь несколькими годами. Бабель не примыкал ни к юношам, ни к старикам — он был сам по себе, — отдельным человеком. О. М. и Лозинский, как бы идя навстречу общественному мнению, очень рано состарились».

Анна Вырубова писала (если это не подделка графа Алексея Толстого) про Николая II:

«Интеллигенцию же Папá не любит <...> Он произносит это слово совсем особенно. Когда Папá говорит “интеллигенция”, у него бывает такая же физиономия, как бывала у моего мужа, когда он говорил “сифилис”.

Он всегда произносил это слово отчётливо, в голосе его был страх и какая-то особенная брезгливость.

Почему Папá боится интеллигенции? Не понимаю этого!

Непостижимо, отчего оба они [Николай и Александра] так не любят Вите».

Этот текст кажется теперь непринуждённым, выученным реверансом в сторону интеллигенции по сравнению с тем, как её вскоре невзлюбят рабочие, крестьянские и солдатские депутаты. Да и сами же интеллигенты — в «Вехах».

Мандельштам спрашивал в 1937-м:

Я шепчу обескровленным ртом:
Я рождён в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадёжном году — и столетья
Окружают меня огнём.

Но в 1890-х ничего такого не было: ещё давали в тюрьмах белый хлеб, бумагу, позволяли читать и писать, чтобы не свихнуться. Некий Ленин даже сделал толстую книгу («Развитие капитализма в России»), которую можно было сочинить только в тюрьме. Прочсть — тоже. Представляете: одиночная камера, кормят, есть молоко и книжки. Ты там что-то такое возмутил в «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса» (от труда?), так тебя за это не к ногтю, в кандалы, в Сибирь — слабенькое отопление и вынесенную парашу. Кюхельбекер возмущался: почему когда он сидел в тюрьмах Кексгольма, Шлиссельбурга и Даугавпилса, мог переводить Шекспира, а когда приехал в иркутскую ссылку, не мог? — вынужден был зарабатывать Вильгельм Карлович, чтобы раскрасневшиеся декабристские штаны не падали.

Осип Манделштам начал «Шум времени» воспоминанием о глухоте 1890-х.

«Я помню хорошо глухие годы России — девяностые годы, их медленное оползание, их болезненное спокойствие, их глубокий провинциализм — тихую заводь: последнее убежище умирающего века. За утренним чаем разговоры о Дрейфусе, имена полковников Эстергази и Пикара, туманные споры о какой-то “Крейцеровой сонате” и смену дирижёров за высоким пультом стеклянного Павловского вокзала, казавшуюся мне сменой династий. Неподвижные газетчики на углах, без выкриков, без движений, неуклюже приросшие к тротуарам, узкие пролётки с маленькой откидной скамеечкой для третьего, и, одно к одному, — девяностые годы слагаются в моём представлении из картин разорванных, но внутренне связанных тихим убожеством и болезненной, обречённой провинциальностью умирающей жизни».

Так хорошо писать нельзя: где же здесь «безупречная бедность эпигонства»? Где требуемое жанром упоминание о «fin de siècle», о декадансе и безвольном смирении перед «ударом бича» стиля модерн? «Растерянность образованных», «назревание чувства катастрофы», «усиление противоречий» и прочие общественные радости, как чирей (пардон, *fungulus*)

на заднице, кажется, внезапно и скоро лопнут, и гной глупости разольётся по берёзовым рошицам Империи, — а здесь, у Мандельштама, о широких буфах дамских рукавов и портосовских эспаньолках. Но, с другой стороны, когда времена были такими, что хотелось скорее рассматривать дамские букли, чем беседовать о депутатах Государственной или какой другой с их тяжёлыми думами «о времени и о себе»? *Suum cuique*. Тем более Мандельштаму.

Государыня императрица Александра Фёдоровна говорила Анне Вырубовой на излёте российской монархии: «Если бы я не была царица, то была бы с теми, кто против царей!» Так мы ей и поверили.

«Regum novarum». Возвращаясь к теме об отношении Кулаковского к католицизму (в связи с Вл. Соловьёвым), стоит напомнить, что именно в 1891-м, 15 мая, папа Лев XIII, один из самых здравых предстателей Петра на римском престоле, обратился к подчинённым ему братьям-патриархам, примасам, архиепископам и епископам с Энцикликой «*Regum novarum*» («О новых вещах»), посвящённой социальной проблеме положения рабочих и развенчанию доктрины всеобщего равенства. На то и энциклика — *en kyklios* — «для всех», «всем!», — чтобы привлечь внимание всеобщее.

Лев XIII не был особенно оригинальным: ещё в ноябре 1884-го Отто фон Бисмарк, выступая в Рейхстаге, заявил:

«Социал-демократия уж такова, какова она есть; но она во всяком случае — значительный симптом, “манифакел” (слова, начертанные, как известно, огненными буквами на стене во время Валтасарова пира. — *А. П.*) для собственнических классов, напоминание, что не всё обстоит так, как должно, и что можно приложить руку к улучшению <...> Если бы не было социал-демократии и если бы масса людей её не боялись, то даже умеренные успехи (*die mässigen Fortschritte*), достигнутые нами в области социальных реформ вообще, ещё не существовали бы, и поскольку это так, — страх перед социал-демократией для тех, у кого нет сердца относительно их бедных сограждан, вполне полезный элемент».

К началу 1890-х социалистические идеи, вызревшие на бумаге под пером радевших о всеобщем счастье населения утопистов вроде Сен-Симона, Фурье и Прудона, особенно Маркса с Энгельсом, настолько пропитали сознание умственно травоядного европейского обывателя, что показать разрушитель-

ность идей социализма было необходимо со стороны церкви, самой влиятельной в Европе.

Лев XIII указывает на главное заблуждение: посылку, что два различных состояния — богатые и бедные — объявляются враждебными по природе и что эта природа склоняет их к противостоянию и борьбе. Как в теле разные члены дополняют друг друга, оттого сберегается форма закономерности и меры, именуемая равновесием организма, так и природа требует, чтобы в обществе оба слоя дополняли друг дружку согласно.

Константин Леонтьев определил *форму* как деспотизм внутренней идеи, не дающей материи разбегаться. Можно сказать иначе: *форма это принцип организации некоего содержания, границами своей выразительности это содержание отражающая.*

Одно без другого не обходится: не может существовать капитал без труда и труд без капитала.

«Не должно быть, — пишет римский понтифик, — чтобы в человеческом обществе все были равны, чтобы самые низкие сравнялись во всём с самыми высшими. Правда, к этому стремятся социалисты, но *напрасна борьба против природы вещей.* Между людьми существуют с рождения *значительные и многочисленные различия*; не все равны по способностям, желанию работать, здоровью, силе; вслед за этим неизбежным неравенством идёт различие в положении и преходящий успех. Это идёт на пользу как индивидуумам, так и всем; ведь общественная жизнь требует различных способностей к работе и различным занятиям, и к осуществлению этих занятий побуждает людей, в основном, имущественное неравенство» (II, I a) итд.

С моральной точки зрения, Энциклика «*Regum novarum*» посвящена демонстрации работы механизма, как бедным и богатым жить дружно.

«Пусть *правители* спешат с помощью через законы и своё правление, — заключает Лев XIII. — Пусть *богатые, работодатели* помнят о своих обязанностях. Пусть *рабочие* добиваются своих прав достойным образом; а так как <...> лишь религия может искоренить и уничтожить до конца зло, пусть все помнят о том, что сначала следует воскресить *христианские нравы*, потому что без них немного стоят изобретения чисто человеческого разума, хотя бы они и казались очень уместными».

Конечно, смесь прагматического смысла с идеальными постулатами («Желанное спасение обществу следует ожидать, главным образом, от широко распространённой любви»)

не особенно способствовала логической стройности Энциклики, но чего ещё можно было ожидать от римского понтифика?

Если бы все друг друга «по-христиански любили», надобности в папском послании «всем!» не возникло, а поскольку всеобщая любовь, о которой приходится мечтать как о своего рода «моральном социализме», тоже утопия, стало быть, те фрагменты, в которых речь о конкретных действиях бедных и богатых по отношению друг к другу, следует зачесть антисоциалистическими и здравомысленными, а весь религиозный пафос, поставляемый Священным Писанием, — одной из форм «морального социализма».

Как бы ни было, Энциклика, прочитанная и воспринятая хотя бы с одной, конкретной стороны, пожалуй, сделала бы положительное дело, если бы не вторая часть, ориентированная на всеобщее равенство в любви друг к другу. Но каждый, в силу разности умственных способностей и рода занятий, вычитывал (если читал) в ней то, что считал для себя приемлемым.

Энциклики другого новаторского папы, Иоанна Павла II, изданные к 90-летию и столетию «Regum novarum» в 1981-м («Laborum exercens», «Трудом своим») и 1991-м годах («Centesima annus», «Сотой годовщине»), свидетельствуют, что темы «труд и человек», «конфликт труда и капитала», «законные права людей труда», «элементы духовности труда», затронутые Львом XIII, остаются в поле внимания церкви, радевшей о здоровой теории государства и по-кантовски понимавшей, что лишь «человек — путь Церкви», человек, «отряхнувший с ног шаги», а не его богатство или пауперизм.

Кулаковский непременно был знаком с Энцикликой «Regum novarum», этой социальной доктриной католицизма, противопоставленной социалистической доктрине, которая до противного убедительно набирала силу. Текст Льва XIII вообще произвёл на жителей 1890-х впечатление: впервые Церковь заявила, что социальные проблемы человечества ей не чужды, наоборот, она собирается активно в них участвовать и предлагать пути решения. Правда, были и хулители, выдвигавшие всякие обвинения: от потворства революционерам до благословения «бесчеловечного капитализма». Отвергнув как социализм, так и либеральный капитализм, Лев XIII фактически предложил третий путь: сотрудничества капиталистов и рабочих под эги-

дой Церкви (позднее он получил известность как «корпоративный строй»). Такая модель, замешенная преимущественно (если отбросить спецрелигиозную риторику) на здравом смысле, была по душе Кулаковскому, который водичку либеральничанья, надо сказать, воинственно презирал.

Настроение момента. Российская провинция 1890-х, в том числе и Киев, это любительские спектакли, вольнопожарные общества и балы-маскарады, «многомордые собрания» (современные *учёные бестолковища*), на которых первый приз присуждался за либеральный костюмчик, намекавший на шалости вице-губернаторской супружницы. Но чтобы появились те, кому будет суждено погибнуть в 1930–1940-х, должны были вымереть два–три поколения непоротых дворян после Петра (как точно написал Эйдельман). Большевики пороли интеллигенцию до смерти, и досужие умственные поветрия в России начали пугливо замирать в щелях библиотек и на верноподданных профессорских кафедрах.

Самые активные старались избавляться от депрессивности нагромождением работы: правда, им хотелось помереть ещё сильнее, чем прежде, но на это не было времени.

Милюков считал, что 1891-й был переломным «в смысле общественного настроения», и не последнюю роль здесь сыграла, пожалуй, папская Энциклика вне её принадлежности не православной, но католической доктрине. — Голод в Поволжье заставил страну встрепенуться.

«Несмотря на препятствия правительства, опасавшегося контакта интеллигенции с народом, удалось довольно широко развернуть общественную помощь голодающим. Известна инициатива Льва Толстого и В. Г. Короленки. Помню совещание, устроенное В. А. Гольцевым, на которое пришёл и Толстой. Речь шла о воззвании к загранице о помощи голодающим. Толстой решительно отказался подписать такое воззвание, заявляя, что он обратится к загранице лично. Другим взволновавшим общество событием в том же и следующем году было изгнание из Москвы 20 000 евреев, за которыми следовал кишинёвский погром евреев в 1893 г. (на самом деле в 1903-м. — А. П.). И по этому поводу мне вспоминается профессорский обед, периодически устраивавшийся из лиц, очень умеренно настроенных. На этот обед пришёл Владимир Соловьёв с определённой целью — заставить участников подписать протест против преследования евреев. Это было необычным для этого круга вмешательством в политику, и я с любо-



Киев. Здание Городской думы, архитекторы А. Я. Шиле, А. С. Кривошеев, 1876, надстройка третьего этажа — 1900, фото 1900-х

пытством наблюдал, как поступят некоторые профессора. Все они подписали протест, — даже [В. И.] Герье. Таково было настроение момента».

Раз возникнув, «настроение момента» длилось долго, до первого «краснобантного» переворота в феврале 1917-м.

Поскольку выяснен масштаб, можно прописывать детали.

Между делом, в поиске темы. Круг научных писаний Кулаковского конца 1880-х — начала 1890-х широк настолько, насколько может человек, радостно обретший прочный общественный статус, бросаться в волны: будто отрок, который оставил на берегу застывшую в деланном удивлении девицу.

Как заметил в 1906 году Борис Варнеке, Кулаковский в 1890-х «потрудились так много, участвовал и участвует в стольких изданиях, что уследить за всеми проявлениями его научной и разносторонней деятельности не представляется возможным». Но я попробую.

И вправду, бесконечные рецензии, обширная многостраничная критическая публицистика по поводу совершенствования системы гимназического и высшего образования (о ней будет ниже специально), тексты в области его римских интересов и зарождение любопытства к византийской тематике. В этих работах Кулаковский отличался

«точностью метода, большою основательностью, даром критического анализа и духом независимости, он нередко умел подойти к изучаемому явлению со стороны, не затронутой другими, или дать этому явлению новое освещение, и это сообщило характер оригинальности даже таким его работам, которые, казалось бы, меньше всего на неё претендовали» (Алексей Деревицкий).

Всё так, однако после защиты докторской диссертации Кулаковский как бы всё равно ищет *большую тему* для дальнейших научных занятий (каждый нормальный доктор наук поступает так же), дразня досуг разным мелкотемьем, которое, правда, и ныне порой представляется значимым. Университетски-преподавательская загрузка была тому причиной, хотя у ординарного профессора при большем жаловании меньше аудиторных часов, нежели у экстраординарного, и тем более, чем у доцента.

В заседании Исторического общества Нестора Летописца 29.01.1889 он прочитал сообщение «К вопросу о русском народном стихе». Довольно мало общего с темой докторской.

На эту трёхстраничную статейку, в которой впервые была сделана «постановка вопросов метрики классической поэзии на почву сравнительного изучения», потом ссылались многие стиховеды — от Бориса Ярхо до Михаила Гаспарова.

Кулаковский писал, что новейшей для его времени работой в этом направлении является исследование боннского профессора Германа Узенера «Altgriechischer Versbau, ein Versuch vergleichender Metrik» (Bonn, 1887), в котором вновь поставлен и оригинально освещён вопрос о возникновении греческого гекзаметра. Узенер полагает, что гекзаметр произошёл путём сложения и затем *постепенного слияния двух коротких стихов* той схемы, которая применялась в пословичном стихе у греков и называлась поэтом *паремия*. Узенер искал и полагал, что нашёл близкий к паремии короткий стих у многих арийских народов, и готов видеть в этом коротком стихе общее наследие, вынесенное арийцами из своей прародины. Эти доводы, казавшиеся референту поначалу убедительными (см. рецензию на текст Узенера: ЖМНП, 1888, № 11), «потеряли силу» при более глубоком их рассмотрении, которое и привело Кулаковского к принципиальному разногласию с Узенером в общей постановке вопроса о происхождении размеров стиха. Автор

полагает, что не нужно искать общей и единой *формы*, а нужно стараться «выяснить общие условия стиха, чтобы возможно было понять возникновение его видов и форм» (туманная фраза). Лучший к тому путь — изучение народной поэзии там, где она ещё жива и свободна от непосредственного влияния норм поэтической речи литературной поэзии.

«Такой является, — по Кулаковскому, — только наша русская народная поэзия. У нас есть и живой эпический стих, и такой же живой стих лирический. Первый “сказывается”, второй — поётся. Это деление материала народной поэзии на два следует признать существенно важным, и надлежит исследовать оба вида поэзии народной в отдельности, чего до сих пор не делалось и не делается в нашей русской учёной литературе по исследованию русского народного стиха».

В эпической русской поэзии (сборник былин Александра Гильфердинга и «Причитания северного края» Елпидифора Барсова являются наиболее надёжными изданиями) можно, по мнению Кулаковского, с уверенностью говорить о принципе *известной последовательности ударения* как конститутивном признаке стиха.

У «лучших сказителей» Гильфердинга обнаруживается былинный стих с тремя ударениями, искать которые следует, направляясь от конца к началу (а не наоборот, как делается многими). Ударение бывает 1-е на третьем слоге от конца, 2-е на четвёртом слоге от ударяемого и 3-е на четвёртом слоге от этого последнего, который и придётся третьим от начала стиха. Ритм эпического стиха — восходящий. Те искусственные способы, к которым прибегают сказители для достижения такого расположения ударений в стихе, доказывают важность для стихового строя именно этих мест ударений, которые и создают как ритм стиха, так и обуславливают количество составляющих его слогов.

«В другой области народной поэзии — лирике — существуют так же определённые и ясные размеры; но они даны не в словесном материале песни непосредственно, а в музыкальных мотивах, и только в них. Начало “стопы” дано в пляске, в плясовых песнях, поэтому и уловляет наш слух с наибольшей определённой деление как мелодического течения песни, так и самого словесного материала её на стопы. Мелодия есть полный хозяин в песне, и словесный материал вполне её подчиняется. Приведением многих примеров из сборника “Русские народные песни непосредст-

венно с голосов народа записанные и с объяснениями изданные” Юлия Мельгунова (где песни записаны наиболее внимательно) референт доказывал свои мысли и положения. Искать в нашей лирической народной поэзии слого-счислительного принципа (как делает Александр Потебня и многие другие) есть, по мнению референта, недоразумение».

Лекция об Эпикуре. Через два месяца, в марте 1889-го, Кулаковский выступает на «профессорской лектории» с лекцией об Эпикуре и его изречениях, незадолго перед тем случайно открытых в Ватиканской библиотеке. К народному стиху и вопросу о начале Рима эта тема отношения не имеет, но, похоже, докладчику радостно: интерес к его трудам и особе возрос, аудитория полна народу.

«Редко в наш век может отметить наша наука событие, подобное тому, что недавно произошло, — начал он с кафедры. — И мы, представители науки о древнем мире, можем заявить об открытии и о новинке! Событие это имело место в центре древнего мира, Риме, около полугода назад. В одном греческом кодексе ватиканской библиотеки, кодексе давно известном <...> впервые были замечены и впервые прочитаны семь страниц греческого текста».

Речь шла о фрагментах высказываний Эпикура с заголовком «*Epikourou profonisis*». Этой находкой, опубликованной Г. Узенером в «*Wiener Studien*» (1888, ч. 2), Кулаковский поделился с теми, «кому близки и дороги интересы знания и науки».

Речь об Эпикуре как никакое иное публичное выступление, увидевшее свет печатно, так не свидетельствует о философских его взглядах. То, что восхищало Кулаковского в Эпикуре, стоит полагать, было и его собственным мироотношением.

С эмоциональной сноровистостью бросает Кулаковский:

«Мудрость Эпикура выходит за пределы семьи, общества и государства. Она их игнорирует, они не входят в её круг, они устраняются ею. Его верный ученик и сожитель, Метродор, жестоко издевается над всякими политическими предприятиями, над событиями первостепенной важности той эпохи, над походами Эпаминонда, в которых он видел только проявления безумия человеческого <...> Учение Эпикура только терпит семью, общество и государство, но в сущности — отрицает их. Оно имеет своим ближайшим предметом индивидуум в его личной жизни. Всё относя к нему и ценя весь мир только в отношении к данному страдающему и наслаждающемуся индивидууму, оно ставит его на страшную высоту обособления».

Юліанъ Кулаковскій.

ФИЛОСОФЪ ЭПИКУРЪ

и

ВНОВЬ ОТКРЫТЫЯ ЕГО ИЗРЕЧЕНІЯ.



Издательство ИМПЕРАТОРСКОГО Училища Св. Владимира.
Книжка продана: ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ. Въ продажнѣ у г-на Н. Я. Крайнова в № 15 Москвѣ.
1889.

*Титульный лист отдельного издания
лекции об Эпикуре, 1889*

Впечатление, будто Кулаковский говорит о себе, об отношении к окружающему, будто пишет другу письмо.

«Величав этот мудрец, познавший тщету всего земного величия и спокойно созерцающий безумный труд и смятение окружающей его жизни... На эту высоту, которую он мнит незыблемым среди грозных волн утёсом, вознесла его гордыня разума, познавшего всю тайну мировой загадки. Он знает природу в её сущности, он постиг истину о божестве и он безраздельно убеждён, что его мимолётное в жизни мира плотское существование есть центр мира. Он познал, что со смертью кончается всё для индивидуума, и спокоен в этой своей отсекающей всякие чаяния и надежды вере в постигнутую им истину. Он разрешил все узы. Он свободен от любви к отечеству, от привязанности к своему очагу, он не знает семьи. Он ценит своё краткое одинокое бытие, но он знает, что не только он, но и весь мир во власти смерти, и бестрепетно ждёт он этого разрушения...»

Конечно, причислить Кулаковского за лекторский пыл к эпикурейцам — натяжка. Но человек, который сумел увидеть в Эпикуре — первым в российской науке — деятеля, достойного публичной лекции, не может не дать почувствовать слушателя родства с ним, хоть и отдалённого. Среди слушателей (а за-

тем читателей) наверняка были те, кто хорошо знал характер Кулаковского, и они не слишком удивлялись выбору темы.

Едва ли, вместе с тем, можно заподозрить Кулаковского в отсутствии любви «к царю и отечеству», а семья, которой через год обзаведётся, снимет романтико-риторический налёт патетики, которой была вскрыта речь об Эпикуре. Он понимает, что «учение это могло манить к себе как апатичных и робких, так и высокомерных, как разбитых жизнью и изверившихся в ней, так и чистых энтузиастов». Ни с кем из названных Кулаковский себя, конечно же, не отождествлял. Мы уже имели возможность убедиться из памятной лекции Кулаковского о Павле Аландском перед слушательницами ВЖК в его магистральном жизненном умонастроении: не приземлённость и быт, но возгонка смыслов и бытие; не вынужденная служебная мельтешня лишь ради заработка, но должное служение ради разумной цели, которую сам себе формулируешь, подозревая за ней Божий промысел. Речь об Эпикуре — подтверждение.

Лекция вызвала резонанс (сейчас покажу, какой), но потом исчезла с горизонта. Одним из первых о ней вспомнил харьковский академик Дмитрий Иванович Багалея (1857–1932), побывавший в 1910-х ректором университета и городским головой, в заключении книги «Український мандрований філософ Гр. Сав. Сковорода» (1926), когда сравнивает Сковороду с Эпикуром.

«Проф. Ю. А. Кулаковський каже, що філософія Епікура була його релігією; тому-то вона й не вийшла поза межі його школи або секти. Філософія Сковороди теж була для нього і його учнів релігією, і українські пасіки, не його власні, а його друзів, заміняли йому сади Епікура. Сковорода жив близько до природи, бажав милого йому селянського спокою <...> а римський поет Лукрецій в своїй поемі “Про природу” цілком засвоїв собі філософський світогляд Епікура про потребу жити близько до природи».

Дописывая книгу о Сковороде, перечитывая лекцию Кулаковского об Эпикуре и его садах, не думал ли Багалея (между нами говоря, персонаж странноватый) о близости к природе, о том, что, мол, «бросить всё и уехать в Крыжополь»?

Аддин Шакир-заде в советской книжке об Эпикуре, называя Кулаковского среди других исследователей вопроса (Зелинский, Любимов, Модестов, Ор. Новицкий, Сергей Трубецкой и др.), утверждает, что они «преимущественно дают его

тенденциозное, заведомо извращённое освещение и толкование». Как иначе можно было писать о свободном человеке в 1963 году? Кулаковского и прочих от этой оценки не убудет.

Между Лукрецием и Эпикуром. Хочу перекинуть арку между двумя лекциями Кулаковского: о Лукреции (1887), истории чтения которой я коснулся выше, и — об Эпикуре (1889). Арка отбрасывает приятную для глаза тень.

Напомню, что римлянин Лукреций цитирует эллина Эпикура, и Кулаковского заинтересовали оба. Его интерес зиждился на сравнительно-исторической (компаративной) анатомии текста.

Начать с того, что к числу философских изобретений римлян, вопреки утверждению Кулаковского, следует отнести их стремление рассматривать философию как прикладную науку. Лукреций стремится типологизировать миф, помечая его знаком качества: одни мифы и образы божеств он считает вредными, другие нейтральными, третьи полезными. Но при этом, как писал Соломон Лурье (во втором томе издания поэмы «О природе», 1947), Лукреций был поэтом, и

«к стройной и грандиозной картине мира, нарисованной материалистами, подходил более с эстетической, чем с моральной философской стороны».

Правда, это не вполне точно, поскольку и Эпикур, и Лукреций если и понимали природу и богов как индифферентных человеку, то видели в этом нравственный урок и выказывание природы, прозревающей в существо, по Сергею Крымскому, «этического равновесия в мире». Конечно, всё связанное с миром мёртвых, по Лукрецию и Эпикуру, вредно, сказание о Фаэтоне нейтрально, легенды о жертвоприношении Ифигении и подвигах Геракла полезны, поскольку поучительны. Но всему этому мешает религия как таковая. И потому «главная заслуга “бога” Эпикура состояла для Лукреция в том, что он ниспровергает другую богиню — Religio» (Ф. Петровский). Недаром в Средние века атеистов называли эпикурейцами.

Сначала скудость познания была источником верований и связанных с ними страхов. Это в XX веке Альфред Уайтхед назовёт религию тем, что человек «делает» со своим одиночеством. А в эллино-римские времена —

...только страх всех смертных объёмлет, что много
Видят явлений они на земле и на небе нередко,

Коиx причины никак усмотреть и понять не умеют,
И полагают, что всё это божьим велением творится.

О природе I 150–153, пер. Ф. А. Петровского

Может быть, единственное, что объединяло мировоззрение древнегреческих эсхатологов (о которых Кулаковский на излёте столетия прочтёт три особых лекции), Эпикура и Лукреция, это свобода, то есть некая «сквозная причина» вещей и поступков, некая Ананка. Это судьба, веретено которой положено в основание представлений человека о судьбе и как пластической мифологеме, и как неизбежности, которой всё-таки удаётся иногда избежать, лишь действуя свободно, то есть — *не сознавая* свои действия как необходимые.

У Лукреция есть строчки, свидетельствующие о необходимости свободного и — более — структурного, тектонического оформления бытия:

Каждый ведь сам за себя порывался во гневе жесточе
Мстить, чем теперь это нам позволяет закон справедливый,
И потому опротивела жизнь при насилии вечном
Страх наказаний с тех пор омрачает все жизни соблазны:
В сети свои произвол и насилие каждого ловят,
Обыкновенно к тому, от кого изошли, возвращаясь.

V 1148–1453

Римский поэт одним из первых не только осмыслил эллинскую религию и вычурные тексты Эпикура как суеверие, *superstitio*, но и облёк это осмысление в поэтическую форму.

«Лукреций был противником аскетизма, считая, что тот, кто поставил своей целью полный отказ от страстей и удовольствий, у того они занимают огромное место, мешают жить, заставляют человека целиком сосредоточить себя на их преодолении» (С. Лурье).

В этом Лукреций более свободен, нежели Эпикур, и ближе к воззрениям эллинов, нежели сам хозяин Афинского сада. В лекции об Эпикуре Кулаковский эти обстоятельства последовательно обосновывает.

Стоит напомнить, что форма изложения Лукреция не просто поэтическая, это гекзаметр, что единит его с древнегреческой литературной практикой и является родным размером национальной словесности, примыкая к гномической народной поэзии. Гекзаметр — размер, употреблявшийся пишущими для обращения к самой широкой аудитории, причём — обра-

щения дидактического, назидательного. Лукреций выказал мировоззренческое единство с эллином через эллинский же гекзаметр. И потому, «приступая к передаче доктрин Эпикура на латинский язык, Лукреций должен был прежде всего озаботиться продукцией самих средств такой передачи, то есть заняться созданием соответствующей новой латинской терминологии» (Ив. Ив. Толстой). С этой точки зрения, источником Лукреция был не столь Эпикур, сколь сами греки в их повседневности, и потому во вкусах, письменных симпатиях и манере письма Лукреций от Эпикура едва ли зависим.

Догомеровский грек, конечно, не подозревал о существовании Эпикура, Эпикур — о Лукреции, и все вместе — о Кулаковском. Потому понятно, что Кулаковскому впервые в российской науке удалось выстроить модель античного суждения о *бытии в мире и бытии в смерти* в виде стержневой мыслительной конструкции.

Как бы ни было, как бы не разотождествлялся Лукреций, стремясь отождествиться с Эпикуром, Кулаковский убедителен и любит обоих:

«Внутренним действующим мотивом философии Эпикура было стремление успокоить тревогу духа человеческого. И нельзя не признать, что он вложил в своё учение принципы, которые могли принести успокоение многим. Учение это отвлекало ум человека от пытливого изучения природы. Оно объясняло мир в целом и в частных его феноменах одной общей отвлечённой теорией и внушало полное равнодушие к отдельным явлениям, утверждая, что они или безразличны, или абсолютно ясны для того, кто способен постигнуть эту общую теорию».

Пиша так, Кулаковский недоговаривает: практически аналогичные цели и средства через несколько столетий после Эпикура предложит христианская доктрина, куда более стройная по сравнению с эллинским божественным полиморфизмом.

Пастернак в «Докторе Живаго» вложит в уста персонажа:

«Рим был толкучкою заимствованных богов и завоеванных народов, давкою в два яруса, на земле и на небе, свинством, захлестнувшимся вокруг себя тройным узлом, как заворот кишок. Даки, герулы, скифы, сарматы, гиперборейцы, тяжёлые колёса без спиц, заплывшие от жира глаза, скотоложство, двойные подбородки, кормление рыбы мясом образованных рабов, неграмотные императоры. Людей на свете было больше, чем когда-либо впоследствии, и они были сдавлены в проходах Колизея и страдали».

Историки уважают такой контрастный душ, напоминаящий, что рядом с несколькими умниками, оспаривавшими друг у друга первенственные пальмы умственных движений, всегда существует привычный *биологический бульон* — *обыватели*. История, конечно, подтвердит правоту историков, поскольку они пишут её сами. И тем не менее: как можно знать наверняка, на немоте какого большинства построена болтливость немногих? А не всё ли равно?

Так иная хозяйка выстукивает арбуз, прежде чем купить, обычно ошибается, покупая наобум, а затем, разрезав дома и увидев, что неспелый, сердает на продавца, будто продавец это земля, намеренно преподнёсшая к столу эдакое недолгое гастрономическое чудачество. В восхитительном хаосе античного политеизма Кулаковский, будто костный мозг из телячьей ножки, выстукивал именем Эпикура здравый смысл человеческого назначения из невнятицы представлений об этом смысле в древнегреческой мифологеме судьбы.

Лекцию об Эпикуре критиковали. Критиком был всем и всеми недовольный профессор без определённой специальности, но с большим публицистическим талантом Василий Иванович Модестов (1839–1907), доктор римской словесности, автор учебников, пособий и монументального перевода «Словаря классических древностей» Любкера. Всякого более или менее возвышавшегося над средним уровнем исследователя жало modestовское жало, праведное, полуправедное и неправедное. Да что там, — каждому из нас в жизни встретился такой идиот.

Неприятный Модестов. Помяловский в июле 1887-го писал Кулаковскому по поводу защиты Латышева:

«17 мая состоялся у нас докторский диспут В. В. Латышева, бывший для него настоящим торжеством, которое не мог омрачить В. И. Модестов, сунувшийся было с возражениями, которые начал с обычным апломбом, но которые должен был вскоре благоразумно прекратить, потому что стало обнаруживаться его верхоглядство... Неисправный человек!»

В ноябре 1889-го, например, Фаддей Зелинский, умница и весельчак, задел — случайно ли, намеренно ли — Модестова в рецензии на его «Лекции по истории римской литературы» в ЖМНП (1889, № 11):

«пусть г. Модестов открыто объявит себя дилетантом, — тогда критика охотно и с благодарностью отметит все достоинства его труда, а к



Василий Иванович Модестов

недостаткам отнесётся снисходительно, как неизбежным в сочинении дилетанта. Тогда разом прекратится для него грустное положение человека, своими же не признанного».

Зелинский перечисляет модестовские ошибки при пересказе сочинений древних писателей, отмечает некритическое отношение к материалу при изложении их биографий, незнание новой литературы, пропуск важнейших трудов по вопросу и указывает на «разный хлам, давно потерявший всякое значение, а может быть, и никогда не имевший его». Каждый пишущий сталкивался хотя бы раз с таким персонажем, который «сажал с небес на землю», принуждая относиться к человечеству снисходительней, а к себе строже. Поучительно ли это? В жизни всё поучительно.

Если посмотреть в Брокгаузе и Ефроне на физиономию Модестова, выражение которой — будто хрену нанюхался (как говорил Чехов о своём портрете работы Брака), можно понять, как он отреагировал на рецензию Зелинского. Тот, конечно, был не рад, что связался: не смог сдержаться. Как водится у Модестова, сначала нужно унижить автора: «человек, написавший несколько ничтожных, никем не читаемых *opuscula*, которые встречены немецкой критикой с презрительным отрицанием в них всякого значения <...> и не нашли себе ровно ни-

какого признания в русской науке...» итд. Затем, по традиции, Модестов, брызжа бессилием, уличает рецензента в предвзятости, голословности обвинений и непоследовательности. Кто помнит сейчас Модестова и его писания? Над его петушиным самолюбованием принято посмеиваться.

Кулаковский, как помним, подозревал в «мадам Иконниковой» «всяческую учёность по Модестову», — только это, пожалуй, и осталось. Кулаковскому от Модестова доставалось, и не раз, а это значит, что был он достоин внимания. Ведь когда мы чем-то возмущены, невольно приращиваем к своему непониманию чуждую форму, которая не могла не задеть, не могла пройти мимо нас. Это можно считать своего рода эстетическим актом: противоположен *безразличию*.

Так вот, в «Русской мысли» (1890, № 3) Модестов тиснул статью «Эпикуреизм и современный интерес к нему»: лекция Кулаковского на этот раз задела его лишь слегка, и он сыграл «милостивого государя».

Излишне ярко выраженный западник, причём проявленный в форме научно беспардонного фанатизма, смахивающего на ксенофобию, Модестов, марая грязью российскую гуманитарную науку, пишет, что там, где эта наука «проявляется, обыкновенно составляет лишь отражение того, чем живёт наука на Западе, — отражение, слабость которого стоит в соответствии с наличными условиями нашей национальной умственной жизни». По меньшей мере, в гуманитарной науке это совсем было не так: немецкие медиевисты учили русский, чтобы читать выпуски «Византийского временника» в оригинале.

Оттиск с эпикурейской лекцией Кулаковского осматривается со всех сторон:

«Главный интерес брошюры профессора Кулаковского заключается в том, что он привёл в русском переводе немалое количество изречений Эпикура, находящихся в новооткрытом сборнике. Было бы лучше, если бы он привёл их ещё больше, прибавив к ним и изречения сборника Главных мнений. Его брошюра выиграла бы через то в полноте, и тогда слишком общие и отрывочные штрихи, какими он рисует философию Эпикура, были бы более уместны. А эти штрихи, действительно, слишком общи и отрывочны. Конечно, нелегко было в одной публичной лекции представить обстоятельный очерк философской системы».

Так и неясно, чем именно недоволен Модестов, что он хо-

чет сказать. Ждёшь подвоха, а его нет. Похоже, он, пища рецензию, просто хотел пособить себе гонораром за публикацию.

Модестов настаивает, что собственные теории и системы, «даже просто взгляды на науку, добытые самостоятельными исследованиями, считаются роскошью, даже едва ли нужной, в глазах многих, скорее бесполезной и, во всяком случае, не внушающей большого доверия, хотя жизнь науки есть не что иное, как постоянное обновление теорий и взглядов, приносимое новыми исследованиями».

Где рецензент видел «нужную роскошь», сказать не берусь, как не намерен отстаивать приоритетность российской классической филологии по сравнению с зарубежными исследованиями, прежде всего немецкими. «Постоянное обновление» тоже видится мне невозможным.

Если в общих чертах некое гуманитарное знание, опёртое на археологические, эпиграфические или палеографические студии, к концу XIX века в общих чертах уже сложилось, и какие-нибудь фоменко–носовские могли выходить на сцену исторического знания, чтобы поиздеваться над ним, — то постоянного обновления можно было ждать лишь в каких-то совсем частных частностях, но не по большому историческому счёту.

В этой тираде, как и большинстве полемических текстов, Модестов действует в жанре *анонимщика*: пять процентов правды, 95% переворачивания с ног на голову, передёргивания и голословных порицаний.

Вслед за этой будто бы убедительной фразой следует такая:

«Что же касается этих исследований, то они появляются у нас не только редко, но и большей частью случайно, то есть не вызванные внутренним движением науки в нашей стране, являются без связи с тем, что сделано у нас раньше, и потому, за малыми исключениями, пропадают бесследно, как бы не составляя никакого вклада в общую сокровищницу науки».

Полемический задор раззадоривает, но если вдуматься в сказанное, окажется, что Модестов ползёт по поверхности, не стараясь поднять голову горе. Всякое научное исследование появляется и редко, и случайно, и если бы все гуманитарии вспахивали одно и то же поле, никаких учёных жизней не хватило бы, чтобы соборно окучить, не оставив ни одной невспаханной грудки, эпоху царствования, скажем, Комнинов. «Белые пятна» существуют вечно, как и тот материал, на котором

они расположены. Заполняются они помаленьку, безусловно *стохастически*, так, как если бы кому-нибудь пришло на ум сопоставить не два, а десять свидетельств, чтобы между ними была обнаружена хоть какая-нибудь каузальность.

Да где же взять эти свидетельства? Потому стенать, как делает Модестов, по поводу того, чтобы нечто было вызываемо «внутренним движением науки», пустое занятие, а вот звук получился у него вроде бы громкий, но несколько неприличный. «Пропадают бесследно» — о чём это он? Бог сохраняет всё.

Прекратив манерно ужасаться по поводу совершенной неликвидности российской классической филологии, Модестов по-барски допускает:

«Слабая и несамостоятельная научная жизнь всё-таки лучше, чем полный застой, и если множество вопросов, поднимающихся на Западе, проходит мимо нас <...> то хорошо и то, что хотя некоторые вопросы останавливают на себе наше внимание и вызывают их обсуждение».

И на том резонёру спасибо. Создаётся впечатление, что в империи несметные тысячи классических филологов, слабых и несамостоятельных, и уж если кто из них по-сибаритски обратит внимание на западные достижения, это произойдёт от избытка их досуга.

Я не для того так долго останавливаюсь на тексте Модестова, в данном случае относительно мирном, чтобы посмеяться над амбициозным и не слишком рассудительным человеком (к тому же, давно умершим). Для того, чтобы показать, насколько живуча тенденция порицать других вместо того, чтобы тихо работать над собой, переживая собственные ошибки горше чужих. Модестов это не столько человек и учёный, сколько модель того, как «надувают щёки» деятели науки, неспособные к созиданию великого.

В этой же статье, походя представляя три текста об Эпикуре (киевлянина Кулаковского, одесского приват-доцента Оскара Фёдоровича Базинера и казанского учителя гимназии Порфирия Петровича Гвоздева), отечески похлопывая их по плечу, Модестов предлагает четвёртый текст об Эпикуре, собственный. Говорю без предвзятости и эмоций: он не хуже и не лучше обзираемых. Модестов забывает, что он не на лекторской кафедре, где нужно держать внимание слушателя и избегать общих мест, и *пишет буквы в длину*: о Лукреции, о Гассенди

с Гоббсом, Спенсере и Гюйо, давая портрет Эпикура и обильно его цитируя. По-особому расставил акценты? Увы, нет.

Учёная периодика с удовольствием тискала провокационные текстике Модестова, особенно ЖМНП: начиная с графа Сергея Семёновича Уварова считалось, что чем громче и разгромней рецензия, тем для развития науки лучше. Какое-то рекламное зерно в этой тезе, конечно, есть, но лишь когда автор дерзает вступать в перебранку с коллегой по-честному и оценивать сделанное сочинителем, а не личность его.

Модестов далее полагает, что беда Кулаковского

«в том, что он даёт о деле лишь самое поверхностное понятие. Впрочем, и то нужно сказать, что автор брошюры говорит об эпикуреизме не совсем в первый раз. Два года тому назад он говорил о нём по поводу поэмы Лукреция. Мы уверены, что настоящая брошюра прочтётся любителями древней философии с интересом, и нам особенно приятно, что автор её умеет находить в древней филологии живые и интересные темы».

Точно: хотел гонорар за публикацию, при этом не расплескав репутации скандалиста. Позднее, в 1902-м, Модестов, позавидовав, обрушится на Кулаковского с унижительными для собственной учёной мордочки придирками. Он не мог слышать тезис Сиг. Кржижановского: если вы пришли к занятому человечеству, делайте вашу жизнь и уходите. И — не гадыте окружающим. А самому уразуметь было не по характеру.

Приноровка к археологическим цыпочкам. В мае 1890-го 35-летний Кулаковский избирается действительным членом Императорского Русского археологического общества.

Пост пожизненного председателя ИРАО вместо умершего в 1884-м графа Алексея Уварова, дважды (по ошибке) почётно-го доктора Университета св. Владимира, заняла его энергичная вдова — графиня Прасковья Уварова (урожд. Щербатова).

Через четверть века, в 1915-м, поздравляя Общество с пятидесятилетием, Кулаковский напишет графине:

«Полстолетия прошло с тех пор, как незабвенный в летописях русской науки граф Алексей Сергеевич Уваров в частном кружке просвещённых любителей <...> старины положил начало существованию Московского Археологического общества. Широкий кругозор учёного и безудержная любовь к родной старине <...> сразу поставила Общество на высоту всестороннего изучения археологии во всех её обозначившихся тогда ветвях и направлениях».

Красочно же тогда слагался канцеляритный слог. «Сначала колёса отстукивают медлительный и многодольный пиррихий, потом отлязгивают дактиль, потом — короткими хорееми, которых так не любят современные поэты, чтобы после на тягучих спондеях пройти мимо водокачки и, ударившись о тормоза, оборвать катаlecticеской строкой» (Сиг. Кржижановский), — примерно в таком лирическом настроении сочинялись в те времена полуказённые бумаги.

В августе Кулаковский участвует в работе VIII Археологического съезда в Москве, вторично собранного в этом городе в честь 25-летия Общества и, как отметил Дмитрий Иловайский, замечательного «и потому, что почётным его председателем был великий князь Сергей Александрович, большой любитель памятников и древностей вообще»; да, это «очень замечательно».

Депутатом съезда был также избран от киевского университета Владимир Антонович, выступивший с докладом «Типы курганов в Киевской губернии»; от Киевской духовной академии Владимир Завитневич (будущий автор пародийного стихика про Юлиана Отступника), который доложил о раскопках белорусских курганов.

«В. З. Завитневич высказывается решительно в пользу археологического, а не исторического критерия для классификации курганного материала», — отмечала «Киевская старина» пером Багалея.

«Не могу, — жалуется Багалея, — к сожалению, передать содержания ещё четырёх рефератов, относящихся к южной России, — проф. А. В. Прахова “Исследование Мстиславова Владимиро-Волинского собора XII века”, И. А. Линниченко “Черты из истории землевладения юго-западной Руси XIV–XV веков”, г. Квашнина-Самарина “Крещение Руси по памятникам литературным” и г. Е. К. Редина “Светская живопись лестниц Киево-Софийского собора”. Замечу только, что сообщение проф. А. В. Прахова имело полный и заслуженный успех, которому много способствовала масса великолепно исполненных планов и снимков, иллюстрировавших этот замечательный памятник древнерусского зодчества».

Кулаковский на съезде был слушателем: сидел, привыкал.

13.10.1890 он назначен секретарём (по-нынешнему замдекана) факультета, должность которого бессменно исправлял более пятнадцати лет, в том числе, и при своём друге — декане Флоринском. Эти обязанности оплачивались дополнительно

к основному окладу: 700 рублей в год (декану полагалось на 300 рублей больше). Учитывая, что наём квартиры в Киеве из 5–6 комнат, а именно такая была у Кулаковского до последних дней, составлял 1200 рублей в год, секретарское подспорье было существенным. Когда же домовладелец Михельсон снизил оплату до 50 рублей в месяц, дополнительное жалование покрывало этот расход полностью.

Нужно потратить много времени, чтобы стать наконец молодым, — любезничал с собой Пикассо. Впрочем, «Блажен, кто смолоду был молод, / Блажен, кто вовремя созрел, / Кто постепенно жизни холод / С годами вытерпеть умел» («Евгений Онегин», глава 8). В организме Кулаковского об эту пору открылось как бы второе дыхание.

Он востребован, перспективен. Уединённость уже не видится Божьей карой, творческие порывы не надрывают, служебные нарывы не нарываю, оклад достаточен.

Первые итоги. Подводя итог первому десятилетию научных занятий, во введении к первому тому «Истории Византии» (1910) Кулаковский признался:

«Мои первые учёные работы относились к области римской древности и вращались в сфере вопросов по истории римских учреждений преимущественно императорского периода, для изучения которого представляют обильный материал эпиграфические тексты, широко введённые под эгидой Моммзена в учёный оборот европейской науки. Университетское преподавание, которое открылось для меня в Университете св. Владимира, направляло затем мои занятия и учёные интересы в круге установившегося цикла предметов, обнимаемых кафедрой римской словесности, причём факультет поручал мне вначале и преподавание римской истории за неимением особого преподавателя. Так, в течение первого десятилетия я оставался в области римской древности».

Если в сочинительстве других российских учёных-классиков, пожалуй, будет трудно отследить периодизацию их работ в той или иной специальной области, — гуманитарии обычно садятся тему и скачут на ней до смерти, — в отношении Кулаковского подобная дифференциация затруднений не вызывает.

Во всяком случае, 1880-е прошли у него в занятиях *римской эпиграфикой и римскими древностями*, тогда как начиная с 1890-го Кулаковский становится на путь активного изучения древностей Надчерноморья и византийской истории.



*Киев.
Фототиполитография
Стефана Кульженко
по улице Пушкинской, 4*

В новом доме, с соседями. Наверно, зрелость в середине четвёртого десятка у нестандартного человека следует ещё считать молодостью. Как полагал Черчилль, молодость — за свободу и реформы, зрелость — за разумный компромисс, старость — за стабильность и покой. Кулаковский в начале 1890-х — ещё «за свободу и реформы», разумный компромисс появится лет через десять, к сорока пяти. В начале 1890-х он чувствовал в себе молодеческую силу, позволявшую ему её разбрасывать, принимая участие в разного рода предприятиях, о которых на старости лет, пожалуй, было приятно вспомнить.

Итак, то ли являясь членом Археологического общества, то ли под влиянием сложившихся к тому времени (после леонтьевского почина) научных обстоятельств, направивших интересы филологов-классиков в русло изучения крымского наследия античной эпохи, то ли оба эти фактора способствовали

*Киев
Городская станция
Юго-Западной
железной дороги
по улице
Пушкинской, 14
1909–1912
архитектор
А. М. Вербицкий*



обращению Кулаковского к археологическим и эпиграфическим древностям Надчерноморья.

А может, дребезжащая перспектива женитьбы? Ведь недаром он перебирается из довольно уютной холостяцкой квартирки на Афанасьевской (ныне Ивана Франко), 32, в многокомнатную — на третий этаж относительно нового (построен в 1881-м) доходного дома Макса Фридриховича Михельсона на Ново-Елизаветинской (с 1899-го Пушкинской), 40, квартира № 6: в начале октября грядёт обзаведение женой.

«Священна жена, почтенна матерь, соблазнительна дачная девица, но новобрачная — чек на государственный банк среди свадебных подарков, которые боги посылают человеку, берущему себе в супруги смертную».

А ведь вправду точен О. Генри?

Поздним летом Кулаковский на двух дрожжах перевозит с Афанасьевской библиотеку и нехитрый мебельный скарб.



Киев. Доходный дом М. Ф. Михельсона по улице Пушкинской, 40, здесь Кулаковский (с семьёй) жил с августа 1890-го по февраль 1919 года

Дом был записан на одного из девятерых сыновей Фридриха Густавовича Михельсона, известного в Киеве заводчика стройматериалов, который вместе с супругой Анной Андреевной тоже жил в этом доме. По соседству, стена к стене, на углу Шулявской (с 1891-го Караваявской, ныне Льва Толстого) и Пушкинской в № 42 располагались так называемые Караваявские бани, тоже принадлежавшие Михельсону, в которых предоставлялся значительный спектр помывочно-цирюльных услуг: от обычных общих третьеклассных за 7 копеек до фешенебельных, в мраморе, отдельных парных за 3 рубля со всей сервисной обкладкой «хорошими девушками». Неказистое двух-трёхэтажное здание снесено в 1987-м.

Вообще, улица всегда была примечательной, сейчас одна из немногих, на отрезке между бульваром Тараса Шевченко и площадью Льва Толстого почти полностью сохранившая застройку XIX века. И жильцы на ней были «википедические».

В доме № 35 до осени 1914-го жил коллега Кулаковского по Университету лингвист-санскритолог Фёдор (Фридрих) Кнауэр, с нелёгкой предсмертной судьбой которого мы ещё увидимся; в собственном доме № 36 — ученик Кулаковского, многолетний директор Первой гимназии Николай Сторожен-



Киев. Доходный дом по улице Афанасьевской (ныне Ивана Франко), 32, здесь Кулаковский жил с октября 1886-го по август 1890 года

ко, в ноябре 1919-го эмигрировавший через Одессу в Константинополь и оставивший том полезных историко киевских воспоминаний; в № 32 — брат большевицкого диктатора Ленина лекарь-лузер Дмитрий Ульянов — в 1903–1904-м. Кулаковский мог видеть этого мелкого большевизана, тогда ещё не спивавшегося, направляясь держать корректуры в типографию Стефана Васильевича Кульженко.

Типография Кульженко, довольно значительная по разнообразию помещений, располагалась в № 4; от квартиры Кулаковского до неё — двенадцать–пятнадцать минут ходу, через Бибиковский бульвар, тогда без светофоров и автомобильных пробок.

В № 9 вёл приём знаменитый отоларинголог Антон Деленез (де Ленс), член Киевского отделения состоящего под августейшим покровительством их императорских величеств попечения государыни императрицы Марии Фёдоровны о глухонемых. В 1912-м Кулаковский советовал коллеге по Университету Василию Данилевичу сходить к Деленезу «на счёт ушей».

Был свидетелем, как по проекту архитектора Александра Вербичкого строили здание городских железнодорожных касс (№ 14) в 1909–1912-м, и сам пользовался их услугами, особенно, когда в декабре 1914-го сопровождал в Вильну для погребения



Киев. Улица Пушкинская, выходящая на площадь Льва Толстого, фото 1958 года

ния тело супруги. И точно глотал строительную пыль во время возведения в 1900–1901-м по проекту Михаила Артынова доходного дома купеческих детей Сергея, Александра и Флора Адамовичей Снежко и сестры их Елены Хлебниковой — на углу Пушкинской и Караваевской, № 43/4 (ныне № 45/2), напротив окон квартиры Кулаковского. Это какое-то здание-организм, объединившее в себе всё, чем был славен уездный город N из «Двенадцати стульев»: в нём было так много «парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть». Спектр этих нехитрых услуг действительно можно было получить в доме на углу Караваевской и Пушкинской. Здесь в 1900–1910-х размещалась парикмахерская «Гигиена», контора могильных памятников «Зейфер и Сын», бакалейно-фруктовый магазин Литошенко, контора АО «Железобетон», драпировочно-обойный магазин Янкелевского и консульство Швейцарии — недалеко от австро-венгерского (Пушкинская, 24); жили мочеполовой хирург Товбин, акушерка Горфинкель



*Киев. Доходный дом Снежка и Хлебниковой по улице Пушкинской, 45/2,
1900–1901, архитектор М. Г. Артынов*

и журналист, археограф и педагог Илья Владимирович Галант (1876–1941), погибший в Бабьем Яру.

После октября 1890-го Кулаковский место земного жительства больше не менял. За съём платил Михельсону ежемесячно сначала 100 рублей, позднее (как явствует из писем, 75, затем 50) и 12–15 рублей тратил на содержание горничной — «неграмотной» Анисьи, — имя которой часто поминается в письмах Флоринскому до 1902 года. Отношения с хозяевами у четы Кулаковских были симпатическими; маленькая записочка на визитной карточке исписана:

«Любовь Николаевна и Юлиан Андреевич Кулаковские шлют поздравление по возвращении хозяйки [Анны Андреевны Михельсон]».

За четверть века это могло быть в каком угодно году: дата не проставлена.

В первых двух этажах нового жилища Кулаковского в 1896-м размещалось частное училище 2-го разряда, организованное Готтлибом Валькером, — четырёхклассная мужская гимназия (главный киевский кирпичник Михельсон сдавал



Пётр Алексеевич Зилов

Валькеру помещения и в доме по Пушкинской, 35), которая к сентябрю 1900-го переехала в новое Михельсоново здание по Тимофеевской (ныне Михаила Коцюбинского), 12, съехав «из-под Кулаковского».

В 1896–1900-м на Пушкинскую, 40 навещали коллеги Кулаковского — Адольф Израилевич Сонни и Иосиф Андреевич Лециус, чтобы преподавать детишкам древнегреческий и латынь. В августе 1907-го, когда Валькера сменил в директорстве Георгий Дорофеев, дисциплина в «босаяцкой» гимназии, о чём писал её выпускник Иван Кавалеридзе, оставляла, мягко говоря, желать лучшего.

Поскольку Сонни был слишком деликатным человеком, ему не повезло. Дорофеев наябедничал попечителю учебного округа Петру Зилову:

«Преподавание латинского языка у г. Сонни поставлено ещё хуже, чем у профессора Лециуса, так как по своей доброте и мягкости он на своих уроках допускает шум, крики, толкотню и невозможные посторонние занятия. Обладая крайне тихим голосом, он ведёт занятие с вызванным учеником, а остальным предоставляется делать что угодно».

Зинаида Тулуб, курсистка Высших женских курсов в начале 1910-х, на которых деканом историко-филологического факультета был Сонни, писала о нём несколько по-иному:



Адольф Израилевич Сонни

«Адольф Израилевич Сонни читал у нас на втором курсе историю греческой литературы, греческий и латинский язык. После отъезда Лециуса его избрали деканом.

По национальности Сонни был финн, крошечного роста, почти лилипут, с непомерно большим носом, как у “Петрушки”, куклы из украинского кукольного театра, и на первый взгляд производил довольно комичное впечатление. Небольшая каштановая бородка и длинные усы были окрашены дешёвой краской, на улице и в солнечный день отливали зелёным и мы — насмешливые и наблюдательные девчонки — придумали, что он похож на зайца, несущего в зубах пучок салату. В довершение всего шея у Сонни совершенно не ворочалась, и когда ему надо было обернуться или посмотреть в сторону, он оборачивался всем корпусом, а не одной головой.

Сонни был довольно добрый и мягкий человек. На лекциях, пересказывая содержание какой-нибудь чувствительной истории, он не мог не прослезиться, хотя уж добрых 25 лет читал тот же курс и рассказывал о тех же произведениях. Неловко бывало ему перед курсистками за эти слёзы, а голова, как назло, не ворочалась. Тогда он на мгновение отворачивался от аудитории, становился к нам спиной и делал вид, что протирает носовым платком запотевшие очки.

Говорил он по-русски грамматически правильно, но с лёгким незнакомым акцентом. Читал просто, точно рассказывал случай из собственной жизни. Мы считали его средним оратором, а на самом деле эта непри-

нуждённость изложения — большое ораторское мастерство. Лекции его посещались охотно, аудитория всегда была полна и относились мы к нему хорошо».

Попечитель Зилов согласился с увольнением двух университетских профессоров из частной гимназии.

Исследовавший историю валькеревской Седьмой гимназии Мих. Кальницкий, в частности, пишет, что Зилов поставил вопрос о жёстком соблюдении процентной нормы для евреев и требовал сократить многоступенчатый подготовительный класс. Не столь дальновидный был, конечно, чиновник «на ниве просвещения», сколько послушный: часть киевлян вынужденно оставили заведение.

Любовь Кулаковская, урождённая Рубцова. Последнее холостое лето Кулаковский в Крыму, роется на солнцепёке в каменистых грунтах, приравнивает себя к новому занятию, и — шлёт бодренькие эпистолы Флоринскому.

Например, вот такую, от 25.06.1890:

«Я жду этого будущего с разными мыслями, подчас и столь радужными, как те, что наполняли тебя и были заметны, когда ты ждал своей семейной жизни на берегах того же Чёрного моря во время одесского [VI Археологического] съезда [1884 года] и ежедневно посылал свои письма в далёкий Петербург (Вера Ивановна и Тимофей Флоринский венчались в Петербурге 9.01.1885. — А. П.). Я следил тогда и потом осенью за тобою с большим умилением. Бог даст, будет и мне хорошо, — а пока сижу вот здесь в нестерпимой жаре и вхожу в новые для меня интересы.

С субботы начал копать, и хотя не нашёл пока ничего крупного, но узнаю кое-что, не лишённое для меня важного значения. Той катакомбы с фресками, ради которой главным образом я сюда приехал, я ещё не вскрывал (она вновь засыпана, ибо по здешним нравам иначе нельзя предохранить её от расхищения). Приступлю к ней, когда получу из Петербурга сделанные уже и посланные туда рисунки. Прожить здесь предполагаю не менее как числа до 5 августа, а, вероятно, и дольше. На обратном пути заеду в Киев. Не хотелось бы там долго засиживаться, но очень бы хорошо было, если бы попалась на глаза подходящая квартира. Ты бываешь в Киеве, не увидишь ли где случайно или не прослышишь ли про какую квартиру. Моя теперешняя мне ужасно нравится, но там есть существенные недостатки для семейной обстановки.

В Ялте я повстречал на улице Кареева, который проводит там всё лето, с конца мая. Узнал от него, что там и [К. Н.] Бестужев[-Рюмин].

Да, вот что, не говорите вообще о моей предстоящей женитьбе. Это не секрет, но ведь это никого не касается, и я теперь жалею, что написал об этом М-ме Иконниковой».

Последнее было, конечно, оплошностью: Анна Леопольдовна Иконникова, известная сплетница с менторскими замашками, эдакая «училка с претензией», разнесла новость среди сослуживцев мужа, манерно кривя губки, мол, «отбегался наш Юлик».

В другом письме Флоринскому от 9.07.1890:

«Завтра днём я покидаю Друнгеники и направляюсь в Керчь на Одессу. Еду я один против предсказаний Веры Ивановны. 1 июня не принесло мне того, что она сулила (супруга Флоринского, по-видимому, полагала, что Кулаковский поедет в Крым с невестой Любовью Рубцовой. — А. П.). Но поздравь меня, мой друг — я надеюсь, что таким днём будет для меня 1 октября или какой-нибудь день из последних чисел сентября. Моя невеста — с пепельными волосами, как сулила то мне Вера Ивановна. Не писал я сам никому и не имел никаких вестей всё это время.

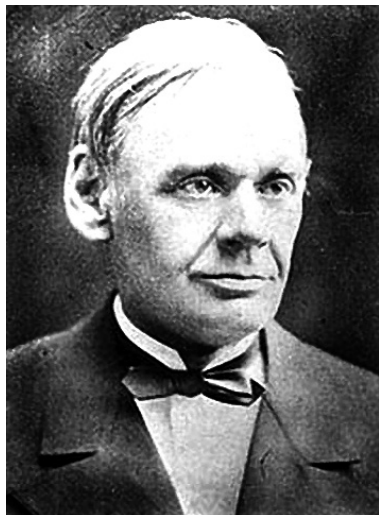
А иной раз хотелось знать, что у нас подделывается, кто наш новый ректор, я знаю, что попечитель хотел предложить должность [М. Ф. Владимирскому-]Буданову, но сомневается, чтобы тот захотел принять эту хлопотную должность.

Оно бы хорошо, чтобы можно было не тратить жалованья за лето, так как в сентябре придётся обзаводиться, прибегая к советам людей семейных, а то и помощи».

Осенью на имя нового ректора, Фёдора Фортинского, Кулаковский написал требовавшееся в то время прошение: «Желая вступить в брак с девицею Любовью Николаевною Рубцовой, имею честь просить Ваше Превосходительство выдать удостоверение в том, что препятствий со стороны университетского начальства не имеется». В тот же день Фортинский подмахнул ответную бумажку:

«Дано сие ординарному профессору Университета св. Владимира Юлиану Андреевичу Кулаковскому согласно его просьбе в том, что, как видно из послужного его списка, он, г. Кулаковский, вероисповедания православного, родился 13 июня 1855 года, холост, а потому на вступление его в брак препятствий не встречается. Гербовый сбор уплачен».

Итак, к 1.10.1890 относится долго настраивавшаяся женитьба Кулаковского на Любви Николаевне Рубцовой, дочери управляющего канцелярией Варшавского генерал-губернатора и командующего войсками Варшавского военного округа, тай-



Николай Иванович Рубцов

ного советника Николая Рубцова (1825–1895). Тесть Кулаковского личность необычная, хотя и долго пробыл на земле начальником.

Тесть. Сын канцелярского служащего при Тверском губернаторстве, Рубцов с отличием закончил местную гимназию (1842), поступил в Московский университет, который по здоровью вынужден был оставить. Вернувшись в Тверь, последовал примеру отца, сделавшись канцелярской крысой при губернаторе. В 1857-м губернатор — граф Баранов — назначил Рубцова секретарём Тверского губернского статистического комитета, которую должность тот исправлял до 1861 года: 7 марта, в самый разгар «отмены крепостного права», его назначают секретарём Губернского по крестьянским делам присутствия с причислением к канцелярии начальника Тверской губернии. Но, конечно, не эти казённые занятия оставили имя Рубцова в истории, но помогли ему, по должности посещавшему монастыри, общественные учреждения, помещичьи усадьбы, фиксировать статистику, «записывать старинные сказки, легенды, тосты», собирать предметы обихода, орудия труда, образцы горных пород, — словом, заниматься фольклорно-этнографическими делами. Эта работа стала основой задуманного Рубцовым музея и послужила материалом-сырцом для написания

не чуждых словесного изящества очерков истории тверских городов Осташкова, Торжка, Кашина. Конец 1850-х — начало 1860-х означены энергическим участием Рубцова в организации Тверской публичной библиотеки.

Чиновник, историк, краевед и публицист, Рубцов главный инициатор и главный исполнитель идеи этой библиотеки, для обустройства которой требовались пять–семь тысяч рублей. Статкомитет выделил пятьсот и отдал свою коллекцию книг, остальные средства добирались через пожертвования частных старателей: городской голова подарил три тысячи, книгопродавец Черенин пожертвовал книжки итд. Тверской музей благодаря хлопотам Рубцова открылся в 1866-м. В 1868–1869-м он — вице-губернатор Твери. После прощальной трапезы 1.04.1869 в Тверском благородном собрании Рубцов со всей фамилией отправляется на Волынь вслед за бывшим лифляндским, эстляндским и курляндским генерал-губернатором князем Петром Багратионом (племянником того самого Багратиона, который — вах, джигит! — темпераментно требовал в 1812-м дать Наполеону генеральное сражение), долгое время организационно и материально помогавшим Рубцову.

Знаменитый и старый Фёдор Николаевич Глинка (1786–1880), декабриствующий поэт и автор «Писем русского офицера», сочинил по поводу рубцовского отъезда недурственные по ритмике строчки:

Что сгрустились сердца?
Что случилось у нас?
Ах, у нас из венца
Укатился алмаз..
И любимец дворян, и крестьян, и купцов,
И товарищ, и друг,
И работник повсюду за двух,
Уезжает из Твери Рубцов!..
Уезжает для высших он целей;
Но всё же грустно, что сети чужих рыбаков
Выловляют из наших садков,
На отбор, стерлядей да форелей!..
Но судьбу не судить!
Что сбылось, тому быть!
А в подкрепу радушного слова

Поспешим мы бокал свой налить,
И заздравный высоко вознестъ,
Как бокал, напеняемый в честь
Дорогого для Твери Рубцова!

В 1870–1890-е он служил вице-губернатором Ковны (ныне Каунас), директором канцелярии Виленского губернатора, а выйдя в отставку, в 1889-м был избран Виленским городским головой, исправляя эту должность в течение шести лет, до кончины.

У Анны Семёновны (урожд. Троицкой) и Николая Ивановича Рубцовых было две дочери, Любовь и Софья, и сын Николай († 15.07.1911), учившийся в Виленской и Варшавской гимназиях, окончивший Варшавский университет и одно время служивший директором Виленского христианского учительского института (был ещё еврейский).

Дуров шалит брачными стишками. Перед Рубцовым-младшим в учительском институте директорствовал Михаил Архипович Дуров (1844–1891), друг детства Кулаковского, правда, бывший старше его на 11 лет и рано почивший. Он был хорошо знаком с отцом Кулаковского, Андреем Ивановичем.

В записной книжке Дурова можно разобрать:

«Священник Андрей Кулаковский часто обходил и объезжал свой приход, исполняя свой долг укреплять в вере разбросанных среди иноверцев русских православных людей. Во время Крымской войны он принимал особенно живое участие в солдатских семействах, ожидавших окончания войны или срока службы своих мужей и отцов. Однажды он, при таком обходе, в бедной избушке, где жила солдатка Дурова с детьми, обратил внимание на мальчика Михаила, показавшегося ему даровитым. Священник приласкал мальчика и настоял на том, чтобы мать Дурова послала сына Михаила в так называемый “ланкашерский” класс. Начал учиться мальчик, и учился прекрасно».

Когда Кулаковский защитил докторскую, Дуров не преминул поздравить его многозначительным письмом:

«Радуюсь твоей блистательной защите диссертации, тем боле, что мне привелось быть свидетелем не только твоих первых занятий латинским языком, но, кажется, и первыми началами русской грамоты. Далек уже от нас эти счастливые времена твоего светлого поневежского детства и моей туманной юности».

Здесь же были приложены немудрящие строчки:



Киев. Бибиковский бульвар, фото 1900-х

Юлиан наш ты удалый,
Муж науки и пера,
Полним в честь твою бокалы
И кричим тебе «ура»!
Ты учился без конца,
Не желая сгинуть в Лете,
Ты от славы ждёшь венца...

Стишок написан в 1888-м.

Через два года, по случаю женитьбы персонажа, версификатор несколько переиначил произведение, буквами всыпав горсть шумных глаголов:

Юлиан наш, ты удалый
Муж науки и пера!
Пеним в честь твою бокалы
И кричим тебе «ура»!
Пусть тебя венчают славой
Зевс, Афина, Аполлон;
Афродиты ты лукавой,
Брат, дарами не польщён.
Без любви живёшь — жизнь в тягость.
Афродите ты скорей

В ножки... глядь — и жизни радость;
С девой милой Гименей —
Пред тобою. Ты в смущенье,
Ты в восторге! Гименей
С Афродитой в восхищенье...
С девой — к алтарю скорей!
Там для вас перед богами
Брачный гимн пусть возгремит;
Пусть Стигийская пред вами
Тень за облаком летит.
Счастьем пусть Зевес великий
Ваш союз благословит;
Бог Аид со злобой дикой
Вечно в Лете пусть сидит.

В те времена принято было писать в альбомы мелкие сочинения, Чуковский даже «Чукоккалу» завёл для излётно-усадебной забавы. Дуров не слишком напрягся, сочиняя вирши: одна стигийская тень, летящая пред новобрачными, чего стоит.

В той же книжке есть запись про сваху Кулаковского от июня 1889-го:

«Ю. А. Кулаковский, доктор римской словесности, профессор Киевского университета, задумал ухаживать за миловидною дочкою тайного советника (теперешний Виленский городской голова). Свахой состоит в этом деле почтенная старушка, москвичка, Васса Андреевна Рахманова, тёща попечителя Виленского губернского округа тайного советника Н. А. Сергиевского».

Прежде чем задумать, он думал долго и остановился на Любви Рубцовой: «Я уверена, — пишет ему сестра жены Иконникова Софья Леопольдовна Родзевич, причудливо называющая себя “маленьким летним другом”, — счастье не посмеет пройти мимо». Посмеет — не посмеет: будто октябрёнком одуванчик обрываешь — с лысиной во всю голову.

Осенью 1889-го Дуров, споспешествуя свахе и сочиняя оду, торопил Кулаковского:

«Что же ты, голубчик, дорогой наш, милый Юлиан, заглянешь ли к нам в Вильну, в Рождественские праздники? Следовало бы, дорогой брат, заглянуть и свой задушевный вопрос решить так или иначе. Нужно, брат, и в этом деле некоторое мужество, настойчивость. Смотри, Коля Бренн, твой двоюродный братец, завтра женится (то есть венчается)

на какой-то полячке. Филипп Малин поехал в Ковну шафером. Вот это глупая женитьба! Но твоя, дорогой брат, была бы очень умная: девица ведь прелесть!»

Откуда ему было знать?

Умных женитьб не бывает: бывают удачные и неудачные.

Женатые друзья, конечно, радовались, что Кулаковский наконец-то «пристроен», наконец-то, «как они», начнёт пожинать всходящие радости *совместного брака*.

Разве не сказано разумными: холостяку везде плохо, женатому плохо только дома? Разве почти женатый Пушкин не писал приятелю Николаю Кривцову?

«Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил, как обыкновенно живут. Счастья мне не было <...> В тридцать лет люди обыкновенно женятся — я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой нагоде своей <...> Всякая радость будет мне неожиданностью» (10.02.1831).

Родился — терпи.

Особенно потирал руки вполне женатый кум Владимир Митрофанович Чунихин: «Ура!» — начал он письмо.

«Дорогой кум Юлиан Андреевич! Наконец-то труднейшая задача в жизни Вашей решена, и искомая величина блестяще отыскана, с чем дружески, крепко обнимая и целуя Вас, от души поздравляю.

Позвоительно теперь сказать, что и Ваша жизнь исполнилась полноты и семейного счастья; дай же Господи Вам всегда наслаждаться им. Все мои благорасположения Вам прошу усерднейше передать Вашей премилой супруге. Думаю, что имею полное право так выразиться, ибо зная Ваш вкус и Ваши требования, не могу не представить в жене Вашей сочетания прекрасного в гармонической пропорции».

Суженая и потом. Мне не удалось разыскать фотографии Любови Николаевны Кулаковской (и разузнать дату её рождения), но, представляя темперамент Кулаковского, можно предполагать, что он выбрал в жёны женщину более или менее *многоэтажную*. Как бы то ни было, Кулаковский вполне мог повторить вслед за Толстым:

«Лично я не могу жаловаться на семейную жизнь. Напротив, моя семейная жизнь сложилась счастливо. Я знаю многих, которые очень хорошо сошлись друг с другом и живут хорошо. Но всё-таки брак — не праздник. Сходятся два человека, чтобы мешать друг другу».

Бердяев в поисках смысла творчества тоже остановился на семье и заметил без тени иронии, «без тётки», что нет феномена в жизни человечества, который бы так удачно объяснялся экономическим либерализмом, как семья.

Связь семьи с любовью ещё более отдалённая, чем связь с полом: «половая жизнь человечества никогда не вмещалась ни в какие формы семьи, всегда переливалась через все границы».

При наличии немногих исключений, происходящих скорее от эротической лености или творческой погружённости в себя, нежели диктуемых ханжеством, Бердяев точно указал на место семьи в жизни творческого человека:

«Семья есть послушание последствиям греха, приспособление к родовой необходимости <...> Семья оказывается пониженной формой обхождения полов, приспособлением к непреодолимости полового греха».

В этой апологии супружеской измены, привычной и естественной форме брачного союза, почему-то всегда вызывающей эмоции внутри корабля (в силу нарушения физиологического права частной собственности на «материально-телесный низ» супруга), в этой апологии главное, что в «идеологии семьи всегда что-то лицемерно скрывается», и «христианская семья есть лишь дезинфицирование, обезвреживание полового греха».

Жена Кулаковского, прожив с ним четверть века, родив двоих сыновей, будучи разумной женщиной (как же, оженился бы Кулаковский на дуре-хохотушке), правда, несколько экзальтированной (особенности дворянского воспитания в провинции, именитый муж-профессор итд), понимала, пожалуй, что мужчина, муж не склонен отдаваться безраздельно радостям постельных упражнений или страданию от какого-нибудь выдуманного душевного несчастья, — потому что у него *всегда есть его дело*, и вся полнота его сил — там, а не там, внизу. Чехов прав: настоящий мужчина состоит из мужа и чина: дело внутри, чин снаружи.

Любовь Николаевна умирала от рака матки, когда Бердяев в 1914-м писал трагические строки о прелъщениях брака:

«В стихии женской любви есть что-то жутко страшное для мужчины, что-то грозное и поглощающее, как океан. Притязания женской любви так безмерны, что никогда не могут быть выполнены мужчиной».

Остановлюсь на этом. Неизвестно ведь, чем больше руководился холостой 35-летний профессор-повеса, собираясь об-

завестись семьёй, — страстями? здравым смыслом? Хотя какой в браке может быть здравый смысл? В страстях — тем более.

Наталья Полонская-Василенко, студенткой восхищавшаяся Кулаковским, сухо, суше некуда, написала в воспоминаниях, мол, после расставания с Любовью Михайловной Гуляевой Кулаковский «женился на другой, имел двух детей». Одну Любовь променял на другую.

Сохранилось шелковисто отгиснутое приглашение.

«Николай Иванович и Анна Семёновна Рубцовы покорнейше просят сделать им честь пожаловать на бракосочетание дочери их Любви Николаевны с профессором Университета св. Владимира Юлианом Андреевичем Кулаковским 1 октября сего года в 2 часа дня в церковь Первой Виленской мужской гимназии, а оттуда к ним в дом. Вильна, 1890 г.»

Потом, как говорила Ахматова, «у них пошли дети»: в 1892-м Сергей, в 1893-м — Арсений.

Чужие дети растут быстро, потому что люди невнимательны друг к другу. Если и свои растут быстро, стало быть, центр внимания лежит в стороне от семьи.

Воспитание это жизнь родителей на глазах детей, и более ничего, — сказал некто разумный. А как люди ведут себя в семье, известно каждому — или из опыта твоих родителей, или твоего собственного, едва ли утешительного.

Кулаковский с детьми, мальчишками, поначалу возился, но не мог делать это долго. «Гораздо легче стать отцом, чем остаться им», — записал в афоризмах Василий Ключевский. Для учёного такие обязанности практически нестерпимы.

Флоринский хвастал Михаилу Бережкову (1850–1932), профессору Историко-филологического института в Нежине:

«Новым ректором [Фортинским] все довольны. Быть может, Вы не знаете, что на днях женился Юлиан Андреевич. Жена у него — прелесть» (21.10.1890).

Чету Кулаковских поздравил Афанасий Фет. Кулаковский отписывал 17.12.1890:

«Вы были так добры, что откликнулись ко мне 1 октября. Я же до сих пор не поблагодарил Марию Петровну (жену Фета. — А. П.) и Вас за это внимание. Примите хоть теперь эту запоздалую благодарность вместе с низким поклоном от меня и жены. Надеюсь, что когда-нибудь придётся появиться вместе с нею в Москве, и я буду иметь случай представить Вам и Марии Петровне мою спутницу жизни».

Античник и византинист Дмитрий Фёдорович Беляев, с которыми мы встретимся в одном из отступлений, прислал:

«От души поздравляю Вас и Вашу супругу с новорожденным первенцем. Теперь Вас можно вполне назвать семейным человеком, и Вы уже теперь испытываете положение такого семейного человека, которому надо сидеть дома, а не носиться с лёгкостью ветра с одного конца Европы на другой. Да и пора Вам сделаться оседлым человеком и перестать быть кочевником».

Эх, знал бы профессор Беляев, о чём писал. Именно о том, чего Кулаковский лишился по собственной воле и теперь расстраивался. Хорош поздравитель.

Конечно, играл роли любящего мужа и отца, затыкая уши ватой, и старался найти форму творческого одиночества, которая бы объективно, в силу научного самопоручения, позволяла не «сидеть дома» и, пока относительно молод, — «носиться с лёгкостью ветра». Только в одиночестве человек истинен, — в обществе он тяготеет к тому, чтобы превратиться в условность, фикцию. «Чтобы жить истинной, реальной жизнью, человек должен как можно чаще замыкаться, углубляться в своё одиночество» (Ортега-и-Гассет). Пожалуй, именно женитьба, а затем крикливые погодки подтолкнули Кулаковского к практической археологии.

На святках 1891-го Кулаковские в Вильне, гостят у Николая Рубцова в Учительском институте, во второй декаде января — в Петербурге у Платона Кулаковского.

Полонский 11.01.1891 спрашивает Фета: «Был у тебя Кулаковский?» Ответ неизвестен, но с Полонским Кулаковский виделся, за «Вечерний звон» благодарил лично, тем самым дезавуировав обиду:

«Послал я одну книжку к Кулаковскому в Киевский университет; но — от него ни ответа ни привета. — Уж не бросил ли он Киев, женившись в Вильне?» (Полонский — Фету, 13.11.1890).

16.01.1891 Полонский пишет: «Между гостями совершенно неожиданно появился и Кулаковский. (Он поехал в Вильну за женой — и вернётся в Киев другой дорогой.)». Вообще Кулаковский часто навещался к Полонскому, бывая в Петербурге:

«Было у меня народу около 130-ти человек и между ними наш общий знакомый Кулаковский. Ты себе представить не можешь, как я искренно обрадовался такому неожиданному дорогому гостю!» (27.12.1889).

Весной 1890-го тот оплачивает любезностью:

«часто вспоминаю я Ваш милый Петербург, чувствуя к нему Sehnsucht [страстное желание] <...> Мне было ужасно жаль, что не удалось побывать ещё раз на Ваших пятницах».

Литературный салон Полонского. Набор гостей удивителен: Достоевский, Тургенев, Данилевский, Григорович, Гончаров, Плещеев, Майков, Фет, Фофанов, Случевский, Вс. Соловьёв, Каразин, Антон Чехов, Айвазовский, Верещагин, Репин.

Александр Амфитеатров, тоже гость на Знаменской, в некрологе Полонскому:

«Пятницы Полонского — кто не знал их в петроградском литературном и артистическом мире? Журфиксов в столице много, но пятницы Полонского были во множестве этом явлением совершенно исключительным. От них веяло сороковыми годами, “кружком in der Stadt Moskau” [в городе Москве], который с такою мучительною любовью, с таким любовным самоиздевательством описал Тургенев в “Гамлете Щигровского уезда”. Всякий раз, что случалось мне попадать на эти пятницы, я выносил одно и то же неизменное впечатление. Вон этот старик — превосходительство, ворочает целым департаментом; вон от этого высокопревосходительства, говорят, зависит добрая половина всей русской политики; тот стоит во главе могучего издания; тот — несметный богач, руководитель колоссальных финансовых предприятий... Какое же чудо подняло их всех на четвёртый этаж дома на углу Знаменской и Бассейной, собрало вместе в скромной квартире старого поэта, больного человека на костылях, зябко дремлющего в креслах, под тяжёлым пледом? И отчего все эти высоко и просто превосходительства здесь совсем не те Юпитеры, какими знают их не только их собственные ведомства и департаменты, но даже обыкновенная “улица”, — а живые, симпатичные, тёплые люди с кроткою речью, с мягкими взглядами, с почти нежным обращением друг к другу? И на нас, — сравнительно молодёжь, — они смотрят ласково: мы другого поколения, другого общества, но нас слушают, нас терпят, с нами спорят и соглашаются. Мы, взаимно чуждые всюду, здесь свои, равные, — точно студенты разных выпусков на общем университетском празднике».

Старый Полонский передвигался с трудом, на костылях, и ему было легче принимать гостей у себя, нежели самому наносить визиты. Лестница в доме была крутая, более ста ступенек, и Полонского носили по ней вверх-вниз в кресле.

«Пятницы Полонского» существовали сорок лет, до 1898 года, на них «можно было встретить представителей всевозмож-

ных редакций, людей самых различных взглядов» (Вл. Соловьёв). Пятницы были и тематическими — «достоевская», «гончаровская», «полонская», «фетовская», — и просто так.

О «фетовской пятнице» известно из письма Лескова Репину от 14.03.1889: «В пятницу, 17 марта, у Полонского будет старец Афанасий Фет. Любопытно! Полонский просил — не зазову ль я Вас? Очень зову!» Фету шёл семидесятый год, он был уже малоподвижен, и его приезд «на пятницу» воспринимался событием. Хороший человек Полонский хорошо относился к Кулаковскому, иначе бы не выделил его среди ста тридцати гостей в письме Фету.

«Много лет воспоминание о любвеобильном старце будет ободрителем духа для людей колеблющихся, готовых поступиться стыдом и совестью в безысходной борьбе житейской; на многое стыдное не поднимется рука, которую дружески жал Полонский» (А. Амфитеатров).

СЫНОВЬЯ

Отступление третье, личное

Сергей Кулаковский. О судьбе и делах старшего, Сергея Юлиановича, известно многое; о младшем, у которого была только судьба, — практически ничего.

Даты жизни — у Сергея конкретные: 4(16).07.1892, Киев — 11.03.1949, Лодзь, похоронен в Варшаве; у Арсения чуток расплывчатые: 12.06.1893, Киев — конец 1930-х, Киев.

Отец так мотивировал выбор имён: «12 июня [1893 года] — 500-летие памяти русского святого Арсения Коневского, как в прошлом году [4 июля] было 500-летие Сергия [Радонежского]».

Сергей Кулаковский в 1911-м окончил Вторую киевскую гимназию (Бибиковский бульвар, 18), в 1911–1915-м изучал славянскую и романо-германскую филологию на историко-филологическом факультете Университета св. Владимира, где среди прочего слушал отцовские лекции по Риму и Византии, сдавал ему экзамены (сохранилось прошение о сдаче экзамена по истории римской литературы с оценкой, вписанной рукой отца: *весьма удовлетворительно*, 12.12.1912), но, конечно, не только ему: главным славистом Университета был Флоринский, опе-



*Арсений и Сергей Кулаковские, Вильна, 1895
Публикуется впервые из собрания Виктора Короткого*



*Оборотная сторона фотографии,
на которой рукой Кулаковского надпись:
«Сергея и Арсения Кулаковские»,
Вильна, 1895, из собрания
Виктора Короткого*

кавший сына коллеги (и друга), а наиболее увлечённым — и увлечённость эту передававший слушателям — молодежавый профессор Владимир Перетц (1870–1935), будущий академик и страстотерпец, учеником которого Сергей Кулаковский называл себя впоследствии.

Будучи студентом, выступал в Университете с докладами: «Стоглав в свете новых исследований В. Н. Перетца» (1912) и «Язык песен, записанных в сёлах Забеле, Карповичи и Березовая Белостокского уезда Гродненской губернии» (зачитан В. А. Розовым 9.12.1913), — это были места, связанные с юностью матери, с лесной дачей «Карпинец» близ деревни Суховоль Гродненской губернии.

В письме Иконникову от 15.07.1914 (из Красной Поляны) Кулаковский писал: «Мой старший сын, филолог, очень хочет побывать на [Археологическом] съезде [в Пскове], и мы поедем вместе». Поездка не состоялась: война.

В 1915–1916-м Сергей учился на факультете романо-германской филологии Санкт-Петербургского университета, где и получил диплом первой степени, а затем (в ноябре 1916-го) был оставлен при Университете по соответственной кафедре. Жил в это время, по-видимому, в семье дяди Платона Андреевича.



Киев. Участники семинария русской филологии проф. В. Н. Перетца (сидит в центре), гимназист Сергей Кулаковский стоит в верхнем ряду крайний слева, фото 1909 года

Весной 1917-го, вернувшись после февральской революции в Киев, преподавал в должности ассистента российскую словесность в Коммерческом институте (Киевском институте народного хозяйства; Бульварно-Кудрявская, 26 и Бибиковский бульвар, 22–24), которым руководил Митрофан Довнар-Запольский (тоже коллега отца), на Киевских высших женских педагогических курсах и в Женской гимназии при Киевской евангелическо-лютеранской церкви св. Екатерины (Лютеранская, 20) — до её закрытия в 1921-м.

Сохранилось два письма от 16.08.1921 Сергея Кулаковского и Адольфа Сонни — славяноведа Андронику Дудке-Степовичу (1856–1935) по поводу сдачи магистерского экзамена по сербской народной словесности. Первое:

«Отъездом [Н. А.] Туницкого [Сергей] Кулаковский поставлен в очень трудное положение: все экзамены сданы, кроме славянской литературы. Он должен пройти через факультетское заседание... Если ему не удастся сдать экзамен, он не может окончить своей магистерской подготовки. Очень прошу Вас, не откажите. Преданный Вам А. Сонни».



*Сергей Юлианович Кулаковский,
фото 1909 года*

Второе:

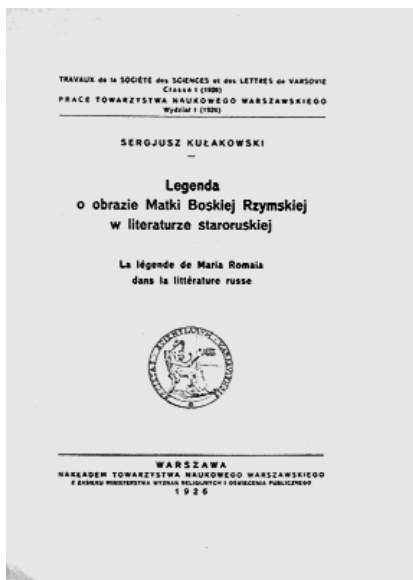
«Дело мое спешное, — пишет Сергей, — и А. И. Сонни меня сам прислал к Вам. Я работаю день и ночь, и не могу сейчас терять много времени на беготню... Сделайте милость и придите выполнить эту формальность. Неужели такой второстепенный для меня предмет не даст возможности закончить то дело, которое уже через три дня нельзя будет провести?.. Убедительнейше прошу Вас прийти — моё положение иначе совсем безвыходное...»

Не очень-то любезно, зато искренне. Степович, конечно, откликнулся, и отметил на листике Сонни:

«Я проэкзаменовал магистранта Кулаковского. Отв. удовлетворительно. А. Степович».

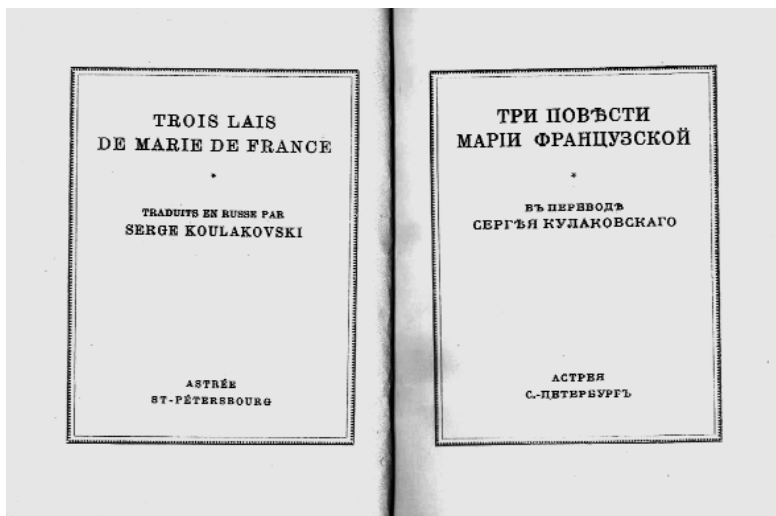
Академик Михаил Алексеев, перечисляя доклады, сделанные в Историко-литературном обществе при Московском университете (основано 15.10.1917), упоминает о докладе Кулаковского «Сказание о чудотворной иконе Богоматери Марии Римлянки». В 1923-м в ленинградском Госиздате в переводе с английского и с предисловием С. Кулаковского издан четырёхсотстраничный труд Джеймса Келли «Испанская литература: Историческая литература» (есть репринт 2015 года). Кроме

*Обложка магистерской
диссертации Сергея Кулаковского
«Легенда об образе Богородицы
Римской в древнерусской
литературе» (1926)*



этого предисловия, мне известна лишь одна его публикация в России: «Состав сказания о чудесах иконы Богородицы Римлянки» в «Сборнике статей в честь академика Алексея Ивановича Соболевского, изданном ко дню 70-летия со дня его рождения Академиею наук по почину его учеников» (под редакцией Перетца. Ленинград, 1928; под статьёй дата: 21.12.1926) — логичное следствие доклада «Сказание о чудотворной иконе Богородицы Марии Римлянки», сделанного в заседании Историко-литературного общества при Университете св. Владимира ещё в 1921-м. Академики Перетц и Соболевский, приятели отца, сильно рисковали, приняв к публикации статью не вернувшегося из заграничной командировки российского учёного.

В 1919–1921-м, в самое тяжёлое киевское время, Сергей служил ассистентом на кафедре всеобщей литературы Университета (с 13.04.1919). По сообщению С. Билоконя, 4.04.1919 его решили оставить при университете как стипендиата для подготовки к преподавательской деятельности по кафедре теории и истории искусства, то есть под крылом Григория Павлуцкого. В августе 1919-го, за две недели до бегства большевиков из Киева, за подписью комиссара Университета Владимира



*Конфронтул и титул книги «Три повести Марии Французской» (1923)
в переводе С. Кулаковского. Публикуется впервые из собрания о. Генриха Папроцкого*

Мицкуна, будущего замначальника Особстроая НКВД СССР, было выдано удостоверение:

«Настоящее удостоверение от Киевского Университета за надлежащими подписями и приложением печати дано Сергею Юлиановичу Кулаковскому в том, что он состоит членом Преподавательской коллегии сего Университета» (сиречь преподавателем).

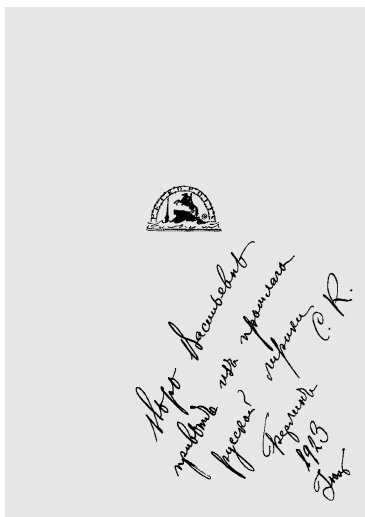
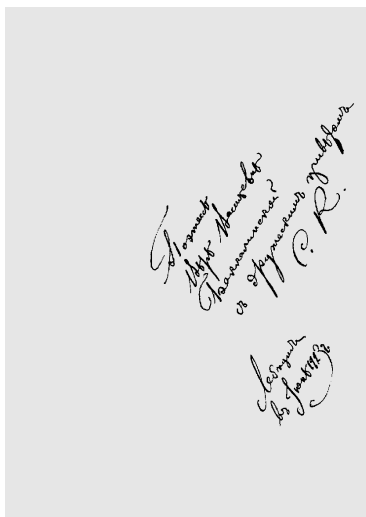
В 1921-м Кулаковский защитил то ли в Киеве, то ли в Москве магистерскую диссертацию «Легенда об образе Богоматери Римской в древнерусской литературе» (издана по-польски «Legenda o obrazie Matki Boskiej Rzymskiej w literaturze staroruskiej» отдельным томом «Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego», 1926) и получил доцентуру в Московском университете.

От времени его «московского сидения» сохранилось письмо латинисту Аполлону Грушка (1869–1929), многолетнему декану историко-филологического факультета Московского университета, по поводу 25-летнего юбилея его научно-педагогической деятельности (опубликовано Е. Скударь в 2017-м).

6.III.1922

Глубокоуважаемый, дорогой Аполлон Аполлонович!

Когда вчера А. А. Фомин (профессор кафедры русской словесности



Автографы С. Ю. Кулаковского Вере Васильевне Баккалинской на «Трёх повестях Марии Французской» (1923) и «Анно Доміні» Ахматовой (1923)

историко-филологического факультета Московского университета. — А. П.) предлагал мне говорить от имени наших курсов, я не почёл удобным, как homo novus Московского университета, воспользоваться таким лестным предложением, хотя именно тогда мне хотелось припомнить то, что не было отмечено другими.

Ваше душевное ко мне отношение, моральная поддержка, которую Вы так по-отечески оказали мне, когда я обратился к Вам тогда в октябре, в трудный для меня момент, позволяют мне выразить хотя бы в письменной форме то многое, что сейчас меня глубоко волнует.

Однажды случайно в кабинете современного бюрократа я был невольным свидетелем знаменательного разговора. Представитель одного музея всё никак не желал признать подчинения одному советскому учреждению, стал туманно выражать свои мысли и, наконец, сослался на тактику другого музея. При этом, не совсем кстати, помянул, что Вы этот музей называете имени покойного Государя Императора Александра III. На это бюрократ сказал: “Ну, знаете, когда говоришь с профессором Грушка, то знаешь, с каким человеком имеешь дело и считаешься с его прямоотой, с его открытыми убеждениями, чего никак нельзя сказать про иных”. Само собою, противник был сражён.

Вы говорили, что Вас называли Дон-Кихотом, но, мне кажется,

не этого рыцаря следовало упомянуть Вашим недругам или друзьям, но Баяра *sans peur et sans reproche* [без страха и упрёка]. Именно эту сторону Вашего отношения к людям и событиям ценят Ваши друзья, Ваши ученики, перед ней склоняются недруги. И университетская молодёжь всегда мерилом духовных основ и устоев избирает в наше жуткое время Вас. Именно к Вам я пошёл тогда, думая, что Вы не отстранитесь от меня в такие трудные минуты, когда я во что бы то ни стало стремился спасти себя «aus dieser Schwüle, aus der schwülen Kiewer Luft» [Из этой духоты, из этого душного киевского воздуха], как А. И. Сонни, и ко мне писал Ф. Ф. Зелинский.

Позвольте низко Вам поклониться за это.

В настоящее время праздновали многолюдно день Пушкина, вспоминали и поминали Шекспира, Мольера. На первом из этих торжеств я был, и потом отпала охота пойти на другие. Мёртвым и ненужным казалось всё это и несколько не объединяющим никого, особенно молодёжь. И вот вчера каждый из нас, уверен, пережил чувство объединённости, сплочённости вокруг светлого и значительного, что превратило в событие, в торжество этот незабываемый надолго день.

Ваша личность для нас, молодёжи, которой так легко и соблазнительно колебаться между двумя путями, но и вообще не найти лица своего, Ваша личность для нас не пример только, но и знамя, но и символ, вокруг которого так дружно объединилась вчера просвещённая Москва.

Перечитывая своё письмо, нахожу его таким невыразительным. Быть может, Тютчев таки был прав, говоря о неизреченности мысли. Всегда думаешь сказать так хорошо и ясно, а на деле и слов-то не найти, и мысли самые бледны.

Простите и не осудите душевно и горячо Вам преданного

Сергея Кулаковского

В сентябре 1922-го, отпросившись в научную командировку, сбежал из большевицкого Киева. Сначала учился в Лейпциге, затем в Практической школе высших исследований (Сорбонна) в Париже. В Польше наездами, с 1924 года — навсегда: Варшава, с 1945-го — Лодзь.

В семейном архиве о. Генриха Папроцкого (Варшава) сохранились две книги с автографами Сергея Юлиановича киевлянке Вере Васильевне Баккалинской, свояченице Витольда Клингера: «Три повести Марии Французской» в его переводе (СПб., 1923) и третий сборник «Anno Domini» Ахматовой (Пб., 1923). Автограф на первой («Поэтессе Вере Васильевне Бакка-

KARTA PERSONALNA

Nazwisko *Кулаков* ur. *18.09.1898* / *16. VII. 1900*
 Imiona *Sergiusz* Nazwisko panienske u mezatek
 Imie ojca *Sergiusz* Imie i nazwisko panienske matki *Luba Rabin*
 Narodziscie *Polotsk* Obywatelstwo *polacka*
 Stosunek do sluzby wojskowej *kat. C-2* stopien
 Ukozczone wykszcalenie Ukozczone wykazalocenie
 ogolno-kszcalocace: zawodowe:
 nizsze *szkolnego* *kurdy. pedagog. u. Rjane*
 srednie *II gimn. slaj. u. Kijowie*
 wyzsze *Mat. u. Kijowie; Inst. cerkurna, Umiu. u. Lwowa;*
 Stopien naukowy:
 nizszy (krajowy) (zegranciczny)
 wyzszy (krajowy) (zegranciczny)
 Znajomosc jezykow w slowie *pol., ros., fr., angi.* *(arab., hiszp.)*
 w pieśni
 Ordery i oznaczenia krajowe
 zegranciczne
 Stanowisko sluzbowe *zast. prof.* grupa upos.
 Data objecia stanowiska sluzbowego *1. X. 1945*

Фрагмент персонального листка из личного дела С. Ю. Кулаковского
в архиве Лодзинского университета

линской с дружеским приветом, С. К.» датирован «Лейпциг, июнь 1923 г.», на второй («Вера Васильевне — привет из прошлого русской лирики») — «Берлин, июль 1923 г.». Вера Бакалинская в будущем побывала супругой Франтишека Новотного (1881–1964), чехословацкого филолога-классика, профессора университета в Брно, академика Чешской Академии наук, но по семейному преданию о Генриха, Кулаковский был влюблён в Веру ещё с киевских времён. Сестра Веры Васильевны Зинаида была замужем за Василием Ильичём Экземплярским (1875–1933), профессором нравственного богословия КДА.

С января 1926-го С. Кулаковский — доцент русской литературы в Польском Свободном университете (Wolna Wszechnica Polska), преподавал российскую словесность в Варшавском университете, Высшей школе торговли и Школе политических наук, с 1933-го — ещё и в Варшавской Политехнике. Выпустил двумя изданиями трёхсотстраничный учебник русского языка: «Pierwsza książka do nauki rosyjskiego» (Львов, Варшава, 1934; «Pierwsza książka do nauki języka rosyjskiego», 2-е издание, пересмотренное и дополненное, 1939). Делегат Первого (Прага, 1929) и Второго (Варшава, 1934) съездов славистов, на которых

выступал с русскоязычными докладами («Современные русские поэты», «О романтизме в современной польской поэзии», «Ложнонародная поэзия в русской литературе XIX века»). Публиковался (чаще под псевдонимом «Капитан Немо») в «Литературных ведомостях»: «Польша и Лесков» (1927, № 24), «Польша и Блок» (1927, № 37).

Д-р Тадеуш Зенкевич (Tadeusz Zienkiewicz, 1930–2017), профессор Высшей педагогической школы и Университета Warmińsko-Mazurski в Ольштыне, материалами статьи которого я здесь пользуюсь, подчёркивал, что биография Кулаковского характерна для беженцев из России — поляков или людей, ощущавших связь с Польшей и польской культурой. Воспитанные зачастую в среде двух культур, польской и русской, и двух вероисповеданий, католического и православного, в Польше они становились польскими или русскими писателями, участвовали в русской (эмигрантской) и польской литературной жизни, писали на одном языке или на обоих (*Acta Polono-Ruthenica*. Warszawa, 2000, t. 5). Семья Кулаковских была православного вероисповедания невзирая на то, что отец тяготел — под влиянием не только Вл. Соловьёва, но и проведённых в польско-литовских землях детства и юности, — к католицизму. Польско-белорусские корни отца и «великорусские» корни матери, воспитание в духе толерантности ко всем нациям, ненависть к ксенофобии оказались достаточным основанием для выбора Сергеем Юлиановичем Польши как второй родины. В листке по учёту кадров в Лодзинском университете (1945) в графе «Narodowosc» он написал: *polska*; в графе «Obywatelstwo» тоже *polska*.

Осенью 1929-го на съезде славистов в Праге прочёл доклад, представлявший обзор книги «Современные поэты в очерках Сергея Кулаковского и переводах Михаила Хороманского» (Берлин, 1929). Характеризуя явления в польской поэзии, преимущественно поэтов «Молодой Польши», Кулаковский и в книге, и в докладе последовательно сопоставлял их с известными русскоязычному читателю явлениями в русской поэзии; указывал на параллели в литературной жизни, сравнивал польских поэтов с российскими, обращал внимание на польско-российские литературные контакты (*Acta Polono-Ruthenica*. 2008, № 13). Труд не был образцом компаративисти-

ки: Кулаковский пользовался аналогиями с целью облегчения восприятия польской поэзии российским читальщиком (как называл *читателя* по аналогии с *купальщиком* Сиг. Кржижановский). Он использовал, — не всегда безусловно, — определения, принятые в тогдашнем российском «либеральном» литературоведении, скажем: *народничество*, *опрошение*, вплоть до выяснения таких понятий, как *народность* или *примитивизм*, — характеризуя поэтов группы «Чартак» (Эмиль Зегалович, Эдвард Козиковский, Янина Бжостовская), которые исповедовали францисканство, рустикальность и были близки немецкому экспрессионизму (так сказать, польскому акмеизму в немецкой стилистике Крихнера, Нольде и Мурнау). Но важным были, конечно, не эти «технические» особенности текста, а сам текст: других не было. Хотя антологии переводов польских поэтов и печатались в СССР (1954, 1963, 1971), но лишь через семь десятилетий после Кулаковского/Хороманского, в 2000-м, санкт-петербургское издательство «Алетейя» выпустило образцовую двухтомную антологию «Польские поэты XX века» (от Леопольда Стаффа; составители Н. Астафьева и Вл. Британишский), тем самым как бы утвердив корпус текстов, достойных популяризации вне Польши.

Обзорная русскоязычная брошюра «Ян Кохановский (1530–1930)» (Берлин: Петрополис, 1930), выпущенная к 400-летию поэта, была посвящена филологу-классику Фаддею (Тадеушу) Зелинскому, «апостолу славянского возрождения», российскому профессору, родившемуся в Украине (близ Звенигородки) и ставшему польским. Зелинский был оппонентом по докторской диссертации Юлиана Кулаковского в 1888-м и, хорошо относившийся к отцу, тепло отнёсся и к сыну, поселившемуся в Польше. К тому же, в 1929-м Зелинский отметил юбилей, и Кулаковский откликнулся на это событие тёплой статьёй «Ф. Ф. Зелинский: К исполнившемуся 70-летию (1859–1929)» (издана дважды: Россия и славянство (Париж), 1930, № 68, 15 марта; Professor Tadeusz Zielinski // Olion, 1931, № 5/6 (17/18), mai–juuni, s. 237–238).

Брошюрка о Кохановском это, скорее, биографический очерк о первом национальном поэте XVI века, нежели беседа о творчестве, иллюстрированная фрагментами стихотворений Кохановского (в переводах Кулаковского) с библиографией

в приложении. Ян Парандовский в «Алхимии слова» жаловался на биографов польских писателей, мол, наши писатели выглядят торжественно и немного печально, как на памятниках. Неизвестный скульптор, не забывший на надгробии в Зволене снабдить Кохановского перчатками, оказался красноречивее биографов поэта.

Возможно, для эстетической целостности биографии эти перчатки и вправду важнее, чем воспоминания безразличных современников. Это случай, когда фантазия реконструкции важнее правды оригинала. Тынянов бы одобрительно кивнул.

В таком жанре работал с антиками Зелинский, может, оттого — по сходству метода — Сергей Юлианович и посвятил ему это текст. Современные писатели наверняка

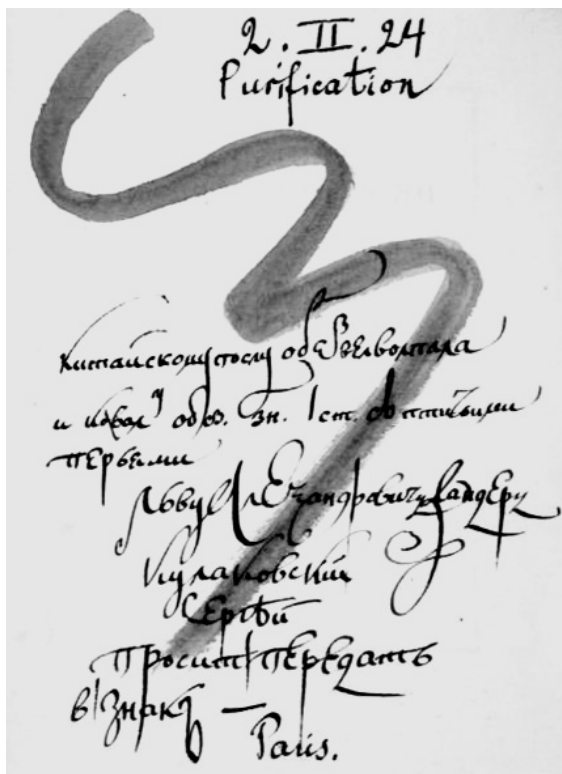
«с завистью оглядывались на писателей древности: тем неоценимую услугу сделало время, уничтожив всё, кроме произведений» (Парандовский).

Говоря о патриотической лирике Кохановского, как сообщает один рецензент, автор «обнаружил прекрасные знания польско-русских отношений времён Стефана Батория» — польского самодержца, упоминаемого в «Страшной мести» как «король Степан», которому служат казаки Иван и Петро.

«Говоря об отдельных произведениях поэта, Кулаковский особенно подчёркивал их связь с античностью. Столь же умышленно он весьма подробно представил жизнь и творчество Кохановского на фоне европейской литературы его времени (что же до польской литературы, то он ограничился упоминаниями о ней)» (Т. Зенкевич).

В 1930-м С. Кулаковский участвовал в работе Второго Балтийского археологического конгресса (Рига), наверняка припомнив археологические занятия отца в Крыму 1890-х и тёплые волны Понта в выжженной солнцем Евпатории. Читал латышам лекции о польской литературе и по их следам сочинил статью «Польша в латвийской литературе» (*Wiadomosci Literackie*, 1930, № 47), вместе с Янисом Гринсом — «*Literatura łotewska*» для шеститомной энциклопедии «*Wielka Literatura Powszechna*» (Варшава, 1930, т. 1, с. 747–760).

Сотрудничал с пражским изданием «*Slavic Runschau*», в котором опубликовал рецензии на русские переводы Мицкевича (1930, № 4), обзор «*Der Einfluss der neuen russischen Lyrik auf die polnischen Dichter <Влияние новой русской поэзии на польских поэтов>*» (1931, № 1, с. 8–13), среди прочего —



Каллиграфический инскрипт кавалера Обезьяньего знака Сергея Кулаковского на авантитуле другому кавалеру и философу Льву Зандеру

о влиянии Николая Гумилёва на Эдварда Козиковского, Велимира Хлебникова — на Юлиана Тувима, Маяковского — на поэтов группы «Скамандр» (Тувим, Антоний Слонимский, Яр. Ивашкевич, Казимеж Вежиньский, Ян Лехонь). В газете «Wiadomosci Literackie» вспомнил о Василии Розанове (1930, № 28), в 1931-м «Sergiusz Kułakowski opublikował w “Pamiętniku Warszawskim” szkic *Proza rosyjska po wojnie światowej* <Русская проза после мировой войны>» (Генрих Виснер, статья «Советская и русская книга во Второй Речи Посполитой», 1977), в 1932-м — рецензию на «Медного всадника» в переводе Тувима.

Присоединился к празднованию 100-летней годовщины «Пана Тадеуша» (1934), напечатав в посвящённом Мицкевичу

номере литературного ежемесячника «Камена» (1934, № 10) статью «Произведения Адама Мицкевича в переводах на русский язык» (с переводом шестнадцатой главы «Книги польского народа и паломничества»); к 100-летию первого издания «Калевалы» там же (1935, № 6) — статью «Народная финская поэма» и фрагмент сорок девятой руны в переводе Казимежа Анджея Яворски. Интересовался российскими контекстами в биографии Мицкевича, его знакомствами в петербургских кругах (Пушкин, Вяземский, Рылеев) и особенно — романом Мицкевича с Каролиной Яниш-Павловой (посвятил теме специальную статью в «Wiadomosci Literackie», 1929, № 36). Сочинил предисловие к сборнику переводов Есенина («Spowiedź chuligana i inne poezje», 1935) в библиотеке ежемесячника «Камена», статьи «Трагедия Сергея Есенина» (1934, № 3), «Zmierzch Aleksandra Błoka» (1935, № 5), «Максимилиан Волошин» (1934, № 9), «Владислав Ходасевич» (1935, № 10), «Латышская поэзия» (1936, № 7), «Переломное время в жизни Александра Пушкина» и «Юлиан Тувим как переводчик Пушкина» (1937, № 7), эссе о «трёх любвях» Блока («Trzy miłości» Al. Błoka 1946, № 8/10).

По наблюдению о. Генриха Папроцкого, русская эмиграция в Польше имела довольно значительных представителей, но не только потому, что здесь было много хороших специалистов, таких как Сергей Кулаковский. Он создал в Лодзи очень значительную группу русской интеллигенции, которая издавала даже свои газеты. Так, в середине 1930-х Кулаковский сотрудничал в русскоязычных журналах «За свободу!» (основан Борисом Савинковым и Фёдором Родичевым) и «Меч» (основан Дмитрием Философовым).

Что колония российских эмигрантов в Польше была значительна, свидетельствует письмо молодого Льва Гомолицкого (1903–1988), русского и польского поэта, литературоведа и художника-графика первой волны эмиграции, — Алексею Ремизову от 11.08.1935:

«Сообщая, что альбом разыгран — и при таких обстоятельствах: у Зелинского, в присутствии А. П. Ладинского, который гостил в Варшаве, и С. Ю. Кулаковского. Хотели мы очень, чтобы номер выиграла канарейка (у дочери Ф[аддея] Ф[ранцевича] — целый городок канареечный). Но канарейки пошли спать, было поздно. Рассуждали мы, рассуждали —

Предсказаніе,

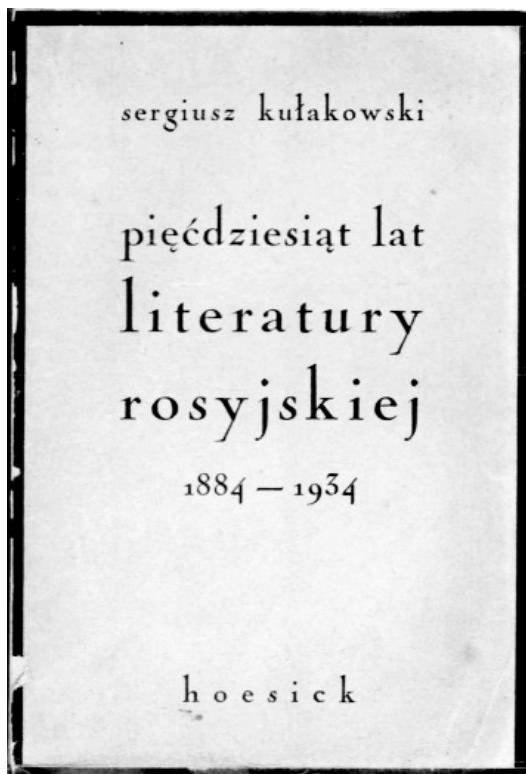
Отступили мы ордаю Дивой.
Затопили туши въ муромы...
По Руси-тъ, по Руси великой —
Крѣвь, пожаръ, забвѣніе въ вѣкъ.
Враньѣ глумилъ и вичеръ, торговавъ,
На пути селеня, города...
Ты, Россия, твой орелъ двуглавыи?
Съишь ты, не встанешь никогда.
И земля наавѣтра сараритая.
Что же двуглавыи? Ты ищи исходъ?
Помощи, Небесная Царица,
Собери Ты на враньѣ походъ!
Рязань, 12
30 марта 1912г.

Вписано въ альбомъ Фрѣя Викторово-
вича Риммера на добрую память
въ Рязань, 1 ноября 1912 года.
Сердце² Кулаковскій.

Стихотворение Сергея Кулаковского «Предсказание» (17.03.1917),
автограф в коллекции о. Генриха Папроцкого, публикуется впервые

как сделать, а А. П. Ладинский (человек со стороны, ни во что не посвящённый) развёл руками и говорит: «Да что думать: выберите первый попавшийся, ну хотя бы — седьмой». А седьмой-то — Сергея Юлиановича и ему хо-очется. Ну, и порешили, что это — перст Божий. Оно и верно: С. Ю. — библиоман, у него во веки веков сохранным будет».

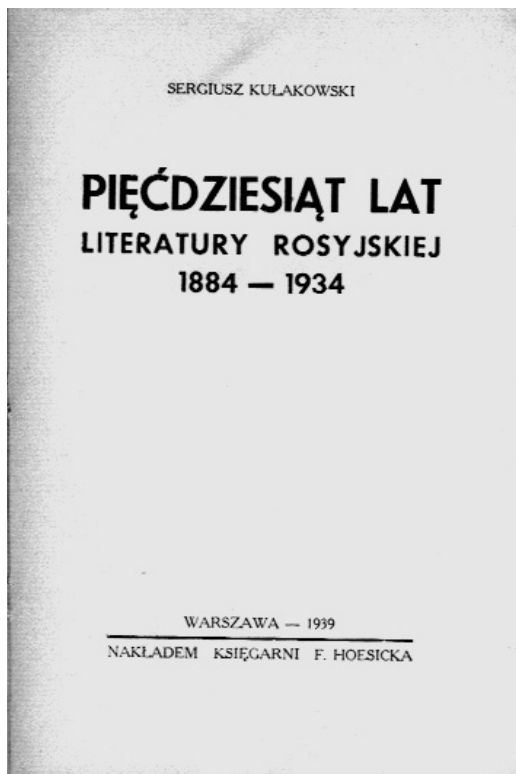
Речь об одном из выставлявшихся на полудомашние аукционы лотов — рукописном альбоме Алексея Ремизова (предположительно речь о тексте: «Гаданье данное людям от Бурхана-Мандзышира»), им же переплетённом (вынужденная писательская привычка непечатных пореволюционных лет, известная у киевских поэтов-неоклассиков). Относительно этих hand-made Гомолицкий в одном из писем дивилсся: «Как это Вы



Обложка книги Кулаковского «Пятьдесят лет русской литературы», 1939

можете столько переписать таких альбомов!», а затем старался продать такое количество жеребьёвочных билетов по 1,5 злотых, чтобы участников накопилось хотя бы злотых на тридцать, и «недостаточному» Ремизову было бы полегче. По невольной указке Антонина Ладинского, автора популярных романов о Риме, Византии и Киевской Руси, на этот раз билет достался Кулаковскому.

«Мы все рождаемся в мире, чтобы нас ласкала царевна Мыра, — желал бы думать Ремизов, — но всех нас пожирает зловонная змея Скарапея»: наверно, в выдуманном мире романов «Посолонь», «Взвихрённая Русь» и «Подстриженными глазами» жить было легче. По мнению Мирона Петровского, в каком-то мысленном пределе книги Ремизова должны были



Титульный лист книги Кулаковского «Пятьдесят лет русской литературы»

быть рукописными и воспроизводить авторское начертание времён Алексея Михайловича. Эти книги должны сопровождаться собственными рисунками Ремизова — самобытного художника, чьи графические листы высоко оценивал Пикассо (в парижском житъе писателя).

Сергей Кулаковский и Алексей Ремизов могли быть знакомы ещё по Киеву, куда писатель наезжал из Петербурга в середине лета или на Рождество. Но вот увлечение творчеством Ремизова у Кулаковского действительно было давним. Его записочки, которые сохранились в Институте рукописи, — свидетельство не столько упражнения в каллиграфии, сколько подражания знаменитой «глаголице» Ремизова, которую под смехок Лотмана «разбирал» в архиве Михаил Безродный.

В 2018 году на каком-то аукционе в Монако продавалась книга «Три повести Марии Французской» в переводе Кулаковского (СПб.: Астрей, 1923. 54 с.; отпечатана числом 250 экземпляров Библиографическим институтом в Лейпциге) с его каллиграфическим инскриптом кавалера Обезьяньего знака на авантителе другому кавалеру и философу Льву Зандеру (1893–1964):

«2.11.24 Purification Китайскому послу ОБЕЗВЕЛВОПЛАА и кавалеру обез. зн. 1 ст. с птичьими перьями Льву Александровичу Зандеру Кулаковский Сергей просит передать в знак — Paris».

Красной тушью добавлена «самохвостная» подпись обезьяньего царя «Асыки — Валахтантарараха — Тарандаруфа — Асыки-Первого — Обезьяна — Великого».

В 1937-м опубликовал Кулаковский статью «Поляки в произведениях Николая Лескова» (*Sprawozdanie TNW*, 1937, № 4), после — «Николай Лесков (1831–1895): Жизнь и творчество» (1938, № 4). В послужном списке Варшавского университета есть запись: лектор русского языка, адрес: улица Шестого августа, 20, телефон 8-10-54.

Тогда же утверждён в должности доцента (лектора) и приказом министра вероисповеданий и народного образования от 4.11.1937 был увенчан Серебряными академическими лаврами Польской академии литературы «за распространение любви к польской литературе за границей».

В СССР вот-вот убьют Кирова — начнётся Большой террор.

Добротный обзорно-аналитический труд «Пятьдесят лет русской литературы: 1884–1934» («*Pięćdziesiąt lat literatury gosyjskiej: 1884–1934*», Варшава, 1939) Кулаковский написал не только с целью получить степень *doctor habilitatus* по филологии (которой не получил) — книги, аналогичной по исполнению (да и по замыслу), в то время не было¹.

В СССР тогда же, в 1939-м, по неоконченной и неозаглавленной рукописи 1908–1909 годов была посмертно выпущена «История русской литературы» Максима Горького, о существовании которой Кулаковский понятия не имел. Горький успел «сделать» малость Салтыкова-Щедрина, чуть-чуть Лескова

¹ Обладанием экземпляром (кстати, в отличном состоянии) я обязан моему другу профессору урбанистики Лодзинского университета Николаю Габрелю, который самоотверженно разыскал его у варшавских букинистов весной 2018 года.

и более или менее подробно — литературный подмалёвок к портретам Льва Николаевича с Фёдором Михайловичем, но 1880-е всё же остались без тщательной разделки.

Киевлянин Павел Блонский в 1919-м жаловался на педагогическое ханжество и стремление заменить живую литературу «пресно-бездарной народнической филантропией как последним словом литературных исканий педагогического либерализма». Тогда в гимназии и в университете «успевали» доучить историю русской литературы примерно до Гоголя; модернизм воспринимался как болезнь — болотные цветки на якобы здоровом теле социал-демократической литературы, форменное декадентство разлагающейся буржуазии; реализм — как материал для цензорского карандаша. Боборыкин, Гаршин, Чехов, Куприн, Бунин и Короленко — предел допустимого письма, в 1920–1930-е ещё не вызывавший политической идиосинкразии.

С. Кулаковский едва ли не первым в литературоведении постарался на четырёхстах с хвостиком страницах дать более или менее объективную картину становления русской изящной и прикладной (драматургия Евреинова, плакат Маяковского) словесности от времени Александра III до Первого съезда Союза советских писателей, причём полувековой отсчёт взят им вспять — от 1934 года. В СССР этого сделать, конечно, было нельзя, а вот во Второй Речи Посполитой удалось.

В предисловии он объясняет (здесь и далее перевод мой):

В развитии русской литературы пятидесятилетие 1884–1934 годов составляет единое целое, которое в связи с историческим и социальным развитием России в этот период можно разделить на пять десятилетий; каждое из них чётко разделено на два пятилетних периода.

Десятилетие 1884–1894 годов было прорывом во всех отношениях; в то время в литературе бродили новые тенденции, развитие которых приходится на следующее десятилетие.

На рубеже двух веков русская духовная культура достигла такого высокого уровня, что дальнейшее становление литературы, театрального и изобразительного искусства в течение <...> десятилетия 1904–1914 годов следует рассматривать как углубление и расширение достижений предыдущей эпохи, что по-своему было связано с прекрасной литературной традицией XIX века. В этот новый период, начиная с 1909 года, прорыв был очевиден особенно. Начало общеевропейской войны привело к краху культурное созидание, в частности — литературное; тем не менее,

в области словесности появились новые факторы. Пятилетняя война и революция (1914–1919) изобиливали вторичными явлениями.

Жизнеспособность творческих составляющих проявилась в расцвете формалистических элементов в течение следующего пятилетия 1919–1924 годов, когда разделение на советскую и эмиграционную литературу было ферментировано одновременно.

После 1924 года литературное творчество на территории Советского Союза в конечном итоге было подчинено правительственной диктатуре, а в эмиграции развитие молодого литературного творчества замедлили суровые условия жизни. Результатом стало катастрофическое ухудшение литературной продукции.

С 1929 года на территории Советского Союза поэты и прозаики как старшего поколения (то есть, с 1919–1924 годов), так и младшего должны были работать под опекой правительственного заказа; это исключало какую-либо свободу творчества, что вскоре привело к краху и почти полному исчезновению литературы.

Литературная молодёжь в эмиграции, которая на самом деле является группой писателей-эмигрантов, появилась в литературной аудитории в основном в период с 1924 по 1929 год. И в течение следующих пяти лет приобрела общий характер новой эмигрантской литературы.

В пятилетие 1929–1934 годов был отмечен катастрофический спад литературной продукции на территории Советского Союза; об этом было заявлено на Первом съезде Союза писателей в 1934 году, на котором для писателей были выработаны новые директивы.

В то же время во всех крупных культурных центрах эмиграции произошло заметное ухудшение условий публикации, что было вызвано экономическим кризисом.

Поэтому мы можем приблизить 1934 год к условной дате последнего прорыва в развитии русской литературы и начала нового периода, но пока неясного. Можно указать лишь на определённые симптомы, которые следует описать как возвращение к прекрасной литературной традиции XIX века, то есть — к её воскресению.

По этой причине в предлагаемой книге, появившейся после последнего поворота, они были приняты во внимание лишь частично, а именно, когда оказывались слишком чётко связанными со всеми произведениями данного поэта или прозаика. Сочинения каждого отдельного писателя разбираются нами без учёта разделения на довоенное и послереволюционное время. В противном случае читатель потерял бы впечатление о непрерывности развития литературы.

В силу специфических условий, которыми слишком часто можно руководиться в отношении современной русской литературы, автор позволяет себе подчеркнуть, что его отношение к разработке материала было лишено всех внелитературных элементов. В каждом отдельном случае наиболее типичный материал должен был быть принят во внимание, исходя из личных предпочтений. Это труд принципиально информативный.

Слова искренней благодарности адресую профессору д-ру Юлиану Кржижановскому за советы по включению в книгу отдельных вопросов. Хочу поблагодарить моих друзей, г-на Габриэля Карски и г-на Збигнева Конаржевского, которые прочли мою книгу в рукописи.

Кроме того, я обязан поблагодарить г-на Михаила Кантора, Льва Гомолицкого и Раису Горлинову за любезно предоставленные мне материалы, касающиеся эмигрантской литературы, и моего друга Дмитрия Пайнса за консультации в области советской литературы.

Варшава, 14.X.1937

С. Кулаковский

Структура монографии умна, строга и научно привлекательна. Если ею воспользоваться, полноценный курс лекций обеспечит лектору всенародную славу:

I. На рубеже двух эпох.

II. Настроение сумерек и пессимизм. Новое направление в театральном искусстве.

III. Религиозные и философские течения.

IV. Символическая драма и реалистический роман. Журналистика. Юмор и сатира.

V. Модернизм и начало символизма.

VI. Символизм.

VII. Символизм и мистицизм.

VIII. Ритмическая и неореалистическая проза.

IX. Конец символизма и акмеизма.

X. Театр.

XI. Футуризм и другие направления поэзии. Теория литературы и формализм.

XII. Мировая война. Крестьянская поэзия. Имажинизм. Крестьянская проза. Революция.

XIII. Пролетарская литература. «Пролеткульт» и «Кузница». «Серрапионовы братья». Дореволюционная традиция поэтического искусства.

XIV. Прорыв в начале новой пятилетки. «Леф». «Попутчики» [Współ-

wędgrowcy]. Конструктивизм. ОПОЯЗ. Исторические романы и биографии. Литература для детей.

XV. Литературное движение 1924–1929 годов. Пятилетка индустриализации и коллективизации. Социалистический порядок. Союз советских писателей и его Первый съезд.

XVI. Русский театр после Революции 1917 года. Репертуар. Прошлое и настоящее. Мысли о завтрашнем дне.

XVII. Литература эмиграции. Литературные центры. Пессимизм. Иностранное влияние.

Кулаковский предложил рассматривать историю российской изящной словесности как бы «поверх барьеров» — так, будто революция и внесла коррективы в её течение, и так, будто не внесла; будто «с именами», а будто и «без имён». То есть, рассматривал появление текстов как таковых; общественно-культурные условия их рождения были на заднем плане. Возможно, в этом следует усматривать известную ограниченность.

Не в том ли самом обвиняли когда-то его отца? Мол, Юлиан Кулаковский, пища «Историю Византии», ограничивался главным образом политической, церковной и административной историей (будто этого мало) и не уделял внимания экономической и культурной.

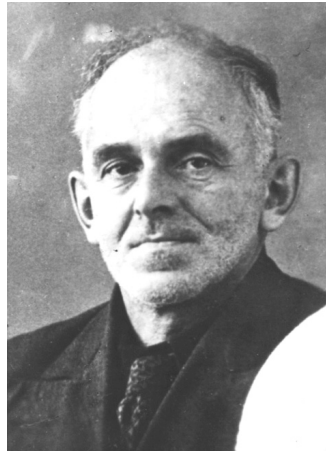
Пройдусь для примера по нескольким страницам затерянной книги, посвящённым Осипу Манделштаму.

Эти наблюдения можно смело бросить в топку цитат манделштамоведения, где они в свою бытность завертятся в правильном научном вихре.

Когда сочинялся этот восторженный комментарий, поэт ещё был жив.

«Акмеистом был Юзеф (Осип) Манделштам (р. 1890), уроженец Варшавы, который отточил стиль своего лиризма на впечатлениях от архитектурных памятников Санкт-Петербурга, резкой и скудной ясности изображений древнего мира и трагической истории нашего времени. “Le bloc resistant” Готье был для Манделштама синонимом изображения камня, который, как красиво сказал Тютчев, “с горы скатившись, ...лёт в долине”, обретя таким образом дар речи. Сборничек его лирики “Камень” (1913) был расширен Манделштамом и опубликован в 1916 году под тем же названием.

Манделштам не признает эмоциональность. Долгое время он несёт в душе слово, которое неожиданно нисходит с его губ идеально отполи-



Осип Эмильевич Мандельштам

рованным и не нуждающимся в каких-либо изменениях. Согласно Мандельштаму, поэзия должна быть строго архитектурной. Дар поэта — это бремя, а творчество — ответственность перед собой. Вот основа классики Мандельштама. Он несколько раз высказывал собственные воззрения на поэтическое творчество (сборник статей “О поэзии”, 1928). Поэт живёт творчеством, произносит слова, которые звучат “медью торжественной латыни”. Эту фразу Блока можно прислонить к поэзии Мандельштама, для которого древний мир стал реальностью. Одиссей, Приам и Федра — фигуры нашего времени. Архитектура и скульптура имеют для Мандельштама безупречное очарование классической древности. Его поэтические образы всегда ясны, а ритмы со временем обретают широту и спокойствие эллинских метров, о чём свидетельствует замечательная поэзия сборника “*Tristia*” (1923).

Собрание поэзии Мандельштама (“Стихотворения”, 1928) показывает, что значение поэтического стиля Державина, ведущего русского поэта XVIII века, нашло отражение в поэзии Тютчева и в поэтическом искусстве нашего времени. Ряд этих стихов напоминает удивительные оды прежних времён.

Проза Мандельштама также имеет особый характер (“Шум времени”, 1925, переиздан как вторая часть книги зарисовок в прозе “Египетская марка”, 1929). Поэт выражает чувство времени, слышит его тяжёлые и медленные шаги. Автобиографические заметки на полях этой книги о дореволюционном Петербурге и о Феодосии в Крыму во время гражданской войны содержат скорее формулы, а не понятия, с подчёркнутой

детализировкой. Благодаря этому автор достиг ожидавшейся цели, и каждая его мелочь, каждый персонаж ярок и понятен» (s. 191).

Сопоставляя беллетристику Мандельштама и Пастернака, Кулаковский комментирует:

«Проза Пастернака не менее интересна, чем автобиографические очерки Мандельштама. “Детство Люверс” из сборника рассказов (“Рассказы”, 1925) более обширно, подход напоминает монодраматические приёмы Евреинова: автор анализирует психику персонажа, отражая явления и земные вещи в мире героев и героинь, вещами определяя их духовное состояние. Эта особенность в какой-то степени указывает на близость автора к Р. М. Рильке, которого он обожает, о чём свидетельствует посвящение Рильке автобиографического романа “Охранная грамота” (1912). Это сочинение занимает то же место в творчестве Пастернака, что и “Египетская марка” в творчестве Мандельштама. Это романтически-идеалистическая история, которой некомфортно в нашем времени и которая создаёт собственный мир.

Будучи превосходным переводчиком (Клейст, Бен-Джонсон, Гервер и др.), в 1935 году вместе с Н. Тихоновым Пастернак опубликовал переводы современных грузинских поэтов (“Поэты Грузии”). Кроме того, он писал стихи для детей, как и Мандельштам, с которым как лирик имеет сходный характер» (s. 217).

Свежи и точны наблюдения Кулаковского над поэзией Ахматовой, Блока, Анненского, Бальмонта, Вяч. Иванова, Цветаевой, Гумилёва, Пастернака, Маяковского, Брюсова, Кузмина, Есенина и Саши Чёрного, прозой Гоголя, Гаршина, Достоевского, Льва Толстого и Алексея Толстого, Тургенева и Леонида Андреева, Чехова, Горького, Эренбурга, Бабея, Ремизова, Зинаиды Гиппиус и Мережковского, Пильняка, особенно — над орнаментальной прозой Розанова и Андрея Белого. Упоминает Бухарина, Троцкого, Сталина. Многих из тех, о ком пишет, Кулаковский знал лично (например, Иванова и Ремизова), имел возможность, всматриваясь, наблюдать со стороны. Элементы литературоведческой компаративистики просвечивают в тексте, когда он обращается к творчеству д’Аннунцио и Бодлера, Ибсена и Гофмана, Ницше и Метерлинка.

Особенно компаративная искра высекается, когда речь заходит о поэтах-эмигрантах, по-прежнему кровно связанных с российской словесностью.

Кулаковский заканчивает книгу обнадеживающе:

Dziękuję bardzo
za listy z 1945 r.

Do
Tłemu Almagracji:
Pana Rektora Uniwersytetu w Łodzi

Józefa Kułakowskiego
20 7 1945

Rektorat
Poczta dnia 11.11.1945
L. 45

Wniosek.

Proszę się na imięm poprosić u waszego
Rektora, iż na wydziale, mam bardzo
osobisty, iż jest bardzo ciężki charakter
i jest na wydziale na bardzo ciężki
i jest na wydziale, do wydziału
i jest na wydziale, co to jest na
i jest na wydziale. Wiele do tego
i jest na wydziale na Uniwersytecie w Łodzi
i jest na wydziale, dlatego, dlatego
i jest na wydziale.

J. Kułakowski

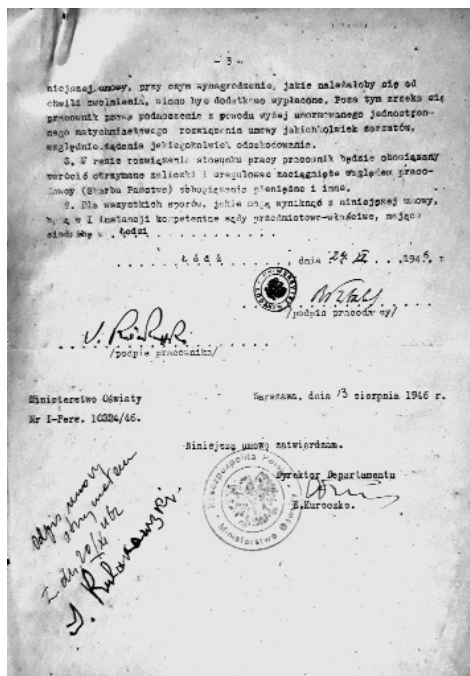
9. 11. 45.

Прошение Кулаковского на имя ректора Лодзинского университета от 9.11.1945

«Русская эмигрантская проза с 1925 года пребывает в становлении, как и литературное творчество на территории Советской России. Это переходное состояние изобилует интересными и типичными литературными явлениями. В то время как советские читатели и критики требуют от писателей простоты и воспроизведения жизни как таковой и реальных человеческих персонажей со всеми недостатками и положительными сторонами характера, — люди из плоти и крови, русские эмигранты-прозаики также ищут приёмы воссоздания реальности, не вдаваясь в стилистические тонкости. Основа нового подхода, который развивается в новейшей русской литературе, — это стремление к простоте, ясности выражения и обеспечения читателей основами литературности произведений.

Выражение этих настроений представляют также критические статьи, которые требуют объективизма в психологическом анализе характера и преданности всем чертам далеко не “чудесной” жизни.

Подготовительная работа, которая посвящена 100-летию со дня смерти Пушкина, проведённая в больших масштабах в Советской России



Две подписи Кулаковского на университетском контракте 1946 года

и среди эмигрантов, имела известное значение как проявление поворота к основам великой классической русской литературы, основного генетического развития литературного творчества в России, начиная с XVIII века. Новая оценка роли традиции в литературе создаёт общий фон, в котором каждая эпоха должна занимать собственное историческое место» (s. 377). Повторюсь, это первоклассный по концепции (и конспективности, и многодельности) труд, в равной степени не устаревший и малоизвестный.

В период немецкой оккупации (1939–1945) С. Кулаковский служит в Варшавской городской управе, где преподаёт иностранные языки («Письменно и устно владею языками русским, польским, немецким, французским, английским. Пишу на итальянском и испанском»). Будучи в подполье, преподавал студентам факультета полонистики Варшавского университета русскую словесность и историю литературы, то есть занимался тем же, чем и отец, только на другом материале и в иных условиях.

После Второй мировой, оплакивая погибшую домашнюю библиотеку и рукописи (в частности, наброски к книжке об Алексее Константиновиче Толстом), с 1.04.1945 Сергей Кулаковский назначается преподавателем во Второй городской профшколе в Варшаве (живёт по улице Вильча, 31, кв. 11); но уже 25 марта просится в Лодзь — на организовываемую кафедру русского языка и литературы в только что созданный университет в качестве «заместителя профессора», сиречь доцента.

«Являюсь членом нескольких научных обществ, в частности Англо-русского литературного общества в Лондоне. Являюсь членом Союза писателей (Варшавское отделение)».

Рекомендацию дал профессор Ягеллонского университета Тадеуш Лер-Сплавиньский. Её благосклонно процитирует профессор Лодзинского университета Анджей Болецкий, когда 25.09.1947 зачем-то потребовалось подтвердить соответствие должности:

«Научную квалификацию гражданина Кулаковского оценивает профессор Лер-Сплавиньский в таких словах: “В ответ на запрос от 22.10.46 о кандидатах на замещение кафедры русского языка и литературы в Лодзинском университете докладываю, что наиболее соответствующим кандидатом считаю на сегодняшний день г-на Сергея Кулаковского, который способен, я полагаю, обеспечить до известной степени преподавание как русской грамматики, так и русской литературы. В первой области он зарекомендовал себя написанием очень полезной и ценной практически-описательной грамматики русского языка, а в области литературной тоже имеет за собой известные труды. Кроме него, не вижу кандидатов, которые бы могли параллельно преподавать русский язык и литературу, хотя есть несколько научных работников с более высокой, чем у Кулаковского, квалификацией”».

На имя ректора Лодзинского университета от 9.10.1945 доцент Кулаковский пишет прошение:

«Ссылаясь на предыдущее прошение о чтении лекций про русскому языку, имею честь свидетельствовать, что, будучи теперь руководителем отдела русского языка Лодзинского учебного округа, вновь прихожу к пессимистическим наблюдениям касательно уровня преподавателей этого языка. Таким образом, на должность лектора русского языка в Лодзинском университете позволю себе предложить, по безвыходности, самого себя».

Вследствие удовлетворения просьбы Кулаковский читал

лекции о русском языке и литературе и в других учебных заведениях Лодзи.

Как член Лодзинского научного общества, невзирая на хвори, представил доклад «Великороссы, малороссы и поляки в произведениях Н. Лескова (1831–1895)» (1947).

Из документов личного дела Кулаковского в Лодзинском университете следует, что 23.08.1946 Кулаковский обратился к доктору Яну Заборовскому (Амбулатория Лодзинского университета), который свидетельствовал у него сильную неврастению, общее истощение вследствие целого ряда хронических недугов и, следовательно, заключал о необходимости посещать грязевые ванны и принимать иные физиопроцедуры¹.

«Удостоверяю, что г. проф. Сергей Кулаковский должен немедленно прервать всякие занятия и поездки с целью осуществления длительного основательного лечения. Дальнейшее откладывание лечения может привести к нетрудоспособности».

Кулаковский попросил у Министерства просвещения 15 тысяч злотых на «na podtrzymanie zdrowia». Как в старом чёрном анекдоте: «А что, доктор, грязи помогут?» — «Ну, помогут — не помогут, а к земле привыкнете».

Последние три года его одинокой жизни были отягчены болезнями. Рассматривая и сравнивая графику двух подписей на университетском контракте 1946 года, можно утверждать, что между июнем, когда он поставил привычный автограф рядом с ректорским, и ноябрём, когда едва смог расписаться в получении своего экземпляра после визы Департамента Министерства просвещения, с Кулаковским случился удар. Подписи на контракте 1947 года уже не такие бойкие, какими были в 1945-м, но и не столь удручающие, как осенью 1946-го.

Проректор Лодзинского университета профессор С. Багинский 16.02.1949 обращается в Минздрав с просьбой о госпитализации профессора Кулаковского как нуждающегося в лечении по причине супрафического (гнойного) абсцесса («potrzebnej w przypadku gornia podprzeropowego») брюшной полости. Менее чем через месяц после госпитализации ректору приходит вежливое письмо без даты.

¹ Копии всех страниц личного дела С. Кулаковского из архива Лодзинского университета любезно сделаны моим другом кандидатом исторических наук Дмитрием Гордиенко.

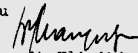
KLINIKA PROPEDEUTYCZNA
Chorób Wewnętrznych
Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Kapucyńskiego 22

W: Opatrzono
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Do
Jego Magnificencji
Pana Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
Prof.dr. Tadeusza Kotarbinskiego

2 10 11
Niniejszym uprzejmie zawiadamiam, że Profesor Uniwersytetu Łódzkiego dr. Kułakowski Sergiusz, który przebywał w Klinice Chorób Wewnętrznych III (Propedeutycznej), zmarł w dniu dzisiejszym o godz. 0,30. Śmierć nastąpiła z powodu gruźlicy obustronnej płuc o charakterze włóknisto-serowatym, zapalenia opłucnej wysiękowego gruźliczego, rozległych zmian w wątrobie o charakterze zwyrodnienia tłuszczowego rozlinozowego. Sekcja została dzisiaj wykonana o godz. 10-tej.

Złączę wyrazy głębokiego szacunku


Kierownik Kliniki
Prof.dr.med.Wacław Markert

Справка о смерти профессора Сергея Кулаковского от 11.03.1949

*Его превосходительству
г-ну Ректору Лодзинского университета
проф., г-ну ТADEУЩУ КОТАРБИНСКОМУ*

Спешу сообщить, что профессор Лодзинского университета г-р Кулаковский Сергійusz, пребывавший в III Клинике внутренних болезней (Первичной), скончался [с 10/11 марта] в 0,30. Смерть наступила вследствие фиброзно-го туберкулёза, экссудативного туберкулёзного плеврита и обширной печёночной дистрофии. Вскрытие было сделано сегодня в 10 утра.

*С глубоким уважением,
заведующий клиникой*

проф., г-р мед. Вацлав Маркерт

Остаётся неясным, почему днём смерти считается не 11-е, а 10-е марта, ведь на письме Маркерта карандашиком слева от соответственной строчки приписка: «с 10 на 11 марта». Но некролог в чёрной рамке, традиционно выпускавшийся для расклейки в стенах университета, даёт дату 10 марта 1949 года. Поверим всё же доктору Маркерту, который утром 11-го произвёл вскрытие.

Странно, что в письме, датированном почему-то 10-м марта, когда Кулаковский был ещё жив, ректор любезно просит Starostwo Grodzkiego Śródmiejsko-Łódzkiego выдать разрешение

на перевозку тела на машине в Варшаву «к семейной могиле». Неужели заранее заготовили? Никакой семейной могилы в Варшаве у Кулаковского, конечно, не было — просто это такая казённая формулировка, чтобы Starostwo не кочевряжилось.

Похоронные расходы приняла на себя младший ассистент при кафедре российской филологии Людмила Францев (Ludmiła Franczew), заявление которой сохранилось так же, как и переписка Университета с Минпросом о возврате денег, затраченных Министерством на варшавские похороны Кулаковского. Трудно сказать, кем приходилась молодая Людмила Францев 56-летнему профессору, но документ есть документ: 70 500 злотых были возвращены ею в казну.

Кулаковский похоронен на кладбище в Варшаве «na Powązkach» («Cmentarz Powązkowski»), где нашли упокоение художники Генрих Семирадский и Станислав Ноаковский, дипломат и композитор Михал Огинский, писатели Болеслав Прус и Ян Парандовский, композитор и скрипач Генрик Венявский, эстетик Владислав Татаркевич, композитор и дирижёр Витольд Лютославский, кинорежиссёр Кшиштоф Кеслёвский. И Никола Шопен — учитель французского языка. Хоть компания и неплохая, могила Кулаковского не сохранилась. В этом смысле сын разделил отцову участь.

Как отмечал Лев Гомолицкий, особенностью, резко отличавшей Польшу от других стран русского до- и особенно послереволюционного рассеяния, была высокая степень «регионализма», наличия активно действовавших местных гнёзд литературного творчества на русском языке. Такой «регионализм», — подчёркивал в предисловии к публикации молодых польских поэтов Кулаковский (1934), — был сродни регионализму, свойственному самой польской литературе, выражавшему её богатство и своеобразие. Он прекрасно отдавал отчёт, к чему обязывают эти богатство и своеобразие. Прежде всего — к уважению.

Московская пианистка Анна Даниловна Артоболевская (урожд. Карпеко, 1905–1988) показывала в 1970-х С. Билоконю машинописный сборник стихов Сергея Кулаковского, ей посвящённых: они относятся к её «киевскому времени», до 1922-го. Тадеуш Хрущелевский (Tadeusz Chroscielewski, 1920–2005), живший в Лодзи с 1945-го студент Кулаковского, впечатлив-



Объявление о смерти доктора филологии Сергея Кулаковского

шись необычным человеком, выведет его прототип — профессором в повести «Школа двух девочек» («Szkoła dwóch dziewcząt», Лодзь, 1965, 1966, 1976), сюжет которой привязан к Лодзинской 11-й средней школе 1945–1946 годов. К сожалению, до этой книжки я не добрался.

Проф. Т. Зенкевич был уверен, что

«жизнь С. Кулаковского была подобна пути Георгия (Ежи) Клингера, Льва (Леона) Гомолицкого, а в некоторой степени и русского прозаика Антона Домбровского, филолога-классика Фаддея Зелинского — так (а не польским именем Тадеуш) он подписывал статьи в русскоязычной прессе, выходившей в Польше в межвоенное двадцатилетие, Михаила (Михала) Хороманского, переводчика польской поэзии на русский язык.

До того как Сергей Кулаковский прибыл в Польшу, у него за плечами была славянская филология в Киевском и Петербургском университетах, изучение медиевистики в Лейпциге и Париже, опыт работы на кафедре древнерусской литературы в Киеве; он был доцентом в Москве, первые литературные и публицистические опыты печатал по-русски, одну — по-французски. С самого приезда в Польшу принимал активное участие в польской литературной и научной жизни».

Арсений Кулаковский. Судьбы Сергея и Арсения Кулаковских после большевицкого переворота сложились по-разному, но не слишком счастливо: один вынужден был бежать из СССР, другой — остаться.

После смерти отца в феврале 1919-го шестикомнатная квартира на Пушкинской, 40 «уплотняется» большевицкими деятелями, и сыновья вынуждены были продать отцовское книжное собрание в Национальную библиотеку Украины: можно наткнуться на разрозненные, то есть не составившие отдельной коллекции, книжки с простеньким овальным экслибрисом «Из книг Юлиана Кулаковского» и размашисто написанным от руки номером.

Если Сергею вполне удалось реализоваться за пределами Киева, — Арсений, болезненный («дефективный») с детства, в 26 лет оставшись беспомощным сиротой, очутился буквально на горьковском дне: жил только надеждой. Когда старший брат эмигрировал, он перебрался в коммунальную квартиру на Большую Васильковскую, 41, где и прожил, нужно думать, до смерти, скорее всего, в немощи и одиночестве. На совсем детской фотографии (с. 353) мы видим макроцефального мальчугана с необычно сосредоточенным взглядом.

Как и Сергей, окончив Вторую классическую гимназию на Бибикивском бульваре, в августе 1912-го Арсений поступил на юридический факультет Университета, на котором едва учился, в 1915-м (одновременно с старшим братом) был переведён в Императорский лицей в память Цесаревича Николая в Москву (отцовскую *almae matris*), в 1917-м, при УНР, вернулся в Киев и пытался продолжать учёбу в Киевском университете. В 1921-м поступил в Институт внешних сношений, который тоже не закончил, поскольку очередной врачебной комиссией был признан душевнобольным. До 1927-го работал в разных советских учреждениях на низших должностях и даже чернорабочим.

Полонская-Василенко вспоминала, что он был неспособен к труду, бедствовал, «перехватывая деньги у знакомых своих родителей». С 1927-го жил на пособие, в первое время ежемесячно высылаемое Сергеем из Варшавы.

В допросе киевского искусствоведа Сергея Алексеевича Гилярова (1887–1946) от 21.02.1933 есть рукописные строчки о Сергее и Арсении:

«Знаю я его [Сергея] с 1912 г. Он тогда был ещё студентом, бывал у нас в доме. Окончив Университет, он потом был профессорским стипендиатом и далее стал лектором, потом доцентом, как будто в В[ысшем]

И[нституте] Н[ародного] О[бразования]. Приблизительно в 1923–24 г. он переехал в Москву, где устроился доцентом в Университете, получил заграничную командировку и выехал за границу — когда именно, не знаю. Из командировки он не вернулся и в настоящее время живёт в Варшаве, где преподаёт русскую литературу в Университете. О том, что он в Варшаве и что он там профессорствует, мне известно от его брата Арсения, который находится в Киеве и поддерживает связь с братом. Арсений Кулаковский, человек дефективный и больной, несколько раз приходил к нам осенью 1932 г. за вспомоществованием, т. к. крайне нуждается и не способен к труду. Он жаловался, что последнее время Сергей ему совсем бросил помогать, тогда как раньше высылал ему деньги. Арсений рассказывал, м[ежду] прочим, что брат его имел намерение, едучи за границу, восстановить права собственности на какое-то имение (небольшое имение в Карповицах, «Карпинец». — А. П.) в б[ывшей] Виленской губернии и на дом в Вильне, принадлежавшие его отцу профессору Юлиану Андреевичу Кулаковскому, умершему в 1917-м <1919> году.

Дело это затянулось, Сергей просрочил свою командировку и в результате, проиграв дело, так и остался в Польше. С С. Кулаковским я никаких отношений и никакой переписки со времени его отъезда не имею¹. Не всё в этих показаниях точно.

Арсений был трижды (1930, 1931, 1935) арестован по обвинению, разумеется, в «антисоветской агитации» по 58-й статье. На вопрос следователя НКВД при допросе 19.04.1935, какие имеются средства к существованию, он ответил:

— В настоящее время мне помогает мой брат Сергей ценными письмами в размере от 5 долларов до 20 злотых в месяц. Последние девять месяцев он ежемесячно высылает мне такую сумму, что вполне меня удовлетворяет.

— Знали ли Вы, — продолжали допытываться, — что Ваш брат решил не возвращаться в СССР?

— Я об этом не знал, так как перед отъездом за границу он приезжал ко мне в Киев и мне сказал, что после окончания командировки вернётся.

— Сколько раз при Советской власти Вы подвергались аресту?

— Всего два раза, кроме последнего ареста в апреле 1935 г. Первый раз я был арестован в октябре 1930 г.; под стражей я находился 78 дней. Никакого обвинения мне не предъявили, расспрашивали меня о брате, ко-

¹Этой цитатой я обязан любезности кандидата искусствоведения Елены Ненашевой.

торый не вернулся из заграничной командировки. Второй раз я был арестован 31/III-31 г. и просидел сто дней. И на сей раз меня расспрашивали о брате. Причём, во время ареста в 1931 г. я был направлен в Зиновьевск (Кировоград; ныне Кропивницкий. — А. П.), где находился под стражей 50 дней. Я был освобождён под подписку о невыезде, которая была аннулирована через полтора года.

— Кто ещё из Ваших родственников или знакомых проживает за границей?

— Никого.

— Есть ли у Вас в Союзе родственники или близкие знакомые?

— В Ленинграде, Гусев пер., № 3-б, кв. 3, проживает моя двоюродная сестра Кулаковская Евгения Платоновна (дочь брата моего отца), которая является учительницей трудшколы. За последний год я ей написал только один раз¹. В Ленинграде же проживает моя родственница Муретова Татьяна Дмитриевна, по мужу Шманкевич. Раньше она служила в Эрмитаже, в какой должности, я не знаю. Её мужа я совершенно не знаю. Я с ней не переписываюсь с 1926–1927 года. Больше родственников у меня нет <...> Я знаком с доктором Богатырёвым Фёдором Парфеньевичем, с которым вместе учился во 2-й Киевской гимназии. В 1933 г. я у него ча-

¹ Старшая сестра Наталья Платоновна Кулаковская с 1908-го была замужем за публицистом из «Русской мысли», преподавателем истории в Петровской женской гимназии правоведем Дмитрием Дмитриевичем Муретовым (1885–1918). После смерти автора исследований о Вл. Соловьёве поэта и публициста Василия Львовича Величко (1860–1904) Дм. Муретов унаследовал его имение Вернигоровщину и земли в селе Хаенки Прилукского уезда Полтавской губернии, где семья Муретовых безвыездно проживала с весны 1916-го. С осени 1916 до конца 1917-го Дм. Муретов находился на Румынском фронте, служил во Всероссийском союзе земств и городов. Вернулся на Вернигоровщину и 18.04.1918 был застрелен в своём имении неизвестными (похоронен в с. Хаенки). 11.08.1919 трагически погибла в местечке Ичня Черниговской губернии и Н. П. Кулаковская (Муретова): солдат, якобы вёзший Наталию Платоновну на сельский сход, выстрелил ей в лицо.

Младшая сестра, библиотекарь Евгения Платоновна Кулаковская (1886–1941), вывезла из Ични в Гатчину под Петроградом и воспитала четверых детей Наталии Платоновны и Дмитрия Дмитриевича Муретовых: Татьяну (1910–2000; после убийства Кирова в 1934-м выслана с семьёй в узбекский Ургенч, преподавала русский язык и литературу), Алексея (1914–1942; студент архитектурного факультета Академии художеств, умер в блокаду), Георгия (1916–1941; аспирант-биолог Ленинградского горного института; погиб в бою под Куоляярви Кандалакшского района) и Никиту (1917–1941; пропал без вести во время боёв за Пулковские высоты).

сто бывал, он материально мне помогал. Сейчас бываю у него реже, так как [он] много занят и редко бывает дома.

— Какими болезнями Вы одержимы?

— Я страдаю прогрессивным параличом спинного мозга (льюис це-ребро-спиналис <lues cerebro-spinalis>¹). На этой почве у меня шаткость походки, частые рвоты, онемели левая рука и левый бок».

На этот раз следственное дело в отношении Арсения Кулаковского было прекращено: пожалели? Это не был ещё год Большого террора, и многим везло непонятно отчего (как непонятно, отчего везло или не везло потом), но это уже были «невегетарианские времена», когда, по слову Черчилля, уже давно «злонамеренность порочных была подкреплена слабостью добродетельных».

Арсений скончался, по-видимому, в конце 1930-х, не дожив до пятидесяти. Если встать в позу циника, можно было бы по его адресу повторить неудобную сентенцию из дневников 57-летнего Василия Ключевского: «Многие живут только потому, что как-то ухитрились родиться и никак не могут умереть. Жизнь их тем бесцельнее, чем нецелесообразнее было их рождение» (1898). Но в акте рождения человек точно не виноват.

Не желая завершать рассказ о судьбе сыновей Кулаковского в столь бесчеловечном миноре, вспомню иную цитату из дневника того же Ключевского, правда, 27-летнего:

«В душе человеческой есть дивное спасительное свойство *реакционной экспансивности*. Достигнув высшей степени напряжения, сузившись до крайности и здесь натолкнувшись на препятствие, не пускающее дальше, душа необъятно расширяется в прошедшее <...> С прелестью тёплого, насиженного гнезда восстаёт пред человеком минувшее, восстаёт не в реальной смуте и холоде, а в той волшебной переделке, какую способно производить с прошедшим только пережившее его сердце».

Слова историка России будто бы сказаны о наших историках — историке Рима и Византии Юлиане Кулаковском и историке российской словесности Сергее Кулаковском, каждому из которых реакционная экспансивность — всякий раз по-своему — способствовала достижению результатов, которые

¹ Сухотка спинного мозга, табопаралич (от лат. *tabes* — разложение) — хроническое заболевание нервной системы с поражением спинного мозга и спинномозговых корешков сифилитического происхождения (вызывается бледной трепонемой).

не дают права забыть их имя и дело. Оба причастны «волшебной переделке» материала, доставшегося в наследство и переделанного в меру сил их учёным и человеческим неравнодушием.

После большевицкого переворота и Сергей, и Арсений вольно или невольно обрели новую родину: они родились и были воспитаны в другой стране, в иных условиях. Сергей Кулаковский, по роду деятельности, происхождению и интересу тяготевший к польской культуре, благодарно обрёл вторую родину в Польше. Болезненный Арсений, ни к чему не тяготевший и вынужденно оставшийся в СССР, сполна получил от этой новой родины всё, что в 1930-е полагалось человеку дворянского происхождения.

Кулаковский жалуется в письмах Иконникову на хворь Арсения и недомогание супруги. Любовь Николаевна была человеком болезненным и, как все женщины этого типа, — мнительным: приступы грудной жабы (стенокардии), о которых встречаются свидетельства в письмах Флоринскому, навещали её часто. Но ещё более часто, если не всегда, посещали её тягостные мысли о пришедшей весьма скоро мужниной нелюбви, его безразличии, о том, что она «постылая жена», которую по привычке терпят. Внутренняя скука, о которой сокрушался в дворянах Чехов, и бытовая монотонность порождали блёклость эмоций. В таких случаях обычно помогает работа, но профессорским жёнам и домовладелицам тогда трудиться не пристало.

Прошлое Тавриды: в земле — на бумаге. Меньше чем через две недели после женитьбы, 13.10.1890 Кулаковский утверждается секретарём историко-филологического факультета Университета сроком на четыре года. Ещё трижды, в 1894, 1898 и 1902 годах, в тот же день, 13 октября, последует пролонгация. Кулаковский исполнял замдеканские обязанности в течение шестнадцати лет.

Но главными в этот период его жизни были, конечно, иные занятия — археологические.

Если эпиграфическими материалами Понта Евксинского активно занимались, как мы помним из предыдущей главы, преимущественно академик Василий Латышев (тогда — член-корреспондент Академии наук и секретарь Классического от-

деления Русского археологического общества), обретший на этом поприще всемирную славу, отчасти Эрнст фон Штерн (1859–1924) и Александр Бертье-Делагард (1842–1920), то изучению археологических данных посвящали труды многие из российских учёных.

Николай Яковлевич Марр, научный мифотворец, наделавший много лишнего шороху в советской филологии, в 1932-м издевался над практическими исследователями материальной культуры — археологами:

«одни прослеживают какой-нибудь лапоть во всём мире, другие занимаются тем, к какой расе лапоть относится, к русской (славянской) или финской. То же самое и с археологами, но у них вместо лаптя и мотыги... Венера и художество, античный мир, письменный язык. И те и другие без представления о законах языкотворчества, истории возникновения речи. Какой же это будет археолог без знания языка, его творческих закономерностей? А этнограф с его примитивами? Да он сам примитив».

Конечно, только академик Марр был с соответствующим «представлением», защитной софистикой, но дальше этих качеств не двинулся (разве что на старости лет — рассудком). Если размазать археологов у него всё-таки не вышло, то указать на границу, где заканчивается археологическое знание и начинается мифология в духе: «Дыр бул щыл убещур скум вы со бу р л эз», пардон, «мене, мене, текел, упарсин» («мина, мина, шекель, полмины»), верней, ещё пардон, марровский наборчик: «сал, бер, йон, рош». Археологам в голову такое прийти не могло — они имели дело с реальностями: рассыпчатыми, ржавыми, битыми, но — реальностями.

Может, потому работы по археологии Надчерноморья и в наследии Кулаковского *лежат торчмя*.

Если что и может заинтересовать современного исследователя древностей Юга Российской империи в Кулаковском, так это результаты его раскопок 1890–1901 годов и книга «Прошлое Тавриды», выдержавшая два издания (Киев, 1906, 1914) и в последние десятилетия дважды переизданная (Киев, 2002, Москва, 2011). О книге скажу в своём месте.

Заинтересованное личное участие в раскопках, руководство ими, публикация вновь открытых памятников способствовали изданию Русским археологическим обществом и Археологической комиссией, находившейся под патронатом влиятельного

графа Алексея Бобринского (1852–1927), выпусков «Материалов по археологии России».

Собственно, с шестого выпуска «Материалов...» (1891), автором которого был Кулаковский, и начали печататься Комиссией результаты полевых изысканий в Надчерноморье.

Керченские раскопки 1890 года и катакомба '491.

Всё началось с того, что в конце 1889-го новому — с пылу с жару — доктору римской словесности Кулаковскому, не слишком чётко представлявшему, к чему бы себя теперь приспособить, призвали заняться составлением объяснительного текста к отчётам Археологической комиссии.

Старый Помяловский, секретарь Комиссии, предложил:

«Комиссия остановилась на Вас как лице, трудами своими в области древней археологии зарекомендовавшему себя перед русской наукой <...> Предлагаемая работа не особенно спешная и разделится между Вами и В. В. Латышевым так, что последний возьмёт на себя (и уже взял) отдел этнографический».

Кулаковский согласился, и с лета 1890-го приступил к систематическим археологическим исследованиям в Керчи, занявшим несколько лет.

Он понимал, что для археологических занятий нужна какая-нибудь очень древняя земля. В Италию особенно не ездишься, да и денег на это нет, а копать хочется, как иным людям — лазать по горам или нырять с аквалангом. Вот и остаётся самая доступная из тогдашних территорий — Крым.

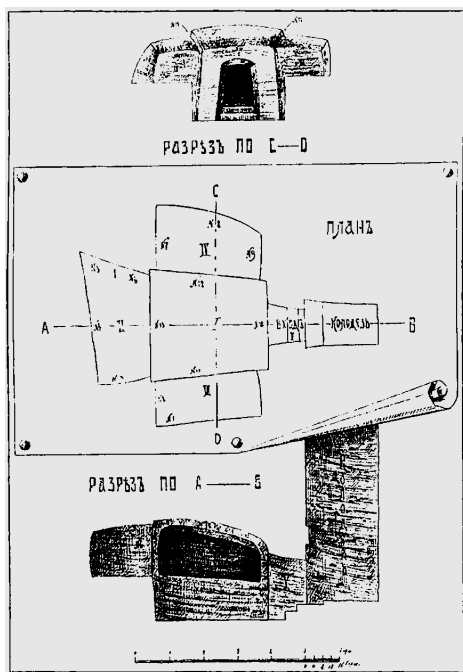
Про Италию он, как помнит читатель, 15.04.1887 Кулаковский сообщал Флоринскому из Рима:

«Италия интересна только для короткого знакомства — достаточно проехать и повидать, а так здесь далеко не так занятно, как в других столичных центрах Западной Европы. Рим, конечно, не сравним ни с чем, но иное дело смотреть как туристу, и иное изучать в нём что-нибудь. Вообще, я теперь холоден и спокоен и далёк от всякого радужного настроения, в каком я бывал от Рима прежде <...> Итальянцы сами по себе ничего симпатичного не имеют, да я и не интересуюсь ими вовсе».

О Крыме он так бы не написал.

Напутствуя Кулаковского весной 1890-го, товарищ председателя Археологической комиссии барон Владимир Густавович Тизенгаузен (1825–1902) скептически заметил:

«Задуманная Вами поездка в Керчь и Тамань, без сомнения, помо-



*Ортогональные проекции
катакомбы 491 года, 1891*

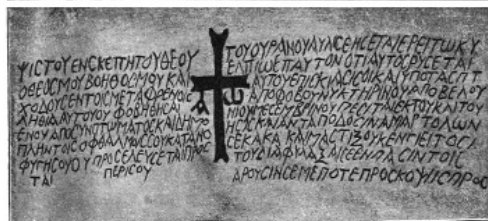
жет Вам ознакомиться с этими местностями, но больших раскопок там теперь не предвидится, и поэтому Вам не удастся проверить на деле разные детали».

Во-первых, это ещё как сказать, во-вторых, Кулаковский и не ставил цели больших раскопок.

Однако 4.08.1890 он тщательно обследовал на западном склоне горы Митридат («на усадьбе керченского жителя г. Коробки») погребальную пещеру с датой «491 год», которая сразу сделала его имя знаменитым в археологических кругах Европы. Дело было так.

В конце апреля 1890-го керченский мещанин Иван Иванов с двумя товарищами (отставными солдатами Петром Вигрантом и Тимофеем Булатом) при добывании камня на северном склоне «Долгой скалы» на горе Митридат «совершенно случайно» обнаружили напротив мечети разорённую катакомбу с фресковой живописью.

Она найдена была уже ограбленной, и, по словам жителей



Христианские
инскрипты в катакомбе
491 года.

- 1 — инскрипты
на входной стене,
- 2 — инскрипты на стене
центральной «лежанки»

Татарской слободки, известна пятью годами раньше. Это была комната, разделённая на три погребальные камеры. Передняя часть стены и столбы были оштукатурены и покрыты фресками.

Для исследования этого склепа (а равно так называемой «катакомбы Сорока», открытой в мае) Комиссия собственно и командировала Кулаковского. Дальнейшие изыскания привели к открытию нескольких соседних склепов, в том числе одного с христианской символикой и датой: 788 год боспорской эры (491 год до Р. Х.).

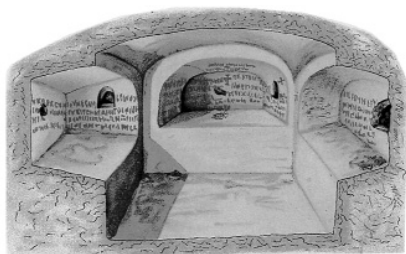
По словам Кулаковского:

«местные жители <...> как известно, почти все под видом добывания камня производят раскопки повсеместно. Местный надзор в этом отношении слаб, а лёгкость сбыта находимых древностей при правильно организованной скупке их кабатчиками и евреями подстрекает туземцев к этой вредной с точки зрения науки деятельности».

Вот возмущение *чёрной археологией* образца 1890 года.

В предисловии к изданию репортажа об этой находке в отдельном большеформатном альбоме «Керченская христианская катакомба 491 года» (СПб., 1891) Кулаковский описал дело подробно:

«На северном склоне горы Митридат, повыше Татарской слободки,



Интерьер катакомбы 491 года.

- 1 — центральная и боковые
«лежанки» с инскриптами,
2 — левая «лежанка» и часть
центральной с инскриптами*

предместья города Керчи, сделана была весной 1890-го года совершенно случайно весьма интересная и важная находка.

Люди, добывавшие камень, наткнулись на катакомбу, стены которой были украшены фресками. В виду возможности нахождения других подобных катакомб в соседстве с этой, Императорская археологическая комиссия поручила мне произвести изыскания в прилегающей местности. Предпринятые мною в конце июля и начале августа 1890-го года раскопки, хотя вообще и не были бесплодны, не привели меня, однако, к открытию того, что непосредственно я искал. Мне не удалось найти катакомбы с фресками, но из числа нескольких, вскрытых мною, разорённых катакомб на том же склоне горы Митридат оказалась одна, также разорённая в давнее время, которая, однако, представляла собою среди множества доселе открытых памятников этого рода первый и единственный пока пример христианской погребальной пещеры с определённой хронологической датой».

Наряду с обмером и описанием памятника Кулаковский приходит к ряду заключений, позволяющих пролить свет на место, занимаемое этим объектом в истории российского Юга.

Катакомба замечательна надписями, которыми почти сплошь уписаны стены. Надписи красной краской на глине содержат: молитву, 90-й псалом (до 12-го стиха включительно),

ДРЕВНОСТИ ЮЖНОЙ РОССИИ.

КЕРЧЕНСКАЯ

ХРИСТИАНСКАЯ КАТАКОМБА

491 ГОДА.

ИЗДАНИЕ

КУЛАКОВА
КОМПАНИИ ПУБЛИКАЦИИ.

СЪ 4 ТАБЛИЦАМИ РИСУНКОВ И 4 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯМИ

СПЕЦИАЛЬНО

САНИТАРНО-ГИГИЕНА
ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИЗДАНИЕ 1906.

*Титульный лист монографии
Кулаковского «Керченская
христианская катакомба
491 года», 1891*

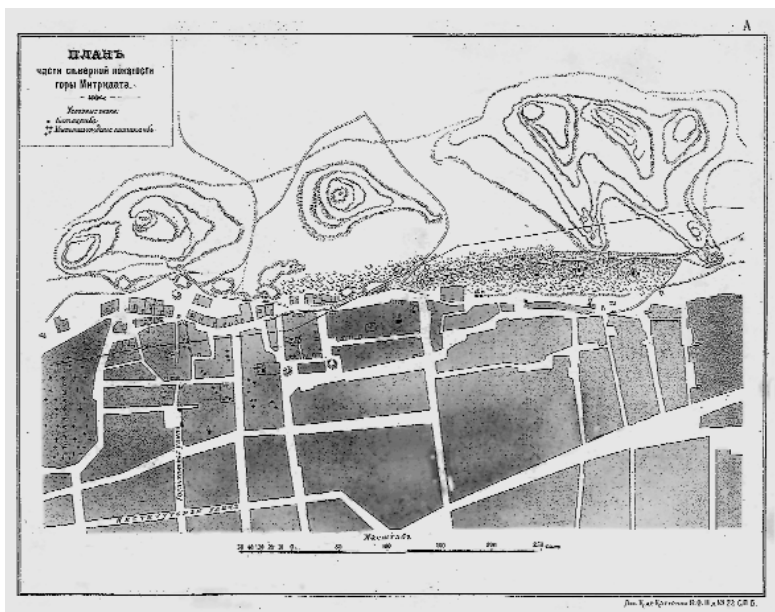
славословие, заключение 90-го псалма, конец 120-го псалма и два первых стиха 26-го псалма; кроме того, нанесены изображения крестов.

«В правой половине правой стенки центральной ниши направо от креста, занимающего средину поля, — свидетельствует Кулаковский, — написано следующее: “Святыи Боже, святыи крепкий, святыи бессмертный, помилуй раба Твоего Савагу и Фаиспарту” <...> Славословие, предшествующее именам, не встречалось, сколько нам известно, доселе на христианских памятниках в этом применении».

В очерке «Прошлое Тавриды» (Киев, 1906, 2-е издание — 1914) об упомянутых именах Кулаковский скажет:

«Пещера или катакомба, как принято называть этот тип погребальных сооружений, устроена совершенно так, как делали это в I веке нашей эры, а вероятно и раньше. Погребённая в ней чета носит сарматские имена: Саваг и Фаиспарта, т. е. мы имеем пред собою несомненных туземцев, потомков исконного населения Боспора. На стенах, изукрашенных крестами типичной для V века формы, расписаны красной краской надписи, причём буквы имеют начертания, образцы которых можно найти на надписях III и IV веков, несомненно языческих».

Вторая глава монографии о катакомбе 491 года, являясь



«План части северной покатости горы Митридат» в Керчи, составленный Кулаковским в 1891–1895 годах

собственно исследовательской (не описательной), носит название «Историческая важность памятника как живое свидетельство о судьбах Боспора в конце X века. Боспор при Юстиниане».

Открытый памятник, — восклицает пафосный автор, — «является исключительным в своём роде свидетельством, во-первых, о том, что на Боспоре в половине IV века продолжало жить туземное население, хранившее старую культуру, а во-вторых, — что это население было христианским».

Специальный параграф отведён христианству на Боспоре и христианским памятникам вообще. О результатах, полученных в ходе обследований и обдумывания, в заключительной части будущей книжки «Прошлое Тавриды», в «Общем обзоре изучения крымских древностей со времени присоединения Крыма к Российской державе», Кулаковский записал:

«Что касается до Боспора, то в течение V века он стоял, по-видимому, вне зависимости от [Ромейской] империи. Но за своими стенами он хранил старое население, сохранившее свой греческий язык, свою цер-

ковную связь с Византией, свои обычаи и традиции своего давнего прошлого. С полной определённой сказал нам об этом один памятник, открытый [нами] в 1890 году».

В свою очередь Михаил Грушевский в первом томе «Истории Украины-Руси» (1910) отмечает, что история Пантикапея становится известной только с конца V века, но — с оглядкой на его первенство среди местных колоний — можно сделать вывод, что окончательно сформирована была столица Боспорского царства и «мать их всех — Пантикапей» (Аммиан Марцеллин) в середине VI века.

Публикацию катакомбы 491 года научное окружение Кулаковского встретило благожелательно: явление было оригинальным, труд аккуратно выполненным, интерес к памятнику в авторе — неподдельным. Даже завистливый Латышев рассыпался в любезностях.

«Спешу от всей души поблагодарить Вас за любезную память и дорогой подарок, — откликается он в письме Кулаковскому. — Я прочитал его с живым интересом и не устоял против искушения написать о нём заметку в ЖМНП. Имея в виду редкость издания, в которое входит Ваше исследование, и в то же время большой интерес его для археологов и духовенства, я дал в заметке подробный пересказ его содержания».

Заметка вошла в латышевские «Этюды по византийской эпиграфике», в которых подробно рассмотрен ряд надписей христианской эпохи из Надчерноморья.

В первом этюде Латышев полемизирует с Кулаковским о датировке керченской надписи с именем царя Тиберия Юлия Дуптуна (Диптуна), к тому времени не известного ни из нарративной традиции, ни из надписей, ни из монет. Он не принял предложенную Кулаковским датировку 522 годом, то есть временем правления императора Юстина I. В рецензии на книгу о керченской катакомбе 491 года Латышев писал:

«При крайней скудости исторических данных о положении Боспора за это время трудно решить, на чьей стороне правда; но во всяком случае нельзя не быть благодарным г. Кулаковскому за то, что он самостоятельно переисследовал вопрос о времени надписи Диптуна и тем придал большую прочность предположению о том, что она относится к VI веку».

Упоминание в тексте надписи о воздвигнутой при Диптуне башне позволило Латышеву связать памятник с свидетельством Прокопия Кесарийского о восстановлении Юстинианом Вели-



Керчь. Лестница на гору Митридат; наверху — часовня (мавзолей) Ивана Алексеевича Стемпковского (1789–1832), археолога и градоначальника Керчи (воздвигнута в начале 1830-х, разрушена в 1944-м), фото 1900-х

ким стен «города Боспора». Кулаковский не согласился, и во втором томе «Византийского временника», в статье «К объяснению надписи с именем императора Юстиниана, найденном на Таманском полуострове» (1895) отверг ряд конъектур надписи Диптуна, предложенных Латышевым, и привёл аргументы в пользу того, что надпись с упоминанием Юстиниана происходит из Фанагории: датировал её 548 или 563 годом, связывая памятник с конкретным историческим событием — назначением епископа готам-тетракситам.

С выводами во втором и третьем этюдах Латышева Кулаковский тоже не согласился: во втором он отрицал прямую зависимость Надчерноморья от Византии в конце VI века, в третьем доказывал невозможность сановнику Евпатерию, облечённому высшим военным званием, в официальном документе назвать себя «подлинным рабом» (*gnisios doulos*) императора. Почему, собственно, не мог? Все мы рабы Божьи, а в Византии ещё были и императорские. Латышев посмеялся и показал, ссылаясь на «Придворный устав» Константина Багрянородного, что *gnisios doulos* было обычным выражением преданности и покорности императору.



Николай Иванович Веселовский

Когда некто обращался к Елизавете Петровне «вашего императорского величества верноподданнейший раб Иммануил Кант», это не значило, что он взаправду «верноподданнейший» и «раб»: этикетная формула величания — чем «выше» адресат, тем «униженнее» адресант. Мы же не путаем нынче «милостивого государя» с государем. Но дело не в этом. Кулаковскому в таких случаях хотелось поспорить с маститым эпиграфистом, мол, «вот и в нашей церкви...», и в нашем богоспасаемом Киеве есть эпиграфисты не хуже столичных. Едва ли можно его всерьёз упрекнуть за такое учёное мальчишество.

Вернусь к откликам на публикацию катакомбы 491 года.

Иван Помяловский, «учитель учителей»:

«Она меня крайне заинтересовала, потому что я иногда занимаюсь сводом мест Св. Писания, известных нам из надписей, постоянно сокрушаюсь о том, что их мало, и они незначительны по объёму. Ваша находка должна и в том и в другом отношении занять одно из первых мест в христианской эпитафии. Особый интерес придаёт ей дата, и если в тексте псалмов окажутся варианты, то это будет прямою драгоценностью».

Академик Афанасий Бычков, директор Императорской публичной библиотеки:

«Во время Вашего последнего пребывания в Петербурге мы имели

удовольствие познакомиться с результатами Вашего любопытного открытия, и теперь с большим удовольствием я прочёл Ваш труд, для исполнения которого Вам пришлось немало поработать. Можно надеяться, что если обстоятельства Вам позволят, Вы продолжите раскопки, увенчавшись такою блистательною находкою».

Обстоятельства позволили, и раскопки Кулаковский продолжил. И продолжил не раз.

Латышев, оценивая публикацию Кулаковского, в частности, указывал, что написание текстов на стенах вновь открытой катакомбы

«является весьма любопытным свидетельством о способе произношения отдельных звуков греческого языка боспорскими греками в конце V века. Особенности написания с очевидностью доказывают, что произношение тогда было уже весьма близко к современному греческому».

Об этой катакомбе писали потом и Михаил Ростовцев, и Николай Веселовский. Ростовцев, уроженец Житомира, — с обычной долей ехидства: «рецензию на Кулаковского напишу, но не прочь был бы получить за сие экземплярчик» (в письме Жебелёву, 14.11.1896). Об этом чуть ниже.

Новейший исследователь боспорских склепов Елена Зинько (Симферополь) посвятила истории изучения «катакомбы Кулаковского» специальные строки, которыми я здесь воспользуюсь (*Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии*. Симферополь, 2013, т. 18, с. 525–527).

Используя как археологические, так и нарративные источники, Кулаковский едва ли не первый предлагает целостную концепцию истории Боспора III–VI веков, которая близка современным представлениям. Труд «Керченская христианская катакомба 491 года» поныне — образцовое описание одного из важнейших датированных объектов позднебоспорской материальной культуры.

Кулаковский столкнулся с умышленным уничтожением местными жителями ранее открытых склепов на некрополе Пантикапея–Боспора, местонахождение некоторых других оказалось со временем забыто. Стремясь изменить сложившееся отношение к открытым памятникам и сохранить бесценное культурное наследие Боспора, учёный объединил задачи изучения и сохранения памятников.

В 1891-м он и заведующий Керченским музеем древностей

Карл Евгеньевич Думберг (1862–1931) хлопотали о приобретении частного земельного участка для города, на котором располагался христианский склеп 491 года. Планировались строительные мероприятия по устройству входа в погребальную камеру склепа, осуществление которых могло явиться примером для организации охраны и других расписных склепов. Осуществив обследование ранее открытых склепов, Кулаковский составил один из первых планов местонахождения керченских подземных усыпальниц северного склона горы Митридат, исполненный военным кондуктором Полтавским. Этот план должен был храниться в Керчи для постепенного пополнения его новыми данными, а уменьшенная копия части этого плана была опубликована Кулаковским в книжке «Две керченские катакомбы с фресками» (1896).

Думберг, понимая важность древностей Керчи и значимость их исследований, поддерживал стремления Кулаковского в деле сохранения открытых памятников:

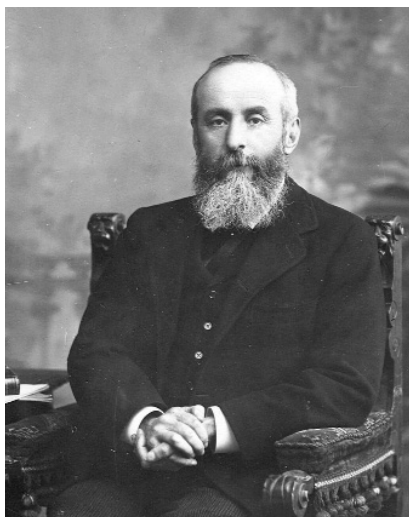
«Богатые раскопки отнюдь не должны быть конечной целью разысканий... Чем тщательнее и добросовестнее раскопки будут проводиться, служа науке и не стремясь к богатству, тем полнее можно будет рассчитывать на удовлетворительные научные результаты».

Анализируя развитие археологических исследований в Керчи, осознавая критическую необходимость изучения и сохранения склепов некрополя Пантикапея–Боспора, Думберг под руководством Кулаковского развил бурную деятельность по охране христианского «склепа 491 года», но предложенные им мероприятия осуществлены не были.

Открытую Кулаковским катакомбу, как стоило предполагать, ждала участь жалкая. В декабре 1904-го, через четырнадцать лет после её открытия, Николай Веселовский повеселил Кулаковского сообщением:

«В Керчи найдены превосходные вещи: счастливики пробрались в христианскую катакомбу, Вами описанную, стали пробивать стены, всю надпись испортили, но напали на целую катакомбу, где нашли золотых изделий 6 фунтов [2,7 кг], не считая золота на разных предметах в виде украшения. Вещи попали к нам. В. В. Шкорпил нашёл здесь целую систему катакомб, правда, разорённых, но набрал довольно разных предметов».

Локти Кулаковский не кусал, а вот плечами подёрнул: бы-



Алексей Александрович Бобринской

вает же. Правда, нужно сказать, что об этих находках никто фундаментальной работы не выпустил, и потому его труд о катакомбе 491 года остаётся образцом презентации полевых исследований, поскольку объединяет теорию и практику с религиозной метафизикой, с эпиграфикой и палеографией. Самой природы после такой тщательности в натуре может и не быть. Её и нет: территория, где располагался склеп, нынче занята частным владением.

Кроме раскопок на северном склоне горы Митридат Кулаковский в то же лето раскапывал пантикапейский некрополь на Глинище, где, среди прочего, обнаружил каменный склеп с деревянным саркофагом хорошей сохранности.

Впечатления от первого сезона раскопок он выразил так:

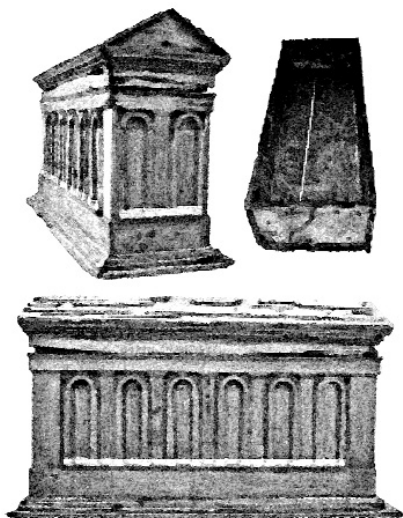
«Хотя в Керчи раскопки проводятся уже около 50 лет, но ведь не будет несправедливым сказать, что историю этого места мы знаем только по монетам. Один систематически раскопанный некрополь мог бы оказаться с исторической точки зрения гораздо важнее, нежели многие богатые случайные находки, которые, правда, могут украсить и обогатить музей, но мало или ничего не говорят историку. А по отношению к нашему Крыму история более чем где-нибудь нуждается в помощи археологии, которая тогда только будет в состоянии оказать эту помощь, если её материал будет разыскиваться систематически и в системе [же] классифицироваться».

Склеп с можжевельным саркофагом был не менее интересным, нежели катакомба с фресками. Фрески пропали, саркофаг, хотя и раскохшийся, хранится где-то в Эрмитаже¹.

«Когда раскоп был углублён до сажени от уровня почвы, то обнаружилась тщательно сложенная из трёх больших камней крыша склепа, в котором стоял деревянный саркофаг, — пишет Кулаковский, будто сказку сказывает («В той норе, во тьме печальной, / Гроб качается хрустальный»). — Верхние доски его истлели и изогнулись, а некоторые, сломавшись, провалились внутрь. На средней, сильно согнувшейся внутрь доске виден был почерневший и истлевший букет цветов, который при прикосновении к нему рассыпался в порошок. Внутри саркофага стоял деревянный гроб; его содержимое представляло чёрную волнистую поверхность, на которой кое-где лежали куски упавших сверху досок от крышки саркофага. В ногах гроба, на днище саркофага, стояли: с левой стороны — плетёная корзина с орехами, с правой — деревянный туалетный ящик с окисшей металлической пластиной на крышке». Вот незадача, покойница («на уцелевшей теменной кости сохранились русые заплетённые волосы») так и не воспользовалась этими и другими приношениями: «в ногах гроба стояло несколько деревянных туалетных ящичков, один круглый и три четырёхугольные, лежавшие один на другом».

Этими находками дело не ограничилось: Кулаковский вошёл в учёный раж, попытавшись создать упомянутую археологическую карту района. В течение двух-трёх лет по его просьбе был снят подробный план горы Митридат, на котором он хотел обозначить все имеющиеся раскопы. Несмотря на сделанные дополнения, план оказался практически пустым. В Керченском музее (у Думберга) материалов для исправления такого положения почти не было, и Кулаковский надеялся, что более надёжные результаты даст работа в архиве Археологической комиссии в Петербурге. Он настаивал на необходимости создания карты, которая бы включала местности, куда археологи ещё

¹ См.: Д. В. Журавлёв, Г. А. Ломтадзе. Погребение с деревянным саркофагом из некрополя Пантикапея (раскопки Ю. А. Кулаковского в 1890 г.) // Погребальная культура Боспорского царства: Материалы круглого стола, посвящённого 100-летию со дня рождения Михаила Моисеевича Кубланова (1914–1998). С.-Петербург, 2014. С. 33–40.



*Можжевеловый деревянный саркофаг
и деревянный гроб, в древности
обтянутый тканями, из раскопок
Кулаковского 1890 года,
по Елене Зинько*

практически не проникали: внутренние районы Крыма и крымское Приазовье.

Всею киевским профессором были нанесены на план северного склона горы Митридат двенадцать расписных склепов и сорок так называемых «местонахождений катакомб».

Елена Зинько, державшая эту карту в руках, сокрушается:

«Для изучения топографии некрополя Пантикапея–Боспора карта Ю. А. Кулаковского содержит важную, но, к сожалению, фрагментированную информацию, ограниченную лишь определённым видом погребальных сооружений и одним районом».

Тем не менее, хотя катакомбные труды Кулаковского вызывали неоднозначную оценку, в частности Ростовцева («Заметка о росписях керченских катакомб», 1897), признанием его учёных заслуг стало в 1894-м утверждение Кулаковского в звании члена-корреспондента Императорской археологической комиссии за проведение археологических раскопок на Юге России.

Неужели мало для одного человека, занимавшегося помимо археологических раскопок ещё бог знает чем? Ведь Кулаковский в поисковом запале хотел *лично* осмотреть названные районы. Ему обещал помочь Думберг, но лишь для территории Керчи и к востоку от города: дальше «малой родины», как правило, интересы *однонаправленных* людей не распространяются.

Археологическая комиссия и граф Бобринской были довольны керченскими результатами 1890 года. Кулаковскому стало понятно: это только начало. Позднее он скажет об интересе к древностям Надчерноморья:

«В 1890 году Императорская археологическая комиссия оказала мне внимание привлечением к участию в непосредственной разработке археологических богатств нашего Черноморского побережья, и моя первая поездка в Керчь подарила меня находкой, которая оказалась первой в своём роде на неистощимой почве древнего Пантикапея, а именно: христианская погребальная пещера с написанной на стене датой 788 года бо-спорской эры, то есть 491 г. по Р. Хр. С тех пор древности Тавриды стали для меня близкой и родной областью. В связи с непосредственным участием в работах по разысканию памятников прошлого для меня возникали разные, по преимуществу исторические, вопросы, а поиски материала для их разъяснения всё чаще и чаще приводили меня к памятникам византийской письменности».

Конечно, не за эту работу, а в силу выслуги «за отлично-усердную службу» 28.12.1890 Кулаковский пожалован орденом Св. Анны третьей степени (в петлицу с лентой в полвершка), внося в Капитул орденов 25 рублей. На зимних вакациях 1890/91-го, как мы уже знаем, гостит сначала у шурина в Вильне, затем у брата в Петербурге — с тестем, шурином и супругой.

Тогда же стало понятно иное: путь российского учёного от древностей Рима через археологию и эпиграфику Надчерноморья естественно пролегал к византийской медиевистике. Иначе быть не могло: он же не Моммзен, глядевший из мытого окна берлинского кабинета в сторону пыльных дорог с нарастающими фантомами шарка римских легионеров. Он сам желал бродить этими дорогами. Как учёный он был большим космополитом, нежели его именитый германский учитель.

В предисловии к первому изданию «Прошлого Тавриды» (1906) Кулаковский скажет, что если в его время археология расширила горизонты и не ограничивает задачи исканием и изучением изящных произведений античной культуры, как это было недавно,

«тем не менее, прелесть классического в античном является мощным фактором возбуждения археологического интереса, и Крым с его древностями навсегда останется <...> самым привлекательным и пленительным уголком в кругозоре археолога и дилетанта. Археологический интерес

нуждается в рамках исторического знания для того, чтобы быть жизненным и плодотворным».

В данном случае, вслед за Варнеке, нужно отметить обстоятельство, напоминающее в деятельности Кулаковского

«некоторые черты из учёной биографии его учителя профессора Павла Леонтьева. Подобно тому как последний, прежде чем приступить к изучению чисто литературных свидетельств о судьбах нашего Юга, предпринял в 1851 <1853> г. археологическую экскурсию к верховьям Дона, так и Ю. А. теорию усердно соединил с практикой археологии, весьма часто избирая для своих учёных исследований результаты собственных раскопок».

Как там сказано про яблоко и яблоню?

Поездка в Керчь летом 1890 года и открытие катакомбы 491 года — первые полевые исследования кабинетного учёного, связанные, как обычно, с бытовыми трудностями и неудобствами, его, впрочем, стеснявшими не особо. Первая попытка сразу же увенчалась успехом, это подзадорило к дальнейшим землеройным занятиям.

В ответ на письмо Афанасия Фета (переписка с которым постепенно затухает: эпистола в год) от 17.12.1890 он сообщает, что

«в это лето был я <...> на юге, но путь мой лежал через Одессу. Делал я раскопки в Керчи и нашёл немало интересного. Одна из находок — христианская погребальная пещера 491 года нашей эры с надписями по стенам — всё больше псалмы (написанные по-гречески). Теперь я был усиленно занят собранием всякого матерьяла, необходимого для издания этой находки. Само собою разумеется, что при новой обстановке моей жизни работа не может идти так сосредоточенно, как бы то хотелось, и дело затягивается. К тому же, здесь в наших библиотеках нет многого, что мне нужно. Это последнее обстоятельство и вызывает моё решение съездить в Петербург в начале января, тем более что издание это должно выйти там в “Матерьялах” Археологической комиссии, от имени которой я вёл раскопки летом. Надеюсь повидать в Петербурге Якова Петровича [Полонского] и поблагодарить его там за полученный недавно экземпляр “Вечернего звона”. А перед Вами я виноват, и теперь, когда пришло ко мне милое Ваше письмо, чувствую это вдвойне».

Кабинетность и некабинетность перемежались в Кулаковском, как смена времён года — летом «крымскія жары», осенью и зимой — свинцовые типографские буквы.

26.01.1891 — Афанасию Фету из Киева:

«Извините, что так поздно, но позвольте хоть теперь поблагодарить

Вас за Ваше любезное письмо от 21 декабря и сопровождавший его подарок в виде нового выпуска Ваших “Вечерних огней” и Плавтова “Горшка”. Получил я то и другое на второй день праздника в Вильне. Не отвечал я тотчас же, потому что хотел и надеялся немедленно раздобыть перевод “Горшка”, помещённый в “Журнале Министерства народного просвещения”, о котором необходимо было помянуть, разбирая Ваш превосходный перевод. Латинский текст “Aulularia” захватил я нарочно с собою сюда и немедленно сличил перевод с оригиналом. В Вильне, где я пробыл до 2 января, не удалось мне достать нужного номера “Журнала просвещения”, пришлось отложить сличение переводов до Петербурга, где я убедился, что только поэтам дала Муза — ingenium [гений] и ore rotundo loqui [полнозвучное слово дала] (как сказал Гораций о греках). Но в Петербурге мне не удалось присесть за написание моей рецензии.

По возвращении сюда я первым делом принялся за этот свой долг и сегодня отослал её заказной бандеролью на имя Цертелева в “Русское обозрение”. Мне не хочется иметь дело с [Ф. Н.] Бергом, жидом, который твердит на всех углах одно, что он “единственный консервативный орган”. Я не получал от Цертелева приглашения участвовать в его журнале, но хочу надеяться, что в нём найдётся место для этой заметки. Она может занять страниц десять или около того, и писал я её с большим удовольствием, любуясь и Плавтом, и его переводчиком. Смее думать, что Вы будете довольны моим отзывом, и пишу это письмо немедленно по возвращении с почты, где я сдал свою статью. От всей души желаю, чтобы удача “Aululari” привлекла Вас к Плавту и Вы бы нам подарили “Menaechmi” [“Два Менехма”], “Trinummus” [“Три гроша”], “Miles Gloriosus” [“Хвастливый воин”], “Mostellaria” [“Домовой”] или любую другую из его пьес.

Низко кланяюсь Вам и Марии Петровне от себя и жены, которая искренно благодарит Вас за Ваши ласковые слова к ней в Вашем письме, и остаюсь преданный Вам *Ю. Кулаковский*.

Другие комедии Плавта, кроме «Горшка», Фет переводить, по-видимому, не собирался. Рецензия Кулаковского на «Горшок» была опубликована в «Русском обозрении» сразу же, заняв в февральской книжке двенадцать страниц. Фет остался доволен.

Первый женатый год. Переезд на новую квартиру, смена холостяцкого уклада на семейный отразились не только на настроении, но на умонастроении.

О поездке с супругой из Вильны в Петербург Кулаковский пишет Флоринскому, за две недели до письма Фету: «Время



Александр Львович Бертье-Делагард в домашнем кабинете

проходило довольно-таки хлопотливо, хотя я отделялся от своих, удаляясь в библиотеку и Арх[еологическую] комиссию. Необходимые мне справки я сделал, в книгах разумею, но не имел возможности привести свою работу в такой вид, чтобы здесь готовить теперь её текст для печати» (15.01.1891). «Отделение от своих» в библиотеку началось.

Из этого же письма узнаёмся о состоянии дел в Археологической комиссии в начале 1890-х:

«В Комиссии теперь такие хлопоты и внутренние нестроения и даже разложения, что трудно что-нибудь закончить и даже столкнуться. Толстой, вытеснивший Бобринского из Акад[емии] художеств, вышел неделю тому назад в отставку из Комиссии и заменён Дружининым, числившимся до того сверхштатным её членом. Теперь подал в отставку и Кондаков — так что Комиссия сконцентрирована в Тизенгаузене, который видимо постарел, но всё же один там стоит крепким столпом. Занят он, как и председатель, выставкой, которую они устраивают после трёхлетнего перерыва. Предметов очень много. Стоит там и найденный мной саркофаг, который очень сохся и имеет довольно жалкий вид. Зато куски тканей из гроба, в нём бывшего, вставлены в большом почёте в стёкла

и многих интересуют. Насчёт будущего в Комиссии очень много планов и соображений, но всё это или тормозится заботами о настоящем, или оказывается очень проблематичным. Васильевского видел я несколько раз. Он выглядит лучше, чем в прошлом году и живёт теперь в гораздо лучшей обстановке. У Ламанского был, но неудачно. Хотя и застал, но в каком-то озабоченном и рассеянном состоянии. Вообще Петербург на этот раз меня гораздо меньше пленяет, чем в прошлом году. Застрял я против предположений потому, что вчера мне предложили прочесть реферат в Археологическом обществе, где я оказался членом ещё с весны или осени [1890-го]. Я извещения об избрании не получал и не знал о том до вчерашнего дня... Уклониться было бы неудобно и неловко — хоть хотелось бы мне поскорее домой».

(Намеренно не приделывал в квадратных скобках инициалы при фамилиях в этом письме: читатель должен был либо привыкнуть к упоминаемым именам, либо давно знать, о ком речь. Если это не так, инициалы не важны.)

Напомню, хоть это тоже неважно: Кулаковский избирается членом Императорского Русского археологического общества 18.05.1890. Не кажется ли, что в письме, помяная об этом, чуток кокетничает?

Вообще, он гордился статусом сверхштатного действительного члена Археологической комиссии, называя позднее этот титул — наряду со званием члена-корреспондента Императорской академии наук и профессора Университета св. Владимира — на титульных листах трёх томов «Истории Византии» и второго издания «Прошлого Тавриды».

Членом-корреспондентом Археологической комиссии Кулаковский будет избран 25.05.1894, сверхштатным действительным членом — летом или осенью 1906-го.

Когда, уже при большевиках, 24.09.1918 состоялось общее собрание «реформированной» Археологической комиссии (Российской государственной археологической комиссии), заочно были переизбраны в Совет Комиссии Ростовцев и князь Ширинский-Шихматов, успевшие бежать за границу, Бертье-Делагард, Кулаковский, Лаппо-Данилевский, Владимир Мальмберг, Александр Иустиневич Малейн, экзаменовавший Мандельштама, и одессит Эрнст Романович фон Штерн.

Собственно, кроме названных, Совет составляли ещё петербуржцы Жебелёв, Браун, Котов и Фармаковский.

Лично-учёные трения с Ростовцевым. О можжевельном «саркофаге Кулаковского» находим комментарий у Ростовцева (1925):

«Очень поучительно погребение 1890 г., тщательно расследованное Кулаковским. Саркофаг стоял в склепе, сложенном частью из надгробных плит членов одной семьи, то есть взятых с соседнего погребения более раннего времени. Так как надписи на этих стелах относятся к I в. по Р. Хр., то погребение вряд ли можно отнести ко времени более позднему, чем конец I-го, начало II-го в. по Р. Хр.».

Главный акцент здесь на оценке: «тщательно расследованное Кулаковским». Ростовцев пытался быть объективным. Кулаковский — тоже. Скрежетали, сдерживались, но старались быть объективными. Научные контакты и взаимные оценки трудов друг друга Кулаковский и Ростовцев («учитель» и «ученик»), несмотря на личные трения, о которых речь, не прекратили.

В 1908-м, посетив вместе с Ростовцевым и фон Штерном Международный конгресс историков в Берлине, в журнальном отчёте Кулаковский отзывается о докладе Ростовцева:

«Очень содержательный реферат заключал в себе целое исследование о римском колонате по новым данным, извлечённым из надписей и папирусов, которые позволили поставить этот старый вопрос в широкую рамку экономического развития всего античного мира. Докладчику приходилось выпускать целые отделы своего учёного исследования и ограничиваться утверждениями положений, извлечённых из богатого материала, который он изучил».

Такой отзыв «бывшего учителя» не помешал Ростовцеву, не сдерживаясь, «наотмашь» наброситься в 1910-м на первый том «Истории Византии».

Как веско пишет Эд. Фролов, нынешней репутации Кулаковского не должны вредить ни идеологически ангажированные нападки на этот его труд, ни ставшие теперь известными уничижительные реплики Ростовцева по поводу его работ о керченских катакомбах.

«Страстно-ревнивое отношение Ростовцева к занятиям других лиц теми сюжетами, которые он считал своими, слишком хорошо известно, чтобы его критические отзывы в таких случаях безоговорочно принимать на веру».

Ростовцев в очерке «Академическая карьера», сочинённом в 1940-м, вспомнит, что, появившись на свет в Житомире, за-

кончил Первую киевскую гимназию весной 1888 года, ещё при «достойнейшем директоре» Алексее Фомиче Андрияшеве, с серебряной медалью, причём за сочинение «Администрация римских провинций во времена Цицерона» («Об управлении провинциями в последний век республики», по версии *curriculum vitae* 1902-го) получил Пироговскую премию. Два года — 1888–1890 (затем перевёлся в СПб университет) — студентом историко-филологического факультета Университета св. Владимира *внимательно* слушал лекции Кулаковского и Иосифа Лециуса по римским древностям и словесности, Адольфа Сонни — о древнегреческих писателях, Владимира Антоновича — по российской истории (в первые годы эмиграции в Висконсинском и Йельском университетах античную и русскую историю Ростовцев преподавал одновременно).

Именно тогда с профессором Кулаковским у студента Ростовцева сложились непростые отношения: отчасти причиной этому был вспыльчивый характер Кулаковского, отчасти — стремление Ростовцева к научной самостоятельности.

В цирке классической филологии, как вообще в жизни, у каждого льва своя тумба.

Летом 1891-го из Боржоми, где он, нервный женатый человек, пьёт водичку, Кулаковский сообщает Флоринскому:

«Раскопки мои в Керчи не дали на этот раз таких хороших результатов, как в прошлое лето. Ничего цельного и важного я не нашёл, хотя, конечно, было не без находок и в числе их — мелких частей из золота, что, по-видимому, исключительно ценили в своих раскопках <...> петербургские археологи. Поучительного для себя лично извлёк я немало, но никак не в смысле и не в виде результатов, которые можно бы было опубликовать. Необходимость большой и продолжительной учёной работы многих над древностями нашего Юга стала мне теперь ещё яснее в виду удивительной наивности приёмов копателей прежнего времени, не исследовавших ничего, потревоживших все курганы и искавших, по-видимому, только золото для обогащения красивыми и ценными вещами Эрмитажа. Нашёл я, между прочим, и одну катакомбу с фресками, дурно, впрочем, сохранившимися» (14.08.1891).

Будучи недоволен качеством копий, которые снимал с росписей старенький художник Фридрих (Фёдор) Иванович Гросс (1822–1897) в «катакомбе Сорака», в 1891-м Кулаковский пригласил двух новых рисовальщиков: Аиналова (нет, не Дмитрий



Михаил Иванович Ростовцев

Власьевич) и Васильеву, «бывшую ученицу школы технического рисования барона Штиглица», которые, «в особенности последняя, вполне оправдали его надежды».

«В поисках за катакомбами тоже пока ничего хорошего не разыскал. Что же до возложенной на меня обязанности позаботиться о вторичном воспроизведении фресок с катакомб <...> то с одной катакомбой я уже покончил; вскрыть же вторую — стоило много хлопот и неприятностей, так как прежний пустырь оказался проданным, и по соседству строится дом, новый владелец дома изрядный мошенник, как и большинство населения Митридатовой горы <...> Сегодня, наконец, эта катакомба уже открыта».

Никак не изучение керченских катакомб он считал главной задачей, хотя их тогда было открыто немало.

Раскопки на Митридате, по его мнению, носили разведочный характер, а систематическими они были на Глинице. Почти все открытые гробницы ограблены в древности; лишь три римских захоронения содержали хорошо сохранившийся инвентарь, их не успели опустошить. Ещё тринадцать гробниц были раскопаны Кулаковским в углу сада некоего Чернявского, но и они, за исключением, возможно, лишь склепа с парным захоронением, практически ничего не смогли рассказать.

«В опоздании [к началу учебного года] будет повинно моё семейное состояние, ибо нельзя не вознаградить Любу за скуку сидения большей частью наедине в душной и жаркой Керчи, где для меня очень много интересно, но для неё — ничего» (14.08.1891).

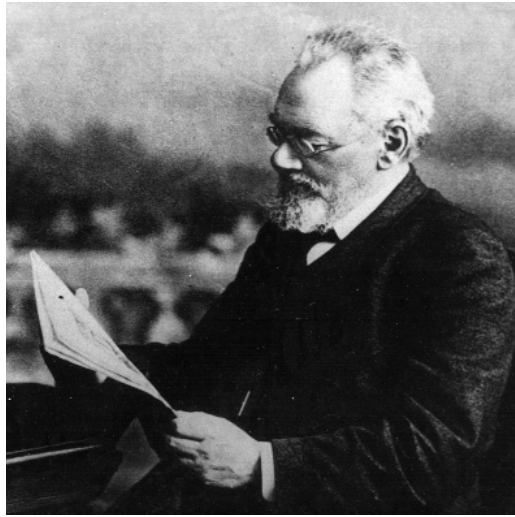
Исполняя эту супружескую обязанность, Кулаковский вместе с Любовью Николаевной путешествует после Керчи по Кавказу.

Он не только копал и думал над раскопанным. Через пять лет в сборнике «Charisteria», посвящённом Фёдору Коршу, его московскому профессору греческой словесности, он поместит заметку: «К вопросу об имени города Керчи» (1896).

В этой статье, ни на каких утверждениях мудро не настаивая, он делает попытку выяснить происхождение именованя Керчи, будто это всякий раз возможно: люди дают названия местам, где им хорошо, по самым разным причинам, порой неожиданным. И потом: нужно что-то писать на географических картах? Эдуард Мурзаев, спец по топонимике, говорит, что часто «название обусловлено сущностью самого географического объекта». Это сложно понять: ведь сущность как понятие тоже имеет собственное имя, и если такой «географический натурализм» длить до логического конца, кроме всеобщей условности географических названий мы ничего не получим, и будем стоять в аэропорту растерянные. Образование географических названий от слов нарицательных всё очевиднее (Киев — *чей* город? Киев город, город Кия). Кулаковский предался *топономастике*, пожалуй, одним из первых в России.

В той «коршевской» статье он писал:

«Если византийцы знали Керчь под именем Воспора, то иначе однако звучало имя этого города в устах русских людей, которые жили в XI, а быть может, уже и X веке поблизости от него, имели с ним сношения, а быть может, даже и владели им. Знаменитая надпись тмутараканского князя Глеба от 1068 года называет, как известно, древнюю столицу боспорского царства именем Кърчев. Новое обозначение не имеет в звуковом отношении ничего общего с обоими древними именами (Воспор и Пантикапей. — А. П.). Так как оно не поддаётся объяснению из русского языка, то вполне естественно предположить, что русские заимствовали его от туземцев, которых они застали на Боспоре, или от властителей этого города в ту пору, когда они впервые появились по соседству от него. В поисках за тем народом, при посредстве которого русские познакомились



Фёдор Евгеньевич Корш

с Керчью и от которого они услышали имя, переданное ими на своём языке в форме Кърчев, естественнее всего остановиться на хазарах».

Хазары — не хазары, а то, что в сборнике в честь Корша Кулаковский пишет именно о Керчи (звукоряд: *Корш* — *Корч* — *Керчь*), не случайно. И не изыщна ли концовка статьи (после упоминания возможного финского корневища названия Керчи)?

«Представляя на ваше суждение, мой дорогой учитель, эти свои странствия по историческому прошлому одного из древнейших городов на нашей русской территории, позволю себе заключить выражением надежды, что Ваше живое знание целого ряда восточных языков и Ваше чутьё лингвиста разгадают нам загадку, откуда пошло имя Керчь и что может значить это слово».

Мол, а как вы, любезный сердцу Фёдор Евгеньевич, объясняете происхождение вашей фамилии? Почему уважаемый человек носит фамилию «Корш», почему родной посёлок или город носит имя Вырица, Шепетовка (о которую, как известно, разбиваются волны Атлантического океана), Страхолесье, Псков, Нежин, Коростень, Суходрищевск? Где проходят *топонимоглоссы*? До сих пор неясно, почему Керчь — Керчь (почему кошка — кошка, а мышка — мышка), предположительно, от древнерусского *корч* или *керч* «горы».

Не всё ли равно: важнее, что там происходит, нежели, как это место называется. Лучше получить «За освобождение Праги», чем «За победу под Кобеляками» (как писал в стихике «Эстетика милитаризма» Юрий Педан). Гаспаров в «Записях и выписках» об аналогичном: Битву Александра при Гавгамелах греки предпочитали называть «при Арбеле», по более дальнему городу, — потому что благозвучнее. Так французы называют Бородино «битвой под Москвой». Бородино было орудийным грохотом от рассвета до конца, артиллерийской дуэлью, а драгуны с пёстрыми значками, уланы с конскими хвостами высыпались в атаки, лишь чтобы проверить результат пальбы. Именно артиллерия — налаженная Алексеем Андреевичем Аракчеевым — была едва ли не сильнее французской. Больше всего это было похоже на Курскую дугу.

Вы, стратеги и тактики, выбирайте на карте
для исторических битв
населённые пункты с ласкающей слух топонимикой.
Свяжитесь со штабом врага,
попросите слегка изогнуть заскорузлую линию фронта.
Там ведь тоже сидят выпускники академий,
не чуждые элементарной эстетике.

Юрий Педан, 1989

(из архива Мирона Петровского)

Христианские катакомбы и христианские поступки.

Пожалуй, одним из самых шумных научных киевских событий ещё 1891–1892 годов стала публичная лекция Кулаковского «Христианская церковь и римский закон в течение двух первых веков», прочитанная в стенах Университета 8.12.1891 в пользу пострадавших от неурожая. Это выступление несколько раз было напечатано (в «Университетских известиях» с пятьюдесятью отдельными оттисками, в «Русском обозрении») и вызвало бурную полемику со стороны догматически вышколенного киевского духовенства. Полемика возымела в киевских кругах известный резонанс, и Кулаковского, протоиерейского сына, одни за глаза стали называть Юлианом Отступником без иронии, другие — поздравляя с успехом, произносили это прозвище с лукавым смешком.

Я уже останавливался на этом эпизоде в отступлении про взаимоотношения Кулаковского и Соловьёва, приводя

полностью противенький виршик профессора Киевской духовной академии Владимира Завитневича.

Краткую глоссу к этому тексту Завитневича написал Флоринский, к которому обратились с просьбой о разъяснении его смысла после кончины Кулаковского, в страшный ЧК-промежуток с февраля по май 1919-го:

«Это небольшое *анонимное* стихотворение (по правдоподобным слухам оно составлено проф. В. З. Завитневичем) было в 1891 или 1892 гг. разослано многим профессорам Академии и Университета, в то время, когда разгорелась жаркая полемика между профессором Ю. А. Кулаковским и проф. Академии М. Г. Ковальницким по поводу речи первого о гонениях на христиан. Стихотворение небезынтересно для характеристики нравов того времени.

Чтобы уяснить значение стихотворения (его *соль* и *смысл*), разумеется, нужно ознакомиться с помянутой полемикой (Кулаковский печатал свои статьи в киевских “Университетских известиях”, а Ковальницкий (анонимно) в “Трудах Киевской духовной академии”).»

А ведь дело, по воспоминанию Полонской-Василенко, приобрело такой характер, что Кулаковскому светило отлучением от церкви. Был бы ещё один Лев Толстой, только киевский.

Сейчас это выглядит потешно, а во времена поголовной религиозности отлучение от церкви было сродни кастрации: оставалось петь тоненьким голоском. Даже Толстой, уж насколько цинически относившийся к религиозным обрядам, и тот волновался, читая в конце февраля 1901 года опубликованный текст «Определения и послания Святейшего Правительствующего Синода о графе Льве Толстом». «Если бы я был молод, — говорил он Михаилу Гершензону, — мне польстило бы, что против маленького человека принимаются такие грозные меры; а теперь, когда я стар, я только сожалею, что такие люди стоят во главе церкви».

Кстати сказать, Александр Игнатьевич Лотоцкий (1870–1939), выпускник Киевской духовной академии и генеральный писарь Генерального Секретариата Украины (нынешний министр без портфеля) в 1917-м, вспоминает, что Михаил Ковальницкий, родом с Волыни, «очень способный», с первых лет профессорства успел составить хорошие лекции по истории христианской церкви, и на этом «заговорел касательно научного труда». Четверть века после этого Ковальницкий только и за-

нимался, что играл на бильярде в ресторане Летецкого на Подоле вместе с приятелем и коллегой, довольно ограниченным профессором Константином Поповым, живя, таким образом, за счёт предыдущей научной работы.

«Вне компилятивного труда составления лекций самостоятельной научной работы не оставил он по себе ни единой. Уже на склоне профессорской карьеры впутался он в научную полемику с профессором киевского университета Юлианом Кулаковским <...> На публичную лекцию <Кулаковского> Ковальницкий размахнулся, как из пушки по воробьям, целой диссертацией, которая оперировала устаревшими, неубедительными данными, которые автор даже не понимал достаточно по причине плохого знания немецкого языка, приперчил свой труд тяжёлыми семинарскими увещаниями и выявил жалкую неспособность научного мышления. Учёному оппоненту Ковальницкого нетрудно было в коротком ответе вскрыть его научное убожество, и весь этот инцидент зело сконфузил все круги Киевской академии, — не чувствовал этого лишь самоуверенный виновник торжества.

Вот на эту особу пала миссия спасти академию, когда выпустил из рук рычаг управления Корольков».

Протоиерей Иоанн Корольков (1845–1927), друг семьи Кулаковских и популярный в Киеве человек, в декабре 1914-го отпел покойницу-супругу Кулаковского на киевском вокзале. С 1873 по 1916-й он, магистр богословия, читал в Академии греческий язык, писал богословские труды и много печатался. В 1895-м рукоположен в сан священника Андреевской церкви, в 1896-м переведён на место настоятеля новенького Владимирского собора, каковую должность исправлял до 1919-го.

Студенческий выпивон. Александр Лотоцкий, студент КДА, в лучших — гоголевских — традициях украинского бурсачества вспоминал о «генеральных выпивонах» второкурсников в стенах этого богоугодного заведения с священной киево-могилянської алкогольной традицией.

«На Афоне (третий этаж Академии. — А. П.), в тесно набитой умывальной комнате и в прилегающем коридоре царило большое оживление: студенты сходились в приподнятом настроении и гудели как пчёлы. Я, как председатель комитета, сказал соответствующую полушутливую речь и предложил духовному лицу нашего же курса, о. Антонию Вишневскому, благословить трапезу. По благословению заходили рюмки, заработали челюсти, полился разговор, а в конце зазвучали песни. Не столько это



Иван Николаевич Корольков

и пито, сколько говорено и пето. Когда впервые запели двести вдохновенных голосов, а окна были растворены, поскольку потребен был для того воздух, то горожане Подола и подольская полиция переживали несколько минут тревоги; но, привыкшие к тому из года в год, киевляне скоро успокаивались: “Ага, в академии «генеральная выпивка», и начинали прислушиваться к совсем недурному и дармовому концерту».

Конечно, утро для певунов, каким бы ни было на самом деле, оказывалось туманным, и вели они себя кое-как.

«Светало. От бессонной ночи, от натурального и искусственно возвышенного настроения усталые, студенты начали расходиться — одни самостоятельно, другие — “с поведением”, товарищи вели их. А где-нибудь надо было-таки и на руках разносить. Работа санитарного отдела была нелёгкой и взаправду ответственной.

Надо было удалить все следы пиршества, скрыть посуду и остатки пищи и питья, а главное привести в порядок тех, кто особенно потрудился во круг рюмки. Дело в том, что утром — единственный раз в году — инспекция внимательно обходила дортуар, не застучает ли там заспанных после оргии студентов, — это был бы материал для следствия и наказания. Поэтому надо было любой ценой не допустить до этого.

На страже были опробованные специалистами капли, а наиболее был употребим нашатырный спирт: при необходимости полстакана креп-

кой нашатырной микстуры, на которую бы не отважился ни один фармацевт на свете, ставило на ноги в случаях, казалось бы, безнадежных.

Но два случая были такие, что все наши медико-санитарные усилия были для них безуспешны, те “мёртвые тела” на руках окольными путями были отнесены в академический госпиталь; академический фельдшер Василь Панчоха был в курсе дела, соблюдал конспирацию, тем более что через остатки вчерашнего пиршества сам приобщался к участию в деле. А меж тем санитары ещё загодя до времени утренней молитвы обходили спальни, будили и активно поднимали тех, кто ещё сладко спал. Никогда за целый год рекреационный зал не видел такой фреквенции [посещаемости] на молитве, как в то утро, а инспекторский розыск живых жертв по дортуарам успеха не имел. Поэтому оставалось инспектору потихоньку застеклить окна, пострадавшие во время ночной вылазки каких-то слишком горячих партизан».

Отец Иоанн Корольков, будучи инспектором Академии, протестовал бессильно.

«Традиция “генеральных выпивок” заметно уже отживала век, но держалась главным образом потому, что студенчество не хотело уступать, дабы не показать, будто побеждено Корольковым. И в первый год после его инспекторства “генеральной выпивки” уже не было. Новый инспектор просто обратился к студентам с просьбой не устраивать выпивок, и студенчество, не соревнуясь, послушалось».

Новым инспектором стал подольский бильярдист о. Михаил Ковальницкий, и все эти киевские сливянки, вишнёвки, грушовки, зубровки, брага, водка с пивом и прочие настойки, наливки и выпивки, а вместе с ними и дорогостоящие английские пиво, шампанское, немецкие, венгерские и крымские вина, которые могли себе позволить лишь обеспеченные академисты, — мирно разбрелись по иным подольским своясям, услаждая мирные разговорные предсонья интеллигентных людей, затягивавшихся за полночь. Если к Кулаковскому это прямого отношения не имеет, то терпкие киевские реалии в сознании молодого киевлянина оживляет наверняка.

Стоит сказать, что недорогой ресторан Фёдора Летецкого недалеко от Академии это интересное место, сейчас бы сказали: «точка на трассе».

Например, студент Киевской духовной академии, впоследствии хоровой дирижёр и композитор Александр Антонович Кошиц (1875–1944) вспоминал:

«В нашей ежедневной жизни играли роль ресторан Летецкого на Подоле и пассаж на Крещатике [№ 34]. Оба были скромны по ценам, как раз для нашего студенческого кармана, но вместе с тем очень достойные. Не было часа, когда бы нельзя было застать кого-нибудь в этих ресторанах, и они считались академическими. Академисты не пьянствовали, как это было раньше, а просто любили развлечься. Любил и я с моими друзьями зайти в одно из этих мест и съесть хорошие пожарские или отбивные котлеты, выпить бутылку-другую пива и поговорить вволю».

В начале 1870-х купец Летецкий хотел было взять в аренду на шестнадцать лет Владимирскую горку, благоустроить её, снабдить увеселительными заведениями и взимать плату за вход. Дума подумала — и не разрешила.

От гонений на христиан к их приятию. Подтверждение правоты взглядов Кулаковского на означенный предмет находим в капитальной «Истории Византийской империи» академика Успенского, посвятившего третью главу первого тома специально этому вопросу.

В начале II века светская власть, указывает Успенский, хотя и отличала христиан от иудеев, но ещё не выработала определённых законодательных и полицейских мер к преследованию нового вероучения; находя, что христиане в сущности безвредны, что слухи о тайных собраниях их преувеличены и несправедливы, светская власть колебалась — следует ли принимать строгие меры, одновременно задумываясь, к чему они могут привести.

«Мы видим тут борьбу чувства с долгом, буквы закона с силой общественного мнения. Собственно, с III века уже обнаруживается решительное стремление вырвать с корнем новое вероучение».

И далее, — случаи бесчеловечия с христианами представляются внушёнными не политикой и не законами, но безначалием, разнузданностью нравов и безответственностью правителей.

«Если понимать под гонениями действительные репрессивные меры, принимаемые правительством против принципа христианства и приводимые в исполнение во всей империи, а не случайные вспышки народного нерасположения и своеволия правителей, тогда мы не насчитываем и десяти “гонений”».

Сколь бы громкой ни была дискуссия, любопытно в связи с ней вот что.

Заметно, как в начале 1890-х Кулаковский всё чаще обра-

щается к *поздним* античным сюжетам, постепенно из *его* антиковедения перераставшим в *его* же византинистику.

Оттого «едва ли могут раздаться замечания, что уделяя внимание столь многим вопросам знания, Ю. А. тем самым вредит сосредоточенности своих занятий (в чём винил его Модестов. — А. П.), разбрасывается. Но <...> несмотря на всю ширину своего <...> научного диапазона, Ю. А. успевает в каждой избранной им области оставить слишком крупные следы» (Борис Варнеке).

По свидетельству Деревницкого, Кулаковского не только не покидало желание прослыть «русским Моммзеном», но он в «скандальном» смысле, сам о том не подозревая, разделил судьбу Вл. Соловьёва: научные биографии двух незаурядных учёных и здесь пересеклись — как когда-то на студенческой скамье и лекторской кафедре.

В письме Фету от 15.10.1892, почти через год после злосчастной лекции, Кулаковский всё не может успокоиться: Ковальницкий продолжает наполнять «Труды КДА» тухлыми нравственно-учительными писаниями.

«Ваше письмо от 9 октября и обрадовало, и пристыдило меня. Сам я ведь так дано не откликнулся к Вам. Но могу сказать, что часто вспоминал про Вас и расспрашивал, если случалось встречаться с знакомыми Вам людьми. Последним был Говоруха-Отрок, которого я встретил у Прахова, моего коллеги, в июле месяце. От него я слышал, что Вы благоденствуете в Вашей милой Воробьёвке, где гостил у Вас и Говоруха, как он рассказывал. Слышал от него, что у Вас побывали летом Страхов и Владимир Сергеевич [Соловьёв].

Сам я провёл это лето в большой тревоге, заботах и хлопотах, лишь отчасти предвиденных, а также и под анафемой со стороны здешней Духовной академии, которая признала во мне “врага христианства” за мою речь, экземпляр которой я посылал Вам зимой. Нападение было грубо выше меры, страшно протяжённо и сделано с непонятным мне озлоблением.

Теперь, напечатав свой ответ, стараюсь забыть об этом крайне всё-таки неприятном инциденте. Предвиденная часть забот и хлопот относилась к ожидавшемуся прибавлению моего семейства, притом первому. Событие произошло благополучно в начале июля в Вильне, и теперь часто покрикивает через две комнаты от этого кабинета мой трёхмесячный младенец, Сергей, и делает это часто весьма не ко времени и с большой настойчивостью, чем и заставляет свою мать предполагать в нём разные болезни или подозревать проступки со стороны кормилицы.

С окончательным водворением дома 20 сентября и немедленно последовавшим затем началом учебного времени жизнь моя вошла в своё обычное русло и мирно течёт в нём, заставляя забывать или, правильнее сказать, приводя к забвению о разных тяготах лета и неудачах, меня постигавших за это время.

От души желаю Вам поскорее оправиться от Вашей болезни, и с нетерпением буду ждать Овидиевых «Скорбей». Низко кланяюсь Марье Петровне и остаюсь сердечно Вам преданный *Юлиан Кулаковский*.

Через полтора месяца, 21.11.1892, двух дней не дожив до 72-летия, Афанасий Фет скончался от сердечного приступа, которому предшествовала попытка самоубийства. Это письмо было последним, которое Фет получил от Кулаковского. Над переводом «Скорбных элегий» Овидия поэт трудился до последних дней: «Теперь по 5 строчек тащу *Tristia* (Скорби)», — сообщал он Фёдору Коршу ещё в ноябре 1890-го.

На смерть Фета Кулаковский откликнулся письмом его вдове Марии Петровне Шеншиной:

«Не стало славного русского поэта и неутомимого друга классического мира! До конца своих дней остался он верен своему призванию и этой дружбе, и в том письме ко мне, которому суждено было остаться последним для меня его откликом, говорил он о работе над «Скорбями» Овидия. Хотелось бы надеяться, что почивший имел утешение довести до конца этот последний труд, которому он отдавался среди одолевавших его, как он мне писал, болезней. Не чаял я тогда, что болезни эти были уже предварением конца его деятельной, непрерывно напряжённой жизни. А теперь — всем его знавшим и любившим остаётся лишь склониться с благоговением пред свежей могилой доброго человека, оставившего нас навсегда. Мир его праху!

В сердечном сочувствии Вашему горю позволяю я себе издали присоединиться к тому множеству почитателей и друзей покойного, которые там, в Москве, могут лично выразить Вам своё сочувствие и сострадание». Эти строки — «скорбные элегии» для «Киевлянина».

«Скорбные элегии» Овидия в переводе Фета увидят свет весной 1893 года. Другой переводчик Сергей Ошеров (1931–1983) по поводу «Тристий» скажет, что в них поэтическое совпало с нравственным: не вопль, а стройная жалоба, не конвульсивный крик о пощаде или помощи, но аргументированная защитительная или убеждающая речь со ссылками на мифологические и исторические прецеденты — в этом у Овидия была

не только литературная, но и нравственная позиция. «Кто в грубой гордости прочтёт без умиления / Сии элегии, последние творенья?» — спрашивал Пушкин в «К Овидию». Переводчики отвечали: никто, и читатели соглашались.

Девятый Археологический съезд в Вильне. Весну и начало лета 1893 года Кулаковский проводит один, без семьи, в Либаве (ныне Лиепая) на балтийском берегу. В Крым в этом году, как и в 1892-м, он «от семьи» не поехал.

«Наши домашние дела, — пишет Флоринскому 8.06.1893, — судя по письмам Любы, довольно благополучны, малыши подрастают, но мамаша их о себе заботится мало и вряд ли оправится за лето, как бы то следовало».

В июне всё-таки гостит с семьёй в доме тестя на Ботанической улице в Вильне. В августе — полноправно, как археолог, делегатствует на IX Археологическом съезде.

Виленский съезд был первым из череды съездов, проводившихся на территории Западного края и пограничных с ним губерний. Причины повеления Александра III о проведении съездов в Вильно, затем в Риге (1896) и Варшаве (1899) объясняются политическими целями, утверждавшими российские истоки истории Северо-Западного края как земель, прирезанных империи после раздела Польши.

Российско-польские противоречия, как в дальнейшем и российско-украинские на XI съезде не в Варшаве, но в Киеве в 1899-м, отразились и при подготовке, и во время проведения съезда. Министерство просвещения, опасаясь польских влияний, концентрировало организационные функции съезда в руках виленского правления в ущерб правам Московского археологического общества. То же самое повторится через шесть лет и в Киеве. Но графиня Уварова вспоминала, что

«польской знати собралось довольно много <...> Совету съезда было предоставлено достаточное количество рефератов и на польском языке; происходили иногда по этому предмету некоторые трения, но всё заканчивалось благополучно, доклады делались поляками на русском языке, и в общем мы должны сознаться, что поляки держались с большим тактом и достоинством, не поднимая никаких вопросов, кроме научных, что и позволило нам расстаться с ними совершенно друзьями».

Александр III через год после Виленского съезда скончается в Ливадии «к горю не только России, но и всей Европы»



Вильна. Актный зал Виленской 1-й гимназии (ныне Vilniaus universitetas), где в августе 1893 года проходили заседания IX Археологического съезда

(Уварова), и вместо Варшавы будет во второй раз в истории съездов назначен Киев.

В «Киевской старине»:

«Во всё время съезда под председательством Ф. И. Успенского заседал учёный комитет, распределявший рефераты по отделам и определявший порядок заседаний.

Всех записавшихся на съезд членов было до 400, из них приехали более 160, в том числе много депутатов от различных учёных учреждений и обществ; заседаний по разным отделам состоялось 25; на них было прочитано около 80 рефератов; почти каждый из рефератов возбуждал прения, и нужно сознаться, не всегда дебаты носили научный характер и имели прямое отношение к поднятым вопросам; времени, между тем, отнимали много; нам кажется, на будущих съездах на эту сторону дела следует обратить внимание.

С внешней стороны членам съезда были предоставлены разного рода удобства; время между научными заседаниями проходило в ознакомлении с городом и местными древностями; кроме того, членами съезда



Алексей Иванович Маркевич

было совершено несколько экскурсий: в Верки — имение кн. Гогенлоз, в Троки [Тракай] для осмотра Трокского [Тракайского] замка, и в г. Ковно [Каунас], откуда была предпринята поездка по Неману, во время которой осмотрены Пожайский [Пажайслисский] монастырь и древний костёл в с. Сапежишках [Сынковичах]».

На заседании, в котором был заслушан доклад, почётно председательствовал Алексей (не Арсений) Маркевич, просто председательствовал Николай Веселовский.

Профессор Новороссийского университета Алексей Маркевич тогда спас Антоновича, неловко спускавшегося на пленарном заседании с высокой лекторской кафедры, оступившегося и чуть было не свернувшего шею. Иван Линниченко в красках описывает происшествие, говоря, что Маркевич,

«фигура размеров весьма внушительных (глухой на одно ухо, он обыкновенно старался выбрать место поближе к лектору). Эта близость учёного к кафедре и спасла в буквальном смысле жизнь Владимира Бонифатьевича. Маркевич успел подскочить и принять на свой необъятный живот, как на матрац, падавшего головой вниз лектора. Но мы все, присутствовавшие в зале, пережили момент очень тяжёлый — кто видел В. Б. падающим вниз с такой значительной высоты, уже представил его лежащим на полу с раздробленной головой. И мы с глубоким облегчением вздохнули, увидав В. Б. невредимым в могучих объётах А. И. Маркевича».

Так вот. В протоколе о содержании доклада сказано более подробно (конечно, текст принадлежит Кулаковскому):



Владимир Бонифатьевич Антонович

«Указав на давность археологического исследования на почве древнего Пантикапея (ныне Керчь) и на обилие добытого на этой территории матерьяла, референт дал определение того типа погребальных сооружений, который известен под термином “катакомб”. Упомянув затем о катакомбах с фресками, найденных в прежнее время, он перешёл к отчёту о двух памятниках того же рода, открытых в 1890 и 1891 годах.

Отметив общую хронологию этого типа погребения (первые века по Р. Х.) и последовательно останавливаясь затем на отдельных мотивах декорации (поскольку позволяли то имевшиеся налицо рисунки), референт доказывал, что все они принадлежат греко-римскому искусству и отрицал присутствие восточного элемента (на чём настаивал по отношению к такой же катакомбе, открытой в 1872 году, г. Стасов).

С большей подробностью референт рассмотрел сцену так называемой “семейной трапезы” и указал на смену в археологической науке воззрений в её изъяснении. В заключение он сделал несколько замечаний о надписи, которая выведена красной и чёрной красками на столбе в катакомбе, открытой в 1890 году. Надпись эта даёт имя и звание лица (Сорак, сын Сорака, изыскатель штрафов), содержит указание на сооружение катакомбы (причём интересно отметить то, что она названа *ῥωον*) и заканчивается заклятием нарушителю могильного покоя почившего».

После доклада Кулаковский сказал о необходимости систематического изучения Ольвии — первым в истории археологии.

Академик Успенский дополнил его указанием на расхищенные ольвийских древностей.

«В Одессе, по его словам, циркулируют предметы, добываемые в Ольвии, так как местное учёное общество не всегда может покупать эти предметы. Иосиф Адамович Хойновский добавил, что эти предметы попадают уже и в Киеве».

На том же заседании с докладом «О татарском влиянии на русский посольский церемониал до Петра Великого» выступил Николай Веселовский.

«Подробности касались встречи иностранных послов, их содержания, аудиенции, подарков, а равно и наказов нашим послам как вести себя за границей. Здесь формальность была развита в высшей степени, и за нарушение её посол, по возвращении, подвергался осуждению и опале. Заимствованный нами от татар церемониал с течением времени несколько изменился. Так, у нас были отменены земные поклоны (“бить челом”), отменено целование ноги и заменено целованием руки».

Кулаковский, высказываясь по сути доклада, заметил, что некоторые из перечисленных Веселовским обрядов (челобитие, целование ног итд) соблюдались уже при дворе римских императоров, а позднее введены были в церемониал, действовавший при византийском дворе, откуда они могли проникнуть в Московию.

По вопросу о костюме византийского императора Кулаковский «напомнил о новейшей учёной разработке этого вопроса в исследовании проф. Д. Ф. Беляева» — двух вышедших томах (1891, 1893) трёхтомной «Byzantina: Очерки, материалы и заметки по византийским древностям», до сих пор не превзойдённом по качеству выполнения учёном труде одесского профессора. Веселовский, отвечая оппоненту, сказал, что указанные им подробности придворного церемониала и к римлянам проникли с Востока, а «к нам от татар, и до татар отсутствовали на Руси». Обычное дело: мнения учёных разошлись.

Графиня Уварова вспомнит в 1920-х:

«В высшей степени красочном докладе М. С. Корелин излагает “Первые шаги классической археологии”, который дополняют своими рефератами А. И. Кирпичников, Ю. А. Кулаковский и Э. Р. фон Штерн».

Проводившиеся обыкновенно в первой половине августа, Археологические съезды под деятельным руководством председателя Императорского Археологического общества графини Уваровой всегда собирали множество народу, производя в обществе научный оживляж.



Тракайский замок

«Среди учёных, явившихся на съезд, — писала графиня, — находилось много новых лиц, неизвестных прежним съездам, что и придавало съезду особо новый, так сказать, более местный колорит; так например, Ю. Ф. Крачковский, председатель Предварительного комитета, предоставил описание виленских православных памятников, а местный ксёндз Френкевич пополнил картину докладом о римско-католических костёлах».

Кулаковский, которому Вильна была близка с детства и откуда родом была его супруга, принял в его организации и последующей публикации протоколов заседаний очень деятельное участие. В статье «Археологический съезд в Вильне» (*Русский вестник*, 1893, № 10) он писал:

«Отчёты о заседаниях, помещённые в некоторых газетах, а также «Известия съезда», вышедшие по его окончании отдельным изданием, дали желающим возможность непосредственно и близко ознакомиться с тем, какое обилие разнообразных докладов было сделано на этом съезде».

Кулаковский сообщает также, что

«государю императору [Александру III] благоугодно было пожертвовать для этой цели пять тысяч рублей и государю наследнику цесаревичу [Николаю Александровичу] — две тысячи».

Вообще, проведение не только этого съезда субсидировалось щедро. Уварова сообщала, что «получила от государя значительную денежную субсидию на работы Предварительного



Прасковья Сергеевна Уварова

комитета»; Министерство просвещения, пытаясь создать иллюзию великорусского лобби, выделило достаточно на командировки в Вильно профессуры из университетов центральной России; при этом, несмотря на ходатайство графини, запретило некоторым чиновникам участвовать в работе съезда. Редкую оперативность и предупредительность проявило губернское начальство, выделившее на проведение съезда и приём гостей существенные суммы, а также взявшее на себя многие организационные задачи.

Флоринскому — 24.08.1893:

«Закончили мы съезд дружеским и оживлённым обедом после заключительного заседания 14 числа: 15 была поездка в Ковну. Собирался ехать и я, но не попал по семейным обстоятельствам. Ещё в субботу, захав домой переодеться перед обедом (так как на заседании я должен был быть во фраке, а обедали в сюртуках), я застал Любу в постели и доктора

дома. У неё был жар около 40° и общее состояние самое плохое. Доктор ждал, по-видимому, воспаления лёгких, но обошлось не так страшно. На следующий день, когда определилось её состояние, он признал какой-то особый вид ложного дифтерита. Дня четыре она была отделена от детей, пила всякие микстуры, делала полоскания, прижигали горло и т. д.

Все эти дни я усиленно занят выпуском «Известий [съезда]». Только сегодня напечатан в газете последний протокол и затем при моём участии сверстан (видимо, имеется в виду процесс перевёрстки набранного текста на другой формат. — А. П.). Типографские условия ужасные, и хотя я очень стараюсь и по несколько часов утром и вечером провожу в типографии, но не буду иметь утешения, что дело вполне исправно, как ты сам скоро увидишь. Надеюсь, что завтра можно будет закончить брошюровку и завтра же пошлю тебе листы <...> К концу съезда вышли наружу какие-то раздоры и обиды местных людей против графини. Я иногда в суете откладывал ознакомление с причинами, но вижу, что это больше недоразумения, подчас даже смешные, которые, однако, довольно значительны, чтобы омрачить память о съезде в среде проникнутой чиновным духом виленской публики. На вокзале проводили графиню только представители города <...> Смешно это и жалко».

Понятно, что организация каждого съезда была сопряжена для его инициаторов с бытовыми и организационными трудностями, которых можно было бы избежать при наличии достаточного понимания, во-первых, со стороны властей городов, в которых эти съезды организовывались, во-вторых, если бы участники вместо околонучных интриг занимались наукой.

Создаётся впечатление, что в первое пятилетие 1890-х Кулаковский то и делает, что летом трудится на раскопках в Крыму или участвует в виленском съезде. Нужно помнить, что в промежутках между этими, надо полагать, приятными для него занятиями, — с сентября по май — он делает то, что делал всегда: читает студентам лекции по истории Рима и римской словесности.

Самое место напомнить эпизод из совсем другого времени. В конце марта 1919 года, когда Кулаковского уже не было в живых, в Университет явились прибывшие из Харькова большевистские комиссары В. С. Мицкун и Н. Ш. Финкельштейн, предъявив приказ № 1, которым упразднены должности ректора и проректора и вся власть в Университете передавалась им. Мицкун, вообще-то неглупый человек, сделался «ректором». Евгений

Васильевич Спекторский (1875–1951), смещённый с ректорской должности, вспоминал, что Мицкун очень удивился, узнав, что профессору полагалось шесть лекционных часов.

«Имея в виду восьмичасовой рабочий день, он спросил, почему не восемь. Ещё более он удивился, узнав, что шесть часов это не дневная, а недельная норма. Не без труда ему разъяснили, что при добросовестном отношении учёного к преподаванию, соединённому с исследовательской работой и практическими занятиями со студентами, шестичасовая норма представляет почти предельную нагрузку».

Это похоже на бой Давида с Голиафом, утончённой умственности с физической силой, олицетворявшей большевиков. В конце августа 1919-го Мицкун с большевицкими полчищами бежал из Киева, прихватив деньги, которые предназначались для застекления университетских окон. Бубнов вспоминал:

«При приближении армии Деникина взял у нас все наши университетские процентные бумаги на сумму миллион семьсот золотых рублей и некоторые портативные ценные приборы, например рентгеновский аппарат. Сколько мы ни защищали своё имущество, указывая, что этот аппарат нужен для больных и раненых, а на бумаги мы получаем проценты, на которые содержатся стипендиаты, что они сложились из частных пожертвований и завещаний, ничто не помогло».

Итак, шесть лекционных часов в неделю плюс семинарские занятия — нагрузка профессора на рубеже XIX–XX веков. В своём месте скажу об этом подробнее, но утверждать, что это курортные условия для умственной работы, не стану.

Крымские дела 1894 года. Отправив жену с детьми в Друргеники, летом 1894 года Кулаковский снова впал в керченские раскопки. Что делает? Получает удовольствие.

Флоринскому — 27.06.1894:

«Нахожусь здесь уже ровно неделю. Пока не сделано в смысле раскопок ничего, но смотрел и обходил и даже объезжал немало мест. На этой неделе, вероятно, придётся произвести изыскания в одном некрополе на берегу Азовского моря в 15 верстах отсюда поблизости от Чокарского озера (знаменитые грязи), где владелец этой земли наткнулся на гробницы. Интересных находок ожидать нельзя в том месте, но будет важно, если удастся определить имя и древность поселения, которое там было...»

Почва здесь такая, что где ни копни, везде что-нибудь есть. Жаль, что исконное небрежение к учёной стороне дела лишает эти находки исторической связи.



Николай Михайлович Бубнов

Я лишён возможности послать нашей горничной, Анисье, деньги, так как она неграмотная и её паспорт у Любы в Друсениках. Будь так добр, передай ей, когда получишь это письмо, 12 рублей. Я их вышлю на твоё имя завтра, и завтра же напишу, чтобы она зашла к тебе за деньгами. Я был бы очень тебе благодарен, если бы ты сам зашёл на нашу квартиру и своим строгим взглядом поглядел, всё ли там в порядке; но тебе, быть может, некогда или не до того, в таком случае она сама придёт к тебе».

На склоне Митридата им было обнаружено пятнадцать разграбленных катакомб, причём стены в них были пробиты, образуя проходы из одной камеры в другую. Кроме грубого рисунка корабля, нанесённого на стенке одной из катакомб красной краской, других росписей не обнаружилось.

Кулаковский провёл исследования около Городского сада, где находился сплошной некрополь, о котором писали Думберг и Тизенгаузен. Здесь он заложил большой раскоп (43 × 32 м), в результате чего открыл двадцать пять гробниц, расположенных весьма упорядоченно: двумя полосами с юга на север, каждая из которых состояла из рядов (по две-три гробницы в ряду). Почти во всех могилах были открыты костяки, ориентированные головами на юго-восток. Сходство обряда погребения позволило предположить, что здесь было семейное кладбище, которое, если судить по монетным находкам, относится ко второй половине III века.

Несмотря на относительную бедность инвентаря, Кулаковский придавал раскопанному некрополю немалое значение, считая, что «его интерес заключается в том, что при возможности точной хронологической датировки найденные в нём предметы могут получить значение образцов для сравнения с имеющими хронологию археологическими материалами». При известной корявости изложения мысль ясна и, в общем, верна. Погребальный инвентарь из всех двадцати пяти захоронений он описал суммарно (серебряные, бронзовые, железные, керамические предметы итд), без разбивки по комплексам. Нужна стенографистка, чтобы описать такой массив находок, а на неё Археологической комиссией средства не отпускались.

В другом письме, от 16.07.1894:

«Живу здесь ужасно суетливо среди разных сообщений, осмотров, проверки сведений, новых случайных знакомств по поводу разных находок. Своих находок ещё не было <...> Будь так добр, дай нашей горничной 3 рубля на соленье огурцов. Мне об этом писала Люба. Прибавлю, что мне кажется, что ещё рано приступать к этому, но ты знаешь лучше. У меня пока нет ничего интересного».

Через три дня — 19.07.1894:

«Мне очень жаль, что я не видел Васильевского, и тем досаднее, что по-видимому я мог застать и его, и Кондакова 19 июня в Ялте, где я слонялся по улицам без всякой цели и очень тоскливо часа два. Я знаю дом Кондакова в Ялте, и раз виделся там с ним; совершенно не понимаю, как я не догадался справиться на всякий случай, там ли Кондаков или в имении, в 35 верстах от Ялты, где я предполагал его по какому-то меланхолическому внушению. И мне вообще было так скучно, одиноко за весь тот переезд по морю сюда... Что ж до Кондакова, то теперь он за границей, как знаю от одного шведского археолога, который встретил его на прошлой неделе в Одессе на вокзале...

Вообще мои раскопки, которые, сообразно отпущенным средствам, я веду в очень скромных размерах, дали пока только самые бедные результаты — разумею — непоказные, — хотя для меня лично и для топографии здешних кладбищ — не лишено значения и то, что найдено. В поисках за катакомбами тоже ничего хорошего не разыскал. Что же до возложенной на меня обязанности позаботиться о вторичном воспроизведении фресок с катакомб (так как те, что ты видел, почти все потеряны), то с одной из катакомб я уже покончил; вскрыть же вторую — столько много хлопот и неприятностей, так как прежний пустырь оказался

проданным и по соседству строится дом. Новый владелец места, изрядный мошенник, как и большинство населения Митридатовой горы, и его жена сделали мне немало затруднений и лишних расходов. Сегодня, наконец, эта катакомба уже открыта и я там побывал, а завтра сведу нашу художницу; но боюсь, что будет ещё слишком сыро и она не решится приняться за работу. Скоро будет месяц, как я здесь, время проходит в постоянной суете, пеших странствиях и разъездах, разных хлопотах, которые мне таки порядком надоели. Когда кончу с этой второй катакомбой, то постараюсь уехать из Керчи, но не прямо на север, а сначала в Анапу, где вряд ли придётся, впрочем, приняться за раскопки. Да это, пожалуй, излишне, так как туда едет Н. И. Веселовский... Он человек очень спокойный, даже флегматичный».

В извлечении из отчёта Археологической комиссии о раскопках Кулаковского летом 1894 года свидетельствуется, что его изыскания были направлены главным образом на собиранье возможно точных сведений о местах находок и раскопок прежних лет с нанесением их на карту. Оказывается, что наиболее густо катакомбы в Керчи расположены между кладбищем и известковыми печами некоего Ростовского.

«Поблизости с катакомбой, исследованной в 1890 г. на горе Митридата, и на усадьбе мещанина Григорьева по Феодосийской дороге Ю. А. Кулаковским раскопаны были 2 катакомбы».

Тогда же Кулаковский также обратил внимание на неизвестный ранее некрополь у станицы Раевской, состоявший из большого числа сравнительно невысоких курганов (насыпи до 1 м). Здесь он раскопал курган и так называемую впускную гробницу. Курган оказался средневековым, содержал парное погребение и захоронение коня. В гробнице найдены две железные кольчуги, кривая сабля и прочий ржавый мусор, а на трупе коня — седло со стремянами. «Впускной» Кулаковский посчитал могилу, расположенную рядом с курганом. Она была сооружена в виде грубо сложенного каменного ящика и содержала остатки четырёх жмуриков. В данном случае Кулаковский первым из исследователей Боспора открыл каменный ящик, характерный для погребений рядового синдского населения.

Мыс Зюк. К важным открытиям на Керченском полуострове должно быть отнесено предпринятое Кулаковским исследование остатков древнего города на мысе Зюк, находящемся на северо-западе от Керчи на Азовском море.

Описание наблюденного сделает честь современному наблюдателю.

«При ближайшем осмотре местности мыса Зюк я мог констатировать, что его крутая скалистая оконечность была когда-то отделена широким рвом от остальной части полуострова; осыпавшийся вал, возвышающийся над этим рвом, позволяет истолковать себя как остатки стены. Приблизительная длина рва от одного обрыва к морю и до другого — 30 саженей. На этом тесном, отделённом от остальной поверхности мыса пространстве поднимаются два скалистых возвышения, которые издали могут быть приняты за развалины большого здания. На карте, приложенной к известному путешествию Dubois de Montpereux [Фредерику Дюбуа де Монпере], показаны на мысе “развалины” (ruines). Но так как автор в своём тексте не сказал ни слова об этой местности, то весьма вероятно, что он сделал свою отметку, приняв за развалины те два скалистые возвышения. Дальнейшая часть мыса в сторону материка представляет каменистое возвышение, покрытое растительной почвой. Широкий горб этого холма в самом высоком своём пункте значительно выше, нежели скалистая оконечность мыса, приблизительно сажен на десять.

Предпринятые мною в разных местах пробные раскопки обнаружили в одном месте остатки каменной кладки, но чаще попадались лежавшие в беспорядке камни, принадлежавшие каким-то постройкам. В почве повсюду оказывались во множестве обломки глиняной посуды древнего производства <...> В изобилии оказывались также кусочки античной штукатурки с гладкой и блестящей поверхностью, выкрашенной в тёмно-красный цвет того тона, который так преобладает в росписи помпейских домов и имел, вероятно, повсюду такую же распространённость.

Восточный склон холма осыпается к морю и представляет в разрезе широкий пласт в 1 саж. и более, состоящий из культурных остатков. Повсюду — обломки амфор, мелкие куски камня и извёстки, а также и черепки лакированной посуды. Этот слой образовался, очевидно, вследствие того, что внешние воды смывали с верхней части холма остатки древнего поселения.

Существование этого “пепелища” и его расположение заставляет предполагать, что древнее поселение, современное Боспорскому царству, занимало всю вершину холма, а не только обращённую на восток скалистую оконечность, которая в неизвестное нам время была отделена от остальной части холма рвом и стеной.

<...> Совокупность изложенных данных позволяет утверждать, что на холме мыса, носящего в настоящее время имя Зюк, существовало поселение с характером, по всему вероятию, города. Черепки лакированной



Мыс Зюк, современное фото

посуды свидетельствуют, что этот город существовал за несколько веков до Р. Х. Монеты Боспорских царей с I по IV вв. нашей эры удостоверяют непрерывное существование его за этот период времени <...> Природные условия места делают его очень удобным для поселения мореходов. Широкие бухты с плоскими берегами могут служить удобной стоянкой для кораблей, а высокий холм мыса даёт возможность, смотря по направлению ветра, укрываться с одной или другой стороны».

Кроме отчёта Археологической комиссии, об этих раскопках упоминает, комментируя их, Николай Новосадский (относя почему-то к 1896 году).

«В этой местности при постройке дома в усадьбе г. [А. А.] Дирина попали на большую плитняковую гробницу, заключающую 5 костяков и при них различные вещи. Все скелеты лежали головами на восток. В изголовье найдено было несколько тиснённых золотых листочков и две индикации с монет Константина Великого <...> В селении Мама, примыкающем к упомянутому мысу, во время хозяйственных построек, также были находимы гробницы и вещи <...> Проф. Кулаковский обратил внимание прежде всего на крупную возвышенность мыса, на которой оказались остатки крепости, ограждённой стеною и широким рвом. Произведённые в разных местах укрепления пробные раскопки обнаружили следы каменных кладок, черепки древней чёрнолаковой посуды, в изобилии — куски античной штукатурки и пр. Найденная в крепости чёрнола-

ковая посуда говорит о существовании города за несколько веков до Р. Х., а нередко находимые в поселении Мама боспорские монеты I–IV вв. свидетельствуют о непрерывном существовании его за это время. Очевидно, здесь находился какой-то приморский город, запустевший, подобно другим городам Крыма, со времени водворения на Таврическом полуострове кочевых народов. По мнению проф. Кулаковского, основанному на указаниях Страбона, вновь открытый город есть Зенонов Херсонес».

Ниже поясняет предположение:

«Из всех наших источников для древней географии этого края один только Птолемей (VI, 4) называет города Боспорского царства, лежавшие на этом берегу Азовского моря, древней Меотиды, а именно: Парфений, Зенонов Херсонес и Гераклею <...> В виду того, что на береговой линии от Еникаля и до мыса Зюк не обнаружено нигде пепелища или иных следов города, констатированные на Зюке остатки города и могут быть приурочены к Зенонову Херсонесу Боспорского царства. Подтверждением этого определения может служить также согласие в расстоянии, какое дает Птолемей между Парфением и Зеноновым Херсонесом, и какое существует между Еникалем и мысом Зюк».

О местоположении городов «Херсонесского государства» учёные спорили много, нередко — как писал Бертъе-Делагард (по иному поводу) — «совсем кабинетно и по-пустому», так как письменные источники оставляли широкое поле для толкований. Одни исследователи считали, что владения Херсонеса простирались далеко за пределами Крыма, «чуть ли не до днепровских порогов»; другие предполагали, что в состав Херсонеса входила вся западная часть Крымского полуострова или же только земли в прибрежной полосе от Севастополя до Перекопа (Латышев, Кулаковский). Наконец, третьи думали, что Херсонесу принадлежали лишь Гераклеийский полуостров и небольшие участки земли вокруг некоторых пунктов на западном побережье, вклинившиеся в обширные земли скифов. И потому «нужны были специальные археологические исследования на местности, чтобы проверить все эти гипотезы». Тем не менее, вывод Кулаковского о расположении на Зюке боспорского города Зенонов Херсонес общепринят.

Что, читатель, скучновато? Терпи, это жизнь, сиречь текучка: не всё же веселушки и биографические загогулины. Есть подёнщина, которой обычно избегают, но которой не убежишь, иначе потеряется главный нерв повествовательного ритма.

Кулаковский жалуется Иконникову 11.07.1894:

«Расстояние, отделяющее меня от Киева, и та суетливая действительность, которая меня здесь окружает, и в которой проходят дни, мешают мне точно помнить счёт дням месяца <...> Нахожусь я здесь вот уже ровно три недели. Ничем пока похвалиться не могу, да и по разным причинам мало предпринимал раскопок, а само собою ничего не приходит. Так как теперь тут есть живой и энергичный постоянный наблюдатель [Карл Думберг], то истекшие годы со времени моего здесь пребывания не оставили для меня никаких уцелевших от наблюдения случайных или воровских находок. Главный повод моего сюда приезда — утрата рисунков из катакомбы [18]90 года, — вызвал уже некоторые работы, но в них для меня мало интереса, так как нового в них ничего нет. Сколько времени здесь придётся пробыть — пока не знаю; быть может, раньше половины августа и не попаду в Киев. Мои предположения перенести работы на кавказский берег вряд ли осуществятся, в лучшем случае — хоть побываю в Анапе и вторично на Сенной (месте древней Фанагории). С моим сравнительно ничтожным кредитом нельзя и рассчитывать предпринять что-либо важное. Самое же пребывание здесь даже мучительно по своему интересу: повсюду следы поселений, городов, повсюду курганы и кладбища, а что это было, какие города, какого времени, этого нельзя знать. Недавно был на Чокране, вчера — в Ак-Буруне и Эльтегене, хотелось бы добраться и до Опука. Жары здесь стоят страшные, но я их выношу, и не хотел бы, чтобы лето на юге не было летом».

«Этого нельзя знать» — показательная строчка. Чтобы можно было, Кулаковский *инициализировал* составление Археологической карты Крыма, — того, с чего следовало начинать.

В том же 1894-м году Кулаковский вместе с Новосадским производит раскопки близ Анапы и в станице Раевской, которые «существенным образом дополнили имеющийся уже материал для суждения об особом типе местных [кубанских] курганов».

Подводя итог исследованиям 1894 года, он отметил, что крупным недостатком боспорской археологии является «отсутствие наблюдений этнографического характера и хронологических определений по отношению к отдельным могильникам и типам вещей, в них находимых».

С горечью, едва ли показной, он продолжил:

«Не столько отсутствие данных, сколько равнодушие к этой стороне дела было тому причиной».

Распределение типов вещей на конкретных территориях,

как ему казалось, поможет уяснить «древнейшую историю южных пределов нашего отечества», но создание такого распределения требовало аналитической работы не одного человека, проводящего вакационное время не без приятствия для науки. Вероятно, стремясь накопить побольше «наблюдений этнографического характера», Кулаковский с 1896 года обратится к изучению археологических памятников внутреннего Крыма.

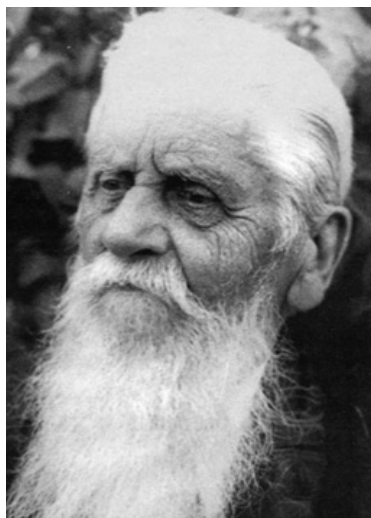
Над «Археологической картой Крыма». В октябре 1894-го крымовец Арсений Маркевич (не раз упоминавшийся), прослышал о деятельности Кулаковского «на вверенной ему себе территории», и шлёт в Киев свежееотпечатанный в Симферополе труд «TAURICA: Опыт указателя книг и статей, касающихся Крыма и Таврической губернии вообще»¹.

Кулаковский благодарит Маркевича за книгу, возникает полезная учёная переписка.

«Позвольте принести Вам самую сердечную благодарность за полученные мною Ваши “TAURICA”. Эта книжка является теперь для каждого, кто так или иначе заинтересован в изучении Крыма, вполне необходимым пособием. Много и очень много труда стоила она Вам, но зато Вы можете иметь удовлетворение в той благодарности, которую скажет Вам всякий, в чьи руки она попадёт. А таких людей немало, так как Вы захватили не только историю, но и живую текущую действительность. Вы предлагаете указать пропуски; на это могу сказать одно: я их не вижу, а только изумляюсь полноте и узнаю уже о многих своих пропусках благодаря Вашей книге, и если мне теперь удастся попасть в Одессу, уже не отнесусь так к Библиотеке Одес[ского] общ[ества] ист[ории] и древн[остей], как делал это прежде, а постараюсь по Вашим указаниям ознакомиться со многим» (14.10.1894).

Через две недели, 1-го ноября, в Ливадии от хронического интерстициального нефрита умирает император Александр III, и многое поменяется. Прежде всего, скорость, с которой события будут сменять друг друга.

¹ Как было дело, обстоятельно изучил в 2006-м Андрей Непомнящий (Симферополь), и я воспользуюсь результатами его труда. См.: А. Непомнящий. Из истории подготовки «Археологической карты Крыма»: По данным переписки Ю. А. Кулаковского с А. И. Маркевичем // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: Збірник наукових праць. Київ, 2006. Вип. 3, ч. 2. С. 127–142; А. А. Непомнящий. Подвижники крымоведения. Симферополь, 2006. С. 205–236.



Арсений Иванович Маркевич

Декабрём 1894-го — маем 1895-го датированы несколько писем Кулаковского Маркевичу, посвящённых организации работ по подготовке «Археологической карты Крыма». Вот некоторые выдержки из них.

«Обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой помочь мне советом в вопросе, который должен быть близок Вашему сердцу. Дело в следующем. — В своём отчёте о раскопках этого года, который я представил в Комиссию, я позволил себе высказать желание, чтобы Комиссия взяла на себя труд издания археологической карты Крыма. Я указывал на то, что изданные в России карты <...> основаны не на самостоятельном изучении местностей, а являются лишь повторением (кое в чём улучшенным) прежних карт, составленных немцами, не бывавшими в Крыму <...> Это моё предложение Комиссия приняла благосклонно, и в своём ответе она мне предлагает следующее: “принять на себя труд подготовки проектируемой Вами археологической карты и составления проекта археологических разысканий во внутренней части Крымского полуострова”.

В этом направлении я пока ничего не сделал кроме того, что пересматриваю некоторые статьи из Записок Одесского общ[ества] ист[ории] и древностей подходящего содержания. Когда я в этом году мечтал захватить в Симферополь, то моей главной мыслью было узнать, не организовано ли у Вас что-нибудь по части собрания сведений о достопримечательных в археологическом отношении местностях, остающихся доселе

неизвестными. На Ваши земские и дворянские собрания съезжаются люди со всех концов полуострова, и таким образом нетрудно, казалось бы, со стороны утилизировать это для научных целей <...> Позвольте просить Вас сообщить мне Ваше мнение насчёт целесообразности и осуществимости моей мысли об издании карты (одной или нескольких, по эпохам исторической жизни Крыма), а также и о том, есть ли в Вашей Комиссии какие-либо материалы, которыми можно было бы воспользоваться для древнего периода, который меня, конечно, прежде всего, интересует» (14.12.1894).

«Когда я был в Петербурге, то говорил в Комиссии, что составление Археологической карты Крыма возможно не иначе, как при Вашем участии и содействии (и Думберга — для восточной части полуострова). Я говорил, что необходимо предоставить Вам, как и мне, определённый кредит на предстоящее лето. Теперь Веселовский пишет, что Комиссия предполагает выдать кредит на моё имя, чтобы я потом от себя передал Вам столько, сколько будет нужно. (Сколько они предполагают ассигновать, он не пишет.) Позвольте надеяться, что для Вас это без разницы, так как в этом деле мы теснейшие союзники. Вероятно, много экскурсий нам придётся сделать вместе, значит и расходы будут общие; а когда придётся действовать раздельно, то будем сообща расходовать наш кредит. — Далее, Веселовский пишет, что Главный штаб доставил карты Крыма (по моей инициативе Комиссия просила у Штаба карту самого большого масштаба, в ней чуть ли не сто листов) и спрашивает, куда направить эту карту. Я предполагал, что её следует направить к Вам, в Вашу Комиссию, где, вероятно, найдётся ей место полежать до времени, когда мы с Вами станем наносить на неё имеющиеся данные и проверять в экскурсиях. В настоящее время я по мере возможностей стараюсь полнее войти в археологию и историю Крыма и делаю разные выписки по имеющейся здесь литературе, которая, впрочем, далеко у нас в библиотеке не полна. Конечно, моё внимание обращено, прежде всего, на сведения о греческих городах и находках той эпохи. Вы, как вижу по Вашим статьям в Известиях, знаете и татарский период» (19.03.1895).

Для составления карты и вправду нужна была хорошая топооснова, за которой граф Бобринской обратился в Военнотопографический отдел Генерального штаба. Военспецы предложили археологам трёхвёрстную карту Крыма на 17 листах. Такой масштаб для обозначения археологических объектов, естественно, был слишком мелким, но в конце концов была получена одновёрстка (одна верста в одном дюйме).

«Спешу отозваться на Ваше письмо, чтобы разъяснить Ваше недомыслие насчёт отсутствия инструкции. Если кто в этом виноват, то один лишь я. Но сознаюсь, я знаю, что нам и не нужно, да и не от кого получать инструкцию. Я предполагал и даже собирался предоставить в Комиссию официальное изложение того, что и как я бы считал нужным сделать, но я этого до сих пор не исполнил. А в Комиссии заняты были, по всей вероятности, все эти месяцы предстоявшей выставкой для [нового] Царя и разными текущими делами, и от меня ничего не потребовали. Я старался познакомиться с системой знаков, как она установлена на западных археологических конгрессах, усиленно читаю, что могу достать по истории и археологии Крыма и делаю разного рода отметки.

Представляю я себе дело так: если мы с Вами обойдём в этом году Евпаторийский уезд и часть горного Крыма и нанесём данные этих мест на карту, то этого на первое лето будет вполне достаточно <...> Будьте так добры, сообщите мне, есть ли у Вас в Симферополе Dubois, Pallas и Кёппен, а также имеется ли карта Кёппена?» (14.04.1895).

«Что касается до карты, присланной Вам, то это должна быть карта Крыма наибольшего масштаба, верста в дюйме. Я предполагал, что работать с такой картой удобнее всего, хотя для издания придётся перевести наши значки на меньшую в несколько раз. Я этой карты не видел, при мне лишь Комиссия попросила её из Штаба. Я бы думал, что не только бы не мешало раскупорить посылку, но даже и выбрать листы хотя бы того же Евпаторийского уезда (пока одного) и наклеить по четыре (если это не слишком много) на полотно (при этом можно и разрезать листы, если это удобнее для укладки). Вероятно, в Симферополе есть переплётчики, которые умеют обращаться с наклейкой карты. Как мы разделим работу, с чего начнём, это обсудим, когда свидимся.

Я предположил Евпаторийский уезд для начала, потому что он менее других привлекал внимание и представляется наименее интересным по климатическим условиям для экскурсий. Перебраться потом в горы будет приятным отдыхом» (1.05.1895).

На составление археологической карты Крыма было выделено 300 рублей, и работы в этом направлении были начаты. Завершения их, конечно, нельзя было ожидать через год-два, они требовали большого времени и усилий. Насколько эти планы реализовались? Во всяком случае, идея создания карты не была доведена до завершения: так, заготовки.

Тем не менее, ещё 17.03.1898 Маркевич согласовывал с Кулаковским план работ по сбору материалов для карты на лето;

22.09.1898 отчитывался об «исполнении поручений» по сбору материалов для карты, которые были сделаны им после отъезда Кулаковского из Крыма в конце лета 1898 года, и он писал, что семейные обстоятельства не позволяют ему закончить сбор материала для составления археологической карты. Так дело и сошло на нет.

Маркевич и Кулаковский проделали большую работу, и не только физическую: были обследованы районы от Симферополя до моря, к западу, и до начала горных долин, к югу и востоку. Любопытны не только остатки археологических сооружений разного времени, но и сохранившиеся в среде местного населения исторические сведения.

Особенно детально были исследованы остатки храмов с надписями XIV–XVI веков в селениях Шуры и Лаки, о которых перед этим не было упоминаний в литературе; осмотрены пещерные города и монастыри. Совмещать вакации с приятным уму и телу трудом — что может быть счастливее для необычного человека?

Исследования были продолжены в 1897-м, когда Кулаковский продолжал собирать материалы вблизи Карасубазара и Симферополя. В 1898-м он посетил Старый Крым, Коктебель, Топлы, Коккоз, Отузы и другие места восточного Крыма.

Едва ли, впрочем, «Археологическая карта Крыма» как графическое целое была подготовлена: двум людям, даже энтузиастически настроенным, это не под силу. Однако сохранилась рукопись, «Объяснительная записка к Археологической карте Крыма» (без даты), подготовленная Кулаковским, где дана общая характеристика археологических эпох и описание обнаруженных памятников.

В личном фонде Маркевича хранится собрание справочно-библиографических карточек (218 штук), построенное по алфавитно-географическому принципу: после указания памятника либо топонима следует информация по истории его исследования (время раскопок, кто изучал).

Археологической карты Крыма нет до сих пор. Подступ к её созданию — «Топонимическая карта Крыма» (1 : 50000) — своеобразное приложение (во всю стену, на 60 листах) к справочнику И. А. Белянского, И. Н. Лезиной и А. В. Суперанской «Крым: Географические названия» (Симферополь, 1998).

Качинский «Курган Кулаковского». Летом 1895 года одним из результатов археологических исследований Кулаковского был скифский курган дохерсонесского времени, обследованный им в междуречье Альмы и Качи, сравнительно недалеко от берега Каламитского залива.

Итак, в 1895-м Кулаковским были разрыты четыре кургана на плоской возвышенности между нижним течением Альмы и Качи на землях владельцев Али-Паши Эмирова и Ревелиоти. Известно, что первым был раскопан небольшой курган, на котором торчала каменная баба (мужская фигура с отбитой головой), второй курган, получивший название «Курган Кулаковского», находился «в непосредственной близости» от насыпи с каменной бабой и заключал шесть захоронений. *In situ* идентифицирован в конце 1990-х Сергеем Колтуховым, который датировал скифское погребение воина второй четвертью V века до Р. Х. Расположение остальных курганов точно не определено.

В статье Сергея Колтухова и Сергея Сенаторова «Курган Кулаковского (по материалам Государственного Эрмитажа)» (*Археологические вести*. С.-Петербург, 2016, т. 22)¹, подводящей итог исследованию многих учёных («Несмотря на обширную историю исследований отдельных предметов этого памятника, материалы скифского погребения кургана Кулаковского полностью не издавались»), обращено внимание, что среди скифских памятников позднеархаического времени в Крыму курган Кулаковского «занимает особое место».

Этот курган содержал впускное погребение скифского воина. Найденные в погребении уникальные бронзовые предметы, выполненные в скифском зверином стиле, практически сразу были введены в научный оборот в «Отчёте» Археологической комиссии за 1895 год, а крупная бляха с изображением свернувшегося хищника получила мировую известность (*Ellis H. Minns. Scythians and Greeks: A survey of ancient history and archaeology on the north coast of the Euxine from the Danube to the Caucasus. Cambridge, 1913, p. 257–258, fig. 181*). Правда, —

¹ В 1998-м С. Колтухов подробно проанализировал находки в статье «Курган Кулаковского» (*Херсонесский сборник*, вып. IX), а затем в книжке «Скифы Предгорного Крыма в VII–IV вв. до н. э.: Курганы 1890–1892 и 1895 гг. (по материалам Н. И. Веселовского и Ю. А. Кулаковского)» (Симферополь, 2016), написанной вместе с С. Сенаторовым.

именно «бляха Кулаковского», а не его имя: великий труженик Эллис Ховелл Миннз не счёл необходимым назвать автора находки. В 1990-е этот тип бляхи с изображением свернувшегося хищника был назван «Кулаковским типом».

Со второй половины XX века в трудах советских скифологов памятник получил название «курган Кулаковского»: первым его так назвал Михаил Артамонов в каталоге «Сокровища скифских курганов в собрании Государственного Эрмитажа» (1966, с. 29–30).

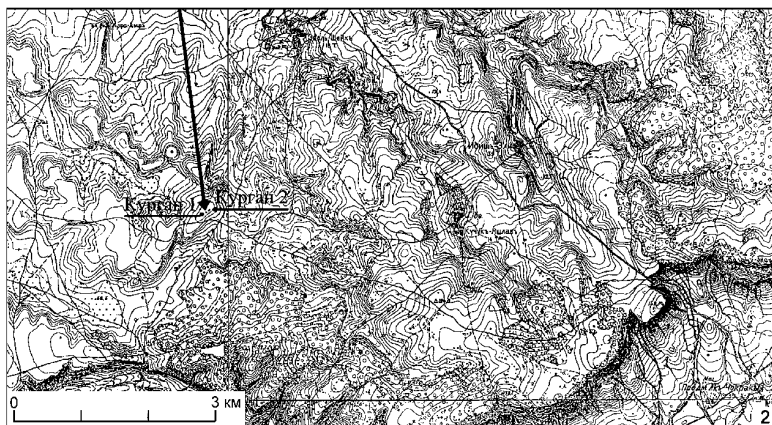
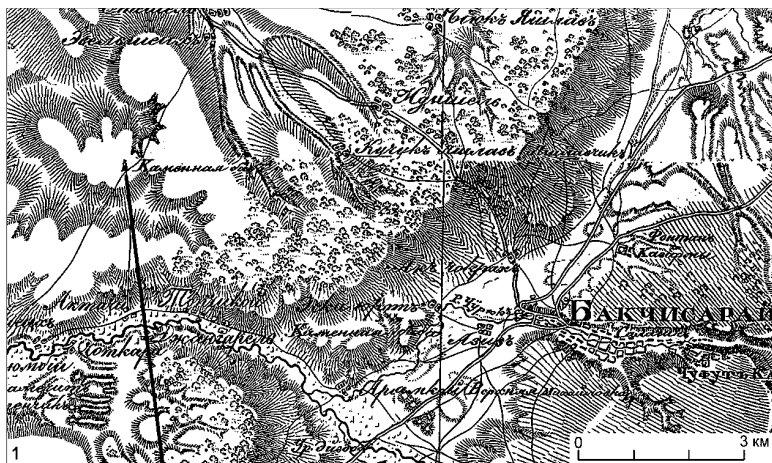
Поскольку достоверных данных о методике раскопок курганов Кулаковским нет, можно предположить, что это был либо обширный «колодец» в центральной части курганной насыпи, либо, что более вероятно, траншея. «Курган Кулаковского» имел высоту 5 аршин (около 3,5 м), диаметр 25 аршин (около 18 м). Найдки из него, кроме части предметов скифского погребения, хранящиеся в Эрмитаже, потерялись и известны лишь по описанию Кулаковского в «Отчёте» Комиссии.

В 2015-м Анатолий Канторович в докторской диссертации дал описание предметов кургана, выполненных в зверином стиле. Большая уздечная бляха послужила эпонимным названием для выделенного Канторовичем «Кулаковско-ковалевского» типа аналогичных по сюжету скифских бляшек, а малая уздечная бляха была отнесена к особому «Ковалевскому типу». Неясно, почему же не «Кулаковскому типу»? — спрашивают себя Колтухов и Сенаторов: «Вообще сочетание топонима с антропонимом в наименовании типа выглядит странно».

Там, где археологи начинают определять национальность животного, читателя бодрит, а Брэм отдыхает: сначала Александр Спицын (1918) определил изображённый на бляхе персонаж как свернувшегося льва, А. Мелюкова (1989) видела в нём пантеру, однако остальные вслед за Артамоновым (1966) угадывают хищника как волкоподобного зверя.

Вершины остроумия достигла Е. Переводчикова (1994): это фантастический хищник, сочетающий в себе голову волка и задницу «кошачьего животного с длинным хвостом». Точно про горгулий и химер, этих вечных насельников средневековых карнизов, читаешь.

«Однако, — обсуждают дальше научно-типологическую проблему Колтухов с Сенаторовым, — изначально в архетипе



Расположение «курганов Кулаковского» на карте П. Кёппена (1) и карте 1892 года (2), по Сергею Колтухову и Сергею Сенаторову

блях, сочетающих такие признаки, присутствовал именно кошачий хищник». Здесь больше всего по душе слово «однако».

Дальнейшее обезоруживает:

«От прочих изделий этого круга бляха отличается изображением гениталий самца, что не характерно для скифского звериного стиля».

Отказав застенчивым скифам в натурализме изображения фантастических животных, авторы предлагают «согласиться с предположением исследователей, отметивших её греческое

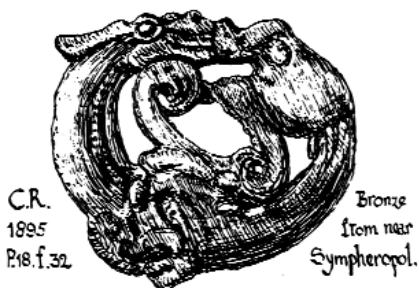


FIG 181. $\frac{1}{2}$

Бляха с хищником, по Эллису Х. Миннзу

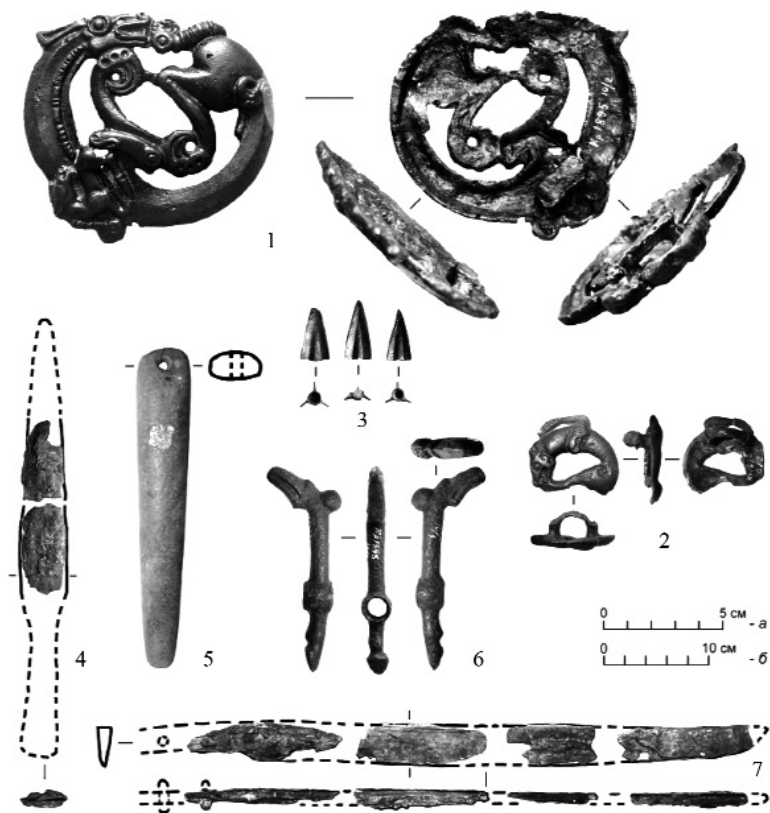
производство, возможно, в одном из городов Боспора». Боспоряне, стало быть, бесстыдники.

Среди находок Кулаковского есть ещё одна бронзовая полуовальная уздечная бляха в виде свернувшейся пантеры «с полукруглой петлёй на обороте». Описание блистательно:

«Голова хищника с круглым глазом и овальным ухом смыкается с выпрямленными задними лапами, однако передние лапы оригинально вывихнуты и размещены вверху между плечом и головой зверя. На плече присутствует дополнительный декор в виде головы лося. Передняя лапа зверя воспринимается как рога этого лося. Кроме того, на бедре пантеры имеется волютовидный или клювовидный, по терминологии А. Р. Канторовича, завиток».

Всерьёз обсуждать дальнейшие экфрасисы совесть не позволяет: авторы ведь думают, что это «наука». И всё-таки, если отставить эмоциональный момент, — современные исследователи подтвердили предположение Кулаковского, что тот имел дело с погребальным инвентарём «военного вождя» кочевых скифов, отражавшим их грабительские мероприятия в последней четверти VI — первой трети/четверти V века до Р. Х. Большого и ожидать не стоит: имя, по-батюшке и фамилия погребённого неизвестны.

Итак, наибольший интерес представляла третья могила в раскопанном близ каменной бабы кургане, принеся популярность и кургану, и Кулаковскому-археологу. Костяк лежал в вытянутом положении на спине, головой на восток. У правой руки находился бронзовый наконечник топорика-скипетра и две бронзовые пряжки в виде свернувшихся хищников. Слева — железный меч, оселок, железный наконечник копья. У ко-



Находки из погребения в «Кургане Кулаковского»: 1, 2 — бляхи в зверином стиле, 3 — наконечники стрел, 4 — фрагменты наконечника копья, 5 — оселок, 6 — «топорик-скитетр», 7 — фрагменты меча (или сабли), по Сергею Колтухову и Сергею Сенаторову

лена — остатки колчана с «множеством стрел, бронзовых трёх-гранных и костяных круглых».

Найденные предметы, по их изучению, рассказывают, что в Юго-Западном Крыму эллины уже во время существования первой апойкии (колонии, VII век до Р. Х.) вступали в сношения не только с таврами, но и с кочевниками-скифами, занявшими в V веке до Р. Х. узкую приморскую полосу лестостепи и граничившими или почти граничившими с Гераклейским полуостровом.

В 1896-м выходит выпуск «Материалов по археологии России» (№ 19) о двух катакомбах с фресками.

Кулаковский обращает здесь внимание не только на описание вновь открытых памятников (именно ради этого и затеивалось издание «Материалов...», и потому было необходимым условием), но затрагивает вопросы, связанные с происхождением фресковой росписи и судьбами искусства фрески на Боспоре. Следует признать

«с полной уверенностью, — пишет Кулаковский, — в боспорских стеновых росписях непрерывную традицию работ греческих художников, создавших этот вид искусства... Привхождение чужого и нового элемента несколько не ослабляет силы общего положения о принадлежности наших памятников к широкой области классического искусства. Ему принадлежат они, хотя и занимают в его истории одно из последних мест».

В качестве приложения в этом издании были помещены материалы касательно ещё одной керченской катакомбы, открытой в 1894-м и родственной по типу катакомбе 491 года. В заседании Таврической учёной архивной комиссии первый библиотекарь ТУАК, один из основателей Комиссии Алоизий Осипович Кашпар (1843–1913) выступил 8.10.1897 с докладом «О раскопке курганов в деревне Тавель Симферопольского уезда, произведённых Кулаковским» летом 1897-го в имении Попова у подножия Чатырдага. Текст не сохранился.

«Каменная баба», сиречь мужик. Академик Алексей Соболевский в 1921 году в «русско-скифском этюде» задался вопросом, что такое «каменная баба», и предложил формулировку: это лишь тот каменный столб, где при чертах человеческого лица имеются ещё какие-нибудь очертания тела и одежды, главным образом, чаши (точнее: стакана) у живота или под животом, и рук, касающихся чаши.

Серьёзно говоря, всякую застывшую фигуру со стаканом в руке следует считать бабой: подле наших гастрономов и наливаек («точка на трассе») одноразовый стаканчик с горячительным превращает порой держащего в не вполне человека. Стоит подозревать о древности такой традиции, о её вековечном славяннообразном скифстве.

«Район распространения каменных баб в Европе был обширен, — утверждает Соболевский. — Их мало на западной стороне Днепра; их мало в Крыму, их нет на Волыни, в Галиции, Буковине, Трансильвании, где



Шеренга каменных баб, картинка из статьи Николая Веселовского

жили агатирсы, тирагеты, карпы, геты-даки, аримаспы, будины, гелоны; их нет в нынешних Польше, Чехии и Моравии, ни вообще в средней Европе. Зато они встречаются в том или другом числе от Днепра до Урала и до Кавказских гор, заходя на север в пределы Курской губернии».

То есть, там, где большую часть года прохладно, и греться приходится изнутри. «Район распространения каменных баб в Средней Азии был громаден». Здесь скифская логика бес- сильна, и следует подозревать, что в стакан наливался кумыс.

Российский тюрколог немецкого происхождения Василий Васильевич Радлов (Radloff) в 1892 году, исследуя орхонские памятники, говорит: «обычай ставить каменные бабы у могил распространён был у тукюесцев (древних тюрков), что и объ- ясняет распространение баб до южной России». Затем он опи- сывает каменную бабу в Кошо-Цайдаме (на реке Орхон в Мон- голии):

«Камень сильно пострадал; тем не менее, ясно видны черты челове- ческого лица и руки, держащие на груди сосуд; ниже рук находится пояс».

И прибавляет: эта и другая каменная баба, «очевидно, не китайской работы (как другие орхонские памятники), но вы- тесаны самими тюрками».

Мнение Радлова развил Кулаковский в 1898-м: вопрос о каменных бабах «окончательно решён». Одно смущает Кула- ковского: значение каменных баб у орхонских тюрков. У них



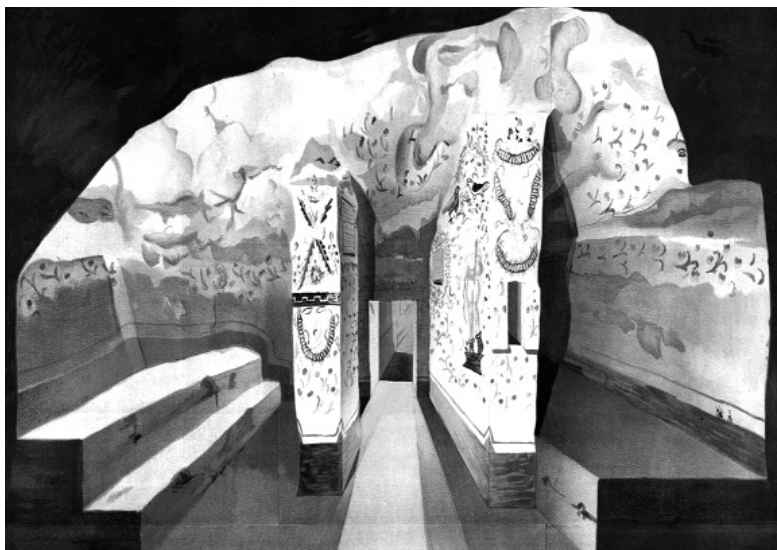
Титульный лист монографии
Кулаковскаго «Две керченские
катакомбы с фресками», 1896

баба — изображение всякого побеждённого врага¹, чего нельзя видеть ни в одной из многочисленных европейских баб. Кулаковский ждал новой счастливой находки, «подобной орхонским надписям».

Веселовский в 1906-м, тоже признавая вопрос о каменных бабах решённым (а что в стаканах?), говорит, что после «неожиданного открытия (будто они ожидаемы. — А. П.) тюркских памятников на реке Орхон, среди которых оказались и типичные изваяния, называемые каменными бабами, с надписью: *балбал*, уже нельзя сомневаться, что подобные статуи принадлежат только народам тюркского племени и никому иному. Но странное дело: хотя прошло уже 15 лет, как вопрос разрешён, по-видимому, положительным образом, это научное приобретение <...> распространяется с большими препятствиями».

После этого заявления Веселовского прошло ещё пятнадцать лет, и Соболевский, напоминая об этом, говорит, что оби-

¹ К схожему заключению, автономно от Кулаковскаго (статью его знал, но тогда о ней не вспомнил), довелось прийти и мне во время исследования природы кариатид Эрехтейона на Афинском акрополе. См.: А. А. Пучков. Эрехтейон и его кариатиды: Идио-номографический этюд. Киев, 2008. С. 85–88.



Интерьер керченской «катакомбы Сорака», открытой в 1890 году

лие каменных баб в южной России заставляет думать, что народ, ставивший их на своих курганах, очень долго жил в этом крае.

Между тем, тюрки, кроме татар, которым каменные бабы принадлежать не могут, особенно тюрки-уйгуры, были лишь гостями в южнорусской степи и занимали в разное время разные её части, постоянно делясь ею с другими народами не-тюрками.

«Нет возможности установить какую-либо связь уйгуров хотя бы с одною южнорусскою каменною бабою, — сокрушается Соболевский, — <...> Китайцам орхонские каменные бабы обязаны своим назначением — изображать убитых чествуемым героем врагов, назначением новым, которого они ранее не имели».

Отсюда: единственный народ, которому могли принадлежать каменные бабы, — скифы (то есть всем народам скифо-сарматского племени, говоривших на наречиях одного языка иранской семьи).

В видах гендерного равенства Соболевский подчёркивает, что внешний вид наиболее обработанных южнорусских каменных баб не даёт оснований видеть хотя бы в нескольких из них женские изображения. Ну, конечно: стакан преимущественно мужской инструмент бытия.

«Нередко баба обделана так слабо, что трудно рассмотреть очертания лица; но черты чаши, всегда в одном и том же месте, — налицо. Очевидно, создатели каменных баб этой чаше придавали особенное значение <...> Скифские легенды вполне объясняют присутствие чаши при поясе на каменных бабах. Это — священная чаша предка царей собственно скифов в Европе и Азии, между прочими, — скифов-паралатов. Предки других скифов не получили чаши и, по легенде, были изгнаны из скифской земли (на запад, за пределы южнорусской степи?); естественно, у них не могло утвердиться почитания чаши».

Геродотовы легенды, конечно, важны, но как всякие легенды хороши лишь отчасти: в форме фантазии о том, что следует полагать верным, а что не следует. Да, от чаши Геракла сохранился — по Геродоту (IV 10) — у скифов обычай носить чаши при поясах. Но зачем? Только как ритуальный элемент? Едва ли это функционально в походе, и как элемент костюма удобно не весьма.

Как чайная ложка придумана для того, чтобы не размешивать кипятком пальцем, так чашка придумана, чтобы пить нектары с известным удобством. Если бы Геродот вместо легендарных глупостей оставил свидетельство о напитках (и «наедках»), которыми скифы утоляли жажду (и голод), цены его свидетельствам не было. А так цена есть: столь же фантазийно-легендарная, как и большинство событий, о которых он повествует.

Николай Ефимович Бранденбург (1839–1903), генерал-лейтенант и археолог, раскопав в Мариупольском уезде близ Азова курган, склонился к мысли, что он скифский. Кулаковский согласился с мнением Бранденбурга и прибавил: «действительно, бабы оказывались нередко на скифских курганах».

Соболевский заметил, что в погребальных наборах скифов было всё, что угодно, кроме поясных чаш: как священные, они переходили, по-видимому, к потомству усопшего. Как бы ни было, важна не сама чаша, а что из неё потребляли. Что Соболевский полагает, будто каменная баба это изображение предка восточных скифов Таргитая (сын Зевса и реки Борисфен), всё ещё под сомнением, а свидетелей, как мы знаем, не осталось, и развеять либо подтвердить это положение некому.

Так и лезут на страницу строчки цензора Тютчева, написанные им по впечатлению от поездки в деревню Вжищ Брянского уезда Орловской губернии. Правда, вместо курганов можно подставить что угодно:

От жизни той, что бушевала здесь,
От крови той, что здесь рекой лилась,
Что уцелело, что дошло до нас?
Два-три кургана, видимых поднесь...

Точное местоположение курганов можно определить благодаря ссылке Кулаковского на сочинение академика Кёппена «О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических» (1837), в котором перечислены каменные изваяния на этой местности.

Помпейские росписи и снова Ростовцев. В связи с расписными крымскими катакомбами стоит вспомнить о давнишней рецензии Кулаковского на монографию Августа Мау (1840–1909) «Geschichte der Decorativen Wandmalerei in Pompeji» (Berlin, 1882), — одно из первых фундаментальных исследований этого явления. Благодаря рецензии Кулаковского в «Университетских известиях» (1883, № 12, с. 391–398) помпейские росписи стали известны и содержательно доступны российской читающей публике.

Пересказ рецензии Кулаковского бессмыслен, но на одно обстоятельство обратить внимание стоит. Стремясь к пропедевтическому изложению, будто вывеске флага на флагмане в проливе Магеллана, автор сделал главное: предъявил интересную классификацию Мау, которая легла в основу всех дальнейших — с начала 1880-х — исследований памятников визуального искусства в Помпеях. Едва ли можно сыскать ещё один столь же структурный подход искусствоведа того времени к материалу, разработкой которого он занят: Вёльфлин и Гильдебрандт, Варбург и Панофский появятся позднее.

По выведенным, будто сарафанные барышни с платочками в руках на сцену Кремлёвского дворца съездов, четырём стилям помпеянских росписей Мау (инкрустационный, архитектурный, орнаментальный и фантастический) можно допрашивать аспирантов, когда нужно завалить их на кандминимуме по истории искусств, учиться сводить разрозненный дух смятенного артефакта в колбу структурной эволюции художественной формы, и уж точно — понимать, что всякий старый мотив может быть встроен в череду мотивов, которыми история искусства озадачивается, чтобы не остановиться в стремлении удивить. Но дело не только в таксономии композиций, но и в том, как они выполнены.

Следующим текстом, если не ошибаюсь, была статья Алексея Некрасова (1885–1950) «Несколько слов о последнем периоде помпейской декоративной росписи», опубликованная через тридцать с лишком лет после рецензии Кулаковского в «Сборнике статей в честь графини Прасковьи Сергеевны Уваровой: 1885–1915» (Москва, 1916, с. 139–166; 3 табл.). Между этими публикациями, принадлежащими российским учёным, лежит переводная трёхтомная «История искусства всех времён и народов» директора Дрезденской картинной галереи профессора Карла Вёрмана (1844–1933), в первом томе которой, изданном под редакцией Андрея Сомова в Санкт-Петербурге в 1903-м, автор конспективно пересказывает книгу Мау.

Дальнейшая интерпретационная искусствоведческая литература вопроса впадает в необозримость: во всяком общем сочинении по истории искусства или специальном труде о древнеримском искусстве поминается помпейская стенная живопись и её четыре стиля, установленные Мау. Приятно, что первым в Российской империи на этот просветительский путь стал 28-летний киевский приват-доцент.

Август Мау (1840–1909) был историком искусства и археологом, сотрудником Немецкого археологического института в Риме, занимавшегося изучением Помпей. Выученик кафедры классической филологии в университетах Киля, а затем Бонна, по причине скверного здоровья Мау переезжает в 1872 году в Рим, где становится секретарём Института, каталогизирует библиотеку и занимается помпейскими росписями.

Ростовцев в некрологе Мау (1909) отмечал, что его

«сила была не в красноречии, не в живом изображении и образных картинах, а в удивительно тонком анализе Помпей: и их топографии, и их архитектуры, и надписей всякого характера и т. д., и т. д. Из этого анализа, как живые, выростали Помпеи не как фантазия, а как живая действительность, как подлинное воскрешение прошлого».

Мау принадлежит первое изложение помпейских фресковых стилей в истории искусства — в рецензированной Кулаковским монографии; в российском искусствоведении — Ростовцеву («Эллинистически-римский архитектурный пейзаж», 1908), который, к сожалению, не идёт дальше подробных описаний сохранившихся памятников Италии, и уделяет общим вопросам мало внимания (это замечание никак не может быть



Август Мау

отнесено к его знаменитому, роскошно выпущенному Археологической комиссией двухтомнику «Античная декоративная живопись на Юге России», Москва, 1913–1914, который посвящён Кондакову).

Кулаковский ссылается на труд Мау в альбоме «Две керченские катакомбы с фресками» (1896), обсуждая хронологическую датировку открытия разными археологами боспорских катакомб с фресками и пытаясь выяснить происхождение фресковой росписи стены и судьбы «этого вида искусства на Боспоре».

«Боспор, находившийся искони в сфере влияния эллинской культуры, мог познакомиться с этим видом искусства через посредство Малой Азии, с городами которой он находился в живых и непрерывных сношениях. Одновременность памятников боспорских и итальянских позволяет нам искать аналогий в образцах данной ветви искусства между памятниками, уцелевшими на территориях, столь далеко расстоящих.

<...> Обращаясь теперь к образцам стеной росписи, сохранившимся на Боспоре, мы можем с полной уверенностью утвердить, что, как в общем характере её, так и в некоторых основных моментах, живо и наглядно сказывается общность источника их возникновения [четыре помпейских стиля] <...> Указанные черты позволяют, как нам кажется, признать с полной уверенностью в боспорских стеной росписях непрерывную традицию работ греческих художников, создавших этот вид искусства.

В уцелевших до нас образцах он является на Боспоре уже туземным, и образцы эти исполнены, несомненно, туземными мастерами. Здесь пред нами результат продолжительного развития. Ввиду малочисленности памятников тщетно было бы пытаться определить хотя приблизительно эпоху проникновения этого вида искусства в эти пределы, но во всяком случае можно с уверенностью сказать, что это произошло задолго до нашей эры и время его существования на Боспоре до той поры, которой принадлежат наши памятники, надо считать веками.

<...> Нам придётся, правда, отметить один элемент орнаментации <...> Разумею сплошную декорацию стен и площадей, занятых самостоятельными композициями, оригинальным цветочным орнаментом. Но привхождение чужого и нового элемента несколько не ослабляет силы общего положения о принадлежности наших памятников к широкой области классического искусства. Ему принадлежат они, хотя и занимают в его истории одно из последних мест».

Обращение Кулаковского к этой полухудожественной проблеме на материале Надчерноморья должно быть признано пионерским для тогдашнего имперского искусствоведения.

«Одно уже то обстоятельство, что в этих фресках заключается для нас всё, что сохранилось от античной живописи, привлекает к ним наше особенное внимание. Но и помимо этого обстоятельства путешественник невольно сразу поддаётся обаянию этой живописи. Свежесть и яркость красок в произведениях художников, работавших почти за две тысячи лет до нашего времени, разнообразие сюжетов, красота и оригинальность рисунка, стиль работы, всё это поражает вас сразу, и чем дальше, тем всё больше и больше овладевает вашим вниманием. В своём личном чувстве путешественник обращает развалины помпейских домов в художественный музей, в котором он каждый день открывает всё новые и новые сюжеты для живого и всестороннего изучения».

Публикация материалов об открытых катакомбах тогда же вызвала реакцию Ростовцева, который не соглашался с основными положениями Кулаковского о восточных корнях декоративного убранства катакомб.

«Ростовцев не раз критиковал работы своего учителя в этой области. И всё же влияние киевского профессора на выбор Ростовцевым социально-экономической ориентации в изучении истории древнего мира, безусловно, прослеживается. Судя по всему, именно курсы и семинарии Кулаковского, а также знакомство Ростовцева с работами профессора как в области истории Рима, так и особенно в области изучения памятни-



Помпеи. Фрагмент росписи Виллы Мистерий (2-й помпеянский стиль), I в. до Р. Х.

ков античной декоративной живописи Юга России, натолкнули молодого учёного на две разноплановые темы, разработка которых завершилась в конце концов в первом случае — магистерской диссертацией, а во втором — солидной монографией in folio, за которую Ростовцев был избран членом-корреспондентом Берлинской академии наук. Смерть Кулаковского в 1919 г. не прошла незамеченной для Ростовцева, которому его учитель по Киевскому университету был уже скорее коллегой по Российской академии наук и идейным соратником по борьбе за гибнущую Россию» (Вадим Зуев, 1997).

Как утверждает Вадим Зуев, а за ним Эд. Фролов, Кулаковский смог поддержать и развить интерес Ростовцева к финансово-административной системе Римского государства, равно как и к декоративной живописи древних. «Заметка о росписи керченских катакомб», написанная как отклик на работу Кулаковского, стала первой на пути изучения Ростовцевым античной декоративной живописи на Юге России.

Как указывают Ирина Тункина и тот же Фролов, Ростовцев позволял себе уничижительные реплики по поводу работ

Кулаковского о катакомбах, ставших известными в учёном кругу и опротестованные затем Кондаковым (сохранились в переложении Варнеке).

Ростовцев — Жебелёву из Рима 29.12.1896:

«Вчера отправил Вам рецензию на Кулаковиуса. Писал я её довольно долго, так как пришлось сделать всю работу, которая была обязанностью автора, рецензенту. Много помог мне Яков Иванович [Смирнов], указавший на некоторые аналогии, оставшиеся, как и всё, что идёт к делу, неизвестными Юлиану. Я совершенно забыл помочь Якову Ивановичу отметить в статье; будьте любезны, вставьте после сицилианской катакомбы ссылку и благодарность Якову Ивановичу (Жебелёв этого не сделал. — А. П.). Вы увидите в статье, что необходима мне в некоторых случаях и Ваша помощь <...> Мы с Яковом Ивановичем дважды перечитали статью, и он находит её неполной; я думаю, что для рецензии она и то уже слишком велика. Что касается до оценки, то ценить работу Кулаковского дело не моё, я говорю о деле. Вы заметите, что имя Кулаковского упоминается только *ausnahmsweise* [в виде исключения]. Он, конечно, рецензией будет не доволен, но отвечать вряд ли будет, так как, собственно говоря, отвечать нечего. Однако будет о нём».

Рецензия Ростовцева опубликована в «Записках Императорского Русского археологического общества» (1897, т. 9, вып. 3/4). Когда через несколько месяцев заметка появилась в печатном виде (в сборнике и в виде традиционных 100 оттисков), Ростовцев снова обращается к Жебелёву из Парижа:

«Помнится, что я уже писал Вам, что оттиски, посланные в Тунис, я получил, за что ещё раз приношу Вам благодарность. Что делать с остальными, право, не знаю — пришлите мне ещё штук 25–30, а остальные пускай полежат: будут служить на случай, когда нечем будет отдаривать. Вы же тем временем раздавайте проходящим в музей знакомым моим, а также начальству: [П. В.] Никитину, Ивану Васильевичу [Помяловскому], [В. К.] Эрнштедту и другим. В Лондоне я для сердцевидного орнамента и его происхождения нашёл документы интереснейшие, и, конечно, не на востоке, а опять-таки в тканях из Ахмима [(Панополис)]. При случае можно будет их выпустить, если Кулаковиус вздумает отвечать» (18.06.1897).

Через месяц:

«Был здесь на днях Сонни, попрыгал три дня, оставил след в моей комнате в виде своей диссертации, и уехал в Россию. Очень милый человек, но скучен немилосердно. Немного обиделся за Кулаковиуса, так как, кажется, в публикации Юлиана и он не без греха» (20.07.1897).

Ростовцев об исследовании Кулаковского писал:

«В 1890–1891 гг. Ю. А. Кулаковский открыл в некрополе древней Пантикапеи две новые гробницы, украшенные стенописью. Эти гробницы принадлежат различным эпохам; первая гробница — одна из самых поздних (III–IV в. по Р. Хр.) расписных гробниц пантикапейских, вторая принадлежит к числу наиболее ранних (концу I в. до Р. Хр.?). Между тем как первая очень бедна фигурными изображениями (Гермий, сатир, трапеза), вторая ими очень богата. В ней изображениями заполнены все верхние поля стен; кроме чисто декоративных мотивов, там находятся изображения юрты покойного, трапезы, жертвоприношения geniев умерших, выезда покойного, Гермия и Тихи (у входа)».

К термину «гении», употреблённому Кулаковским, Ростовцев делает примечание:

«Такое толкование Ю. А. Кулаковского для нас несколько сомнительно. Лица и особенно причёска приносящих жертву сильно идеализованы, одежда шаблоннейшая; модии же и рог изобилия указывают, несомненно, на “божественность” обеих фигур. Назвать оба божества нет никакой трудности: это Исида и Серапис».

Кольнув шпилькой бывшего наставника, Ростовцев излагает существо возражений:

«Живопись в катакомбах применялась к их оригинальному устройству, которое имело гораздо менее общего с обыкновенной домовой архитектурой (? — А. Л.), чем отдельные погребальные комнаты, воспроизводящие комнаты жилья. Памятники же настоящей декоративной комнатной живописи в Риме настолько немногочисленны и лишены связи между собой, что по ним одним не удалось ещё установить историю декоративной живописи в Риме. Поэтому-то <...> серия памятников Пантикапея могла бы дать драгоценный материал для изучения эллинистической декоративной живописи вообще. Пока, однако, качество имеющихся памятников даёт сравнительно мало для характеристики стилей, господствовавших в древней Пантикапее. Единственное, что можно отметить, как то и сделал Ю. А. Кулаковский, это — постепенное развитие архитектурных мотивов в первых двух веках (?) нашей эры и их исчезновение под влиянием чисто орнаментальной тенденции к III–IV вв.»

Заключение Ростовцева:

«Чисто эллинистический характер всех керченских росписей не подлежит никакому сомнению, что подтверждается и сравнением с росписями других городов эллинистического мира. Наиболее важные аналогии дают, несомненно, современные керченским, позднейшие рим-

ские декорации <...>, которые, однако, Ю. А. Кулаковский совершенно оставил в стороне при разборе керченских росписей».

Более дружественно настроенные друг к другу учёные, конечно, не особенно оскорбились бы такими констатациями самоуверенного 27-летнего исследователя: никакой особой остроты, на мой непросвещённый взгляд, в этой рецензии нет.

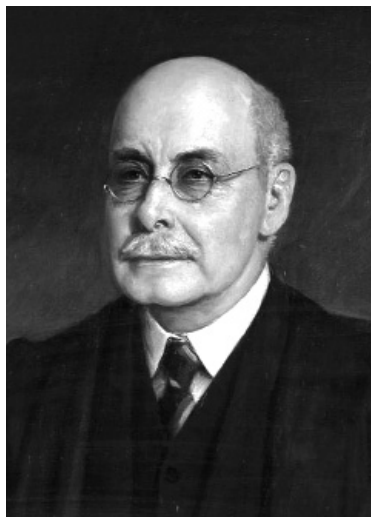
Однако стоит знать характер Кулаковского, о котором Дервицкий сказал, что обиды по научным поводам были проявлением той «болезненной мнительности, которою страдал покойный и которая росла в нём с годами, зачастую вовлекая его в страстную и ожесточённую полемику, иногда даже по совершенно ничтожным поводам». Представляется, что этот повод был не особенно значим, чтоб породить обиду. Но я не Кулаковский.

Борис Варнеке весной 1919-го на одном из заседаний Одесского общества истории и древностей, которое было посвящено памяти Кулаковского, сделал доклад о его заслугах в области изучения древностей Надчерноморья:

«Между прочим я подчеркнул, — вспоминал позднее Варнеке, — что в последние годы Юлиан Андреевич был очень угнетён нападками, которыми его осыпали, и его “Историю Византии”, и его работы по керченским катакомбам, жестоко осмеянные автором роскошного издания керченской стеной живописи (Ростовцевым. — А. П.). После доклада Никодим Павлович [Кондаков], посетивший это заседание, в частной беседе стал говорить, что напрасно Юлиан Андреевич поддавался мало-душию: кого не бранят! Вон и меня недавно как продёрнул Философов! Притом стоило ещё считаться с рецензией А. А. Васильева — действительно серьёзный человек, а автор исследования про Керчь (Ростовцев. — А. П.), при всей своей гениальности, человек больной: у него какой-то зуд в каждой работе кого-нибудь садануть. К нему надо бы приложить с небольшой переделкой название пьесы [Леонида] Андреева: “Тот, кто раздаёт пощёчины”. Это он, верно, в Оренбурге, от башкирских джигитов такой удали заразился».

В одном из писем сэру Эллису Х. Миннзу, отзываясь о резкой рецензии Ростовцева на труд Миннза «*Scythias and Greeks*» (1913), в которой Ростовцев в очередной раз недобрым словом помянул труды Кулаковского и Фармаковского, наш персонаж отметил:

«Ваше благородное отношение к высокомерному Ростовцеву делает



Эллис Ховелл Миннс

Вам честь. Его рецензию признал высокомерной не я один, а также Фармаковский».

Во всяком случае, печатно Кулаковский реагировать на ехидную «Заметку...» Ростовцева не стал.

О другой катакомбе с фресками, открытой Кулаковским, в 1911-м Ростовцев написал ещё одну специальную статью, где пришёл к выводу, что живопись этой катакомбы связана с орфико-пифагорейскими взглядами на потусторонний мир, в котором нашли отражение некоторые эсхатологические черты культа Диониса и Элевсинских мистерий.

Изображение павлинов, пьющих из сосуда, животных и цветов должны были символизировать здесь «остров блаженных», где — согласно орфическому учению — души праведников наслаждались музыкой, проводя время в мистических плясках. (Аналогичные сюжеты мы встречаем также на надчерноморских кубках, имеющих надписи *peine, effrainou* (пей, благодари) и *eftuchia* (счастье). Они также отражают сложный комплекс представлений понтийских греков о загробной жизни и бессмертии души, который начал формироваться с V века до Р. Х., в связи с распространением орфико-пифагорейских воззрений на загробный мир.)

Стоит обратить внимание, что орфические и близкие им

представления о воздаянии после смерти были широко распространены в античном мире, и вовсе не обязательно было участвовать в религиозном акте посвящения в мисты, чтобы верить в существование Элизиума.

Впрочем, забвение нанесённых когда-то обид ради научной истины было отличительной чертой моего героя, о чём писал в посмертном слове Витольд Клингер:

«Его любовь к науке была так велика, что в деле науки он не знал никаких национальных или политических предубеждений, что ради неё он прощал людям многое, — даже расхождение в основных вопросах государственной или общественной жизни, и возможность окунуться на момент в атмосферу чистой научной мысли и живого международного общения в области умственного труда на каком-нибудь научном конгрессе или юбилейном университетском торжестве бывали для него настоящим праздником, с которого он возвращался освещённым и обновлённым».

В высоких человеческих качествах Кулаковского мы сможем убедиться ещё раз, в связи с инцидентом, который был вызван резко отрицательным отзывом зоила Модестова о результатах археологических раскопок Кулаковского в Тавриде.

География крымских занятий второй половины 1890-х. Хроника летних крымских раскопок Кулаковского 1895–1898 годов, привлекавшая не раз внимание исследователей, выглядит примерно так.

1895 год: «В Симферопольском уезде проф. Ю. А. Кулаковский исследовал местность по нижнему течению рек Булганака, Альмы, Качи и Бельбека. Здесь, между течением Альмы и Качи, им произведена раскопка 4-х курганов различной величины, давших весьма своеобразные погребения <...> Во время своей поездки по Крымскому полуострову проф. Кулаковский собрал новые топографические данные о местных курганах, исследовал развалины храмов в сел. Шуры и Лаки и осмотрел остатки развалин Мангуп-Кале, так называемые пещерные города: Бакла, Чуфут-Кале, Тепе-Кермен, Качикальон, Шульдан, Маркара, Черкес-Кермен и окрестности Ай-Тодора, Алушты, Судака, Гурзуфа и Керчи».

Посещая руины отдельных фортификационных сооружений, раньше него исследованных академиком Кёппеном, Кулаковский пришёл к выводу — относительно Отуза — что Кёппен ошибочно принял его за крайний восточный пункт линии ук-

реплений, возведённых императором Юстинианом для защиты крымских готов от варваров:

«это укрепление естественнее привести в связь с генуэзским владычеством в тех пределах и потому отнести его ко времени более позднему».

По ходу дела Кулаковский опровергает свидетельство Прокопия Кесарийского, который утверждал, что гурзуфские укрепления для защиты готов от варваров возводил Юстиниан, и полагает, что это остатки позднейшей батареи, устроенной для пушек.

Относительно керченской церкви св. Иоанна Предтечи на основе «натурных обследований» он приходит к выводу, что церковь реставрировалась не ранее XIV века, поскольку именно в то время среди крымских татар распространилась вера в Аллаха.

Знакомый Кулаковскому по мысу Зюк помещик Александр Дирин предпринял собственные раскопки по соседству от «пепелищ», в Культепе и Сююрташе. По замечанию Кулаковского, здесь были открыты погребальные сооружения обычных керченских типов: катакомбы и земляные могилы, накрытые каменными плитами. В Сююрташе в присутствии Кулаковского Дириным были раскопаны могилы совсем другого типа:

«На поверхности холма гробницы устроены в виде ящичков, высеченных в природной скале, которая составляет здесь материк на глубине 1/2 аршина (примерно 1 м). А ниже устроены катакомбы в виде отдельных погребальных камер, каждая с входом, обращённым на южный скат холма».

1896 год: «Кроме производства раскопок, проф. Кулаковский продолжал в отчётном году собирание материала для изготавливаемой им археологической карты Крыма. Он нанёс на неё дольмены Байдарской долины и довольно большое число таких же памятников близ нижнего течения Бельбека <...> С тою же целью он исследовал памятники христианской старины — развалины церквей и кладбища — в селениях Бельбек, Камышлы, Бия-Сала, Улу-Сала, Ауджикой, Коуш, Стила, Богатырь, Конноз, Маркур, Ай-Димитрий, Суй-Терен, Тепе-Кермен, Мармара, в гор. Балаклаве и Бахчисарае. При этом им были скалькированы девять поздних греческих надписей, которые будут изданы своевременно».

В Байдарской долине он изучал крымские погребальные сооружения — дольмены — эпохи бронзы и раннего железно-

го века, нанося данные на подготовлявшуюся им вместе с Маркевичем карту.

В этом же году Ростовцев как ни в чём не бывало пишет Кулаковскому из Рима:

«Недавно я докладывал в Accademia pontifica [правильно: Pontificia Accademia delle Scienze] о Вашем издании керченских “катакомб”. Доклад этот общество очень заинтересовал, и секретарь его Морукки <...> настойчиво просил меня поговорить о христианских вновь найденных гробницах в *Bullettino di archeologia cristiana*. Не будучи специалистом (а зачем же выскочка? — А. П.), я не чувствую себя в силах сказать по этому поводу что-либо своё и посему указал Морукки, что наиболее естественным кажется мне, чтобы Вы сами оказали любезность здешним учёным, дав им краткое изложение Вашей статьи. Морукки, конечно, был бы этому очень рад и поручил мне сообщить Вам о другой его покорнейшей просьбе.

В качестве приложения к статье будут даны две таблицы: общий вид и план новой катакомбы и катакомба с крестами и птичкой, фотография которой находится у Смирнова, и которая, по мнению здешних учёных, заслуживает издания».

Из затеи ничего не вышло: Кулаковский отказал не столько Папской академии наук, сколько Ростовцеву, и недалёковидный Михаил Иванович ищет из неловкости выход. Он писал:

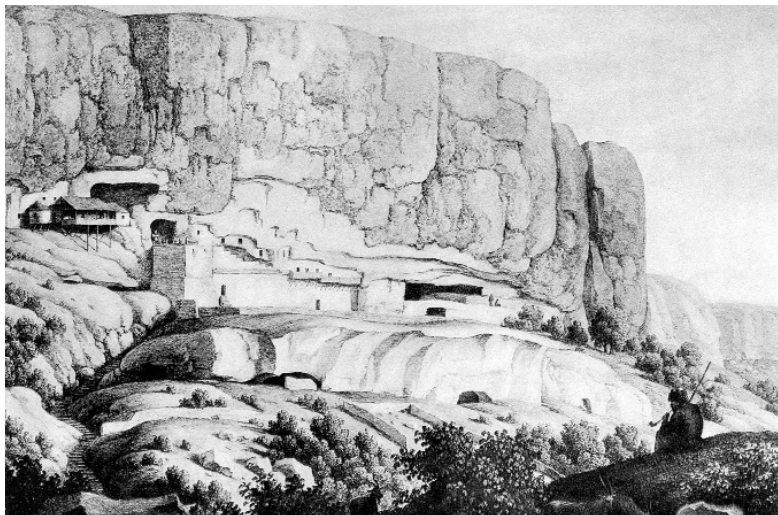
«Вряд ли у меня найдётся время для того, чтобы самому дать что-нибудь в *Bullettino* о Ваших открытиях, во всяком случае, то, что я скажу, не выйдет из пределов заметки».

Но и в этом надобность отпала: последний 29-й выпуск «*Bullettino di archeologia cristiana*» под традиционной редакцией Джанбаттиста де Росси увидел свет в 1894-м — роскошно изданный на бумаге с филигранями типографией Академии деи Линчеи («рысьеглазых» — дальнозорких, пристально бдящих).

12.08.1896 на дневном заседании первого отделения «Древности первобытные» X Археологического съезда в Риге, куда он приехал вместе с братом Платоном, Кулаковский в небольшой компании делегатов (почётный председатель Владимир Завитневич, председатель отделения Дмитрий Анучин, секретарь отделения Николай Беляшевский, докладчики Владимир Антонович, Иван Смирнов и Кулаковский) сделал сообщение: «О раскопках крымских курганов летом 1896 г.».

Реферат в «Трудах» съезда написан, конечно, им самим.

«Раскопки, произведённые докладчиком летом текущего года, были



*Крым. Свято-Успенский (Анастасиевский) пещерный мужской монастырь
близ Бахчисарая. Из книги Кулаковского «Прошлое Тавриды»*

продолжением прежних его работ и преследовали цель систематизировать данные, добытые относительно Крыма в прежнее время разными исследователями. Территорией их была местность на юг от Бахчисарая, точнее: пространство между нижним течением рек Качи и Бельбека (южнее Бельбека уже нет курганов). Разрытые курганы обнаружили погребения двух типов, принадлежащие, по-видимому, одному и тому же населению.

Первый тип — могилы, углублённые в материке (размеры ямы: 2 аршин длины и около 1,5 аршин ширины и глубины) и покрытые деревом и реже камнем. Костяк, большею частью красный, лежит на подстилке из речного камня или прямо на земле, с поджатыми ногами, головой на северо-восток (с отклонениями в ту и другую сторону). Краска (охра) часто лежит на земле в виде тонкого слоя или иногда целых кусков. Из предметов в гробницах этого рода встречаются только горшки грубой работы, без помощи гончарного колеса, и изредка кремниевые орудия или их обломки. Бронза встречается только как украшение, в виде тонких пластинок, нашитых, по-видимому, на кожу.

Другой тип могил — каменные склепы, которые были воздвигаемы на готовых курганах, заключавших в себе могилы первого типа и получавших после того присыпку. Склепы сооружены из четырёх больших плит, пригнанных одна к другой, которые закрыты пятой; изнутри они украше-

ны линейным орнаментом (чередующиеся красные и чёрные полосы в сходящихся углом или округлых линиях).

Размеры склепов — такие же, как и гробниц первого типа. Костяки, часто окрашенные, лежат также на подстилке из речного камня, с поджатыми ногами, в том же направлении. Встречаются случаи погребения в сидячем положении и два костяка в одном склепе. Из предметов находимы были горшки, кремневые орудия и плоские бронзовые наконечники копий. Большинство курганов всей площади Крыма на юг от Симферополя содержит гробницы этих двух типов; обилие их свидетельствует о продолжительности пребывания в этих пределах населения с этой бедной культурой.

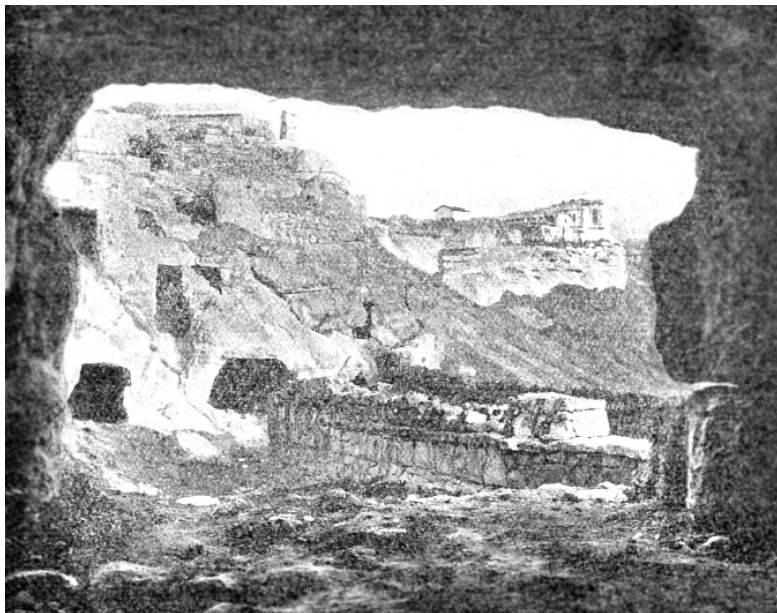
Тип этот, как известно, идёт далеко на север от Крыма и принадлежит, по-видимому, населению, которое застали здесь скифы в своём движении с востока. Заключить это можно из того, что самые нижние впускные гробницы, то есть древнейшие, встречающиеся в этих курганах, могут быть с уверенностью усвоены скифам. В виду этого докладчик предлагал установить за этими типами погребения наименование *киммерийских*.

Окрашенные костяки так заинтересовали Кулаковского природой происхождения, что через три года, на XI съезде в Киеве он выступит с специальным докладом, который в 1904-м тиснет по-французски в материалах Международного конгресса историков в Риме.

1897 год: «По окончании [археологических] работ проф. Кулаковский посетил с целью изучения местных древностей Старый Крым, Алушту, Демерджи, побережье от Алушты до Партенита, урочище Эмериклен на западном склоне Чатырдага и несколько окрестных деревень».

Археологические работы этого года были сосредоточены около Севастополя и Карасубазара: в имениях г-на Попова «Тавель» у подножия Чатырдага и г-на Рудя близ с. Чотты недалеко от Карасубазара.

На страницах «Записок» Археологического общества Кулаковский сразу же поместил статью «Новые данные по истории Старого Крыма» (охарактеризованы обследованные им памятники, сделана попытка воссоздать историю города). В отчёте о научной командировке в Старый Крым в «Чтениях ИОНА» он пишет о необходимости сохранения памятников этого района; знакомя читателей с обнаруженными находками, сетовал, что «памятники древней славы и величия города находятся в настоящее время в самом жалком состоянии».



*Крым. «Вид на город Чуфут-Кале из соседней пещеры».
Из книги Кулаковского «Прошлое Тавриды»*

Отвлекусь и напомним поучительнейшую сентенцию Андрея Битова (1937–2018) из «Уроков Армении».

«Когда мы видим древние развалины, в нас прежде всего забредает романтическое и бумажное представление о неумолимости и мощности физического времени, прошедшего за эти века над делами рук человеческих. Коррозия, мол, эрозия. Капля долбит камень... И каждый день уносит... Ещё что-нибудь о краткости собственной жизни, о мимолётности, о тщетности наших усилий и ничтожности дел. Но как это всё не так и не то!

Это только кажется, что мощностъ времени... Не время, а люди развалили храмы. Они не успевали за свою жизнь увидеть, как расправится с храмом время — потом когда-нибудь и без них, — и нетерпеливо разрушали сами. Я вдруг понял, что таких развалин и вовсе нет, чтобы от одного времени... “Время разрушать и время строить”. Даже в Библии “разрушать” — сначала. Время успевает лишь слегка скрасить дело человеческих рук и придать разрушениям вид смягчённый и идиллический, наводящий на размышления о времени.

И в таком виде развалины стоят уже вечно».

1898 год. Кулаковский продолжал раскопки курганов в нижнем течении реки Карасу в имении Аликечь и в имении г-жи Плешковой под Симферополем. В первых курганах им вновь обнаружены окрашенные костяки (через год эта находка послужила толчком к докладу на XI съезде). После раскопок Кулаковский, путешествуя по Крыму, посетил Старый Крым (снова), Топлы, Ортолан, Токлук, Козы, Отуз и Коктебель.

По степени участия виднейших российских филологов-классиков в археологических раскопках Крыма можно судить не только о том, что «археологический интерес нуждается в рамках исторического знания, чтобы быть жизненным и плодотворным», но и наоборот: историческое знание нуждается, как ствол в корнях, в подпитке археологическим «интересом». Не стоит думать, что полевая археология слыла утомительной и неинтересной: похоже, это была одна из форм активного отдыха избранных профессоров-гуманитариев.

Каждое лето Кулаковский проводит вне Киева — то ли на раскопках, то ли с семьёй в Вильне, то ли отдыхая (от семьи) в Лиенае. Вероятно, лишь рождением сыновей был обусловлен отказ Кулаковского от раскопок 1892 и 1893 годов в Керчи, в то время как весенние и летние месяцы 1890, 1891, 1894–1898-го, свободные от чтения лекций, особенно лето 1891-го, он проводит в Крыму, где море и небо, по слову Кржижановского, стремятся *пересинеть* друг друга, и отдаётся захватившему его делу. В 1899-м поездке в Крым помешал XI Археологический съезд, проходивший в августе, в 1900-м удаётся выехать в Парутино на обследование Ольвии. Дальше — лекторская кафедра, домашний кабинет, нечастые командировки и воспоминания о крымских жарах, цикадах, тысячелетней пыли и можжевельниках, из которых строят саркофаги.

Тексты о крымских древностях. Интерес к древностям Надчерноморья у Кулаковского не утихал. Это видно из тщательных разборов-рецензий разных трудов по археологическим вопросам, а равно из того, что именно он явился автором статей «Боспор» в третьем томе «Большой энциклопедии», выходящей под редакцией Сергея Южакова и Павла Милюкова (1901) и «Керчь и её христианские памятники» в девятом томе «Православной богословской энциклопедии» (1908), выходящей под редакцией Николая Глубоковского.



Михаил Иванов. Старый Крым. Из книги Кулаковского «Прошлое Тавриды»

В последней статье дан подробный свод свидетельств о возникновении христианства на Боспоре (неточной кажется мысль Грушевского, приведённая выше, в которой формирование Керчи отнесено к VI веку) и самого Пантикапея.

«Непрерывные, за много столетий до того установившиеся, живые сношения Боспора с греческими городами южного побережья Чёрного моря <...> [свидетельствуют,] что уже в III веке и даже раньше существовали христианские общины в пределах боспорского царства <...> В эпоху первого Вселенского собора (325 г.) на Боспоре был свой епископ, имя которого — Кадм — сохранили нам списки отцов этого собора... Боспор, проживший древний период своего существования под именем “Пантикапея”, считал уже почти тысячелетие своей истории в ту пору, когда в нём прочно утвердилось христианство».

Работы Кулаковского в Керчи, о которых он скромно упоминает в этой же статье, не сводятся, конечно, к исследованию раскрытых им катакомб (1890, 1891, 1894), — интерес к прошлому Надчерноморья в его исторических проявлениях сохранился в течение последнего десятилетия XIX века.

В 1906-м он подытожилась книжкой «Прошлое Тавриды», в которой глава о полюбившемся автору Пантикапее (вторая) начинается в выражениях, близких по эмоциональному накалу едва ли не первым строкам Книги Бытия.

«Возникая как торговые фактории, греческие поселения при благоприятных обстоятельствах превращались в города и организовывались в своём внутреннем строе по тому типу, в какой вообще укладывалась политическая жизнь греков, то есть по типу городской республики. В зависимости от различных географических и этнических условий отдельные города имели различную судьбу; различна была и степень того воздействия, какое оказывали они на соседнее варварское население. Некоторые из них стали пунктами, в которых заканчивались возникавшие под их влиянием торговые пути. Монетные находки выдают нам следы существенного некогда торгового обмена, и эти следы ведут нас иногда очень далеко: так, из Ольвии до Вольни и дальше. Местности нынешних Киевской, Полтавской и Харьковской губерний состояли, несомненно, в торговых сношениях с побережьем Понта. Долгие века длилось это культурное воздействие греков на народы севера. Но греческие историки мало интересовались судьбами своих далёких соотчичей, и в их произведениях мы лишь изредка встречаем упоминания об отдельных фактах из истории колонистов Черноморского побережья. Гораздо богаче свидетельства, которые дают вещественные памятники и надписи».

А вот кусочек из статьи «Новые данные по истории Старого Крыма» (1898).

«В бытность мою в Крыму по поручению Императорской археологической комиссии, летом истёкшего 1897 года, мне удалось осуществить моё давнее желание посетить Старый Крым. К сожалению, я не имел возможности уделить на пребывание в этом городе более одного дня, так как в 30 верстах от него вёл раскопки, требовавшие постоянного пребывания на месте. Обход города, осмотр развалин, вскопанных мест, разоряемых и разорённых фундаментов и подвалов древних зданий не дали мне, как, вероятно, и многим раньше меня, ничего, кроме скорбного сознания, как безжалостно стёрло время давнее величие этого города <...> В частном владении у разных лиц видел я несколько арабских и еврейских (вероятно, караимских) надписей, одну плиту с арабской надписью <...> и изрядное число татарских надгробий. Обо всех этих памятниках я сообщил в Комиссию для дальнейших её распоряжений».

К археологическим кампаниям Кулаковский относится с известной эмоцией, досадуя, если памятник подвергается разрушению или расхищается.

В этом отношении характерна его «Археологическая заметка по вопросу о катакомбах в Керчи» (1892), в которой, вступая в полемику с неким М. Н. Ремезовым, пишет о трудно-



Михаил Иванов. Феодосия. Из книги Кулаковского «Прошлое Тавриды»

стях работы, о большей частью искусственных препятствиях, которые приходится преодолевать.

«Лицам, бывавшим в Италии, известно, что тип погребальных сооружений, очень близкий к тому, который в Керчи носит название катакомб, существует повсеместно в Этрурии; известно также и то, что в городе Corneto, древних Тарквиниях, все доселе открытые погребальные пещеры, стены которых украшены фресками, снабжены особыми входами и во всякое время, за известную плату, открыты для посещения и осмотра. Мне казалось весьма желательным и вполне возможным, чтобы в Керчи было устроено нечто подобное...

Я поднял этот вопрос по отношению к катакомбе, заслуживающей не меньшего внимания, нежели катакомбы с фресками, — памятнику, единственному в своем роде <...> я и подал г-ну городскому голове мотивированное предложение об устройстве входа в эту катакомбу с улицы и охране этого памятника городом, который бы мог взимать в свою пользу определённый сбор с посетителей... Но, увы, город решил дело иначе.

По мнению керченских обывателей и их представителей, охрана памятников их не касается: моё предложение было отвергнуто.

Пока керченские обыватели будут сами того мнения, что древности их территории имеют для них один только интерес, а именно: служить предметом расхищения, — до тех пор вряд ли возможно будет исправить многие недочёты современного положения археологического дела в Керчи».

М. Н. Ремезов тут же, в «Русской мысли» (1892, № 12, отд. 2) откликнулся: «По поводу заметки проф. Кулаковско-го», которую «прочёл в рукописи».

«Г. Кулаковский совершенно прав, когда говорит, что я (Ремезов) «далёк от специального интереса к археологии». Я никогда и не лез в зна-токи этого дела, я просто люблю старину, дорожу остатками древних времён и видеть не могу равнодушно, как их уничтожают, растаскивают, разрушают на глазах у тех, кто очень близок к специальному интересу к археологии».

Кулаковский безоговорочно ставит свои археологические изыскания в Керчи вровень с культурным общеевропейским контекстом, помещая заштатную крымскую катакомбу в один ряд с аналогичными памятниками Италии. Стоит заметить, его давнее пожелание сбылось: в 1925-м катакомба 491 года являлась «подотделом» Керченского историко-археологического музея и была доступна для посещений. Сейчас — недоступна: засыпали.

Зоил Модестов. В качестве ещё одного «археологического» сюжета, огорчительного для Кулаковского, расскажу об эпизоде его отношений с Модестовым.

Модестов известен тем, что одним из первых в России обратился к изучению римской истории. Учёные книги, учебники по римской литературе и многочисленные полемические статьи снискали ему репутацию маститого исследователя и переводчика древних текстов (прежде всего, почти всего Тацита), продолжающих сохранять научную ценность поныне. В 1869–1877 годах он занимал кафедру римской словесности Университета св. Владимира, а по восьмисотстраничному однотомнику его «Лекций по истории римской литературы» студенты занимались и в начале XX века.

Между Модестовым и Кулаковским всегда существовала научная конкуренция, достигшая апогея в развёрнутой филиппике не только археологическим трудам Кулаковского, но и его учёным работам вообще, в предисловии ко второй части монографии Модестова «Введение в римскую историю» (1904). Модестов, как и Латышев, болезненно относился к каждому, кто «перебегал ему дорогу» в научном поиске. Однако, несмотря на мнительный по этой части характер Кулаковского, к нему самому тезис этот не относится.



Михаил Иванов. Балаклава. Из книги Кулаковского «Прошлое Тавриды»

В помянутом предисловии влетело не только Кулаковскому, но и Александру Энману (к тому времени уже покойному), который осмелился выступить с рецензией на первый том «Введения в римскую историю» (ЖМНП, 1902). Отсутствие такта и скромности у Модестова неприкрыты и оттого — восхитительны в своей искренности. Он беззастенчиво поучает (покойного) Энмана:

«Крупный германский филолог, каков [Фр.] Кауэр, взявшись говорить о моей книге, ограничился почти исключительно передачей её содержания. Так следовало бы поступить и Энману, с прибавкой, пожалуй, своих возражений, недоумений, но не своих решений в области, ему чуждой. Да и для лиц, свободно вращающихся в области доисторической археологии, смело ставить на место моих выводов свои — всё-таки не совсем удобно. Книга моя, как бы кто ни смотрел на неё, есть плод упорного труда нескольких лет».

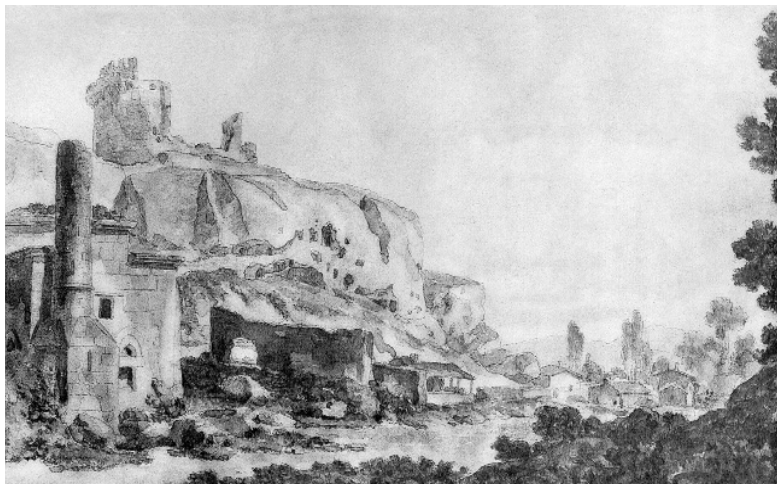
Правда, Модестов раскаивается, что ему «пришлось войти в не совсем приятное столкновение с Энманом, учёным, насколько я знаком с его трудами, добросовестным и солидным при всех его увлечениях произвольными комбинациями, так свойственными историкам той школы, под влиянием которой он образовался».

Если Модестов бестактно обошёлся с благожелательным рецензентом, который не сможет ему ответить, нетрудно представить, какой отзыв ждал Кулаковского, по просьбе Академии наук рецензировавшего первый том его труда, за что был в 1903-м удостоен «за содействие в оценке конкурсных сочинений» Золотой Макарьевской медали Академии наук.

Оценка почти убийственна. Чтобы представить учёные нравы того времени и полемические средства, к которым прибегали деятели вроде Модестова, стоит привести её с незначительными купюрами.

«Г. Кулаковский — человек живой и не без дарований; но у него нет специальности, как нет и ни одного труда, на котором можно бы было остановиться, с которым было бы связано его учёное имя и который, по своему достоинству, не был бы ниже посредственности. Вся его учёная деятельность имеет вид случайности. Он берётся за всё, и всё делает поверхностно, иногда крайне поверхностно, так что от этой деятельности не остаётся ничего ни для науки, ни для школы, ни для образованного читателя. В последние годы он принялся даже за раскопки могил в южной России. Следить за этим фазисом его дилетантской деятельности я не имел возможности; но от лиц вполне компетентных и вполне добросовестных, которым эта деятельность хорошо известна, я слышал прямо удручающие вещи и об его раскопках, и об его отчётах относительно этих раскопок.

Находящиеся в моей библиотеке два его отчёта Археологической комиссии о раскопках курганов (за 1895 и 1896 гг.), только теперь мною прочтённые, достаточно подтверждают сущность того, что я слышал от других. Читая эти бессодержательные и лишённые признаков учёной компетенции отчёты, постоянно приходится сожалеть, что столько курганов испорчено понапрасну, и нельзя достаточно надивиться глубокой невежественности автора, которая доходит даже до того, что могилы с присутствием в них бронзовых предметов, и притом позднего периода, он храбро относит к каменному веку (отчет за 1896 г.). Особенно же удручающая и прямо невыносимая черта в его писаниях — та, что он с необыкновенной чуждой всякому истинному учёному развязностью судит и рядит о предметах, которых он не изучал, которых не знает или знает кое-что о них только понаслышке <...> Что, в самом деле, такому критику могут, например, говорить составляющие гордость моей книги тридцать пять таблиц драгоценнейшего материала, гораздо более чем на две трети мною впервые обнародованного? И даже та огромная масса доисторических данных, которые в первый раз являются собранными и обра-



Михаил Иванов. Инкерман. Из книги Кулаковского «Прошлое Тавриды»

ботанными для того, чтобы послужить введением в римскую историю, то, что так радушно было приветствовано крупнейшими специалистами в Европе, оказалось для него тарабарскою грамотой.

Модестов был сильно раздосадован, что первый том «Введения в римскую историю», поданный в Академию наук, не был удостоен Макарьевской премии, а отрицательная рецензия на него — была.

«Насколько мне позволяют судить мои как прежние, так и нынешние отношения с русским учёным миром (последние годы жизни Модестов провёл в Италии. — А. П.), сказанное мною о г. Кулаковском не может встретить сколько-нибудь серьёзного противоречия. Если же нашлось учреждение (Академия наук. — А. П.), которое, не имея в своей среде специалиста (по-видимому, имеет в виду себя. — А. П.), поручило этому самому г. Кулаковскому рецензию книги, для разбора и оценки которой у него нет ни специальных сведений, ни способности разбираться в новых данных и суждениях научным образом, то это служит только лишним свидетельством той печальной и хорошо известной истины, что наука в этом учреждении, и именно в его историко-филологическом отделении, давно уже «обретается не в авантаже».

С последними словами невольно восстаёт предо мною тяжёлый вопрос, вопрос, достаточно уже наболевший и давно требующий большого внимания со стороны тех, кому дороги честь и будущее русской науки».

У Модестова был богатый опыт обмазывать грязью коллег по цеху: вспомнить хотя бы, как он обрушился в 1885-м на Михаила Драгоманова, а затем на Платона Павлова, когда тот в 1874-м стал претендовать на кафедру теории и истории искусства в Университете. Его текст «В Казани и в Киеве (1867–1877): Отрывки из воспоминаний» (*Исторический вестник*, 1885, т. XXII, №№ 11, 12) читать неприятно до омерзения. Одно оправдывает Модестова через полтора столетия: всё, что он пишет об университетских кадровых интригах, вытряхивая насекомых из собственного белья, действительно и сейчас.

Ростовцев в некрологе Модестова по поводу его двухтомника о началах римской истории вроде бы соглашался с Кулаковским, подчёркивая, что главный недостаток этого труда,

«тот именно, который менее всего отмечен его русскими критиками, мало компетентными именно в этом вопросе (Энман и Кулаковский? — А. П.), — это тот, что у него не было, да и не могло быть настоящей археологической школы. Чем ближе подвигается В. И. Модестов к более сложным временам, тем этот недостаток выступает рельефнее».

Вроде бы Кулаковского с Энманом не назвал, но не смог отказать в удовольствии походя назвать рецензентов Модестова малокомпетентными.

На контрасте видно, сколь оценка Модестова отличается от оценки археологических усилий Кулаковского Латышевым. Он пожелал, чтобы Кулаковский,

«вступив во всеоружии солидной эрудиции в ряды исследователей судеб греческой культуры на южных окраинах нашего отечества, продолжал работать в этой области с таким же успехом и с таким же талантом, каким запечатлён его первый труд».

В отличие от Модестова, Латышев понимал, о чём речь.

Вместе с Кулаковским, публично опороченным, Модестов поносит также и Академию наук, видимо, не нашедшую достаточных оснований для избрания его в ряды своих членов.

В письме Помяловскому Ростовцев отзывается о Модестове:

«В последнее время неоднократно слышал об основании Римского института; надеюсь, что хоть эта благая идея не заглохнет прежде её появления на свет. Каждый из нас, молодых людей, сильно и глубоко чувствовал необходимость подобного центра во время пребывания своего в Риме. Жаль только, что, по слухам, в директора прочат Модестова; судя по тому, что я слышал об нём в Риме от русских и иностранцев, он вряд ли



Крым. «Вид стены цитадели Мангун-Кале».

Иллюстрация из книги Кулаковского «Прошлое Тавриды»

будет в состоянии поставить институт сразу в такое положение, которое бы дало ему значение несколько большее, чем теперь институты английский и американский» (8.04.1896).

По-своему мягко; чует мяско, чью кошку съела.

Кулаковский не счёл возможным отвечать на рассуждения о своей учёно-литературной деятельности, но на пассаж относительно археологических раскопок не мог не откликнуться в заметке «Несколько слов в ответ проф. В. И. Модестову»:

«Общие суждения, высказанные г. Модестовым в столь резкой форме, остаются на его ответственности; ни опровергать их, ни возражать на них я не желаю. Но я не могу не остановиться на <...> его словах, где он как будто переходит на почву реальных фактов <...> В моём отчёте о раскопках за 1896 г. перечислено свыше двадцати погребений, типичных для каменного века Юга России, которые в тот год были раскопаны мною на территории к северу от р. Бельбека и неподалеку от г. Бахчисарая. Присутствие бронзы констатировано мною *только в одном погребении*, помянутом в самом конце перечисления <...>

Для тех, кто имел случай сам производить раскопки, ясно, что это значит: рассыпающиеся перержавевшие кусочки, зелёная пыль и крупинки, зелёный налёт на некоторых местах костяка, зеленоватая прослойка в земле. Где же тут «бронзовые *предметы* и притом *позднего периода*», о которых говорит г. Модестов?.. Высказанное г. Модестовым сожаление

о том, что “столько курганов понапрасну испорчено”, свидетельствует само по себе, как далёк он от дела раскопок и “археологических фактов”. О кургане можно жалеть тогда, когда он плохо раскопан, когда извлечено из него не всё, что он заключал в себе, когда перепорчены вещи, когда раскапывающий не обращает внимания на положение костяка и вещей и т. под., а уж никак не тогда, когда описывающий свою раскопку неправильно квалифицирует предметы или даёт неправильные объяснения <...> В утешение г. Модестову насчёт судьбы раскопанных под моим наблюдением курганов прибавлю, что я имел в своём распоряжении лучших рабочих по этой части в России <...> Г. Модестов сам никогда не стоял близко к делу непосредственного расследования вещественных памятников старины, а потому и самые его суждения и опасения имеют оттенок наивности. В заключение не могу не высказать чувства глубокого сожаления о том, что маститый учёный прибегает к таким непопозволенным приёмам полемики в доказательство высоких достоинств своего “Введения в римскую историю”. Он сам в них верит, а я никак не умел их разыскать, при самом искреннем желании».

Можно понять оскорбившегося Модестова: видно, чувство зависти — естественное в учёной среде, — заставило его на вступительных страницах громадного труда позорно виновать младшего коллегу в профнепригодности, невежестве, обвинения подкрепляя нелепостью. Трудно понять мотивы, побудившие Модестова столь неблагоприятно бросить тень на свои собственные труды. Ведь если ты с чем-то не согласен и не согласен громко, возникает сомнение в твоей убедительности.

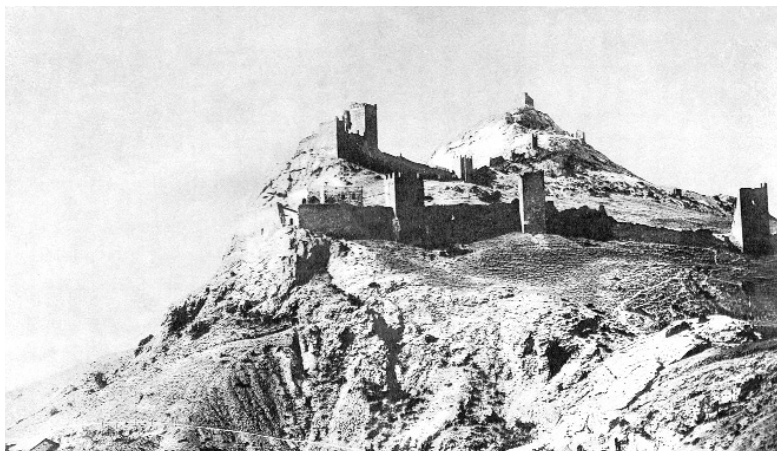
Генри Форд говорил о хорошей рекламе: хвалите — ругайте, но не перевирайте фамилию. Модестов фамилию «Кулаковский» писал точно. Но не в характере Кулаковского — радоваться учёным помоям на макушке.

Отрицательная рецензия Кулаковского на первый том сочинения Модестова осталась мне недоступной: в отчётах о присуждении Премии митрополита Макария она не напечатана.

Кулаковский, зачем-то сочинивший отрицательную рецензию (между нами: это тоже неприлично) и не ставший реагировать на пасквиль, исторически выиграл.

О его моральных качествах свидетельствует выступление памяти Модестова на заседании Общества Нестора Летописца от 25.02.1907:

«Выйдя в отставку после истечения 25-летнего срока службы, Васи-



Крым. Судак (Солдайя). Из книги Кулаковского «Прошлое Тавриды»

лий Иванович переехал из Одессы в Петербург, откуда стал совершать поездки в Италию. Во время второго своего пребывания в Одессе Василий Иванович увлёкся изучением римской археологии и посвятил ей все свои интересы и свой литературный талант. Поездки в Италию не казались ему достаточными, и он переехал навсегда в Рим, где и скончался. Отмечая даты внешней биографии почившего, докладчик [Кулаковский], на основании записок Василия Ивановича, опубликованных в журнальных статьях, и воспоминаний сослуживцев, характеризовал его как человека больших дарований, *отличавшегося чрезвычайной впечатлительностью* (курсив мой. — А. П.) <...> Последние десять лет жизни Василия Ивановича были посвящены римской археологии, и в этой области покойному принадлежит широко задуманный труд «Введение в римскую историю». Автор успел издать два тома, из которых первый появился также ещё при его жизни во французском переводе».

Ростовцев в некрологе тоже вносит свежесть: покойный «всегда сохранял смелость и свободу суждения, не всегда, правда, основанные на подробном изучении материала».

Вот уж точно: *de mortuis aut bene, aut nihil nisi verum*. Да-да: ничего, кроме правды.

Участие Кулаковского в организации и трудах двух археологических съездов (IX и XI) подтверждает его стремление к изучению древностей Надчерноморья: занятия археологией потихоньку подвигали к византийской тематике.

Тому внешним образом споспешествовало основание двух периодических изданий: «Филологическое обозрение» (с 1891) и «Византийский временник» (с 1894). Их появление создало новый публикаторский простор. К тому же, соредактором «Византийского временника» вместе с его основателем и редактором — Василием Эдуардовичем Регелем, — в течение первых пяти лет был Василий Васильевский, гимназический учитель Кулаковского.

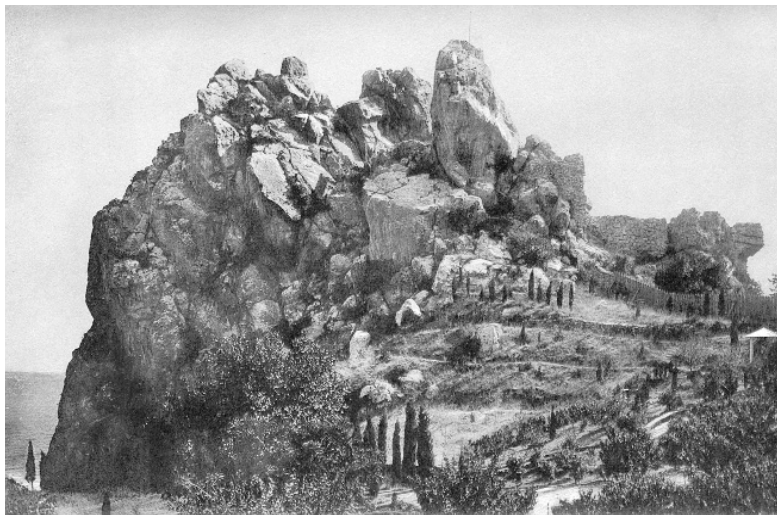
«Во всяком случае, — говорит Варнеке в 1906-м, — Ю. А. Кулаковский принёс всё богатство своей эрудиции, усовершенствованное методами классической филологии, на служение родной старине и сделал так много в области археологии, исторической географии и этнографии Южной России, так усердно и счастливо расчистил пути для дальнейшего исследования, что вне всякого сомнения, всякий будущий работник в этой области найдёт существенное подспорье для своих работ в трудах Ю. А., за предстоящее увеличение которых ручается его исключительная энергия».

Отдельную историю, связанную с осмыслением Кулаковским археологических находок, к которой ещё обратимся, составляет его доклад об окрашенных костяках, опубликованный несколько раз, но впервые прочтённый на заседании XI Археологического съезда в Киеве в августе 1899-го.

К самому концу XIX века, пережив землекопный ажиотаж, Кулаковский вновь превращается в размеренного кабинетного учёного. После 1900 года, насколько можно судить, непосредственного участия он в раскопках не принимает: подросшие сыновья меньше нарушают плавность течения учёной повседневности, не кричат, а спрашивают.

Частые отъезды из Киева и возвращения в Киев по железной дороге, особенно в начале осени, поставляли зрительным способностям не только Кулаковского совершенно «живые картины». «Мирискусник» и просто искусник Александр Николаевич Бенуа, ехавший в Киев в 1899-м знакомиться с Врубелем и вот-вот открытым Владимирским собором, делился:

«В Москве в тот день, когда я её покидал, стояла глубокая осень. Тем радужнее представилась открывшаяся передо мной картина, когда я приближался в солнечное утро к Киеву — залитому яркими и горячими лучами и утопавшему в густой листве всё ещё зелёных деревьев. Поистине Киев — один из прекраснейших городов на свете, а по своему своеобразному расположению над могучими водами Днепра и над бесконечны-



Крым. Гурзуф. Из книги Кулаковского «Прошлое Тавриды»

ми далями степи, — это даже *единственный* город. Я был в совершенном упоении и все три дня, что пробыл в Киеве, не выходил из какого-то восторженного состояния. Главным образом, впрочем, этот восторг был вызван, так сказать, пейзажем, теми видами, которые открывались во все стороны, тогда как я был скорее разочарован и даже огорчен всем тем, что мне довелось там видеть из памятников искусства <...> Бродя пешком и разъезжая в такой дивной атмосфере по Киеву, я испытывал целыми днями такой силы блаженство, что во мне даже забродили мечты, не перебраться ли нам всей семьёй в Киев» (*Мои воспоминания*, т. 4, гл. 33).

Для киевлянина должны быть отрадными такие слова знаменитого мирискусника, который ни в какой Киев, конечно, не переехал, но впечатление от города запомнил, и через много лет, в конце 1930-х, записал.

Каким контрастом читаешь через полгода после посещения Киева Александром Бенуа строки Кулаковского о той самой ольвийской экспедиции, «когда жара всё время была тропической», а граф Бобринской упрасивал согласиться.

Ольвия: жаркое археологическое лето 1900 года.

О мере участия Кулаковского в ольвийских раскопках летом 1900-го, о котором почему-то не упоминают современные исследователи Ольвии, свидетельствуют письма графа Алексея

Бобринского Кулаковскому весной–летом 1900-го (опубликованы Л. Матвеевой в 2002-м). Их небольшой конспект должен помочь водворению имени Кулаковского в реестры первых старателей изучения ольвийских достопамятностей. Его ольвийские занятия оказались последними в области полевой археологии.

Все исследователи Ольвии упомянуты в истории её археологического изучения: и граф Алексей Уваров в 1832–1844-м, и Филипп Брун в 1870-м, и Иван Забелин с Владимиром Тизенгаузенем в 1873-м, и Иван Суручан в 1886-м, и Василий Латышев (с 1887-го), и Борис Фармаковский в 1896 и 1901–1915-м, а вот о профессоре Кулаковском в 1900-м забыли, будто его вообще не было в Ольвии. Сколько ни пришлось читать книжек об Ольвии и её раскопках, — он упомянут лишь в монографии Анны и Марины Русяевых «Ольвия Понтийская: Город счастья и печали» (Киев, 2004). Сергей Крыжицкий (1932–2018), долготный руководитель Ольвийских раскопок, пожимал плечами, когда я в середине 1990-х называл ему имя Кулаковского.

На необходимость ведения систематических раскопок в Ольвии Кулаковский обратил внимание делегатов на Виленском съезде, где 13.08.1893 выступил с докладом о керченских катакомбах с фресками. Закончил спич обращением к съезду:

«Если в Керчи и не идёт теперь непрерывная и живая работа по исследованию древностей, как то было раньше, то тем не менее, эта территория находится под охраной надлежащей власти и продолжает давать время от времени важные и ценные находки. Но есть другое место на побережье Чёрного моря, место забытое и заброшенное, по разным условиям недоступное для научного исследования, это — Ольвия <...>

В Ольвии идут раскопки, но тайные и хищнические. Добываемые таким путём вещи или бесследно исчезают, или в редких случаях, попадая иной раз в руки учёных специалистов и в учёные учреждения, они поучают нас гораздо меньше, чем как то могло быть при иных условиях находки.

Территория Ольвии находится в частном владении. Не оказалось ли бы поэтому возможным обратиться от имени Съезда к собственнице, графине [М. Н.] Мусиной-Пушкиной, с просьбой открыть доступ в эти пределы людям учёного интереса».

Председатель учёного комитета съезда академик Успенский дополнил указание Кулаковского на расхищение древностей Ольвии. По его словам,



Крым. Развалины церкви Св. Троицы в селении Лаки. Из книги «Прошлое Тавриды»

«в настоящее время Ольвия недоступна для учёных, так как местность эта находится в частном владении, и без разрешения владелицы раскопки производимы быть не могут; между тем, местное население не только приобрело сноровку добывать и сбывать предметы древности, но крестьяне села Парутино научились даже подделывать надписи».

Сколь бы ни потешным стоило признать последнее сообщение Успенского, свидетельствующее, быть может, о возросшей образованности парутинских землепашцев, тем не менее, положение с раскопками было печальное, требовало принятия нужных истории решений.

Эти слова оживили посапывающих собравшихся, и председательница графиня Уварова предложила Съезду обратиться к графине Мусиной-Пушкиной с ходатайством разрешить Одесскому обществу истории и древностей произвести раскопки на её землях. — «Съезд вполне присоединился к этому предложению председателя».

Но ни обеспокоенность Эрнста фон Штерна, ни постановка вопроса Кулаковским, ни инициатива Виленского съезда особых плодов для облегчения судьбы исследования Ольвии в начале 1890-х не принесли.

Тогда подключился граф Алексей Бобринской.

Долга ради смею процитировать мнение Кондакова о Бобринском в письме Помяловскому в связи с Яковом Смирновым, которому Кондаков благоволил:

«Не могу не сказать при этом случае, что ожидаю от него основательных работ, которые помогут поставить бедную археологию, загубленную любителями вроде Бобринского, на должную ногу» (10.03.1893).

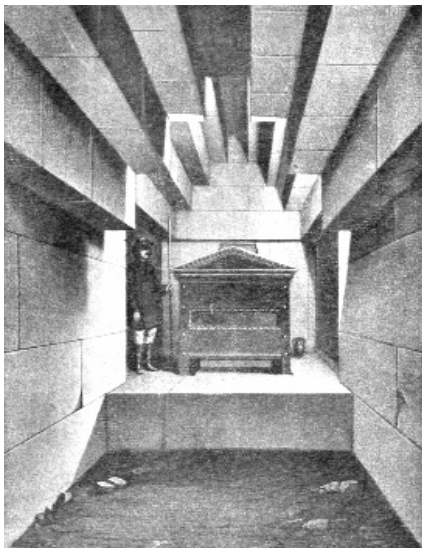
Уж не знаю, какие способности имел в виду Кондаков, характеризуя Якова Ивановича, но одним из главных достижений его 49-летней учёной жизни был труд не археологический, но искусствоведный: «Рисунки Киева 1651 года по копиям их конца XVIII века» (1908); остальное — мелкие статьи и заметки. Есть такие люди: знатоки («рецензенты») — и не более. А вот труды графа Бобринского как раз имеют профессионально археологический характер: «Курганы и случайные находки близ местечка Смелы» (три выпуска, 1886–1901), «Newly discovered guardian» (1891), «Notes d'archeologie russe» (1904), «Херсонес Таврический» (1905) итд.

Первое письмо Бобринского Кулаковскому подробное и длинное (из Парижа 26.05.1900):

«Дело раскопок в Ольвии так серьёзно, что хотелось бы передать Вам, хотя бы письменно, несколько соображений. <...> Как Вам известно, усилившиеся кладоискательские раскопки в Ольвии за последние годы побудили Археологическую комиссию специально озаботиться этой местностью. <...> Осенью 1899 года я написал о плачевном положении Ольвии официальный рапорт министру императорского двора и лично докладывал об этом государю. Я убедительно, насколько мог, просил Его Величество оказать Ольвии то, что было сделано Александром III для Херсонеса, то есть положить основание правильным раскопкам. Ходатайство моё, по-видимому, увенчается успехом. <...> На настоящее лето я порешил непременно приступить к первоначальному исследованию Ольвийского некрополя с главной целью ясно выработать план дальнейших ежегодных раскопок на месте. В этом отношении пришлось первым делом получить согласие гр. Музиной-Пушкиной.

Неоднократные мои попытки прежних лет ни к чему, как Вы знаете, не привели. Ныне же случилось так, что графиня отдала Ольвию сыну своему гр. Александру Алексеевичу, бывшему товарищу попечителя [учебного округа] в Киеве. Переговоры с ним пошли хорошо. <...> К моему счастью — дело Ольвии очевидно шествует под очень счастливой

*Склеп в кургане Юз-оба близ Керчи,
открытый в 1860 году.
Кулаковский с мерной тростью.*
Из книги «Прошлое Тавриды»



звездой — Вы не отказали в своём содействии, и не могу Вам сказать, с какою признательностью вскрыл я Вашу телеграмму. После стольких хлопот, накануне получения кредита из Министерства [двора] (ежегодно!), с согласием Пушкина в кармане — и быть вдруг вынужденным отложить всё дело из-за каприза (другой квалификации не нахожу) Думберга — или передать ольвийские раскопки в несолидные руки — всё это было чересчур обидно. Но, с помощью богов, дело спасено <...> Я ожидаю от Вас не исполнения наших указаний и наших пожеланий, а наоборот: изучение местности и затем указаний нам, что делать и как приступить к организации работ в будущем. Словом, выработку плана действий.

Примите Ольвию близко к сердцу, я искреннейшее просил бы Вас не стесняться вовсе с указаниями этого рода. Всякий план рискован, всякое предварительное указание может быть неудачным. Но на этот изначальный риск я Вас и посылаю. Соболагодите взять на свои плечи и риск неудачи. Дело столь важное, что попытка — не слишком большая пытка в случае неудачи.

В ожидании регулярных ассигнований я на этот год отпустил Вам 1000 рублей по смете Комиссии. В запасе есть приблизительно столько же, сумма, которую заместитель мой, Ф. А. Браун, имеет полномочие переслать Вам в случае надобности. Не бойтесь тратить эти деньги на разведки, от которых не добыто будет вовсе вещей. Ещё раз повторяю (изви-

ните, если настаиваю) — я от Вас ожидаю указаний, планов — гораздо более, нежели вещей. Конечно, Ваши пробные поездки могут нам дать вторую тиару, но не это главная цель раскопок этого года. <...> Ещё слово. Заместителем барона Тизенгаузена в должности товарища председателя Комиссии будет В. В. Латышев. Его имя связано с Ольвией; Вы не откажетесь, вероятно, выслушать и его компетентное мнение по этому делу <...> Не взывайте, если письмо местами покажется Вам диктаторским. Надо кому-нибудь руководить этим делом, и я взял этот фельдмаршальский жезл в свои руки».

Так всегда: если хочешь, чтобы дело пошло, возглавь. Или даже не начинай хотеть.

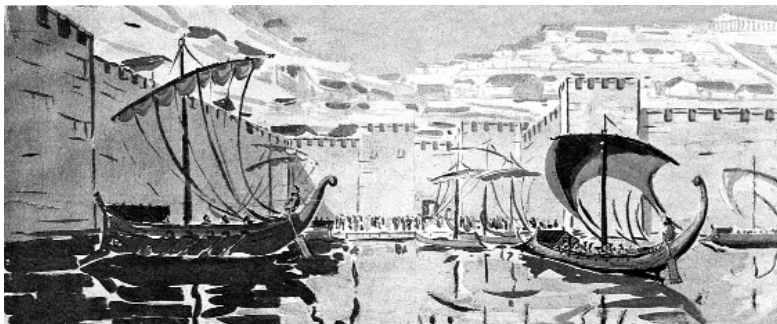
Поскольку письма Кулаковского Бобринскому остались недоступными, цитатный флюс односторонен.

До Кулаковского в качестве руководителя ольвийских раскопок рассматривалась кандидатура польского археолога Иосифа Новальского (Josef Nowalski, 1857–1928). Граф Бобринской написал ему письмо:

«Относительно же того археолога, коему возможно было быверить ведение постоянных раскопок в Ольвии, Комиссия с благодарностью приняла заявление М. И. Ростовцева, указавшего ей на Вас, как на лицо сведущее в деле археологических изысканий. Посему позволяю себе обратиться к Вам с покорнейшею просьбою сообщить мне в возможно непродолжительное время Ваш отзыв по этому вопросу. В случае, если бы Вы признали возможным в принципе согласиться на моё предложение, то не откажите уведомить, не можете ли Вы в течение предстоящего лета поехать в Ольвию во время пребывания там К. Е. Думберга и войти с ним в ближайшее сношение о правильной установке этого, столь важного для археологии нашего отечества дела».

Новальский с ответом затянул, поскольку был занят делами в Вене, его письмо с отказом было направлено в Петербург лишь в феврале 1901-го. Время утекало, и раскопки в Ольвии становились всё более проблематичными. В таких условиях 17 апреля Бобринской вынужден вновь побеспокоить Думберга:

«Вследствие рапорта Вашего от 12 апреля об увольнении Вас от службы и после личных переговоров я питаю полную надежду на то, что причины, побуждающие Вас оставить Императорскую археологическую комиссию, видоизменятся и что мне удастся на долгие годы сохранить на пользу Комиссии столь трудолюбивого и просвещённого её деятеля. Во всяком случае, считаю долгом уведомить, что рапорту Вашему



Вид на Ольвию со стороны Бугского лимана, эскиз Сергея Крыжицкого, 1980-е

может быть дан ход лишь после исполнения возложенного мною на Вас поручения по исследованию Ольвийского некрополя. К этому делу я покорнейше прошу Вас приступить с начала предстоящего лета, согласно подробно выясненному и неоднократно обсуждавшемуся в Комиссии плану действий. Условия, на коих граф Мусин-Пушкин согласился разрешить Комиссии произвести раскопки на принадлежащих ему землях, Вам известны. На Ваши же разыскания в Ольвии назначены Вам из Археологической комиссии 1000 рублей, кои будут Вам отпущены обычным порядком. Относительно выдачи Вам Открытого листа и уведомления местных властей об оказании Вам нужного содействия мною вместе с сим сделано надлежащее распоряжение.

О результатах Ваших исследований сообразованно представить в Археологическую комиссию отчёт по обыкновению».

Гордый Думберг непреклонен. Что до условий, на которых Мусин-Пушкин согласился разрешить раскопки на своих землях, то переписка по этому вопросу началась ещё в марте 1900-го. Переговоры упёрлись в делёжку будущих находок.

Бобринской настаивал на своих условиях:

«из вещей совершенно одинакового характера — третья часть представляется Археологическою комиссиею в Ваше распоряжение. При этом от Вас будет зависеть получить или самые предметы, или стоимость их по оценке Комиссии, или по обоюдному соглашению. За такие же предметы, которые найдены будут в одном лишь экземпляре и к разделению которых, следовательно, не представляется возможности, Комиссия уплачивает Вам половину их стоимости, оценивая эти древности по стоимости металла, из которого они сделаны, с надбавкою ещё 1/3 той же стоимости предмета; относительно же неметаллических предметов

ценность их определяется путём научной экспертизы в Комиссии или по взаимному с Вашим сиятельством соглашению».

Сейчас бы следовало удивиться: вот ведь какое «меркантильное кю» этот Мусин-Пушкин.

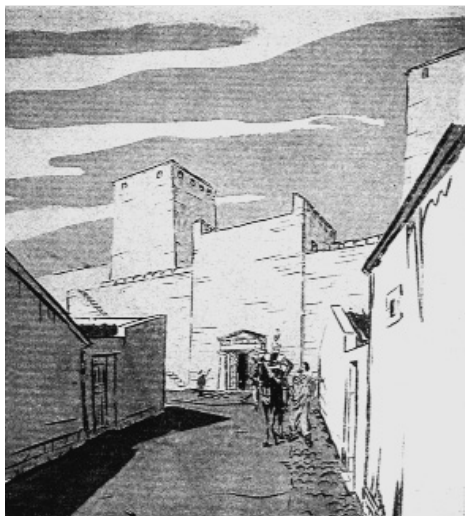
Понятно, почему Бобринской укатывал катками Кулаковского. Через три недели:

«Под каким влиянием гр. Мусин-Пушкин так неожиданно изменил слову и отрицает данное не мне единолично, а всему составу Комиссии обещание допустить Комиссию до раскопок в Парутине (оставался открытым лишь вопрос о подробностях, деталях соглашения), я не знаю, хотя догадываюсь. Но на том основании, что Мусин-Пушкин не позволяет у себя раскопок в 1900 году, отложить всё дело Ольвии до лучших дней мне кажется крайне нежелательным и я прошу у Вас разрешения попытаться склонить Вас на поездку в Ольвию, несмотря на отказ Пушкина. Позвольте мне просить Вас отложить, если возможно, личное неудовольствие за то неудобное положение, в которое поставлен будет эксплорасчёт Ольвии; отмените чувство о напрасной с Вашей стороны трате времени и денег на нечто неполное и одностороннее. Приступить к делу ольвийских исследований теперь же необходимо. Иначе мы рискуем потерю кредита на организацию дела <...> Если Пушкин и не дозволил раскопок, то он едва ли воспрепятствует осмотру местности, составлению плана раскопок. Затем Пушкин, хотя и владеет некрополем, но ведь есть и обширные крестьянские земли. Во всяком случае, даже без каких-либо находок, один факт Вашей поездки на место будет иметь громадное значение в будущем для разрешения дела. Посему убедительнейшее прошу Вас поехать в Парутино, посмотреть; остаться или бросить дело, когда будете на месте; не щадить денег на разведки в какой угодно форме. Уверяю Вас, что вполне сознаю, что прошу у Вас жертвы своего самолюбия и предлагаю неудобное дело, но решаюсь на это ради несомненной величайшей пользы, которую Вы принесёте науке».

Видать, не хотел Кулаковский ехать. Но, выкрутив ему руки таким вот эпистолярным способом, Бобринской принудил, чертыхнувшись, взять билет в первом классе и отправиться на юг, на правый берег Бугского лимана. «В последний раз», — наверняка твердил он себе, лёжа на мягком вагонном диване.

В начале июня он в Петербурге, где «значительную часть времени просидел в Комиссиях, знакомясь с делами об Ольвии и тамошних древностях, а также и литературой».

Флоринскому 26.06.1900 из Друскининкая:



*Северные ворота Ольвии,
рисунок Сергея Крыжицкого*

«И всё-таки Друзгеники хорошее дачное место.

В противоположность тому, что я писал тебе, мне всё-таки придётся ехать на раскопки. Не вся местность Ольвии принадлежит Мусину-Пушкину: часть её в крестьянском владении, на ней-то и просит меня очень настойчиво Бобринской поработать в этом году, да сделать что можно и относительно ознакомления с территорией графа Мусина, если пустят туда. Может, за это время сладят между собою два графа, и Мусин не будет ставить препон даже для раскопок. Поеду я отсюда после именин Серёжи и предполагаю для сокращения времени ехать прямо на Одессу, не заезжая в Киев. Может случиться, что придётся пробыть там до конца каникул и во всяком случае не меньше месяца. Так мне опять придётся жить в одиночестве».

Бобринской в письме Кулаковскому от 28.06.1900 кланяется:

«Приношу Вам самую искреннюю и сердечную признательность за Вашу отзывчивость. Лично убеждён, что Ваша поездка будет иметь существенное значение для Ольвии. Если мои указания Вам ещё не надоели, а со свойственной Вам любезностью Вы меня извините, даже если я надоел, — то позвольте ещё написать несколько строк. Главное: не бойтесь траты денег. В Вашем распоряжении очень большие (сравнительно) суммы, чего не имели ни Ястребов, ни Суручан, ни Фармаковский.

Кроме 1000 р., ассигнованных Вам по смете Комиссии, есть ещё остатки от этой сметы, предназначенные на Ольвию и, наконец, самое важ-

ное — вновь назначенные (на этот год также) ежегодные 4000 р. <...> Требуйте императивно сколько нужно: на планы (нельзя ли заказать большой план Ольвии, как имеется для Херсонеса?), разведки, топографические работы; удобрение (не полей, а крестьян); пробные разведки в Буге, покупки, комиссионерам-жидам и т. п. <...> Мы не вещей от Вас просим, а Вашего взгляда, мнения, выработанного на месте. Помните, что существует теория, что в Ольвии ничего нет, что все находки quasi-ольвийские привозятся в Никополь жидами!»

Знало ведь их хитрое сиятельство, как обольстить учёного: «не вещей от Вас просим, а Вашего взгляда, мнения, выработанного на месте». Разве учёный сможет устоять?

Депутат Государственной думы II, III и IV созывов Василий Алексеевич Маклаков (1869–1957), адвокат и оратор, вспоминая о Бобринском во II Думе, говорил, что в нём не было ничего похожего на склонность к скандалам.

«Либеральным деятелем и конституционалистом он был очень давно, и им остался <...> Человек с большим темпераментом, но сумбурными мыслями (пушка без прицела — говорил про него Хомяков), он был сама искренность и не умел притворяться. Таким он был позже в своём увлечении славянской политикой, неославизмом, в парламентской делегации в Англии, а во время войны и в обличении Протопопова. Разгадать его было легко; в нём не было ни тени *лукавства*».

Грешно было обижаться на такого человека, и Кулаковский, сам старавшийся прятать безразличие за обаянием, невольно поддался харизматичности Бобринского.

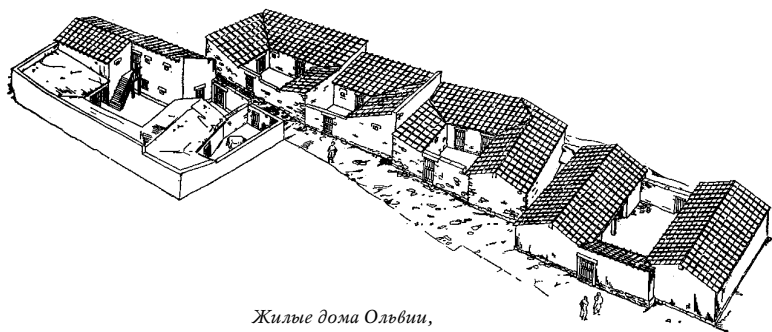
Кулаковский Флоринскому 2.07.1900 из Друскининкая:

«Если со стороны Мусина не будет препятствия, то озабочусь применением топографа для составления большого и точного плана всей этой местности. С этого нужно начать и это будет полезно для всякого, кто впоследствии будет там работать. Ольвия нуждается в человеке, который бы там жил постоянно и непрерывно вёл раскопки, как устроено это в Херсонесе».

Как воскликнул Тринкуло из «Бури»: «Каких странных сопостельников даёт человеку нужда!» У городов порой диковинные соландшафтники. Не известно, удалось ли Кулаковскому осуществить последнее намерение (судя по письмам — нет), но задача восставлена в ракурсе примечательном.

Кулаковский — Флоринскому из Парутина 19.07.1900:

«Привет тебе и твоим с берегов Бугского лимана, который здесь так



*Жилые дома Ольвии,
реконструкция Сергея Крыжицкого, 1980-е*

скрашивает унылый летний вид степных местностей нашего Юга. Не будь здесь поблизости этой красивой широкой полосы воды, сверкающей морской лазури, здесь было бы невыносимо. Зной стоит всё время, хлеб с полей уже убран, луга, где были, уже выгорели, то и дело набегающий ветер гонит тучи пыли с широких разбитых улиц и дорог — а голубая площадь воды всё это умеряет и смягчает. Нахожусь здесь с ночи 13 числа [июля], а с 15 веду раскопки на одной свободной площади среди деревни. Если бы я точнее знал здешние условия, то не решился бы ехать на раскопки, а разве — для собирания сведений. Крестьянская земля так тщательно раскопана за последние годы, что если где осталось живое место, то или потому что нет гробниц, или потому, что раскопки не вознаграждаются находками. Если бы граф Мус.-Пушкин не вздумал отложить своё согласие [на раскопки] на год, то места для раскопок было бы сколько угодно, так как его территория была за последние годы — когда здесь все жители занялись этим делом — под охраною. А при нынешнем положении моё дело здесь выглядит печально. Живу я здесь в чистой комнате крестьянской избы и целый день провожу на воздухе.

С завтрашнего дня <...> я перейду на жительство в дом управляющего [усадебой графа]. Впрочем, я уже настолько привык за эти дни к своей избе, что вполне бы готов тут остаться. Но меня так мило и радушно приглашают, что нельзя отказать. Конечно, в некоторых отношениях там будет удобнее — и постель будет мягче, и чистоты больше — последнюю, впрочем, я сам нарушу внесением разных пыльных и грязных черепков и тому подобных предметов, которых и теперь натаскал сюда некоторое количество и надеюсь натаскать больше.

Сегодня было у меня несколько целых сосудов и один очень изящный — фигурная терракота. Этот последний предмет меня несколько под-

бодряет, а вчера я был в большом унынии. Работают у меня 9 человек, и так как директор Керченского музея [Думберг] нанял их по 2 р[убля] за рабочий день, то мои горшки стоят пока очень и очень дорого. В деревенской обстановке, в столкновениях и беседах с крестьянами, на солнце и воздухе, без газет и с редкой почтой (я не получил здесь ещё ни одного письма) — чувствую себя как-то совсем иначе и пока не скучаю».

Бобринской — Кулаковскому 28.07.1900:

«Искренне признателен за письмо Ваше от 15-го июля. Поверьте, что одно Ваше присутствие в Парутине в этом году составляет успех и очень веский успех.

Если, ознакомившись с местными людьми и условиями, Вы придёте к положительным заключениям об Ольвийском некрополе вообще, то этим, разом, положите конец толкам о каком-то археологическом Клондайке, где золото собирается чуть ли не на поверхности земли. <...>

Встретился я случайно с гр. Мусиным-Пушкиным в Париже, и он ещё раз вполне категорично подтвердил мне, что отдаст Ольвию Комиссии. Его напугал Антонович, который посоветовал ему хорошенько взвесить условия отдачи некрополя и городища в наши руки <...> Я написал Антоновичу, прося его не препятствовать нашим усилиям, и вынес всё-таки впечатление, что Пушкин никому другому не отдаст своей земли, кроме нас. Впрочем, об этом переговорим зимою. С конца августа буду в Смеле, откуда могу к Вам приехать в Парутино или в Киев? А, может быть, Вам удобно будет попробовать нашего сахара на месте? Очень осчастливили бы приездом в Смелу, если время и занятия Вам это позволят».

Но дело раскопок снова натолкнулось на противодействие Мусина-Пушкина, о чём Кулаковский писал в Комиссию журналисту (делопроизводителю) Илье Алексеевичу Суслову (по настоянию которого, кстати говоря, в работу ИАК вторглась модернизированная печатная машинка) 9.08.1900:

«Спешу уведомить Вас, что я получил <...> письмо от графа Мусина-Пушкина, которым он сообщает, что своего согласия на условия, предложенные ему Комиссией, он ещё не давал и считает какие-либо работы на принадлежащих ему землях в этом году преждевременными. А одновременно с этим <...> я получил письмо от графа Бобринского из Франции, в котором он с уверенностью говорит о согласии, данном ему Мусиным-Пушкиным. Как бы то ни было, дело отлагается, а поэтому не спешите ни переводить деньги в Николаев (если это ещё не сделано), ни писать обо мне херсонскому губернатору».

Узнав о таком повороте, граф телеграфировал из Франции:



Остатки Западных ворот Ольвии III века до Р. Х., по Сергею Крыжицкому, 1980-е

«Передайте профессору Кулаковскому настоятельную просьбу не отказаться от посещения Ольвии в этом году и начать исследования у крестьян».

Кулаковский впечатление от увиденного выразил следующими словами:

«Вид засыпанных и полузасыпанных ям на всех пустырях со стороны лимана, на всех почти усадьбах и даже на улицах, изрытый по всей своей площади большой курган в конце деревни с повреждённым великолепным склепом, который был недавно открыт и обыскан в тайных раскопках, — всё это произвело на меня весьма тягостное впечатление. И чем больше я жил в Парутино, тем больше выяснялось для меня печальное положение дела».

Понимая, что делать нечего, он предпринял исследования древних могил прямо на улицах Парутино и наткнулся здесь почти на сотню погребальных комплексов: 76 могил обычного типа и 22 земляных склепа. Кулаковский обратил внимание, что в погребениях отсутствовали стеклянные сосуды, и самыми поздними находками были «мегарские» чаши. Тем не менее, этот полевой сезон в Ольвии, судя по всему, ему представлялся неудачным.

В середине августа, на пути через Брест в Друскининкай к семье, «чтобы отдышаться там от южной жары и пыли», в ожида-



Из книги Сергея Крижичко
 «Архитектура античных государств
 Северного Причерноморья», 1993

План расположения раскопов на территории Ольвии (по состоянию на 1989 г.). Арабскими цифрами обозначены траншеи и различные углубления. Римскими цифрами обозначены раскопки и объекты исследования, локализация которых твердо установлена:

- I — раскоп Северных ворот города; II — участок И; III — раскоп НР; IV — раскоп Северо-Запад; V — раскоп Б-В; VI — раскоп Зевсов курган; VII — участок АГД; VIII — темное в стоя; IX — район дикастерии; X — Западные ворота; XI — раскопки на территории предместья; XII — Центральный квартал к юго-западу от алоры; XIII — восточный торговый ряд; XIV — гимнасий; XV — НГП; XVI — НГ; XVII — НГФ; XVIII — раскоп К; XIX — 1908 г. на центральной возвышенности Верхнего города; XX — P-19; XXI — раскоп М; XXII — раскоп северо-восточного участка обороны цитадели; XXIII — раскоп JI; XXIV — оборонительный комплекс на Заячьей бадке; XXV — раскоп P-25; XXVI — остатки развалов оборонительных стен в затопленной части Нижнего города; XXVII — «амфорные поля»; XXVIII — «пристань»; XXIX — раскоп НГСс; XXX — раскоп НГСю; XXXI — раскоп «Некрополь».

нии курьерского поезда на станции Фастов Кулаковский лапидарно отчитывается Флоринскому о результатах раскопок.

«Разных древностей — преимущественно посуды — я отправил вчера в Комиссию 12 ящиков (12 пудов 6 фунтов). Кроме моих находок, есть

там и покупки застрявших с зимы вещей у крестьян и евреев, так что получилась довольно изрядная коллекция вещей, и можно оставить ими (прибив их и поставив) красивую витрину, на которой будет на чём остановиться глаз. Тревожит меня и то, как мои ящики доедут. Ведь им пришлось сделать 40 вёрст на лошадях и предстоит сделать ещё 2000 вёрст в вагоне, а затем ехать по мостовой в Петербурге. Посмотрим, как это обойдётся» (16.08.1900).

Несмотря на вечное своеобразие славянских дорог, груз прибыл в Петербург удовлетворительно.

В переписке с Ильёй Суловым недоверчивый Карл Думберг сообщал, что он получает «от пана Кулаковского <...> печальные письма» и предупреждал:

«Великий Юлиан нашёл в Ольвии много хлама. Часть прислал сюда для склейки. Имейте в виду, что многие вещи им куплены в Ольвии. Он, наверно, скажет, что их нашёл».

Впрочем, эти оценки можно связать и с личным отношением Думберга к событиям и Кулаковскому. Вообще же после раскопок Кулаковского стало ясно, что вся южная часть села перекрывает древний могильник V–II веков до Р. Х. Чему удивляться: по большому счёту, вся земля — большое кладбище.

В середине октября 1900-го, когда ольвийские листья тоже осыпались, Бобринской, вернувшись из Парижа в столицу, шлёт Кулаковскому в Киев последнюю из сохранившихся эпистол:

«Гр. Мус.-Пушкин, переломивший себе ногу и больной, пишет мне, предлагая арендовать от Комиссии право раскопок в Ольвии, взяв всё пространство или частями, и просит сообщить ему наши предложения.

Предварительно очень прошу Вас написать мне, по возможности неотлагательно: 1) сколько десятин земли у М.-П. заслуживают эксплуатации и арендования? и 2) какую, по Вашему мнению, следовало бы предложить цену за весь участок?

Конечно, это сказать нелегко, но всё-таки не откажите мне хотя бы в приблизительных соображениях <...> Ольвийский кредит нам, вероятно, удастся спасти. Но всё же не позабудьте моей просьбы о снятии плана, командировании землемера и т. п. Деньги есть».

Неизвестно, как на самом деле отреагировал Кулаковский. Но письмо, разумеется, написал учтивое.

Как и — сообщил в отчёте соображения о дальнейших телодвижениях.

«Позволю себе высказать несколько предложений относительно

плана действий в Ольвии в будущем году, на случай, что будут устранены затруднения, которые создал в этом году граф Мусин-Пушкин. Наиболее важной и трудной задачей являются раскопки городища <...> Общий план древнего города ясен и без всяких раскопок. Если же питать надежду, что под мощным пластом насыпи можно ещё найти древние улицы, остатки домов и памятники, то путь к тому один: постепенно мелкими участками расчищать до древнего уровня почвы. Я бы думал, что такого рода работу удобнее и легче начать на нижнем городе, причём землю можно было бы свозить в реку. Те остатки укреплений со стороны реки, которые видели некогда Кёппен и Уваров, в настоящее время разобраны, и камень свезён в экономию. Но самые места ещё ясны, и от них-то можно начинать расчистку насыпи.

Само собою разумеется, что предварительно необходимо сделать точный план всего городища. Имеющиеся старые планы Кёппена и Уварова, как я мог в том убедиться, не точны, к тому же и овраги, огранивающие городище и проходящие через него, успели с тех пор значительно разрастись <...> Наконец, следовало бы начать розыски сплошных некрополей на западе и на юге от городища. Общий вид места к западу таков, что трудно сомневаться в присутствии там могильника. Местные «счастливыцы» не пробовали ещё там искать гробницы. Что же касается площади к югу от городища, то в прежнее время, когда экономия не возбраняла раскопок, там были раскопки, о чём свидетельствуют виднеющиеся кое-где ямы, бывали и находки, но какие — о том мне не удалось добиться каких-либо сведений. Так как вся эта территория находится под выгоном, то раскопки на ней могли бы производиться в любую пору. Летом при системе розыска гробниц щупами <они> не причинили бы никакого ущерба владельцу земли, который и после раскопок продолжал бы извлекать из своей собственности тот же доход, какой получается теперь от выпаса крестьянского скота на этом выгоне».

Планы планами, но и «вещи» в Ольвии попались. Борис Фармаковский, со следующего лета (1901) возглавивший ольвийские раскопки, писал Кулаковскому:

«С начальством и коллегами живу хорошо и отдыхаю от гнёта Ф. И. Успенского.

Об Ольвии я уже кое-что написал и Вам пришло. Копал я по улицам. Находок сделал много. Особой роскошью отличается одна большая ваза с белою облицовкою, украшенная полихромными рельефами стиля III в. до Р. Хр.

Пишу теперь отчёт о Ваших раскопках. Кроме большой вазы и ещё



Борис Фармаковский (крайний слева) с коллегами на ольвийских раскопках, 1904

нескольких вещей, мои находки однородны с Вашими. Ваши вазы почистил. Некоторые из них приобрели от того неожиданный интерес! <...> Летом буду опять в Ольвии и буду копать у гр. Мусина-Пушкина» (18.02.1902).

Фармаковский копал в Ольвии до 1915 года, что позволило Жебелёву сказать:

«городу, который в древности назывался счастливым, сопутствует счастье и в новое время. Его остатки и развалины нашли достойного исследователя».

Кулаковский не был «недостойным», — он был уставшим.

Собственно именно Фармаковский летом 1901-го положил начало планомерному исследованию античного города и его некрополя. Приступая к раскопкам, он писал отцу:

«Несколько дней должен был провести в Очакове: тут же попал в полную гоголевщину. Ну и город! Беднота, грязь, невежество, то есть как раз 3 главных признака варварства, особенно характерные для Очакова. Никакого развития; косность самая ужасная. Теперь со 2 июля работаю в Парутине; живу как дикий скиф среди других диких. Здесь варварство в полном своём развитии: лень, грязь, невежество, бедность. Чуждое положение, климат, и люди делают всё, чтобы всё это испортить. Земля из плодородной превращается в истощённую; нет ни одного деревца, а между тем здесь могут расти все фрукты и виноград. Народ рассуждает

так, что если бог не даст урожай, то царь будет кормить даром и т. п. О результатах работы пока говорить трудно» (2.07.1901).

Изображая дикаря, Фармаковский тем не менее поставил четыре задачи:

а) систематическое исследование всей площади между Парутиным и владениями графа Мусина-Пушкина;

б) определение границы древнего некрополя на юге;

в) продолжение систематических раскопок по улицам села Парутина, начатых в 1900-м Кулаковским;

г) установление западной границы некрополя.

Намеченному плану однокашник Ульянова (Ленина) по Симбирской гимназии следовал с методичностью, применяя послойный метод, последовательно выясняя картину постепенного изменения ольвийской жизни на протяжении всех веков её существования. В письме родителям:

«Копая без конца, веду описи, черчу планы, воюю с кладоискателями. <...> Накопил массу <...> Есть и золотые, и серебряные вещи. Гр. Бобринской уже писал мне (после моего письма о результате работ), что мои находки — “новые страницы в истории нашего юга, и как таковые — бесценны” <...> В общем, результатами я доволен. Расходы уже приближаются к 2500: требовал ещё. Деньги уже идут» (10.08.1901).

Тогда же, летом 1901-го Фармаковскому посчастливилось открыть катакомбу II века, ограбленную ещё в древности. Темпераментный граф Бобринской примчался в Ольвию.

Археология, бесспорно, была одной из областей, *всегда* привлекавших Кулаковского. Он, кажется, просто не научился проводить летний досуг лёжа на курорте (во всяком случае, до женитьбы, когда его начали подвигать к этому обстоятельству), и смена деятельности университетского профессора с лекционной на археологическую, связанную с *рукодельным* постижением истории, на протяжении 1890-х регулярно была ставима им во главу угла, едва речь заходила, «где провести лето». Он отдавался этой работе с той неуёмной энергией, которая не у всех находила поддержку и понимание, но не может не восхищать. Можно ли полагать совпадением, что первая поездка на раскопки летом 1890-го и женитьба осенью 1890-го совпали случайно? И надолго?

Поглядите на географическую карту Крыма, проследите маршруты Кулаковского: один перечень объектов, в течение



Илья Репин. Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, 1903

второй половины 1890-х так или иначе обследованных Кулаковским на его территории за несколько летних месяцев, внушает уважение. Можно сказать, что он исходил Крымский полуостров вдоль и поперёк, да не только исходил, но в меру сил исследовал. Однако ещё большее уважение внушает его труд по комментированию и изданию найденных памятников.

Раскопки в июле–августе 1900-го были последней археологической экспедицией Кулаковского. С началом следующего столетия его интересы свернули в другое, менее суетное и более кабинетное русло, однако деятельность на поприще археологии не прошла бесследно.

Раскопками в Крыму и тем, какие плоды они приносят, он, конечно, продолжал интересоваться: во-первых, и вправду интересно, во-вторых, отдыхаешь от семьи и службы, в-третьих заработок, и немалый.

Приятель Кулаковского, многолетний председатель Таврической учёной архивной комиссии Арсений Маркевич, вспоминая об археологических занятиях киевского профессора, подводил этим занятиям содержательный итог:

«Войдя в область истории и древностей Тавриды, он тогда уже пришёл к мысли о важности оживления и объединения изучения Тавриды, и смотрел на Таврическую учёную архивную комиссию как на «естественный центр, куда могли бы стекаться разного рода важные сведения, которые ускользают от наезжающих на время в Крым исследователей». «Дело же идёт, — писал он мне, — почему-то вразброд, а потому и достигается гораздо меньше, чем бы это было возможно».

В конце [1894] года он обратил внимание Императорской археологической комиссии на важность издания археологической карты Крыма и высказал пожелание, чтобы она взяла этот труд на себя. Археологическая комиссия сочувственно отнеслась к этой мысли и предложила Юлиану Андреевичу принять на себя “труд подготовки проектируемой археологической карты и составления проекта археологических разысканий во внутренней части Крымского полуострова”. Это обстоятельство вызвало живую переписку у нас.

В 1895 г. он снова был в Крыму, главным образом из-за издания описания Керченской катакомбы, и в этом же году произвёл при моём участии обследование части Симферопольского уезда для археологической карты Крыма. К сожалению, работа эта была непродолжительна и не привела к желательным результатам в виду того, что Юлиан Андреевич был занят ею весьма короткое время, и не было возможности воспользоваться тогда же изготовлявшеюся Генеральным штабом одновёрстной картой Крыма (работая вскоре над картой Европейской Сарматии по Птолеюму, Кулаковский пользовался “Сборником тригонометрических и астрономических пунктов России”, изданным Генеральным штабом. — А. П.), а отчасти потому, что и я не мог в то время взять на себя предлагавшейся мне ответственной части работы. Но и к этому делу Юлиан Андреевич отнёсся с большим увлечением, старался “войти в археологию и историю Крыма”, усиленно знакомился с исторической литературой о Крыме, делая выписки, заметки и т. д.

В 1896 г. он снова был в Крыму, производил раскопки в долине Бельбека близ Симферополя и близ деревни Эвель-Шейх; обследовал некоторые места в окрестностях Судака, Карасубазара и Бахчисарая, развалины церкви св. Троицы близ с. Лаки, сделал эстампаж с надписи, указанной ему мною на одной из стен Мангупа и изданной В. В. Латышевым. Целый ряд учёных трудов, касавшихся Тавриды и закончившихся прекрасной книжечкой “Прошлое Тавриды”, был результатом его учёных связей с этим краем.

Лоренцо Валла, наиболее гуманный из итальянских гуманистов, называл пять условий успешной научной работы: первые два состоят в «общении с образованными» (*litteratorum consuetudo* — научная среда) и в изобилии книг, третьё и четвёртое — удобное место и свободное время (*temporis otium*). Пятым зачтён душевный покой (*animi vacuitas*) — особая «пустота, незаполненность, высвобожденность души».

«Если отсутствует хотя бы одно из этих условий, это приносит множество неудобств; что же следует подумать, если

отсутствуют они все?», — дивится исполненный досуга возрожденческий литератор. Он не знал, что хуже, когда одно возникает, другое исчезает, а затем меняются местами.

В нервозности научным занятиям предаваться трудно: легче пить водку. Под душевным равновесием следует понимать отсутствие страстей, часто снедающих талантливых, и известное безразличие к окружающему и особенно окружающим.

Кулаковский сбегал от этой чересполосицы, щедро поставленной семьёй, на раскопки. Он мог бы повторить вслед за Лессингом, что «мы редко бываем настолько довольны человеческим обществом, чтобы покой, представляющийся нам вне общества, не казался заманчивым», и когда предоставлялась такая возможность, бежал от людей как от огня.

Мизантропия, тщательно маскируемая, вуалируемая, особенно в отношении студентов, проникала всё его существо: от душевных движений, чаще всего скупых, — до умственных, которые чуть щедрее.

Семейные обстоятельства середины 1890-х не добавляли бодрости духа. В начале января 1895-го Дмитрий Беляев откликается на его письмо:

«Очень, очень Вам благодарен, милейший Юлиан Андреевич, что Вы наконец откликнулись, а я уже думал, что у Вас что-нибудь не ладится в семействе, что опять напали какие-нибудь болезни, которые поглощают всё ваше время и внимание. Слава Богу, что мои опасения оказались напрасными. От души желаю, чтобы будущий год прошёл для Вас так же благополучно и счастливо и принёс Вам много радостей и удовольствий.

Как жаль, что я Вас уже давно не видал. Хоть немного прошло годов, но много воды утекло за это время. Вероятно, и Вы изменились. По Вашим письмам, которые я всегда читаю с жадностью, видно, что настроение Ваше за последние годы значительно изменилось. Того весёлого остроумия и уверенного взгляда на жизнь, которыми Вы ободряли и других, теперь, по-видимому, уже нет. Вы всё как-то недовольны собою, печальны и невесело смотрите на жизнь. Если это зависит от временных неудач и вышних напастей вроде болезней или каких-нибудь неприятностей, то нет надобности и не следует придавать этому большое значение: всё со временем промчится и обойдётся.

Очень жалею, что мне не приходится быть у Вас, в Киеве, весною. Я с удовольствием бы поехал туда повидаться со своими киевскими друзьями, всегда так радушно меня принимавшими. Не знаю, куда придётся

и придётся ли поехать куда-нибудь в наступившем году. Но если буду на юге, хоть бы и не в Киеве, непременно заеду на несколько дней в Ваш благословенный град.

В Петербурге Вы, вероятно, развлечётесь и возвратитесь в более весёлом настроении. Теперь там много интересного и нового. Дела Ваши учёные также, вероятно, устроятся благополучно и Вы энергически возьмётесь за новые труды.

Для меня лично прошлый год, кажется, кончился благополучно, хотя и прихварывал я частенько; но сделать много я также не мог. Написал только статейку о св. Ирине¹, а прочее время занимался рассматриванием письменных работ [студентов], с которыми и покончил. Что ценного сделать в будущем семестре — не знаю, как не знаю и того, пройдёт ли он благополучно. Московские истории, пожалуй, отразятся и у нас: так они соблазнительны и возбуждательны».

Нужны ли к этим строчкам комментарии?

Экивок. Занимались ли сотня человек подробностями биографии Мандельштама, если бы не его литературная продукция?

Какая разница, кто был его соучениками, заплатил ли он дантисту, по каким адресам жил в Москве и Воронеже, — если бы не стихи? Если бы не стихи, не о чем говорить.

Почему? А остальная жизнь? А биографические приключения, страхи и полоумные прыжки из окна?

Это неинтересно, если нет главного: то, ради чего.

Если у человека нет того, ради чего, истории он неинтересен. Он интересен налоговым службам, паспортному столу, водоканалу и — новость на три дня — похоронным бюро.

У Кулаковского было то, ради чего.

Поскольку у него было то, ради чего, — я пишу эту книгу, превращая его «ради чего» в собственное.

¹ Речь о статье: Д. Ф. Беляев. Внешний и внутренний вид храма Св. Ирины в Константинополе // Византийский временник. С.-Петербург, 1895. Т. II. С. 177–183. Датировка письма установлена по контексту и году публикации.

КУЛАКОВСКИЙ и КЛАССИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Отступление четвертое, конспективное

Чтобы частично закрыть тему «начало—середина 1890-х», остановлюсь на отношении Кулаковского к вопросам развития средней и высшей школы, занимавшим его наряду с прочими. К ней я буду возвращаться, когда хронологически пойдёт речь о конце декабря 1911 года, содержательно — о делегатстве Кулаковского в столицу на Первый Всероссийский съезд преподавателей древних языков. Вояж — педагогичнее некуда.

Уже приходилось касаться педагогических суждений Кулаковского, и теперь, в створе его статей:

- «По поводу предполагаемого русского учебного издания классических авторов», «Классические языки в русских гимназиях» (1890),
- «По поводу проекта создать Духовную академию в Вильне» (1893),
- «Школьное дело на нашем Юге», «Полемика по поводу церковно-приходских школ» (1894),
- «Настоятельный вопрос учебной практики в наших гимназиях» (1895),
- «К вопросу о новых учительских экзаменах», «Гимназия и учительство» (1896),
- «Гонорар в русских университетах» (1897),
- «По поводу циркуляра министра народного просвещения» (1898),
- «К вопросу о реформе средней школы» (1900, 1901), «Ещё к вопросу о реформе средней школы» (1901),
- «Проект нового устава гимназий» (1904) —

ограничусь замечаниями, поскольку тема «Кулаковский и классическое образование» требует особой разработки: то ли историко-культурной, то ли содержательно-перспективной.

Мне по-прежнему не кажется, будто она имеет ныне интерес узкоисторический, но всё-таки не может в этой книжке занимать внимание читателя больше, нежели заслуживает. Это тем более нужно отметить, что параллельно с работами по «народному просвещению» Кулаковский вплотную начинает сотрудничать в регелевском «Византийском временнике» и других повременных изданиях, выступая с публикациями по византистике, надчерноморским древностям и эпиграфике. Эти труды, во-первых, никак не могут быть поставлены по значимости в уровень с его работами по школьному делу,

а во-вторых, до сих пор могут претендовать на хотя бы историческую новизну, то есть — остаются поучительными.

Если воспринимать «образовательные статьи» Кулаковского как отходы филологического производства, замешенные на чесотке «служения родному просвещению», вдутого в уши и правых, и левых, и право-лево-либеральных интеллигентов, можно было бы собрать их воедино как образец публичной деятельности незаурядного человека, в чём-то разбрасывающегося, не могущего сосредоточиться на главной теме и бросающегося умственным нагишом в пачкотню повседневности. Но может, это, а не планомерное сидение за письменным столом, и есть жизнь?

Гегель в начале XIX века, будучи директором Нюрнбергской гимназии, должен был выступать с приветственными речами и формулировать задачи средней школы. В связи с изучением классической древности (*studia humaniora*) он говорил, что классическая древность даёт представление обо всём человечестве в целом:

«свобода, присущая древним государствам, внутренняя связь между общественной и частной жизнью, между общественными взглядами и образом мысли личности влекут за собой то, что великие интересы индивидуальной гуманности, важнейшие опоры общественной и частной деятельности, силы, низвергающие и возвышающие народы, представляются мыслями повседневного обихода, простыми, естественными взглядами на будничные предметы обычной жизни — мысли такие в нашем образовании не входят в круг жизни и деятельности, — и потому законы и обязанности древних представляются нам в живых образах, в виде нравов и доблестей, а не в форме рефлексий и основоположений, на которые мы ориентируемся как на далёкие и возложенные на нас предписания. В университете начинается дальнейшее отделение, большая направленность на особенную профессию» (2.09.1813).

Этот длинный спич выдержан по всем ранжирам умного прусского чиновника. И сколь бы высокопарным он ни казался, стоит помнить, что классическое образование, хочешь не хочешь, отрывало сознание от бытовухи, а талантливо организованное — устаивало чувства полёта, и без него сделать это было бы трудней.

Конечно, знание древних языков и в то время, и тем более сейчас нужно немногим, но по тем, кого эти языки занимали,

можно было осуществлять естественный отбор в интеллектуалы. Остальные, даже поступив в гимназии, должны были быть признаны людьми средненького умственного ценза, и чтобы не сбивать число студентов на число преподавателей и чтобы не слишком быстро неслось просвещение, их просто нужно было держать в классах как балласт, без которого каравелла не сётся. Это потому, что, по Гегелю,

«самый благородный питающий материал в самой благородной форме — золотые яблоки в серебряных чашах — содержится в произведениях древних в несравненно большей степени, чем в любых других произведениях какого-либо времени и нации» (29.09.1809).

По такому принципу была построена система образования и в Пруссии, и в России: рассчитывали на тех, кто может, принуждая тех, кто не хочет. Образование формировалось по закону: «шаг вперёд, два шага назад». Быстрее не стоило.

Лишь, пожалуй, Царскосельский лицей, придуманный великим Михаилом Михайловичем Сперанским (1772–1839), был рассчитан на совершенно штучную работу, и каждый выпускник первых лет оставил в истории Российской империи заметный деловой и — больше — художественный след. Остальные средние учебные заведения ориентировались на довольного массового потребителя, правда, из определённого сословия.

«Известные категории населения, как домашние слуги, ремесленники, подёнщики и “народ рабочий”, едва ли обладают достаточным “разумом” и “любочестием”, чтобы быть допущенными к законодательству», — писал граф Сперанский, подразумевая выучку законодателя.

«Раз не все слои общества могут быть допущены к праву выбора, то тем более нельзя допустить всеобщего права представительства».

Можно ли ещё и сегодня, встречаясь на улице с народонаселением, с уверенностью сказать, что Сперанский в начале XIX века был так уж не прав? (Зачем латынь сельскому бухгалтеру? Вот державой править — это сколько хочешь.) Однажды в Эрфурте (1808) после разговора с Сперанским Наполеон, подводя его к Александру I, сказал в шутку ли, всерьёз: «Не угодно ли вашему величеству променять мне этого человека на какое-нибудь королевство?» Царь надул губки, ехидно улыбнувшись. И потихоньку — завистливо и опасно — чмырил Сперанского.

В художественном мышлении середины и особенно второй половины XIX века античность как эфемерное явление высту-

пает эрзацем возвышенного идеала, отвлечённого и далеко отстоящего от современности и прагматических её реалий. Именно по этой причине от античности отворачивалось всё живое, в значительной степени составлявшее революционный вектор становления искусства и литературы.

Обучение художника включало штудирование антиков, но «классическая древность» перестала быть для этого художника источником вдохновения, арсеналом мотивов и идей, форм и способов мыслевыражения. К ней обращается лишь нормативно-академическое или мечтательно-идеальничающее искусство, образующее теньевую, «упадническую» сторону историко-художественного процесса.

Примечательно, что примерно до конца 1900-х деятели искусства не замечали развития научного знания об античной эпохе, а ведь в это время происходила настоящая мыслительная революция в представлении об искусстве Греции и Рима. Если российские поэты 1840–1850-х пишут: «Младенцем был и умер грек» (Ап. Майков), в Элладе покоится «усопшая во гробе красота» (Н. Щербина), а «искусство наших дней приковано к вседневности бесцветной» и поёт не о красоте и блаженстве, а «полезные для современников песни», исполненные «негодования на жизнь и судьбу» (С. Дуров), то через полвека Анненский переводит Еврипида, Вяч. Иванов — Эсхила, Зелинский — Софокла, а Соловьёв помогает Фету в конце 1880-х переводить Вергилия и сам пыхтит над переводами диалогов Платона. То есть: превращают вечное в современность.

Художественная идея античности во все времена нужна была только здоровым романтикам (вроде Лоуренса Альма-Тадемы и Генрика Семирадского), а поскольку оголтелых романтиков среди разумных людей немного, неромантики проклинали гимназии, в которых их слух и ум терзали гекзаметрами, александрийским стихом и мучили переводами латинской риторики: «Доколе же ты, Катилина, будешь злоупотреблять нашим терпением? Как долго ещё ты, в своем бешенстве, будешь издеваться над нами?» итд. (А ведь как звучит в оригинале: «Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?») Античность для них была, с одной стороны, тем самым Катилиной — дерзким, назойливым, с другой — воспитывала полезное в жизни *практическое равнодушие*. С этим сталкивался Тацит:



Киев. Гимназисты катаются на коньках во дворе Первой гимназии, фото 1900-х

«бушует битва, падают раненые, а рядом люди принимают ванны или пьянствуют, среди потоков крови и валяющихся мёртвых тел разгуливают публичные женщины» (*История* III 83).

Равнодушие тоже нужно воспитывать, и классическое образование производило эту важную работу в меру своих литературных сил. Потому что государству нужны равнодушные, они хоть и живут, и едят, и мрут, и требуют мест работы и зарплаты, но не мешают жить окружающим и особенно руководящим. Время от времени даже равнодушным необходим эмоциональный выхлоп:

«Жители наблюдали за борьбой и вели себя, как в цирке — кричали, аплодировали, подбадривали то тех, то этих. Если одни брали верх и противники их прятались в лавках или домах, чернь требовала, чтобы укрывшихся выволакивали из убежища и убивали».

Работать на такую империю или противиться ей — одно и то же. Там, где нельзя служить делу, отмечал Георгий Кнабе, остаётся служить личности кесаря или своей собственной, а понять, где здесь граница, зачастую трудно, но важно.

Среди романтиков, как ни странно, попадаются разумные люди, и вот, уже не Гегель, а наш человек, Яков Григорьевич

Гуревич (1841–1906), основатель и директор частной «Гимназии и реального училища Гуревича», заказавший и напечатавший статью Кулаковского «Классические языки в русских гимназиях» в собственном временнике «Русская школа» (1890, кн. 1), — писал ему:

«дать руководящую статью относительно желательной постановки в наших гимназиях преподавания древних языков <...> в которой была бы выяснена несостоятельность господствующего грамматического метода с преобладанием *extemporalia* (упражнение, перевод с древнего языка на русский и наоборот. — *А. П.*) над чтением классиков».

Кулаковский всегда выступал за здравый смысл, особенно в общественных делах, и заслужил похвалу Гуревича: он, мол, «не только владеет серьёзным знакомством с предметом своей специальности в качестве профессора (не может быть! — *А. П.*), но и внимательно следит за школьным вопросом».

Кулаковский и вправду внимательно следил за этим, причём порой глядел настолько в корень, что его текст, который я намерен сейчас перепечатать из ЖМНП (1890, № 2), время от времени нынешним учителям (и профессорам с доцентами) полезно освежать в памяти, во всяком случае, риторическую его часть. Это нужно, чтобы не расслабляться на работе.

Речь о подготовке Львом Георгиевским (соученик по Лицею цесаревича Николая) и Сергеем Манштейном, из которых первый был директором, второй преподавателем Царскосельской Николаевской гимназии, — «Иллюстрированного собрания греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями». Среди профессоров в объявлении об этом издании были названы Фаддей Зелинский, Василий Латышев, Иван Нетушил, Адольф Сонни и Иосиф Шебор; Кулаковского среди них не было, объявление он увидел в руках у Сонни, и его это сильно уязвило.

Негодно обрушившись по ходу дела на учебные издания Дария Ильича Нагуевского («в которых не только комментарии, но и изложение содержания данного произведения, представляют грубый перевод на язык, которым плохо владеет переводчик, не умеющий к тому же вдуматься и понять надлежащим образом ни свой латинский, ни немецкий оригинал»), подвергая осмеятельному сомнению начинание Георгиевского и Манштейна (а ведь им удалось решить эту задачу в 50 выпус-

ках текстов древних писателей, с 1891 по 1917-й, в нескольких стереотипных изданиях) и вообще всячески эмоционируя («...забавно вопят против подстрочников»), Кулаковский в главной части статьи говорит не столько об учёбе и учениках, сколько об учителях. Эти соображения, увы, оказываются вечными, поскольку «худших везде большинство» (Биант Приенский).

У нас учитель древних языков, который по праву носит имя *учителя*, есть довольно редкое исключение. Огромному большинству лиц, исполняющих эти обязанности, имя *учитель* усваивается лишь про традиции, и было бы большим недоразумением предполагать о них, что их роль в классе соответствует термину “учитель”. Если судить по преобладающему общему типу, то в настоящее время русское слово *учитель* следовало бы передавать на латинский язык никак не через *praeseptor*, а, пожалуй, *inquisitor*, от *inquirere*, что значит: выспрашивать, разведывать. Учитель у нас есть вечный экзаменатор. Его обязанность — задать урок и поставить отметку. Чем больше отметок заносит он в классный журнал, тем он, значит, рачительнее ведёт своё дело. Так как учитель не *учит* учеников, а только обязан стараться *заставить их учиться*, то вполне естественно, что свою деятельность в классе он обращает в *уловление* ученического незнания, которое немедленно протоколируется выставлением балла в журнал в графе, соответствующей данной фамилии. Улавливанием незнания исчерпывается у большинства учителей их отношение к делу учения <...> Если дело учителя сведено к задаванию урока и затем уловлению незнания, то иначе и быть не может. Если нет репетитора, то взамен появляются на помощь подстрочники <...>

Дело классицизма в гимназии будет стоять всё на том же низком уровне, как ныне, пока для русского слова *учитель* латинский перевод будет *inquisitor*. К сожалению, на этом уровне понимания своих обязанностей стоят и гг. редакторы будущей коллекции древних авторов. В этой серии изданий они хлопочут о том, чтобы отнять у ученика “возможность уклоняться при домашнем приготовлении от ознакомления с содержанием комментария”, с каковою целью вознамерились поместить его не внизу под текстом, как то общепринято, а после текста, в другой половине книги. Важность их тона, когда они говорят об этом ничтожном внешнем изменении вида издания, вызывает поистине удивление относительно гг. редакторов как педагогов. Они хлопочут прежде всего о том, как ученик готовит свой урок дома. Безмерно важнее другой вопрос: как проходит этот урок, как дают его в классе гг. педагоги. Пока учитель не совлечёт с себя привычного и удобного халата *inquisitor'a*, до тех пор никакое

издание, как бы хороши ни были в нём комментарии и даже иллюстрации, не выдержит конкуренции с подстрочниками, ибо последний скажет всё-таки больше и проще, чем самое лучшее издание с комментарием <...>Заставлять детей и юношей учиться в классе — дело, требующее великого напряжения, постоянного внимания, приспособления и опытности, тогда как халат инквизитора освобождает педагога от всякой работы, позволяет ему часто при полном незнании разыгрывать роль авторитета и нещадно ставить плохие баллы за невыученный урок, проверяя ответ ученика хотя бы даже по открытой книге.

Такого рода порядки в нашей школе содействовали образованию типа “инквизитора”, который замещает живую душу класса, лицо учителя. Самый тип, конечно, имеет исконную древность в школе, ибо в среде педагогов всегда была и будет тенденция заменять трудное дело учения простым спрашиванием заданного урока. Но желательно, чтобы общие распоряжения администрации именно преграждали возможность такого *простого* взгляда на высокие учительские обязанности. Уврачевание нашей современной школы — дело сложное, и претензия предлагать панацею со стороны гг. Георгиевского и Манштейна, не выходящих в своих представлениях об обязанностях учителя дальше заботы, как ученики готовят дома свои уроки, и не уразумевших, где причина распространения “ужасающих” их подстрочников, этого, по их словам, “страшного бича школы”, — претензия эта заслуживает только сожаления. Господам педагогам надлежит побольше думать о том, что учение делает в классе».

К концу статьи автор, пожалуй, понял, что в полемическом задоре оголтело смешивает два явления — учительскую непригодность и непригодность учебных пособий. Но переписывать не стал.

Если со стороны преподавательской непригодности — вечного явления — возмущение Кулаковского носит риторический характер, то со стороны охаивания хорошего, в общем-то, начинания Георгиевского и Манштейна — книжки для гимназистов издавать — его правоту следует подвергнуть сомнению. На антиучительскую риторику он, пожалуй, имел право: сам выкладывался в аудитории как мог. А вот касательно «Иллюстрированного собрания...», остававшегося лучшим в классическом просвещении последние три десятка лет империи, нужно самого Кулаковского упрекнуть в непроницательности.

На это обратили внимание Георгиевский и Манштейн в ответной заметке «Несколько слов по поводу заметки г. Кулаков-

ского о предполагаемом русском учебном издании классических авторов» (ЖМНП, 1890, № 3).

Не в понятном негодовании дело и не в оскорблённом самолюбии: реакция на замечания освещает ту же проблему с несколько иной стороны. У Кулаковского есть в тексте такие места,

«которые не только наводят на грустные мысли, а прямо вызывают негодование во всяком, кто только имел случай наблюдать труд учителя и кто привык относиться с уважением к личности честных тружеников. Мы имеем в виду те места заметки г. Кулаковского, в которых он — не без претензии на остроумие — именует учителя “инквизитором”. Действительно, имел ли г. Кулаковский столь широкое поле для наблюдений, чтоб огульно обзывать так учителей? Сколько известно, он лишь в течение одного года был преподавателем в гимназии, а этого ещё слишком мало для того, чтобы иметь право делать нападки на целую корпорацию. И подумал ли г. Кулаковский, когда, в увлечении своим словечком “инквизитор” <...> что будь наши преподаватели действительно таковы, какими он их изображает, то вина в этом падала бы далеко не на одни школьные порядки, а в значительной мере на тех самых профессоров, к числу которых и он принадлежит? Очевидно, что об этом он не подумал, когда “так забавно вопил” (повторяем выражение г. Кулаковского) об “инквизиторах”. Во всей “инквизиторской” части его заметки обнаруживается какое-то удивительное смещение понятий и невероятное непонимание задач преподавателя средней школы. По его словам <...> выходит, как будто бы, спрашивания заданных уроков и совсем не должно быть, а забота о том, как ученики будут готовить свои уроки дома, вменяется нам прямо в преступление, так как высказанные нами по этому вопросу соображения дают ему смелость и нас причислить к типу “инквизиторов”.

<...> Не имея намерения далее останавливаться на заметке г. Кулаковского, мы недоумеваем, какую цель преследовал автор в своих нападениях как на нас самих, так и на предпринятое нами, но ещё не вышедшее в свет издание.

Впрочем, от личных нападков никто <...> не застрахован; только отныне мы будем знать, какую цену можно будет нам придавать всему тому, что будет про нас говорить, писать или печатать г. Ю. Кулаковский, с которым, во всяком случае, мы ни в какие дальнейшие пререкания вступать не намерены, так как спорить против недоброжелательства, чем ни было бы оно вызвано, по меньшей мере бесполезно. А что заметка, вызвавшая наш ответ, подсказана именно чувством недоброжелательства, видно из того, что поводом к оценке нашего предприятия послужило не само

издание, а лишь извещение о нём, обращённое к лицам, для которых оно может представить особый интерес по самому роду их занятий».

О чём говорит через 130 лет эта полемика? О том, что Кулаковский был прав по большому счёту, Георгиевский и Манштейн — по малому. Кулаковский говорил: учитель, если ты учитель, хоть ты и посредственность, но постарайся быть хоть чуточку талантливее. Георгиевский и Манштейн говорили: о чем это судачит Кулаковский? Хотя все трое и ратовали за улучшение гимназического образования, генерально прав взрывной Кулаковский, который видел в средней школе (и университете) задачу вместо неталантливых учителей насадить талантливых, да где ж их взять? «Худших везде большинство».

Не в том ли воздыхал молоденький Владимир Печёрин в статье «О греческой эпиграмме» (1836), писанной для обретения профессорского звания в Московском университете?

«Да явятся и у нас в России Гёрдеры и Якобсы с блестящими талантами, развитым классическим образованием! Да перенесут они на отечественную почву прекрасные цветы, распустившиеся под вечно ясным небом древней Эллады».

Этот человек был первым российским диссидентом, «невозвращенцем», принявшим католичество, боровшимся с протестантами и умершим 77-летним капелланом в одной из больниц в Дублине. А как, вишь, волновался об империи с её учебным классицизмом.

Не то Кулаковский. Он всякий раз радел о сохранении в худобедной средней школе древнегреческого и латыни, не сбегая герценом за границу от пышных приднепровских садов.

Даже в городской газете он обсуждал вопросы классического образования.

Скажемте, невзирая на то, что полагал (небезосновательно), будто римская литература не стремилась к самобытности, в статье «Цицерон в истории европейской культуры» он писал, откликаясь на статью Фаддея Зелинского о том же Цицероне в «Вестнике Европы» к 2000-летнему юбилею римского оратора, что —

«Цицерон вдохновил автора, и сам отразился в своём панегиристе как представитель изящного вкуса в литературе.

Мы далеки от мысли дополнять в чём-нибудь блестящего автора; но думаем, что каждый русский читатель невольно поскорбит за свою ро-

дину, сопоставляя с этой блестящей картиной истории мысли судьбы родного просвещения» (*Киевлянин*, 1896, № 95, 6 апреля).

Густав Густавович Шпет (1879–1937), слушатель Кулаковского, выпускник Университета св. Владимира 1905 года (между прочим, учитель Анны Горенко в Фундуклеевской гимназии), блестящий эрудит и спекулятивный философ, анализируя в книге «Очерк развития русской философии» роль Ивана Кронеберга (1788–1838), профессора латинской словесности Харьковского университета, писал:

«Слово, выражающее ум, есть язык; слово, выражающее творческий дух человека, есть искусство; наука о слове — *филология*. Особенное значение Кронеберг придаёт изучению языков греческого и латинского, выступив пламенным защитником классического образования в пору, когда этот путь культурного развития нами ещё не был испробован и когда, следовательно, можно ещё было верить, что этот самый прямой путь к европейской образованности не закрыт для России. Не без беспокойства по этому взирал Кронеберг на опасность утери этого пути <...> Философия по отношению к древу словесности — сила, которая гонит в него соки и содывает дерево живым и цветущим».

Здесь же Шпет приводит цитату из Багалая: «Кронеберг своими изданиями сыграл в Харьковском университете такую же роль, какую позже в Московском университете — Павел Леонтьев своими “Прописями”», и продолжает:

«Это поучительное замечание наводит на грустные размышления: и “Прописи” оказались не по плечу русскому читателю, и голос Кронеберга оставался гласом в пустыне мёртвых».

В силу этого, пожалуй, не стоит списывать всё на желание ряда министров просвещения — от графа Дмитрия Толстого до графа Ивана Толстого — противопоставить классицизм «язвам материализма», как принято делать. Не противопоставить, а *отвлечь* одним от другого.

Михаил Леонович Гаспаров в интервью 2004-го заметил, что дореволюционное российское «классическое образование» — совсем не идеал: сосредоточившись на греческой и латинской грамматике, оно душило несколько поколений и сумело расширить свой культурный кругозор лишь накануне революции. Революция сделала своё дело, и вопрос об изучении древних языков в среднеобразовательной школе снят вообще. Однако воспитательную функцию, которая, как ныне очевидно,

способствовала расцвету классической филологии, учебный классицизм выполнил.

В век гаджетов и электрических виртуальностей многие из прежних учебных дисциплин, десятилетиями казавшихся неизблемыми, отходят (начертательная геометрия или сопромат). Мы помним: образование — то, что остаётся в голове, когда забываешь всё, чему учили. Но поскольку не все учившиеся должны быть дисциплинированы в алгебре и геометрии, физике и химии, то есть в области точных наук, какие-то начатки таких знаний должны всё-таки сохраняться (таблица умножения?), чтобы помочь *изощрению способности познания*. В гуманитарной области не иначе. Но если точная дисциплина работает только с головой, то гуманитарная ещё и с сердцем. Человек с годами неминуемо забудёт себя всячиной — нужной засорит и ненужной замусорит, — «последними известиями» или профессиональным навыком, но в эру всеобщей усталости мало у кого находится мужество породить что-нибудь из себя, то есть, как бы «из ничего».

Сто лет назад было не иначе, хотя с усталостью боролись длительным досугом, водами, европами, кумысом. Оттого было важно создать условия для самой *возможности* породить из ничего, даже если ею воспользуются единицы. Ведь много филологов не нужно — нужно подтверждение, что государство, воспитывающее филологов, действительно существует, а не ему кажется, что существует. Держатели двуглавого византийского орла, трёхцветного «бесик'а» (бело-сине-красный), певуны «Боже, царя храни» в видах самоутверждения как культурной единицы на территориях планеты, оконтуренных курвами границ, пеклись об образовании 1% населения особенно: остальным 99% это было попросту не нужно.

Напористость, с которой Министерство просвещения насаждало классические языки в гимназиях, из-за чего слишком многие часто оставались на повторный курс, всячески проклинаемая это нововведение, всё-таки дало нелишние всходы. Когда, наконец, — к радости отстающих, желавших учиться невесть зачем не в реальных училищах, а именно в классических гимназиях, — изучение греческого языка вновь было отменено, особенно облегчения в сфере гуманитарного образования эта мера не принесла. Ещё раз напомним фразу Жебелёва в «Авто-

некрологе»: в гимназии он «древними языками занимался без всякого отвращения и не без успеха». Ради таких, как Жебелёв, и существует государство. Почему разумных людей должно быть много? «Худших везде большинство».

Мих. Кальницкий в книге «Гимназии и гимназисты» (2014) приводит сетования персонажа фельетона Власа Дорошевича (1865–1922), популярного журналиста рубежа веков. Персонаж

«не знает, зачем он с такой ясностью всю жизнь помнит:

— Дарейю кай Парюсатидос гигнонтай пайдес дюо, пресбютерос мэн Артаксерксес, неотерос дэ Кюрос.

Много очень важного, очень нужного, очень интересного в жизни забыл, — а вот “Дарейю” с “Парюсатидос” помнит, и будет помнить до гробовой доски. Он когда-то пустил их в свою голову, и эти Дарий с Парисатидой — жильцы, которые ничего не платят, но иногда производят шум по ночам».

В 1902–1903-м учебные программы гимназий были пересмотрены, для большинства гимназий древнегреческий стал обязательным.

«Греки» как настоящие архаисты, конечно, сокрушались.

Кулаковский, хотя был латинист, а не грек, сокрушался даже других.

«С осени 1865 года введено было изучение латинского языка в гимназиях с первого класса и предположено начинать изучение греческого языка с третьего <...> Реформа эта, завершившая собою целый ряд коренных преобразований, которыми было так богато прошлое царствование [Александра II], имела в ту пору ожесточённых врагов. Успешное её проведение стоило великих трудов и упорных усилий приверженцам классицизма; но их одушевляли и поддерживали широкие и светлые надежды <...> Мы верим <...> что классическая школа есть наилучший тип среднеобразовательного учебного заведения, тип, наиболее выработанный, прочнее, чем другие, сложившийся, тип, завещанный историей европейского просвещения и уже потому самый надёжный».

А ведь за это самое, за отмену греческого в гимназиях выступал в 1879-м зоил Модестов. Ростовцев в некрологе рассказывал, что Модестов не был, конечно, противником классицизма (сам латинист), но классицизм в том виде, в каком его насаждали в гимназиях, узкоформальный и грамматический, заимствованный из прусских гимназий, был ему противен. Он позволил себе высказаться об этом открыто, в лекциях и в пе-

риодике, и граф Дмитрий Толстой отстранил Модестова от преподавания: в течение почти десяти лет автор «Лекций по истории римской литературы», чтобы не помереть с женой от голода, вынужденно занимался журнально-газетной подёнщиной, изнурающей, не делающей пишущего человека добрее. Конечно, это его обозлило. Ростовцев хихикает:

«Можно не во всём согласиться с автором, но тот факт, что последняя реформа наших средних школ пошла почти во всех основных пунктах по путям, намеченным В. И. Модестовым, показывает, что явления, отмечавшиеся им, были несомненным фактом и что не он один видел спасение в коренной модификации классической системы с оставлением только небольшого числа чисто классических гимназий и уничтожением в гимназиях обычного типа греческого языка как предмета, обязательного для всех».

В письмах Флоринскому Кулаковский беспокоится о сыновьях, которые будут лишены удовольствия изучать в гимназии классические языки.

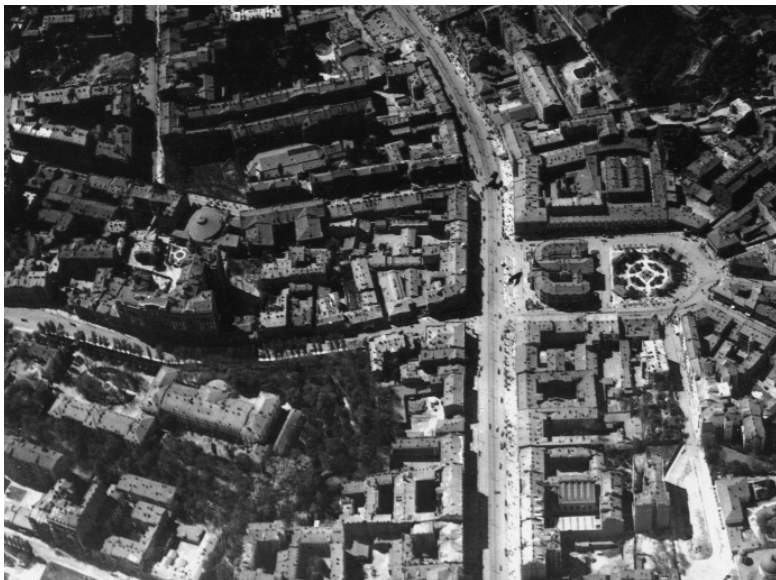
Из Евпатории 25.06.1901:

«О гимназическом деле знаю только то, что вычитываю в “Киевляне”, который получаю. Всё это меня очень смущает, и плохо верю, что станет лучше, а сумятицы и шатания будет очень и очень много. Твой Митя всё-таки будет с латинским языком, а может быть, и с греческим, а Серёже предстоит идти по-новому. Я своих, если только сумею, попридержу несколько дома».

Рассуждая об этой смешной мере, Кулаковский надеялся выиграть время, пребывая в надежде, что министерство обратится и возвратит греческий язык в классические гимназии, как это было в начале 1870-х, но — показало дальнейшее — этого, к счастью, не произошло.

Пробует рассмеяться: «Жду июльской книжки “Жур. Мин. просв.” от Радлова, чтобы прочесть резоны удивительной и резкой революции школьного дела». Стенает:

«Читаю больше журналы этого года, чтобы понять настроение современности, которое я плохо понимаю и с которым, когда несколько ближе стал к нему, не могу нисколько ближе чувствовать себя заодно. Реформа школы является показателем и удивительной наивности, и странного легкомыслия. Если правда, что еврейский процент [приёма в гимназии] сократят на 2 с 5, то заранее можно сказать, что реформу не только засудят, но и заплуют те, кто её приветствовал» (29.07.1901).



Киев. Крещатик, Думская площадь и окрестности. Аэрофотосъёмка 1918 г.

Борис Пастернак дружелюбно вспоминал:

«В 1901 году я поступил во второй класс Московской пятой гимназии, оставшейся классической после реформы Ванновского и сверх введённого в курс естествознания и других новых предметов сохранившей в программе древнегреческий».

Древнегреческий был полезен для гуманитария, как интегральное исчисление для технаря: развивал.

Либеральный историк Кареев, соученик Соловьёва по головнинской гимназии («с умеренным классицизмом, обучался по латыни с третьего класса, по-гречески — с пятого (из семи) и кончил курс за два года до толстовской реформы, так искажившей нашу среднюю школу в семидесятых годах казёнщиной, формализмом, своим “избиванием младенцев”»), вспоминал, что математика с большим трудом давалась Вл. Соловьёву,

«долго, например, не могущему справиться с доказательством равенства вертикальных углов, что заставило меня переложить эту теорему в стихи, вроде тех, в каких передавались некоторые правила исключений латинской грамматики. Соловьёв стишки эти выучил наизусть и, отвечая урок, переводил их в прозаическую речь».

Иррациональное только и может входить в сознание, что через рациональную дверь; правда, рационализм у каждого свой. По Карееву, «головнинская гимназия» соответствовала реальным потребностям умственно малоразвитой страны: умеренные дозы латыни и греческого служили хорошей подготовкой к пониманию развития европейской цивилизации, были важной компонентой гуманитарной профессии, позволяя выпускникам читать в подлиннике не только новоевропейские тексты, но и древнеевропейские, классические.

После Устава '1884 на историко-филологических факультетах всё было поломано, как детский конструктор перед послеобеденным посапыванием. Студенты должны были быть, прежде всего, классиками.

Вопреки обещанию устава относительно нескольких планов прохождения курса, министерство предписало один. Из 18 обязательных для студентов часов в неделю 14 приходилось на классические языки, древнюю (греческую и римскую) историю, древнюю словесность, древнюю философию, древнее искусство, — всего в четыре года 56 часов, а на все остальные предметы по 4 часа, что в четыре года составляло лишь 16 часов, причём одни студенты должны были слушать исторические предметы, другие — филологические. Число студентов историко-филологических факультетов упало, оттого что усиленный толстовский классицизм успевал набивать оскомину ещё в гимназии. Дмитрий Толстой, перетянув, сорвал на болте резьбу, и классическая шайба перестала держать напряжение в непрочном студенческом интересе.

В 1925-м Михаил Грушевский в статье «Як я був колись белетристом», предварявшей сборник его литературных сочинений «Під зорями» (1928), вспоминал о годах учения под сенью Устава '1884:

«Треба знати, як ця устава покалічила філологічний факультет, і яку ненависть викликала до себе класична філологія, котрою навантажено всіх студентів без різниці: істориків, словесників, філологів, спихнувши на другий план предмети їх спеціальності. І от тоді буде зрозуміле мое аскетичне самоумертвлення, з котрим я, вже вибравши для себе спеціальність української історії, змусив себе <...> з незвичайною совістю студіювати латинських і грецьких класиків, щоб виконати на всі сто процентів вимоги цього злобного статуту, обчисленого на те, щоб убити вся-

кий громадський інтерес в студентах університету, відвернувши їх від тих живих дисциплін, що їх інтересували, до студій граматики, метрики і всякої іншої схоластики».

Относится всерьёз к этим словам не рискнул бы: Михаил Сергеевич как *self made man* прекрасно понимал, что учёба учёбой, а гражданская позиция гражданской позицией, и что одно другому мешает только в миростановлении дурака, — и потому знание древних языков ему совсем не казалось лишним. Но что радетели Устава 1884 не смогли выдержать в этом деле золотой середины здравого смысла, представляется убедительным.

Министерская глупость в «народном просвещении» славянских стран не удивляет. Поначалу удивляла, и кто-то пытался «действовать», но потом привыкли. Сейчас это даже правило хорошего тона: в министерском кресле пристало сидеть идиоту. Это не исключение, это норма, иначе не высидишь.

Вскоре после убийства народовольцами Александра II, в марте 1881-го российский посол в Германии Пётр Сабуров беседовал с Бисмарком о российских разностях. Конспект разговора Сабуров передал Николаю Карловичу Гирсу, министру иностранных дел; тот показал Александру III, и новый царь наискосок начертал: «Есть предложения непрактические, но есть и хорошие». В 1919-м в журнале «Былое» (№ 14) Евгений Тарле опубликовал этот документ.

Нужно думать, Александр III расценил следующий пассаж железного канцлера как непрактическое предложение:

«Что касается университетов и учебных заведений, то канцлер стоит за усвоение сурового режима по отношению к ним. Именно там вербуются молодые безумцы в том возрасте, когда ум кипит больше всего. Когда образовательное заведение становится очагом политического фанатизма, то следовало бы закрыть его как можно скорее. Лучше раздавить противника, чем раздражать его. В этом отношении русское правительство ещё обладает могущественным орудием, к которому прибегают в критические минуты даже конституционные страны: абсолютной властью».

Пожелание довольно нелепое: следуя такой логике, вскоре пришлось бы закрыть все российские университеты, оставив профессоров без работы, страну — без мало-мальски образованных людей. И Александр III, и Николай II в сфере образования ограничивались здравым смыслом — полумерами. Но *на местах* всё как всегда: через пень-колоду.

Через пять лет после принятия Устава '1884 Кулаковский пишет Фету из Киева 25.09.1889:

«Прошло лето, настала осень, а с нею и старое дело, к которому на этот раз прибавилось и нечто новое — первый опыт университетских экзаменов в назначенных министерством комиссиях. Неудача этой дурной затеи была предсказана всеми нами заранее, но видеть подтверждение этого дурного пророчества ни для кого из нас, конечно, не может доставить удовольствия. Изданием смешных, не слаженных между собою, не продуманных ни в одной компетентной инстанции — или хотя бы голове — программ, с характером обязательных для всех университетов, обличило ещё осенью прошлого года полную несостоятельность министерства пред взятой на себя задачей.

Разъезды министра [Десянова] в прошлом году имели совсем смешной и обидный для серьёзности дела характер. Производство экзамена *сразу по всем предметам*, да ещё по программам, которые изданы были поздно, вызвали порицания от всякого и со всякой точки зрения, урезывались и изменялись в разных переговорах с министерством и председателями комиссий — всё это такая печальная насмешка над серьёзным и важным университетским делом, что хуже и выдумать нельзя.

Само собою разумеется, что результаты повсюду и по всем факультетам самые плачевные. Участвую и я в комиссии, придётся вот и завтра сидеть целый день на экзамене. У нас, то есть на филологическом факультете, хоть идут одновременно лекции, а у юристов их или нет, или почти что нет, так как два из наших юристов [П. П.] Цитович и [М. Ф. Владимирский-]Буданов назначены председателями (Харьков и Одесса), а другие все заседают в комиссии. Хорош экзамен, который отнимает от учебного времени весь сентябрь и большую половину октября (если не весь) — одним словом, происходит Бог знает что. Обидно и думать об этом».

Десянов, весёлый и двуличный, пятнадцать лет возглавлявший Министерство просвещения, в видах этого самого просвещения ввёл нововведение в виде полукурсовых испытаний: проверка студенческих знаний должна была производиться в особых экзаменационных комиссиях, председателя и членов которых назначал министр.

Серьёзно говоря, какие знания могут быть у студентов?

От всего процесса учёбы, нацеленной на получение диплома, а не навыка и профессии, как правило, остаётся лишь ощущение: приятное или не очень.

Нацеленные на профессию — редкость, их имена хранятся



Киев. Быки Николаевского моста у Предмостной слободки, фото 1900-х

в энциклопедиях. Большинство студенческой массы взбалмошно прогуливаются по молодости, пока она с ними.

Кулаковский, один из лучших в империи профессоров классической филологии, не мог смириться, что его сыновья останутся в гимназии без начатков древнегреческого. Не потому что он профессор классической филологии, а потому что — отец, который печётся о сыновьях по принципу «делай как я», не спрашивая, желают ли они этого. Упразднение же греческого из гимназий, кажется мне, тоже одна из причин кулаковского недовольства — вкупе с его консервативными воззрениями на преподавание гуманитарных дисциплин вообще. А может, и нежелание внутренне соглашаться с Модестовым, который оказался правым и даже пострадал за правоту.

Увлечение Кулаковского вопросами классического образования (среднего и высшего) было настолько активным, что он, будучи в 1902 году, вместе с князем Евгением Трубецким, избран от Университета св. Владимира в Высочайше учреждённую Комиссию по преобразованию высших учебных заведений, пытался составить целиком проект нового университетского устава. Какой-то трудоголик, неутомимый ратоборец с ветряными мельницами, романтический радетель просветительства. То есть — из тех, «на ком мир держится».

«Университетский вопрос был вообще его большим местом. Страстно и желчно критиковал он обыкновенно наши университетские порядки, — и это было так оттого, что на задачи и назначение университетов он имел взгляд возвышенный, с которым согласовал и предъявляемые к ним требования. Больше всего этому взгляду отвечал строй английских университетов, о которых он написал живой и бойкий очерк, напечатанный в конце 80-х годов в “Русском вестнике”», —

свидетельствовал тайный советник Деревницкий, коллега по той самой Комиссии и будущий попечитель Киевского учебного округа. К участию Кулаковского в работе Комиссии обращусь в свою бытность (её работа в начале 2010-х нашла осмысление в трудах томича Мих. Грибовского).

Арсений Маркевич вспоминал, цитируя письмо Кулаковского, что его

«живо интересовала и наша средняя школа, и в 1905 г. он участвовал в Комиссии по обсуждению устава средней школы. Мучили Юлиана Андреевича и затруднения с выработкой университетского устава. 5 апр. 1909 г. он писал мне: “Странная судьба наших университетов. Когда я начинал университетскую службу, был беспорядок, которого не исправляли в ожидании устава. Потом всё время мудрили при уставе 1884 года, в 1905 г. подумали, что всякий устав отменён, а теперь тянут мороку с новым уставом, который не имеет шансов скоро пройти. Как будто в уставе дело, а не в нравах. Ведь и с гимназией то же: всё поставили под вопрос, и дело так и застыло, и даже не слышно, есть ли проект нового устава среднего образования, который бы дал сознание прочности дела и нормального порядка”. В это время радовался он оживлению работы в университете и с удовольствием сообщал, что на историко-филологическом факультете Киевского университета имелись классики — “люди старательные, ревностные и способные” (письмо 1912 г.), но сокрушался изгнанием древних языков из гимназий».

И вправду, классическое образование, почти жертвенным существом взнесённое на алтарь российского антиковедения посреди дикой полуазиатской державы, к началу XX века оказалось едва ли не единственным в гуманитарной сфере предметом, жертвование которым сыграло злую шутку с последующим развитием классической филологии и прилегающих к ней наук. После большевицкого переворота, после немислимых «кадровых потерь» в 1920–1930-х, едва существует как то, о чём стоит всерьёз говорить. Латынь уже не мёртвый — птичий язык.



*Киев. Здание Второй классической гимназии на Бибиковском бульваре, 18, 1856,
архитектор П. И. Шлейфер, фото начала 1880-х*

Ещё Вернадский в 1916-м в воспоминаниях о ботанике и почвоведении, однокашнике Андрее Краснове (1862–1915) говорил, что главным несчастьем тогдашней гимназии

«являлся мёртвый дух преподавания, огромное количество времени, которое тратилось на древние языки, преподававшиеся исключительно плохо <...> хотя среди учителей классических мёртвых языков в нашей гимназии были лично порядочные люди, может быть даже имевшие познания в древних языках, но эти познания они не могли передавать нам, так как не умели говорить по-русски, не отличались умом и строго держались официальных рамок программы, искажившей прекрасный великий мир Эллады, её науку, литературу, искусство, разрушившей те стороны истории Рима, которые до сих пор живы в нашей жизни. Гимназическое преподавание эпохи Д. А. Толстого было классическим лишь по названию».

Ныне думается: хорошо всё-таки, что так было. Теперь и школы нет, и специалисты не те, да и большого смысла в знании древнегреческого и латыни, честно говоря, тоже немного.

Классическая филология как наука сегодня — будто пейджер, почтовый сургуч или станок Гутенберга для высокой печати, пару десятилетий как отошедший в прошлое (книжки, в том числе, эту, давно печатают офсетным способом, изобретённым в середине XIX века Вильямом Телботом). Но хорошо,

что классическая филология стала прибежищем одиночек, не для широкого круга, который стремится скорее к надругательству над нежностью творческого акта, нежели к его пониманию и приятию. Это подтверждает Эд. Фролов, который в книге «Русская наука об античности» (1999, 2006¹), цитируя предисловие Кулаковского к первому тому «Истории Византии», уверяет, что всё это длинное разумное слово писано в 1910 году, когда в России, пусть медленно и непоследовательно, шли конституционные преобразования, а в этой связи происходило частичное свёртывание гипертрофированной системы классического образования. Большевицкий переворот эту форму за ненадобностью ликвидировал, а «научно-технический прогресс» довольно скоро вытеснил традиции классицизма из средней и высшей школы также и в западном мире, «так что для немногих нынешних адептов этих традиций не осталось даже такого сомнительного утешения, как ссылка на пример культурного Запада».

«С тех пор, как в III веке до Р. Хр. александрийский библиотекарь, астроном и географ Эратосфен первый назвал себя филологом, с тех пор, как в римской половине нашей науки имя филолога первый же принял Луций Аней Претекстат в I в. до Р. Хр., — интерес и внимание к *logos*, к художественному слову древних неизменно лежит в основе успехов науки классической филологии» (Дм. Шестаков, 1912).

Эта основа оказалась недолговечной, давая прозорливому Кулаковскому повод вовсе не притворно скорбеть по поводу её постепенной утраты. Но нам-то не пристало, правда?

Позднее Уайтхед скажет, что устойчивые вещи являются результатом временного процесса, тогда как вечные вещи являются элементами, необходимыми для самого процесса. Латынь и древнегреческий были в российской системе просвещения этим вечными вещами, а теперь перестали. Почему?

Потому что салат из перепелиных язычков это деликатес.

¹ За давностью лет скромность в карман: «В последнее время изучением биографии и творчества Ю. А. Кулаковского много и плодотворно занимается А. А. Пучков» итд (Э. Д. Фролов. Русская наука об античности: Историографические очерки. Изд. 2, исправ. и доп. С.-Петербург, 2006. С. 343).

ОТ РИМЛЯН К РОМЕЯМ:
АММИАН МАРЦЕЛЛИН, «СТРАТЕГИКА»
и УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СУЕТА
ПОД ВИЗАНТИЙСКИМИ СВОДАМИ
Вторая половина 1890-х — 1900-е

Мы не двойственны, как иногда считают, мы множественны, и в стремлении к единству лежит одна из самых глубоко скрытых и разрушительных страстей человека.

Мишель де ГЕЛЬДЕРОД

Природа подползания. В бытовании Кулаковского 1890-х меня не оставляет ощущение разрыва между материальными находками в крымской земле — нечётких очертаний и неточных свидетельств — и приблизительной точностью кабинетной работы над древними текстами. В текстах можно было чувствовать себя оригинальным новатором по сравнению с другими «чтецами», в раскопках — традиционным «находчивым» новатором, объединяющим на земле живую жизнь с мертвенной длительностью артефакта. В практической археологии Кулаковского интересовал процесс, в кабинетных занятиях — результат: первый всё более съёживался, второй разжёживался.

Чем были для Кулаковского «письменные» Рим и Византия: страной Утопией, без которой, по выражению Уайльда, карта мира не стоит и взгляда? Объектом изучения? Жизнью? Судьбой? Любил ли он их — давно ушедших, говоря с ними, а не только о них? Что они ему рассказывали? Только ли то, что сделалось статьями, книгами и лекциями? Знал ли он то сложное чувство — острее многих других — ностальгию по времени, в которое не жил? Или ему хватало своего, киевского времени?

Что более движет учёным, когда он занят решением проблемы: уход в себя или бегство от окружающего? Почему после женитьбы Кулаковский станет чаще съезжать из Киева, зай-

мётся на крымской жаре археологией, затем мысленно переберётся в прохладу ромейских анфилад?

Риторические вопросы, которые я насажал, сродни нестрашным молниям, рассекающим темноту: успеваешь увидеть контуры предметов какого-то неестественного цвета, и — снова мраки. И вроде бы видел, но понять не успел, и, кажется, знаешь, куда идти, да не уверен.

В начале прошлого века был такой забавный критерий успеха театральной постановки: по её окончании на изнанке декораций писали мелом цифру, обозначающую, сколько раз поднимали занавес. Признак величия научной работы? Она закончена, автора нет в живых, и много лет прошло, но по-прежнему медленно, неслышно подымается тяжёлая гардина, по-прежнему озаряется сцена. И понимаешь, что «чем старше становишься, тем чувствуешь, что драгоценнее становится (в смысле воздействия на мир) находящаяся в тебе сила жизни, и страшно не на то потратить её, на что она предназначена» (Л. Толстой, дневник, 26.04.1895). Если б только знать наверняка, на что именно предназначена.

Впрочем,

Порой забава причиняет боль,
Порою тяжкий труд даёт отраду.
Подчас и униженьё возвышает,
А скромный путь приводит к славной цели.

У. Шекспир. Буря, III, сцена I, пер. Мих. Донского

Писать о человеке, который неприятен, неинтересно, не хочется. Писать о том, кого любишь, сложно, оттого что в твоём письме много тебя. О том, кто симпатичен интуитивно, симпатия к кому рождает теорему, пока ещё нечёткую, но обязательную, побуждает долготрудно искать и выстраивать, что нашёл, чтобы всё-таки написать в конце: это и требовалось. А потом ждать, что кто-то согласится.

Так вот, именно на вторую половину 1890-х и на 1900-е падает основной груз содеянного Кулаковским в отечественной науке помимо будущей «Истории Византии», то, ради чего поднимается занавес. Именно тогда его творческая биография претерпевает научную мутацию: от интересов, сконцентрированных в сфере *spiritus movens*, духовных движений Римской империи, — к интересам в области империи Ромейской, к Византии.

Почему? Выше я говорил, что историческому переходу Кулаковского через рубикончик Чёрного моря способствовало основание двух специальных журналов — «Филологическое обозрение» и «Византийский временник», — особенно последнего, появление которого создало новые условия для расширения в России византиноведческих исследований.

Начиная с Васильевского, учёные сосредоточили внимание на частных вопросах византиноведения, и работа в этой области подвигалась стохастически, как всякая научная работа. В их числе оказался и Кулаковский, который нашёл большую тему в занятиях историей Византии в конце 1900-х, подсевши к ней впритык. Приложению сил к такой работе предшествовали студии частных малоизученных вопросов византийской истории, впрочем, не выбивавшиеся из научной традиции, которая к тому времени в российском византиноведении более или менее установилась. «Более» — потому что европейские византиноведы начали учить русский язык, чтобы читать исследования российских учёных, «менее» — потому что отряд таких учёных был немногочислен.

Борис Варнеке, рекомендуя Кулаковского в 1906-м к избранию в число почётных членов Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете, искренне досадует, говоря, что

«мы, классики, должны глубоко скорбеть, что другие интересы позволяют Ю. А. за последнее время возвращаться только изредка к изучению классической филологии, но как деятели русской науки мы должны от всей души радоваться, что изучение родной старины получило в лице Юл. Анд. такого опытного, столь вооружённого надлежащими методами, столь неутомимого деятеля».

Действительно, уже со второй половины 1890-х Кулаковский обращает внимание на вопросы византийской истории, которые касаются преимущественно судеб Надчерноморья античной и средневековой эпох.

«Занятия византиноведением, — продолжает Варнеке, — стоят как бы посредине между чисто классическими студиями Ю. А. и его работами, направленными к изучению истории и археологии России, преимущественно античных колоний её Юга».

Первой публикацией в этом направлении была статья «К объяснению надписи с именем императора Юстиниана,

найденной на Таманском полуострове» во втором томе «Византийского временника» (1895). За ней с завидной регулярностью следует из тома в том отряд других. Среди них: «К истории Боспора Киммерийского в конце VI века: По поводу изъяснения надписи Евпатерия» (1896, т. III, кн. 1–2), вызвавшая отзыв Латышева, реакцию на этот отзыв Кулаковского (и ответ Латышева на ответ Кулаковского в «Филологическом обозрении», 1899, т. XVII) и его более позднее упоминание об этой дискуссии во втором томе «Истории Византии»:

«Эта надпись [надпись Евпатерия] была предметом учёного спора между мной и акад. В. В. Латышевым на страницах “Византийского временника”. В первом томе этого журнала акад. Латышев поместил своё объяснение надписи, а в третьем я представил своё толкование её со стороны содержания и резко разошёлся с почтенным исследователем в понимании свидетельств этого текста. Проф. [Дж.] Бьюри оказал мне честь, отметив мои замечания в своих примечаниях к IV тому издания “Истории Византии” Гиббона. Акад. Латышев возражал мне в 21 томе “Записок Императорского Одесского общества истории и древностей” (1898) и перепечатал как свою статью о надписи Евпатерия, так и дополнение к ней, в сборнике PONTIKA (1909). Я имел случай высказаться по основному предмету спора в моей статье *К истории готской епархии (в Крыму) в VIII веке* (ЖМНП, 1898, февраль) и пользуюсь этим случаем, чтобы взять назад свои сомнения насчёт того, что восстанавливаемое в тексте надписи имя *Mavrikis* не относится к императору Маврикию. Кое-что в вопросе о тогдашних условиях жизни на Боспоре остаётся для меня и поныне не совсем ясным, но в главном и по существу я совершенно согласен с акад. Латышевым».

Вичинская епархия и рецензент Иловайский. Старейший российский историк Дмитрий Иловайский (1832–1920), тесть Ивана Цветаева и дед сестёр Цветаевых, автор пятитомной «Истории России» и гимназических учебников истории, выдержавших полторы сотни изданий, — на четыре статьи Кулаковского 1896–1898 годов (к истории Боспора, имени города Керчь, Вичинской епархии Константинопольского патриархата и Готской епархии в Крыму) откликнулся привычной для него, борца с норманнской и туранской теориями происхождения Руси, заметкой в «Русском архиве» (1898, № 4).

Если статья про Вичинскую епархию ещё удовлетворила Иловайского («автор основательно указывает на тяготение Ки-



Дмитрий Иванович Иловайский

евской Руси к нижнему Дунаю и на живые связи с Болгарией в первый период русской истории»), то остальные три статьи никуда не годятся, они «не о том». «Новый поборник отживших теорий» — назвал статью Иловайский. Критике каждой из статей он посвятил по страничке — не стану их пересказывать в силу излишне специального характера: несовпадение свидетельств и установленных датировок, разность толкований итд. По всем признакам, Кулаковский не удосужился ознакомиться с трудами Иловайского, чем в его глазах собственной учёной репутации навредил изрядно:

«Любопытно было бы встретить со стороны нового поборника отживших теорий сколько-нибудь систематическое опровержение моих доводов, хотя бы относящееся к одному какому-либо из главных моих положений».

Что поделатъ: старичок. Отдавая справедливость тщательной обработке многих деталей в исследованиях и рассуждениях Кулаковского, Иловайский настаивает, что по отношению к главным, коренным вопросам эти исследования или ничего не дают, или представляют результаты только отрицательные.

«А чтобы подойти к решению таких вопросов, недостаточно филологической подготовки; тут, вместе с большим запасом всякого рода сведений, требуется умение обнять всю совокупность данных, разобраться

в массе фактов и свидетельств, нередко сбивчивых и даже противоречивых, нужно понимание непреложных исторических законов, основанное на массе наблюдений и аналогий, нужны беспристрастие и свобода от предвзятых мнений, стремление к абсолютной исторической правде, строго логичное или научно-критическое мышление, и т. п.», то есть всё то, что есть у Иловайского и чего нет у Кулаковско-го. Как он умудрялся в гимназии экзамены «по Иловайскому» сдавать?

На рецензию Кулаковский не ответил, да и отвечать было нечего: *непредвзятости* как раз недоставало Иловайскому — зачем иначе укорять младшего коллегу в предвзятости?

Поскольку я не ставлю аналитических целей касательно содержательной стороны трудов Кулаковского, не будучи хорошо выученным в области его научной компетенции, — позволю назвать публикации, лишь в отношении некоторых указав на позднейшее развитие содержащихся в них соображений ума. Это сопряжено с специфическими трудностями *информативного* свойства, поскольку касание вопросов, изучаемых Кулаковским, требует специальной и даже энциклопедической подготовленности. Повторю: преимущественное место в книжке занимает *человек на фоне эпохи*, потому поверхностности, столь жаждаемой иным читателем «лёгкости» в обращении к тоскливым научным темам избежать едва ли.

В списке Кулаковского найдутся отсылки к статьям византиноведного характера, которые печатались во второй половине 1890-х — начале 1900-х преимущественно в «Византийском временнике», ЖМНП, «Чтениях в Историческом обществе Нестора Летописца» (ЧИОНА), «Филологическом обозрении», «Известиях Русского археологического института в Константинополе» (ИРАИК), «Записках Русского археологического общества», материалах Археологических съездов итд.

«Надо принять во внимание, — точно пишет Борис Варнеке, — что и в области византиноведения проф. Кулаковский преимущественно интересуется история военного дела, то есть как раз та самая область, которой он уделял особенное внимание при своих первоначальных занятиях классической филологией... Таким образом, можно думать, что занятия византиноведением у проф. Кулаковского в значительной степени обусловлены желанием охватить предмет во всей полноте его последовательного развития».

Обращу внимание на такое обстоятельство. С одной стороны, как заметил Эд. Фролов, занятие византийской агиографией у российских античников (филологов-классиков) в до-революционное время было явлением довольно широким (Помяловский, Никитин, Ернштедт, Беляев и др.), с другой, по мнению Галины Лебедевой, — такие видные учёные, как Василий Васильевский, Хрисанф Лопарёв, Александр Рудаков, будучи по образованию историками, а по призванию — византистами, «с увлечением писали научные труды по истории России и краеведению, подтверждая связь между двумя культурами». Остаётся указать на, так сказать, *третью* сторону.

Если интерес к византийским истокам проявлялся у филологов-классиков, а к родным корням — у византинистов, то, логически замыкая треугольник «Греция / Рим — Византия — Надчерноморье», свидетельствовавший о перекрёстном научном обогащении, — нужно остановить внимание на естественном интересе классических филологов к античному наследию Надчерноморья.

В ряду археолого-эпиграфических трудов Латышева, фон Штерна, Жебелёва труды Кулаковского *устройчивы* и *устойчивы*. Более того, по широте научных интересов (Рим, Греция, Византия, Надчерноморье) его имя должно быть названо в созвездии старателей синтетического склада, и с перевесом в византийской тематике — «симметрично» фигуре Латышева, который заимел учёный крен в сторону занятий эпиграфикой Pontii Euxini.

Храм для абазгов. Так, изучению греческой и византийской культуры Надчерноморья посвящена работа «Где был построен императором Юстинианом храм для абазгов?», помещённая в «Археологических известиях и записках» (1897, т. V). Вопрос, вслед за Кондаковым поднятый в этой статье Кулаковским, получил развитие. Во втором томе «Истории Византии» (1912), значительно посвящённом царствованию Юстиниана Великого, Кулаковский снова поминает абазинский храм:

«Старая крепость Севастополь, разрушенная во время нашествия [персидского царя] Хосрова в Лазику, была отстроена и получила вид большого благоустроенного города. Там же, по всему вероятно, построил Юстиниан храм во имя Богородицы, о котором поминает Прокопий». К этому месту автор делает примечание:

«Прокопий говорит только о Севастополе, не упоминая при этом о Питиунте. — Существующий ныне древний храм в Пицунде не является сооружением Юстиниана...»

И далее, реагируя на свидетельство Прокопия:

«Император исполнил просьбу готов и дал им епископа. По всему вероятно, отношения, завязавшиеся в эту пору, продолжались и позднее, но наш источник хранит полное молчание, и только современные эпиграфические находки позволяют предполагать, что христианство держалось в тех местах непрерывно до тех времён, когда на Кавказском побережье появились епархии Никопсийская и Матархийская»

(подробнее об этом в его статье «К объяснению надписи с именем императора Юстиниана, найденной на Таманском полуострове», *Византийский временник*, 1895, т. 2).

Через несколько месяцев после выхода статьи про абазгийский храм, в мае 1897-го, сочиняя «Христианство у алан», Кулаковский в примечании уточняет:

«Город Сотириуполь как кафедра Авазгийского архиепископства впервые помянут в списке епархий, принадлежащем времени имп. Льва Мудрого (886–911), а в более ранних документах этого рода называется в том же значении город Севастополь, лежавший на месте (или поблизости от) нынешнего Сухума. В нашей заметке мы полагали, что перемена в имени кафедры есть свидетельство о перенесении её в другое место и что под Сотириуполем следует разуметь Пицунду, древний Питиунт. Уважаемый проф. В. В. Болотов высказал в частном письме к нам своё несогласие так понять перемену имени кафедры Абазгийской епархии <...> Как бы то ни было, нынешние приморские города Сухум и Пицунда были в пределах Авазгийской епархии, имели значение торговых центров на Кавказском побережье в ту пору, и для византийцев были доступнее из Трапезунда, нежели кружным путём через Херсон»¹.

«Записка готского топарха»: контрафакт и предвидение. Следующая статья, на которую обязан обратить внимание, — «Записка готского топарха», — опубликована в ЖМНП (1902, № 4) в качестве рецензии на труд Фридриха Фёдоровича Вестберга «Die Fragmente des Töparcha Goticus aus dem X Jahr-

¹ Вадим Леквинадзе завершает статью «О постройках Юстиниана в Западной Грузии» (*Византийский временник*, 1973, т. 34), которая подводит итог исследованиям вопроса, заявлением, что храм, который был построен Юстинианом, это базилика 543 года в Цандрыпш/Гантиади. Её руины сохранились.

«Храм для абазгов»
в Гантиади, 543 г.



hundert» (С.-Петербург, 1901). Вообще говоря, акт существования «Записки...» уже тогда был достаточно загадочным, и рецензии на книгу Вестберга овеяны сомнением в самой подлинности памятника. Кулаковский, например, писал:

«Загадочный памятник, известный под именем “Записка готского топарха”, вызвал новое исследование, которое удостоила издать наша Академия наук. После таких глубоких и детальных исследований этого памятника, какие имеет русская литература в трудах [А. А.] Куника, [В. Г.] Васильевского и [П. О.] Бурачкова, новое исследование на русском языке имело бы только в том случае право на появление в печати, если бы автору удалось натолкнуться на какую-нибудь новую счастливую мысль, которая могла бы внести новый свет в этот тёмный вопрос и содействовала бы лучшему — по сравнению с прежним — пониманию памятника. В данном случае нет ничего подобного».

Как видим, сомнения в подлинности документа появились с начала его изучения. В статье американского византиниста Игоря Шевченко (1922–2009), одном из последних исследований на эту тему, «Записка...» рассмотрена всесторонне и сомнения относительно её подлинности сняты: это искусная подделка мастеровитого французского филолога Карла Бенедикта Газе (Charles Benoît Hase, 1780–1864).

Как известно, документ был якобы обнаружен Газе в начале XIX века во французской Королевской библиотеке в ромейском рукописном кодексе, содержащем эпистолы святых. На основании палеографии Газе отнёс этот кодекс к X веку. Геннадий Литаврин, как и его предшественники, *не почувствовавший* подлога, писал, что:

«на его неиспользованных страницах Газе нашёл черновые записки неизвестного автора. В них рассказывается о попытке переправы какого-то отряда, во главе которого стоял автор записок, через замерзающий Днепр, о войне этого отряда с “варварами” в области Климат или у города Климаты, о решении окружающего этот город населения признать над собой власть “царствующего к северу от Дуная” и о поездке, наконец, автора записок к северному повелителю для осуществления этого решения. Почерк записок Газе признал несколько более поздним, чем почерк кодекса, в котором они помещены, то есть относящимся к самому концу X или к началу XI века».

«Записка...» опубликована Газе в приложении к десятой главе Десятой книги «Истории» Льва Диакона в 1828 году. «Издатель высказал твёрдое убеждение, что документ дошёл до нас в своём первоначальном виде и написан участником событий» (Литаврин). Ещё бы Газе говорил по-другому.

Чтение рукописей, даже писем Кулаковского в архиве, дело увлекательное и азартное. Это сложная игра, в которой исследователь, вмешиваясь в чужую жизнь, открывает такие стороны её, которые были скрыты от современников — с намерением или случайно. Разве мог знать Кулаковский, что о нём писал, скажемте, Иконников Шестакову?

А я знаю. «Машина времени» это я — читатель архивных дел: приближаю то, что отдаляется, и участвую в игре исторической реконструкции, как досужие интеллигенты, восхищённые Наполеоном, восстанавливают *in situ* бородинские события. Это реставрационное искусство, которое опирается более на чутьё и способности, нежели правила и законы.

Тем приятнее ощущать себя не исследователем, а автором, как поступил Газе и как поступали в истории многие достойные люди, забавляясь над современниками и потомками вполне серьёзно: от совсем молоденького Чаттертона, выдумывавшего английскую преисторию, до совсем старенького Рудольфа Эриха Распэ, тип сознания которого не далеко ушёл от его Мюнхгаузена¹. Втюхать можно всё что угодно. Продал же один

¹ См.: Э. Р. Штерн. О подделке предметов классической древности на Юге России // ЖМНП. 1896. № 12. С. 129–159; *Евг. Ланн*. Литературная мистификация. Москва, 1930; С. А. Рейсер. Основы текстологии. Изд. 2-е. Ленингр., 1978. С. 106–119; Д. С. Лихачёв. Текстология: На материале русской литературы X–XVII веков. Изд. 3-е, перераб. и доп. Ле-



Карл Бенедикт Газе

остроумец в 1925 году насчитывавшую десять тысяч тонн живого веса Эйфелеву башню торговцу ломом? Что говорить о ветхой рукописи.

Сомнения в подлинности «Записки...», похоже, впервые были высказаны именно Кулаковским.

Нынче ясно, что Газе сам начертил на свободных страницах кодекса «ценный для истории нашей Родины» документ, что выказало в нём если не ехидно развлекшегося остроумца, властвовавшего над собственной эрудицией, то человека довольно нечестного: столько почтенных учёных мужей на протяжении почти полутора столетий не смогли распознать фальсификацию. Среди них и московский византинист Геннадий Литаврин (1957), и киевский Михаил Брайчевский (1989), который, хоть и ссылается на статью Игоря Шевченко 1976 года, однако продолжает стоять на точке зрения подлинности газевской фальшивки. Неужели сослался, не читая?

нингр., 1983. С. 344–354; Дж. Уайтхед. Серьёзные забавы / Пер. с англ. Москва, 1986; Эбергарт Пауль. Поддельная богиня (История подделок произведений античного искусства) / Пер. с нем. Москва, 1982; Петер Келер. Фейк: Забавнейшие фальсификации в искусстве, науке, литературе и истории / Пер. с нем. Москва, 2017. Напомню также о злокозненной подделке патриархом Фотием биографии императора Василия I Македонянина.

Как указывает академик Игорь Медведев,

«высказанная в одном из писем графа Румянцева к видному эллинисту Карлу-Бенедикту Газе просьба найти “что-нибудь этакое” по древней славяно-русской истории и обещание щедро вознаградить за находку толкнуло последнего на достаточно бесчестный поступок — на изготовление фальсификата (я имею в виду печально знаменитую так называемую “Записку готского или греческого топарха”)

(В скобках говоря, следует безусловно отдать должное изобретательности и научной предприимчивости Газе: даже будучи опубликованным факсимильно, текст «Записки...» производил на первых специалистов в данной области впечатление подлинника XI века. Конечно, это не метод научной работы учёного-созидателя, но самая способность к столь тонкой работе не может не вызвать восхищения: такое же, скажем, вызывает умственная прыть изобретателей компьютерных вирусов, — до тех пор, пока, ужаснувшись, не столкнёшься с вирусом на домашней абулафии.)

Кулаковский, первым скептически отнесшийся к подлинности «Записки...», указывал, что

«рукопись, в которой Газе открыл отрывки, доселе не найдена, несмотря на розыски многих и в том числе почтенного К. С. Крумбахера. До тех пор, пока это не удастся, остаётся в силе утверждённая им хронология рукописи по палеографическим данным. Главный её текст Газе относил к эпохе конца X и начала XI веков, а относительно отрывков, написанных в разных местах на листах, оставшихся пустыми, заметил, что их почерк более поздний. Сам Газе, желая найти историческое объяснение открытого им текста, приурочил его содержание ко времени взятия Корсуни Владимиром св[ятым], то есть к концу X века, и вошёл этим в некоторое противоречие с самим собою. Но если теперь мы, вместе с г. Вестбергом, примем за дату их написания 963 или 964 г. (так как это автограф, на чём настаивал Васильевский, что признает г. Вестберг), — то не выйдет ли, что отрывки написаны раньше, чем кодекс, в который они попали на оставшиеся незаполненными страницы? Правда, г. Вестберг не первый отвергает обязательность определения Газе, и заручился авторитетом Крумбахера... Аноним, известный под именем “Записки готского топарха”, остался таким же загадочным и тёмным. По-прежнему не знаем мы того, был ли автор действительно “топархом” и каковы его права на наименование “готский”. По-прежнему остаётся лишь вероятность, что в нём мы имеем материал для уяснения отношений Киевской Руси к Крыму, но ключ

к разгадке самого смысла событий всё ещё не найден, и аноним, помимо своей безымянности, всё ещё остается таинственным. Та царственная ясность и полная убедительность, какими блистал Васильевский в своих учёных работах, покинули его, когда он принялся за объяснение этого документа. Не мудрено, что эта загадка не даётся и другим, пытавшим после него свои силы на том же памятнике при помощи им же в такой полноте сопоставленного материала».

Если подлог выполнен по правилам, его подлинность долго не может быть оспорена. Карл Газе потрудился на славу, и Кулаковский, как стоит заметить по интонации текста, так и просится назвать этого анонимного автора конца X — начала XI века, жившего, правда, на девять столетий позже — профессора Сорбонны, а отнюдь не «топарха» и вовсе не «готского».

Впрочем, Газе только продолжил добрую и занимательную античную традицию подделок, например, писем известных людей (Сократа), и упрекать его в нечестности может лишь тот, кто относится к истории (и науке) излишне назидательно: если это и можно принять за «чудовищный фарс», с которым, по Марксу, каждое историческое событие *во второй раз* появляется на исторической сцене, то с оговорками. Согласитесь, само явление *научного* подлога забавно. Всякий раз заставляет оживиться: насколько надёжно твоё знание на самом деле? Всё-таки со старыми учёными стоит быть осмотрительнее. Помните, как в «Золотом телёнке»?

«Географ сошёл с ума совершенно неожиданно: однажды он взглянул на карту обоих полушарий и не нашёл на ней Берингова пролива. Весь день старый учитель шарил по карте. Всё было на месте: и Нью-Фаундленд, и Суэцкий канал, и Мадагаскар, и Сандвичевы острова с главным городом Гонолулу, и даже вулкан Попокатепетль, а Берингов пролив отсутствовал. И тут же, у карты, старик тронулся».

Так, «фиктивные письма в Греции, — пишет Татьяна Попова (1991), — начинают сочинять приблизительно с III века до н. э., приписывая их древнейшим авторам — некоторым из “семи” греческих мудрецов... Знали ли сами древние об этих подделках? Если знали, то почему молчали? Какая была необходимость выдавать их за подлинные письма?.. Все они дошли до нас в поздних рукописях, древнейшие из которых датированы XIII–XV столетиями. Во всяком случае, спустя два, три и более века после появления подделки у большинства читате-

лей не возникало и тени сомнения в их подлинности». Почему? Потому что весело. Но здесь, отвлекусь, ценно другое:

«Греческое фиктивное письмо — первый в европейской литературе опыт по созданию жанра, близкого Новому времени, — беллетристике. Ведь составление письма от имени лица, известного по истории, жизнь которого несколькими столетиями отделена от жизни не назвавшего своего имени, но подлинного автора “послания”, было своеобразной литературной игрой».

Как видим, игрой не только литературной, но и научной: когда всё, казалось бы, было открыто, раскопано, найдено, захотелось чего-то «свеженького», на что можно было бы наброситься с микроскопом. В связи с этим приходит на ум вовсе, кажется, не подходящий к моей теме, «ложный» мотив из совершенно иного отдела классической филологии, на который в своё время обратил внимание академик Гаспаров, исследуя структуру античных басен Федра и Бабрия (1971):

«Особое значение, приобретаемое моралью в басне Федра, ведёт к видоизменению самой структуры басни. Мораль начинает вытеснять повествование <...> Федр сводит действие басни до минимума, зато мораль расширяется и приобретает неожиданную живость и страстность <...> Резкое выделение морали позволяет Федру создать особый тип басни, в которой центром тяжести является афористическая сентенция морального содержания, вложенная в уста одного из действующих лиц, а предшествующие ей стихи кратко обрисовывают ситуацию, в которой она была высказана».

К чему вспомнил? Очевидно, что подлог, совершённый Газе, для истории науки имеет то же самое значение «ложности», что и в случае изменения жанровой пропорции античной басни между моралью и повествованием в сторону первой: *мораль* этого поступка гораздо более весома, нежели *содержание* его, и в этом оказывается заключённым самый смысл его *ложности*.

Кулаковский, нужно полагать из приведённого отрывка, к таким людям отнюдь не относился. Надо также думать, труды Газе были щедро вознаграждены графом Румянцевым, и оба от души посмеялись над незадачливыми, слишком доверчивыми и не в меру ироничными учёными потомками (впрочем, более чем вероятно, что граф Николай Петрович Румянцев не был посвящён в тайну подлога, ведь пахло скандалом). Было бы естественно, чтобы после публикации оригинал текста ис-

чез из библиотеки, что он и сделал. Судьба его неведома, и потому «до сих пор невозможно проверить палеографических выводов Газе».

Не потому ли, зададимся вопросом, не упоминали об этом «ценном историческом свидетельстве» ни Успенский, ни Васильев (в своих «Историях Византии»), что чувствовали некоторую неувязку между загадочностью происхождения (обнаружения) документа и тем, какой трудный вопрос задала эта находка «самому» Васильевскому? Научная интуиция этих учёных, как и чутьё Кулаковского, не подвели.

«Царь Эдип» в Киевской опере. Текст, на который нужно обратить внимание, — популярная статья Кулаковского о постановке в киевском Городском театре 5.02.1894 драмы «Эдип-царь» Софокла парижским Комеди Франсез с Жаном Муне-Сюлли в главной роли.

Заметка появилась в «Киевляине» (1894, 14 февр.):

«Актёры от себя дали нам даже больше, чем сколько давали их предшественники в древнем мире, — разумею мимику лица, которая была у г. Муне-Сюлли в полном смысле великолепа. А в древней Греции, как известно, актёры надевали маски. Таким образом, мы имеем как будто даже больше, чем сколько видел на своей сцене древний грек в этой трагедии, когда сам Софокл разучивал свою драму с актёрами для афинской публики V века до Р. Хр. Но позволим себе поставить вопрос: действительно ли мы, киевляне, а раньше нас москвичи и петербуржцы, *видели античную трагедию* на наших сценах? И никакого ответа, кроме отрицательного, на этот вопрос дать нельзя.

Античной трагедии мы не видели, ни малейшей иллюзии быть не могло, ибо то, что мы видели и слышали, совершенно не похоже на то, что видел и слышал древний грек и, утверждая это, мы имеем в виду, конечно, не различие языка, а целый ряд других, самых существенных и важных условий... Быть может, и нашей культуре суждено когда-нибудь испытать ту же участь, какая постигла античный мир, а через много веков современные нам памятники творчества будут так же интересовать людей грядущих поколений, как нас теперь интересует творчество греков, и уцелеют для них в такой же жалкой степени и форме, в каких мы обладаем наследием античного мира».

Кулаковский рассуждает баском менторски подкованного профессора, который — о ужас — увидел содержание собственной лекции о Софокле и его «Эдипе-царе» воплощённым

на сцене современного театра, куда, как известно, люди не только приходят познакомиться с содержанием спектакля, но и себя показать, на других поглядеть, — то есть совершенно не в академической, но в бахтински-площадной обстановке.

Что же мы слышим из его филологически квалифицированных уст? Кулаковский не увидел античной трагедии. Он хотел бы представить себе, даже лицезреть нечто совершенно несовременное, античное: какие-нибудь котурны, амфитеатр, заполненный публикой в просторных туниках, «оркестры и фимелы» и жаркое элладское солнце. Но этого — нет как нет. С безмасочностью коренного афинянина пеняет он труппе Комеди Франсез, что постановка ничего общего не имеет с тем, что «видел и слышал древний грек». Его осведомлённости, пожалуй, успелось позавидовать.

Но послушаем, как школьники, дальше (впрочем, ощущение назидательности из текста постепенно улечучивается, да и по-школьному безапелляционно тон автора оправдан и жанром статьи, и печатным органом, в котором размещена):

«Античная драма родилась из музыки. Её началом были гимны в честь Диониса, распеваемые хором. Древние драматурги Эсхил, Софокл, Еврипид были не только поэтами, но и композиторами. Началом трагедии было то, что пение хора прерывалось монологом одного лица или беседой двух лиц на возвышении перед тем местом, где стоял хор... Таким образом, драма шла в песне и речитативах и лишь отчасти в виде простой декламации (диалоги). С течением времени эта связь музыки с драмой ослабевала, а позднее и вовсе прекратилась, так что в первом веке по Р. Хр. сочиняли трагедии так, как их пишут теперь; но такие трагедии уже не ставились на сцене, а лишь декламировались перед публикой самими авторами или же специалистами по декламации, которых нанимали для этой цели («столетней давности» утверждение, противоречащее сведениям о римской драме /преимущественно, комедии: Менандр, Плавт, Стаций, Афраний, Теренций и др./, которыми располагает современная наука. — А. П.). В пору Софокла трагедия была *нерасторжимым единством музыки и слова*, для нас же уцелела только одна часть: мы обладаем только текстом, а по отношению к музыке находимся в самом безнадёжном состоянии, так как даже теоретически знакомы с ней крайне мало». Последний тезис за давностью лет тоже сомнителен.

Коллега Кулаковского, доктор греческой словесности Вячеслав Иванович Петр (1848–1923) — посвятил античной му-



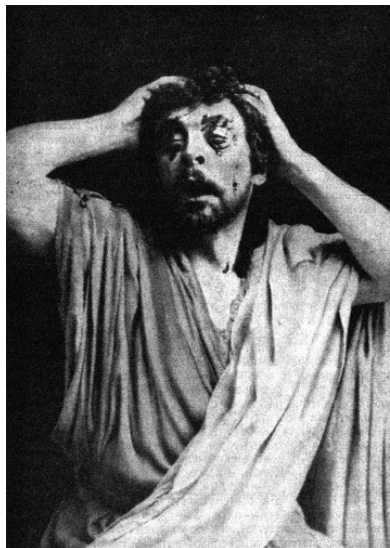
Киев. Городской театр, 1854–1856, архитектор И. В. Штром, сгорел в феврале 1896-го, на его месте ныне Национальная опера Украины

зыке, например, диссертацию «О составах, строях и ладах в древнегреческой музыке» (1901), статьи: «О голосниках в античных театрах» (1909), «О бесцельности некоторых конъектур в литургических партиях античной драмы» (1911), «О древнегреческих партитурах» и «О числе пастушеских песен у Феокрита» (1912). Но, конечно, эти исследования увидели свет после 1894 года.

После развёрнутой пропедевтической части Кулаковский переходит всё-таки к части более аналитической:

«Но раз мы не знаем музыки античной трагедии, и хор не поёт и не пляшет, то его роль из значения действующего лица сводится в нечто такое, что может показаться каким-то излишним и не нужным придатком к обстановке действия, совершающегося на сцене. От античной драмы остаются только актёры, исполняющие действие на сцене, и весь интерес трагедии сосредоточивается на них. Таким образом, то, что было частью трагедии в её исполнении, оказывается для нас всем... Дело не в большей или меньшей талантливости актёров, а в том, что от античной трагедии мы имеем лишь либретто, а не живое и цельное тело драмы».

Конечно, логический путь Кулаковского кажется ему безукоризненным. Но тогда вся античная культура, если продол-



Жан Муне-Сюлли в роли царя Эдипа

жить движение вслед за ним, окажется при таком мыслительном движении тоже — лишь *либретто* самой себя; поскольку то, что от неё осталось, в значительной степени скорее фрагментарно, нежели цельно, скорее реконструкция, нежели подлинник. Давать фору *прошедшему времени* здесь следует, как ни в каком ином случае. Те сакраментальные «тридцать три» драмы, доставшиеся нам от классической поры греческой драматургии, ещё не самое временем разметеленное: прослеживается даже сюжет, лёгший в основу европейского мировосприятия и «морального кодекса». В этом следует, конечно, быть более снисходительным.

Кулаковский, как резонёр, не унимается — глумится:

«Воспроизведение античной трагедии, подобное тому, какое мы видели, не только не содействует знакомству с этими высокими творениями человеческого духа, но, напротив, заключает в себе опасность распространения противоречащих истине представлений, будто античная трагедия и была тем, что предлагается нашему взору и слуху актёрами, изящно декламирующими, нарядившись в греческие костюмы, перевод древнего текста... Драма вообще и трагедия в частности *вовсе не была изображением жизни*. Хор и актёры в своём взаимодействии *воспроизводили* перед зрителями *тот или другой национальный миф* из огромного запаса



Вячеслав Иванович Петр

такого рода материала, как он существовал в народном сознании и народном творчестве».

Всё так. Но зритель-то иной, и ему тоже интересно, как там жил и чем именно «страдал» античный жанровый герой, не вызывавший, разумеется, в древнем греке и йоты подозрения относительно своей реальности.

Приговор Кулаковского суров:

«Мы видели не античную трагедию, а если бы и могли её видеть, то в силу различия между мировоззрением грека тех времён и нашим современным, мы никоим образом не могли вынести впечатлений, однородных тем, какие некогда производили эти творения человеческого гения на людей тех давних времён».

После этого стоит только развести руками в двойном недоумении — и искренним недоумением Кулаковского, и своим недоумением его недоумением. Да вправду ли умён Кулаковский? Если умён, стоит ли так глупить?

Однажды, когда в ходе обсуждения вопроса, нужно ли при исполнении старинной музыки использовать инструменты той эпохи, чтобы добиться подлинности звучания, кто-то сказал, что для этого потребны соответствующие не только инструменты, но и уши, а ещё один разумный человек добавил:

не только уши, но и души. Не знаю, как там с душами в смысле античной трагедии, а вот что глаза должны быть античными — точно. Да где ж их сыщешь в конце XIX века?

Вестимо, понять, чем было вызвано столь резкое негодование по поводу культурно важного события — трансформации античного образа в современность, нетрудно. Но — безапелляционность? Охота надувать профессорские щёки? На службе нелады? Завистники, будто клопы, мрут, но не сдаются?

Простой констатации, что зрителям был представлен какой-то суррогат античной трагедии (самой, пожалуй, трагической из всех классических трагедий), недостаточно: ведь самая античность представлена современному сознанию (и нашему, и столетней давности) как нечто категорически, принципиально неподлинное. Недоумение Кулаковского, сидевшего в зале не в тоге, но в сюртуке, может быть прояснено следующими соображениями.

Едва ли часто приходилось киевлянам быть свидетелями подобных постановок: гастроли французского театра проехали по Киеву с эскортом прессы и дороговизной входного билета. С тем большим трудом могло уложиться в голове академически вышколенного филолога-классика, знавшего античную трагедию, как его менее образованные современники знали пьесы Островского или классическую русскую оперу, — что античную драму можно вообще сценарировать на современных подмостках: под трамвайный гул, трёхцветный флаг и профессорское жалование «за выслугу лет». Всё это нелепо.

Царь Эдип при царе Николае возможен только в тишине библиотеки или монологе заливчатского лектора, — никак не на сцене. Именно непривычность, неукладываемость в традицию театральной жизни (ведь каждый интеллигентный горожанин в ту пору — театрал), сугубая литературность, «несценичность» античной драмы и вызвали *детское* удивление учёного, которое он выразил с *подростковой* категоричностью. Появись на нашей сцене нечто схожее, рецензии филологов и историков вряд ли оказались иными: античность до сих пор жива в её слове, а не в действительном, визуально-онтологическом свершении.

Обращу внимание на вторую часть заголовка этой статьи: на главного актера, Жана Муне-Сюлли (1841–1916), об игре



Жан Муне-Сюлли

и мимике которого Кулаковский высказался недвусмысленно положительно. Актёр ярко трагического амплуа (Орфей, Эдип, Гамлет, Король Лир) из Комедии Франсез (с 1872), Муне-Сюлли был одним из наиболее известных актёров Франции последней четверти XIX века. Как Богдан Ступка.

Ромен Роллан записал в дневнике:

«Дороже успеха была для меня горячая дружба с Муне-Сюлли. Моно и Муне первыми в Париже разглядели во мне то, что все увидели лишь двадцать лет спустя. И этим я обязан Мальвиде [фон Мейзенбург]. Ведь именно она, “идеалистка” (ни произведений, ни имени которой Муне, конечно, не знал), сделала Муне моим другом и с его помощью помогла пробить первую брешь в неприступной стене литературного Парижа».

Роллан обращался к Муне-Сюлли как ведущему актёру Комеди Франсез, пытаясь добиться в апреле 1891-го постановки одной из первых пьес: «Муне-Сюлли ответил Моно, что мой “Орсино” произвёл на него впечатление». О тесных творческих контактах Роллана и Муне-Сюлли, впрочем, омрачавшихся, как видно из писем Роллана, недоверием Муне, и о таланте последнего говорят такие строки.

В письме покровительнице Мальвиде фон Мейзенбург (1816–1903), — удивительной женщине, с которой водились

лучшие люди Европы конца XIX века, — в марте 1892-го музыкальный, трепещуще-возвышенный Роллан сообщает:

«Хуже всего равнодушие друзей; лучше уж откровенные недруги. — Не представляю, впрочем, какой был бы мне прок от вражды Муне; но и от дружбы его проку не вижу. Он совершенно меня не понял. Не комплиментов же я у него пришёл просить».

Оставим в стороне меркантилизм писателя: ему всего двадцать шесть, он ещё питает иллюзии, что может быть интересен.

А вот письмо к фон Мейзенбург от 30.12.1893, имеющее касательство к нашей теме:

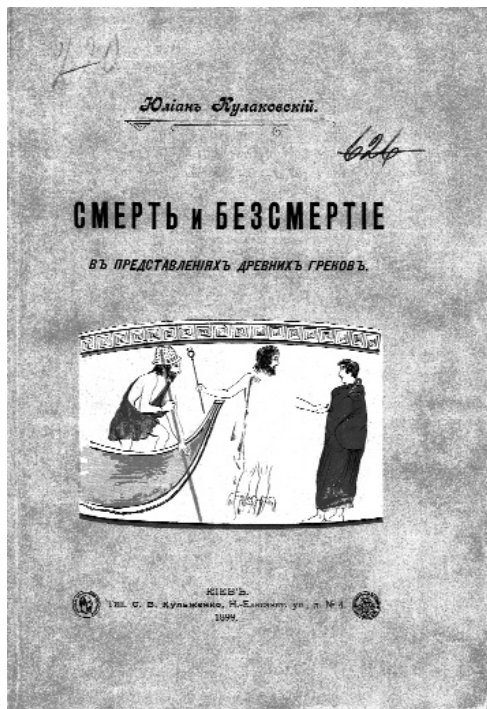
«Думаю, Муне удивился, увидев, что я остался всё таким же после двух лет жизни, столь отличной от прежней и столь насыщенной <...> Он был покоряюще добр и сердечен — как никогда раньше. Сказал, что часто вспоминал обо мне <...> Через 5 дней он отправляется в шестимесячную гастрольную поездку. Будет выступать в Лионе, Марселе, Монте-Карло, Милане, Вене, Санкт-Петербурге, Москве, Киеве и т. д., а в середине марта, вернувшись в Гавр, отплывёт в Америку и вернётся оттуда лишь в июне. В репертуаре его — “Эдип”, “Антигона”, “Гамлет”... Бедняга оттягивал, сколько мог, расставание со своим родным Французским театром; но он, видимо, решил, что пора наконец позаботиться о старости, когда он уйдёт со сцены... Я чувствую в нём на редкость здоровую и щедрую силу, которой он всегда готов поделиться. — Он очень тонко рассуждал об Эдипе и Креонте».

«Мне неинтересно играть за границей, — говорил Муне-Сюлли Роллану. — Там я не чувствую публики».

Последние замечания если не проясняют отношения Кулаковского, то делают картину рельефной, прибавляя новый персонаж к указателю его героев. Сказать, что он не понял ни самоценности игры Муне-Сюлли, ни возможности интерпретировать античную драму, — ничего не сказать. Но после киевской постановки «Царя Эдипа» самый сюжет Софокловой драмы наверняка сделался для образованного киевлянина и более живым, и более трагичным, нежели прежде — при чтении древнего текста.

Эллинская эсхатология. Одной из последних крупных работ Кулаковского в XIX веке была книжка «Смерть и бессмертие в представлениях древних греков», изящно выпущенная Кульженко в 1899-м. Она составилась из трёх лекций в Историческом обществе Нестора Летописца.

Обложка сборника лекций
Кулаковского
«Смерть и бессмертие
в представлениях
древних греков», 1899



«Издаваемые ныне в свет три лекции по эсхатологии древних греков, — сообщается в предисловии, датированном 15.12.1898, — были читаны весною 1897 года в серии публичных лекций, открытых в 1896–97 учебном году Историческим обществом Нестора Летописца. Вскоре после того я имел случай поместить отрывок из моих лекций в журнале “Cosmopolis”, 1897, июнь и октябрь. В настоящее время Университет св. Владимира дал мне возможность напечатать мои лекции в том виде, как они были прочитаны, с одной существенной прибавкой. Не изменяя моего текста, я прибавил, в сопутствие к нему, ряд снимков с памятников античного искусства, в которых трактованы эсхатологические сюжеты и мифы, упоминаемые в моём изложении. Неисчерпаемый по своему богатству матерьял в этом отношении представляет вазовая живопись греков <...> Живопись на вазах — это раскрытая книга образов, наполнявших греческое народное сознание. В этом её интерес, её чарующая прелесть, не говоря уже о высоком изяществе, которое так богато сумели проявить греки даже и в этих произведениях ремесленного искусства».

О том же изяществе вёл в те же годы речь ученик Кулаковского, историк искусства Григорий Павлуцкий. Пожалуй, Павлуцкий и пособил в розыске требовавшихся для книги иллюстраций из античной вазописи. Однако название докторской монографии самого Павлуцкого (1897) о жанровых сюжетах (в том числе и на греческих вазах) Кулаковский в «Литературу вопроса» не внёс. Это с ним бывало.

Книгу составили три лекции: Гомер; Представления о душе и загробном существовании у греков в период расцвета их культуры (то есть V в. до Р. Х.); Фракийский бог Дионис, Элевсинские мистерии, Пифагор и пифагорейцы, Платон и его учение об истинно сущем и о душе.

Это сочинение — наиболее часто цитируемый современными знатоками в области античной культуры труд Кулаковского, не потерявший если не научный, то познавательный интерес до сих пор, хотя Кулаковский при подготовке лекций вовсю пользовался двухтомником Эрвина Роде «*Psyche*: Культ души и вера в бессмертие у древних греков» (1890–1894 гг.).

Борис Варнеке отмечает:

«В этих лекциях профессор удачно передал выводы западных учёных, немало поработавших с Эрвином Роде во главе над выяснением этого высоколюбопытного вопроса. Если бы автор ограничился только пересказом результатов чужих исследований, то и тогда его работа имела бы полное право на внимание публики, но читатель, хорошо знакомый с литературой предмета, нередко находит на страницах этой чрезвычайно изящно изданной книги следы оригинальных наблюдений автора в данной области, что только увеличивает научную ценность работы. Но в данном случае она любопытна главным образом как доказательство несомненного умения автора останавливать своё внимание на действительно интересных и важных вопросах, с одной стороны, а с другой, — обрабатывать их так, что они становятся доступными широким кругам публики. Во всяком случае, это одна из самых удачных попыток в русской литературе популяризации исторических вопросов, и в этой книге историк религий, обрядов, этнограф и фольклорист найдут одинаково много материала для своего поучения».

Много позднее, в некрологе Кулаковского, Алексей Дервицкий укажет, что тот живо интересовался всем и часто откликнулся на разные злободневные и модные темы. Так,

«появление книги Э. Роде “*Psyche*” вызвало в нём временный инте-

Обложка переиздания лекций
Кулаковского
«Смерть и бессмертие в представлениях
древних греков», об Эпикуре и Лукреции.
Издание подготовил А. А. Пучков.
С.-Петербург, 2002

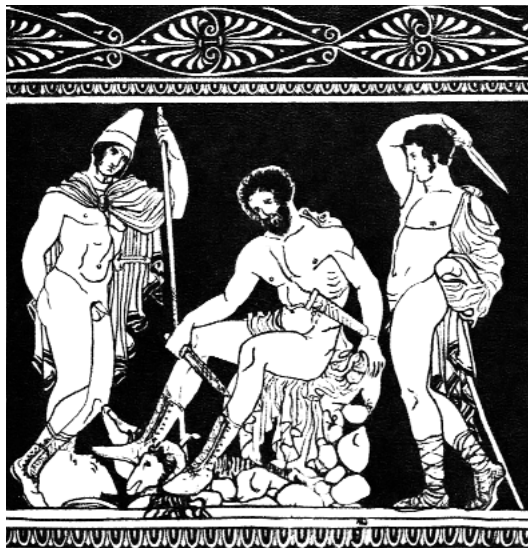


рес к эсхатологии, и он прочёл <...> три публичные лекции на тему «Смерть и бессмертие в представлениях древних греков». Лекции эти были потом напечатаны в журнале “Cosmopolis” и отдельной книжкой».

Интерес Кулаковского к эсхатологии, констатированный как *временный*, таковым не был: философские и мифологические вопросы греко-римского мира, составляя стержень его мироотношения, пропитывали научную работу Кулаковского.

Чтобы сформировать точку зрения в отношении предпринятых Кулаковским усилий по реконструкции античных воззрений на смерть и бессмертие души, стоит задуматься над принципом телесности в греческом мифе — отражением повседневного сознания эллина. Такое обращение тем более важно, что в лекциях показаны и сложение древнегреческой религии, и борьба с ней (и порождаемыми ею суевериями) в поэме Лукреция, который следует в этом не только за Эпикуром, но и за Лукианом. Иными словами, — должно оценить естествоиспытательское усердие исследователя в тех вопросах, которые этого усердия по существу не предполагали.

Относительно природы мифа, много разрабатывавшейся в науке, стоит обозначить по меньшей мере два момента. Один из них выделен москвичом Алексеем Лосевым (1893–1988), второй — киевлянином Сергеем Крымским (1930–2010).



*Одиссей
вызывает Тифесия.
Из книги Кулаковского*

По Лосеву, миф есть чувственное представление, и в нём не содержится ничего абстрактного; миф всегда есть обобщение тех или иных явлений природы и общества, непосредственное вещное совпадение идеи и чувственного образа.

«Любое построение отвлечённой мысли, которое является только отражением действительности, для мифологии является самой действительностью со всеми её материальными и вещественными качествами, в виде живых существ или неживых предметов. В мифе всё идеальное вполне тождественно с материальным и вещественным, а все вещественное ведёт себя так, как будто бы оно идеально. Поэтому всякий миф всегда является чем-то чудесным, фантастическим и волшебным».

Обратим внимание, что построение отвлечённой мысли есть не только *отражение* действительности: это такая же самая действительность, притом обладающая телесными характеристиками, как и та, что эту мысль инициировала. Лосевское определение мифа, к сожалению, не даёт ответа на простой вопрос, *почему* или *зачем* греку был нужен миф.

Дефиниция Лосева коренится в феноменологии, не учитывая повседневную ситуацию функционирования мифа как живого человечески-сознательного *изобретения* инобытийной реальности. С точки же зрения практически-деятельностной,



*Единоборство
Гектора и Менелая
над трупом Евфорба.
Из книги Кулаковского*

жестикоммуникативной, миф сподручнее рассматривать, как это предлагает Крымский:

«С духовной стороны, — пишет он, — миф по тексту <...> может ничем не отличаться от обычных продуктов человеческой фантазии. Но последние могут быть результатом простого мечтания, а миф всегда вступает вместе с тем как средство восстановления “утраченного” этического равновесия, как смысловой план обрядовой жизни, как метафора реального действия, ориентированного на сохранение социального и природного миропорядка».

Кажется, именно это определение мифа позволяет ответить, *зачем* античному греку понадобилась мифология. Впрочем, и этот тезис можно пошатнуть, сославшись на мнение ирландского антиковеда Эрика Р. Доддса (1893–1979), заметившего, что на ранних этапах развития религия не соотносилась с моралью: они питались из разных источников.

«Можно предположить, что религия, в широком смысле слова, проистекает из связи человека с его природным окружением, мораль же — из его отношения к своим соотечественникам».

Здесь уместно было бы понятийно развести миф и сказку, что одним из первых сделал в 1903-м Витольд Клиггер: под сказкой следует понимать

«тот род повествовательных произведений, который, занимая средину меж мифом и новеллой, совмещает чудесность первого и беспритязательную занимательность второй».

В отличие от сказки, миф вскрывает не действительность событий, но правду отношений. Абрам Мардер (1931–2013) полагал, что если сказка персонифицирует отношения между людьми, то миф — отношения между человеком и природой.

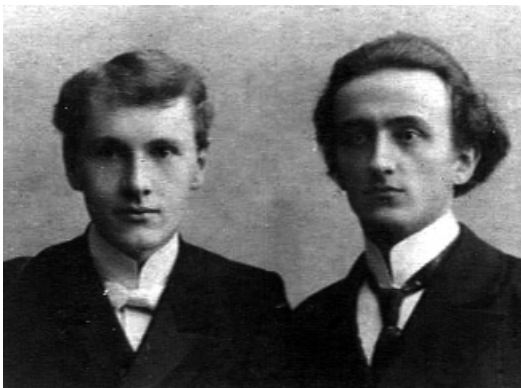
Как бы ни было, стоя на точке зрения Крымского, мы глядим на миф как на *функцию жеста* (динамического, мыслительного итд), стоя на точке зрения Лосева, — как на *феномен*. Что миф есть акт духовно-практического освоения мира, и спорить нечего. Для нас важно, что миф есть ещё и акт художественного восприятия древним греком и себя, и действительности, взятых в их идеальных, так сказать, эстетических характеристиках. Собственно, именно мифологический сюжет лёг в основу античного живописного и даже архитектурного сюжета. Не будь у греков мифологии, не возвели бы они столько храмов — предмет наших восторгов, не оставили бы затейливые сюжеты на изделиях гончарного искусства с чёрно-и краснофигурной росписью; и римлянам немногое осталось у них заимствовать. Даже гомеровский эпос невозможен без мифологических представлений как у тех, кто их сочинил, так и тех, кто их заучивал, по которым *осваивал* родной язык.

Во время оно киевлянин Якоб Голосовкер утверждал, что «воображаемый, имажинативный мир мифа обладает часто большей жизненностью, чем мир физически данный, подобно тому, как герой иного романа бывает для нас более жизненным и исторически конкретным, чем иное, когда-то жившее историческое лицо».

Соглашаясь с такой точкой зрения, которая говорит о стремлении моделировать и конструировать мифологическое пространство *отчуждённо от сознания*, — как внешнюю форму, — замечу, что *конструкция* мифологии возможна, когда миф взят извне, помимо античной религиозности.

Конечно, — и это прописано Кулаковским строго, — мифология достигает *изобразительных* целей походя, ненароком, околичностью, не свидетельствуя о реальности: причём, изображает эту реальность с помощью материалов, для этого не предназначенных, способом «бриколажа» (Вл. Топоров) — рикошетом, отскоком от сознания.

Витольд Клиингер
и Генрих Якубанис —
студенты Кулаковского.
Публикуется впервые
из собрания
о. Генриха Папроцкого



Может, именно в греческом мифе впервые и ярко проявилась удивительная способность воображения, которую Кант разведёт на *продуктивную* и *репродуктивную*, — способность воображения симулировать самоё себя. Эта симуляция заложена в способности мифа отторгаться от феноменологических корней — порождающего его сознания, становиться *как-бы-воображением*, а на деле — неотменяемой, даже навязчивой реальностью. Это не гегелевское *отчуждение*, но именно *отторжение* — условие всякого в-себе-инобытия.

Сложность ситуации исследователя античной мифологии в том, что, во-первых, не только «логика чудесного не нуждается в интерпретации здравого смысла» и потому наш интерес к греческому мифу — эстетический, но, во-вторых, никаким иным способом, кроме «здравым смыслом», нам не удастся понять не нуждающуюся в интерпретации мифологию.

То, что для грека было фактом повседневного сознания, для нас — плод учёного конструирования. На противоположении этих двух энергий — тогдашней «беззаботности» и нашего «напряжения» — зиждется мифологическое антиковедение, в котором знание о греческом «чудесном» тоже порождение нашего времени. Грек, пожалуй, не знал, что его боги «чудесны», и потому не нуждался ни в онтологических, ни в умственных доказательствах их существования.

Отмежевание мысли как предиката познания субъектом объективного мира стало возможным с разделением на субъект и объект, когда второй перестал позволять первому *мыс-*



*Менада в исступлении.
Белофонный килик, приписываемый
мастеру Бригу. 490–480 до Р. Х.,
Мюнхенская глипотека.
Из книги Кулаковского*

лить самого себя без контроля субъективной стороны. Эллинский философ фиксировал некую невесть откуда появившуюся у него идею (Платон — так, Аристотель — этак), не особенно утруждаясь вопросом, как она могла у него возникнуть. Это сейчас мы знаем, что если мысль не приходит в голову, она никуда не приходит; спасибо Декарту. Вопрос же, как можно помыслить то, чем мыслишь, поставленный Мамардашвили, указывает на ситуацию *абстрактного* помышления о мире.

Не то в мифомышлении. Так же, как общекомическое Единое и Мировой Ум (Плотин), будучи допущены как собственно допущение, превосходят способности мышления, — так и мифологическое мышлеобразование оказывается органическим, даже *организменным* превышением телесного характера мысли и рефлектирующей способности мышления в целом.

Происходит своего рода *выступление* за наличную способность *субъективной* мыслительной активности. Налицо активность *всеобщая*, создающая формы, адекватные не *единичной* мыслеформе, но всей *системе сознания*, которое сделалось обобществлённым, *ничьим* в единичном сознании.

В такой единичности миф проявляет, *выказывает* себя целиком, и сознание вынуждено ему подчиниться. Это не могло быть иначе, поскольку, если верить Фаддею Зелинскому, — для греческого сознания мёртвой природы не было:

«она вся была жизнью, вся — духом, вся — божеством. Не только в сво-

Одиннадцатый подвиг
Герakла. Геракл
при помощи Гермеса
и Афины выволакивает
Церберa из Аиды.
Из книги Кулаковского



их лугах и лесах, в своих родниках и реках — она была божественна также и в кольшущейся глади своих морей, и в невидимом безмолвии своих горных пустынь».

Им так виделось. Или Зелинский видел, что так виделось?

Нынешние реконструкции древнегреческого мировоззрения позволяют заключить, что хотя оно и отличалось от современного, но имело конструкцию и тектонику, которая вполне может быть изучена и смоделирована. Лекции Кулаковского о греческой эсхатологии это подтверждают.

«Однако, — как заметил Клиnger, — эта в сущности рационалистическая гипотеза, пытающаяся весь комплекс данных религиозных представлений “свести к одной общей *естественной* основе” (“auf eine gemeinsame *Naturbasis* zurückzuführen”), едва ли применима к образам, которые возникновением обязаны в гораздо большей степени смутным чаяниям сердца, чем внушениям анализирующего ума».

Чем не умственная реконструкция?

Какую же модель «смутных чаяний» греческого сердца построил Кулаковский?

Кулаковское аидоподобие. Обратившись к тематике смерти, Аида, тени в Аиде и тени как таковой, то есть к пространству потусторонности, которую выстраивало повседневное греческое сознание в параллель к видимому и ощущаемому, — Кулаковский занялся вопросом о *несуществующей телесности* древнегреческих представлений.

Если это словосочетание и парадоксально, то лишь само по себе, — в контексте античной мифологии оно не вызывает удивления: мёртвые, сходя в Аид, гносеогенно сохраняют телесный облик, онтологически — утрачивают его. Но так или иначе *присутствуют в бытии — в бытии сознания*. Строго по Гегелю. Впрочем, *мёртвые бессмертны* и без Гегеля.

Рассуждая о разнице между душевной и духовной жизнью у Гомера, Кулаковский заключает, что вместе с мёртвым телом стораает и *frin*, с ним вместе исчезает и *thymos*, остаётся лишь *psyche*, двойник живого человека, сохраняющий его подобие. «Он не доступен для прикосновения со стороны живого человека». Разумеется, речь о физическом прикосновении. Но и души бога, и души мертвеца грек пусть не тактильно, но всё же *касался*. В гносеогенном аспекте это прикосновение не менее реально, нежели всякое прочее — в онтологическом. Это обстоятельство позже дало Сергею Булгакову право отнести содержание мифа к области бытия божественного на линии соприкосновения с бытием человеческим: бог в его человекобожии или богочеловечии всегда покрыт «кожаными ризами».

Неспроста преолимпийские греки различали две стороны потустороннего (кстати, словом «потустороннее» зафиксированы обе стороны): братьев Танатоса и Гипноса, из которых первый был олицетворением смерти, второй — сна, и оба принадлежали Аиду. Греческий миф содержит намёк на обособленное существование в призрачном Тартаре, этом пространственно диковинном «нижнем небе», всякого провинившегося перед богами.

В самой демаркации на *мир земной* и *мир загробный* удивляет понятие *мир*. Уже эллином была выстроена *симметрия* между двумя этими мирами. В мире земном человек едва ли сможет встретиться с богом один на один (боги завистливы и приносят человеку несчастья, — утверждал Гесиод), зато в мире загробном встретится с ним наверняка. У греков Тартар — имагинативно-реальное (Голосовкер) пространство, находящееся в самой глубине космоса, и столь же отстоящее от Аида, сколь земля от неба.

Кулаковский полагал, что в народном сознании жила вера в то, что «по смерти человек сохраняет сознательное бытие; его выражал погребальный обряд и культ мёртвых», причём —

это показательно — никакая «духовная власть, никакая духовная инстанция государственной организации не предписывала этой вере и не охраняла её». Это наблюдение важно для уверенности в *непреднамеренном* характере и эллинской «свободе совести» по отношению к смерти и возможностям её рефлексии. Душа после смерти полностью сохраняет индивидуальность, оставаясь существом, навсегда избавленным от смерти, обладающим *всей полнотой сознания* и — притом — на уровне, который был достигнут ею прежде.

Касательно эсхатологических лекций Кулаковского полезно запомнить несколько позиций.

Тень оказывается предельным состоянием *видимого бестелесного* (по Канту — *амфиболией*), самое существование которого возможно только как нечто выразительное помимо «царства теней» в *живой жизни* греческого мифа. Для возникновения тени необходимы свет и нечто, его заслоняющее, — тело, душа или идея (образ платоновской пещеры). Тогда тень — единственная из *реальных вещей*, которая тени не отбрасывает, и в этом заключены её самодостаточность и «онтологическая» предельность.

Эллин, соблюдая в мифологии *правила филиция телесности* всего, даже тени, невно постулировал очевидный нам принцип *обратной симметрии* в существовании мира живых и мира мёртвых. Это, по-моему, *композиционная ось* античного мировоззрения, не сместившаяся и в римское время. Сколько ни удивительно, но грек представлял *оба мира* отвлечённо: душа, отделяясь от тела по смерти человека и действуя обособленно, переходит в другой мир, обретая в нём новое и уже *бессмертное тело*, и сама становясь в этом теле как *чистая душа*. Являясь идеей в мире живых, душа обретает в мире мёртвых умозрительно очевидную реальность, воплощаясь и «оплотняясь». Бессмертное же тело возможно только там, где уже нет смерти, поскольку смерть — в Аиде. Смерть — прерогатива мира живых. Отсюда — телесность души в мире живых симметрична телесности души в мире мёртвых.

Платоновский мир идей, который Кулаковский анализирует с эсхатологических позиций как мир идеальной реальности, подтверждает *обратную симметрию* телесного в мифе. Загробное тело души и её носителя (героя, титана, человека) ока-

зывается реальным и очевидным именно в мифе. Недаром Лукреций через несколько столетий напишет, что единственным вечным началом в природе является смерть (II 75–79).

Покружив мыслью над триадой *жизнь / смерть / бессмертие* в античной мифологии, Кулаковский вслед за Роде предъявил русскоязычному читателю околофилософский, в духе Марка Аврелия, компендиум сведений, необходимых для настройки внимания на общечеловеческую сущность не только элевсинских мистерий (в которых, по слухам, раскрывались *тайны смерти / бессмертия*) в историко-культурном смысле, сколько на тщету избыточных человеческих усилий в смысле бытийном.

Лекции, из которых выросла книжка, читаны (писаны) уставшим человеком. Ему исполнилось сорок пять, а об эту пору думающий, как правило, начинает непоправимо мудреть.

Борис Некрасов об эсхатологии Кулаковского. Разбор «Смерти и бессмертия...» в «Филологическом обозрении» (1900, т. XIX, отд. 2, с. 125–137) предпринял Борис Николаевич Некрасов (1873–1943/1945), тогдашний преподаватель древних языков в Шестой С.-Петербургской гимназии и неисправимый картёжник, который вскоре этим поломал себе карьеру.

Некрасов указывает на ряд несообразностей, каковые лишь подтверждают: книжка написана уставшим человеком, который сам был не рад, что согласился читать эти лекции, пересказывая Роде.

«Совместный просмотр интересующей нас книги проф. Кулаковского и блестящего труда профессора Гейдельбергского университета [Роде], ныне покойного († 1898), свидетельствует, что русский учёный, солидарный с германским знатоком-специалистом <...> остановился в подготовительной своей работе к трём лекциям на мысли познакомить слушателей с последним словом филологической науки об эллинской эсхатологии, главным образом, по сочинению именно Erwin'a Rohde <...> проф. Кулаковский следовал почти без изменений плану, положенному Эрвином Роде в основание своей "Psyche".

<...> Как-то непонятно, что проф. Кулаковский в своём эсхатологическом трактате не отводит места теории тех *επιρρῖα*, которые в жизни древних эллинов имели громадное значение; как странно несколько и то, что в книге, озаглавленной словами "Смерть и бессмертие в представлениях древних греков", нигде не высказана мысль, что смерть для некогда дикого эллина была, по выражению Фюстель де Куланжа, тою первою

тайной, которая поставила его на путь других тайн, и мысль его вознесла от видимого к невидимому, от преходящего к вечному, от человеческого к божественному.

Что касается бессмертия в мировоззрении Гомера, то оно в его эпосе приписывается одним лишь богам, по разделяемой проф. Кулаковским теории. Но с этой теорией трудно согласиться, так как устои её шатки. В самом деле, что заставляет приверженцев её, например автора нашей книги, отрицать бессмертие человеческой души в мировоззрении Гомера? <...> Предвзятая точка зрения, что бессмертие души должно характеризоваться такими-то и такими чертами загробной жизни, сама себя отнюдь не оправдывает, да ни в чём ином оправдания иметь не может. Таким образом, единственно правильным представляется признать не один, а несколько видов бессмертия души в человеческом воображении, но при этом обосновать, конечно, характер каждого из них. Вот этого-то обоснования и нет у проф. Кулаковского в описании гомеровского Аида.

<...> Справедливость требует сказать, что читается книга проф. Кулаковского легко и с большим интересом благодаря изящной литературной обработке входящего в тему сочинения научного материала. Она вполне заслуживает самого широкого распространения в среде читающей публики, стремящейся к гуманитарному образованию.

Кулаковский не стал отвечать на замечания рецензента, что он, по обыкновению, делал, умножая число публикаций. То ли согласился с выводами Бориса Некрасова, то ли польстила ему высокая оценка *литературных* качеств его книги. То ли просто было не до того: в начале 1899-го параллельно с печатанием лекций им сочинялся комментарий к собственному переводу «Аланского послания» епископа Феодора и чертилась карта Европейской Сарматии.

В 1918-м Шпенглер пояснит аналогичное: «Если в мире истин всё решает доказательство, то в мире фактов решающую роль играет успех»: книжку о смерти бойко раскупали. Тем, кому она нравилась, было не до высоколобых придирчивых рецензий.

Читая столетней давности умные буквы, можно увидеть несколько концептов, не трудных для запоминания; они имеют компаративное насыщение.

Например:

1) если *Гомер* это расставшиеся с могилами предков ионяне, то *Гесиод* это находящиеся «дома» беотийцы;

2) местный критский *Зевс* из бога становится всенародным героем;

3) если *Эрехтей* это бог, ставший смертным, то *Асклепий* это смертный, ставший богом;

4) «Если мы теперь слагаем в один образ те черты отдельных божеств, какие сохранены нам в свидетельствах дошедшей до нас литературы и делаем *мифологию* из того, что было *религией*, то часто получаются данные противоречивые и даже непримиримые»;

5) «Жертвоприношения богам совершалось днём при свете Солнца, а героям — ночью; богам сжигали лишь части жертвенного животного, и в лёгком, возносившемся кверху дыме шла эта жертва в горние обители, а люди потребляли остальную и притом лучшую часть туши убитого животного; жертва героям сжигалась и закапывалась целиком, и никто не должен был вкушать от жертвенного мяса»;

6) «Жертвенник богу был высокий, героям — низкий»;

7) сравнивая «сырое и длинное», комедию Афристофана «Лягушки» и картину Полигнота в дельфийской лесхе кнудян, Кулаковский пишет, что комедия дошла целиком, картина — в пересказе Павсания.

«Фантазия художника вращалась, таким образом, в сфере привычных греку образов древнего эпического мирозерцания <...> картина Полигнота заключала в себе уже поучение и устрашение, то есть тот элемент, который был чужд Аиду Гомера. Она давала надежду изображением неведомого ещё Гомеру дивного певца Орфея»,

в то время как «Лягушки» — настоящая *commedia dell'arte* с переодеваниями и нестрашными страшилками. Перечень сравнительно-культурных позиций в лекциях Кулаковского внимательным читателем может быть с успехом продолжен.

Аланы и «Аланское послание». Предисловие к эсхатологическим лекциям датировано 15.12.1898, предисловие к труду «Аланы по сведениям классических и византийских писателей» — 25.03.1899, предисловие к «Карте Европейской Сарматии по Птолемею» — 12.04.1899. Завидная скорость переключки с одной темы на другую.

И речь ведь не о статейках в половинку печатного листа — это основательные, дотошные, многодельные — нынче сказали бы «фундаментальные» — исследования, переиздаваемые

не только за неимением других, но и в силу их внутренней слаженности, аналитической глубины и всесторонности охвата привлечённого материала. По их поводу и сейчас есть что сказать, — не канули они, нет, не канули.

Кулаковский делом показывает, как комментарий к принятому им переводу «Аланского послания» епископа Феодора превратился в самостоятельное сочинение с строгой внутренней организованностью.

«Натолкнувшись на вопрос об аланах в разработке частных вопросов по истории Крыма, я поставил себе целью собрать данные о судьбах этого племени в возможной полноте и закончить для себя этот вопрос. Так возник этот очерк».

Он благодарит Дашкевича за указания и советы, представляя его учёному усмотрению связь аланов с возникновением казачества.

«Быть может, присутствие среди степняков тюркской расы этого христианского кавказского народа, конного и дикого, сохранявшего, однако, свои связи с культурным миром, нелишнее звено в цепи тех фактов, которые создали “черкас” на среднем Днепре».

Пристальное — с текстами в руках — внимание, привлечение не выбранных, а всех сколько-нибудь важных свидетельств, касающихся алан и их христианизации, и здесь обеспечило Кулаковскому место первопроходца. Жив курилка. Его «Аланы» не только первый и, по странности, единственный свод источников по аланам, но и первый удачный опыт целостной истории народа, восстановленной на основании *медленно-сопоставительного прочтения* оригинальных источников.

Сергей Перевалов, переиздавший «Аланов» в 2000 году, уверен, что метод работы Кулаковского, продемонстрированный в аланских штудиях, это метод установления фактов через историко-филологическую критику текста, основанную на знании конкретных контекстных реалий и языка.

«С позиций сегодняшних Кулаковскому недостаёт проблемности, концептуальности, внимания к теории. Это общая черта многих русских (и не только) историков того времени <...> Для Кулаковского нелюбовь ко всякого рода обобщениям и теоретическим построениям, выходящим за рамки точного знания, связана и с особой требовательностью к себе, сознанием тех трудностей, которые ставит перед учёным сам предмет истории и условия работы».

Проф. Ю. Кулаковскій.

АЛАНЫ

ПО СВЕДѢНІЯМЪ КЛАССИЧЕСКИХЪ И ВИЗАНТІЙСКИХЪ

ПИСАТЕЛЕЙ.



КІЕВЪ.

Типографія Императорскаго Университета Св. Владимира,
Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, Михайловская улица, д. № 4.

1899.

Титульный лист монографии Кулаковского

«Аланы по сведениям классических и византийских писателей», 1899

Обзоръ содержанія.

	стр.
I.	
Савроматы у Геродота. Противорѣчіе въ его свѣдѣніяхъ относительно ихъ территоріи. Свѣдѣнія Страбона о населеніи южнорусскихъ степей. Судьба наименованій Скиновъ и Сарматы.	1
II.	
Первое упоминаніе имени Аланъ. Свидѣтельство Иосифа Флавія о территоріи этого племени. Ворота Каспійскія и Кавказскія. Нашествіе 133 года. Аланы на картѣ Птоломея.	9
III.	
Аланы въ столкновеніяхъ съ имперіей въ странахъ приднѣпровскихъ. Появленіе ихъ на территоріи Крыма. Карта припонтійскихъ странъ у Амміана Марцеллина, его свидѣтельства объ Аланахъ. Свидѣтельства древнихъ географическихъ картъ.	15
IV.	
Аланы въ подчиненіи у Гунновъ. Ихъ участіе въ набѣгахъ на имперію. Аланы на римской службѣ у имп. Граціана и въ послѣдующія времена.	24
V.	
Связь Вандаловъ съ Аланами, Языги-Сарматы. Дѣяніе Вандаловъ, Свевовъ и Алавъ въ 406 году на Рейнѣ.	29
VI.	
Аланы въ Галліи Респендіалъ. Гоаръ. Свидѣтельство Павлина изъ Пеллы о событіяхъ 414 года. Аланы въ Галліи при Аэціи. Житіе св. Германа, Беоргоръ. Аланы съ Вандалами въ Африкѣ. Аланы въ Нижней Мезіи. Иорданъ и его предки.	34
VII.	
Прикавказскіе Аланы въ VI вѣкѣ. Отношенія ихъ къ имперіи. Нашествіе Турокъ Зиплодъ изъ жизни имп. Льва. Крещеніе Аланъ. Свидѣтельства Константина Порфиророднаго. Семейныя связи византійскихъ императоровъ съ аланскими царевнами въ XI и XII вв.	45
VIII.	
Появленіе Татаръ въ южнорусскихъ степяхъ. Свидѣтельства объ Аланахъ на ихъ роднѣхъ: доминиканца Юліана, епископа Феодора Аланскаго, Плато Карпинна, Рубруквиса, Иосафата Барбаро и Лаоника Халкондалы	56
IX.	
Аланы въ Крыму близъ Херсона. Свидѣтельство Абулфеды. Эпизодъ 1300 года въ сообщеніи Пахимера. Аланы въ предѣлахъ имперіи. Слѣды Аланъ въ именатъ мѣстностей. Упоминаніе имени Аланъ у историка Дуки подъ 1462 годомъ. Аланы въ Венгріи.	61

С тех же позиций, увы, до сих пор во многих гуманитарных областях, в которых Кулаковский был первым, мало кому достаёт проблемности и концептуальности, особенно если в этих сферах Кулаковский остался *и* последним.

Не стану заниматься дальнейшей мета-аланистикой в связи с трудом Кулаковского: его текст доступен специалисту. Пусть специалист и усилится что-нибудь добавить.

Карта Европейской Сарматии. К 1899-му — году, когда (в августе) в Киеве происходил XI Археологический съезд¹, — относится публикация Кулаковского, после эсхатологических лекций 1898 года одёргивающая сознание широтой заглупления в совсем иной предмет, неожиданно приземлённый: «Карта Европейской Сарматии по Птоlemeю».

Это небольшое по объёму сочинение (34 стр. + литографированная карта) посвящено карте Сарматии «по Птоlemeю», собственноручно нарисованной Кулаковским, что само по себе требовало, естественно, не только филологической (или мифологической) подготовленности.

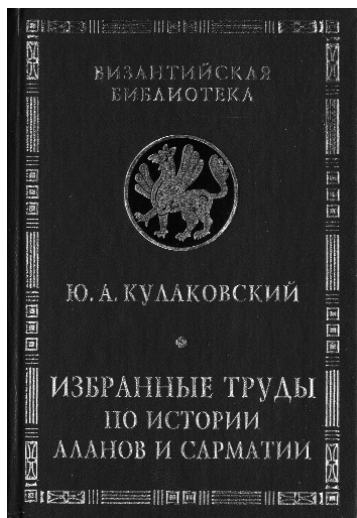
«Интересные и важные данные для древних судеб территории Европейской России, заключённые в карте Птоlemeя, не пользуются у нас всеобщей известностью и не привлекают того внимания, какого они заслуживают, — начинает Кулаковский. — Желая сделать их доступными для широкого круга людей, причастных разработке русских древностей, я приурочил своё издание к XI Археологическому киевскому съезду, которому и посвящаю свой труд в виде приветствия. Университет св. Владимира, с его обычным вниманием к трудам своих сочленов, предоставил

¹ История подготовки и проведения этого съезда требует отдельного исследования. Не желая здесь сильно отвлекаться в сторону, упомяну об очерке «Сшибка здравых смыслов, или Украинский инцидент на XI Археологическом съезде» в моей книге «Культура антикварных несходств: Силуэты. Профили. Личины» (Киев, 2012, с. 135–268). См. также комментарий: *Мих. Грушевський*. На українські теми: Не пора // *Мих. Грушевський*. Твори: У 50 т. Львів, 2005. Т. 2. С. 76–81. Среди прочего в этой статье находим такое подведение итогов: «В 1899 р. українські учені хотіли демонструвати перед офіційною й неофіційною Росією галицьких учених, які, позбавлені можливості присвоїти собі культурну російську мову, мусили, бідні, на своїм “жаргоні” наукові штуки показувати; самі ж російські малороси скромно стали “к сторонке”, яко люди за ласкою Божою й милістю начальства обдаровані мовою “общерусскою” і тому до української не причасні. І це була іронія гірка — якої, на щастя, в своїм українофобським запалі не оцінили наші вороги» (с. 80).

Обложка избранных трудов Кулаковского
по истории аланов и Сарматии.
Издание подготовил С. М. Перевалов.
С.-Петербург, 2000

Внутри:

1. «Алань по сведениям классических
и византийских писателей»
2. «Христианство у алан»
3. «Епископа Феодора
“Аланское послание”»
4. «Карта Европейской Сарматии
по Птолемею»



средства на это издание. В первой главе моего текста читатель найдёт обзор общих сведений о географии Птолемея и выяснение основных принципов его карты Земли; во второй — посильный комментарий к одной из десяти таблиц Европы Птолемея: “Европейская Сарматия”. Градусная сетка карты вычерчена по первому из двух предложенных у Птолемея способов проекции сферы на плоскость <...> В своём комментарии к карте я был далёк от мысли исчерпать те археологические вопросы, которые она может вызвать, и желал бы надеяться, что лица, лучше, чем я, знакомые с археологическими находками бассейна Днепра и Днестра, во многом пополнят сопоставленные мною сведения и факты.

В этой же публикации Кулаковский обращается к вопросу об основании Киева, считая, что со времён Клавдия Птолемея Киев существовал «непрерывно». Через почти столетие Ярослав Боровский (1937–2003), изучая происхождение Киева, в одноимённой книжке (1981) касается этих наблюдений Кулаковского и находит им параллель в обретшей популярность гипотезе исландца Гудбранда Вигфуссона (1827–1899) об отождествлении Киева с Днепровским городом (Данапарстадом).

Вынужден сделать отступление. В 1928 году московский профессор Григорий Ильинский во втором томе «Юбилейного збірника на пошану академіка Михайла Сергійовича Грушевського» напечатал статью «*Sambatas* Константина Багрянород-

ного» (стр. 166–177), в которой пытается выяснить этимологию упомянутого в трактате «Об управлении империей» греческого имени *Sambatas*, в котором исследователи видят название Киева. Ильинский говорит, что статья Вигфуссона, в которой тот отождествляет Киев с Данапарстадом,

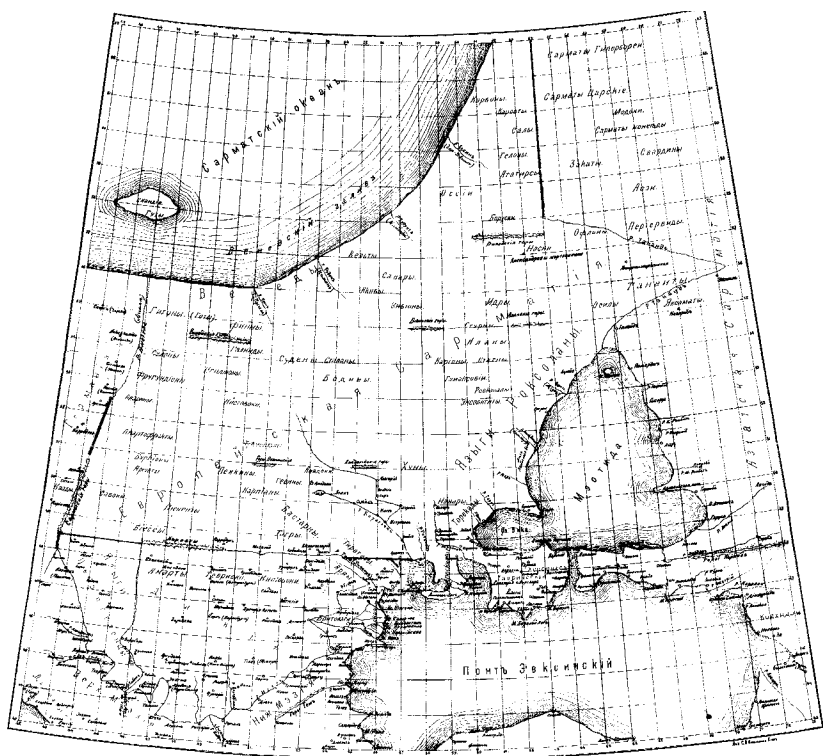
«через посредство английского слависта Морфила стала известной проф. киевского университета Ю. А. Кулаковскому, который, в свою очередь, познакомил с нею своего товарища проф. Н. П. Дашкевича. В мае 1886 г. Vigfusson прислал в Киев рукописную заметку, в которой ещё подробнее, чем в печатной статье, рассуждал о происхождении *Sambatas* Константина Багрянородного. На основании той и другой работы Дашкевич в том же году составил статью “Приднепровье и Киев по некоторым памятникам древнесеверной литературы”, которую и напечатал в Киев. Унив. Изв. (XXVI, № 11, 220–241); здесь, на стр. 231–232, он воспроизвёл полностью английский подлинник рукописной заметки Vigfusson’a».

Не стану вдаваться в выяснение сношений Кулаковского и Вигфуссона или этимологии *Sambatas*’а «по Ильинскому», отмечу только: учёные контакты того времени «по переписке» эмоционально напоминают взаимное эпистолярное утешение философов и естествоиспытателей XVII века. Лейбниц и Мальбранш в научных журналах не нуждались.

С внимательной рецензией на «Карту...» выступил Латышев.

«Профессор Ю. А. Кулаковский, заслуженный и неутомимый исследователь древних судеб нашего Юга, приветствовал недавно бывший в Киеве XI Археологический съезд трудом, восполняющим давно и живо чувствовавшийся пробел в нашей историко-филологической науке и, без сомнения, радостно встреченный всеми, интересующимися исторической географией стран, входящих ныне в состав русского государства <...> Не вдаваясь в подробности оценки всего комментария, данного Ю. А. Кулаковским к географическим свидетельствам Птолемея, мы заметим только, что он производит впечатление некоторой незаконченности. В тексте, приложенном к специальному изданию карты Европейской Сарматии, вычерченной на основании свидетельств одного писателя, скорее всего следовало бы ожидать подробного и систематического рассмотрения всех данных, сообщаемых этим писателем».

Едва ли и Латышев, подобно Модестову, невольно упрекает Кулаковского в мелководье его труда, разбросанности интересов — от эсхатологии древних греков и аланов до Птолемеевой карты. Скорее, изумляется.



Юлиан Кулаковский. Карта Европейской Сарматии по Птолемию, 1899

Понятно, что Кулаковский не имел достаточного времени для *глубочайшего* проникновения в вопрос: положи руку на сердце, скажем, что это ему не было свойственно (за исключением, быть может, позднейшей «Истории Византии»).

Похоже, Кулаковскому важно было если не *поставить*, то — как минимум — *затронуть* вопрос, научно его *расширять*. Искусство же это было ему по плечу вполне.

«Сильные стороны его очень быстро написанных работ, обеспечившие им долгую жизнь, много весомее недостатков» (С. Перевалов).

Чувствуется, сколь не хватает ему усидчивого ассистента, аккуратного секретаря, который бы выполнял черновую работу для реализации громоздких в исполнении научных идей; он вынужден бросать на полпути «в глубину» почти каждую новаторскую по замыслу работу. Упрекать Кулаковского в этом нет



*Юлиан Андреевич Кулаковский — делегат
XI Археологического съезда, 1899*

не только морального права, но даже права научного: ведь редко кто может похвастать полнотой охвата материала по каждому вопросу, о котором осмеливается писать.

Отвечая на замечания Латышева, он всячески благодарит столичного коллегу:

«Знаю по опыту, как много времени требует детальная проверка подобного издания материалом, который представляет текст Птолемея, в разных притом изданиях. Если в результате его проверки оказались допущенные мною и ускользнувшие от моего взора погрешности моей карты, то за указание их я могу быть только благодарен».

Здесь же Кулаковский рассказывает о внешних задачах, сопряжённых с техникой издания карты Птолемея:

«Если бы дело литографического воспроизведения в красках было мне раньше более знакомо, то я, вероятно, сумел бы лучше справиться с затруднениями, с которыми встретился. Но это был мой первый опыт подобного издания. По прекрасному воспроизведению античного рисунка на заглавном листе моей книги “Смерть и бессмертие в представлениях древних греков”, который был исполнен в литографии Кульженка,

я смело поручил той же фирме издание моей карты и тут только, при возне с корректурами, увидел, что гравёры у неё не столь сведущи в своём деле, как литограф. Перевести дело издания на другое заведение, о чём я думал, не мог я по разным причинам, а главным образом потому, что в таком случае я бы опоздал со своим изданием к сроку начала съезда. Так и пришлось мне помириться с некоторыми, не для всех заметными, отступлениями от точного воспроизведения изготовленного мною оригинала».

Автор, буквально торчащий за спиной у гравёра, негодует:

«Нерусский по происхождению, и недостаточно, как оказалось, искусный в своём деле, гравёр не всегда точно разбирал надписания и кружки, обозначающие города. Вследствие этого на оттиске с камня с чёрной краской оказалось чрезвычайно много ошибок. Корректур литографского издания гораздо сложнее, чем печатного. Чтобы исправить буквенную ошибку, приходится стирать с камня написанное. Но стирать камень можно только на толщину листа бумаги. Когда же приходится стирать два раза, то образуется такое понижение уровня, что на этом месте нельзя ничего более написать, так как всё равно не получится на бумаге отпечатка. Если некоторые местности вне пределов Сарматии я опустил намеренно при изготовлении оригинала для литографии, то многое пришлось опустить при корректурах, вследствие повторительного неверного их написания. Так, например, исчез город Эск трибаллов на Дунае, который не мог не быть у меня в оригинале <...> По этой же причине исчезли и некоторые из городов Крыма <...> Сложная процедура поправок с перетяжкой литографской бумаги по оригиналу, разрезом её в разных местах и скреплением, что продельвал гравёр на моих глазах, заставляли меня скорбеть о возникших при этом мелких, но подчас и довольно существенных, отступлениях от точности оригинала. Так, в местах разреза бумаги приходилось удлинять линию течения рек и морского берега, чтобы получить соответствие с чёрной частью карты. Особенно много возни было с Дунаем».

Типолитография Стефана Кульженко была лучшим на Юге России профильным заведением, но изготовление географической карты было для Кульженко внове.

Честно говоря, Кулаковскому некуда было в Киеве передать заказ на изготовление карты, потому, негодуя, он вынужден был сработать её с «нерусским гравёром». Латышев, обратив внимание на недостатки карты, невольно дал Кулаковскому возможность жалостливо поведать, сколько мук ему пришлось претерпеть, наблюдая, как на его глазах гравёр производил хи-





Юлиан Кулаковский (в первом ряду сидит с папирсой второй справа) среди делегатов XI Археологического съезда 11.08.1899 на раскопках в дер. Гребени близ Киева

рургические разрезы родного детища без всякой моральной анестезии. Вглядываясь в современное переиздание карты (офсетным способом, в значительно меньшем формате), представляешь, как тяжело было Кулаковскому наблюдать за нерадивостью и невнимательностью гравёра, которому было всё равно, — как и большинству тех, кто относился к труду Кулаковского как очередной учёной забаве. Но ему-то каково?

Те же, на кого издание было действительно рассчитано, отнеслись благожелательно. Варнеке, комментируя «Карту...», указывает, что

«по самому характеру настоящей работы автору приходилось уделять много места вопросам древней топографии, то есть как раз той самой области, в которой с таким выдающимся успехом трудился и трудится академик В. В. Латышев. Вполне естественно потому, что В. В. Латышев не обошёл молчанием и настоящий труд киевского профессора <...> Эта весьма интересная и поучительная полемика нисколько не мешает признавать труд Ю. А. Кулаковского весьма ценным и высокополезным. Для изучения исторической географии Южной России он даёт весьма много, и за это ему должны быть признательны все, кому дороги успехи исторического изучения России».

Выше я обязывался не затрагивать узкоспециальные работы Кулаковского по византиноведению. И потому прежде чем вспомнить о его *помимовизантиноведческих* трудах начала XX века, возвращусь — в жанре предыдущего — к биографической канве, выдержанной в полубытовых интонациях.

Скажем, — таких трагически окрашенных, как письмо Помяловскому от 19.05.1899 из Одессы:

«Сегодня Деревицкий мне сказал, что в газетах было известие о смерти дорогого мне ещё по детским воспоминаниям Васильевского. Я был в те дни в отсутствии и тщетно ищу в газетах каких-либо сведений о горестном событии. Из письма Соболевского я знал, что бедному Василию Григорьевичу делали в Италии какую-то операцию и что он вообще ненадёжен, но так хотелось надеяться, что он ещё оправится в итальянском тепле и свете, куда он стремился. Все здесь с величайшим сочувствием относятся к горестному событию, и кто мог знать покойного, не мог не почувствовать к нему глубокого уважения и тёплой любви. Мир ему».

Менее драматичное сообщение в чуть более раннем письме Помяловскому — от 12.02.1899:

«С [А. А.] Дмитриевским 4 числа на лекции в Академии случилось

нечто вроде удара. Более получаса он был в беспомощности, два дня пролежал в Академии. 6 числа я его видел уже дома. Наружно он совсем поправился, воспрещены ему, конечно, всякие занятия. Здесь теперь его невеста, очень милая и совсем юная особа».

Алексею Афанасьевичу в 1899-м было 43. В письме Помяловскому от 22.11.1899 Кулаковский вспомнил:

«Сегодня посетил нас впервые Дмитриевский с молодой женой. Он очень поправился и выглядит бодро. Она очень недурна собой и вообще милотлива».

О доверительных и тёплых отношениях двух учёных говорит постоянная готовность Кулаковского посплетничать¹. Вы знаете, чем новость отличается от сплетни? Я не знаю.

18.10.1892: «Мир праху [М. Н.] Благовещенского! Большой был в своё время человек. Я узнал его только развалиной. Читая Вами написанный некролог, так живо вспомнил я старика, дружелюбно и искренне беседовавшего со мною в январе текущего года».

28.02.1897: «У нас предстоит диспут по всеобщей истории 9 марта бывшего здешнего студента [Д. М.] Петрушевского, кажется, претендента на кафедру в Варшаве. Человек он бойкий, только связь с ненадёжным — не умею иначе выразиться — [И. В.] Лучицким является своего рода “но” в этом человеке, который уже вставил грубую полемику с Максимом Ковалевским в свою книгу и, вероятно, не без связи с отношением Ковалевского к Лучицкому за его статистику французского землевладения в пору революции».

3.10.1899: «Сегодня увенчали мы лаврами докторства Вашего сослуживца [С. Ф.] Платонова. Оба оппонента были с ним чрезвычайно любезны, очень хвалили его книгу и своими замечаниями не давали тона нападок или упреков. Иконников входил в детали, а Голубовский поделился с ним интересными соображениями насчёт причин (вероятных) поведения западной Северщины в смутное время, желая знать его мнение по этому возбуждённому им вопросу. Затем последовала похвала от Завитневича, и диспут закончился провозглашением С. Ф. доктором русской истории. Публики было очень много, так что я даже подивился многолюдству. После диспута был дружеский обед у Иконникова, затянувшийся на очень долгое время, так что я только к 9 часам попал домой».

¹ Цитирование писем Кулаковского Помяловскому — по статье академика И. П. Медведева «И. В. Помяловский и его вклад в византиноведение» в: Мир русской византистики: Материалы архивов Санкт-Петербурга. С.-Петербург, 2004. С. 207–240.

Сергей Платонов защитил в Университете св. Владимира диссертацию «Очерки по истории смуты в Московском государстве XVI–XVII веков» (С.-Петербург, 1899), которую считал высшим достижением научной жизни. Ни за что арестованный ОГПУ в апреле 1930 года, академик Платонов был приговорён к административной ссылке в Самару, где умер в январе 1933-го, будучи автором хороших учебников и увлекательных лекционных курсов.

КУЛАКОВСКИЙ и АННЕНСКИЙ Отступление пятое, снова эпистолярное

Филологи-классики Юлиан Кулаковский, сделавшийся византинистом, и Иннокентий Анненский, ставший поэтом, были одногодками. Кулаковский родился в поповской семье в июле 1855 года на западе империи в Паневежисе, Анненский — в августе на востоке, в Омске, в семье начальника отделения Главного управления Западной Сибири.

Учись они вместе, могли быть на «ты», но в те времена междворянское панибратство не приветствовалось. По окончании гимназий (Кулаковский — виленской; Анненский — питерской «Человеколюбивого общества») начали преподавать древние языки: Кулаковский в Императорском университете св. Владимира, Анненский в столичной гимназии Бычкова (позднее — Якова Гуревича). Кулаковский дослужился до генерала римской словесности, Анненский — до «генерала» словесности изящной. Оба глядели на своё письменное дело печальными глазами профессионалов.

Публиковаться начали тоже почти одновременно. Анненский полуанонимно — за подписью «И. А-ский» — в марте 1881-го в ЖМНП выступил с рецензией на книгу ректора Львовского университета и драматурга Антония Малецкого «Историческая и сравнительная грамматика польского языка» («Gramatyka historyczno-porównawcza języka polskiego», Львов, 1879). Кулаковский годом раньше в том же ЖМНП выступил с объёмистой учёной статьёй «Praemia Militae <награждение солдат> в связи с вопросом о наделе ветеранов землёй» (1880, № 6). Скорее всего, он, как и Анненский, не внял доброму



Сергей Фёдорович Платонов

принципу до тридцати лет не печататься (чтобы после не было стыдно). Непослушного Анненского об этом предупредил старший брат Николай (основоположник российской статистики); Кулаковского, рано оставшегося без отцовского попечения, предупредить было некому, и оба в положенные 25–26 лет начали публикаторскую карьеру.

Женились несходно. Анненский сделал это рано, студентом влюбившись в овдовевшую Надежду (Дину) Валентиновну Хмара-Барщевскую (1841–1917). Разница в возрасте — четырнадцать лет. У Анненских был общий сын Валентин, ставший поэтом В. Кривичем (1880–1936), который издавал рукописи отца.

О Дине Анненской излишне язвительно и потому неточно вспоминал Борис Варнеке:

«Чуть не студентом И. Ф. женился на вдове, матери своего товарища по университету, увлечённый её красотой, о которой догадываться можно было по тем молодым её портретам, какие висели у него в кабинете. Теперь это была дряхлая, высохшая старуха, по крайней мере на 25 лет старше своего цветущего мужа <...> Знатная смоленская дворянка, где у неё оставались ещё какие-то владения, она была замужем первым браком за каким-то не то губернатором, не то предводителем дворянства (первый муж — Пётр Петрович Барщевский (1833–1867), председатель Пружанского уездного мирового съезда Гродненской губернии. — А. Л.), и вот к этому кругу она целиком и принадлежала и по своему облику, и по своим вкусам, вероятно чувствуя себя очень дико среди тех учёных и педагогов, в среду которых поставил её брак с И. Ф.»



Кіев. Учебное здание Коллегии Павла Галагана на Фундуклеевской, 1870–1871, архитектор А. Я. Шиле

Кулаковский всю жизнь читал римскую словесность в Университете св. Владимира, Анненский служиво менял директорство в гимназиях: Коллегия Павла Галагана в Кіеве (1891–1893), Восьмая мужская в Петербурге (1893–1896), престижная Николаевская в Царском Селе, по уверению Эд. Фролова, «славившаяся прекрасной постановкой классического образования» (1896–1906); в последние годы — 1906–1909 — вынужденно инспекторствовал в Санкт-Петербургском учебном округе. С этой должности «был уйдён» за месяц до кончины. Анненский умер в 54 года: от паралича сердца на ступеньках столичного Царскосельского (Витебского) вокзала по пути на заседание Общества классической филологии и педагогики — читать доклад о Еврипиде.

«Работа над Еврипидом начинается в 1891–1893 г. в Кіеве: Анненскому только что минуло 35 лет, он “на середине странствия земного”, потом он не забудет упомянуть, что Леконт де Лиль тоже стал писателем в 35 лет. Как кажется, около этого же времени он начинает писать и те свои “настоящие” стихи, которые в 1901 г. будут собраны под мрачным античным заглавием “Из пещеры Полифема”, а в 1904-м выйдут под заглавием “Тихие песни”. Начиная с 1894-го и до 1903-го почти ежегодно он печатает по пьесе со статьёй (обычно в почтенном “Журнале Министерства народного



Иннокентий Фёдорович Анненский

просвещения”). Как менялась за это время — от “Вакханок” до “Медеи” — переводческая техника и поэтический стиль Анненского, — это ещё предстоит исследовать. Для самого Анненского оттачивание своего стиля на оселке Еврипида закончилось в 1901–1902 гг. В эти два года он пишет три собственные пьесы на сюжеты несохранившихся драм Еврипида: “Меланиппа-философ”, “Царь Иксион” и “Лаодамия”. Это значило, что необходимость точно следовать еврипидовскому слову — даже в широких рамках своего перевода-пересказа — уже начинала его тяготить» (М. А. Гаспаров).

В том, что Анненский в сентябре 1893-го был отстранён от директорства в Коллегии Галагана, странности нет: он пытался противостоять тому, о чём с горечью вспоминал Агафангел Крымский (выпускник Коллегии 1889 года, будущий академик и непреременный секретарь ВУАН) в письме журналисту Борису Гринченко от 23.06.1892:

«Там гніт вихователів бува нестерпучий, бо вони мають змогу залізати своїми брудними пальцями в душу вихованця і прикладати до неї свої психологічні міркування. О, як я ненавию тую психологію в вихованню! Як я ненавию те єзуїтство!»

Конечно, Галаганиха, почётная старуха-попечительница Екатерина Васильевна с заскорузлыми педагогическими воз-



*Екатерина Васильевна
и Григорий Павлович Галаганы,
фото 1880-х*

зрениями, была недовольна, и в 1892-м отправила Анненскому обиженное письмо («Находясь в болезненном состоянии, я не имею возможности лично объяснить с Вами по делам Коллегии. Скажу только, что в управлении дорогим для меня учебным заведением Вы систематически нарушаете основные положения, ясно выраженные в высочайше утверждённом уставе его, поэтому Вы поставили меня в необходимость обратиться к высшему начальству с просьбою — дать Вам другое назначение, более соответствующее воззрениям Вашим на учебно-воспитательное дело, о чём считаю нужным известить Вас»), а в Министерство — соответствующие ламентации. Анненский стремился воспитать талантливых и свободных, а Галаганам были нужны вежливые и образованные. Министерство, вздохнув, вернуло Анненского в Петербург.

Говорить о близком знакомстве Анненского с Кулаковским приходится едва ли. Скорее, это знакомство профессиональное. Кому мог Анненский подарить вышедший перевод «Вакханок» Еврипида? Прежде всего коллеге, филологу-классику, способному оценить качество работы. В Киеве этим человеком был Кулаковский.

Любопытно другое: именно в Киеве, в годы галаганского директорства, у Анненского созрел замысел перевести девятнадцать трагедий любимого им Еврипида, во вступительных статьях осуществив их художественный анализ и снабдив научным комментарием. В Киеве же он засел за «Вакханок».

Борис Варнеке писал об этом издании в рецензии на «Меланиппу-философа»:

«В 1894 г. И. Ф. Анненский издал книгу, которой было суждено стать краеугольным камнем того величественного и знаменательного для истории русского театра здания, при завершении которого мы теперь присутствуем <...> Каждая строка перевода И. Ф. Анненского изобличает в нём не механического версификатора, а цельного поэта, который тонко чувствует музыку стиха и свободно, смелой и твёрдой рукой находит на своей палитре краски для создания выпуклых, ярких образов».

По мнению Гаспарова и Виктора Ярхо, «Вакханки» Анненского это «самый ранний и неудачный» из его переводов.

«В ней ещё не устоялись его обычные приёмы нумерации “явлений”, подачи ремарок и т. д.: так, в ремарки вводятся объяснения, что такое парод, как выглядели декорации и проч. <...> Анненский собирался переработать свой перевод; ссылаясь на это его намерение, Ф. Ф. Зелинский в посмертном издании переписал его работу почти на треть» (В. Н. Ярхо).

Читая первое из публикуемых чуть ниже писем, ловишь себя на мысли, что оно, во-первых, короткое, во-вторых, сахарно-восторженное, в-третьих, излишне домашнее (жена, чтение вслух итд). Эти три качества, взятые вместе, свидетельствуют, что Кулаковский не собирался сочинять журнальную рецензию на перевод «Вакханок», но Анненский, вероятно, на это тайно рассчитывал. Поскольку же отвечать на книжные презенты всё равно следует почтительно, Кулаковский сделал это с наивысшей эпистолярной комплиментарностью.

В это время дома у него подрастали годовалый Арсений и двухлетний Серёжа, и чтение «Вакханок» вслух — жене и сидящим на горшочках ребятишкам — могло быть обставлено как *вечірній Кафка для малят*, то есть: со всеми ужасами Дионисов и Кадмов, Пенфеями, Тиресиями и Агавами.

Когда Дионис в третьем стасиме (явление девятое) восклицает:

О, женщины! в силки он сам идёт,
И ждёт Пенфея кара у вакханок, —

Кулаковский-чтец выразительным глазом скашивал на Любовь Николаевну.

Сквозь строки первого письма можно услышать, что ему не слишком понравились анненские «Вакханки»: чего-чего, а вот жаждемой точности в переводе как раз не было, и, построчно сопоставляя оригинал с переводом, именно в этом нетрудно убедиться.

Михаил Леонович Гаспаров врезал в память: Еврипид у Анненского тёмн и болезнен, как салонный декадент (помните эти блестящие характеристики: Эсхил у Вячеслава Иванова архаичен и таинствен; Софокл у Фаддея Зелинского складен и доходчив, как адвокат?).

А в «Экспериментальных переводах» (2003) Гаспаров вынес приговор:

«Всякий перевод деформирует подлинник, но у каждого переводчика — по-своему. Еврипид у Анненского пострадал больше всего. Во-первых — это заметили уже первые критики, — речь в античной трагедии логична, рассудочна, разворачивается длинными сложноподчинёнными периодами. Анненскому это претит, он делает её эмоциональной, романтически отрывистой, разорванной паузами-многоточиями, в которых должно сквозить невыразимое. Во-вторых, он многословен: почти каждые десять стихов подлинника разрастаются до тринадцати-пятнадцати, фразы удлинняются, перестают укладываться своими звеньями в отведённые им строки и полустихия, прихотливо перебрасываются из строки в строку, и от этого “дикционная физиономия” Еврипида (выражение Ф. Зелинского) теряется окончательно».

Чтобы выявить у Еврипида вместо анненской эмоциональности логичность, вместо отрывистости связность, вместо изломанности чёткость, вместо многословия сжатость, — Гаспаров перевёл «Электру» и «Ореста». Иосиф Бродский, в 1994–1995 годах по просьбе Юрия Любимова делавший для постановки «Медеи» в переводе Анненского (в Театре на Таганке) новые переводы хоров, пожалуй, преследовал цели, ещё более далёкие от переводческих целей Анненского.

Например, у Анненского:

Священная клятва в пыли,
Коварству нет больше предела,
Стыдливость и та улетела
На небо из славной земли (ст. 437–440).

Обложка книги Анненского
«Фамира-кифаред», 1919,
художник Н. Э. Радлов



У Бродского:

Клятвы днесь — что ковёр, который в грязи расстелен.

Места, где честь живёт, вам не покажет эллин.

Разве — ткнёт пальцем вверх; знать, небосвод побелен.

Переводы Бродского и Гаспарова — крайние формы расшатанности и строгости переводов Еврипида. Между ними, ближе к Бродскому, располагается опыт Анненского. Это потому что Бродский и Анненский поэты, а Гаспаров учёный. Но это оттуда, из Бродского: «сильный лишь выживает. Переживает — слабый» и «или боль для небес — облака облик частый». У Анненского это выглядит по-другому, как-то вяло.

Относясь недоверчиво, настороженно и трудно к переводческому труду (именно труду — заработку на прожитьё), Мандельштам в 1919-м считал, что

«так называемый переводной язык — это могучее варварское наречие, дикий воляпюк, имеющий свои законы и традицию. Он развивается параллельно с живым литературным языком и в свою очередь оказывает на него сильнейшее влияние».

Итак, отделавшись похвалой «Вашему умелому изяществу истинного мастера», сиречь неведомо чему, Кулаковский отде-

лался и от «Вакханок» Анненского. Доброе слово и кошке приятно: Иннокентий Фёдорович кулаковскую эпистолу сохранил.

Второе письмо, бывшее ответом на несохранившееся письмо Анненского, лишь вскользь касается перевода Еврипидовой «Медеи» — всё больше о делах учебных, издательских и семейственных. И ни слова, хоть чуток комплиментарного, о качестве перевода.

Наверно, этого письма могло и не быть, если бы не одно обстоятельство, засвидетельствованное Варнеке:

«Окончив новый перевод или самостоятельную статью, И. Ф. устраивал обычно у себя чтение. Стоя у конторки под цветущим кустом белых цветов, он на французскую манеру читал свои стихи, слегка пришепётывая, и живописно ронял на малиновое сукно те большие листы, на каких всегда писал своим крупным круглым почерком. Чтениям этим обычно предшествовал роскошный обед с дорогими винами <...> Почётными гостями на чтениях бывали профессора Ф. Ф. Зелинский, П. П. Митрофанов, акад. Ф. Е. Корш и проф. Ю. А. Кулаковский, когда жил в Петербурге по делам бесчисленных в те годы комиссий».

Насчет «крупного круглого почерка» Анненского Варнеке соврал: крупный и круглый (даже какой-то квадратообразный) был у него самого — у Анненского почерк был мелкий и остренький (посмотрите автографы). Погорячился Борис Васильевич — человек театра — и касательно «бесчисленных» комиссий. С сентября по декабрь 1902-го Кулаковский живёт в столице (либо в меблированных комнатах «Лувр» на Невском, либо на Фонтанке у брата), будучи назначенным от Университета св. Владимира членом Высочайше утверждённой комиссии по преобразованию высших учебных заведений. Присутствие на домашних чтениях у Анненского (в Царском Селе) и работа в Комиссии, обсуждение не только поэтических достоинств перевода «Медеи» (как раз 1902-й), но и вопросов улучшения организации российского просвещения позволили Кулаковскому через год столь подробно для частного письма останавливаться на служебных моментах.

Адресат, «будучи человеком замкнутым, сдержанным, прекрасно владеющим собой, всегда оставался ровным и тактичным в отношении как к младшим и нижестоящим, так и к высшим» (А. Фёдоров), и — надо полагать — к равным по социальному цензу. Содержание писем говорит, что особой духов-

Обложка книги Анненского
«Кипарисовый ларец», 1910,
художник А. М. Арнштам



ной близости между двумя филологами-классиками не было, а самостоятельные стихотворные произведения Анненского для Кулаковского, по крайней мере, при жизни Иннокентия Фёдоровича, остались *за шеломянем*. Только через год появится анонимный (подпись: «Ник. Т-о») сборник «Тихие песни» (1904); подготовленный В. Кривичем «Кипарисовый ларец» (в кипарисовой шкатулке хранились рукописи поэта) выйдет посмертно в 1910-м, а до изданий 1923 года не доживёт сам Кулаковский. Драматические опусы «Меланиппа-философ» (1901; с посвящением Варнеке), «Царь Иксион» (1902) осенью 1903-го, конечно, могли быть Кулаковскому знакомы, но я сомневаюсь, широко ли он развёртывался к восприятию стихов.

Крайние точки — «Вакханки» и «Медея», — отпечатлевшиеся в двух письмах (похоже, это единственные послания Кулаковского Анненскому), — первая и последняя переведённые Анненским трагедии Еврипида. Между ними были переводы ещё семнадцать трагедий — да три собственных на Еврипидовы мотивы. Остальное время, могшее быть эпистолярно закреплённым, — время между письмами — осело в разговорах при личных встречах, то есть утекло.

«Для товарищей-филологов он не был учёным, а только талантливым лектором и популяризатором с досадными декадентскими вкусами. Для символистов он был запоздалым открывателем их собственных открытий <...> Для молодых организаторов “Аполлона” он был декоративной фигурой, которую можно было использовать в литературной борьбе, а самого поэта обидно третировать <...> В советское время, как ни странно, Анненскому повезло» (М. Л. Гаспаров).

Трудясь, Анненский был уверен, что рано или поздно должно будет повезти. «Нисколько не смущаюсь тем, что работаю исключительно для будущего», — черкнул он кузине, Анне Бородиной, в 1899-м. Едва ли та удивлённо пожала плечами: большинство пишущих живут в такой нескромной презумпции.

Впрочем, оба они — Анненский и Кулаковский — будто следовали инструкции Фернандо Пессоа, позднейшего португальского поэта, выполняя её в точности.

Защитись от реальности жизнью двойною,
Не давай покушаться на тайны твои,
Ни морщинкой не выдай на гордом челе,
Что душа твоя — сад за высокой стеною,
Но такой, где одни сорняки да репы
И сухие былинки на скудной земле.

Пер. Е. Витковского

Вот эти два письма (из Российского госархива литературы и искусства, любезно списанные для меня моим другом Евгением Жарковым), отправленные с десятилетним перерывом; ответные обнаружить не удалось.

№ 1. Ю. А. Кулаковский — И. Ф. Анненскому

Киев — С.-Петербург, 18 октября 1894 года

Многоуважаемый Иннокентий Фёдорович!

Позвольте Вас поздравить с Вашим прекрасным творением, явившимся в свет с таким изяществом мысли, стиля и внешней формы. Сегодня утром, вернувшись из университета, нашёл я у себя на столе Эврипидовых Вакханок, ставших Вашими, а теперь нахожусь под обаянием вашего перевода, который я только что закончил чтением, и читал его громко за один раз, чтобы чувствовать лучше и <отчётливее> цельность творения. Что Вы мастерски владеете русским словом, это я знаю, но что Ваше мастерство простирается и на стих, это была



Андрей Викентьевич Адольф

для меня приятная новость. От души поздравляю Вас с этим блестящим началом (а быть может, это и не начало, а только я не знаю о предшествующем?) и желаю такого же прекрасного продолжения. Жена моя, которая меня слушала и <старалась оценить> возможность громкого чтения, благодарила Вас за удовольствие, а тем более благодарю Вас я, которому Ваша прекрасная книга несравненно ближе, чем ей.

Крепко жму Вашу руку, прошу Вас передать привет Дине Валентиновне от моей жены и меня, и остаюсь искренне уважающий Вас

Юлиан Кулаковский.

18 окт. 1894. Киев

Р. S. Экскурсы я тоже почти целиком прочитал с величайшим удовольствием, а сравнивая в разных местах оригинал с переводом, дивился и точности, и Вашему умелому изяществу истинного мастера. Хвала Вам и слава!

№ 2. Ю. А. Кулаковский — И. Ф. Анненскому

Киев — Царское Село, 13 октября 1903 года

13 окт. 1903, Киев

Многоуважаемый Иннокентий Фёдорович!

Сегодня получил я октябрьскую книжку “Журнала Министерст-

ва народного просвещения” и увидел, в какой хорошей компании оказалась Медея; но, правда, и тесновато ей стало. В ноябре, вероятно, дело исправится. Ваше короткое замечание “негде печататься”, я понял, как скорбь о прекращении “Филологического обозрения”. Хотя я сам не был усердным сотрудником этого журнала, но я сочувствовал ему от всей души и радовался, что он у нас существует при каждом новом номере. Прекращение его жалкий *testificatus* [свидетельство] нашего настоящего. Когда [А. В.] Адольф написал мне, что он прекращает издание, я сунулся в два места, где надеялся вызвать мысль о помощи журналу. Написал [Н. Я.] Сонину как председателю Учёного комитета, побуждая его проявить своё участие к изысканию средств продолжить это нелёгкое предприятие. Написал и Латышеву, думая, что Академия, которая располагает такими огромными средствами на всякие издания, может в той или другой форме, как высшая инстанция научной деятельности в государстве, помочь делу. Но мои воззвания остались ни при чём. Чтобы морально вознаградить Адольфа за его добрый подвиг, мы, здешние классики, провели ему диплом почётного доктора от нашего университета. Я совершенно не понимаю, как Московский университет, да и Московский округ учебный, не нашли способа помочь изданию и не дать ему остановиться. Адольф писал мне года полтора тому назад о своём расстроенном здоровье, теперь не имею от него вестей. Может быть, и в самом деле здоровье не позволяет ему нести этот труд, какой он так бодро выполнял на общую пользу.

А что это Учёный комитет, в котором ведь и Вы действуете, так медленно двигает дело реформы гимназии? Ведь надо же поскорее выйти из кризиса, который не может не сказываться на школе. С этой осени я стал в близкие отношения к гимназии, так как оба моих сына поступили в первый класс здешней классической гимназии, каковой осталась вторая. Но какая же она классическая, когда латинский язык с его ясной грамматикой изгнан из первых двух классов? Ужасно это жаль. К сожалению, для меня в моих непосредственных отношениях к гимназии нежданно-негаданно вышел перерыв, так как мой старший мальчик [Сергей] заболел скарлатиной, которая уже проходит, но всё равно делает его отрешённым от гимназии не меньше как на шесть недель.

Низко кланяюсь Дине Валентиновне. Крепко жму Вашу руку.

Искренне преданный

Ю. Кулаковский.

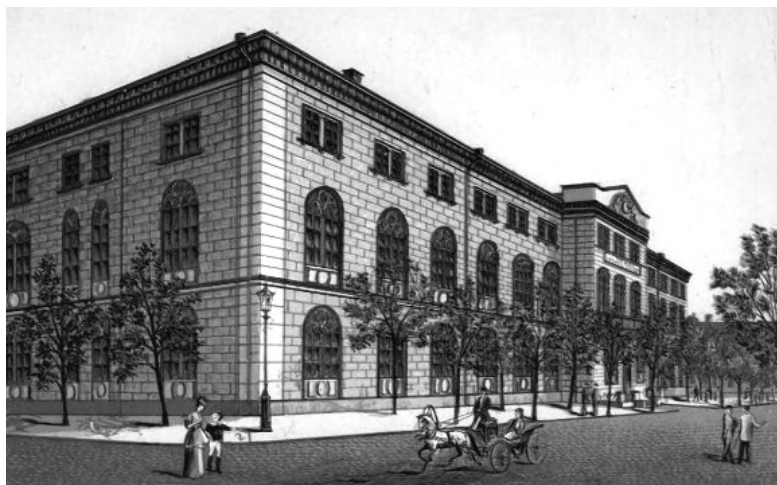
Стоит напомнить в связи с последними строками письма, что учебный год в гимназиях начинался 1 августа и заканчивался 1 июля. За неделю в каждом классе должно было состояться 30 уроков. Они проходили с 8:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам; в среду и субботу гимназисты занимались с 8:00 до 11:00. Пропуск занятий по болезни более шести недель считался значительным отставанием в обучении, и его приходилось навёрстывать экстерном.

Послужное председательское. Кулаковский как профессор назначался Министерством просвещения в разные университеты и гимназии членом («депутатом») или — хуже — председателем приёмных («испытательных») комиссий по классическим языкам у абитуриентов — «историков», «классиков» и «словесников».

В своё время Латышев, впервые назначавшийся в Университет св. Владимира на пост председателя, 11.03.1892 писал декану Флоринскому:

«Из моих телеграмм, а может быть, и из других источников, Вы уже знаете, что мне в нынешнем году предложена честь председательствовать в Вашей испытательной комиссии, а вместе с тем предстоит удовольствие повидаться с Вами и Юлианом Андреевичем и познакомиться с “матерью городов русских”, в которой до сих пор не случилось мне бывать. Деятельность председателя мне уже не нова, но тем не менее мне было бы очень желательно получить заранее некоторые сведения для того, чтобы явиться к Вам уже более или менее ознакомленным с делом, и я был бы сердечно признателен Вам, если бы Вы приняли на себя труд сообщить мне эти сведения, именно: 1) сколько лиц предполагает подвергнуться испытанию и как они распределяются по трём отделениям факультета? 2) все ли они получили выпускные свидетельства в нынешнем году или есть отсталые от прошлых лет?..» итд.

Уже 28.04.1889 указанием попечителя Киевского учебного округа Вельяминова-Зернова Кулаковский командирован в «губернский город Чернигов для присутствия в Черниговской гимназии на экзаменах в качестве депутата от Киевского учебного округа»; в конце апреля 1890-го — в Лубенскую гимназию «для присутствия на испытании зрелости по древним языкам» и чуть раньше (8-го апреля) — в том же ка-



Одесса. Императорский Новороссийский университет

честве в Киевской 4-й гимназии; 4.05.1894 с той же целью Кулаковский командирован в Немировскую гимназию. Видимо, и за эти услуги 1.01.1895 он «всемилодивейше пожалован за отлично-усердную службу орденом св. Станислава 2-й степени», внеся в Капитул Орденов Российских положенные 30 рублей и начав получать орденскую пенсию.

Весной 1897-го Кулаковский впервые назначается председателем историко-филологической испытательной комиссии в Императорский Новороссийский университет (в Одессе).

Флоринскому 5.05.1897:

«Вчера слышал, что в половине мая сюда придет Успенский ради выпуска своих “Известий [РАИК]”, с печатанием которых выходят какие-то затруднения. Буду очень рад этой встрече, а сам я мечтал, нельзя ли отсюда пробраться на несколько дней в Константинополь, минуя трудности получения паспорта, как делают здесь иные. Вряд ли это, впрочем, удастся, как не уверен я и в том, придет ли сюда Люба, хотя и хочет это сделать. Сижу дома довольно много, кое-чем занимаюсь, но до сих пор больше чтением работ и сочинений, которые были представлены студентами при прошениях, чтобы иметь ясное представление об экзаменующихся. Сегодня в заседании Одесского общества истории и древностей буду читать реферат, который я подготовил ещё в Киеве и дополнил кое в чём уже здесь».

Реферат, о котором упоминается, посвящён его переводу «Аланского послания» епископа Феодора, который на следующий год был опубликован с комментарием в «Записках Императорского Одесского общества истории и древностей» (1898, т. XXI). Кулаковский выразил признательность Ивану Помяловскому и Синодию Пападимитриу, оказавшим помощь «в разъяснении нескольких замысловатых мест подлинника».

Из письма Ростовцева Жебелёву узнаём, что кандидатура Кулаковского осенью 1897 года муссировалась на предмет занятия кафедры римской словесности в Императорском Санкт-Петербургском историко-филологическом институте, которым руководил Латышев. Ростовцев привычно язвителен.

«Заинтересовало меня известие о Кулаковиусе; в общем, ничего против его появления в Питере не имею. Шарлатан-то он шарлатан, но несомненно двумя головами выше Холодняка и человек к тому же живой, а что сражаться с ним придётся, так и хорошо, я никогда не прочь дать баталию так или иначе» (18.10.1897).

Ивана Ильича Холодняка (1857–1913), амбициозного и много потрудившегося в области переводов и экзегетики филолога-классика, не любили, коллеги считали его «сереньким». Фамилия «Холодняк» стала в учёной среде нарицательной, мол, «пустышка дутая». Конечно, «шарлатан» Кулаковский мог бы украсить любое учёное учреждение, но у него доставало ума не соглашаться на заманчивые предложения. Ему постоянно предлагали что-то значительное, денежное, и он всякий раз отказывался: то ректором университета (после смерти Фортинского), то директором Археологического института в Константинополе (вместо Успенского), то деканом историко-филологического факультета, то товарищем министра просвещения (Зенгера), то ещё кем-то, всего не упомнишь.

30.12.1897 в толпе традиционно награждаемых был пожалован орденом св. Анны 2-й степени. Знак ордена второй степени носился на шее, на узкой ленточке, но Чехов пожизненно закрепил за ним иную метафорику. В Капитул Орденов «на дела благодные» всемиростивейше пожалованный внёс 35 рублей.

Желанная поездка в духовно близкий Кулаковскому Константинополь-Царьград сложится только через год, летом 1898-го, когда он снова будет председательствовать в историко-филологической комиссии Новороссийского университета.

Латышев в 1899-м вновь назначается на председательский пост в Университет св. Владимира. Вероятно, им даже не удаётся по-видаться в Киеве.

Латышев — Флоринскому 5.03.1899:

«Воля начальства снова доставляет мне удовольствие провести май месяц в Вашем богоспасаемом Киеве, руководя испытаниями университетской филологической молодёжи. Поэтому спешу обратиться к Вам с покорнейшей просьбою 1) по возможности поскорее (если можно, даже по телеграфу) уведомить меня, угодно ли Вам, Ф. Я. Фортинскому, В. С. Иконникову, И. А. Лециусу, А. И. Сонни и П. В. Владимирову быть членами комиссии».

К этому месту есть приписка:

«Не называю Ю. А. Кулаковского, потому что он получает назначение председателем, кажется, в Одессу».

Кулаковский действительно получил одесское назначение, и по этому поводу писал декану историко-филологического факультета одесского университета фон Штерну 10.03.1899:

«6 числа получил я назначение, как и два года назад, в силу которого надеюсь провести май месяц в обществе одесских коллег. В составе Вашего факультета произошли перемены, и так как назначение в члены комиссии должно стоять в связи с ходом преподавания, то я затрудняюсь, кого я должен просить в члены по словесному отделу: Кочубинского или Лаврова, Мочульского ли, или Истрина. Кто из двух последних был членом в прошлом году? Как распределилось преподавание по славяноведению? Я обращался уже с вопросом к Алексею Николаевичу [Деревицкому], но если он уехал, то моё письмо останется долго без ответа, а дело это спешное и Латышев — хотя живёт в Петербурге — обыкновенно, как и теперь, делая такую справку, просит ответа по телеграфу. Если Деревицкий действительно отсутствует, то будьте так добры, дайте мне знать, кого по Вашим факультетским соображениям я должен привлечь в члены комиссии — и притом — по возможности скорее. Все ли отделы могут у Вас состояться, и сколько приблизительно студентов пожелает экзамноваться?»

У больших учёных в административном плане задачи были практически одинаковыми. Под «переменами» Кулаковский подразумевает уход с должности декана историко-филологического факультета Императорского Казанского университета видного российского византиста, доброго знакомца Дмитрия Фёдоровича Беляева (1846–1901). Небольшой рассказ



Эрнст Романович фон Штерн

об этом человеке и об отношениях Кулаковского и Беляева, на мой взгляд, стоит поведать отдельно.

КУЛАКОВСКИЙ и ДМИТРИЙ БЕЛЯЕВ

Отступление шестое, документальное

По слову Жебелёва, именно Кулаковскому мы обязаны тем, что третья, к сожалению, незаконченная часть очерков Беляева «Byzantina» в 1906-м увидела свет — через пять лет после кончины её автора. Дело было так.

В предисловии к третьему выпуску «Byzantina»: «Богомольные выходы византийских царей в городские и пригородные храмы Константинополя» (1906) Жебелёв свидетельствует:

«Если бы после Д. Ф. Беляева остались только две книги его «Byzantina», то и этого наследия было бы с избытком достаточно для того, чтобы признать его заслуги для византиноведения незабвенными». Так писал я в некрологе покойного, помещённом в VIII томе «Византийского временника», не зная в то время, что Д. Ф. Беляевым, ещё до постигшей его тяжелой болезни, составлена была отчасти и III книга «Byzan-

tina". Рукопись этой III книги доставлена была, после смерти Д. Ф. Беляева († 10.03.1901), в Императорское Русское археологическое общество Ю. А. Кулаковским с предложением напечатать её в "Записках" Общества. Редакция "Записок", в которых помещены были две первые книги "Byzantina" (Новая серия, тт. V и VI), разумеется, с большой благодарностью приняла предложение Ю. А. Кулаковского».

Первый выпуск «Byzantina», посвящённый обзору главных частей Большого дворца византийских царей, вышел в типографии Ивана Скороходова в 1891-м, второй, в котором исследовались ежедневные приёмы и праздничные выходы византийских кесарей в храм Св. Софии, увидел свет в 1893-м. По поводу первых двух выпусков (1891–1893-го) Кулаковский выступил в «Русском вестнике» (1893, № 8) с доброжелательной рецензией, судя по которой, можно наряду с прочим заметить завязь интереса к истории Византии. Она начиналась словами:

«Сочинением, название которого приведено в заголовке, профессор греческой словесности в Казанском университете, Беляев, достойно вступил в тесные пока ряды наших русских византинистов. В этой широкой и далеко не возделанной области научного интереса г. Беляев поставил себе определённую и узкую, по видимости, цель, изучение одного произведения византийской литературы X века, а именно: придворного устава, принадлежащего царственному автору Константину Багрянородному».

Нужно сказать, что и на византийском троне встречались нормальные люди. Правда, редко. Для большинства идиотов власть конечная цель бытия, для разумных это крест. Как можно стремиться к тому или другому? Иной император понимал: попал — терпи; можешь помочь, помоги; не можешь, не мешай. Сиди себе на троне, тихонько порть бумагу, пиши наставления детям и потомкам, не препятствуй Господу в Его милостях.

Константин VII (905–959), родившийся в особой царской зале Константинопольского дворца, так примерно и поступал: письменно составлял ритуальный фасад империи, сочиняя устав византийского двора тем «специальным и деловым языком» придворных обрядов, который

«для нас тем более не понятен, чем более в нём терминов, чем чаще встречаются в нём специальные римско-византийские слова и названия мало или вовсе неизвестных нам предметов и действий».

Александр Васильев полагал, что это был «государь,



Дмитрий Фёдорович Беллев

не имевший никакой склонности к управлению и проводивший почти всё своё время за литературной работой в кругу наиболее просвещённых людей своего времени». Такой себе ромейский Марк Аврелий.

Академик Кондаков в рецензии на два тома «Byzantina» (*Византийский временник*, 1894, т. 1, вып. 1) положил, что «эта терминология включает в себе своего рода глоссарий древностей государственных и частных, бытовых и художественных, византийского двора и столицы и, очевидно, именно на эту терминологию все смотрят как на главный материал, содержание в собственном смысле книги о церемониях».

Академик Успенский писал, что

«в числе произведений, носящих имя Константина, должно быть особенно отмечено здесь то, которое весьма мало может претендовать на имя Константина, так как представляет собой сборник пьес разного времени, касающихся хозяйства, управления и официальной жизни дворцового ведомства. Это сочинение имеет оглавление: *“Ektbesis ten basileion taxeos”* [Изложение о царском укладе] или *“De Ceremoniis aulae Byzantinae”* [О церемониях византийского двора], в котором сохранились единственные и драгоценные данные по внутренней истории империи, где скрывается ключ для

разгадки многих не выясненных ещё сторон византийской официальной жизни. Нет ничего удивительного, что этот памятник занимает высокое место в ряду источников для истории Византии, хотя по материальному содержанию, по источникам происхождения и по своему составу он ещё мало изучен (прекрасная попытка изучения дана профессором Д. Ф. Беляевым).

По Успенскому, литературная деятельность Константина, многообразные научно-литературные, археологические и художественные предприятия, во главе которых он находился и которые, поощряя, поддерживал примером, придают особый интерес этому царствованию, «с которым не может сравниться никакой другой период византийской истории». Мы знаем: когда на троне сидит просвещённый человек, тем, кто вынужден копошиться под тронем или вблизи него, бывает легче.

Хорошо идеалисту Платону утверждать, что государство будет процветающим, когда в нём разохотятся править философы, а имеющиеся правители начнут заниматься философией. Между нами говоря, был бы полный хаос: не философией должны они заниматься, а державным управлением, оттого что «государство есть великая машина, коея цель есть блаженство граждан» (Екатерина II). И хотя «как бы не так», философией удобнее всего заниматься философам, от которых мало что зависит. Единственное, на что способно государство в отношении философа, — обратить внимание и принять меры.

Скажем, на примере трудного и долгого царствования Екатерины Великой (1762–1796-й), казалось бы, должно быть видно, что едва философ и кесарь начинают совмещаться в одной персоне, появляется перекокс: то ли государственное управление страдает, то ли управляющий. С Марком Аврелием это получилось сознательно, с Диоклецианом бессознательно. Ведь держава берёт на попечение только больных и увечных: философ избыточен, и если уж появился или выкормился на державный счёт, должен быть либо покладист, либо в каторге. Какой-нибудь Радищев, сознавшись, что увечный, избежал казни, отделался десятилетней высылкой, хотя и «бунтовщик, хуже Пугачёва». Смех и грех. Как бы то ни было, режим и Екатерины II, и, скажем, Константина VII был образцовой моделью государства, построенного на политическом лицемерии с правильно оформленной фискальной системой, и такая модель пронесена до сегодняшнего дня и по славянским странам,



Купол Св. Софии: «И сорок окон — света торжество», фото Бориса Ерофалова, 2019

и по ромейскому царству в самой идее государственности нерасплёсканной, изящно неорганизованной.

Кондаков, оценивая, рисует картину сделанного «присяжным филологом» Беляевым:

«Трактат по общей археологии имеет все достоинства широты представления прошлого и все недостатки его неопределённости, и в то время как всякий успех, открытие или вообще научная добыча по историческим специальностям замечаются и приветствуются при первом появлении, здесь, то есть в смутной среде, называемой древностями, вся работа нередко уходит на анализ бесчисленного множества намёков, косвенных указаний, то есть является чёрною, подготовительною работой. Но тем, кто прикасался к изучению книги Константина Порфирородного и отступил от неё с отчаянием, работа Д. Ф. Беляева представляется во всём своём росте явлением высокой научной любознательности, делом учёного самоотвержения, поборовшего тяжёлый искус, на какой пойдут немногие <...>

Чем решительнее покинет автор сферу тяжёлого для чтения и, по необходимости, хаотического комментария и перейдёт к разработке отдельных археологических экскурсов и этюдов, тем, кажется нам, он скорее достигнет цели: пусть только, не довольствуясь филологическим толкованием, он ищет источников явления, историю каждой формы и её изображение в памятниках, и мы получим *реальный* комментарий к Уставу Константина».

Приветливо порицая Беляева за его *филологический*, а не *культуроведческий* подход, Кондаков будто сам пытается навести резкость в определении метода собственной работы над византийскими художественными древностями. В разных его сочинениях, этим древностям посвящённых, начиная, пожалуй, с программного трактата «Византийские церкви и памятники Константинополя» (1886), он тщится предьявить читателю жаждаемую строгость формулировок. Ни у кого из первых российских историков византийской культуры таких попыток не удалось. Ведь трёхтомник Беляева это история не столько текстов или искусства, сколько история поведенческой культуры или, если угодно, оригинальной *формы этикета*.

То, чего ждал от Беляева Кондаков, главный приверженец компаративного подхода к явлениям культуры и искусства, он формулировал во введении к указанной книге 1886 года:

«Широкий научный метод, хотя вызванный или даже, вернее, созданный самим предметом и обстоятельствами его изучения, но соединявший в себе филологическую критику и художественно-исторический анализ памятника, или совмещение археологии и истории искусства, может быть выставлен руководящим принципом в общей науке древностей. Памятник христианской древности, извлечённый из римских катакомб, понятен только тому, кто исследует равно его художественную форму и религиозное содержание».

Беляев при помощи филологических изысканий и реального представления планировок («топографии») Большого Дворца, Св. Софии, городских и пригородных храмов Константинополя, удачно совмещает буквенную «плоскостность» текста Придворного устава с трёхмерностью (3D-изображением) его воплощения в конкретных архитектурных формах, обращая внимание на художественный аспект этикета.

Всякая искусственная церемония нацелена прежде всего на *эстетическое* воздействие, провоцируемое специально создаваемой художественной формой: пространством, костюмом, жестом итд. Потому, возможно, не сознавая того, Беляев предлагает читателю именно такую модель восприятия того, о чём он пишет. Сейчас бы сказали, что это приём междисциплинарного исследования, тогда таких высокопарностей не употребляли. Потому-то Кондаков и спешит просить Беляева быть «проще и хуже», чтобы впечатление от его книги было не как



А. Н. Щукарёв, С. А. Жебелёв, Н. П. Кондаков, Б. В. Фармаковский, 1895

от суховатого филологического сочинения с вкраплениями конкретных «пространственных описаний», но как от живого историко-культурного сочинения, годного в перечтении.

Возможно, прислушавшись к словам Кондакова, Беляев начинает третий том «Byzantina», посвящённый богомольным выходам ромейских кесарей в городские и пригородные храмы Царьграда, с пятидесятистраничного обзора истории формирования планировки византийской столицы и сложения её Средней (центральной, Mesa) улицы. Этот текст можно перечитывать: добротное историко-культурное письмо.

Вообще говоря, немногие исследователи-предметники давали себе труд останавливаться на методах работы, полагая их читателю автоматически очевидными. Это и в самом деле понятно: *sapienti sat*, а другим безразлично. (Если сейчас в диссертациях требуется перечислить использованные методы, то для гуманитарных наук это выглядит смешнее некуда: у всех практически один набор.)

Академик Жебелёв, в 1938-м оценивая состояние отечественного византиноведения, писал о Беляеве:

«Беляев прошёл в Санкт-Петербургском университете прекрасную школу по классической филологии и обратился к византиноведению лишь с 90-х годов прошлого века, когда он тщательно стал изучать такой важный памятник, каким является сочинение Константина Багрянородного <...> В результате этого изучения Беляев <...> дал ряд образцово-поучи-

тельных очерков и заметок по византийским бытовым древностям и топографии Константинополя <...> Труд Беляева даёт своего рода исторический и археологический комментарий к “Церемониям” Константина и указывает, в каком направлении и по какому методу этот важнейший памятник должен быть изучаем. Было бы очень желательно, чтобы поданный Беляевым пример нашёл подражателей».

Кроме указанных византиноведных трудов, лишивших его имя забвения, перу Беляева принадлежат «Омировские [Гомеровские] вопросы. I. О деянии в “Одиссее”. II. О начальном согласном, отпавшем перед гласным, в “Одиссее”» (С.-Петербург, 1875, магистерская), «К вопросу о мировоззрении Еврипида: Историко-литературные этюды» (Казань, 1878, докторская), «История алфавита и новое мнение о происхождении глаголицы» (Казань, 1886), «Греческое Четвероевангелие: Пергаментная рукопись Н. П. Лихачёва» (С.-Петербург, 1888), «Новый список древнего устава константинопольских церквей» (С.-Петербург, 1896). Эти сочинения до сих пор научно актуальны, поскольку едва ли биты, будто валет тузом, результатами других учёных: каждый, стесняясь коллеги, роет для будущего собственную ямку.

Окончив в 1871-м Петербургский университет, в 1893-м Беляев избран членом-корреспондентом Академии наук по разряду классической филологии и археологии Историко-филологического отделения. В 1884–1897-м, тринадцать лет, сидел в кресле декана историко-филологического факультета Казанского университета, «Ленина видел». От этой изнурительной должности освобождён в сентябре 1897 года по причине апоплексического удара, который, вскоре повторившись, в марте 1901-го свёл Беляева в могилу. Укатали сивку крутые горки.

Кулаковский — Флоринскому 2.05.1898:

«Беляев, которого я посетил через 3 часа по приезде, очень ещё плох. Правой стороной он вовсе не владеет, говорит не всё ясно и очень отрывисто; учится писать левой рукой, но только ещё учится. Он мне очень обрадовался, про всех киевлян расспрашивал, прерывая это вздохами и жалобами на своё тяжелое положение <...> Друзей у него здесь, по видимому, совсем нет, и он совсем одинок, слышал порицания его жены (которой ещё не видел)».

Зоя Васильевна Беляева, как можно понять из писем Кулаковского, сыгравшая не последнюю роль в исходе его болезни,

предприняла все усилия, чтобы омрачить дорогому супругу последние дни.

Кулаковский — Помяловскому 15.05.1898 из Казани:

«Эта дама, то есть М-те Беляева, немножко синий чулок и с большими претензиями, разыгрывала на моих же глазах роль нежной супруги, ухаживающей за тяжело больным мужем <...> а 5 мая таинственно исчезла (вместе со старшей дочерью, барышней лет 18), оставив мужу и его приятелю, проф. [Евгению Фёдоровичу] Будде, таинственные письма... Как и надолго ли они исчезли, много ли денег взяли — неизвестно... Такое событие могло бы вконец убить Дм. Фёд., и можно даже удивляться, что его состояние не ухудшилось. Я его часто навещаю и подолгу остаюсь у него, равно как и Будде. На днях побывали у него и другие кое-кто.

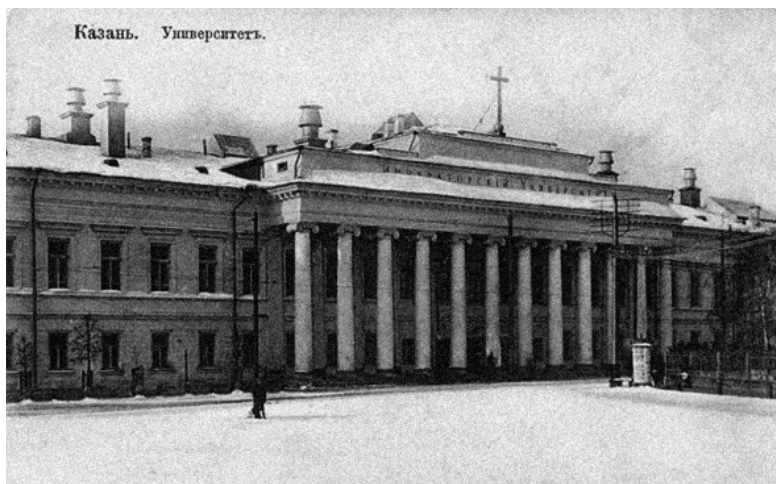
Речь у него трудная, и порой только догадываешься, что он хочет сказать. С ним осталась младшая дочь, 15 лет, получившая от матери письмо с наставлениями о хозяйстве, сын-гимназист 16 лет, кажется, не очень прилежный ученик VI класса, и бывшая их бонна француженка, ставшая русской.

По-видимому, М-те давно уже чудила и, быть может, приготовила мужа к странному пассажам. Теперь, когда все этот факт обсуждают, рассказывают и о таких её поступках, которые позволяют сомневаться в её здравом смысле, вроде жалоб на сына попечителю учебного округа, изложенных письменно, а сын вовсе не производит впечатления отбившегося от рук юноши, и мальчик, кажется, способный и толковый».

Не каждому учёному везёт с женой, и с женщиной, десятилетиями сидящей дома с детьми, может произойти какой угодно коверкот: из миловидной невесты она превращается в эмансипированную истеричку. Исключения редки.

Через два года, 13.05.1900, Кулаковский сообщает Флоринскому из Казани:

«Бедный Беляев опять очень плох. Судя по его письмам, я надеялся даже на его помощь кое в чём византийском; но оказывается, что на страстной был у него второй удар, и теперь он такой же, каким я его видел, то есть говорит с большим трудом: язык мало слушается, да и умственно как будто подавлен. Разница та, что теперь он передвигается без посторонней помощи, упирается на палку и передвигает кое-как поражённую правую половину тела. Семья его теперь вся в сборе, так как <...> приехала и старшая дочь, которая учится на [высших женских] курсах в Петербурге <...> Неприятная девица, убеждённый синий чулок, как и её мать. Часть книг Беляева продана татарам, и я выкупил кое-что своё с подписа-



Императорский Казанский университет, 1822–1825, архитектор П. Г. Пятницкий

ниями. Твоих вещей не видел, но много брошюрок Латышева, Дмитриевского, здешних профессоров и других. Она <жена> говорит, будто он сам отобрал ненужные вещи, действительно там много никому не нужного хлама, даже каталоги антикварные, которые так и не отобрали от книг и брошюр. Я навещаю Беляева довольно часто, хотя это и тяжело».

Через четыре дня примерно о том же, но с подробностями, сообщает и Помяловскому:

«Побывал я у него немедленно по прибытии, захожу нередко и теперь, хотя эти посещения ничего, кроме самого тяжёлого чувства, не оставляют. Я ожидал найти его таким, как можно было себе представить по его же письмам в январе и марте; но оказалось иное. На страстной был у него второй удар. Ближайшие его последствия уже прошли ко времени моего приезда (у него было перекошено лицо), но говорит он с величайшим трудом, замолкая часто на половине простой фразы, забывая слова и далеко не внятно. Как будто есть и некоторая умственная подавленность. Что до движения, то в этом отношении дело обстоит лучше, чем два года назад: он передвигается сам, без чужой помощи — опираясь на палку, подвигает вперёд поражённую часть корпуса.

Жена решила переехать со всей семьёй в Петербург и осуществить этот план, кажется, в конце июня. Она так же, если ещё не больше, уверена в своей непогрешимости и высоких достоинствах во всех отношениях, как и прежде, и гордо говорит о себе и своих поступках и решениях. Дочь,

бежавшая тогда от большого отца, находится теперь здесь: приехала в начале мая с курсов. Она “убеждённая” барышня и кандидатка в синие чулки не хуже матери. Тюфяк-сын кончает курс в гимназии, и мать подбила его заявлять, что он хочет поступить на восточный факультет, хотя ни склонности, ни способности к изучению языков он не обнаружил и не сознаёт за собой. Нужно же это затем, чтобы мать могла сказать, что она “должна как мать, понимающая интересы детей”, переехать в Петербург. Казань и казанцев она ругает на все лады. Она давно разошлась со всеми, да, по-видимому, и сам Беляев мало с кем был близок.

Посещают его лишь два-три человека через несколько месяцев. Он сам при первом свидании усиливался сказать, что жаль оставлять свой дом, свой сад, где всё привычное и родное. [Д. А.] Корсаков высказал предположение, что М-ме, переехав в Петербург, хочет поместить его куда-нибудь в больницу, чтобы отделаться от лишней обузы. Может быть, это и так.

Книги Беляева в огромном количестве находятся в продаже у букинистов. Она <жена Беляева> говорит, будто он сам сделал выбор. Кое-какие свои брошюры, одну Вашу купил и я. Видел брошюры Латышева, Дмитриевского, книги здешних профессоров. Он говорит, что его библиотека хранится в кабинете Айналова, но что там есть, не знаю. В продаже я видел почти исключительно русские книги и брошюры и много такого, что не нужно действительно, напр.: отчёты по управлению Кавказским учебным округом. Во всяком случае, сортировка сделана нелюбезно в отношении авторов, посылавших свои писания Дм. Фёд. Вот Вам отчёт о положении бедного больного» (17.05.1900).

Конечно, Кулаковскому тяжело было видеть не только искажённого болезнью человека, но и собственные сочинения с дедикациями Беляеву в числе тех, которые тот отобрал для продажи как «ненужные». Однако дружеское расположение к Беляеву и сродство интересов всё-таки подвигало к общению. Ко дню рождения Флоринского поздравительная телеграмма из Казани была подписана: «*Беляев, Кулаковский*». Дмитрий Айналов в письме Помяловскому (1897) писал, что Беляев «всегда был готов на хорошее, раз к нему идёшь с хорошим» и что «беседа с ним по поводу византийских предметов всегда интересна и плодотворна».

Видимо, в круг общения Беляева в одесские приезды входил Кулаковский, которому в последний приезд — в мае 1900-го — Беляев передал незаконченную рукопись третьей части константинопольской трилогии о дворцовых церемониях. Научный

долг обязывал Кулаковского приложить усилие, чтобы она увидела свет.

С качественно отпечатанной фотографии, вклеенной в третью, посмертную, часть «*Byzantina*», глядят умные глаза тучного мужчины с роскошной бородой, парадный сюртук украшен докторским значком и звездой ордена Св. Станислава: настоящий провинциальный чиновник, администратор, «начальник слова», ну, никак не профессор греческой словесности или вежливый декан. Облик изображённого на фотографии сурового человека едва ли согласуется с образом остроумного автора исследований византийских дворцовых церемоний и планировки Константинополя. Конечно, не в этом дело.

Беляев умер в Петербурге 54 лет отроду. Бывший студент Беляева византинист Сергей Шестаков (1864–1940), будущий член-корреспондент АН СССР, в июльской книжке ЖМНП за 1901-й составил об учителе развёрнутый некролог.

«Вспоминая руководство Д. Ф. Беляева как профессорский стипендиат <аспирант> не могу умолчать о всегдашней готовности его направить и облегчить научный труд опытными указаниями на темы работ, приёмы и методы исследования, литературу предмета. С неизменной добротой и предупредительностью он встречал своих бывших учеников, преподавателей гимназий, в своём домике в улице 2-я Гора, снабжал их книгами из своей библиотеки и советами <...> Обязанности члена попечительского совета в [Казанском учебном] округе, посещение экзаменов, просмотр и отзывы о письменных работах поддерживали у Д. Ф. Беляева постоянный интерес к вопросу о постановке в гимназиях преподавания древних языков, и он был горячим сторонником того метода, который <...> он называл эвристическим <...>

Если лекции и частные беседы создают сферу влияния профессора на его слушателей, то ещё важнее тот пример неустанной и плодотворной научной работы, которые он подаёт младшему поколению. В этом отношении Д. Ф. Беляев стоял на высоте учёного призвания. Мы, его ученики, постоянно заставляли его в его кабинете за письменным столом, за работой, его увлекавшей, увлекавшей настолько, что он не мог не посвятить и нас в интересовавшие его вопросы. Знаток в области, избранной им для научного исследования, он снисходительно выслушивал замечания своих учеников, если видел у них интерес к предмету изучения».

В некрологе самого Шестакова, тихо прожившего в Казани рядовым профессором, Жебелёв, ненадолго переживший



Константинополь. Храм Св. Софии, фото Бориса Ерофалова, 2019

Сергея Петровича, написал, что едва ли можно сомневаться в том, что именно Беляев, который занимался в ту пору, когда у него учился Шестаков, изучением «Церемоний» Константина Порфирородного, приохотил Шестакова интересоваться не только древнеэллинской, но и византийской древностью.

Не без участия Беляева и Кулаковский от вопросов римской истории перешёл к вопросам истории ромейской. Я уверен, что подготовка к печати неоконченной рукописи третьей части «Byzantina», переданной инсультным Беляевым Кулаковскому в Казани весной 1900-го, — а это семь с половиной печатных листов исторически задиристого текста, — спровоцировала перескок птички его учёного интереса с римского шестка на византийский, естественный перелёт с латинского Запада на греческий Восток.

«Приложенный портрет Д. Ф. Беляева исполнен по фотографическому снимку, любезно доставленному мне вдовой покойного З. В. Беляевой», — завершил редакционное предисловие Жебелёв.

Я тоже остановлюсь на этом, напомнив, что хорошим русским слогом написанный Беляевым трёхтомник «Byzantina» вращается в космосе Сети в приличных PDF-файлах, с хороши-

ми картами — восстановленной Беляевым по Константинову уставу планировкой Большого дворца, например (в первом томе), и разрезами стен Константинополя, которые позднее Кулаковский перепечатает у себя в «Истории Византии».

Беляев, как и Кулаковский, нигде не называет «современный Константинополь» Стамбулом: будто им, историкам, до сих пор не по себе, что центр христианского мира вынужденно сменил имя и ориентацию. Однако диковинная и диковатая для XX века идея о «возвращении» Босфора и «проливов» в лоно «святой православной церкви» в их серьёзные, хотя и монархически постриженные головы прийти могла едва ли. Единственное, до чего счастливо не дожил Беляев, это реформа средней школы летом 1901-го, «устранившая греческий язык как обязательный предмет из преподавания в гимназиях», которая не только «понижила, — по слову Латышева, — до ужасающих размеров познания учащихся по древним языкам (что удостоверяется единодушными заявлениями преподавателей как средней, так и высшей школы), но в то же время нисколько не повысила успешности по остальным предметам преподавания, а напротив, уменьшила работоспособность учащихся, развила дилетантизм и верхоглядство». Для тех немногих, кто считал, что *движет культуру*, удаление древнегреческого из гимназических программ было одним из первых ударов по сомнительной устойчивости столпам российской государственности. Как убийство Павла I в марте 1801-го означило наступление в России XIX века, так удаление древнегреческого из гимназий летом 1901-го — первый спазм сворачивания устаревавшего проекта «Российская империя». «Дилетантизм и верхоглядство», бездарь и лодырь вторглись в гимназию, будто волк в овчарню. Правительствующие уверились, что «овчарня» это страшное слово, что там овчарки, что перед «овчарней» «волк» — ягнёнок. Обознались.

Михаил Корелин и рецензия Кулаковского на его «Падение античного мирозерцания». Одногодок Кулаковского из зажиточных калужских крестьян, ярко проживший 44 года, Михаил Сергеевич Корелин (1855–1899) может считаться первым российским культуроведом в современном толковании этого слова. Всякий факт истории (художествен-



Михаил Сергеевич Корелин

ный, экономический, литературный итд) Корелин пытался непременно ставить в связь с обстоятельствами места и времени происхождения, выслеживать векторы его возможного влияния на последующие обстоятельства, иным словом, объединять горизонталь вычитанной в текстах находки с вертикалью реконструированной 3D-модели окружающих эту находку обстоятельств. Объединяя возможности филологического метода и метода исторического, Корелин создавал объёмное пространство культурной формы, предъявляя его на доступном читателю языке.

Три неотменимые в культуре книги (помимо трёх дюжин статей) сочинил Корелин: четырёхтомник «Ранний итальянский гуманизм и его историография» (1890–1892), принесший ему докторскую степень минуя магистерскую, «Падение античного мирозозерцания: Культурный кризис в Римской империи» (1895) и «Очерки итальянского гуманизма» (1896). Придёлать к этому перечню четыре статьи «Современное искусство» (*Русская мысль*, 1893, № 5, 1898, №№ 11, 12 и 1899, № 1) —

и взаимоперпендикулярность исследовательских полей Корелина обретёт пространственную жёсткость.

Сочинения Корелина написаны языком, смысл которого можно впитывать, не стесняясь собственного невежества: кроме фантастической эрудиции во всех гуманитарных сферах (от всеобщей истории, филологии и искусства до экономики, дипломатии и детской педагогики), в них есть юмор, простота слога и желание быть читаемым, а не только учёным. Объединение высокого академизма с популяризаторством для тех времён не редкость, и пишущие соревновали, кто кого переunggоляет в популярности изложения запутанного. Нам бы их амбициозные агоны.

Конечно, и сейчас трудно переплюнуть такой вот, скажем те, пассаж, где речь идёт о римской религии:

«при самом рождении нужно обращаться к 19 различным божествам, из которых каждое охраняет от какой-нибудь специальной опасности или мать, или ребёнка. Затем богиня Потина учит ребёнка пить, Эдука — есть, бог Фабулинус — говорить и т. д. Далее идут боги, обучающие считать, сообщающие память, потом свадебные боги, боги, примиряющие несогласных супругов, и т. п. <...> словом, богов так много, что, по статистическому замечанию одного поэта, “гораздо легче встретить бога, чем человека”. Но все эти божества не что иное, как сухая, безличная абстракция различных актов человеческой жизни <...> Творческая фантазия, сделавшая из греческой религии художественное произведение, совершенно отсутствует у римлян <...> Римский культ — скучная юридическая сделка, обставленная многочисленными и трудными формальностями».

Корелин для ритмики оставил окончание *-us* в ряду *Потина-Эдука-Фабулинус*, а Кулаковский не расслышал и в рецензии 1897 года ущипнул его: «часто без всякой надобности г. Корелин удерживает в передаче латинских имён окончание *-us*: *Фабулинус* (стр. 7), *Серенус* (стр. 62), а рядом с этим он пишет: *Адриан, Фаворин, Руф* и т. д.» Нет, не без надобности: ритмическая у него надобность, будто подначка. *Потина-Эдука-Фабулин* — скучно же, арифметическое перечисление трёх из девятнадцати богов, и читатель начинается бояться, что Корелин сейчас перечислит ещё шестнадцать, как Гомер — усыпляющий список кораблей. Но этого не происходит, и чуткий слух Корелина пресекает ряд, закругляет его: *Потина-Эдука-Фабулинус*. Мол, для создания общего впечатления довольно троих.

Корелин был прост, ясен и доступен; как у «личности энергической, с детства привыкшей к полной независимости, резкость в оценке людей и несдержанность в выражении этой оценки были с его стороны вполне естественны».

На деле, продолжал Владимир Герье, учитель Корелина, «не люди, а свойства и действия, противные его натуре, его раздражали». У него были «своя античность», «своё Возрождение», «своя современность» и много чего ещё своего, не похожего на «своё» других.

От слишком нынешнего слова «культуролог» он бы отворотился, как завтракающий от мокрицы, а вот термин «культуровед» принял бы устрицей наверняка.

Пространство его бытования было пространством самой истории в её непрошедшем, «наличном бытии», и исторические мертвецы, о которых писал, были для него живее большинства прямоходящих современников, которых старался избегать.

Рецензия Кулаковского на книгу Корелина доброжелательная, даже восторженная. Он будто бы оправдывается перед читателем, что взялся за сочинения этого текста.

«Прекрасная общая концепция, продуманный выбор материала, изящество изложения, великолепный язык, наконец, и всеобъемлющий интерес сюжета, — всё это является достаточным залогом успеха этой небольшой по объёму и тем самым уже доступной для каждого книги».

Такое обилие прилагательных, в разные стороны направленная лучезарность похвал (прекрасная, продуманный, изящный, великолепный, всеобъемлющий) для рецензионного стиля Кулаковского редкость.

Остальной текст, конечно, выдержан в лёгкой критической манере, не без похлопывания Корелина по плечу («За тем изящным и цельным изложением, которое сумел дать своему материалу автор, должна скрываться огромная эрудиция»), но всё-таки весьма комплиментарной. Но зачем писать рецензии, если не ставить задач указать на недосмотр и неточности? Если этого не делать, будет некролог: как водится, лживый, манерный, со обязательными словами «навсегда» и «поприще».

Кулаковский обращает внимание на те моменты, которые близки ему самому в сфере римской истории: Эпикура и Лукреция («Откуда автору известно, что эпикурейцы часто кончали самоубийством, мы не знаем»), природы раннего христианства

в изложении Тертуллиана и деталей римской истории, изложенных у Светония. Он настаивает, что

«между автором и материалом источников стоят посредники, которые нередко оказывали ему нехорошую услугу, вводя его в недоразумение или противоречие действительности <...> Мы не считаем для себя обязательным проследить, в какой мере и в каких частях лекции г. Корелина покоятся на самостоятельном изучении источников. Признаемся, это был бы огромный труд в виду обилия вопросов, которые обозрел автор или которых он коснулся».

Дались ему источники?

Что такое источник в отношении событий древнего мира? Это всё равно пересказ условным современником некоторого события, точность которого условна. Важна убедительность в его передаче и встройке в нужный современному автору контекст.

Как не искал, не смог я найти у Гегеля приписываемую ему сентенцию, что, мол, если факты не соответствуют теории, тем хуже для фактов. Это наверняка сказал какой-нибудь приватдоцент, чтобы оправдать изящество теории, с которой он тщился войти в историю науки. Как показывает практика, исторические факты и вправду не так важны, как то, ради чего они собираются («История учит человека тому, что человек ничему не учится из истории», — это точно Гегель), перетасовываются, обсуждаются, комментируются; важна идея, ради которых факты сохранены. Разве наше прошлое может быть предсказуемым? Оно ведь симметрично будущему, которому тоже приходится отказывать в предсказуемости.

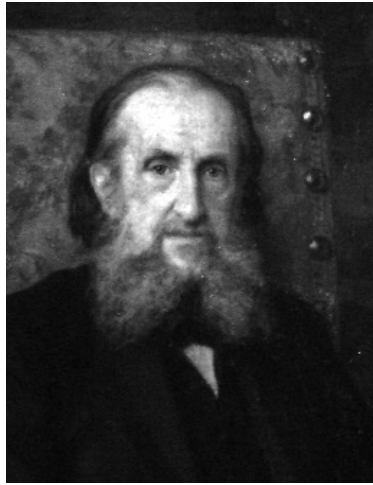
Но Кулаковский местами кипит, будто гимназический учитель, у которого ученик перепутал даты Ледового побоища с Куликовской битвой.

«На стр. 59 г. Корелин заставляет Диона Хрисостома “проповедовать учение о добродетели” “даже на Дону, в греческой колонии, заброшенной в далёкую Скифию”. Как известно, Дион был в Ольвии, то есть не дальше устья Буга, и дальше на восток не заходил».

Неужели это так важно в популярной лекции? Важно, как изложено.

Будто в старом анекдоте: на углу Невского и Литейного стоит, качаясь, интеллигент навеселе, и спрашивает прохожего:

— Где я?



*Владимир Иванович Гербе,
портрет кисти
Николая Богданова-Бельского*

— На углу Невского и Литейного.

— К чёрту подробности! В каком я городе?

Не мог же профессор всерьёз пропустить такое невозможное для него, какое-то вопиющее надругательство над известными фактами в угоду домысленных Корелиным неизвестных? В конце рецензии он повторяется:

«Г. Корелин дал нашей широкой публике изящно написанную книгу по вопросу, полному самого животрепещущего интереса, и заслужил уже тем право на признательность».

Почему Кулаковский взялся за отзыв поздно: через два года после выхода книги Корелина? Мне видятся три объяснения.

1) В то время (1891/1892), когда Корелин читал лекции в Политехническом музее, Кулаковский выступил в Киеве с лекцией о гонениях на христиан, а Вл. Соловьёв, как мы помним, о «причинах упадка средневекового мирозерцания» в Московском психологическом обществе, и «пограничная» общность тем уже не двоих (Кулаковский—Соловьёв), а троих лекторов привлекала его внимание *передовым, бунтарским характером* этих лекций. Он наверняка чувствовал себя «одним из немногих», с которыми, не договариваясь, чувствовал умственную солидарность. Согласимся, Соловьёв и Корелин неплохая компания. (Не провозжу, заметьте, параллелей между названиями лекций Вл. Соловьёва и Корелина, хотя они типологически родственны.)



Фёдор Дмитриевич Батюшков

2) В 1896/1897 годах в Историческом обществе Нестора Летописца Кулаковский выступил с собственными лекциями о древнегреческой эсхатологии, готовился издать их в виде книжки, и естественное желание «присоседиться» к жанру в смысле тематическом (Эллада Кулаковского и Рим Корелина) и в смысле публикаторском следует зачесть заводным движком рецензии.

3) Издатели «Филологического обозрения» Андрей Адольф и Владимир Аппельрот попросили Кулаковского как учёного, наиболее близко стоявшего в те годы к вопросам римской социальной истории, об одолжении написать рецензию, и тот не устоял — в том числе перед гонораром.

Суэта и Фёдор Батюшков. Письма Флоринскому 1897–1898 годов фиксируют географию передвижений Кулаковского вокруг крымской темы.

Возвращаясь к магистрали текста, покажу письмо Кулаковского Флоринскому из Вильны от 17.06.1897:

«С Латышевым видался раза три — один раз у него вечером, и хотя мы сидели вдвоём (его семья за границей) и довольно долго, но он умеет молчать о делах, а я, конечно, ни о чём не спрашивал; говорили о Крыме, надписях и т. под. общих интересах <...> Говорил, что ужасно много дела, что утомлён он ужасно, вид же его вполне цветущий, каков был в его пре-

бывание у нас. Помяловского видел в Пет[ербурге] не более получаса. Мне показалось, что он стал несколько более секретным, хотя простым и открытым он никогда не был <...> Познакомился через Радлова с Батюшковым, который мне очень понравился. Он взял мои лекции о бессмертии для русской части *Cosmopolis*'а, но не целиком, а лишь в извлечениях».

Лекции через два года будут выпущены отдельной книжкой «Смерть и бессмертие в представлениях древних греков», административные труды ни Кулаковскому, ни Латышеву, ни кому-либо ещё здоровья (и «вечности») не прибавили, а в 1920-м Чуковский запишет в дневнике:

«Скончался Фёдор Дмитриевич Батюшков. В последнее время он был очень плох <...> Бедный, вежливый, благородный, деликатнейший, джентльменнейший из всей нашей коллегии. Я помню его почти молодым: он был влюблён в Марию Карловну Куприну. Та над ним трунила — и брала займы деньги для журнала “Мир Божий” (Батюшков был членом редакции). Он закладывал имения — и давал, давал, давал...»

В позднейших воспоминаниях Чуковский пишет, что Батюшков, рыцарски преданный Александру Ивановичу Куприну ещё с давних времён, был его опекуном, заступником, его ангелом-хранителем, нянькой, вызволял из передряг. «Отличный человек (только чуть-чуть скучноватый), он вообще сыграл благотворную роль в жизни Александра Ивановича». В других мемуарах Чуковский вспоминает о Батюшкове 30.03.1919 в связи с празднованием 50-летия Горького:

«профессор Батюшков, милый и почтенный человек, имел одну простительную слабость: любил произносить юбилейные речи, причём каждому юбиляру писателю всегда говорил главным образом о гуманности его произведений, о его евангельски нежной любви к падшим и униженным.

С такой речью он обращался когда-то и к Мамину-Сибиряку, и к Короленко, и теперь обратился к Горькому.

Алексей Максимович слушал его терпеливо, но когда оратор, ссылаясь на горьковскую пьесу “Старик”, стал восхвалять героя этой пьесы, утверждая, будто Горький озарил своего старика каким-то “ласковым и кротким сиянием”, Горький сердито встал, перегнулся через стол и сказал, сильно ударя на “о”:

— Позвольте, позвольте... Прошу прощения... Это не так... Да, не так. Униженных и падших я терпеть не могу. А этого старика не-на-ви-жу.

Через минуту Горький смягчил свою резкость улыбкой, но Батюшков сконфуженно потупил глаза и еле досказал свою речь».

Домой Чуковский возвращался с группой типографских рабочих, которые шли и смеялись, мол, здорово Горький отбрил старичка. Через год, 19.03.1920 шестидесятилетний Батюшков умер, униженный и оскорблённый, по-прежнему либеральный и по-новому забытый.

В Константинополе, в Святой Софии. Летом 1898 года, исполнив ставшие для него привычными обязанности председателя историко-филологической испытательной комиссии в Казанском университете (апрель–май), Кулаковский осуществляет-таки давно намечавшуюся поездку в Константинополь.

Пространное послание Флоринскому от 15.08.1898 привожу почти целиком:

«Привет тебе из Царьграда! Вот уже шестой день, что я здесь, много кое-чего повидал, но теперь-то и вижу, как трудно знать Константинополь. Пароход из Севастополя ходит сюда раз в неделю, по воскресеньям. Я сел на него 9 числа утром, а 10 в 3 часа дня был здесь. Моими спутниками ещё с Бахчисарая оказалось трое Чирковых, отец и два сына-студента. Вместе с ними остановился я в Пантелеймоновском Подворье и сейчас же повёл их в Св. Софию, где мы и пробыли более часа.

Ты знаешь этот дивный храм: я был в нём ещё в 1880 году и теперь он был для меня словно новым, хотя я и помню тогдашнее впечатление. Вечером того же дня пошёл я разыскивать Русский археологический институт, и к удивлению застал здесь Успенского: я был уверен, что он в Буюкдере, откуда мне летом писала Надежда Эростовна [Успенская], с дачи. Он недавно вернулся с экскурсии и прилежно работает, читая рукописи по привезённым фотографическим снимкам. Успенский предложил мне перебраться в Институт, где места много за отсутствием хозяйки, чем я охотно и воспользовался на следующий день. Подворье находится в таком шумном и грязном месте, что я бы и не мог там остаться. Не понимаю, как живёт там — и, кажется, подолгу — [А. А.] Дмитриевский (его ждут там и в этом году). План ехать в Грецию я оставил: для этого нужно было вовсе не останавливаться в Константинополе, да и то двух недель слишком было бы мало.

Константинополь даёт и сам по себе слишком и слишком довольно научного интереса, со своими памятниками, музеями и нашим Институтом. Хочу немножко заняться имеющимися у Успенского надписями, хотя между ними лишь одна представляет исторический интерес. Успенский обставил Институт превосходной библиотекой, которой, однако, кроме него самого и его секретаря [П. Д. Погодина] вряд ли кто пользуется.



Константинополь. Собор Св. Софии и ипподром, фото 1910-х

Турки за последнее десятилетие собрали ценные коллекции в музеях, и образованные администраторы их охотно предоставляют чужим людям публикацию того, что у них есть. Австрийцы и французы успели к ним примоститься, и при коротком пребывании здесь трудно разобраться в том, что ещё не издано. Встречался здесь случайно с кое-какими западными учёными, завязавшими здесь прочные отношения, французский патер Шейль и австриец Калинка, обжившийся уже здесь. Успенский по-прежнему жалуется, что некому работать в Институте, и это справедливо, да и откуда взяться у нас таким людям: мало-мальски имеет научный ценз человек, он уже примостился к месту. Вот и [Я. И.] Смирнов не захотел сюда идти в секретари и устроился в Петербурге, а это был самый подходящий для Института человек. Видел я за эти дни довольно много и достаточно уставал от скитаний по грязным и вонючим улицам Стамбула. Хожу смело один по самым глухим местам, и так как я в белой шапке и чечунге, то меня все узнают, то есть признают [во мне] русского, нередко турки, бывавшие в России или видевшие тут русских в 1877–1879 годах, заговаривают со мною, или же помогают мне объясниться, конечно, и то и другое очень односложно.

Вчера видел селамлик <торжественный выход> султана, куда допускают по рекомендации российского посольства. Зрелище великолепное и достойное того, чтобы добиваться повидать это еженедельное пятнич-



*Печать Русского археологического
института в Константинополе*

ное торжество в Ильдвер-Киоске, где проживает султан. Ко вчерашнему дню исправилась и погода, а то было очень угрюмо и даже свежо. Местные люди говорят, что они не видели в этом году лета <...> На сером горизонте город ужасно теряет, но теперь это уже исправилось.

Вчера вечером уехал в Буюк-дере Успенский, звал непременно приехать туда сегодня, но мне жалко времени ехать туда для прогулки, когда его и так мало. К тому же вчера к ночи пришла телеграмма от моего брата о смерти его сына. Погиб бедный мальчик! Хотя я давно ожидал этой смерти, но всё-таки она меня глубоко взволновала, и я рад был остаться в одиночестве. Пошёл сегодня в церковь, в патриархат, разыскал ту, где служил патриарх, как мне сказали; но оказалось, что он не служит, а только участвует в служении: читает “верую...”, “Отче наш” и делает некоторые возгласы. После выноса Евангелия он сказал проповедь и так отчётливо, что я всё понимал. Должен сказать, что служение в целом до такой степени лишено обычного у нас благолепия и вместо пения раздаётся такое ужасное и странное завывание, а подчас — бурчание, что это испортило мне молитвенное настроение.

Отказавшись от мысли посетить Грецию, я думал из Константинополя заехать в Софию и Бухарест, чтобы познакомиться с тамошними музеями <...> Может быть, ограничусь одним Константинополем, ведь и каникулы на исходе, да и в семью ужасно тянет. Очень меня подмывало прямо из Крыма вернуться в Вильну, да как-то неловко было не воспользоваться командировкой, хотя и цель, которую я выставлял, пришлось изменить».

¹ Осип Платонович Кулаковский, названный в честь младшего брата Платона и Юлиана Кулаковских, который почил двадцати лет от роду в 1877-м, — так же, как и его рано усопший дядя, умер юношей от туберкулёза. Осипам Кулаковским с долголетием не фартило.



Константинополь. Храм Св. Софии, центральный неф, фото Бориса Ерофалова, 2019

Нелишне здесь, для сравнения, вспомнить умиления Дмитрия Мережковского, ездившего поглядеть на храм Св. Софии:

«Когдаходишьвнутрихрамаи видишьеговесь сразу(вэтомегоособенность,что видишьего сразу,с первоговзора весь), душе понятным делаетсяего величие: душа хочет крыльев».

Напыщенная фраза про душу с крыльями: что же ещё могло выпасть из-под Мережковского? Только такое:

«Ничего, кроме светлого, безмерно огромного, небу подобного, свода. Чувствуешь, что здание построено для этого свода. Всё для него, всё от него, всё в нём. Он покрывает, соединяет, согласует, просветляет всё. Никогда на земле не было более совершенного образа вечности, и почти невозможно поверить, что это создание рук человеческих».

Читатель может припомнить, сколь разительно отличается в подобных экфразах Иосиф Бродский в «Набережной неисцелимых»: хотя там про Венецию, — ни одного фальшивого слова. Здесь потоки розовой водички:

«В храме молитвенная тишина. Люди приходят, благоговейно сняв обувь, становятся к стене поодиночке, а чаще вместе и молятся. Долго, тихо, мерно опускаясь на колени или садясь потом вместе, враз, подымаются. Они молятся Отцу, не зная Сына. Отцу без Сына, теперь, когда уже был Сын. И здесь, в этом храме Всех Трёх — был, но ушёл. Алтарь Его пуст».



Константинополь. Улица, фото 1910-х

Куда как менее эмоционален академик Кондаков, правда, не писатель, но искусствовед, сказавший за двадцать лет до Мережковского, в 1886-м, что

«Юстиниан, очевидно, не выбирал не одних вождей для своих армий (речь о Велизарии. — А. П.), но и архитекторов, и механиков, и префектов. Хотя художественные факты принадлежат к разряду невосможных, но не будет излишним заметить, что Св. София сделала для роли византийской империи больше, чем многие её войны, и не одни послы Владимира, созерцая величественную и роскошную церковь, мнили себя быть на небесах».

Чётко и ясно, врезается в память формулой и боголюбия, и здравого смысла.

Никодим Павлович. Выставляю перпендикуляр, скажу о Кондакове. Академик обладал на редкость трудным характером — «нелюдим, колюч, резок, злобен на окружающих и всю российскую жизнь» (Г. Вздорнов). Из одесских учёных (коллег по Новороссийскому университету), симпатизировавших ему (как Илья Мечников, например), многие с изумлением следили за эволюцией Кондакова от классического искусства к византийскому и открыто посмеивались над его археологическими путешествиями и тягой к изучению «уродов».

В 1870-х художественное наследие Византии воспринима-



Храм Св. Софии, купола и субструкция, фото Бориса Ерофалова, 2019

ли не иначе, как уродливость. В малофотографическую эру люди, далёкие от искусства, едва ли могли взять в толк, что не отражение действительности, а преодоление, «превращение» её силой таланта в новую действительность и составляло в течение столетий нерв художественного творчества, эти люди с трудом могли относиться к византийскому искусству как чему-то неповторимому «в своём роде».

Герольд Вздорнов в отличной книжке «История открытия и изучения русской средневековой живописи» (1986) цитирует умного художника князя Григория Гагарина (1810–1893), обергофмейстера двора, вице-президента Академии художеств:

«Стоит только завести разговор о византийской живописи, и тотчас у большого числа слушателей непременно явится улыбка пренебрежения и иронии. Если же кто-нибудь решится сказать, что эта живопись заслуживает внимательного изучения, то шуткам и насмешкам не будет конца. Вам наговорят бездну остроумных замечаний о безобразии пропорций, об угловатости форм, о неуклюжести поз, о неловкости и дикости в композиции — и всё это с гримасами, чтобы выразительнее изобразить уродливость отвергаемой живописи.

Я нимало не защищаю недостатков, происшедших от неопытности или варварства времён; я не ищу в них ни правильности рисунка, ни верности перспективы, ни надлежащего освещения, ни рельефности, ни ты-



Никодим Павлович Кондаков

сячи других качеств, составляющих принадлежность новейшего искусства. Но я ищу мысли и стиля и нахожу их».

По-моему, было отчего Кондакову, который первым в России стал исследовать византийское искусство, быть колючим и озлобленным: с непониманием можно бороться только пониманием, а это изменяет черты лица; а что восьмидесятилетний князь Гагарин смотрит на византийское искусство, как следует смотреть на контемпорарное, — впечатляет. Если у «нефигуративных» (хотя фигуры могут быть) произведений искусства такие рыцари, оно выживет среди бурь, вокруг них взбудораженных адептами фотографических сколков бытия.

Кулаковский, конечно, был знаком с изящными книжками Кондакова «Византийские церкви и памятники Константинополя» (1886) и только что вышедшей — Василия Дмитриевича Смирнова (1846–1922) «Турецкие легенды о Святой Софии и о других византийских древностях» (1898) — до сих пор лучшими текстами о значимых камнях Царьграда¹.

¹ Правда, барон Виктор Розен чуть критиковал Смирнова — тюрколога и правительственного цензора, — мол, тот исходит не из того, что есть, а из того, что должно быть; упрекает его в бесплодности и вреде «априорных генерализаций»: «В. Д. Смирнов исходит из общих, так сказать, догматически высказываемых им положений, которые, правда, заключают в себе известную долю истины, но далеко не всю истину, и потому совершенно непригодны как исходные точки для очень прозаических исследований». Розену не по душе

Научным результатом поездки Кулаковского в Царьград и его работы в РАИК оказалась статья «Надписи Никеи и её окрестностей», опубликованная Успенским в VI томе ИРАИК.

Успенский — Флоринскому в начале сентября 1898-го: «Ю. А. Кулаковский провёл у меня несколько дней [во второй половине августа], видел моё житьё-бытьё и передаст Вам самые непосредственные сведения». Жаль: устные.

Борис Фармаковский, учёный секретарь РАИК в 1898–1900-м, писал родителям из стен Института:

«Отсутствие общества, которое было бы по душе, угнетает. Правда, много интересного дела, но надо же и поговорить с кем-нибудь о деле. Беседуем с Успенским. Но ведь он сильно отличается от меня годами, а во вторых, он начальник <...> Затем много раз я Вам писал, что чувствую себя здесь погибшим <...> Бывают у нас интересные путешественники, но это всё народ, проходящий мимо и останавливающийся у нас на неделю-две. Прочая компания так сильно отличается от академической и педагогической среды, что сойтись с ними близко нельзя».

«Интересный путешественник» это Кулаковский, с которым в будущем году Фармаковский найдёт правильный общий язык на ольвийской археологической почве.

Владимир Николаевич Сахаров, сотрудник РАИК в течение четырёх месяцев (октябрь 1901 — январь 1902), в письме Виктору Ернштедту от 8.03.1902 говорит, что Константинополь это прескверный город, что Институт «в целом расклеивается, авторитет его низок, что вызывает он только насмешки и презрение местной публики». Способствуют этому сплетнями и циничным поведением, пьянством и посещением публичных домов сами сотрудники, особенно Васильев, Фармаковский, Ростовцев и Борис Амфианович Панченко. Последний очень сильно пьянствовал и распутничал, «тушил лампы по весёлым домам» (Сахаров описывает скабрёзный эпизод).

такие генерализации, как тезис о «невежестве и варварстве» турок, о «бесплодности и беспечности их более чем 400-летнего пребывания в таком чудном и замечательном месте, как Константинополь», как утверждение, что, овладев Царьградом, они не в состоянии были понять высокий внутренний смысл доставшегося им от Византии духовного и материального наследия итд. Такие ксенофобские «наблюдения», конечно, в учёном труде неуместны, но в какой-то степени их сейчас оправдывает то, что иной книги, подобной труду Смирнова, нет до сих пор.



Диплом почётного члена РАИК Николая Петровича Лихачёва, 1902

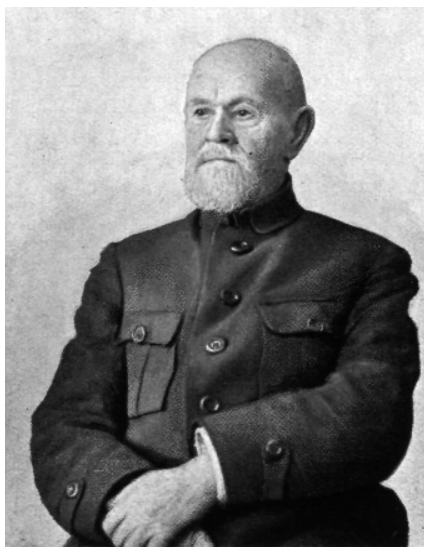
«Здесь все вообще циники, но филологи имеют славу неимоверных циников. Все ужасны и подвергаются насмешкам в глаза и заглазно».

Успенского Сахаров обвиняет в том, что он думает только о своих лекциях, которые читает местной публике, делая подчас грубейшие ошибки. Так, он сказал, что

«отца Юлиана [Отступника] убил Константин, что по смерти Константина империя разделилась на две части, тогда как она разделилась на три; что Юлиан получил христианское воспитание, тогда как он был воспитан внухом по-язычески, а христианство лишь поверхностно скользнуло по его душе; перепутал несторианство с монофизитством. Одним словом, я думаю, что он так читает только потому, что аудитория состоит большей частью из дам, но серьёзно говорю, что если бы напечатать курс так, как он его читает, то это был бы позор». Итд.

«Я пишу далеко не всё, что довело меня до состояния почти невменяемости», — заключает Сахаров, вскоре умерший от инфлюэнцы, туберкулёза кишок и гортани: письмо Ернштедту было переслано кем-то из сотрудников РАИК после его кончины.

Характерно, что среди 85 почётных членов РАИК и 94 «обычных» членов этого заведения, возглавлявшегося Успенским, Кулаковскому, которого (как и Александра Кирпичникова, и Эрнста фон Штерна) злые языки прочили в директора, места

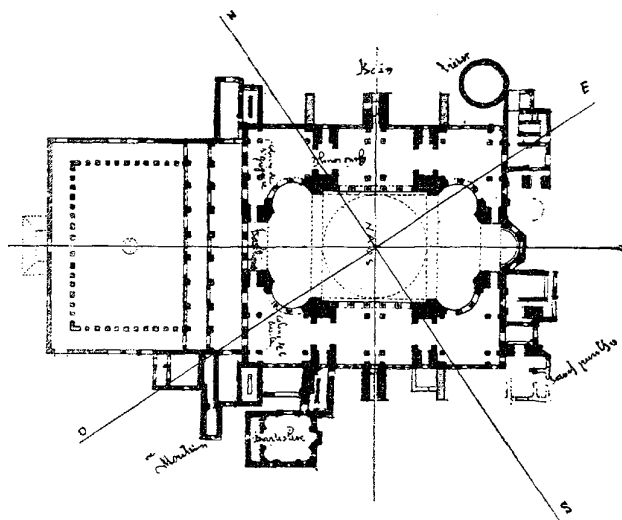


Фёдор Иванович Успенский

не нашлось. Кого там только нет: в списках числятся Константин Петрович Победоносцев и все более или менее значимые российские византилисты и античники, среди которых киевляне Николай Петров, Алексей Дмитриевский, Тимофей Флоринский, одесситы Никодим Кондаков, Александр Бертье-Делагард, Николай Красносельцев, Эрнст фон Штерн, Алексей Павловский, Алексей Деревницкий, харьковчанин Фёдор Шмит. Вероятно, во-первых, Кулаковского не слишком заботило членство в такого рода конторах, да и сам он мог отказаться от предложения Успенского. Неудивительно, что, поздравляя Помяловского с орденом св. Владимира 2 степени, то есть с тремястами рублями ежегодной пенсии, Кулаковский делал это почти ехидно:

«Позвольте от души поздравить Вас с третьей звездой, которая Вас уже украшает. Мало теперь их для Вас уж и осталось в будущем, а там пойдут бриллианты» (20.12.1897).

Во-вторых, можно предположить, не желал отмечать Кулаковского званием почётного члена Института его директор. Сейчас это выглядит не столь смешно, сколь курьёзно: сравнивать вклад Кулаковского в изучение истории Византии с вкладом иных почётных членов неловко. Там было ещё одно обстоя-



План храма Св. Софии в Константинополе, по Джелалу Эссаду, 1919

ительство, связанное с Кулаковским и его директорством РАИК, о котором вскоре расскажу: такого мнительный Успенский киевскому профессору забыть, конечно, не мог.

РАИК и царь. Успенский предавал самому факту существования Института и его общественному статусу (несмотря ни на что) известное значение, и 14.02.1901 на высочайшей аудиенции имел с Николаем II беседу:

— Ну как ваши дела? — спросил государь.

— Я удручён, ваше величество, множеством работы и недостатком рабочих рук и средств.

— Сколько же вас там?

— Всего двое, директор и секретарь, последние при этом меняются.

— Я ведь знаю, что у вас средства плохие, поговорите с Витте.

— Если прикажет ваше величество от вашего имени сказать министру финансов, то, конечно, я осмелился бы сделать этот шаг.

— Да, скажите, что я вам советовал поговорить с ним, а потом я сам скажу ему.

— Я прошу милости у вашего величества, благоволите дать Институту звание Императорский. Ввиду милостивого внимания вашего к Институту я осмеливаюсь просить этого звания, которое чрезвычайно возвысило бы положение Института на Востоке.



*Николай II на вакациях,
фото Анны Вырубовой*

— Да, конечно, я согласен. Скажите министру, чтобы представил мне.
И, подавая руку, государь присоединил:

— Я помню Институт и постараюсь устроить его положение, будьте покойны.

Меж тем, царёво решение не было доведено до результата: решили «отложить эту меру до перехода Института в собственное здание и до большего расширения деятельности Института».

Значительная по количеству томов библиотека (22 622 тома в 8 909 названиях), музей Института, который состоял из четырёх отделов (античное, византийское, восточное и славянское искусство: монеты, пять тысяч моливдовулов, рукописи), приобретение в 1895-м для Российской империи редкостного греческого списка Евангелия VI века (на подаренные государем 10 тысяч рублей) и в 1901-м — знаменитого Пальмирского тарифа (камень с двуязычной надписью по-гречески и по-арамейски), — всё это заслуга Успенского как организатора трудов. Вместе с заботами о печатании ИРАИК результаты дея-

Успенскому и его сотрудникам от имени Рус. Археолог. Инстит.
из Варшавы в прошлой / или в прошлой / комиссии.

Генерал-майор Николай Николаевич Успенский

Директор Императорского Русского Археологического Института

Ваше предложение, касаясь вопроса о предоставлении
в Варшаву, вследствие которых наиболее важна в археологи-
ческом отношении области перешли под власть сербов,
открывают для Русского Археологического Института в
Константинополе новые научные перспективы. И тем более

настояла бы необходимость немедленно приступить к
систематическому обследованию памятников христианского
искусства по преимуществу в пределах сербского цар-
ства XIII и XIV веков, что подобная задача превышает
собственные средства сербских ученых. Уже и ранее
освободительной войны 1912 - 1913 г. Институтом начато
было изучение знаменитого монастыря Дечаны, построен-
ного в 1335 г. Стефаном Урошем III, но по случаю воен-
ных событий не могло быть приведено к концу. В на-
стоящее время значение сербских памятников христиан-
ского искусства, которые не были изучены ни с точки
зрения архитектурного, ни со стороны богатых стенописей,
становится насущным вопросом в истории
христианского искусства. Именно, издание и исследование
сербских памятников может пролить свет или по край-
ней мере дать материал к разрешению крайне важной
проблемы о значении итальянского возрождения в исто-

Затиска Успенского о нуждах РАИК с резолюцией Николая II и контрассигнацией
великого князя Константина Константиновича, апрель 1914 года

тельности директора могут считаться убедительными и поли-
тически, и научно.

После Турции. Из Константинополя Кулаковский приез-
жает к жене в Вильну, откуда 1.09.1898, в первый день нового
учебного года, шлёт открытку другу-декану:

«Будь так добр, если бы что-нибудь случилось, что могло бы сделать неловким моё отсутствие до 10 числа, дай мне знать телеграммой. Ведь я вообще и не был и не хочу быть неаккуратным, а по чувству своему я даже несколько педантичен в отношении обязанностей службы — и мне будет неприятно и стыдно отличиться в противном направлении».

В мае 1899-го, справно отслужив, Кулаковский вновь в Одессе предстательствует в испытательной комиссией.

«Давно хочу откликнуться к тебе из Одессы, где 15 лет тому назад мы были вместе и вместе знакомились с нею. Приехал я сюда как раз в день крупного скандала на полукурсовом экзамене юридического факультета, о чём было сообщено в смягчённой форме в здешних газетах и перепечатано в других. Вчера справлялся о судьбе арестованных тогда студентов. Все или почти все они выпущены на свободу, все удалены из университета, а некоторые высланы. В суждениях о прошлом чувствовалось сначала разногласие и полный разброд. Вероятно, и теперь не иначе обстоит дело, и выйдет на свет в виде письменных ответов попечителю каждым профессором в отдельности о причинах беспорядков и способах выйти из нынешнего скверного положения. Эти отзывы затребовал попечитель лично у каждого и назначает для ответа короткий срок. Вероятно, и у нас также спрашивают, но я сам ничего не получал, и, очевидно, останусь без голоса в этом профессорском голосовании. Сомневаюсь, чтобы такой опрос привел к чему-нибудь; кто может свести всё разнообразие мнений, да и захочет сделать это старательно? Будь это предложения, выработанные в комиссиях, прошедшие через Совет, тогда иное дело: могло бы получиться что-нибудь определённое и написанное с сознанием ответственности за последствия предлагаемых мер; а теперь — остаётся только недоумевать, к чему всё это?»

Экзаменуется здесь по нашему факультету всего пять человек, и в числе их Шиллер, который не стал ни умнее, ни лучше, чем каким был у нас. Только один из пяти держит себя спокойно и солидно; остальные четыре нервничают ужасно, в особенности было это заметно на первых экзаменах. Быть может, такое настроение экзаменующихся находится в связи с пережитым тревожным полугодием, но есть у каждого и свои личные причины. Если бы можно было относиться к делу строкою официально, то двум следовало прекратить экзамены, но, конечно, этого не делаем. Общая физиономия факультета во всяком случае ещё не определилась. Судя по экзаменам и некоторым мелким фактам, студенты, несмотря на свою малочисленность, стоят ужасно далеко от профессоров. Исключение составляет один [Г. И.] Перетяткович, у которого они дейст-

вительно учатся. Общениа в среде факультетских и взаимной близости — ужасно мало. Но так как и учёных трудов исходит из Одессы мало, то я и не знаю, что они делают» (Флоринскому, 14.05.1899).

Это живое послание показательно во многих смыслах и, прежде всего, в историко-политическом. На последнем я до сих пор не остановился пристально (только очень бегло, в предыдущей главе, где об Уставе '1884), хотя и такой аспект важен.

Студенчество на рубеже столетий: молодецкий разброд и учебный порядок. В январе 1899 года Кулаковский направляет в Попечительский совет (членом которого состоит) при попечителе Киевского учебного округа академике Вельяминове-Зернове служебную записку, «мнение» о необходимости преобразования педагогической подготовки преподавателей средних учебных заведений. Обеспокоенный последствиями студенческой забастовки в начале весны 1899-го, но попривыкший к подобным акциям с празднования юбилея Университета в 1884-м, он больше скорбит о расстройстве научной среды в одесском университете, нежели о чём другом. И если, по его мнению, «исключение составляет только Перетяткович», то — дела, пожалуй, обстоят скверно.

Студенческие волнения, поводом к которым было объявление ректора, «пригласившее студентов не нарушать тишины и спокойствия и перечислявшее кары, угрожавшие невиновным», начались в Петербурге. Это была первая всероссийская студенческая забастовка: настоящая, с побоями и смертью, как и всё аналогичное — бессмысленная.

Пожалуй, можно (вместе с Юрием Давыдовым) назвать две резко выраженные черты умонастроения «протестующих студентов» — черты, столь же естественно возникающие в *стихийном* молодёжном движении, сколь и трудно совместимые друг с другом, если рассматривать их логико-теоретически. Во-первых, *крайняя эмоциональность* движения, во-вторых, его *предельная рассудочность*. Вторая черта, как правило, приобретает не столько предельную, сколько запредельную, гипертрофированную форму. Речь идёт о той части студентов, которая озадачена изнутри известной совокупностью идеалов, усвоенных в семье и школе (гимназии) и имела внешний случай прикоснуться к их академической систематизации, поскольку принимала в ней участие в соответствии с программой. Не имея

опыта «практической борьбы», «буйный студент» должен был приобрести склонность догматизировать полюбившиеся борцовские идеи и абстрактные представления (о справедливости, о добре и зле, Кларе и Розе) в большей степени, чем это свойственно более зрелому (но не обязательно более разумному) поколению. Здесь невольно возникает парадокс: чем более *рассудочно* сформулирована та или иная идея, тем больше *безрассудства* проявляется при попытке «внедрить» её в жизнь, сделав прескрипцией поведения. Но именно эта черта стихийно складывавшегося умонастроения студента-бунтаря (отражавшая, к слову сказать, наиболее слабую сторону «молодёжного движения») была преувеличена с помощью революционной фразеологии. Тем самым в центре такого умонастроения возникла атмосфера, способствующая экстремизму как абстрактно-теоретического, так и практически-художественного, и особенно политического характера. Студента с художественным вкусом бунтарство привлекало внешней, эпатажной стороной, студента без вкуса — политической. Теоретические аспекты бунтарства, близкие анархизму Бакунина и Кропоткина, занимали досуг скверно учившихся студентов причастностью стадному инстинкту, желанию «соборно» творить индивидуальные безобразия.

Примерно в таких психологических обстоятельствах на Торжественном акте Университета 8.02.1899 произошла студенческая демонстрация с последующим избиением горячехоловых студентов полицией и забастовкой, к которой примкнуло три десятка высших учебных заведений России (университеты, академии, институты), если верить статистике, — с 25 тысячами участников.

За февраль и март 1899-го из Московского университета исключены 949 студентов, из Университета св. Владимира — 183 человека. Под студентом, отчисленным из университета за учинение беспорядков, следует понимать тип среднего российского интеллигента, заражённого бессмысленными массовыми поветриями, что столь выразительно описан 18-летним Чеховым в «Безотцовщине» и в 1909-м — авторами «Вех».

Бастовал преимущественно горячехоловый, по-юношески дерзкий студент, хотя условия для учёбы, хотя бы формально, по уставу университета, были благодатные. Вестимо, здесь

не место изъяснять положения Устава Университета св. Владимира, утверждённого почти сразу после учреждения в 1842-м, однако на нескольких моментах внимание останавлию.

Для поступления надлежало «представить свидетельства: а) о рождении и вероисповедании, б) о непринадлежности к податному состоянию»; «независимо от сих документов начальство Университета обязано удостовериться в нравственности желающих слушать в Университете лекции».

Поскольку занятия были платными («с каждого студента взимается плата за слушание лекций по 40 руб. в год»), раскошались либо родители и другие родственники, либо он поспешествовал себе дополнительными заработками: в скольких мемуарах прочитано, что, мол, имярек с 15 лет «занимался с учениками». Вообще в дореволюционном университете было правило записываться на лекции; если никто не записывался, курс мог и не состояться. А сдавать предметы всё равно было нужно. «Так мы условились, — вспоминал Лосев, — ходить на иного профессора по два-три человека, по очереди страдая над конспектом».

Вместе с тем, «для облегчения способов содержания недостаточным студентам Университета св. Владимира определяется в ежегодный отпуск особая сумма на наём дома с прислугой, также на отопление и освещение оногo. Призренные таким образом студенты вносят ежемесячно умеренную плату, назначаемую попечителем, на одно только продовольствие». Казалось бы, учись-не-хочу, и с голоду помереть не дадут, если беден. Но вместо этого, полагая себя принадлежащими к высшей умственной прослойке общества, они, едва войдя в него, начинают расшатывать кое-как укреплённые устои, требовать невыполнимого, и об учении речь не идёт.

Получается то, что происходит после любой революции (переворота), то, о чём писал проницательнейший Талейран:

«события вчерашнего дня становятся сомнительными для тех самых людей, которые принимали в них какое-то участие: быстро сменяясь, они сами почти стирают остающиеся от них воспоминания. Может быть, от всего исходящего от народа (российские студенты отождествляли себя с “народом”, а не с своим стратом, очень плотно. — А. П.) остаётся только лёгкий отпечаток; его действия оставляют после себя преходящий след, а природа людей, которыми он пользуется, такова, что не способст-



Пруд в усадьбе проф. Ф. Ф. Меринга и панорама Киева, фото 1890-х

вует сохранению памяти о них <...> Признаюсь, что я без всякого огорчения отнёсся бы к забвению подробностей этого великого бедствия; они не имеют никакого исторического значения. Какие уроки могли бы извлечь из действий, лишённых плана, цели, внезапно вызванных разнуданными страстями?»

Речь о так называемой Французской революции, а текст относится ко времени, когда Наполеон уже донашивал земную славу на острове Святой Елены. Конечно, горячеголовые такую литературу ни тогда, ни сейчас не читают.

Студенческие забастовки, по разным поводам (учебным, политическим) лихорадившие имперский университет, были значительной помехой и для учебного процесса, и для мирного течения научной жизни, в стенах университетских сосредоточенной. Скажем, в Киеве в 1884-м состоялось выступление студентов против нового устава, введение которого несчастливо совпало с празднованием 50-летия Университета св. Владимира: в знак протеста студенты бойкотировали юбилейные торжества, назначенные на 8-е сентября, устроили на площади перед университетом митинг, а потом «продемонстрировали» себя киевским улицам. По распоряжению правительства 14-го сентября университет был закрыт до января 1885 года, а все сту-

денты исключены. Самые активные участники демонстрации арестованы, 34 из них привлечены к суду, и некоторые отправлены в ссылку. Впрочем, об этом я говорил выше.

Ещё за три года до описываемых одесских событий, в начале декабря 1896-го на стол попечителя Киевского учебного округа лёг коллективный протест студентов Университета св. Владимира с таким текстом:

«Мы убеждены, что при порядке, ныне существующем, при полицейско-бюрократическом режиме в университете, при систематическом подавлении свободной мысли, при открытой травле студентов, стремящихся к выработке общественного самосознания, при наглом сыске, бесцеремонно водворившемся в стенах самого университета, — при таких невыносимых условиях невозможно правильное течение студенческой жизни.

Мы требуем отмены всех стеснительных сторон нового устава [1884] и возвращения к основным принципам устава [18]63 г.

В частности, мы требуем: 1) предоставления университету автономии в делах административных и учебных, 2) свободы университетского преподавания, 3) признания студенческой корпорации, 4) свободы сходок, 5) уничтожения национальных и вероисповедных ограничений, 6) уменьшения платы за слушание лекций, 7) освобождения арестованных московских товарищей».

«А также всего, что понадобится впредь» (творческая мысль Польшаева бессмертна).

«Сталина на них нет. Потребовали бы тогда автономий и свобод», — пробурчал бы мордастый начальник первого отдела советского вуза середины 1980-х, вытирая об уголок «Правды» жирные бутербродные пальцы, большой и указательный.

Дело ничем не кончилось, бумага отложилась в архиве, студентов как смогли утихомирили. Однако ещё летом, будто подозревая о такой петиции, перед главным шестиколонным фасадом Университета в Николаевском парке был установлен памятник императору Николаю Павловичу, которому Университет (и те, кто писал в его стенах противные духу государства и законов петиции) обязан учреждением и существованием. Бронзовый истукан, будто Вий, велел выходящему из здания молодяку: «не слишком рассуждайте, господа студенты».

Некая статистика свидетельствует: в 1899-м к забастовке от Университета св. Владимира присоединились 2796 студентов семнадцати факультетов. Не верю я этой статистике.



Киев. Главный зал библиотеки Университета св. Владимира, фото 1890-х

В частном письме, анонимно напечатанном в брошюре «Студенческое движение 1899 года», изданной в 1900-м в Англии, говорилось:

«...В университете 9-го и 10-го марта происходило нечто в высшей степени грустное. Студенты, числом свыше 1000, заявили ректору, что обсуждение вопроса о возобновлении лекций состоится лишь после того, как будут возвращены уволенные в течение масляной их товарищи (54 человека, из них 19 без права поступления в университет), в настоящее же время признают этот вопрос не подлежащим обсуждению. Ректор отвечал, что сам ничего сделать не может и что доложит попечителю. По уходе ректора все присутствующие на сходке согласились, что будут препятствовать возобновлению лекций; в одной из аудиторий читал профессор Самофонов, к нему подошли с просьбой прекратить чтение, а когда тот не согласился, то один из обструкционистов стал читать вслух из какой-то книги, вслед за тем поднялся шум, и старый профессор разрыдался. Студент объяснил ему, что лично против него ничего не имеют, а что касается до храма науки, ставшего храмом насилия, то храм и без него держится на насилии и т. д. Другая часть обструкционистов двинулась к физическому кабинету, дверь которого была заперта на ключ профессором,

читавшим в это время. Дверь была выбита, и профессор выгнан, попавшего по пути инспектора провожали бранью и, когда он заявил, что за оскорбление должностного лица они поплатятся особенно, студенты погнались за ним, — инспектор убежал, исчез и ректор!

На 4-м курсе медицинского факультета профессор Чирков лично переписал obstructionистов и, когда один из них заявил, что это дело не профессора, то последний ответил, что “ныне времена смутные, студенты не студенты, и профессора не профессора, а... — *«шпионы»*”, услышал профессор и вознегодовал, а список обещал представить ректору.

...Университет закрыли. Приём прошений уволенных студентов был обставлен в Киеве так, как, кажется, ни в каком другом университете. Студенты должны были подавать прошения лично, и это понадобилось для того, чтобы каждый студент проходил через шеренгу педелей и субинспекторов, которые, после предварительного очень внимательного и наглого осмотра каждого проходящего, отмечали что-то в своих книжечках. Делается это на глазах у всех и с благой целью отделить правых от виноватых. Но эта цель никогда не достигается. В число уволенных на масляной попали, напр., многие ни в чём не виновные. Один из последних, Ашенберг, был во время беспорядков даже не в Киеве и, между тем, был исключён без права поступления. Это так подействовало на 18-летнего юношу, что он сошёл с ума. Вообще местная молодёжь сильно разнервничалась... Лекций в университете ещё нет».

В конце апреля «студенты» Киевского совета Союзного совета объединённых землячеств распространили воззвание:

«Товарищи! С того времени, как ринулись на борьбу за свободу и неприкосновенность личности, мы получили бесчисленное множество доказательств того же дикого произвола, который в знаменательный день 17 февраля поднял нас всех, как одного человека.

Мы имеем теперь целый ряд фактов, не менее важных, чем факт 8 февраля; из них мы вкратце повторим здесь:

1) возмутительная расправа с нашими товарищами, учинённая нашим университетским начальством в трогательнейшем союзе с жандармерией, расправа тем более возмутительная, что их грубая рука была направлена главным образом на тот бесправный элемент, на который всегда сыпятся обвинения с тем, чтобы скрыть истинный смысл и значение фактов, 2) Варфоломеевская ночь, учинённая славным генералом Новицким (в тюрьме 150 товарищей), 3) Дикое насилие жандармерии над Рижским товарищем, 4) Возмутительное обращение в тюрьме, доведшее Московского товарища Ливена до самоожжения, 5) Высылка, массовые аресты

во всех университетах, б) целый ряд самоубийств, отравлений, вызванных дикой вакханалией начальства, и пр.

Товарищи! Неужели эти факты недостаточно красноречиво говорят, что нам нужно делать теперь, или, вернее, чего нам не нужно делать теперь. Неужели нас смутят те немногие карьеристы, которые не устояли перед соблазном лёгкого получения зачётов, заглушив голос совести. Забудем же на время свои личные дела и мелкие интересы! В последний раз мы призываем вас, товарищи, постоять до конца, подобно всем другим нашим товарищам, за наше святое дело!»

Эх, «товарищи», у одних заглушается голос совести, у других голос разума, одни призывают «постоять до конца», не понимая, до какого именно, другие просто хотят учиться. И между этим бестолковищем, на которое обрекают себя оснащённые оплаченными родителями досугом горлопастые юнцы, протекает ручейком действительная жизнь, которая у каждого одна, — с прискорбным загниванием державных основ, с безвольным императором, с несоблюдением законов, взяточничеством и беспардонностью чиновников. Сук, на котором удерживалось тело империи, был длинный и крючковатый, но если бы не все из не привыкших думать начали его рубить, не было бы кровавых мистерий большевизма, по сравнению с которыми царские тюрьмы — санатории для сердечников.

Разумные помалкивали, изредка пожимая плечами. Они понимали, что наука и учение наукам в империи вещь сложная, недавняя, с ней нужно быть осторожным. А то можно вернуться в начало XIX века, когда

«наук испугались все. Лекари учились медицине, попы богословию. Бывали и среди дворян чудаки или меценаты, которые читали по-латыни, но учиться по обязанности наукам, как лекари, — не дворянское это дело. Дворянин получал чины по душевным качествам и заслугам. Не было никакой связи между наукой, дворянством и званием. Семинарист учредил хаос и всё перевернул».

Это Юрий Тынянов в «Пушкине».

В конце столетия студент хотел шире: не отсутствия «связи между наукой, дворянством и званием», а благолепной невнятицы, которую именовал свободой. Разве можно всерьёз к этому относиться: свободным свобода не нужна, она у них есть, несвободным она опасна, поскольку они в ней нуждаются и, получив, возжаждут большего, а пряников на всех не хва-

тит. Отсутствие внутренней свободы студенчество пыталось заменить химерными формами свободы внешней. Кто мешает развиваться? Царь? Ректор? Жандармы? Царь учреждает университеты и гимназии, платит зарплату неглупым педагогам, ректор следит, чтобы в отношениях между студентом, профессором и изучаемой темой были благожелательность и порядок в голове, жандарм следит, чтобы на улице было спокойно и шумливые не мешали заниматься разумным в библиотеках и аудиториях. Чего не достаёт в этой цепочке? Будь здравомыслящим, и *нехотя* окажешься свободным.

Предпоследнее лето XIX века Кулаковский снова в Одессе на квалификационных испытаниях (повторю цитату).

«Приехал я сюда, — пишет он Флоринскому, — как раз в день крупного скандала на полукурсовом экзамене юридического факультета, о чём было сообщено в смягчённой форме в здешних газетах <...> Вчера справлялся о судьбе арестованных тогда студентов. Все или почти все они выпущены на свободу, все удалены из университета, а некоторые высланы. В суждениях о прошлом чувствовалось сначала разногласие и полный разброд. Вероятно, и теперь не иначе обстоит дело и выйдет на свет в виде письменных ответов попечителю каждым профессором в отдельности о причинах беспорядков и способов выйти из нынешнего скверного положения. Эти отзывы затребует попечитель лично у каждого и назначит для ответа короткий срок <...>

Факультет здешний имеет совсем другой вид, чем два года назад. Явилось пять новых преподавателей и все из Москвы. Судя по экзаменам и некоторым мелким фактам, студенты, несмотря на свою малочисленность, стоят ужасно далеко от профессоров» (14.05.1899).

Бывало иначе? Год назад о Казанском университете Кулаковский писал примерно так же:

«факультеты <...> не только разобщены, но преобладает взаимная вражда или недоверие. Общениа среди факультетских совсем нет <...> Экзамены идут с большими передышками и перевалили за половину <...> Историк Смирнов производит впечатление человека опустившегося и ничем не интересующегося, кроме своего мнения».

Евгений Гарле в рецензии на трёхтомный труд Николая Павловича Загоскина «История Казанского университета за сто лет его существования: 1804–1904» писал, что в первой четверти XIX века студенческая жизнь была подчинена строгой регламентации, и администрация вмешивалась самым дея-



Киев. Парковый фасад Университета нынче

тельным и мелочным образом в распределение студенческого дня. Неутешительно было умственное и нравственное состояние студентов: то студенты на улице останавливают сани и бьют по щекам сидящих в них барышень; то обихаживают розгами товарища; то постоянно дерутся между собой; то крадут со взломом, то без взлома; то секут крапивой пятилетнюю дочь университетского служителя итд. Особенно же пьянствуют: этот забавный порок тогда уже был развит гомерически. «Зато», по-видимому, политическая благонадежность царяла архипримерная. К концу столетия и студенческая благонадежность пошла прахом.

Итак, ещё весной (февраль–март) 1899-го по российским университетским городам прокатилась волна забастовок в поддержку так называемой «всероссийской студенческой забастовки», которая возникла в знак протеста против полицейской расправы над студентами питерского университета. Для подавления студенческих волнений 29.07.1899 правительство издало «Временные правила» об отдаче студентов, активно участвовавших в митингах и демонстрациях, в солдаты.

В конце 1900-го в Университете св. Владимира — массовое выступление студентов против произвола университетской администрации: поводом послужило исключение из университета участников студенческой сходки. Под новый год, 20.12.1900 в стенах Университета состоялись митинги, на которых студенты требовали возвращения товарищей на ученические скамьи: по распоряжению министра просвещения Боголепова 183 студента были отданы-таки в солдаты.

Ленин в мюнхенской «Искре» сочинил по этому поводу обличительную статейку:

«Искушённое опытом десятилетий, правительство твёрдо убедилось в том, что оно окружено горячим материалом, что достаточно малейшей искорки, достаточно протеста против карцера, чтобы зажечь пожар. А если так, то понятно, что расправа нужна примерная: отдать в солдаты сотни студентов! “Фельдфебеля в Вольтеры даты!” — эта формула нисколько не устарела. Напротив, XX веку суждено увидеть её настоящее осуществление».

Знал будущий диктатор, о чём писал — ещё в 1901-м знал: сам злорадно воспользуется фельдфебельским опытом.

Тогда же Андрей Белый сочинил поэму «Первое свидание» (не с жандармами, вестимо):

Меня пленяет Гольбер Гент...
И я — не гимназист: студент...
Сюртук — зелёный, с белым кантом;
Перчатка белая в руке;
Я — меланхолик, я — в тоске,
Но выгляжу немного франтом;
<...>
Я вижу огненное море
Кипящих веществом существ;
Сижу в дыму лабораторий
Над разложением веществ...

Вместе с экзальтированными дамочками, «афинскими вечерами» и оргиазмом в московском «Метрополе» у Рябушинского, бессчётными пустыми самоубийствами бездумных молоденьких рантье, с литературными символистами и житейскими морфинистами, циничными дионисийцами и романтичными аполлонийцами, вот-вот умершими Ницше (в Веймаре) и Соловьёвым (в Узком) последний год девятнадцатого века лихора-

дило студенческими забастовками так, будто уже всю двадцатый, и следует начинать лихорадить.

В общем, события происходили, вроде в загадочных пьесах Метерлинка. Ему в Бельгии было легко выдумывать то да сё, а вот наблюдать здесь, в России, не синей птицей со сцены, а на заплёванном третьим сословием тротуаре, романтические судороги социалистующего молодняка, — наблюдать за этим было тягостно.

Зима 1901-го, то есть первая зима XX века, как бы продолжив, задавала политический тон студенческому движению, которое уже не останавливалось до самого большевицкого переворота, когда бунтовать и вправду стало опасно. Ведали бы юнцы, не зная выхода тестостерону, к чему приведёт их «весёлое» бунтарство. «Благо тому, кто не думает! — афористичничал Михаил Осипович Гершензон, выперстывая длинный указательный палец балалаечника из андреевского оркестра. — У него-то и рождаются наилучшие мысли: внезапные и яркие, как молнии ночью». И столь же бессмысленно-настораживающие.

2-го марта министр Николай Павлович Боголепов умер от сепсиса после ранения в шею (со спины!) в собственной приёмной 14-го февраля. Выстрелить министру в умное лицо смелости у студента Карповича, естественно, не хватило.

4-го марта подле Казанского собора на Невском студенты Петербургского университета «на радостях» учинили беспорядки и были примерно побиты казаками.

В Киеве 11-го марта и 6-го мая в знак протеста 15 тысяч рабочих и студенчество (под руководством социал-демократов) устроили демонстрацию. Походили толпой, помахали флажками, покричали на городских, побоялись казаков, нагадили окурками на брусчатку (к вящей радости дворников) и разошлись: рабочие — детям на хлеб зарабатывать, студенты — «затаив некоторое хамство».

Смешного мало. Избиение демонстрантов у Казанского собора казаками и убийство нескольких студентов вызвали такой протест, что даже поэты, до времени стоявшие над схваткой, начали волноваться.

Сначала — Глафира Эйнерлинг (Г. Галина):

«Лес рубят — молодой ещё зелёный лес... / А сосны старые, заду-
мавшись угрюмо / И полные неразрешимой думы, / Печально так глядят

в немую даль небес...// Лес рубят... Оттого, что рано зашумел, / Что песней радостной своей будил природу?» итд.

Затем Константин Бальмонт:

«Во имя вольности, и веры, и науки / Там как-то собрались ревнители идей, / Но сильных грубостью размашистых плетей / На них нахлынули толпы башибузуков. // Они рассеялись... И вот их больше нет; / Но тайно собрались изгнанники с поэтом» итд.

Затем Александр Богданов:

«Опричники не умерли!.. Опричники живут, / На площади с нагайками чинят кровавый суд. / Враждой нечеловеческой горит бесстыдный взор, — / Псы царские, псы алчные врываются в собор... / Опричники не умерли! Сам царь трубит поход. / Расправы дикой, варварской позорно ждёт народ. / Увы! Погиб цвет юности, оборван злой рукой! / Святою кровью юности царь мнит купить покой... / Опричники не умерли... Умрут они, умрут!..» итд.

Стишки, конечно, средненькие, «по случаю», но страна кочевряжилась, и нужно было дуть на кипяток: газеты как всегда подогревали социальный ажиотаж и возмущение среди мелких чиновников и граждан слегка интеллигентных. Одни возмущались наглостью студентов, посмевших поднять руку на благодетелей, другие — наоборот.

Викентий Вересаев в «Невыдуманных рассказах» удивлялся, что, когда воздух был насыщен революционным электричеством, когда всё кипело и бурлило, суворинская газета «Новое время», выступавшая на защиту властей и наговорившая кучу гнусностей по адресу избитых во время демонстрации (мол, «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей», Пс. 1 : 1), — даже суворинское «Новое время» впервые почувало «силу общественного осуждения и несколько растерялось».

Верно заметил Успенский в связи с оценкой деятельности враждующих партий вёнетов и прáсин в Константинополе: это была «демократия со свойственной ей разнузданностью, но без свойственной ей свободы». Где видано, чтобы в феодальных государствах «брызгам демократии» свойственна свобода?

В «Кратком обзоре деятельности Министерства народного просвещения за время управления покойного министра Н. П. Боголепова (12 февраля 1898 — 14 февраля 1901 гг.)» (Москва, 1901) анонимный чиновник пытался пояснить происходящее:



Киев. Здание Четвёртой гимназии на Большой Васильковской, 98, фото 1890-х

«Хотя по возрасту студенты первых курсов высших заведений немало старше гимназистов последних классов, но положение тех и других в школе и в жизни существенно различается: с окончанием учения в гимназии совершается резкий переход от дисциплинарного строя средней школы к более или менее полной свободе отношений в высшем учебном заведении, и из школьников молодые люди как бы сразу превращаются во взрослых, к убеждению и доброй воле которых обращаются профессора и учебная администрация. Между тем, рассматривая такое к себе отношение как должное, но, пренебрегая вытекающими отсюда обязанностями, питомцы высших учебных заведений, особенно первых курсов, обнаруживают большую склонность к нарушению порядка и отрицанию всякой дисциплины, без которой не может существовать никакое разумное соединение людей, не говоря уже о такой сложной и требовательной организации, какой является всякое высшее учебное заведение, должным образом исполняющее своё назначение. Эта склонность к нарушению порядка и отрицанию дисциплины ярче всего обнаруживается в так называемых студенческих волнениях, которые, к прискорбию, сделались у нас явлением хроническим в течение уже многих десятилетий. Выражающиеся в неопозволительных формах своеволия юной толпы, эти волнения приносят многообразный вред, удаляя молодых людей от учебных занятий

и порою тяжело отзываясь на их судьбе и судьбе их семей, парализуя научную жизнь школы и отвлекая правительственные власти от производительной работы в обширной области народного просвещения, в которой так много неотложных вопросов».

Кто из студентов внемлет казённой фразе?

В январе–феврале 1902-го повторились студенческие забастовки, которые на этот раз проходили под лозунгом требования общеполитических свобод.

Академик Кондаков 6.02.1902 — Чехову из Петербурга:

«В Киеве закрыли университет, и понятно: студенты выбили все стёкла в здании. Там, в Киеве, Екатеринославе много арестов. Какие меры последуют и что будет с университетами, то, Господи, веси! Здесь, по-видимому, атмосфера сгущается, и всё более забирают силу приверженцы крутых мер. Однако, по-моему, это перед началом столь же сильного движения, либерального или даже радикального, в самом правительстве. В том же направлении идти далее, кажется, некуда. Если Ванновский выйдет [в отставку], на его место будет, вероятно, назначен Зенгер, карьерист, но умный. Этот последний относится враждебно к совершающейся ныне реформе средней школы».

Когда в начале ноября 1903-го в университете Казанском своим чередом вспыхнула студенческая забастовка (повод: смерть арестованного студента), 18-летний студент Велимир Хлебников был арестован, исключён из университета, месяц отсидел в тюрьме, которая изменила до неузнаваемости его сознание: некий псевдоегипетский двойник Каа, возникший рядом с поэтом, стал учить его новому языку для описания быстро меняющегося мира. Шизофрения подступила вплотную: Хлебников начал сочинять на этом языке стихи и прозу, да вот Горький отверг рукопись его повести «Елена Гордячкина». Правда, не каждый человек творит по молодости чепуху: во-первых, «и по старости» творят, во-вторых, в 1905-м 25-летний Андрей Белый заканчивает «Симфонии», 25-летний Блок — цикл стихов о Прекрасной даме. То есть оба заняты делом. Почему студенческие бунты прошли мимо них?

Будто чёрт из табакерки, выпрыгивает в сознании Талейранова апофегма: слова «республика», «свобода», «равенство», «братство» итд пишутся на всех стенах, но того, *что* соответствует этим понятиям, найти нигде нельзя. Порой избыток ума равносителен его недостатку.

Декан Флоринский, человек твёрдых монархических взглядов и держатель здравого смысла, ставил в «Киевлянине» (12.02.1905) неудобные для юнцов вопросы, на которые нельзя было ответить, и потому оставалось возмутиться.

«Неужели можно желать, чтобы наши университеты, институты и академии из храмов науки превратились в какие-то политические клубы, самовольно усваивающие себе право решать высшие вопросы государственной жизни и предъявлять ультиматумы правительству? Где же найдёт себе спокойный приют наука, знания, просвещение?»

Студенты, всегда считавшие себя передовым отрядом в любой стычке с властью, осерчали. Для чего же им тогда нужен университет? Не учиться же, в самом деле.

Я вступлюсь за Тимофея Дмитриевича, которому как декану приходилось несладко. Один — правый, другой левый, третий центрист, четвёртый октябрист, пятый кадет итд. А ты должен сделать так, чтобы *всем было тихо*. Этого не понимали. Даже Перетц, вроде бы деятель неглупый, но и тот в письме Шахматову писал, что Флоринский «безраздельно царил» в факультете, «изредка встречая сопротивление со стороны “немцев”: Лециуса, Кнауэра и Сонни», был «пренесносен», изображая «какого-то директора гимназии, мня, что мы все — рабы его». Как же ещё навести порядок среди творческого населения, среди «немцев», «поляков», «украинофилов» и «украинофобов»? Он олицетворял порядок в отдельно взятом факультете, а порядка не любят. Правда же, куда милей восхитительный хаос, брожение идей, *революция*? Сразу чувствуется живая жизнь, а не косность, не *starość* и *zabzdełość*?

Николай Бубнов:

«Флоринский был прекрасный и добрый человек, но несколько неуравновешенный и принципиал. Поэтому у него были иногда недоразумения с профессорами, которые находили, что в общении с коллегами он не всегда сдержан. Одно его столкновение во время факультетского заседания с профессором Сонни чуть не кончилось дуэлью. Сонни избрал меня секундантом, и мне стоило большого труда примирить их. Флоринский письменно извинился, и дело было улажено».

Правда, к началу 1910-х Флоринский уже был не таким активным: годы берут своё. Простите мне длинную цитату из мемуаров Зинаиды Тулуб, выученицы Высших женских курсов начала 1910-х.

«В своей области он пользовался большой и заслуженной славой.

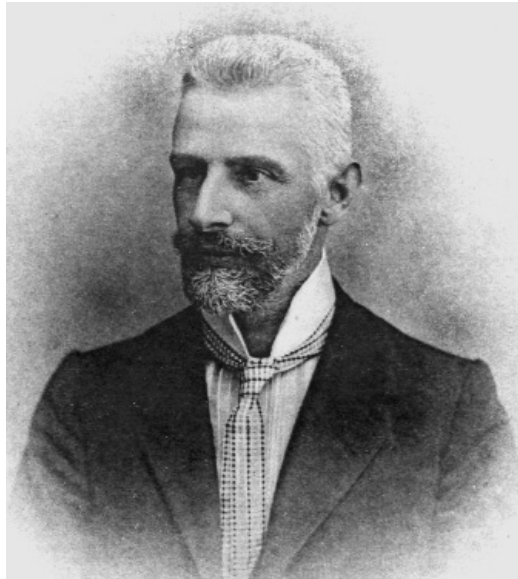
Это был высокий худощавый старик с белоснежными волосами ёжиком и маленькой острой бородкой-эспаньолкой. Большие чёрные огненные глаза, орлиный нос, тихий голос, надтреснутый от передних зубов, дополнял его наружность. Если [Генрих] Якубанис читал всегда в чёрном наглухо застёгнутом сюртуке, как у английского маэрджимена, а [Алексей] Гиляров — в рыжеватом пиджаке нараспашку, — Флоринский читал в чёрном пиджачном костюме с высоким под самое горло крахмальным воротничком, с отогнутыми уголками у выпуклого кадыка.

У курсисток отношение к Флоринскому было двойственное: никто из нас не посмел бы умалить его заслуг перед наукой, но крайне левые курсистки, связанные с активным подпольем, ненавидели его как цензора, хотя был он цензором книг, а не газет и журналов — следовательно, штрафы и приговоры против левой прессы были делом не его, а других рук. А нас, прогрессивных, но политически аморфных курсисток (а таких было подавляющее большинство), он не мог не зажечь какой-то особой любовью к единоплеменникам-славянам. Этот сокровенный огонь проступил у Флоринского не в пышных и громких словах, а пронизывал тёплым внутренним светом всё его изложение. Он говорил нам о страданиях и бесправии славян под пятой турок и швабов, то есть немцев, насильно германизовавших сербов лужицких и кашубов, словенцев и банатских сербов. И тогда настороженный холодок его аудитории сменялся вдруг напряжённой тишиной, и мы долго молчали, когда умолкал после звонка его тихий надтреснутый голос и скрывалась в дверях его щупленькая, чуть сгорбленная фигура с серебристо-белой головой.

На экзаменах спрашивал он легко и, если замечал сочувствие к славянскому племени, мог забыть обо всём, и вместо вопросов начать рассказывать что-то из истории и жизни славянских народов, и потом, спохватившись, смущённо покраснеет и поставит курсистке “отлично”.

Когда впоследствии пришлось мне готовиться к экзамену по славяноведению по его этнографической карте славянского племени — меня буквально подавила масса использованной им литературы и то, что он лично исходил пешком все славянские земли в Австрии и Германии, потому что знал, что немецкое правительство публикует о славянах заведомо ложные заниженные цифры и материалы.

Мы, курсистки, прозвали его “Эдельвейсом” и “Одуванчиком”. Таким казался он нам хрупким, стареньким и слабым-слабым. Никогда и ни в чём не замечали мы в нём тупого и злобного консервативизма, характерного для большинства мракобесов. Очевидно, слухи о его монархизме



*Тимофей Дмитриевич
Флоринский*

были либо раздuty, либо просто он застыл в привычных понятиях дней своей молодости и никогда не задумывался над социальными вопросами, слишком углубляясь в свою специальность: а из глубоких шахт, как известно, горизонтов не видно...»

Конечно, студенчество — передовая умственность будущего империи — отличала высокая «общественно-политическая мобильность»: с второй половины XIX века студенты непреременные участники «освободительного движения». К 1905-му студенчество в целом дифференцировалось по всему спектру политических направлений, существовавших в российском обществе, структурировавшись идейно в три лагеря: революционно-демократический, либерально-монархический, консервативно-чёрносотенный. Как в Государственной думе.

Сын князя Евгения Трубецкого, Сергей Евгеньевич, выпускник Киевской Первой гимназии, признавался:

«Моё положение в классе было не совсем обычное. К “чёрносотенцам” я примкнуть не мог по двум основным причинам. С одной стороны, они были примитивно и грубо некультурны, а с другой — “чёрносотенство” не соответствовало ни моим начинавшим тогда слагаться убеждениям, ни самой моей природе. Я родился с несомненными задатками консер-

ватора, но был с детства проникнут атмосферой умеренного либерализма <...> “Чёрносотенство” являлось в России отнюдь не здоровым консервативным направлением, а вредно-реакционным и притом демагогическим, как и направление его крайне левых противников».

Пожалуй, такую форму самовосприятия можно заподозрить и за Кулаковским, который хотя и был членом Киевского клуба русских националистов, но к «Союзу русского народа» Дубровина, «Союзу Михаила Архангела», «Союзу русских людей» и «Чёрным сотням» Маркова отношения не имел (как и державшиеся монархических взглядов Менделеев, Васнецов, Розанов): он был разумный человек, и крайних (зоологически-националистических, фашистских) взглядов не держался.

Нужно сказать, что особую, в спокойные времена преобладающую, группу составляли так называемые равнодушные, или политически индифферентные. Как раз они двигали науку; как раз о них через несколько десятков лет напишет Вл. Высоцкий «Балладу о борьбе» (1975), за одним только исключением. В поэме, если помните, есть такие строки:

Если мяса с ножа ты не ел ни куска,
Если руки сложа, наблюдал свысока,
А в борьбу не вступил с подлецом, с палачом,
Значит, в жизни ты был ни при чём, ни при чём.

Бросающиеся на амбразуру, посылающие подлеца по матушке, восстающие против системы, конечно, герои — патетичней некуда, — да вот культуру делают, увы, не они, а другие, которые в жизни «ни при чём», которые тихо не от мира сего.

Численное соотношение между разноидейными группами менялось под воздействием политической ситуации, по мере умственного роста персонажей (Бердяев начинал марксистом), но антисамодержавные настроения всегда преобладали: царь никак не ассоциировался с *идеей* свободы.

В 1905-м студенческое большинство (в некоторых университетах до 70% политически неравнодушных) оказалось восприимчивым к пропаганде радикальных партий, в первую голову, социал-демократов (включая большевиков), сузивших сферу политвоздействия на учащихся со стороны либералов, которые запоздали с организационно-партийной спайкой.

Всероссийская забастовка вузов в январе–августе 1905 года; решение о возобновлении занятий в сентябре для превраще-

ния университетов в места революционных «народных» митингов (тактика «открытых дверей»); создание коалиционно-партийных органов студенческого самоуправления, политические референдумы, организация вооружённых дружин самообороны и санитарных отрядов — как же часто впоследствии эти и другие похожие меры отрицательно сказывались и на жизнедеятельности университетов, и на жизни государства.

Оставаясь в основной массе беспартийным, студенчество ориентировалось всё же на ценности буржуазного самосознания, а не рабоче-крестьянского, о котором образованный горожанин имел маловразумительное представление, Манифест же 17-го октября предусматривал академическую автономию (что была дарована высшей школе ещё 27.08.1905). Те из студентов, кто не был чужд политике, отдавали предпочтение либо буржуазному радикализму, либо конституционному монархизму (очень по-английски), провозвестником которого были «молодые» либерально-монархические партии (вроде октябристов), в первую очередь, кадетская, существенно укрепившаяся в университетах. Защищая уже эти ценности, студенчество шло на очередное обострение отношений с властью в период общественного подъёма 1910–1912 годов.

Может показаться странным, что февральский переворот 1917-го оно встретило, будучи охваченным буржуазным республиканизмом (кадеты, меньшевики с красными бантами), а вот октябрьский студентам по вкусу не пришёлся. Ну, кто мог знать среди активных (тестостерончик поигрывал и в голове), что так обернётся? В идейно-политических исканиях студенчество прошло тот же путь, что и вся российская интеллигенция — на свою же голову. Большевики показали студентам с интеллигентами козью морду, и те надолго пригорюнились.

Поминая возраст участвовавших в оппозиционном движении, очевидно, что преимущественно это были студенты первого и второго курсов, с переходом на третий они начинали задумываться о дипломе, о карьере, бросая в печку «переписку Энгельса с Каутским» (как Бердяев), о службе в государственных учреждениях, и именно этим определялось, что учредителями университетских проправительственных кружков были старшекурсники. Как же иначе: когда есть нечего, борцовско-патриотические настроения отодвигаются на второй план.

Так вот, разгорячённые студенты возмутились, написали 18.02.1905 Флоринскому открытое письмо, и ехидно-дально-видный Грушевский тут же перепечатал его в «Литературно-научовому віснику» (Львов), сопроводив довольной преамбулой, направленной против украинофоба Флоринского, мол, «получи, фашист, гранату от советского солдата»: признаваясь, что не имеет перед глазами статьи Флоринского, Грушевский не может сказать, насколько студенческое возмущение оправдано, но всё-таки самый факт возмущения настолько характерен, что и вправду стоило бы представить себе, как может вестись наука в университете при таком настроении студенчества против профессора. Действительно, как?

«Нема ніякого сумніву, що власне причини зовсім далекі від науки, спекуляція на ласку сильних і залишення самотнього шляху, відповідного для вченого, шляху високого ідеалізму і беззавітної служби правді, затроїли ті відносини. І честь молодіжці, яка зберегла в собі настільки морального почуття, що так гаряче протестує проти відступлення свого професора від тої служби. Додамо, що отсей протест вийшов від молодіжці без ріжниць національності, отже, сим разом даремно було б говорити про якусь “українофільську інтригу”».

Разумный человек, дай бог здоровья: и вашим, и нашим; вот только Флоринский, конечно же, не прав, — осмелился спуститься с вершин идеализма науки и заступиться за университет как институт, в котором этот идеализм топчут ногами те, кто до него ещё не дорос, и мешают тем, кто отдаёт себе отчёт, зачем переступили университетский порог.

«Ах, молодёжь, молодёжь, — начинает философствовать начальник арестантских рот, — я бы разрешил кулачные бои: пусть бы дрались, был бы выход молодой энергии» (Павел Блонский).

Хочется, по примеру горинского Тевье, добавить что-нибудь сентенциозное из Писания, но лучше не скажешь.

Может, именно эти обстоятельства имел в виду Розанов, писавший, что мы

«не имеем *оригинальной* и *живой*, не имеем *самостоятельной* юности; мы имеем только *истощённую* юность?» — «Робкою толпою она жмётся ещё и ещё к новой подачке самолюбию своему <...> Так и юный и дряхлый супруг, оставляя целомудренную жену, бредёт иногда и ищет в навозе... я едва не сказал — Кареева и Михайловского; он бредёт и ищет красавицу с прыщами и в нарывах» (1896).

Я Спортсманка. Желаю знакомства съ серьезнымъ, спокойнымъ и добрымъ человекомъ, желательно съ ученымъ, на которомъ въ отразилась наша жизнь; ужь слишкомъ надоѣли все эти «вытики» со своею «молодостью» и «безсребреніемъ». Цель—знакомства—выяснится при свиданіи.

Спортсманка.

*Брачное объявление
в киевской газете, 1900*

Осенью 1905 года декана Флоринского сменит Николай Бубнов: «На первом заседании факультета в начале сентября <...> я громадным большинством был избран в деканы».

Новый век.

«Был в расцвете и шёл к концу девятнадцатый век, — писал Борис Пастернак, — с его капризами, самодурством промышленности, денежными бурями и обществом, состоявшем из жертв и баловней. Улицы только что замостили асфальтом и осветили газом. На них наседали фабрики, которые росли, как грибы, равно как и непомерно размножившиеся ежедневные газеты. Предельно распространялись железные дороги, ставшие частью существования каждого ребёнка, в разной зависимости от того, само ли его детство пролетало в поезде мимо ночного города или ночные поезда летели мимо его бедного окраинного детства».

Кто-то, кажется Габричевский, назвал Пастернака «дачным поэтом», мол, все стихи у него, как он едет на дачу или с дачи. Пожалуй, это точно лишь метафорически. Пастернак вагонно-станционный литератор: у него почти в каждом тексте есть что-либо из железнодорожного быта, и это можно зачесть аллегорией движения как такового. «И знатья не хочет ни с кем / Железнодорожная насыпь» («Пространство»). Если у него речь о городе, паровоз заменяется трамваем: «В трамвайных парках снег сошёл дотла».

Городская улица 1880–1890-х это тяжёлая орнаментальная пустота архитектурных стилизаций, в большей степени зиявшая в Москве, в меньшей — в Петербурге: различие градуса столичности сказывалось. Киев — третья столица Империи — вспаивался иными соками.

Александр III вместе с Иваном Забелиным, Владимиром



Киев. Трамвай на Думской площади, впереди — улица Институтская с многоэтажным «Домом Льва Гинзбурга», фото 1910-х

Стасовым и Петровым-Ропетом внедрял в стылую глину кирпича петушиный стиль кокошников резной «расейской» деревни, будто манифестируя формальную исконность «русского»: из деревни в город, из народной культуры — в профессиональную, из этнографического — в цивилизационное. Тогда, на волнорезе западников и славянофилов, и вырызнуло особое понимание аутентики: художественное переосмысление квасной традиции народных ремёсел привито космополитизму российского искусства, искавшего, где бы проявить самость так, чтобы отличаться и от Европы, и от Азии.

То же самое происходило и в украинской культуре 1890–1900-х. Этноформа «Будинку для гостей» Галаганов в Лебединцах на Черниговщине работы академика архитектуры Евгения Червинского (1854–1856-й) вынырнула на фасадах Полтавского губернского земства гениального Василия Кричевского в самом начале XX века и до начала Первой мировой постаралась придать промышленной эклектике и «кирпичному стилю киевских подрядчиков» национальную интонацию наря-



Київ. Угол Владимирської и Фундуклевської (Богдана Хмельницького),
одинокі корови шествують на Крещатик, фото 1890-х

ду с украинскими блюдами, костюмом и песней, призабытыми — как мода — в крупных городах России со времён Григория Розума и его царственной наложницы. «Барская, но хорошая и достойная подражания затея», — записал 19.04.1858 в «Журнале» об особняке Галаганов в Прилуцком уезде Тарас Шевченко. Профессионально транспонированная декорировка народных орнаментальных мотивов, пересевши из «любительского» села в «профессиональный» город, представила обывателю визуально убедительную форму его идентификации, вечной в камне, — не приземлённую, будто селянская хата, но возвышенную, как борцовский дух.

Розанов в примечании 1913 года к письмам Николая Стрехова точно, хотя по привычке истерично, обрамил ситуацию:

«именно с XIX века, с проведения железных дорог и «окончательной централизации», всё стеклось в один мозг, в столицы, оставив тело страны бесчувственным и почти бездыханным. Настал какой-то «окончательный *papa*» и «окончательная *кокетка*» и «окончательный *министр*» и «окончательный *философ*», который есть журналист «на все руки»».

Всё-таки Пастернак городской писатель:

«На эту по-новому освещённую улицу тени ложились не так, как при Бальзаке, по ней ходили по-новому, и рисовать её хотелось по-новому, в согласии с натурой. Однако главной новинкой улицы были не фонари и телеграфные провода, а вихрь эгоистической энергии, который пронёсся по ней с отчётливостью осеннего ветра и, как листья с бульваров, гнал по тротуарам нищету, чахотку, проституцию и прочие прелести этого времени <...> Всё сместилось и перемешалось, старое и новое, церковь, деревня, город и народность».

В мае 1900-го Кулаковский спрашивает Флоринского из Казани, где вновь председательствует: «Третьего дня говорили мне в лектории, будто в Киеве произошли какие-то беспорядки на почве социалистической пропаганды, и было много арестов. Правда ли?» (13.05.1900). Конечно, правда.

В исследовании Нины Пицък о будущем академике Александре Богомольце, который лишь первый семестр 1900-го проучился на юридическом, вроде бы названа одна из причин такого положения.

«Большинство лекторов университета бездарны. Лекции они читают сухо, по записям многолетней давности. С первых же дней учёбы Александр буквально вынуждает себя вслушиваться в славословие о преимуществах великокняжеских судов и крепостного права в Каталонии, об отношениях Филиппа Августа к городам, о реформах императоров Клавдия и Марка Аврелия <...> Студентов “перекармливают” римским правом. Посещение лекций для Богомольца скоро превращается в отбывание скучной повинности. Всё чаще, оставаясь дома, он, как многие другие студенты, прибегает к испытанному обману начальства, во время обхода шинельных дежурным инспектором швейцар за небольшую плату вешает на отведённый Александру колышек запасную фуражку.

Только на лекциях по философии права аудитория полна, хотя приват-доцент [князь Е. Н.] Трубецкой тоже не отличается объективностью в оценках явлений общественной жизни. Просто он оратор, блещущий изяществом манер и речи. Молодых людей подкупает и учтивость преподавателя, не позволяющего себе обращаться с ними, как с новобранцами.

Но популярность Трубецкого встревожила администрацию. Инспекторы и субинспекторы давно уже в поисках крамолы дежурят под дверями его аудитории. Министр просвещения предпочитает замещать кафедры “благонадежными посредственностями”. Одарённые люди, по его убеждению, действуют на молодые умы растлевающе. Он любит повторять:

*Юлиан Кулаковский
среди делегатов XI
Археологического съезда,
фото 11.08.1899.
По его левую руку —
Павел Милуков,
в мундире —
Викентий Хвойка*



— Наука — это обоюдоострое оружие. С ним надо обращаться с крайней осторожностью.

Наконец настал день, когда Трубецкой прервал чтение курса и отправился за границу “лечить жёлчный пузырь”».

Политика политикой, жизнь — чередом: с последних лет 1890-х по конец 1905-го Киев и университет конвульсивно передёргивает, напоминая, что есть две жизни: внутренняя и внешняя, бытие и быт. У кого не получается первая, обращается ко второй. Так, когда долго не получаются дети, заводят большую собаку.

Но всё-таки в большинстве случаев, как полагал академик Владимир Андреевич Стеклов, — учёный, по самому складу ума, по самой природе, всегда остаётся только учёным «и, за редким исключением, плохим политиком и малополезным практиком», и потому большинство научной интеллигенции октябрьский переворот встретили враждебно, без энтузиазма. Кто это большинство? Немногим более 10 тысяч человек (на 1914-й) — из 178 миллионов. Но до этого пока далеко.

Летом 1900-го Кулаковский с семьёй в Друскининкае:

«Нет у нас ещё настоящего лета, но погода сносная и я с удовольствием купаюсь в Немане и хожу с детками в лес. Но мадамы, которые во-

обще не умеют пользоваться летом, жалуются и сидят больше в комнате, даже не на балконе. Сегодня вспомнил я старину и катался верхом: здесь есть лошади, хоть и заезженные мальчуганами» (Флоринскому, 15.06.1900).
Последнее лето XIX века.

«Неподвижные газетчики на углах, без выкриков, без движений, неуклюже приросшие к тротуарам, узкие пролётки с маленькой откидной скамеечкой для третьего, и, одно к одному, — девяностые годы слагаются в моём представлении из картин, разорванных, но внутренне связанных тихим убожеством и болезненной, обречённой провинциальностью умирающей жизни», —

первые строки Мандельштамового «Шума времени».

А вот Шкловский в начале книжки об Эйзенштейне:

«Конец прошлого столетия. Позабудем шум, замедлим мелькание транспорта, вспомним, как выглядят лошади, когда их много.

Если вечер, то затемним окна: пусть они светятся или нижним углом, или слабой полосой между портьерами.

Небо не имеет красноватого оттенка, звезды всегда есть.

Газовые фонари свет дают — сиреневый.

На центральных улицах жужжат сквозь зубы сближающиеся углы дуговых фонарей: свет вокруг них синевато-жёлтый.

Керосиновые фонари на недалёких окраинах бодро доживают свой век — похожие на очень редкие бусы.

Настанет утро, к утру свет керосиновых фонарей похож на расплывчатые пятна конской мочи среди снега.

Из труб домов идёт поспешный дым...»

Вот он же посреди последних времён Льва Толстого.

Щёлк — и новый век:

«Наступление XX века в городах праздновалось хвастливо...

Городским людям казалось, что пора подводить итоги, что теперь, когда они вымостили города, летают на воздушных шарах, ездят на поездах и автомобилях и говорят по телефону, — наступает торжество благоразумия...

Умножались фонари в городах, небо над городом ночью становилось розовым; в розовом ночном тумане исчезли над городом звёзды.

Увеличились дымы. В городах России зимой почернел снег. Мир менялся стремительно и горестно.

Время как будто убыстрялось. Изобретение сменялось изобретением, события событиями, горе горем. Появились прививки против болезней, большие тиражи книг, иностранные газеты.

Век начинался войнами. Воевали на Филиппинах и в Трансваале. Это были войны по-новому отвратительные. Толстой говорил: «Войны американцев и англичан среди мира, в котором осуждают войну уже гимназисты, — ужасны»».

Век начинался непривычно, с ощущением курьёзности ощущения начала. Но ведь «разруха» — это в голове.

Университетская жизнь мало ощутила на себе изменение скорости времени — как в своё время не почувствовал человек XVIII века, что он живёт уже в XIX-м.

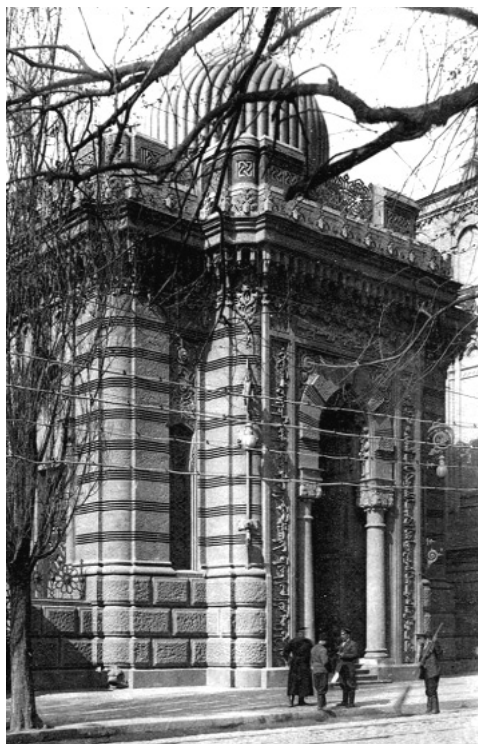
Надо же, Кулаковский появился на свет через 28 лет после смерти Бетховена, через 24 — после смерти Гёте и Гегеля, через 18 — после гибели Пушкина. И вот он, университетский профессор, ваше высокородие (статский советник), орденский кавалер, уважаемый человек, — вступает в 46-летие и новый век — в сознании, что впереди много дела и что труд, который превратит его в знаменитость, ещё слишком впереди.

А может, всё не так?

В 44 года Кулаковский становится действительным членом Императорского Московского археологического общества (1899), в 47 — Императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (12.10.1902). Тихо и мирно, ведь время — естественное, врождённое достояние думающего человека; но, в отличие от души и тела, оно дано как возможность, реализация которой всецело зависит от воли, если близкие не очень мешают и — дальние. Кулаковский этой возможностью воспользоваться сумел.

Александр Блок, в 1911-м начав сочинять «Возмездие», к 1919-му сформулировал прогноз насчёт XX века — вслед за характеристикой XIX:

Двадцатый век... Ещё бездомней,
Ещё страшнее жизни мгла
(Ещё чернее и огромней
Тень Люциферова крыла).
Пожары дымные заката
(Пророчества о нашем дне),
Кометы грозной и хвостатой
Ужасный призрак в вышине,
Безжалостный конец Мессины
(Стихийных сил не превозмочь),



*Киев. Караимская кенасса
(ныне Дом актёра) по улице
Ярославов вал, 7, 1898–1902,
архитектор В. В. Городецкий,
инженер А. Э. Страус,
фото 1900-х*

И неустанный рёв машины,
Кующей гибель день и ночь,
Сознание страшное обмана
Всех прежних малых дум и вер,
И первый взлёт аэроплана
В пустыню неизвестных сфер...
И отвращение от жизни,
И к ней безумная любовь,
И страсть и ненависть к отчизне...

Здесь уже не сонливость существительных, здесь страх, бунт, предостережение. Что мог знать поэт о двадцатом веке? Хорошо, что оставил записку о двух десятилетиях, включивших Великую войну и большевицкий переворот, поставив перед историей и поперёк её российское скифство, вымотавшее ему нервы. Какие-то «Катьки», «Петьки» (эдакие перевёртыши

Киев. Здание Религиозно-просветительского общества и домовая церковь Иоанна Златоуста на углу Владимирской и Большой Житомирской, фото 1890-х. Церковь не сохранилась



сторублёвок и пятисоток), голытьба, красные банты, выкрашенные суриком, и скотская дикость в ненависти к образованности и проявлению человеческого достоинства.

Новый век, начавшийся 1-го января 1901 года, не сулил империи утешения ни в каких смыслах. Да и причём здесь смыслы, когда один день одного столетия сменился другим днём уже другого столетия, обыватель откупорил шампанское и приделал к стенке новый отрывной календарь.

Мерзкий запах гниения и крови чуял только гончий нюх интеллектуала.

Но слой интеллектуалов, бегущих толпы и сборищ, был настолько эпидермически тонким на беспросветном чернозёме невежества и безмыслия, что смешно говорить о всеобщей тенденции приноживаться к собственной истории.

Вот портянки, забастовки, думская болтовня и «бей жи-

дов — спасай Россию» — это сколько угодно, поскольку хлестать помойное пойло в корыте можно и не зажимая носа, а к запахам были равнодушны.

Мишель де Гельдерод в «Остендских беседах» сообщал журналистам, что совсем ребёнком тянулся ко всему, что творилось под небом: кортежам, процессиям, ярмаркам, забастовкам, бунтам, «а к тому же ещё похоронам, карнавалам и маскарадам. Меня привлекали одежды, мебель, декорации — весь тот мир вещей, который обычно считают мёртвым». Но потом у него это прошло, и он сделался писателем.

У городского обывателя не проходит, и он делается мещанином, а если энергии хоть отбавляй и романтический чиряк зудит, пиши пропало: начнёт стулья ломать.

По данным переписи населения 1897-го, численность горожан главных имперских центров была — по сравнению с нынешней — смехотворна: например, Киев — 247 432 чел., Москва — 1 035 664, С.-Петербург — 1 267 023, Одесса — 405 041, Вильна — 159 568, Ковна — 73 543, Либава — 64 505. Среди этой статистики дворянское сословие (по той же переписи) составляло 1 221 939 человек, то есть 0,97% населения. Это даже меньше, чем просто мало, даже не *один* процент. Но из этой ничтожной части, из которой и порождались рубившие сук, на котором сидели, преимущественно обеспеченные студенты и прочий полуобразованный сброд, через десятилетие, коль скоро продолжал жить (если, наморфинившись, не выкинулся в лестничный пролёт, не удавился, не пустил пулю в лоб из юркого браунинга), поминал, как склонял в гимназии латинские глаголы. Причём, городской сброд, пушкинская чернь (нет, не крестьян и рабочих имел в виду поэт, говоря о черни; вот этих) не обязательно была городской: больше половины, 52,7% дворян жили вне больших городов. Что же в городах? Чёрт-те чё: всеобщая инфантилизация.

Каждый на виду, не говоря о неординарном ординарном университетском профессоре. Этих вообще мизер мизерный на диких пространствах державы.

Прикину подсчёт по филологам-классикам. В 1914-м в десяти императорских университетах (С.-Петербург, Москва, Киев, Варшава, Дерпт, Харьков, Казань, Саратов, Одесса, Томск) классические кафедры занимали тридцать-сорок чело-

век. Гимназические преподаватели латыни, которые не занимались учёным поиском, ретранслируя готовое знание, могут быть выпущены из внимания так же, как и 130 миллионов человек прочего народонаселения. Всего в университетах в среднем было по девяносто-сто профессоров и приват-доцентов, то есть около тысячи человек на 129 142 100 человек населения в 1897-м и 178 378 800 в 1914-м. Вот она — примерная цифра персонажей, которую стоит «поделить на восемнадцать», для томов ЖЗЛ. Остальной контингент неинтересен, поскольку инертен и властелином даже своей судьбы не являлся. Но это совершенно не значило, что его нужно уничтожать.

Если клопов давят не задумываясь, сходить на лося — другое. К сожалению, большевиков, пахнувших клопами, кровью, водкой, кожанками, порохом и махоркой, интересовали не клопы, а лоси — твари элегантные и грациозные, гордость наших лесов. Университетский профессор был лось, и уничтожить его не составляло труда.

Но эти же лоси сами выбегали на дорогу, чтобы их могли сбить. Фёдор Августович Степун в «Бывшем и несбывшемся» (конец 1940-х) отметил, что, по его наблюдениям,

«в конце 19-го века и ещё более в начале 20-го в каждой русской семье, не исключая и царской, обязательно имелся какой-нибудь более или менее радикальный родственник, свой собственный домашний революционер. В консервативно-дворянских семьях эти революционеры бывали обыкновенно либералами, в интеллигентски-либеральных — социалистами, в рабочих — после 1905-го года иной раз и большевиками. Нельзя сказать, чтобы все эти тайные революционеры были бы людьми идеи и жертвы. Очень большой процент составляли снесённые радикальными ветрами влево талантливые неудачники, амбициозные бездельники, самообольщённые говоруны и мечтательные женолюбы».

Нет, не лоси — хомячки.

Первый год нового века. Рутинка — рутинкой, празднества — празднествами, забастовки — забастовками, но научные и административные дела Кулаковский не прерывает. Продолжается разработка нового университетского устава.

В мае 1901-го он председательствует в комиссии в Одессе:

«Попечитель, которого я видел 2 числа, сказал мне, по поводу полученных ныне министерских вопросов об Уставе, что ещё в марте он сам сделал от себя запрос [Н. А.] Звереву и получил от него разрешение по-

ставить на обсуждение совета вопрос об Уставе. Вследствие этого с половины, кажется, апреля здесь избрана комиссия из 8 профессоров, которая непрерывно занимается выработкой общего плана и частных. Я не расспрашивал ещё никого из участников комиссии, но слышал, что все сошлись на восстановлении *полном* выборного начала, а также предоставлении корпоративных прав студентам. — Теперь и вы в Киеве будете обсуждать Устав, а я останусь без голоса. Надеюсь, по крайней мере, что уже не Славянский будет председателем комиссии для обсуждения Устава. Не выбрали ли вы [Д. И.] Пихно? Или, может быть, сам Фёд[ор] Яков[левич] Фортинский] выступит в этой роли?» (5.05.1901).

Через месяц сходное беспокойство:

«Конечно, стоят за автономию и студенческую организацию, как будет, вероятно, всегда. Вероятно, выработанный вашей комиссией доклад (или обработка советских решений) будет напечатан, и тогда я надеюсь получить экземпляр для размышления на досуге на берегу моря» (Флоринскому, 4.06.1901).

Более того, Кулаковский не только получил эти документы, но и был избран в министерскую комиссию по разработке нового устава. Впрочем, устав так и не разработали.

В 1901 году исполняется четверть века пребывания Кулаковского на службе — гораздо более знаменательная дата, чем мы могли бы сейчас об этом подумать, в жизни каждого служащего. «Предложением г-на Министра Народного просвещения от 11 декабря [1900 г.] за № 34511, на основании 404 ст. XI [т.] Свод. закон., изд. 1893 г., по выслуге 25 лет по учебной части [Кулаковский] оставлен ещё на 5 лет» в должности ординарно-го профессора по кафедре римской словесности с 1.06.1901.

Лето 1901-го Кулаковский с семьёй проводит в Крыму — в Евпатории (на даче — без пансиона — некой Софронеевой) и в Ялте: слава Евпатории, «что тут нет вовсе зелени, — стала анахронизмом, так как за последние годы понастроили дач и развели сады. По моему суждению, здесь так хорошо и удобно, что лучшего места и искать странно было бы. Собирался писать рецензию на книгу Погодина, но пока не могу приняться, так как много вожусь с детьми, то есть надзираю за ними и на берегу моря, и на дворе» (12.06.1901). Рецензию на только что вышедшую книгу Александра Львовича Погодина «К истории славянских передвижений» (С.-Петербург, 1901) Кулаковский, несмотря на отцовские хлопоты, написал.



*Профессора Университета св. Владимира. В первом ряду слева направо:
Т. Д. Флоринский, Ю. А. Кулаковский, ректор Н. В. Бобрецкий и др., фото 1903 г.*

Там же, в Евпатории, он узнаёт о реформе средней школы и отмене обучения древнегреческому языку в гимназиях. Это потрясает его настолько, что даже через много лет в предисловии к первому тому «Истории Византии» не уляжется былое возмущение. Здоровье супруги, Любови Николаевны, с которой случился приступ, оставляет желать: «Я в ужасе побежал к Шварварскому, а тот тут же у себя предсказал жабу, как и оказалось» (25.06.1901).

В письме Иконникову Кулаковский сообщает иные подробности евпаторийского житья:

«В городе — в 2 1/2 верстах — всё можно достать, есть и общественная библиотека, из которой беру журналы. Прогулок здесь, правда, нет,

да никуда и не тянет. Изредка хожу в город или езжу на случайном извозчике или хозяйской линейке, но исключительно за покупками, и ни разу не был на бульваре, на музыке, которая тут есть. При детях нет у нас теперь никого, так что в значительной степени обязанности надзирателя падают на меня. О том, что делается на свете, узнаю из “Киевлянина”, который получаю. Вычитал о разгроме средней школы <...> Оставшись по случайным обстоятельствам без голоса в университетском вопросе, я сначала огорчился, а теперь — стараюсь не думать <...> Время бежит быстро, вот уже и день пошёл на убыль, напоминая о грядущей осени. Выбившись из своей колеи ещё с конца апреля, я теперь не умею засадить себя за работу, хотя и рассчитывал кое в чём на лето.

Р. С. На днях встретился здесь с харьковским проф. Овсяннико-Куликовским, который поселился с семьёй в городе» (11.07.1901).

В «Новом времени» за 13.07.1901 читаем:

«Прошений о приёме в университет подано около 900, в том числе вновь поступающих христиан — 500, евреев — 138, освобождённых от воинской повинности — 160, бывших студентов из других университетов — 100. Приём евреев ограничен семью процентами вместо десяти».

«Киевлянин» в декабре 1901-го :

«Вопрос об университетской реформе, как слышали “Русские ведомости”, будет рассмотрен в Государственном совете, по всей вероятности, в нынешнюю сессию, вопрос же о преобразовании средней школы будет рассмотрен не ранее сессии 1902–1903 года».

По тем дерзким временам — известия малоутешительные.

Ялтинский курьёз 1901 года. В ту «чеховскую» пору Ялта была живым некрополем туберкулёзников, малопримечательным приморским посёлком «городского типа»; из «культурно-просветительных» заведений городские власти поддерживали лишь книжный магазин, любительский театр и женскую прогимназию. Но летом в Ялте было хорошо.

Чехов наконец женился, чтобы сделать актрису-мхатовку Ольгу Книппер знатной вдовицей, и они проводили лето в Аксёнове, на кумысе. Чехов кашлял, сплёвывал в платочек кровь, раздражался по пустякам и держал корректуру последних томов Собрания сочинений в издательстве Адольфа Маркса.

Для Кулаковского летом случился приятный курьёз, о котором он из Ялты не без тайного удовольствия, с подробностями сообщает Флоринскому 15.08.1901:

«Сегодня заходил я наведаться, не здесь ли Кондаков; застал в его

*Особняк академика
Кондакова в Ялте,
в котором он проводил
летние месяцы с конца
1890-х до осени 1918-го,
бывш. ул. Церковная
(ныне Льва Толстого), 2.
Фото автора '2003*



великолепном дворце только жену его. Кондаков сам скоро должен вернуться из своей поездки в Петербург. М-ме Кондакова встретила меня вопросом насчёт Константинополя и вынесла мне номер “Нового времени”, в котором напечатана телеграмма о слухе из Киева. Не знаю, кто мне удружил, и недоумеваю, откуда всё это и зачем. Ведь никто со мной об этом не сносился и не заговаривал. А ведь спросили бы всё-таки прежде всего меня, если бы имели меня в виду. Откуда же в Киеве этот слух и зачем давать ему окраску? Уж не затем ли, чтобы вызвать опровержение? В мае [А. А.] Павловский, который всегда всё знает, уезжая в Константинополь, говорил в лектории, что Успенского сменит [Я. И.] Смирнов, любимый ученик Кондакова (человек весьма знающий в области византийского искусства, состоящий ныне консерватором в Эрмитаже)».

Речь о маленькой, в несколько строчек, заметке в разделе «Корреспонденция» суворинской газеты «Новое время» от 12.08.1901:

«Киев, 11-го августа. По слухам, профессор римской словесности Киевского университета Кулаковский назначается директором археологического института в Константинополе вместо оставившего должность Успенского».

Можно понять удивление Кулаковского, который узнаёт об этом случайно от почти случайного человека. Конечно, «дыма без огня не бывает» и, вероятно, Успенский во время пребывания Кулаковского в Константинополе в августе 1898-го зондировал почву на случай возможного ухода с поста директора РАИК. Мне не удалось разыскать сведений о намерении Успенского оставить директорство: он всё время был во главе Института. Но факт симптоматичен вот чем.

Уже в начале XX века имя Кулаковского муссировалось в научных кругах в специализации «византинист», а не только «профессор римской словесности». Даже стоит предположить, что этот случай, доставивший Кулаковскому дополнительную популярность среди читателей «Нового времени», газеты всероссийской распространённости, сослужил ему услугу: ещё более утвердил в мысли о необходимости занятий римскими делами. Да и рекламы добавил немеряно.

Действительно, российских византинистов в 1901-м можно перечислить по пальцам: Айналов, Безобразов, Вальденберг, Васильев, Дмитриевский, Кондаков, Панченко, Пападимитриу, Пападопуло-Керамевс, Регель, Смирнов, Успенский, Шестаков, Шмит. Чуть больше дюжины. Это преимущественно авторы только что основанного Регелем «Византийского временника» (выходит с 1894-го), томов ИРАИК, «Археологических известий и записок», «Филологического обозрения» (вот-вот закроющегося), отдела классической филологии ЖМНП. Принадлежность к византинистам определялась просто: имеешь соответствующие тематике статьи в этих повременных изданиях, особенно «Византийском временнике», стало быть, византинист. Как ещё опознаётся учёный? По выработке.

При всей пожизненной нелюбви Кулаковского к административным должностям (которыми творческий человек, тем паче учёный, обольщаться *не имеет права*), всё-таки думается, что должность директора РАИК ему занять хотелось: по разным воспоминаниям, Успенский был человеком тяжёлого нрава, неуживчивым и амбициозным, неумело скрывавшим эти ка-

чества от сотрудников. Удивляться, что к нему в Институт не хотели идти византилисты, не приходится. Впрочем, как говорил Талейран, устойчивость сложных натур объясняется их гибкостью. В таких случаях часто страдает дело, и перемена руководителя может привести к положительным результатам.

«Ручное руководство» хорошо в какой-нибудь Северной Корее, но не в имперской России. Если хочешь достичь результата, чаще попусти, нежели надави, и — порой само пойдёт; когда же видишь, что не идёт, тогда прикрикни, лучше усвети. Успенский этого не умел. А Кулаковский, пожалуй, умел, и преследовал бы в директорстве не личную цель, а радел о деловой оснастке учёного процесса. Успенский умел был грубым: «Впрочем, с ним ладить вполне можно, так как человек он в общем хороший», — писал отцу Фармаковский, ненадолго приносившийся к директорскому норову.

«По мнению Успенского, надо быть в стенах Института от 10 до 4 час. При таком положении нельзя ни посещать музеи, ни вообще изучать памятники». К тому же, директор часто отменял отданные распоряжения.

«Я стараюсь убеждать Успенского, что у нас слишком много времени идёт даром, а настоящее дело стоит, но он как книжный и кабинетный учёный не понимает всей важности постоянного осмотра и изучения памятников на месте. Вообще он не археолог. Оттого и библиотека у нас не археологическая... Прекрасно было бы, если бы “Известия [РАИК]” кто-нибудь из археологов разобрал по-достоинству! Сравнивая наши “Известия” с известиями иностранных институтов, просто краснеешь! В силу изложенного пребывание в Константинополе очень опасно: можно совсем отстать от науки! Я, впрочем, знал многое и раньше, но надеялся, что, может быть, я смогу как-нибудь содействовать лучшему направлению Института... Когда защищу диссертацию, тогда и начну действовать твёрдо. Теперь, ввиду исключительности своего положения, я должен подчиняться начальству, иначе ладить трудно» (15.03.1898).

Не уверен, что с строгим Кулаковским, который был по сравнению с строгим Успенским человеком довольно иронично к себе настроенным, дело пошло бы краше. Но, опять же вспоминая Талейрана: должности принимают не для того, чтобы служить людям и помогать действиям, которых не одобряешь, а чтобы направить их на благо будущего. «Во всяком деле нужно иметь в виду конец», — говорил почтенный Лафонтен.

Успенский, сочиняя грандиозный трёхтомник «Истории Византийской империи», помнил о смертном часе постоянно. Но зачем заставлял сиднем сидеть талантливых людей на служебном стуле? Первый мой начальник, мудрейший Николай Мефодиевич Дёмин (р. 1931), говорил: если я вижу сотрудника за столом в институте, точно знаю, что он ничего не делает; а если не вижу, есть надежда, что он в библиотеке.

Как бы ни было, должен положиться на воспоминание о Кулаковском Николая Стороженко:

«В последнее время жизни он составил два <три> огромных тома по истории Византии и всё мечтал заменить профессора Фёдора Ивановича Успенского в должности директора Археологического института в Константинополе. И когда говоришь с ним в его кабинете, среди книг, на специальные учёные темы, можно было увидеть, что он недаром прошёл школу Моммзена и Ранке — очень учёный был он человек».

РАИК прекратил существование с началом Великой войны, его архивы с трудом были вывезены в Россию (сейчас в питерском архиве РАН), но *идея института* продолжала волновать многих. В Украине оптимистически был настроен академик Михаил Грушевский. В программной статье 1930 года, посвящённой указанию на глубокий разрыв между украинистикой и ориенталистикой на почве украино-турецких сношений XVII века, он пишет:

«На черзі стоїть відновлення колишнього Константинопольського “Русского археологического института” як відповідального осередка візантології і тюркології. Українська Радянська Республіка повинна взяти визначну участь в його реконструкції й організації на нових підставах, а в зв’язку з цим мусить бути організована й тюркологічна праця і в українських наукових центрах. Цього чекають від Української Радянської Республіки і наукові центри цілого Радянського Союзу, а ще жадібніше виглядають українські наукові робітники — на Радянській Україні і поза нею сучі» (Твори: У 50 т. Львів, 2015, т. 10, с. 422).

Конечно, эта здравая не по форме, а по сути мысль не могла получить даже намёка на реализацию, оставаясь в сфере стратегического научного интереса.

Когда в 1890-м Археологическая комиссия пригласила Кулаковского к разработке древностей Надчерноморья, и он в течение десяти лет заполнял вакационные месяцы таврийскими раскопками (среди которых оказались и выдающиеся), стало

очевидным, что поиск материалов для ответов на исторические вопросы, связанные с обнаруживаемыми артефактами, всё чаще наталкивал на памятники ромейской письменности.

«Слух из Киева» о директорстве в РАИК не даёт покоя Кулаковскому, и он продолжает удивляться:

«Профессора, которых я встречал за лето: Овсяннико-Куликовский — здесь, Бузескул — в Ялте, — каждый занят был летом печатанием книги, а я и рецензии не написал, хотя, кажется, всё имел под руками, что было нужно. Даже перед собой совестно. Сообщение обо мне в “Новом времени” прочли многие, и уже в Ялте знакомые и полужнакомые люди спрашивали, когда я еду? <...> Кто это пустил этот слух? И к чему всё это?

Погода здесь испортилась, и хотя купаться ещё можно, но всё выглядит так угрюмо, неприветливо, воет ветер, и в настоящую минуту воет так жалобно и грозно, стонет море, а заняться не то что нечем, а никак нельзя в этой обстановке — остаётся осознание какой-то ненужной проволочки и потери времени. Пора, пора домой!» (Флоринскому, 24.08.1901).

Слова настоящего трудоголика. Посиди, укутавшись, погляди на море, подумай, не слишком ли суетишься, ведь так и жизнь пройдёт.

Так нет же — работу ему подавай, книжки и чернильницы, конский топот под окнами и лаковый запах студенческих скамей. Что он боялся не успеть, «теряя время» на съёмной евпаторийской даче? Неужели (между нами, мальчиками, говоря) достаточно мелкий дрип научных статей, отчётов о раскопках, рецензий, карт и эсхатологических лекций он полагал главным в жизни, которая одна? Если так, тогда можно объяснить, что он таким вот образом «оплакивал» свой XIX век, уносивший в прошлое римские диссертации, крымские раскопки, женитьбу с подрастающими сыновьями (здесь пока ещё перспектива), и разного рода профессорские писульки, большие и маленькие.

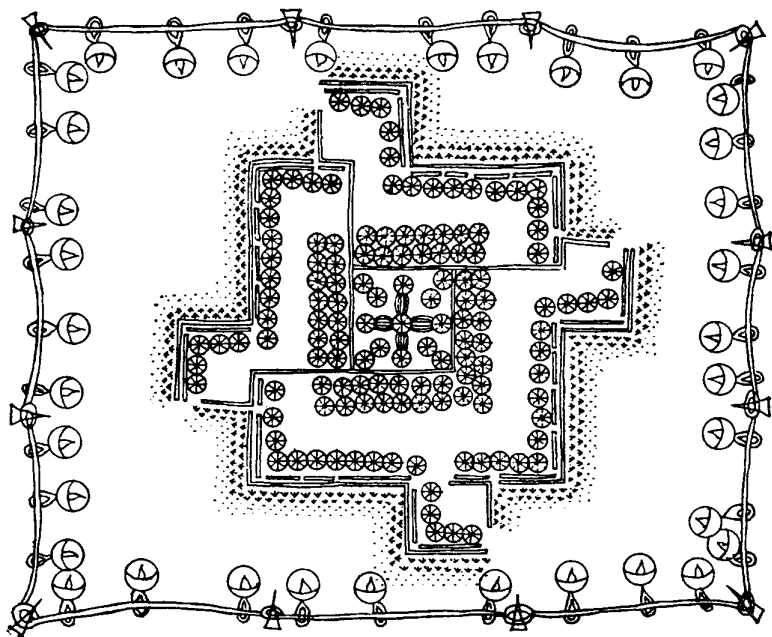
Ушедший век будто подталкивал к действительно большой теме, без разброса и учёных шатаний — от эллинских загробностей к крымским катакомбам, от статей в «Киевлянине» к задачам классической школы, — к чему-то фундаментальному, что требует долговременной усидчивости, концентрации внимания и обращения взора *горнему*.

Может, именно тогда, в Евпатории, на ветру, он дал себе слово заняться византийской историей, её частностями и громадностями, новый век — и вместо Рима Средневековье.

Кулаковский vs Успенский. Уже 17.10.1901 он выступит в Историческом обществе Нестора Летописца с докладом «Византийский друнг и друнгарий», который был опубликован в упрощённом варианте в «Киевлянине»:

«Известный наш учёный Ф. И. Успенский в одной из своих многочисленных работ по истории внутренних отношений Византии предложил гипотезу, что слово “друнг” — славянского происхождения и что византийцы заимствовали у славян это слово вместе с соответствующим военным учреждением (дружина, задруга). Гипотеза о славянском происхождении слова “друнг” была принята другими учёными, а у некоторых авторов она приняла значение доказанного факта и послужила исходным пунктом широкой теории о влиянии славян на возникновение поместного строя византийской армии. Наряду с теорией Ф. И. Успенского существует теория о германском происхождении слова “друнг” (Миклошич). Докладчик полагает, что в данном вопросе можно чисто историческим путём прийти к весьма определённым выводам. Дело в том, что слово “друнг” — очень древнее. Древность его для Византии можно проследить до начала V века: в 404 году его знал и употреблял св. Иоанн Златоуст. В латинском языке слово это употреблялось ещё раньше: мы его находим у современного Иоанну Златоусту латинского писателя Вегеция. Мало того, уже в начале IV века слово *drungus* встречается у историка Вописка. Раз, таким образом, установлено, что слово “друнг” было известно ещё в IV веке, то гипотеза о славянском происхождении его падает сама собой; к славянскому языку это слово не может иметь никакого отношения, ибо славяне на Дунае появились лишь в VI веке. С другой стороны, ясные и определённые сведения о военной тактике славян от VI века, сохранённые Маврикием, не дают никаких оснований предполагать у них дружинный строй. Вопрос, таким образом, решается в пользу германского происхождения слова “друнг”. Очевидно, римляне заимствовали это слово у готов. Во время происшедшего затем обмена мнений, в котором, кроме автора доклада, приняли участие проф. В. З. Завитневич, проф. Ф. И. Кнауэр и др., докладчик высказал, в виде предположения, ту мысль, что, быть может, русские, служившие в войске у византийцев, уже в IX веке заимствовали у них это слово и обозначаемое им учреждение, и таким путём произошла наша “дружина”. Проф. Ф. И. Кнауэр заметил, в дополнение к историческим соображениям докладчика, что это возможно и в филологическом отношении».

Большая статья под аналогичным заголовком напечатана в «Византийском временнике».



Византийський лагерь по Ватиканській рукописі

Не входя в существо заочного спора между Кулаковским и Успенским относительно происхождения слова *друнг*, трудно удержаться от наблюдения: не удивительно ли, что Кулаковский обратился к вопросу именно в связи с исследованием Успенского, в директорское кресло которого его кто-то «по слухам» прочил? Не является ли этот текст каким-то посторонним доказательством, что Кулаковский в научном отношении и эрудиции не уступает Успенскому и что вполне мог занять директорский пост в Константинополе, если бы к нему действительно с таким предложением обратились. Видимо, слух, с одной стороны, удивил Кулаковского (или, тайно надеясь, он сделал вид, что удивился), а с другой, — оскорбил ложностью: никто и не думал предлагать этого кресла. Может, это было сделано даже намеренно, чтобы каким-то образом обратить внимание начальства на кандидатуру киевского профессора. А, может, он сам пустил сплетню, чтобы и самому развлечься, и на других развлекающихся поглядеть?

Если свести воедино жалобы Успенского в беседе с Кулаковским на то, что некому из специалистов работать в Институте, слух в столичной газете о замене Фёдора Ивановича Юлианом Андреевичем и доклад Кулаковского «на тему Успенского» о друнге и друнгари, можно сделать вывод, что Кулаковский наверняка кому-то говорил о своём желании работать в РАИК. Но — кому? В секретарях Института были учёные со степенями не выше магистра, других должностей не было (судя по ответу Успенского на вопрос Николая II), и поскольку Кулаковский, как и Успенский, был на должности ординарного профессора и имел докторскую степень, он мог занять — по чину — только директорское кресло. К тому же, он на десять лет моложе Успенского, хотя Успенский был действительным статским советником, а Кулаковский только «вашим высокоородием». Звание ординарного академика Академии наук Успенский получил лишь год назад, в 1900-м, и, собственно говоря, весовая категория обоих учёных и по регалиям, и по научному вкладу имела практически одинаковый ценз. Сейчас бы казалось: как можно заменить «знаменитого» Успенского «малоизвестным» профессором, даром что тоже византинистом?

Неслучайно в начале осени Кулаковский обратился к свежему выпуску ИРАИК, к статье Успенского и, изучив её, предложил более обоснованные допущения, — да ещё и напечатал репортаж с заседания ИОНЛ в ведущей газете Юго-Западного края. Ему хотелось показать миру, что, не обращая внимания на августовской «директорский слух», его научные способности не уступают способностям текущего директора.

Кулаковский встречался с Успенским за три года до описываемых событий, в августе 1898-го, в царьградской усадьбе РАИК; трудился в неплохой библиотеке Института над надписями Никеи («Хочу немножко заняться имеющимися у Успенского надписями, хотя между ними лишь одна представляет исторический интерес», 15.08.1898, Флоринскому), и Институт ему понравился.

Конечно, позднее он посвятит несколько публикаций вопросу о происхождении фемного строя в Ромейской империи, и доклад о друнге и друнгари, как и следующий, «К вопросу о делении Византийской империи на фемы», стоит зачесть хронологически едва ли не первыми учёными обращениями Кула-

ковского к проблеме военной организации ромеев. Но некоторая задиристость, которой он пытается задеть Успенского, удивляет: неужели где-то в потаённых желаниях действительно видел себя в директорском кресле РАИК, и когда этого не произошло — переживает так, чтобы всем видно?

Как бы то ни было, 16.12.1901 Кулаковский выступает в ИОНЛ с докладом о фемном устройстве Византийской империи. В «Киевлянине» снова — краткое изложение. И Кулаковский вновь вступает в дискуссию именно с Успенским:

«Вопрос о византийских фемах разрабатывается давно в науке, но последняя в этом отношении дала нам только гипотезы. В последнее время изучение этого вопроса оживилось, и вышел ряд трудов, посвящённых разработке его. Константин Багрянородный, оставивший нам описание верного деления Византийской империи, говорит, что фема — греческое слово. Это вполне понятно, но это не объясняет вопроса. Наукой давно указано на двойственное значение фем: с одной стороны, это было административное деление империи, а с другой, — словом “фема” обозначалась военная часть. Академик Успенский утверждает, что первоначально слово фема обозначало известное административное деление. Докладчик рядом ссылок на источники, сопоставлений и соображений доказывал, что утверждение академика Успенского лишено оснований и что слово “фема” сначала обозначало военную часть и уже впоследствии приобрело значение административного гражданского деления. Когда и как это произошло, когда слились оба эти значения слова “фема”, когда в Византийской империи возникло территориальное деление армии, — все эти вопросы остаются в значительной степени тёмными.

По окончании доклада между присутствующими произошёл некоторый обмен мнениями. Между прочим, проф. В. З. Завитневич, соглашаясь с выводами докладчика, указал в подтверждение этих выводов на то общее соображение, что многие деления и термины раньше имеют чисто военное значение и потом уже приобретают административно-гражданское: например, наш “тысяцкий”, несомненно, раньше имел значение органа военной власти, “воевода” превратился в гражданского губернатора и т. д.».

Как следует из газетного изложения, Кулаковский в докладе только обратил внимание на недоразумение, содержащееся в работе Успенского, никак не выразившись положительно на этот предмет. Позднее он посвятит несколько статей вопросу о происхождении фемного строя у ромеев, и это сообщение



Евгений Викторович Тарле

следует считать хронологически первым обращением учёного к проблеме. Но удивляет лёгкая заносчивость, с которой Кулаковский пытается хоть в чём-то уязвить Успенского. Не служит ли и это делу прояснения курьёза с константинопольским директорством?

Вокруг магистерской защиты Тарле. К слову напомнить, 14.10.1901 (воскресенье) в зале торжественных собраний Университета состоялась защита магистерской диссертации будущего академика Евгения Тарле: «Любители общественного просвещения приглашаются почтить этот диспут своим присутствием. Лица, желающие возражать г. Тарле, обязаны заявить об этом до начала диспута декану историко-филологического факультета», — казённо обещал «Киевлянин» (1901, № 282, 12 окт.).

Официальными оппонентами по диссертации «Общественные воззрения Томаса Мора в связи с экономическим состоянием Англии его времени» (С.-Петербург, 1901) выступили Иван Лучицкий и Николай Дашкевич.

В августе 1900-го Кулаковский — Флоринскому:

«6 числа [1900-го] был я в Херсоне; о моём посещении задним числом узнал Тарле и написал мне подробное письмо о своём деле. По его словам выходит, что он невинен как младенец, но есть один тёмный пункт, и в своём ответе ему я на него указал. Если его дело так просто и нет на нём вины, то тем, конечно, приятнее. Он человек способный и жаль бы-

ло бы, если бы его карьера пропала, и вышел бы из него прячущийся из-за угла агитатор» (16.08.1900).

Речь вот о чём. В конце апреля 1900 года в Киеве началась стачка булочников и пекарей, по наущению киевского комитета РСДРП требовавших повышения зарплаты, сокращения рабочего дня и, конечно, «демократических свобод». Накануне этих событий из Калуги в Киев, чтобы встретиться с матерью, приехал Анатолий Луначарский и согласился прочесть в киевском Литературно-художественном обществе реферат на невинную вроде бы тему: «Ибсен как моралист». Но через несколько дней собрание перенесли на квартиру студента Андроникова на Фундуклеевской, 36, где собрались разные социал-демократы и зачем-то умный Тарле. В квартиру ворвались казаки с генералом Новицким во главе, обнаружили политически стрёмных персонажей и гектограф, всех арестовали и препроводили в Лукьяновскую тюрьму¹. В ходе обыска у арестованных по «Ибсеновскому делу» нашлись листовки и брошюры антиправительственного содержания, статья Ленина «Объяснение закона о штрафах», анонимная брошюра «Как совершить политическую революцию» и прочая макулатура. Тарле просидел полтора месяца под арестом, но полиция признала его лишь политически неблагонадёжным и выслала под гласный надзор

¹ Справедливости ради стоит сказать, что условия содержания в тогдашней «Санто Лукьяно» были не в пример лучше позднейших сталинских. Луначарский в статье об Урицком писал, что когда его, Тарле и Водовозова отвели под казацким конвоем в тюрьму, он был удивлён: «двери камер не запирались никогда — прогулки совершались общие и во время прогулок попеременно занимались спортом, то слушали лекции по научному социализму. По ночам все садились к окнам, и начинались пение и декламация. В тюрьме имела коммуна, так что и казённые пайки, и всё присылаемое семьями поступало в общий котёл. Закупки на базаре за общий счёт и руководство кухней, с целым персоналом уголовных, принадлежало той же коммуне политических арестованных. Уголовные относились к коммуне с обожанием, так как она ультимативно вывела из тюрьмы битё и даже ругательства». Ни дать ни взять курорт. А ещё в царских тюрьмах давали молоко; Ленин делал из хлебных мякишей (то есть, хлеб был свежий) чернильницы, наливал в них молоко, писал между строк беспрекословно передаваемых ему книг большевизские глупости, а когда надзиратель надзирал в глазок, сжирал эти мякиши, тем самым блюдя упитанность фигуры. Сталин, будучи уголовником, учёл комфортабельность царских тюрем и, ставши диктатором, сделал пребывание в них невыносимым; наблюдательная сволочь.

на хутор тестя близ станции Затишье Херсонской губернии. Позднее «ссылка» была заменена разрешением жительства в Варшаве.

Генерал Василий Новицкий доносил:

«Тарле представляет из себя человека совершенно распропагандированного и убеждённого социал-демократа, особенно опасного потому, что его умственный багаж очень велик и он пользуется большим влиянием благодаря своим педагогическим занятиям и литературным способностям, а также участию в журналах и газетах либерального направления».

Василий Дементьевич, конечно, несколько сгустил краски насчёт революционности Евгения Викторовича, однако после такой аттестации департамент полиции завёл на Тарле специальное досье и потребовал от Министерства просвещения лишить его права преподавать, что и было сделано. Перед Тарле, которому совет историко-филологического факультета Университета св. Владимира 15.02.1900 присвоил звание приват-доцента, закрылись двери и университетов, и гимназий.

После разных мытарств Тарле обещали место приват-доцента в целом Петербургском университете, но для этого нужно было озаботиться учёной степенью магистра всеобщей истории. Заручившись согласием декана Флоринского и профессора Ивана Лучицкого (учитель Тарле), Тарле спешно заканчивал диссертацию. После многих просьб киевский генерал-губернатор Михаил Иванович Драгомиров разрешил Тарле приезд в Киев (из Варшавы) на два дня для защиты, которая и состоялась 14.10.1901.

Через неделю после защиты Тарле писал медиевисту Дмитрию Петрушевскому (1863–1942), тоже будущему советскому академику:

«Пользуясь тем обстоятельством, что мне разрешён был приезд в Киев лишь на 48 часов, одна группа профессоров Киевского университета желала во что бы то ни стало провалить меня на магистерском диспуте. Эти подлые интриги возмутили не только студентов, но и вполне посторонних людей. После диспута группа киевских социал-демократов во главе с редактором их газеты направилась к [В. В.] Водовозову и выразила негодование. А я ни с кем из них даже не знаком и никакого отношения к партии не имею. О возбуждении можете судить сами, что около 60 студентов стали у кафедры с явно выраженным намерением крикнуть профессорам “подлецы”, если бы они меня провалили» (20.10.1901).



*Григорий Григорьевич Павлуцкий —
делегат XI Археологического съезда, 1899*

Отрадно, что среди «группы профессоров» Кулаковского не было. Флоринского тоже. Дело обошлось, степень Тарле получил и вернулся в Петербург, в меблированные комнаты Пименова продолжить письменные сношения с Анной Григорьевной Достоевской.

Статский генерал. 1-го января 1902 года высочайшим приказом 47-летний Кулаковский производится в чин действительного статского советника, «гражданского генерала» (IV класс по «Табели о рангах...»), что распространяло на его детей привилегии потомственного дворянства.

Чин соответствовал должности директора департамента, губернатора и градоначальника. Титуловался отныне Кулаковский «вашим превосходительством». Помните из «Генриха VIII»: «...Чины и ранги, / Как глины ком бесформенный пред ним, / Он придаёт ему любую форму» (II, 2). Его превосходительство действительный статский советник доктор римской словесности ординарный профессор Кулаковский прекрасно знал, что делать с этими «рыгалиями»: не обращать

внимания, принимать как должное — внешнюю форму сходства при внутреннем отличии от других.

Ученик Павлуцкий. Летом 1902 года ученик Кулаковско-го Григорий Павлуцкий (1861–1924) подаёт прошение о переводе его на должность ординарного профессора по кафедре истории искусств, на что Кулаковский, узнав об этом, реагирует в письме Флоринскому:

«Что касается твоих соображений о “справедливости” в отношении Павлуцкого, то в этом отношении я не вполне с тобой согласен: ему ведь всё равно в смысле материальном, а на ординатуру мы бы, быть может, могли и [В. М.] Истрина заполучить. Здесь при наличии вакантных ординатур держат экстраор[динарными] двух докторов, [С. П.] Шестакова (грек) и [Д. В.] Айналова. Оба люди в науке почтенные, особенно первый (хотя он и не бойкий, и не пользуется расположением [Ф. Г.] Мищенко)» (18.05.1902, из Казани).

Павлуцкий, коренной киевлянин, был владельцем нескольких домов («целый квартал домов на Подоле, леса около Чернобыля»), которые сдавал внаём. Впрочем, адресные книги «Весь Киев» не свидетельствуют о недвижимой зажиточности Павлуцкого: сам он жил довольно скромно, занимая пол-этажа в особнячке на Никольско-Ботанической, 11-А.

Наверняка Кулаковский немного завидовал Павлуцкому¹, который, по его мнению, «мало стоил как учёный», зато имел собственный дом да ещё и доходы с других усадеб. Кулаковский до конца дней не имел *собственного* жилья (только с 1914 года — дачу в Красной Поляне на Кавказе, поначалу принадлежавшую старшему брату).

На память в связи с этим приходит сюжет из другой биографии — виднейшего российского зодчего эпохи классицизма Карла Ивановича Росси:

«Шестьдесят миллионов рублей — невиданная по тому времени сумма прошла через его руки, а он всегда нуждался, вечно был в долгах и умер в бедности. Большинство архитекторов имели собственные дома,

¹ См.: *Андрій Пучков*. Мистецтвознавець Григорій Павлуцький, перший український. Нью-Йорк, 2018; *Андрій Пучков*. Верхів'я статечних кипарисів: Григорій Павлуцький як перший власне український мистецтвознавець-компаративіст, або Осанна здоровому глузду // *Андрій Пучков*. Між навігаційними щоглами: Профілі українських мистецтвознавців (архітектура і візуальне мистецтво). Київ, 2018. С. 93–196.

а некоторые — даже на территории ансамблей, построенных Росси. У него же никогда не было своего дома. Грандиозные постройки, которые поручались Росси, были предметом зависти его конкурентов, вокруг него при дворе постоянно плелись интриги» (Марианна Тарановская).

Наталья Полонская-Василенко вспоминала о Павлуцком, что он имел вкус к искусству, но его лекции давали немного.

«Они были очень популярными, главным образом, ценным было то, что он приносил с собой кипу рисунков <...> Павлуцкий занял неуверенную позицию: с одной стороны, он был членом Украинского научного общества, с другой — боялся ответственности за “мазепинство” и избегал употреблять украинский язык, даже заявлял, что его не признаёт.

Революция 1917 года захватила Павлуцкого окончательно “самоопределившимся” как украинца, и уже до смерти он не менял ориентации. В 1920 году был некоторое время проректором Университета. В академике Украинской академии он не попал, вместо него был избран Алексей Петрович Новицкий, который перед тем был библиотекарем школы Строганова в Москве. Это был для Павлуцкого большой удар. Последние годы он очень бедствовал: я иногда к нему навещалась и помню тот страшный хаос, который представляли комнаты; на полу были разбросаны рисунки-памятники искусства, фотографии, книги по истории искусства. На них лежат, грызутся прекрасные таксы шоколадного цвета; сам Павлуцкий в котиковой шапке, в шубе с потёртым воротником, руки в рукавицах: в комнатах страшный холод, как у всех нас было в 1921–1922 годах. В соседней комнате детский крик: это кричит ребёнок падчерицы Павлуцкого и комиссара, который реквизирует комнату у Павлуцких».

Но до этой картины пока далеко.

Лето 1902 года и новые сплетни. Летние месяцы 1902 года семейство Кулаковских проводит в деревне Рамонье (близ Новохопёрска) Воронежской губернии. В письмах этого времени можно прочитать о чём угодно:

«Дантист, вставлявший мне зубы [в Вильне], продержал меня до 14-го и только в тот день снабдил меня изящно сработанною передней челюстью или передней её частью — точнее. Теперь уж я привык и не замечаю постороннего тела во рту, а первые дни, конечно, было неудобно» (23.06.1902).

А вот сообщение другого рода:

«С [18]84 года я бывал на всех [археологических] съездах. Насчёт нынешнего я и сам в сомнении в виду отсутствия готовой работы, которой бы стоило поделиться. Но ведь многие едут и без рефератов, можно бы и мне раз съездить налегке, тем более, что отсюда Харьков на прямом пу-

ти. Часто думаю, что мне необходимо было переменить квартиру, чтобы была особая комната для детей, где бы им учиться и чувствовать себя на своём месте и в своём углу, но так как я не справляюсь с уплатой за эту квартиру, то не могу рисковать переменить её на большую и более дорогую» (Флоринскому, 25.06.1902).

Сохранилось письмо ректора Фортинского попечителю Киевского учебного округа Вельяминову-Зернову:

«Историко-филологический факультет Университета св. Владимира ходатайствует о командировании в город Харьков на предстоящий в августе сего 1902 года XII Археологический съезд ординарных профессоров: В. Б. Антоновича, В. С. Иконникова, Ю. А. Кулаковского и э. о. проф. Г. Г. Павлуцкого, а юридический факультет — о командировании и. д. э. о. проф. М. Н. Ясинского» (14.06.1902).

На харьковском съезде в августе 1902-го Кулаковский всё-таки побывал, прочтя в отделении классических, византийских, восточных и западноевропейских древностей доклад «Византийский лагерь X века», но квартиру до конца дней так и не переменял — жил всё там же, на Пушкинской, в доме Михельсона.

Относительно статьи о греческих городах на Черноморском побережье для «Книги для чтения по русской истории», за составление и издание которой активно взялся Митрофан Викторович Довнар-Запольский («самый умный человек в Киеве» — полустёршаяся карандашная надпись на титульном листе экземпляра этой книги в «Вернадке»), Кулаковский пишет Флоринскому:

«Когда он намерен начать печатание своего сборника статей по русской истории? Я ему не писал сам отсюда, так как не имел уверенности, что он в городе, да ещё и потому, что намерения своего не исполнил и статья не готова. Пожалуй что — не будет ущерба от её отсутствия в предполагаемом сборнике. Если он уже начал печатать, то мне и нет уже места» (21.07.1902, Рамонь).

Место было оставлено, и в книге, первая часть которой вышла в свет в 1904-м в типографии Ивана Сытина, статья Кулаковского была помещена первой.

О деревенском бытовании — Иконникову:

«Я с семьёй (и немкой) живу с 22 июня в глуши Воронежской губернии у моего старого товарища и приятеля, здешнего коренного помещика и земского начальника [Владимира Адриановича Тржасковского]. Я жил в деревне в детстве и с наслаждением переживаю чувство селянина.



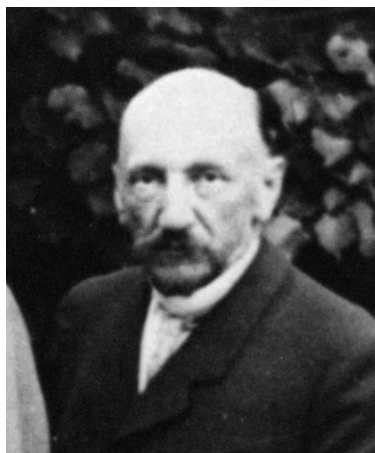
*Николай Павлович Дашкевич,
фото начала 1880-х*

Дети — в полном восторге и благополучии. Довольна и Люба, которая никогда не жила в деревне. Есть тут журналы, которые и перечитываю, и совсем отстал от всякой учёной работы, хотя ничто бы здесь не мешало и заняться чем-нибудь серьёзным» (13.07.1902, Рамонье).

Среди действительно научного в 1902-м Кулаковский ничего не публикует. Вероятно, осенью он всё же подготовил статью «Византийский лагерь конца X века», которая в 1903-м будет напечатана в «Византийском временнике».

Впереди Кулаковского ждали серьёзные, но, как представляется, второсортные, не достойные учёного его уровня, заботы, связанные с трудами по выработке нового университетского устава. Других старателей тогда в империи было: раз-два и обчёлся.

Фёдор Фортинский ректорствовал с 1890 года, а тяжело заболел весной 1902-го: не проходят служебные тревожения и разбитые студентами окна просто так. Антонович в письме супруге Екатерине Мельник писал: «Фортинского я не видел, говорят, что он болен и подал в отставку». И далее: «На его ме-



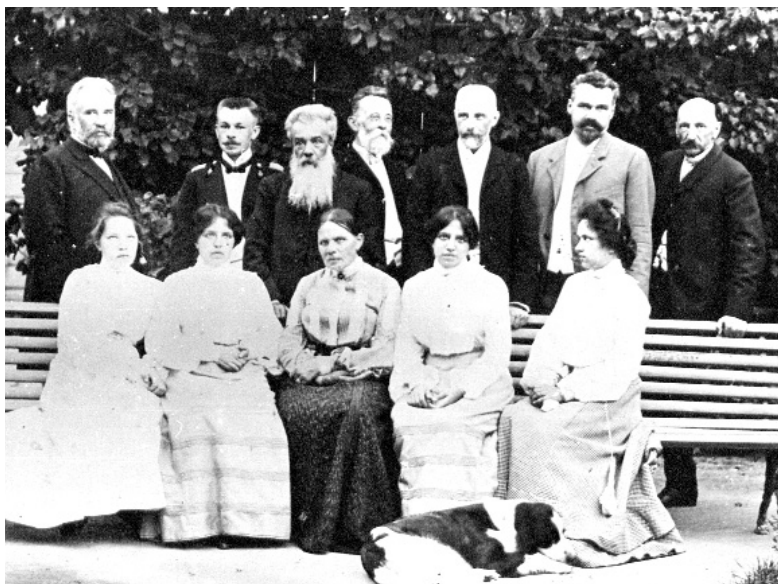
Юлиан Андреевич Кулаковский

сто прочат Кулаковского» (16.04.1902). Через две недели, в конце апреля Дашкевич сообщал Флоринскому в столицу почти о том же:

«У нас здесь определённых новостей покамест нет. В лектории ежедневно называют новых кандидатов на должность ректора (в том числе и Вас) и попечителя [Киевского учебного округа] (в особенности настойчиво повторяют предположение о Юлиане Андреевиче), а также и товарища министра (произносят с улыбкой фамилию [И. А.] Сикорского). Предстоящие назначения на первые два поста выяснятся, вероятно, через несколько дней с возвращением из Петербурга [помощника попечителя П. П.] Извольского, который несомненно вызван для решения вопроса о ректоре и, может быть, также о попечителе».

Весть об отставке Фортинского оказалась преждевременной: министр не смог принять её у больного заслуженного человека. Фёдор Яковлевич оставался/числился на посту до самой смерти.

Попечителем Киевского учебного округа вместо академика-востоковеда Вельяминова-Зернова назначен ботаник-морфолог, директор Института сельского хозяйства и лесничества в Новой Александрии действительный статский советник Владимир Беляев (1855–1911), ректором Университета св. Владимира — профессор зоологии Николай Бобрецкий (1843–1907), который исправлял эту должность до 1905 года. Беляев, в 1905-м назначенный попечителем Варшавского учебного ок-



*Профессора Университета в гостях у ректора Бобрецкого в Святошине.
Стоят справа налево: Ю. А. Кулаковский, С. Н. Реформатский, Т. Д. Флоринский,
П. И. Морозов, Н. В. Бобрецкий и др. Фото: лето 1905 г.*

руга, уступил кресло профессору физики, тайному советнику Петру Зилову (1850–1921), а место старенького Бобрецкого занял профессор политэкономии Университета Николай Мартинович Цытович (1861–1919).

Неизвестно, желал ли Кулаковский возглавить Университет или же сделаться попечителем учебного округа в столь бурное время, как год назад — занять маленький директорский кабинет в Царьграде, — удивительным представляется иное: в третий раз в течение календарного года его имя фигурирует среди деятелей, способных *возглавить* то или иное заведение.

Ответ на вопрос, почему имя Кулаковского попадает в слухи, сплетни и домыслы, имеет лишь гипотетический характер.

На мой взгляд, следует усматривать основы такого положения вещей, в первую голову, в социально-политической позиции Кулаковского и не в последнюю голову — в его непростом характере: ведь именно это нужно начальнику для организации любого дела. Нет, надеясь на должности, «локтями»

он не работал: труд и время поднимали его ступенями служебной лестницы от чина губернского секретаря в статские генералы. Ещё и бессребреник.

Могло бы казаться, что стремление улучшить финансовое состояние семьи, снять просторную квартиру руководило карьерными соображениями Кулаковского, если бы эти рассуждения подпирала его планы. Насколько известно, доход Кулаковского составляли деньги, которые он получал как ординарный профессор Университета и профессор Высших женских курсов, и гонорары за лекции, публикации в газетной периодике и научных журналах. То, что его имя муссировалось в разных служебных контекстах, возвышающихся над должностью ординарного профессора (и секретаря историко-филологического факультета), свидетельствует, похоже, не о попытке самого Кулаковского подняться по должности, а о его репутации среди коллег и в глазах министерского начальства, которое в смутные времена хотело видеть на ответственных постах человека правых воззрений, который стремится к *объективной толерантности*, и притом с жёсткой рукой. Это предположение подтверждается также, что должности выше заслуженного ординарного профессора Кулаковский до конца жизни не занимал. Уверен: не желал занимать.

Скорее всего, он радел оставаться самим собой: обычным профессором, просто уважаемым человеком, который свободное от лекций и семейных хлопот время отдаёт научным занятиям. Он знал, что в жизни главное. Он соглашался участвовать в приёмных (испытательных) комиссиях, в мероприятиях, направленных на улучшение организации образования, и, несомненно, был бы ответственным (и жёстким) управленцем. Но ему было жаль времени и внимания, которое бы эти должности требовали. Если бы он занимался этими глупостями, *о чём бы в нём сейчас писать?*

Наверное, он мудро помнил о ломоносовском принципе сохранения вещества и движения: Михаил Васильевич в знаменитом письме Эйлеру 1748 года (про задачу Берлинской академии о природе селитры) определил, что

«все встречающиеся в природе изменения происходят так, что если к чему нечто прибавилось, то это отнимается от чего-то другого <...> сколько часов я затрачиваю на сон, столько же отнимаю от бодрствования».

Усилия, которых требовали бы более ответственные должности, нежели профессорская, не были в глазах Кулаковского достойными его как учёного; попечительство, ректорство с директорством — не про него.

Трудоголик, он даже на отдыхе мучился:

«Сам я по-прежнему не умею и не могу засадить себя за писание, и даже совестно перед собой за своё столь продолжительное безделье».

Какой из него начальник? Подчинённые стонали бы под его рукой, ведь исключительная требовательность к себе («Ни одна строка не вышла из-под его пера без тщательной отделки») бумерангом была по людям менее способным и менее трудолюбивым, чем он. И ему, и людям не было б жизни, но научное дело Кулаковского страдало, а оттого — и наука. Он сознавал предназначение, свою роль в истории науки видел без преувеличения, потому стоял нерушимо в обороне права заниматься тем, что по душе — по жизни.

**АДМИНИСТРАТИВНОЕ СОЧИНИТЕЛЬСТВО
В КОМИССИИ ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,
осень—зима 1902 года**

**Отступление седьмое, казённое и скучное,
но необходимое**

Вместе с князем Евг. Трубецким 47-летний Кулаковский был назначен членом Высочайше утверждённой Комиссии по преобразованию высших учебных заведений ведомства Министерства народного просвещения. Каждый из девяти российских университетов был представлен двумя профессорами.

Думается, поводом назначения Кулаковского в состав этой комиссии послужили его статьи в пяти номерах «Киевлянина» за 1897 год о гонораре в русских университетах (перевёрстаные в небольшого формата книжечку полосы «Киевлянина» общим объёмом в полтора печатных листа).

С октября по декабрь 1902-го Кулаковский — в столице. По приезде остановился в меблированных комнатах «Лувр» (Невский, 80), а на следующий день перебрался к брату на Фонтанку, 53, что недалеко от Чернышёва моста.

За относительно непродолжительный период, с 30 сентября по 17 декабря 1902 года, в здании Министерства, построенном по проекту Карла Ивановича Росси в 1828–1833 годах, состоялось сорок одно заседание Комиссии.

Не стану перечислять содержание заседаний: это сделано в исследованиях томича Мих. Грибовского (р. 1980) «Труды Высочайше утверждённой Комиссии по преобразованию высших учебных заведений» (1903 г.) как источник по истории университетского профессорско-преподавательского корпуса России начала XX века» (2011) и «Участие университетской профессуры в работе Высочайше утверждённой комиссии по преобразованию высших учебных заведений (1902 г.)» (2012).

Кулаковский активен: сочинил четыре больших принципиальных доклада — «По вопросу об ординарных и экстраординарных профессорах», «Доклад об учёных степенях», «О плате за учение в университете», «О подготовке преподавателей средних школ» и подал особое мнение по поводу организации работы правления университетов. Как происходили заседания, видно из письма Латышева Флоринскому от 21.10.1902:

«Ю. А. Кулаковский по приезду сюда передал мне несколько Ваших последних работ, а затем, всего лишь несколько дней тому назад, и Ваш портрет (именно этот портрет сопровождал сборник статей в честь Флоринского “Изборник Киевский” 1904 года. — А. П.), извиняясь за задержку последнего тем, что не посмотрел на адрес и думал, что портрет предназначен В. И. Лааманскому. Пользуюсь первую свободную минуту (которых теперь очень редко выпадает на мою долю), чтобы сердечно поблагодарить Вас за добрую память и особенно за карточку, которая послужит мне живым напоминанием о прекрасных майских днях, которые мне неоднократно доводилось проводить в милом Киеве в постоянном общении с Вами. Мы буквально каждый вечер, не исключая и праздников, с достойным лучшей участи усердием упражняемся в словоизвержении в Университетской комиссии или в её многочисленных подразделениях, — подкомиссиях, секциях, подсекциях и т. п., — но дело подвигается вперёд довольно туго: до сих пор успели разобраться всего в 2–3 вопросах: о служебных правах, об экзаменах (государственные с треском провалились) <...> Об усердии может наглядно свидетельствовать тот факт, что в прошлый четверг мы сидели с 8 1/2 вечера до 2 1/2 ночи!.. Когда и как всё это кончится, ведаёт один Аллах, — да впрочем, и в этом позволительно сомневаться. Правда, Зенгер выразил желание покончить к половине



*С.-Петербург. Министерство народного просвещения на площади Ломоносова,
1828–1833, архитектор К. И. Росси*

ноября, но если дело будет продолжаться так, как шло до сих пор, то это абсолютно невозможно».

На первом заседании 30.09.1902 во вступительном слове Григорий Зенгер как председатель подчеркнул, что

«Министерство народного просвещения не вносит на рассмотрение каких-либо определённых проектов новых уставов и новых штатов для отдельных категорий высших учебных заведений, в видах последовательного обсуждения каждого § того или иного проекта, а обращается в Комиссию с просьбой высказаться по тем основным вопросам, та или другая постановка которых, естественно, и должна определить редакцию подлежащих затем проектированию уставов».

Эта была существенная упреждающая реплика, поскольку, как отмечает Мих. Грибовский, судя даже по названиям ряда университетских «Докладов», работа Комиссии воспринималась университетской общественностью как мероприятие по пересмотру Устава. На втором заседании (2.10.1902) были созданы подкомиссии для обсуждения групп вопросов, объединённых по тематическому принципу. В первой должны были обсуждаться вопросы, касавшиеся управления университетом, во второй — вопросы личного состава и положения преподава-

телей, в третьей — вопросы учебного процесса, в четвёртой — вопросы, касавшиеся студенческого быта. Кулаковский участвовал в работе всех подкомиссий, кроме студенческой.

Первым докладом, который он сочинил, был доклад «по вопросу о подготовке преподавателей средней школы», то есть гимназических учителей.

В «Трудах» есть протоколы соответствующих заседаний.

«Секция, образованная из представителей историко-филологического и физико-математического факультетов под председательством академика П. В. Никитина, для приготовления ответа на поставленный его превосходительством г. управляющим Министерством вопрос относительно подготовки преподавателей средней школы, честь имеет представить при сем докладную записку, составленную по поручению Комиссии профессором Кулаковским, и два протокола о заседаниях её 30 октября и 3 ноября».

Докладная записка, датированная Кулаковским 25.10.1902, — почти печатный лист связного текста с отчётливо нарисованной картиной состояния проблемы подготовки учителей «средне-учебных» заведений. В «Трудах» Комиссии, где этот текст напечатан, его оплетают два документа: резюме обсуждения и собственно протокол заседания от 30.10.1902.

«Проф. Кулаковский представил в означенной записке общий обзор разработки вопроса об организации дела подготовки преподавателей средней школы, как она началась еще с 1891 года в учёном комитете, продолжалась в представлениях попечителей учебных округов и докладах попечительских советов, в трудах Высочайше учреждённой Комиссии 1900 года, проектах покойного К. П. Яновского, попечителя Казанского (ныне Харьковского) округа М. М. Алексеенко, и комиссии, организованной Министерством в течение прошлого учебного года под председательством проф. Киричникова. Необходимость дать этому делу определённую организацию была давно уже признана Министерством, а покойный министр Н. П. Боголепов в первый год своего управления Министерством (циркуляр 18 ноября 1898 года) заявил о своей твёрдой решимости в ближайшем будущем избавить нашу среднюю школу от того положения, при котором преподаватели делают свои первые опыты на своих учениках к явному ущербу для них и во вред самой школе.

Последовательная теоретическая разработка вопроса дала проекты педагогических учреждений трёх типов: 1) педагогический институт при гимназии с пансионом, 2) педагогические семинарии при учебных ок-



Киев. Институтская — угол Крестьянская, фото 1890-х

ругах и 3) временные семинарии при той или иной средней школе по усмотрению попечителя округа. Во всех проектах организации педагогической подготовки преподавателей к университету предъясняется требование прийти на помощь в этом важном деле.

В подготовке преподавателя средней школы различаются три стороны: научная, теоретическая и практическая. Относительно объёма содержания второй, то есть теоретической, нет единства мнений, и в некоторых проектах она рисуется в очень широком виде. Г. управляющий Министерством в своей речи при открытии Высочайше учреждённой Комиссии по преобразованию высших учебных заведений, возлагая на неё поручение высказаться по этому вопросу, отметил наличие воззрения, по которому университет всецело может взять на себя дело подготовки преподавателей, если будет открыта кафедра педагогики и на соответственных факультетах будут учреждены семинарские занятия педагогического характера.

Заслушав докладную записку профессора Кулаковского в заседании 30 октября, образованная под председательством академика П. В. Никитина секция приступила к всестороннему обсуждению вопроса. Члены собрания были вполне единодушны в том, что научная подготовка преподавателей средней школы должна совершаться в университете. Первой гарантией пригодности данного лица быть преподавателем в средней школе является основательность его научного образования.



Пётр Васильевич Никитин

Подъём уровня научного образования, достигаемого в университете, является залогом успешности дела преподавания в средней школе. Таковы были мысли членов собрания, которое и приняло единогласно такое положение: *«Университет имеет все средства к тому, чтобы давать общую научную подготовку в тех размерах, в которых она необходима для будущего учителя средней школы»* ».

Но помимо подготовки сугубо научной в интересах школы важно, чтобы будущий преподаватель мог получить также подготовку теоретическую и техническую. С таким же единодушием, как по первому вопросу, собрание отнеслось также и ко второму: об организации теоретической подготовки, включая её в число обязанностей, которые университет может взять на себя.

Теоретическая подготовка преподавателей требует знакомства с некоторыми дисциплинами, которые могут быть преподаваемы в университете. В проектах организации педагогических институтов и семинариев указывается целый ряд относящихся сюда дисциплин. Войдя в подробное обсуждение частных дел этого дела, собрание единогласно приняло общее положение:

«Университет может взять на себя также и теоретически-педагогическую подготовку, которая должна ввести молодого человека, специализировавшегося в известной области наук, в сферу предстоящей ему учебной деятельности. Цикл дисциплин, по которым может быть организовано преподавание в университете в целях достижения теоретической

подготовки преподавателей средней школы, выяснялся для членов собрания в таких чертах: 1) история педагогических учений, 2) педагогика (изложение современных педагогических учений), 3) дидактика, 4) методика предметов по специальностям. В обмене мыслей по существу вопроса о четвёртой дисциплине вышло наружу различие факультетов.

<...> Включением названных четырёх дисциплин в схему университетского преподавания можно было бы считать исполненной принимаемую на себя университетом обязанность содействовать интересам средней школы в вопросе о теоретической подготовке преподавателей. Что касается до включения в цикл этих предметов школьной гигиены, то собрание высказалось против этого; точно так же решено было не включать в этот цикл логику и психологию как предметы, которые имеют своё место в факультетском преподавании.

Перейдя к вопросу о времени занятий студента педагогическими дисциплинами, собрание единогласно приняло такую формулировку предложения: *“К занятиям педагогическими предметами студент может приступить по желанию или в один из двух последних годов пребывания в университете, или по окончании курса”*. Это последнее условие стоит в связи с решением вопроса относительно профессионально-технической подготовки преподавателей. Суждения членов собрания оказались здесь в разногласии.

Окончательную резолюцию председатель предложил в такой форме: *“что касается профессионально-технической подготовки, которая, по мнению большинства членов собрания, также имеет значение для будущего учителя, то она во время прохождения университетского курса невозможна и требует особой организации”*. Некоторые члены собрания высказывались в том смысле, что такая подготовка является совершенно излишней <...> Но большинство членов собрания признавало весьма существенное значение практической подготовки преподавателей в формах, намечаемых во всех проектах педагогического института и семинарий, и, принимая в соображение то обстоятельство, что во всех проектах предположено установление стипендий для кандидатов-педагогов от 600 и до 900 рублей в год, с зачислением этого года в педагогическую службу, полагало, что установление промежутка между окончанием университетского учения и началом педагогической службы будет встречено оканчивающими курс молодыми людьми не как возлагаемая на них тягость, а, напротив, с полным сочувствием. В то же время явится полная возможность предъявлять кандидатам-педагогам требование самостоятельной работы как в сфере их научных, так и педагогических интересов. Само со-

бой разумеется, что двери университета должны быть для них открыты. Вопросы об организации профессионально-технической подготовки в частностях секция считала себя в праве не касаться.

Председатель П. Никитин

За секретаря *проф. Ю. Кулаковский*.

За этим докладом последовало «особое мнение» по вопросу «о круге ведомства правления» университетов, датированное 18.11.1902. Бумагу письменно подержал Деревницкий, расписавшись за подписью Кулаковского с припиской: «*К мнению проф. Ю. А. Кулаковского вполне присоединяюсь*». Но сейчас вникать в её содержание неинтересно.

25-го ноября Кулаковский представил доклад об учёных степенях, сочинив его по мотивам раздела в своей киевской книжечке «Гонорар в русских университетах» 1897 года.

Об учёных степенях Комиссия заседала трижды. Обсуждались процедура защиты и разряды степеней. Совет Варшавского университета высказался, чтобы степень была одна, докторская, которая и давала бы право на профессорское звание. Но большинством членов Комиссии это предложение было отвергнуто. Выступающие в дебатах говорили о недопустимости понижения требований к аттестации преподавательского корпуса, высказывали опасение, что установление одной степени ударит по российской университетской науке (а другой, не университетской, — и не было).

Профессор Демидовского юридического лица, будущий член Государственной думы доктор полицейского права и драматург Илья Яковлевич Гурлянд говорил в прениях:

«Нельзя сомневаться в том, что установление учёных степеней вовсе не является необходимым условием для выработки учёного. Но в настоящее время <...> сохранение двух учёных степеней как некоторого стимула к научной работе является вполне целесообразным».

Гурлянда поддержал доктор государственного права Владимир Георгиевич Щеглов:

«в России при скудности научных сил и малочисленности кандидатов в профессора, учёные степени занимают важное место в числе условий для замещения кафедр в университетах, <...> учёная степень представляет собой высший образовательный ценз».

Наряду с новаторами (только доктор) и традиционалистами (магистр и доктор) были ещё и архаисты, желавшие возвра-

тить степень кандидата. Они выдвигали схожие с «традиционалистами» аргументы, которые сводились к тому, что диссертации необходимы для тех, кто «хочет и может заниматься в университете преподаванием и наукой».

Антон Будилович, представлявший в Комиссии Министерство просвещения, обосновывая свою позицию, обратился к европейскому опыту наиболее детально. Он отметил, что три степени (*baccalaureus*, *magister* или *licentiatus*, *doctor*) зародились еще в европейских средневековых университетах. Они сохранялись на Западе до конца XVIII — начала XIX века, когда «были перенесены в наш университетский устав 1804 г. под названием: 1) кандидат <...>, 2) магистр и 3) доктор». Потом число степеней в Европе стало сокращаться (Германия).

«Ныне средневековые формы этого института всего лучше сохранились в Англии. Во Франции тоже сохранились названия трёх старых степеней: *bachelier*, *licencié*, *docteur*; но первое чаще употребляется в значении лица, окончившего курс средней школы и сдавшего в университет приёмный экзамен; второе соответствует старинным *licentiatus* и *magister*, а третье — старинному *doctor*».

При этом Будилович не намеревался связывать число учёных степеней с качеством результатов учёных изысканий в той или иной системе.

«Если бы число учёных степеней было особенно тесно связано с постановкою университетского преподавания и научной производительности, то должно было бы, следовательно, ожидать, что таковая всего сильнее в Англии, затем во Франции и Италии, а всего ниже в Германии. <...> Между тем, всем известно, что это — не так. В частности же никто не станет отрицать, что научная производительность университетов немецких и культурное их влияние не только не уступают университетам английским, французским, итальянским, но, пожалуй, и превосходит последние».

В результате Будилович предлагал вносить изменения в систему присуждения степеней и званий, не столько ориентируясь на европейский опыт, который и так лёг в основу предыдущих уставов, сколько исходя из потребностей.

Проблема соотносённости учёных степеней с университетскими должностями поднималась во время заседаний не раз. С одной стороны, эта жёсткая связанность с остепенённостью была барьером на пути замещения освободившихся кафедр и порождала кадровый голод, а, с другой, эту традицию участ-

ники дискуссии оценивали как ещё одну особенность научной культуры.

«Нигде на Западе учёная степень не имеет того практического значения, которое она имеет у нас. Право на получение профессорской кафедры там отнюдь не стоит в зависимости от обладания или необладания определённой учёной степенью, — по крайней мере стоит совсем не в той зависимости от него, как в России», —

говорил Деревицкий, считавший опасным устранение степени магистра, как и облегчение её получения, поскольку она становилась «лишней гарантией» в вопросе о замещении кафедры.

Голосование по вопросам о количестве степеней и, соответственно, диссертаций показывает, что Комиссия не пришла к единодушию. Большинство членов выступило за две степени и допуск к приобретению первой из них сразу после окончания вуза. По вопросу о том, сколько должно быть подготовлено соискателями диссертаций — одна или две, голоса разделились поровну. Вопрос как повесили, так и повис.

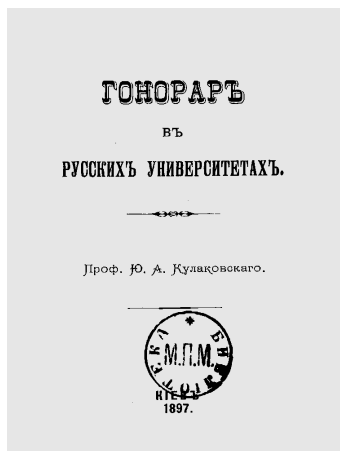
Два больших доклада сочинил Кулаковский в конце ноября — начале декабря 1902-го: «Доклад о плате за учение в университете» (заслушан в заседании 7 декабря) и «Доклад по вопросу об ординарных и экстраординарных профессорах» (11 декабря). Оба имеют пометку «на правах рукописи».

Голос старого профессора. За год до учреждения столичной Комиссии в Киеве вышла брошюра заслуженного профессора Университета св. Владимира, доктора государственного права Александра Васильевича Романович-Славатинского (1832–1910) «Голос старого профессора по поводу университетских вопросов» (Киев, 1901).

Любопытная сама по себе, полемическому стилю и природе поднимаемых вопросов («Коронный или выборный ректор?», «Инспекция или проректура?», «Подчинение непосредственно министру или и попечителю?», особенно «Отношение профессоров к студентам» итд), книжка обращает внимание подглавкой, посвящённой вопросу о гонораре как одной из обратных сторон платы студентов за право учения.

«Советам университетов было поручено высказаться о гонораре. Совет университета св. Владимира выработал подробную мотивированную записку, в которой доказывалась вся непригодность гонорарной си-

*Титульный лист сборника статей
Кулаковского
«Гонорар в русских университетах», 1897*



стемы. Подобные же отрицательные мнения были высказаны и другими университетами: общим лозунгом было, отменив гонорар, заменить его увеличением жалованья, которое, вследствие повышения цен, сделалось совсем мизерным.

Работы советов остались без последствий: их записки о гонораре канули в канцелярскую Лету. Гонорар в самом деле заключает в себе нечто лавочное, меркантильное, несвойственное ни русским нравам, ни традиционным отношениям русских студентов к своим профессорам. Притом он ввёл систему вознаграждения, крайне случайного, неравномерного и несправедливого. Размеры его вовсе не определялись талантом профессора и достоинством его лекций. Размеры гонорара, можно сказать, назначались департаментом, так как зависели от числа часов, определяемых планом преподавания. Особенно обделены были профессора историко-филологического факультета, получавшие рубли в то время, когда их товарищи других факультетов получали сотни и тысячи рублей. И об этом нельзя было не сожалеть тем более, что дело касалось таких наук, как история, философия, литература — наук, которые в России имеют особенно важное значение, вследствие отсутствия среди общества правильных литературных, философских и исторических понятий. Эти науки всегда должны бы составлять цвет и красоту университетов и быть предметом не менее заботливого внимания правительства, как и науки технические и прикладные. А между тем профессора их почти что сидели без гонорара, в то время как золотой дождь обсыпал профессоров, например римского права. Случалось, что аудитории последних, получав-

ших тысячи гонорара, имели только по несколько слушателей, тогда как в аудитории соседней профессор-филолог имел сотни слушателей, почти не получая гонорара.

Может ли такая система вознаграждения держаться дальше, не вредя процветанию университета, не омрачая отношений студентов к профессорам? Очевидно, нет. Пора и давно пора расстаться с нею, установив равномерное вознаграждение жалованьем».

Далее Романович-Славатинский перешёл от лозунгов — впрочем, вполне пристойных — к любопытной финансовой компаративистике, намереваясь заземлить абстракцию.

«Когда в 1863 г. издавались новые штаты, взяли жалованье профессоров столичных университетов, помножив его на два; произведение 3 000 составило оклад ординарного профессора. Подобная операция могла бы иметь место и в настоящее время: помножив трёхтысячный оклад на два, поднять жалованье ординарных профессоров до 6 000. Мы думаем, что это минимальный размер: цены на жизненные продукты в промежутке от 1863 г. по настоящее время, когда в России развилась сеть железных дорог, усиливших везде дороговизну, увеличились иногда вчетверо. Во всяком случае <...> в период от 1835–1863, когда правительство нашло нужным удвоить оклад, такого увеличения не было. У меня сохранилась записная книжка от 1863 г. Весьма назидательно сравнить тогдашние цены с нынешними. Приличная квартира стоила тогда 300 руб., за которую теперь приходится платить не менее 700, сажень дров стоила 8 р., а теперь 30; говядина 5 коп. фунт, а теперь 14; горничная 3 руб. в месяц, а теперь 8 и т. п. Профессора, не получающие в настоящее время гонорара и живущие одним жалованьем, несомненно, крайне бедствуют: приходится всяческими путями увеличивать скудные средства. Явилось совместительство, страшное зло времени, которое не должно быть терпимо, так как оно привносит в университет зловерное начало спекуляции и развязной наживы. Такое совместительство профессора с деятелем банка, с адвокатом и т. п. весьма уронило звание профессора и в глазах общества, и в глазах студентов.

Влияние профессора на студентов возможно только тогда, когда последний будет окружён ореолом нравственной чистоты, не запятанной никакими практическими похождениями. А между прочим в последнее время таких походов было немало. Пожалуй, они оправдываются скудостью жалованья, но правительство, оберегая чистоту университета, должно дать возможность достаточной жизни отдавшимся всецело науке и процветанию университета».

Мих. Грибовский (2011) в статье о материальном достатке профессоров и преподавателей российских университетов в конце XIX — начале XX века приводит, ссылаясь на соответствующий источник, перечень расходов семьи профессора Харьковского университета из 4-го выпуска «Трудов» Комиссии.

Выглядит это так (в рублях в месяц): на наём помещения — 58,33, отопление — 10, освещение — 3,36, прислуга — 35,7, пища — 94,17, одежда и обувь — 40, обучение детей и книги — 22,92, удовольствия и лакомства — 12,37, лечение и лекарства — 9,88, курение — 3,42, извозчики — 5,01, благотворительность — 7,67, ремонт хозяйственного инвентаря, стирка белья, починка мебели, раздача «на водку» и другие случайные расходы — 44,88; итого в месяц — 347,71, то есть порядка 4200 рублей в год. То есть — если не ездить за границу, на воды, не снимать дачу в Евпатории.

Сюда можно прибавить выплаты за ордена (от 86 рублей в год за Св. Станислава 3-й степени до 600 рублей за Св. Владимира 1-й степени), гонорары за чтение лекций (у филологов — нижайшие), гонорары за статьи и доплаты за чтение лекций в других вузах (в Киеве, например, на Высших женских курсах). В 1904-м у Кулаковского, как и у других ординарных профессоров, годовой оклад в Университете составлял 3000 (жалование 2400, столовые 300, квартирные 300). Летом 1916-го были установлены такие размеры: ординарный профессор — 4500, экстраординарный — 3000, доцент — 2400, лектор — 1400; кроме того, новые оклады предусматривали две прибавки, по выслуге пяти и десяти лет, 750, 500, 350 и 250 рублей соответственно для профессоров, доцентов и лекторов. В общем, если не шиковать, концы с концами свести было можно, особенно по сравнению с иными странами населения.

Нехорошо, конечно, считать чужие деньги, но что делать: они, деньги, это шестое чувство, позволяющее пользоваться остальными пятью (Гейне?).

С 1908 года дети профессоров и преподавателей, обучавшиеся в университете, были освобождены от взноса платы за обучение. Дети Кулаковского в Университете св. Владимира, стало быть, учились бесплатно.

Сохранилось заявление рукой Кулаковского, где дважды повторено слово «освободить»:

ПОЛУЧЕНО
въ канцеляріи по студ. дѣламъ
Уч-ща Св. Владимира
3 окт. 1913

Вход. № 20762
Дѣло №

Ген. Правительствующему
Сенату при Училищномъ
Уч-щѣ Св. Владимира

г. оф. шриф. В. Кулаковскаго

Прошение
отъ сына ~~интернированнаго~~
~~и освобожденнаго~~ ~~дворянина~~ ~~поф. грим. фак.~~ ~~Сергія~~
~~Кулаковскаго~~, ~~и просьба~~ ~~о~~
~~5~~ ~~летнемъ~~, ~~освобожденіи~~ ~~отъ~~
~~платы~~ ~~за~~ ~~право~~ ~~ученія~~

г. оф. шриф. В. Кулаковскаго

2 окт. 1913.

Прошение Кулаковскаго об освобожденіи сына, Сергія Кулаковскаго,
«от платы за право ученія», 2.10.1913, автограф

*Его превосходительству
господину ректору Университета св. Владимира
з. орд. проф. Ю. Кулаковского*

Прошение

*Честь имею покорнейшее просить освободить моего сына студента
ист.-фил. фак. Сергея Кулаковского, состоящего на 5 семестре, освободить
от платы за право учения.*

З. орд. проф. Ю. Кулаковский

2 окт. 1913.

Высочайше-комитетские будни. Известная ирония над довольно бессмысленным времяпрепровождением даже у заместителя (товарища) министра народного просвещения, лица высокопоставленного, — явление, точно формулирующее проблему. Что говорить о простых профессорах: сколько работ не написано, книг не прочитано. Кулаковский, сознавая глупость положения, больше беспокоится о киевских делах, и пишет Флоринскому (1.10.1902):

«Мне бы казалось, в виду того, что моё отсутствие, раз Министерством не предполагает, по-видимому, официально известить о необходимости нас заместить в наших обязанностях, то ты мог бы поступить так: сказать от себя как декан студентам, записавшимся на Ювенала, что в виду более или менее продолжительного моего отсутствия им бы следовало посещать автора, которого читает Сонни. Книг они всё равно покупать не будут, а большинство не ходили ко мне, не будут ходить и к нему. Что же касается практических занятий, то продолжить чтение элегий Проперция со 2 курсом мог бы [Вячеслав Иванович] Петр, благо его час приходится как раз после этого моего часа (пятница от 12 до 1). Являлись на этот час только десять человек и некоторые из них были только один раз (как Логиновский, Терновский). Если Петр встретит затруднения взять Проперция, то мог бы взять оды Горация».

Его описание одного из заседаний Высочайше утверждённой Комиссии стоит того, чтобы быть процитированным. «Всяк суетится, лжёт за двух, / И всюду меркантильный дух» (Пушкин).

«В собрании нашем есть люди и вовсе неподходящие. Таков математик [П. П.] Граве, говорящий по всякому поводу и чёт знает что; сам смеётся и иной раз смешит, но чаще возмущает. Затягивает обсуждение и часто совсем без пользы [А. С.] Будилович, [Е. Н.] Щепкин (из Одес-

сы — тяжёлый и страшно авторитетный), глупый и претенциозный [В. Б.] Струве, директор Межевого института, бывший учитель немецкого языка здесь, явившийся почему-то представителем Министерства юстиции, проф. Шукин здешнего Технического института, человек неглупый и даже приятный, но тоже со своеобразными притязаниями — из перечисленных пяти он самый симпатичный <...> По городу опять пошли слухи о непрочности Зенгера, кого прочат теперь — не слышал; думаю, что это всё пустые слухи. Сегодня Зенгер едет в Ливадию — зачем? — не слышал» (1.10.1902).

«Сегодня из уст [А. И.] Введенского я уже слышал слух, что Зенгер более не министр. Конечно, я не дал этому никакой веры» (15.11.1902).

Слух оказался преждевременным. Лишь в 1905-м Григория Эдуардовича сменит в министерском кресле граф Иван Иванович Толстой, археолог и нумизмат.

Ректору Университета Фёдору Фортинскому Кулаковский отчитывается 7.12.1902 — после заседания по поводу платы за учение в университетах — в официальном тоне:

«Не помню, когда я писал Вам в последний раз, но знал, что уже несколько раз посылал Вам после того наши доклады и последний, должно быть, о плате за учение, вопрос, до которого мы сегодня, наконец, добрались, но почему-то не кончили. Последнее случилось, вероятно, только потому, что [С. М.] Лукьянов “переобременён” делами и потому всегда неравномерно распределяет своё внимание. От этого выходит, что иные вопросы дебатуются слишком долго, а другие сходят слишком быстро. Первое случилось, напр., с вопросом, голосование по которому произошло сегодня в 11-ом часу и длилось слишком долго: о допущении в университет реалистов и семинаристов, второе с вопросом о делении профессоров на ординарных и экстраординарных, который попал сразу в куче других и прошёл почти без обсуждения. Видно было, что сам Лукьянов и моего доклада об этом не прочёл. Конечно, термины эти слишком почтенны по давности и привычны; но если их удерживать, то следовало всё-таки сохранить за ними какие-нибудь рациональные основания или хотя точно определить взаимоотношение, — чего сделано не было. В то заседание он спешил, и все вопросы по четырём докладам той рубрики были решены в полтора заседания. Собственно, о плате говорили достаточно, вопрос не сложный и можно было бы проголосовать сегодня же. Насчёт приёма в университет решили, что наилучший для нас контингент гимназисты, что реалисты и семинаристы могут быть допускаемы только с добавочным экзаменом, который должен происходить не в университе-

те. По вопросу о прикреплении к округам решили видеть в этом преимущественное право окончивших курс в данном округе на приём в университет».

Не известно, ознакомился ли Фортинский с эпистолой Кулаковского: 25.12.1902 Фёдор Яковлевич умер.

Вероятно, подобные занятия (неизмеримо скучные) вызывали у него всё-таки положительные эмоции: во всяком случае, он предавался такого рода деятельности с не меньшей отдачей, нежели занятиям научным. Только *sub specie aeternitatis* и стоит пожалеть, сколько времени затрачено фактически впустую.

Впрочем, может, для Кулаковского это была одна из форм отдыха, мало кому понятная. Рисовал же Достоевский на рукописях в минуты раздумий готические окна. А Пушкин — дамские ножки и профили повешенных.

О гонорах профессорам и писателям. Ещё в 1897-м в ряде статей, составивших изящную книжку «Гонорар в русских университетах», Кулаковский писал:

«Мы полагаем, что ныне действующая система гонорара в наших университетах не только не содействует возникновению и развитию конкуренции в деле университетского преподавания, но напротив, задерживает и тормозит её появление там, где она возможна. Не гонорару обязана существованием приват-доцентура и отмена его ни в малой степени не отразится на этой последней и не помешает ей расти и утверждаться там, где есть благоприятные для этого условия. Если мотивом к введению гонорара было сознание недостаточности профессорского жалованья, то в распределение сумм от него получаемого дохода необходимо внести начало равномерности и соответствия количества труда с вознаграждением».

Таковыми размышлениями нельзя заниматься по указке, лишь по интересу, и шире — *con amore*. Неравнодушный был человек.

Отступая, напомню, что гонорары российских литераторов находились в зависимости от этих литераторов именитости. Андрей Белый жаловался: «за печатный лист платили мне от семидесяти пяти рублей до ста, в то время как Сологубу платили пятьсот, Куприну — восемьсот, Андрееву — тысячу». Если Толстой в 1865-м требовал с Каткова за первую часть «Войны и мира» 300 рублей за лист, а рубль был довольно твёрд в течение десятилетий, то Лев Николаевич обидно продешевил.

Где-то в первой главе я проводил параллели с доходами

университетских профессоров, которые за одну-две лекции и два-три практических занятия в неделю получали в зависимости от стажа от 250 до 300 рублей в месяц. Нужно принять во внимание регулярные, хотя и небольшие доходы в виде ежегодных приплат за ордена. Например, из пятисот штатных профессоров и преподавателей, служивших в имперских университетах в 1887/88 учебном году, те или иные ордена имелись у 399 человек, одним из которых был Кулаковский, которого в декабре 1887-го наградили Станиславом 3-й степени.

Понятно желание Кулаковского, жившего в Киеве на съёмных квартирах и содержавшего семью из четырёх человек плюс бонну для детей и служанку Анисью для кухни и уборки, писать для журналов, когда не очень хочется, и преподавать в других киевских вузах, когда вообще нет сил преподавать. Правда, значительным облегчением для университетских профессоров и преподавателей было условие, введённое в 1908-м: их дети, обучавшиеся в университете, были освобождены от взноса платы за учение. Этим достигались две цели: во-первых, облегчалась участь содержания взрослых детей престарелыми родителями, во-вторых, профессорские дети увлекались в университет, чтобы тем самым продолжать пестование умственной традиции — интеллигентной и городской. Что дети достойных родителей не всегда сами были достойными — частность, не имевшая отношения к *умственному воспроизводству*.

Писателям в этом смысле было чуть проще: хвала барону Брамбеусу, сиречь Осипу Ивановичу Сенковскому, изобретшему писательский гонорар, сделавшему литературный труд отраслью производства, пусть и духовного. Пушкин получал от Смирдина по 10 рублей за стишок, «Бориса Годунова» продал за 10 тысяч. Тот же Александр Филиппович Смирдин платил Крылову за басню 300. В «Современнике» Тургеневу за «Записки охотника» платили 100 рублей за лист, за «Дворянское гнездо» — 400 рублей, за «Новь» «Вестник Европы» вручил ему 500. Гонорар Салтыкова-Щедрина не поднимался выше 250 рублей, как и гонорар Чехова; однако Адольф Маркс нажил состояние на публикации Собрания сочинений Чехова, права издания которого были куплены им у автора за 75 тысяч рублей. Автор построил в Ялте дом, немножко в нём пожил, поехал в Баденвейлер и там «*Ich sterbe...*»

В конце декабря, обсудив, предложив и выполнив, Комиссия была распущена. По крайней мере, до 1905 года результаты её работы были нулевыми. Новый устав университетов, о котором так долго говорили, не появился, жалование профессоров повышено не было, штатная должность доцента не введена. Снова университетский вопрос поднялся во время общественного ажиотажа середины 1905 года, когда правительство пошло на маленькие уступки и 28.08.1905 были введены «Временные правила», слегка расширившие автономию.

Доклады Кулаковского, как и других членов комиссии, были отпечатаны в 1903-м в типолитографии Санкт-Петербургской тюрьмы и типографии Министерства внутренних дел «на правах рукописи», в пяти выпусках. Ныне их текст интересен не только исторически (в изучении трансформаций высшего образования), но и для того, чтобы убедиться: практически ничего в системе образования за столетие не поменялось.

Профессорский дисциплинарный суд. Осень 1902-го всё равно была для Кулаковского карьерно урожайной: в начале декабря предложением попечителя Киевского учебного округа («за № 13034») он утверждён согласно избранию Совета Университета в звании судьи профессорского дисциплинарного суда на 1903–1904 годы, в октябре 1903-го «предложением за № 17478» — в звании «кандидата судьи» на 1904–1905-й. Университетский суд, закреплённый Уставом '1804 и ликвидированный Уставом '1884, был восстановлен 6.11.1901 по инициативе Зенгера, тогдашнего товарища министра народного просвещения, на Сессии Совета высших учебных заведений.

Временные правила о профессорском дисциплинарном суде от 24.08.1902 поначалу были единственным документом (за исключением Правил о взысканиях, налагаемых на студентов, от 24.08.1902), которым регулировалась деятельность профессорских дисциплинарных судов.

В соответствии с правилами, дисциплинарные суды состояли из пяти судей и пяти кандидатов в судьи, которые выбирались из числа профессоров.

Дисциплинарный суд был формой компромисса между интересами вузовской администрации и студенчеством и одним из элементов университетской автономии, который привнёс и дополнил утраченные положения Устава '1863.

Международный конгресс историков и окрашенные костяки. С 16.03 по 12.04.1903 Кулаковский делегируется Университетом в Италию, на первый Международный конгресс исторических наук в Риме, о котором он опубликует не только несколько сообщений, но выступит с почти хронологическим изложением повестки дня Конгресса в «Университетских известиях» и ЖМНП, а в мае — вновь руководит испытательной комиссией в Казанском университете.

В статье, посвящённой первому Международному конгрессу исторических наук в Риме, Кулаковский с досадой отмечал:

«Не было ни места, ни способов приходить в общение и знакомиться с людьми, которых раньше знал только по их научному имени, не удавалось даже встретиться с теми, кого лично знал и с кем раньше встречался. Практикующийся у нас в России способ устраивать обеды ничем не заменим, и жаль, что в Риме мало подумали о том, как бы устроить и облегчить действительно международное общение».

Кто же сравнится с нами в устройстве званных попок? Однако концерт духовной музыки, учинённый организаторами по случаю конгресса, произвёл на Кулаковского, слушавшего его научным ухом, иное впечатление:

«Концерт был чрезвычайно интересен, и даже для лиц, не претендующих на глубокое понимание музыки, было ясно искусно проведённое в выборе пьес историческое развитие от полифонного пения голосов без аккомпанемента к сложной оркестровке оперного хора. От Палестрины до Россини церковный и религиозный элемент слабел и, можно сказать, исчезал. Строгое, ясное, религиозное чувство Палестрины на одном конце, и игривые, изысканные и искусственные quasi-церковные мелодии Россини на другом, — это тот самый процесс, который совершился в истории Европы от господства в государственной жизни религии и церкви до современной парламентской жизни с разнообразными учениями и партиями, усиливающимися создать благополучие человека на основе идей, далёких от всякой религии и совершенно чуждых церкви».

Итальянцы остались очень довольны концертом и расхваливали его в газетах; но нельзя не сказать, что от концерта-gala в Риме можно было бы ждать большего».

Любопытной кажется организационная конструкция конгресса, структура его секций:

1. Древняя история, эпиграфика; филология классическая и сравнительная.

*Иосиф Бродский
о Колизее:
«Кто-то избрёл арку
и не смог остановиться»*



2. Средняя и новая история; методика; архивное дело.
3. История литератур.
4. Археология; история искусств; история музыкальных искусств и драматического.
5. История права; история экономических и социальных наук.
6. История географии, историческая география.
7. История философии, история религий.
8. История математических, физических, естественных и медицинских наук.

Не правда ли, отчётливый историко-практический срез гуманитарного знания в европейской культуре начала XX века? Сложно что-то отнять и добавить. Но можно привить дичок.

Трудно представить, о каком веере вопросов шла речь на 115 заседаниях конгресса, посетить которые одному человеку не под силу: происходили они одновременно, принуждая конгрессистов оставаться в рамках специализаций, не растекаться, подобно Бояну, «серым волком по земле, сизым орлом под облаками»: трудись в конкретной секции, не суясь к соседям. Неодолимость междисциплинарности научного шерудения будет осознана гуманитаристикой в конце 1910-х — начале 1920-х, с появлением «Основных понятий» Вёльфлина, «Заката Европы» Шпенглера, «Философии символических форм» Кассирера, «Осени средневековья» Хёйзинга, «Идеи» Панофского, в конце 1920-х — появления школы «Анналов», — ломавших заборы, вытаптывавших чужие цветники («цветочки

милые» Франциска Ассизского) и заражавших духом всеобщей противоречивости, осознанием того, что *трагическое* в слишком больших и продолжительных дозах невыносимо, если оно не проветривается *комическим*. Научную серьёзность гуманитарики окучивали и возвращали на своём участке, общекультурные смехуёчки — на соседних, и никто не жаловался.

Дни конгресса совпали с всеримской стачкой «нижних чинов»: типографских рабочих, извозчиков, дворников итд, которая «держала в напряжении и осаде город в течение нескольких дней перед самой Пасхой и причинила чрезвычайно много жгучих забот и тревог как правительству, так и городскому управлению. Римские газеты продолжали, однако, выходить», но добраться пешком до залы заседаний, особенно в дождливую погоду, стареньким иностранным профессорами было трудновато. Так всегда: безобразничает люмпен, нижний слой городского обывателя, страдает сначала интеллигенция, а затем уже и дружно вместе.

Через шесть лет Мих. Осоргин в «Вестнике Европы» (1909, № 11) опубликует письмо из Рима «Контрасты римской обывательщины», интонация которой сродни впечатлениям Кулаковского, да и текст славно сбит:

«Контраст тоги Цицерона и заглаженной складки министерского депутата в том или ином виде повторяется на каждом шагу. И когда в воскресный день, часа за два до заката солнца, весь Рим высыпает на улицу, — я с удовольствием смотрю этот живой кинематограф противоречий. За картиной развёртывается картина; нигде в мире не найти такого дивного фона для сегодняшних групп и сцен, как фон древних развалин, уцелевших монументальных античных зданий и средневековых церквей. Каждый камень здесь имеет историю, и в каждом извозчике есть капля крови *auriga*, победителя в беге колесниц. Полководцы обратились в полковников, дискболы в футболистов, народные трибуны в социалистических лидеров, триумфаторы в велосипедистов, великое в смешное, — а всё-таки великое чувствуется, и “не будь я русским, я желал бы быть итальянцем”; по крайней мере можно хоть предками похвалиться <...> Итальянская обывательщина знает два таинства: таинство вкушения пищи и таинство сна. Обеденный стол, равно как и кровать — предметы культа. По качеству постельного белья, по ценности широкой пуховой подушки в ногах и по вкусу подливки к тесту всевозможных родов — определяется и достоинство человека».

Кулаковский выступил на конгрессе с докладом «К вопросу об окрашенных костяках»: очень пришлось ему его мысль, изложенная в нескольких практически идентичных публикациях в разных изданиях. Соль наблюдения в следующем.

Археологи давно обратили внимание на курганы с окрашенными скелетами жмуриков, рассеянные на широких пространствах Надчерноморья, «в границах Бессарабии, Новоросии, Киевской и Полтавской губерний и Кубанской области», как полагал Антонович, или «начинались в губерниях Киевской и Полтавской и простирались до южного берега Крыма и восточных берегов Азовского моря», как полагал Кулаковский.

Особенность находящихся в курганах останков в том, что их черепа, первые шейные позвонки, частью ключицы, кости рук и ног слегка окрашены охрой: по Антоновичу — в виде полос; по наблюдениям Николая Веселовского — это сплошная окраска с подстилкой из слоя охры; по Кулаковскому — окраска зигзагами. Положение тел: на спине, реже на боку, с поджатыми ногами; кости обнаруживаются в естественном порядке. При костяках: грубые глиняные горшки примитивной формы, изредка шлифованные каменные орудия и бронзовые предметы (наконечники копий).

Бытовало мнение, что костяки окрашены после удаления мышц с костей. Кулаковский доказал, что это не так. Алексей Соболевский в специальном «русско-скифском этюде» 1921 года отметил, что вопрос о народе, которому принадлежат курганы с окрашенными костяками, ещё не поднимался, и ввиду этого решил представить некоторые данные. Не вторгаясь в эту область, обращаю внимание, что скелеты бессарабских курганов и курганов Надчерноморья к западу от Дона, по Соболевскому, принадлежали западным скифам, которые известны грекам под именем агатирсов-акатиров и гелонов-будинов, «о татуировке которых железистым веществом мы имеем ясные свидетельства латинских авторов». Крымско-ольвийские костяки и скелеты из курганов Изюмского уезда принадлежат скифам-меланхленам (не комплексуй, читатель: я тоже не с первого раза прочитал эти имена); геты-даки представлены окрашенными костяками Чехии — с охристой окраской и поджатыми ногами.

«Залежи охры, жёлтой и красной, нередки, — говорит Соболевский, — между прочим, её добывают в районе Кривого Рога Херсонской

губернии. Здесь должен был развиваться обычай татуировки. Там, где охра была привозным материалом, ею пользовались более или менее скупно; но на северном берегу Чёрного моря и в Крыму можно было употреблять её не только для татуировки, но также для посыпки тел покойников и подстилки под ними. Отсюда разница между количеством охры в курганах, которые раскопаны Антоновичем, и в курганах раскопок Веселовского».

Кулаковскому принадлежит честь столь напрашивавшегося пояснения, что трупы не «вываривали» перед захоронением, потому скифы с раскосыми и жадными глазами не должны быть уличаемы в людоедстве, но в равной степени должны быть уличаемы в присутствии у них художественного вкуса. Современные тату — не скифское ли наследие?

Варнеке хвалился:

«Только одна из работ Ю. А., увидавших свет на страницах *Киевских Университетских Известий* — об окрашенных скелетах — не имеет отношения к классической филологии».

Конечно, не только эта. Важно, что раньше, чем в Риме, этот материал был доложен, а затем и напечатан в «Трудах XI Археологического съезда» (1901, т. 2).

Действительно, исследование Кулаковского разворачивается в совершенно специфической области: «Мой доклад, — говорит он, — касался специального вопроса доисторической археологии».

«Мой доклад вызвал живой обмен мнений, так как в итальянской археологической литературе сохраняет господство старая гипотеза, будто окрашенные костяки доисторического человека свидетельствуют об обычае обнажать кости трупа от мяса, окрашивать их и в таком виде предавать погребению. Находки этого рода крайне редки в Западной Европе, но весьма часто встречаются во всей южной полосе России. В противоположность старой гипотезе я старался обосновать положение, что окраска костей сама по себе доказывает именно отсутствие обычая “scarpimento”, как называют итальянские ученые снятие мяса с костей, и, ссылаясь на данные микроскопического анализа окрашенных костей, представленные профессором [Я. Н.] Якимовичем, утверждал постепенность проникновения окраски в кость после истления мягких частей трупа».

Подробности осуществления этого обряда находим в 1-м томе «Історії України-Руси» (1913, с. 42–43) Мих. Грушевского:

«Щодо самого крашення були різні пояснення, але більш докладні спостереження не лишують уже місця сумніву про його походження: по-



Турки вламываються в Константинополь 29.05.1453, фрагмент Музея-панорами

кладений у могилу труп посипався або мастився зверху фарбою, часом лише голова і верхні частини, часом цілий, і з розкладом тіла фарба осідала на костях. Зрештою крашення небіжчиків звісне і в інших краях — напр., в Італії, полудневій Франції, північній і полудневій Америці, Океанії. Його досить правдоподібно ставлять у зв'язок із ритуальним значенням червоного кольору яко фарби жалоби — широко розповсюдженим (включно до “червоної китайки” наших козацьких похоронів)».

В примечании Грушевский пишет:

«Кулаковский указав на одне кримське поховання <...> де земля не привалила небіжчиків, і на них, і на підстилці видно було смугу насипаної червоної фарби. Спіцин згадує аналогічний факт, де кості скелета були зверху посипані фарбою, а зі споду були білі».

Из Рима Кулаковский посылает Флоринскому красочную открытку с видом помпеянской Виллы Мистерий:

«Сегодня был целый день в Помпеях, а завтра тронусь в обратный путь, чтобы поспеть к своим» (31.03.1903).

В 1903-м Кулаковский, как мы помним, достаивается Золотой Макарьевской медали Императорской академии наук за оценку первого тома «Введения в римскую историю» Модестова. Это было десятое по счёту присуждение премии Митрополита Макария и золотых медалей рецензентам «за содействие в оценке конкурсных сочинений» претендентов на премию. В академическую комиссию, возглавляемую Петром Никити-

ным, входили Василий Радлов, Василий Латышев, Карл Залеман, Иван Янжул, Александр Лаппо-Данилевский и Сергей Фёдорович Ольденбург.

Русско-японская. С 29.02.1904 по 27.11.1905, аккурат во время Русско-японской войны, Кулаковский исполняет почётные обязанности председателя Общества Нестора Летописца при Университете св. Владимира, замещая Дашкевича. После кончины Николая Павловича, последовавшей 20.01.1908, на посвящённом его памяти заседании Кулаковского избран председателем Общества.

В ночь на 27.01.1904 японский флот внезапно атаковал русскую эскадру в Порт-Артуре, а днём — у корейского порта Чемульпо: относительно мирное существование России было остановлено. — «Жёлтая пята дерзновенно взошла на гряды высот порт-артурских; проволновался Китай и пал Порт-Артур», — написал в «Петербурге» Андрей Белый.

Рабочие кружки, заражённые сифилисом революции, «замирают, аресты, мобилизация, кое у кого “патриотическое” настроение <...> В начале русско-японской войны широкие массы населения относились к ней довольно равнодушно: война велась далеко, в маловедомой Манчжурии и непосредственно местное население не затрагивала, оно продолжало жить так, как жило. Всё же, как водится, особенно вначале, подняли голову националистические элементы. С царскими портретами и иконами ходили по городу манифестанты и распевали “Боже, царя храни”. Особенно многочисленными были манифестации в первые дни. Конечно, совершенно иным было настроение революционной части населения» (Павел Блонский).

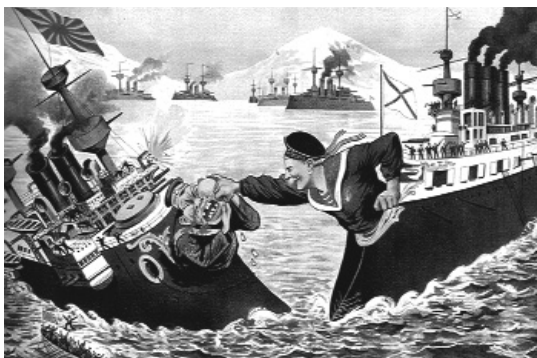
Что за «революционная часть населения»? «иное настроение»? Блонский писал в 1930-е, когда приходилось «так надо».

Арсений Маркевич вспоминал, что с начала 1900-х Кулаковский начал «чувствовать угнетённое состояние, вызванное Японской войной, начавшимся в конце её революционным движением и анархией, развившимися повсюду в России, и в частности, в наших университетах».

«Я падаю духом, — писал он Маркевичу в 1902-м, — и с ужасом жду того, что ещё суждено нам переносить, и какое наследие оставим нашим детям вместо единой, могущественной и грозной для внешнего врага России, покоившейся на национальных русских устоях».

Перемены неуправляемы. Но порой их можно опережать.

*Агиточный плакат
времён Русско-японской
войны*



Кулаковский — Иконникову из Рамонье 29.06.1904:

«Четыре раза в неделю имеем почту из соседнего местечка, с тревогой и мукой читаю вести о войне, и со страхом думаю, как долго это затянется и что ещё ждёт нас в будущем».

Флоринскому 1.07.1904:

«С волнением каждый раз хватаешься за телеграммы, и утешительного в них пока нет ничего. Стараюсь подавить пессимизм, но эта война с самого начала представляется мне чем-то ужасным и роковым для России. Евреи в соседнем местечке в воскресенье пустили слух, что взят уже и Порт-Артур, и быстрый успех японцев объясняли тем, что к ним перешёл на службу китайский инженер, служивший на русской службе в Порт-Артуре и знающий все секреты крепости. Слава Богу, слух оказался ложным. — А забывая об ужасах войны, можно здесь, в деревенской тиши, наслаждаться и природой, и жизнью. Сам я веду довольно праздную жизнь, и энергии хватает только на преодоление перевода Аммиана Марцеллина, который я начал с мая прошлого года и веду дальше в сомнительной надежде на окончание этого дела, то есть полное, в смысле выпуска в свет».

«С волнением и тревогой читаю и перечитываю всякий раз газеты — понимаю, что ждать хороших вестей ещё рано, а всё-таки страшно больно читать только о потерях и неудачах» (30.07.1904, Суховоль).

Жизнь вне русско-японской войны движется помимо неё:

«Бежит время и пора думать об отъезде. Весною Серёже сказали в гимназии, что учение начнётся 20 августа. Теперь вижу в газетах, что экзамены ученикам 2 гимн[азии] будут идти до 24 включительно <...> Если тебе не трудно, то будь так добр, проходя подле 2 гимназии, узнай, когда начнётся учение — или когда молебен перед учением» (13.07.1904, Яснов Гродненской губернии).

На ежегодном торжественном заседании Исторического общества, приуроченном к дню памяти Нестора Летописца, 27 октября в присутствии министра просвещения генерала Глазова и попечителя учебного округа Беляева Кулаковский как председатель Общества выступил с «титульной речью». Её напечатали в ЧИОНА — чтобы теперь цитировать. Эти слова, как ни странно признаваться, впечатляют.

«Грохот орудий не доносится до нашей мирной обстановки, но нашим сердцем мы переживаем все ужасы настоящего. Оно томит нас всех, но оно не может нас обессилить <...> Чем тревожнее наше настоящее, тем с большей настойчивостью предъявляет оно нам запрос на нашу бодрость и энергию для мирной, но плодотворной работы на пользу отечественного самосознания. Сила и слава народа не в числе пушек и броненосцев, а в той культуре, которая, среди других своих сознаний и приобретений, создаёт и эти пушки, и эти броненосцы как орудие грозного мира, а не только кровопролитной войны <...> Объединяющее нас в нашем Обществе имя нашего преподобного патрона <...> даёт нам простой и ясный завет — сохранять память о прошлом в неукоснительно точной истине событий. В безмерно расширившейся ныне сфере исторического исследования и изучения прошлого дробимся мы теперь на множество специальностей и, работая каждый в своей области, служим одному и тому же делу — посильному раскрытию и уразумению истины о прошлом человечества. Одни из нас ищут свидетельств о давних временах в гробницах поколений и народов, о которых не сохранилось словесных памятников, другие разыскивают их в архивах, хранящих документы исторической жизни нашего края, третьи исследуют памятники слова разных времён и разных народов, уясняют и стараются восстановить в истине факты жизни прошлого, ещё не разъяснённые или нуждающиеся в углублении нашего их уразумения <...> и все мы служим одному идеалу и работаем над одной задачей — постигнуть творящую жизнь духа человеческого, совершающуюся в непрерывной цепи сменяющихся поколений».

Классическая риторика, замешенная на чистоте мысли и ладности слога, направлена на поиск той самой истины, о которой в защиту Авла Клуенция Габита громыхал заика Цицерон:

«Пусть она господствует на народных сходках, но встречает отпор в суде; пусть она торжествует в мнениях и толках неискущённых людей, но дальновидные пусть её отвергают; пусть она неожиданно совершает свои стремительные набеги, но с течением времени и после расследования дела путь теряет силу. Пусть, наконец, сохранится в неприкосновенности

*Передвижение
имперских войск
по Маньчжурии времён
Русско-японской войны*



тот завет, который наши предки дали правому суду: при отсутствии предубеждения, в суде вину надо карать, а при отсутствии вины — отметить предубеждение» (II, 5).

Кулаковский и вправду (по Полонской-Василенко) будто мысленно переводил свою речь с латыни, и если сейчас дать энтузиасту латинского языка задание на такую вот экстемпоралию, он получит удовольствие от перевода.

Через два месяца после этого спича, 20.12.1904, вопреки возражениям Военного совета комендант крепости Порт-Артур генерал Стессель предательски сдал её японцам.

Лев Толстой сокрушался (запись в дневнике от 20.12.1904):

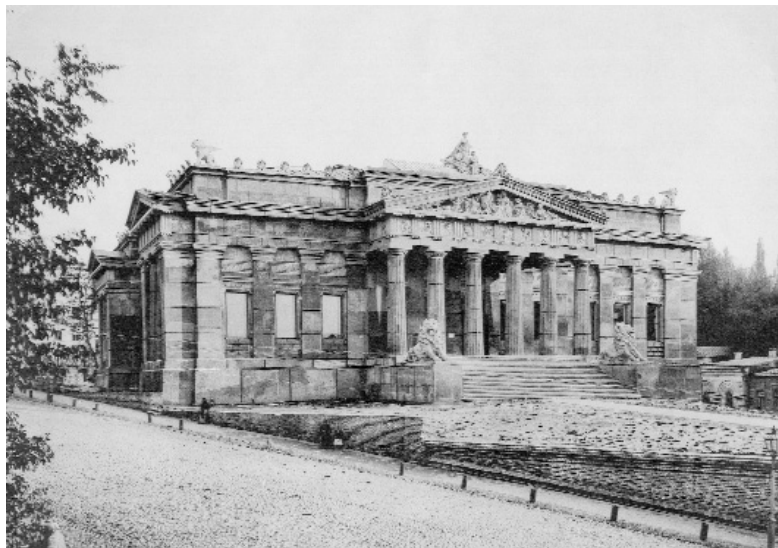
«Сдача Порт-Артура огорчила меня, мне больно. Это патриотизм.

Я воспитан в нём и несвободен от него так же, как несвободен от эгоизма личного, от эгоизма семейного, даже аристократического, и от патриотизма».

В 1908-м Стессель приговорён к смертной казни, помилован государем. Стараниями Витте 23.08.1905 подписан Портсмутский мирный договор: Россия признала Корею сферой влияния Японии, уступила ей Южный Сахалин и арендные права на Ляодунский полуостров с Порт-Артуром и Дальним, Южно-Маньчжурскую железную дорогу. Государь за труды пожаловал Сергею Юльевичу титул графа. В народе к титулу приделали: «-Полусахалинский».

Однако в 1904-м на мир можно было лишь надеяться.

Городской музей древностей и искусства. Предпоследний день 1904 года оказался в Киеве примечательным: открывали и освящали Городской музей.



Киевский художественно-промышленный и научный музей императора Николая Александровича, 1897–1905, архитекторы П. С. Бойцов, В. В. Городецкий, скульптор Э. Саля. Фото 1905 г.

Произошло это через десять дней после падения Порт-Артура. В Петербурге забастовки на Путиловском и Невском судостроительном: через неделю — «Кровавое воскресенье». Не до музеев. Впрочем, Шаляпин гениально спел в «Демоне». Вскоре в Киеве на свет появятся Павел Вирский и Григорий Козинцев, в апреле — Серж Лифарь, в мае подле Михайловского монастыря откроют фуникулёр Артура Абрагамсона.

Днём 30-го декабря в одном из залов Киевского Городского музея вслед за Богданом Ивановичем Ханенко (1849–1917), председателем Общества древностей и искусств, меценатом и коллекционером, с приветственным словом по случаю открытия музея выступит его заместитель — Кулаковский. Читал по бумажке, минут сорок.

Городской музей основан в 1897-м на ханенковские деньги. Динамика его наименований — от подлинного имени до конформного псевдонима — характерна: конкретное выставочное пространство с течением времени подстраивается под новую функцию, всякий раз подбирая свежее имя.

Путь от Киевского художественно-промышленного и научного музея императора Николая Александровича (1904) до Национального художественного музея Украины (1994) — это мутация не столько заголовка, сколько деятельности людей, воспринимающих ладно скроенное архитекторами Петром Бойцовым и Лешекком Городецким в 1897–1900-м пространственное ядро как подвижной материал.

В музее к времени открытия накапливались преимущественно артефакты, связанные с художественной промышленностью (по-современному: дизайн), но царь просил придумать к его названию слово «научный», задавая формированию экспозиции исследовательский вектор. К моменту открытия артефакты охватывали всю древность — художественную и нехудожественную: от костей мамонта (сейчас — в бывшей Ольгинской гимназии) до произведений украинского народного творчества. О произведениях художников и скульпторов, трудившихся в Украине, речь поначалу не шла — шла об истории культуры Юго-Западного края как таковой — с «экзотическим» акцентом на народно-стилевой характеристике декоративно-прикладных вещей: costume и утвари.

К моменту рождения это было не художественно-экспозиционное, но археолого-культуроведческое заведение, поскольку *археологией* в начале XX века считался всякий артефакт, имевший отношение к *прошлому*. Бытовая дребедень, выкапываемая из земли неравнодушным человеком, попадала в чью-то коллекцию, именуясь *памятником археологии*. Для постижения очень дальнего прошлого, лишённого хронологии, письменных свидетельств и потому малоубедительного, такие черепки и железки, прикреплённые на проволочках к стеллажу и снабжённые описательным текстом, — незаменимый материал хотя бы оттого, что провоцирует фантазию зрителя и на большее не пригоден. Поскольку свидетелей не осталось, контекст приходилось выдумывать, реконструировать, пестовать.

Кулаковский прекрасно отдавал отчёт, чем занимается, роясь в таврических курганах: не без научной пользы обществу аккуратно убивал за державный счёт вакационное время. Что однажды в Керчи, роясь в катакомбе и пересидевши лишку на холодной каменной плите, неделю страдал кровавым поносом, мало о том заботясь (из юношеского смущения не переписи-

сал я это архивное свидетельство в письме Флоринскому, а потом не смог найти), — доказательство профессионального подхода учёного, быстро загорающегося идеей, к удовлетворению историцистских околичностей на потребу личного и общего умственного блага. Вкупе с регулярно утрачиваемыми в Крыму зубами, о чём с иронией сообщает в эпистолах, быстро приблизившаяся к нему старость превратила молоджавого профессора в морщинистого римского патриция, интересующегося классическими древностями и говорящего с латинским акцентом. Тогда люди вообще старели быстрее, чем сейчас.

Кулаковский — единственный, кто взял труд выступить на открытии Музея с полунаучным докладом¹.

Особенное внимание Кулаковский остановил на мамонтовых костях и раскопках в Триполье, то есть обнаружению самых древних материальных свидетельств «туземного прошлого». Наверняка так и просилась к нему на перо параллель между Киевом и Римом, которыми он был очарован одинаково: «Рим на заре существования был *городом*. Царственный ход истории Рима превратил этот город в мировое государство, охватившее широким кольцом весь бассейн Средиземного моря», — первые строки величественной «Истории Византии». С Киевом, конечно, не так: лишь к концу XIX века можно было говорить о каком-то цивилизованно направленном развитии, которому музей был бы историко-культурным архивариусом. Войны, взорвавшись, схлынут — музей останется.

Политических пертурбаций на киевскую долю в течение XX века выпадет немало, но Городской музей действительно сбережёт духовный заряд, которым был вызван к жизни и выстроен на киевской земле, и обстоятельство, что к созданию музея были причастны знаменитые киевляне (перечень долог), свидетельствует: создан в заботе не о хлебе насущном, но в видах сохранения материального прошлого и пестовании культуры будущего.

Богдан Ханенко, выступавший перед Кулаковским, завершил речь так:

¹ Речь с комментариями переиздана: *Андрей Пучков*. «Музей со львами» и вице-председатель Юлиан Кулаковский // *Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: Збірник наукових праць*. Київ, 2013. Вип. 9. С. 185–203.



*Киевский художественно-промышленный и научный музей,
улица Александровская и Музейный переулок, фото 1910-х*

«В заключение выскажу пожелание, чтобы наш общественный музей стал на высоте своей задачи и чтобы общество отнеслось к нему, как того требует его значение.

Но не только процветание общественного учреждения, но даже самое его существование, как и жизнь всякого существа в нашем мире, немислимы без любви, без той любви, которая связывает, даёт силу и веру в работе и обеспечивает её успех.

Полюбите же и вы, Мм. Гг., Киевский музей Императора Николая Александровича! Этого я прошу у вас для него, и этой любви я желаю музею от всего моего сердца, как лучшего залога его плодотворного влияния на вашу собственную жизнь».

В речи же Кулаковского были схвачены три главные позиции: необходимость широкого изучения древнейшей истории Юго-Западного края не в последнюю очередь путём её публичной презентации; привлечение внимания к прошлому; забота о будущем. Это была достойная уважения культурологическая программа конкретных действий.

«Я подошёл к концу моей задачи представить вашему вниманию об-

щий обзор того, чем владеет наш музей в своём отделе древностей. Разрозненные кости мамонта, куски камня, кости и рога, черепки глиняных сосудов, изъеденные ржавчиной металлические пряжки, застёжки, ножи и другие предметы украшения и вооружения, — вот внешний вид того, что наполняет наши витрины. Всё это мертвые предметы, долгие века пребывавшие в земле, чтобы опять увидеть свет в нашем музее. Но когда они его увидели, они ожили опять, чтобы повествовать нам о человеке, задолго до нашего времени населявшем этот край и творившем в нём живую историю. В борьбе с мамонтом человек напрягал все свои силы, изощрял свой разум, чтобы одержать победу над внешней природой, познать её и заставить её служить себе. В этой борьбе создавал он и искусство, и полагал первые основы художественного творчества. Умея только из камня и рога выделывать своё оружие, создавал человек обмен продуктов труда, и из далёких стран умел добыть себе металл, чтобы заменить им камень. В борьбе на жизнь и смерть со зверем, в кровавой междоусобной брани племён и народов, отнимавших друг у друга занятую одним из них территорию, в установлении обмена продуктами труда и дарами почвы — шла история человека, вынуждая его напрягать все силы своего духа и тела для борьбы за существование. И об этой-то борьбе — без хронологических дат, без имён и лиц, а в одной лишь стихийности, — повествуют нам эти мёртвые предметы из витрин нашего музея; а своими формами и орнаментацией они дают нам постигнуть тот прогресс искусства, который совершал человек в подчинении себе природы и приспособлении на свою потребу мёртвого материала...

Государю императору угодно было, чтобы наш музей назывался “научным”. И в этот день своего открытия наш музей уже может оправдать это своё название: выработанные наукой принципы действуют в его наполнении, и то, чем мы теперь уже обладаем, является богатым материалом для учёной работы и научной разработки. Такую блестящую обстановку создала нашему музею великая сила — любовь к старине местных людей. Помянем с благодарностью имена: митрополита Евгения [Болховитинова], старого Максимовича, губернатора Фундуклея, протоиерея Лебединцева, много потрудившихся на поприще изучения древностей нашего края. В наши дни любовь к старине собрала те богатые коллекции, которые поступили в наш музей, — В. Н. и Б. И. Ханенко, покойного Зноско-Боровского, графа А. А. Бобринского, не говоря уже о меньших... Будем надеяться, что эта любовь не оскудеет среди киевлян, что она будет расти и крепнуть во благо нашего края и на пользу нашего музея, и самый наш музей, поддерживаемый ею, станет местом, где эта любовь будет

почерпать силу знания, а тем самым приносить богатые плоды на пользу и во славу русской науки и русского народного самосознания».

По окончании речи Кулаковского только что назначенный Киевским, Подольским и Вольнским генерал-губернатором и командующим войсками Киевского военного округа генерал-адъютант Николай Клейгельс (1850–1916), — который, по словам графа Витте, «всегда держал себя с сознанием своей красоты, и именно красоты гренадерской, связанной с внешним величием», — поздравил Общество с открытием музея, пожелав ему процветания и успеха в просветительной деятельности в центре Юго-Западного края. Затем он предложил версию обращения к государю императору:

«Сего числа состоялось открытие и освящение Художественно-промышленного и научного музея имени Вашего императорского величества при Киевском обществе древностей и искусств. Осчастливленным всемирнолюбящим соизволением на присвоение Музею имени Вашего величества, члены этого Общества и граждане Киева, собравшиеся на торжество освящения, повергают к стопам Вашего величества чувства беспредельной любви и непоколебимой верноподданнической преданности».

Собравшиеся, конечно, согласились, затянув «Боже, царя храни!» Впрочем, богохранимому царю в эти дни не до парадных киевских словоизвержений и гимнов.

Аммиан Марцеллин и перевод его «Истории». В мае 1903-го Кулаковский берётся за перевод с латыни восемнадцати книг «*Regum gestarum libri XXXI*» («Тридцать одна книга деяний») Аммиана Марцеллина, римского историка IV века.

Борис Варнеке по поводу этого перевода пишет:

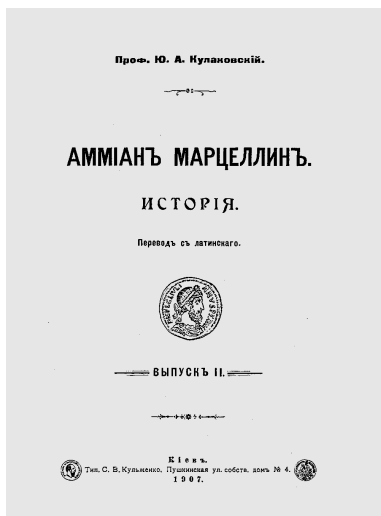
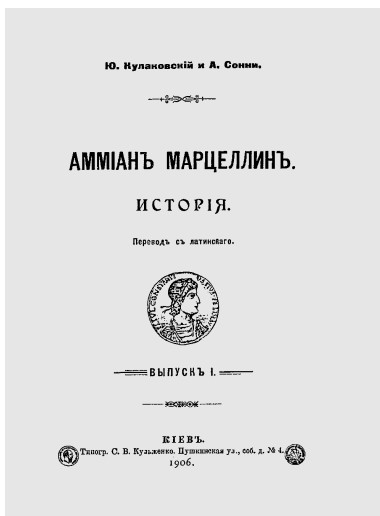
«Последней работой проф. Кулаковского является предпринятый им совместно с проф. А. И. Сонни перевод на русский язык монументального труда латинского историка Аммиана Марцеллина. Пока появился первый выпуск этого труда... Переводу предпослано введение, состоящее из биографии и характеристики Аммиана Марцеллина, а также три очерка: “Государственное управление Римской империи в IV веке”, представляющий большой интерес в виду почти полного отсутствия у нас в популярной литературе соответствующих очерков (три части одного очерка: 1) Административное деление империи; 2) Центральное управление; 3) Армия и военное управление. — А. П.). К переводу приложены: генеалогическая таблица дома Константина Великого, карта Востока по Аммиану Марцеллину, карта Галлии на основании его же указаний, карта Гал-

лии по данным древней карты т. н. *tabula Peutingeriana*, и карта Римской империи при Диоклециане. Все эти приложения чрезвычайно способствуют уяснению текста такого трудного писателя, как Аммиан Марцеллин, появление русского перевода «Истории» которого надо приветствовать от всей души, с одной стороны, в виду важности этого памятника для всех занимающихся древней и средневековой географией, этнографией и политической историей, а с другой в виду того, что трудности Аммианова стиля позволяют пользоваться его оригиналом только присяжным классикам. Между тем, даже специалисту по древнейшей русской истории приходится обращаться к этому источнику и тем самым ему придется благодарить проф. Кулаковского, принявшего на себя грандиозный труд перевода».

Санкт-Петербургское издательство «Алетейя» в 1996-м предприняло переиздание «Истории» Аммиана в переводе Кулаковского («и Сонни»). Редакцию перевода, выполненную петербургским философом Леонидом Лукомским, едва ли стоит отнести к числу достоинств переиздания. Знакомому с оригинальным переводом Кулаковского, выпущенным в 1906–1908 годах, бросается в глаза не характерная для переводчика сухость, пережарка текста: улетучился дух языка, о котором Кулаковский говорит в Предисловии к первой части:

«Чутьё родного языка и субъективное чувство переводчика руководит им в том, как он должен передать оригинал, чтобы возможно ближе подойти к нему и дать возможность читателю почувствовать подлинник в уборе слов и оборотов другого языка».

В новом издании исчез не только дух латыни IV века, но и дух русского языка начала XX века — будто поэтический слог переведён в прозу. Может, именно на это и рассчитывал редактор? Сиг. Кржижановский где-то сказал, что книги, если они только книги, иногда соизмеримы, но никогда не соразмерны действительности. Если добротные комментарии, составленные Л. Лукомским как научным редактором, как-то восстанавливают читательскую любезность к этому изданию, то отсутствие предисловий Кулаковского ко всем выпускам, а также Введения к первой части перевода, написанных очень живо и до сих пор не устаревших (вопреки утверждению редактора), вызывает известную досаду. Переводчик наверняка бы разразился гневной филиппикой по поводу предпринятого переиздания. Вероятно, дело здесь не только в том, что по прошествии 90 лет



Титульные листы первых двух выпусков перевода «Истории» Аммиана Марцеллина

после публикации перевода Кулаковскогo(–Сонни) мало что изменилось в научном отношении и потому можно было довольствоваться старой композицией издания, а, скорее, вот в чём: новое, что сопровождает нынешнее издание «Истории», по качеству несколько уступает тому, чем обрамил свой перевод его переводчик.

Правда, академик Гаспаров в частном письме (19.02.2001) указал, что когда в середине 1960-х он переводил отрывки из Аммиана для издания «Памятники поздней античной научно-художественной литературы II–V вв.» (М., 1964), то так как к «своеобразному стилю Аммиана Кулаковский был равнодушен, пришлось довольно густо править». Михаила Леоновича, пожалуй, подвела память: в вышедшей под его редакцией книге указано, что перевод фрагментов Аммиана принадлежит почему-то Сонни¹; Кулаковский не упоминается. Зато Гаспаров

¹ «Я ошибся (и неточно выразился): отредактированные мной отрывки Аммиана были напечатаны <...> но это были переводы Сонни — во всяком случае, так я тогда их помнил в оглавлении: нравописание (XIV, 6 и XXVIII, 4), характеристика Юлиана (XXV, 4), Адрианополь (XXI, 12–13). Если хотите, сравните с исходным текстом: может быть, и не лучше Л. Лукомского. Издание «Алетейи» я видел только издали».

предварил публикуемые фрагменты замечательным предисловием, которое завершил словами:

«Греческое происхождение автора чувствуется в его синтаксисе, военная служба — в следах народной, “лагерной” латыни, внимательное изучение классических писателей — в многочисленных заимствованных у них выражениях. Подражая Тациту, он стремится к предельной сжатости, подражая Цицерону — к ритму в окончаниях фраз. Напряжённая цветистость его рассказа выразительна, но быстро утомляет; пестрота языка и вычурность слога делают его речь крайне тёмной. Аммиан — один из самых трудных для понимания латинских писателей».

Труд Аммиана Марцеллина назван «Res gestae» — «Деяния», но обычно переводится «История». Состоял из 31-й книги, содержал описание событий с эпохи Принципата Нервы (96 год) до разгрома римской армии в битве при Адрианополе и гибели Валента (378 год). Сохранились последние восемнадцать книг (XIV—XXXI), где излагаются события 353–378 годов, свидетелем которых был Аммиан.

«Латынь Аммиана Марцеллина, — указывает Илья Голенищев-Кутузов, — конечно, довольно своеобразна. Он не овладел латинским языком с таким совершенством, как выходец из Александрии Клавдиан; в его латинской фразеологии порой сквозит греческий речевой склад».

Это объясняется тем, что Аммиан воспитывался в греческой языковой и культурной среде и первоначально «учился» у Кассия Диона, автора «Римской истории», написанной по-гречески. Средневековью «История» Аммиана осталась почти неизвестной. Аммиана открыли гуманисты и воздали должное: одну из самых старых рукописей «Истории» нашёл в Фульде и привёз в Италию увлечённый любитель древностей Франческо Поджо Браччолини; другую, не менее, впрочем, древнюю, — из Херсфельда, которую критически издал в Базеле гуманист-чех Сигизмунд Гелений (1533-й).

Кулаковский в предисловии к переводу начинает с наблюдения, что Аммиан следовал за Тацитом.

«В литературном наследии Рима в сфере историографии три имени имеют право на особенное наше внимание — Ливий, Тацит и Аммиан Марцеллин. Первые два писателя пользуются всеобщей известностью: Ливий издавна прочно занял место в школе, Тацит — в университетском преподавании, и знакомство с этими писателями входит в круг литературного образования. С Аммианом Марцеллином дело обстоит иначе. Он

не только не вошёл в круг школьных авторов, но и в университетском преподавании выступает весьма редко, отходя хотя бы в область специальной литературы и источников исторического знания наряду с Иорданом, хрониками и тому подобным материалом.

Такая судьба Аммиана Марцеллина понятна. По эпохе, к которой он относится, и по своему стилю он не мог войти в среду блестящих представителей латинского слова, составивших особый пантеон со времени Возрождения, и ему не было там места. Но жизнь латинского слова не остановилась на Таците, и если уже в его время литературная речь придерживалась старых идеалов и творчество оскудевало, то эволюция не прекращалась: шёл непрерывный процесс развития, в котором литературные традиции и живой язык всё больше и больше расходились — до той катастрофы, которая прекратила существование римского государства и явилась началом нового процесса в истории Европы».

Тацит обрывает повествование (XVI книга), как известно, на незаконченном рассказе о гибели сенатской оппозиции Тразеи Пета при императоре Нероне и начале правления Веспасиана (70 год), Аммиан начинает повествование с 96 года — таким образом, промежуток чуть менее чем в тридцать лет классической латинской летописью оказывается незаполненным¹.

Излюбленным героем Аммиана был император-философ Юлиан, отрёкшийся от христианства и вернувшийся к почитанию богов. Ритор Либаний, учитель Аммиана, узнав о смерти Юлиана, риторически сравнил её со смертью Сократа. Действительно, Аммианом наиболее ярко и образно изложены (буквально нарисованы) два эпизода: осада персами города Амиды (XIX 2, 3) и ранение и смерть Юлиана (XXV 2, 3).

¹ От «Истории» Публия Корнелия Тацита сохранились первые четыре книги и завязка пятой: гражданская война 69 года, начало правления Веспасиана (70-й); от его «Анналов» — два больших куска: первые шесть книг, в которых повествуется о конце жизни Августа и правлении Тиберия (14–37 годы), пропавшая часть — почти вся пятая книга (кроме её начала) и начало шестой (конец 29 года — значительная часть 31-го); рассказы о Калигуле и первых годах правления Клавдия не сохранились; второй кусок — с середины XI книги (с 47-го) до середины XVI книги (70-й год). Как отмечает Иосиф Тронский, «христианский писатель IV в. Иероним сообщает, что произведение Тацита, которое он рассматривает как единое последовательное целое “от кончины Августа до смерти Домициана”, состояло из 30 книг. Какая часть из них падает на “Анналы” и какая на “Историю”, неясно (18+12 или 16+14). До нас дошло, таким образом, около половины всего труда».

Аммиан не был юлианским панегиристом: стремился к объективности. Сам будучи противником христиан, он радел о беспристрастности и упрекал Юлиана, которого считал одним из самых справедливых императоров («вторым Титом»), в том, что тот запретил «учительскую деятельность риторам и грамматикам христианского исповедания» (XXII 10, 7). Даже порой юморит:

«Скорее суевер, чем точный исполнитель священных обрядов, он без всякой меры приносил в жертву животных, и можно было опасаться, что не хватит быков, если бы он вернулся из Персии» (XXV 4, 17).

Было бы неразумно порицать римского писателя за абсолютизацию не только Юлиана, но всей излагаемой им истории Рима. Критическое отношение к материалу — быть может, одно из положительных качеств его сочинения.

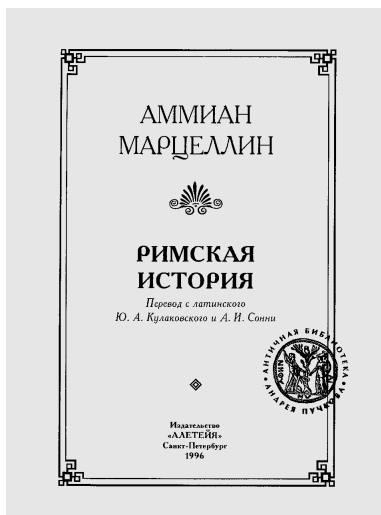
Как излишне категорично указывал Сергей Ковалёв (1886–1960), «глубокий упадок римской культуры в IV в. сказывается в языке Аммиана. Язык его вычурен, тяжёл, трудно понятен. Но вместе с тем Аммиан очень трезв, реалистичен, объективен, пользовался хорошими источниками, и потому те его книги, которые дошли до нас, служат очень важным источником по сложной и богатой истории IV в.»

Кулаковский категоричен менее:

«Мы не знаем, в какой степени современники Аммиана умели оценить его положительные качества как историка и исторического писателя. Как такой он является для своего века совершенно исключительным явлением. После того падения исторической литературы на латинском языке, в каком она пребывала в течение II и III веков, с той высоты, на какой она стояла в лице Тацита, Аммиан представляет явление совершенно неожиданное. Тут ему оказала великую службу его учёность, которая вела его от скудного настоящего к Тациту, Цицерону и великим греческим историкам. Он широко и свободно конципирует исторические факты и живую действительность, знает и осуществляет один закон истории — её правдивость и беспристрастие».

Об участии Адольфа Сонни в переводе «Истории» Кулаковский пишет так:

«При издании первого выпуска я имел деятельного сотрудника в лице моего уважаемого коллеги проф. А. И. Сонни. Второй выпуск выходит в свет под одним лишь моим именем, так как текущие учебные занятия и другие работы не позволили моему товарищу найти время



Титульные листы третьего выпуска перевода «Истории» Аммиана Марцеллина 1908 года и переиздания трёх выпусков в 1996 году (без вступительных статей)

для участия в окончательной обработке сделанного мною перевода (курсив мой. — А. П.) и приготовлении его к печати. Но в некоторых моих затруднениях и сомнениях Адольф Израилевич охотно приходил на помощь, за что я и приношу ему здесь искреннюю признательность».

Слова благодарности адресует Кулаковский и Университету, нашедшему средства на издание второго (равно как первого и третьего) выпуска «Истории» и «любезному отношению которого к учёным трудам своих сочленов немало обязана русская учёная литература», и «старому другу» Дашкевичу «за помощь в корректуре почти половины этого выпуска». Стоит ли считать перевод Кулаковского переводом Кулаковского—Сонни, как это принято до сих пор, — не знаю.

Предисловие к первому выпуску датировано 15.03.1906, к второму — 1.05.1907, третьему — 10.05.1908: продолжая готовить к изданию «Стратегику» Никифора II Фоки, через две недели Кулаковский выступит на открытии Киевского общества распространения грамотности и просвещения как товарищ председателя в здании нынешнего Театра оперетты. Таким образом, в 1905–1908 годах Кулаковский трудился главным образом над переводом Аммиана Марцеллина.

Собственное отношение к переводу он выразил в предисловии к последнему, третьему выпуску следующим образом:

«Изданием этого выпуска я заканчиваю исполнение давно задуманного мною дела представить одного из крупных исторических писателей древности в уборе русской речи... Само собою разумеется, что я далёк от мысли считать свой перевод неуязвимым и теперь, переглядывая отдельные места своего текста, нередко испытываю живое, но позднее желание дать другой тон фразе или исправить тот или иной недочёт, иначе выразить оттенок мысли... Не с филологами-специалистами надеюсь я встретиться на страницах моего перевода, а скорее с теми, кому интересны и нужны сообщаемые Аммианом Марцеллином исторические сведения, или с теми, кто, не имея возможности читать подлинник, хочет ближе понять дух античного мира путём непосредственного знакомства с литературным наследием того давнего прошлого. Мне бы хотелось надеяться, что у меня будут такие читатели и что моё издание, на которое положено немало забот, старания и труда, не окажется излишним в русской литературе».

«Чёрное солнце» советских византинистов Зинаида Удальцова (1918–1987), посвятившая мировоззрению Аммиана специальное исследование, приходит к выводу, что Аммиан был не только последним великим римским историком, но и «первым византийским историком, зачинателем светского течения в историографии ранней Византии». Может быть, именно потому Кулаковский занялся переводом, что чувствовал: вот-вот превратится в историка Византии, отважившегося первым связно проследить её от истока до устья.

И так же, как, по Удальцовой, «последним представителям угасающей римской аристократии это историческое сочинение импонировало не только своим римским патриотизмом, консервативной приверженностью к традициям воинственного и некогда победоносного языческого Рима, но и своими оппозиционными настроениями в отношении деспотизма и своеволия императоров, вырвавшихся из-под влияния сената и сенаторской знати», так и Кулаковскому как представителю российских учёных кругов не могло не импонировать его первенство в прослеживании и скрупулёзном выискивании корней именно имперской культуры и государственности в границах почившей Ромейской империи на фоне его личных пристрастий к монархизму.

На два первых выпуска «Истории» Аммиана благожелательно откликнулся редактор классического отдела ЖМНП доктор греческой словесности Сергей Жебелёв:

«Бесспорно, переводчики Аммиана Марцеллина на русский язык предприняли “полезное дело”. За исполнение его им должны быть признательны не только “часть русских образованных людей”, но и лица, специально занимающиеся классической филологией и древней (а также и раннесредневековой) историей <...> хорошие переводы древних писателей на русский язык — “полезное дело” не только теперь, когда нам приходится в силу сложившихся условий времени и различного рода обстоятельств, ничего общего с наукой и просвещением не имеющих, переживать “крушение надежд, возлагавшихся на классическую школу”, — хорошие переводы были полезны и тогда, когда на классическую школу никаких посягательств не предпринималось...»

Реагируя на замечания Кулаковского о принципах перевода:

«Какие требования мы можем предъявить к хорошему переводу классического писателя? Основное требование, мне кажется, может быть сформулировано так: возможно точная передача не только содержания, но и формы переводимого произведения при безусловной корректности изложения с чисто литературной точки зрения. Аммиан Марцеллин не принадлежит к числу тех писателей, перевод которых на родной, живой язык дело лёгкое <...> Перевод, за исключением небольшого числа мелких мест, исполнен вполне литературно и читается без особенного “напряжения”, *читается, во всяком случае, легче, чем подлинник* (курсив мой. — А. П.). В этом, разумеется, заключается немаловажное достоинство перевода, благодаря которому значительно облегчается изучение Аммиана Марцеллина в подлиннике».

То же настроение у Жебелёва в следующей рецензии:

«Достоинство перевода, его возможная точность и литературность, отличающая первый выпуск, всецело, если даже не в большей степени, сопутствуют и второму выпуску. Конечно, как бы ни был хорош перевод, читатель его всегда найдет случай “придаться” к тем или иным выражениям, которые он перевёл бы иначе, но это будут именно “придирки”, и как таковые едва ли стоит их приводить... Вообще же и внешность издания, и его исправность, вряд ли оставляют желать чего-либо лучшего».

Вероятно, отсутствием конкретных замечаний объясняется отсутствие жебелёвской рецензии на последний выпуск перевода «Истории», который бы должен был логично замкнуть рецензионную рамку отдела классической филологии в ЖМНП.

Кроме Кулаковского, к полному переводу Аммиана на русский язык не обращались, быть может, в силу отсутствия: он качественно заполнил нишу. Ведь писал Аммиан в IV веке: «Иные боятся науки как яда; читают с большим вниманием только Ювенала и Мария Максима и в своей глубокой праздности не берут в руки никаких других книг» (XXVIII 4, 14). Нам бы его сетования. Впрочем, к Кулаковскому и его переводу они отношения не имеют.

Алексей Толстой, «советский граф», в «Хождении по мукам» (7-я глава второй части) вкладывает в уста начитанного немецкого солдата — поездного попутчика главной героини Екатерины Дмитриевны — цитату из Аммиана. Но не в переводе Кулаковского, а в изложении английского историка XVIII века Эдварда Гиббона из его грандиозной «Истории упадка и разрушения великой Римской империи». Гиббон признавался, что он слил в связный рассказ два фрагмента Аммиана, в которых говорится о прихотливости римской знати: XIV 6 и XXVIII 4. Толстому этот труд мог быть известен в русском переводе Василия Николаевича Неведомского (Москва, 1883–1886).

«Немец развязал вещевой мешок, со дна его достал пухлую, в потёртой коже, записную книжку и некоторое время со сдержанной улыбкой перелистывал её.

— Вот, — сказал он, пересаживаясь на Катину лавку, — чтобы вам лучше представить, каковы из себя были римляне, перед гибелью, послушайте одно место из Аммиана Марцеллина. Он так описывает этих владык вселенной:

“Длинные одежды из пурпура и шёлка развеваются по ветру и дают возможность рассмотреть под ними богатую тунику, украшенную вышивками, изображающими различных животных. Сопровождаемые свитой в пятьдесят человек прислуги, их закрытые колесницы потрясают мостовую и дома, мчась по улице с необыкновенной быстротой. Если кто-нибудь из них входит в бани, обычно соединённые с магазинами, ресторанами и местами для прогулок, — он повелительным тоном требует, чтобы предметы общего употребления были отданы в его исключительное пользование. Выходя из бани, он надевает перстни и пряжки с драгоценными камнями и облачается в дорогой халат, полотна которого хватило бы на двенадцать человек. Затем следуют верхние одежды, которые льстят его самолюбию; при этом он не забывает принять величественную осанку, которой нельзя было бы простить и великому Марцеллу, завоевателю Си-

ракуз. Впрочем, иногда и он предпринимает смелые походы с огромной свитой слуг, поваров, клиентов и отвратительно обезображенных евнухов в свои итальянские поместья, где забавляется охотой на птиц и кроликов. Если случайно, особенно в жаркий полдень, он имеет храбрость переплыть на раззолочённой барке озеро Лукрин, отправляясь на свою приморскую дачу, он сравнивает потом это путешествие с походами Цезаря и Александра. Если муха проникает за шёлковую занавеску палубы или сквозь складки упадёт луч солнца, он оплакивает своё бедствие, сетуя, что не родился в странах киммерийских, где вечный мрак. Лучшими гостями у знатных считаются паразиты и льстецы, умеющие рукоплескать каждому слову хозяина. Они смотрят с восторгом на мраморные колонны комнат и мозаичные полы. За столом птицы и рыбы необыкновенной величины вызывают всеобщее удивление. Приносят весы, чтобы удостовериться в полновесности этих яств, и в то время, когда благоразумные гости отворачиваются от такой сцены, паразиты требуют нотариуса, чтобы составить протокол в достоверности подобных чудес...”

— Да, sic transit... — сказал немец, захлопывая записную книжку. — Эти люди пошли бродить в поисках пропитания по дорогам и разрушенным городам. А волны варваров продолжали катиться с востока, опустошая и грабя. В какие-нибудь пятьдесят лет от Римской империи не осталось и следа. Великий Рим зарастал травой, среди покинутых дворцов паслись козы. Почти на семь столетий опустилась ночь над Европой».

То же самое было в 1918-м с Россией и этими двумя людьми, случайно встретившимися осенью в случайном вагоне, шедшем по гетманской Украине в охваченный большевизмом Питер. Едва ли Аммиан был знаком Алексею Толстому в переводе Кулаковского.

Забавный 1905-й. С самого начала год выдался жарким: летописям 1905-го счастливые народы не позавидовали бы.

2-го января ученик торговой школы стрелял в бывшего московского обер-полицмейстера Дмитрия Трепова, 3-го января началась забастовка на Путиловском заводе, 9-го — чудовищная антиправительственная провокация «Кровавое воскресенье», 11-го начались забастовки в Москве и Ярославле, в Ковне и Вильне, Риге и Ревеле, Минске, Киеве, Либаве, Саратове, Тифлисе и Варшаве; 18-го забастовали Самара и Томск. 21-го Вторая Маньчжурская армия отступила после 10-дневного боя, оставив десять тысяч убитыми. 4-го февраля в Кремле бомбой Каляева разорван в куски великий князь Сергей Алек-



Крест ордена Св. Владимира

сандрович; 6–9 февраля — кровавое столкновение в Баку между армянами и азербайджанцами; 6–25 февраля — Мукден, 18-го — Манифест «О призыве властей и населения к содействию самодержавной власти в одолении врага внешнего, в искоренении крамолы и в противодействии смуте внутренней», введение «Временных правил» в университетах. Впрочем, я не пишу повесть временных лет: такого насыщенного газетными событиями года в истории Российской империи ещё не было.

Год был очень длинным; наиболее отвратительны — летние еврейские погромы, особенно жестокие в Белостоке (Кулаковский называл их «белостокскими событиями», «белостокскими беспорядками») и Житомире. Восемнадцатилетний Самуил Маршак писал Екатерине Пешковой о белостокском погроме:

«Там расстреливали стариков, женщин, детей. В Житомире 2-й погром. Один драгунский офицер изрубил на мелкие куски еврейскую девушку. Погромы в Ковенской губернии, в Невеле. Самооборона бессильна. Сколько молодёжи погибло в самозащите. Совсем юной, моего возраста <...> По-моему, вся наша молодёжь, старшая и младшая, должна стать в ряды самообороны. Теперь в западных губерниях мобилизация. Это значит, погромы, погромы и погромы. Тяжело, невыносимо» (17.08.1905).

Но лично для Кулаковского 1905-й начался с приятного: в субботу, 1-го января типовым высочайшим приказом № 1 он пожалован «за отлично-усердную службу» орденом Св. Владимира 4-й степени, который обычно давали за 35 лет «неотлучной и беспорочной» гражданской службы. В Капитул орденов Кулаковским было внесено 40 рублей, но взамен кавалер получил прибавку в ежегодные пожизненные 100 рублей.



С.-Петербург. Перед Зимним дворцом 9.01.1905

Через воскресенье, 9-го (22-го — по новому стилю) января, петербургские рабочие, подзуженные попом Георгием Гапоном (1870–1906), зачем-то шли к царю вручить челобитную (будто почта плохо работала), написанную в духе церковной риторики: грамотно, структурно. Требовали принять меры против: 1) невежества и бесправия русского народа; 2) народной нищеты; 3) гнёта капитала над трудом.

«Вот, государь, наши главные нужды, с которыми мы пришли к Тебе!

Повели и поклянись исполнить их, и Ты сделаешь Россию счастливой и славной, а имя своё запечатлеешь в сердцах наших и наших потомков на вечные времена. А не повелишь, не отзовёшься на нашу мольбу, — мы умрём здесь, на этой площади, пред Твоим дворцом. Нам некуда больше идти и незачем! У нас только два пути: или к свободе и счастью, или в могилу. Укажи, государь, любой из них, мы пойдём по нему беспрекословно, хотя бы это и был путь к смерти. Пусть наша жизнь будет жертвой для истрадавшей России! Нам не жалко этой жертвы, мы охотно приносим её!»

Написанная Гапоном с обилием восклицательных знаков, челобитная в тот день до царя не добралась, последствия известны. Николая II тогда не было в столице, в толпу стреляли; 130 убитых были преданы земле на Преображенском кладбище, по больницам — триста раненых. Царь записал в дневнике:

«Тяжёлый день! В Петербурге произошли серьёзные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города, было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело!»

Николай и Александра Фёдоровна назначили из личных средств 50 тысяч рублей для оказания помощи членам семей убитых и раненых 9 января. Наиболее распропагандированные из раненых отказывались.

По слову Мандельштама,

«петербургским рабочим не пришлось встретиться с царём, массовое движение, задуманное по строго определённом плану, было обезглавлено волей истории, и ни один из актёров великого дня не выполнил указаний режиссёра — не дошёл до огромной, как озеро, подковообразной площади с мраморным столпником-Ангелом в середине <...> И каждый из них справился самостоятельно со своей задачей: обезглавливанием веры в царя, цареубийственным апофеозом, начертанным кровью на снегу <...> Гапон ступевался: как только началось действие, он был уже ничем, он был уже нигде. Столько убитых, столько раненых — и ни одного известного человека (только профессору Тарле поранило голову саблей — единственная знаменитость). Хор, забытый им на сцене, брошенный, предоставленный самому себе. Кто знает законы греческой трагедии, тот поймёт — нет более жалкого, более раздирающего, более сокрушительного зрелища».

Россия прилюдно забеременела великобританской идеей конституционной монархии, и через положенные девять месяцев царь вынужденно разродится Манифестом 17 октября.

Мандельштам ошибся в одном: конечно, Евгений Тарле, магистр всеобщей истории Университета св. Владимира, до конца дней носил на голове шрам от слепой казачьей шашки. Но получил этот шрам он не 9-го января, а 18-го октября, на следующий день после «дарованных свобод», у Технологического института, по глупости участвуя в привычной для тех дней забастовке. Граф Витте, автор Манифеста 17 октября, вспоминал, что он Тарле тогда не пожалел,

«так как он всё смутное время в университете читал тенденциозные лекции о Французской революции и не счёл приличным хотя бы после 17 октября держать себя спокойно, как подобало бы себя уважающему профессору».

В письме из Гельсингфорса книгоиздателю Лонгину Пантелееву через пару месяцев после ранения Тарле писал:



Вячеслав Константинович Плеве, Дмитрий Сергеевич Сипягин

«Я чувствую себя совершенно здоровым и бодрым, и вынужденное безделье мне так надоело, что я прямо часы считаю до того момента, когда наконец возьмусь за занятия».

Тем не менее, 9-го января «никто не знал в этот жёлтый зимний день, что она <Обуховская больница> принимает новорождённую красную Россию, что каждое убийство было рождением», — что позволено поэту, то не позволено царю.

Воздвигшаяся между царём и страной стенка оказалась непроницаемой: до самых торжеств Трёхсотлетия Дома Романовых в 1913-м царь не показывался на улице. Вернувшийся в апреле 1905-го из-за границы Павел Милюков заметил, что тогда «революционное движение далеко не успело проникнуть в массы; его роль заменяла “симуляция революции” интеллигентами <...> Первые попытки социалистических течений организовать в партии не успели ещё выработать своих программ — и уже раскололись по вопросам тактики».

Насильственные смерти министра просвещения Николая Боголепова в 1901-м, министров внутренних дел Дмитрия Сипягина весной 1902-го и Вячеслава Плеве летом 1904-го, в феврале 1905-го дополнились страшной гибелью московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Василий Розанов в «Мимолётностях» вспомнил анекдот середины 1900-х: когда Боголепов, убитый эсерами, явился на тот свет, встретив-

шие его Сипягин и Плеве, обрадовались: «Николай Павлович, а мы вас дожидались — не доставало третьего для игры в вист». С великим князем они, вероятно, уже засиживались.

Вообще, начиная с каракозовского покушения на Александра II в 1866-м, чиновники с разной регулярностью валились от рук террористов: в 1870-х реже, в начале XX века чаще. Анна Гейфман в убедительной монографии «Революционный террор в России, 1894–1917» (Москва, 1997) приводит цифры: начиная с октября 1905 года в империи были убиты и ранены 3 611 чиновников; к концу 1907 года это число увеличилось почти до 4 500. Вместе с 2180 убитыми и 2530 ранеными частными лицами общее число жертв в 1905–1907-м — более 9000 человек. А ведь убийцы хотели порядка, не отдавая отчёт, что именно чиновники тщились если не о порядке (что в славянской стране невозможно в принципе), то хотя бы о его видимости.

В экспроприациях, то есть кражах, участвовали ставшие потом знаменитыми Пилсудский и Коба Сталин. Вторая жена Пилсудского Александра Щербиньская вспоминала, что они встретились во второй половине 1907 года в Киеве: Пилсудский разрабатывал план ограбления банка, что должно было решить финансовые трудности Польской социалистической партии. С изобретательностью, которой бы позавидовал иной медвежатник, он хотел устроить истопником в здании киевского банка одного из конспираторов, поскольку котельная помещалась под сейфами, и можно было с помощью форсунки попытаться пробраться к ним через дыру в полу. Вся операция требовала длительной подготовки, к которой была привлечена, в частности, Щербиньская. Они встречались часто, гуляли по приднепровским паркам. Дело с ограблением на этот раз не выгорело, хотя боевики ПСП грабили банки и почтовые поезда, передавая добытые средства на «цели революционной борьбы».

Попечитель округа Беляев 6.02.1905 направляет ректору Университета письмо:

«С высочайшего соизволения, последовавшего 8 апреля 1896 г., г. товарищ министра народного просвещения предложением от 29 истёкшего января за № 2152 командирует ординарных профессоров Императорского университета св. Владимира гг. Кулаковского и Павлуцкого на предстоящий в апреле сего года Международный археологический конгресс в Афинах, о чём и имею честь уведомить ваше превосходительство».

Мне не удалось разыскать сведений о действительной поездке Кулаковского (и Павлуцкого) на этот учёный форум. Во всяком случае, в статье Жебелёва, побывавшего на Археологическом конгрессе и по привычке сочинившего мемуар (ЖМНП, 1905, июль), имя Кулаковского не упоминается.

Когда через три года, в 1908-м, начнут комплектоваться группы российских учёных на II Археологический конгресс в Каире, Кулаковского (вместе с Павлуцким и Сонни) тоже включают в состав делегации: сохранилось отношение Департамента Министерства просвещения в Министерство иностранных дел от 23.10.1908. На Международный конгресс исторических наук в Риме в 1903-м он ездил охотнее.

Распоряжением министра просвещения от 24.09.1905 (№ 20009) вызван в С.-Петербург для участия в работе комиссии по рассмотрению проекта Положения о подготовительных школах и гимназиях, «и в этой командировке пробыл с 2.X 1905 по 8.XI 1905», в охотку навестив семью брата и застав объявление Манифеста 17 октября.

По поводу работы в комиссии находим в его летнем письме Флоринскому от 6.06.1905 из имения Карпинец в Гродненской губернии следующее:

«Здесь, слава Богу, не слышно ни о каких аграрных волнениях, и отношения местных крестьян имеют тот же благодушный вид, что и в прошлом году. Дай Бог, чтобы так оно и осталось. Ничего не узнал и о белостокских беспорядках, хотя расспрашивал евреев в ближайшем местечке, где мы получаем почту. Кстати, почтовый чиновник сказал мне, что самое большое число писем, прибывающих в его район, — из Америки. Эта эмиграция имеет здесь вид отхожего промысла, поддерживающего благосостояние здешнего крестьянства.

Писал мне брат из Петерб[урга], что унив[ерситетская] ком[иссия] составлена в очень ограниченном числе членов: Деревицкий из Одессы, Ивановский — Петерб[урга], наш Суслов и Щербаков (медик) из Варшавы, а кроме того министр и его товарищи. Это он слышал от Щербакова, который, как и наш Суслов, был неожиданно вызван телеграммой. Сомневаюсь я, чтобы не были представлены Москва, Харьков, Казань. Недоумеваю, почему в этой ком[иссии] от Петерб[урга] незначительный Ивановский, а не такой почтенный туз как Сергеевич, отзывавшийся и прежде, и теперь по унив[ерситетскому] вопросу?»

Та же тема в октябрьском письме, уже из столицы:



Владимир Гаврилович Глазов

«Хочу думать, что у них там [у жены и детей в Киеве] всё благополучно, но начинаю очень опасаться, что моё здесь пребывание затянется, а ещё больше, что прервётся сообщение между Киевом и Петербургом. То, что я кругом себя вижу, ничего тревожного в себе не заключает; но общее настроение самое тревожное и царит неуверенность в завтрашнем дне. Это, впрочем, и в газетах видно.

Министерства работают лихорадочно, хотя с 6 июля им возвращены все дела из Государств[енного] совета, так как-де они подлежат внесению в Думу <...> Министр и Лукьянов заседают в несчётном числе комиссий и для нашей не находится времени. Члены её — всё больше петербуржцы, из общно знакомых — Латышев, Никитин, Радлов, Мусин-Пушкин, Извонский, Сонин; пригласил туда министр членов унив[ерситетской] комиссии, которая всё ещё не закончила своих дел, так как, по их словам, Лукьянов очень затягивает обсуждение, возбуждая новые вопросы и возвращая к уже рассмотренному и решённому.

Председательствует у нас министр [генерал Глазов], держит себя очень любезно, но не может или не хочет держать бразды, и выходит так, что отдельные замечания, часто вовсе не идущие к делу, затягивают и отвлекают в сторону. Хотя он в конце резюмирует и усиливается поставить вопрос для дальнейшего обсуждения, но его сбивают в сторону и он подчиняется, так как сам не имеет ясных и точных представлений о вопросах, да и трудно ему их иметь. Кстати, решение дать автономию принадлежит не нашему министерству, а явилось результатом совещания в августе (кажется, 6 числа), где об этом самом говорил Коковцов и особенно определён Трепов, начальник полиции. Видел я у брата секретный документ — отчёт об этом совещании министров.

К чему придёт наша комиссия и когда закончит свои дела, не видно.

Ходят слухи, что как только Витте возьмёт премьерство, Глазов получит отставку. Говорят, будто Витте выражал сожаление, что-де имел в виду покойного Трубецкого на его место. Другого кандидата не называют.

Стачка на жел[езных] дорогах всех здесь волнует и тревожит. Не знаю ничего о вчерашнем железнодорожном митинге в Университете. Соболевский собирался туда пойти вчера, когда я к нему заходил. Он бодр и весел, даже глядит моложе, чем в прошлом с ним свидании, а на будущее смотрит очень мрачно: видит, что ещё до января будет попытка сделать кровавый переворот. Вчера слышал, что на днях будет объявлена Конституция, но об этом есть сегодня и в газетах.

На свой экзамен в комиссии я вряд ли попаду. Пригласи Сонни в таком случае, а потом придётся разделить вознаграждение».

Манифест 17-го октября. Это письмо датировано 12-м октября. «Конституция», высочайший манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», в котором были провозглашены гражданские свободы, предусмотрено создание Государственной думы и проч., «дарован» Николаем II 17-го.

Витте позднее запишет:

«Если бы государь после Портсмутского мира сам, по собственной инициативе сделал широкую крестьянскую реформу в духе Александра II, сам, по собственной инициативе, дал известные вольности, давно уже назревшие, как, например, освободил от всяких стеснений старообрядцев, смело стал на принцип веротерпимости, устранил явно несправедливые стеснения инородцев и проч., то не потребовалось бы 17-го октября».

Борис Пастернак:

«В ответ на выступления студенчества после манифеста 17 октября буйствовавший охотнорядский сброд громил высшие учебные заведения, университет, Техническое училище. Училищу живописи тоже грозило нападение. На площадках парадной лестницы по распоряжению директора были заготовлены кучи булыжника и ввинчены шланги в пожарные краны для встречи погромщиков».

Профессор Николай Бубнов, ставший доктором всеобщей истории, минувя магистерство, тогдашний декан, в мемуарах «Сквозь череду потерь» (1937):

«в Киеве дарование конституции вызвало крупные беспорядки. Революционеры, среди которых много еврейской малоимущей молодёжи (многоимущие держались, разумеется, других взглядов), ворвались в городскую думу и там произвели разгром, испортив между прочими порт-

ретами и портрет императора Николая II. Пришлось пустить в ход войска <...> В самый день, если не ошибаюсь, объявления конституции я шёл обедать с пасынком в ресторан Стаматина на Прорезной, недалеко от Крещатика. По улице параллельно с нами шёл взвод солдат. По ним из дома на углу Музыкального переулка и Прорезной из верхних этажей вдруг открыли стрельбу из револьверов. Солдаты дали по команде залп, и началась битва <...>

В Киеве происходили вооружённые столкновения и после, но я их лично не видел. Один раз стрельба началась на Владимирской улице, около тех меблированных комнат, в которых я жил. Я нашёл более благоразумным не подходить к окнам, а продолжал писать одно очень интересное для меня исследование и сохранял полное спокойствие, удивляясь людям, которые находили целесообразными такие перепалки. Я замечал и впоследствии ещё не раз, что для моей чувствительной и легко теряющей душевное равновесие природы работа над интересующей меня научной темой была лучшим способом сохранить это равновесие. Не скажу, чтобы я равнялся Архимеду <...> но всё же мне за работой удавалось сохранить душевное равновесие впоследствии и при бомбардировке Киева большевиками. Значительно хуже было, когда в таком положении я был лишён возможности работать».

Киевский гимназист Константин Паустовский в «Повести о жизни» вспомнит, как к ним в третий класс быстро вошёл инспектор Павел Бодянский (1857–1922), преподаватель истории и древних языков, в новом форменном сюртуке. Глаза этого пропагандиста шашечной игры хитро блестели.

— По случаю высочайшего манифеста о даровании нашему народу гражданских свобод занятия в гимназии прекращаются на три дня. Поздравляю! Складывайте книги и ступайте домой. Но советую не путаться в эти дни у взрослых под ногами.

«Мы выбежали из гимназии. В тот год стояла необыкновенная осень. В октябре ещё жарко грело солнце. Сады, убранные сухим золотом, почти не роняли его на дорожки и горели во всей красоте. Мы ходили в летних шинелях.

Мы высыпали на улицу и увидели около длинного здания университета толпы с красными флагами. Под колоннами университета говорили речи. Кричали “ура”. Вверх летели шапки.

Мы влезли на ограду Николаевского сквера, тоже кричали “ура” и бросали в воздух фуражки. Падая, они застревали в каштанах. Мы трясли каштаны, листья сыпались на нас трескучим дождём. Мы хохота-



Николай Мартинианович Цытович

ли и были в восторге. У нас на шинелях были уже приколоты красные банты. Чёрный бронзовый Николай Первый стоял, выставив ногу, на постаменте среди сквера и надменно смотрел на этот беспорядок».

Затем, как водится, появились солдаты и начали разгонять толпу, а Паустовский описывает почти приключенческое бегство домой — как позднее Булгаков в «Белой гвардии» опишет бегство Николки Турбина по пустынным улицам киевского центра: Паустовский и Булгаков были однокашниками и, возможно, тот день запомнился обоим, только одному для реальных воспоминаний, другому — для беллетристики.

Теперь зайдём внутрь Университета.

«Наступил октябрь 1905 года, — пишет Павел Блонский. — Университет открыл свои двери для митингов революционному народу. Помню первое появление его. По лестнице вверх беглым шагом устремляется толпа. Стоящий внизу ректор Цытович тщетно протестует: его даже не слышно. Полуобернувшись с лестницы, ему что-то неслестное кричит социал-демократ товарищ Василий, не студент, по-видимому комитетчик, нелегальный».

Начались митинги, с каждым днём разрастающиеся, так как началась всеобщая забастовка <...> Митинги рассыпались по всему университету. Ораторы носятся из одной аудитории в другую. Ведётся сбор денег на оружие. Публика самая пёстрая, до учащихся средних учебных заведений и даже военных <...> После 17 октября революционная деятельность

стала частично легализоваться. В университете продавали открыто вышедшие политические брошюры. Открыто в аудиториях делались доклады по программным вопросам и шли дискуссии. За стенами университета возникло профсоюзное движение».

Николай Полетика (1896–1988), киевский младшеклассный гимназист, затем крупный историк Великой войны, не остаёт от Паустовского.

«14 октября 1905 года в Киеве перестали выходить газеты и остановились трамваи. Постепенно прекратились работы на всех предприятиях и занятия в школах. Стали закрываться магазины <...> В квартирах срочно запасали воду и продовольствие, какое только можно было достать. Но 17 октября магазины вдруг открылись и пошли трамваи, а на следующий день, 18 октября, в утренних листках телеграмм, выпускаемых киевскими газетами, был напечатан царский манифест <...> Бабушка, спустившаяся к Галицкому базару, принесла известие, что в городе идут манифестации, переходящие в драки между сторонниками Манифеста и “защитниками царя”. Вечером у киевской Городской думы на Крещатике войска стреляли в толпу, а на Подоле, на Галицком базаре и на Лукьяновке начался еврейский погром, который постепенно охватил весь город.

Погромы продолжались несколько дней — до 21 октября. По словам бабушки, войска и полиция легко могли прекратить их, но не делали ничего. Они равнодушно смотрели, как погромщики, босяки и оборванцы громили еврейские квартиры и лавки, выбрасывали на улицу мебель, имущество, товары, уничтожая и портя менее ценные и раскрадывая более дорогие вещи. Полиция, особенно на Подоле, не только спокойно смотрела на погром и убийство евреев, но даже призывала погромщиков “бить жидов” <...> Погромщики врывались в дома и вытаскивали оттуда не только имущество, но и избитых, окровавленных людей, от которых требовали прочесть молитву или показать портрет царя. В квартирах оставались трупы убитых <...> Крещатик был буквально завален выброшенными из магазинов товарами. На Подоле были сожжены ряды еврейских деревянных лавок. В Липках (на Печерске), в наиболее богатой и аристократической части Киева, были разгромлены особняки еврейских богачей — барона Гинзбурга, братьев Бродских и других.

Только к вечеру 20 октября войскам был отдан приказ принять решительные меры и прекратить погром. Мы видели из нашей квартиры, как войска на Галицком базаре стреляли в толпу громил, которая разбежалась, оставив за собой несколько убитых и раненых <...> Это было моё первое знакомство с “еврейским вопросом” в “истинно-русском” и “ис-



Илья Репин. Манифестация 17 октября 1905 года. 1907–1911, С.-Петербург, ГРМ

тинно-украинском” стиле. Бабушка, умная и добрая старушка, небогатая русская дворянка, была так потрясена сценами погрома, что всю зиму чувствовала себя плохо, болела и скоропостижно скончалась весной 1906 года от кровоизлияния в мозг.

Витте полагал, что Николай II исполнил бы данные 17 октября обещания, если бы культурные классы населения выказали благоразумие и сразу же отбросили рудименты «революционных хвостов». Но этого не случилось, «культурные» классы оказались на той же высоте, что и малокультурные.

Наталья Полонская писала, что вообще в октябре–ноябре 1905 года в Киеве ещё «верили в новую эру» (обычное дело).

«Характерным является такой эпизод. Во всех прогрессивных газетах было напечатано “открытое письмо” против действий полиции и казаков во время погрома, в частности, с упреком, что они не предпринимали мер для охраны еврейского населения. Письмо подписали жёны выдающихся управленцев Киева, профессоров, генералов и т. д.»

Когда Репин в 1907-м разрыдался патриотической картиной «Манифестация 17 октября 1905 года», с которой цензура не знала что делать, Василий Розанов: «Жидовство, сумасшествие, энтузиазм и святая чистота русских мальчиков и девочек — вот что сплело нашу революцию, понёсшую красные знамёна по Невскому на другой день по объявлении манифеста», — будто гвозди между брусчаткой вгоняет, прямо в утоп-

танный конский навоз. «Репин, не замечая сам того, нарисовал “масленицу русской революции”, карнавал её, полный безумия, цветов и блаженства». Репин доработал полотно в 1911-м, розановское описание её в 1913-м завершается:

«Картину “17-е октября” надо сопоставлять с “Мундирной Россией”.

Это — знаменитый “Государственный совет”... Одна другую поясняет!..

И как русская история становится понятна в этом сопоставлении».

Другой Василий, антисемит Шульгин (1878–1976), — оставил пестрящие растерянными многоточиями воспоминания о киевских днях объявления Манифеста в романе «Дни».

«Мы пили утренний чай. Ночью пришёл ошарашивающий манифест.

Газеты вышли с сенсационными заголовками: “Конституция”... Как трудно будет всем. Офицерам, чиновникам, полиции, губернаторам и всем властям... Всегда такие акты готовились... О них сообщалось заранее властям на места, и давались указания, как понимать и как действовать... А тут бухнули... Как молотом по голове... и разбирайся каждый молодец на свой образец. Будет каша, будет отчаянная каша... Там, в Петербурге, потеряли голову от страха... или ничего, ничего не понимают... Я буду телеграфировать Витте, это Бог знает что они делают, они сами делают революцию. Революция делается оттого, что в Петербурге трясутся. Один раз хорошенько прикрикнуть, и все станут на места... Это ведь все трусы, они только потому бунтуют, что их боятся. А если бы увидели твёрдость — сейчас спрячутся... Но в Петербурге не смеют, там сами боятся.

Там настоящая причина революции — боязнь, слабость... Теперь бухнули этот манифест. Конституция! Думают этим успокоить. Сумасшедшие люди! Разве можно успокоить явным выражением страха. Кого успокоить?.. Выдержит ли “конституционная Россия” какое-нибудь грозное испытание... “За веру, царя и отечество” — умирали, и этим создалась Россия.

Но, чтобы пошли умирать “за Государственную думу”, — вздор».

Шульгин вспоминает нервную «речь» отчима, Дмитрия Ивановича Пихно, экономиста, профессора Университета, редактора (в 1879–1918-м) газеты «Киевлянин», стоявшей на жёстких монархических позициях:

«19 октября 1905 года “Киевлянин” всё-таки вышел. Старый наборщик выполнил своё обещание и набрал две страницы. Больше в Киеве не вышло ни одной газеты. Все они ознаменовали рождение нового политического строя тем, что сами заткнули себе рот. Впрочем, если не ошибаюсь, это же произошло во всех других городах России».

Физиолог и ботаник Николай Холодный, тогдашний сту-



Франц Кафка

дент, был свидетелем разыгравшихся драм — от всенародного торжества по поводу завоевания «конституции» до выступления чёрной сотни, которая при полицейском попустительстве организовывала погромы.

«Были отдельные попытки избиения и студенческой молодёжи. Я жил в то время в Липках, и мне приходилось почти ежедневно проходить через Бессарабку, где помещался штаб чёрной сотни. Однажды в этом месте какие-то босяки начали бомбардировать меня камнями, к счастью, не причинившими мне никакого вреда. После этого я в течение долгого времени должен был обходить опасный район.

В марте 1906 г. занятия в университете возобновились, и в мае мы получили выпускные свидетельства. Государственные экзамены были отложены на конец года».

С середины октября 1905 по март 1906-го у профессоров в связи с закрытием Университета счастливо обнаружилось оплачиваемое свободное время, и Кулаковский занялся переводом «Истории» Аммиана Марцеллина. О таких временах человек позитивно творческий может мечтать. Так Альберту Эйнштейну и Эрвину Пановскому в Институте высших исследований Принстонского университета платили за то, чтобы они просто *думали*, записывая придуманное, и не были отягощены чтением лекций или обязанностями дурацких сидячек на учёных советах. Но в Принстоне, по счастью, не было революционеров с налитыми кровью волчьими глазами.

Во всяком случае, период 1905–1907 годов на научной работе Кулаковского, который всегда знал, чем занять свободное время, отразился положительно и с большей пользой для истории культуры, чем для хроники «исторических событий».

Размах событий 1905 года был настолько шумным, что даже иностранный Франц Кафка, казалось бы, совершенно далёкий от политики человек, по бакенбарды погружённый в жуткие фантазии и превращения, в одном рассказе 1912 года вспоминает о Киеве 1905-го.

«Если ты постараться, — увещевает герой свихнувшегося к старости отца, — ты должен вспомнить. Он рассказывал тогда невероятную историю о русской революции. Как он ездил по делам к Б. в Киев, и там были волнения, и он видел, как на балконе один священник вырезал у себя на ладони широкий кровавый крест, поднял эту руку и воззвал к толпе. Ты же сам потом эту историю не раз пересказывал».

Мне не удалось разыскать печатных свидетельств этого события, и если не числить его по разряду кафкианской выдумки, можно подумать, что речь о попытке православного батюшки помешать еврейскому погрому 18–20.10.1905.

Киев вообще славился «знаменитыми ночными облавами на евреев, когда квартиры и дома на многих улицах обыскивались полицейскими отрядами для разыскания и немедленного выселения евреев, не имевших права пребывания в городе. Он оставался единственным городом в Российской империи, где сохранялись во всей неприкосновенности традиции средневекового гетто», — говорится в статье в «Еврейской энциклопедии». Речь может идти даже о поступке Платона, епископа Чигиринского, который обратился 18.10.1905 к разъярённой толпе с пасторским увещанием, прося прекратить избиение и ограбление евреев. Как указывается в издании «Киевский и одесский погромы в отчётах сенаторов Турау и Кузминского» (С.-Петербург, 1907, с. 45–47),

«в течение дня владыка совершал крестный ход по улицам Подола, где разгром был особенно силён, и просил громил прекратить погром. Умоляя толпу пощадить жизнь и имущество евреев, епископ несколько раз опускался перед нею на колени. Во время одного из таких обращений, к нему из толпы подскочил какой-то громила и с угрозой крикнул: “И ты за жидов?” Большинство, казалось, поддавались уговорам и мольбам епископа, но тут же раздавались голоса, что нужно бежать в соседний ев-



*Николай Ярошенко
(дядя Бориса Савинкова)
Курсистка, 1883.
Калуга, Калужский музей
изобразительных искусств*

рейский магазин и взять оттуда кусок материи, чтобы расстелить её на земле перед владыкой, и немедленно часть толпы направлялась туда для исполнения задуманного. По удалении крестного хода толпа опять устремлялась в еврейские магазины и опять грабила их».

Вырезание креста на ладони, балкон — домьслы.

В 1927-м Максим Горький в «Жизни Клима Самгина» покажет такого университетского персонажа — Игоря Туробоева, «неприятно вежливого, но такого же ловкого, бойкого». Туробоев говорит:

«В университете учатся немцы, поляки, евреи, а из русских только дети попов. Все остальные россияне не учатся, а увлекаются поэзией безотчётных поступков. И страдают внезапными припадками испанской гордости. Ещё вчера парня тятенька за волосы драл, а сегодня парень считает небрежный ответ или косой взгляд профессора поводом для дуэли. Конечно, столь задорное поведение можно считать за необъяснимо быстрый рост личности, но я склонен думать иначе.

— Да, — сказал Кутузов, кивая тяжёлой головой, — наблюдается телячье задирание хвостов. Но следует и то сказать, — уж очень неумело надувают юношество, пытаюсь выжать из него соки бумьслыя...

— Буесловия, — поправил Туробоев».



Сергей Николаевич Трубецкой

От буесловия до суесловия, как мы знаем, один шаг, и не только студенчество питалось суесловием от суемыслия, до бумьслия, увы, так и не дотягивая.

Гибель князя Трубецкого. В цитированном выше письме Кулаковского упоминается имя князя Сергея Николаевича Трубецкого, кандидатуру которого здравомысленнейший Вите намеревался предложить в качестве министра просвещения.

Смерть князя Трубецкого — и одна из печальных страниц истории просвещения, и своего рода выстрел Принципа в Сараево: его стихийно неуправляемые похороны предварили Манифест 17 октября.

Собственно говоря, Трубецкой, философ-метафизик и публицист-демократ, пал жертвой собственного радения о демократизации университетских реформ. 21.06.1905 в докладной записке Николаю II он пишет о необходимости реорганизации высших учебных заведений, всячески подчёркивая пагубный характер для университетской жизни положений Устава '1884, отменившего автономию.

Усилия увенчались: высочайшим распоряжением от 27.08.1905 Московскому университету, где Трубецкой служил профессором, возвращается автономия, а 2-го сентября князь избирается ректором, став первым выборным ректором Университета. Избрание оказалось роковым. Осуществить преобразования



С.-Петербург. Похороны князя Сергея Трубецкого, 2.10.1905

высшей школы, за которые он пламенно ратовал, не пришлось; обретя автономию, университет мгновенно превратился в средоточие митингов и политических собраний, в рассадник «студенческих беспорядков», и чаемый деликатным ректором канон учебного заведения был тотчас же нарушен горячеголовыми.

Если Черчилль признавал лучшим способом оставаться последовательным это меняться вместе с обстоятельствами, Трубецкой гнул демократическую правду-матку до излома, до потери здравого смысла. Всякий начальник должен быть «чуть-чуть Макиавелли», но честный и прямой Трубецкой им быть не привык, и потому через три недели после избрания Совет профессоров с ректором во главе вынужден закрыть учреждение. Вопреки радужному убеждению князя, автономия не спасла этот «рассадник высших знаний». Разочарование, испытанное на деле, а не в модели (столь напрашивавшейся), необходимость закрытия университета, грубые нападки со всех сторон в связи с этими действиями, обвинение в заигрывании с бунтарями и проч. привели к тому, что 29 сентября в Министерстве просвещения во время заседания Комиссии по разработке нового университетского устава в возрасте 43-х лет Трубецкой скончался от апоплексического удара.

Ключевский в дневнике:

«1–2 октября. Поездка в Петербург с венком на гроб ректора

в церкви Еленинского госпиталя. Процессия с гробом на Николаевский вокзал. Разговор в карете со Стасюлевичем и встреча с огромной толпой на Невском, шедшей от вокзала после проводов гроба в 3-м часу. Вагон с гробом тайно оставлен на запасном пути в Петербурге до 3 1/2 часа во избежание демонстраций на фабричных пунктах.

3 октября. Похороны князя. Гроб несли на руках студенты от университетской церкви до Донского монастыря почти 6 часов (до сумерек). «Марсельеза русская» в задних рядах процессии, «Вечная память» в передних. Отсутствие полиции по желанию студентов. Речь раввина над могилой. Казаки на Донской при возвращении процессии, их атаки и камни в них из толпы. Арест семи студентов и освобождение (7-го). Лекции идут».

Проводы гроба к Николаевскому вокзалу от Еленинской клиники приобрели в Петербурге характер политической манифестации: за телом профессора и в Петербурге, и в Москве шло около пятидесяти тысяч человек. «Только раз Невский залили толпы в сопровождении духовенства: несли на руках один профессорский гроб, направляясь к вокзалу: впереди шло море зелени; развевались кровавые атласные ленты», — писал Андрей Белый, путая улицу (лакированный гроб Трубецкого провозжали не по Невскому, а по Суворовскому проспекту).

В мемуарах «Между двух революций» Андрей Белый описывает московские проводы Трубецкого: страшное описание объединённого движения толпы.

«Из боковых улиц нас провожали злые, узкие, монгольские глазки маленьких, плотноватых бородачей в синих кафтанах, в мохнатых шапках, вцепившиеся в бока взъерошенных лошадёнок, с кулаками, сжимающими нагайки: отряды уральцев и оренбуржцев; уже зажглись фонари; пухнувшая толпа, в которой уже затеривались знакомые, только тронулась: от Калужской площади; вдруг закупоренно все встали: издали виднелись стены Донского монастыря, проглотившего лишь испуганно жавшихся к гробу университетцев; проголодавшийся, потерявший знакомых, я, выцепясь и выхвостясь, сел на извозчика; а ещё позднее, когда рабочие со знаменем шли обратно, то отовсюду на рыженьких лошадёнках выскакивали мохноголовые дикари калмыцкого вида: и — захлестала нагайка».

Приходят на ум строчки из дневника Франца Кафки:

«сбегаются толпа простого народа, которую упорядочивают вожаки: пустые, сверкающие чистотой, прямоугольные свободные места становятся тёмными, подвижными, переполненными, я чувствую, что на-

пряжение людей достигло предела, и по собственному побуждению и с внезапно появившейся ловкостью проделываю на своём возвышении трюк, которым я много лет тому назад восхищался у человека-змеи <...> Был ли это наивысший подъём, доступный человеку? По-видимому, так, ибо я уже вижу, как из всех ворот глубоко и широко лежащей подо мною земли вылезают маленькие рогатые черти, они бегают повсюду, под их ногами всё посередине ломается, их хвостики всё сметают, вот уже пять-десять хвостиков скользят по моему лицу, почва становится мягкой, я увязаю сначала одной ногой, затем другой, крики девушек преследуют меня до самой глубины, куда я отвесно погружаюсь через шахту, поперечник которой соответствует моему телу, но тем не менее бесконечно глубокую. Эта бесконечность не вдохновляет на особые деяния, всё, что бы я ни делал, было бы мелко, я падаю без чувств, и это лучше всего» (запись от 29.05.1914).

«Учёные должны быть на слуху, а не наверху», — настаивал Черчилль, и если Трубецкой зачем-то вскарабкался наверх, а потом, вдруг скончавшись, оказался причиной порядочных беспорядков, нарушением общественного спокойствия, и без него не бывшего слишком спокойным, то есть оказался на слуху, — время это *слуха* было недолгим. В памяти коллег — не столь его дело, сколь ажиотаж вокруг похорон.

Трубецкой будто специально умер — чтобы либерально-демократическое население обеих столиц, найдя, наконец, повод, смогло хором спеть на свежем воздухе марсельезу с прочим революционным песнопением. «Светлый праздник, которого ждали» (Андрей Белый). Из пятидесяти тысяч, шедших за его гробом в Петербурге и в Москве, едва ли полсотни человек смогли бы ответить, кто таков Трубецкой и что сделал для науки и просвещения. Что сделал? Вовремя умер. Образование толпы в причинах не нуждается, оно нуждается в поводе, порой невинном и грустном.

Стоил ли Трубецкой администраторских нервозностей, на которые себя обрёл, перестав философствовать и начав бороться с призраками? Сколь бы ни порицали меня за ответ, идущий вразрез с интересами конкретного общества и конкретного государства, которые любопытны нам теперь едва ли шире, чем только исторически, я остаюсь при своих: Дон Кихот хорош на страницах романа; толпа с гробом философа — на фототрафиях.

1906-й и летнее покушение. Будучи убеждённым монархистом, Кулаковский баллотировался в Первую Государственную думу от киевских монархических организаций, но не был избран. Пожалуй, для науки и Кулаковского это было удачей. Не в пример Трубецкому. Дума первого созыва шумно просуществовала менее трёх месяцев (27.04–8.07.1906), и хорошо, что Кулаковский сидел над переводом Аммиана, а не в амфитеатре Таврического дворца, со стороны наблюдая, как державу колеблет и переде́ргивает невнятицей изменений.

Время работы над переводом отражено в эпистолах скудно. Для Кулаковского перевод Аммиана — социальное бомбоубежище.

Иконникову 8.06.1906:

«Увы, время такое, что только не думая о настоящем и по возможности о нём забывая, можно поддерживать в себе хорошее настроение. — И Вы как представитель русской исторической науки [наверняка] болеете душой за безумье посягающих не только на наше русское государственное целое, но и на самое существование России в виде великого и единого государства. Живя в деревенской тишине и уединенье среди мирного крестьянского люда, занятого заботами о покосе и жатве, среди природы, я тут чувствую себя легче. Революционная пропаганда здешних крестьян ещё не коснулась, и они, цenia свою личную собственность, не приступали пока к дележу чужой. Общины они никогда не знали и даже луга поделены самым точным образом по деревням. Лето стоит здесь прекрасное и нам здесь хорошо, хотя и немного уединённо.

Пользуюсь летом, как подобает деревенскому обитателю, просматриваю дальнейшие книги своего перевода Аммиана в надежде продолжить издание осенью. Но будет ли готов университет? И будут ли средства на издание?»

Университет оценил величие труда, трижды выделив потребную типографии Кульженко сумму.

Флоринскому 9.06.1906 из Карпинца:

«Спасибо за вести и поздравление. Но срок моей службы 1 июня, а не июля, да и какой это юбилей — это только напоминание — memento mori. Хорошая сторона — лишь обеспечение пенсии для семьи на случай неизбежной и всем общей катастрофы личного существования. Я имею здесь только “Киевлянин” и “Окраины России”, и почта 3–4 раза в неделю, так что мучительное чувство от безысходного политического тупика, в который попала Россия, переживаю периодически, а не каждый день.



В окрестностях Карпинца Гродненской губернии, речка Берёзовка (Brzozowka)

Живём мы благополучно в полной тишине и в заботах о хозяйстве, которое тем более нуждается в нас, что управляющий с мая в Вильне и боллен, при смерти (аневризма); туда же уехала в конце июня [мая?] и его кузина, наша экономка. Надо бы ехать тоже, да крестьяне заняты своим хлебом и придут разве завтра, а рожь уже переспела и будет сыпаться.

Получил я с сегодняшней почтой корректуру моего отзыва о книге Пападимитриу. Сонни хотел, да и должен был кое-что добавить. Но этого не сделал. Я отсылаю корректуру Иконникову. Но прошу тебя при случае передать Сонни, чтобы потом не вышло неудовольствия, так как под рецензией стоит и его подпись. Я думал было добавить кое-что из сделанных на досуге возражений, указать слабость или необоснованность некоторых гипотез. Но не имею охоты делать это, да, может быть, это и не нужно. — Я бы и сам написал Сонни, да не знаю, часто ли он бывает в городе, и думаю, что через тебя и Вл[адимира] Степ[ановича Иконникова] будет вернее.

Пересматриваю дальнейшие книги Аммиана, принуждая себя к этой работе, так как *очень скучное это дело* (курсив мой. — А. П.). Авось, можно будет осенью продолжить [печатание]. Конечно, разные справки останутся ещё, так как географические имена надо ещё разыскать».

В письме речь о поздравлении в связи с тридцатилетием службы Кулаковского «по учебной части». Не известно, припиливал ли Сонни какие-нибудь пару строк, как того желал Кулаковский, к их совместной рецензии на докторское сочине-

ние будущего профессора Новороссийского университета по кафедре византийской литературы, Синодия Дмитриевича Пападимитриу (1856–?) «Феодор Продром: Историко-литературное исследование» (Одесса, 1905), однако в августовской книжке «Университетских известий» за 1906 год она опубликована за двумя подписями:

«Обширная эрудиция, живое знание языка, огромная начитанность в византийских текстах так блистательно доказаны в его книге, что делают её вполне достойной допущения к публичной защите на степень доктора греческой словесности. Автор уже много лет работает в области изучения византийской литературы <...> Живое знание языка облегчило ему вступление в эту область, но учёная работа в ней стала возможна благодаря приобретению филологической эрудиции».

Безусловно, это официальный отзыв, остальное наверняка было сказано соискателю при встрече на словах.

14.06.1906 из Суховоля, куда Кулаковский перебрался с семьёй из жениного имения Карпинец, он посылает Флоринскому пространное письмо с изложением приключившейся с ним почти детективной истории.

«Доехали мы благополучно. В вагоне днём было очень душно, но этим и исчерпывались неудобства.

Зато здесь утром у самого Осовца, только что мы тронулись в путь на лошадях, ждала нас совершенно непредвиденная серьёзная опасность: на нас напал пьяный солдат, возвращавшийся из местечка Гониондз в крепость, не пускал ехать, грозил ножом и не слушал никаких резов, ни наших, ни своего пьяного, как и он, но более благоразумного товарища, которому он изрезал этим ножом руки. Когда, наконец, он отпустил первый экипаж, где сидела Люба с детьми, и я его всячески за это благодарил, думая, что он уже умилостивился, он бросился на меня, и когда я, наконец, вскочил в экипаж и погнал лошадей, он полез сзади, крича и замахаясь ножом. Атлет на вид и очень добродушный, был он, однако, очень опасен в эту минуту. Влезть ему не удалось, хотя он и держал меня за пальто, и, наконец, он оторвался и упал. Мы летим во всю силу наших лошадей и видим потом, как он поднялся и грозил в нашу сторону. — Конечно, этот эпизод испортил настроение, и каждый встречный экипаж и даже пешеход вызывал совсем напрасные опасения. — Хорош порядок в крепости, если солдаты отлучаются ночевать в местечко и в 6 часов утра пьяные бредут назад.

<...> О белостокских событиях не узнал ничего нового, кроме раз-



Дорога из Суховоля в Карпинец сегодня

ве того, что убитых дружинников организация еврейская разослала по всем местечкам. Прислали одного и сюда, в Суховоль, отсюда родом. Т[аким] о[бразом], дружины формируются отовсюду».

В последней фразе письма — на удивление беспристрастное упоминание о Белостокском погроме 1–3.06.1906: зверски убиты 82 еврея и 6 христиан, ранено 70 евреев и 12 христиан (среди них младенцы, женщины и старики), в добыче погромщиков имущество трёх заводов, 120 лавок и более 100 квартир.

В одном из писем Кулаковского уже поминались «белостокские события». Ещё в 1904-м в местечке Крынки (близ Белостока) Нисан Фарбер нанёс текстильному фабриканту Кагану несколько ударов кинжалом в шею «за неуступчивость в отношении стачечников»; затем он продолжал борьбу и погиб, в сентябре 1905-го взорвав полицейский участок в Белостоке: были убиты уездный исправник и трое городских, ранены полицмейстер и помощник полицмейстера, двое приставов и восемь городских; в городе, в котором 70% населения евреи, было введено военное положение, отменённое 1.06.1906.

От крепости Осовец, если посмотреть на карту, к местечку Гониондз (Goniądz, Гонёндз) на северо-восток ведёт через лес, а затем полевая неширокая просёлочная дорога; на половине пути по левую руку, чуть в стороне остаётся деревня Шафраново, поминаемая Кулаковским в письмах (ныне здесь не более пары дожинок домиков и ферм) как место отдыха жены с детьми «и бонной». Далее, объезжая Гонёндз с юга, на северо-восток

до Суховоля ехать прилично, несколько десятков километров, по нынешней Воеводской дороге, по жаре, полям с небольшими озёрцами и безлюдью.

С начала XIX века Суховоль (тогда — Ясвильской волости Белостокского уезда Гродненской губернии) на левом берегу речки Берёзовки (Brzozowka) — местечко, некогда ведшее большую торговлю, пополам заселённое католиками и евреями. Ныне и Суховоль, и Гонёндз, и Осовец — в Польше, в Подляском воеводстве.

Не доезжая Суховоля по Гонёндзской дороге шести километров, налево на запад будет тот самый заштатный посёлок Карповице (Karpowicze), который в то время официально величался «Карпинец» и в котором Кулаковский с семьёй в последний раз проведёт предвоенное лето 1914 года.

Латышев в письме от 9.08.1914:

«от души приветствую Вас с возвращением к киевским пенатам: ведь это возвращение могло быть не столь благополучным, раз Вы были чуть не на самом театре военных действий. Странно, что об Осовце до сих пор нет никаких упоминаний в известиях с театра войны, к сожалению, вообще очень скудных».

Конечно, усадьба в дыму Первой (и Второй) мировых не уцелела, но сын Кулаковского Сергей, уже будучи в Польше, пытался (как помним по допросу Арсения в середине 1930-х) восстановить на неё в середине 1920-х права собственности.

Хозяйство имения «Карпинец», насколько можно судить по генеральному плану (ЦГИАУК, ф. 264, оп. 1, ед. хр. 35), состояло из 96 десятин 173 соток (104,82 га) земли, засаженных преимущественно ольхой, и дачного домика в несколько комнат.

Можно представить: прохладная июньская рань, квёлые извозчики, семейство с поклажей устроилось в двух экипажах в неблизкий путь, неспешно едут по пыльной просеке, и вдруг навстречу пьяные солдаты, шатающиеся после бурной ночи. Кучер пытается лошадей пришпорить, но солдаты преграждают путь, в водочном угаре бросаясь на седоков, — человек с интеллигентным лицом вызывает у простеца естественное зоологическое недовольство, — отец семейства спрыгивает, бежит к первому экипажу, в котором жена с детьми, и всячески старается уговорить безумца. Первый экипаж отправляется, Кулаковский пытается запрыгнуть во второй, но хмельной солдат



Осовец,
остатки крепости

хватает его за пальто с неясными намерениями. Хорошо, собутельник опомнился, и сдержал идиота. Эпизод не из приятных, тем более, если учесть, сколь плачевно мог закончиться: обойдись дело менее безобидно, не оказалось бы трёх томов «Истории Византии», да и много чего ещё. Вот суди после этого о «роли личности», особенно в *истории культуры*. Бухарей завалились — Кулаковский один.

Через полмесяца Флоринскому из Суховоля (2.07.1906):

«Из письма Сонни узнал, что ты получил моё письмо отсюда, а также и то, что статья его для сборн[ика в честь] Н. П. [Дашкевича] почти уже закончена. Очень бы хотелось знать, как вышло с [Н. К.] Бокадоровым? Дал ли он статью или ты его больше не видел? Адреса его я не знаю и сам не могу обратиться, а он меня не искал. Я ему часто напоминал в течение позапрошлого и прошлого года, но уж очень давно не вижу. Много раз просил напомнить ему [А. М.] Лободу, но делал ли он это — не знаю. Как заканчивается статья Сонни, то есть на какой странице листа? Если бы на последней или на 8, то можно было бы печатать дальше и осенью; но задерживать набор в виду сомнительной надежды на продолжение — трудно. Написал ли ты вводную страницу? Я пришло краткий список опечаток».

Сборник «Epanos» (с др.-греч. *товарищество, вкладчину, приношение*), посвящённый Дашкевичу, составили статьи Соболевского, Сумцова, Клиндера («Амброзия и живая вода»), Зенгера («К латинским стихотворениям Яна Кохановского»), самого Кулаковского («Новые домыслы о происхождении име-

ни Русь»), Флоринского («Славянофильство Т. Г. Шевченко»). Статья Сонни «Горе и Доля в народной сказке» заканчивалась, как и предполагал Кулаковский, на 8 странице листа (полулист), страница 425, и, видимо, печатание отложилось на осень. Статья преподавателя Высших женских курсов Николая Константиновича Бокадорова «Новейшие суждения о Шопенгаузере» помещена в сборнике последней: то ли Лободе удалось «напомнить» Бокадорову об обещании, то ли Бокадоров созрел самостоятельно. (В «Serta Borysthenica» он опубликовал большую статью «Система Шопенгауэра и его учение о чистой идее красоты».) Вступительное слово о Дашкевиче сочинил, судя по стилистике, Флоринский.

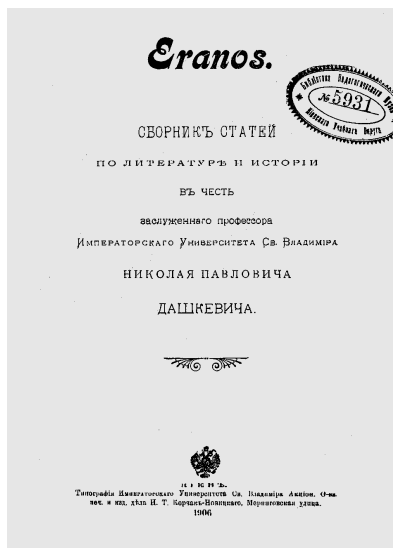
30.09.1906 Любовь Николаевна в соображении «мало ли что» составила на имя супруга доверенность (гербовый лист с маркой), форма которой, непривычная для сегодняшнего нотариального акта, в начале XX века была естественной и сочинялась как витиевато-барочное послание доверителя доверенному лицу. Засвидетельствована в киевской нотариальной конторе Николая Александровича Воробьёва (Крещатик, 9).

Любезный супруг Юлиан Андреевич!

Настоящей доверенностью прошу и уполномочиваю Вас продавать как то найдёте выгодным за цену и на условиях вполне по Вашему усмотрению в принадлежащем мне с прочими сонаследниками имени Карпинец, состоящем Белостокского уезда Гродненской губ[ернии], доставшемся мне с прочими сонаследниками после смерти отца моего тайного советника Николая Ивановича Рубцова, — участки леса на сруб, какие признаете нужными, а также продавать лес на сруб путём выборочной рубки, и по этому предмету входить в переговоры и соглашения с покупателями, заключать договоры, обязательства, надлежаче получать за проданный лес задатки и вообще все следуемые за проданный лес деньги, видоизменять, дополнять и уничтожать заключённые Вами договоры по предмету рубки леса, ходатайствовать в Лесохранительном Комитете, спрашивать и получать разрешения на рубку леса, подавать прошения и заявления, подписывать план личного хозяйства и исполнять все обрядности. А что Вы в силу сей доверенности законно учините, я Вам верю, спорить и прекословить не буду. Доверенность эта принадлежит мужу моему действительному статскому советнику Юльяну Андреевичу Кулаковскому.

Жена действительного статского советника

Любовь Николаевна Кулаковская



*Титульный лист сборника статей
«Eranos», посвящённого
академику Н. П. Дашкевичу, 1906*

Тогда же, в 1906-м Археологическая комиссия приняла участие в издании «Очерка истории Крыма от древнейших времён до исхода христиан в 1779 году», подготовленного Кулаковским. Этот очерк вышел под названием «Прошлое Тавриды» и выдержал два издания (1906, 1914). Книжка вызвала любопытство в кругу специалистов и среди широкой публики, второе её издание увидело свет в 1914-м, третье — в 2002-м.

Часть тиража распространялась через Керченский музей, где «Прошлое Тавриды» находило постоянный спрос. Последний раз, уже в 1917-м, заказ на книгу для музея был оформлен в количестве 100 экземпляров. В связи с этим Владислав Шкорпил писал в Комиссию 5.12.1917, что им получено 98 экземпляров, а «две книги, по-видимому, в дороге пропали». Пропажу можно рассматривать как результат популярности издания.

Член-корреспондент Императорской академии наук. Избрание в Академию наук было актом почётным, но не более, чем, скажем, избрание в действительные члены Императорской Археологической комиссии или Императорского Русского археологического общества. Сейчас, конечно, не так: деньги (стипендии) академикам и членкорам платят.

Кулаковский «в торжественном собрании» был избран

членом-корреспондентом Академии по разряду классической филологии и археологии Историко-филологического отделения 29.12.1906, под новый год.

Как-то Чехов, с 8.01.1900 почётный академик по разряду изящной словесности Отделения русского языка и словесности Академии наук (отказавшийся от этого звания в связи с тем, что царь воспротивился утвердить в почётных академиках Максима Горького), писал 21.01.1900:

«В том, что печатается в газетах об академиках и академии, достоверного мало, так как газеты не осведомлены. “Бессмертными” считаются, как и во Франции, только одни писатели-художники, ординарными же академиками, составителями словаря, будут, по-видимому, только одни учёные исследователи, которые одни будут работать, везти на себе отделение, — ergo, получать жалование. Звание академика, насколько мне известно из бесед с акад. Кондаковым, который живёт здесь, даёт право неприкосновенности (нельзя арестовать) и право в случае поездки за границу получить от академии особый “курьерский” паспорт (цензура, таможня), а больше, кажется, ничего».

Кулаковский до ординарного академика бы не дослужился: для этого нужно было перебраться в Петербург.

Язы исторического материализма в Обществе Нестора Летописца. 25-го марта 1907 года Кулаковский, временно замещавший Дашкевича (вследствие его болезни) на посту председателя Исторического общества Нестора Летописца при Университете, председательствует на заседании, в котором заслушивается доклад (реферат) профессора всеобщей истории Павла Николаевича Ардашева (1865–1924) «Исторический материализм». Над аудиторией витала проседь нечёсаных бород Маркса с Энгельсом.

Тезисы доклада замечательны по тонкости наблюдений. Ну, вот, например, о происхождении истмата: в отличие от экономического направления в истории, возникшего внутри исторической науки, на почве сугубо теоретических научных интересов, — теория истмата внесена в науку *извне*, из политики. Она появилась не в результате научных исследований, а в результате поисков вслед за «интеллектуальным оружием», которое Маркс со товарищи полагали нужным дать в руки «революционному пролетариату»: оружия материального. Происхождение истмата исключало возможность научной



Павел Николаевич Ардашев

объективности, и его теория оказывается априорной, потому что представляет собой не вывод из достаточного в количественном и качественном отношении материала, а результат произвольной комбинации некоторых общих идей, к которой стали подгонять фактический материал.

«В настоящее время, — говорит Ардашев, — историч. материализм является не только старою, но и вполне устарелою теориею. Историч. материализм имел смысл и значение как реакция против исторического идеализма, но после того, как последний сдан в архив, и теория историч. материализма отжила свой век. Она представляет собою в настоящее время совершенный анахронизм в научном смысле».

Ошибался Павел Николаевич: практически весь XX век на огромной, молчащей с животного страху территории якобы отжившая ещё в его начале гипотеза истмата властвовала не только в исторической науке. И сколь бы разумные речи не говорил разумный человек перед разумной аудиторией (которая не бывает обширной) об историческом процессе, его голос негромок, а «худших везде большинство». Нельзя свести к общественному хозяйству «природу ни как внешнюю среду, ни как силу, действующую внутри человеческого организма; нельзя свести к хозяйству духовную культуру, так как нельзя

к нему свести человеческую психику; в частности, нельзя свести к хозяйству нравственность, религию, науку, государство, национальность, семью, наконец, нельзя объявить с точки зрения экономического монизма роль личного начала в истории», — эмоционалирует Ардашев. Какое там: можно. Вот что точно нельзя, так это — любителям хорошей колбасы и хорошей политики показывать, как делается то и другое (Бисмарк знал толк в обеих), иначе — хаос и мерзость запустения.

С точки зрения понимания сущности движения исторического процесса, теория истмата, по Ардашеву,

«не только не имеет никакого положительного научного значения, но имеет, наоборот, значение отрицательное, так как вносит новый элемент путаницы и недоразумения в ту область, которая и без того представляет огромные трудности для её полного и всестороннего научного освещения».

Такие речи обычно производят нехитрую операцию: делят слушателей на согласных и несогласных. В иных, сугубо научных, случаях это происходит сложнее, но когда дело касается политически окрашенных мотивов, здесь, будто лакмусом, проявляются правые и левые, консерваторы и социал-демократы, в лучшем случае, правые либералы и левые либералы. Здравый смысл центризма прячется между скамьями. Лекция Ардашева оказалась таким лакмусом (снаружи выглядевшим как инцидент), а Кулаковский, который предварительно согласовал его выступление и вёл заседание, посадил блуждающий здравый смысл рядом с собой на председательском кресле. И дал ему имя *уставная дисциплина*.

Репортаж в ЧИОНА:

«Перед докладом г. председательствующему была передана из публики запиской просьба разрешить сторонним посетителям участие в прениях по поводу доклада г. Ардашева. Г[осподин] председательствующий, в виду § 41 Устава Общества, не дал такого разрешения, и когда затем было предоставлено слово докладчику, г. Ардашеву, то из среды публики раздался протест против стеснения будто бы свободы обсуждения научных вопросов. Г[осподин] председательствующий прервал этот протест заявлением, что слово в собрании настоящего учёного общества может предоставлять только он, а посторонние посетители не могут нарушать порядка заседания. Протест, однако, продолжался, обратившись в большой беспорядочный шум, и часть публики демонстративно удалилась».

Обложка «Чтений
в Историческом обществе
Нестора Летописца»,
рисунок Гр. Павлуцкого,
1909



Эпизод, письменно зафиксированный самим «господином председательствующим» (стиль не пропѣшь), показателен не только в смысле ведения научных заседаний, но и для характеристики научных нравов того времени.

Следование букве устава делает честь Кулаковскому, хотя выглядит слегка потешно.

Историк Евгений Кивлицкий (1861–1921), «Кивлий», первый директор Всеукраинской народной библиотеки в 1919–1920-м и член ИОНА, 15.04.1907 писал Владимиру Пискорскому в Нежин об этом заседании, называя Кулаковского одной из университетских кличек «Кулак»:

«пришлось мне быть свидетелем ардашевского скандала <...> Заседание назначено было в XIV аудитории (большая, на 3 этаже), с кафедрой, свечами и прочими аксессуарами. Масса студентов и барышень. Председательствует Кулак (Дашкевич и его товарищ заболели). В воздухе пахло порохом. Мы с Довнарком сговорились не вылезать на кафедру, читать с места и скомкать рефераты. Так и сделали. Когда Кулак объявил, что слово принадлежит Ардашеву — поднялся студент и стал что-то говорить, но Кулак схватил колокольчик и стал звонить так яростно, что

ручка оказалась у него в руках, а звонок покатился по столу. В промежутке студент заявил протест со стороны социал-демократов, коим председатель не позволил возражать после прочтения Ардашеву.

Публика стала уходить, кто-то подобрал звонок и подал Кулаку, тот ухватил его обеими руками и опять начал отчаянно звонить. Под этот аккомпанемент публика очистила аудиторию и устроила вопль в коридоре. Ардашев стал читать, а когда маленько успокоились, то и мы с Довнаром потихоньку ретировались. Такие-то нравы в нашем городе».

Об том же эпизоде вспоминал в середине 1970-х Симон Нарижный (1898–1983), отметив, что происшествие на заседании 25.03.1907 было, пожалуй, единственным в своём роде.

Ещё в 1903-м министерство разослало распоряжение, чтобы председатели научных обществ не допускали на заседаниях к чтению доклады, «неудобные по содержанию», и чтобы от гимназистов (именно они волновались) требовали разрешения школьного начальства на таких заседаниях посещение.

Кулаковский при всей пронизательности не разглядел в докладе Ардашева «неудобства» — только научку, — и оказался невольным провокатором скандала. Больше он так не обжигался, но и не *burned with milk on the water*.

Наталья Полонская (ещё не Василенко) писала, что заседания были не слишком интересными. Общество, которое в своё время играло значительную роль, теперь пришло в упадок: председатель Кулаковский

«красиво, торжественно отбывал заседания, но не вносил оживления: большая часть членов были уже старики, доклады читались неинтересные, но обсуждения и дискуссии иногда носили бойкий, свободный характер». В «Киевской мысли» от 7.09.1907:

«С целью надзора в университете будет находиться постоянный отряд полиции из двадцати человек. Будет увеличен и штат педелей».

Киев 1907-го: летняя холера и «огарочная психология» осенью. Летом 1907-го в уездах Киевщины голод. «Уезды эти были когда-то житницей для всей губернии, — пишет “Слово” от 27 августа, — а теперь большинство сёл вопиет о куске хлеба. На Украине погибло 8/10 озимых. Чёрной тучей со всех сторон надвигается голод. По сёлам голод, а в городе — безработица. Закрываются заводы, фабрики, мастерские, десятки, сотни и даже тысячи рабочих остаются без заработка. Рабочие требуют, чтобы зарплата была увеличена наполовину».



Евгений Александрович Кивлицкий

На следующий день в «Киевлянине»:

«27 августа 1907 г. в Киеве заболело холерой 64 человека, умерло 32, в Самаре — 3 и 2, в Саратове — 5 и 1, в Царицыне — 16 и 15, в Нижнем Новгороде — 24 и 6, в Астрахани — 44 и 30».

Чуть позже — в обзоре деятельности Киевской думы:

«В городе 1091 заболевание холерой, уже умерло 389 человек. Зарегистрировано 1051 заболевание возвратного тифа и 1215 случаев брюшного тифа, 487 случаев дифтерита.

Постоянные эпидемии, невозможные санитарные условия на окраинах довели смертность в городе до грандиозных размеров. Устроенная канализация обслуживает только центральный район, а он со всех сторон охвачен околицами, лишёнными канализации. Как бы центр города ни был благоустроен с точки зрения санитарии, но соседство антисанитарных окрестностей, где нечистоты скапливаются в усадьбах или отводятся различными путями по улицам, делает положение в городе катастрофическим. В Киеве царит холера».

Городская дума принимает постановление:

«В интересах населения города Киева позволить открыть новые трактирные заведения с продажей в них крепких напитков: Ивану Мироненко в д. № 1 по Кадетскому шоссе, Леонтию Мартыненко в д. № 38 по Большой Васильковской, Антону Ляху в д. № 101 по Жилянской, Прокофию Алексеенко в д. № 52 по Брест-Литовскому шоссе, Павлу Пуляткину в д. № 38 по Совской улице».

Между тем, «велико жизнелюбие киевлян» (Мандельштам). В конце августа:

«Шато-де-Флёр открывает осенне-зимний сезон; приглашён состав актрис и артистов вне всякой конкуренции»; «Анонс! На Думской площади открывается на днях выставка гигантского кита»; «Театр Бергонье. Колоссальный успех! Новый фарс “Удобные мужчины”»; «Театр-иллюзия, Крещатик, 40: живая подвижная фотография, синематограф «Как поймали фальшивомонетчиков»»; «Театр витограф, владелец А. Мянковский, Крещатик, против Лютеранской: “Намагниченная кольчуга”, “Хитрый осёл”, “Невеста добровольцев”».

В «Киевской неделе»:

«Наибольший успех у широкой публики из всех так называемых номеров в программе кинотеатров (витографа, театра-иллюзии), имеют обычно те сцены, которые отражают всякие катастрофы, аварии с поездами и тому подобное. Они производят наибольший фурор».

Мне хочется думать, что Кулаковский подобные зрелища не посещал: не по статусу. Но — по тому же статусу — имел отношение к другому:

«В университете из числа 182 абитуриентов-евреев зачислены 43 человека, которые входят в десятипроцентную норму. На фармацевтические курсы при университете из 95 желающих вступить евреев принято только восемь человек».

В октябре 1907-го, кроме того, в Киеве проходили дни «нового искусства». 4-го числа Андрей Белый, символист, приехавший из Москвы, читал в Купеческом собрании (ныне Филармония) лекцию «Будущее искусства», 6-го — в Оперном театре лекцию «Об истоках развития нового русского искусства». Вместе с ним приехали Сергей Соколов, поэт, владелец издательства «Гриф», и — вместо Бунина — Блок: с потеряннным видом прочёл «Незнакомку».

«Устроители встретили нас на вокзале, и сразу же понял я: вечер — дешёвка; перепугал стиль афиш; а уже расхватали билеты; громадное помещение в оперном театре, в котором должны были мы выступать, не на шутку пугало».

Тогда же, на балконе киевской гостиницы «Эрмитаж» (Фундуклеевская, ныне Богдана Хмельницкого, 26), где остановились Блок и Белый, сделана фотография Блока; балкон сохранился; Блок тоже.

Символизм и «огарочная психология» вместе с «Весами»,



Александр Блок на балконе
гостиницы «Эрмитаж»
(улица Фундуклевская, 26).
6.10.1907



«Золотым руном» и «Аполлоном», через три года после закрытия «Мира искусства», не только среди молодёжи, революционно настроенной, но и среди либеральничавшей интеллигенции занимали почти салонные места. Проповедь *«трынтравизма»* была спровоцирована послереволюционным надрывом в эпоху так называемой столыпинской реакции.

Той же тревожной осенью 1907-го Сигизмунд Кржижановский окончил Четвёртую гимназию (на Большой Васильковской, 96; учился почти в одно время с Ярославом Ивашкевичем и Александром Вертинским) и поступил на юридический факультет Университета, параллельно — до выпуска в 1913-м — прошёл курс классической филологии у Кулаковского, Сонни и прочих наших знакомых.

Неудобное. Нужно заметить, Симон Парижский так не хочет упоминать Кулаковского, что когда вынужден потакать исторической правде, делает это с неохотой. Подробно рассказывая обо всех председателях Общества Нестора Летописца, о Кулаковском-председателе не говорит и слова: не уважал Парижский монархистов, даже талантливых.

Вот его изложение заседаний Общества:

«Специального характеру засіданням Товариства надавали і відвідини декого з визначних осіб. На річному засіданні 27 жовтня 1904 р. був присутній тодішній міністр освіти В. Г. Глазов у супроводі куратора київської учбової округи В. І. Беляєва та членів ради міністра кн. Д. П. Голіцина і А. М. Позднеева. Ю. Кулаковський сказав на тому засіданні патріотичну промову, нав'язуючи до російсько-японської війни (см. вище: речь совсем о другом. — А. П.), а присутнього міністра обрали в почесні члени Товариства. Засідання 16 квітня 1906 р. відбулося під почесним головуванням гр. П. С. Уварової, яка реферувала про підготовку до XIV археологічного з'їзду в Чернігові. На засіданні 22 лютого 1910 р. був присутній А. П. Яблоновський, який дякував за вибір його в почесні члени з нагоди 50-ліття наукової діяльності».

Однако когда речь заходит о собственно научных вопросах, Парижский старается быть объективным:

«В 1904/05 р. з ініціативи Ю. Кулаковського намічалася організація публічних лекцій про репрезентативне правління на Заході і в Росії, але цей задум не був здійснений».

Полонская-Василенко подсмотрела:

«Труд над латинскими авторами отразился даже на его речи: он будто механически переводил с латинского языка. В течение нескольких трёхлетий он был председателем Исторического общества Нестора Летописца и умел импозантно председательствовать на заседаниях. Это не мешало ему во время доклада мирно кунять, склонив голову римского патриция на руку. Учёный секретарь, А. М. Лобода, следил за “председателем”: незаметно подталкивал его в бок или предлагал папиросу. Это действовало на некоторое время. Но лишь завершал докладчик — Кулаковский мгновенно просыпался и “пробудившийся орёл” открывал дебаты, и по их завершении умело, талантливо подводил итоги высказанному, благодарил докладчика за интересный доклад, предлагал сделать сообщение следующему прелегенту — обычно было на заседании два доклада, — склонял голову на руку и снова кунял».

В сентябре 1904-го, когда Кулаковский был во второй раз временно избран председателем ИОНА, в его вводном слове, сказанном в заседании Общества по случаю чествования памяти Михаила Александровича Максимовича, основателя ИОНА, было недвусмысленно замечено:

«ближайшие члены его [Максимовича] кружка стали членами-учредителями нашего Исторического общества Нестора Летописца, которое



С.-Петербург. Таврический дворец, заседание III Государственной думы, 1907

преследует в своей деятельности те же цели и задачи, какие выдвигал Максимович, когда так долго прилагал старания к тому, чтобы в нашем Киеве явился умственный центр для разработки истории родного края». Какой же умственный центр может существовать без научной дисциплины?

Вообще, всё это, конечно, не столь потешно, сколь провинциально. Представить себе аналогичные явления в Кембридже или Оксфорде сложновато. Но таковой была атмосфера имперских университетов.

Медиевист Дмитрий Петрушевский писал медиевисту Владимиру Пискорскому из Варшавы 8.03.1898:

«Я всё же, помнится, успел сообщить Вам об общем характере здешней атмосферы. Стоячее болото, издающее весьма вредные испарения. Вся эта служилая публика (профессора и иные гражданские и военные, явные и тайные охранители государственного единства) дальше своих мелких материальных и карьерных (в большинстве человеконенавистнических) интересов ничего знать не хочет. Сплетни, пересуды, самое уездное мирозерцание. Общие интересы, общественные идеалы, совре-

менные течения европейской и русской мысли — всё это совершенно не касается всех этих ординарных и экстраординарных господ. Польско-фобство и юдофобство в самой младенчески грубой форме, чиновнический взгляд на жизнь. Вот Вам русская среда, притом той части здешнего общества, которая, казалось бы, должна бы быть хоть несколько ближе к свету, к образованию и просвещению <...> Вот и существуйте в такой обстановке. Остаётся сидеть дома, заниматься, вообще забыть о внешней обстановке существования».

Однако приличные профессора, Флоринский и Кулаковский, своим примером — не нитьём — старались изменить ситуацию к лучшему. И — как всегда бывает в таких случаях — оказывались в дураках. Ближайшим примером может быть судьба студента Ивана Огиенко (1882–1972), будущего епископа Холмского и Подляшского Илариона, будущего министра просвещения и министра исповеданий УНР, основателя и первого ректора Каменец-Подольского украинского университета (который сейчас носит его имя).

По окончании фельдшерской школы, прослужив более трёх лет в отделении нервных и психических болезней Киевского военного госпиталя, Огиенко хочет сменить профессию; сдаёт экзамены в Острожской классической гимназии, получает аттестат зрелости и добивается разрешения оставить медслужбу для поступления в Университет св. Владимира. Разрешение дали, но с условием поступать на медицинский факультет. Медицину Огиенко изучает формально, стараясь посещать лекции на историко-филологическом факультете. Декан Флоринский, узнав, в чём дело, помог ему в 1904-м перевестись на свой факультет. После увольнения из госпиталя Огиенко едва сводил концы с концами и, просрочив время уплаты денег за учёбу, был отчислен. Но Флоринский и Кулаковский помогли ему восстановиться в Университете, выхлопотав Кирилло-Мефодиевскую стипендию (25 рублей ежемесячно плюс обучение за государственный счёт). По окончании университета Огиенко решил стать профессорским стипендиатом, но по какой-то причине министерство затягивало его утверждение на кафедре. Деятели украинского движения (к украинству Огиенко примкнул в 1906-м под влиянием Владимира Перетца), ненавидя Флоринского за его великоросские убеждения, распустили слух, что виной всему Флоринский, якобы сделавший



Иван Иванович Огиенко

политический донос на Огиенко. Последний не оспаривал. Просто молчал, отлично зная, что это не так. Он далеко пошёл: умер в 90 лет в чине митрополита и предстоятеля Украинской греко-православной церкви Канады (в Виннипеге).

Едва ли стоит сомневаться, что о киевской университетской ситуации рубежа XIX–XX веков можно сказать что-нибудь слишком отличное. Несмотря на семь кабальных десятилетий большевизма, Первую и Вторую мировые, тридцатые моровые, сделавшие всё, чтобы человек, хоть чуток творческий и разумный, опомнился и начал понимать, зачем он против воли своей явлен Господом на земле, служебная атмосфера на кафедрах современных вузов, особенно гуманитарных, сохраняет постоянство в сплетнях, пересудах и уездном мирозерцании. Где вы, современные профессора, от трудов которых проседают книжные стеллажи, ау, где вы?

Язвительнейший академик Кондаков, вырвавшись из большевицкой России, насмешничал, мол,

«какой только презренной шушеры в качестве писателей или артистов, адвокатов не поминают у нас там, в дни их рождений и смерти. Вы не находите только вовсе там учёных, не только что старых, но даже, например, Мечникова, как встретите даже таких крупных лиц, как Витте или Победоносцев. Вот уж подлинно народ, которого просвещение свелось только к тому, что он чтит гистрионов, — прославленную Тургеневым Са-

вину, как лучшую актрису на роли каторжанок, или пьяных велосипедистов Уточкина, Бутылкина и Бугаева».

Что скажешь? По Сеньке шапка, «по мощам и елей» — отреагировал патриарх Тихон, когда на Красной площади прорвало канализацию, мавзолеей исполнился фекалий и выпотрошенный жмурик плавал в этом во всём.

«Стратегика» императора Никифора и академик Никитин. К 1906–1907 годам относятся труды Кулаковского не только по переводу с латыни Аммиана Марцеллина, но и по подготовке перевода с греческого «Стратегики» императора Никифора II Фоки (X век): ромейский кесарь, проведший годы в схватках с арабами, решил передать опыт будущим военачальникам.

Прошло десять столетий, давно нет империи, императора, старые ссоры с арабами рассосались, а текст трактата остался. В нём — рекомендации по вооружению, числу и соотношению родов войск, построению и, главное, тактике ведения полевого боя ромейской армии третьей четверти X века. В новейшем издании трактата, предпринятом издательством «Алетейя», написано, что

«книга представляет собой первый перевод на русский язык данного трактата и снабжена статьями Ю. А. Кулаковского, не потерявшими своей актуальности до настоящего времени».

Кулаковский обнаружил греческую рукопись в конволюте Московской Синодальной библиотеки. Он хотел, чтобы издание было «академическим» (мы помним: его только избрали в члены-корреспонденты ИАН), и это было первым вопросом в его инициативном письме вице-президенту Академии академику Петру Никитину (1849–1916) от 14.10.1906 о намерении издать найденную рукопись.

«Но наряду с этим у меня есть и просьба: не могу ли я рассчитывать, что Вы найдёте возможным просмотреть те листы текста, которые останутся для меня сомнительными и будут мною отмечены? Так как я мало имел дела с византийскими текстами, то, быть может, то, что меня затрудняет, совершенно просто для людей опытных, как Вы».

Конечно, обратиться с таким текстом к коллеге скорее норма, чем казус, но всё-таки исследователь несколько раз подумает, прежде чем облечь просьбу в такую бесцеремонную форму: мало ли, что я умею, — не на всех рассчитано. Кулаков-

*Обложка современного издания
«Стратегика»
императора Никифора II Фоки.
Издание подготовил А. К. Нефёдкин.
С.-Петербург, 2005*



ский не был «всеми», и потому, пожалуй, мог себе позволить обратиться к вице-президенту Императорской академии наук без околичностей. К тому же, перевод занимает едва ли $\frac{2}{3}$ печатного листа — весь ли это оригинал рукописи кесаря, вправду ли её сочинил император Никифор, — вопрос открыт.

Воспользуюсь выдержками из писем Кулаковского Никитину, впервые опубликованных в 1999-м по материалам питерского филиала Архива РАН Ольгой Иодко: из 24-х писем за 1899–1916 годы «Стратегике» посвящены шестнадцать.

11.12.1906: «Хотя я и много возился и кое в чём мне оказал помощь мой коллега Сонни, но остались места, где смысл тёмнен, может быть, и не вследствие порчи текста <...> Позвольте надеяться на Вашу помощь на изгнание, где это возможно, этого testimonium raupertatis [свидетельства убожества] издающего».

22.05.1907: «Не могу не сознаться, что я очень сконфузился, узнав про такие погрешности моего списка. Первоначальная копия у меня есть, и мы её считывали с Сонни, достаточно опытным в обращении с рукописями <...> Раз текст пройдёт раньше, чем [сможет] дойти до меня, через Вашу корректуру, то мне уже, наверно, останется на долю только принять к сведению и воспользоваться результатами Вашей работы».

2.10.1907: «Не знаю, как и благодарить Вас за Вашу помощь; вижу и понимаю, как много времени и труда Вы приложили на приведение

в должный вид “Стратегики”. Стыжусь за свою поспешность и не нахожу слов благодарить Вас. Конечно, я принимаю все сделанные Вами в письме указания, как насчёт текста, так и последствия. Если Вы сами сделаете характеристику рукописи, то мои скудные замечания на этот счёт могут совсем устраниваться и в предисловии можно оговорить, что эта часть работы взята Вами на себя».

25.10.1907: «И вновь я видел, как много времени и труда стоило Вам участие в этом издании. Я, конечно, нигде не посягал на текст, который набран совершенно исправно и вышел таким благодаря многим Вашим поправкам. Видел следы Ваших колебаний, о которых Вы мне писали, как то: двойное *l* в слове *kabalarios*, сделанное красными чернилами в рукописи и одно *l* в набранном тексте».

9.11.1907: «Мне очень совестно, что причинил и причиняю Вам столько хлопот. Я никак этого не предполагал, когда принимался за эту работу, но позвольте просить Вас дать мне совет, как лучше поступить».

23.11.1907: «Сладил, как мог, значительно улучшил и дополнил своё изложение содержания “Стратегики”, написал вновь о стратегии вообще и несколько слов об авторе. Не знаю почему, но изложение мне никак не давалось, и как я ни пытался написать первую главу шире и подробнее, мне это не удавалось. Переделывал несколько раз. Если всё присылаемое теперь будет набрано, то я был бы очень благодарен за указание, где и в чём надо дополнить».

18.02.1908: «Чрезвычайно благодарен Вам за указание на Köchly и Rustow I, b, 8, § 4. Я проглядывал те тексты, но этого места не заметил. Как я ни старался, не умею придумать формы для вставки об этом. Разве опять воспользоваться указателем? Когда я соображаю, сколько забот и времени стоила Вам помощь этому изданию, прихожу в глубокое смущение и чувствую обязанность ещё и ещё благодарить Вас».

5.04.1908: «Вы так много имели хлопот с моим изданием, так много положили на него времени и труда, что мне совестно Вас беспокоить и напоминать о нём. Но Ваше любезное письмо заканчивается обещанием, что теперь дело пойдёт скорее. Между тем с 9 марта прошло уже около месяца, а я ничего не получил. Мне очень важно, чтобы к лету вышла эта работа, так как мне бы хотелось не с пустыми руками явиться на Берлинский исторический конгресс, который будет в конце июля».

19.04.1908: «Ваше письмо от 16 апреля мало сказать смутило меня, а придавило. Так как я всегда имел для “Тактики Льва” только издание Миня (Lami у нас нет, я видел его как-то ещё давно в Кат[алог] Публ[ичной] библиотеки), то как я мог не знать, что там перепечатаны тексты,



Пётр Васильевич Никитин

изданные Köchly! Но я не знал и не видел <...> Чувствую себя не только пристыжённым, но и униженным в собственном сознании. И я оказался не только школьником перед Вами, но и плохим школьником. Позвольте просить Вас сообщить мне стоимость перепечатки, я немедленно внесу в Типографию или куда укажете эту сумму. Я так подавлен случившимся, что не имею достаточной бодрости для того, чтобы приискать форму изложения для необходимых поправок и дополнений, сомневаюсь и насчёт мест моего текста. Его бы надо начать писать сызнова, а это очень трудно, так как долгими размышлениями придуманная и сложившаяся форма стесняет мысль. То обстоятельство, что я с этой работой выступал в издании Академии наук, и раньше стесняло свободу пера, а теперь, после всего бывшего, я чувствую ещё меньше свободы и смелости».

27.04.1908: «Благодарю Вас за ту моральную поддержку, которую Вы мне оказываете Вашим любезным письмом от 23 апреля. Всю эту неделю, как позволяли текущие дела (у нас идут лекции как в университете, так и на Женских курсах), я сидел над исправлением своего текста <...> Нашёл я и две крупные погрешности <...> Я бы, конечно, хотел покончить с этим изданием до каникул. Но если этого нельзя, то для Берлина мне довольно будет самого текста, который весь отпечатан».

15.06.1908: «Вчера же вечером получил я корректуру указателя до *e* включительно, которую при сем возвращаю. С величайшим смущением вижу, что и тут Вы взяли на себя труд сделать это дело заново и внесли туда много такого, о чём я не думал и не знал. Что значит LQ p IV в 5-й

гранке, я не знаю, равно как и ссылка в конце 4-й и начале 5-й гранки — мне неясно. Сознание, что я взялся за дело, которое мне не по силам, глубоко меня угнетает, и мне остаётся только просить Вас надписать Вашу фамилию на заглавном листе, ибо я был лишь черновой сотрудник».

Ценность работы заключалась в подробном описании введённой при Никифоре так называемой катафрактной кавалерии, в которой и лошадь, и всадник были полностью закрыты чешуйчатым железным панцирем:

«Важное и новое сведение в этом тексте одно, а именно сообщение о построении катафрактов, остальное не ново» (9.11.1907, Никитину).

Через семьдесят лет Владимир Кучма (1938–2011), крупнейший специалист по византийскому военному делу, в обзорной статье (1979) привёл точку зрения будапештского историка Р. Вари о том, что Кулаковский издал лишь 40% общего объёма сочинения, и что авторство трактата принадлежит не императору Никифору, а одному из византийских военачальников.

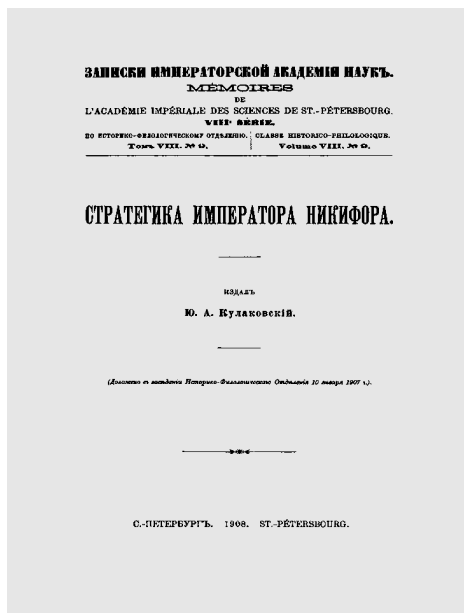
«Вплоть до настоящего времени остаётся открытым и вопрос об авторстве трактата. Если В. Г. Васильевский не отрицал возможности авторства императора Никифора Фоки, то Ю. Кулаковский ограничился лишь указанием на принадлежность автора к высшим рангам военного сословия. Р. Вари не дал прямого ответа на вопрос, хотя ввёл имя императора Никифора Фоки в название трактата. А. Дэн вначале безоговорочно приписывал сочинение этому венценосному автору, но впоследствии изменил свою точку зрения: предположение об авторстве императора не является обязательным; сочинение могло быть написано одним из военачальников Никифора Фоки, а опубликовано после смерти последнего (969 г.)».

Какая, собственно, разница? Разве есть большая разница в том, что, скажем, не Гомер написал «Илиаду» и «Одиссею», а какой-нибудь другой слепой аэд, которого тоже звали Гомер? Об авторстве шекспировских пьес даже неловко упоминать. Важен не столько автор, сколько твёрдый осадок, сохранившийся результат. Если автор — августейшая особа, это, конечно, добавляет перчика, но не так, чтобы сделать блюдо «венценосным».

Когда Никитин скончался почти скоропостижно (1916), энергичский Зелинский набросал его портрет:

«Студенческая толпа мало знала его как профессора, больше как декана и ректора. Более значительную аудиторию привлекали от времени до времени его художественные переводы греческих поэтов, но, как толь-

Обложка отдельного оттиска
перевода «Стратегика
императора Никифора»,
С.-Петербург, 1908



ко дело доходило до глубокого анализа текста, языка и мыслей переведённого, аудитория таяла, и оставались только те, для которых именно это было самым важным и ценным <...> Не так быстро, как учёного, поняли мы Петра Васильевича как человека <...> Только постепенно и с течением времени мы увидели за этой невозмутимостью и сухостью болеющую нашими страданиями душу, за кажущейся определённой суждений рой мучительных сомнений. И чем дальше, тем больше этот именно образ Петра Васильевича предстал перед нами как подлинный и настоящий. Пётр Васильевич мало говорил, но много делал, помогал не словами, а делами. Наша уверенность в кристальной чистоте его духовного облика была так крепка, что часто одна его фраза, улыбка или сдержанная, никогда не злостная насмешка действовали сильнее, чем длинные укорительные или хвалебные речи».

Другой коллега и ученик Никитина, Ростовцев, как бы подтверждая, что тот «мало говорил, но много делал», высказался, что

«с самого вступления в Академию весьма нередко, отчасти по доброй воле, отчасти ex officio [по долгу], принимал участие в издании или завершении работ других учёных, причём его доля труда, как бы ни была она

велика, как-то стужёвывалась, и работа выходила или становилась известна под именем другого учёного».

Хотя Ростовцев и не называет Кулаковского, но к нему это относится — наряду с Васильевским, Ернштедтом и прочими.

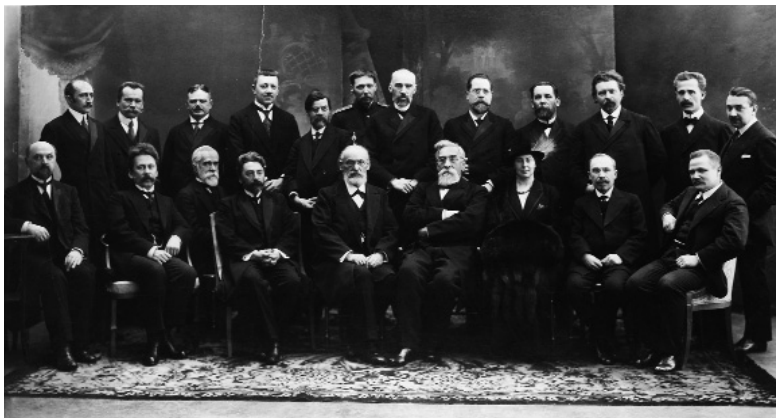
Академик Латышев писал, что Никитин постоянно помогал учёным в их затруднениях и, едва отделившись от одной работы, погружался в другую. Если это форма отлынивания от собственных исследований, то — изощрённая форма. Так, лишь завершив издание (по разрозненным фрагментам рукописей) трудов Ернштедта и Куника в «Записках Императорской академии наук», Никитин «отдал своё время чужой работе: в 1907 и 1908 гг. он наблюдал за печатанием приготовленного членом-корреспондентом Академии, проф. Ю. А. Кулаковским издания “Стратегика Императора Никифора”».

«Особенной признательностью, — пишет Кулаковский в предисловии, — я обязан <...> П. В. Никитину, который принял на себя труд редакции моего издания. Сверив мой список по рукописи, Пётр Васильевич своими поправками разъяснил немало мест, остававшихся для меня неясными, и его авторитетные указания много содействовали лучшему уразумению памятника. Без доброй помощи Петра Васильевича я бы не решился выпустить в свет это издание».

Мы помним, что Кулаковский предлагал Никитину поставить его фамилию рядом с своей, но тот, конечно, отказался.

Учёных никитинского типа и в то время было немного, нынче, кажется, нет вовсе. Это не потому что филантропические настроения в такой тонкой прослойке сообщества, как научная, сошли или сходят на нет в силу объективных обстоятельств, но и потому, что характер деятелей этого типа — достигших служебных высот, не пользующихся ими в личное благо, бескорыстно помогающих окружающим за счёт собственных научных дел, — этот характер может быть, пожалуй, объяснён не столько абстрактным гуманизмом, сколько нежеланием взвалить на себя какой-нибудь *свой* учёный труд, полусознательной боязнью не осилить большое, и потому — охотно отдаться помощью в создании хотя и чужого, но малого. «А ведь мог запросто пропить талант», — предупреждают знающие и стойкие.

Вместе с тем, как напомнил Латышев, до Никитина ни один вице-президент не вникал в мелочи академического хозяйства;



Академик Н. П. Кондаков в кругу друзей по поводу своего 70-летия.

Стоят слева направо: Г. Ф. Церетели, А. А. Васильев, Б. В. Фармаковский, Н. Л. Окунев, В. А. Плотников, Н. А. Смирнов, Я. И. Смирнов, Н. Н. Глубоковский, А. А. Дмитриевский, В. Т. Георгиевский, Ф. И. Покровский, С. Н. Кондаков; сидят слева направо: Б. А. Тураев, В. Н. Бенешевич, Г. И. Котов, Д. В. Айналов, А. М. Капустин, Н. П. Кондаков, С. М. Ростовцева, С. А. Жебелёв, М. И. Ростовцев. С.-Петербург, ноябрь 1914 г.

«помните его стремление к правде везде и во всём, его необыкновенную душевную чистоту... Но всего не перечтёшь. Напомню разве ещё его деятельность в переживаемые нами тяжкие дни в устроенном Академиею лазарете для раненых и больных воинов, когда он, будучи председателем комитета лазарета, счёл своим долгом нести дежурства по лазарету наравне с прочими членами комитета и аккуратнейшим образом исполнял эти дежурства. Да, это был человек долга <...> пред Отечеством и всем, что способствует его просвещению и преуспеянию, ни на одно мгновение не забывавший долга даже в самые тяжкие минуты своей личной жизни, какие пережил он, например, после безвременной кончины единственного и горячо любимого сына в 1912 году».

Лев Гумилёв делил учёных и их занятия на три типа: подход кропотливый, подход мотыльковый и подход огненный. Никитин безусловно должен быть отнесён к первому типу: составление пособий, библиографических справочников, подготовка к печати чужих рукописей, переводы и комментарии к текстам.

«Эти труды нужны и почтенны. Они фундамент науки. Эти труды

используют специалисты, но им в голову не приходит эти книги любить. Впрочем, те на любовь и не претендуют, ограничиваясь сознанием своей необходимости».

Кулаковский же пленил в себе три гумилёвских типа, в каждом оставаясь до известной степени аматором: он и греческие рукописи комментированно издавал, и занимался изящной, талантливой популяризацией малоизвестных или спорных сюжетов, и был причастен к «огненной науке» — «чтобы написать такой труд, надо освоить предмет и прочувствовать тему, а чтобы сделать его доступным для читателя, надо вскрыть себе вену и каждую строку напитать своей кровью».

Благодаря Никитина и в письмах, и печатно за оказанную помощь, Кулаковский отлично понимал, что не этим греческим текстом он войдёт в историю науки, и потому достаточно бесцеремонно пользовался услугами маститого коллеги. Хорошо ли это? Не знаю, но что правильно — наверняка.

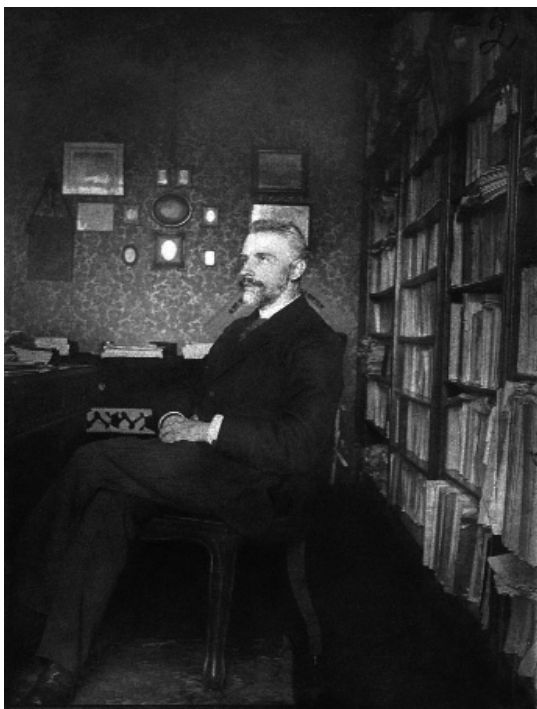
Тимофей Флоринский на Женских курсах. В 1907 году продолжались успокоительные меры и в высшей школе: Столыпин понимал задачи широко. Но глупость человеческая беспредельна, ум — редкость. Когда они вступают в конфронтацию, побеждает глупость: толпа давит человека. Пётр Аркадьевич писал, обращаясь к депутатам II Государственной думы:

«Преобразованное по воле Монарха отечество наше должно превратиться в государство правовое, так как, пока писанный закон не определяет обязанностей, и не оградит прав отдельных русских подданных, права эти и обязанности будут находиться в зависимости от толкования и воли отдельных лиц <...> Правовые нормы должны покоиться на точном, ясно выраженном законе ещё и потому, что иначе жизнь будет постоянно порождать столкновения между новыми основаниями общественности и государственности, получившими одобрение Монарха, и старыми установлениями и законами, находящимися с ними в противоречии».

Аналогичную цель ставил ещё «Свод законов» Михаила Сперанского, но дело с места не двигалось. Почему? Потому что большинство населения идиоты.

Наталья Полонская, 23-летняя слушательница ВЖК, помнила «товарища Соню» — некрасивую, маленькую, с русыми волосами, которая глухим голосом читала письма из тюрьмы и призывала объявить забастовку, пока царское правительство «нас не выслушает».

*Тимофей Флоринский
в домашнем кабинете
(Дом Раузера
на Бибковском бульваре),
фото 1890-х.
Публикуется впервые
из коллекции
Виктора Короткого*



«Курсистки начали волноваться. Почти ежедневно в аудиториях происходили митинги, на которых выступали, кроме “товарища Сони”, местные социалистки, среди них спокойная, разумная, привлекательная Анна Давыдова, меньшевичка. В дело всё больше втягивался “гумус” — наши девушки, которые не понимали сами ничего, но верещали о забастовке, потому что было модно, и им казалось, что они стали прогрессивными. Между тем, к нам обращалась администрация, профессора с предупреждением, что в случае забастовки курсы будут закрыты, что с большими трудностями удалось раздобыть разрешение на их открытие, что местная и центральная администрация относится к курсам как к рассаднику крамолы, что с университетами вынуждены считаться, а с женскими курсами считаться не станут: закроют снова на 25 лет, как уже было перед этим, и с концом».

С лекцией Флоринского на волне этой дамской нервозности произошёл совершенно нелепый случай.

«Когда профессор зашёл в аудиторию и увидел на кафедре орато-

ров, он начал силой протискиваться среди толпы и за несколько минут борьбы взял штурмом кафедру, и красный от волнения, борьбы, хотел уже было начать лекцию, но “товарищ Соня” и другие начали силой выбивать врага с занятой им высоты. Флоринского окружили курсистки, начался неимоверный шум и крик. Курсистки доказывали, что профессор не имеет права входить в аудиторию, где происходит митинг, приводили примеры, как поступил [А. И.] Покровский, который вышел из аудитории и ждал в лектории окончания митинга. Флоринский кричал, не выговаривая шипящих, что он профессор, что его обязанность читать лекцию и он не имеет права её не читать. Шум становился всё больше. Курсистки направились на Флоринского со всех сторон, так кричали, что уже никто не мог разобрать его слов. Тем временем несколько курсисток овладели выгодной позицией: встали на край кафедры перед столом профессора и, перегибаясь через стол, кричали что-то перед самым лицом Флоринского и размахивали при этом руками. И тут случилось нечто, чего мы не могли чётко разобрать: либо одна из них намеренно ударила Флоринского, или она случайно в азарте его зацепила, жестикулируя, — не знаю, но думаю, кроме неё никто не мог этого знать. Кажется, это была “товарищ Соня”. Но Флоринский вдруг побелел и с криком покинул аудиторию. Вдруг настала тишина. На ступеньках, внизу, уже ждала полиция. Что было дальше, я не помню».

Зато я помню: курсы были закрыты, но в 1908-м открыты.

Памяти академика Дашкевича. В 20-й книжке ЧИОНА за 1908-й после сообщения о заседании Общества 3.02.1908, посвящённого памяти Дашкевича, помещены тексты поминальных речей, произнесённых председателем Кулаковским и членами — Флоринским, Андреем Лободой, Петром Шаровольским, Митрофаном Довнар-Запольским и Иваном Каманиным. «Память почившего многозаслуженного сочлена была почтена вставанием». Тогда держали собравшихся стоймя действительной минутой молчания. Это сейчас минута молчания длится от силы десять секунд, потому что время забвения начинает интенсифицироваться сразу за погребением. Тогда в понятие минута вкладывался хронологически точный смысл.

Раньше я слишком остановился на отношениях Кулаковского и Дашкевича, чтобы здесь, «у развёрстой могилы» не дать слово новому председателю Общества Нестора Летописца, чтобы он мог как-то оправдаться перед самим собой за адресованные некогда коллеге насмешки.

«Две недели тому назад, — начал Кулаковский, — Университет св. Владимира и наше Общество Нестора Летописца понесли тяжёлую утрату в лице почившего заслуженного профессора Н. П. Дашкевича. Злой недуг, гнездившийся с давних пор в его организме, постепенно подтачивал его силы и, наконец, свёл его в могилу в полном расцвете его умственной и духовной силы и мощи. С тяжким чувством глубокой скорби о невознаградимой утрате собрались мы сегодня, чтобы почтить память почившего, сказать доброе слово о его многоценных трудах, вызвать пред нашим умственным взором его нравственный облик, и в этом общении с почившим принести ему дар нашей признательности за его жизненный подвиг, совершённый на наших глазах, в общении с нами».

Замечательный по *laudatio funebres* текст, который вполне можно позаимствовать на аналогичные мероприятия: ничего личного, совсем ничего, зато ощущение, что говорится очень лично. Кулаковский универсально знал своё римское дело, знал блестяще: речи Цицерона в Лицее цесаревича Николая не звучали для него с кафедры впустую.

«Богато одарённый от природы, с детских лет отличавшийся удивительной любознательностью и способностью усвоения, Н. П. был как бы предопределён самой судьбой к тому поприщу, которое он достойно проходил на своём жизненном пути».

Мы начали подзабывать, что поприще *проходят* на жизненном пути, то есть, несут «по жизни» нечто, от неё как физиологического явления отличающееся.

«Ещё на студенческой скамье стяжал он себе учёное имя, а собравшийся в Киеве в год окончания им университетского курса Третий Археологический съезд упрочил за ним широкую и заслуженную известность в среде учёных всей России. Будучи оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию по кафедре всеобщей литературы, Н. П. менее чем через четыре года был уже магистром по предмету своей специальности и вступил в число университетских преподавателей, в котором и остался до конца своих дней. На служение науке и родному университету принёс он все свои богатые таланты, все свои помыслы, всю свою энергию».

Человек долга прежде всего, он с неукоснительной верностью стремился осуществить тот идеал профессора, который он носил в своём сердце: неустанно пополнял, углублял и усовершенствовал своё знание, чтобы передавать его другим в живом процессе непосредственного общения с аудиторией. Непритязательный, мягкий и деликатный в отношении

к другим, необычайно строгий к себе самому, проходил он свой жизненный путь в неустанной напряжённой учёной работе».

Нет, всё-таки академик Жебелёв не позволял себе в некрологах, сочинять которые был непревзойдённый мастер, такой расплывчатости, в которой можно развести имя любого учёного. Впрочем, прочь циническое: Кулаковский писал о друге как человеку, а люди одного круга во многом похожи. Но вот он переходит к частностям, которые отличают Дашкевича от других.

«Оценку учёных трудов почившего предложат вашему вниманию мои товарищи, а я должен лишь отметить заслуги его пред нашим Обществом <...> Н. П. вступил в него через год после его зарождения, в 1874 году, с 1878 года стал его секретарём и нёс эти обязанности непрерывно в течение 15 лет.

Горячо сочувствуя целям Общества и радея об успехах его деятельности, он являлся, благодаря широте своих учёных интересов и своей богатой энергии, одним из самых живых его членов и много содействовал интенсивности учёной жизни Общества. Когда пошатнувшиеся его физические силы потребовали некоторого облегчения, он оставил секретарство, но не прекратил своего участия в учёной жизни Общества, а через несколько лет стал его председателем и с малыми перерывами нёс эти обязанности до начала своей смертельной болезни.

Более 30 лет раздавалось на заседаниях нашего Общества его красноречивое слово в учёных сообщениях по истории литературы и отечественной истории, областях знания, в которых почивший был равно авторитетен. Он раскрывал здесь пред нами свои огромные познания, свою богатую эрудицию, свой блестящий дар комбинации. Ему пред всеми другими обязано наше Общество тем, что помимо исторического, оно было также и историко-литературным. Общество обязано почившему более всех других организацией своей издательской деятельности. Покойный Н. П. с самого своего вступления в Общество мечтал о создании периодического органа. Недостаток материальных средств долго являлся здесь неодолимым препятствием; но с 1899 года удалось получить поддержку Министерства народного просвещения; с тех пор “Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца” стали выходить в виде одного большого тома в год, а с 14-го [тома], по его инициативе, наши “Чтения” получили вид периодического издания, выходящего по четыре книжки в год.

Много труда положил почивший на наше издание, много внёс он туда своих учёных работ, много времени стоила ему редакторская часть и тяжёлый труд корректуры, который он часто исполнял за других.



Киев. Царская площадь и Крещатик. Слева — «Дом Азренева-Славянского», фото конца 1890-х

При его непосредственном и ближайшем участии выработан был ныне действующий устав нашего Общества.

Желая расширить общественное служение нашего Общества, а также упрочить материальные его средства, Н. П. был инициатором публичных курсов и лекций, объявляемых от имени Общества его членами. Начиная с 1896 года, Общество ежегодно объявляло публичные лекции и целые курсы по разным предметам исторического знания при непосредственном участии своего председателя. Публичные чтения по истории западной литературы Н. П. привлекали в его аудиторию огромную публику, которая умела ценить его одушевлённое изящное слово, полное знания, силы, огня и убеждения. Когда его физические силы стали ему изменять, мы, ближайшие его товарищи, удерживали его от участия в публичных лекциях; но он сам так любил живой процесс передачи своих сокровищ искавшим у него поучения, что не слушал наших советов и уступил не сразу.

Помяну и ещё об одном его деле. Его инициативе и его энергии обязано наше Общество и тем, что пятидесятилетие со дня смерти Гоголя [весна 1902 года] было достойно отмечено в Киеве рядом публичных лекций по разным сторонам творчества этого писателя, и так составилась изданный Обществом «Тоголевский сборник».

Эта живая, энергическая и плодотворная деятельность прервана теперь навеки. Обозревая её одним общим взглядом, мы приносим почившему нашу признательность за его великий труд и сохраним навеки благо-

дарную память о том сосуде мвра драгоценного, каким был в нашей среде наш почивший дорогой товарищ...»

Примерно о том же самом говорили и другие, и то, что сейчас мы можем слышать (хотя и письменно) их голоса, подтверждает сохранность «навек» (по меньшей мере, на сто десять лет), о которой говорил Кулаковский.

Тогда же, в заседании 3.02.1908, Флоринский охарактеризует Дашкевича как человека, который избегал собраний, не искал связей, уклонялся от развлечений и дорожил временем для научных занятий. Любил книгу и располагал обширной библиотекой по истории западноевропейских литератур, народной поэзии, истории Украины («южнорусской истории», в лексиконе Флоринского). Отличался поэтичностью, был романтиком, идеалистом и христианином. Подчёркивая, что Дашкевич был знатоком малорусской народной песни и высоко ставил идею народности, Флоринский заметил, что он не разделял «тех новейших узконационалистических доктрин, которыми стараются вырыть глубокую пропасть между двумя русскими народностями, и не сочувствовал стремлениям представителей этих доктрин разрушить созданное веками единение великорусов и малорусов в одном общем научном языке». В дополнение к этой обычной по смыслу тираде Флоринского Андрей Лобода, после февральской революции ставший активным деятелем украинского движения, напомнил, что Дашкевич сначала употреблял термин *украинская* литература, а с 1898 года стал использовать вместо него термины *малорусская* и *южнорусская*. Ну, конечно, поживёшь рядом с Флоринским — и не такое скажешь.

Памяти профессора Антоновича. Через месяц с небольшим после Дашкевича, 8.03.1908 сошёл в могилу 74-летний Владимир Бонифатьевич Антонович, которому Кулаковский хоть и надписывал оттиски статей дежурным «многоуважаемому», но, по украинофобским причинам, относился сдержанно.

Тем не менее, 30.03.1908 на очередном заседании Общества Нестора Летописца он — председатель — находит нужные слова, чтобы почтить память Антоновича так же, как месяц назад нашёл их, чтобы хорошо вспомнить о Дашкевиче.

Здесь тоже есть эти самые «навек» и «поприще».

«Мы собрались сегодня, чтобы помянуть словом благодарности

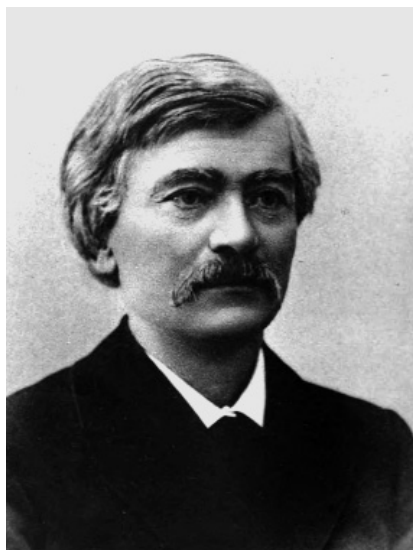
*Обложка сборника «Памяти Гоголя» —
отдельного выпуска Исторического
общества Нестора Летописца,
1902, рисунок Гр. Павлуцкого*



жизненный путь В. Б. Антоновича, одного из старейших наших сочленов, члена-учредителя нашего Общества, нашего председателя в течение многих лет, покинувшего нас навеки...

Имя этого человека крепко запечатлено в летописях русской науки, учёной деятельности Университета св. Владимира и жизни нашего Общества. В. Б. был специалистом по предмету русской истории. Дело не моей компетенции говорить здесь о его заслугах в области этой науки: об этом скажут его ученики и почитатели. Но, открывая заседание, я должен отметить его заслуги как нашего сочлена и помянуть его труды по устройству тех университетских учреждений, которыми он заведовал в течение более 30 лет своей плодотворной учёной непрестанной работы.

Любитель родной старины с молодых лет, В. Б. был близок к тому кружку, во главе которого стоял Максимович, мечтавший ещё в 40-х годах основать в Киеве общество для разработки родной местной старины. В начале 70-х годов Максимович с друзьями поднял вновь эту мысль; но обстоятельства сложились так, что открылось наше Историческое общество Нестора Летописца, а кружок друзей Максимовича вошёл в его состав и дал ему первых и лучших работников. В первом составе бюро Общества В. Б. принял на себя обязанности казначея, а в 1881 году стал председателем, нёс эти обязанности до 1887 года, принял их затем вновь



Владимир Бонифатьевич Антонович

в 1896 году и исполнял до тех пор, пока не стали ему изменять его силы. <...> Приняв в своё ведение в 1872 году состоящие в Киевском университете с самого его основания Музей древностей и мюнцкабинет (нумизматика), В. Б. отвёл видное место археологии в своих учёных работах и изысканиях. Он стал ездить из года в год на раскопки, которые предпринимал по всему юго-западному краю, а в сношении с гр. Уваровым простёр эту деятельность и на Кавказ; сам собирал археологический материал для Музея, вступил в непосредственные сношения со всеми любителями древностей в нашем крае, приобрёл огромные познания и широкую эрудицию в области археологии и делился своим знанием как с сочленами по Обществу в докладах на его заседаниях, так и с более широкой публикой на археологических съездах, на которых он неизменно являлся как один из наиболее авторитетных археологов на Руси.

Осторожный в своих выводах и непритязательный в своих суждениях, он давал отчёты о своих работах на избранном поприще и делился своим авторитетным суждением с сочленами по поводу чужих раскопок. <...> От его внимания не ускользала ни одна находка на территории нашего Киева и его юго-западного края, по мере возможности он собирал их в Музей Университета и сам приобретал ту полноту знания, которая делала его голос таким авторитетным на археологических съездах. К великому сожалению, многие из этих докладов как в нашем Обществе, так

и на съездах, остались ненапечатанными, и сведения об их содержании сохранились только в кратких извлечениях. Но он свёл результаты своих многолетних трудов по двум губерниям, Киевской и Вольнской, в археологических картах этих губерний, изданных Московским археологическим обществом. Таких точных и полных карт не имеет ни одна часть нашей территории».

Кулаковский знал, о чём говорил: сам вместе с Арсением Маркевичем начинал было составление археологической карты Крыма — не в подражание ли Антоновичу? — но дело так ничем и не кончилось.

«Никто, как он, не знал так судеб киевской территории, и эти его лекции собирали в актовыв зал нашего Университета огромную публику.

Покойный был счастлив в своей учёной деятельности: он будил учёные интересы молодёжи, приобретал учеников, и многие здесь присутствующие обязаны ему тем, что он направил их на учёные поиски в интересах изучения прошлых судеб нашего края.

Мир праху верного работника на ниве русской науки, служившего ей до конца своего земного поприща!..»

Ни слова об украинофильстве Антоновича — только о науке. Вот ведь как сильно раздражало Кулаковского стремление Владимира Бонифатьевича исследовать древности Украины, её археологию и историю, готовить учеников. Александр Оглоблин в мемуарах перечисляет имена и сделанное: Д. Багалея и П. Голубовский (история Сиверщины), М. Грушевский (история Киевщины), А. Андрияшев и П. Иванов (Вольнь), В. Ляско-ронский (история Переяславщины), А. Грушевский (история Турово-Пинского княжества), М. Довнар-Запольский (история Кривичской и Дреговицкой земель его родной Беларуси), В. Данилевич (история Полоцкой земли), Н. Молчановский (история Подолии), Н. Дашкевич и И. Линниченко (история Галиции).

Сравнить эту школу Антоновича с школой Кулаковского невозможно: не было у Кулаковского школы. Оглоблин ставит выразительную рамку:

«Що дали ці праці, які організував і якими керував Антонович, для української історіографії? Вони створили наукові підвалини для синтези Українського Середньовіччя — історії княжої України, — і без них була б неможлива ні наукова схема історії України, створена Михайлом Грушевським, ні його капітальна “Історія України-Руси”.

А ці ж праці — так звані обласні монографії — були тільки першими науковими кроками молодих українських істориків, які згодом дали стільки цінних досліджень з різних епох і різних теренів історії України — і Литовсько-Руської доби, і Козацько-Гетманської! А першим архітектором цієї великої й величної будівлі української історії був Володимир Антонович».

Такої характеристики ждуть от Кулаковського, розуміється, не було смисла: при всей толерантности к чужим исследованиям никак не желал он признать важности изучения украинской культуры. Происхождение, воспитание, образование, взгляды мешали этому.

Когда Императорская академия наук избрала Антоновича членом-корреспондентом, Алексей Соболевский с горечью сообщил Кулаковскому 6.01.1902:

«Выбор Антоновича в члены-корреспонденты произведён историческим отделением, т. е. Лаппо-Данилевским и Дубровиным, вероятно, по случаю юбилея его деятельности. Об его псевдонимных произведениях [в галицийских изданиях] в Академии ничего не знают, так как ни Лаппо-Данилевский, ни Дубровин не интересуются Галицкими делами и украинофильством и не подозревают, какую роль играет Антонович».

Это можно было объяснить, если вспомнить отзыв об Антоновиче Николая Бубнова, тогдашнего декана факультета (после Флоринского):

«Его тело было перенесено в одну из зал университета перед похоронами, для того чтобы университет в лице своих профессоров и студентов мог с ним проститься. Антонович был украинофил, но, что большая редкость, умный и тактичный украинофил, который ни в науке, ни в жизни не проявлял своего украинофильства в сколько-нибудь неподходящей форме. Он не доходил до таких геркулесовых столбов, через которые легко проходил его ученик Грушевский».

Двумя неделями раньше Кулаковського, 16.03.1908 на засіданні Українського наукового товариства об Антоновичі як археологе, но куда более объективно, выступил ученик и Кулаковського (по римской словесности), и Антоновича (по духу) Григорий Павлуцкий, профессор теории и истории искусств.

Кулаковский, нехотя, с напрягом, но старался быть объективным к исследованиям Антоновича истории Украины. Василий Данилевич приводит такой эпизод. Когда Антонович стал заведовать Археологическим музеем Университета, он принял



Київ. Пам'ятник св. Володимирі, фото 1890-х

от своего предшественника 1287 вещей, а когда в 1901-м передавал руководство Кулаковскому, то в каталоге было зарегистрировано 8813 вещей; библиотека пополнилась 583 единицами хранения, 429 картами, планами и рисунками.

Данилевич сетует, что желание Антоновича передать кафедру своему ближайшему ученику не осуществилась, и

«так само не здійснилася мрія передати завідування в Археологічному музеї своєму учневі. Більш од того, тее завідування перейшло до людини з ворожого Антоновичеві табору, до проф. Ю. А. Кулаковського. Але треба віддати честь проф. Ю. А. Кулаковському за те, що він все ж втішив слабого й старого попередника, прийнявши тее завідування на умові, що на допомогу йому в Археологічному музеї буде запрошено дружину проф. В. Б. Антоновича К. М. Мельник-Антонович. Таким чином, традиція Антоновича ще на якийсь час, а саме до славетної евакуації 1915 р., не припинилася в Музеї. Всі записи до 1915 р. в каталозі речей зроблені її рукою».

Неприязнь к народопоклонству была выработана в Кулаковском воспитанием, мировосприятием и житейским опытом учёного, который — хочет он или нет — возвышается над толпой. Не слишком жаловал он и интеллигентские штучки вроде «ходить в народ», «отдать свои фраки косякам», причём, неважно, какой это народ и чьих — косяцы. В этом он был сродни Бунину в «Окаянных днях»:

«Страшно сказать, но правда: не будь народных бедствий, тысячи интеллигентов были бы прямо несчастнейшие люди. Как же тогда засесть, протестовать, о чём кричать и писать?»

Мандельштам в ученическом сочинении (Тенишевское коммерческое училище) о преступлении и наказании в «Борисе Годунове»:

«Крик отвратительной, слепой ненависти, который вырывается у мужика на амвоне: “вязать Борисова щенка!” — заставляет нас окончательно разувериться в какой бы то ни было нравственной миссии народа».

Фраза написана весной 1906 года пятнадцатилетним пареньком, едва ли когда-нибудь отождествлявшим себя с толпой, с наиболее энтузиастическими представителями народа.

Евгений Кивлицкий пишет Владимиру Пискорскому через пару недель после кончины Антоновича:

«В университете творится что-то совсем несообразное. — Кулакерии (то есть правые во главе с Кулаковским. — А. П.) господствуют и торжествуют. Недавно умер Антонович — на похоронах университет (хотя отпевали в университетской церкви, и занятий по сему поводу не было) блистал отсутствием. Провожали до конца ректор и Довнар[-Запольский], не до конца — Кулаковский и Флоринский, из инофакультетских видел только Ермачка [Василия Петровича Ермакова, профессора Политехнического института]. Новые птицы — новые песни» (8.04.1908).

Нет, не так: и песни старые, и птицы немолоды; от политических привычек с возрастом отказываться всё трудней.

Речь в Обществе распространения грамотности. 25-го мая 1908 года в лекционном зале Народного дома на Троицкой площади состоялось торжественное открытие Киевского общества распространения грамотности и просвещения.

Среди собравшихся попечитель Киевского учебного округа Пётр Зилов, его помощник Пётр Погодин, предводитель киевского дворянства Григорий Вишневский, исправляющий дела городского головы Фёдор Бурчак, ректор Университета Николай Цытович, члены Общества, директора гимназий и реального училища, гласные Киевской думы, профессора Университета. После молебна, совершённого кафедральным протоиереем Петром Преображенским «в сослужении городского духовенства», с речью выступил сначала председатель Общества Владимир Германович Тальберг (1850–?), за ним — его заместитель Кулаковский.

Речи Тальберга и Кулаковского были напечатаны в «Киевлянине», а затем с перевёрсткой составили сборничек «Открытие Киевского общества распространения грамотности и просвещения: Речи председателя Совета Общества В. Г. Тальберга и проф. Ю. А. Кулаковского» (Киев, 1908. 30 с.)¹.

«Предоставленным мне правом слова я воспользуюсь лишь для того, чтобы задержать несколько дольше ваше просвещённое внимание на тех задачах, какие ставит себе наше Общество, и указать на одушевляющие нас идеалы, с верой в которые мы хотим принять участие в святом и великом деле народного просвещения.

Главная цель нашего Общества — содействовать распространению грамотности в нашем крае. То, что для других культурных государств Запада является уже нормальной действительностью, в нашем отечестве есть ещё отдалённый идеал. История нашего прошлого объясняет нам причину отсталости нашего отечества в деле народного просвещения <...> Ещё не прошло и пятидесяти лет, как Царь-Освободитель сокрушил узы, лежавшие тяжким ярмом на нашем народе. Пока это бремя тяготело на нём, образование и просвещение были сословной привилегией, и с таким взглядом на дело мирились даже лучшие наши люди. Шестьдесят лет тому назад наш гениальный писатель Гоголь благодушно рассуждал в письме из Рима о том, что грамота вовсе не нужна простому сельскому населению. Времена эти безвозвратно миновали, и освобождение крестьян стало эпохой, с которой началась деятельная работа правительства и общественных учреждений по созданию народных школ и распространения грамотности в народе <...> В настоящее время, вместе с коренным переломом в нашем государственном строе, дело народного просвещения сознаётся как долг государства перед народной массой, и есть все основания надеяться, что оно двинется вперёд живее и свободнее, чем прежде <...> Обращая взоры от этой общей перспективы на наш славный старый Киев, мы не можем не выразить радости по поводу недавно обошедшего наши газеты сообщения о том, что Киевская городская дума надеется, при небольшом пособии от государственной казны, довести число школ в городе до такой цифры, что ни один городской житель школьного возраста не будет лишён возможности учиться <...>

Но за Киевом лежит наш край с его многолюдным сельским населением, и тут уже перспектива не столь благоприятна. Статистические ци-

¹ Разыскать это издание удалось моему другу профессору Сергею Иванову в питерской «Салтыковке». Приношу Сергею Геннадиевичу глубочайшую благодарность.

фры о числе школ и детей школьного возраста позволяют утверждать, что в нашей губернии только около 35% детей могут учиться в существующих школах. Данные о приёме новобранцев представляют также печальные для нашего народного сознания свидетельства о низком проценте грамотных призывного возраста.

Помимо малого распространения грамотности, наше отечество угнетает и другое тяжёлое бедствие — рецидив безграмотности <...> Для того чтобы грамотность удержалась, нужна поддержка извне, нужно оживление раз пробуждённого интереса к печатному слову, нужна книга; но общие условия темноты нашей сельской среды большею частью не таковы, чтобы создать и поддержать потребность в книге. Средства для борьбы с этим злом найдены, и в нашем крае ведутся кое-где воскресные чтения, действуют курсы для взрослых; но, за исключением более крупных центров, это — лишь спорадическое явление.

Такова наша действительность <...> Живой орган просвещения народа, ближе всех стоящий к делу, это — народный учитель. К нему-то и хочет подойти наше Общество с материальной и нравственной поддержкой, чтобы при его посредстве оказать с своей стороны содействие делу народного просвещения <...> В вопросе о книгах лежит самый ответственный и самый важный пункт программы деятельности нашего Общества. Пережитое нами и, увы, всё ещё длящееся смутное время вызвало литературу брошюр особого направления, которая наводнила наш книжный рынок и пыталась проникнуть в народные массы. Повседневная печать того же направления с своей стороны старается воздействовать на народ и внести дух вражды, раздора и разложения в <...> народное сознание <...>

Сознавая настоятельность запроса на народное образование в данный момент нашей государственной жизни, оглядывая широкий простор той нивы духовной <...> мы соединились для общего дела и просим у вас сочувствия и помощи. Эта помощь может быть не только материальная, но и личная — участие в предстоящей нам работе <...> Чтобы закончить круг задач, которые ставит себе наше Общество, остаётся упомянуть ещё один пункт нашей программы — курсы церковного пения. Церковное благолепие есть главный и, можно сказать, единственный источник эстетических впечатлений нашего православного люда, и всё, чем можно помочь в этом деле, пойдёт на благо народа».

Вообще, на то время в Киеве была дюжина просветительских обществ, действовавших с благотворительными целями. Вот они по алфавиту: Киевское благотворительное общество,



Киев. Троицкий народный дом (ныне Киевский национальный академический театр оперетты), фото 1900-х

Киевское губернское попечительство о детских приютах, Киевское религиозно-просветительное общество, Лютеранское имени святой Екатерины просветительное общество, Общество детских садов, Общество дневных приютов, Общество призрения сирот служащих Юго-Западной железной дороги, Общество распространения коммерческого образования, Общество распространения просвещения среди евреев, Общество содействия школьному образованию, Попечительство о домах трудолюбия, Свято-Владимирское общество.

Что здесь нынче комментировать? Необходимость и недостаточность?

1908 год и киевские благоглупости. Летом 1908 года в Берлине состоялся следующий, II Международный исторический конгресс, делегатом которого был избран Кулаковский. Предварительный, «нулевой» Международный конгресс историков состоялся в Гааге в 1898-м, I-й — в 1903-м в Риме, III-й — в 1913-м в Лондоне. Но июнь семейство Кулаковских проводит на берегу Берёзовки в любимом Карпинце.

В письме Иконникову из Суховоля 12.06.1908:

«Собираемся около 20 переехать в Кганз около Кёнигсберга, откуда я поеду в Берлин на конгресс. Но это будет зависеть от состояния здоровья Любы.

Я лично наслаждаюсь деревней, сколько могу, и ровно ничего не де-

лаю. Надо, впрочем, по-немецки набросать доклад о “Стратегике” Никифора, который хочу представить почтенному собранию, если найдутся для этого минут 10, в каком-нибудь заседании. Доклады, как оказалось, уже распределены по всем секциям. Какой у немцев порядок и как задолго всё предусмотрено!

Сено собрали везде прекрасно, не так, как в прошлом году, когда наши луга в эти дни представляли широкое море с торчавшими кое-где стогами. Теперь начинается жатва. У нас теперь арендатор, так что мне не приходится метаться по хозяйству, что, впрочем, было мне приятно.

Наверно, это наблюдение покажется не к месту. — Отечественные учёные полагают правилом хорошего тона (причём, искони, с времени чуть ли не петровской академии), сочиняя трактаты, ссылаться на достижения или ловко выраженную мысль зарубежных учёных. Те же — зарубежные — полны собой и письменными соотчиками, и обращаться к трудам русскоязычных исследований (исключение: византинисты) не считают обязательным. Возможно, большую роль играет традиция: те первые российские академики были немцы (Бекенштейн, Байер), порой так и не выучивавшие русский язык, хотя десятилетиями жила в имперской столице. Возможно, несколько раз обожглись, и не решились далее изучать странный и сложный язык ради нескольких гуманитарных нелепиц.

Не без удивления встретил я в книге французского античника Поля Видаль-Накэ «Чёрный охотник» (2001), в общей, очень развесистой библиографии, которая составлена из нерусскоязычных источников, только два русских имени. Они, пожалуй, были случайностью, а не закономерностью. Это Яков Ленцман и Александр Никитский, первый из XX века, второй — из XIX. Взглянем на книги этих авторов и увидим безотрадную картину: авторы, на которых ссылаются эти учёные, практически сплошь иностранцы. Ситуация объективна: среди соотечественников прослойка специалистов всегда тонкая, в мировой науке можно подозревать большее число достойных, там условия жизни (не выживания) иные. Там их реже изгоняли, сажали, расстреливали. Но «наши» учёные это знают, а «их» учёные не знают или не хотят знать. По всему вероятно, дело не в прозрачном языковом барьере, но в качестве результатов научных исследований, в учёном и литературном задоре написанных страниц. Мы стараемся следить за трудами друг



Трамвайчик бежит из Киева в Святошин, фото 1900-х

друга, за находками, комментарием к этим находкам. Обидно, что наш исследователь способен постичь новое на европейском языке, а европеец от славянского слога шарахается, будто его привезли в глухую деревню и принуждают пить кислый домашний квас. Обидно? Нисколько. — Человек за письменным столом всегда знает, чем занят, час от часу передёргиваясь лживым чувством всемирной ответственности.

Им трудней, чем бесписьменным. «Общеизвестен факт, что люди, занимающиеся всю жизнь исключительно физическим трудом, совсем не выдерживают умственного напряжения. Полный сил и здоровья крестьянин, если его посадить за азбуку, после какого-то времени теряет сознание, будто нервическая барышня», — авторитетно утверждал зоолог профессор Владимир Шимкевич, ректор Петроградского университета в 1919–1922-м. И — «никакой неловкости не произошло» (Габричевский).

Через несколько дней после письма Иконникову новороссийская газета «Черноморское побережье» (17.06.1908) сообщает о случае, не имевшем отношения к Кулаковскому и его родне: в Киеве, в Святошинских купальнях, трагически утонула 17-летняя гимназистка Черногрязская.

«Когда Черногрязская стала тонуть, крики несчастной привлекли

внимание купавшихся по соседству мужчин, и они бросились к женским купальням. Но двери женской купальни оказались на запоре, и купавшиеся женщины не пожелали впустить мужчин, находя свои туалеты не вполне законченными. Ни просьбы, ни требования, ни ужасные крики тонувшей девушки не тронули купавшихся дам, и девушка погибла».

Купальнями называли такие будочки на колёсах, стоявшие в воде или на берегу, которые внутри были обустроены лавками: люди заходили, переодевались и выходили на реку. Как можно было утонуть в такой купальне, неясно. Но где Новороссийск — и где Святошин.

Событие имеет отношение и к киевским нравам 1900-х, и к одному из первых в России дачных посёлков Святошин, куда можно было добраться по Городской электрической железной дороге (по-нашему — трамвай) за полчаса от Триумфальных ворот (нынешнее пересечение двух проспектов: Брест-Литовского и Воздухофлотского), уплатив 20 копеек (студенты, гимназисты и гимназистки платили полцены, правда, багаж и велосипеды перевозились по полному тарифу). В «Спутнике по Киеву», изданном С. М. Богуславским в 1913 году, читаем: «вагоны Киево-Святошинского трамвая очень удобны и изящны на вид, имеют плавный и свободный ход и от конечных пунктов отходят через каждую четверть часа». Трамвай подъезжал к самым воротам практически уничтоженного современной застройкой громадного Святошинского парка, в тенистый сосновый лес и к множеству прудов, на которых обустроены купальни.

До сих пор сохранились кирпичные одноэтажные здания святошинских дач (например: улица Львовская, 18 и 80, проспект Победы, 130/1), фасады которых выкрашены салатоненькой красочкой вперемешку с побелкой и золотцем. Архитектор Александр Кривошеев, мастер кирпичных фантазий, участвовавший в их создании, к такой покраске отношения не имел.

Берлинский конгресс. Переставши «метаться по хозяйству» в Карпинце, «из Берлина» Кулаковский пишет:

«Своеобразной особенностью будущего международного конгресса являлось то, что предполагался особый дамский комитет с особой программой экскурсий и осмотров под руководством жён некоторых берлинских профессоров. Это внесение немецкой *Gemütlichkeit* [немецкого уюта] в серьёзные научные цели, какие должен иметь конгресс представи-



Святошин. Центральный пруд, фото 1900-х

телей исторической науки всего мира, показалось мне несколько неожиданным. В Риме [в 1903-м] не было никаких особых дамских комитетов и экскурсий, хотя было несколько дам, читавших доклады.

В Берлин я приехал в день открытия, 6-го августа [нового] ст[иля], рано утром, и своевременно явился в залу Филармонического общества, где в 10 часов должно было состояться открытие и первое заседание конгресса. Покинул я Берлин 12-го августа, в день окончания конгресса; и расстался с ним в настроении полного разочарования насчёт того, что прошло пред моими глазами и при моём личном участии.

Меня удивило то, что господствовало чтение докладов по написанному тексту, и лишь редким исключением являлась свободная речь докладчика. Некоторые доклады, преимущественно англичан, читавших медленно и тихо свой текст (одни — по корректурным листам), вызывали неодобрение публики и заставляли покидать зал большинство посетителей, забредших в эту секцию. Общего интереса и общего оживления на берлинском конгрессе не было, и после того, что было в Риме в 1903 году, в общем было довольно скучно».

Может, именно это впечатление и привело Кулаковского к мысли на исторические конгрессы больше не кататься: в 1913-м на аналогичный лондонский форум вместо Кулаковского был делегирован Ардашев, который по мотивам путевого дневника произвёл объёмистый труд, опубликованный в ЖМНП (сентябрь–октябрь 1913-го).



Ульрих фон Вилламовиц-Мёллендорф

«Очень содержательный реферат [Ростовцева], — продолжает делиться впечатлением о берлинском конгрессе Кулаковский, — заключал в себе целое исследование о римском колонате по новым данным, извлечённым из надписей и папирусов, которые позволили поставить этот старый вопрос в широкую рамку экономического развития всего античного мира. Докладчику приходилось выпускать целые отделы своего учёного исследования и ограничиваться утверждениями положений, извлечённых из богатого материала, который он изучил. Его работа появится в журнале “Archiv für Papyguskünde” и, конечно, с полным вниманием будет изучена специалистами. Но нельзя не сказать, что такое солидное учёное исследование не совсем подходило к общему заседанию международного конгресса. Это слишком тяжёлый материал, чтобы можно было его предлагать в таком собрании в течение 30–40 минут».

Интересно, что Жебелёв обратился с просьбой о написании конгрессного мемуара в ЖМНП к Ростовцеву.

«Конгресс, слава Богу, кончился, и мы уже четвёртый день в Бельгии <...> Надеюсь, что сейчас по приезде увидимся, тогда расскажу подробнее обо всём <...> Статью о конгрессе напишу, когда будем сидеть несколько дней на месте, где-нибудь около Ostende. Если не успею, — но думаю, что успею, — придётся тебе просить кого-нибудь другого, например, Бузескула, Хвостова или Кулаковского, которые все были

на конгрессе. Боюсь, что и так статья моя будет не первой, но раз ты хочешь, чтобы писал я, я это постараюсь сделать» (21.08.1908).

Статья Ростовцева «Международный исторический съезд в Берлине» была напечатана перед статьёй Кулаковского «Из Берлина: Международный Конгресс историков» в октябрьской книжке ЖМНП: текст Ростовцева поменьше, Кулаковского побольше. Приятно обустроиться гонораром за несложное отчётное письмо.

«Так как немецкие профессора уклонялись от всякого выступления в общих собраниях, — писал Кулаковский, — то дело получило такой вид, что учёные иностранцы, по выбору комитета и независимо от содержания и характера докладов, представлялись друг другу в международном собрании. Из речи проф. Виламовица-Мёллендорфа нужно было заключить, что комитет старался стушевать немецкий элемент в общих собраниях, чтобы отдать первое место гостям. Но мне думается, что эти гости <...> с большим удовольствием прислушались бы к какой-нибудь речи общего характера таких крупных учёных авторитетов, как Виламовиц-Мёллендорф и другие берлинские и вообще германские профессора <...> чем к речи учеников германских профессоров из иностранцев, хотя бы и блистательно доказавших свою учёность...

Обычай избирать почётного председателя применялся в заседаниях секций, и, в виду обилия лиц, которым желали оказать внимание, почётные председатели нередко менялись по отдельным докладам... Что ж до русских, то, кажется, одному только профессору Штерну (Одесса) была сделана эта честь...

Помяну <...> доклад молодого учёного [Августа] Гейзенберга (из Вюрцбурга) на общую тему: «Основы византийской культуры»... Правда, Гейзенберг слишком мало известен, и было бы гораздо интереснее, если бы с такой темой выступил сам глава византинистов в Германии, проф. Крумбахер, который был на съезде и председательствовал в этом заседании IV секции, где говорил г. Гейзенберг и в котором пришлось сделать мне мое сообщение о «Стратегике» Никифора по рукописи Московской Синодальной библиотеки. Но г. Крумбахер человек непоказной, со слабым голосом, был к тому же не совсем здоров в ту пору, а мудрость г. Гейзенберга восходит к этому источнику, и он, очевидно, излагал мысли учителя».

Кулаковский обращает внимание и на развлекательную сторону конгресса (кроме помянутых «дамских» экскурсий):

«Филологи-студенты Университета Галле разучили и поставили на сцене два древних фарса аттического комика Менандра... Скабрёзные

*Ю.ианъ Андреевичъ
Кулаковскій
Профессоръ Университета Св. Владимира.*

Пушкинская, 40, кв. 6.

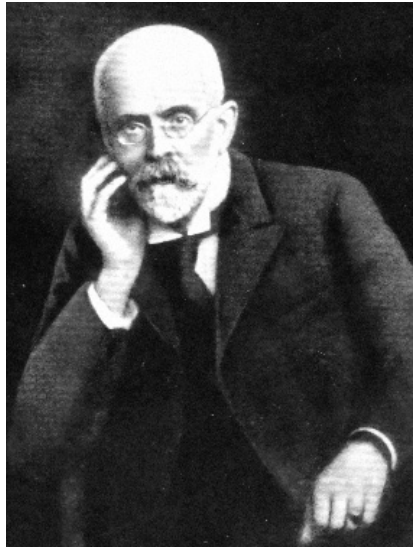
Визитная карточка, 1900-е, реконструкция

и грубые по своему содержанию, эти мимы, как назывались этого рода представления, дошли далеко не в полном виде, и недостающее в тексте было восполнено мимическими сценами собственного изобретения студентов под руководством профессора Роберта... Театр был полон, исполнители награждены аплодисментами и вызовами по окончании спектакля, но интереса к античной драме такие пьесы пробудить не могут: всё здесь грубо, грязно, шаблонно и карикатурно. В древних мимах женские роли, в противоположность трагедии и комедии, исполнялись женщинами, и это усиливало их цинизм. Здесь было иначе: все исполнители были студенты, отлично выучившие свои роли и игравшие с большим старанием, а некоторые даже с искусством».

Итог впечатлениям о конгрессе Кулаковский выразил в последних строках:

«Берлин со своею учёностью и своими богатыми музеями — слишком новый город по сравнению с Римом. Центр могущественного государства и великого культурного народа, он не имеет того обаяния, какое производит на всякого европейца вечный Рим, и свойственное пруссакам самосознание, самодовольство, отсутствие радушия и приветливости в характере и манере общения, в особенности с иностранцами, никак не являлись благоприятными условиями для того, чтобы на этом конгрессе мог сказаться интернациональный дух. Это был германский съезд, в котором приняли участие иностранцы в довольно значительном числе, но они терялись среди немцев».

Разбор научно-организационной стороны конгресса Ростовцевым не менее интересен, чем у Кулаковского.



Карл Крумбахер

«Особенно интересны были секции археологическая и восточная. Объясняется это, на мой взгляд, тем, что существование деятельности секций должно быть реферирующим. Каждая страна, каждый учёный должны ознакомиться с новым материалом, реферировать о том, что сделано. Выдвигать новые идеи, новые точки зрения в сутолоке съезда не время и не место. Новые идеи рождаются в кабинетах и прорабатываются коллегами в кабинетах же».

Ростовцев сосредоточивается на важности психологических обстоятельств личных встреч учёного люда, не всегда, правда, последовательных. Так Бродский в Норенской разглядывал маленький портретик Одена на обложке английской книжки стихов Хью Уистана, стараясь увидеть в чертах лица личность.

«Даже мимолётные встречи имеют, несомненно, большое значение. По книге никогда нельзя судить о данной научной величине, книга даёт только остов мышления, научная же величина — это весь человек со всем его внешним обликом, манерой говорить, способом мышления и т. д. Увидеть человека часто достаточно, чтобы понять его научное творчество. Книга виденного и знакомого человека ближе и понятнее книги анонима. Обмен мыслей иногда по ничтожному вопросу открывает сразу глубину или плоскость всего научного мирозерцания человека и то, о чём, не видя человека, только гадаешь, становится определённым и понятным.

Личное общение, конечно, первооснова всякого конгресса, учесть его силу и влияние не так легко, как научный вес того или другого доклада, как пользу от знакомства со страной, памятниками и музеями».

Это теоретизирование довольно сомнительно: как же после этого читать книги умерших? Не то впечатление? Но ведь человек это, как известно, «часть речи», в научном смысле — письменной речи. Но Ростовцев не замечает несуразности и продолжает:

«Личное общение международное становится ещё ценнее теперь в эпоху расцвета национализма, в эпоху, когда в науке то здесь, то там пышно расцветает бурьян шовинизма <...> Конкуренция наций на научной ниве прекрасная вещь, культ родного языка и стремление сделать его мировым — глубоко симпатичная тенденция, но за всем этим нельзя забывать главного, того, что наука как таковая не знает языка, не знает нации, а знает только человечество».

Космополит Космополитович, Ростовцев смог обосноваться после 1918 года в Англии и с 1920-го в Америке, преподавая в Висконсинском университете Мэдисон и с 1925-го до конца дней — в Йельском (после 70-летия — профессор-эмерит).

Я намеренно так подробно остановился на цитировании, порой, может статься, излишне подробном, двух текстов на одну тему — Ростовцева и Кулаковского, — потому что, как представляется, в самой их конструкции таятся мировоззренческие различия между двумя незаурядными учёными. Космополитизм Ростовцева и имперское самосознание, навязчивая «российскость» Кулаковского проявились в них со всей силой. Может, потому Кулаковский хорошо отозвался о докладе Ростовцева, а Ростовцев — не отозвался. А может, потому, что Кулаковский доклада и не читал? Я не нашёл свидетельств о его выступлении на конгрессе.

Ещё до конгресса, пребывая в Карпинце, супруга Кулаковского Любовь Николаевна 8.08.1908 отправляет письмо профессору кафедры внутренних болезней Университета Григорию Малкову (1869–1919?), который был домашним лекарем Кулаковских:

«Хочу исполнить своё обещание написать Вам, как совершили мы наше путешествие: я нарочно не сделала этого тотчас по приезде, чтобы хоть немного выждать время и сообщить также и о результатах моего пребывания здесь. К сожалению, похвалиться особенно этими результа-



Киев. Днепр, Цепной мост, Киевская крепость. Аэрофотосъёмка 1918 г.

тами не могу, несмотря на прекрасный воздух, хорошую пищу, прекрасную погоду и полный покой; температура всё стоит между 36,6 и 37,3 [°C], а сегодня было даже почти 37,4, чего и в Киеве последнее время не было; кроме того, усилился насморк, который упорно держится всё время, и увеличился кашель, принявший вполне характер мокротный; после приступов кашля чувствую теперь всегда упадок сил и часто головокружение. Простудиться в дороге я никак не могла, т. к. в купе 1-го класса были вполне защищены от сквозняков, а здесь, на лошадях, мы всё время ехали при прекрасной, тихой и солнечной погоде.

Числа 20-го муж едет на съезд в Берлин, а я с мальчиками хочу на некоторое время переехать в Кранц подышать морским воздухом. Вот я и хочу просить Вас, добрейший Григорий Митрофанович, черкнуть мне два слова о том, считаете ли Вы такую поездку возможной для меня теперь, раз моё состояние не улучшилось; быть может, лучше было бы мне поехать куда-нибудь в горы? Сплю я тут неважно и аппетит всё тот же, хотя и стараюсь есть нормально.

Воду Soden № 3 пью 13-ую бутылку, осталось ещё пять; покончить ли мне на этих 18-ти или пить ещё, раз так упорно держится кашель? Тиokol (отхаркивающее. — А. П.) принимаю. Простите, пожалуйста, что отнимаю у Вас время такими подробностями, но меня очень разочаровало, что я в эти десять дней, несмотря на хорошие условия, не поправилась».

Обеспокоенный состоянием супруги, на следующий день, 9-го августа, Кулаковский тоже пишет Малкову:

«В дополнение к письму жены хочу, во-первых, сообщить объективные данные температуры <...> Что касается до внешнего вида, то цвет лица значительно лучше, появился и загар на лице.

О самочувствии писала жена сама. Она чувствует вообще большое нетерпение, и ей кажется, что за десять дней пребывания в деревне результаты воздействия воздуха и обстановки должны быть гораздо заметнее и значительнее. Погода была всё время превосходная, и мне кажется, что жена моя преувеличивает опасливость, не выходя из комнаты после 6 часов вечера, хотя солнце заходит у нас в 9-м; но я не возражаю.

Нужно ли продолжать Soden, когда будет выпита 18 бутылка? или это в зависимости от кашля? 23 числа или даже 22 я должен быть в Берлине, а потому 20 (самое позднее) мы хотим переехать в Kranz подле Кёнигсберга, где жена с детьми останется, пока я буду в Берлине».

Холера в Киеве 1907–1909 годов. Кулаковский стремился отправить жену с детьми, да и сам сбежать из города хоть на какое-то время (например, с 1 по 15 августа 1908 года делегатом XIV Археологического съезда в Чернигове), потому что второе полугодие 1908-го и первые полгода 1909-го в Киеве хозяйничала эпидемия брюшного тифа и холеры.

Дело было так. Ещё в конце августа 1907-го город атаковала азиатская холера, завезённая отхожими промысловиками из Астрахани (заболели больше тысячи киевлян, летальный исход 36%).

«Холера в Киеве разыгралась не на шутку, но я веду прежний образ жизни, а в пиве, как свидетельствует местный бактериолог, бактерия умирает через час, — я её и морю. Паника в городе довольно сильная, что, конечно, содействует распространению болезни», —

сообщал киевлянин Евгений Кивлицкий нежинцу Владимиру Пискорскому 6.10.1907.

В 1908–1909-м проблема городской чистоты и городских нечистот, неопрятности и чистоплотности стала буквально «лицом к деревне», каковой и были пригороды Киева, начинавшиеся сразу за центральными улицами.

В конце XIX века в Киеве соорудили канализацию: нечистоты, проходящие сквозь коллектор, собирались на полях орошения на Куренёвке. Дальше просто: при попадании в Днепр дерьмовые бактерии плыли по течению вдоль всего города, пока не попадали в водопровод (киевляне тогда потребляли сме-



Киев. Софийская площадь и вокруг. Аэрофотосъёмка 1918 г.

шанно артезианскую и днепровскую воду). Песочные фильтры, которые должны были очищать речную воду, с задачей не справлялись, и тифозные бактерии и холерные вибрионы из канализации попадали на поля орошения, оттуда снова в Днепр, всасывались в трубы водопровода, заражали жителей и проделывали путь заново, подтверждая тезис о «круговороте дерьма в природе». Длилось всё это годами, воды не хватало, частное Общество водоснабжения тщетно добивалось отвода земли под артезианские скважины. Лишь с визитом азиатской холеры 15.08.1908 чиновники опечатали сосуны водопровода, которыми закачивали днепровскую воду в городскую систему, и город перешёл на потребление артезианской воды. Но заражённые водопроводные трубы, конечно, не меняешь.

Изучавший вопрос Вл. Володько (2016) составил карту ареалов киевских инфекций: скарлатина чаще всего поражала жителей Куренёвки и Приорки, дифтерит — жителей Печерского участка, тиф и холера стали бичом Лыбедского, Плоского и Лукьяновского районов (на Лукьяновке обитатели городской тюрьмы существенно портили медстатистику), жители Большой Дорогожицкой и Большой Васильковской прочно удержи-

вали в больных руках пальму первенства по холере. Кулаковский жил практически в шаговой доступности к Большой Васильковской и имел основания опасаться за себя и семью.

Вообще, уже в более или менее цивилизованные (электричество, водопровод, канализация, телефон) 1900-е киевский обыватель жил грязно. Иные киевляне и сейчас так живут, потому что не каждый чистолюден, а жить приходится в одном доме, в одном подъезде, касаясь перил, в которых бактерий больше, чем чувства солидарности с человечеством.

«Существенная часть городской территории не имела канализации. Для отвода нечистот жители использовали так называемые канавы, большинство из которых впадали в Днепр или его притоки. Эти зловонные клоаки являлись питательной средой для инфекций. В 1908 г. насчитывалось 22 большие и малые канавы, из которых самые опасные Глубочицкая, Совская, Прозоровская, Юрковская, ручей Скоморох. Эксперты настаивали, что канавы нужно заменить кирпичными или железобетонными трубами, но цена вопроса была непомерно высока (до 500 тыс. рублей только для пяти крупных канав)» (Вл. Володько).

Не только питьевая вода, но нечистоплотность горожан (с деревенскими жителями понятно: «в природі все чисто») сокращали «нагрузку на почву», увеличивая смертность.

Особенно рисковали извозчики: лошадей поражал сип — хроническое заболевание, которое передавалось окружающим. Власти устраивали карантин, но не всегда эффективно.

«Жители Лыбедского участка в 1903 г. во время свиной чумы успешно прятали от ветеринарного надзора “подопечных”, а тушки павших животных ночью выбрасывали прямо на улицу. Жуткая антисанитария — второй катализатор эпидемий в Киеве. Город усеивали легальные и нелегальные свалки мусора, источавшие специфические благовония. Как правило, этим славились окраины и пригороды. Верхняя Соломенка, например, представляла собой почти сплошную мусорную свалку. Удушливый воздух царствовал в местах, где среди навоза и сора помещались базарные рундуки торговцев. За Демеевку ассенизаторы свозили неблаговидный груз, чем вызывали неудовольствие местных жителей» (Вл. Володько).

Городские базары, по эпидемиологическим отчётам, «грязны до невозможности, на всём протяжении они покрыты большими кучами навоза и разных отбросов, около мясных лавок, рундуков, с которых продается свежая рыба и хлеб, невозможно за грязью пройти. Кругом зловоние».



Днепр, Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, Арсенал. Аэрофотосъёмка 1918 г.

На самом деле Киев 1900–1910-х в санитарном отношении — подлинное Средневековье, о котором с иным ехидством позже напишет Бердяев.

«Из отводных труб в разных частях города время от времени на мостовые выливались стоки. Киевский уездный воинский начальник в 1908 г. сообщал, что из канализационной шахты на углу улиц Жиланской и Караваевской нечистоты выступают на поверхность мостовой и широким потоком текут по Караваевской улице в усадьбы управления воинского начальства» (Вл. Володько).

Смрад преследовал киевлянина, и тот привык к нему так же, как французский мушкетёр к ботфортам, изобретённым, чтобы передвигаться по улицам, на которые парижские домохозяйки ловко вываливали кухонные нечистоты и содержимое ночных горшков.

Сколь контрастно выглядят воспоминания Александра Богомазова (1880–1930), художника и потому романтика, о Киеве тех лет:

«Киев в своём пластическом объёме исполнен прекрасного и разнообразнейшего глубокого динамизма. Тут улицы упираются в небо, формы напряжены, линии энергичны, они падают, разбиваются, поют и играют.

Общий темп жизни ещё больше подчёркивает этот динамизм, наделяет его, так сказать, законными основаниями и широко разливается вокруг, пока не успокоится на тихих берегах левого Днепра».

Столь возвышенные и для по-настоящему взрослого человека не характерные наблюдения можно записать только за тщательно прибранным столом, в чистой сорочке, пером, которое держит рука с чистыми ногтями. В Киеве такими условиями быта могли похвалиться немногие, и они, конечно, хвалиться избегали. Мы и без них знаем, что художники с поэтами редко глядят под ноги долго и внимательно: им звёзды подавай, птиц, водочку и легкомысленных хохотушек.

Заслуженный ординарный профессор. Итак, в антилетописи жизни Кулаковского я подхожу к завершению известного биографического этапа. Он об этом не знал, а мы знаем.

В июле 1906 года, получив звание заслуженного ординарного профессора (утверждён в нём 4.01.1907) и полную пенсию в размере профессорского оклада, Кулаковский оставляет штатную службу и переходит в разряд внештатных профессоров Университета св. Владимира по кафедре классической филологии. Он признан, его цитируют и бранят, о нём пишут и пускают приятные сплетни.

Ходаатайство ректора Университета Цытовича о представлении Кулаковского к пенсии сохранилось:

«По выслуге 25 лет по учебной части ординарный профессор Университета св. Владимира по кафедре классической филологии, действительный статский советник Юлиан Андреевич Кулаковский предложением г. министра народного просвещения от 11-го декабря 1901 года за № 34511 оставлен был с 1-го июня 1901 года (задним числом. — А. П.) на дальнейшей службе при Университете. — В виду истечения 1-го июня сего 1906 года тридцатилетнего срока учебной службы г. Кулаковский по силе 105 ст. Университетского устава выходит из числа штатных профессоров Университета, сохраняя звание профессора согласно желанию, а потому он 23 апреля сего 1906 года обратился ко мне с прошением об исходатайствовании ему выслуженной пенсии.

Донося об изложенном и представляя при сем прошение профессора Ю. А. Кулаковского, копию с послужного списка его и пенсионную ведомость о нём, честь имею покорнейше просить ходатайства Вашего Превосходительства пред г. министром народного просвещения о назначении ему пенсии из Киевского Губернского Казначейства с 1-го июня сего 1906

года в размере полного оклада содержания, присвоенного должности ординарного профессора, по 3000 рублей в год, на основании 354 ст. Устава о пенс[ионных] и един[овременных] пос[обиях] Т. III Свода Законов [Российской Империи] изд[ания] 1896 года».

Прошение на имя ректора на гербовом листе (две марки по 60 копеек):

*Его Превосходительству г[осподину] ректору
Университета св. Владимира
ординарного профессора Ю. Кулаковского*

Прошение

В виду того, что 1 июня сего 1906 года истекает тридцать лет моей учебной службы, честь имею покорнейше просить Ваше Превосходительство возбудить ходатайство о назначении мне с этого срока пенсии согласно ст. 105 Университетского Устава 1884 года.

Орд. проф. Юлиан Кулаковский

23 апреля 1906 г.,

г. Киев

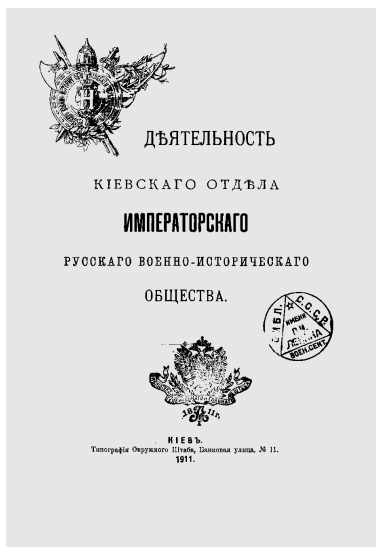
В июле 1906-го Департамент общих дел по пенсионному разряду за подписью товарища министра просвещения (№ 7513) сообщает Цытовичу, что Кулаковскому назначен

«полный оклад содержания, присвоенного должности ординарного профессора по штату Императорских Российских университетов 23 августа 1884 года по три тысячи руб. [в год] с 1.VI 1906, со дня выслуги 30-летнего срока и выбытия из числа штатных профессоров Университета св. Владимира, с вычетом установленных процентов — 2940 руб.».

Внештатный профессор Университета, выслуживший полную пенсию и получивший к званию приписку «заслуженный», имел право на ограниченное число лекционных часов. 51-летний пенсионер пользуется этим досугом вволю. Мог заказывать в ресторанах *frit-casse a l'esprit fort* (фрикассе «Вольнодумец»), но — не заказывал и не вольнодумствовал.

Скорее всего, именно новый статус позволил ему заняться цельной историей Византии, которая до того разрешала ему касаться нежно скрытых тайн эпизодически.

В 1906/1907 учебном году он уже читает («не без большого колебания») курс по истории Византии — первый опыт в Уни-



*Обложка отчёта о деятельности
Киевского отдела Императорского
русского военно-исторического
общества, 1911*

верситете св. Владимира. Это новое дело можно было затеять на радостях, лишь получив пенсию и волю.

Только раз, в марте 1909-го, Кулаковский, так сказать, «тряхнул стариной»: прочитал в собрании Киевского отделения Императорского Военно-исторического общества, членом которого был избран, лекцию «Римское государство и его армия в их взаимоотношении и историческом развитии». Это был как бы последний обобщающий взгляд историка Римской империи, превращавшегося в историка Империи ромеев.

Лекционный конспект блестящ, зачин его — остроумно-рубленые обобщения:

«История Рима в целом её течения, от начала и до того события, которое принято называть концом Западной Римской империи, представляет один непрерывный и совершенно однородный процесс. Рим собирает для военных целей силы отдельных племён и народов с постоянным расширением географических горизонтов. Рим идёт от успеха к успеху и превращается из города в мировое государство, охватившее весь бассейн Средиземного моря.

Объединив всё это громадное множество народов в единой государственной организации, Рим распространил своё воздействие на варварские народы за пределами своих границ и допустил преобладание герман-



Торжественное собрание Киевского отделения Императорского военно-исторического общества. За столом президиума слева направо: профессора Ю. А. Кулаковский, В. З. Завитневич, В. С. Иконников, командующий Киевским военным округом генерал-адъютант Н. И. Иванов, генерал-адъютант В. М. Алексеев и др. Март 1909 г.

цев в составе военных сил государства. Процесс этот привёл к отторжению от единого тела государства отдельных территорий и возникновению самостоятельных национальных государств. Общее выяснение представленной здесь схемы исторического развития в хронологической последовательности сообщит и составит содержание моего изложения».

Текст этой лекции лёг в основу обширного введения к первому тому «Истории Византии», впервые вышедшему в типографии Кульженко в 1910-м.

Из села Бутурлиновка Воронежской губернии, где Кулаковские кулаковились летом 1909 года, Иконникову сообщается:

«По приезде сюда я усиленно продолжал писание, начатое в Киеве, и за исключением вопроса о топографии Константинополя имею в столе текст введения и описания правления императоров от 395 до 527 г. Придётся ещё, конечно, прибавить цитаты и ссылки, да и вообще выгладить текст. Лучше было бы выступить с двумя томами, как делаете Вы (хотя и не такими большими); но боюсь другого, что чем дальше лежит в столе, тем менее начинает удовлетворять автора готовый текст, а потому и по-



Торжественное собрание Киевского отделения Императорского военно-исторического общества. За столом президиума слева направо: Ю. А. Кулаковский, В. З. Завитневич, В. С. Иконников, Н. И. Иванов, В. М. Алексеев. Март 1909 г.

стараюсь зимою начать печатать. Здесь нам так хорошо и хозяева такие радужные, что первоначальный план уехать около 15 числа отменился, и, вероятно, будем здесь до начала августа» (13.07.1909).

Возвратившись в Киев, он застал страшную жару.

«Очень давно не было дождя, трава вся выгорела. Только сегодня, к великой радости изморившихся киевлян, пошёл дождик. Духота была адская» (Кивлицкий — Пискорскому, 1.08.1909).

Лето вообще выдалось в Украине жарким: в конце июня, в празднование двухсотлетия Полтавской баталии на кинокадрах видно, как Николай II, принимая участие в торжествах, утирает лицо платочком — пот струится из-под фуражки. Возвращаясь с «Полтавских торжеств», 28.06.1909 он проехал через Киев: вдоль царского маршрута по Большой Владимирской к участию в «смотринах» были допущены наиболее известные студенты-монархисты из «Двуглавого орла» и Союза русского народа: боялись покушения, а эти мерзавцы надёжны. В следующий раз государь посетит Киев в августе–сентябре 1911-го, при менее пасторальных обстоятельствах.

Зимой 1909/1910 года Кулаковский приступает к отделке и печатанию первого тома последней византийской хроники. Его принудительно реальные современники отходят в сторону: *аускультируя* «мёртвые» буквы, он слушал, как они дышат, царящая типографское время: выдох — вдох.

ТРИ ТОМА «ИСТОРИИ ВИЗАНТИИ»,
ДВЕ РЕВОЛЮЦИИ, НЕМНОГИЕ ЖЕЛАНИЯ
и МНОГИЕ СОЖАЛЕНИЯ
1910-е

Даже перед Лицом Бога человек ощущает холод небытия. Из этой разницы температур рождается история.

Сергей КРЫМСКИЙ

О полезных формах созерцания. Был такой урожайный год в книжной истории Европы: 1867-й.

Кроме того что умер Жан Огюст Доминик Энгр, французский художник-академист, родились маршал Пилсудский и фельдмаршал Маннергейм, писатель Викентий Вересаев и физичка Мария Кюри, — немец Карл Маркс выпустил первый том «Капитала», умный и многодельный, фламандец Шарль де Костер — роман «Легенда об Уленшпигеле...», создав бельгийский эпос и «пепел Клааса», вернее, в силу отсутствия, «и. о. национального эпоса» с его неперменной жертвенностью.

«Легенда о Тиле» сделалась формой истории, «Капитал» — бульгой провокаторов пролетариата, который не мог понять в нём ни слова. Оба сочинения, каждое в своём жанре, твердили о свободе всех для всех, наследуя утопические идеи античности и французского Просвещения, о бедности и богатстве (*paupertatem et divitias*), причём бедность призывалась к агрессии, богатство — к раскаянию.

Благо, читающих оставалось немного, и взрывной эффект этой литературы оттянулся на несколько десятилетий. Но уже тогда становилось понятно — с двух сторон: социальной и экономической, — что с времени Возрождения человек не переставал принижаться, теряя лицо, которым его Господь обустроил, и делал возможное, чтобы при удобном случае превращать покой в борьбу: бегать, чтобы согреться подле дымкого огарка «общественно-полезной деятельности», не отдавая отчёта, что обо всех «хорошо» Господь не замысливал и что *всем хорошо* не бывает.



Звёзды орденов Св. Станислава и Св. Анны

Берега Ахиллова бега усеяны ленивыми черноморскими черепахами (*Testudo graeca*), которые не движутся. Статика, тем более добрая, претит; динамика, особенно злобная, привлекает. Увы, иначе в истории не получалось. Она не бывает комфортной, зато бывает разной.

Афористичный Ключевский, привычно перегибая, удивлялся (1891): в России нет средних талантов, простых мастеров, а есть одинокие гении и миллионы никуда не годных людей. Гении ничего не могут сделать, потому что не имеют подмастерьев, а с миллионами ничего нельзя сделать, потому что у них нет мастеров. Первые бесполезны, потому что их слишком мало; вторые беспомощны, потому что их слишком много.

Сколько же «гениев» потребно на квадратный километр, чтобы история обрела позитивный практический смысл?

Не слишком ли обширны пространства империи, чтобы она могла долго их пестовать в умственном пуританстве и деятельном невежестве? Здесь выдумки историка играют роль службы связи, почти почтовой связи. Потому, видимо, Толстой писал дворянскую агитку «Война и мир» приёмами натуралистической разночинской школы (Шкловский), чтобы на каждого мудреца осталось довольно простоты, и по-прежнему облизывал глаз «пёстрый невольничий рынок вещей» (Кржижановский), где истина выше народа, а язык состоит только из того, что нельзя исключить. А что нельзя исключить? Понятие о вечных, неизменных формах созерцания.



Киев. Весенний наводок на Подоле, фото 1890-х

Ещё в предыдущей главе я подошёл к тому пункту летописи *vitae Kulakovskii*, от которого, собственно говоря, начинается отсчёт клёпки интереса к Кулаковскому в современной византиноведной историографии, — к времени, когда он вплотную начал трудиться над объёмистой «Историей Византии» (в хронологических рамках её истории — с конца IV по начало VIII века). Конечно, дата «1910 год» — очень условна, поскольку в этом году первый том «Истории...» готовым, вычитанным явился в свет.

Выслуживши три тысячи законных рублей годовой пенсии, Кулаковский дополнительно имеет — по должности внештатного заслуженного профессора с 3.11.1906 — 1200 рублей вознаграждения за чтение лекций в Университете. 1.01.1910 он был всемилостивейше пожалован орденом Св. Владимира 3-й степени (внеся в Капитул 45 рублей и получив полтора ста целковых в год пожизненно); имеет ордена Св. Станислава 1-й степени со звездой, но без пенсии; Св. Анны 2-й степени со звездой и пенсией в 150 рублей; преподаёт на Высших женских курсах с почасовкой в 1200 рублей. Но понимает, что жизнь начинается тогда, когда кончается служба, и потому, по наблюдению Талейрана, иногда не спешить, уметь выждать, не очень вмешиваться и вообще поменьше работать — единственно полезная тактика. Кулаковский с его взрывным характером едва ли мог быть в её исполнении последовательным. Но — старался.

ЮЛІАНЪ КУЛАКОВСКІЙ,

ПРОФЕССОРЪ ИМПЕРАТОРСКАГО УНИВЕРСИТЕТА СВ. ВЛАДИМИРА, ЧЛЕНЪ-КОРРЕСПОНДЕНТЪ
ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ И ЧЛЕНЪ СВЕРХЪ ШТАТА ИМПЕРАТОРСКОЙ АРХЕОЛО-
ГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ.

ИСТОРІЯ ВИЗАНТІИ

Томъ I (395—518)

СЪ ДВУМЯ КАРТАМИ, ПЛАНОМЪ КОНСТАНТИНОПОЛЯ
И РАЗРЪЗОМЪ ЕГО СТѢНЪ.

Второе изданіе, пересмотрѣнное.



К І В Ъ.
Типо-Литографія «С. В. Кульженко» Пушкинская улица, собственный домъ № 4.
1913.



Александр Александрович Васильев (1867–1953), «человек симпатичный, интересный, прекрасный музыкант..., поклонник Вагнера и Чайковского» (Фармаковский), в рецензии, о которой речь ниже, точно назвал труд Кулаковского по переводу

«Res Gestae» Аммиана Марцеллина, продолжавшийся в 1904–1908-м, *введением* в «Историю Византии».

Таким образом, время зарождения замысла фундаментальной работы хронологически должно быть отнесено к 1906–1907 годам, тем более что к этому же сроку относится начало чтения Кулаковским курса лекций по истории Византии на историко-филологическом факультете.

Собственно, это не столь важно в отношении к тому, что им в результате было содеяно, но показательно в том смысле, что кропотливая работа захватила Кулаковского на десятилетие, принудив отставить иные научные и не очень научные (публицистико-педагогические) дела.

Из некролога Соболевского известно, что только смерть Кулаковского «прекратила работу, но Ю. А. успел много сделать и для четвёртого тома». Сохранились ли его черновики, неизвестно. Известно, что том должен был начаться 717 годом, с иконоборческого этапа, с царствования Льва Исавра, и охватить, по всему вероятно, период до образования империи Карла Великого (800 год).

Трёхтомник. В 1910-м над Землёй пролетела комета Галлея, пылающая и красная, будто заходящее Солнце перед завтрашней жарой.

Вообще 1910-й — урожайный год для российской культуры. Смерть Комиссаржевской, смерть Врубеля, смерть Толстого — актрисы, художника, писателя — аллегорических, не последними олицетворявших время. Блок записал, что 1910-й это медицинский «кризис символизма»,

«о котором тогда очень много писали и говорили как в лагере символистов, так и в противоположном. В этом году явственно дали о себе знать направления, которые встали во враждебную позицию и к символизму, и друг к другу: акмеизм, эгофутуризм и первые начатки футуризма. Лозунгом первого из этих направлений был человек — но какой-то уже другой человек, без человечности».

При всей нумерологической вежливости 1910-й — последний год первого десятилетия всё ещё нового XX века, вместе с ощутимыми цивилизационными находками якобы суливший ещё более ощутимые культурные обретения. Не тут-то было.

В 1910-м в типографии Кульженко, что на углу Пушкинской и Прорезной, вышел первый том «Истории Византии» —

большеформатный, аккуратнейшей печати, с неразрезанными тетрадами книжного блока, и Кулаковский заказал здесь же, у Кульженко, какие-нибудь шагреньевые переплёты с кожаным корешком и кожаными уголками для тридцати экземпляров — в подарок ценным коллегам.

Он признаётся:

«Когда, после тяжких заминок в учебной жизни университета, восстановилась бодрая академическая деятельность в стенах наших аудиторий, наш факультет, в заботах о расширении преподавания, предложил мне взять на себя чтение курса по истории Византии. Не без большого колебания решился я сделать первый опыт в 1906–1907 учебном году. Те несколько лет, которых потребовал от меня раньше того перевод Аммиана Марцеллина, историка, стоящего на рубеже эпох, держали меня среди событий переходного времени и множества вопросов по истории учреждений империи. Так я из Старого Рима перешёл в Новый, и успел в своём курсе обозреть со своими слушателями жизнь империи до знаменательной эпохи возникновения священной римской империи Карла Великого. Этот первый опыт пришлось повторить через два года [1909/1910 учебный год]. Те затруднения, которые создаёт для учащихся отсутствие в нашей литературе общих сочинений по истории Византии, побудили меня приняться ровно год назад за обработку курса по конспектам, которые я составляла для лекций. Само собой разумеется, что пришлось опять обратиться к источникам, и мой текст, по мере обработки, разрастался против того, что было в концепте» (предисловие к первому тому).

Таким образом, к написанию первого тома он приступил в мае 1909-го, когда младотурки, пятое столетие удельявавшие Константинополь, низложили султана Абдул-Хамида II и возвели на престол Мехмеда V: полумесяц воинственным серпом по-прежнему блестел на верхушке купола Святой Софии вместо якобы тишайшего христианского крестика. Перед маем 1909-го — по меньшей мере, три года, с лета 1906-го, — Кулаковский в лекциях замешивал яичный раствор для возведения стен ромейской истории и выстрегивал доски для изготовления лесов.

Когда Георгий Острогорский (1902–1976) во введении к белградской «Истории Византийской державы» (1940, с множеством переизданий и переводов) рядом с Васильевским и Успенским ставит в начале XX века Александра Васильева, Бориса Панченко, Петра Яковенко и Павла Безобразова, — он понимает: эти люди усердно копались в византийских мелочах,



Стефан Васильевич Кульженко

изымая из ромейских текстов, монет и печатей крупницы убедительности и превращая их в миниатюрные учёные поделки. И только «пришедший из антиковедения Юлиан Андреевич Кулаковский <...> написал историю Византийской империи, три солидных тома которой охватывают период с 395 по 717 г. (Киев, 1913–1915): это сухой, однако весьма основательный и полезный труд». В указании на 1913-й (а не 1910-й) ошибки нет: год выхода второго издания первого тома. Так случается с первоизданиями: следующие их покрывают, как бык овцу.

Конструкция и композиция. Что говорить, три тома, в среднем по 25 печатных листов каждый, это не просто: такое число букв обязано оправдываться обилием смыслов.

Обзор содержания «Истории...» бессмыслен: книжки есть в Сети, и всякий может посмотреть. Единственно, на чём останюсь, — перечень императоров, рассказы о каждом из которых составляют композицию глав.

В первом томе (395–518 годы): Аркадий, Феодосий, Марикан, Лев, Зенон, Анастасий (любимый персонаж автора); во втором (518–602 годы): Юстин I, Юстиниан Великий (как водится, две трети объёма книжки), Юстин II, Тиверий и Маврикий; в третьем (602–717 годы): Фока, Ираклий (тоже не последний человек для автора), Константин, Мартина и Ираклий Младший, Констант (Константин), Константин IV, Юстини-

ЮЛІАНЪ КУЛАКОВСКІЙ,

ПРОФЕССОРЪ ИМПЕРАТОРСКАГО УНИВЕРСИТЕТА СВ. ВЛАДИМИРА, ЧЛЕНЪ-КОРРЕСПОНДЕНТЪ
ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ, ЧЛЕНЪ СВЕРХЪ ШТАТА ИМПЕРАТОРСКОЙ АРХЕОЛО-
ГИЧЕСКОЙ КОММИССИИ.

ИСТОРІЯ ВИЗАНТІИ.

Томъ II (518—602)

СЪ ЧЕТЫРЬМА КАРТАМИ, ТРЕМА РИСУНКАМИ ВЪ ТЕКСТЪ И
ОДНОЙ ТАБЛИЦЕЙ.



К І Е В Ъ.
Тиво-Литографія „С. В. Кульженко“, Пушкинская улица, собственный домъ № 4.
1912.



ан II, Леонтий и Апсимар-Тиверий, Филиппик (Вардан), Анастасий и Феодосий, Лев Изавр до его восшествия на престол.

Начало первого тома — сотня страниц о судьбах Римской империи, её государственном устройстве в IV веке, о христианстве и готах.

Конец третьего тома — пять экскурсов:

1) «К вопросу о дате возвращения Креста Господня в Иерусалим из персидского плена»,

2) «Свидетельства о водворении болгар за Дунаем и именник болгарских ханов»,

3) «К вопросу о происхождении фемного строя Византийской империи»,

4) «К вопросу о фемах Византийской империи»,

5) «К вопросу об имени и истории фемы “Опсикий”».

Вроде бы хронологически эти тексты относятся к содержанию тома, но автор не хотел возиться, инкорпорируя сюжеты отдельных статей в хронологическое течение текста. Время было уже военным.

В каждом томе указаны летописи и литература, которыми пользовался Кулаковский, но на которые не всегда обращал внимание. Это ставили ему в вину рецензенты, привыкшие к боязливым подпоркам умственных заключений чужими работами.

Каждое царствование — это особая мини-монография, каждую в видах умножения числа номеров в перечне публикаций современный профессор издал бы отдельно.

Луи Брейе вскоре напишет:

«удовлетворившись изучением каждого имперского правления один за другим, он подверг себя упрёку, что создал серию монографий, а не реальную историю развития Византийской империи».

Плохо? Ведь магистраль заасфальтирована единообразно.

В каждой биографии Кулаковский старается упомянуть всё, что ему известно и доступно из источников, примерно по такой схеме: жизнеописание и обстоятельства восшествия на престол; что творилось вокруг; внешние дела; военные стычки; внутренние дела (финансы, администрация, дела церковные); смерть и — переход к новому императору. Прозрачней некуда. Такого текста суммарно — 75 печатных листов. От руки. С вычиткой машинописи перед сдачей в набор, с парой корректур. Для сравнения: наша кандидатская 7,5 печатных, докторская — 13–15. Для одного человека просто собрать этот массив на нескольких языках, перетряхнув его через принятое сито магистрального подхода и переложить в собственный текст, — поступок. Разве «благожелательные коллеги» смогут такое простить?

Вышедший у Кульженко в 1910-м первый том произвёл на российскую византиноведную братию сильное впечатление: бомба не бомба, а не засечь шум полёта невозможно. Не сдержал удивления даже мягкий и покладистый Васильев, отзываясь на книгу большой, с плохо скрытым удивлением и объёмом в печатный лист рецензией в ЖМНП.

«Появление первого тома *Истории Византии* проф. Ю. А. Кулаковского было полною неожиданностью. Работая в течение долгого времени в области римской древности, он с 1890 года начал уделять часть своего времени на христианскую археологию и на византийскую историю, а уже со второго тома *Византийского Временника* (1895) имя проф. Кулаковского стало довольно часто появляться на страницах этого журнала. В своих обыкновенно небольших статьях он преимущественно касался военного дела в Византии и отчасти фемного строя <...> Сделанный автором в 1906–1908 годах русский перевод Аммиана Марцеллина мог служить как бы введением в *Историю Византии*» (ЖМНП, 1911, июнь).

Васильев, как и остальные византилисты, тогда сочиняли «обыкновенно небольшие статьи», и Кулаковский тоже. Но он поднялся над материалом, а другие нет. Неподнявшиеся с трудом сдерживались, натужно подпрыгивая.

Он трудился над «Историей...» уединённо, «втихомолку, притом, хотя и в большом и богатом книжными собраниями, но все же провинциальном университете, и потому появление первого тома <...> было неожиданностью даже для Ф. И. Успенского, с которым он был в давних дружеских отношениях и который в то время сам был также занят подготовлением к изданию своей обширной “Истории Византии”. В этом нельзя не видеть одного из проявлений той болезненной мнительности, которою страдал покойный, и которая росла в нём с годами», — отмечал в некрологе тайный советник Деревницкий.

Вот перечень рецензий на трёхтомник Кулаковского:

Первый том (1910):

Александр Васильев. Ю. Кулаковский. История Византии. Киев, 1910. Т. 1 // ЖМНП. 1911. Июнь. Отд. второй. С. 337–351.

Павел Безобразов. Ю. Кулаковский. История Византии. Том 1. Киев, 1910. 536 с. // Византийский временник. 1910. Т. XVII. Отд. второй. С. 328–335.

Александр Васильев. История Византии (Ответ проф. Ю. Кулаковскому) // ЖМНП. 1911. Ноябрь. Отд. второй. С. 190–195.

Louis Bréhier. L'Histoire de Byzance: *Julien Kulakovskij.* Istoriiia Vizantij, t. I (395–518). In-8°, Kiev, Kulijenko, 1910 // Journal de savants: Publie sous les auspices de l'Institut de France (Academie des inscriptions et belletletters). Paris, 1912. Mars. S. 97–108;

Louis Bréhier. *Юлиан Кулаковский.* История Византии (*Julien Kulakovskij.* Histoire byzantine) Tome I (395–518) avec 2 cartes, un plan de Constantinople et le profil de ses murailles. — Kiev, Kulijenko, 1910, 4° XVI; 536 pages. Prix: 3 roubles // Byzantinische Zeitschrift. 1912. Bd XXI. Abteilung. S. 248–253. (На страницах 327 и 624 этого тома «Byzantinische Zeitschrift» даны краткие справки о рецензиях Васильева, Безобразова и Брейе на первый том «Истории Византии» — в Германии, уча русский язык, византинисты весело следили за российскими учёными дрязгами.)

E. Gerland. *Julien Kulakovskij.* Istoriiia Vizantij, t. I // Berliner Philologische Wochenschrift. Leipzig, 1914. Bd 34. S. 82–87.

Второй том (1912; вышел в ноябре 1911-го):

[*Александр Малейн*] *Ю. Кулаковский.* История Византии, т. 2, 1912 // Гермес: Иллюстрированный научно-популярный вестник античного мира. 1911. № 20 (86). С. 515.

Павел Безобразов. *Ю. Кулаковский.* История Византии. Том II. Киев, 1912, 512 с. // Византийский временник. 1911. Т. XVIII. Отд. второй. С. 43–74.

Сергей Шестаков. Проф. *Ю. А. Кулаковский.* История Византии. Т. 2. Киев, 1912 // ЖМНП. 1913. Январь. Отд. второй. С. 130–145.

Третий том (1915):

Сергей Шестаков. *Ю. А. Кулаковский.* История Византии. Т. 3. Киев, 1915 // ЖМНП. 1916. Июнь. Отд. второй. С. 255–275.

Пётр Яковенко. *Юлиан Кулаковский.* История Византии. Том III (602–717). Киев, 1915 // Византийское обозрение. Юрьев, 1915. Вып. 1. С. 55–57.

Ernest Walter Brooks. *I. Kulakovskij.* Istoriiya Vizantii, tom III (602–717). (Kiev: Kulzhenko, 1915) // The English Historical Review. 1916. Vol. 31. P. 145–150.

Две рецензии Луи Брейе. Именитый французский византинист Луи Брейе (*Bréhier*; 1868–1951), печатно отозвавшийся на выход первого тома «Истории...» в двух влиятельнейших повременных изданиях Европы «Journal des savants» (Франция) и «Byzantinische Zeitschrift» (Германия), немецкую рецензию начал цитатой из сочинения учителя, Шарля Диля (1859–1944), в «Revue de Synthèse historique» (1901): мол, не мо-

ЮЛІАНЪ КУЛАКОВСКІЙ,
ПРОФЕССОРЪ УНИВЕРСИТЕТА СВ. ВЛАДИМИРА, ЧЛЕНЪ - КОРРЕСПОНДЕНТЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ
АКАДЕМІИ НАУКЪ, ЧЛЕНЪ СЪЕЗДЪ ШТАТА ИМПЕРАТОРСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОММИССИИ.

ИСТОРИЯ ВИЗАНТИИ

Томъ III (602—717).

СЪ ОДНОЙ КАРТОЙ, РИСУНКАМИ ВЪ ТЕКСТЪ
И ОДНОЙ ТАБЛИЦЕЙ.



КІЕВЪ.
Типо-Литографія „С. В. Кульженко“, Пушкинская улица, собота, домъ, № 4.
1915.



жет быть «правильной» или «неправильной» византийской истории: «я имею в виду по-настоящему научную историю, которой не знают труды последнего времени; и в настоящее время, возможно, эту историю ещё нельзя написать». Брейе продол-

жает Диля: несмотря на быстрый рост исследований за последние десять лет, никто ещё не пытался восполнить этот пробел.

«Византинисты всех стран, казалось, ждали, чтобы приблизиться к такой работе, к завершению некоторых важных начинаний, обширная программа которых была составлена в 1892 году во втором выпуске этого обзора (*Byz. Zeit.*, I, 185 и след.). У нас до сих пор нет ни корпуса имперских дипломов, ни “новейшей Византии”, чья конституция требует критического пересмотра всех исторических текстов, ни коллекций надписей или памятников, долженствующих составить основу научной истории Византии. Все эти труды находятся в правильном русле, однако пройдёт немало лет, прежде чем тщательное расследование, проведённое по всей Европе, даст результаты. Поэтому было бесполезно пытаться, используя единственно доступные сегодня ресурсы, написать историю Византии, и мы должны поздравить Юлиана Кулаковского, профессора киевского Университета св. Владимира, осмелившегося взвалить на себя этот поистине титанический труд».

Разумный и благожелательный европеец, по большому счёту, сетовал лишь на то, что Кулаковский, касаясь причин, побуждающих российских учёных изучать византийское прошлое, утверждает, что это прошлое для них является неотъемлемой частью национальной истории, и они верят, что в то время, когда их политический режим переживает кризис, у них остаётся определённое преимущество, связанное с эллинизмом, — пришедшее через Византию *основание* их культуры, способное привести к обмену идеями с Западной Европой.

«Эта точка зрения приемлема, — пишет Брейе, — покуда не является исключительной: историческая роль Византийской империи в действительности намного сложнее, и главный упрёк, который можно адресовать Кулаковскому, заключается в том, что он не всегда демонстрирует это с изрядной широтой».

Создаётся впечатление, будто Брейе обидно за «свою» Византию, традиции которой Кулаковский отнимает у Европы и властно припечатывает к своей территории.

Мелкие оплошности, неучёт Кулаковским данных эпиграфики и сфрагистики не так волнуют Брейе, как то, что автор настаивает на исключительной преемственности: Запад разрушен варварами, а Восток дожидается 1453 года; Византия является законной наследницей Рима, а Российская империя связана с византийскими традициями.

«Такой способ учёта событий кажется нам слишком “романтичным”, — сокрушается Брейе. — Византия унаследовала не только Римскую империю, но и эллинистические монархии, которые эта империя поглотила, даже не сумев ассимилировать их. Разделение римского мира на две области культуры уже происходит при Августе, чья канцелярия состоит из двух разделов: *ab epistulis latinis* и *ab epistulis graecis*. Восточная империя, состоящая из собрания монархий Птолемеев, Селевкидов, Атталидов и др., проявила в течение первых трёх веков новой эры необычайную жизненную силу. Чтобы она могла жить своей жизнью, ей нужна была столица, и идея Константина дать её ей, основав новый Рим на Босфоре, была блистательной. Это создание является важнейшим событием, определяющим весь ход византийской истории. Но Кулаковский почти не упоминал об этом в нескольких строках, тогда как он должен был настаивать на преимуществах, которые географическое положение дало новой столице. Не слишком ли вызывающе — просить историка Византийской империи начать свой труд с живого и полного описания Константинополя? Полезность этой главы кажется гораздо более очевидной, чем полезность длинного описания имперских институтов IV века, сделанного особенно по западным источникам и интересующего как старый Рим, так и новый».

Об общей композиции изложения — по царствованиям — Брейе высказался с таким пониманием сложности, стоявшей перед Кулаковским, которого мы тщетно бы искали у российских его критиков.

«Мы бы не простили себе дальнейшего настаивания на этих критических замечаниях, никоим образом не умаляющих очевидных качеств мощной эрудиции, которые мы обнаруживаем в этой книге. Мы признаём, что задача была трудной, и едва ли одному человеку под силу удовлетворить все требования к своему предмету: эти требования, тем не менее, неизбежны, и они являются результатом самого прогресса византийской эрудиции во второй половине [XIX] столетия <...> Сделав эти оговорки, мы с готовностью признаём, что Кулаковский максимально использовал исключительно историографические источники. Каждая из его глав представляет собой интересную и хорошо составленную монографию, в которой, соблюдая хронологический порядок, он смог сгруппировать факты одного порядка, чтобы дать общую картину».

Заключение Брейе настолько преисполнено здравым смыслом, насколько это диктуется темой.

«Автору удалось систематизировать занимательный массив слож-



*Александр Александрович
Васильев*

ных событий византийской истории V века. Чтобы сделать из этой книги действительно научный труд, который должен стать историей Византийской империи, достаточно будет дополнить его исследование использованием результатов папирологии и археологии».

Российские рецензии на весь трёхтомник были заинтересованно-скептическими: каждый норовил указать на неточности и ошибки, которые он увидел из-за бруствера. Поскольку у каждого учёного был обустроенный блиндаж, а Кулаковский шествовал по полю научной брани, не пригибаясь при выстрелах, бросим пару взглядов на шур критических перьев.

Трудный негатив Васильева. Почти как Брейе, Васильев начал с того, что

«История Византии», написанная русским учёным, давно уже являлась настоятельной необходимостью русской исторической науки <...> В России выходили монографии по отдельным вопросам. Не было написано у нас истории Византии и раньше. В. Г. Васильевский её не дал. Ныне здравствующий патриарх современного византиноведения в России Ф. И. Успенский, по слухам, уже давно работает над историей Византии; но в свет она до сих пор не вышла».

«Слухи» оказались верными: первый том «Истории Визан-

тийской империи» Успенского увидел свет в издательстве Фридриха Брокгауза и Ильи Ефрона только в 1913 году.

Александр Грушевой в 1996-м сделал подробный разбор рецензии Васильева на первый том, выделив три типа замечаний: 1) недостаточная точность оформления работы в мелочах (опечатки и огрехи в ссылках); 2) невнимание автора к общим проблемам, недопустимое в книге, рекомендуемой для студентов; 3) конкретные замечания и пожелания по тексту. «Эти замечания рецензента, — комментирует Грушевой, — воспринимаются неоднозначно, ибо не все они — если можно так сказать — по существу».

Васильев заключает, что, по его мнению,

«первый том *Истории Византии* г. Кулаковского не может быть признан вполне удовлетворительным ни со стороны внутреннего содержания, ни со стороны внешнего выполнения задачи. Общего представления о предмете не дано; читатель даже не найдёт определения разницы между эллинизмом и византинизмом. Существенное и важное теряется в массе мелких и излишних подробностей. Приводимые данные и особенно ссылки далеко не всегда отличаются желательной точностью. К тому же, и размеры задуманной г. Кулаковским *Истории Византии* делают его книгу совершенно неподходящей для учащихся; если времени до 518 года посвящён том более чем в 500 стр., то я не могу сразу представить себе, на сколько томов рассчитана настоящая *История Византии*.

Г. Кулаковский готовит продолжение *Истории Византии*. От души желаю ему, чтобы со второго тома его лекционные конспекты, которые, по словам автора, кладутся им в основание книги, не только по мере обработки “разрастались”, но именно “обрабатывались”. Я даже думаю, что это “разрастание” конспектов повредило книге: гораздо лучше было бы, если бы автор вместо того, чтобы идти вишь, несколько увеличил глубину разбираемой темы и значительно сократил объём книги.

Наверно, многие недостатки данного сочинения находятся в зависимости от той поспешности, с которой оно было написано и издано».

И далее —

«К русскому учёному, выступающему с *Историей Византии*, должны быть предъявлены, может быть, несколько более строгие требования, чем к историку иностранному. Впрочем, не забудем, что в книге г. Кулаковского мы имеем *первый опыт* “Истории Византии”, написанной русским учёным».

Конечно, и здесь нельзя было обойтись без великорусско-



Второе переиздание «Истории Византии» Кулаковского издательством «Алетейя» под научной редакцией и с предисловием А. А. Пучкова. С.-Петербург, 2003–2004

го шовинизма. Чем «иностранные историки» хуже? Но реакция на достаточно благожелательную критику Васильева со стороны автора была острой. Кулаковский настолько серьёзно относился к своему труду, что чувства юмора понять: рецензии и отзывы это игра завистников — ему не доставало.

Академик Тарле в заключительных строках великолепной «Европы в эпоху империализма» (1928) писал, что, работая над «громадной массой сырья, при почти полном отсутствии настоящей научной литературы, считаясь с колоссальной массой разнохарактернейших тем и сложнейших вопросов, всякий историк, сколько-нибудь достойный этого наименования, *обязан* сплошь и рядом либо предпринимать самостоятельные частичные исследования, либо отказываться от своей задачи вовсе». Выспренние качественные прилагательные здесь значимы: названные обстоятельства и вправду — высшее, с чем сталкивается историк. Особенно, если пишет историю древностей.

«Так как этот труд, исполненный мною с большим увлечением, является первым опытом изложения истории Византии в русской учёной литературе, то я ожидал с живым нетерпением отзывов о нём учёной критики и был вполне подготовлен к тому, что в книге могут оказаться недочёты и недосмотры, что и высказал в Предисловии. Кое-что я уже поправил в своём экземпляре первого тома и был готов с благодарностью встретить те *desiderata*, какие укажет благожелательная критика учёных, которым близка эта область исторического знания» (ЖМНП, 1911, окт.).

Но — уввы.

«Позволяю себе думать, что г. Васильеву было совершенно излишне рекомендовать меня читателю по моим “обыкновенно небольшим статьям”, а следовало непосредственно приступить к разбору большого — уввы! — слишком даже большого, вследствие обилия материала, первого тома *Истории Византии*».

Как в случае с рецензией Васильева, Александр Грушевой, разбирая «Ответ» Кулаковского, выделяет два положения общего характера, полезные для понимания взглядов автора.

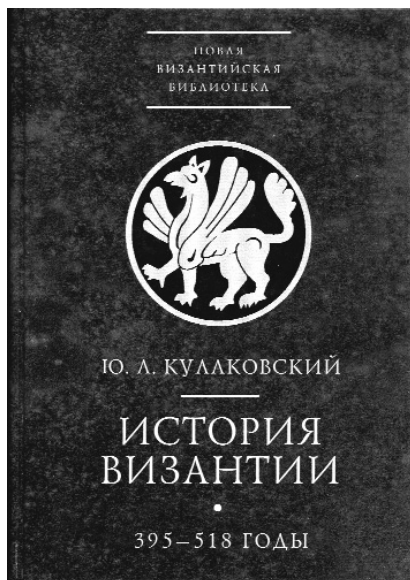
Первое. В ответ на замечание рецензента, что Кулаковский пристрастен к легендарным сюжетам и смешивает легендарное и историческое изложение событий, автор отвечает, что никакого смешения у него нет, и все легендарные подробности приводятся у него для передачи духа эпохи. Кулаковский, «к сожалению, нигде не даёт в тексте понять, как сам он относится к легендам, — пишет Грушевой, — и у читателя вполне может возникнуть ощущение, что автор труда воспринимает их столь же серьёзно, как и сообщения любого другого источника».

Сообщения всякого источника легендарны, и отделить, скажем, в текстах Феофилакта Симокатты, Иоанна Малалы и — особенно — Прокопия Кесарийского зёрна выдумки от плевел правды невозможно. Известно ведь, что летописец-очевидец того или иного события непременно привносит в него отсебятину, и позднейшим исследователям бороться с этими наслоениями бессмысленно. Приходится либо 1) принимать сообщение на веру в случае, когда оно согласуется с аналогичным сообщением у другого очевидца, либо 2) подвергать каждый высказанный летописцем факт обязательному сомнению, что делает опору на источник невозможной. То есть болтаться между Сциллой условного историзма и Харибдой очевидного антиисторизма. В этом смысле по умолчанию отношение Кулаковского к летописному свидетельству со всех точек зрения должно быть признано неотменяемым. Он невольно сочиняет и даже привирает в духе присочинений и привираний используемого им источника, и большой беды в этом нет.

Демограф Борис Урланис (1906–1981), изучавший военные потери народонаселения Европы в XVII–XX веках, потому начал с XVII века, что от него сохранились хоть какие-то более или менее достоверные данные. Урланис потешается над «сви-

*Третье переиздание
«Истории Византии»
издательством «Алетейя»
С.-Петербург, 2018,
том первый*

*На авантитуле:
«В ознаменование 20-летия серии
“Византийская библиотека”
издательство переиздаёт наиболее
редкие книги мемориальным тиражом
50 экземпляров»*



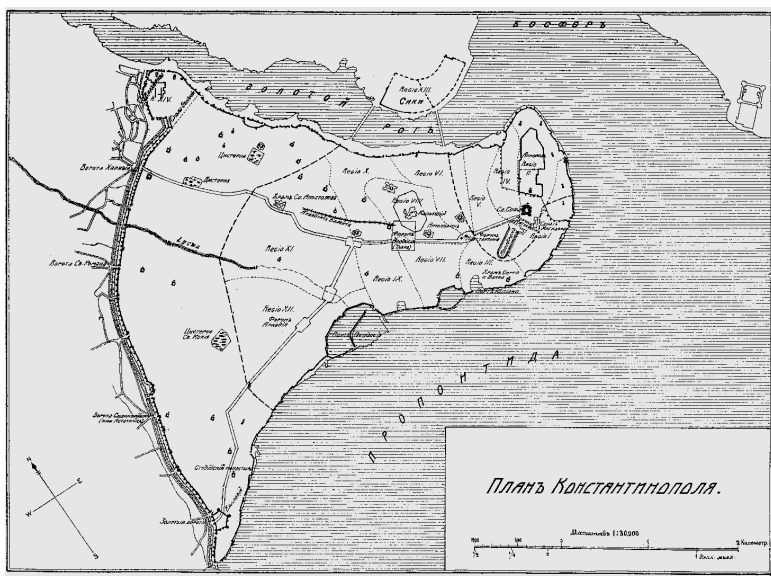
детельствами» греческих историков. Например, войско персидского царя Ксеркса, которое он вёл в Грецию, Геродот определял в 4 млн. 200 тыс. человек. По расчётам Ханса Дельбрюка («История военного искусства в рамках политической истории»), если бы Ксеркс и вправду имел столько солдат, его войско растянулось бы примерно на 420 миль (675 км). Это значит, что авангардные части уже вступали «в соприкосновение с противником», но арьергард ещё не вышел бы в поход и только наматывал походные портянки в жаркой Персии, по ту сторону Тигра. По одному норманнскому источнику, в 1066 году в битве при Гастингсе с Вильгельмом, герцогом Норманнским, англосаксонская армия якобы насчитывала 1 млн 200 тыс. человек, хотя всё население Англии в ту пору не слишком превышало эту цифру. По другим данным (хрониста Вильгельма из Пуатье), армия англосаксов была так велика, что «выпила реку, через которую переходила» (ох уж эти литераторы). Третий источник говорит о 400-тысячной армии англосаксов. Дельбрюк же полагает, что в этой армии было не больше 7 тысяч воинов, и эта цифра, по Урланису, не так далека от действительности. Но и это не точно: у хронистов глаза велики. Хотя чего бо-

яться: сиди в тишине, макай калам в чернильницу и *сочиняй правду*. Когда ещё Умберто Эко напомним, что «в скриптории холодно, палец у меня ноет». Как и всякий историк, Кулаковский очутился в безвыходности, и как бы слушался Кржижановского, который учил, что, мол, «неча стыдить факты идеями». И факты забавных византийских хроник бесстыдно, величественно разгуживают по страницам его трёхтомника.

Второе. Методологически оправданным является ответ Кулаковского на упрёк про отсутствие рассуждений о начале византийской истории, чем его попрекнул и Брейе: «Зачем мне *dissertis verbis* толковать о том, что такое история Византии, когда я веду читателя своим изложением в самый *templum historiae byzantinae*?» В самом деле, зачем? У Кулаковского были иные задачи:

«В изложении судеб Византии я старался, предлагая вниманию читателя события живой действительности, дать возможность чувствовать дух и настроение тех давних времён... Пересматривая теперь отпечатанные листы моей работы и замечая кое-что такое, что приходится исправить, с укором себе вспоминаю совет Горация — *popum[que] prematur in annum* («И пусть хранится до девятого года», *Гораций*. Наука поэзии, 388; ср.: *Квинтилиан*. Воспитание оратора, X 4, 2. — А. П.); но время не ждёт, дела много, а делателей мало. Быть может, благожелательная критика укажет мне много такого, чего я сам не замечаю теперь под свежим впечатлением пережитого напряжения работы по составлению текста и его печатанию <...> Так как я заботился и о внешнем виде моей книги, то мне очень досадно, что в напечатанном тексте оказались опечатки <...> Хотя, благодаря любезной помощи студента К. А. Езерского, я имел в руках полный список опечаток, но воспользовался им не вполне, оставив без внимания погрешности в знаках препинания, которые попадали иногда не на своё место, а также неисправности в греческих ударениях и придыханиях».

Здесь упомянут филолог Константин Езерский, вскоре прославившийся книгой «Фабзайцы: Новая культура, новый быт» (Харьков, 1926), в которой с известным умственным изяществом рассматривается явление фабзаучника (фабрично-заводского ученика) в его отношении к литературе, театру, песне и завершаемое почти издевательской главой «Фабзаучники на даче». К византийской истории всё это, конечно, отношения не имеет, зато имеет — к процессу *вразумляющего самовоспи-*



Карта из первого тома «Истории Византии»

тания: от студента, вылавливающего опечатки в профессорской монографии об истории ромеев, до самостоятельного исследователя социальных явлений большевизма.

Конечно, выпуская первое в своём роде издание, автор *спешил успеть*. Вычитывал корректуру, закрывая глаза на многое, что стоило бы исправить и на что впоследствии злорадно обращали внимание рецензенты, к тому времени не взявшие на себя составление труда, столь же ответственного. «Увы, дела и мысли живых существ далеко не так значительны, как их скорби» (Чехов). Ведь при технике лнотипного набора (Кульженко чуть ли не первым обзавёлся лнотипом Мергенталера), чтобы исправить опечатку, нужно перенабрать всю строку, и при этом рождалась опасность, что в этой строке наборщик посадит новую опечатку, и — сверкам несть конца. Многажды подумаешь, печясь ли о пропуске запятой, о перепутанных буквах или плюнуть на мелочь погрешности: *sapienti sat*.

Кулаковский завершает ответ на замечания Васильева пафосно, даже патетически, разбивая упрёки последнего или превращая их в риторические.

«Пока нашим студентам предлагается лишь препарат из науки, и конспект заменяет собою учёную книгу, до тех пор не будет учёного духа в нашем университетском преподавании, а с ним и науки <...> Я писал историю Византии пред лицом учёного мира для всех тех, кто хочет проникнуть в уразумение истории тех времён, и не определял заранее круга моих читателей. Я верю, что оживление интереса к судьбам Византии, а также и к греческому языку, будет живым свидетельством о подъёме нашей <...> культуры и нашего <...> самосознания».

То, что Васильев отнёсся, в конечном счёте, к труду Кулаковского *благожелательно*, по мнению Грушевого, было заложено в его характере. Он, пишет Ирина Куклина, был «человеком чрезвычайно доброжелательным и ни о ком не написал плохого слова <...> Можно вспомнить, как он мучился, когда в 1911 г. писал отрицательную рецензию на 1-й том “Истории Византии” Юлиана Кулаковского. “Ужасно не люблю руготни”, — признавался он Жебелёву». Это утверждение действительно похоже на правду вот ещё почему.

В 1917-м, выпуская в свет собственный первый том «Лекций по истории Византии» (Петроград: Тип. Я. Башмакова и К°), в первой главе «Краткий очерк разработки истории Византии» Васильев говорит о труде Кулаковского комплиментарно:

«Первая попытка написать серьёзное сочинение по общей истории Византии принадлежит <...> Ю. А. Кулаковскому <...> С необыкновенным трудолюбием и неослабной энергией автор изучил византийские источники, греческие, латинские и восточные (в переводах), и, на основании их и хорошего знакомства с литературой предмета, подробно изложил внешнюю историю Византии <...>

Сочинение проф. Кулаковского может принести немалую пользу тому, кто захотел бы на русском языке познакомиться подробно с фактической историей Византии или прочитать в русском изложении главнейшее содержание источников; попутно читатель ознакомится и с некоторыми выводами современной исторической литературы по главнейшим вопросам византийской истории, как внешней, так и внутренней. Чересчур подробное изложение фактического материала повело к тому, что в трёх первых вышедших томах, то есть более чем на 1400 страницах, события доведены лишь до начала VIII века».

Сам Васильев этим томом — на 355 страницах — охватил историю Византии с IV по XI век. Видимо, учитывая «печальный» опыт предшественника, исповедовал конспективность.

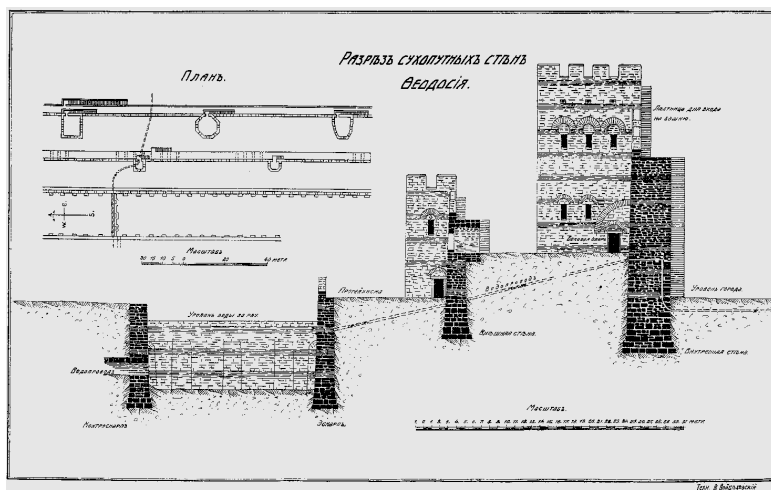


Чертёж из первого тома «Истории Византии»

Ответом Кулаковского на замечания Васильева научная дуэль не прервалась. Васильев отреагировал на «ответ» Кулаковского, тиснув в следующей — ноябрьской — книжке ЖМНП статью, меньшую по объёму против предыдущей и значительно более, так сказать, «объяснительную» (ЖМНП, 1911, нояб.). На ней останавливаться не буду, только перепису удивлённость Кулаковского тем, что перед ним

«восстал не благожелательный коллега в сфере научных интересов, который ознакомился с моей работой, обдумал мою концепцию, дал себе отчёт в изложении и высказал суждение о том, что для нас одинаково интересно и важно, — так я всегда представлял обязанности критика. Нет! Предо мной обрисовался образ судьи, с притязанием на безошибочность суждений, которые он вправе давать в самой категорической форме, не допускающей возражения».

Остаётся подивиться утверждению Грушевого, что труд Кулаковского «нельзя назвать научным в строгом смысле слова, а яркость и эмоциональность изложения не заслоняют очевидного — многочисленных недостатков, которых чаще всего можно было с лёгкостью избежать». Во-первых, не совсем ясно, какой смысл вкладывает петербургский знаток в понятие научности (где рамки научности гуманитарной науки?), а во-вторых, — какие недостатки, кроме опечаток и неточностей,



Планировка Большого дворца в Константинополе (по Д. Ф. Беляеву)

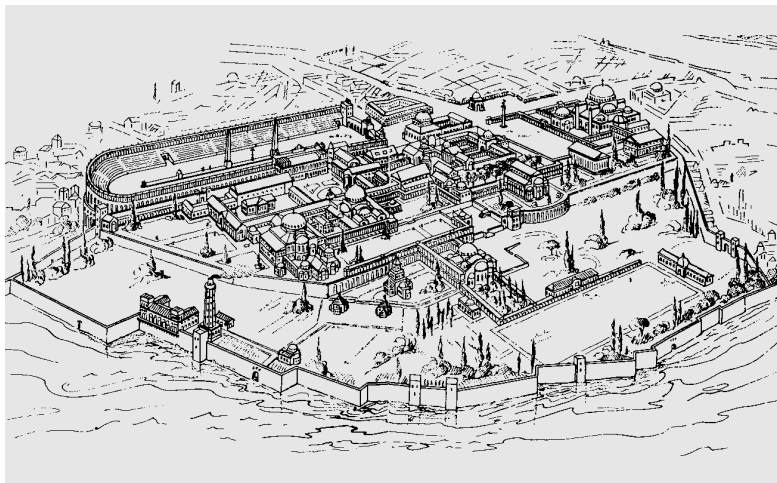
могут быть Кулаковскому инкриминированы? Концепция не по душе? Если этих недостатков можно было с лёгкостью избежать, Кулаковский такой возможностью воспользовался бы.

Мы должны запомнить авторский комментарий (из ответа Васильеву):

«Книга задумана и выполнена вовсе не как учебное пособие, фабриковать которые я не имею никакой охоты и представляю это другим, и никоим образом не является печатным курсом [лекций]. Она задумана и исполнена как моё собственное изложение судеб Византии на основании всего доступного мне материала источников. Общая схема изложения выработалась у меня под непосредственным воздействием изложения предмета на лекциях живым словом в аудитории».

Безобразов безобразничает. Намного обидней оказалась рецензия другого византиноведа-фактопоклонника — Павла Владимировича Безобразова (1859–1918), — уже на второй том «Истории...», который появился в 1913 году.

Его небольшая рецензия на первый том сводится примерно к тем же замечаниям, что и у Васильева. Безобразов назвал стиль истории Византии летописным, и это, пожалуй, всё, что он мог сказать о ней *определённо* хорошего. Безобразов недоумевает: как это филолог-классик, то есть специалист по «старому» Риму, взялся за историю «нового» Рима, потому «для ре-



Панорама Большого дворца в Константинополе (по Ш. Диллю)

цензента неясно, как он должен смотреть на труд Ю. А. Кулаковского и с какой точки зрения его критиковать». Незадача.

«В Петербурге, в Москве и в Киеве история Византии введена в круг обязательных предметов, и единственная книга, доступная студенчеству <...> история Герцберга вышла в русском переводе 15 лет назад <...> устарела и к тому же представляет библиографическую редкость <...> [Кулаковский] считает своей обязанностью излагать мельчайшие факты, превосходя в этом отношении немецкие диссертации, посвящённые событиям двух-трёх лет и не пропускающие ни одного слова, найденного в источниках. При такой системе изложения проф. Кулаковскому понадобится написать по меньшей мере шесть томов, а принимая во внимание, что впрямь он найдёт у византийцев гораздо больше материала, и все двенадцать».

Чему дивиться: Кулаковский чувствовал приближение старости, и сам не знал, на сколько томов «Истории...» Господь отпустит ему времени. Жил и писал, всякий день превращая в содержательное отправление пенсионного досуга.

Безобразов, перемежая крупные замечания мелкими, и наоборот, продолжает:

«Главное место отведено изложению фактической истории, и самое изложение отличается летописным характером. Критики источников не заметно в сочинении проф. Кулаковского, и он, по-видимому, одинаково доверяет всем древним писателям <...> Панегирикам Прокопия

и Прициана придаёт он такое же значение, как хронике Малалы и очевидцу Захарии Ритору <...> Войны времён Анастасия проф. Кулаковский излагает необыкновенно подробно; он считает нужным сообщить, что персидский царь Кавад въехал в Амиду на слоне на третий день после взятия этого города, что 19 марта 504 г. случилось на одной ферме близ города Зевгмы на Евфрате чудо: гусь снёс яйцо с изображением двух крестов и греческой надписью “кресты побеждают”. Тем не менее мы не находим у автора той мелочной точности, которая должна соответствовать мелочному изложению. Жаль, что автор не воспользовался аккуратной диссертацией Мертена, которая помогла бы ему разобраться в подробностях и не так слепо следовать источникам».

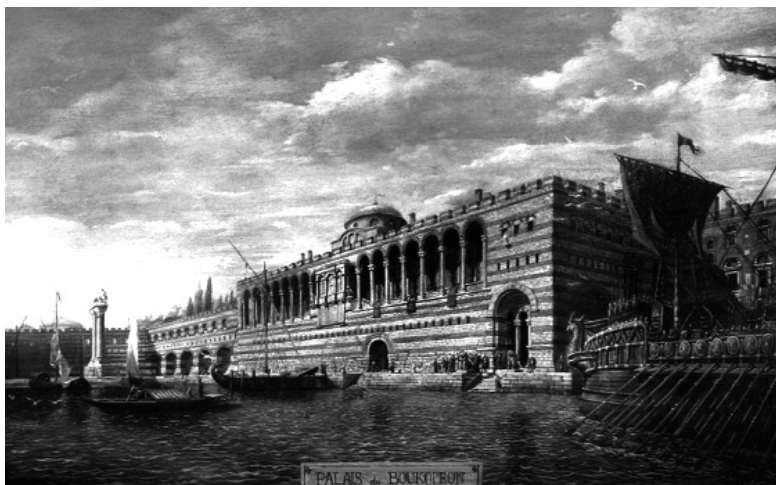
Зачем? Именно в *неточной мелочности* заключена интрига исторического письма. Как, например, можно было опустить сказку о гусе, снёшем христианское яйцо? Именно это и запомнится читателю, а не та пресловутая точность, которую якобы можно обнаружить у «очевидца» Захарии Ритора.

Безобразов пытается глумиться:

«Характерно для нашего автора, что и в заключительной главе, посвящённой общей оценке правления Анастасия, сохранена та же летописная манера изложения. Здесь передаётся вкратце содержание панегирика Присциана, потом панегирика Прокопия, и наконец автор без всякой внутренней связи переходит к Роману Сладкопевцу только потому, что он жил в царствование Анастасия и о нём раньше ничего не было сказано».

Милая иному глазу *завистливая полуправда*. Кажется, догадываюсь, чем не устроил Безобразова такой пассаж из главы «Смерть Анастасия и общая оценка его правления»:

«Правление Анастасия составило эпоху в жизни империи <...> Его продолжительная государственная служба при дворе дала ему широкое знакомство с разными сторонами государственного управления, и, как правитель, он обнаружил огромный административный талант. Не имея родственных связей в среде столичной знати, будучи совершенно чужд армии, Анастасий сумел, однако, твёрдо взять в руки бразды правления и удержал их до самой смерти, направляя государственную политику по своим идеям. За всё продолжительное время его правления не было ни одного заговора в среде столичной знати и армии. Чуждый военного задора и великих завоевательных традиций Древнего Рима, он направлял все свои усилия к поднятию благосостояния населения империи <...> Старая идея единого главы христианского мира в лице римского импера-



Дворец Буколеон на берегу Мраморного моря, реконструкция XVIII века

тора продолжала жить в сознании германцев, разорвавших на части запад империи, и Анастасий поддерживал её в своих сношениях с франками и бургундами, мирился с господством готов в Италии и поддерживал хорошие отношения с вандалами, царём которых был в то время Тразамунд <...> Сознавая невозможность объединить восточные области империи в признании Халкидонского вероопределения и разделяя тем самым монофизитские толкования догмата о воплощении Иисуса Христа, Анастасий сумел отстранить вмешательство папы <...>

Терпимый и снисходительный, Анастасий не избежал необходимости борьбы с протестовавшими против его религиозной политики епископами, и ему пришлось низложить четырёх патриархов <...> Посвятив свои силы и большой государственный опыт интересам управления, Анастасий улучшил администрацию, восстановил правду в судах, облегчил податное бремя, поднял благосостояние населения и после долгого правления оставил империю в цветущем состоянии и в мире с соседями. В огромной свободной наличности, которую он собрал своим умелым финансовым управлением, он представил непреложное свидетельство о её благосостоянии и мощи».

Этот пассаж, по-моему, качественно подводящий итог деятельности Анастасия, не устроил Безобразова тем, что его написал не он, византистнейший из византистов российских. Потому очевидно, отчего его рецензии на труд Кулаковского

стоит читать через строку, критично, деля безапелляционные заключения на восемнадцать.

Безобразовская рецензия на второй том «Истории...» перстрит передержками, натяжками, бессильной злобой: опередил, мол, киевский стервец столичную штучку.

Он начал с того, что манера изложения и подачи материала у Кулаковского не изменилась, оставшись летописной. Как посмел? Ведь было же указано после выхода первого тома, что нужно делать.

«*История Византии* проф. Кулаковского имеет ещё другую особенность. Автор не желает пользоваться учёной литературой, совершенно не признаёт трудов своих предшественников и этим добровольно ставит себя в самое невыгодное положение. Больше половины тома занимает царствование Юстиниана, которое довольно подробно и полно разработано как в западной, так и в русской литературе. К многочисленным исследованиям о покорении Италии и вандальского царства трудно прибавить что-нибудь существенное. Кроме того, существует две монографии о времени Юстиниана — [Шарля] Диля, которую Ю. А. Кулаковский в своей единственной цитате называет прекрасной, но которой он не пользуется, и Холмса (*W. Holmes. The Age of Justinian and Theodora. London, 1907*), о которой он не упоминает <...> Проф. Кулаковский предпосылает своей *Истории* список учёной литературы, именно 20 книг и статей по истории империи и 18 книг и статей по истории Востока. Из этого, однако, не следует, что он пользовался перечисленными тут сочинениями. На 300 страницах, отведённых им царствованию Юстиниана, имеется всего 31 ссылка на литературу, причем только 13 цитат относятся к книгам, приведённым в библиографическом списке».

Скрупулёзный читатель, мне бы такого: посчитал. А вот дальше: «Некоторые отделы *Истории* проф. Кулаковского можно было бы изложить лучше, чем они изложены у него». И вправду, можно: изложи. Ещё смешное место:

«Главу о [храме] св. Софии проф. Кулаковский *обработал самостоятельно, в чём не было никакой надобности* (курсив мой. — А. П.). Автор не мог не располагать новыми материалами, и у Диля он нашёл бы совершенно достаточное и вполне удовлетворительное описание этого замечательного храма. Правда, у нашего автора есть довольно много лишнего против Диля, но это басни, которым совсем не место в общей истории. Глава о Св. Софии написана проф. Кулаковским по Прокопию, Павлу Силенциарию и Кожину».



Карта из второго тома «Истории Византии»

Безобразов призывает главу о храме Св. Софии переписать у Шарля Диля, но непослушный профессор, верный избранной методе, опирается только на летописные источники. Красивым легендам, связанным с возведением храма Св. Софии, оказывается, тоже не место на страницах «Истории Византии»: следовало бы ограничиться околонуточной тягототиной, в которой Безобразов, длинно и нехорошо писавший о Михаиле Псёлле, был ещё как горазд.

Не бывает же так, чтобы рецензент кругом был неправ?

«Мы знакомимся с множеством легендарных подробностей о Св. Софии, но не находим того, что мы вправе искать в общей *Истории Византии*, не находим ответа на вопрос, к какому архитектурному стилю надо отнести этот знаменитый храм? Что такое Св. София — первый памятник византийского искусства или последний памятник эллинского искусства?»

Упрёк некорректен. Выяснять предлагаемый Безобразовым вопрос Кулаковский не считает вправе, отсылая читателя к специальным работам. Храм Св. Софии интересует его с точки зрения роли в политической истории Константинополя, а не в связи с жизнью искусства и строительным делом, которому он отводит последнее место, справедливо перелagая его на плечи специалиста иного профиля. Сказать же всерьёз, к какому стилю относится Св. София, я бы, архитекторвед, не осмелился. Для простецов: к какому? Подите прочь: к византийскому.



*Императорская трибуна
в соборе Св. Софии,
по Джелалу Эссаду*

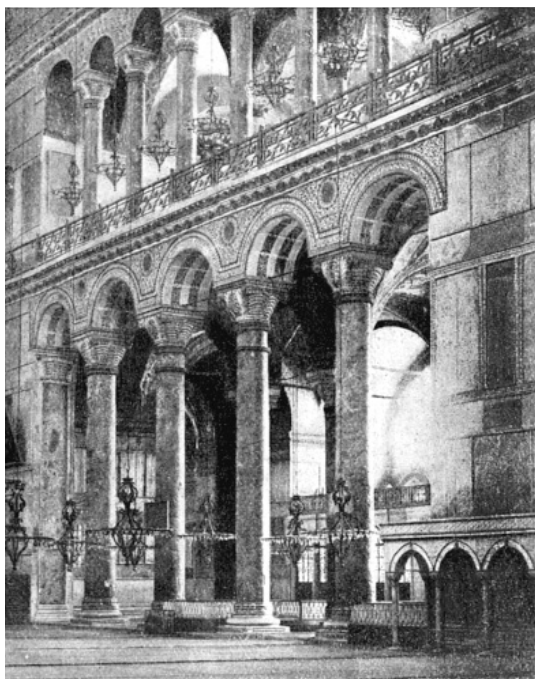
Конечно, выбирая из рецензии Безобразова наиболее выразительное, я тоже веду себя игриво. Есть, как водится, 5–10% справедливых замечаний, в сторону которых трудно отделаться ухмылкой. В массиве информации, которой владел Кулаковский и которую стремился вправить в нужное ему летописное русло, за всем не уследить.

Безобразов подмечает, например, такую путаницу:

«Довольствуясь тем, что находит он в том или ином источнике и передавая эти известия по большей части без всякой критики, проф. Кулаковский не обратил внимания на довольно странное обстоятельство, что некий перс Мебод появляется в его истории много раз в течение целого столетия. Это какой-то бессмертный Мебод... При внимательном чтении источников можно догадаться, что Мебод совсем не собственное имя, хотя и догадываться об этом незачем, так как таинственный Мебод разъяснён около 50 лет тому назад известным ориенталистом де Лагардом, заметившим, что в Мебоде надо видеть персидского *mobal* [воинское звание]».

Однако Безобразов не даёт себе труд понять, что он — фриланс-критик — имеет дело с *одной* книгой, которую подробно разбирает; Кулаковский же трудился над многими, где пропуски и недочёты неизбежны по лоскутной цветастости материала.

Безобразову кажется, будто он прав, что «мелочная критика по отношению к общему труду была бы неуместна, если



*Колоннада в интерьере
собора Св. Софии,
по Джелалу Эссаду*

бы автор не переполнил *Историю Византии* множеством мелочей». Но ведь именно в мелочи и состоит искусство летописи, которую, как сказал сам Безобразов, пишет Кулаковский. И таких мелочей в «Истории...» ровно столько, сколько требуется, чтобы читатель смог ощутить — почти физиологически — дух живописуемой эпохи.

Может, единственное, с чем можно согласиться в рецензии Безобразова, — с тем, что

«Ю. А. Кулаковский довольствуется поверхностным изложением фактов. Он не старается найти в византийской истории то, что для современного историка наиболее ценно, не вскрывает социальные и культурные основы византизма, не интересуется общественными движениями, вызывавшими разные события, отмеченные летописцами. Проследить те корни, из которых в V и VI веке развивалось византийское древо, — интереснейшая задача, почти обязательная для учёного, решившегося написать историю Византии. Несомненно, что в византизме переплелись и объединились три ветви, — азиатский Восток, эллинизм и романизм.

Проф. Кулаковский с удовольствием передаёт подробности придворного церемониала, но не останавливается на вопросе, единственно важном в этом случае: не есть ли византийский этикет порождение Востока. Он очень продолжительно говорит о монофизитах, но из его книги можно вынести только одно заключение, что монофизиты — еретики, которых преследовали византийские императоры».

О том же пишет и Алексей Деревицкий:

«Это труд, основанный исключительно на литературном материале. Конечно, было бы лучше, если бы были во всей полноте использованы также многочисленные археологические памятники и если бы наряду с политической, военной и церковной историей Византийской империи, на которой сосредоточен главный интерес автора, были с надлежаще рельефностью выдвинуты различные стороны культурной её истории, — её искусство, литература, если бы, далее, как это было указано в иностранной критике, была установлена более тесная, органическая связь истории Византии с историей эллинистического Востока».

Но для этого нужна была бы ещё одна жизнь — причём, использованная только на это.

Практически схожее недовольство — в анонимном обзоре «З історії гуманітарних наук в Університеті», помещённом в юбилейном издании «Історія Київського університету, 1834–1959» под редакцией Александра Жмудского (1959), через срок лет после смерти Кулаковского:

«Якщо в своїх ранніх працях з історії стародавнього світу Кулаковський виявив інтерес до економіки, соціально-політичних питань, то в “Історії Візантії” він як історик зробив крок назад. Його великий, прекрасно виданий твір (Кулаковський піклувався про зовнішній вигляд книги) являє собою опис, головним чином, зовнішньополітичних подій <...>. Автор не розумів характеру суспільних і економічних відносин у Візантії. Візантійська імперія в його уяві була безпосереднім продовженням Римської держави <...>. Не випадково Візантію він називав Новим Римом <...>. Полемізуючи з відомим буржуазним вченим Ф. І. Успенським, Кулаковський заперечував провідну роль слов'ян у виникненні фемного устрою, не розумів великого впливу слов'ян на суспільний устрій Візантії. Концепція Кулаковського, таким чином, наближається до теорії західноєвропейської школи романістів, яка була спростована передовою історичною наукою. Єдиною діючою силою візантійської історії в творах Кулаковського виступають імператори. Вся історія Візантії поділена на глави, присвячені царюванню імператорів <...>. Багатослівний виклад подій

носить фактологічний характер. Автор уникає робити висновки. Історія Візантії Юліана Кулаковського має цінність лише як збірник великого фактичного матеріалу з військової і політичної історії Візантії в період раннього середньовіччя».

Как вам эта хорошо забытая марксистская риторика? Под «исторической школой романистов» имеется в виду, скорее всего, школа «Анналов», на которую, конечно, можно было навешать всех идеалистических собак. То, в чём Брейе упрекал Кулаковского с одной стороны (славяноцентризм византийской истории), в том же большевицкий аноним обвиняет его — с другой («не розумів великого впливу слов'ян на суспільний устрій Візантії»): некуда бедному историку податься, всюду колесо его мысли попадает в контрольную колдобину.

По большому счёту, любые упреки были справедливы в отношении работы, которая претендует на *современный* (даже для нас) уровень разработки вопроса. Кулаковскому такая работа физически была не под силу, хотя — я уверен — он чётко отдавал отчёт, что взвалил. Он был литератором больше, чем сухим собирателем фактов, хотя в сухости его тоже упрекали.

Хоть бы кто-нибудь просто похвалил за невероятный массив сделанного, восхитился стилем письма, остроумием и умением строить композицию изложения.

Безобразов закончил рецензию обидно:

«Всякий, работавший над византийскими источниками, понимает, как тяжело написать историю Византии вполне самостоятельно, не пользуясь трудами предшественников. С этой точки зрения нельзя не оценить исключительного трудолюбия проф. Ю. А. Кулаковского. Но в то же время нельзя не пожалеть, что он потратил много времени на работу не нужную, давно сделанную другими и не хуже него».

Безобразов встал рядом с Модестовым, который раньше портил старую римскую кровь Кулаковского, — и портит его молодую византийскую кровь.

Никто до Кулаковского такого масштаба сочинения ни в России, ни за рубежом не предпринимал. Потаённое обвинение в каком-то плагиате («сделано другими») беспочвенно; ну, а последняя приписка — «не хуже его» — о том, что зависть неизбывна.

Если бы даже Безобразов взялся «громить» труд Кулаковского, будучи автором чего-нибудь грандиозного по охвату ма-

териала и объёму, даже тогда у него не было права высказывать в резкой форме недовольство на страницах ведущего византиноведческого журнала, а редакторам — эти инвективы печатать.

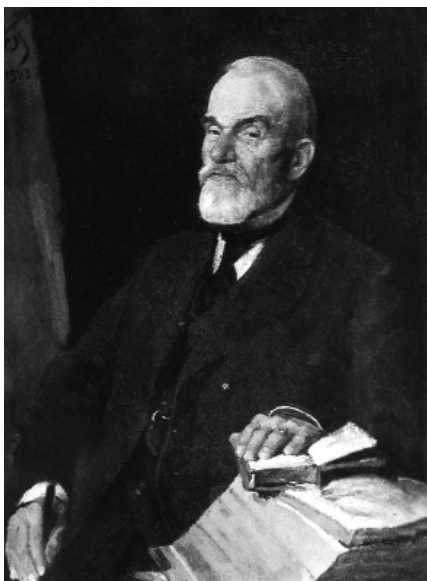
Случилось столкновение противоположных научных позиций. Безобразов может быть назван представителем *прогрессивного* направления исторической науки, Кулаковский — представителем традиционной, «*собираательно-компилятивной*», «*позитивистской*» школы, деятельность которой до сих пор приносит положительные плоды. Но это не повод для učinённого Безобразовым учёного надругательства.

Кулаковский, прочитав рецензию, оскорбился. В письме Василию Регелю (1857–1932), редактору «Византийского временника», от 11.11.1913 он написал:

«Мне было очень горько читать про своё произведение такой жестокий и грубый отзыв в специальном издании по византиноведению. Я сначала пал духом и молчал. Отвечать Безобразову ввиду его грубости и резкости я не хочу. За некоторые поправки я ему должен быть благодарен и в своём экземпляре поправил в трёх местах свой текст. А что касается до метода, то я обратился к Maquardt'у в Берлин и получил от него очень учёный ответ, который начинается так: "Rufen Sie Ihren Kritikern nur so: si tacuisse!.. [Крикните вы вашим критикам только: пусть так!]" Позволю себе прибавить, что мне кажется, что резкость в отзывах допустима только тогда, когда оказывается налицо научная недобросовестность, которой Безобразов не пытался доказывать. А если ему не нравится самый способ изложения по источникам, то это не даёт ему ещё права глумиться [так,] как он сделал. Хотя Безобразов свободен в своих суждениях, но ведь он выступает в журнале, который может иметь свой взгляд на то, что допустимо в отношении своих сотрудников, каковым являюсь и я».

Академик Иг. Медведев, опубликовавший это письмо, прибавил: «Свои жалобы на П. В. Безобразова (а также А. А. Васильева) за враждебное отношение к нему и к его книге Кулаковский высказывал и в письме к В. Н. Бенешевичу от 24 апреля 1913 г.», но эпистола осталась для меня недоступной.

В «Византийском временнике» Кулаковский опубликовал после этого лишь одну статью: «К критике известий Феофана о последнем годе правления Фоки» (1914, т. XXI) — фрагмент из первой главы третьего тома «Истории...», посвящённой правлению Фоки. Нужно думать, в видах гонорара: страдавшая раком Любовь Николаевна нуждалась в предсмертном уходе.



*Василий Эдуардович Регель,
портрет кисти Сергея Малютина,
1923*

И вновь Брейе. В связи с возгласом Джозефа Марквардта (Marquardt; 1864–1930) стоит ещё раз упомянуть о высокой оценке первого тома «Истории...» Луи Брейе. По выражению Георгия Курбатова, к Брейе после смерти Диля перешла «ведущая роль во французском византиноведении»; он продолжал

«развивать традиции эволюционистской школы <...> Его “синтетическая” история Византии представляла собой обзор внутри- и внешнеполитической истории с упором на воздействие внешних факторов, а внутри — на эволюцию социальной структуры общества».

Одну из рецензий Брейе опубликовал в старейшем научном журнале Европы, влиятельном временнике Академии надписей и изящной словесности «*Journal des savants*». Тексты двух отзывов одного автора на одну и ту же книгу отличаются.

В предисловии ко второму изданию первого тома, подписанному 15.02.1913, Кулаковский даёт краткий ответ на замечания Брейе, содержащиеся в этом отзыве.

«Общая концепция моего труда осталась прежней, и те широкие требования, которые развернул передо мной мой уважаемый рецензент, французский профессор Louis Brehier <...> я должен был оставить в стороне как превышающие мои силы. Установить органическую связь исто-

рии Византии с историей эллинистического Востока, а не только с римскими государственными началами, унаследованными Византией и давшими политическое единство восточной половине империи, — задача непосильная для труда одного человека. Таким же трудно осуществимым требованием я готов считать и использование в историческом изложении археологических памятников, которые изучаются специалистами по истории искусства. Смею надеяться, что моё изложение исторических судеб Византии, основанное почти исключительно на литературном материале, дошедшем до нас от древности, имеет право на существование и может оказаться полезным».

В рецензии Брейе, кроме прочего, содержатся замечания о выборе источников для написания «Истории...»:

«Первый вопрос это вопрос выбора источников. Г. Кулаковский приводит список во введении: прискорбно, что он почти исключительно хронографический и юридический. Нет места ни для надписей, ни для папирологических публикаций, которые, однако, имеют особое значение для этих первых веков византийской истории, ни для монет, печатей или памятников. Автор использовал преимущественно письменные источники, и это представляется зауженной концепцией <...> Одним словом, византийская история предполагает тот же метод работы, что и греческая история или римская. Мы не должны искать его только в текстах <...> Чем больше обращаемся к прошлому, тем больше нужен этот археологический метод <...> Дело не в том, что г. Кулаковский систематически игнорировал цель, которую должен предложить историк Византии. Напротив, он утверждает во введении (стр. 6), что постарается дать читателю возможность проникнуть в жизнь и чувства этих древних времён: более того, похоже, что этим археологическим источникам, которые сами по себе позволяют воссоздать ожившую картину исчезнувшего общества, отводится важное место не только в его библиографии, но особенно в содержании его книги».

Второй аспект — общая концепция обрисовки событий, о которой мы читали в другой рецензии Брейе. Нехорошо, что Кулаковский вступительные сто страниц отвёл описанию Римской империи, которая относится как к Западу, так и к Востоку, но при этом он не рисует картину обстоятельств, при которых Константинополь и его географическое положение могут объяснить дальнейшие судьбы города.

«Его история сливается с историей империи, в которой она была, в большей степени, чем сам Рим, персонификацией: поэтому именно по её

топографическому описанию должна начаться история Византийской империи».

Вновь обращается внимание на изложение по царствованиям. Но

«с другой стороны, это даёт преимущество, показывая более точную последовательность и взаимосвязь фактов. Кроме того, внутри каждого царствования г-н Кулаковский смог объединить факты одного и того же порядка в определённом числе глав и, таким образом, внёс единство в композицию».

Молчание академика Успенского. В контексте благожелательной зарубежной оценки (Брейе, Герлянд, Брукс) обращу внимание на одну особенность.

На первый том с довольно резкой критикой обрушился Васильев, на второй — Безобразов, которые к моменту выхода этих книг занимались — и плодотворно — частными вопросами истории Византии, продолжая традицию, заданную Васильевским и поддерживаемую Успенским.

Васильев только в 1917-м удосужится издать первый том «Лекций по истории Византии»; Безобразов — кроме подвергавшихся методологическому порицанию со стороны византистов посмертных «Очерков византийской культуры» (1919), диссертации о Михаиле Псёлле (построенной на ненависти к Псёллу) и стилистически ярких публикаций на разные темы в повременных изданиях, ничего более или менее заметного оставить не успел. Его исторические повести и рассказы для детей — не в счёт.

Почему же Фёдор Иванович Успенский, «по слухам» готовивший общую историю Византии в течение четверти века и только в 1913-м выпустивший её первый том, как и Кулаковский, доведши его до 717 года, до иконоборческого времени, — никак не откликнулся на выход в свет кулаковского трёхтомника? Не потому ли, что не знал, с какой стороны ему самому ждать критики?

Правда, первый том он дважды поминал в письмах Михаилу Попруженко (1866–1944), профессору славянской филологии Новороссийского университета:

«Вследствие того, что поглощён своей работой, не мог всмотреться в историю Византии т. 1 Кулаковского, который текущим летом прислан мне» (20.09.1910); «Кулаковский прислал мне свою книгу и спрашивал уже

моего “компетентного” мнения, но я уклонился от обсуждения деликатного вопроса, указав, что слишком поглощён изложением иконоборческого периода, и не мог внимательно отнестись к его книге» (23.10.1910).

Прохладно и неточно. Боязливо. В предисловии к первому тому «Истории Византийской империи», датированном октябрём 1912-го, Успенский пишет, что он не конкурирует и не пытается заменить «изданные истории Византии», однако питает «заветную мысль дать соотечественникам цельную систему в такой области, которую считает наиболее важной после отечественной истории». Поскольку никаких иных «историй Византии», кроме «Истории...» Кулаковского, к 1912 году в России издано не было, Успенский имеет в виду именно его труд.

Как утверждает в «Антихрупкости» Нассим Н. Талеб, оценить качество исследования можно по рангу самого свирепого и по рангу самого мягкого хулителя, которому автор отвечает в печати, — меньшая величина из этих двух и будет искомой. А если ранг самого грозного, но промолчавшего хулителя был настолько высок, что только его оценка и была бы верной, чему тогда верить? Промолчавший Успенский гораздо красноречивей Безобразова с Васильевым, довольно растерянно пробормотавших инвективы. Его тактично-боязливое молчание стоит за честь высшей оценкой труду Кулаковского.

И начинает он свою книгу «правильно» (не то что Кулаковский), озаглавливая введение «Сходства и различия в историческом развитии Запада и Востока», то есть работает компаративными локтями, а не ссучивает нитку исторического процесса от римлян к ромеям; не вдоль истории вышагивает, а поперёк.

Ещё в конце 1908-го Успенский писал Попруженко о своём первом томе:

«История Византии медленно подвигается вперёд. Самый трудный период пройден (период образования византизма), теперь обрабатываю Юстиниановский период, в котором славянам уделяется большое место. Спешить не стоит. Есть только один мотив, оправдывающий заботу о том, чтобы не очень замедливать, — не успеешь полностью окончить за старостью. Ну, чему быть, того не миновать».

В 1913-м он волновался по поводу окончания рукописи третьего тома («Третий том понемногу подвигается вперёд, но иногда находят сомнения — успею ли окончить»). В 1914-м печатался второй том, но Великая война помешала выходу.



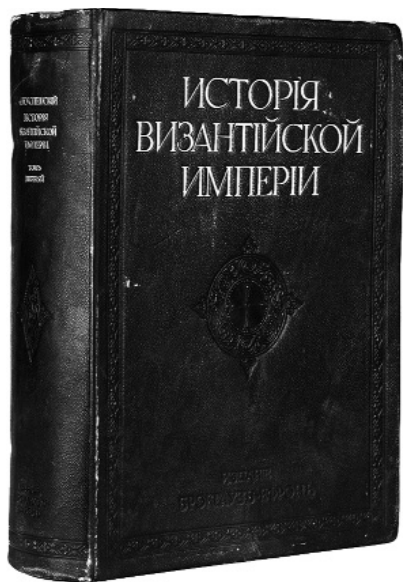
Михаил Георгиевич Попруженко

Первый том вышел в октябре 1913-го у Кнебеля, но стоил так дорого, что Успенский никому не смог подарить его. В том же предисловии Успенский предупреждал:

«Я родился в 1845 году и могу закончить это последнее научное предприятие к семидесятилетнему периоду жизни».

Он успел закончить «Историю» к 1915-му, к 70-летию, как и предполагал. И прожил ещё тринадцать лет, увидев крах империи и константинопольского Института, надолго пережив главных героев этой книги и так и не увидев изданными второй и третий тома «Истории Византийской империи». Первая часть второго тома, правда, появилась в 1927-м, обрываясь буквально на полуслове, третий том напечатали в сокращении в 1940-х, но впервые полностью, по рукописи, трёхтомник выпущен «Мыслью» в 1996–1997-м, вместе с переизданием трёхтомника Кулаковского.

Невольно вспоминается эпизод из времён Юлиана Отступника. Когда Тертулл, префект Рима, оглашал в курии посланную Юлианом в сенат обличительную речь против императора Констанция, знать выказала сначала благородство, а следом и верность государю в ставшей знаменитой фразе: «Auctori tuo reverentiam rogatus» — «Предлагаем [Юлиану] с уважением говорить о своём благодетеле» (*Аммиан Марцеллин XXI 10, 7*). Ни в какой мере не предлагая параллели между Успенским и римским сенатом (тем более — между Кулаковским и импе-



*Первое киевское издание
первого тома «Истории
Византийской империи»
академика Успенского, 1913*

ратором Констанцием), обращаю внимание на *научное благородство* Успенского.

Он знал, какого труда стоит написать «общую историю Византии». И гораздо корректнее и честнее, нежели объёмистые рецензии Васильева и Безобразова, звучит его фраза:

«Что же касается практической постановки изучения Византии и популяризации византийской истории среди большой публики, в этом отношении сделано весьма мало. И трудно ожидать, чтобы в ближайшем будущем изменились к лучшему неблагоприятные обстоятельства. У нас нет научной византийской школы и, по-видимому, глухнут и византийские традиции <...> Мы отправляемся в изложении византийской истории не от определённой даты, а от истории образующих византизм составных элементов».

Эта задача сильно отличалась от той, которую ставил Кулаковский, но от этого услуга, оказанная последним византиноведению, меньше не делается.

И ещё. Если брать смелость *качественного*, содержательного сопоставления «Истории Византии» Кулаковского и «Истории Византийской империи» Успенского (а такое сопоставление, пожалуй, необходимо), посещает желание соотнести

первый труд (вслед за Безобразовым) с *хроникой*, с историями Феофилакты Симокаты или Малалы, второй — с добротной подлинно *исследовательской монографией* об этих хрониках.

Кулаковский методически темпераментно *par excellence* следовал за Васильевским: собирал материал, подвергал его «лёгкой» критике, строя прагматическое повествование, восстанавливал факты, отбрасывал второстепенное, мастерил главный сюжет.

Это была «напряжённая и утомительная страда, она могла казаться скучной, лишена была эффективности; но автора увлекал самый процесс искания и достижения», — говорил Иван Гревс о трудах Васильевского. Здесь то же самое.

Успенский *par excellence* пытался проторивать новое: на том же фундаменте он был не столь архитектором, сколь градостроителем, урбанистом — глядел не снизу вверх на изящество получающейся постройки, будто прораб, но орлиным глазом старался обозреть территорию, на которой его может ждать добыча. Хищным птицам вроде Успенского присуща пространственная аккомодация.

Оба сочинения с их тематической стороны — «об одном и том же», но книга Кулаковского это хроника византийских событий до начала VIII века, ярко и образно прописанная, текст Успенского — научный труд. С одной стороны, в нём учтены негативные стороны работы Кулаковского (том «Истории...» Успенского вышел в свет, когда Кулаковский тиснул два тома), с другой, — сделана попытка избежать хроникальности изложения. Тем эти «Истории...» разнятся, что взаимодополняют друг друга, и то, что есть в одной, тщательно разобрано в другой — в иной научной манере.

С этой точки зрения трёхтомник Кулаковского не что иное, как *последняя византийская хроника*, созданная через несколько веков после того, как Константинополь прекратил быть Константинополем, а РOMEЙСКАЯ империя стала называться «Византией»¹. Потому критерии её оценки, по зрелом раз-

¹ По Успенскому, «наименование Восточной римской империи Византийскою империей в средние века, в особенности со времени восстановления Карлом Великим (800 г.) Западной Римской империи, возбуждает сомнения и возражения как со стороны реального смысла этого термина, так и со стороны хронологической. Известно, что сами обитатели

мышлении, должны быть специфическими, то есть — хроникальными.

«Византийская хроника» Кулаковского уникальна, другой подобной нет. Трёхтомник Успенского, — *первая* современная монография о византийской культуре и истории².

Волны. На второй и третий тома «Истории...» Кулаковского отозвались казанский профессор Сергей Шестаков (1864–1940) и дерптский приват-доцент Пётр Яковенко (1879–1920), а также англичанин Эрнст Уолтер Брукс (1863–1955), занимавшийся сирийской историей. Это три доброжелательные рецензии, в которых основное внимание уделено полезному указанию неточностей и опечаток, которому, впрочем, место в частном письме, а не на страницах ЖМНП. Ну, Бруксу простительно, а вот Шестакову с Яковенко — не очень.

Отзывы Шестакова, Яковенко и Брукса, конечно, не идут в сравнение с отзывами Васильева и Безобразова. Шестаков тоже занимался составлением истории Византии: в 1915-м появился первый том его «Лекций по истории Византии», обнимающий время с 395 по 800 год. Второй (с 800 по 1081 гг.) и третий (с 1081 по 1261 гг.) тома, как указывал Ю. Иванов в 1926 году, «совершенно законченные <...> лежат у него в ру-

Византийской империи не называли себя ни римлянами, ни элинами или греками, а ромеями, так что Византийская империя официально носила наименование Ромейской. По Андрею Белецкому, название «Византийская империя» или просто «Византия» принадлежит позднему времени, но настолько уже укоренилось в научной литературе, что бессмысленно отказываться. «По старой традиции это государство сохранило имя державы римлян, *basileia ton Romaion*, и удержало в своём единстве области латинской культуры на территории Италии и островах западной половины Средиземного моря», — писал Кулаковский, характеризуя время правления императора Ираклия.

² Позднее Васильеву удалось выпустить в трёх частях в издательстве «Academia» продолжение византийских лекций 1917 года: вып. 1 «Византия и крестоносцы: Эпоха Комнинов (1081–1185 гг.) и Ангелов (1185–1204 гг.)» (Петроград, 1923); вып. 2 «Латинское владычество на Востоке: Эпоха Никейской и Латинской империй (1204–1261 гг.)» (Петроград, 1923); вып. 3 «Падение Византии: Эпоха Палеологов (1261–1453 гг.)» (Петроград, 1925). В эмиграции он неоднократно выпускал курс византийской истории на разных языках, который во втором американском издании 1952 года получил качество самостоятельной монографии «History of the Byzantine Empire (324–1453)». Со времени его критики «Истории...» Кулаковского прошло почти сорок непростых лет.



Сергей Петрович Шестаков

кописи уже около 10 лет». Они до сих пор так себя чувствуют, если, конечно, сохранились.

Поскольку Васильев позже раскаивался, что дал слишком резкую рецензию, а памфлет Безобразова может быть выпущен из внимания в силу внутренней противоречивости, — остаётся признать, что, в целом, труд Кулаковского, столь удививший византиноведный мир, был принят благосклонно. Да к тому же, Васильев в студиях по истории Византии не слишком далеко отпрыгнул от описательности, каковая была им настойчиво инкриминирована Кулаковскому.

Академик Медведев полагает:

«Являясь по существу последним представителем русской дореволюционной школы византиноведения, Васильев в то же время отошёл от многих достижений представителей этой школы в области методологии. Для него, например, характерно отсутствие какого бы то ни было интереса к социально-экономической тематике, столь ярко выраженного у его предшественников, пристрастие к описательности и т. д.»

Может, потому Васильев изменил мнение о труде Кулаковского, что сам вынужден был поступить так же, избегая проблемных моментов, которые либо называются, отодвигаясь на второй план, либо описываются внешне. Да и читать Кулаковского интересней, чем Васильева: у первого эпос, у второго — отчёт.

Завершая обзор рецензий на трёхтомник, остановлюсь на паре деталей.

Вестимо, предисловия к большинству книг (вплоть до конца 1930-х) писались в последнюю очередь, — когда основной текст был уже набран и вычитан в корректуре. Именно потому в большинстве изданий в отношении введений и предисловий (включая титульную страницу и оглавление) была принята практика их пагинации римскими цифрами. В российских типографиях это было общеупотребительным.

Так, предисловие к первому изданию первого тома «Истории...» датировано 11.05.1910, как пометил Кулаковский, — в день *Natalicium Novae Romae*, день рождения Нового Рима, сиречь Константинополя (330 год). Предисловие ко второму изданию этого тома — 15.02.1913.

«Первый том моей *Истории Византии* разошёлся в первый же год после выхода в свет. Это обстоятельство дало мне смелость подумать о втором издании, которое являлось для меня весьма желательным, потому что налагало на меня обязанность тщательно пересмотреть текст и устранить из него те погрешности и недочёты изложения, а кое-где и прямые ошибки, какие в нём оказались. За указание некоторых из них я должен принести благодарность моим рецензентам, другие нашёл сам после издания книги».

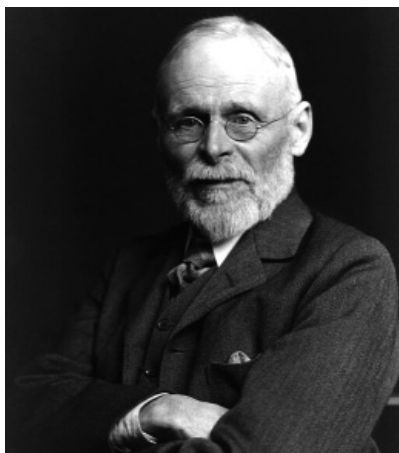
Здесь же он благодарит «за некоторые добрые указания и советы <...> уважаемых коллег профессоров П. К. Коковцова, С. П. Шестакова, И. Г. Турцевича и Б. В. Варнеке». Наверняка в письмах они указывали на оплошности, помогая их исправлению в теле второго издания.

Ко второму тому Кулаковский, как бы отвечая на замечания рецензентов, 8.11.1911 сочиняет вступление:

«Выпуская ныне в свет второй том *Истории Византии*, позволяю себе предварить читателя, что я, как и в первом томе, старался дать по возможности полную и цельную картину последовательного хода судеб государства на основании непосредственного изучения материала источников».

Не нужно удивляться, что на титуле второго тома стоит 1912 год, а рецензии Александра Малеина и Безобразова выпущены в журналах 1911-го. Скорее всего, книга была напечатана осенью 1911-го, вместе с долгожданным фештшифтом «*Serta Byzantina*», а журналы, датировавшиеся 1911-м, вполне могли появиться на свет в начале 1912-го.

Предисловие к третьему тому, подписанное 1.04.1915 (на прелиминарном листе: «*Светлой памяти дорогой спутни-*



Эрнст Уолтер Брукс

цы моей жизни Любови Николаевны († 15 декабря 1914 г.)», начинается аналогично:

«Как продолжение начатого труда, этот том обработан по тому же плану, как два предшествующие: моей целью было представить последовательную, точную в хронологическом отношении и по возможности полную картину жизни империи на основании непосредственного изучения свидетельств источников на уровне современной разработки материала, как она дана в монографиях, относящихся к этому периоду, а также в многочисленных исследованиях по отдельным частным вопросам».

Пожалуй, лишь в последнем случае Кулаковский точно формулирует задачу, чего не сделал — по неясным причинам — в предыдущих томах.

Расходы по изданию трёхтомника в значительной степени принял на себя Университет св. Владимира, причём в отношении первого тома — полностью, в отношении последующих — на две трети. Вероятно, покрытие типографских расходов на оставшуюся треть, как и с переводом Аммиана Марцеллина, Кулаковский взял на себя.

О судьбе рукописи четвёртого тома, на существовании которой настаивали многие, интересное замечание находим в примечаниях Грушевого к «алетейевскому» первому тому «Истории Византийской империи» Васильева. Грушевой пишет, что

«в соответствующем месте исходной русской версии [Лекции по истории Византии. Петроград, 1917, т. 1, с. 253] есть несколько слов, очень важных

для истории науки. Васильев в 1917 году писал о выходе четвёртого тома “Истории Византии” Кулаковского как о само собой разумеющемся событии: “Не вышедшие ещё второй том *Истории* Успенского и четвёртый том Кулаковского должны будут начинаться именно с эпохи императоров-иконоборцев”. Сопоставление в этой фразе вероятности появления очередного тома сочинения Успенского и Кулаковского может свидетельствовать, что Кулаковский не просто намеревался написать четвёртый том своей истории, но и в какой-то мере пытался осуществить этот проект <...> это, видимо, единственное свидетельство современника о научных планах и намерениях Кулаковского».

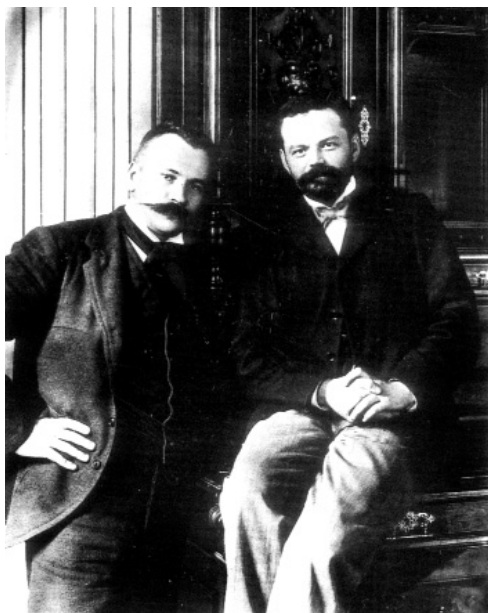
Если вспомнить сообщение Соболевского в некрологе Кулаковскому о работе над четвёртым томом, то свидетельства на этом иссякают. Надежда на обнаружение рукописи не может быть оставлена: по непроверенным данным, рукопись могла быть вывезена Сергеем Кулаковским в Польшу. Там, возможно, лежит и молчит. А, может, она осталась в Киеве, у младшего Арсения, и погибла вместе с ним в конце 1930-х.

Читая в Университете курс истории Византии (скажем, в весеннем семестре 1916-го), Кулаковский скромно рекомендовал трёхтомник вниманию студентов.

Профессор Кулаковский и император Фока vs академик Успенский. Среди всех византийских кесарей (опасная профессия: из 109 лиц, занимавших трон, лишь 34 умерли своей смертью в постели; 8 — на войне или случайно; 12 — добровольно отреклись; 18 — были оскоплены, задушены, изгнаны, заколоты, сброшены со столпа) Фока, правивший в 602–610-м, самый среди историков нелюбимый.

Именно среди историков — они видели в нём низвергателя прежней державы цезарей (Диль, Васильев, Шестаков, Острогорский), деспота, учинявшего массовые казни членов наиболее знатных семейств, аристократов, и всякий аристократический заговор против которого заканчивался новыми кровавыми расправами. Народу же нравилось, что богатые тоже плачут, но это удовольствие долгим, вестимо, быть не могло.

Преследование Фокой монофизитов, особенно в Передней Азии, провоцировало традиционную борьбу партий димов (фракций цирка, партий ипподрома) — венетов и прасин («голубых» и «зелёных») — причём простецы «голубые» поначалу поддерживали террор Фоки, аристократические «зелёные»



*Александр Александрович
Васильев
и Борис Владимирович
Фармаковский*

противились, и всё это подогревало латентные межгражданские неурядицы. Ни к чему хорошему это не привело, и в 605-м персидские войска Хосрова II, обиженного низвержением «чадолюбивого» Маврикия, захватили (подкопав стену) крепость Дара и — пошло-поехало. Дикие славяне наводнили империю, которая оказалась на краю гибели. Экзарх Карфагена Ираклий, увидевший отличную возможность при всеобщем психозе получить значительный имперский гешефт, отправляет флот, возглавленный его сыном, тоже Ираклием, к стенам Царьграда. «Зелёные» ликуют, «голубые» поджали хвост; Фоку казнят и сжигают, его статую на ипподроме, чтобы *damnatio memoriae* (и духу не осталось) валят на песок и тоже сжигают — вместе с знаменем «голубых».

Фока в глазах историков оказался шарниром, благодаря которому поздняя эпоха Римской империи перещёлкнулась на новую ромейскую эру. «С этого момента, — патетически пишет Георг Острогорский (1902–1976), — начинается история Византии, оказавшаяся ничем иным, как историей средневековой греческой державы».

Так что, собственно, Кулаковский, который начал с царствования Фоки третий том «Истории...», только здесь, на этих первых страницах, переступал содержательную границу между Римом и Византией, хотя ни одной строкой об этом не обмолвился. На самом деле, только в начале третьего тома он и вправду подошёл вплотную к стенам Византии, а до того всё это была его любимая Римская империя, правда, поздняя, заваливающаяся.

Шарль Диль (1859–1944), недовольный «кровавым» Фокой, поклонник «гуманного» Юстиниана Великого (кто из историков не был его почитателем?), заключает, что с низложением неотёсанного солдафона Фоки, «после почти полувековых волнений (по смерти Юстиниана) Византия вновь обрела вождя, способного руководить его судьбой», — то есть, Ираклия.

Ещё бы: шарниру всегда сложно, особенно если не знаешь, в каком именно механизме шаришь. Конечно, пауперам нравится, когда вновь пришедший властитель массово расправляется с константинопольскими богачами-вельможами, конфискует их имущество, бошки сечёт. Но это, вестимо, долго продолжаться не может, поскольку пауперы, кроме своего пауперизма, ни о чём думать не могут и не приучены, а политические страсти, даже «положительные», недолговечны. Фоке хватило восьми лет, чтобы вместо предмета ликования толп и армии оказаться очередным врагом нации. Качели истории не останавливаются.

Когда Васильев называет «дикого фракийца» Фоку «бессмысленным тираном на византийском престоле», он сильно передёргивает. Даже с ситуативной точки зрения Фока сделал немало, чтобы заставить население, находившееся под влиянием партий димов (возникших как спортивные, зрелищные объединения), взглянуть на себя со стороны, попытаться сформулировать, чего же, собственно, хочется. Впрочем, пустое занятие, хотя посыл правильный.

«Весь народ, доселе зело удручённый, да возрадуется о ваших благорасположенных деяниях!.. Пусть каждый наслаждается свободой под ярмом благочестивой империи. Ибо в том и состоит различие между властителями других народов и императорами, что первые господствуют над рабами, императоры же римского государства повелевают свободными».



Колонна
в честь императора Фоки
на Римском форуме,
608 год

Эти чудесные риторические строки — из письма Фоке папы римского Григория. (Бердяеву бы, конечно, не пришлось по его бунтарской душе *свобода под ярмом*, да он не византиец.) Фока был польщён и вскоре воспретил константинопольскому патриарху именоваться вселенским. В память об этих добрососедских отношениях между императором и папой хитрым экзархом Ираклием от имени равеннского экзарха Смарагда на Римском форуме была восставлена колонна с панегириком Фоке:

«Optimo, clementissimo, piissimoque principi domino n. Focae imperatori perpetuo a Deo coronato triumphatori semper Augusto Smaragdus ex praeposito sacri Palatii...» («Лучший, наимилосерднейший и доблестный император Фока, навеки Богом украшенный венцом триумфатора...» итд).

Вот ведь сколь недолговечна человеческая страстность перед историческим артефактом. Ремесленник, высекавший эти скромные строки, безымянен, их читатель тоже, но время потакает историку, помогая ему быть пофигистом. Константинопольский патриарх вновь титулуется вселенским, но колонна с надписью 608 года по-прежнему торчит в апеннинской земле.

Кто больше всех страдает во время и вследствие исторических нестроений? Интеллигенция, которой всегда немного. Что толку возиться императорам с пауперами: чтобы остаться в истории, нужно обратить внимание на интеллектуала, который и без тебя там останется.

Предшественник Фоки, Маврикий, проявлял интерес к образованию, особенно, если можно так сказать, высшему, — опекал столичный университет; при Фоке, естественно, деятельность его чуть присохла. Интеллектуал Феофилакт Симокатта, которому Фока был ненавистен как тиран, поднявший на восстание войска и толпу («народные массы»), поддержанный константинопольскими димами, — наиболее правдивый о Фоке свидетель (как Прокопий Кесарийский в «Тайной истории» — о Юстиниане Великом). Так, о преподавании философии в Царском портике до Фоки и после Фоки, при Ираклии, Феофилакт говорит в «Диалоге философии с историей». Власть могла всё-таки выдержать двух профессоров — Георгия Хировоска (филология и грамматика) и Стефана Александрийского (философия и квадривиум), и Фока всё-таки их сохранил в живых. Знал, кого нужно сохранять. Может, оттого, что это были не столько бездельные и «вредные» аристократы, сколько «беспольные» аристократы духа, а может, у него просто до них руки не дошли. (Так Сталин в войну отправлял в Ташкент и Алма-Ату тех, кто выжил в его Великом терроре: писателей, поэтов, кинематографистов, композиторов, актёров.) У Ираклия дошли — и университет вновь стал оплотом византийской образованности.

Конечно, всем историкам Ираклий — после деспотичного Фоки — казался образцовым правителем, будто солёный огурец после водочки. Население тоже радовалось: после Фоки внутренние дела пребывали в состоянии анархии; как водится, не хватало войск и денег, и Ираклию поначалу «хорошо» царствовать трудновато. Но — вот ведь как хорошо знать, чем всё кончилось, — более чем на сто лет, до следующего «варвара», Льва Исавра, династия Ираклия делала всё, чтобы, по слову Кулаковского, — быть

«отмеченной крушением старого величия и оскудением жизненных сил государства. Выступление арабов на арену мировой истории и победное шествие ислама тяжко отразились на судьбах империи. Ираклий и его



Георгий (Георґ) Александрович Острогорский

преемники оказались бессильными перед новым врагом, и империя утратила из старого своего достояния все восточные области, Египет и северное побережье Африки».

Но Фока, конечно, здесь ни при чём. В громоздких геополитических делах практически никто конкретно ни при чём — каждый виноват понемножку.

Сейчас выпишу большую цитату из блестящей статьи волгоградского профессора Владимира Кучмы «К вопросу о социальной сущности “революции” Фоки (602–610)» (1977) и — перейду к другой сущности: Кулаковскому в связи с Фокой и Успенским.

«В византиноведческой литературе, посвящённой истории Византийской империи периода раннего средневековья, сложилось мнение о том, что в то время два царствования являлись этапными и составляли целые эпохи: для VI века — царствование Юстиниана, для VII века — правление Ираклия. Между этими двумя императорами словно затерялись Юстин II, Тиверий, Маврикий и Фока <...> Юстин II настолько мал на фоне грандиозной фигуры Юстиниана, что ни их современникам, ни позднейшим исследователям не приходило в голову даже ставить вопрос о какой-либо самостоятельности Юстина <...> Юстин не столько субъект исторического процесса, сколько его объект <...> Поэтому успехи Юстина — это успехи *преемника Юстиниана*, все его неудачи — это неудачи эпигона, отклонившегося от пути, намеченного основоположником.

При Тиверии действие отмеченных выше факторов ещё сохраняется в значительной степени, хотя падавший на Тиверия отражённый свет уже померк из-за естественного угасания источника <...>

К сменившему его Маврикию уже подходили с другими мерками. Своеобразные черты личности этого императора, политические и человеческие, успевшие достаточно выпукло проявиться на протяжении довольно продолжительного правления, дали пищу для различных оценок современников и позднейших историографов <...> Маврикий — первый после Юстиниана император, который удостоился чести быть с ним сравниваемым. Разумеется, это сравнение никак не могло быть в пользу Маврикия <...>

За Мавриkiem последовал Фока. Однако выражение “последовал” здесь вряд ли применимо. По представлениям современников, Фока как бы вломился извне в византийскую историю. Никакие традиции не связывают его ни с предыдущим, ни с последующим правлениями. Современники единодушны в его оценке: он только разрушитель; всё, к чему он прикасался, обращается в руины и тлен <...>

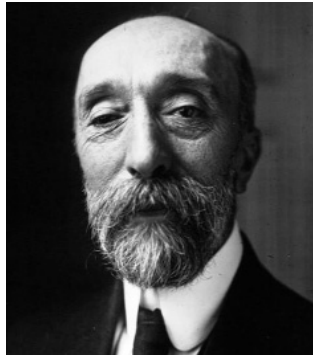
Правление Юстиниана явилось вершиной рабовладельческой Византии, символом тотальной мобилизации всех ресурсов её одряхлевшего организма, моментом высшего напряжения этих сил. Царствования Юстина II и Тиверия представляют собой скольжение по инерции, являющееся обычным следствием предшествующего напряжения. При Маврикии инерция оказывается окончательно исчерпанной. Рабовладельческая империя переживает период острейшего кризиса, который охватил все составные части общественного организма: экономику, социальные отношения, политику, идеологию <...>

Исходя из оценки общесторической перспективы, можно утверждать, что благом для современного Фоке византийского общества явились бы максимально ускоренные темпы движения по линии деструктивного развития, окончательное сокрушение рабовладельческих отношений, уже находившихся в состоянии глубокого кризиса. Как по социальному происхождению, так и по деловым качествам Фока соответствовал требованиям времени».

Правитель всегда соответствует требованиям времени, как бы его современники ни кочевряжились и негодовали.

Теперь читателю должно быть ясно, почему *византийский шарнир* Фока — именно как шарнир — заслуживает внимания.

В российском византиноведении первым общий очерк его правления оставил, конечно, Кулаковский. На двадцати страницах он даёт исчерпывающий политический портрет Фоки, приходя к выводу, что «внешние бедствия империи, недостойное поведение императора, унижавшее престиж его сана, дикая



Шарль Мишель Диль

жестокость, которую он проявлял в отношении своих врагов, усиливали общую деморализацию и поддерживали террор». В словах «общее состояние империи под властью недостойного правителя было ужасно» можно услышать не только контекстно оправданное негодование приёмами правления Фоки, но, если поднатужиться, то и — предположить беспокойство Кулаковского современными ему обстоятельствами первого года Великой войны и её верховными тружениками.

Летописный, даже эпический характер изложения истории деяний и гибели Фоки не оставляет Кулаковскому особенного пространства для высказывания субъективных воззрений на фигуру Фоки, но его заинтересованное отношение к этому — чуть ли не впервые парадоксальному — персонажу на ромейском престоле между строк просвечивает.

Кулаковский долго возился с Фокой, а то, что он, помимо главы в третьем томе опубликовал в «Византийском временнике» особую статью в связи с Фокой — «К критике известий Феофана о последнем годе правления Фоки» (1914, т. XXI), в которой убедительно показывает, что «Фока при всех своих злодеяниях не повинен в издании указа о насильственном крещении иудеев, и указ этот принадлежит Ираклию», — свидетельствует, что Кулаковскому в чём-то жаль совсем уж очернённого историками ромейского кесаря и он жаждет быть к Фоке более справедливым.

Пытаясь объяснить, почему Успенский не стал выступать с рецензией на «Историю...» Кулаковского, я сдерживался, чтобы не задать симметричный вопрос: откликнулся ли Кула-

ковский на выход первого тома «Истории Византийской империи» Успенского, материал которого хронологически полностью совпадает с его летописью?

Особой рецензии он не оставил, но не знать о фолианте Успенского и не читать его не мог.

В том же третьем томе, вышедшем, как помним, весной 1915 года, упоминания о книге Успенского встречаются дважды, преимущественно *в ёрнически-полюемическом тоне*. Не давая общей оценки труду коллеги, Кулаковский упоминает его не в основном тексте, а в экскурсах, которыми его третий том увенчивается.

В финале второго экскурса «Свидетельства о водворении болгар...» упоминая о точке зрения «маститого Иловайского», который, отстаивая славянское происхождение гуннов и Аттилы, видит славян в сабирах и болгарях, полемизирует со всеми, кто считает иначе, — Кулаковский говорит, что несколько раз Иловайский удостоивал «своей полемики и меня, а в самое последнее время обратил свои стрелы против акад. Успенского, превратив свой отзыв о первом томе “Истории Византийской империи” в защиту своей теории, причём довёл полемику до того, что слово *kanas*, написанное греческими буквами в арабских надписях, переделал в славянское “князь”».

В дополнении к третьему экскурсу «К вопросу о происхождении фемного строя...» Кулаковский показывает, что за десять лет, истёкших с времени первой публикации этой его статьи (в сборнике, посвящённом проф. Владимирскому-Буданову, 1904), вопрос о фемах «не продвинулся в научной разработке». Но он не может обойти молчанием то, что изложил в «Истории Византийской империи» о фемах Успенский: «акад. Успенский не только не разъяснил тёмных сторон вопроса о фемном строе, но скорее запутал его в целую сеть противоречий, которые способны поставить читателя в полное недоумение». Экскурс заключён возмущённым наблюдением, мол,

«в вопросе о возникновении фемного строя следует исходить из наличия в империи военного сословия и воздействия тех порядков, которые определились в областях с армянским населением, начиная со времён имп. Ираклия в связи с отвоеванием утраченных при Фоке земель, и акад. Успенский глубоко ошибается в своём утверждении, что “раскрыть историю фемного устройства значит выяснить меры правительства по отношению



*Изображение императора Фоки на монете,
начало VII века*

к землевладению и земельному устройству крестьянского населения”, а равно погрешает и в том, что отводит в вопросе о возникновении “фемного устройства” видную роль славянам. Его домыслы отодвигают научное исследование вопроса с того пути, на который оно поставлено в трудах его предшественников», —

то есть в его, Кулаковского, трудах, начиная с 1904 года.

Поскольку все эти тексты доступны в Сети, не стану входить глубже в подробности, для изъяснения которых требуется иная книга. Но один момент не даёт покоя.

Почему в связи с частным, специальным вопросом о фемном строе Кулаковский упоминает о Фоке?

Успенский в «Истории...» отзывался о Фоке как обычно, собственно, как и Кулаковский, — мол, с ним «по жестокости и грубости не может сравниться никакое царствование», что «восьмилетнее правление Фоки представляет собой самый постыдный период в истории Византии, которому было бы излишне посвящать особую главу, если бы не побуждали к тому особые соображения». (Вот чистоплюй.) «В лице Фоки самые грубые инстинкты человечества нашли себе выражение». А Нерон, Калигула? Шире посмотреть на явление — слабó?

Умеренно возмущавшийся жестокостями Фоки Кулаковский, который по нескольким поводам обращался к его персоне, кажется более прозорливым «летописцем», чем «аналитик» Успенский. Во всяком случае, я уверен, — под словами Вл. Кучмы: «Как это ни парадоксально на первый взгляд, успехами своей реформаторской деятельности Иракий во многом обя-

зан разрушительной энергии Фоки. Общая высота сооружения, воздвигнутого Ираклием, включала в себя и глубину рва, вырытого Фокой старому режиму», Кулаковский бы, подумавши, подписался, а Успенский, подумавши, — нет, потому что боязно. Потому что, вероятно, Успенский был приверженцем *абстрактного гуманизма*, для которого каждое событие прошлого рассматривается с точки зрения современного человеколюбия, а Кулаковский — отлично зная, что *история это история крови*, исповедовал к ней отношение, близкое к брезгливости, и оттого более объективное и убедительное. Последние слова Фоки перед казнью, обращённые к Ираклию, если отбросить сарказм, по мнению Вл. Кучмы, могут показаться пророческими: он действительно сделал всё необходимое и возможное для подготовки почвы к посеву, с которого Ираклий собрал обильную жатву.

Омерзительная с человеческой точки зрения фигура Фоки¹ в данном случае была тем оселком, на котором Кулаковский затачивал нож исторической объективности.

И мой камушек в огород. Не стремясь к апологетике сделанного Кулаковским в «Истории...», вынужден согласиться с марксистско-ленинским анонимом '1959, что это сочинение было для него и вправду *шагом назад* по сравнению с первоклассными по методологии работами по истории Рима.

Понятно, что одному человеку трудно за короткое время написать (от руки) полторы тысячи занимательных страниц какой-либо хроники или летописи. Это тем более приходится признать верным, едва речь заходит о хронике византийской истории, которую Кулаковский *делал* в течение почти десяти лет: в 1906–1915-м. Среди этих тысяч страниц наверняка попадутся в литературном отношении страницы квёлые, блёклые, проходные. Есть они и здесь: с трудом иногда пробираешься

¹ И внешне тоже: «Коренастый, небольшого роста, с широкой грудью и безобразным лицом, на котором виднелся шрам от старой раны, черневший, когда он раздражался, рыжеволосый, свирепый по характеру, грубый и резкий в обращении, лишённый всякого образования и совершенно неподготовленный своим прошлым к высокому положению, Фока не мог привлечь к себе расположение придворных кругов и населения столицы», — начинает Кулаковский рассказ о нём, цитируя «Обозрение истории» (I 703) Георгия Кедрина (конец XI — начало XII века).



Яков Иванович Смирнов

сквозь перечисление имён и событий, на которых не поставлен ожидаемый интерпретационный акцент.

С другой стороны, если в книжке «Прошлое Тавриды», следуя традиции составления исторических хроник, Кулаковский только наметил методику связанного хронологического изучения древностей локальной территории — Крыма, то в «Истории...» первым в России дал образец такого труда, где история отдельного государства получила целостный портрет «империи в молодости».

На первое издание «Прошлого Тавриды» откликнулся Яков Иванович Смирнов, избравший для рецензирования необычные сочинения коллег. Писал он мало и неохотно; за что был избран в академики, не очень ясно, но на «Прошлое Тавриды» внимание обратил. Неоконченную рукопись рецензии недавно опубликовал Лев Климанов:

«Смеем думать, что он [Кулаковский] как археолог-классик ошибается, видя причину “пленения” Крымом в его классических древностях, в “прелести классического в античном”; совсем наоборот: первая причина всякого пленения каким-либо местом всегда лежит, конечно, в вечной прелести природы, если же наше очарование крымской природой усложняется и поэтизируется ещё более древностями Тавриды, то, конечно, как раз в обратном порядке: первое сильнейшее и наиболее поэтическое влияние оказывает на нас Крым турецко-татарский, затем наводят на размы-

шления развалины генуэзские и византийские, и последними, занимающими лишь лиц, наиболее исторически подготовленных, оказываются наименее видимые остатки греко-римские».

Пожалуй, и вправду всяк кулик своё болото хвалит: Кулаковскому ближе Греция с Римом на имперском побережье Чёрного моря.

От «малых произведений» (как он осерчал, когда Васильев назвал его мини-монографии 1890-х «небольшими статьями») через опыт обобщения, представленный «Прошлым Тавриды», он принялся за многотомную «Историю...» и, сам не ведая, Кулаковский стал в один ряд с крупнейшими хронистами и летописцами. Он не только перенял, но развил и приспособил к собственному научному слуху и перу их метод изложения по царствованиям.

Если к началу XX века этот метод представлялся устаревшим, в этом менее всего вина Кулаковского, который худыми руками стремился объять толстенный ствол византийской истории. Применяя строительный термин, Кулаковский первым возвёл «коробку» того здания истории Византии, заниматься отделкой фасадов и интерьера которого было завещано последователям.

Если в известном смысле его «История...» оказалась несовершенной, ответственность лежит не столько на авторе, для которого эта работа была *одной из многих*, сколько — на ситуации, когда профессор вынужден был и черновую, и чистовую работу выполнять в одиночку, не дожидаясь помощи и не требуя её. В платных помощниках у него состояла лишь машинистка. Впрочем, как заметил Талеб, писатели лучше пишут, когда у них есть основная работа, которая никак не связана с сочинительством. А римский мимический поэт Публилий Сир настаивал, что нет ничего такого, что можно сделать торопливо и хорошо. Кулаковский, кроме письма, вынужденно читал лекции в двух вузах Киева. Но, повторюсь, *торопился успеть*. Однако, как сказал тот же Сир, у победителя раны не болят.

Черты исторической прориси. Гасан Гусейнов (р. 1953) в славной книжке об Аристофане заметил, что историки, как правило, интересуются двумя вещами: властью и войнами.

«Трудно представить две более неинтересные сферы человеческого существования, но на то они и историки. Сотни страниц исписал Фуки-

дид, сотні страниц исписал Геродот и — ну ни одного лица вблизи. Все какие-то “собрал”, “двинул”, “избежал сражения”, “сказал послам”, и никогда — “зябко поёжился”, “сладко зевнул”, “отошёл в сторону и стал стряхивать песок с влажных от пота сандалий”. Что толку, что через несколько столетий другие начнут лихорадочно исправлять положение».

Напомню Пастернака по практически сходному поводу (о Елизавете Венгерской в Марбурге):

«Это такая даль, что если её достигнуть воображеньем, в точке при-
бытия сама собой подымается снежная буря. Она возникает от охлажде-
нья, по закону побеждённой недосытаемости. Там наступит ночь, горы
оденутся лесом, в лесах заведутся дикие звери. Людские же нравы и обы-
чай покроются ледяной корою», —

и ещё один сообразительный и воображающий человек сочинит историю своих бедствий, — сладостной муки архивно-библиотечного возделывания темы и обретения точной книжной учёности. Бодрое летнее утро, а ты отыскиваешь жвачную невнятицу в сообщениях двух истлевших хронистов, которые держат тебя за письменным столом, будто мёдом намазано.

Виктор Петров (В. Домонтович) в романе «Без грунта» (1942–1943-й) ярчайше описал этот литературский зуд — наверняка с себя работал.

«Короткий, але глибокий сон, і наступного ранку я прокидаюсь бадьорий і свіжий, як завжди, коли напередодні в доброму товаристві добре випито.

У такі ранки добре працюється. Життя здається безхмарним і радісним, усі ускладненості вже наперед розв’язані. Тривога і прикрасі, що вчора гнітили погрозою неминучої катастрофи, сьогодні відсунулись десь без міри далеко й здаються нікчемними й безглуздими умовностями. Усе ясно, певно й просто, усе гаразд, і в ясному спокої нічим не захмарена зростає творча певність.

В мене прокидається бажання сісти оце зараз за стіл, розкласти перед собою папір, взяти в руки перо і, забувши про світ, який є, і про все довкола, поринути в схему ілюзорної дійсності, витвореної собою самим, і, не знаючи втоми, не одриваючись, працювати до вечора, до ночі, а, може, щасливої години й до самісінького ранку.

Широка мармурова плита письмового приладу важкою брилою мовчазно й нерухомо підноситься на зеленому, як луг, сукні письмового стола. Присадкуватий масивний каламар, вщерть повний свіжо налятого атраменту, odkриває недоторкнену цноту своєї блискучо-чорної, злегка опуклої поверхні. Синявою криці, немов багнет або спис, виблискує в ручці перо.

В мені немає жодного відтинку прикрасі. Жодного почуття тягару й обов'язку. Цілковита ясність <...> Найкращі з мрій завжди — це ті, що про них не треба дбати, щоб їх здійснити».

Подлинно пишущий человек — homo litteras — всегда стремится выдавать действительное за желаемое. Кулаковский, homo genuina scripturam, выдавал действительность изящного исторического письма о византийских древностях за желаемую видимость подлинной византийской истории; его не беспокоили событийные швы, прорехи фактических порезов, белые нитки между абзацами и запачканная чернилами первая фаланга безымянного пальца на правой руке. Он знал, чего хочет, и повседневная реализация желаний была подлинным оправданием действительности.

Он домысливал и осекался, толковал и психовал, зачёркивал и переставлял, верил и сомневался, портил бумагу странице за страницей; одёргиваясь, откидывался в кресле, поглядывал на снующую в заоконном ветре ветку липы и — мурлычно довольствовался написанным.

Когда в старом кино показывают поле боя — тогда ещё пехотно-кавалерийского — и повсюду торчат сабли, брошены ружья, — не веришь.

Песенно-чапаевскому чёрному ворону, наматывающему круги над убиенными, веришь, а разбазаренной военной амуниции, которая денег стоит и даром ею не разжиться, — не веришь.

Понятно, что вскоре придут интенданты, санитары, пособирают разбросанное, поскладывают разрубленное, постаскивают сапоги с мертвецов, задыхаясь от тленной вони, схоронят что осталось от человеческого материала, а военный припас отдадут следующим.

Веришь, когда сабли да ружья показаны сразу после боя, когда кровь ещё не запеклась на палаше и мёртвый палец не снят с затвора, когда ещё дымятся воронки, — это прожариваются части растерзанных бомбой тел.

Яркость этого образа, призванного схватить сиюминутность происходящего при закатном солнце, и звёзды вот-вот запылают во тьме, как новенькие обручальные кольца, вызывает у зрителя сомнение в хозяйственности воюющих, в наличии экономического смысла страшного дела.

Батальные сцены Толстого (или Серафимовича) безуко-

ризенны в их выдуманной правдивости, но время выглядит иначе: сразу после битвы нужно сначала собрать матчасть, а затем только горевать над павшими, продумывая вслед за Бабелем: «ночь, пронзённая отблесками канонады, выгнулась над умирающими».

Возможно, это оттого, что этическое в прошлом — в настоящем воспринимается эстетически. Опыт подставы не научает, кровавость «Конармии» Бабеля или «Народ на войне» Софьи Федорченко, от чтения которых тошнит впечатлительного читателя, — всего лишь хорошего слога литература, к действительности имеющая будто и притёртое, то всё равно отвлечённое отношение: писатель уже пропустил сквозь себя и вместе с чернилами спустил на бумагу.

В жизни описанное ещё противнее. Потому что есть запах.

Читателю же предъявлен, порой без комментария, опыт человеческих отношений, все модели которых схвачены тремя писателями: Шекспиром, Достоевским и Чеховым. Читателю явлена картина, которая якобы должна сделать его чище, светлее, добрее, отрешить от злых помыслов итд.

Но, во-первых, люди со злыми помыслами вообще не читают, они действуют, а если и читают, то не Бабеля, Чехова и Федорченко, а если и их читают, то — законченные иезуиты — в видах самоутверждения, в видах цинического различения статики добродетельности и динамики злодеяний.

Во-вторых, чтение «книжек с моралью», тех, в которых «нужно показать человеку, каков он есть, чтоб он стал лучше», — чтение такой беллетристики, быть может, и истончает духовный опыт читающего, но едва ли отодвигает его от чего-то, от чего он и без того был далёк. При всём морализаторстве морализующей беллетристики её природа сохраняет листву, не опадающую в читательские голову и сердце, — только если воспринимать её как эстетическую.

По так называемой этике, если и хочется чего-то прочесть, то не Чехова с Бабелем, а Юнга с Фрейдом: не о сухом, но о влажном.

В учебниках по психологии или «основам коммунистической морали» вообще нет воздуха, это зона низкого давления, в которой никак. Зато этические конструкции могут войти в тебя через парадный вход или, потоптавшись, отойти в сторону.

Вот такие учебники по этике, сторонясь сознаться, силится делать историк; но если он хороший историк, в лесок корабельной морали с морошкой-этикой он старается не забредать («по грибки, по ягодицы») — грибов нет. Он ошупывает альпенштоком дно в трясине исторического факта, который — по правде сказать — лишь эстетичен. И в чём-то может оказаться художественным, даже живописным (против этого ярился Вл. Соловьёв).

Образ ускорившегося и тем самым укороченного времени подкреплялся пресной газетной хроникой о дорожно-транспортных происшествиях, ничего общего не имевшей с хроникой средневековых сочинителей, — здесь нервозность и темп, там боевая жуть и медлительность. Не только Бендер в конце 1920-х попадёт под лошадь: Пьер Кюри погибнет под колёсами экипажа, Рудольф Вихров насмерть свалится с трамвая. Газетные репортажи напоминают описание жизни муравейника или улья, движение на перекрёстках в часы пик похоже на бурлящую реторту. Новомодный синемаграф показывает на экране людей, двигающихся молча, быстро и угловато. Теоретики культуры, вот хоть нервически-гениальный Макс Вебер, активно обсуждали тему перенапряжения. В приёмных психиатров сидят уставшие и задёранные. Психическое выгорание горожанина налицо. Но Кулаковский упорно противостоит.

Потому что писаной истории вообще нет дела до людей. Ей есть дело до событий, к сожалению, с людьми связанных.

Так хороший архитектор своей работой ухаживает за природой.

Знает, что, конечно, её портит, засоряя землю асфальтом или давя фундаментами, не вздохнуть, зато получается порядок. Лесу лесово, озеру озерово, человеку архитектурово.

Историк, приглядывая за событиями, всё равно возится с людьми, которые были этих событий двигателями. «История смотрит не на человека, а на общество», — признавался Ключевский.

Разве нас интересует устройство двигателя в машине, на которой мы опаздываем в аэропорт? Нас интересует мастерство шофёра и минутная стрелка. В остальное мы верим.

Верить можно только в невидимое. Обо всём остальном стоит знать.



Киев. Большая Владимирская и здание Университета, фото начала 1910-х

Историк старается знать сам и рассказать, кому интересно.

Кулаковский, по-видимому, был историком не вполне: филология (как любовь к слову) у него всё-таки была на первом плане, и к историческому факту он подбирается с филологической стороны, сквозь слово, а не сквозь событие.

Его первое учёное движение — от листа бумаги, на которой в военной выправке латинских тропов выстроились слова, а не от собрания анекдотических рассказов, наперебой будоражащих фантазию и принуждающих соразмерять один рассказ с другим. Кулаковского интересует и глина, и горшечник (и сандалия, и след её), но глина, пожалуй, в первую очередь.

По тому, сколь внимательно вчитывался он в Иордана или Малалу, можно заключить, что сначала он получал филологическое удовольствие от текста, затем — удовольствие историческое. Находя несуразности в сообщениях древних хронистов, радовался находке не меньше, чем открытию блёклых фресок в керченских катакомбах. Так, в журнале «Филологическое обозрение» были отведены специальные страницы, на которых филологи-классики предлагали конъектуры к тому или иному фрагменту изданного немцами классического автора (особенно в этом отношении умственно свирепствовали Зен-

гер, Корш и Сонни): одна-полторы странички занимательных экзегетических рассуждений о каком-нибудь спорно прочитанном и изданном слове у Катулла и Горация, Аристофана и Пиндара. Этим сейчас может восхититься всего несколько человек. Едва ли в конце XIX века их было больше.

Люди науки получали удовольствие от слова, вглядываясь в лица тех, кто его произносил. Всматриваясь в него, разглядывая контекст, наши комментаторы восстанавливают портрет древнего автора — если не физиогномически, то литературно. Кулаковский, вчитываясь в тексты хроник и свидетельств, тоже портретировал их авторов. «И выплывает из океана слова / Метафоры ожившей материк» (Бен. Лившиц).

Читатель, знакомясь с «Историей Византии», не раз, пожалуй, поймает себя на мысли, что он разглядывает ближний план исторического кадра. Будто умелый кинооператор, Кулаковский то «наезжает» на объект, то «отъезжает», показывая то вблизи, то в отдаленье литературно изображаемое событие.

Признаться, делает он это мастерски: вспомним хотя бы описание казни кровожадным Фокой семьи Маврикия или казнь Фоки Ираклием; это не описание, это киносценарий. Это триллер, кишки наружу.

Правда, мизансцена заимствована из Иоанна Антиохийского и патриарха Никифора, но тоже хорошо: когда судьба Фоки была решена, Ираклий, его коварный преемник на троне, грозно посмотрев на Фоку, едва прикрытого рубищем, задал ему вопрос: «Так-то ты, жалкий, управил царство?» — «Ты уравишь лучше», — ответил окровавленный Фока.

«В ответ на эти слова Ираклий ударил его ногой и приказал казнить».

Кулаковский не пишет, правда, что если отбросить сарказм, который содержался в ответе поверженного кесаря, и если вообще признать, что такой разговор был на самом деле, слова Фоки кажутся пророческими. Выше я пытался пояснить, почему именно. Но какая живопись в слове.

Так и видишь коренастого, безобразного лицом Фоку на камнях Золотого рога, которому вот-вот, на октябрьском ветру, отсекут голову и руку, и толпа через три минуты, наткнув на копыя жуткие трофеи, с гиканьем и плясками понесёт их по влажным и грязным улицам Константинополя. Остатки



Киев. Императорский университет св. Владимира, фото 1910-х

трупа проволокут до Бычьей площади. Похожая история переложена во втором томе о казни Фокой бережливого, «чадолюбивого» Маврикия. Кулаковский будто подхватил традицию не Карамзина, но Татищева — комментированный летописный свод, полный запоминающихся небылиц.

«Низложенного императора привезли в Халкидон, и Фока поручил производство казни низверженного государя доверенному человеку по имени Лилий. Казнь совершилась публично на глазах толпы на моле Евтропия в Халкидоне. Несчастный отец должен был пережить казнь своих пяти сыновей, из которых младший был ещё младенцем. Кормилица хотела подменить его своим ребёнком, но Маврикий воспротивился и имел решимость сам указать, где находится его сын. Свидетели казни были поражены спокойствием Маврикия в эти ужасные минуты конца его жизни и слышали, как он часто повторял про себя слова: “Праведен еси, Господи, и прав суд Твой”. После детей казнён был отец. Тела казнённых были брошены в море, которое прибило их к берегу, а головы Лилий принёс Фоке, и они были выставлены на Военном поле перед трибуналом как трофеи победы».

Дело не в усиленно драматической природе событий — историки любят рисовать казни и насилия, иначе не интересно, — и не в частностях словесности; дело в особой способности автора вышивать крестиком событийную ткань происходящего.

Хотя во времена Кулаковского синемаатограф был в стадии организации (лишь в мае 1911 года министром внутренних дел

утверждены «Нормальные правила по устройству и содержанию театров-кинематографов»), к 1914 году в Киеве функционировало уже 37 кинотеатров (один даже в Святошине, ныне кинотеатр «Экран»), и Кулаковский наверняка в них наведывался.

Удивительно, что одинаково удачно и с правильно наведённой резкостью получаются у него и широкие героические панорамы, и камерный жанр частной беседы. Такую способность можно обнаружить, пожалуй, только у двух литераторов: Карлейля и Тарле.

Так Иракий Андроников пересказывает Тарле:

«Когда Наполеон Буонапарт, возвратясь из Фонтенбло во дворец, присел к золочёному столику и умакнул перо, чтобы подписать декрет о континентальной блокаде Англии, можно смело сказать, что великая Британская империя, утвердившая свой флаг на всех морях и океанах, одним движением была утоплена в походной чернильнице французского узурпатора».

Кулаковский понимал, что отличие живого организма, действовавшего в пространстве истории, от материальной вещи, подлежащей научному описанию, заключается в том, что время — четвёртая координата — в первом случае оказывается имманентным объекту и есть основание его бытия; во втором случае оно трансцендентно ему, поскольку дано как таковое, то есть — вышедшим из породившего его потока. На противоположении этих двух данностей и возводит он здание собственной византийской истории, прописывая детали в зависимости от приёмов решения задач литературных.

Если не только я осмеливаюсь квалифицировать это как «шаг назад», то лишь с точки зрения ранних работ Кулаковского, в которых модернизм, характерный для современной ему науки, был им сведён к минимуму. Антимодернизм работ Кулаковского о Риме был преодолён им в модернизме составления византийской хроники: это и вправду неслыханное дело и известный «шаг назад» по отношению к выработанному Кулаковским ранее методу.

Перепишу фрагмент письма 24-летнего искусствоведа-византиста Фёдора Шмита, ученика Адриана Прахова, Виктору Ернштедту, посланного из стен РАИК 23.09.1901:

«А что такое Византия? Хаос мнений самых противоречивых: с одной стороны, горячие поклонники, восторги которых казались преувели-



Фёдор Иванович Шмит

ченными и неискренними, с другой — не менее горячие ненавистники, в устах которых “Византия” и “византизм” имели смысл чуть ли не бранных слов, служили синонимом вырождения и мертвечины. Ни тем, ни другим верить я не мог. Да и не хотелось верить — хотелось знать: слишком уж важен вопрос. И я устремился в Константинополь. Но я представлял себе дело гораздо проще, чем оно было в действительности. Под византийским искусством я представлял себе нечто установившееся, вполне определённое. Что может существовать история византийского искусства, развитие, расцвет, упадок, возрождение, — этого я и не подзревал. Впоследствии в Петербурге уже, просматривая всевозможные гравюрные издания, я сообразил, что Византия — это свыше чем тысячелетний период, что это — громадная эпоха в истории искусства, узнал, что существует громадная литература по вопросам византологии».

Не так ли входил в Византию и Кулаковский, будучи значительно старше Шмита годами, опытом и начитанностью? Не так ли каждый из нас, через книги, входит в дверь к самому себе?

Кажется, когда вознамериваешься — ощущая талант — творить великое, на великое же и ориентируешься, когда на среднее, — ориентир по мерке. Но так не бывает: кто из нормальных людей станет намеренно оглядываться не на поразивший однажды образец? В природе человека глядеть на небо и звёзды, даже если тянет смотреть под ноги, на цветки и во-

дичку. У римлян глубина и высота обзывались одинаковым словом — *altitudo*, — и о чём речь, опознавалось из контекста. В творчестве высота, глубина, низость и мелкость тоже опознаются по контексту. Так «государь» отличается от «милостивого государя», так преподобный отличается от подобного, и оба — от подобия.

Историцизм мышления Кулаковского и система державного устройства Византийской империи оказались совмещёнными в глубинных основаниях, что даёт право судачить о имманентной предзаданности Кулаковскому византийской истории. Эта предзаданность, правда, выкристаллизовалась в рамках того метода, при помощи которого он исследовал явления древности, — сравнительно-исторического, или, как нынче принято говорить, компаративного.

Публикуя надписи, занимаясь вопросами древнеримской истории (статусом римских ветеранов, деятельностью коллегий или происхождением Рима), Кулаковский всюду чертит параллели, сопоставляя, казалось бы, далеко лежащие друг от друга вещи.

Тем же самым способом он сопоставляет между собой свидетельства ромейских хронистов, выдвигая нечто равновесно среднее, собственное: историко-ситуативную интерполяцию, которая отливается в самостоятельный текст собственной хроники. Конечно, такой метод предполагает не только приобретения в качестве, но и утраты в количестве, в подробностях.

Потому хроника Кулаковского, конечно, менее совершенна, нежели порознь взятые исторические сочинения самих византийских летописцев. Но в том заключается и сильная сторона его грандиозного предприятия: отбрасывая второстепенное, он сосредоточивает внимание на «первом» и «втором» планах исторического события, оставляя «третий» — за хрониками. Поэтому нельзя сказать, что учёный «снял сливки» с сообщений Иоанна Малалы или Павла Кодина, — он сделал больше.

Сочинив версию развития Византийской империи, Кулаковский оставил камень на камне в построениях византийских хронистов, милостиво позволив своему тексту быть столь же занимательным, как тексты Средневековья.

В чём разница между филологом и историком, столь неявная в классической филологии?



Киев. Панорама Подола и Днепра с верхней площадки фуникулёра, фото 1910-х

Филолог тщится ответить на вопрос, *что говорит* изучаемый автор, историк — действительно ли он *это сказал*.

Историк, следующий за источником, воспроизводит чужую точку зрения, и «что толку изучать чужую ложь, хотя бы и древнюю?» (Лев Гумилёв). Нужен приём *интерполяции свидетельств*, и Кулаковский одним из первых в российской византистике овладел им в совершенстве.

В его трёхтомнике — собственные и поэтика, и риторика, отличные от литературных темпераций древних авторов. В этом «История...», что говорить, выигрывает по сравнению с писаниной далёких и не очень далёких предшественников.

Пожалуй, если с чем-то и сопоставлять труд Кулаковского, то — не с последовавшими «историями Византии» (или выходявшими из-под пера современников), но с текстами предшественников — тех авторов ромейской историографии, обобщить сведения которых он вызвался.

Не вперёд, в будущее, устремлена его книга, но назад, в прошлое, к истокам. Именно теперь, в нашем с вами *будущем Кулаковского* его труд занимает конкретное место. Он сам проговорился о надеждах в предисловии к первому тому, — не в последнем слове современника, но в первом слове древнего автора хорошо бы искать истину. Он пользуется этой уста-

новкой, и нет оснований ему не верить, требуя следования иным установкам, как поступали его рецензенты.

Мирон Петровский однажды заметил, что книга — факт биографии писателя, но, с другой стороны, и биография писателя — неотъемлемая часть истории книги.

«Сотнями кровеносных сосудов — явных и невидимых, прямых и переплетающихся — создание связано со своим создателем. У писателя и его книги — общая нервная система: когда эпоха задаёт человеку вопросы, они звучат и в его книге; когда история бьёт по автору, книге больно» («Книги нашего детства», 1986).

История неуютна, и Кулаковский вместе с другими пытался согреть её напоминанием: это всё-таки наша, земная история. Делает он это осмотрительно: лишь изредка обнаруживает мотивы собственной жизни, впечатлений, аналитическая мысль дозирована (скверно ли это?), синтетическая — осторожна.

Конечно, как записал в дневнике Ключевский, историк задним умом крепок.

«Он знает настоящее с тыла, а не с лица. Это недостаток ремесла, как кривизна ног у портного. Отсюда оптимизм историков, их вера в нескончаемый прогресс, ибо зад настоящего краше его лица. У историка пропасть воспоминаний и примеров, но нет ни чутья, ни предчувствий» (лето 1909).

Может, Ключевский и автобиографичествовал, но у него были и чутьё, и предчувствия (иначе тексты канули б в Лету), — и у всякого другого, мыслившего «пугливыми шагами» в добровольных кабинетно-библиотечных застенках, есть и то, и другое. Чутьё — не запах крысиной мочи, о котором отец-архивист говорил Гельдероду, но способность увидеть среди букв подлинный чернозём событий; предчувствия — способность показать, что всё уже однажды было, моделей немного, и будет впредь. Между воспоминаниями и примерами, чутьём и предчувствиями непроходимости нет. И «задний ум» историка не менее крепок, нежели ум передний, а организм каждого читателя по природе сознания «вакцинирован вымыслом» (Шкловский).

Кулаковский стремился исчерпать летописное предание, задействовав все доступные ему свидетельства современников первых византийских веков; писал историю Византии как её современник, напряжённо вглядываясь «в тусклое зеркало древней летописи с неутомимым вниманием» (Карамзин). Его

труд — наблюдателя, собирателя — тяжёлый труд *зжидителя истории*. Конечно, это летопись («si tacuisse!»), но именно летописный жанр прокладывает исторические магистрали.

Кулаковский построил *свой* храм византийской истории IV–VIII веков. Другие — Успенский, Васильев, Шестаков, Острогорский — стремились расписывать его интерьер, присваивая мозаикам и фрескам собственные колорит и интонацию. Но фреска невозможна без стены и пилона, на которые нанесена. Расстановка этих пилонов «до VIII века» — как раз трёхтомник Кулаковского. В определённом смысле он — *архитектор византийской истории*, все остальные — *её художники* и даже, скорее, *художники-реставраторы*. Он обратился к корням, к истокам знания о Византии — и смастерил фундамент.

В работе, им предпринятой, стирались собственное лицо и почерк, он заимствовал руку источника — рисунок Теофилакта Симокатты, Малалы и таинственного Прокопия Кесарийского. Главное — искренность в тщании, усердие в сборе материала; но *искренность* в отношении к делу вообще всё-таки первостепенней.

Дмитрий Сергеевич Лихачёв подтверждал:

«Благодаря <...> вторжению автора в речи, поступки, суждения действующих лиц сами фигуры автора и его повествователя выступают далеко не отчётливо. Да отчётливость их и не нужна. Они не в “фокусе”, поскольку они всё время движутся. Их изображения импрессионистически размыты их движением. Это художественный приём».

В плену бытовых плеоназмов. Возвращаясь к биографии, сожалею, что приходится в большей мере, нежели прежде, становиться на путь догадок, поскольку эпистолярный материал, относящийся к позднему периоду жизни Кулаковского, скудноват.

Во всяком случае, с начала 1910-х можно наблюдать постепенную его отлучку от активной университетской жизни, хотя он остаётся членом Совета Университета и даже в 1910-м входит в состав Профессорского дисциплинарного суда, но в 1911-м от членства отказывается (председателем избран Флоринский). Только представьте, с каким окказиональным удовольствием писал Кулаковский 21.08.1912 краеведу и музейщику Стефану Дроздову:

«По своему положению профессора я не имею никакого отношения

к административным делам учебного округа, а потому и не могу в этом случае ничем быть Вам полезен».

Что его всё меньше занимают общественные вопросы, легко убедиться, обратившись к протоколам заседаний Совета Университета 1910–1916 годов.

Эти заседания не были лишены некоей торжественности, и раз в месяц худо-бедно привлекали участников. Некоторым профессорам даже нравилась такая форма хронофагии, бестолковых сидячек.

Евгений Спекторский, последний приличный ректор Университета, в книге «Столетие Киевского университета св. Владимира» (Белград, 1935) писал, что в одном из высоких библиотечных залов с огромными окнами и стенами, уставленными гигантскими шкафами, сквозь стеклянные дверцы которых виднелись бесконечные ряды разноцветных корешков, на эстраде стоял стол, покрытый сукном, а на нём зеркало с изображёнными на нём знаменитыми петровскими указами о законности. За столом сидели ректор и секретарь Совета. Против эстрады на расположенных полукругом красных бархатных креслах сидели седовласые (или лысые — как Кулаковский с Иконниковым) заслуженные профессора, которые в России, в отличие от «жестокой западноевропейской практики», никогда не отрывались от университета и могли пожизненно оставаться при нём в качестве мужей Совета и сверхштатных преподавателей. За креслами был устроен амфитеатр, на скамьях которого более или менее по факультетам размещались профессора. «Сколько было характерных лиц! Сейчас всё это не восстановимо». Нынешний профессорский контингент киевского университета — что греки Фальмерайера в современных Афинах.

Предпочтение отсутствовать объясняется занятиями Кулаковского «Историей...», а может, и некоторым, с годами пришедшим, пониманием, что в жизни есть вещи более значимые, нежели принесение «общественной пользы». Он, вероятно, почти болезненно ощутил, что его деятельность *sub specie aeternitatis* есть нечто несовместное с «точкой зрения вечности» на университетскую действительность.

К тому же, наряду с цивилизационными новшествами и культурными сдвигами 1910-е для университетской жизни



Лев Аристович Кассо

были напряжёнными социально и для научных занятий менее всего прилаженными.

В кресле министра народного просвещения вместо филолога-классика Александра Шварца, уволенного в отставку в сентябре 1910-го (в чине действительного тайного советника), на четыре года воссядет богатый бессарабский помещик и профессор гражданского права Лев Кассо (1865–1914). До министерского кресла он возглавлял *almae matris* Кулаковского — Лицей цесаревича Николая.

«Здоровенный, чёрный, отлично одетый, авторитетный, подавляющий. Студенты чутки к живому и дельному слову, и Кассо был любимцем, пока не стал злым врагом и науки, и студентов», —

вспоминал о нём книгоед Михаил Осоргин. Сделаешься и злым, и врагом — на такой-то должности, приняв её при Столыпине. В начале декабря 1914-го Кассо умер от рака, оставаясь на посту и не дожив до пятидесяти.

Смерть Толстого и письменно-переломное 1910-х.

Сергей Юльевич Витте в ответе, опубликованном в январской книжке журнала «Огонёк» за 1910 год, на вопрос: «Какие благопожелания шлёте вы России на 1910 год?» ответил:

«Чтобы все верноподанные государя императора познали за непреложную истину, что государство жить здоровою жизнью на ниве взаимной ненависти не может».

Розанов пожелал «побольше хлеба и поменьше крови».

На железнодорожной станции Астапово 10.11.1910 тихо, почти не мучаясь, на 83-м году умирает Лев Толстой.

В заседании Общества Нестора Летописца 14-го ноября Кулаковский как председатель выступает с речью его памяти. Практически всё выступление подчинено пересказу биографии Толстого. Только в конце отсебятина.

«Тоска по недостигаемому идеалу томила его всю жизнь. Он вечно пребывал в искании и, как вечный странник, закончил своё искание на пути в мир. Но он оставил великий завет всем нам.

Тогда как другой великий искатель, человек другой расы и национальности, другого образования, Ницше, закончил своё искание сверхчеловеком, из которого выглянул дикий хищный зверь, наш родной искатель возгласил людям, мнившим видеть его союзником в политических воззрениях, что единственная гарантия подъёма общества есть нравственное усовершенствование индивидуума. Он завещал миру жажду правды и истины как великий идеал, согревающий сердце человека в его стремлении к Богу и Царствию Божию на земле».

Нужно же было что-то сказать, — сказал.

В 1911-м Университет основал премию графа Толстого, в актовом зале установили его мраморный бюст.

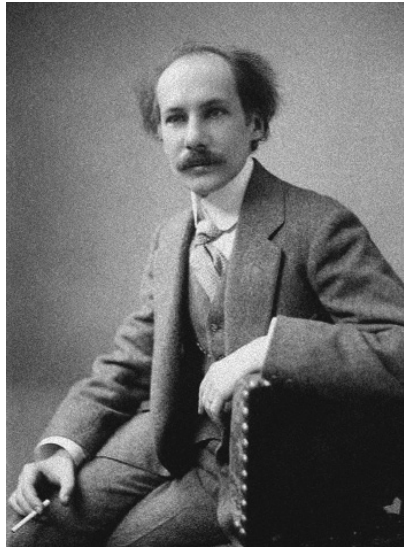
Розанов в «Уединённом» (1912) запишет о Толстом почти крамольное:

«Толстой прожил, собственно, глубоко *пошлую* жизнь... Это ему и на ум никогда не приходило.

Никакого страдания; никакого «тернового венца»; никакой героической борьбы за убеждения; и даже никаких особенно интересных приключений: полная пошлость».

Так можно сказать о какой угодно жизни (особенно же розановской), но в случае Толстого эта картинка выглядит предельно убедительной. Может, оттого Кулаковский взялся пересказывать биографию литераторствовавшего графа, который парадно выходил «на покос» к курьерскому, что сам чувствовал аналогично? Мраморный бюст: что ещё более чуждо духу писательства? И Толстой здесь, увы, «при чём».

Вообще говоря, русская изящная словесность 1910-х оказалась перед неким поворотом — от работы над осмыслением жизни, столь занимавшей Достоевского с Толстым в их пристрастии к многописанью (и высоким гонорарам), к работе



*Борис Николаевич Бугаев
(Андрей Белый)*

над осмыслением слова, занимавшей литераторов ещё и краснорисаньем. Сергей Кулаковский в прекрасном исследовании русской литературы 1884–1934 годов отметил:

«Важным моментом в развитии российского общества в начале XX века был неизмеримый интерес к вопросам эстетики, как будто понятие красоты полностью влилось в понятие добра, которое оставалось под защитой религиозной философии символистов-мистиков.

Литературное производство после 1905 года, когда была отменена превентивная цензура, количественно возросло до размеров, ещё не зафиксированных в России. Его качественное значение уступило количеству. В этом отношении характерным явлением стал рост журналистики с ущербом для развития ежемесячных журналов <...> По сравнению с другими направлениями в российской словесности конца XIX — начала XX веков сочинения Андреева, Горького и других реалистов, журналистов и сатириков свидетельствуют об удивительном расцвете российской духовной культуры тех лет, когда каждое творческое направление проложило путь для следующей эпохи и было одним из компонентов свежей культурной традиции XX века».

Будущее литературы в 1910-е как бы столкнулось с её прошлым, и вот они стоят одно против другого, сопят, пристально вглядываясь, кто кому случайно набил шишку побольше. Вмес-

то писателей появились группировки, имена резко разделились на большие и маленькие, возникли течения, манифесты (помимо царских), литературные вечера, диспуты, «ёлки у Ивановых», пятницы «на Башне» другого Иванова, едкие ироники под масками футуристов и просто манерные «пописывающие».

«Индивидуализм поднял важность личности, освободив её от ранее существовавшего общественного активизма и воскресив антитезу Пушкина: “поэт” или “творец” и “толпа” или “чернь”. Причиной индивидуализма стали для русского читателя конца XIX и начала XX веков драмы Генрика Ибсена, философия Ницше предьявляла основы идеи “сверхчеловечества”. Основы индивидуализма, “сверхгуманизма” и демонизма обнаружались в романах Достоевского, а поверхностное понятие “сверхчеловека” вызвало общий аморализм, одновременно освобождая человека от всех обязательств перед обществом; положительной стороной этого отношения было освобождение духовного творчества от общественной активности. Ницшеанский эллинизм вызвал творческий резонанс в русской духовной культуре. Одним из многочисленных примеров этого могут служить некоторые элементы в творчестве поэта-символиста и учёного-эллиниста Вячеслава Иванова и его теории “мифотворчества”, антитеза между “аполлонизмом” и “дионисийством”, вошедшими в диапазон антитез этого времени. Оппозиция эллинизму и христианству в связи с широким спектром религиозных и философских интересов была частично связана с философией Ницше» (Сергей Кулаковский).

В 1911-м Андрей Белый утверждал, что «всюду слышится нота какого-то перелома <...> чувствую поступь больших событий»; в 1913-м Блок зачем-то говорит о «величии нашего времени», когда величие — негатив. «Вид России печален, дела её ничтожны и скверны, а где-то уже родился весёлый зов к новой, тяжёлой революционной работе. И по-настоящему сейчас в России грустят только ослы», — подлизывается к Горькому Леонид Андреев, и будто ждёт, что вот-вот явится «Пощёчина общественному вкусу», «Бубновым валетом» пинающая «Бродячую собаку», отучая литераторствующих вроде Бальмонта или Мережковского благоговейно вслушиваться в музыку сфер тогда, когда над Россией витал Меркурий, помахая кадудцем, будто дачная барышня зонтиком.

Сергей Кулаковский в 1939-м пытался объяснить:

«Эстетика в русской духовной культуре конца XIX — начала XX века сыграла уникальную роль. Мы можем найти симптомы этого во всех обла-

стях творчества разных оттенков. Отрицание представления о “прекрасном” предыдущими поколениями, поглощённое интересом к контенту в ущерб художественности в творчестве, вызвало отчётливую реакцию в 1880-х. Утилитаризм и понятие “социальной ответственности” утратили ценность, что дало возможность распространить представление о ценности технологий в духовном творчестве. Эстетические взгляды были основаны, среди прочего, на постулатах Оскара Уайльда и поэзии Теофиля Готье».

Желание нагадить в архаическую бонбоньерку всё чаще посещало молодой дух 1910-х.

Но оставались люди «из раньшего времени», и с ними нужно было считаться, ну, хотя бы не задевать — локтем, словом, взглядом.

У тех была своя песочница, у этих своя, но время — *песок вечности* — на каждого просыпалось одинаково. Одни воротили нос, поднимая воротник выше, другие держали его по ветру, не боясь сора в пенсне.

В марте 1914 года газета «Приазовский край» писала о Маяковском, что он хочет создать песни сегодняшнего дня, когда «носят ботинки Vega с загнутыми концами», песни для толпы. Петь об аэропланах, экспрессах, автомобилях, а не о белых колоннах разрушающихся старых особняков. «Горячий призыв юного поэта подкупил аудиторию (наполовину тоже юную), как подкупает всякий призыв к борьбе за новое». Но борьба борьбе рознь.

В 1913-м на алтарь российской изящной словесности, будто закланную овечку, Мандельштам аккуратно положит «Камень» — тоненькую книжечку, тридцать страничек на газетной бумаге. В чёрные годы большевизма, скрываемая за пазухой, она обогреет продрогших, не позволяя вконец отчаиваться.

Андрей Белый, Ремизов, Замятин, кубофутуристы, неоязычники («дети природы» вроде Елены Гуро), Хлебников, Кручёных, Каменский с Бурлюками в голове — совсем иной бумагомарающий контекст, нежели Толстой с Лесковым, Достоевским, Тургеневым, Чеховым и Гариным-Михайловским: другие темы, другие темпы, слог другой, иные акценты и — без особенного человеколюбия. Конечно, пусть Пушкин пока поплавает на корабле современности, но сочинения 1910-х — иной суггестивности, иной «пространственноподобной конструкции» (Лотман) художественного текста, нежели писания XIX века, хотя бы его последних десятилетий.

Сергей Кулаковский объяснял, что

«Религиозная философия привела к переоценке этических представлений и установлению примата *добра* над всеми духовными ценностями, подобно тому, как эстетизм в концепции *красоты* преувеличивал единственную основу духовной жизни, отдавая дань английскому дендизму и возрождая английские и французские эстетические традиции третьего десятилетия ушедшего века».

Со смертью Толстого умерла одна традиция и появилась другая, не хуже.

«Подобно тому, как преувеличенное представление об индивидуализме привело к анархизму всех оттенков (индивидуалистическому, мистическому и т. п.), преувеличенный эстетизм стал основой здания, слишком часто возвышавшегося над подлинным артистизмом. Это, несомненно, содержит элементы разложения, которые представляют известную опасность для будущего во времена наивысшего напряжения и культурного расцвета» (Сергей Кулаковский).

Но к учёным писаниям это не относилось: профессора и приват-доценты по-прежнему марали бумагу в видах соответствия европейской научной школе — не слишком скучно, не слишком весело, в меру научно, в меру упрощённо, смешивая канцелярит деловой прозы с художественным слогом классического словоисторжения и обиходных формул вежливости. Получалось неназойливо, остроумно и недолговечно. Конечно, у них было *нехудожественное отношение* к своему художественному слову, потому что задачи другие. Но их решение ныне — будто многовековое масляное пятно на оборонной стене Хотинской крепости.

В этой среде были исключения: когда учёный относится к своим писаниям как результату не столько науки, сколько словесности, его тексты способны выдержать наплывы будущего. Сергей Кулаковский рассказал об этом на одном примере, биографически близком ему.

«В соответствии с новыми направлениями западноевропейской литературы древняя культура и красота Эллады и власть Рима оказали значительное влияние на российское творчество в эпоху модернизма и символизма. В то же время следует отметить выдающуюся культурную роль Санкт-Петербургского университета. Подобно тому, как исследования профессора Александра Веселовского в области теории литературы и фольклора западноевропейских народов вызвали общественный инте-



Киев. Встреча Николая II на вокзале, 29.08.1911

рес к западной культуре, так лекции и труды профессора Фаддея Зелинского стали основой для подхода слушателей и читателей к изяществу Эллады. Мастерские переводы проф. Зелинским драм Софокла, поэзии Овидия и др. занимают серьёзное место в русской литературе в XIX и XX веках наряду с переводами западноевропейских произведений А. Веселовским и его учениками».

Зелинский был оппонентом докторской диссертации его отца в 1888-м и поддерживал самого Сергея в его непростой польской жизни.

Университет как социальное бомбоубежище, и царский визит. Собственно, с начала 1910-х биографические данные о Кулаковском почти полностью срастворены с судьбой Университета.

С 21.09 по 5.10.1910 он командирован в Германию для участия в праздновании 100-летнего юбилея Берлинского университета (был ли?), 7.02.1911 распоряжением подтянутого 73-летнего министра императорского двора и уделов графа Фредерикса, этого «very old gentleman'a» державной России, назначается сверхштатным членом Археологической комиссии, летом рулит работой приёмной комиссии Казанского университета.



*Киев. Церемония открытия
памятника Александру II
на Царской площади, 30.08.1911*

*Кулаковский
с архитектором П. Ф. Алёшиным,
промышленником и меценатом
С. С. Могилевцевым и прочими
глядит на шествие царя*



Киев. Николай II на открытии памятника деду, Александру II, 30.08.1911

Экстренное заседание Совета Университета 22.08.1911 было посвящено предстоящему визиту в Киев Николая II.

Ректор Цытович обращается к профессорам, внесённым в специальный список, с инструктивным письмом:

«Имею честь покорнейше просить гг. профессоров Университета <...> пожаловать в Университет в день высочайшего его посещения, 4 сентября (в воскресенье) к 11 часам дня в установленной форме, а именно: в белых сюртуках при тёмно-синих брюках, чёрных галстуках, белых перчатках и летней форменной белой фуражке с тёмно-синим околышем при шпаге и высших орденах. При этом для сведения прилагается пояснительная записка о порядке ношения орденов и других знаков отличия».

Всё очень серьёзно. Заведующего мюнц-кабинетом Павлуцкого ректор просит передать две хрустальные люстры для освещения актового зала, хлопчет об их установке и требует, чтобы «они к высочайшему приезду имели приличный наружный вид». В правление Университета университетским архитектором Василием Осьмаком (1870–1942) вносится представление двух счетов на оплату слесарных работ по «исправлению звёзд в вензеле на главном здании и ремонту профессорского клозета».



Киев. Маринский дворец, приём Николаем II еврейской делегации, 1.09.1911

Государь приезжает в Киев, открывает на Михайловской площади, возле Присутственных мест, памятник княгине Ольге, Андрею Первозванному и Кириллу с Мефодием, затем через Михайловский монастырь по Владимирской горке прогулочным шагом нисходит со священниками и свитой к Царской площади (ныне Европейская), где под жужжание кинокамер открывает памятник деду, Александру II. Кулаковского на кинокадрах Владимира Добржанского можно рассмотреть среди толпы: заинтересованно, как все, он вглядывается в конопатое лицо царя.

Кинохроника священна уж тем, что показывает живьём людей, которые умерли или умрут. Старое кино показывает тех, кто помер очень давно, так, будто они живы.

Странно порой смотреть, как, скажем, на открытии паолотрубецковского памятника Александру III между ног кирасир и гренадёров затесался чёрненький щенок, и не знает, куда ему отбежать, чтобы грубые дядьки в начищенных сапогах не затоптали. Или вот детишки оборачиваются к кинокамере и замирают, будто перед фотоаппаратом. Ни этого щенка, ни этих детишек, ни их щенков и их детишек давно на свете нет, а вот в кадре сохранились: так выглядит анонимный человек — человек вообще, «совершенный никто, человек в плаще».



Киев. Николай II с дочерьми и свитой на Владимирской горке, 30.08.1911

Что Кулаковский попал в объектив Добржанского на Царской площади, конечно, случайность. Сколько таких случайных фотоснимков хранят чьи-то архивы, на которых запечатлены мы с вами. Птичка вылетает незначай; она вылетает и на нас.

Так Мандельштам в Париже будто бы случайно попал в кадр. Дело было 1.02.1908 возле собора Нотр-Дам на похоронах кардинала Франсуа Ришара, архиепископа Парижского. Похороны фотографировали; тогда любили фотографировать похороны и жмуриков. Потом напечатали открытку. Мандельштам её купил и отправил родителям:

«Дорогая мамочка! Посылаю тебе свою физиогномию, которая совершенно случайно запечатлелась на этом снимке. Можно сказать, что я обернулся нарочно, для того чтобы послать вам свой привет!.. *Ося*».

Сходство с Мандельштамом на открытке, пожалуй, условное, это, похоже, розыгрыш, но зато какова подоплёка случайности, без всяких художественных эффектов ставшей образом. Не претався тогда кардинал Ришар, не возмись парижане театрально его провожать, и образ не состоялся бы.

Гибель Петра Аркадьевича. Покушение на премьер-министра империи, статс-секретаря в Городской опере во время торжественного представления «Сказки о царе Салтане» несколько расшатало модель высочайшего визита. «Был тор-



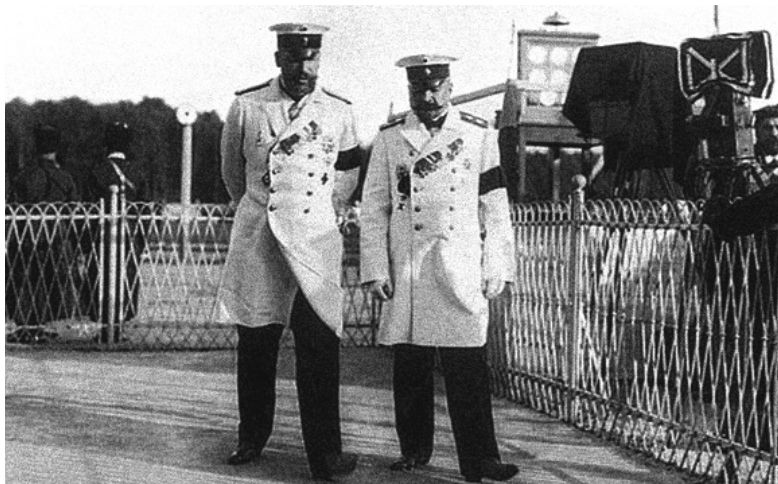
Париж. Похороны кардинала Франсуа Ришара, 1.02.1908

жественный спектакль в присутствии его величества и его августейших дочерей. На этом спектакле была масса знати, все министры», — писал граф Витте.

Лучшие бороды и лучшие лысины империи и Киева собрались на спектакль. В антракте после второго действия Столыпин с министром двора Фредериксом, военным министром Владимиром Сухомлиновым и обер-прокурором Синода Владимиром Саблером стоял у места № 5 первого ряда левой стороны партера, опёршись рукой о барьер оркестровой ямы. К нему на расстояние трёх шагов подошёл высокий молодой человек с зачёсанными ото лба волосами, во фраке и в очках, выхватил из кармана пистолет (браунинг № 2, калибр 7,65 мм, начальная скорость полёта пули 290 м/с) и дважды выстрелил.

Первая пуля ранила Петра Аркадьевича в кисть частично парализованной с молодых лет правой руки (результат дуэли), пробила барьер оркестровой ямы и попала (на излёте) в ногу музыканта Андрея Берглера. Вторая — в орден Св. Владимира, изменила направление, прошла через брюшную полость и застряла в мышцах правой части поясницы.

Первым к Столыпину бросился профессор Военно-медицинской академии Георгий Рейн, профессор детских болезней Киевского университета и Бактериологического института



Киев. П. А. Столыпин и военный министр В. А. Сухомлинов, 1.09.1911

(и председатель Киевского клуба русских националистов) Василий Чернов и доктор Вячеслав Афанасьев, который вызвал по телефону карету скорой помощи и хирургов. Столыпина в кресле вынесли в коридор для перевязки и отправили в клинику Игнатия Маковского (ныне улица Олесья Гончара, 33), куда он был доставлен (если верить газетам) через 22 минуты. Премьер был в сознании, но сильно страдал.

Декан Бубнов, почему-то не бывший в театре, а выдумавший какое-то «вечернее заседание совета» (на котором тогда должны были быть и другие профессора, включая Кулаковско-го с Флоринским), писал в книге «Сквозь череду потерь», что он проходил мимо театра и «увидел там необычайное движение и императорскую карету, мчавшуюся по Фундуклеевской по направлению к дворцу. Только на другой день я узнал, в чём дело». При всей апокрифичности этого мемуара (мчаться вниз по Фундуклеевской в карете — опасней для жизни, нежели сидеть в царской ложе; откуда известно, что «по направлению к дворцу»? почему только на следующий день: ведь киевские слухи распространяются молниеносно, тем более в толпе вблизи места событий) следует признать, что событие оказалось — из ряда вон: особенно для последующих судеб империи.

Вскрытие тела премьер-министра, почившего 5-го сентяб-

ря, произвёл профессор судебной медицины Университета Николая Оболонский, обнаруживший:

«вся печень оказалась раздробленной глубокими трещинами, радиально расходившимися во все стороны от пулевого канала. Пуля браунинга среднего калибра имела два перекрещивающихся надреза и действовала как разрывная. Разрывному действию пули способствовали и занесённые ею в рану частицы простреленного ордена [Св. Владимира]. Ранений крупных сосудов и кишечника не оказалось. Таким образом, вскрытие подтвердило прижизненный диагноз, но столь глубоких ранений печени не предполагалось. Ввиду найденных повреждений печени возможно допустить, что смертельная инфекция могла проникнуть не только через пулевой канал, но и из полости кишечника через вскрытые жёлчные пути».

Патолог отметил «склерозное состояние сердца и почек».

Покушение на Столыпина и его кончина не слишком помешали конструкции путешествия Николая II по Юго-Западному краю: пока врачи поддерживали Петра Аркадьевича камфарой, вином, чёрным кофе и бромом, государь съездил 3-го сентября в Овруч, где принял участие в освящении храма св. Василия работы академика архитектуры Щусева и сделал смотр потешным войскам. 4-го Столыпину стало хуже. 9-го в высочайшем присутствии его предали земле в Киево-Печерской лавре у стен Трапезной, вблизи могил Кочубея и Искры.

Академик Кондаков — Флоринскому из Ялты 5.09.1911, в день кончины Петра Аркадьевича:

«эту неделю у нас в доме была суматоха: женился наш старший сын Пётр и водворился у нас на жительство.

Кстати и у Вас было, вероятно, тоже беспокойно по случаю произошедшего. Вы, конечно, были на спектакле и, может быть, даже видели. Какое было впечатление, о том можно себе представить.

Неужели действительно, правда, что Богров был прикосновенен к охране?»

Кулаковский, как и другие профессора (Флоринский, Иконников, Сонни, Павлуцкий итд), мог быть в театре во время покушения, если пресловутый совет Бубновым выдуман. Прямых свидетельств, кроме кондаковского письма, отыскать не удалось, только — снова — Кулаковский среди скорбящих: в кадре выноса тела Петра Аркадьевича 9-го сентября, утром, из дверей клиники братьев Маковских на Маловладимирской.



Киев. Вынос гроба с телом П. А. Столыпина из Клиники Качковского, 9.09.1911

«Светлый праздник пребывания Вашего императорского величества с августейшим семейством в нашем славном старом Киеве, давно для нас желанный, ознаменовался радостным единением царя с народом. Но преступный злодей, покусившийся на дорогую для России жизнь Вашего верного слуги, омрачил нашу радость, и клики восторга сменились стонами ужаса, воплями горя и негодования. — Вознеся в нашем храме молитвы о здравии болящего, мы, профессора Императорского университета св. Владимира, повергаем к стопам Вашего императорского величества чувства нашей беззаветной любви и верноподданнической преданности».

Так 2-го сентября отреагировал Университет на покушение. Цытович 4-го сентября обращается к профессорам с письмом:

«Имею честь уведомить гг. профессоров Университета св. Владимира, что сегодня, 4-го сентября, государь император изволит принять в Императорском дворце членов Совета Университета св. Владимира в 3 часа дня. Вследствие этого покорнейше прошу нижепоименованных гг. профессоров прибыть во Дворец ко 2 1/2 часам дня в установленной форме. Вход по билетам, выданным для входа в Университет».

Была ли профессура во дворце, неизвестно, а вот планировавшееся посещение царём Университета не состоялось, — профессорский клюзет починяли впустую.

Профессорами Университета — Флоринским, Оболонским (делавшим вскрытие тела Столыпина), Сикорским, Павлуцким

и Кулаковским, — предполагалось преподнесение царю сочинений. Из газет известно, что один ректор Цытович «на высочайшем приёме в [Мариинском] дворце имел счастье всеподданнейше поднести государю императору» лишь свеженькое университетское издание «Юбилейные годы 1611–1613, 1711–1715 и 1806–1814», выпущенное Кульженко. Профессорские же труды 24.09.1911 были высланы отдельным пакетом в Ливадию, где Николай II привык проводить лето, на имя графа Фредерикса. Среди книжек Кулаковского в описи числятся: 1-е издание «Прошлого Тавриды» (1906), «Смерть и бессмертие в представлениях древних греков», три выпуска перевода «Истории» Аммиана Марцеллина. Царю «благоугодно было повелеть благодарить Вас (Цытовича. — А. П.) и профессоров за означенные подношения», — писал в ответном послании начальник канцелярии Министерства императорского двора генерал-лейтенант Александр Мосолов. Ректор сообщает об этом, среди прочих, Кулаковскому, «присовокупляя, что высочайшая благодарность отмечена в Вашем послужном списке».

Но тот же декан Бубнов пишет:

«Государь потом принял профессоров университета вместе с другими лицами в Киевском дворце. Это был единственный случай, когда мне пришлось не только близко видеть государя, но и отвечать на его вопросы. Он произвёл на меня большое впечатление. Особенно запомнились мне его добрые прекрасные глаза с несколько удивлённо-ироническим выражением».

Вот и верь после этого газетным сообщениям и «мемуарам очевидцев»: всё нечётко, обманчиво, двусмысленно. А мы ещё удивляемся: природа исторического фейка неизведанна.

Почему именно эти книги Кулаковский решил поднести царю? Ведь в сентябре исполнилось полгода, как вышел первый том «Истории Византии». Вероятнее всего, Кулаковский предполагал в будущем презентовать полный комплект «Истории...», а не ограничиваться первым томом. Он отобрал книжки, которые могли привлечь внимание императора, во-первых, внешне, во-вторых, — содержательно. Книга об истории Таврики — будто шар в лузу: император не только увлекался фотографированием крымских пейзажей и ливадийских закатов, но и любил Крым. Летом 1911-го он с августейшим семейством впервые провёл несколько месяцев в Белом дворце, только что

построенном в Ливадии по проекту архитектора высочайшего двора академика архитектуры Николая Краснова.

«Serta Borysthenica». 1911-й год ознаменован выходом юбилейного сборника в честь тридцатилетия научно-педагогической деятельности Кулаковского, исполнившегося 1.07.1906. Хлопоты по подготовке издания взял на себя Дашкевич, который из-за долгой болезни и смерти († 20.01.1908) не успел довести дело до типографии.

Содержание «Serta Borysthenica» («Днепровское ожерелье»), тиснутого в киевской литографии Тимофея Григорьевича Мейнандера, свидетельствует об оценке коллегами места, занимаемого Кулаковским в русской историко-филологической и археологической науке. Авторы — друзья, коллеги, ученики, которые хорошо к нему относились: Павел Ардашев, Борис Варнеке, Василий Данилевич, Николай Дашкевич, Алексей Дмитриевский, Фаддей Зелинский, Григорий Зенгер, Иван Каманин, Витольд Клиндер, Фёдор Корш, Иосиф Лециус, Андрей Лобода, Александр Лукьяненко, Михаил Маляренко, Григорий Павлуцкий, Синодий Пападимитриу, Алексей Соболевский и его брат Сергей Соболевский, Тимофей Флоринский, Иван Шаровольский и Сергей Шестаков.

Правда, с Александром Лукьяненко (1879–1974) связана не особо пафосная история. Зинаида Тулуб вспоминала, что Лукьяненко был учеником Флоринского,

«много лет подлизывался он к нашему “Одуванчику”, пока был студентом и магистрантом, а когда получил приват-доцентуру, Флоринский так ослабел и одряхлел, что много читать не мог — Лукьяненко ловко подставил ему ножку, и под видом помощи старику отнял у него и те лекции, которые он (хоть и с трудом), но всё же мог читать нам раза два-три в неделю». И ещё:

«Во втором семестре читали нам на смену законченного курса сербской литературы — чешскую литературу. К сожалению, читал её не Флоринский, а Лукьяненко, умевший засушить самые лучшие перлы художественного творчества своим казённым языком, штампованными оборотами и сухим перечнем фактов, дат, имён и заглавий».

Не правда ли, чётко прописано? Как же ещё без тревожных прожить до 95 лет?

«Посвятив себя всецело служению науке и университету, Юлиан Андреевич снискал глубокое уважение многочисленными трудами в об-



Serta Borysthenica.



СБОРНИКЪ

ВЪ МЕСТЬ

ЗАСЛУЖЕННАГО ПРОФЕССОРА

Императорскаго Университета св. Владимира

Юліана Андреевича

КУЛАКОВСКАГО.



Обложка сборника «Serta Borysthenica», типография Тимофея Мейнандера, 1911

ласти истории и археологии и плодотворной работой на преподавательском поприще. В ознаменование упомянутого тридцатилетия друзья, товарищи и ученики юбиляра решили составить сборник, украшенный его именем. К сожалению, печатание растянулось на несколько лет; главной причиной тому была смерть академика Н. П. Дашкевича: инициатор издания, воодушевлявший всех участников, он не успел довести его до конца. Выпуская в свет настоящую книгу, составители счастливы, что могут, наконец, представить почтенному учёному скромное доказательство тех чувств глубокого уважения и признательности, которыми они вдохновлялись при осуществлении своего намерения», —

сказано во вступительном слове, написанном, судя по стилистике, Тимофеем Флоринским.

На сборник последовала благожелательная рецензия одного из его авторов, Бориса Варнеке, начинавшаяся словами:

«Среди профессоров Университета св. Владимира за последние годы установился весьма почтенный обычай чествовать юбилеи своих именитых сотоварищей изданием особых сборников посвящённых им статей. Так, за это последнее десятилетие появились в Киеве сборники в честь Н. П. Дашкевича, М. Ф. Владимирского-Буданова, Т. Д. Флоринского. Подготавливался сборник в честь почившего историка В. Б. Антоновича. Такой же способ чествования был избран и по случаю исполнившегося 1-го июля 1906 г. тридцатилетия учёной и преподавательской деятельности заслуженного ординарного профессора по кафедре классической филологии Ю. А. Кулаковского, причём все труды по привлечению участников и редактированию сборника принял на себя проф. Н. П. Дашкевич, но продолжительная болезнь, а затем и кончина помешали ему довести это издание до благополучного конца, почему печатание сборника затянулось на целых пять лет. Но эти задержки нисколько не отразились на внешности издания, выполненного чрезвычайно изящно и украшенного прекрасным портретом юбиляра» (ЖМНП, 1911, окт.).

Этот действительно удачный, литографированным способом напечатанный портрет с «встопорщенным сизеющей жёсткой остью воротником» (Кржижановский) — лучшая из его фотографий, но не самая характерная. Жаль, не очевиден выразительный римский профиль — отсутствие переносицы: лоб без паузы утончается, стекает в планшетку носа, который — наиболее масштабно примечательная деталь физиономии Кулаковского. Такой нос у Бога нужно ещё заслужить.

Степан Голубев, не успев со статьёй в «*Serta Borysthenica*»,

выразил почтение к юбилею, посвятив ему брошюру в 32 страницы «Спорные вопросы о древней топографии Киева» (Киев, 1910) с надписью: «*Посвящается глубокоуважаемому Юлиану Андреевичу Кулаковскому (как небольшой придаток к его юбилейному венку)*». Дата выхода брошюры позволяет предположить, что сборник «*Serta Borysthenica*» явился на свет в конце 1910 года, и лишь датирован 1911-м. Тогда так часто делали.

Съезд преподавателей древних языков. С 28-го по 31-е декабря 1911 года Кулаковский командирован в Санкт-Петербург на съезд преподавателей древних языков. Он двинулся в компании Сонни и Лециуса.

О Лециусе Полонская-Василенко вспоминала, что это был крепкий, бодрый прибалтиец (эстонец или латыш), всю зиму ходивший в летнем пальто, любил рассказывать, как он делает гимнастику, и вообще увлекался спортом. Как декан историко-филологического факультета ВЖК он был аккуратный, пунктуально-педантичный, внимательный.

«Он преподавал у нас латинский язык, преподавал хорошо, живо, чётко. Он подчёркивал, что букву “С” римляне произносили не как “Ц”, но как “К”, и настаивал на таком произношении (свидетелей произношения не осталось, вот и приходится доверяться реконструкциям. — А. П.). Русский язык знал плохо, и его переводы были мёртвыми и сухими».

О Сонни Полонская лишь и вспомнила, что *читал он сонно*. А Зинаида Тулуб добавила, что она удачно для зрительниц копировала, как «Сонни становится спиной к аудитории, чтоб скрыть слёзы, выступившие на глазах, при рассказе о горестях царя Адмета и жены его Алкестиды», о Лециусе — что у них на курсе очень любили его как человека отзывчивого, доступного, даже простецкого, скорее напоминавшего провинциального учителя, нежели профессора.

«Он много помогал нуждающимся курсисткам, добываясь их освобождения от платы за право учения, рекомендовал их своим многочисленным знакомым как учительниц и репетиторов отстающих ребят и — говорят — даже сам вносил за некоторых плату из своего профессорского жалованья».

В резолюции съезда, председателем которого единогласно бы избран академик Латышев, написано, что реформа средней школы 1901 года,

«устранившая греческий язык как обязательный предмет из преподава-



Владимир Куракович.

ния в гимназиях, не только понизила до ужасающих размеров познания учащихся по древним языкам (что удостоверяется единодушными заявлениями преподавателей как средней, так и высшей школы), но в то же время несколько не повысила успешности по остальным предметам преподавания, а напротив, уменьшила работоспособность учащихся, развила дилетантизм и верхоглядство».

Делегаты во главе с Латышевым были совершенно убеждены в необходимости преподавания греческого и латинского языков в гимназиях, без чего невозможно повышение общего культурного уровня в обществе: отрыв от земли не в последнюю очередь обеспечивается классическим образованием. Но не для всех, не всегда: рождённому летать ползать тяжело, зато рождённому ползать летать ещё тяжелей. Не про всех писаны Вергилий с Гомером.

Чехов в «Моей жизни» (1896) устами доктора:

«Культурная жизнь у нас ещё не начиналась. Та же дикость, то же сплошное хамство, то же ничтожество, что и пятьсот лет назад. Течения, веяния, но ведь всё это мелко, мизерабельно, притянута к пошлым, грошовым интересикам — и неужели в них можно видеть что-нибудь серьёзное? Если вам покажется, что вы подметили глубокое общественное течение и, следуя за ним, вы посвятите вашу жизнь таким задачам в современном вкусе, как освобождение насекомых от рабства или воздержание от говяжьих котлет, то — поздравляю вас, сударыня. Учиться нам нужно, учиться и учиться, а с глубокими общественными течениями погодим: мы ещё не доросли до них и, по совести, ничего в них не понимаем».

Будто нынче писано.

Отрицательную оценку проводимого министерством курса на сворачивание классического образования (и вправду: зачем *народному* просвещению *классическое* образование?) показывает латышевская записка, относящаяся к 1907 или 1911 годам, по вопросу о «проектируемом МНП восстановлении русского института при Лейпцигском университете для подготовки преподавателей древних языков и истории для русской средней школы». Тот же Латышев категорически отвергал необходимость возрождения института в Лейпциге (существовал в 1873–1890 годах), сетуя на малую эффективность в деле подготовки российских национальных кадров «греков» и «латинистов» и отсутствие подготовленных слушателей среди юношества.

«Наша изуродованная средняя школа теперь совершенно не может

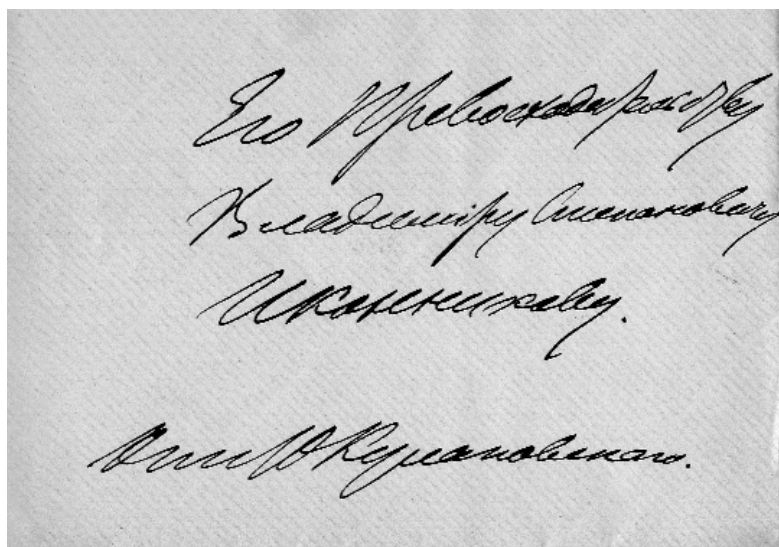
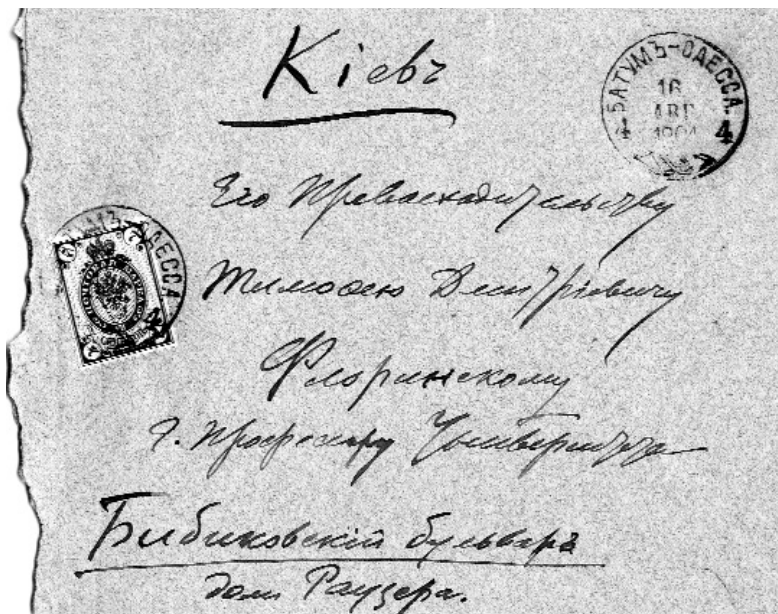


*Иосиф-Эрнест Андреевич
Лециус*

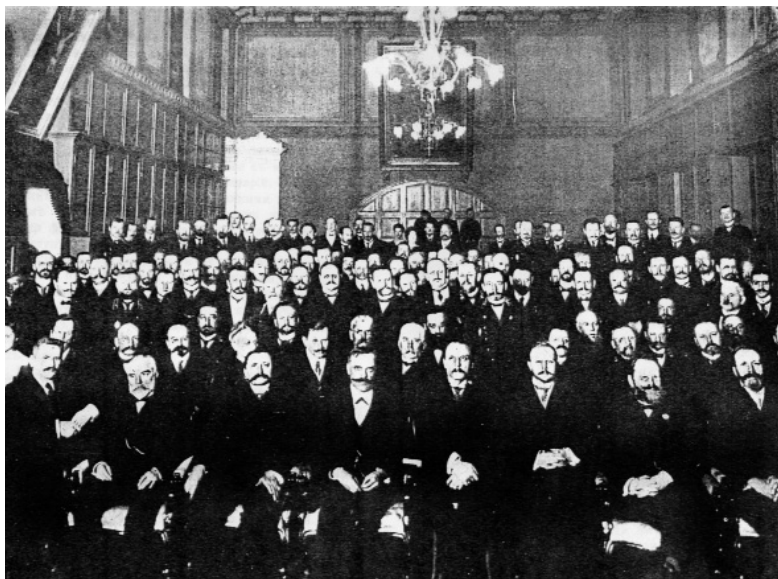
давать таких кандидатов, так как выпускаемые ею молодые люди: 1) в громадном большинстве не знают немецкого языка настолько, чтобы самим следить за читаемыми по-немецки университетскими курсами, и 2) совершенно не знают греческого языка. Для них бы пришлось устраивать особые элементарные курсы по обоим языкам..., но <...> опыт устройства элементарных курсов греческого языка при историко-филологических факультетах наших университетов уже ясно показал, что они не достигают своей цели, так как выпускаемые университетами “филологи” совершенно не знают греческого языка».

По убеждению Латышева, разумнее всего было бы просто расширить набор слушателей в существующих историко-филологических институтах, один из которых возглавлял он сам.

Кулаковский выступал на съезде, говоря с трибуны, а сте-



Автографы Юлиана Кулаковскаго: конверты от писем Тимофею Флоринскому (1904) и Владимиру Иконникову (1886)



*С.-Петербург. Делегаты Съезда преподавателей древних языков, 31.12.1911,
в первом ряду четвертый слева Иосиф Лециус, во втором ряду третий слева
Юлиан Кулаковский, четвертый — Адольф Сонни*

нографистка фиксировала. Это единственная обнаруженная мной стенограмма его разговорной речи, по-видимому, лишь слегка адаптированной к печати.

Он выступал после Лециуса, который прочитал доклад (реферат) «О переводах с древних языков на родной и наоборот» (то есть, экстемпоралиях), завершившийся разумным призывом — в правильной риторике Столыпина:

«Скачками, крутыми переворотами и смелыми прыжками в бездну мы ничего плодотворного не создадим, а лишь постепенным развитием, улучшением и усовершенствованием того, что было создано нашими отцами. Ни одно поколение не освобождено от обязанности шевелить мозгами, оно не должно думать, что вся мыслительная работа уже сделана прежними поколениями, оно всегда должно думать о дальнейшем развитии того <...> Но при этой созидательной работе всегда нужно исходить из того, что есть, а не задаваться радикальной переоценкой всех ценностей в угоду какой-нибудь соблазнительной теории. Такая переоценка ценностей, жертвою которой стала русская классическая гимназия десять

лет назад, ни в одной отрасли человеческой и общественной жизни ни к чему плодотворному не привела, а уже менее всего в той области, которой посвящена наша работа, в области школы, в области дидактики и педагогики. Надеюсь, что все члены съезда как представители не какого-нибудь догматического, а исторического образа мышления, со мною хоть в этом отношении согласятся».

Кулаковский — почти «перевод с латыни»:

«Первый опыт всероссийского съезда филологов не может идти, конечно, так гладко, как в странах, где есть уже прошлое в этом смысле. Я вижу, что мы одушевлены самыми лучшими надеждами, что многие принесли сюда свои глубоко обдуманые, выстраданные мысли, многие выработали свои методы и хотели бы их распространить, утвердить, показать свой живой интерес к делу. Если наши преподаватели так настроены и имеют столько методов, которые хотят нам сообщить, то, казалось бы, наша школа должна идти блестяще и давать прекрасные результаты. Однако с этой же кафедры мы слышали в речах отзвуки самого тяжёлого настроения. Сегодня был предложен новый реферат, который вызвал такие же печальные разговоры.

Таким образом, во мне всё больше разрастается сомнение, можем ли мы здесь водворить, действительно, какую-нибудь ясность, единство, когда у всякого свои мысли, свои наболевшие заботы и разнообразная, обусловленная его жизненным положением критика существующего порядка?

В таком собрании очень трудно достигнуть единства настроения. Но ведь мы собрались для практических целей. Наш председатель в своей речи объяснил цели этого съезда и указал на чрезвычайную важность разрешения практических вопросов.

Как-никак, мы стоим перед реформой школы. И вот, нам надо высказать свою принципиальную точку зрения в этом деле, которое разрешат законодательные учреждения. Поэтому я чрезвычайно боюсь всех этих новых предложений, новых методов и соображений, как лучше научить склонениям и т. д.

Разумеется, всякий может иметь свои мысли в этом отношении, но всё дело в том, что здесь высказал Сергей Жебелёв: не в реалиях, не в литературе, не в искусстве дело, а в том, чтобы гимназия давала знание языка. Вот в этом смысле надо смотреть на нашу задачу, и я желал бы остаться на этой почве.

Я позволю себе, господа, вернуть вас к реальной действительности.

Мы слышали о страшном кризисе, о происшедшем в 1901 году раз-

громе школы, в основе которого лежало позорное для русского просвещения недоразумение... (*рукоплекания*). В министерских бумагах по поводу отдельных предметов или планов преподавания в отдельных классах высказаны были мотивы и мысли, свидетельствовавшие о полном отсутствии реального представления о том, что такое школа, у лиц, которые держали в ту пору в своих руках бразды правления в сфере административно-учебной. Г. Мещанинов потом написал в “Историческом вестнике” статью в оправдание этого крушения школы. У него всё выходит как будто и гладко, и ясно, но принципы, которыми он руководствовался, до такой степени неприложимы к школьному делу, что внесли в него только путаницу и внутренне обессилили.

Господа, по моему мнению, мы должны здесь обсудить реальные вопросы и постановить резолюции, которые заключали бы в себе не критику, а принципы, — в чём именно наше разногласие с существующим порядком?

Первый ложный принцип, который внесён был в реформу 1901 года, состоял в том, что идеал гимназического среднего образования должен, будто бы, стоять в связи с народным образованием. Мы должны ясно сказать, что это было коренным недоразумением, рушившим идеал среднего образования. Средняя школа имеет над собой высшее образование, органически с нею связанное, и должна достигать своих определённых результатов и целей. Мы должны заявить, что мы не признаём возможности смешения этих двух типов школ и считаем нужным освежить гимназическую программу, исходя их принципов образовательных и сознания того, какой предмет для какой цели в школьную постановку входит и какого определённого места заслуживает, а не исходить из соображений о том, как бы дать ученику городской школы возможность перескочить в гимназию. Например, для чего введена в первом и втором классе русская история? Потому что она изучается в городских училищах!..

В виду истечения срока прибавлю только, что, доверяя вполне искренности всех тех, кто говорил с этой кафедры, и желая им успеха в их личных начинаниях, я всё-таки думаю, что мы гораздо больше сделали бы, если бы остановились только на принципах и свели наши резолюции к указанию нашего принципиального разногласия с существующим порядком в нашей школе, а также к некоторым общим пожеланиям, которые должны определяться уважением нашим к отдельным предметам гимназического курса. Рассуждения же о том, как обновить преподавание древних языков, — это бесконечный вопрос, где всякий имеет свои взгляды. Лучше ли тот метод, который предлагает Иосиф Андреевич Лециус, или другие методы, — это тоже бесконечный вопрос. Важно осве-

тить вопрос теоретически, — важно это для самого существования нашего факультета.

Выражение принципиального нашего взгляда на дело может принести пользу в смысле воздействия на будущий строй школы, который Министерство, конечно, должно в скором времени провести через законодательные учреждения. Я хотел бы видеть больше практического духа в наших решениях, а не критику или изобретения».

Латышев как председатель комментировал:

«То, что мы только что слышали от профессоров Лециуса и Кулаковского, заключается не столько в детальной критике докладов, сколько в новых и в высшей степени интересных мыслях, которые должны быть предметом особых докладов. Поэтому, если мы не желаем расплыться и потерять всякую возможность поставить строго определённые и обдуманные положения, я очень просил бы держаться в пределах рефератов, давая к ним дополнения или делая возражения».

Кулаковскому было чем возмущаться. И вправду, если городские школы, близкие к реальным училищам, развивали в учащихся ремесленные способности и чуть-чуть мозги, — гимназии развивали только мозги, и смешивать эти виды деятельности — в видах получения высшего образования выпускниками гимназий — недалековидно. Было ошибкой уравнение в умственных правах выпускников гимназий и выпускников реальных училищ за счёт понижения уровня гимназического образования. Нужно было не понижать гимназию до уровня реального училища, а рассматривать её как отдельный организм — трамплин к получению высшего гуманитарного образования. Правительство буквально «отдало фраки косцам» — ученикам реальных училищ, готовившихся к высшему техническому образованию, тем снизив уровень гимназиальный. И Кулаковскому, радевшему о гимназии и классической филологии, конечно, было обидно. За державу обидно.

А propos, Варнеке в мемуарах «Старые филологи» не без ехидства (и зависти?) вспоминает, что Зелинский пригласил его, Сонни и Лециуса на обед, причём

«я заметил, что Сонни чем-то становился особенно смущён, когда в комнату входила с блюдами пышногрудая блондинка-горничная. Прямо из-за стола мы с ним отправились на вокзал, и в вагоне он возмущённо рассказывал, в чём дело. Старый друг семьи Зелинских, он перед обедом прошёл в комнату дочерей поболтать, а потом, что-то вспомнив, вернулся к нему

Г. Декану историко-филологического факультета
ИМПЕРАТОРСКАГО Университета Св. Владимира.

Студента 3 семестра

(Фамилия)

(Имя, отчество)

Кулаковского
Сергия
Ивановича

Специалиста по

русской филологии

Прошение

Выслушав у профессора Университета Св. Владимира
Ю. А. Кулаковского полный курс истории римской
литературы
въ чтеніи осенняго ~~и весенняго~~ семестра, 1912 год по 4
часовъ въ недѣлю, прошу допустить меня къ экзамену по упомяну-
тому выше предмету въ декабрь мѣсяцъ 1912 года.

Симъ удостоверяю, что по день экзамена за мною не числятся
никакихъ недоимокъ по уплатѣ за право ученія и гонорара.

Подпись студента:

Сергий² Кулаковский

Отмѣтка на экзаменѣ: весьма удовлетв.

Подпись экзаменатора

В. Кулаков

1912 года 7 декабря 12 дня.

Прошение студента второго курса С. Ю. Кулаковского о допуске к сдаче экзамена
по истории римской литературы профессору Ю. А. Кулаковскому, 12.12.1912.

Оценка: «весьма удовлетворительно»

в кабинет, где застал на тахте лежащей эту самую блондинку, под платьем у которой рука хозяина гуляла по местам самого заповедного свойства. Он потихоньку убрался опять к дочерям, не желая нарушать досуги хозяина».

Фаддей Францевич, которого называли «возвышенным Зигфридом», был специалистом не только по истории античной культуры, но и по дамской части, тратя на «васильковые затеи» немалые гонорары: хватало и на семью, и на барышень, и на внебрачных детей (одним из которых получился, например, гениальный Адриан Пиотровский). И если бы не гордо несомое им знамя «морального совершенства», вкупе с личным поведением реявшее над двуличностью и нравственной фальшью великого филолога-классика, люди, отнюдь не относившие себя к ханжам, не столь иронично чурались бы его чудачеств.

Съезд длился четыре дня, новый год Кулаковский встретил в семье брата, и в начале января 1912-го вернулся в Киев.

Классическая филология и её обитатели в 1912-м.

В отчёте о деятельности Университета за 1912-й год находим сведения о состоянии преподавания классической филологии:

«По кафедре классической филологии преподавание было обеспечено штатным профессором *А. И. Сонни* (греческая словесность) и внештатным профессором *Ю. А. Кулаковским* и приват-доцентами: *В. И. Петром* и *А. О. Постшишлем* (римская словесность), получавшими вознаграждение по 1200 руб. в год из сумм Министерства народного просвещения, и приват-доцентом *В. П. Клингером* (греческая словесность), получавшим такое же вознаграждение из остатков [от сумм] от личного состава университета».

Следует полагать, такой состав кафедры, состоявшей преимущественно из «почасовиков», держался на протяжении всех 1910-х. Стоит также добавить, что Сонни на Высших женских курсах, не в пример иным профессорам, читал в дополнение к древнегреческой и латинской словесности историю итальянского эпоса эпохи Возрождения: разбирал поэмы Луиджи Пульчи («Морганте»), Бернардо и Торквато Тассо («Амадис» и «Освобождённый Иерусалим»). Чуть раньше, в 1909/1910 учебном году Адольф Израилевич рассказывал курсисткам о творчестве Гёте: лекции выпущены литографским способом в 1910-м иждивением слушательниц.

Итак, в осеннем полугодии 1911-го Кулаковский читал курс лекций по Тацитовым «Анналам» (4 часа в неделю) — предмет, обязательный для студентов всех отделений и специ-



Алексей Осипович Постшиль

альностей, в осеннем полугодии 1912-го — курс истории римских древностей (4 часа) и — для младших студентов классического отделения — спецкурс по интерпретации речи Цицерона «Pro Milone» с переводом с русского на латынь (по 2 часа).

Весной 1914 года исполняет обязанности декана историко-филологического факультета (деканом был тогда Бубнов), в осеннем полугодии читает историю римской литературы (4 часа), весной 1915-го — историю римских древностей, осенью 1915-го — вновь «Анналы» Тацита (в Саратове), весной 1916-го — историю Византии (4 часа).

Летом 1916-го были увеличены штатные оклады профессоров и преподавателей. Согласно закону «О временном улучшении материального положения профессоров Императорских российских университетов и Демидовского юридического лицея, а также доцентов Императорских Варшавского и Юрьевского университетов и названного лицея и об изменении некоторых постановлений Устава Императорских российских университетов» (одобрен Госдумой и утверждён государем 3.07.1916) новые оклады выглядели так: ординарный профессор — 4500 рублей, экстраординарный профессор — 3000 рублей, доцент (в Варшавском и Юрьевском университетах) — 2400 рублей, лектор — 1500 рублей. Кроме того, новые оклады

предусматривали две прибавки: по выслуге пяти и десяти лет — по 750, 500, 350 и 250 рублей соответственно для профессоров, доцентов и лекторов. Закон отменял установленную ст. 529 Устава '1884 года особую плату (гонорары) со студентов и посторонних слушателей в пользу преподавателей, лекции и руководство которых студенты считали приемлемыми. Впрочем, сделанные повышения едва ли могли покрыть все расходы, которые росли вследствие военной инфляции. К тому же, он вступал в силу с 01.01.1917, и через два месяца — с отречением — вообще потерял смысл: не зря в заглавии закона было словосочетание «временное улучшение» — исключение из правила, что нет ничего более постоянного, чем временное: оказалось, есть.

В 1910-х Кулаковский состоит членом Библиотечной комиссии, работавшей под председательством Флоринского, редакционного комитета «Университетских известий», заведующим Музеем древностей при Университете.

Полонская-Василенко писала, что в 1917-м году она начала читать курс археологии, и была назначена помощницей Кулаковского по музею.

«В последние годы фактически заведовал музеем П. П. Смирнов, теперь на его место была назначена я. Это была для меня большая радость, я всё свободное время проводила в музее: помимо богатой коллекции там была прекрасная библиотека. Всё было запущено, а главным образом во время эвакуации в Саратов многие вещи утратили свои этикетки, надо было их обновлять, искать в каталоге».

С 20-го августа по 5-е сентября 1912 года Кулаковский командирован в Лейден для участия в работе IV Международного конгресса историков в качестве делегата от России. Об этой поездке подробности разузнать не удалось.

1-го января 1913-го он жалуется орденом Св. Станислава 1-й степени и вносит в Капитул орденов 120 рублей. Хорошая эмалевая ювелирка + звезда. Такая же, как и светло-бронзовая медаль в память 300-летия Дома Романовых, вручённая ему в июне 1913-го.

Трёхсотлетие. Киев 1913-го — будто Рим: сплошные зрелища, приуроченные к повсеместному празднованию Трёхсотлетия Дома Романовых.

С конца мая — Всероссийская сельскохозяйственная, фабрично-заводская, торгово-промышленная и научно-художест-



*Александра Фёдоровна, Николай II и цесаревич Алексей Николаевич
(на руках дядьки Андрея Деревенко) в Кремле на торжествах
Трёхсотлетия Дома Романовых, лето 1913 года*

венная выставка цесаревича Алексея: на плато Троицкой площади у Черепановой горы (ныне здесь Олимпийский стадион). Громадѣ разностильных павильонов, затейливость планировки, свой трамвайчик и множество публики из разных городов. От дома Кулаковского до входа на выставку десять–двенадцать минут ходу, по Большой Васильковской, с горки.

Наблюдательный «Киевлянин» удивлялся:

«Видевший место выставки два-три года назад теперь не узнавал его и невольно поражался тем, что могут сделать человек и капитал. Запущенный, грязный пустырь эти два современных двигателя культуры переродили».

В конце августа 1913-го вместе с сыновьями Кулаковский зрителствует на Первой Всероссийской спортивной олимпиаде, для которой в 1912-м был сооружѣн первый стационарный стадион, получивший название «Спортивное поле»: на специальной возвышенности была установлена ложа для сановников; места для зрителей оценивали по тому, насколько далеко они были от ложи, и начинались от 5 рублей вплоть до 75 копеек за место. Наверняка катались на трамвайчике.

Вообще, 1913 год был урожайным на события и до извест-



*Киев. Главный вход на Всероссийскую выставку цесаревича Алексея,
Большая Васильковская, лето 1913 года*

ной степени переломным. Не только начиналась четвёртая сотня лет царствующего Дома, это внешнее.

Алексей Кручёных придумал ритм «дыр бул щыл», вышли «Петербург» Андрея Белого, первый «Камень» Мандельштама, «В сторону Свана» Марселя Пруста и «Алкоголи» Аполлинера, «Тотем и табу» доктора Фрейда и балет «Весна священная» Стравинского; на парижских экранах впервые появился Фантомас, Нильс Бор сформулировал квантовые постулаты, Бернард Шоу сочинил «Пигмалиона», Иван Мозжухин сыграл в «Домике в Коломне», Пастернак тиснул «Близнеца в тучах», Владимир Маяковский прогремел одноимённой трагедией. «Победа над солнцем» и «Чёрный квадрат» Малевича в декабре 1913-го прокричали: искусство больше не дырка в стене, оно — самостоятельно, не репродуктивно, требует ума, а не ремесленных навыков накладки красочного слоя на холст. Это подтвердили «Скандалный концерт» Арнольда Шёнберга, внедрение нержавеющей стали, оправдание Менахема Менделя Бейлиса (28.10.1913) и «Идеи к чистой феноменологии» Эдмунда Гуссерля.

Первые сигареты (не папиросы) в настоящей пачке «с верблюдом» на титуле, открытие Панамского канала и Северной



*Киев. Всероссийская выставка цесаревича Алексея и её задворки,
Троицкая площадь, лето 1913 года*

Земли, появление операторской тележки, застёжки-молнии, туши для ресниц и бюстгальтера («За какие-то тридцать рублей, / За обещанный лифчик жене / Поплатился ты жизнью своей, / Неподвижный лежишь на спине», — сказал тогда поэт), детских стишков Саши Чёрного «Тук-тук!» на фоне опереточно-архаического Трёхсотлетия выглядят авангардом, изготовкой в будущее, всевропейской вспышкой надежд на цивилизационное и культурное обновление. — Надежд утопичных, как всё намеренно культурное, возделывательное, «потому что, когда человек [действительно] свободен, то ему ничего, ничего, ничего не нужно» (Чехов).

Кулаковский, — для которого авангард едва ли был формой бытийного существования, скорее был «бр-р-р», — вторым изданием выпускает первый том «Истории Византии».

Алексей Соболевский написал ему:

«Радуюсь, что “История Византии” живёт. Второе издание — уже реклама такой серьёзной книги».

Это был последний предвоенный год, последний мирный год Российской империи.

Как бы предчувствуя, что всё в стране придёт вскоре в негодность, Кулаковский начинает обращаться к старым рабо-

там, переделывая и дополняя их. Он понимал, что «ни одной минуты времени нельзя купить за наличные; если б было можно, богачи жили бы дольше других» (О. Генри), и потому старался остаться так, как хотелось бы, а не так, как получилось соспеху, в молодости.

Второе «Прошлое Тавриды». Весной 1914 года появляется второе издание «Прошлого Тавриды», предисловие к которому датировано 24-м марта.

Алексей Башкиров (1885–1963) в рецензии:

«Очерк, предназначенный для ознакомления широкой публики с историческими судьбами Тавриды, превосходно выполнил своё назначение, и едва ли кто из интересующихся прошлым Тавриды минует этот содержательный очерк, полный сжатыми историческими фактами из жизни очень многих разноплеменных, разнокультурных, разнохарактерных народов <...> Только бесстрастная история с высоты своего величия холодно завершает оценку событий, не слыша при этом ни стонов тысяч раненых, ни клича победителей, ни скрежета зубовного побеждённых. В “Прошлом Тавриды” искусная рука историка нанизала на полутора страницах не только события Тавриды, близкие к мировой истории, но и местные, подчас, кажется, незначительные, но в корне своём глубоко вытесняющие из общей жизни и характеризующие её. Читая книгу Ю. А. Кулаковского, чувствуешь, что она написана человеком, убеждённым в достоверности каждого утверждаемого им факта с предварительным строго критическим отношением к нему <...> Очерк пока является незаменимым руководством для начинающих интересоваться прошлым Крыма <...> пожелаем, чтобы второе издание “Прошлого Тавриды” как можно скорее разошлось и создало бы потребность, если она уже не созрела, в более обстоятельном и точном очерке по истории не только Крыма, но и по истории всего Юга России».

Наверняка эта восхищённая рецензия в ЖМНП (1915, февраль) — своего рода компенсация ранений, нанесённых рецензентами «Истории Византии». Но эту книжку в большевицкое время постигла та же участь, что и книгу «К вопросу о начале Рима» и даже «Историю Византии», — лишь в последние десятилетия их переиздали в Киеве, Москве, С.-Петербурге.

Хотя ещё в 1907-м, откликаясь в «Byzantinische Zeitschrift» на первое издание «Прошлого Тавриды», знаменитый Карл Крумбахер утверждал, что

«в красиво оформленном томике автор приводит краткий отчёт об истории Крымского полуострова, основанный на многолетнем специфичес-

ИМПЕРАТОРСКАЯ Археологическая Коммиссія.

Юлианъ Кулаковскій,

профессоръ ИМПЕРАТОРСКАГО Университета св. Владимира, членъ совѣта
штата ИМПЕРАТОРСКОЙ Археологической Коммисіи.

Прошлое Тавриды.

КРАТКІЙ ИСТОРИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

съ 3-ми картами, 7-ю рисунками на табличкахъ и 10-ю въ текстѣ.

Изданіе второе, пересмотрѣнное.

ТИПО-ПОЛИГРАФИЯ „С. В. КУЛАКОВСКІИ“, ПЕТЕРБ.
1914.

*Титульный лист второго издания
«Прошлого Тавриды», 1914*

ком сожительстве, в котором причудливо скрестились судьбы греков, римлян, византийцев, готов, хазар, итальянцев, татар и русских. Книга заслуживает перевода на западноевропейский язык».

«Прошлое Тавриды» нельзя было не знать тем, кто занимался историей Крыма. Когда подписывали к печати монографию «Архитектура Крыма» Юрия Асеева и Георгия Лебедева (Киев, 1961), научный её редактор Михаил Цапенко, эрудит и циник (сначала громивший «безродных космополитов», а затем истово изучавший архитектуру эпохи барокко и украинский архитектурный модерн), вписал в библиографию очерк Кулаковского — вписал не по правилам оформления остальных позиций. Да так, «неканонически» её и набрал наборщик книжно-журнальной фабрики Главполиграфиздата на улице Воровского, 24 (кстати сказать, добрая была гуральня). Фамилии других авторов набраны вразрядку, а «Кулаковскій Ю.» — нет; названия иных изданий без кавычек, а «Прошлое Тавриды» в кавычках, будто «якобы прошлое Тавриды». Но это мелочи: в научно глухих 1960-х книгу Кулаковского всё-таки те, кому положено, худо-бедно знали, ценили и «скрыто» цитировали.

Воззрения. Всякий думающий имеет систему общественных воззрений, выпестованную средой, в которой обретается чаще, — семьёй, в которой растёт.

Политические взгляды значимых людей — материя тонкая, касаться её походя не только некорректно, но и, по правде, едва ли стоит.

Сергей Аверинцев в интервью 1998 года говорил:

«Когда сегодня иные пишут о мерзости власти и прочее, то я думаю: человек, который это пишет, он что, не понимает, что только уже потому, что он может всё это написать и напечатать, ему, быть может, и не стоило бы этого писать?»

Особенно в случае, когда на научных трудах политические взгляды автора отражаются не особенно.

Что Александр Грушевой вслед за Александром Васильевым находит странным пристрастное благоволение Кулаковского к деятельности византийских императоров Феодосия II и Анастасия и высокую оценку их монаршей деятельности, странным отнюдь не кажется.

Конечно, идеология литературного произведения порой может ничего не сказать об идеологии его автора, но в историческом труде дело обстоит сложнее.

Томас Карлейль полагал, быть может, излишне пессимистично, что

«качество, которое делает людей свободными в несвободном мире, — способность повиняться. В нём постепенно исчезает рабское послушание одного человека другому.

Остаётся лишь рабское подчинение своим желаниям, причём наиболее греховным, которые неизбежно сменит скорбь».

Мне неведомо более греховное желание, нежели занятие наукой: оно питается отчаяньем — во времени, в собственных силах и власти над собой.

Ferae naturae, дикие звери воображения, страшнее всех прочих, тоже диких. Потому, однажды подчинившись и привыкнув, учёному трудно оставаться свободным *по-другому*.

Кулаковский выбрал, по его мнению, правильный путь сделаться свободным человеком: подчинился имперской идее и, подчинившись, пестовал её в себе и, конечно, в своих трудах. История это не короткое, — длинное замыкание событий на себя.

Так, правления Феодосия II и Анастасия были долгими

(Феодосий II правил с 408 по 450 год, Анастасий — с 491 по 518-й) и — что важнее — относительно мирными. Последнее в глазах Кулаковского должно признать симптоматичным.

На протяжении тысячелетия предпринимавшая и вынужденная ввязываться в удивительное число войн, Византия с особым наслаждением должна была переживать периоды мира, спокойствия, тихого воспроизводства населения.

Миролюбивые властвования Феодосия II и Анастасия больше прочего привлекали Кулаковского, будучи созвучны его *общечеловеческим* воззрениям на поступь событий. То, что это без особой коррекции вписывалось в политическую и военную доктрину Российской империи, — историческая судьба родины Кулаковского, давшей провинциальному сироте состояться. О каких это народах говорит Монтень? «Народы<...> привыкшие сами править собою, считают всякий иной образ правления <...> противоестественным <...> Те, которые привыкли к монархии, поступают ничуть не иначе».

В связи с попыткой характеристики политических взглядов Кулаковского процитирую фрагмент его давнего, но очень характерного письма чете Флоринских, посланного 15.04.1887 из Рима (выше оно цитировалось):

«Вчера сверх всякого чаяния получил я письмо Веры Ивановны, из которого узнал так много нового о Вашем пребывании среди самого мерзкого славянского народа, сербов. После этого годичного скитания по славянским землям Тимофей Дмитриевич избавится от своего славянского идеализма. Что лучше идеализма! Но политика его не вмещает, а действительность не даёт ему почвы. Впрочем, этого *лучше бы не касаться* (курсив мой. — А. П.). Прибавлю одно: славяне-юноши и славяне-деятели — это медик-студент и медик-практик. Первый — готовый революционный матерьял, второй — субъект без сердца и без идеалов в погоне за наживой и удовлетворением других инстинктов. Так мне всегда казалось, и до сих пор я не встречал фактов, которые бы заставили меня переменить мнение. Другие народы — как немцы, французы, англичане — имеют старую культуру и бесконечно выше славян по духовному запасу, ею накопленному.

Славяне настолько плохи, что из них нельзя даже сделать матерьяла для проведения политических и культурных идеалов, которые в силах создать для них мы с нашим могучим отечеством. Совсем не собирался говорить о политике. Но не хочу начинать сначала и бросать написанного.

Надеюсь, ни Вы, ни Тимофей Дмитриевич, не рассердитесь за эти замечания, а в худшем случае — оставьте их без внимания».

32-летний славянин пишет славянину, и оба способны посмеяться друг над другом; но едва ли Флоринский изменил «славянофильским» взглядам: его научная деятельность говорит о постоянстве. Налицо монархические пристрастия Кулаковского, которым он вместе с Флоринским остался верен. Университетские либералы прозвали их *Кулакерши*.

В свете этого довольно странным *по форме* должен казаться фрагмент воспоминаний Павла Блонского, учившегося в Университете в 1902–1907-м на историко-филологическом факультете, которому, кроме того, что он записал о Кулаковском, как оказалось, нечего было о нём вспомнить. Дело здесь не столько в личности Кулаковского, сколько в личности автора и времени, когда он «вспоминал» (1930-е).

«Деканом у нас был Т. Д. Флоринский, крайний чёрносотенец, мечтавший об объединении всех славян под скипетром русского царя. Украинцы его ненавидели, так как он считал украинский язык лишь одним из наречий русского языка и во всём украинском видел украинский сепаратизм. Понятно, я не посещал его лекции, тем более что вокруг него концентрировались всегда все наши националисты. Он читал нам славяноведение, и, к счастью для меня, по его предмету был не экзамен, а только коллоквиум, без отметок и притом лёгкий: требовалось прочтение только одной какой-нибудь книги о славянах. Я выбрал одну такую книгу о Чехии и что-то ему о ней рассказал, чуть даже не по своему выбору. Секретарём факультета был Ю. А. Кулаковский. Это был ещё более крайний чёрносотенец, исступлённо поющий “Боже, царя храни” во всяких “патриотических” манифестациях».

Абзац повествует об усердии, с которым Блонский, занимавшийся политикой больше, нежели развитием психосомы, относился к учёбе. Ярлык «чёрносотенец», тем более «ещё более крайний», *должен быть опущен решительно*, беря во внимание «классовую борьбу» образца второй половины 1930-х.

Никакого отношения к еврейским погромам и «чёрной сотне» ни Флоринский, ни Кулаковский не имели. Тому доказательством письма Кулаковского и отзыв хотя бы Зинаиды Тулуб, приводившийся выше.

Но, как известно, ярлык, раз прилепленный, отодрать почти невозможно: след от клея шершав. Киевский Клуб русских



Павел Петрович Блонский

националистов, одним из основателей (в 1908-м) и руководителей которого был Флоринский, поплатившийся за это мученической смертью, преследовал вполне лояльные, «отвлечённые» цели, конечно, ковыляя по времени с клюкой самодержавного мировоззрения.

Гадок чрезмерный, крайний патриотизм («патриотизм это последнее прибежище негодяя», — умничал Сэмюэль Джонсон), под каким бы соусом ни подавался к исторической трапезе. Великорусский шовинизм в этом отношении ничуть не краше какого угодно шовинизма. Но искренность в убеждениях, неспособность изменить им в угоду новым настроениям, — это может служить оправданием шатаний российского интеллигента начала XX века. С этой точки зрения, сам Блонский, не принимавший — в силу убеждений — монархической идеи, тоже должен быть признан порядочным человеком, которому, однако, едва ли стоило столь жёстко отзываться об учителях, лишая их права на взгляды, отличные от его собственных.

Профессора, на университетском Совете дающие верно-подданнические клятвы и хором поющие здравицы в честь государя императора — надеюсь, искренне, со слезой — вместо того, чтобы усердно заниматься в это время за письменным столом, не менее курьёзны, нежели студенты, вместо учёбы парализующие университетскую жизнь манифестациями.

И, конечно, не менее курьёзны, чем большевицкие певуны, высмеянные в «Собачем сердце» Булгаковым. «Интеллигент не падок до власти — в этом трагедия нашего общества», — вздыхает один из умных персонажей Юлиана Семёнова. «Малое должно быть наверху и тщеславиться, а большое — внизу и довольствоваться тем, что оно большое» (Лао Цзы). — И, пожалуй, не менее курьёзны, чем исследователи украинской этнографической старины, вынужденные раздваиваться и нехотя принимать во внимание обстоятельства, в которых протекали при всероссийском шовинизме их трудодни.

Вадим Щербакровский (1876–1957), обмерявший, начиная с 1906-го, деревянные церкви, фотографировавший иконы и иконостасы, ковры, рушники и утварь (его фотофонд бесценен, поскольку сохранился, а объекты съёмки пропали), жаловался:

«Це дало мені багатий матеріал, і вже [Іван] Каманін просив мене зробити про це реферат у Товаристві Нестора Літописця у Києві. Реферат був прочитаний Каманінім, бо я як не член Товариства не мав права читати. Реферат вислухали із цікавістю, і деякі члени просили й дали давати відомості з моїх поїздок. Але потім цьому спротивилися професор Юліан Кулаковський і професор Флоринський, котрі сказали, що вже все вияснено і що досить. Вони були вороги українства й у всім цім матеріалі вбачали відродження українства, якому противилися».

Рассуждая подобным образом, выхожу за рамки моей книжки. Этические и нравственные вопросы, заостряющиеся на переломах социальной бессознанки, — парафия этики, психологии (психопатологии) и политологии, но никак не *антихронологии*.

Патриотически настроенное дворянство выглядит не менее неказисто, нежели по-большевицки настроенный «гегемон», Пьер Абеляр не менее удивителен, нежели Бернард Клервоский, зато Бруно почему-то привлекательней Галилея.

В этом — известный *нравственный* парадокс истории, разрешение которого невозможно в интонациях *наши* и *не наши*, *белый* и *красный*, *красный* и *чёрный*. Гёте в афоризмах «из архива Макарии» в «Годах странствий Вильгельма Мейстера» (1829) ёрничал:

«В нашем языке нужно было бы слово, смысл которого так относился бы к слову “народ”, как “детство” — к слову “дитя”: “народство”. Воспитатель должен выслушивать детство, а не дитя; законодатель и прави-

КРАСНАЯ ПОЛЯНА.

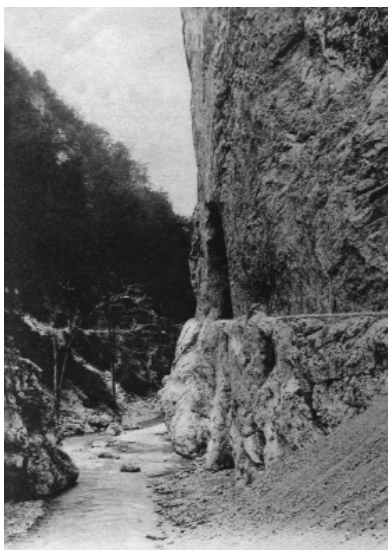
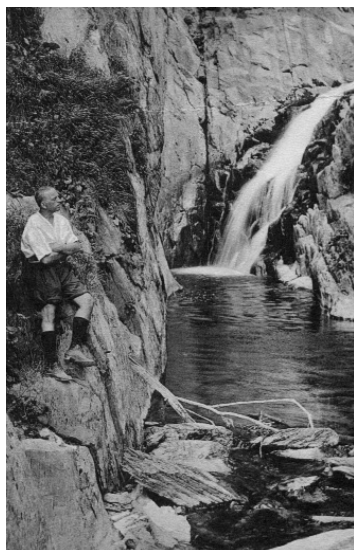


Красная Поляна. Панорама, фото 1910-х

тель — “народство”, а не народ. Ведь оно высказывается всегда одинаково, оно разумно, надёжно, чисто и правдиво; а народ только хочет, но сам не знает чего. Вот закон и должен, и может быть словесным выражением всеобщей воли — воли “народства”, которую толпе никогда не облечь в слово, но которую человек рассудительный всё же слышит, разумный умеет исполнить, а добрый исполняет с охотой».

Вот ведь сколь возвышенный идеалист был этот тайный советник. И — ядовитый.

Европу начала 1910-х колошматило изнутри: казалось, горы готовы сдвинуться с своих мест, реки поменять течение. Давно в цивилизованном воздухе — в атмосфере — не было столь всё накалено, наэлектризовано. За последнюю четверть XIX века русско-турецкая '1877–1878, сербско-болгарская '1885 и греко-турецкая '1897 унесли 38 тысяч солдатских жизней, англо-бурская '1899–1902 и русско-японская '1904–1905 — ещё 34 тысячи европейцев. Чего стоит так называемый «балканский конфликт» 1912–1913 годов, война Балканского союза — Болгарии, Сербии, Греции и Черногории — против Османской империи за освобождение Балкан от турецкого владычества, затем — война Болгарии против Греции, Сербии и Черногории, к которой присоединились Румыния и Османская империя,



Красная Поляна. Горный водопад и Краснополянское шоссе над Мзымтой, фото 1910-х

вызванная обострением отношений между прежними союзниками и стремлением Германии и Австро-Венгрии подорвать растущее влияние Антанты на Балканах. Но с потерями, которые Европе предстоят вот-вот, эти цифры несопоставимы — по малости своей.

Пять лет в Красной Поляне. Каждое лето первой половины 1910-х Кулаковский с семьёй, чаще без семьи, бежит из шумного города, подальше от газет и почты. Хотя в это время он радовался «оживлению работы в университете и с удовольствием сообщал, что на историко-филологическом факультете Киевского университета имелись классики — «люди старательные, ревностные и способные» (письмо 1912 г.), но сокрушался изгнанием языков из гимназий», — вспоминал Маркевич.

С июля 1911-го он каждое лето проводит преимущественно в Красной Поляне на Кавказе, на даче Платона, которая после его смерти († 18.12.1913) превратилась в Юлианову собственность.

Красная Поляна — «редкой красоты» (как написал Брокгауз–Ефрон) горно-климатическая станция (ныне фешенебельный курорт вроде нашего Буковеля) в Сочинском округе Черно-



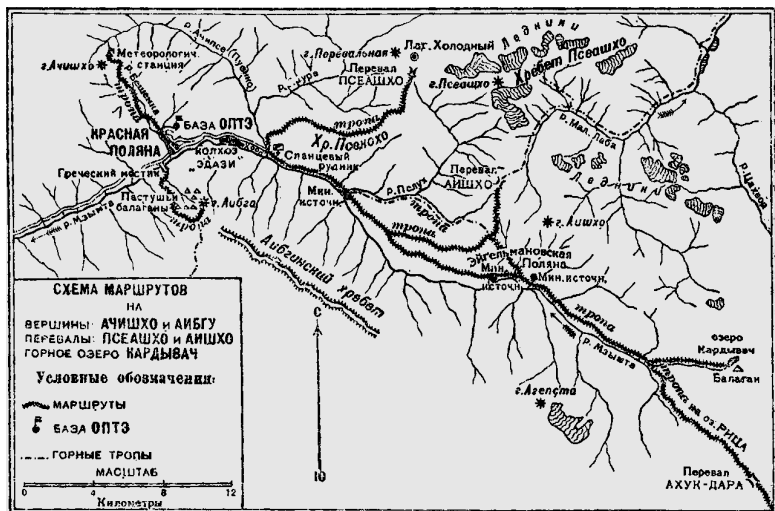
Красная Поляна. Центральная улица, фото 1910-х

морской губернии, в 48 вёрстах (51 км) от Адлера (б. Арделлер), с которым соединена наводящим ужас шоссе на пропастью Ахцу, расположенным на высоте 2100 футов над уровнем моря.

В начале XX века в Красной Поляне на южном склоне хребта Анчихе был сооружён охотничий домик, в котором Николай II так и не побывал, имелись забегаловка, церковь, аптека, почта-телеграф, остатки дольменов и средневековой крепости.

Называвшийся и аулом Кбаадэ, и Романовым, и Царской Поляной, это наиболее отдалённый населённый пункт курорта Сочи, что под самым боком Главного Кавказского хребта.

Вяч. Иванов в примечании к стихотворению «Дитя вершин» (август 1916-го) написал: «Красная Поляна — высокое кавказское плоскогорье над Сочи». В конце XIX — начале XX века здесь выстроены дачи больших чиновников: председателя III Государственной думы Николая Хомякова, адмирала Фёдора Дубасова — «героя и палача», графа Алексея Бобринского, графа Сергея Шереметева, миллионера Саввы Морозова и прочей интеллигенции. Это певец Леонид Собинов, геоморфолог Анатолий Рейнгард, географ Николай Альбов, приятель Кулаковского философ Эрнест Радлов и Санкт-Петербургский



Красная Поляна. Схема туристских маршрутов (по А. Н. Берсеневу, 1933)

тайный советник профессор славистики Платон Кулаковский, который, построив дом, так в нём и не пожил.

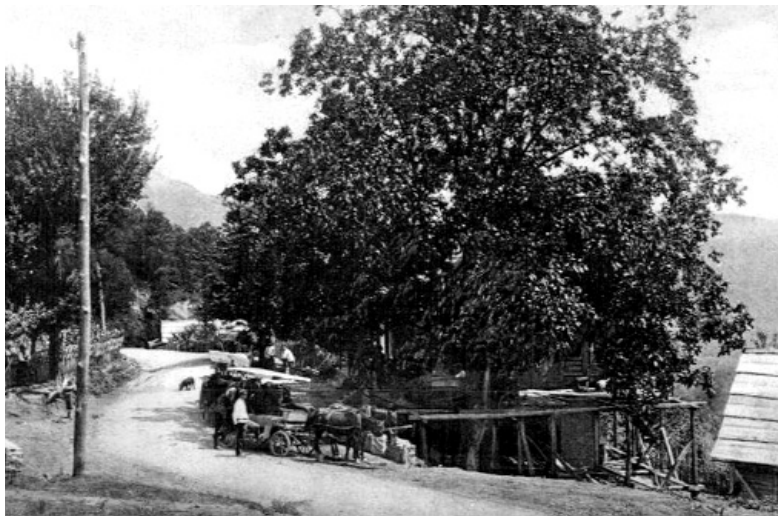
В конце 1920-х Пелагея Кочина, будущий академик, побывала в Красной Поляне и запомнила:

«Мы любовались великолепными видами, часто останавливались, чтобы можно было делать зарисовки, из которых у меня получился целый альбом. Поднимались в горы на альпийские луга, там посидели около балагана — летнего жилища чабанов, которые угостили нас кислым молоком <...> В Красной Поляне мы провели несколько дней в доме местных жителей, очень приветливых. Только пища была излишне наперчена».

К началу 1920-х здесь была дюжина дачных домиков, в том числе и «кулаковский домик», которые в начале 1930-х были объединены в Краснополянский тургородок Общества пролетарского туризма и экскурсий (ОПТЭ).

В июне 1929-го с супругой Клавдией Николаевной в Красной Поляне отдыхал Андрей Белый.

«Совершенно наугад дёрнули сюда и нашли то именно, чего жаждали: природу, покой, тишину, дешёвизну, изумительный воздух, отсутствие малярии <...> Над венцом зелёных горных высот, обстающих Поляну — второй ряд каменных острых тычков и пиков, оснеженных до июля: вчера после бури, когда рассеялся туман, оказалось: всё покрыто снегом;



Красная Поляна. «Экскурсионное бюро», фото 1910-х

снежная линия спустилась втрое ниже, чем она была третьего дня; наш хозяин оставил пастись лошадей в альпийских лугах одну, сам же спустился вниз, а её там застиг снежный буран и теперь он беспокоится об её участи; с запада на восток Поляну прорезывает ущелье Мзымты, сужаясь на западе и на востоке; на востоке огромные вечно снежные конусы с перевалами на Кубань; Псеашхо и Ачишхе на запад вёрст на 40 спадающая к морю галерея сбегов горных вершин; прямо на север — прошёл в горы и взбег домиков Поляны; оттуда всходы лесов на горную стену Ачишхе, которая сейчас вся — *серебрень*: стою за это слово, ибо в нём синтез представлений: 1) стена Ачишхе *ребрень* (со-рёберность), оканчивающаяся резью стена зубцов, 2) она вся *серебряная* от снега: приходится придумывать слова, которые живо-описали бы и *звуками*: *серебренью* мы восхищались сегодня» (в письме Павлу Зайцеву).

Той же мукой мучился Гёте. В «Годах учения Вильгельма Мейстера», оправдывая тех, кто *живёт горами*, он говорил, что камни это безмолвные учителя, они делают безмолвными тех, кто их наблюдает, и лучшее, чему от них научаются, невозможно сообщить другому. Белый один из немногих — пытался. Результаты эксперимента:

«Гордые горы, врезаясь чёрными рёбрами в воздух углами и слома-ми конусов — кубово тырчатся; сахарный снег серебрет; и остро огро-

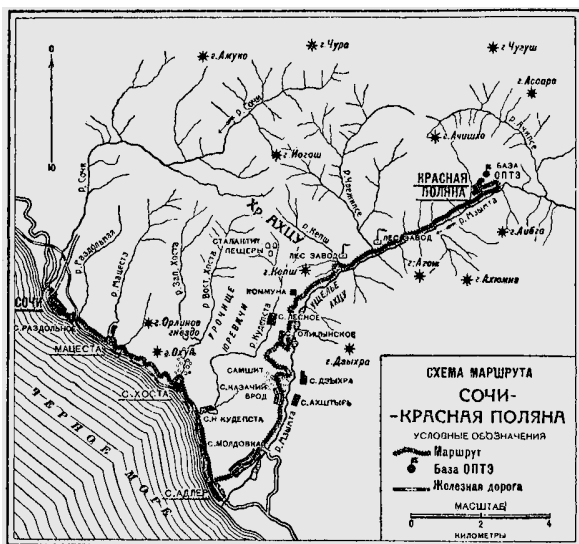


Схема туристского маршрута
по Льву Берсеневу,
1933

мен их перш; выше: вышние лёгкости пиками всколоты в лёгко медовой ужаснейшей дали, где выкурен вскок дымнорукий, где рвётся в распёртый сквозняк дымовой и продунутый, он, ниже: улицу кубиком выложили в зелень грецких орехов, — в стволы, в толстуны; они в жёлтом промохе и — белые; перепоясал отряд из забориков всё; свиноухая хрючица рюхает в пылях; вишневою юбкой проходит гречанка кофейного цвета среди серых и тигровобурых коров».

Такое мог написать только Белый: «свиноухая хрючица рюхает в пылях». Нет чтобы проще: свинья валяется в пыли. Кулаковский, конечно, стиле-глупостями в «орнаментальной прозе» не занимался. Иной раз, отставляя кирку и закуривая, глядел на заснеженные вершины, припоминая, как полжизни назад карабкался на Везувий и Монтекассино, и как там было хорошо. Но здесь лучше.

За зубчатым абрисом гор, покрытых чащей елей и пихт, голые хребты Аибги, Ачишхо, Псеашхо смахивают на огромный мегалитический инструмент: такими камнями первые люди выдельвали для набедренных повязок шкурки пойманных косуль.

Их снежные проплешины кажутся линькой, какая бывает у тюленей в середине лета. Турьи стада спокойно спускаются, ступая к солёным источникам.

Падают каштаны с ветвей, нависших над тропинками, где-то в горах трубят самец-олень, будто ему навязали беременную олениху, как свахи деревенскому парню — рябую невесту.

Мягкие осенние белки мечутся по жёстким сучьям высоких пихт. Взлетевшие птенцы нежных сов неумело фюзеляжат к дубовой роще. Самые слабые и маленькие садятся по пути на обесхвоенную ветку.

Смешными казались Кулаковскому эти хмуро ухающие существа. От бодрого воздуха учащалось сердцебиение, и он на мгновение переставал видеть облака и ёлки.

От зноя свернулись листья вяза; изнурённые буйволы валяются в пересыхающих лужах. При появлении людей они скорбно мычат, задирая рогатые головы.

Медведи смело расхаживают по хлебным полям, неловко кувыркаются, режут и мнут посев.

Взлетают фазаны с полян, заросших бурьяном.

Напуганные кабаны мечутся меж молодых дубков.

В кустах постанывает упавший совёнок, фазаньи птенцы пищат в зарослях крыжовника.

В приусадебных садиках столичного чиновничества засыпают цветы и пчёлы, ручные соколы, мужественно перебарывая темноту, зевают на насестах. Куропатки перестают кудахтать, и тени гор укладываются на ночлег в лощины Мзымты.

Залаяли шакалы, ещё слышен клёкот орлов, лениво расправляющих пегие крылья, в ущелье подвывает горный волк, филин поднялся с опушки, чтобы поохотиться в дачных виноградниках на уснувшую перепёлку. Сверчки начали поимённый пересчёт созвездий.

Если бы всё это собрать в городе, вышел бы зоопарк.

Комментируя Петру Зайцеву свои текстовые упражнения, Андрей Белый оправдывается:

«вот Вам образцы единственного дела из “безделья” прогулок, столь нужных для отдыха; видите: этюды “пленэра” не сильно удаются; но не только я, а всякий писатель, если бы он описывал то, что есть, не подскользя “приёмом”, доставившим ему имя, — писал бы ученические чудовищности; но сквозь них — путь к нео-реализму».

Автору «Серебряного голубя», «Крещёного китайца» и «Петербурга», всю дорогу сомневавшегося в толстовской «энергии заблуждения», которая провоцировала заковыри-

стю стилистику его вычурно-орнаментальной прозы, в пору было признаваться в бессилии описать виденное.

Многие пытались писать (особенно — петь) о горах, но получалось, что либо они по пути в горы, либо после гор: в горах твои тексты блёкнут, выталкивая наружу всю надуманность сюжета и всю *неготовность* языка.

Ниже я покажу стишок Вяч. Иванова, который тоже отчаялся увидеть буквой горы, и потому сверзился в перечень: «И первую мне Красная Поляна, / Затворница, являет лес чинар...»

Белый пытался было делать зарисовки, но картинки вышли жалкими. Конечно, здесь прельщение не в качестве, а в порыве. 27.06.1929 в письме Зайцеву состоялось главное:

«Красная Поляна до конца оправдала себя; здесь взяли отдых так, как берут ванну после долгой-долгой дороги; увы, — кончается житьё; мы бы охотно застряли здесь ещё на 2 недельки, а Шови — ждёт <...> Хотя доктор в Армении и разрешил жить в горах, однако моё “нервное” сердце иррационально».

В Шови Белый не попал, а слова восхищения летним отдыхом читаем в письмах его последнего лета: из Коктебеля в июне-июле 1933-го, где, возмущённый застольным соседством четы Мандельштамов, невыносимых в быту¹, всё-таки благосклонно слушал «Разговор о Данте», сочинённый среди габриаков.

Кулаковский, прохладными летними вечерами покуривая на ступеньках краснополянской дачи, пытался литературно оформить впечатления — хотя бы в письмах киевлянам.

К тому времени, к тому возрасту он наверняка понял, что если хочется вести счастливую жизнь, нужно привязываться к цели, а не к людям или вещам. С людьми стоит порой общаться, вещами стоит пользоваться. Лишь прочее — цель.

В трудах и заботах XV Археологического съезда, бывшего в Москве во второй половине августа 1911-го, Кулаковский участия не принимал — то ли уже было неинтересно, то ли выбрал: не брусчатчато-навозная солнцепёчная Москва, но дождливо-влажная Красная Поляна, в которую попал впервые.

Флоринскому — 5.08.1911:

¹ См. подробней забаву «Два столетия» двух поэтов: Осип Мандельштам и Андрей Белый в моей книжке «О текстах, контекстах и предсудительностях: Пять литературоведческих забав» (Киев, 2016, с. 15–36).

*Андрей Белый.
Красная Поляна, 1929.
На полях автограф:
«Вид в сторону хребта
и перевала. Отсюда взята
“Серебрянь”»*



«С 15 июля я нахожусь в Красной Поляне, на даче брата, и провожу время на своём участке в хозяйственных заботах. Дом, выстроенный вчерне, очень хорош; дикий лес, растущий кругом, уже корчуетя, но всё ещё с одной стороны я не добился того вида на долину, какого хочу. Хотя за дороги взимают половину стоимости участка при заключении контракта, но дороги до сих пор нет и, по-видимому, в ближайшее время не будет.

Турки — прекрасный народ, и одно то обстоятельство, что они не пьют, заставляет их ценить как рабочих. Строитель моего дома тоже турок из Трапезунда. Для той части Малой Азии Кавказ служил издавна местом отхожего промысла. Цены на труд здесь гораздо выше, чем у них на родине, и это их привлекает. — После той беды, которую ты знаешь (смерть племянника, Осипа Платоновича Кулаковского. — А. П.), нас постигла другая: умер от несчастного случая брат Любы (Николай Николаевич Рубцов. — А. П.) в Петербурге. Люба с детьми оставила Шафраново в то самое время, когда я сюда приехал, и, оставив детей в Вильне у сестёр моих, поехала сама в Петербург <...> Теперь она с детьми в Друзгениках, западный курорт, где она часто проводила лето, пока была барышней. <...> Местность здесь прекрасная, но ужасно донимают дожди».

Шафраново (ныне по-польски Шафранки) — совсем небольшой посёлок юго-западнее Гониондза, совсем рядом, — место vacationного обитания Кулаковских в 1890-х — начале 1910-х. В нескольких километрах — Осовецкая крепость с рвами и капонирами, сыгравшая в Великую войну ту же сдерживающую роль (в течение полугода не пускала немцев к Белостоку), что Верден во Франции. В Друзгениках (Друскининкае) вырос Чюрлёнис и несчастно влюбился маршал Пилсудский.

Через два года Кулаковский снова в имперских горах. В письме Иконникову 22.08.1913:

«Живу в Красной Поляне, в своём доме среди прекрасной природы с чудесным видом на снежные горы, но живётся мне здесь до крайности трудно от разных хозяйственных забот и полной невозможности сделать в данное время то, что необходимо. Сейчас вожусь с истопником, который чинил трубы, пострадавшие от здешних снегов за зиму. Нашёл человека после долгих малоуспешных стараний. Хорошо ли он работает и прочно ли будет исправление, судить об этом не могу. Садовник, с которым я сговорился в прошлом году, не исполнил обязательства... Эти непосильные хлопоты сокрушают меня, и вместо летнего отдыха я лишь томлюсь. Надеюсь вернуться на 1 сентября, не раньше. И вот вспомнил сегодня, что, быть может, на 28 число будет открытие памятника Кочубею¹. Может быть, необходимо отозваться каким-либо приветствием по этому поводу Истор[ическому] Общ[еству] Нестора?..»

Кулаковского как председателя Общества и члена Военно-исторического общества, инициировавшего создание памятника, интересует, конечно, не столько само открытие (между нами, памятник занят по форме и жутковат по исполнению), сколько то, чтобы Общество в глазах общественности не осталось в стороне от события. Это всё ещё почему-то его волнует.

Перед отъездом в Красную Поляну летом 1913-го, увлечённый писанием «Истории...», он запоздало реагирует на письмо Тимофея Лященко (1875–1945) — архимандрита Тихона, профессора и инспектора КДА, викария Западноевропейской епархии, будущего епископа Берлинского и Германского, — по поводу присланной книги. Трактат «Святой Кирилл, архиепископ Александрийский» объёмом в 900 страниц напечатан в типографии Ивана Чоколова в 1913-м.

¹ Несуразный памятник Кочубею и Искре на Никольской площади (ныне — Арсенальная) был выполнен летом 1913 года неким отставным подполковником Петром Самсоновым, фигуры отлили из стреляных снарядных гильз; у постамента зачем-то воздвигли макет деревенской хаты *нід стріхою*. Инициатором конкурса выступило Киевское отделение Русского военно-исторического общества, членом правления которого был Кулаковский. Вся эта «красота» простояла до весны 1918-го: по указанию УНР на постаменте вместо статуй Кочубея и Искры поставили бюст Мазепы, который сбросили денкинцы, а в память большевицкого обстрела Арсенала (сомнительным «героям январского восстания 1918 года») в 1923-м — пушечку. Пушечка есть до сих пор. Хатынку разобрали.



*Киев, Никольская площадь, памятник Кочубею и Искре, 1914
(Кочубей экспрессивным жестом будто указывает Искре: «и-шёл вон, болван»;
удивлённый собеседник пытается смущённо возразить.)*

«Простите, что я до сих пор не поблагодарил Вас за внимание, оказанное мне присылкой Вашего исследования о Кирилле, стоившего Вам огромного труда.

Я не мог, конечно, с вниманием прочесть всю Вашу книгу среди текущей работы и своих занятий, но прочёл в ней в разных местах довольно много. Конечно, многое производит на меня впечатление аполгии, написанной весьма искусно, и я понимаю, что церковный авторитет Кирилла не мог не ставить Вам некоторых преград, которых я для себя не считаю обязательными. Хотя считаю нужным повториться, что и мне, как и Вам, вовсе не нравится тон [П. В.] Гидулянова.

Подступать к моральной [стороне] личности Кирилла с требованиями христианского нравственного идеала, может быть, и вовсе нельзя, но обилием его [недостатков] объяснять [обвинения его] в подкупах вряд ли возможно. Ведь сохранился и список лиц, и перечисления подарков, о чём Вы, кажется, не упомянули. Ведь это несомненно подлинный документ. Я не располагаю эрудицией для суждения самостоятельного о богословских вопросах и опасаясь судить. Но должен сознаться, что не могу отрешиться от представления, что родоначальником монофизитства был

Кирилл, а Несторий — живи он во время Халкидонского собора¹ — был бы именно православный в нашем смысле слова.

Поздравляю Вас с учёной степенью и прекрасно написанной книгой, внешняя форма которой нравится мне больше, чем [форма] моей, и шрифт убористее.

Желаю Вам доброго здоровья, искренне Вас уважающий

Ю. Кулаковский.

[P. S.] Я совсем измучился с Ираклием и ещё не закончил его» (6.06.1913, Киев).

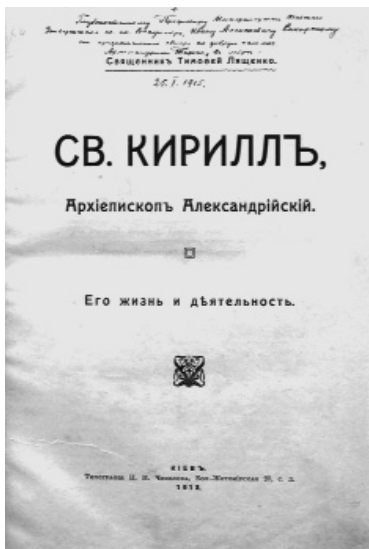
Кирилл, александрийский патриарх в 412–444 годах, провокатор и участник догматических споров с коллегой из Константинополя — Несторием, в полемике и политических действиях не стеснявший себя никакими средствами. В первом томе «Истории...» Кулаковский подробно останавливается на личности и деятельности св. Кирилла, излагает богословскую сторону Эфесского собора 431 года и анафематствование патриархом Кириллом патриарха Нестория.

Последнее мирное лето. Лето 1914 года, перед самой войной, проходит в имени Карпинец.

«В тихой и праздной деревенской жизни, получая почту не чаще трёх раз в неделю, как-то теряешь счёт дням <...> С 11 июня мы в деревне, лето чудесное, барометр три недели непрерывно стоял на “ясно”, и в нашей обыкновенно мокрой стране почти что не было дождей.

Я люблю деревенский быт и полную простоту, постоянную близость к природе, которая мне кажется здесь такой родной и близкой. Я не мог захватить с собой никакой работы и провёл этот месяц в праздности. Получаю “Киевлянин”, который держит меня в относительной известности о событиях. Скоро придётся мне оставить сельское уединение, так как после долгого перерыва собираюсь побывать на [XVI Археологическом] съезде в Пскове. К сожалению, явлюсь туда с пустыми руками, то есть, не имея никакого доклада, и буду только свидетелем суеты съезда. Мой старший сын [Сергей], филолог, очень хочет побывать на съезде, и мы поедем вместе. А из Пскова поедем в Киев, так как август нужно отвести для Кавказа. Там в прошлую осень исполнено всё по требованиям кон-

¹ Несторий — константинопольский патриарх в 428–431 годах, основатель и «вождь» т. наз. несторианства; низложен на Эфесском соборе в 431-м, учение объявлено еретическим. Халкидонский собор — IV Вселенский собор, происходивший сначала в Никее, затем в Халкидоне.



Титульный лист монографии Тимофея Лященко «Св. Кирилл, архиепископ Александрийский: Его жизнь и деятельность» с инскриптом проф. И. А. Сикорскому и автор трактата

тракта; надо осмотреть и если можно, приблизить к утверждению в права собственности на участок. Это так далеко и приготовление туда так дорого стоит, что я часто раскаиваюсь, что взялся за культуртрегерство на диком Кавказе; но когда живёшь там, то красота природы тамошней и её роскошь примиряют» (Иконникову, 15.07.1914).

За две недели до этого письма, 28-го июня, в Сараево был убит наследник австро-венгерского престола Франц-Фердинанд, 23-го июля подзуженная Германией Австро-Венгрия направила Сербии ультиматум, а 28-го начала против неё войну. 29-го июля Россия начала частичную, а 30-го царь объявил всеобщую мобилизацию.

Гусиное перо весит мало, — говорил один из персонажей Константина Гамсахурдиа, — но часто для того, чтобы черкнуть этим пером, требуется больше мужества, нежели для удара мечом. Никто доподлинно не знает, кто был большим героем: Гомер или Ахиллес, Александр Македонский или Аристокл, его летописец. В нашем царском случае очевидно: Николай II проявил не столько мудрость и мужество, сколько союзниче-

Категории военнослужащих	Убитые	Умершие от ран	На 100 убитых приходилось умерших от ран
Генералы	23	13	57
Штаб-офицеры	516	231	45
Обер-офицеры	4 759	1 376	29
Прапорщики	5 507	1 347	24

Число убитых и умерших от ран в российской армии в Великой войне (по Б. Ц. Урланису)

скую честность, и хотя бы по этой причине может быть причислен к героям — нынче это редкость.

1-го августа Германия объявила войну России, 3-го — Франции, а 4-го напала на Бельгию, нарушив её нейтралитет; в тот же день Англия объявила войну Германии.

Андрей Белый, вместе с Асей Тургеневой обтёсывавший деревянные архитравы в штейнерианском Гётеануме в Дорнахе, позже писал:

«помню золотеющий вечер, склоняющееся к горизонту солнце; мы после кофе с особым самозабвением работали; вдруг на лесах произошло волнение; кто-то к нам подбежал с газетным листком; Штраус протянулся за ним; прочёл и, обернувшись, сказал нам: “Всё — кончено: война объявлена!” Мы опустили молотки и молча поглядели друг на друга; потом Штраус с грустной улыбкою на меня посмотрел и сказал: “Ну, Herr Bugaeff, вот мы с вами и стали врагами...” Я вместо ответа протянул ему руку, которую он крепко пожал».

Объявление войны Николаем II несколько дней висело на волоске, но, по наблюдению Тарле, с 29 июля все действия российского правительства ежечасно уменьшали шанс на сохранение мира. Воинственный военный министр Сухомлинов крутил пуговицу безвольному, но честному государю.

Государь заплатил за всё не только мученической кончиной: собой, женой, детьми, многомиллионным народом, которым неумело пытался править. Едва ли он и другие правители Европы вняли сентенции Черчилля: война это способ развязать политический узел зубами после того, как его не удалось развязать языком. Языки политиков летом 1914-го были вялыми, без нужного умственного и волевого торчка.

Леонид Добычин, рассказ «Старухи в местечке» (1920-е):

«Война объявлена. Приехали со станции, и вот... <...> Около Пферденши будем кричать “долой Германию”. — Катерина Александровна сказала “с богом”, вытянули лица, Иеретида отворила калитку, Марья Кар-



ловна взмахнула руками, как регент на клиросе, запели “боже, царя храни” и вышли на заросшую ромашкой улицу <...> Гаврилова одна стояла над водой, спешила и трясущимися пальцами путалась в тесёмках».

По свидетельству Анны Вырубовой, Николай II так оценивал ситуацию:

— Война хороша, потому что всех увлекает. Во время войны никто не думает о мятеже, и она всё выясняет. Кроме того, она приносит славу и создаёт имя в династии.

Как император будучи прав по большому *статистико-историческому* счёту, в отношении себя он ошибся. Для России, а значит и для семьи Кулаковских, настало чёрное время.

Евгений Габрилович (1899–1993), добротный советский сценарист, помнил Россию в первый год Великой войны.

Сперва всё было сильно и бодро: молебны и гимны, призывы к единству сословий и мнений; дамы, шьющие войску подштанники, плакаты с казаком Козьмой Крючковым (именем которого были «названы сорта конфет и сигарет»), пронзающим немцев пикой, и куплетисты в соломенных шляпах, в ботинках на пуговицах, высмеивающие тевтонов.

Всё сильно и бодро: первые раненые, приветствуемые повсюду, погромы немецких лавок и магазинов, граф, обнимающий мужика, солдат, пьющий квас за одним столиком с генералом, и патриотизм, патриотизм — в театре, в романсе, в стихах.

Страны	Убитые и умершие	Мобилизованные	Мужчины в возрасте 15–49 лет	Всё население	Количество убитых и умерших на 1000		
	в тысячах человек			в миллионах человек	Мобилизованных	Мужчины в возрасте 15–49 лет	Жителей
Антигерманский блок							
Россия	1 811	15 798	40 080	167,0	115	45	11
Франция	1 327	7 891	9 981	39,6	168	133	34
Великобритания	715	5 704	11 539	46,1	125	62	16
Италия	578	5 615	7 767	35,9	103	75	16
Сербия и Черногория	278	750	1 225	4,9	371	227	57
Румыния	250	1 000	1 900	7,6	250	132	33
США	114	4 273	25 541	98,8	27	4	1,15
Французские колонии	71	449	13 200	52,7	158	5	1,3
Канада	61	629	2 320	8,1	97	26	7,5
Австралия	60	413	1 370	4,9	145	44	12
Индия	54	953	82 600	321,8	57	1	0,2
Бельгия	38	365	1 924	7,6	104	20	5
Греция	26	353	1 235	4,9	73	21	5,3
Новая Зеландия	16	129	320	1,1	124	50	15
Южная Африка	7	136	1 700	6,3	51	4	1,1
Португалия	7	100	1 315	6,1	70	5	1,15
<i>Итого</i>	5 413	44 558	204 017	813,4	121	26	6
Германский блок							
Германия	2 037	13 200	16 316	67,8	154	125	308
Австро-Венгрия	1 100	9 000	12 176	58,6	122	90	18
Турция	804	2 998	5 425	21,7	268	148	37
Болгария	88	400	1 100	4,7	220	80	18,7
<i>Итого</i>	4 029	25 598	35 017	152,8	157	115	26
Всего	9 442	70 156	239 034	966,2	135	39	10

Потери в войне 1914–1918 годов (по Борису Урланису)

Потом уже не так бодро: забыт Козьма, дамы не шьют подштанников, немцы идут на Россию вперёд и вперёд, раненых столько, что уже за всеми не уследишь, они привычны, как очереди за хлебом, в куплетах уже не слышать о тевтонах, там (правда, мельком и глухо) щекочут власть. Граф отделился от мужика, сословие отошло от сословия. А дальше — всё как бы расклеивается, разлетается, теряя винты, болты и гайки.

К началу третьего года войны над властью уже смеются. Смеются над генералами, над квасом, над сводками с фронта. Всё возбуждает сердитый, крупногабаритный смех.



«Я где-то читал, что именно так оно и бывает: сперва улыбки, потом смехок, потом смех. А потом люди выходят на улицу, чтобы разделаться с властью. Свершилось неслыханное — на Руси стала испаряться покорность. Обыватели перестали бояться городских, прихожане — священников, крестьяне — урядников, купцы — генералов, куплетисты — цензуры. Солдаты курили на улицах, гимназисты вступали в спор с педагогами, барышни обсуждали половой вопрос. И даже за преферансом бесстрашно беседовали о том, что политическая жизнь зашла в тупик, что у кормила канальи и дураки и что необходим решительный государственный переворот. Вплоть до конституционной монархии» (Евг. Габрилович).

Тогда, осенью 1914-го фанатики «идеи национальной исключительности», на время утомившись от еврейских погромов, взялись за погромы немецкие. В мае 1915-го дошел черед до издательства Иосифа Кнебеля (владелец имел несчастье родиться в Галиции, входившей в состав империи Габсбургов), и в числе изданий, готовых увидеть свет, гибнут детские книжки Георгия Нарбута: «Басни Крылова» (куда вошли «Котёнок и Скворец», «Василёк», «Осёл и Соловей»), «Стойкий оловянный солдатик» и «Старый уличный фонарь» Андерсена.

Не до котят с соловьями и солдатиками, не до художни-

Болезни	Число больных (в тыс.)	% смертности за август 1914 — декабрь 1916 года	Число умерших, определённое на основании % смертности (в тыс.)
Тиф брюшной	97,5	21,9	21,4
Тиф сыпной	21,1	23,8	5
Тиф возвратный	75,4	2,4	1,8
Дизентерия	64,9	6,7	4,3
Холера	30,8	33,1	10,2
Оспа	2,7	?	?
Цинга	362,8	0,2	0,7
<i>Итого</i>	<i>655,2</i>	—	—
<i>Итого без оспы</i>	<i>652,5</i>	<i>6,7</i>	<i>43,4</i>

*Санитарные потери
российской армии
в Великой войне
(по Б. Ц. Урланису)*

ков, не до культуры вообще и прочего тонкарства в частности было дело обезумевшей толпе — этому панургову стаду, нарушающему закон природы о всеобщем неравенстве.

Одним идиотам (сиречь квасным патриотам) виделось присоединение Царьграда к России, водружение креста на поруганную в XV веке янычарами Св. Софию; другие оплакивали разорённую Бельгию, неизменно поминая о брюссельских кружевах. Более рачительные предостерегали болгар от выступления на стороне врагов славянства, Италии советовали вспомнить о славе цезарей и присоединиться к Антанте.

«Серафимы, херувимы, небесные архистратиги, Богородица и Христос воевали, разумеется, на стороне России. Павших в бою причисляли к лику святых. Говорили и о полях, орошённых кровью, и о превращённом в руины Реймском соборе, тревожились о памятниках архитектуры Галиции. Большинству война представлялась делом святым» (Платон Белецкий).

Так ведь и мир, как заметил один противный немецкий персонаж, есть *представление*. Зато как ожил труд монетных дворов, штампующих серебряные кресты, бронзовые медали и ткущих, будто пауки по весне, муаровую орденскую ткань.

Чем цивилизованней и короче война, тем тексты о ней конспективней. Наверно, о ядерной (атомной) войне их не будет вовсе — писать некому; но для тех, что произошли в славянской истории, этот тезис, пожалуй, верен.

Глядите: война с Наполеоном 1812 года — вторая половина «Войны и мира» — примерно 40 печатных листов (без твёрдых знаков в конце слов, оканчивающихся на согласную), вой-



*Киев. Киевляне перед Мариинским дворцом поют «вечную память»
первым павшим в боях, осень 1914-го*

на '1854–1855 — «Севастопольские рассказы» того же автора — не более семи печатных, Великая война '1914–1918 — «Хождение по мукам» другого Толстого и отчасти «Доктор Живаго» Пастернака — лень считать листы, но наверняка больше семидесяти; русско-японская '1904–1905 — «Цусима» Сергеева-Ценского и «Порт-Артур» Степанова — со всеми околичностями очень много, поскольку о крепостях, кораблях, технике, нуждающейся либо в «потопить» (как «Стерегающий»), либо «починить и присвоить» (как остальное), фашистско-большевицкая война '1941–1945 — «Живые и мёртвые» Симонова, «Жизнь и судьба» Гроссмана и неисчислимое количество записанных под диктовку маршальско-генеральско-партизанских мемуаров, грамотно обработанных циничными журналистами. Теория Анри Ван де Вельде о зависимости изменений форм архитектуры от скорости вращения колеса здесь срабатывает: чем обезчелоченнее, техничнее и ловчее инструментарий войны, тем война короче, кровеобильней, зато тексты о ней развесистей, жанрово разнообразнее.

Киев военный. Во время Великой войны Киев оказался главным тыловым центром армий Юго-Западного фронта. Несколько лет, начиная с июля 1914-го, город существовал



Мясной кризис в Киеве (очередь за мясом у потребительской лавки), 1916

своеобразной жизнью и заботами тыла: интересы военные возобладали над гражданскими, и нормальная городская жизнь нарушилась. Киев заполняется военными, беженцами и переселенцами из приграничных округов, пленными.

Отступление российской армии летом 1915-го вызвало потребность эвакуировать музейные, архивные, библиотечные собрания в Центральную Россию и Поволжье. Тогда же поступило распоряжение командующего Юго-Западным фронтом, генерал-адъютанта, генерала от артиллерии Николая Иудовича Иванова (1851–1919) об эвакуации Университета св. Владимира, Высших женских курсов, Киевской духовной академии и Коммерческого института.

Зинаида Тулуб, курсистка, вспоминала:

«Уже весной [1915 года] со слов приезжих с фронта стало ясно, что война принимает неблагоприятный оборот: не хватало артиллерийских снарядов. Раненые рассказывали, что, идучи в атаку, многие шли без винтовок, и только тогда, когда падал раненый или убитый, брали его винтовку и шли дальше. Боепитание терпело полный крах. А наша промышленность, хоть и пыталась перевести её на военное производство, не успевала снабжать фронт оружием и снарядами, а наши союзники хоть много обещали, но не хотели и не могли вооружать нас за счёт своего



Николай Иудович Иванов

фронта, где кипели упорные и кровопролитные бои. Их редкие транспорты часто топили немецкие субмарины.

Как только реки вошли в берега и подсохли поёмные низины, немцы ринулись в наступление.

Они выбили нас из восточной Пруссии, с Карпат, отняли Варшаву и почти всё Царство Польское и только под осень остановились где-то возле Лиды, Барановичей и под Здолбуновым.

Наступление их было так стремительно, что у нас началась паника. Десятки тысяч беженцев наводнили Киев. Всюду звучала польская и западно-украинская речь. Карпатские горы мелькали всюду в своих красивых белых безрукавках и куртках с нарядными вышивками и аппликациями — эдельвейсами. Начали эвакуировать и русские города, даже Киев. В обществе и народе каждый день рождались новые панические слухи, и не было дома, где не говорили бы о том, куда ехать. Консерваторию отправили в Ростов-на-Дону, другие музыкальные училища — в Тифлис. Университет и Высшие женские курсы в Саратов. Пришлось и студенчеству двинуться на восток. Правда, ряды их сильно поредели, так как младшие курсы были призваны, и пришлось им сменить студенческие тужурки на мундиры военных училищ. Я не знала, что делать: у меня осталось только шесть несданных предметов, три вновь введённых в расчёте на то, что нам наконец дадут права университета и три старых — латынь, сербский язык и сравнительную грамматику индоевропейских языков, которую бы-

Губернии	Число убитых		Число пропавших без вести		Всего убитых и пропавших без вести		На 100 убитых и пропавших без вести в войне 1914–1918 гг. приходилось убитых и пропавших без вести в гражданской войне
	в войне 1914–1918 гг.	в гражданской войне	в войне 1914–1918 гг.	в гражданской войне	в войне 1914–1918 гг.	в гражданской войне	
Волынская	75	19	50	16	125	35	28
Донецкая	217	265	120	308	337	573	170
Екатеринославская	454	194	245	136	699	330	47
Киевская	369	145	213	97	582	242	42
Одесская	164	40	81	39	245	79	32
Подольская	194	41	139	40	333	81	24
Полтавская	256	101	145	100	401	201	50
Харьковская	356	178	323	198	588	376	64
Черниговская	116	56	82	49	198	105	53
<i>Итого</i>	<i>2 201</i>	<i>1 039</i>	<i>1 307</i>	<i>983</i>	<i>3 508</i>	<i>2 022</i>	<i>58</i>

Людские потери в украинской деревне за 1914–1920 года (по Борису Урланису)

ло некому сдавать, потому что Кнауэра арестовали в первые дни войны из-за его сыновей офицеров германского генерального штаба, выдававших себя за студентов (всё это враки, см. дальше. — А. П.). Надо было ехать в Саратов, но страшно было оторваться от семьи и потерять друг друга.

Я специально поехала в город посоветоваться по этому с деканом. Сонни объяснил мне, что большинство профессоров оставляют семьи в Киеве, и что официально разрешено принимать у себя на дому зачёты от оставшихся курсисток, во время зимних каникул, потому что каждому из них захочется вернуться к семье хоть на месяц. Это меня успокоило, и мы спокойно продолжали сидеть дома, на даче, твёрдо уверенные в том, что куда-куда, а в Киев немцев не пустят».

По мнению Павла Милюкова, в 1915-м страна жила инерцией довоенного благополучия,

«экономические и финансовые трудности прикрывались традицией коковцовских бюджетов, а добавочные тяготы удовлетворялись помимо бюджета, утверждаемого Государственной думой. В стране вдруг появилось много денег, и первое впечатление было, что деревня сразу разбогата. Первые наборы [призывников] ещё не успели ослабить народную производительность, посевы почти не уменьшились, вклады в сберегательные кассы росли, миллиардные кредитные операции государственного банка удавались на славу, эмиссии краткосрочных обязательств прибавляли новые выпуски бумажных денег к непокрытым старым... Тёмная



Фёдор (Фридрих) Иванович Кнауэр

сторона этого кажущегося благополучия уже начинала, правда, сказываться; рост цен на продукты потребления, обесценение заработной платы и содержания администрации, падение вывозной торговли с закрытием границ и т. д. Начиная расстраиваться и транспорт, но, в общем, распределительный аппарат страны ещё не был парализован».

С началом войны, как во время болезни, обостряются отношения, обоняние, усиливается шум в ушах, мозговые тараканы начинают активно перебегать с места на место по извилинам, и вся эта кутерьма приобретает общий характер: каждый думает о себе, о семье, о том, как бы «избежать», присутствуя-не-присутствуя, как бы *малой* кровью защитить *большую*, — что вокруг громко называется отечеством, а точнее государством, до которого тебе, единожды живущему, на самом деле дела быть не должно.

Профессор Кнауэр и немецкие погромы. В Российской империи, веками жившей в ненависти к евреям, можно было ожидать форм проявления ненависти к каким угодно иноверцам и инородцам.

Осенью 1914 года удобной внутренней мишенью оказались этнические немцы. И как всякая форма ксенофобии, эта была отвратительной.

Если Гитлер уничтожал чужие народы, как поступают дикари, то в России уничтожали свой собственный, как поступают мудак: сухорукий Сталин, уничтоживший двадцать миллионов сограждан, лишь оголтело следовал давней традиции.

В силу этих же умственно-моральных обстоятельств профессора киевского университета уничтожили коллегу — Фёдора (Фридриха) Ивановича Кнауэра (1849–1917), профессора по кафедре сравнительного языковедения и санскрита.

Начало Первой мировой застало Кнауэра «в гостях у семьи» в Германии. Ему удалось вернуться в Россию; семья (жена и четверо детей), с 1912 года жившая в Германии преимущественно на то, что отец зарабатывал профессорством в Киеве, осталась под надзором полиции в качестве гражданских пленнх.

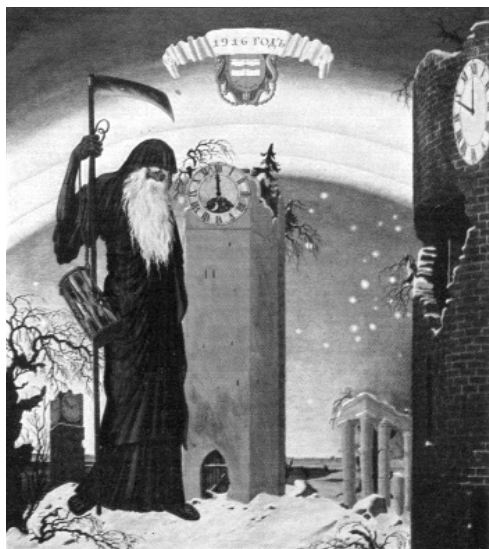
Наталия Полонская-Василенко пишет:

«Языковедение читал старый профессор Кнауэр. Он был выдающимся специалистом своей дисциплины, имел широкие интересы, интересовался археологией. По происхождению он был немцем, и когда началась война 1914 года, оказалось, что он имел двойное подданство и своих сыновей заранее записал в немецкое гражданство. С началом войны они уже в ней участвовали на стороне немецких войск. Я помню рассказы о скандале, который имел место в начале войны в профессорском лектории университета: профессор Флоринский не подал руки Кнауэру и в патетической речи высказал своё возмущение против него и других немцев, которые теперь перешли на сторону Германии. “Мой сын, — сказал он, — воюет за Россию, и там, на фронте, встретится с вашим сыном как врагом. Как я могу после этого дружески жать вашу руку?” Кнауэр с другими немцами, которые оказались в одинаковом с ним положении, был сослан в Сибирь. Дальнейшей его судьбы я не знаю».

А я знаю. Старший сын Флоринского прапорщик Сергей Тимофеевич погибнет 17.05.1916 на фронте «от случайного разрыва гранаты при осмотре во время войны неприятельских позиций» (Н. Бубнов), и ненависть к Кнауэру, как оказалось, не повинному в том, в чём его обвиняли, станет объяснимой.

Но гневно за удаление Кнауэра ратовал всё-таки не умный Флоринский, а антисемит, историк православной церкви Степан Голубев (он помрёт усеянный вшами), который обвинил Кнауэра в измене родине и требовал изгнать из Университета.

Это его отпрыск, Владимир Голубев (1891–1914), председатель общества «Двуглавый орёл», примерный сын отца, с нуля



*Георгий Нарбут.
Аллегория, 1916*

раздул «дело Бейлиса», всколыхнувшего не только Россию. Иное яблоко и вправду падает от дерева недалёко.

Гимназист Голубев — критик профессора Кулаковского. Здесь сделана отступление о другом сыне профессора Голубева — Алексии Степановиче.

Речь об отдельном оттиске из № 11 ежемесячного церковно-общественного журнала «Голос церкви» за 1913 год, о котором я поминал в связи с письмами Соловьёва Кулаковскому.

Отдельный оттиск¹ выпущен в Москве по благословию одиозного Антония (Храповицкого), архиепископа Волинского и Житомирского, ректора Московской духовной академии, одного из организаторов Союза русского народа.

То есть, «благости» от текста ждать не приходилось, а происхождение 17-летнего гимназиста Алексия Голубева из семьи антисемита и единоутробность с затейником «дела Бейлиса» не предвещала наличия в тексте и здравого смысла. «Гены ногтем не раздавишь», — утверждает Леонид Финберг.

¹ В киевских книгохранилищах это издание я не нашёл и возможностью знакомства с ним — в который раз — обязан исключительной любезности моего друга Сергея Иванова, сделавшего выписки в питерской «Салтыковке» в феврале 2018-го.

Догматически упорная клерикально-ориентированная белиберда начинается так:

«В 1910 году в городе Киеве вышел в свет объёмистый труд профессора местного Университета св. Владимира Юлиана Андреевича Кулаковского под заглавием «История Византии» (Т. I (395–518). Киев, 1910). Это сочинение, являясь первым систематическим трудом по истории Византии в русской учёной литературе, естественно, встретило <...> радушный приём <...> Недавно, в текущем 1913 году, оно вышло уже *2-м изданием* <...> Имея в виду такое распространение данной книги, мы и выпускаем предлагаемые вниманию читателей заметки.

В своей книге профессор естественно должен был уделить достаточно места и церковным событиям, потому что в Византии рассматриваемого времени вопросы религиозные и вообще дела церковные имели доминирующее значение <...> Но, преклоняясь перед авторитетом учёного профессора, мы должны заявить, что изложение им <...> церковно-исторических событий нас не удовлетворило: оно отличается крайним субъективизмом, предвзятостью и вообще не стоит на высоте научных требований».

Читая текст Кулаковского, который следует летописному преданию («Historia ecclesiastica» Сократа) и четвёртому–пятому томам «Деяний Вселенских Соборов» Ж.-Д. Манси (Mansi), нужно обладать вывихнутым сознанием, чтобы упрекнуть его в «крайнем субъективизме» и предвзятости.

Клерикально настроенный фанатический вьюнош обладал, похоже, именно этой формой недуга. Гимназист седьмого класса, будто помешанный на личности св. Кирилла Александрийского, всегда представлявшегося морально сомнительной, идёт дальше:

«упрёк, брошенный св. Кириллу историком Сократом, проф. Ю. А. Кулаковский принимает без *критики*; между тем в виду источника, на который он ссылается, *критическое отношение* к нему является *обязательным научным требованием*».

На основании каких сведений полагается Кулаковскому критиковать источник о Кирилле, понять сложно, но ориентация гимназиста на церковный догмат, на житийную литературу (которая, по Георгию Гачеву, имеет поразительное сходство с плутовским романом — как провидение и случайность), а не на предание, очевидна. Речь о главе «Церковные дела» в связи с правлением императора Феодосия, деятельностью которого Кулаковский восхищался. И как не удивиться.



*Алексий Степанович Голубев
(архиепископ Ермоген)*

Православный кесарь, негодующий на нетерпимость Нестория, которого и церковные историки не слишком жалуют, поначалу сдерживает его пыл, а затем, когда властный и гордый Кирилл, к вопросам веры относившийся с горячностью, достойной лучшего применения, возбудил паству, — написал Кириллу резкое письмо, в котором осуждает его действия по «возмущению церковного мира и согласия». Поведение Кирилла Феодосий называет недостойным духовного лица. Но несмотря на это, Кирилл продолжал антинесторианскую агитацию, чувствуя поддержку папы римского. «Когда папа на местном Соборе в Риме осудил Нестория, то вслед за ним сделал то же и Кирилл в Александрии», — пишет Кулаковский.

Я не склонен вдаваться в дальнейшие подробности догматического конфликта между Несторием, Кириллом, Феодосием и папой. Дело кончилось тем, что Феодосий назначил летом 431 года Собор в Эфесе, потребовав, чтобы он не оказался партийным «ввиду того, что такие собрания единомышленников ведут только к схизмам и раздорам в Церкви».

Будто в воду глядел. Кирилл и Мемнон (епископ Эфеса), не обращая на это внимания, хитростью заставили императорского посланника Кандидиана, назначенного руководить собором, прочесть указ об открытии и громкими криками выразили фальшивые верноподданнические чувства императору, предав-

шись затем наслаждению тех самых партийных интриг. Император не выдержал и через два месяца подписал указ о низложении Кирилла, Мемнона и Нестория, которому благоволил. Всех троих — чтоб было тихо.

Несторий послушно удалился в монастырь близ Антиохии, Кирилл и Мемнон продолжали капризничать, интригуя уже против Феодосия, прибегая к подкупам. Только к 435 году Кириллу удалось добиться полного торжества над Несторием. Несторианство было предано анафеме, Кирилл стал историческим персонажем, на современный взгляд — даже забавным. Скандальность позабылась, «святость» сохранена, «Википедия» довольна.

Как же мог молоденький гимназист, в детстве принявший решение посвятить жизнь богослужению, с тринадцати лет прекративший поедать мясо и устроивший для себя в родительском доме («Замок Ричарда» на Андреевском спуске) подобие кельи, где усердно молился, читал тексты Отцов Церкви и всячески отрешался от мирской суеты, — как он мог допустить, чтобы его любимого церковного писателя, Кирилла Александрийского, столь секулярным способом высмеивали? Это было выше его и душевных, и духовных сил.

Голубев упрекает автора *паравизантийской хроники*:

«Если профессор Юлиан Андреевич Кулаковский, описывая действия св. Кирилла по отношению к новацианам, только без критики следовал Сократу, то <...> в описании репрессивных мер св. Кирилла против иудеев он позволяет себе не только *тенденциозно урезывать* источник, на который ссылается (а источником служит тот же Сократ), но и тенденциозно его *интерполировать*, и таким образом представляет читателю факт в *несоответствующем исторической истине освещении*».

Все эти эмоционально показательные курсивы в значительной степени двусмысленны: Кулаковский и не предполагал «тенденциозно урезывать» и «интерполировать». Он наслаждался материалом, следовал за современниками событий, поскольку больше было не за кем.

Помните, в июне 1913-го, когда коварный гимназист пыхтел над составлением антикулаковского пасквиля, Кулаковский заметил здравосмысленному Тимофею Лященко (будущему архиепископу Тихону) по поводу его труда о св. Кирилле, что не может «отрешиться от представления, что родоначальником

монофизитства был Кирилл, а Несторий — живи он во время Халкидонского собора — был бы именно православный в нашем смысле слова»? Юношеский максимализм, приправленный ритуальным фанатизмом, принудил Голубева совершить невнятный поступок, от которого некому его было оградить.

Обиженный за св. Кирилла гимназист завершает сочинение целым «Заключением»:

«В заключение скажем, что много тенденциозного и неверного заключается в писаниях профессора Ю. А. Кулаковского и о деятельности св. Кирилла на Третьем Вселенском соборе <...> Укажем здесь ещё на то, что проф. Кулаковский называет защиту св. Кириллом православия “агитацией”. Вообще, если были в высшей степени субъективно-тенденциозными рассмотренные нами писания профессора о св. Кирилле, то тут, скажем, ещё более рассеяно исторических неправд. *Об этом красноречиво свидетельствует — Mansi 4, 1211!..»*

В библиотеке несложно отыскать четвёртый том «Деяний Вселенских соборов» Иоанна Доминика Манси и посмотреть, что же именно извратил, по мнению Голубева, Кулаковский, тоже ссылающийся на место № 1211. Чтобы облегчить задачу, всё-таки приведу его:

«При величайшем единодушии собравшихся 198 епископов Несторий был осуждён и над ним изречено отлучение».

Аргумент? Через пару десятилетий так будут выноситься приговоры о преступной деятельности «право-троцкистского блока», и сам архиепископ Ермоген, бывший воспитанник 7-го класса Третьей Киевской гимназии, правда, по другому — щадящему — поводу, ощутит на себе всю силу таких «аргументов». Едва ли этот вегетарианец вспомнил тогда парадокс Уайльда: в жизни возможны только две трагедии, первая — не получить того, о чём мечтаешь, вторая — получить.

Мне хочется думать, что Голубев, взрослея и уясняя подлинную сущность церковного служения, всё-таки стеснялся юношеской дерзости по адресу в общем-то убедительно высказавшегося учёного. Достаточно посмотреть на его портрет.

Помимо чувства гадливости, посетившего Кулаковского в который раз (после пасквилья Ковальницкого), он всё-таки ощутил правоту: если тебя печатно ругают не только престарелые «пер-гюнты», значит ты вправду на коне, значит, доказателен и оригинален, у твоего письма есть учёное будущее.

Снова о санскритологе Кнауэре. Но — возвращаюсь к злосчастному Кнауэру.

Кнауэра в Университете не любили, и наверняка арест и высылка были скорее следствием его характера, чем его национальности. Просто хотели отделаться от неудобного коллеги, да и позлорадствовать так порой приятно.

Злорадная курсистка Тулуб нарисовала картинку.

«Этого Кнауэра ненавидел весь факультет и как лектора, и как человека. Ненавидели и его предмет, и учёные труды, хотя Кнауэр был автором единственной грамматики санскритского языка в России, человек с весом в научных кругах. Читал он самые скучные и трудные предметы нашего лингвистического цикла и делал их своим сухим и тяжёлым изложением ещё более неприемлемыми и скучными, чем были они на самом деле.

Это был тщедушный старикашка среднего роста, сгорбленный с узким красным лицом, с огромным крючковатым носом в малиновых жилках и рыжевато-седыми моржовыми усами, узкоплечий с белёсыми рыбьими глазами в красных подпухших веках.

Читал он тихо, невнятно что-то бормотал себе под нос, чмыхал, чихал, каждое слово коверкал своим сильнейшим немецким акцентом. Сам лингвист, он за 30 лет не научился мало-мальски правильному произношению, до того был бездарен и враждебно туп. На его лекциях обязаны были бывать все славистики, германки и романки, но аудитория его всегда пустовала.

Курсисток он ненавидел и не скрывал того, что был противником высшего образования [для женщин]. По убеждениям он был монархист чистой воды. Россию ненавидел и презирал, боготворил свою Германию. Своих сыновей он не отдал в русские университеты, а отправил учиться за границу. Каждый год эти сыновья приезжали на каникулы к отцу в Киев и вечно катались по Днепру на собственной моторной лодке, привезённой из Германии. И вот, когда началась первая империалистическая война, этих студентов арестовали, и вдруг оказалось, что они вовсе не студенты-филологи Боннского университета, а офицеры германского генерального штаба, производившие на Днепре промеры дна и военно-топографическую съёмку и собиравшие разные шпионские сведения».

Как мы понимаем, всё это досужие фантазии недовольной киевлянки, которая, как все экзальтированные дамы (как-никак писательница), любят сильные выражения.

Ещё в 1911-м Кнауэр подал прошение о выходе его сыновей — Фридриха Зигфрида и Гельмута — из российского под-

данства. Младшему, Гельмуту (1896–1980), высочайшее разрешение было дано 19.12.1912, старшему, Зигфриду (1894–1984), — 17.07.1914, за пару недель до начала войны. Опровержения Кнауэра, что дети не служат во вражеской армии, в расчёт не брались: Зигфрид учился на врача, Гельмут — на физика-минералог.

«Тогда-то, — имея в виду осень 1914-го, продолжает Тулуб, — нас избавили от их почтенного папаши, отправив его в ссылку в Сибирь, в город Томск, где он сразу получил кафедру санскритологии в тамошнем университете». Увы, как я покажу дальше, это тоже фантазия.

«Но всё это случилось несколькими годами позже, и мне, и моим однокурсникам пришлось выпить горькую чашу — слушать его лекции.

В конце каждого семестра все курсистки, слушавшие данный предмет, должны были подать профессору свою лекционную книжку, в которой он делал пометку, что данная слушательница действительно посещала его лекции и прослушала полный курс. Большинство профессоров заполняли матрикулы механически, но Кнауэр сделал и из этой формальности камеру нервотрёпки, как метко выразилась одна из наших слависток: он долго вглядывался своими рачьими бесцветными глазами в каждую из нас и потом шамкал:

— Ниэ! Вы у мене лекций не слышаль. Вы хотить держайть экзамен, не посещавши мои лекций, абер такой нумер пройдьют. О, ниэ, не пройдьют! И возвращал матрикул обратно.

Поэтому приходилось отсиживать его лекции, как тяжёлую повинность, не слушая его чмыханья и бормотанья, а готовясь к другому экзамену или читая интересную книгу. Проверить, что мы делаем — он не имел права, потому что это была не гимназия, а те, кто готовились идти к нему на экзамен, сидели на первых партах, чтоб намозолить ему рыбы глаза, а мы за их спинами чувствовали себя совершенно спокойно. Но и при таких ухищрениях в его аудитории никогда не бывало больше 30–40 человек, то есть не более 10% тех, кто должен был слушать данный предмет.

И вдруг когда мы были на втором семестре, после двухчасовой лекции Кнауэра назначили лекции Якубаниса по эстетике. Чтoб попасть в аудиторию на лекцию Якубаниса, многие стали приходить “на Кнауэра” за час, а то и за два до эстетики. Кнауэр удивился: почему это в начале его лекции в аудитории пусто, а после перерыва яблоку негде упасть. И притом приходят те, кто давно сдал у него ненавистную “инду”. Он даже спросил декана [Сонни], что это значит.

Тот расхохотался.

— Мойн либер герр Кнауэр: ларчик очень просто открывается. После вас читает такой блестящий оратор, как Генрих Якубанис, да ещё такой предмет, как эстетика. Понятно, что всем нашим фрейлейн этот молодой красавец куда интереснее, чем такой поштенный и старый шеловек, как вы. Им только и подавай их наслаждение — господина Якубаниса.

Кнауэр взбеленился. На следующий раз он приказал запереть на ключ все три двери своей аудитории. Прихожу я на курсы, хочу войти, а двери на замке. А те, кто уже “сидит на Кнауэре”, не могут выйти из аудитории ни в уборную, ни в буфет...

После лекции пошли толпой жаловаться декану, пригрозили корреспонденцией в газеты и в сатирические журналы. Декан хохочет, начинает нас журить за то, что мы обижаем старикашку, но я самым почтительным образом доказала ему, что старикашка читает на два с минусом и так ловко представила его, что все так и покатались от хохота.

Больше нас не запирали. Кнауэру отдали другую аудиторию поменьше, а чтение его лекций перенесли на другие часы».

Кнауэр не понимал двух простых вещей. Во-первых, он, к сожалению, не дожил, чтобы накрепко усвоить фразу: «Сейчас к людям надо помяхше, а на вещи смотреть ширше!», во-вторых, не знал, что *лагідне теля двох маток ссе*. Вот и очутился в Сибири, где холодно, медведи, хотя мог остаться в Киеве, где тепло, яблоки, — как многие покладистые немцы. Неужели неясно: барышня и санскрит несовместны?

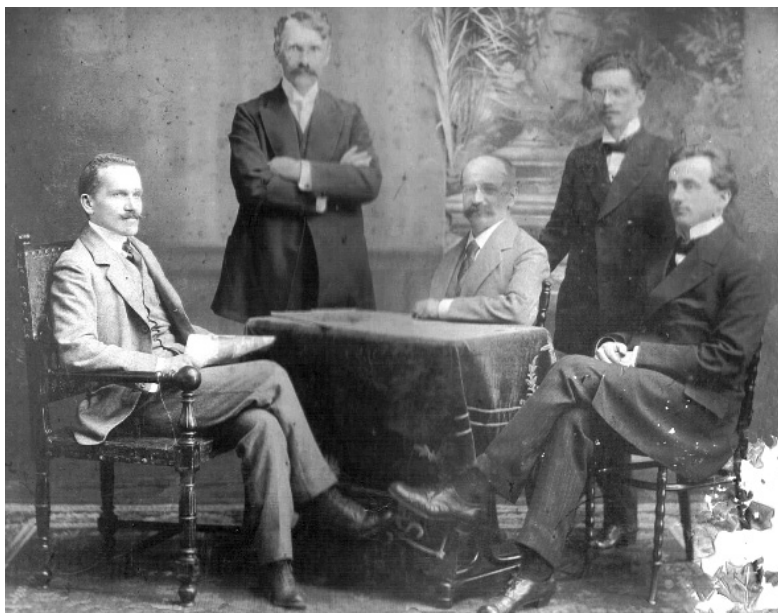
Можно, пожалуй, с этой точки зрения понять Сонни, когда он гаденько потирал маленькие ручки в письме Василию Данилевичу:

«Большая неприятность: Кнауэра вышвырнули из Университета и с курсов, то есть пока заставили его подать рапорт о болезни по текущий и на наступающий семестры. Дивны дела Твои, Господи!»

Впрочем, некогда любимого курсистками Лециуса тоже выслали из Нежина на Остре в Самару на Волге.

Дальше с Кнауэром дело было так. Товарищ министра народного просвещения прислал попечителю Киевского учебного округа Алексею Деревницкому эпистола от 17.11.1914:

«считаю долгом просить ваше превосходительство обратиться, частным образом, к заслуженному ординарному профессору Императорского университета св. Владимира Кнауэру с предложением подать ныне же рапорт о болезни и, затем, не появляться ни в университете, ни в Киевских высших женских курсах во всё время войны. Если бы профессор



*Профессор А. И. Сонни с учениками-поляками. Киев, май 1914 г.
Слева направо: Людвик Яновский, Витольд Клиндер, Адольф Сонни,
Орест Яневич, Генрих Якубанис. Фотография висела в рабочем кабинете Клиндера
до его смерти в 1962 году. Публикуется впервые с любезного разрешения
о. Генриха Папроцкого (Варшава)*

Кнауэр не пожелал исполнить этот добрый совет, то прошу Вас, милостивый государь, предложить ему официально подать прошение об отставке и, в случае подачи такого прошения, — представить профессора Кнауэра к увольнению от службы без прошения, предварительно предупредив его об этом».

Кнауэр, конечно, послушался, и 24 ноября написал рапорт о временном освобождении от профессорских обязанностей.

Мне думается, не в последнюю, а, может, даже в первую очередь причиной опалы Кнауэра был акт подписания им знаменитой «Записки 342-х учёных» — первого в истории империи документа, в котором преподаватели выражали недовольство существующими порядками, в частности, состоянием вузов. Вообще-то вполне гражданский поступок.

«Высшие учебные заведения — эти чуткие показатели культурного



Великий князь
Константин Константинович

уровня страны, определяющие место и значение её среди других стран, — приведены в крайнее расстройство и находятся в состоянии полного разложения. Свобода научного исследования и преподавания в них отсутствует. Оказавшееся столь плодотворным у всех просвещённых народов, начало академической свободы у нас совершенно подавлено. В наших высших учебных заведениях установлены порядки, стремящиеся сделать из науки орудие политики. Правильное течение занятий постоянно прерывается студенческими волнениями, которые вызываются всею совокупностью условий нашей государственной жизни» (*Наши дни*, 1905, 19 янв.).

Так ли на самом деле было всё, утверждавшееся в недлинной «Записке 342-х», или не так, но за солидарность с ней уже в 1905-м можно было запросто отправиться в Сибирь. Но главное в Записке — убеждённость, что «академическая свобода несовместима с современным государственным строем России. Для достижения ее недостаточны частичные поправки существующего порядка, а необходимо полное и коренное его преобразование». Это крамола, в 1905-м по *пугливому недосмотру* власти прощённая. Вступление Кнауэра в созданный по инициативе академика Вернадского Академический союз — организацию левой и либеральной профессуры — тоже ничем хорошим закончиться не могло. Наверняка через девять лет Кнауэру эту свободомысленную подпись и это членство *не забыли припомнить*.

Впрочем, германофобия с осени 1914 года коснулась всех сторон жизни учебных заведений — и состава учащихся, и содержания программ, и языка преподавания. Распоряжением Министерства просвещения от 3.09.1914 отстранялись от занятий студенты университетов — германские и австрийские подданные до перехода их в русское подданство; 5.11.1914 министр запретил выполнение выпускных (кандидатских) сочинений на иностранных языках; труды, составленные не на русском языке, возвращались без рассмотрения. Исключение было сделано для юридического факультета Университета св. Владимира, где уже были приняты к рассмотрению два таких сочинения: соискателям дали отсрочку на полгода для перевода текстов на русский.

Столичный — питерский — университет показал пример: изгнал из своих почётных членов берлинского профессора юриспруденции Франца фон Листа. Это вызвало цепную реакцию в других университетах; исключены из почётных членов Вильгельм Вундт, Вильгельм Оствальд, Макс Планк; из Университета св. Владимира в заседании 17.04.1915 изгнаны восемь почётных членов: Мориц Бенедикт (Вена), Бертольд Дельбрюк (Йена), Карл Фридрих Бругманн (Лейпциг), Карл Флюгге (Бреслау), Густав Фридрих Шмоллер (Берлин), Карл Иммануил Гёбель (Мюнхен), Иоганн Эрнст Освальд Шмидеберг (Страсбург) и член Королевской Прусской академии наук, профессор Берлинского университета Симон Швенденер. Кулаковскому, который вынужденно голосовал за такое решение, наверняка подумалось: хорошо, что Теодор Моммзен († 1903) и Карл Крумбахер († 1909), избранные в почётные члены Университета по его предложению, не дожили до этого позора.

Распоряжением «исправляющего дела» («и. д.») министра просвещения графа Павла Игнатъева, бывшего киевского губернатора, 65-летний действительный статский советник Кнауэр 24.12.1914 был арестован и помещён в камеру Лукьяновского тюремного замка (в «Сан-Лукьяно», как его называли киевляне). Находившийся в Киеве в это время академик Перетц, снесясь с руководством Академии наук, вступил в переговоры с киевским губернатором Николаем Суковкиным (расстрелян чекистами вместе с Флоринским 2.05.1919), но тот отказал довольно грубо, не пожелав проверить данные о сыновьях Кнауэра. В результате 8.01.1915 Кнауэр сослан в Томскую

губернию, в город Каинск (прибыл 16.02.1915), где смог устроиться преподавателем иностранных языков в реальное училище (его в 1912-м закончил мой прадед губернский секретарь Иван Павлович Назаров, † 25.06.1922).

За Кнауэра вступились другие подписанты «Записки 342-х»: академики Карпинский, Ольденбург, Перетц, Шахматов, обратившись к президенту Академии наук великому князю Константину Константиновичу (который пострадал вместе с семьёй, пробираясь военным августом 1914-го из Германии в Россию) с просьбой оказать содействие несправедливо сосланному. Тяжело больной великий князь, поэт «К. Р.», внял просьбе, и 21.01.1915 обратился к министру просвещения. Он указывал, что переход детей Кнауэра в новое гражданство был (в чём не сомневались), поскольку выход из российского подданства скреплён высочайшей рукой, а доказательств, что они воюют против России, не было. Просил об облегчении участи и переводе учёного в Казань или другой университетский город европейской части России, чтобы тот мог закончить издание санскритского текста, порученное ему Академией.

Граф Игнатъев 28.02.1915 написал великому князю, что МВД распорядилось перевести Кнауэра 22.04.1915 в Томск, где он существовал на средства Литературного фонда (Общества для пособия нуждающимся литераторам и учёным). В университет его не взяли. 23.05.1915 Департамент общих дел МВД сообщал, что арест с имущества профессора снят и ему вновь дозволено жить в Киеве, но решение осталось на бумаге: Константин Константинович вскоре умер († 15.06.1915), и дело об освобождении Кнауэра затормозили.

Летом 1915-го ректор Томского университета Михаил Попов и совет профессоров отказали Кнауэру в праве работать в университетской библиотеке: вероятно, он им тоже сильно не понравился. А библиотека в университете была хорошая. Любопытно, что в том же 1915-м она пополнилась завещанной Томску домашней библиотекой Платона Кулаковского (всего 973 названия в 1078 томах, в частности, комплект журнала «Славянский век» за 1901–1904 годы). Сложно сказать, почему именно в этот университет Платон завещал книжное собрание.

Уже по прибытии в Каинск Кнауэра осматривал декан медицинского факультета профессор Иван Левашов, обнаружив-

ший у него, кроме сахарного диабета, множество застарелых болячек.

3-го мая 1917 года Кнауэр подал прошение о переводе его в Петроград, Москву или в любой другой европейский город, поскольку в условиях сибирского климата заработал воспаление почек и ослеп. 12.06.1917 ему было объявлено о разрешении вернуться в Европейскую Россию и проживать в любом месте, кроме Киевского военного округа и «театра военных действий». Бюрократия, а затем октябрьские события помешали этому: 4.01.1918 Генеральный секретариат Центральной Рады разрешил санскритологу вернуться в Киев, но этой бумажки он уже не застал: скончался 22 декабря и 27-го был похоронен на томском Вознесенском кладбище. Могила не сохранилась.

Ровно тридцать лет — 1884–1914 — прослужил Кнауэр профессором в киевском университете, с 1912-го исполняя обязанности внештатного профессора. Не будучи благородными девицами вроде Зинаиды Тулуб, кое-чему научились у него и будущий академик АН УССР филолог-славист Евгений Константинович Тимченко (1866–1948), и академик АН УССР санскритолог Михаил Яковлевич Калинович (1888–1949), и создатель Одесского археологического института филолог-классик Сергей Степанович Дложевский (1889–1930). Да, конечно, не только они

Смерть жены. Маленькая заметка в траурной рамке, помещённая — как было заведено — на первой странице «Киевлянина» за вторник, 16.12.1914:

Муж и дети с глубоким горем извещают друзей и знакомых,

что **Любовь Николаевна Кулаковская**

(урождённая Рубцова)

скончалась после тяжкой болезни 15 декабря,

в 6 час. 45 мин. вечера.

Панихиды на дому в 1 час. дня и 7 час. вечера

В номере за четверг, 18.12.1914, на том же месте дополнено:

«Вынос тела во Владимирский собор состоится сегодня, 18 декабря, в 9 час. утра. После литургии и отпевания тело будет перевезено на вокзал Киев I для погребения в г. Вильно».

На следующий день:

«Муж и дети покойной Любви Николаевны Кулаковской просят своих друзей принять выражение самой глубокой благодарности за то доброе, сердечное и любовное внимание и ту добрую ласку, которые так щедро были проявлены ими в горестные дни невозвратной утраты милой жены и нежной матери».

Любовь Николаевна, страдавшая раком матки, была погребена в Вильне, подле родителей.

Сохранился набросок текста надгробного слова при погребении Любви Кулаковской, произнесённого 18.12.1914 на морозном вокзальном перроне другом семьи, председателем Киевского религиозно-просветительского общества профессором-протоиереем Иоанном Корольковым. Я не смог разобрать на бумажке, исписанной бисерными квочками-буквочками, ни слова. Через два дня на виленском Евфросиниевском кладбище состоялось погребение.

Николай Бубнов, декан факультета, тоже овдовевший, вспоминал о 1915 годе:

«На всё я стал смотреть сквозь призму смерти. Из-за улыбки на лицах молодёжи я ощущал запах гления и шелест червоточины <...> Когда ко мне зашёл мой товарищ по службе, профессор классической филологии Ю. А. Кулаковский, геройски год перед этим перенесши смерть своей жены, чтобы взять у меня сочинение одного латинского церковного писателя начала Средних веков, я прямо диву дался, как это он может интересоваться подобной червоточиной, совершенно забывая, что ведь и я, как историк, всё время возился с покойниками, благо ничем не проявившими своих неприятных сторон, но терпеливо позволявшими нам, историкам, утверждать о них иногда то, о чём они и не думали».

Если, по утверждению Бубнова, для него «ценное душевное благо съёжилось, а взамен его наука ничего не дала, что могло бы в подобных случаях поддерживать дух, кроме разве мифистофельской улыбки», — для Кулаковского в научных занятиях было спасение от открытий, что ты, в сущности «букашка, неизвестно для чего живущая и страдающая». Он продолжал «Историю Византии», а Бубнов главные сочинения к тому времени уже сочинил.

Дело профессора Лециуса. Действительного статского советника, доктора классической филологии, профессора Иосифа-Эрнста Лециуса (1860–1931), о котором выше шла



Нежин. Историко-филологический институт князя Безбородко, фото 1890-х

речь, — полную человеческую противоположность Кнауэру — ожидала та же участь, что и Кнауэра, но пострадал он в моральном отношении всё-таки меньше.

После того, как Лециус в 1911 году покинул Университет св. Владимира и до сентября 1913-го служил директором Эстляндской дворянской гимназии в Ревеле (Таллинн), с сентября 1913-го по сентябрь 1914-го занимал должность директора Нежинского историко-филологического института, причём пёлся об увеличении финансирования, строительстве отдельных помещений для библиотеки и гимназии, гимнастического манежа, восстановлении юридического лица, упорядочении институтского парка, по дорожкам которого Гоголь бегал вприпрыжку, а Константин Федосьевич Штеппа степенно ступал.

Как выяснил П. Моцияка в специальной статье (2013), накануне Великой войны жандармское управление установило надзор за перепиской немца Лециуса. Перлюстраторы трудились слаженно. Нежинский полицмейстер уже 7.08.1914 доносил черниговскому губернатору Илье Стерлигову:

«В последние дни в городе Нежине распространились слухи, что две дочери директора Нежинского историко-филологического института князя Безбородко — Иосифа Андреевича Лециуса находятся в настоящее

время в Германии и поступили там в сёстры милосердия на театр военных действий, ухаживая за ранеными Германской армии, действующей против России. Население города Нежина вообще и ранее как-то недружелюбно относилось к Лециусу, теперь же, ввиду того, что он по происхождению немец и под влиянием распространившихся подобных слухов, среди населения появилось прямо враждебное настроение против него <...> Лециус возбудил враждебное отношение к себе со стороны большей части населения города Нежина тем, что несочувственно отнёсся к патриотической манифестации, бывшей здесь 22 минувшего июля по случаю объявления в тот день высочайшего манифеста о войне с Германией».

Далее полицмейстер писал, что согласно рапорту Лециуса, «манифестанты якобы “ворвались” в институтский двор и “ломались” в парадную дверь главного здания с целью взять портрет государя императора, и просил о недопущении на будущее время манифестантов в институтский двор». Губернатор Стерлигов, в свою очередь, обратился к попечителю Киевского учебного округа Деревницкому, что «Лециусом был возбуждён вопрос о ликвидации в институте музея Н. В. Гоголя» (хотя это передёргивание фактов: Лециусу зачем-то понадобилось изменить статус библиотечной комнаты, в которой хранились несколько предметов, принадлежавших Гоголю, и называть её комнатой имени Гоголя), что «несколько недель после этого венки, возложенные в день основания музея, по приказанию Лециуса были перенесены к отхожему месту, коим пользуются профессора», прибавив к этому, что «преследование всеми доступными средствами убеждённых русских людей и нежелание стать близко к представителям русского общества в Нежине вызвали крайне недружелюбное отношение к директору». Губернатор пришёл к выводу, что «пребывание на посту руководителя будущих педагогов человека подобного (проукраинского. — А. П.) направления может повлечь крайне нежелательные для русской школы последствия», поэтому просил Деревницкого перевести Лециуса в какое-нибудь другое место. Стерлигов приложил к письму справку, в которой упоминалось, что Лециус в 1907–1909 годах, будучи профессором Университета св. Владимира, принадлежал к группе левых профессоров, поддерживая кандидатуру Михаила Грушевского на занятие кафедры русской истории.

Как обнаружила И. Черказьянова, Лециус охранял имуще-



*Профессор И. А. Лециус (в центре крайний справа)
среди слушательниц Высших женских курсов. Киев, Фундуклеевская, 51, март 1910-го
Публикуется впервые из собрания Виктора Короткого*

ство института от «патриотических» выходок нежинских хулиганов, устроивших монархический дебош на его территории. В ответ правые круги сверстали против него обвинение в прогерманстве.

Министр просвещения Лев Кассо, предшественник Игнатъева, 10.10.1914 отстранил его от директорства, и семья (больная жена и шестеро дочерей) 24.12.1914 выехала в Самару, где Лециус, штатский генерал и знаток древностей, служил сначала конторщиком в частном банке, а после — в открытом по решению Комитета членов Всероссийского учредительного собрания Самарском университете (1917–1918) — профессором кафедры классической филологии и древней истории. Вместе с немецкими войсками выехал из России, учительствовал в гимназиях Берлина (1918) и Галле (1924), с 1920-го — преподавал русский язык и литературу в Гальском университете.

Кнауэр пострадал в силу неуживчивости, Лециус — в результате доноса, излишней инициативности и приверженности украинству. Что они были этническими немцами, как ни странно, было поводом, а не причиной.

Резкие времена как никогда удобны и для сведения счётов, и для восстановления справедливости. Причём, иногда первое



Георгий Нарбут. Аллегория, 1914

является популистским следствием второго: тихо арестовать, чтобы шумно выпустить. В нашем случае — позорных действий коллег по университету (в случае с Кнауэром — преимущественно Степана Голубева, настаивавшего на его изгнании по национальному признаку) и провинциальных «патриотических» хулиганов — роль спасительницы выполняла, как могла, Академия наук. На её Общем собрании 15.05.1917 приняли резолюцию:

«В эпоху, когда Министерство народного просвещения старается загладить грехи недавнего прошлого и несправедливости по отношению к опальным профессорам — уместно было бы напомнить г. министру народного просвещения о печальной части профессора Кнауэра и профессора Лециуса и просить о возвращении их на места и должности, которые они вынуждены были оставить под давлением политики старой власти».



Красная Поляна. Церковь св. Харламтия, фото 1910-х

Мы-то понимаем, что не столько этой самой политики, сколько действий вполне конкретных лиц, пользовавшихся удобством прикрытия «политикой старой власти». Разве было и будет иначе, при властях новых и новейших?

В Киеве антигерманские настроения были, увы, на бытовой высоте. Яков Целлермайер, австриец, потерял «Палас Отель» на Бибииковском бульваре (сегодня «Премьер Палас»), у немца Карла Генриха Шульца отняли пивной завод на Демеевке и сослали в Енисейскую губернию.

Милитарное. К концу 1914-го — началу 1915-го

«жизнь стала быстро дорожать. Стало не хватать продуктов. Нужда росла, росла и распутищина, а войне не было видно конца. В 1916 году говорили почти все и всюду на три темы: безобразия распутищины, дороговизна жизни, бесконечность войны.

Но всё больше и больше начинали говорить и на четвёртую тему — революция. Почти всем стало ясно, что не может не быть революции, и только гадали, скоро ли она будет. Все ждали её» (Павел Блонский).

(Мне всегда казалось, что Распутину просто не повезло с фамилией: был бы он, скажем, Петров, Иванов или Новых, кто бы склонял на всяком углу? Семантика фамилии на исторических перекрёстках что-то значит. Хотя царь переименовал Распутина в Новых, но без толку. Скажете, «Барков» произошёл из бардака (по Битову) — или, как по мне — от барокко,

а Распутин от распутства? Сергей Николаевич Дурьлин был хорошим писателем и историком искусства. Семантический перегрев фамилии случается.)

В 1914-м, 1915-м и 1916-м годах летние месяцы Кулаковский проводит в Красной Поляне. Летом 1914-го супруга по нездоровью не отважилась в путешествие на Кавказ, и он занимался там хозяйством в одиночку. Но после смерти жены, последовавшей почти день в день через год после кончины старшего брата, вакационное время 1915–1916 годов Кулаковский, невзирая на войну (её удобнее переживать издалека) проводил в Красной Поляне, возможно, с сыновьями.

Грустью и сожалением о судьбе валящейся с привычных исторических катушек России исполнено письмо Кулаковского Иконникову от 17.07.1915:

«Если я так запоздал с своим поздравлением [к Дню рождения], то главной тому причиной было то, что моё передвижение из Уфимской губернии сюда превратилось в очень длинное путешествие с переправами в Туапсе, Сочи, Адлере, и, выехав из Шафранова 5 числа, мы только 14 вечером приехали в Поляну, причём ехали по знаменитому краснополянскому шоссе под непрерывным дождём. На пароходе от Самары до Царицына с нами ехала 1000 австрийцев, которых препровождали из Симбирска в Ставропольскую губернию на полевые работы. Их сопровождали прапорщики и 40 человек солдат с ружьями. Были то большею частью венгры, молодёжь, такие благодушные и простые, жалкие люди. Я старался говорить с ними, но собственно это не разрешается, так как допускаются только русские разговоры. Их кормили хорошим хлебом (по 4 фунта) и кусками колбасы, а в Царицыне приготовили обед, которого они ожидали (когда наш поезд уходил), сбившись в кучу, как стадо. Публика относилась к ним сочувственно и с состраданием. Невольно думалось, так ли живётся нашим пленным среди озверелых немцев?

В Шафранове нам жилось хорошо, но скучно. Удручали и тяжкие вести с войны. В конце нашего пребывания приехал с войны к семье очень милый и весёлый артил[ерийский] генерал[-майор] [Витт Александрович] Дудин (командир 15 [артиллерийской] бригады [15 пехотной дивизии]). Он поддерживал настроение своей бодрой уверенностью, что наступит время, когда мы опять погоним немцев, как уже гнали их осенью. Дай-то Бог! Но вести по-прежнему невесёлые, и сегодня здесь передавали, как слух, что немцы вступили в Люблин.

Чудесная природа Красной Поляны (когда не идёт дождь) подыма-



Красная Поляна. Краснополянская дорога из Сочи, фото 1920-х

ет угнетённое настроение. Мы живём в своём уютном доме и любимся на зелёные склоны Аибги. Приезжей публики почти что нет, как нет и хозяев множества дач, которые здесь выстроились и строятся. Мало народа и в Туапсе, и в Сочи. Мы пробыли по два дня в этих красивых приморских пунктах. Стояли свежие жаркие дни, и море манило вдаль безбрежной лазурью. Но на нём нет движения, и лишь изредка без расписания и вопреки срокам ходят малые пароходы какого-то частного общества. Интерес к военным событиям повсюду огромный, и везде, где был за это время, видел “Русское слово”.

Сегодня в здешней греческой кофейне, где красуется, между прочим, портрет Козьмы Крючкова на стенке, стали получаться телеграммы Агентства, так что можно будет скорее осведомляться о событиях, чем было это до сих пор. В бытность в Сочи узнал, что поблизости имеется богатая немецкая колония. Куда же залезли эти немцы! Много немцев и в Уфимской губернии, [а] не только в Саратовской и Самарской. Не верю я, что возможно ликвидировать немецкое землевладение, что так просто решало “Новое время”.

Хотя здесь очень хорошо жить, и есть хозяйские заботы, но хочется поскорее вернуться на место постоянного жительства, чтобы можно было в работе найти отвлечение от тягот настоящего».

Человек, написавший эти строки, не «довоенный» Кулаковский — эмоционально живой и энергичный. Судьба импе-

рии теперь волнует его больше собственной. Но, подточенный кончинами племянника, брата, шурина и супруги, теперь, во время войны, он всё ещё боится потеряться сам и беспокоится о сыновьях. С Россией уже как бы всё было понятно: имперское дело живо двигалось под откос.

Соболевский — Кулаковскому, 28.08.1915:

«Изумительно много измены и готовности предать Россию кому угодно, совсем как в 1611–1612 гг. Кроме старых изменников 1905 г. выскакивают новые. Во главе их ваш киевский Савенко. Этот прохвост мне никогда не внушал доверия, но я всё-таки не ожидал от него такого прыжка, как он сделал от украинофобства к украинству, от юдофобства к защите еврейского равноправия.

Конечно, он не один прыгнул так далеко, но другие, как Шульгин и В. Бобринский, уже давно известны как люди зависимые, один от евреев, другой от Министерства внутренних дел. Как смотрят теперь на Савенко киевские националисты? Следовало бы попросить его сложить с себя звание члена Гос. думы, а сверх того, исключить из Клуба националистов».

Через полтора года, 2.03.1917, в день отречения, Николай II запишет в дневнике сакраментальное: *«Кругом измена и трусость и обман»*.

Знал бы Кулаковский, что ещё в мае 1915-го в ответ на письмо Успенского Васильев назвал его имя в числе ведущих российских византиноведов.

Перечень составлен по алфавиту:

«Посылаю Вам список имён лиц, могущих быть полезными при замещении будущих кафедр византиноведения:

- 1) Безобразов П. В., магистр всеобщей истории (Петроград);
- 2) Васильев А. А., доктор всеобщей истории (— “ —);
- 3) Кулаковский Ю. А., доктор римской словесности, заслуженный профессор (Киев);

- 4) Лопарёв Х. М., магистр всеобщей истории (Петроград);
- 5) Пападимитриу С. Д., доктор греческой словесности (Одесса);
- 6) Регель В. Э., магистр всеобщей истории (Юрьев);
- 7) Черноусов Е. А., приват-доцент Университета (Харьков);
- 8) Шестаков С. П., доктор греческой словесности (Казань);
- 9) Шмит Ф. И., магистр истории искусств (Харьков);
- 10) Яковенко П. А., приват-доцент Университета (Юрьев).

Я здесь не упомянул о лицах, занимающих уже профессорские



Факсимильное воспроизведение приписки Николая II к приказу от 23.08.1915
в Памятной книжке для нижних чинов 1916 года

кафедры по родственным дисциплинам, например, И. Д. Андреев в Петрограде и А. П. Доброклонский в Одессе по истории Церкви, В. Н. Бенешевич по ист[ории] церковного права в Петрограде, по искусству Д. В. Айналов в Петрограде и т. д.

Из десяти вышеупомянутых лиц, если не считать даже Хрисанфа Мефодиевича Лопарёва, который служит в Публичной библиотеке и никогда не преподавал, то и тогда остаётся девять лиц.

Комбинируя последних, можно на первое время более или менее заполнить кафедры византиноведения во всех российских университетах и положить хоть некоторое начало предпринятому делу. Положение, таким образом, вовсе не отчаянное. Яковенко кончает печатание диссертации. Черноусову в Харькове может помочь Ф. И. Шмит. Если же кафедры действительно будут учреждены, то ученики, я уверен, найдутся, в этом не может быть сомнения».

Надежды на открытие византиноведческих кафедр не оправдались практически до сих пор: всё держится энтузиастами.

Саратовская эвакуация. 23-го августа 1915-го заботы верховного главнокомандующего принимает на себя Нико-



Саратов. Императорский университет, фото 10.06.1909

лай II: «с твёрдою верою в милость Божью и с непоколебимою уверенностью в конечной победе будем исполнять наш святой долг защиты Родины до конца и не посрамям земли русской», — приписал он от руки на печатном экземпляре приказа по армии и флоту: автограф воспроизводился в календарных книжках факсимильно.

Беликий князь Николай Николаевич, с начала войны бывший верховным главнокомандующим, был смещён и отправлен наместником на Кавказ. Алексей Алексеевич Брусилов писал:

«Было общеизвестно, что Николай II в военном деле ничего решительно не понимал и что взятое им на себя звание будет только номинальным, за него всё должен будет решать его начальник штаба. Между тем, как бы начальник штаба ни был хорош, допустим, даже гениален, он не может, по существу дела, заменить везде своего начальника, и <...> отсутствие настоящего верховного главнокомандующего очень сказалось во время боевых действий 1916 года, когда мы по вине верховного главнокомандования не достигли тех результатов, которые могли легко повести к окончанию победоносной войны и к укреплению самого монарха на колебавшемся престоле <...> Принятие на себя должности верховного главнокомандующего было последним ударом, который нанёс себе Николай II и который повлёк за собой печальный конец его монархии».

Конечно, в дикой стране преступно быть слабым и недо-



Саратов. Панорама, фото 1910-х

верчивым правителем и, время от времени понимая, что «кругом измена и трусость и обман!», полагаться на волю Божию всем телом было, конечно, неосмотрительно. Ариадна Тыркова-Вильямс, жена британского разведчика и полиглотта Гарольда Вильямса, после февральской революции гласная Петроградской городской думы, в дневнике от 12.12.1916 записала:

«Упорно говорили, что Брусилов умолял государя наступать, видя в этом военную необходимость, и ещё упорнее уверяли, что он получил не только резкий отказ, но и револьвер — можете, дескать, стреляться. Конечно, оказалось вздор (последнее), но как слух характерно».

Война слухами полнится в гораздо большей степени, чем земля. А кто боится других и не обладает полной уверенностью в себе, совершает ошибку за ошибкой.

Евгений Спекторский, ректор Университета в 1918–1919 годах, вспоминал, что к середине 1915 года

«положение на театре войны улучшилось уже настолько, что Киеву больше не угрожала опасность занятия неприятелем. На заседании совета профессоров Ю. А. Кулаковский произнёс горячую речь о том, что Университет св. Владимира может находиться только в Киеве. Ректор проф. Н. М. Цытович поехал в ставку, чтобы лично сделать ген. Иванову представление о бесцельности эвакуации университета. Тем не менее, распоряжение не было отменено. В качестве мотивов была приведена необходимость

общей разгрузки Киева, а также нежелательность пребывания в непосредственном тылу армии студенческой массы, легко поддающейся всякой агитации. Таким образом, Университет св. Владимира за исключением медицинского факультета, был эвакуирован, как было сказано в официальном распоряжении, “на левый берег Днепра”, то есть, как оказалось фактически, на правый берег Волги, в Саратов. Выбор этого университетского города был сделан по соглашению с советами обоих университетов».

Декан Бубнов вспоминал, что в сентябре 1915-го, когда Университет перебирался в Саратов, «всё в России было в величайшем порядке», цены на жизненные продукты, хотя и подымались понемногу, но всё же были низкими, очередей и карточек не было.

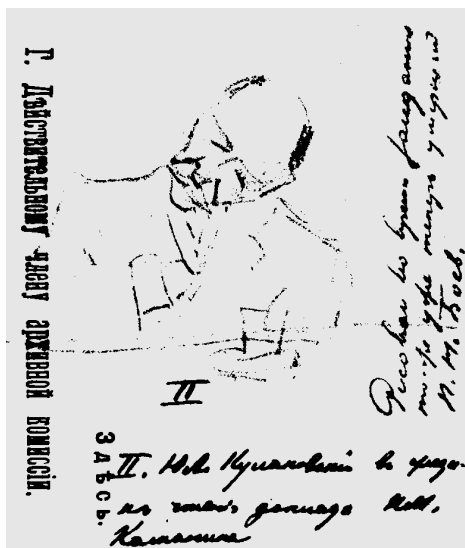
«Саратов, разумеется, теперь уже не “глушь” грибоедовских времён, а большой город, который в то время даже имел уже начало университета в виде медицинского факультета. Архитектура зданий медицинского факультета и оборудование их представляли собой последнее слово строительного искусства и медицинской техники, а строились они ещё в то время, когда и на университет можно было тратить большие суммы. Немудрено, что в этом отношении Саратов решительно побивал старые университеты вроде Московского, Петроградского, Киевского и других».

В Саратове Кулаковский как член совета, на котором читался какой-то доклад Ивана Павловича Козловского (1869–1943), получает в подарок его двухтомник «Первые почты и первые почтмейстеры в Московском государстве: Опыт исследования некоторых вопросов из истории русской культуры второй половины XVII века», выпущенный в Варшаве в 1913-м (первый том — основной текст, второй том — приложения; каждый по полтысячи страниц с таблицами и картами) и защищённый как докторская диссертация. Источниковед, выпускник Университета св. Владимира, Козловский, тогдашний секретарь историко-филологического факультета Варшавского университета, в 1917-м станет директором Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине.

Чувствовал себя Кулаковский неважно. Борис Варнеке писал Аполлону Грушка, многолетнему декану историко-филологического факультета Московского университета, 18.09.1915:

«Летом видел Юлиана Андреевича; у него кровохарканье, от которого он лечился на кумысе. Теперь получил от него 4 письма. Поездка в глушь, в Саратов, совсем доконала его, бедного».

Пётр Боев.
 «Ю. А. Кулаковский в середине
 чтения доклада
 И. М. Каманина»,
 Саратов, осень 1915-го



За 22 апреля 1919-го Иван Бунин в «Окаянных днях» напишет, что Варнеке «берёт пайки хлебом с плесенью, тухлыми се­лёдками, гнилыми картошками».

Не только Варнеке был вынужден к этому, но в отношении профессора это свидетельство особенно подчёркивает «когни­тивный диссонанс».

Но ещё более должно удивлять, что в 1930-е Варнеке стан­ет заслуженным деятелем науки УССР, а в начале 1920-х бу­дет ректорствовать Одесской академией художеств (ныне «Грековка»). Студент «Грековки» 1930-х Валентин Поляков вспомнит, что «величественный Борис Васильевич Варнеке чи­тал историю костюма и лекции под названием “Эволюция ху­дожественных форм”». Поговаривали, что в своё время у него был роман с Айседорой Дункан. Варнеке не отрицал и только улыбался — чего не бывает».

Кулаковский — Соболевскому, 17.11.1915:

«Действуем в Саратове и, как кажется, довольно бодро. Познако­мился с редактором крайне правой газеты “Волга”. Я недоумеваю, следу­ет ли бить теперь в набат? Разве левые и Прогрессивный блок не проявля­ют единодушия в твёрдом желании довести войну до хорошего конца? Разве они не работают на общую пользу? Разве есть какая измена? Отку-

да эти слухи о готовящейся новой революции и во имя чего она могла бы теперь возникнуть?

То обстоятельство, что состав министерства так неустойчив, свидетельствует о неустойчивости на вершине государственного строя и обнаруживает какие-то трения, весьма нежелательные в такую тяжёлую годину. Я не понимаю, как престарелый Горемыкин может держаться в такое время, когда у власти должны быть сильные, энергичные и деятельные люди! А ему есть чуть ли не 80 лет».

В этот же день Николай II, будучи в Могилёве, записал в дневнике с присущей ему беззаботностью:

«Погода стояла отличная, солнечная. После завтрака принял Боткина, бывшего моряка. Погулял в садике с Алексеем. В 4.45 уехали на жел. дор. и в 5 час. отправились на север. До обеда Алексея играл с ним в Nain jaune [настольная игра «Жёлтый карлик»]. После нашего обеда читал и вечером поиграл в кости».

А Владислав Ходасевич в том же 1915-м записал совсем о другом:

С грохотом летели мимо тихих станций
Поезда, наполненные толпами людей,
И мелькали смутно лица, ружья, ранцы,
Жестяные чайники, попоны лошадей.

Кулаковский 15.12.1915 пишет Козловскому письмо, по раздражённой интонации которого можно судить, насколько близко принимал он события Великой войны и украинского движения в «столице Юга России», а равно, насколько строг был к авторам, берущимся судить о предметах поверхностно, и насколько строг к себе, такого не позволявшему (публикуется впервые благодаря любезности Мих. Кальницкого, сделавшего его список в киевском ЦГИАУ в 2006-м).

Многоуважаемый Иван Павлович!

Вчера утром я узнал от Лободы, где Вы остановились, и, возвращаясь с лекций на женских курсах, зашёл в гостиницу Тюрина. Но узнал, что Вы уехали за несколько часов до того. Простите мою неаккуратность. Я имел искреннее желание повидаться с Вами, и это тем более, что имел кое-что сказать по поводу Вашей книги. Я думал сказать это на диспуте и предварил Бубнова, но потом, когда диспут затянулся, отказался от этого намерения. Когда я слушал, как Вы живо и складно говорили о культурном значении почты, я тем более изумлялся, почему у Вас об этом написано так слабо. Ведь тут можно набросать великолепную

картину преемства культурных приобретений человечества. Персидская держава создала почту (может быть, даже была продолжательницей того, что выработали прежние цивилизации, — но этого я не знаю). Рим создавал дороги, начиная с 312 года цензуры Аппия Клавдия Цека. Система дорог была богато развита в империи, как на западе, где это было творчеством Рима, так и на востоке. Мы имеем дорожники *Tabulam Peutingerianum*. Византия продолжила это дело. От империи и персов взяли дело арабы, от тех же персов с модификациями турки и потом татары, — мы от татар.

Вы должны были непременно составить себе ясное представление о *Cursus publicus*, хотя бы по “*Dictionnaire des antiquities [Grecques et Romaines d’apres les textes et les monuments] Daremberg–Saglio–Pottier*” и “*Real-Encyclopaedie der Kl[assischen Altertumswissenschaft] Pauly–Wissowa*”. А Вы не заглянули в эти издания, и на 15 стр. сделали страшную оплошность насчет Юстиниана, сославшись на [польского беллетриста Карла] Бжозовского. Разве это можно в учёной работе? Вы должны были заглянуть в сборник “Новелл” [Юстиниана], это ведь не трудно. Если бы Вы хорошо проштудировали статьи “*Curs[us] pub[licus]*” в указанных изданиях, у Вас был бы материал не для такого неясного наброска, где два раза говорится о том же. Я хотел об этом сказать на диспуте и отчасти побоялся, чтобы не вышло резко. (Так как я считаю, что это введение написано слишком небрежно и отрывочно.)

На стр. 66 Вы вынесли дурное наследие Антоновича. Как можно, говоря о 12 веке, называть “дела” “украинскими”?! Слово Украина есть *prieton pseudos* [старая ложь] нынешнего преступного и святотатственного движения, отторгающего, то есть желающего отторгнуть Малороссию от русского единства, а для Моск[овского] царя не существовало “украинских дел”.

Желаю Вам успеха с Вашей преподавательской деятельностью на новом месте¹.

Ваш Ю. Кулаковский.

Просидели киевские профессора со студентами в Саратове вторую половину 1915-го и первую половину 1916-го. В сентябре 1916 года занятия возобновились в стенах Университета св. Владимира.

Бубнов старается нагнать позитива:

¹ В начале 1916-го Козловский переезжает в Ростов-на-Дону вместе с эвакуированным туда Варшавским университетом.

«Вопреки всякому ожиданию, жизнь в Саратове оказалась весьма приятной, чему, кроме милого общества профессоров, старавшихся утешить своих киевских коллег за потерю насиженного домашнего очага своим гостеприимством, способствовала великолепная, холодная, снежная и солнечная восточнорусская зима, а для меня лично ещё и лыжный спорт, которым я только в Саратове и начал впервые заниматься, имея на плечах уже пятьдесят семь лет. Я, профессор горловых болезней Саратовского университета М. Цытович и (реже) ректор Киевского университета Н. М. Цытович образовали лыжный триумвират».

Кулаковскому исполнилось шестьдесят, и оптимизм Бубнова (вообще человека оптимистичного и незлого) ему, пожалуй, был чужд. Сыновей с ним в Саратове не было.

Осенью 1915-го отец по каким-то неясным причинам перевёл Арсения из Университета св. Владимира в Лицей цесаревича Николая, где тот жил на казённом обеспечении до весны 1917 года.

Преподаватели писали Кулаковскому, что Арсений производит впечатление молодого человека, «проникнутого стремлением к дисциплине»: в противоположность большинству однокашников, Арсений исправно посещал богослужения в лицейской церкви; «в противоположность другим он очень отзывчив в деле ухода за ранеными в лицейском лазарете <...> Несомненно, у Арсения доброе сердце и готовность поделиться». Вера Флоринская посетила его в конце 1915 года:

«На первый взгляд, Арсений очень изменился к лучшему, стал как будто спокойнее, уравновешеннее, увереннее в себе, но своим женским, материнским сердцем я почувствовала на всей его фигуре, во всех его словах отпечаток бесконечной грусти <...> Арсений с необычайной любовью говорит о доме, о своём желании подышать воздухом родного гнезда, и решительно не понимаю, дорогой Юлиан Андреевич, почему Вы не хотите и боитесь дать отдых его душе в каникулярное время <...> Арсению 22 года, приходится считаться с ними <выросшими детьми>, нельзя ломить всё по-своему, а может быть, именно, сделаете Вы ему эту уступку, и он сам придёт к заключению, что здесь ему делать нечего и сам решит вернуться обратно».

Кулаковский едва ли внял словам Веры Ивановны, и младший сын оставался в Москве до февральского переворота. Старший сын, Сергей, 1915 год провёл в Петрограде, и с отцом встретился, по всей видимости, после возвращения Кулаковского из Саратова в сентябре 1916-го.



Павел Николаевич Милюков

Павел Милюков пишет, что по сравнению с 1915 годом, «в 1916 г. мы имеем другую картину. Чтобы сразу подчеркнуть контраст, я прибегну к цитате: сжатому резюме положения, сделанному для Чрезвычайной [следственной] комиссии [Временного правительства] ни кем иным, как А. Д. Протопоповым, бывшим министром внутренних дел. «Финансы расстроены, товарообмен нарушен, производительность страны — на громадную убыль... пути сообщения — в полном расстройстве... Двоевластие (ставка и министерство) на железных дорогах привело к ужасающим беспорядкам... Наборы обезлюднили деревню (брался 13-й миллион. — П. М.), остановили землеобрабатывающую промышленность, ощутился громадный недостаток рабочей силы, пополнялось это пленными и наёмным трудом персов и китайцев... Общий урожай в России превышал потребность войска и населения <...> Города голодали, торговля была задавлена, постоянно под страхом реквизиций. Единственного пути к установлению цен — конкуренции — не существовало <...> Армия устала, недостатки всего понизили её дух»».

Через год, не найдя мотивов погибнуть от насильственных причин, Дом Романовых, а с ним и монархия, естественным образом самоликвидируются. «Самоубийство Думы совершилось без протеста», — написал Милюков, забираясь вместе с типографской краской в душу читателя.

Тем не менее, 1.08.1916 профессор эвакуированного Университета и директор эвакуированных ВЖК Гавриил Суслов

обратился к и. о. киевского городского головы Фёдору Бурчаку (1863–1926) с письмом, в котором обратил внимание на тяжёлое положение, создавшееся для вузов, эвакуированных в Саратов: «учебная жизнь протекала при ненормальных и крайне тягостных условиях».

Городская дума санкционировала поездку депутации к новому (после отставленного Иванова) командующему армиями Юго-Западного фронта, генерал-адъютанту Алексею Брусилону (1853–1926) с просьбой вернуть Университет и Женские курсы в Киев.

2-го августа к Брусилону съездили Николай Цытович, Георгий Сулов и Тимофей Флоринский.

Брусилон, о котором Пастернак в «Докторе Живаго» сказал, что он был «единственным в той войне человеком, который вёл её обдуманно, с сознанием намеченной цели и желаемого исхода», в мемуарах писал:

«как кинематографическая лента, ежедневно менялись у меня перед глазами впечатления: то члены Государственной думы, хотевшие со мной побеседовать, то представители различных городов и организаций с подарками на фронт, то артисты, желавшие веселить и развлекать наших воинов, то дамы со всевозможными делами, толковыми и бестолковыми».

То, как видим, киевская профессура — совершенно по делу. Брусилон согласился на реэвакуацию Университета св. Владимира и Курсов, и в сентябре 1916-го они вернулись в Киев. Вскоре возвратились Духовная академия и Коммерческий институт. Кулаковский — ректору Цытовичу из Красной Поляны:

«Позвольте поблагодарить Вас за письмо от 1 августа, которое я получил 12, и поздравить с успехами Вашей поездки к ген. Брусилону. — О самой поездке писал мне Тимофей Дмитриевич, да было и в “Киевлянин”. Итак, благодарение Богу, не придётся больше ехать в Саратов, где наш университет разлагался, и мы опять водворимся в свои стены. Но когда Вам удастся справиться с предварительными заботами и выяснить срок начала лекций? Предвидя задержку, я буду следить здесь, в своём доме, в этой чудной природе, и ждать извещения о сроке. Надеюсь, что об этом будет известно и в “Киевлянин”, но, вероятно, и канцелярия, которой известны наши адреса, также предварительно известит нас. О местонахождении моего личного багажа я написал [В. А.] Абрамовичу, так как надеюсь, что он [багаж] будет обратно препровождён таким же образом, как и увезён из Киева».



Алексей Алексеевич Брусилов

Занятия в Университете возобновились в конце сентября 1916-го, а за две недели до этого, 16.09.1916 император прислал ректору Цытовичу телеграмму:

Сердечно благодарю Совет Университета св. Владимира за выраженные в телеграмме вашей чувства и радуюсь возвращению в родной Киев дорогого ему рассадника высших знаний. НИКОЛАЙ

Полемика Кулаковского с Грушевским осенью 1915-го.

В Саратове, поволжском и полудеревянном городе, с портом и мостами, зданиями цирка и университета, художественного (Радищевского) музея и Управления Рязано-Уральской железной дороги, с трамваем и пригородными дачами, Саратовской учёной архивной комиссией и местом рождения Столыпина, — в Саратове Кулаковский, одиноко эвакуированный из Киева, в начале сентября пишет — под влиянием обстоятельств — статью «Русским людям, именующим себя “украинцами”». Статья была направлена против Михаила Грушевского (1866–1934), которую услужливый «Киевлянин» тиснул на первой странице субботнего номера 19.09.1915 (№ 258).

Редакция «Киевлянина» — Толстого, 5 — буквально в двух

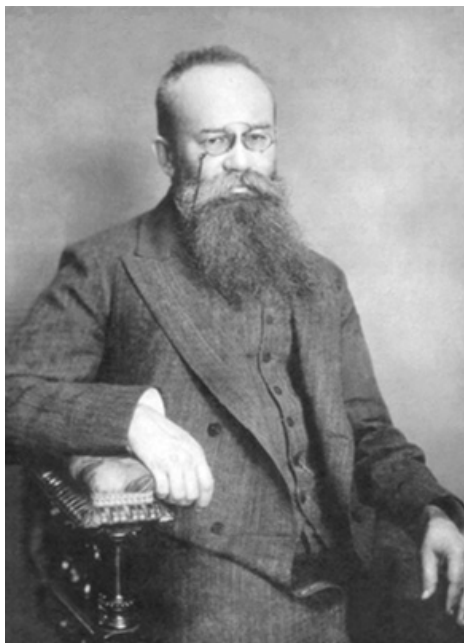


Киев, доходный дом, в котором в 1892–1919 годах располагалась редакция и типография газеты «Киевлянин», улица Льва Толстого, 5

шагах от Пушкинской, 40; Василий Шульгин, издатель и депутат Госдумы, радостно потёр руки. Но Кулаковский в данном случае прислал Шульгину рукопись, не переходя улицы, — из Саратова.

Кулаковский был монархист *активный*: с 1906-го — член Русского Собрания, вступил в ряды Киевского клуба русских националистов, в марте 1909-го избран в состав Совета Клуба, хотя вскоре вышел. В пору подъёма антимонархических и антивоенных настроений, когда был создан Прогрессивный блок (куда вошли даже некоторые правые деятели), выступил поперёк мнения либеральной университетской корпорации, приняв участие в работе Саратовского совещания.

Конечно, после взволнованной телеграммы участников Саратовского совещания Николаю II — «Государь, если не желаешь гибели России, береги Своё Самодержавие, помня, что нет такой силы, которая смогла бы поколебать престол Царский, если того не попустит Сам Царь», — после картинного решения преподнести ему икону Владимирской Божией Матери, по-



Михаил Сергеевич Грушевский

сле подъёма монархического духа в отдельно взятом актовом зале отдельно взятого губернского города публицистическое остроумие сверкает клинковой сталью, и — «пальцы просятся к перу, перо к бумаге».

Речь шла о том, что «правительство должно вспомнить 1905-й и бросить политику уступок, так как от уступок левые ещё более смелеют и предъявляют ещё большие требования»; ему предлагалось дать указания губернаторам, как действовать при начале беспорядков, чтобы в зародыше подавить забастовки на путях сообщения, телеграфе и почте; при начале смуты не мешать правым поднять противосмутное движение и даже вооружить монархистов, немедленно выдавая им разрешение на ношение оружия; пресекать публикацию слухов в газетах; национализировать все частные оружейные заводы, рабочих на них перевести на военное положение; принять закон о пенсиях раненым и семьям погибших, которые бы обеспечивали безбедность существования; запретить вывоз продовольствия в нейтральные страны, откуда оно попадает в Германию, итд.

Однако известно, что здравый смысл, доведённый до логического конца, превращается в противоположность, а общественную энтропию никто не отменял. В деле отстаивания монархических воззрений в монархическом государстве, конечно же, была логика, но политические изменения, спровоцированные войной, налагали обязанность рассматривать вопрос изощрённее, с привлечением околичностей.

Для Юго-Западной России эти необходимые к вниманию околичности сосредоточивались на продвижении идеи создания самостоятельного украинского государства. Даже неважно, что Михаил Грушевский 19.03.1917 (на следующий день став председателем Центральной Рады) у Киевской городской думы и на украинском вече на Софийской площади, приветствуя начала государственной самостоятельности Украины, говорил о том, что «Україна вступає як свободний член в свободну спілку народів Російської Федеративної Республіки», что «Слава вільній, автономній Україні в Федеративній Республіці Російській!» (он понимал военно-политические *обстоятельства момента*) и позднее, конечно, тонко менял интонацию и мысль), — важно, что публичное совлечение комплекса национальной «неполноценности» происходило цивилизованно.

Но поскольку в политике всё, за что ни возьмись, грязно, Грушевскому, в течение десятилетий жившему в Российской империи и Австрийской Галиции (из Львова в Киев ездили по паспортам), для достижения цели приходилось изворачиваться и часто противоречить себе, моя руки разным мылом.

Мораль двойной лояльности (интеллигентный украинец в украинофобской Российской империи), о которой шла речь в связи с Дашкевичем и Антоновичем, в данном случае подвергалась ещё более тяжким испытаниям.

Поскольку совесть опознаётся по угрызениям, — Грушевскому и его коллегам по борьбе за государственность Украины приходилось, придерживаясь конкретной точки зрения, до поры до времени её вуалировать, хамелеонничать, подстраиваться, исхитряться и юлить. Сейчас, читая его труды, трудно отделяться от мысли, что тексты, изданные во Львове (Галиция), по накалу страсти отличаются от текстов, изданных в Киеве (Россия), что книги, выпускавшиеся в Петербурге по-русски, не такие боевые, как издаваемые в Киеве (особенно после 1905

Студент Кулаковського, внаслідок печатно откликавшись на його твори по римсько-ромейській історії, майбутній противник на ґрунті утвердження української державності, в щоденнику 22-літній Грушевський зазначив:

«Сьогодні держав екзамен і усе так — Кулаковський присів до мене, спитався, що я роблю — я відказав, що читав документи, — він скривився, се мабуть було йому дуже незвичайно, він почав радити про класиків, найбільше про Платона, казав комплімент, що я знаю по-грецькі й маю вдачу до філософії і багато ще, натякав про місто й усе так. Я відказав хоробро, що класики і філософія для мене — педагогічна тільки річ, й ще що доброго він казав — це що не треба вдаватися в дріб'язки, буквоїдну науку, а краще ходити на чужі факультети й інше. Студенти помітили й Горошко обернувся розпитувати... я мав себе за героя — от зрікся крутості задля українства...» (запись 12.12.1888).

Запись от 4.09.1890:

«Хвалити Господа, грецький екзамен вийшов добре; писали учора латину, що Бог дасть, я на середині писання почув себе притомленим, але вийшовши й проходившись, далі писав спокійніше, ніж перший раз; Лець[іус] і Кулак підганяли, щоб скоріше подавав; Кулаковський з приводу Rhodus додав: се вам певне звісно краще як кому; се мене полоскотало».

Личної неприязні к Грушевському Кулаковський не испытывав, но его воззрения были для него неприемлемыми.

19-го сентября 1915 года, на волне впечатлений от Саратовского совещания, Кулаковський в «Киевлянин» бросил Грушевському обвинение в появлении галицийского добровольческого легиона на стороне Австро-Венгрии.

Кулаковський начинает с того, что ему совершенно случайно попался на глаза

«второй выпуск (август 1915 года) нового издания, выходящего в Швейцарии, в г. Лозанне, на французском языке под заглавием: "La Revue Ukrainienne". Чистенькая и опрятная книжка небольшого формата, в 75 страниц убористой печати, с иллюстрациями в тексте, в белой обложке, украшенной цветным орнаментом под малорусский стиль вышивок крестиком. Издателем этого нового журнала, а также, по-видимому, и редактором, является некто Артур Зеелиб (Seelieb)».

В одной из статей («подписана инициалами E. de B.») шла речь об Украинском добровольческом легионе (Легионе украинских сечевых стрельцов) — формировании Австро-Венгерской армии, внаслідок вошедшем в состав Галицкой армии ЗУНР.



Киев. «Дом с химерами» на Банковой, 1901–1903, архитектор В. В. Городецкий

«В нашей текущей прессе попадались сведения о деятельности польского легиона, не встретившего сочувствия в русской Польше, позволявшего себе бесчинствовать в Бельцах, отвергнутого генералом Гинденбургом в качестве сотрудника в Галиции. Но о том, что есть “украинский легион”, я нигде не читал».

Удивлённый профессор-монархист пересказывает предпринятые сечевыми стрельцами операции против российской армии осенью 1914 года, полагая невероятным, что

«во время военных действий в легионе царил удивительный подъём духа, праздновался день [рождения] Шевченко, принимались и отправлялись в центральный комитет резолюции в обеспечение “свободы Украины”».

Наибольшее возмущение вызвал факт публикации письма русских военнопленных,

«которые, заявляя себя украинцами, выражают свою радость по поводу оставления русской армией Львова и называют Россию “нашим историческим врагом”. Если это письмо не фальсифицировано, то своим тоном оно выдаёт фанатизированного в ненависти к России поляка. Как бы ни был ослеплён украинец, он всё-таки знает о Богдане Хмельницком и лозунге: “Волим под царя московского православного”. Письмо имело 82 подписи, но издатель привёл только общую цифру, а не самые фамилии».

Трудно заподозрить Кулаковского — тёртый-таки калач — в политической наивности, но иначе его представления об украинском движении квалифицировать нельзя.

Чем вызвано появление неизвестного Кулаковскому легиона сечевых стрельцов? Не желая понять всю тонкость непри-

ятного ему общественного движения, он не обинуясь пускает газетную утку:

«Такое помрачение умов в Галиции является результатом просветительской деятельности Львовского университета».

За хлёсткой фразой обычно идёт разъяснение, но то, что предлагается читателю на этот раз, выглядит скорее как изумление, нежели как вразумление. Это характерный фрагмент.

«Оно подготовлялось при деятельном и выдающемся участии фальсификатора русской истории Михаила Грушевского. Русский по происхождению, сын заслуженного деятеля на ниве народного образования, закончившего свою служебную карьеру на Кавказе, Михаил Грушевский получил своё университетское образование в Киеве и выдавался при этом своими способностями и удивительным прилежанием. Но помимо того, что давал ему университет в своих аудиториях, он имел ещё особое посвящение и возлежал на лоне В. Б. Антоновича, готовившего его для деятельности в Галиции, как он сам говорил пишущему эти строки. Я не знаю, в чём состояло и как велось это приготовление, но я смело могу сказать, что учитель не шёл так далеко, как его ученик.

Подобно тому, как Костомаров в год своей смерти громко откритился от разъединения Малороссии от России, строго порицал попытки создать особую украинскую литературу и твердил, что малорусская литература может быть только *мужицкая* (слово было набрано в статье “Вестника Европы” курсивом), так и Антонович воспользовался 25-летием Общества Нестора Летописца в 1898 году, чтобы в торжественном заседании 14 января сказать речь о Богдане Хмельницком, в которой заметил, что малороссы “не способны создать государство”, что Богдан, нанося смертельные удары Польше, искренно думал, что служит королю, которому паны мешают облагодетельствовать Малороссию, что идеал малоросса — своя хата и вишнёвенький садочек вокруг неё. Я, как и многие другие, помню эту речь, и по тону её произнесения верю в её искренность. Правда, Антонович не захотел напечатать эту речь, хотя ему о том напоминали и он обещал это сделать и дать её текст.

Его ученик Михаил Грушевский, заняв “кафедру истории всеобщей и преимущественно русской” в Львовском университете, проявил огромную и весьма напряжённую деятельность в сфере фальсификации русской истории. Не довольствуясь своим искусственным учёным языком, он стал переводить свои труды на немецкий язык, а также писал целые книги по-русски. Последнее его общее сочинение в этом роде “Иллюстрированная история Украины–Руси” было расхвалено в русских критических



Киев. «Гипно-палас» П. С. Крутикова, 1890–1903, архитектор Э. П. Братман

журналах его приспешниками и имело, по-видимому, широкое распространение в русской читающей публике <...> В 1905 году он в революционной брошюре честил Россию “тюрьмой народов”, и это выражение теперь повторяет за ним и редактор Зеелиб, выводя отсюда руководящую его воззрениями идею. Брошюра Грушевского носит заглавие “Единство или распадение России”. На пространстве 13 страниц небольшого формата г. Грушевский разбил и уничтожил всю великую историю сложения русского государства и, называя Россию “механическим конгломератом, лишённым всякого внутреннего сцепления, сдерживаемым лишь внешней силой”, шёл вместе с другими инородцами на “общего врага”, “в сознании возможности свергнуть общее иго”. Если он был так дерзок в писаниях на русском языке, напечатанных в России, то как он мог греметь на своём искусственном галицком учёном языке, преподавая русскую историю своим студентам во Львове. И наша Академия наук тем не менее поддерживала этого борца, и ещё недавно обошла наши газеты весть о заступничестве членов Академии за г. Грушевского как человека, отстаивавшего в Галиции русский народ от засилья поляков. Теперь, когда его ученики наполнили галицкий легион и бахвалятся пролитием крови русского солдата, теперь обнажаются во всём ужасе плоды того посева, который делал в Галиции г. Грушевский. Да образумит эта кровь наших русских “украинцев”. Пора им понять, что идеи г. Грушевского ведут их не к свободе, а грозят превратить в навоз для немецкой культуры...»

Грушевский в газете «Речь» (12.10.1915) возражал Кулаковскому именно в связи с упоминанием себя в столь выгодно-рекламном контексте. Пересказав содержание статьи, он не оправдывается, — объясняет:

«Эти построения г. Кулаковского дают яркую иллюстрацию того, как творятся различные легенды о современном украинстве, на которых затем, при случае, зиждутся всякие репрессии и гонения против него. Автор из многих статей моих берёт одну, умалчивая о том, что по общей идее своей она является лишь горячим призывом к политическому возрождению России — к укреплению внутреннего единства путём предоставления свободы и самоопределения национальной жизни входящих в её состав народов и областей (брошюра писалась во время Первой Думы и имела в виду законодательную программу этой последней); автор выдѣргивает из неё лишь несколько “дерзких” фраз и, не давая себе труда познакомиться с тем, что выходило из-под моего пера за границей, он просто ограничивается соображением, что я там “гремел” против России. Между тем, мои заграничные писания не составляли и не составляют секрета в России, они допускались в Россию и многие были мной перепечатаны здесь.

<...> А относительно моей львовской кафедры неужели не приходило проф. Кулаковскому соображения, что если бы я действительно превращал её, — как он безо всякого основания предполагает, — в политическую трибуну против России, то, при наличности всяких казеннокоштных и своекоштных наблюдателей на месте во Львове, они не преминули бы доставить куда следует очень обстоятельные сведения и даже стенограммы моих лекций, если бы они действительно представляли какой-либо интерес с этой точки зрения? <...> Немного я вообще и занимался политикою в Галиции, так как всё время и все силы мои уходили на научную и культурную работу (укажу хотя бы на те не десятки, а сотни книг, которые вышли под моей редакцией, — были частью написаны, частью отредактированы и прокорректированы мною), но и то небольшое, что я делал в политике, оставалось неизменно за порогом университета. Что же касается роли вдохновителя галицийских легионеров, которую г. Кулаковский приписывает мне, то об этом и мысли не могло бы у него явиться, если бы он сколько-нибудь внимательно отнёсся к моей деятельности и моим руководящим идеям».

Кулаковский выглядит беспомощным, ретроградно мыслящим, «уходящей натурой». Грушевский с безошибочной точностью назвал свою статью «Ветхий прах».

«Ведь не в чём ином и заключается первая и главная задача украин-

ства, как в том, чтобы спасти украинский народ от опасности сделаться этнографическим материалом, или, как г. Кулаковский выражается, — обратиться в навоз для иных культур <...> Культурное творчество, как и научное исследование, требует свободы, оно не мирится с предустановленными пределами — “до сих пор, и ни шагу дальше”. А размежевание сфер “мужицкой”, низшей культуры на родном языке, и культуры интеллигентской, “панской”, пользующейся этим языком, есть вещь глубоко противная идее демократизации культуры, и подрезывает в корне народное развитие. Народ, себя уважающий, чувствующий в себе силы для жизни и развития, не может мириться с тем, что над его народной культурой существует культурная надстройка высшего сорта, он должен неизбежно стремиться к полноте своей культуры. Удастся ли ему достигнуть этой полноты — это другой вопрос, — конечно, народ без будущего — народ пропащий, но если он к этому не стремится, то это должно быть понятно доктору римской словесности».

Дальше он обсуждает не столько политическую позицию Кулаковского, даже не пытаюсь, как мы увидели, приблизиться к её пониманию, сколько — самого Кулаковского. Метод переходить с проблемы на лицо — изведанный, старый, он больно ранит оппонента. Но с каким изяществом сделано: сказать о себе, говоря о другом.

«При всём желании <...> нельзя найти доказательств фальсификации русской истории с моей стороны; отзывом проф. Кулаковского брошен только неблагоприятный “политический” свет на книгу, но и то путём описания... не совсем точного, что ли. “Заслуга Мазепы” — это, очевидно, отмеченная в моей “Истории” всем известная щедрость Мазепы для церковных построек и пожертвований на духовные и просветительные цели, которою он, по словам моей книги, как бы старается преодолеть общее недоверие к нему как человеку чужому, “ляху”; оценивается эта культурная деятельность, имевшая целью скрасить крайне непопулярные, антидемократические и антинациональные стороны мазепинского режима в моей книге более чем сдержанно, и если на основании сообщаемого в ней материала г. Кулаковскому угодно говорить “о заслугах” Мазепы, то следует ему говорить о них от себя, а не с кивком в мою сторону.

<...> Всё-таки самое характеристическое в этом маленьком эпизоде это то, что в такое серьёзное, ответственное время, после всех жестоких уроков, полученных воинствующим <российским> национализмом на попрание искоренения украинства в Галиции, уроков, осознанных, как казалось, не только людьми нейтральными <...> но и самими представителями

киевских националистических кругов, — не сказывается ничего более важного для этих кругов, как заниматься дальнейшей травлей лишённых всех, даже элементарнейших средств самообороны, украинцев. Стоило ли тогда торжественно отряхивать от ног своих ветхий прах, присоединяясь к требованию о прекращении гонений на украинскую прессу и на украинских общественных деятелей, чтобы так скоро и непринуждённо, без всякой подлинной причины, возвратиться к этому старому занятию?»

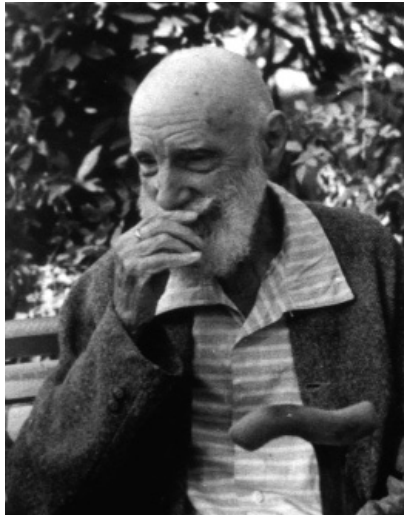
Вместо Кулаковского, пожалуй, нервически махнувшего рукой, Грушевскому ответил издатель «Киевлянина» Василий Шульгин (*Киевлянин*. 1915. 23 окт.). В свою очередь, в «Русских ведомостях» в статье «Камень преткновенения» (1916. 11 февр.) Грушевский подводит итог дискуссии с Кулаковским и Шульгиным, оставаясь при своих.

Тогда же, в «Вістнику Союза визволення України» (Вена, 1915, № 49/50) Зенон Кузеля (1882–1952), языковед и этнограф, напечатал статью «Професор Юліян Кулаковський і його посланіє “русским людям, именующим себя «украинцами»»,» собственноручно, перевёл её основные положения на украинский язык.

«Професор Кулаковський не може вийти з дива, до якої міри заслуплення й нерозуму дійшли ті автори “Revue”, що “всюди приписують собі право говорити від усього українського (тим разом у знаках наведення) народу” та присвоюють собі право представляти вірний настрій усіх “малоруських” мас народу, втягаючи під “польський термін” Україна весь “малоруський” край, Полтаву, Харків, Крим і Кавказ. Справдішня паморока!

Де ж шукати джерела цього “розумового збочення” в Галичині? На гадку проф. Кулаковського, у всьому винен не хто інший, тільки львівський університет, а в головній мірі “фальшивник руської історії” Михайло Грушевський. — Сей “лживий пророк” забув на своє “русское происхождение”, забув за свого батька, що закінчив свою кар’єру на Кавказі, а приготувався до окремого діла, “возлежавши на лоне В. Б. Антоновича” <...> Проф. Кулаковський як учений історик і розкриває чорносотенцям усі ті фальшування, які Грушевський пускав у світ не тільки в своїй “штучній” науковій мові та в німецьких перекладах, але й “по-русски”.

<...> Стільки про страшні подвиги Грушевського, якому проф. Кулаковський приписує сили “велетня”. Донедавна ми чули про славного нашого родоначальника, гр. Стадіона, тепер від д[обродія] Кулаковського знатимемо вже й про нову роль проф. Грушевського, ідеї якого мають нас “повести не до свободи, а погрожують перетворити нас у погній (!) для німецької культури”».



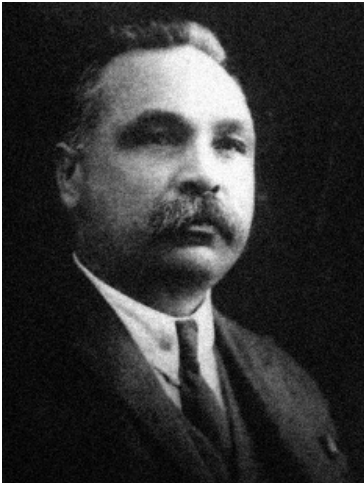
Василий Витальевич Шульгин

В письме Лаппо-Данилевскому от 16–17.10.1915 Грушевский жаловался: «типография не пишет, может быть, испуганная немолкающей травлей против меня киевских националистов-чёрносотенцев (вот недавно пришлось мне отвечать в “Речи” 12.X. на мерзкие инсинуации Кулаковского в “Киевлянине” — не удовольствовавшись всем, чего уже достигли!)» (попутно замечу, что «националисты» и «чёрносотенцы» не одно и то же и дефис между словами поставлен некорректно).

Публичная переписка оказалась резонансной. Александр Лотоцкий вспоминал:

«Аживые нападки на М. С. [Грушевского] продолжались. Ещё до войны киевские националисты зывали к начальству, чтобы ему запретили приезжать в Россию. Но специальным объектом их огульной какофонии он стал с началом войны, когда политические противники взялись основательно уничтожить “мазепинство”. С его именем связано совещание с наследником австрийского престола эрцгерцогом Фердинандом в каком-то таинственном замке. В “Киевлянине” появилась статья проф. Юлиана Кулаковского».

Правовед Сергей Шелухин (1864–1938), генеральный судья Украинской Народной Республики, в монографии «Україна — назва нашої землі з найдавніших часів» (Прага, 1936) тоже упоминает об этом эпизоде.



Сергей Павлович Шелухин

«Київський клуб російських націоналістів став зібранням психічно хворих на українофобство. Проф. Кулаковський, виступивши з шаблонним звинуваченням українців у зраді, в ч. 258 “Киевлянина” за 1915 р. виступив у ролі вченого і почав напад з пояснення, що “Україна” це “уродливый польский термин” <...> тому про національну, політичну, територіальну відрубність і самостійність не може бути й мови у людей здорового розуму. В. Шульгін, згоджуючись з ним, в ч. 292 “Киевлянина” за той таки 1915 р. також виступив проти українців із звинуваченням їх у зраді і збільшив арешти й заслання їх <...> Мову українську Шульгін назвав “окрошкой с ботвиньей” і радить тим, що називають себе українцями, зректись культури, яку вони називають українською, і вибрати собі або Міцкевича, або Пушкіна, а Шевченка закинути геть. Він звертається до суспільства і намагається підняти хрестовий похід проти українців і всього, що носить ім’я українського, починаючи з нищення самого імені <...> Українську пресу в 1915 р. уряд російський майже всю ліквідував. Мова була забороненою і сама назва “українська” трактувалася за прикмету зради <...> Я написав у Москву до редакції “Украинской жизни” (там ця назва животіла) про необхідність відповіді на виступи Кулаковського, Шульгіна і ін. Відповіли, що чекають на статтю від Грушевського. Але що ж він міг написати, коли наступ вівся якраз з його позиції, що Україна — це окраїна, та й годі, уже з свого народження. Грушевський відповіді в оборону не написав. Тоді я надіслав в “Украинскую жизнь” свою відповідь у формі “Одвертого листа Шульгінові”. Мою статтю над-



Київ. Русановський міст, 1903–1906, інженери Н. А. Белелюбський, Г. Г. Кривошеїн, архітектор В. П. Апышков. Розрушен в 1943-м

руковано в чч. 7–8 “Української життя” 1916 р. Це трохи не через рік після ворожих виступів Кулаковського, Шульгіна, Флоринського й ін. <...> Очевидно, що таких противників “огодою і глузуванням” у відношенні до них, як Кулаковський, Шульгін і їм подібні, не повалиш і їх наслідувачів цим способом ні в чому не переконаєш. Проти них треба виступати з науковими фактами та ще так, щоб вони опинилися в становищі тих спійманих, що ніяк не можуть викрутитися <...> Чи не сором, що <...> Кулаковський, історик і філолог, називає народну старослов’янську назву “Україна” польським терміном, а чужий грецький новоутворений термін “Малороссія”, якого народ ніколи не вживав і не вживає, він називає “нашим ісконним”!»

Здесь, достаточнo процитировав, я остановлюсь, отдавая отчёт, что тема об отношениях между Кулаковским и Грушевским на почве украинства в течение 1880–1910-х требует отдельного исследования.

Стоит вспомнить, что ещё в марте 1905-го Кулаковский выразил особое мнение, отличавшееся от мнения коллег, относительно уверенности Императорской академии наук, что «малорусское население должно иметь такое же право, как и великорусское, говорить публично и печатать на родном своём языке». Комитет министров обратился к двум универси-

тетам: харьковскому и киевскому. Харьковский, создав профессорскую комиссию под председательством Николая Сумцова, поддержал мнение Академии; аналогичная комиссия профессоров киевского университета в составе Николая Дашкевича, Владимира Перетца, Николая Цытовича, Григория Павлуцкого, Андрея Лободы, Митрофана Довнар-Запольского и Петра Армашевского (впоследствии — заместителя председателя Киевского клуба русских националистов), подготовив развёрнутую записку, пришла к таким выводам:

1) вопрос о языках и литературах не следует смешивать без самой острой разборчивости с вопросами политическими;

2) с этической и исторической точки зрения стеснение малорусской литературы является несправедливым;

3) ограничительные меры по отношению к ней не могут быть оправдываемы и требованиями государственной пользы и

4) не соответствуют современным понятиям о задачах государства;

5) практика жизни обнаруживала живучесть малорусской литературы и её насущную необходимость;

6) само собою разумеется, что во главе книг, удовлетворяющих высшим потребностям духа, должно быть поставлено Св. Писание на народном языке;

7) просвещение и экономическое преуспеяние народа необходимо нуждаются в наиболее доступной его пониманию популярной литературе;

8) равным образом научная и публицистическая литература на том же народном языке не может быть предметом запрещения, поскольку она не нарушает общих законов о печати.

Кулаковский тоже входил в комиссию Совета Университета, но этот текст, имеющий все признаки верховенств здравого смысла, подписать отказался. Взамен этого 28.03.1905 направил на имя ректора Цытовича (одного из авторов записки) особое мнение.

«В ответ на запрос вашего превосходительства честь имею представить общее изложение того, в чём я не согласен с выработанным советской комиссией заключением по вопросу об устранении существующих в настоящее время ограничений издания книг на малорусском языке.

Авторы записки, принятой Советом, в числе заключений, резюмирующих их изложение, поместили под № 6 такой пункт: “Само собою разумеется, что во главе книг, удовлетворяющих высшим потребностям духа, должно быть поставлено св. Писание на народном языке”. — Я полагал,



Киев. Думская площадь с памятником П. А. Столышину, фото 1910-х

что этот пункт должен быть совершенно устранён из числа заключений, и основания моего мнения состояли в следующем. — Прежде всего, в самом содержании записки нет никаких аргументов, которые бы оправдывали сформулированное в столь категорической форме утверждение, а потом оно является даже несколько неожиданным. Далее, вопрос о Св. Писании касается скорее Св. Синода и духовного ведомства вообще, нежели университета, представители которого вряд ли могут считать себя компетентными в суждении о том, действительно ли малорусское деревенское население нуждается в Евангелии на малорусском языке и в каком направлении отразится распространение Евангелия на малорусском языке при существовании штундистской пропаганды (штундизм — мутная баптистски-сектантская конструкция протестантско-рационалистического толка, возникшая в Киевской и Херсонской губерниях в 1870-х. — А. П.). Наконец, принимая в соображение, что для университета обязательна осведомлённость с судьбами прошлого, нельзя не вспомнить, что в своей многовековой борьбе за народность и православие малорусский народ имел своим знаменем Св. Писание на славянском языке и за него, как за свою народную святыню, проливал он свою кровь. Пропаганда малорусского языка для Св. Писания есть вопрос текущей политики настоящего и не имеет никаких корней в прошлом. Можно быть различных мнений о том, удовлетворяет ли она существующему в народной массе запросу, или же является делом агитации сверху.

В виду этого, мне бы казалось, что Совету Университета в официальном ответе на запрос правительства относительно печатания книг на малорусском языке следовало бы совершенно не касаться Св. Писания».

Александр Лотоцкий, во второй части «Сторінок минулого» (1932) аккуратно приводящий весь корпус документов, касающихся вопроса, завершает «Дело о малорусском языке» решением министра просвещения генерала Глазова, на котором я здесь не останавливаюсь.

В контексте описанных эпизодов выглядит невероятным сообщение, приводимое в нескольких публикациях последнего времени (Г. Денисенко, В. Куприйчук, Т. Осташко, Ю. Ковалив), и прежде всего в беспартийной демократической газете «Відродження» (1918, 23 июня), будто в субботу 2.06.1918 Кулаковский выступил с инициативой создания Музея-пантеона «Украинский некрополь». В газете написано, что основу музейной экспозиции должны были составить материалы, посвящённые видным украинским государственным и военным деятелям от древнейших времён до 1918 года.

Здесь неточность: для человека, нетерпимого к «наследству Антоновича», выступить с таким предложением было равносильно сумасшествию, забвению прежних убеждений. В отношении Кулаковского невозможно, чтобы он приветливо цитировал Шевченко и скорбел по поводу того, что «тисячі тисяч цих невідомих могил розкидано по Європі, Азії, Америці і т. ін. — ніхто про них не турбується, ніхто ними не цікавиться, нікому вони не потрібні — ці мовчазні могили гетьманів, вояків, хліборобів, поетів та славних українських патріотів, які дали вітчизні саме вище: своє життя!» Не его это риторика, не его построение фразы, и даже если предположить перевод с русского на украинский не только самой статьи, но и подписи под статьёй: *Кулаківський* без указания имени и профессорского звания, — признать авторство принадлежащим Кулаковскому невозможно. Верное по сути предложение о создании в Киеве «особливого інституту історико-громадського характеру», увы, профессору Кулаковскому не принадлежит.

В августе 1916-го государь почтил его Знаком отличия беспорочной службы за сорок лет выслуги (носился на Владимирской ленте). Ходаатайство о награждении, поданное университетским начальством в Министерство двора, завершается

*Павел Попов
Кулаковский на заседании
Исторического общества
Нестора Летописца (?)
22.02.1915
Публикуется впервые
из собрания
Виктора Короткого*



формулой — образчиком канцелярского стиля, выпестованного в чиновной России на протяжении последних двух столетий, — обезчеловеченной характеристикой деятельности представляемого к награде¹.

Значимый в непрочитаваемо длинном предложении глагол поставлен на последнее место:

«Ректором Университета и Секретарём Совета, что всё показанное в сем списке о службе действительного статского советника Юлиана Кулаковского, достаиваемого к награде знаком отличия беспорочной службы, заимствовано из подлинных о нём документов и собранных за время прежней службы его сведений, что он во всё время служения и в должностях, им занимаемых, оказался ревностным и усердным, и притом трудами постоянными, продолжительным прилежанием и непоколебимою нравственностью оказал себя полезным и верным исполнителем в делах службы, и что он в продолжение всей своей службы не подвергался таким штрафам, наказаниям и взысканиям, которые по закону подлежат внесению в формулярный список и лишают права на получение знака отличия беспорочной службы, в том, на точном основании Устава о сем знаке и со всею ответственностью в оном постановленного, свидетельствуется».

¹ Не могу сдержаться: «Министерство двора сосредоточивало в себе фрейлинскую часть, императорскую Академию художеств, охоту, духовенство и конюшенную часть» (Юрий Гынянов. Малолетний Витушишников, 1933).

В начале января 1917-го Кулаковский писал Соболевскому, что политическое положение в России стало ещё резче.

«А если Думу распустят, то, ведь, это внесёт ещё большее раздражение и недовольство, которого и так уж слишком много. Выборгское воззвание в своё время было буффонадой, но что-нибудь подобное теперь было бы уже прямой угрозой государственному порядку. Страшно за будущее. “Войну на истощение” могут вести Англия и Франция, умеющие не допустить разрухи внутри себя, по силам ли это нам?»

Вы мне объяснили смысл съезда правых с вмешательством Щегловитова. Но неужели можно считать какой-либо силой Маркова или “Земщину”, “Колокол”, саратовскую “Волгу”? Это рептилии, а не сила, откочевавшая в другую струю. Если самодержавие в прежнее время было самодержавием бюрократии, то теперь, после продолжительного периода чехарды министров, трудно сказать, что такое самодержавие. Ему нужно обновиться.

Слухи о предательстве и измене ползут и в ряды солдат» (6.01.1917).

Умнейший, порядочный генерал Брусилов в мемуарах, сочинённых в начале 1920-х, комментировал события последнего десятилетия династии:

«Что касается меня, то я хорошо сознавал, что после первого акта революции, бывшего в 1905–1907 годах, неминуемо должен быть и второй акт как неизбежное последствие этой грозной и продолжительной войны. Мне <...> хотелось лишь одного: дать возможность закончить эту войну победоносно для России, а для сего было совершенно необходимо, чтобы неизбежная революция началась по *окончании войны*, ибо одновременно воевать и революционировать невозможно <...> При таких трудных обстоятельствах, как войны и революция в одно время, приходилось много думать о своей позиции, для того чтобы быть полезным своему народу и родине. Среди поднявшегося людского водоворота, всевозможных течений — крайних правых, крайних левых, средних и т. д., среди разумных людей, увлекающихся, честных идеалистов, негодяев, авантюристов, волков в овечьих шкурах, их интриг и домогательств сразу твёрдо и бесповоротно решиться на тот или иной образ действий было для меня невозможно <...> Я сделал всё, что мог».

Меж отречением и большевизмом. Столичные новости до Киева почти не доходили, и хотя руководство военного округа перехватывало сообщения о беспорядках в Петрограде, генерал Иванов боялся повторения этих событий в Киеве. Газеты делали вид, будто в столице — ничего эдакого.

Когда 2-го марта ситуация в Петрограде достигла пика, «Киевлянин» сообщает новости с фронта, печатает репортаж о продовольственном кризисе во Франции, пишет о заседании Палаты общин в Лондоне, смеётся над докладом немецкого экс-министра Дернбурга «Новая Германия», перепечатывает из американского журнала очерк о железной дороге в Багдаде (её заканчивают строить). Как бы между прочим упоминает о введении в Москве карточек на хлеб и муку, щедро заполняя полосы рекламой и расписанием движения поездов. Киевляне развлекаются на Контрактовой ярмарке, которая продлится до 12 марта. Кроме прочего, там неофициальная «ярмарка невест»: провинциальные родители привозят добротных провинциальных дочерей в надежде подцепить солидного южно-русского жениха. «В Киеве спокойствие не нарушалось, — телеграфирует киевский губернатор в Петроград. — Население спокойно. Рабочие продолжают работу». 3-го марта начальник Юго-Западной железной дороги Шуберский получил телеграмму из Петрограда от депутата Госдумы Бубликова с сообщением: власть принадлежит Государственной думе.

Шуберский немедленно проинформировал подчинённых, по городу поползли слухи, как всегда, по-киевски невероятные. В вечерних выпусках телеграмму Бубликова напечатали киевские газеты.

Киевский юрист Алексей Гольденвейзер (1890–1979):

«Телеграмма эта со скоростью электрической искры распространялась по городу. Все были в этот вечер на телефоне, читая, слушая, перечитывая и спрашивая».

Киевский литературовед Михаил Рудницкий запомнил атмосферу эйфории, охватившую Киев:

«Первые дуновения революции пьянящие. На улицах люди целуются как на Пасху и по вечерам Крещатик полон по крыши, даже в те дни, когда почему-то не светятся фонари. Живём как на облаках — легко и часто не видим земли».

2-го марта (точней, в полночь на 3-е) в Пскове, в освещённом огнями вагоне государь подписал отречение в двух идентичных экземплярах: на плотной бумаге, карандашом. Министр двора 79-летний граф Владимир Борисович Фредерикс растерянно, пёрышком контрастигировал автограф императора.

Михаил Кольцов спрашивал: где же тряпка? где сосулька?



Михаил Васильевич Алексеев

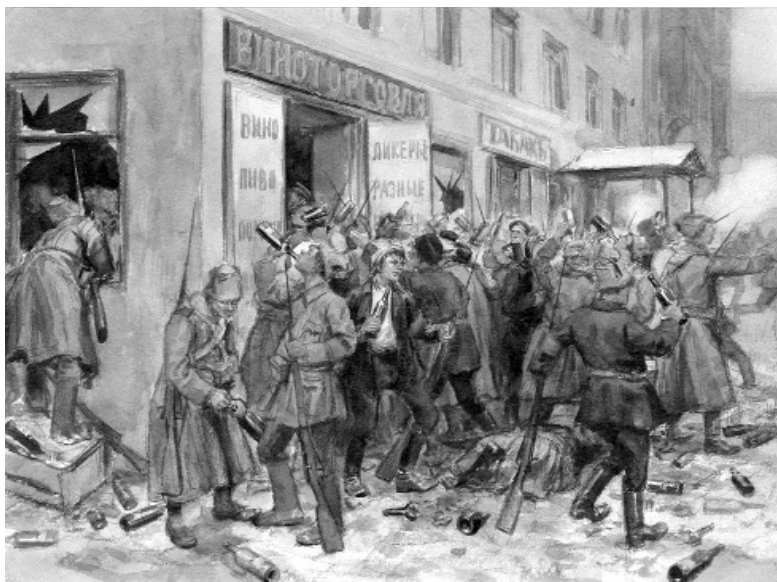
где слабовольное ничтожество? В перепуганной толпе защитников трона мы видим только одного верного себе человека — самого Николая II.

«Он стоек, и меньше всех струсил <...> Николай уступил, он отрёкся после решительной и стойкой борьбы в полном одиночестве».

Текст отречения составили директор дипломатической канцелярии при верховном главнокомандующем Базили и генерал-квартирмейстер Ставки Лукомский, поправил Алексеев, а государь по просьбе Шульгина вписал фразу — о необходимости новому царю Михаилу принести народу «ненарушимую присягу». 39-летний великий князь Михаил Александрович, четвёртый сын Александра III, обижался, что Николай навязал ему власть, не спросив, и — облегчённо отрёкся. Был расстрелян ЧК в июне 1918-го вблизи Перми; могила не разыскана.

8-го марта государь запишет в дневнике: «В 10 1/4 подписал прощальный приказ по армиям <...> Тяжело, больно и тоскливо». Приказ не был объявлен войскам, предательство командующего Северным фронтом генерал-адъютанта Рузского и начальника штаба Ставки генерал-адъютанта Алексеева так и не было прощено царём, скверно умевшим подбирать и генералов, и адъютантов, и вообще плохо разбиравшимся в людях.

Шульгин в «Днях» с ухмылкой — мол, хорошо, что отречение состоялось 2-го марта, а не 1-го: убийство Александра II и злодеи-первомартовцы многим памятны.



Иван Владимиров. Погром винного магазина, 1918, акварель

Владислав Ходасевич, родившийся в один день с царём (16 мая, но годы разные), к годовщине отречения сочинил стишок:

Мы были когда-то равны
В толпе шумящих племён.
На тяжкий подвиг, державный,
Был каждый из нас обречён.
Сжимал ты в руке единой,
[Хоть мал,] хоть и глух, и слеп,
Как державу в лапе орлиной,
Миллионы малых судеб.
А мне отречения нет.

Николай II был косноязычен, богобоязнен, завистлив и недоверчив. Косноязычие (правда, на нескольких языках) и завистливость — от Бога, богобоязненность — от воспитания и традиции, недоверчивость — в силу нелюбимой *врождённой профессии*. Царь спросил Шаляпина, почему басов любят меньше, чем теноров. «Поём либо монахов, либо дьяволов, либо царей — разве сравнишь». Царь подёргал бородку: «Да, какие-то роли неинтересные» (Гаспаров, «Записи и выписки»).

Борис Мартос, будущий премьер-министр УНР, почувствовал, что пахнет исторически значительным:

«3-го марта 1917 года пришло в Киев известие о революции в Петрограде. Царь отрёкся... Весь Киев всполошился. Украинцы подняли голову. Пришло время действовать, осуществлять национальные притязания».

Через полгода киевская газета «Новая Рада» напечатала статью, вспоминая февральскую эфорию:

«Кто сам не переживал конца февраля и первых дней месяца марта сего года, тот не сможет даже представить себе того энтузиазма и радости, которые охватили всё сознательное гражданство, — с нотками ностальгии напоминала газета. — В восторге переживались первые дни молодой воли, которая пьянила размахом и неограниченными перспективами».

Но иллюзии долгими не бывают. Оказывается,

«среди самих революционных и социалистических организаций, которые стали фактически во главе не только народного движения, но и власти, появилось много людей безо всякого прошлого, или с прошлым очень неуверенным, особенно среди тех, кто поспешили перекраситься... И объединение первых дней революции вскоре треснуло».

Иных примеров история не знает. Зато она зачем-то знает сентенцию Карлейля: «Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются её плодами отпетые подлецы», — но почему-то не принимает её всерьёз: никто не знает, как поступит толпа, да толпа и сама не знает. «Я не верю в коллективную мудрость невежественных индивидов», — грустно, со знанием дела писал Карлейль во «Французской революции».

Михаил Осипович Гершензон, приехав в Киев с лекциями о Пушкине в начале апреля 1917 года, писал родным в Москву:

«В Киеве ещё зелени не было. Он показался мне теперь, несмотря на чудесное месторасположение, препротивным городом, вроде Дерибасовской. Весь обстроился новыми безобразными и претенциозными домами, и я его не узнал — в помине не осталось прежней уютиности, милой провинции Прорезной и подобных улиц».

О каких безобразных зданиях пишет Гершензон, сказать трудно, но общее настроение схвачено им, пожалуй, верно.

Академик Латышев 30.05.1917 писал Кулаковскому, что ему давно хотелось побеседовать с ним,

«поделиться безотрадными мыслями, но в числе задерживающих причин немалую роль играла та, что при нынешних свободах цензура и перлюст-



Иван Владимиров. Взятие Зимнего, 1918, акварель

рация расцвели пышным цветом и приходится не только остерегаться писать, но и говорить-то, даже “промеж себя”, приходится шёпотом да с оглядкой, как бы не подслушал служащий гражданин из большевиков <...> Всецело разделяю Ваши мысли. Да, положение действительно безотрадное, удручающее, и нигде не видно просвета. Конечно, так не может продолжаться долго, но где и в чём найдём выход — сказать невозможно».

Переписка Кулаковского подвергалась перлюстрации Департаментом полиции МВД ещё с 1915-го, письма копировались, копии хранились в подшивочке (опубликованы в историческом альманахе «Минувшее», 1993, т. 14).

За пару месяцев до латышевского письма академик Соболевский, очевидец февральских дел, рассказывал Кулаковскому 4.04.1917:

«Происшедший переворот начался выходом на улицу Петрограда рабочих. Между рабочими было много девочек и баб, кричавших «мы голодны», но имевших очень сытый вид, подростков и мальчишек; взрослых было очень немного. Их не очень старались усмирять, и, наверно, они оставили бы свои прогулки по Невскому при 15° мороза, если бы к ним не присоединились и не выкинули красных флагов артиллеристы, сапёры

и несколько пехотных частей. На следующий день (понедельник) начали бой на улицах: измайловцы, семёновцы и др. не без успеха усмиряли своих товарищей, но на стороне этих товарищей оказались бронированные автомобили, которые и решили дело в пользу революции.

Солдатская масса, состоящая из только что призванных 40-летних бородачей, недовольных и думающих только о том, как бы поскорее вернуться к очагам, быстро вошла во вкус революционного движения, которое обещало заключить мир с Германией и не выводить солдат куда бы то ни было из Петрограда. А затем очень быстро и ловко совет рабочих депутатов был превращён в совет рабочих и солдатских депутатов (по одному депутату от роты), то есть втянул в революционную работу большое число солдат. Впрочем, много солдат осталось и остаётся в стороне или даже бежит из Петрограда. Затем последовало нечто странное, по крайней мере, на первый взгляд.

В Петроград двинулись войсковые части из Кронштадта, Царского Села (даже конвой его величества), Гатчины, Павловска, Новгорода, выполняя чей-то приказ, во всяком случае, не правительственный. Кое-кто пришёл даже с рижского и двинского фронта; из этого заключают, что задачей движения было ослабление или раскрытие части фронта. Одновременно проводимая руководителями прогрессивного блока [Государственная] дума взяла в свои руки правительственную власть, начала арестовывать всех, кто имел значение между правительственными чинами, и образовала временное правительство, включив в него нескольких очень умеренных, но недалёких людей, и даже ненормального Г. Львова — октябриста <...>

Война, конечно, проиграна. Вопрос, что мы потеряем при заключении мира. Судя по речам Керенского, мы заключим сепаратный мир, не обращая внимания на союзников. А мы были перед победой: положение Германии отчаянное. Только это даёт мне надежду на сносные условия мира. Прощай, святая Русь!»

Сергей Кулаковский 23.03.1917 в письме академику Соболевскому признавался, что отец был отречением потрясён:

«Дней десять он хворал, даже лежал в постели, что для него редкость. Сильно потрясли его события. Да кого не потрясли они!»

Флоринский ждал репрессий от «свободной России»: «Тимофей Дмитриевич, — продолжается письмо Соболевскому, — опасался за свою свободу, но это не оправдалось». Оправдается через два года. Сергея в письме от 29.05.1917 волнует душевное состояние отца, постепенно переходящее в затяжную депрессию:



Иван Владимиров. Разгром помещицкой усадьбы, 1926, холст, масло

«С интересом читаем Ваши письма, чувствуем, что Вы бодры, несмотря на события. Папе прямо необходимо возможно чаще получать от Вас вести. Он их ждёт всегда. Нервы его расшатаны до крайности, стонет и часто желает смерти. Помочь ничем нельзя — везде один развал, но никто так страшно не отчаивается, как он».

В июле 1917-го Кулаковские жили в имении семьи Муретовых, у племянницы Кулаковского Наталии Платоновны и её мужа Дмитрия Дмитриевича, на хуторе Вернигоровщина в семи верстах западнее Ични в Черниговской губернии: какая там Красная Поляна!

Последним владельцем Вернигоровщины в начале XIX века был секунд-майор Иван Горленко, маршал дворянства Черниговской губернии, потом имение перешло в собственность Ивана Величко (правнука козацкого летописца Самийла Величко), а к началу XX века оказалось у Василия Львовича Величко (1860–1903), драматурга, публициста и биографа Вл. Соловьёва. После его смерти и разных имущественно-родственных пертурбаций усадьба перешла в собственность Дмитрия Муретова, преподавателя истории, с 1908 года женатого

на дочери Платона Кулаковского Наталии, которая была правительницей имения и жила там безвыездно с весны 1916 года (см. выше *стр.* 386–387). От усадьбы сейчас ничего не осталось: здания растасканы на кирпич местными жителями, усыпальница Величко — тоже. Две высокие ели, посаженные Василием Величко в начале XX века, о чём-то напоминают местным краеведам.

Сергей Кулаковский из поместья Муретовых пишет Соболевскому:

«Устраиваться в Киеве при наличности украинизма (моя фамилия не может быть приятна нынешней высшей “администрации”), а также при связи с Петроградом, я не считал возможным <...> Папа по-прежнему нервничает, в природе он скучает, чего раньше не было. Опасается за судьбу Киева в ближайшем будущем, но, кажется, пока локализована катастрофа, хотя отступление продолжается и анархия уже успела проявить себя довольно властно».

В начале августа 1917-го Сергей отчитывается о подготовке к возвращению в Киев:

«Здесь украинизация ещё не чувствуется. Только много солдат гуляет <...> У крестьян хлеба в этот год так мало, что они в испуге увеличивают запашки, говоря, что в этот период девяти месяцев будет трудно прокормиться. А что повезут в города? <...> Ваши письма всегда бодрят папу, он их ждёт с большим нетерпением, особенно в те дни, когда чувствует себя подавленнее. Кузина Наташа по-прежнему бодрится, одна хозяйничает везде; просила передать Вам свои поклоны».

В сентябре:

«Папу волнует теперь всякое обстоятельство, в том числе он задумывается над моей, так давно проектируемой поездкой [в Петроград]. Не знаю, как быть».

В Петроград Сергей решил не ехать.

Французский посол Морис Палеолог, оставивший том воспоминаний (ощущение, что текст, выпущенный по-русски в 1923-м, на 30% фальшивка, причём неумелая: видны швы), высказался по поводу различия психологии революционера латинского или англосаксонского от революционера-славянина.

«У первого воображение логическое и конструктивное; он разрушает, чтобы воздвигнуть новое здание, все части которого он предусмотрел и обдумал. У второго оно исключительно разрушительное и беспорядочное; его мечта — воплощённая неопределённость».

Остроумный Герцен сказал бы, что второй носил «на себе все признаки, что он нарушал спокойствие государства и покушался восстать».

Весна и лето 1917-го были горячими.

Декан Бубнов иронизировал:

«Я положительно думаю, что в России революции должны происходить в летнее время (май–август, ну, пусть ещё сентябрь), чтобы дать возможность до холодов достать и вставить стёкла».

Вера Павловна Линкевич (1892 — после 1985), первая жена Георгия Нарбута, вспоминала об осени 1917-го, времени Центральной Рады:

«Жизнь в Киеве в то время была жуткая во всех отношениях. Город имел жалкий вид и представлял собой совершенную провинцию. Улицы не убирались и во многих местах зарастали травой, во дворах была сплошная грязь и мусор. Движение на улицах прекращалось очень рано, окна домов завешивались плотными занавесками, от чего слабо освещённые улицы становились ещё более тёмными и безлюдными. Красиво выглядели только парки и сады в своём золотом осеннем уборе, придавая городу какой-то очень грустный вид».

25-летний Сергей Кулаковский, переживавший то же, что и все приличные люди, 17.03.1917 написал стишок, проникнутый семейным монархическим настроением: белогвардейщина с антисоветчиной и контрреволюцией.

Отступали мы ордою дикой.
Затопили пушки в глубине...
По Руси-то, по Руси великой —
Кровь, пожар, забвение в вине.
Враг пришёл и выжег, точно лавой,
На пути селенья, города...
Где, Россия, твой орёл двуглавый?
Он упал, не встанет никогда.
И земля назавтра загорится.
Что же делать, где найти исход?
Помоги, Небесная Царица,
Собери Ты на врагов поход.

В факсимиле этого текста, любезно присланного о. Генрихом Папроцким (Варшава), дальше следует: «Вписано в альбом Юрия Витольдовича Клингера на добрую память в Варшаве 1 ноября 1942 года. *Сергей Кулаковский*». Весь текст — в доре-

форменной орфографии. Адресат — сын Витольда Клингера (см. выше *стр.* 367).

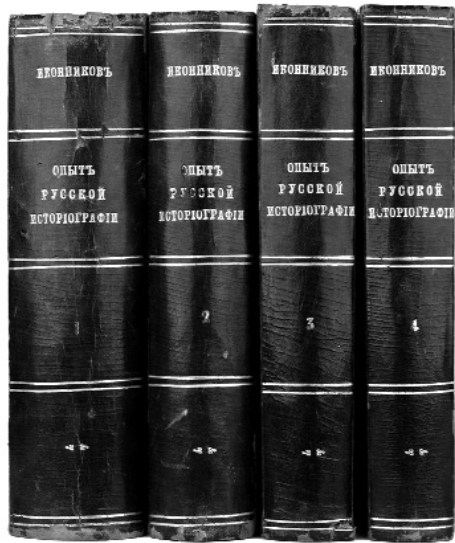
Зима 1917/18 года наступила рано и была лютой: электричества и воды практически не было, отопление не работало, моральный климат — холоднее некуда. Академический паёк в месяц составлял: 40 фунтов (18,2 кг) чёрного хлеба, 4 — растительного масла или жира, 15 — селёдки; изредка давали мясо; 1,2 — крупы, 6 — гороха или фасоли, 2,5 — сахара, 0,25 — чая и 2 — соли.

Летние письма Иконникову. Странно, что за 1911–1916 годы сохранилось лишь одно письмо Флоринскому, близкому другу, и четыре — Иконникову, отношение Кулаковского к которому, как мы помним, в конце XIX века было прохладным. Отношение к Иконникову — 70-летнему старцу — поменялось: прежние служебные обиды преданы забвению («кто старое помянет, тому глаз вон; а кто забудет — оба?»). У Иконникова из учёного кабинета было только три дороги: в церковь, в библиотеку, в аудиторию (Н. Н. Глубоковский). У Кулаковского в 1910-х — едва ли больше. Оба предпочли вместо суеты — *in angello cum libello*, — в уголочке с книжечкой.

Кулаковскому было поручено Советом Университета от 15.11.1913 составление поздравительного адреса, биографического очерка и перечня трудов Иконникова к 40-летию его деятельности на посту редактора «Университетских известий», что и было выполнено. Биографический очерк об Иконникове получился объективно-невосторженным, и его можно даже сегодня читать.

Последнее сохранившееся письмо Кулаковского Иконникову из Красной Поляны датировано 21.07.1916, оно большое и подробное:

«Чувствую себя очень виноватым перед Вами, что пропустил 15 число, к которому я всегда старался отозваться к Вам. Читая сегодня церемониал крестного хода 15 числа в “Киевлянине”, я вспомнил о своём упущении, и мне было очень стыдно. Главная причина моей оплошности это то, что я “уязвлён” прелестью здешнего пребывания. Что до термина “уязвлён”, то он мне запомнился из романа Лескова “Соборяне”, где “уязвление” коснулось диакона Ахиллы и имело важные для него последствия. Вероятно, Вы читали “Соборян” в своё время, и слово это не надо дальше пояснять. Мне здесь так хорошо, что я каждый вечер жалею, что скоро прошёл день. Чувство своего дома и своей земли даёт мне особое настро-



*Первое издание «Опыта
русской историографии»
академика Иконникова,
первые два тома
в четырёх книгах,
Киев, 1891–1908*

ение, а необходимость работы руками на этой земле заполняет всё время.

Погода стоит чудесная. Веду борьбу с камнем, который надо собирать в кучу, с колючкой, которую надо выбивать киркой непременно с узловатым длинным корнем, который и невозможно вытащить целиком, так как он идёт на несколько сажений и подчас прячется слишком глубоко в землю (то есть, в камни), и с папоротником, который вечно и повсюду отрастает. Продолжительные усилия за прошлые годы истребили его лишь около дома. К этим делам прибавляется ещё окопка плодовых деревьев, их подвязка и др[угое] под[обное]. Есть тут и общественная деятельность, в которой я должен принять участие как член Курортного общества благоустройства. На нас возложена забота борьбы с дороговизной и доставка припасов. Мы получили и почти в один день распродали сто пудов сахара (теперь опять его нет), теперь продаём муку — уже не столь удачно; предстоят и другие дела по этой части. Собираемся часто, нас мало, не все ладят, так что дело идёт с трениями.

Хоть я ехал сюда на одиночество (и этого вовсе не боялся), но вышло, что я имею сожителя — поэта Вячеслава Иванова. Это весьма интересный человек, с которым наши беседы за утренним и вечерним чаем имеют чрезвычайно широкий и очень разнообразный диапазон. Он учёный классик и к нему приложима кличка, которую дал некогда [Эрвин] Роде начинавшему свою литературную карьеру Ницше, — *der Deutschen*

Vogel [“Германский Орфей”]. Он теперь переводит метрами подлинника трагедии Эсхила для серии Сабашникова.

Здесь же и его молодой друг, философ [Владимир Францевич] Эрн, прошумевший своей речью “От Канта к Круппу”, человек образованный и убеждённый православный христианин. Он что-то пишет теперь о Платоне (“Федр”). Таким образом, я живу здесь в очень интересном обществе. Жёны обоих очень милые дамы. Верхний этаж дачи брата занимает сама хозяйка, моя младшая племянница [Евгения Платоновна], привёзшая с собою двух подруг: одна — давний член семейства Платона, другая — её товарка по Педагогическому институту (Платонову), очень милая особа, учительница истории в Петрограде.

Время проходит ужасно быстро и очень интересно. Добрые вести с войны поддерживают бодрое настроение. В кофейне получают агентские телеграммы, так что мы не обречены на запаздывающие газеты. Я верю, что не придётся ехать в Саратов, но никаких вестей не имею ни от кого до сих пор. Не получил и пенсии за июнь, не говоря уже о добавке, которой не получил ещё ни разу в этом году. На днях написал ректору, узнав из “Киевлянина”, что он в Киеве. Писал и Тимофею Дмитриевичу в соображении, что он не засидится в Петрограде.

Надеюсь, что Вы вполне благополучно проживаете в Киеве и по-прежнему заняты продолжением своего огромного труда. Я, к сожалению, лишь изредка присаживаюсь за просмотр 2 тома “И[стории] В[изантии]” для нового издания, которое мечтаю осуществить в Киеве».

В Саратов ехать Кулаковскому не пришлось, Иконников продолжал ковырять третий том «Опыта русской историографии», второе издание второго тома «Истории Византии» не состоялось, и для Кулаковского лето 1916 года в Красной Поляне было последним, самым спокойным перед смертью.

Вячеслав Иванов, Владимир Эрн, Павел Флоренский и Красная Поляна. Сергей Аверинцев в статье «Системность символов в поэзии Вячеслава Иванова» цитирует отзыв Антона Карташева, последнего обер-прокурора Святейшего Синода, об Эрне (1882–1917):

«Высокий, с бледным безбородым лицом, в обычном для того времени чёрном сюртуке, он казался протестантским пастором какой-то морализующей секты, являя собою пример протестантского пафоса в православии».

На известной фотографии, где Эрн сфотографирован в обществе Булгакова и Бердяева, он «при бороде», но чёрный сюр-



Сергей Булгаков, Владимир Эрн, Николай Бердяев

тук, и вправду обычный для того времени, остался. Сам Эрн о друге Иванове написал следующее:

«Не будучи в состоянии развить своих мыслей, я только укажу на Вяч. Иванова, мыслителя огромной, пленительной глубины, ослепительного мастера слова, который в наши дни развил *динамическое* понимание культуры как явления, находящегося в синтетической зависимости от творческой стихии жизни» («Борьба за Логос», 1911).

Быть может, эти качества и делади Иванова и Эрна, едва ли случайных знакомцев Кулаковского, столь ему близкими и, конечно, исключительно интересными собеседниками, — с Соловьёвым вровень. Лидия Иванова (1896–1985), вспоминала, что «летом 1916 года мы наняли вместе с Эрнами дачу в Красной Поляне — несколько десятков вёрст к югу от Гагр. Это был греческий посёлок с несколькими дачами, построенными группой профессоров из разных университетов. Красная Поляна лежала в глубине небольшой равнины среди высоких горных стен, поросших почти непроходимыми зарослями густого леса. Среди них находились одичалые сливы, яблони, груши и черешни. На стволах — глубокие раны от когтей медведей, карабкавшихся за вкусными плодами и диким мёдом. Плоды были очень мелкие, но очень сладкие, и при нужде можно было бы не умереть с голода, целый год живя в лесу.

— Мама, мама! Иди скорей сюда. Тут четыре медвежонка. Они играют, — кричит Дима (Дм. Вяч. Иванов (1912–2003)). — А. П.).

Они с няней отправились как всегда на лужайку над нашей дачей.

Протестующего Диму с няней скорей забрали домой: не дай Бог, придёт мать медвежат, испугается и бросится на защиту детей. Медведей

в Красной Поляне очень много. Медведь, однако, там не опасный. Он бурый, небольшой и вегетарианец. Только не нужно его пугать. Однажды монашек, ещё молодой, о. Маркел, со своей котомкой спускался по тропинке к речке; вдруг с той стороны русла ему навстречу медведь; о. Маркел так испугался, что сам не зная, что делает, сел на землю, закрыл глаза и начал твердить молитву. Медведь удивился, остановился, постоял, затем повернулся, поднялся обратно по тропинке, которой пришёл, и исчез.

В монастыре на Афоне среди русских монахов завелась группа пустынников <...> Они были известны под названием “имяславцы” <...> Святейший Синод заявил, что это ересь, и имяславцы были изгнаны с Афона <...> Некоторые из них попали в Красную Поляну и стали жить в лесах отшельниками <...> Эрн чтит этих пустынников и каким-то образом сумел посещать их. Он даже однажды добился от одного из них согласия покинуть на несколько часов свою келью и почтить его и Вячеслава своим посещением. Вячеслав был очень заинтересован и обрадован таким редким и почтенным гостем. Они закрылись втроем в комнате и между ними состоялась долгая, оживлённая и интимная беседа».

Через несколько лет, в 1922-м о. Павел Флоренский сочинит трактат «Имяславие как философская предпосылка», в котором обопрётся (или оттолкнётся?) на афонские споры об Имени Божием 1912–1913 годов. Помимо нарушения вероисповедного спокойствия, эти споры дали толчок модернизации богословской мысли. Суть полемики была та же, что и в средневековом споре реалистов и номиналистов: об онтологичности или же условности Имени Божия. Позже Павел Флоренский, Густав Шпет и Алексей Лосев, каждый по-своему, отдадут дань уважения философии слова и философии имени. В нашей связи любопытно, что, возможно, общаясь с Эрном и Ивановым, Флоренский, модернист от богословия, в 1916–1917 годах интересовался их беседами с краснополянскими отшельниками-имяславцами. Кулаковский наверняка рассказывал постояльцам о Соловьёве.

«В Красной Поляне, — продолжает Лидия Иванова, — кроме Эрна почти не с кем было общаться, за исключением одного соседа — профессора киевского университета, филолога-классика Юлиана Кулаковского. Он был правый и глубоко убеждённый монархист. За самоваром шли долгие политические споры».

Можно предположить, в Красной Поляне Иванов сочиняет цикл статей «Лик и личины России», посвящённых Достоевскому и проникнутых политическими настроениями (впервые

Михаил Нестеров.
Философы
(П. А. Флоренский
и С. Н. Булгаков),
1917, холст, масло



в «Русской мысли», 1917, январь), а, возможно, и тексты «Легион и соборность», «Польский мессианизм как живая сила», «Мимо жизни» (о Мережковском), «Вдохновение ужаса» (о романе Андрея Белого «Петербург»), «Шекспир и Сервантес», «Старая или новая вера», которые среди прочего в 1918-м составят его сборник «Родное и вселенское» — памяти Достоевского.

По наблюдениям О. Марченко, в Красной Поляне Владимир Эрн переживает «солнечное постижение», которое становится ключом его интерпретации учения Платона в недоконченном трактате «Верховное постижение Платона» (1915–1917) памяти князя Сергея Трубецкого. О том же пишет и один из прорелигиозных интерпретаторов Эрна (Евг. Вьюнник, 1991): летом 1916-го, когда «после долгих поисков и изучений в Красной Поляне “среди гор и солнца” философу открывается первичная интуиция Платона, он приступает к своему главному труду “Верховное постижение Платона”».

Итак, сочинение Эрна о Платоне начато в краснополянском доме Кулаковского, возможно, даже за его письменным столом. Эрн не успел его закончить — умер в конце апреля 1917-го от почечной недостаточности. Зато начал (посвятив весь трактат памяти Трубецкого) изложением платоновского мифа о пещере, об исторических особенностях кладки её стен.

Его фраза: «...подобно археологам, нашедшим в постройке древнего республиканского Рима кирпичи с клеймом императоров и на этом основании заключающим о позднейших перестройках...» точно навеяна вечерними беседами с хозяином дачи, который знал о римских кирпичах и перестройках практически всё, что можно было тогда об этом в России знать.

Флоренский, сокурсник Эрнэ по 2-й Тифлисской гимназии, в статье «Памяти Владимира Францевича Эрнэ» (май 1917-го) рассказывает:

«Мне хорошо запомнилось твоё утверждение, что основное в этом исследовании — интуиция Платона — после многих поисков и изучений далась тебе вдруг летом 1916 г. в Красной Поляне, среди гор, и что эта интуиция определяет весь план и характер твоей книги <...> ты мне несколько раз говорил по приезду из Красной Поляны, а кажется — и писал оттуда, что лето 1916 г. — последнее твоё лето, — открыло тебе Платона, ибо ты нашёл его первичную интуицию. А открыл, ибо сам пережил нечто подобное <...> Ведь ты помнишь тот опыт, который открыл тебе понимание Платона: в июле 1916 года, кажется, 25-го числа, то есть как раз “на макушке лета”, по народному выражению, на Анну-зимоуказницу, ты поднимался из Красной Поляны на вершину Ачишхо. Снежные твердыни, залитые потоками всепобедного солнца, которое в горах, и в особенности на этот раз, сияло как-то иступлённо, вызвали в тебе солнечное восхищение, как сам поведал ты. И уже после, когда впечатление ослабло, — осенью, ты рассказывал об этом созерцании как об “ужасном”, “потому что, — говорил ты, — невозможно видеть такую красоту и не умереть”».

Если Иванов в посвящённых Эрнэ материалах говорит преимущественно о том, что единило их, разных по возрасту, характеру дара, темпераменту итд, — интенция текста Флоренского иная. Говоря о человеке, с которым на протяжении почти всей его краткой жизни (Эрнэ не прожил и 35 лет) был связан «горячим чувством близости», Флоренский старается выявить и прояснить различие в понимании важнейшей, коренной для обоих философской темы.

«Автобиографическая сторона твоей работы в односторонне-солнечном истолковании Платона болезненно задела меня, и, может быть, по преимуществу педагогически я тогда спорил с тобою, желая отвлечь тебя несколько в сторону. Нельзя жить с сердцем, пронзённым одною только солнечною; там, где нет творческого мрака пещерных посвящений, Солнце-Аполлон сжигает и губит, переходя в Молоха. И как ты



Николай Дубовской. В Красной Поляне, 1912, холст, масло

не мог понять, что солнечное восхищение, тобою описанное, уже есть, в своей односторонности, нарушение мистического равновесия, уже есть солнечная смерть».

В этом идеалистически пасторальном контексте стоит помнить, что Иванов оставил стихотворение «Деревья», посвящённое Красной Поляне и совместному бытованию с Эрном на даче Кулаковского (датировано 1917–1918 годами):

И первую мне Красная Поляна,
Затворица, являет лес чинар,
И диких груш, и дуба, и каштана
Меж горных глав и снеговых тиар.
Медведь бредёт, и сеть плетёт лиана
В избыточной глуши. Стремится, яр,
С дубравных круч, гремит поток студёный
И тесноты пугается зелёной.

А вот патетический, искусственно пафосный фрагмент к Эрну. Но тогда так было принято:

Владимир Эрн, Франциска сын, — аминь!
Ты не вотще прошёл в моей судьбине.
Друг, был твой взор такую далью синь,
Свет внутренний мерцал в прозрачной глине
Так явственно, что ужасом святынь,
Чей редко луч сквозит в земной долине,
Я трепетал в близости твоей не раз
И слёзы лил внезапные из глаз.

Кулаковский был иного замеса.

Кафкианское. Февраль 1917 года и последовавший за ними октябрьский переворот прервали и научную деятельность Кулаковского, и душевное спокойствие, к которому он — 62-летний пенсионер — так стремился.

В декабре 1917-го Соболевский рассказывает ему о следующем перевороте:

«Мы с Вами уже не только в двух разных государствах, но и в двух воюющих друг с другом независимых республиках. Хотя моё пятое временное правительство и Ваша Рада как будто два сапога одной пары, тем не менее, теперь симпатии на стороне Рады. За неё цепляются в Харькове, в Одессе; на неё возлагают надежды бастующие служащие, чиновники, учителя разных наименований в Москве; её ждут в Новочеркасске, и не только сточливая сволочь, как Гучков, Родзянка и им подобная сволочь, но и честный старый казак Каледин, вероятно, совсем простофиля в политике. А мои большевики только то и делают, что увольняют в отставку то целые министерства, то “части”, лишая жалованья, выселяя из квартир, и сплошь да рядом сажая то в Кресты, то Бутырки и т. п., смотря по местности. Значит, какая к ним симпатия?!»

В январе 1918-го:

«Моя республика большевиков мечется по-прежнему. Думаю, что в Вашей украинской республике спокойнее и умереннее и что киевляне встретили Рождество без тяжких ожиданий. У меня все частные банки взяты большевиками в плен. Их кассы в большевицких руках; их стальные ящики подлежат осмотру большевицких комиссий при отсутствии хозяев».

Чему удивляться? Революции это в первую очередь «простор для разлива самых грязных страстей и поступков» (Иконников).

Весна в 1918 году была холодная. Особенно ещё и потому, что календарь был переведён на тринадцать дней вперёд, и в новом календарном апреле ещё царили мартовские холода.



Киев. «Праздник революции» на Думской площади, 16.03.1917

Арсений Маркевич писал: рок отнял у него в декабре 1913-го старшего брата, в декабре 1914-го жену, — и началась у Кулаковского одинокая, «сиротская жизнь».

Политические события, шедшие с необыкновенной быстротой, «после некоторого подъёма в начале войны и проблеска надежд на освобождение славянства от немецкого гнёта и возрождение его, надежд на освобождение нами проливов и занятие Константинополя, наносили ему одну рану за другой, терзали его, убивали одну его надежду за другою: им стал овладеть пессимизм, доходивший порой до отчаяния».

Диковинно для разумного человека переживать какие-то странные тютчевские строчки, навеянные глупостью державных мироустройства и миропосвятельств. Ну, кому это нужно:

Вставай же, Русь! Уж близок час!

Вставай Христовой службы ради!

Уж не пора ль, перекрестясь,

Ударить в колокол в Царьграде?

Обилие восклицательных знаков свидетельство неразумия. И дался им этот Царьград, эти Дарданеллы, своих колоколов мало? «И своды древние Софии, / В возобновлённой Византии, / Вновь осенят Христов алтарь», — это какой-то фантастический научный коммунизм в православии. Поздний Тютчев всегда казался несколько манерным; даром что цензор.

Кулаковский — Маркевичу 4.06.1917 из Вернигоровщины:

«Уныние и безнадежность, одолевшие меня и всё усиливавшиеся, превратили меня в живой труп, убили всякую волю и энергию <...> Я страшно томлюсь и страдаю от невозможности чем-нибудь заняться. Налегла на Русь чёрная полоса, в которой нет просвета <...> Идёт развал великой единой Руси, которая имела свои великие мировые задачи и мощь для их выполнения. Перебили спинной хребет живого существа, и оно трепещет конвульсивно всеми своими членами. Страшно до ужаса и жить нечем. От худого идём к худшему <...> Что выйдет из этого хаоса? У меня нет сил переживать это страшное настоящее».

Через полгода Евгений Тарле в газете «День» за 21.12.1917 почти повторит эти слова:

«И мы, и вся Европа стоим не перед лучезарной весной, а перед долгой полярной ночью».

Кулаковский — Маркевичу 7.06.1917:

«Современные события так тяжело ложатся на мою душу, что я временами впадаю в полное сумасшествие».

Он тогда ещё не знал, что скоро Временное правительство исчезнет, Центральную Раду сменил гетман, потом недолгий Петлюра (Директория), а потом придут большевики.

За два дня до того, как 25.10.1917 разогретая примитивными лозунгами матросия арестовала в Зимнем дворце либеральных министров, пражанин Франц Кафка написал миниатюрный рассказ «Молчание сирен». У сирен было другое, ещё более ужасное, чем пение, оружие — молчание, и Одиссей напрасно затыкал себе уши воском и приковывал к мачте, чтобы не соблазниться (мужчина всё-таки):

«когда явился Одиссей, могучие певицы не пели, — рассудив ли, что этого противника подобает встретить всего лишь молчанием, забыв ли о напевах перед равнодушным выражением лица Одиссея, ни о чём, кроме воска и цепей не помышляющего».

А Одиссей этого молчания, можно сказать, не слышал, он думал, что они поют, и лишь он один защищён от слуха. Мимолётом разглядел он вначале изгибы их шей, глубокое дыхание, полные слёз глаза, приоткрытые рты, но решил, что это относится к ариям, раздающимся неслышанными вокруг него. Но вскоре всё проскользнуло мимо его устремлённого вдаль взгляда, и сирены прямо таки пропали из-за его решительности, а едва отплыв, он тотчас совсем о них и позабыл <...> К этой истории, кроме того, существует приложение. Одиссей, как гласит предание, был



Киев. Сечевые стрелцы на Софийской улице, начало 1918 года

такой хитрец, такая лиса, что даже богиня судеб не сумела пробраться в его сердце. Возможно, хотя этого человеческий ум уже не в силах понять, на самом деле он заметил, что сирены молчали, и выше описанный процесс служил ему лишь щитом, защищавшим его от сирен и богов».

Верхом литературоведческой натяжки было бы заподозрить Кафку в исторической прозорливости: какое ему дело до России и кровавого шарудения её переворотов. Если это и хронологическое совпадение, то совпадение, по-моему, характерное. Интеллигенция, больше всего выступавшая против самодержавия и «ходившая в народ», будто в нужник, как белка из «Ледникового периода» — опасливо приседает и, прищуриваясь, осматривается, не грозит ли ей какая кара за гастрономическую любовь к лещине. Большевики знали, чем завлечь, и пели свои земледельчески-антивоенные песни там, где нужно, для тех, кто хотел слушать, будучи уверенными, что у всех остальных скоро иного выхода не будет, как лишь согласно подпевать. Надвигался *насильственный оптимизм* — обязательная для всех любовь к тюремщикам и палачам.



Киев. Союзники на Софийской площади, март 1918 года

Но где Киев и — где Петроград. В Петрограде было однозначно, в Киеве — веселей.

Кулаковский — Маркевичу 27.12.1917:

«Настали святки, и близится Новый год. В это время обыкновенно обменивались приветствиями близкие люди и добрыми пожеланиями. Но, Боже, Боже! Ужас нашего настоящего сковывает всякие надежды, и язык немеет для слов: “С Новым Годом, с новым счастьем”. Страшная тёмная туча налегла на Русь, и в этой беспросветной тьме в тревоге за грядущий день приходится не жить, а прозябать и томиться <...> В тумане этих событий гаснет и мысль, и сознание».

Кулаковский сокрушается и о тяжёлом положении «Киева, некогда центра русского государства», и — привыкший к комфорту интеллигентный человек — ужасается происходившим в нём «всяким ужасам».

Другой киевлянин, Михаил Булгаков, поздравляя сестру Надежду с новым 1918 годом, писал 31.12.1917:

«Я спал сейчас, и мне приснилось: Киев, знакомые и милые лица, приснилось, что играют на пианино... Придёт ли такое время? Настоящее таково, что я стараюсь жить, не замечая его... не видеть, не слышать!.. Видел толпы, которые осаждают подъезды захваченных, запертых банков, голодные хвосты у лавок, затравленных и жалких офицеров, видел газетные ли-



Киев. Чествование гетмана П. П. Скоропадского на Софийской площади, 29.04.1918

стки, где пишут, в сущности, об одном: о крови, которая льётся и на юге, и на западе, и на востоке... Всё воочию видел, и понял, что произошло».

Хроника киевских событий динамична:

4.03.1917 — создание киевского Совета рабочих депутатов с преобладанием меньшевиков, эсеров и бундовцев;

09.1917 — переход руководящей роли в Совете к большевикам;

13.11.1917 — разгром войск Временного правительства;

29.11.1917 — создание Украинской Народной Республики (Центральная Рада);

16(29).01.1918 — Январское восстание большевиков против Центральной Рады;

26.01(8.02).1918 — большевики, установление советской власти, бегство Центральной Рады в Житомир;

12.02.1918 — переезд правительства большевицкой Украины в Харьков; обращение Центральной Рады за помощью к немецким союзническим войскам;

1.03.1918 — австро-германские союзные войска, восстановление власти Центральной рады;

29.04.1918 — разгон немцами Центральной Рады и создание Украинской Державы с гетманом Павлом Скоропадским во главе;

14.12.1918 — под натиском большевиков немцы покидают Украину,

наступление войск Симона Петлюры, побег гетмана Скоропадского; Директория, волна еврейских погромов;

5.02.1919 — снова большевики (Щорс);

30.08.1919 — снова петлюровцы;

31.08.1919 — Добровольческая армия генерала Антона Деникина, волна еврейских погромов; осенью Деникин избран почётным членом Университета — последним перед долгими большевиками;

16.12.1919 — опять большевики;

6.05.1920 — «белополяки»;

11.06.1920 — большевики, и — увы — почти на семь десятилетий (с двухлетним перерывом на фашистскую оккупацию) — до 24.08.1991.

Вторая гибель Столыпина весной 1917-го. 17 марта снесли натуралистический памятник Столыпину работы Этторе Ксименеса. За день до этого устроили одно из первых в Киеве шествий «во имя свободы»: «Праздник Революции».

Колонны «свободных людей» числом около двухсот тысяч (древние историки и тогдашние газеты обычно преувеличивали размер толпы вдвое, впятеро, вдесятеро) протолклись возле Думы с полдесятого утра до полседьмого вечера.

Снести «Столыпина» хотели раньше, но техника подкачала. 17-го подвешенный к «виселице» памятник был сброшен на брусчатку, толпа, как водится, заорала «ура», «Столыпина» подняли, положили на грузовик, отвезли на завод «Арсенал», где вскоре тайно переплавили. Ксименес, итальянский ваятель-натуралист, в 1913 году выполнивший скульптуру бесплатно, пожалуй, расстроился: «такой стул загубили».

Киевский архитектор Павел Федотович Алёшин (частное сообщение Алёны Мокроусовой) на бумажке записал:

«1. После беседы с отдельными художниками встреча с проф. Павлуцким, председателем Совета Объединённых Художественных организаций. Назначено заседание. Объявление. Заседание. Вступ. слово Павлуцкого. Моё сообщение. Премия. Разные взгляды. Мнения Кржижановского (“рождённый ползать летать не может”), польской организации, Мурашко, арх. Рыков, Николаев, живописец Селезнёв, живописец Козик, председ. Украинской организации, музыкант Михайлов, учитель чистописания, в общем отношении всячески проводит в жизнь. Записка Демидова (?)».

2. О памятнике Столыпину. Обращение».

К кому здесь, этим красным феерическим мартом семнадцатого обращаться? Можно ли звать к пустоте? Наверняка



Киев. Демонтаж памятника Столыпину, 17.03.1917

Алёшин хотел «обратиться», чтобы бронзу памятника не отправляли на переплавку: какое ни на есть художество.

Владимир Маяковский в 1924-м написал по аналогичному поводу в стихке «Киев» (12–17 января он с выступлениями побывал в Киеве и Харькове):

Был убит
и снова встал Столыпин,
памятником встал,
вложивши пальцы в китель.
Снова был убит,
и вновь
дрожали липы
от пальбы
двенадцати правительств...

Если быть точным, — правительств было больше, но поэту точность не нужна. А если придирается, то памятник Столыпину уничтожили ещё при первом правительстве, в обычной революционной эйфории, как правило, сменяющейся тем более глубоким разочарованием, чем кровавее и бесноватей она была. Если липы и дрожали от пальбы, то к бронзовому Столыпину это отношения не имеет. К мёртвому — тем более.

Отчаяние закатных лет. 1910-е это умирание задержавшегося XIX столетия, когда смотрели, а не взглядывали, когда испытывали чувство ответственности, а не смутной вины. Отношения с пространством основывались на ширине шага.

Кулаковский был человеком XIX века: три четверти его жизни приходится на него. Это ему советовал Бродский:

Не выходи из комнаты; считай, что тебя продуло.
Что интересней на свете стены и стула?
Зачем выходить оттуда, куда вернёшься вечером
таким же, каким ты был, тем более — изувеченным?

Он вынужден был выходить, но чаще запирался, баррикадировался от окружавшего сумасшествия в переводе Марцеллина и нанизывании *res gestae* императоров на чётки страниц византийской истории, — в рукописи четвёртого тома.

Но знал:

...если ты мгновенным озабочен —
Твой жребий страшен и твой дом непрочен!

Ставший с годами уравновешенным кабинетным учёным (иначе было не написать историю Византии), он всё чаще желал константности. А как раз её из-под ног и вышибли.

Последние два года его жизни омрачены ежедневным ислением надежд, смежением перспектив: на восстановление греческого языка в гимназиях (по причине их закрытия), на грядущий мир, на прекращение войны, на внучатую старость.

Это было время, когда вещи жили дольше своих владельцев; Вл. Топоров даже сказал, что человек недолго жил тогда под старческими взглядами всегда новых, добротнo скроенных, сбитых временем вещей.

Собственный дом, который только на закате дней появился у Кулаковского на далёком Кавказе, становился недоступным, наёмную квартиру всё тяжелее было содержать тёплой в суровые зимы. Второе издание «Истории...», начавшееся выпуском первого тома в 1913 году, так и не было завершено. Четвёртый том не дописан.

Точней Булгакова не сказать:

«Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская — вечерняя Венера и красный, дрожащий Марс».



Борис Кустодиев. Большевик, 1919–1920, холст, масло

Весна 1918-го была поздняя, и в апреле на загаженной плевками и лошадьми киевской брусчатке ещё лежал снег.

«Ну, думается, вот перестанет, начнётся та жизнь, о которой пишется в шоколадных книгах, но она не только не начинается, а кругом становится все страшнее и страшнее... Восемнадцатый год летит к концу и день ото дня глядит всё грознее и щетинистей».

Шкловский:

«Киев был полон людей. Буржуазия и интеллигенция зимовала в нём. На Крещатике всё время мелькали “владимиры” и “георгии”.

Город шумел. Было много ресторанов.

Я увидел, как нищий, вынув из сумы кусок хлеба, предложил его извозчицкой лошади.

Лошадь отвернулась.

<...> На улицах развевались трёхцветные флаги. Это были штабы добровольческих отрядов Кирпичёва и графа Келлера и ещё, кажется, под названием “Наша родина”.

А на одной улице висел никогда прежде не виданный флаг. Кажется, жёлтый с чёрным, а в окне портреты Николая и Александры Фёдоровны; то было посольство Астраханского войска.

Гетманских войск почти не было видно, хотя раз в день проходили

отряды русских офицеров, сменявшихся с караула на гетманском дворце. У них была своя форма с маленькой кокардой и узкими погонами.

<...> Был кабачок — “Кривой Джимми”, кажется, а в нём — Агнивцев и Лев Никулин, потом ставший заведующим политической частью Балтфлота, а сейчас член афганской миссии».

Семья Николая II с ним во главе, с доктором Евгением Боткиным (моим дальним родственником по генеалогии Третьяковых), лейб-поваром Иваном Харитоновым, камер-лакеем Алоизом Труппом и горничной Анной Демидовой в ночь с 17 на 18 июля расстреляны в Екатеринбурге.

Лишённый чувства комического, германский кайзер Вильгельм 10 ноября топтался на голландской железнодорожной станции Эйзден с прочными немецкими чемоданами: Амстердам упрашивал по телефону графа Бентинка, английского лорда из старинной голландской же семьи, владельца лежащего недалеко от границы поместья Амеронген, дать хотя бы временный приют бежавшему монарху. Памперсы ещё не придуманы. Леди Норе Бентинк, наблюдавшей Вильгельма в первый день, казалось, что он ошеломлён катастрофой и не вполне осознаёт положение. «Ноябрьская революция» в Германии, свергнувшая Вильгельма, в разгаре.

В опустевшем берлинском дворце, помахивая красным знаменем («всяк дурак красному рад»), Карл Либкнехт вопил о тех, кто привёл германский народ к катастрофе — самой страшной в его полуторатысячетней истории, и предлагал взамен искусственно пестуемую глупость толпы. А у подавляющего большинства славянского народонаселения глупость естественна. «Дуростью осиянная, простецкая Русь берегла как зеницу ока своих недоумков, иванушек-дурачков и блажененьких, она слушала их как пророков, и хоронила как царей», — записал Сигизмунд Кржижановский. Наивный большевицкий лепет, увы, перешёл на крик, и в «котле революции» одни раскалились докрасна, другие добела, переползши с февралёвой душой в октябрьские дела.

«Над городом развевался жёлто-благитный флаг, Думу охраняли солдаты-украинцы, а на улицах были митинги: русские спорили с украинцами, евреи дулись и ждали, когда их будут бить».

Положение было скверное, эшелоны, направляемые через Киев, в Киеве обращались в украинцев и оседали плотно», —



Киев. Александровский (ныне Владимирский) спуск, 30.03.1918

это из «Сентиментального путешествия» Виктора Шкловского, который, веселясь и злорадствуя, засыпал сахар в жиклёры гетманских броневиков.

«Немцы кончались. Они были разбиты союзниками, это чувствовалось.

Значит, накануне смерти была и власть Скоропадского, и даже с этой точки зрения нужно было что-то предпринимать».

Когда в Киеве был гетман, а в Петрограде всю большевики, академик Павлов, пытаясь осознать происходящее с генеральной точки зрения, выступил 20.05.1918 с публичной лекцией «Об уме вообще и русском в частности»: простое и характерное название. Кто-то же должен был хоть раз задуматься, а вот и время подоспело.

«Мне кажется, — размышлял нобелеат, — я прав, если в дальнейшем не буду учитывать научного ума. Но тогда каким же умом я займусь? Очевидно, массовым, общежизненным умом, который определяет судьбу народа. Но массовый ум придётся подразделить. Это будет, во-первых, ум низших масс и затем ум интеллигентский. Мне кажется, что если говорить об общежизненном уме, определяющем судьбу народа, то ум низших масс придётся оставить в стороне. Возьмём в России этот массовый,

то есть крестьянский ум по преимуществу. Где мы его видим? Неужели в неизменном трёхполье, или в том, что и до сих пор по деревням летом безвозбранно гуляет красный петух, или в бестолочи волостных сходов?

Здесь осталось то же невежество, какое было и сотни лет назад <...> Мне кажется, что то, что произошло сейчас в России, есть безусловно дело интеллигентского ума, массы же сыграли совершенно пассивную роль <...> Я думаю, что мы с вами достаточно образованны, чтобы признать, что то, что произошло, не есть случайность, а имеет свои осязательные причины и эти причины лежат в нас самих, в наших свойствах».

Ленин ненавидел сборник «Вехи», а надо бы наоборот: когда интеллигенция хлещет себя ушами по щекам, нужно быть признательным: отвлекает внимание, позволяя делать гадости. Кто читает «Вехи», «Из глубины», «Интеллигенция в России»? Примерно те же, кто их сочинил, — лишь стоящие ступенькой ниже, поскольку пишут не они. «Властители полуобразованных умов» хуже, чем властители необразованных или сверхобразованных. Видят бурю внутри себя и полагают, что это снаружи. И тогда «наружу» тоже думает, что это у неё внутри, а там пустота, «мерзость запустения», биология с физиологией, бестолочь, желание дать кому-нибудь по морде или, крепко вмазав, грязно выругаться. Дело интеллигенции — делать интеллигентное дело, выращивать культурные растения, а не внедрять «разумное, доброе и вечное» там, где им нет места, поскольку это так же дико, как краснозадый макак в Заполярье: никак не приспособится.

Алексей Гольденвейзер сетовал, пожимая узкими интеллигентными плечиками:

«Интеллигенция и, в особенности, деятели высшей школы были <...> совершенно безоружны в борьбе с ограблением и обнищанием. Ни запасов, ни кредита у них не было. Выехать очень многие из них не могли или не решались. И они остались и страдали больше и глубже других. Для человека духовного труда выселение, мобилизация, лишение привычной работы — всё это чувствуется острее и болезненнее, чем для всякого иного. А этому подвергались все — интеллигенты не меньше других».

О чём басня? О том, что нужно было спозаранку сидеть тихо и умную думу думать, будто в таинстве участвуешь, а раз уж разболтали в стакане сахарок, — терпеть и не ныть, не слагать с себя вину. Если сможешь.

Письмо академику Соболевскому от 14.04.1918 Сергей Ку-

лаковский начал словами, что пишет ему «вместо папы <...> так как он не может писать теперь писем». Дальше — о Киеве, куда по приглашению Центральной Рады вошли немецкие войска, возможно, под диктовку отца:

«Наш край умиротворён, да не совсем — слишком мало здесь немецких сил. Большевики отброшены за Харьков, куда через 3 дня идёт поезд (классный). По-видимому, верховья Днепра не предполагается переступать — как неукраинские земли. В городе строгий порядок, вооружённая полиция и сторожа (часто офицеры), чистота по мере сил. Немцы ведут себя очень корректно, их патрули имеют вид очень добродушный. Жизнь течёт нормально».

Правда,

«все огромные интендантские запасы увозятся в Германию. Там нет ровно ничего; голод; тканей, железа, угля — нет; сами немцы на украинский рынок ничего не дадут; они говорят, что Германия была накануне сдачи <...> Чуть было не забыл передать, как подвели немцев русские пленные, окультуренные в украинском духе. Торжественно прибыли они сюда, одетые в синие жупаны, и должны были агитировать в пангерманском духе; однако, многие обольшевичились, после чего свыше 50 человек были расстреляны, а остальные почти все увезены на западный фронт. Вести оттуда тревожные; видимо, немцы после неудачной попытки прорваться на Париж отрезали там англичан <...> “Иллюстрированный мир”, издаваемый в Гамбурге на 12 языках, и “Русский вестник” (газета для русских пленных) проповедают Deutschland über alles, “Одумайтесь” Толстого (по поводу войны 1904 г. ещё) и ненависть к Англии, а также натравливают на царя Николая II как виновника войны. Русских газет “настоящих” нет (за московские платят по 500 рублей №). Здесь выходят дрянные газетки наряду с подлой “Киевской мыслью”; вышел 1-й выпуск “Малой Руси” — журнала Шульгина; “Киевлянин” закрылся уже давно. Как будто, просвета ещё нет».

Касаюсь университетской жизни образца весны 1918-го, Сергей Кулаковский отчитывается Соболевскому о «съезде профессоров и преподавателей Киева, Одессы и Екатеринослава», на котором выяснялись «насущные вопросы (украинизация, против которой все профессора одесские, а киевские — частью, отчего университет идёт на компромисс)». Но больше, конечно, беспокоит другое:

«Городская продовольственная управа не даёт хлеба, который все достают на базаре по 1 рублю за фунт чёрного и 1 рубль 50 копеек бело-

го (мука чёрная около 30 рублей пуд, белая 45–75 рублей пуд смотря по качеству; сахару везде много — свыше 1 рубля фунт, но по карточкам). Живём здесь замкнуто — каждый город своей жизнью. Одесса даже выпустила особые деньги, а Киев всё печатает украинские кредитки в 50 и 100 рублей <...> От всех этих больших и малых переворотов папа совсем занемог; привязалось расширение вен в ноге, отчего последние дни пришлось лежать, а до того сердце не позволяло ходить так, как привычно, отчего папа ещё более угнетён и мрачен. Думаю, что он делает приписку в моём письме»¹.

В конце весны 1918-го те же жалобы:

«Папа всё хворает: нервы, одышка, лёгкие; он очень плох, потому что сам все дни — вот уже год — говорит о смерти, а ведь человек сам себя губит».

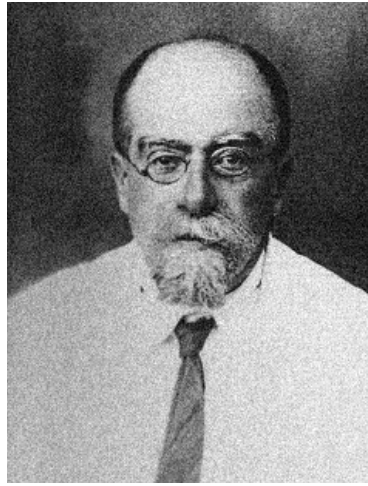
Лето 1918 года отец и сын Кулаковские (Арсений — в Москве) вновь проводят в Вернигоровщине у Муретовых. В середине сентября 1918-го:

«В Киев дошли слухи, что Вы всё ещё томитесь в тюрьме. Душевно, горячо сочувствует Вам папа, который, несмотря на заметное улучшение (после летнего отдыха у кузины Наталии Платоновны), всё так же очень нервен. Я присоединяю к своему письму его приветы, так как сам он никак не может взяться за письмо <...> Папа так же мрачен, ничто его не подбодрит — и в противоположность ему Т. Д. Флоринский и В. С. Иконников всё бодрятся, умеют бодриться. Грустит папа и о Вас <...> Киев всё по-старому — у немцев. Тяжело писать о том, что делается у Вас и у нас, чудится, будто связали меня, издеваются. Бессильная, страстная злорада закипает против всего <...> И когда же перемена?»

На следующий день после падения Гетманата (и Украинской Державы), 15.12.1918 на заседании Учёного совета Университета ректор Евгений Спекторский сетует на отсутствие кворума. Присутствующие понимают, отчего так происходит, но Спекторский вынужден лепить ректорскую мину недовольства вперемешку с отчаяньем:

«члены Совета в последнее время стали неаккуратно посещать засе-

¹ Михаил Робинсон, опубликовавший письма Сергея Кулаковского Соболевскому, увы, не смог прочесть эту скоропись Юлиана Андреевича. См.: М. А. Робинсон. Судьба русского киевлянина: письма С. Ю. Кулаковского А. И. Соболевскому (революция, гражданская война, первые годы эмиграции) // Славянский альманах / Ин-т славяноведения РАН. Москва, 2018. № 3/4. С. 215–246.



Евгений Васильевич Спекторский

дания Совета, некоторые же уходят из заседаний, не ожидая их окончания, поэтому очень часто в середине заседания не оказывается законного кворума и заседание приходится закрывать и переносить намеченные на повестке и нерассмотренные дела на последующие заседания.

Указанные выше явления, — тяжелоесно продолжает Евгений Васильевич, — представляются крайне нежелательными, особенно если принять во внимание, что некоторые из членов Совета по законным причинам, а именно: вследствие своего болезненного состояния здоровья совсем не могут посещать заседаний, между тем, согласно 35-й статье Универ. устава, они входят в кворум как наличные члены. Таким образом, неаккуратное посещение заседаний и проволочка в скорейшем разрешении дела естественно вызывает вполне справедливые нарекания со стороны некоторых членов Совета».

В протоколе дальше написано, что, принимая во внимание, с одной стороны, это нарекание, а с другой стороны, имея в виду, что посещение заседаний является обязанностью членов Совета, ректор предлагает обсудить меры, побуждающие членов Совета к аккуратному посещению заседаний и вообще высказаться по вопросу об определении кворума для заседания.

«Во время обмена мнениями по данному вопросу некоторые члены Совета предлагали установить штраф за непосещение заседаний, а другие, наоборот, предлагали установить особую плату за каждое заседание, но оба эти предложения были отвергнуты, после чего Совет

ОПРЕДЕЛИЛ: 1) Не принимать при исчислении кворума, дабы не увеличить последнего, тех членов, которые по своему болезненному состоянию совсем не могут посещать заседаний. 2) Просить тех из членов Совета, которые не могут явиться в заседание по болезни, заблаговременно об этом уведомить ректора. 3) Просить тех членов Совета, которые по каким-либо причинам не могут присутствовать в продолжение всего заседания и должны уйти из заседания, сообщить об этом ректору. 4) Составить к следующему заседанию Совета для доклада подробную справку, сколько каждый член Совета пропустил заседаний и, наконец, 5) просить, по возможности, не затягивать прениями заседаний, причём в первую очередь разрешать наиболее важные дела».

Тогдашний Совет Университета был органом коллегиального принятия решений — в отличие от некоторых современных, где глуповатенький ректор порой «держит при себе» за длинным столом профессоров, чтобы вразумлять их, — при собственной никчёмности демонстрируя «необходимость».

Газета «Наш путь» 19.12.1918, через четыре дня после падения Гетманата, при двухмесячной петлюровской Директории, сообщает о нехватке воды в Киеве, о сыпняке.

«Весь день громадный, почти миллионный город живёт небольшими запасами воды, накопленными за ночь. Нарушен чёткий ход тонкого, тесно связанного всеми своими рычагами механизма европейского города, ослаб ток воды, и эта запинка тяжело расстраивает жизнь, — ширятся эпидемии, грязно и зловонно в охранных домах, гнилостные процессы идут под булыжниками мостовых, в канализационных трубах с застоявшимися отбросами».

«*Голодный тиф в Киеве.* На Киев надвинулось новое бедствие — эпидемия сыпного (голодного) тифа, развитию которого способствует переполнение города, отсутствие воды, загрязнённость улиц и дворов и необычайная дороговизна... В ноябре [1918-го] сыпным тифом заболело 473 человека. В декабре эпидемия делает быстрый скачок и число больных достигает 1070 человек» (21.12.1918).

«*В Университете св. Владимира.* Занятия в университете не могут возобновиться из-за отсутствия дров. Заготовленные для университета дрова реквизированы. По словам ректора университета профессора Спекторского, надежд на скорое возобновление учебных занятий очень мало» (5.01.1919).

Вместе с тем, по мнению Гольденвейзера,

«сравнительное благополучие Киева в гетманское время резко оттеня-



Киев. Большевики на Софийской площади, 6.02.1919

лось быстрым обнищанием Петрограда и Москвы, подпавших под власть большевиков. На севере начинался уже голод, который был нам ещё совершенно неизвестен. А начиная с осени, после покушения на Ленина [30.08.1918], начался и красный террор, с расстрелом заложников, чрезвычайками и ревтрибуналами. Все, кто только как-нибудь мог, устремились к нам на юг. Киев, хоть и на короткое время, стал подлинным всероссийским центром. К нам переехали правления всех банков, крупные промышленники и финансисты, представители аристократии, придворных и бюрократических кругов. За ними потянулась и интеллигенция — адвокаты, профессора, журналисты. Всё устремилось в Киев <...> В эти несколько месяцев, с августа по декабрь 1918 г., у нас, можно сказать, перебивал “весь Петербург” и “вся Москва”. Были основаны газеты с петроградскими редакторами и сотрудниками, в театрах гастролировали заграничные артисты <...> Город был переполнен, найти комнату становилось почти невозможным, квартиры продавались за сотни тысяч. На улицах было необычное оживление».

Юристу Гольденвейзеру вторит эссеист Роман Гуль:

«Киев — переполнен. Особенно много беженцев из Совдепии. Шумящие улицы пестрят шикарными туалетами дам. Элегантные мужчины, военные мундиры. Битком набитые кафе, переполненные театры, музыка,

гул, шум, проститутки, спекулянты. Но в этом чаду ощущается какая-то торопливость, предчувствие неминуемого конца. Как будто веселящиеся люди чувствуют за собой погоню и спешат провести “хоть час”. На фоне кутящей, пьющей, одуряющей толпы мелькают серые мундиры чопорных немецких офицеров и каменных солдат — это те, кому обязана толпа своим весельем. Уверенность в близкой опасности разделяется всеми».

В такой пыльной атмосфере протекала и литературно-художественная жизнь. Киевская газета «Вечер» за 14.11.1918:

«Во вторник 19 ноября литературно-артистический клуб устраивает вечер литературы и музыки. В первом отделении поэт Илья Эренбург прочтёт слово “О современной поэзии”, о “Двенадцати” Блока, об Андрее Белом и группе поэтов из “Знамени труда”. Второе отделение отдано писателю Андрею Соболю и поэтам И. Эренбургу и А. Никулину, которые выступят с отрывками из своих произведений. В третьем отделении будут исполнены произведения современных композиторов».

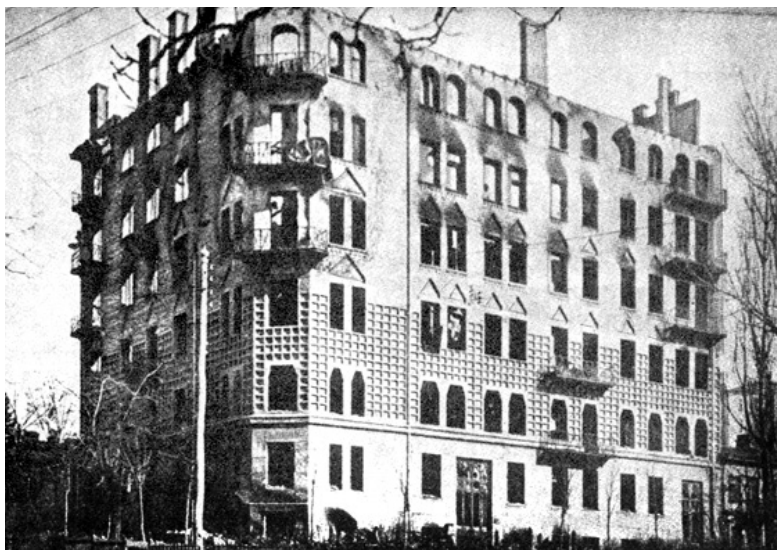
Когда 23–26 января 1918 года большевицкий идиот эсер Муравьёв (по Бубнову, «человек, утративший человеческий облик») в течение четырёх дней обстреливал Киев, причём прицельным огнём — шестиэтажный дом Грушевского на углу Паньковской и Никольско-Ботанической, а потом захватил город, — Кулаковский перестал удивляться: провозглашение УНР в марте 1917-го он не мог принять в силу монархического умозрения, но большевики раздражали 63-летнего профессора больше, чем Универсалы Центральной Рады.

У него оставалась домашняя библиотека — улиточная раковина, черепаший панцирь.

Книга как ароматический эликсир, о котором писал Ричард де Бери в «Филобиблоне»: она устраняет горечь всех испытываемых в посольствах трудов; после запутанных интриг, мелочных казуистических разбирательств и едва преодолимых лабиринтов политики позволяла вдохнуть благорастворение свежего воздуха. Аромат библиотеки превыше любых благовоний. Особенно если город вокруг тебя пропах дерьмом.

Батареи большевиков, расположенные на левом берегу Днепра на артиллерийском полигоне в Дарнице, постоянно били по городу, стремясь больше всего повредить районы «богачей» — Липки, Крещатик, Новое Строение. Не расслаблялись и два ошетилившихся пушками бронепоезда.

Один из них, переползши по железнодорожному мосту,



Київ. Разбомблений мураб'ївцями «Дом Грушевського», весна 1918 года

занял позицію возле вокзала. Василь Кричевський, гениальний український архітектор-художник, едва избежав смерті: с новонародженою дочкою Галей он стояв на балконі 6-го етажa и видел, как пушки бронепоезда наводятся на дом Грушевського. Мгновение спасло их жизнь: один из снарядов влетел в проём балконных дверей. Мать Грушевського, Глафира Захаровна, не вынеся стресса, умерла 30 января в Благовещенской больнице, и её тайно похоронили на следующий день на Байковом, «бо більшовики чатували на сім'ю проф. Грушевського, щоб її ув'язнити». Дом Грушевського сгорел полностью, вместе с художественной мастерской и работами Кричевського, коллекциями украинских достопамятностей Грушевського и Кричевського (ковры, вышивки, оружие, посуда, фарфор, мебель), библиотекой и эпистолярием Грушевського, его собраниями чужих рисунков и собственных рукописей.

«Парламентёру, посланному от жильцов дома к стрелявшему поезду на просьбу прекратить обстрел уже горящего дома с тем, чтобы дать возможность вывести стариков и детей и спасти хотя бы часть имущества, бывший в поезде матрос, командовавший артиллерией, сообщил, что уничтожение этого дома производится согласно диспозиции, почему он

отклоняет просьбу о прекращении обстрела и категорически заявляет, что дом будет разрушен и сожжён до основания», — цитировал позже Михаил Сергеевич записку домового комитета Паньковской улицы в Министерство внутренних дел в предисловии к книге «На порозі Нової України: Гадки і мрії».

27.01.1918 мерзавец Муравьёв хвастался другому мерзавцу:

«Сообщаю, дорогой Владимир Ильич, что порядок в Киеве восстановлен, революционная власть в лице Народного секретариата, прибывшего из Харькова Совета рабочих и крестьянских депутатов и Военно-революционного комитета работает энергично <...> Я приказал артиллерии бить по высотным и богатым дворцам, по церквям и попам <...> Я сжёг большой дом Грушевского, и он на протяжении трёх суток пылал ярким пламенем».

Через месяц, 1-го марта, австро-германские союзные войска восстановили власть Центральной Рады, и Грушевский, спасавшийся от большевицкой расправы на Волыни, вернулся к её руководству. Правда, ненадолго: ещё через месяц союзники разгонят Раду, и гетман Павел Скоропадский в чёрной черкеске с газырями и Св. Георгием четвёртой степени на восемь месяцев воссядет последним харизматом этой должности.

«Я хотел создать и быть одним из главарей той мелкодемократической партии, учреждаемой мною, которая должна была вести к компромиссам между собственностью и неимущими и между великороссами и украинцами», —

запишет через несколько месяцев экс-гетман в заграничных воспоминаниях. Он стал украинцем, прекратив быть гетманом.

По протоколам Совета Университета можно проследить присутствие Кулаковского на его заседаниях: 1918 год — 17.05, 31.05, 4.09, 13.09 — присутствовал; 4.10 — не был «по неизвестной причине»; 11.10 — был; 19.11 — не был «по болезни»; 2.12 и 11.12 — «по неизвестной причине», 15 декабря — снова «по болезни», унёсшей его менее чем через два месяца в могилу, через три дня после припрыжного бегства Петлюры, услышавшего на Пушкинской цокот щорских кобылиц.

28 сентября 1918-го, при гетмане, Кулаковский писал Арсению Маркевичу:

«Эмфизема [лёгких] и слабость сердца теперь мои спутники, и живётся мне очень тяжело».

Маркевич комментировал:



Киев. Большевики захватили город, 6.02.1919

«Его удручала невозможность работать из-за типографской разрухи и угнетала “тяжёлая дума, что нашей культуре конец”. Это были последние слова его в письме ко мне. О последних месяцах его жизни — унылой и страдальческой, очень печальной, мы мало знаем. Крушение родины сломило его физические и душевные силы, и он очутился под её развалинами, оставив после себя светлую память».

Николай Полетика:

«Последний удар Директории нанесла “великая измена” (“зрада”) её атаманов. Махно, разгуливавший по Гуляй-Полю, захватил Екатеринослав, Григорьев, хозяйничавший на Херсонщине, передался на сторону Деникина. Зелёный, хозяйничавший в южных районах Киевщины, отрезал войска Директории на севере Украины от её же войск на юге <...> В ночь на 5 февраля войска Директории покинули Киев.

Город снова оказался без власти. Но атаманы и местная шпана не успели устроить погрома и грабежа жителей. В полдень 5 февраля в Киев по Цепному мосту вошли Богунский и Таращанский полки Красной армии, и Киев снова стал советским».

В ночь на 8-е февраля Кулаковский умер.

Но не поэтому

«киевские улицы как-то сразу потускнели и обеднели: исчезли меха и эле-

гантные шляпы у женщин, их заменили шерстяные платки. У мужчин меховые шубы были заменены солдатскими шинелями и поношенными пальто попроще. Все старались “прибедниться”, у всех был напуганный вид.

Новая власть начала с военных постоев, под тем предлогом, что украинские войска привели казармы в негодное состояние <...> Богатые и хорошо обставленные квартиры на Институтской, Николаевской и других фешенебельных улицах были сразу загажены, мебель поломана. Солдаты не занимались уборкой занятых квартир или комнат. Если прислуга отказывалась, то убирать должны были сами хозяева.

Хозяева квартир, куда помещали на постой солдат и красных командиров, должны были кормить их, давать носильное и постельное бельё, одежду, продукты (водку и вино в первую очередь), ставить по ночам самовары <...> На Киев была наложена контрибуция в размере 100 млн. рублей, увеличенная в мае до 200 млн. руб.» (Н. Полетика).

Смерть. Кулаковский всего этого не застал, а в его шестикомнатную квартиру, в которой сыновья готовили к продаже ставшую вмиг ненужной отцовскую библиотеку, наверняка были вселены какие-нибудь «комиссары».

Через двадцать лет генерал-майор Русской армии Александр Туркул (1892–1957) в Белграде выпустит книгу «Дроздовцы в огне: Картины гражданской войны, 1918–1920 гг.», в которой есть строчки, посвящённые сравнительной физиогномике:

«Среди земляков в поношенных серых шинелях, с тёмными или обломанными красными звёздами на помятых фуражках, среди лиц русского простонародья, похожих одно на другое, часто скуластых, курносых и как бы сонных, мы сразу узнавали коммунистов, и всегда без ошибки.

Мы узнавали их по глазам, по взгляду их белёсых глаз, по какой-то непередаваемой складке у рта. Это было вроде того, как по одному чёрному пятнышку угадала панночка в “Майской ночи” ведьму-мачеху среди русалок. Лицо у коммунистов было как у всех, солдатское, скуластое, но проступало на нём это чёрное пятно, нечто скрытое и вместе отвратительное, смесь подобострастия и подлости, наглости и жадной вседозволенности, скотство. Потому мы и узнавали партийцев без ошибки, что таких погасших и скотских лиц не было раньше у русских солдат».

Звериное в людях проступает, когда им свобода даётся без надобности, самотёком, по напрасному вольнодумству, когда безнаказанность становится принципом поведения, а возмездие имеет те же корни, что и содеянное, — преступность, жестокость и врождённая непривычка к умственности.



Киев. Разрушение памятника Николаю I в Николаевском парке, 1920

При Николае I, в неурожайном 1840-м был объявлен обязательный посев картофеля — через три четверти века, после того как Екатерина II утвердила картошку главным блюдом империи. Это встретило протест со стороны крестьян, по естественной дикости считавших *земляные яблоки* ядовитыми. Кулаковский родился лишь через пятнадцать лет после «картофельных бунтов», сопровождавшихся кровавыми расправами.

Салтыков-Щедрин после ёрничал, говоря, как некоторые градоначальники вводили обязательное употребление горчицы и лаврового листа или заставляли сеять персидскую ромашку, в то время как у глуповцев (сиречь жителей города Глухова) не хватало хлеба. Глуповцы стояли на коленях и ждали: «станут они теперь есть горчицу, — как бы на будущее время какую ни на есть мерзость есть не заставили; не станут — как бы шелепов (палок) не пришлось отведать».

Я хочу перефразировать Мандельштама: мальчики девятьсот пятого года шли в революцию с тем же чувством, с каким нет, не «Николенька Ростов шёл в гусары», а — юнкер-алексеевец (то есть выпускник киевского Алексеевского военного училища) Николка Турбин у нелюбимого мной Булгакова в «Белой гвардии» бежал по приказу Най-Турса на Подол.

«Путь Николки был длинен. Пока он пересёк Подол, сумерки совершенно закутали морозные улицы, и суету и тревогу смягчил крупный мягкий снег, полетевший в пятна света у фонарей. Сквозь его редкую сеть мелькали огни, в лавчонках и в магазинах весело светилось, но не во всех:

некоторые уже ослепли. Всё больше начинало лепить сверху. Когда Николка пришёл к началу своей улицы, крутого Алексеевского спуска, и стал подниматься по ней, он увидел у ворот дома № 7 картину: двое мальчуганов в сереньких вязаных курточках и шлемах только что скатились на салазках со спуска. Один из них, маленький и круглый, как шар, залепленный снегом, сидел и хохотал».

Если бы не книга о Кулаковском, — где его пора похоронить, сошло бы за аллегория. Но ведь умирал Кулаковский именно тогда, когда петлюровцы взяли Киев, 14-го декабря 1918-го («Пришёл Петлюра, а у него миллион войска»), и пять недель, до 5 февраля 1919-го разыгрывали почти французскую *Directoire* в лице одного Винниченко. Этот фарс был Кулаковскому невыносим: вынужденная *taedium vitae* — усталость от жизни — оказалась сильнее внутренней жажды ещё хоть сколько-нибудь дописать «Историю Византии».

Полуголодной киевской зимой начала 1919 года щедринская пародия на горчицу и лавр (благородный) читавшими «Историю одного города» воспринималась как высшая мера правдоподобия: картофель, как и покой, им только снились.

В день смерти Кулаковского, 8-го (21) февраля 1919 года (память преподобного Ксенофонта и супруги его Марии) эсеровская конференция в Петрограде высказалась против вооружённой борьбы с советской властью, в «Известиях РАН» напечатано сообщение о смерти 7.02.1919 академика Александра Лаппо-Данилевского, одного из основоположников методологии истории (по пути на лекцию в университет упал и повредил ногу; после операции умер от перитонита): «с конца мая 1918 года это уже седьмая жертва, вырванная смертью из среды действительных членов Академии» (академиков было чуть больше сорока); с 19-го февраля учёным Петрограда были предоставлены красноармейские («совнаркомовские») пайки (муки — 20 фунтов, масла коровьего — 1 1/2 фунта, масла растительного — 2 фунта, чая — 1/4 фунта, сахару — 1 фунт, соли — 1 1/2 фунта, крупы — 7 фунтов, рыбы — 10 фунтов, мяса — 10 фунтов, овощей — 1 пуд, мыла — 1 фунт, спичек — 3 коробки).

Некая киевская студентка записала в дневнике («Архив русской революции», 1993, т. 15/16):

«6-го февраля. Сегодня вступили в город большевики. 3 дня у нас было безвластие, так как украинцы уже заблаговременно отступили. Сла-



Киев. Императорский университет св. Владимира, парковый фасад, фото 1910-х

ва Богу, что обошлось без прошлогодних боёв. Надеюсь, что прекратится вечная стрельба по ночам и вообще не будет отвратительной украинской анархии. Н. П. совершенно права: уж лучше один чёрт, но чтобы сидел крепко. Большевики так большевики. Вечные перемены власти могут с ума свести. Которое это у нас правительство, начиная с 1-го января 1917 г.? Царское, временное, рада, большевики, рада, гетман, директория, теперь снова большевики. Большая часть знакомых бежала. Я была против бегства. Что могут сделать тихим, смиренным людям, которые никого не трогают и политикой не занимаются. Понятно, что “Протофис” и “Су-озиф”, а также члены украинского правительства не могли остаться. Но у остальных это просто паника.

7-го февраля. Новая власть рьяно принялась за дела. Лучшие квартиры отводят для постоев богунцев и ещё какого-то полка; хозяйева должны кормить солдат, которые ведут себя более чем грубо, самовольно делают обыски, требуют белья, одежды. В дом Гинзбурга, что на Институтской, вселили таким образом 400 солдат. В течение 3-х–4-х часов они превратили дом в какой-то хлев. Они спуют по лестнице, звонят поминутно в квартиры и всё время носят на спине заряженную винтовку. Один из них при неосторожном движении убил тут же в доме своего товарища.

Глядя на их тупые, бессмысленные лица, слушая их убогие речи, я

начинаю сомневаться в пользе и смысле всеобщего избирательного права. Встретила Б. на улице. Она рассказывала ужасы о Липках. Всех выбрасывают из особняков, не позволяя ничего забирать с собой. Частные дома занимают под казармы и учреждения.

12-го февраля. На город наложили контрибуцию, очевидно для того, чтобы запугать “буржуев” и заставить их платить; началась серия арестов. Почти всех купцов и домовладельцев посадили в тюрьму. Нас пока не трогают.

16-го февраля. К нам вселили 2-х красноармейцев. Они — крестьяне харьковской губ. Пребывание их малопривно; их надо кормить, они потребовали себе белья, к ним постоянно приходят гости, но, в общем, это два тихих, крайне тупых парня. Постой нашей соседки ведёт себя хуже: в пять часов утра солдаты играли на рояли и пели.

Нетрудно представить это ночное пение пьяной солдатни. А игру на рояле?

Как здесь не съэмоционировать в духе Василия Розанова?

«В революции — ничего для мечты.

И вот, может лишь оттого, что в ней — ничего для мечты, она не удастся. “Битой посуды будет много”, но “нового здания не выстроится”. Ибо строит тот один, кто способен к изнуряющей мечте».

Через неделю после смерти Кулаковского, 15-го февраля, в Петрограде ЧК арестовывает Блока — якобы очень левого эсера. Вместе с ним спроважены в большевицкое узилище Евгений Замятин и Алексей Ремизов. После ночи, проведённой в кутузке на Гороховой, 2 (угол Адмиралтейского проспекта), Блока повёл на допрос тогдашний чекист Осип Брик; по дороге они встретили другого тогдашнего чекиста Исаака Бабеля. 17-го февраля, извинившись, Блока выпустили. «Освобождение около 11 ч. утра. Дом и ванна. Телефоны. Оказывается, хлопотали М. Ф. Андреева и Дуначарский», — запишет в дневнике. Бабеля потом расстреляют, Брик в феврале 1945-го умрёт самостоятельно.

«Дело в том, что таланты наши как-то связаны с пороками, а добродетели — с бесцветностью», — Розанов постарается заполнить моральные пустоты истории.

Борис Эйхенбаум об эту пору тачал статью «Как сделана “Шинель” Гоголя» для сборника «Поэтика», торя пути ОПОЯЗ; голландец Йохан Хёйзинга на другом конце Европы лепил предисловие к первому изданию «Осени средневековья»; на родине Кулаковского, в Вильно, открылся съезд представителей



*Адольф Израилевич Сонин
и Витольд Павлович Клингер*

уездных революционных комитетов «советской Литвы»; в Москве вышел страшный фильм о геноциде армян турками «Изнасилованная Армения».

Воспрявшие «Известия» за 22.02.1919:

21 (8) февраля тихо почил
заслуженный профессор Университета св. Владимира
ЮЛИАН АНДРЕЕВИЧ КУЛАКОВСКИЙ,
о чём с глубокой скорбью извещают сыновья покойного.
Вынос тела в университетскую церковь
состоится 22 (9) февраля, в 1 ч. дня;
погребение после заупокойной литургии 23 (10) февраля

На следующий день у тех же депутатов маленькое сообщение в траурной рамке:

«Историко-литературное общество и Совет студентов-филологов выражают свою скорбь по поводу смерти глубокоуважаемого сочлена и профессора Юлиана Андреевича Кулаковского».

В номерах за 25 и 26 февраля:

«Сыновья почившего Юлиана Андреевича Кулаковского приносят душевную благодарность всем, почтившим память их отца».

К моменту кончины Кулаковского Сергею исполнилось 27 лет, Арсению 26. Оба холосты.

Дальше — будто в старой кинохронике: грязный белый снег, чёрные, контрастные пятна фигур, уставшая кобыла, равнодушный кучер, безличные гробовщики и — рядом с открытым гробом — кажущиеся спокойными сыновья. Пришедшие методично и бесстрастно жмут им руки.

Полозья на снегу оставляют глубокие постановочно выверенные *рельсы наоборот*.

Плётки не хватает, домысливаем.

Сергей с Арсением терпеливо ждали, когда кончится этот день: теперь жить без отца, без забот о нём.

Смеженные на груди кисти рук покойника с нечистыми, нестриженными ногтями, высушенное в болезни лицо и относительно новые туфли, начищенные носки которых горбочками высились под погребальным тюлем, не отпускали внимание, пока крышку не забили и память начала оседать, пятиться.

Никого из тех, кто составлял толпу на киноплёнке прощающихся с Верой Холодной в Одессе в феврале 1919-го или с Кропоткиным в Москве в феврале 1921-го, давно нет. Но как же погребальный муравейник суетится перед кинокамерой — любопытный к происходящему, столь ничем не занятый, что даже нынче завидно: откуда в будний день у такой-то толпы столько свободного времени?

Наталья Полонская-Василенко:

«Кулаковский принадлежал к консервативной группе профессоров, но во всех взаимоотношениях всегда был корректен. Он со страшным волнением переживал революцию, гибель культуры, университета <...> Он был последним профессором, которого торжественно отпели в университетской церкви».

Могила. Супруга, рядом с которой он мог найти упокоение, похоронена в недоступном теперь Вильне: путь из Киева в Вильну с гробом и так был труден, а при дороговизне услуг и расстройстве всех путей сообщения невозможен.

Прах Кулаковского предали земле в Киеве, хотя ничто не проливает свет на конкретное место. Не нашёл я ни могилы, ни кладбища, на котором он похоронен; архив ЗАГС на улице Маричанской, 12/1 смолчал; записная книжка аккуратного Сергея Маслова, записывавшего места погребений универси-

Киев. Зброшенне кладбище
на Замковій горі.
Крест на возможній могилі
Кулаковського,
фото Никити Пучкова,
4.04.2019



тетських професорів, в XXXIII фонде Інститута рукописи «утеряна». Методом виключення можна сказати, що найбільш ймовірним місцем упокоєння було Байкове. А може, кладбище Флоровського монастиря на Замковій горі (де збереглися металевий хрест з поржавілою табличкою, на якій можна вроді б прочесть ім'я «Кулаковскій»; да і місце пристойне — тут були поховані його колеги професор Пётр Алексєєв († 6.02.1891), професора Духовної академії Пётр Линицький († 13.06.1906) і Николай Петров († 20.06.1921), декілька студентів, павших під Крутами в січні 1918-го.

А може, Щекавица? Багато в Києві кладбищ.

Соромно чи повинно бути нащадкам, що могилу не уберегли? На мій погляд, як раз її *отсутствие* — показник надійності культурної пам'яті. Він же не був радянським письменником або членом політбюро, не був і опосередковано, якою обов'язково повинна бути облаштована могила з квіточками на Пасху, паперовим квітком і рюмкою водки, яку ввечері, обходя владання, перекидає синеносий цвин-

тарный сторож. А разделить участь Мандельштама, Флоренского, Розанова, Шпета, Карсавина, Малевича — не почётнее ли, чем терпеть на каменном возлагалище отцветающий плюмаж, раз в году приносимый полуравнодушными родственниками?

В письме Соболевскому Сергей Кулаковский через три недели после похорон 11.03.1919 пишет:

«Ваше письмо в обычно бодром духе было для меня большим утешением в первые дни после кончины папы, которого оно не застало в живых. Скончался папа 21.11 нового стиля, уснул без всякого страдания от своей давней гостии — чахотки, которая развилась в нём благодаря всему, что нас окружает. Кончина мамы, а раньше — дяди Платона, крушение идеалов государственности, мрак и неведение — не болезнь — свели его в могилу. Много было горячего к нему чувства, много речей. Через месяц Несторовское общество вместе с новым Историко-литературным устраивают памяти папы заседание <...> Тимофей Дмитриевич сильно постарел, живёт в одиночестве с Верой Ивановной (сыновья его за границей); он завидует папе; как и другие».

«И сдержанно колокола звонили». Тогда ещё было принято писать и печатать некрологи. Академик Соболевский, старый монархический друг, завершает текст, произнесённый в собрании Академии наук, членом-корреспондентом которой был Кулаковский, словами:

«человек с высоким образованием, с живой мыслью, с тонким эстетическим вкусом, Ю. А. был прекрасным стилистом, и ни одна строка не вышла из-под его пера без тщательной отделки».

Не без некроложистой передержки, но в умственном вкусе и литературном таланте Кулаковскому не откажешь. Ведь до сих пор книги переиздаются, раскупаются: спрос декларациями не надуеть.

Сам академик Соболевский об это время на жизнь особенно не сетовал.

«Я порядком одряхлел (64-й год идёт!), — писал он в одном письме, — ноги работают лениво, уши слабеют, но чувствую себя бодрым и работаю во множестве (верно!) направлений: пилю, рублю, копаю, покупаю, продаю, делаю доклады, пишу, читаю и т. д. Когда был снег, возил на санках всякие тяжести. Питание обычное для москвичей, в основании которого ржаной хлеб и тёплая вода, прибавьте жиров, немного сахара, некоторое количество капусты, морковь, свёкла. Не все москвичи так питаются».

Через десять лет, по случаю кончины Соболевского († 25.05.1929), Сергей Кулаковский в еженедельной парижской газете Константина Зайцева и Петра Струве «Россия и славянство» перескажет о 1919 годе Соболевского:

«Ему приходилось самому ходить на базар с корзинкой в поисках припасов, носить книги из дому на далёкую Моховую в университетскую библиотеку, подметать улицу и воевать с беспризорными, которые наводняли его садик, после того, как заборы были расхвачаны “на дрова”. Рядом был “детдом”, и дети часто приходили к “дедушке”, влезали к нему на колени, мешая заниматься, зная, что “дедушка” их обласкает и пожалеет» (некролог «Памяти Алексея Ивановича Соболевского», 15.06.1929).

Соболевский после смерти Кулаковского переписывался с его сыном, Сергей письма сохранил и увёз с собой в Польшу, где они пропали во время Второй мировой.

Алексей Деревницкий писал:

«хотя смерть эта для знавших близко покойного и не была неожиданностью, хотя он под гнётом пережитого незадолго перед тем семейного горя и тяжких условий русской действительности давно уже медленно умирал, а учёное поприще его можно было считать почти завершённым, — тем не менее утрата, понесённая русскою наукою в его лице, всё же весьма ощутительна и горестна.

Ю. А. Кулаковский был человеком живым, энергичным, с широким научным мировоззрением, с большою и разностороннею эрудицией, с гибким и острым умом, с пытливостью, не удовлетворявшею узкою областью его ближайших, специальных интересов, но побуждавшею его работать и в других, смежных с нею областях, с привычкою к упорному, настойчивому труду, с инициативою, — и ко всему этому с душою впечатлительною и отзывчивою, не позволявшею ему замыкаться в рамках цеховой науки, но заставлявшею его искать сближения науки с жизнью, горячо откликаться на запросы жизни и внимательно следить за её безостановочным движением».

Некролог Кулаковскому был и одним из последних текстов давнего коллеги — Латышева. В «Вестнике литературы» (1919, № 9, стр. 10–11) находим довольно-таки бездушный текст:

«Хотя он достиг уже маститого возраста, но при его крепком организме казалось, что он еще далёк от предела земной жизни. Однако, смерть любимой жены в 1914 г. и затем переживания последнего времени, производившие удручающее влияние на его душевное настроение, повели за собою обострение начавшегося туберкулёза и быстро свели его в моги-

лу. Он скончался ещё в феврале текущего года, но достоверные известия о его кончине лишь недавно дошли до Петрограда.

<...> Особенное внимание исследователя привлекли к себе судьбы нашей территории в византийскую эпоху, а отсюда уже вполне естественным был переход к более широким исследованиям по истории Византии. После ряда работ из этой области, помещённых преимущественно в “Византийском временнике”, Ю. А. дал нам три тома “Истории Византии”, к сожалению, далеко не доведённой до конца: третий том заканчивается 717 годом <...> Будучи человеком широко образованным и, по своей живой и впечатлительной натуре, не замыкаясь в рамки сухой кабинетной учёности, Ю. А. очень охотно отзывался в периодической печати и на разные “злободневные” вопросы, преимущественно в области русского высшего и среднего образования. Сотрудничал он, главным образом, в “Киевлянине” <...> Наконец, нельзя не упомянуть, что Ю. А. живо интересовался и современной русской литературой и от времени до времени откликался на те или другие явления и события в ней. Так, в 1889 г. он посвятил особую статью юбилею А. А. Фета, в 1897 г. — памяти А. Н. Майкова и в 1910 г. — памяти А. Н. Толстого.

В предыдущих строках лишь самыми краткими штрихами очерчены характер и значение научной деятельности почившего. Если бы он ограничился в своих занятиях изучением античного мира, то и в этой области им сделано так много, что его деятельность оставит весьма видный след. Кроме того, он принёс всё богатство своей эрудиции, основанной на строгих методах классической филологии, на служение нашей родной старине, и в области археологии, истории и этнографии Юга России сделал большой вклад своими солидными исследованиями. Но наиболее капитальный вклад оставил он в области византиноведения, в которой с живым интересом и искренней любовью работал в самый зрелый период своей деятельности».

В конце весны 1919 года, когда занявшие Киев большевики уже вовсю начали кровавый галдёж, в Историческом обществе Нестора Летописца, деятельность которого клонилась к закату, в честь почившего председателя было устроено памятное заседание. Адольф Сонни сделал сообщение о его трудах по классической филологии, Генрих Якубанис (один из любимых учеников) охарактеризовал Кулаковского как философа, Витольд Клиндер — как человека, Андрей Лобода рассказал о его председательской и учёной деятельности в Обществе Нестора Летописца.

Через несколько десятилетий профессор Аза Алибековна Тахо-Годи (р. 1922), вдова Лосева, в воспоминаниях скажет в связи с Якобом Голосовкером:

«А ведь Яков Эммануилович окончил Киевский императорский университет святого Владимира перед самой мировой войной (1913), тот самый университет, который был известен выдающимися филологами-классиками. Тут же вспоминаю, как в доме Белецких в Киеве, не отрываясь, прочитала перевод Ю. А. Кулаковского и А. И. Сонни историка Аммиана Марцеллина, автора жизнеописания императора Юлиана Отступника (факты биографии этого несчастного императора использовал почти буквально в своём романе о нём Д. С. Мережковский), или “Историю Византии” того же Юлиана Кулаковского. А Генрих Якубанис, чьи переводы древних философов-греков навсегда связаны у меня с “Досократиками” А. О. Маковельского (первый русский перевод первого издания “Досократиков” Германа Дильса). Или профессор Алексей Никитич Гиляров с его классической книгой о греческих софистах, их мировоззрении и деятельности. А молодой Витольд Клиндер с его литературно-мифологическими исследованиями и, конечно, работой о животных в античном и современном суеверии, без которой не обходится ни один мифолог. Школа великолепная!»

В Историко-этнографическом кружке Василий Базилевич выступил с краткой речью «Памяти Кулаковского».

Тексты этих докладов (кроме доклада Клиндера) я не отыскал. Едва ли — за исключением клиндеровского — они были записаны. В Симферополе в 1920-м издан 57 выпуск «Известий Таврической учёной архивной комиссии», в котором помещены некрологи Кулаковского, сочинённые Алексеем Деревицким и Арсением Маркевичем, Борис Варнеке посвятил памяти киевского коллеги трёхстраничную заметку «Легенды о происхождении скифов».

Деревицкий подытоживал:

«Как самостоятельный исследователь, он не сделал каких-либо крупных открытий, но отличался во всех своих работах точностью метода, большою основательностью, даром критического анализа и духом независимости, он нередко умел подойти к изучаемому явлению со стороны, не затронутой другими, или дать этому явлению новое освещение, и это сообщило характер оригинальности даже таким его работам, которые, казалось бы, меньше всего на неё претендовали. Число его печатных трудов очень велико — их насчитывается около 160. Уже это одно свиде-

тельствует о том напряжении сил, с которым он отдавался научной деятельности. До самой своей кончины он не оставлял преподавания в Университете св. Владимира и на Высших женских курсах, и большая часть его научных планов, осуществлённых потом в литературных работах, вышла отсюда, из круга его курсовых чтений, ближайшим предметом которых были латинские авторы, римская литература и история Рима, а впоследствии и Византии».

Тайному советнику и доктору греческой словесности Деревицкому, в течение 1912–1915 годов обнимавшему должность попечителя Киевского учебного округа и общавшемуся с Кулаковским, виднее, насколько не крупными были исследования последнего — с чем сопоставить? — но насколько оригинальными — тоже виднее.

Написанный через несколько месяцев после смерти Кулаковского некролог Деревицкого пронизан тёплым чувством, даже не в силу жанровой принадлежности текста:

«Круг людей, с которыми Ю. А. был связан узами нежной и давней привязанности, ещё более поредел, когда вслед за Платоном Андреевичем сошла в могилу и жена его Екатерина Фёдоровна, дочь поэта-переводчика Ф. Б. Миллера (и сестра академика-этнографа Вс. Фёд. Миллера. — А. П.). Распалась дружная семья, в которой всегда царил культ высших духовных ценностей, и Ю. А. Кулаковский не мог не почувствовать своего одиночества. Он сам стал хворать, и, раньше чем болезнь, от которой ему уже не суждено было оправиться, уложила его в постель, он под тяжким давлением событий последнего времени как-то сразу поник, затих и сжался».

Деревицкий просит запомнить:

«Он поражал своею жадной любознательностью и широтою захвата своих научных интересов, но это отнюдь не было признаком дилетантизма или дурной привычки разбрасываться. Своими связями с другими научными работниками он очень дорожил и поддерживал с ними самую деятельную переписку. И, куда бы ни долетала весть о том, что его не стало, везде найдутся люди, — его друзья, его корреспонденты, его бывшие ученики, его почитатели, — которые отнесутся к этой горестной вести с чувством искренней, сердечной печали».

В одном из лекционных курсов Кулаковский процитировал Квинта Энния: «*Nemo me lacrimis decoret nec funera fletu faxit. Cur? Volito vivus per ora virum*» — «Пусть никто меня не помнит слезами или похоронным плачем. Почему? Я летаю живым»

в памяти людей». Может, такие слова он хотел видеть на надгробном камне?

«Я заметил тех прихожан суровое волнение». Об оценке Кулаковского как философа можно догадываться, а вот дополнить картинку, нарисованную Клингером («Кулаковский как человек») стоит выдержкой письма от 3.06.1912 приват-доценту по кафедре русской древней истории Университета Василию Данилевичу (1872–1936):

«Под впечатлением моего визита я хочу написать Вам и имею вот что Вам сказать: нельзя так небрежно относиться к состоянию своего здоровья. Вы должны хоть на месяц выбраться из города, а в особенности с этой душной квартиры. Вы её покидаете, так свезите вещи в Университет и оставьте там на месяц <...> Берите самое необходимое, обработайте, что Вам нужно, а все справки отложите на после. Работа от этого не пострадает. А Вам необходимо оправиться в уединении и спокойствии. Если бы Вам устроиться у Ардашева в Святошине или где по соседству! <...> Я думал о Вас, и мне было очень жаль, что Вы так сами себя изводите — и непосильной работой всюду по преподаванию, и квартирой в шумном месте на прилёке. Вам так жить нельзя <...> Я не знаю, с кем Вы близки и кто о Вас заботится, но Вы произвели на меня впечатление человека, о котором другие должны позаботиться, потому что они рискуют собой. Непременно сходите к Делензу (хирург А. С. де Ленс¹ вёл приём больных по адресу: Пушкинская, 9. — А. П.) насчёт ушей!

Крепко жму Вашу руку и настаиваю на том, что Вам нужно поискать комнату в Святошине, Ирпене или Ворзеле, а никак не в Киеве.

Преданный вам Ю. Кулаковский».

Данилевич был на семнадцать лет моложе Кулаковского, учёного звания не имел, занимал низшую преподавательскую

¹ Антон Stanislawowicz de Lens (1865–1950) — из обрусевшего дворянского французского рода; окончил Первую гимназию (1887) и медицинский факультет Университета, доктор медицины. Считается одним из первых в России хирургов, применивших с диагностической целью трахеобронхоскопию (1904); один из первых, кто заложил основы детской отоларингологии. Полагал, что «всякая операция должна быть сделана не только хорошо, но и красиво», то есть её следы должны быть минимальными. В конце 1930-х репрессирован, сослан в Карагандинскую область, во время фашистско-большевицкой войны оперировал; выжил. Автор брошюр: «Грыжа» барабанной полости» (С.-Петербург, 1905), «О поперечной трахеотомии: Сообщение в Киевском хирургическом обществе 30 апреля 1912 г.» (Киев, 1913). Биографические сведения о Де Ленсе скудны.

должность, в друзьях не числился, тем не менее, внимание к нему, как и к окружавшим Кулаковского остальным коллегам, забвение «чинов, орденов и званий» — черта, редкая не только в то должностно-иерархизированное время.

На факультетском бланке от 3.03.1914 Кулаковский сообщает Данилевичу:

Милостивый государь, Василий Ефимович,

В заседании факультета 21 февраля было заслушано предложение Правления Университета о том, что Ваше ходатайство о предоставлении кредита на напечатание диссертации не может быть удовлетворено <...> Сообщая Вам об этом, считаю своим долгом указать, что ближайшее назначение “Университетских известий” — печатать диссертации на учёные степени, и г. редактор “Университетских известий” на мой вопрос относительно печатания Вашей диссертации сообщил мне, что он сам неоднократно предлагал Вам печатанье Вашей работы и что и в настоящее время не предвидится никаких задержек со стороны редакции, если Вы приступите к печатанию Вашего сочинения.

Примите заверения в совершенном почтении

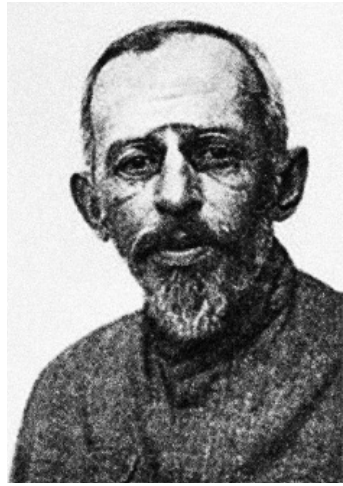
за декана Ю. Кулаковский.

Судя по всему, Данилевич был из разряда энтузиастов-культуртрегеров с горящими глазами: преподавал археологию и русскую историю в Университете, организовывал музеи, после 1917-го выступал сначала с марксистскими, затем с украинофильскими лекциями, но к серьёзной науке, сделав хороший первый шаг, так и не пристал.

Единственный проблеск, и яркий, — солидное курсовое сочинение «Очерк истории Полоцкой земли до конца XIV столетия», которое было выпущено Университетом в 1896 году отдельной книжкой в 260 страниц. Просив о предоставлении кредита для печатания магистерской диссертации, Данилевич хотел самого себя подхлестнуть к её написанию долговым рублём. Не срослось.

Отчего так происходило — человек, склонный к занятиям наукой, быстро исчерпывался, — отчасти пояснил Виктор Петров (В. Домонтович) в «Болотяній лукрозі»:

«Залишений при Університеті складав магістерські іспити. Після двох вступних лекцій він здобував звання приват-доцента. Усе це потребувало колосального напруження розумових сил, тотальної мобілізації всіх духових ресурсів. Не всі витримували. Часто надмірність зусиль губи-



Василий Ефимович Данилевич

ла людину. Нишила її <...> Мова не йде про неміч людини, що знесли-лась; мова не йде про індивідуальний виняток. Мова йде про міру вимог, про ситуацію, що складалась в ті роки для молоді, про фаховий, технічний рівень конкуренції <...> Ці, що витримували на першому іспиті, написавши медальну роботу і домігшись бути залишеними при Університеті, в більшості випадків не витримували після другого. Склавши магістерські іспити і досягнувши доцентури, вони здавали. Вони вже були вичерпані. Вони вже дали все, що могли дати, й тепер були ніщо. Дисертація лишалась ненаписаною. Спустошені, вони німіли».

Честная картинка дарвиновского естественного отбора в естественных условиях среды. Слабак соскакивал с дистанции или даже погибал. Выживал, как и повсюду в жизни, сильный, устойчивый, «антихрупкий» (Талеб), а в науке по-другому нельзя. Кто выдерживал испытание, закаливался в битве с пером и чужими учёными мнениями, не ослабивался бессильно на бытие, — оставался в истории науки, труды его множились и переиздавались далеко после смерти. Когда «нечего читать», к этим книгам возвращаешься. Дойти до звания профессора в то время — показатель завидной жизнестойкости, упрямства, усидчивости, целеустремлённости и редко встреченной талантливости. Данилевич скис, не доскакавши до магистерской. Не его судьба.

После 1920 года Полонская вспоминала о Данилевиче:

«его марксистские убеждения удивляли даже молодых комсомольцев, а клевета и “злопыхательство” в адрес старой университетской профессуры как “буржуазной” и “контрреволюционной” вызвали отвращение со стороны некоторых коммунистов, которые понимали научную ценность работ этих профессоров <...> В последние годы жизни он стал проявлять патологические черты».

И вправду: Кулаковскому повезло, что он умер в феврале 1919-го.

Большевицкие расправы над инакомыслящими, продолжавшиеся в течение полугода, вызывали у нормального человека негодование и потребность отомстить.

Академик Вернадский в дневнике 10.02.1919:

«Настроение такое, что большевики ненадолго. Три-четыре недели. Близость сечевиков. Слух о соглашении украинцев с Антантой и примирении с поляками. Львов отдан, и это чувствуется тяжело... Очень тяжёл постой, размещают солдат в квартирах, и обязательное кормление. Быстро отрезвляют многих, которые видят в большевизме идею единой России. Полное незнание того, что делается кругом, мешает пониманию окружающего».

И на следующий день:

«В газетах сегодня о смерти Александра Сергеевича Лаппо-Данилевского... *Ему легче, что он умер* (курсив мой. — А. П.). Он переживал всё тяжело, и личная жизнь была сурова. А исключительная, совершенно выдающаяся образованность и глубина исканий делают эту фигуру такой, которую не забудут. Две смерти — Лаппо-Данилевский и Туган-Барановский. Оба крупные порождения русской культуры, её исключительного богатства, красоты и мощи. А. С. — учёный и мудрец — несмотря на желчность, мелочи характера. И тот, и другой жили идеей».

Лаппо-Данилевский скончался 7.02.1919, Туган-Барановский, историк и экономист, 21.01.1919 в поезде по пути в Одессу: «Он не доехал до Одессы, умер в вагоне от припадка грудной жабы», — вспоминал Степан Тимошенко. Вернадский мог слышать, что 8 февраля умер не менее крупный представитель русской культуры, «её исключительного богатства и мощи», но едва ли они были знакомы.

«Мне больше всего напоминает происходящее завоевание культурного греко-римского мира магометанством, времён халифата. Только уже исчез фанатизм, так как сторонники — идейные — большевизма — ничтожны», — записал Вернадский.

«Так было уже несколько раз в истории. — скажет потом Пастернак. — Задуманное идеально возвышенно, — грубело, овеществлялось. Так Греция стала Римом, так русское просвещение стало русской революцией».

Это оттого, что все люди разные, и когда одни задумывают, другим может не нравиться, а жить-то надо и тем, и другим.

Чекисты. Николай Васильевич Краинский (1869–1951), психиатр, в 1917-м приват-доцент кафедры неврологии и психиатрии Университета, член Особой комиссии при Главкомандующем ВСЮР по расследованию злодеяний большевиков, в мемуарах «Психофильм русской революции» профессионально высказался о составе тогдашнего киевского ЧК:

«Вопреки предназначениям, мало там было “людей лучших”. Там был сброд и сволочь <...> Средние люди, попавшие в чека, превращались в негодяев. На фоне сволочи выделялись две-три личности из типа “бесов” Достоевского, о которых он изумительно верно говорит: “Эти чистые и привлекательные люди были много непонятнее бесчестных и грубых”. Такие люди направляли идейно деятельность чека.

Обычный тип руководителей чека был тип мерзавца. Таковы фигуры Лациса и Петерса (оба латыши), Яковлева-Демидова. Это были люди тупые, жестокие, без всяких идеалов, проникнутые только революционной ненавистью. Тут же фигурировала целая плеяда студентов, почти все из евреев. Её ввёл туда комиссар университета, мой ученик Мицкун, соблазнив их идейностью работы. Что касается национальности состава, то до 80 процентов чекистов были евреи <...> Другая, сравнительно небольшая, но страшная группа чекистов были латыши».

Расправы, чинившиеся ЧК, лишали большевиков какой-либо нравственной привлекательности.

«У всей молодёжи, пострадавшей, посещавшей места убийств и пыток, — страстное чувство мести. Разговоры о мести, недовольство простым расстрелом убийц очень сильно. Хотят и прямо говорят о том, что необходима для них мучительная смерть. И в поезде слышишь о том же. Ехали бабы, бывшие в местах убийства, в чрезвычайках Киева» (Вернадский).

Добровольческая армия открыла для обозрения киевлян подвалы, где чекисты мучили невинных (Садовая, 5; Екатерининская, 16; Пушкинская, 25 и др.).

Возродившийся с приходом Добровольческой армии «Киевлянин», который редактировался Василием Шульгиным, публиковал патриотические статьи и списки замученных.

Николай Полетика:

«В мае 1919 года, когда атаман Григорьев и его взбунтовавшиеся войска (они составляли часть Красной армии) стали угрожать Киеву, произошла очередная вспышка “классового террора”. Власти по найденному у кого-то списку членов “Клуба националистов” арестовали несколько десятков человек. Их обвинили в организации заговора для свержения советской власти. В числе арестованных были русские купцы, домовладельцы, профессора, в том числе зав. кафедрой “Истории славян” Киевского университета профессор Т. Д. Флоринский. Всех их расстреляли. В числе расстрелянных оказалась и героиня процесса Бейлиса Вера Чеберяк.

О казни Веры Чеберяк, насколько помню, из моих друзей и знакомых не жалел никто. Но казнь объявленных “классовыми врагами” профессора Т. Д. Флоринского и других стариков — деятелей суда, адвокатуры и просто богатых людей произвела гнетущее впечатление на киевскую интеллигенцию, и особенно на университетские круги, потрясённые гибелью своего профессора».

То-то будет через двадцать лет. Платишь за всякое политическое инакомыслие, даже если сам не имеешь никакого.

Убийство профессора Флоринского. Николай Краинский в разговоре с учеником, тем самым Мицкуном, тогдашним комиссаром Университета, спросил его, за что чекисты расстреливают профессоров, тот ответил, что было доказано их сношение с деникинской армией.

«Это, конечно, было вздором, и я не понимаю, как мог такой умный человек, как Мицкун, этому верить. Это был еврей-фанатик, а у фанатиков вера преобладает над разумом.

Я могу понять фанатика типа Мицкуна, даже Троцкого, с которым Мицкун был связан, но не могу понять таких типов, как Кизеветтер, который, конечно, только лгал из чисто демагогических побуждений. Мицкун между прочим сказал, что это явление только временное, и что когда всё успокоится, этого больше не будет. И всё-таки благодаря Мицкуну по просьбе профессора Чаговца мне удалось спасти от расстрела профессора химии. Мицкун искренне верил в революцию и не был лишён добрых намерений».

Фрагмент из статьи (шовиниста, двурушника и антисемита) Анатолия Савенко (1874–1922) «Памяти замученных»:

«вся Россия залита кровью..., в Петрограде и Москве от рук палачей погибли многие тысячи лучших русских людей..., по всей стране шла неслыханная, чудовищная оргия большевистского садизма..., не пощаждён



Анатолий Иванович Савенко

никто, начиная от царской семьи и высших пастырей церкви и кончая скромными тружениками сохи и плуга..., поэтому в Киеве все те, кто не мог уйти или спастись бегством, рисковали жизнью <...> Огромное большинство расстрелянных приняло мученический венец только за то, что принадлежало к числу членов Клуба русских националистов. Погиб <...> один из основателей клуба и его почётный член проф. Т. Д. Флоринский <...> 11 лет существовал в Киеве клуб русских националистов. Он никогда не был партией, а представлял собой внепартийное объединение национально настроенных русских людей. И вот это-то национальное настроение было расценено тем преступлением, за которое они преданы смертной казни <...> Расстреляны даже глубокие старики, даже такие, которые, как 80-летний А. П. Слинко или тяжело больной старик Н. В. Малышин, и без того одной ногой стояли в гробу» (*Киевлянин*, 1919, № 1, 21 авг.).

Бойкий публицист. Депутат IV Госдумы, организатор Клуба русских националистов, беспринципный и скользкий.

Соболевский, помним, 28.08.1915 писал Кулаковскому:

«Этот прохвост мне никогда не внушал доверия, но я всё-таки не ожидал от него такого прыжка, какой он сделал от украинофобства к украинству, от юдофобства к защите еврейского равноправия. Конечно, он не один прыгнул так далеко <...> Как смотрят теперь на Савенко киевские националисты? Следовало бы попросить его сложить с себя звание члена Гос. думы... А сверх того, исключить из клуба националистов».

Дальнейшие события многих примирили — хотя бы в их ненависти к большевикам.

Краинский пишет, что Флоринского расстрелял чекист Пахромович, его бывший студент и председатель союза студентов, привлечённый Мицкуном к чекистским расправам.

«Пахромович, которого я также допрашивал, был элегантный, пронырливый честолюбец, с начала революции взявший демагогический курс и увлёкший за собой студенчество. Он раньше был прилежный и хороший студент и давно обратил на себя внимание профессора Флоринского. Эгоцентризм и честолюбие побудили Пахромовича искать популярности, и он добился высшего поста председателя объединённых студенческих организаций. Он также не был идейным коммунистом. Мицкун, как человек умный и проницательный, наметил его в чекисты. «Должны были идти туда идейные и лучшие студенты». И Пахромовичу пришлось перейти от слов к делу».

Убедительной монографии о Тимофее Флоринском нет: как написал в 1929-м Григорий Ильинский (1876–1937), «могила его до сих пор остаётся без литературного креста». Да и могилы-то нет. Впрочем, существует выдающаяся ошибками книга Т. Щербань (2004), которую следует считать вненаучным издевательством над памятью хорошего учёного, а также — ряд в самом деле интересных публикаций последних двух десятилетий, в которых образ Флоринского «мелкими церковными шажками» становится рельефным, как бледнолицая венецианская маска, которую Феллини извлекает из затхлой водички Голубой лагуны. «Затхлая водичка» в нашем случае — прошлое, правопорядок которого ежегодно становится всё более неожиданным. О Флоринском можно с уверенностью сказать, что его биографией как учёного внимательно не занимались, а считать, что люди такого умственного толка работали ради того, чтобы какой-то нелепый аспирант однажды взбудоражил архивные ящики и слепил что-то вроде нищенской диссертации, — значит, относиться к истории слишком свысока, уж излишне по-гегелевски.

Большевики-чекисты убили 64-летнего Флоринского 2.05.1919 просто так, ни за что, «в порядке красного террора» (среди 53-х или, по иным данным, 68 других лиц), то есть за то, что был интеллигентным человеком (это вообще прощают редко), честно выполнявшим обязанности цензора и имевшим не-

счастье осмыслить жизнь убеждениями, которые не совпадали с большевицкими. Конечно, принадлежность к киевскому Клубу русских националистов не такая уж и добродетель, но по тому времени другие добродетели были малораспространённые.

И. Журжа, которой удалось изучить «расстрельное дело» Флоринского в Центральном государственном архиве общественных объединений Украины (в декабре 1999-го мне в этом было резко отказано заведующей читальным залом некоей Комаровой — с мордочкой надзирательницы пенитенциарных учреждений), отмечает: убедительного состава профессорского преступления не было. А нужен ли в таких случаях ещё и состав преступления? Достаточно, что Флоринский просто выделялся из толпы, не менял убеждений в угоду очередной власти.

Академик Перетц, вечный оппонент Флоринского в вопросе о статусе украинского языка, в письме Николаю Никольскому удивлялся:

«С горечью прочёл я в газетах о судьбе моего киевского антагониста, Тимофея Дмитриевича. Что он мог сделать теперь? Ярые шовинисты [украинские] — и те на него не обращали внимания, и тут — ! Ведь он событиями был совершенно обезврежен».

После его смерти, поразившей разумных современников ужасом расправы над умным стариком, появились несколько печатных сообщений.

Когда Добровольческая армия после 18.08.1919 (по старому стилю) открыла чекистские подвалы, Савенко в первом же номере восстановленного «Киевлянина» написал об изуродованном теле профессора. В числе за 28.08.1919 подробнее:

«Университет св. Владимира докладывает, что найдено тело расстрелянного большевиками заслуженного профессора Тимофея Дмитриевича Флоринского. Панихида в среду, 28 августа, в 2 часа дня, в часовне патологоанатомического института Университета. Погребение на Аскольдовой могиле в четверг 29 августа после заупокойной обедни в Университетской церкви, которая начнётся в 10 часов утра».

На следующий день:

«Сегодня погребение Т. Д. Флоринского... То, что осталось от тела этого прекрасной души человека, зверски убитого чрезвычайкой (Иконников в записной книжке: «мерзавец Держинский (чахоточная сволочь)». — А. П.), сегодня будет предано земле на кладбище имени древнерусского витязя Аскольда. Там тебе место, славный витязь русской национальной

идеи, — место вечного успокоения твоему кроткому славянскому сердцу, биение которого нужно было оборвать руке, искоренявшей все лучшие русские силы. У могилы дорогого нам Тимофея Дмитриевича, старого сотрудника “Киевлянина”, на равном праве сойдутся его осиротевшая семья, профессора Университета св. Владимира, которому Т. Д. так много послужил».

Флоринский был похоронен рядом со средним сыном Сергеем (1891–1916) — прапорщиком, который погиб на Юго-Западном фронте: «ежедневно Флоринский ходил пешком на его могилу» (Полонская-Василенко). Впоследствии вдова Флоринского, Вера Ивановна, перенесла прах мужа и сына на Лукьяновское кладбище: в фонде Сергея Маслова в Институте рукописи хранится фотография с металлическим крестом и соответствующей надписью, но место перезахоронения по ней установить не удалось. Свидетелей не осталось.

Нужно признать, что и Перетц, и прочие коллеги Флоринского после его убийства чем могли поддерживали Веру Ивановну:

«От другой — старой вдовы, В. И. Флоринской, я получил грустное письмо: её лишили пенсии, которую она получала. Просит написать отзыв об учёной деятельности Тимофея Дмитриевича. Я написал, и завтра же С. И. Маслов (который приезжал в Питер заниматься) сvezёт ей. Я плохой славист, но старался, как мог, благо всё существенное из его работ знаю. Но поможет ли это? В Харькове отлично знают его антиукраинскую позицию и войну с “мазепинством”!» (Перетц — Сперанскому, 12.04.1925).

Хлопоты коллег, конечно, не смогли преодолеть в глазах новой власти политических прегрешений Флоринского. Осенью, 17.09.1925, Михаил Сперанский (1863–1938) писал Владимиру Истрину:

«Была у меня совершенно неожиданно В. И. Флоринская: несмотря на наши усилия и рекомендации, в пенсии ей отказали ввиду “недочётов (?) политического характера” покойного Тимофея Дмитриевича, как, кажется, Крымский написал на её бумагах, и теперь она при помощи сына [Дмитрия] (он коммунист и служит в Комиссариате иностранных дел) получила разрешение на выезд за границу, где у неё старик-отец и сестра, и она туда едет, если уже не уехала».

Иных сведений о дальнейшей судьбе Веры Ивановны и дочери Веры Тимофеевны (Савицкой) я не нашёл. Среди иных известий о смерти Флоринского два небольших некролога начала 1920-х: упоминание в «Скорбной летописи» Владимира Бене-

Могила Тимофея Дмитриевича
и Сергея Тимофеевича
Флоринских
на Лукьяновском кладбище,
Киев, фото 1930-х
(не сохранилась)



шевича в «Русском историческом журнале» (Петроград 1921, кн. 7) и Сперанского в «Научных известиях [академического центра Наркомпроса РСФСР]» (1922, сб. 2). Оба содержат, так сказать, материал для энциклопедий, чтобы человек не затёрся льдинами *бесписьменной* истории.

Успенский и Флоринский. Только один текст, более или менее человеческий, вернее, очеловеченный, был напечатан старым академиком Успенским — давнишним коллегой, который знал Флоринского ещё гимназистом. По инициативе Успенского в 1895-м Флоринский был избран членом РАИК: в его фонде в Институте рукописи хранится литографированный диплом, выписанный на имя Флоринского учёным секретарём РАИК Борисом Панченко не вполне каллиграфически.

В тексте, кроме прочего, идёт речь о пребывании Успенского в Киеве осенью 1918 года, при Скоропадском, — факт малоизвестный, связанный с возвращением Фёдора Ивановича и Надежды Эрастовны из Крыма в Петроград.

В письме Вернадскому из Николаева в Киев в начале октября 1918-го Успенский писал:

«Около трёх недель нахожусь я в Украине (заметьте: не “на Украине”, а “в Украине”. — А. П.), в настоящее время остановился в Николаеве и предполагаю возвращаться в Москву и Петроград через Киев. Было бы очень желательно вступить с Вами в сношения. Прежде всего, необходимо ориентироваться в вопросе о сношениях между украинской и большевистской страной: открылись ли железнодорожные сношения? В связи с этим придётся обсудить меры по исходатайствованию места на поезде. Независимо от того нужно заручиться в Киеве пристанищем для себя и для жены. Я писал об этом профессору Тимофею Дм. Флоринскому, но пока не имею ответа. Не теряю, впрочем, надежды, что он предложит в этом отношении дружеское содействие. Имея в виду, что Киев очень густо заселён и отличается дороговизной, я бы думал, что мне следует прибыть туда именно на столько времени, сколько потребуется для хлопот об устройстве обратного пути в Петроград или Москву».

Флоринский предоставил Успенским одну из комнат в своей просторной квартире, и 30.10.1918, в день турецкой капитуляции, Успенский сообщает неперемennomу секретарю ВУАН Агафангелу Крымскому:

«Очень жалею, что не нашёл Вас. Остановился у проф. Флоринского (Бибиковский бульв., 36). Прошу уведомить, как лучше свидеться и побеседовать. Телефон Флоринского 5-91 теперь не действует. Я имею намерение возвратиться в Москву и Петроград».

Наверняка тогда же Успенский навестил и Кулаковского, уже тяжело больного, только вот где именно — в университетской больнице или дома, — не выяснить. Не смея долго злоупотреблять гостеприимством Флоринского, Успенский в ноябре 1918-го перебирается в дом врача Евгения Фёдоровича Гарнич-Гарницкого (основателя киевской партии октябристов и члена Клуба русских националистов) на Пушкинской, 22 (ныне № 34), за пару домов от жилища Кулаковского (№ 40). Скорее всего, при содействии Крымского в ноябре или начале декабря Успенским удаётся на санитарном поезде выехать из Киева, за пару недель до падения Скоропадского.

Воспоминания Успенского о настроении последних месяцев жизни Флоринского при большевиках дают правдивый портрет очень уставшего человека. Вот этот недлинный текст.

«Неопределённые, одно другому противоречившие известия о роковой судьбе, постигшей Т. Д. Флоринского, долго не внушали мне доверия. Так недавно ещё, в феврале текущего года, я с ним беседовал в Киеве, пользуясь его гостеприимством; так давно, ещё маленьким гимназистом, я знал его в Петрограде, поддерживал с ним сношения, как с учёным, занимавшимся теми же или близкими к моей специальности вопросами. Нас соединяла и добрая память о нашем детстве и ближайшем руководителе на избранной нами учёной дороге — В. И. Ламанском. Словом, известие о трагической кончине моего покойного товарища привело меня в крайнее смущение.

Пока не выяснены причины смерти его, остаётся посвятить его памяти несколько слов воспоминания — отдать дань признания заслуге покойного на службе русской науки.

Здесь было бы неуместно входить в оценку учёных трудов Тимофея Дмитриевича, которые пользуются большим значением в русской науке и которые создали ему положение известнейшего слависта среди русских и среди всех славян. Скромное положение профессора в провинциальном университете, в котором он провёл больше 35 лет, не казалось Т. Д. отяготительным, хотя учёная известность его могла бы открыть ему доступ в столичные университеты. Неумолимый экономический закон, выражающийся в сравнительной дешевизне жизни в Киеве против Петрограда и Москвы, и обязательства перед семьёй — нужно было воспитывать трёх сыновей и одну дочь — продиктовали ему весь жизненный уклад и — скажем более — обусловили его карьеру. Тимофей Дмитриевич не мог жить на профессорское жалованье, а между тем требовались средства.

Вступив в цензурное ведомство¹, соединив, таким образом, свою

¹Успенский передёргивает: деньги на обеспечение потребностей семьи были бесспорно нужны Флоринскому в 1890-е, когда у него родились один за другим четверо детей. Руководителем Киевского временного комитета по делам печати он стал только в 1909 году и выполнял обязанности цензора восемь лет — до февраля 1917-го. Вряд ли стоит связывать потребность в финансовом достатке семьи Флоринского непременно с его работой в цензурном ведомстве, поскольку почти все семейные киевские профессора преподавали не только в Университете, но и на Высших женских курсах, в Киевской духовной академии, в Коммерческом институте итд. Скорее всего, соображения не столь меркантильные, сколь идейные побудили Флоринского занимать эту должность. «Пребывание Т. Флоринского на должности руководителя “киевской цензуры”, одного из военных цензоров, ответственных за контроль над прессой, отмечен значительным количественным уменьшением украиноязычных изданий, а в годы Первой мировой войны по его инициативе они вообще были

судьбу с этим одиозным учреждением, Т. Д. получил некоторую обеспеченность и средства на текущие расходы, мог дать воспитание детям, но вместе с тем возбудил против себя нерасположение в разных общественных кругах и создал себе разные досадные преграды. Между этими последними наиболее печальная в моих глазах выразилась в том, что ему не было предоставлено кресла в Академии наук, на которое он имел бесспорное право и которое, с другой стороны, не быв замещено Флоринским, не могло от этого не испытать ущерб.

Моё последнее свидание с покойным и продолжительность с ним беседы произвели на меня удручающее впечатление. Разница в нашем возрасте значительная; он моложе меня на десять лет. Но меня поразила в нём глубокая старческая слабость — как физическая, так и моральная. Я нашёл его с ослабшей памятью, раздражительным и подозрительным. Мы делились с ним старыми воспоминаниями, и на этой почве всё шло гладко, но нельзя было даже мимоходом касаться его политических выступлений по отношению к цензурному ведомству или малорусскому языку; на этой плоскости разговор не клеился, собеседник мой горячился и явно не желал поддерживать разговор.

Мои занятия историческими судьбами человечества и размышления над сменами культур и политических направлений приучили меня бережно относиться к убеждениям людей и не судить за то, если кто не исповедует того мнения, какого придерживаюсь я сам. Покойного я видел в семье, окружённого детьми, которые все были в Киеве. Он читал лекции в университете и на женских курсах, остальное время проводил дома в своём кабинете, на Бибикивском бульваре¹. Редко кто бывал у него, и он выходил иногда к двум-трём товарищам. Мы прощались с ним в надежде на свидание в Киеве, куда я предполагал вскоре возвратиться. У него тоже были учёные и литературные проекты».

запрещены. Цензор-интеллектуал, Т. Флоринский был отдан самодержавию, не жалел сил и здоровья для служения ему, защиты его интересов, выполнения его воли в национальных регионах Империи. И хотя с падением самодержавия Т. Флоринский прекратил государственную службу, он не избежал участи тысяч царских чиновников, убеждённых крайне правых монархистов, от расстрела большевиками» (И. А. Коляда).

¹ Сначала дом аптекаря Николая Фроммета, с конца августа 1887 года — Рудольфа Раузера. Ныне бульвар Тараса Шевченко, 36 (архитектор В. Н. Николаев, 1870–1880-е). Одну из трёх квартир 27-комнатного дома — девятикомнатную № 3 на третьем этаже — занимала большая семья Флоринских.



*Киев. Гостиница «Континенталь», где зимой–летом 1919-го жили
ответственные советские работники, фото 1910-х*

Логика большевизма. Иван Бунин, который тоже не любил пролетариат и всё, что с ним связано, в «Окаянных днях» (1925–1927) описал, что в это время происходило в Новороссийском университете в Одессе:

«всё в руках семи мальчишек первого и второго курсов. Главный комиссар — студент киевского ветеринарного института Малич. Разговаривая с профессорами, стучит на них кулаком по столу, кладёт ноги на стол. Комиссар высших женских курсов — первокурсник Кин, который не переносит возражений, тотчас орёт: “Не каркайте!” Комиссар политехнического института постоянно с заряженным револьвером в руке».

Взывание большевиков об инициативах снизу при лозунге «всеобщего равенства» выносило на поверхность реализацию комплекса неполноценности у слаборазвитого населения, имевшего амбицию и чувствовавшего власть над теми, кто сделал себя упорным трудом морально и умственно выше, чем оно. Чувствующие себя равными неравенства не прощают, и возмездие за разность потенциалов получают те, у кого потенциал выше: это закон исторического развития, если процесс жизнедеятельности можно считать развитием.

Язвительный Ленин на I Всероссийском съезде по внешкольному образованию 19.05.1919, когда в Киеве бесчинствовали чекисты, выступил с речью «об обмане народа лозунгами свободы и равенства». Кто кого обманывает? Неужели Ленин признаётся в эдаком непотребстве? В его достаточно бессвязной, но не лишённой остроумия проповеди разыграна целая риторическая комедия. Лидер большевиков распространяется о том, что

«да, мы говорили и говорим всё время в своей программе, что мы себя в обман такими прекрасно звучащими лозунгами, как свобода, равенство и воля большинства, не дадим, и что мы к тем, кто называет себя демократами, сторонниками чистой демократии, сторонниками последовательной демократии, прямо или косвенно противопоставляя её диктатуре пролетариата, — что мы к ним относимся как к пособникам Колчака».

Вот тебе и раз. «За что боролись?» Ленин разбирается:

«Разбираться начнём со свободы. Свобода, нечего говорить, для всякой революции, социалистической ли или демократической, это есть лозунг, который очень и очень существен. А наша программа заявляет: свобода, если она противоречит освобождению труда от гнёта капитала, есть обман».

Причём здесь капитал? Логика не железная, — большевицкая; такой она была всю советскую власть там, где лживое слово было важнее дела или — где лживость и была делом.

Черчилль считал, что большевизм это не политика, это заболевание, не credo — чума. Как и всякая чума, большевизм возник внезапно и распространился с чудовищной скоростью.

«Он ужасно заразен, болезнь протекает мучительно и заканчивается смертью. Когда же большевизм, как и всякая болезнь, наконец, отступает, люди ещё долго не могут прийти в себя. Пройдёт немало времени, прежде чем их глаза засветятся разумом».

Не то ли наблюдаем сейчас, когда юноши — не говоря о дементных стариках, которым по возрасту положено, — пытаются махать красным флагом на Крещатике, заигрывая с цитатниками Мао или портретами Че? Им забавен процесс «взросления в сопротивлении» как таковой, а не книжки про историю.

Большевики в Университете. В конце марта 1919 года в Университет явились прибывшие из Харькова два комиссара — Мицкун и Финкельштейн, предъявили приказ, которым упразднялись должности ректора и проректора, и власть передавалась Мицкуну и Финкельштейну.

М. Н. П.
РЕКТОР

В Историко-филологический факультет.

УНИВЕРСИТЕТА С. С. РАДЫ

Апреля 3 дня 1919 г.

№ 664
г. Киев.

Прошу факультет избрать из числа своих членов представителя в Редакционный Комитет на место скончавшегося профессора Д.А.КУЛАНОВСКОГО и о последующем сообщить мне.



Комиссар

В. Мицкун

Секретарь Совета

Шварц

Талейран говорил, что посредственные люди играют существенную роль в важных событиях по той причине, что они оказываются вовремя в нужном месте. При Мицкуне в качестве «технического советника» состоял некий Гольдфарб с помощником Коганом. Кроме того, в «Сквузе» (Совет комиссаров высших учебных заведений) появились Бродский, Мейер и Гальперин. Их будто специально подбирали — в видах подзуживания антисемитских настроений среди сотрудников университета. Правда, председателем Сквуза был бывший ассистент Харьковского университета с неожиданной фамилией Назаров.

В первый же день, вспоминает Евгений Спекторский, Мицкун потребовал у секретаря по студенческим делам, чтобы тот вручил ему 25 незаполненных студенческих билетов за его подписью и с приложением старорежимной печати, — очевидно, на случай бегства. Затем были изъяты все старые печати, зака-

заны новые, и кураж над высшим образованием в киевском университете начался. Мицкун заставил историко-филологический факультет, чтобы его товарищу по фамилии Рубинштейн, «совершенно не подготовленному к учёной профессии», предоставили кафедру. Чтобы несколько смягчить дурацкое требование, он одновременно предложил другую кафедру окончившей Университет Старосельской, просившей лишь о стипендии для «приготовления к профессорскому званию» (аспирантуре). Факультет с участием студентов, к неудовольствию Мицкуна, обе кандидатуры отклонил.

3-го апреля за подписью Мицкуна в историко-филологический факультет было отправлено письмо (регистрационный № 664 — когда успели столько бумажек напрудить?):

«Прошу факультет избрать из числа своих членов представителя в Редакционный комитет на место скончавшегося профессора Ю. А. КУЛАКОВСКОГО и о последующем сообщить мне».

На печати надпись: «Народный комиссариат просвещения Украины. Совет комиссаров высших учебных заведений г. Киева», посредине в кружочке толстенькая звёздочка с веерообразными штралами. На угловом штампе: «М. Н. П. Ректор ... Университета св. Владимира», слово «Императорского», конечно, с каучука срезано. Ответ факультета неизвестен.

Когда после расстрела большевиками 69-летнего профессора геологии Петра Армашевского в мае 1919-го Мицкун получил протокол заседания физико-математического факультета, куда между прочим было занесено, что «почтена вставанием память трагически погибшего старейшего члена факультета», он наложил красными чернилами резолюцию: «казнь преступника есть трагедия для его среды и ему подобных, для всех же прочих граждан это радостное событие. Протокол не утверждаю и требую объяснений». Неужели ему был известен эпизод с некрологом Пушкина, отвергнутым утончённейшим графом Сергием Уваровым, и текст князя Одоевского, вызвавший негодование министра просвещения («разве Пушкин был полководец, военачальник, министр, государственный муж?! Писать стихи не значит ещё проходить великое поприще»)? Едва ли. Если Мицкун мог требовать, чтобы медицина была превращена в пролетарскую науку, и напрасно профессора возражали недоумку, какой эрудиции от него ждать?

Выше я уже где-то упоминал, что, не представляя себе сущности академического труда, Мицкун дивился, что профессору полагалось шесть лекционных часов. Имея в виду пролетарский восьмичасовой рабочий день, он спросил, почему не восемь. Ещё более он удивился, узнав, что шесть лекционных часов это не дневная, а недельная норма. С большим усилием ему, повторяя несколько раз, как удалому советскому милиционеру, удалось вдолбить, что при честном отношении учёного к преподаванию, соединённому с исследовательской работой и практическими занятиями со студентами, шестичасовая недельная норма — почти предельная нагрузка.

31-го августа, с входом в Киев Добровольческой армии (7-я пехотная дивизия генерала Николая Бредова) и Галицкой армии Симона Петлюры, Мицкун бежал, прихватив деньги, которые предназначались для застекления университетских окон после муравьёвского обстрела¹. Тогда же были похищены из университетских клиник рентгеновские аппараты.

«По традиции, созданной киевскими революционными правительствами, покидая город, [Днепровская военная] флотилия Полупанова обстреляла его, причём немалое количество снарядов разорвались возле Университета. Через несколько дней она приблизилась по Днепру к Киеву и опять обстреляла его» (Спекторский).

«Нужно уступать, — считал Талейран, — до того, как к этому принудят силой, и пока ещё можно поставить себе это в заслугу»: большевики, в массовом числе читать не умевшие, конечно, мемуары блестящего французского проходимца в глаза не видели.

Оглядки. Павел Николаевич Милюков, самый главный кадет, почти сразу после укрепления власти большевиков сформулировал четыре роковые политические ошибки Белого движения: 1) решение аграрного вопроса в интересах помещного класса; 2) возвращение старого состава и старых злоупотреблений военно-чиновной бюрократии; 3) узконационалистические традиции в решении национальных вопросов; 4) преобладание военных и частных интересов над общечеловеческими.

¹ Правда, Мицкун бежал ещё двадцать лет: в 1938-м в лесу, в подмосковном Бутово его расстреляли коллеги-большевики за традиционное «участие в контрреволюционной террористической организации».

Милюков был хорошим историком и знал, что быстро в пылу революций только дикие кошки рождаются, но ему хотелось, чтобы быстро рождались новые люди, не отягчённые грузом вчерашнего. Причём, рождались сразу взрослыми, обеспеченными, добропорядочными. И притом — *все*.

Так не бывает. Знакомство с бытом обеспеченных людей опасно для малоимущих: сначала вы думаете, что кому-то живётся лучше, затем хотите, чтоб он жил не лучше вас, а заканчивается всё это, в лучшем случае, гильотиной на Трафальгарской площади, в худшем — свехпауперизацией бедных и простой сменой тех, кто снова будет жить лучше, чем вы. Право частной собственности должно быть признано равным десяти заповедям, а священность именно этого Милюков не предполагал.

Не всякий честный выдержит искушение властью, популярностью, славой. Тогдашняя, на рубеже 1910-х и 1920-х, попытка *египтизации России* вылилась в ожидавшуюся диктатуру: власть тех, кто «хочет чтоб быстро»: «И великие обеты / В огне страстей сгорают, как солома», — это Просперо.

Черчилль подметил, что величайшей бедой России было рождение Ленина, но ещё большей — его смерть в 1924-м. Антибольшевицкие силы не могли выступить единым фронтом: запах власти хуже пения сирен — аллергия мгновенна, едва ты на полшишечки возвысился над толпой. Впрочем, в этом удобство: как писал Сергей Третьяков, «сверху не видно ног — все предметы передвигаются катясь», и это создаёт смешные иллюзии толпотворения.

Да, я повторяюсь. Хочу, чтобы запомнилось накрепко.

Эдакие иллюзии быстро улечиваются из романтических бошек, едва речь заходит о кармане, в котором недавно что-то было (пусть немного), а теперь всё меньше. Если на 1.01.1918 стоимость рубля, в сравнении с довоенным, упала в 23,3 раза, то на 1.01.1919 она упала уже в 230 раз, а к 1.01.1920 — в 3136 раз. Представить это невозможно, никакие примеры не дадут возможности уяснить Дантово величие пропасти, в которую пал царский рубль, а с ним и вся бытовая экономика инерционно умиравшей империи. Это царя можно свергнуть быстро, разрушить всё остальное — дело долгое. И эта неясная долгота долгот не сразу провоцирует созидание.

«В нашем настоящем, — полагал Ключевский, — слишком

много прошедшего; желательно было бы, чтобы вокруг нас было поменьше истории». Куда же от этой самой «истории» деться? Равновесие ума и глупости в исторических событиях нарушено — если не блеснёт в ином деятеле искра гениальности, глупость перевесит. История кормится ошибками, лелеет их, стараясь оптимистически показать, что могло быть ещё хуже, что нет действующих лиц, а есть действующие процессы, что уютные усадебные времена не вернуться, что «конвейер, по которому движется вещь, имеет людей по обе свои стороны» и что всё-таки «безличными стопочками медаков идут всяческие массы населения — челядь, воины, рабы» (С. Третьяков), а рядом с ними жизнь, которая по-прежнему у каждого одна.

Казалось бы, «Надежды нет! — вот в этом и надежды», — говорил Антонио в «Буре». А резвый злопыхатель и блестящий стилист XIX века Александр Герцен, бежавший в Англию, показывал, что надо делать.

«Я не советую, — писал он в “С того берега” (1858), — браниться с миром, а начать независимую, самобытную жизнь, которая могла бы найти в себе самой спасение, даже тогда, когда весь мир, нас окружающий, погиб бы. Я советую взглядеться, идёт ли в самом деле масса туда, куда мы думаем, что она идёт, и идти с нею или от неё, но зная её путь; я советую бросить книжные мнения, которые нам привили с ребячества, представляя людей совсем иными, нежели они есть. Я хочу прекратить “бесплодный ропот и капризное неудовольствие”, хочу примирить с людьми, убедивши, что они могут быть лучше, что вовсе не их вина, что они такие».

Герцен и Чехов пытались вылечить моральные язвы народонаселения средствами изящной словесности, но до сознания всякого ли достали упражнения их? Мир по-прежнему это опят выживания после социальных катастроф.

Домашняя библиотека и архив. После кончины Кулаковского, вероятнее всего, сразу после похорон, Сергей и Арсений продали в Национальную библиотеку Украины отцовское книжное собрание, тем самым сохранив его и дав себе возможность некоторое время не жить — существовать: Арсений не работал, Сергей перебивался педагогическими заработками.

«В библиотеке проф. Ю. А. Кулаковского (около 5 тыс. книг), — писал Гнат Житецкий в «Книжном вестнике» (1919, № 2), — приобретённой Национальной библиотекой, много книг по разнообразным отраслям гу-

манитарного знания — от статей и брошюр политического содержания до педагогики. Превосходно подобраны те отделы, которые притягивали к себе личный интерес учёного. Любопытен подбор брошюр, статей в периодических изданиях, монографий и правительственных решений по реформе среднего и высшего образования. Из отдела классической филологии, вообще очень богатого (более тысячи книг и брошюр), наиболее полным является собрание литературы по римским древностям и праву, исключительно удачен подбор учебников для изучения Лукреция (между прочим, здесь имеются такие — даже при нормальных условиях книжной торговли — раритеты, как комментарии Lachmann'a), большая коллекция изданий текстов и диссертаций по Тациту (76 названий). Для становления национальной украинской науки непосредственно исключительный вес имеет отдел, который как раз был в области личного внимания покойного профессора в последние два десятилетия его деятельности, — то есть отдел истории Византии с его областями — эпиграфикой и топографией и историей церкви нашего Юга. Среди многочисленной специальной литературы на русском и западноевропейских языках имеется почти полная подборка трудов акад. Латышева (более 90 названий), основные труды по истории и географии Скифии, такие раритеты книжного рынка, как труд Beiger'a по античной географии, Schliemann'a "Ilios", роскошное издание по археологии Юга Ростовцева, периодические издания разных обществ, касающиеся древней эпохи истории нашего края. Нельзя, в заключение, обойти молчанием такие ещё не законченные Grundwerke по классической филологии, как Rosher "Mythol. Lexicon", "Thesaurus linguae latinae", Pauly-Wissowa "Relaencyclopädie", Döremberg-Saglie "Dictionnaire der Antiquites", которые также имеются в составе книжного собрания. Приобретение Национальной библиотекой этого книжного собрания закладывает прочную основу для отдела классической филологии и — особенно — для древнейшего этапа истории Украины».

Михаил Робинсон полагает, что Сергей и Арсений после смерти отца вынуждены были сдать часть квартиры, но это неверно: они сами её снимали. Тёмный вопрос. Сергею всё-таки «удалось получить охранный лист на 1 1/2 изданий» семейной библиотеки, а от остальной части книг — избавиться. Из киевских книгохранилищ, готовых покупать книги,

«приятнее всего новая державная библиотека, но она даёт 7 рублей за том огулом, как и Вл. Ст. Иконникову, что по нынешним временам насмешка <...> Жизнь требует теперь полной ясности в этих делах и спешных решений, так как иначе реквизируют, поселят, выгонят и так далее.

*Доходный дом Михельсона
по Пушкинской, 40,
где в квартире № 6
Кулаковский с семьёй жил
с 1890 по 1919 год,
фото автора 1999 года*

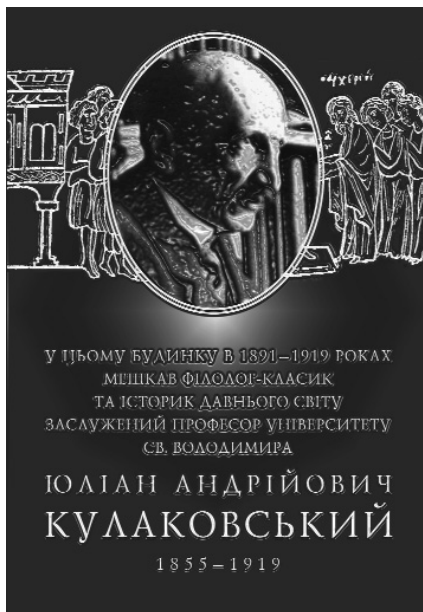


Здесь выселяют из крупных домов поголовно, реквизируют многое. Цены выросли. Почему-то нет прочной связи с “русским” правительством, нет законных планомерных действий, а какие-то случайности <...> Московские цены во много раз выше, но ведь мы живём в хлебных местах. Слухами полнится земля. При Петлюре много было апельсинов, мандарин и лимонов (съедобных; их я папе покупал); теперь даже яблоки дороги. Но лимонов ждут, хотя пессимисты уверяют, что придётся пить чай скоро без сахара, а про лимоны забыть. Да и чая нет вовсе. Может быть, вместо всего начнём пить польские мёды и немецкое пиво. Говорят, что появятся запасы, хоть и прежние <...> Из деревни [Вернигоровщины] вести есть, все живы, но, вероятно, обобраны. Все ждём весны. Восток или Запад, а Киев не может сидеть долго в мешке» (Соболевскому, 11.03.1919).

Не о том ли говорил Шкловский, что, мол, человека можно разгадать по его вещам? «Это не так прямо, но точнее, чем знание человека по его словам. Мы сами себя не знаем». А вот библиотечный список (очень приблизительный, неполный) Кулаковского или перечень 363 вещей, оставшихся в доме по смерти Рембрандта (95% — картины свои и чужие), — красноречивее трудов первого и двусветного колорита второго.

Или Иосиф Бродский, поэт-лауреат, — в письме Вацлаву Гавелу, чешскому президенту-писателю:

«Не существует другого противоядия от низости человеческого



*Меморіальна дошка
для розміщення на фасаді
київського жилого дома по вулиці
Пушкінська, 40.
Проект автора, жовтень 2003 року*

сердца, кроме сомнения и хорошего вкуса, сплав которых мы находим в произведениях великой литературы, равно как и в ваших собственных. Если отрицательный потенциал человека ярче всего проявляется в убийстве, его положительный потенциал лучше всего проявляется в искусстве <...> Вы должны решить, какой курс лучше для вашего народа, какую книгу лучше дать ему. Хотя, если б я был на вашем месте, в качестве начального курса я бы предложил вашу личную библиотеку, потому что очевидно, что о нравственных императивах вы узнали не на юридическом факультете».

В одном из писем 1924 года Агафангел Крымский, непременный секретарь ВУАН, востоковед, книгопис и книгоед, писал, что

«Украинской академии наук впервые удалось, через свою колоссальную Всенародную библиотеку, составленную из частных профессорских библиотек, дать наконец Киеву и всей Правобережной Украине библиотеку типа Румянцевского музея. Но лакуны ещё огромны».

В связи с этим остаётся посетовать, что акт передачи не коснулся целиком рукописного архива Кулаковского и собрания его бумаг, значительно упростивших бы исследовате-

лям их задачи. Правда, личный фонд Кулаковского (№ 264) в киевском ЦГИАУ содержит 228 дел, среди которых пачки писем и несколько неопубликованных рукописей. Но это, конечно, не всё. Признаюсь: мне не достало духу и времени прочитать их все.

Скорбная летопись истории российской науки 1918–1920-х не исчерпывается смертью Кулаковского, Флоринского, Лаппо-Данилевского или Туган-Барановского, — смертями, едва ли естественными. Как наименее приспособленный к внешним перипетиям, научный работник первым попадает в жернова «переходного времени», перетирается ими, ссыпается трухой в могилу.

Вот невеселая мозаика календарного ухода из жизни коллег, врагов и друзей Кулаковского: 12.04.1918 умер Николай Веселовский, 22.08.1918 — Иван Лучицкий, 26.09.1918 — Павел Безобразов («скончался в крайней нужде и истощении. Жена его — дочь историка Соловьёва и сестра философа, скончалась от той же причины»), 30.09.1918 — Хрисанф Лопарёв, 23.11.1918 — Яков Смирнов, 25.11.1918 — Александр Веселовский, 7.07.1919 — Григорий Зенгер, 17.08.1919 — Владимир Герье, 31.10.1919 — ректор Николай Цытович, 20.02.1920 — Александр Бертье-Делагард, 20.03.1920 — Фёдор Батюшков, весной 1920-го — Борис Панченко, 23.12.1920 — Борис Тураев, 11.01.1921 — Иван Каманин, 2.05.1921 — Василий Латышев, 8.03.1922 — Адольф Сонни.

Смерть Зенгера. В столичном «Вестнике литературы» (1919, № 7, стр. 14–15) опубликован показательный некролог:

«Скончался бывший министр народн[ого] просвещения и крупный учёный филолог Григорий Эдуардович Зенгер. Он умер от истощения на почве голодания и отчасти от холода, так как в последнюю зиму жил в нетопленной квартире и жаловался на пагубное влияние низкой температуры на его здоровье.

В самое последнее время бывший министр занимал скромное место научного сотрудника отдела римской словесности в Публичной библиотеке».

Витольд Клиндер в статье «Две памятные античные сферы в Польше XX века» (любезно присланной мне о. Генрихом Папроцким в рукописи) говорит, что Зенгер переводил на латынь польских поэтов (Кохановского, Мицкевича), а также стихи Гюго и Мюссе, которые переписывал на отдельных листах бу-

маги и рассылал только друзьям и ценителям: Клиндер видел эти листы в руках киевских коллег и варшавского филолога-классика Михала Ровиньского, с которыми Зенгер поддерживал контакты.

Будущий академик Тарле, обязанный министру Зенгеру возвращением в университет после политической опалы, писал Владимиру Грабарю (1865–1956), выпускнику Коллегии Павла Галагана, брату Игоря Грабаря, будущему академику АН УССР, доктору международного права, работавшему тогда в Воронеже, в эвакуированном Юрьевском (Дерптском, Тартуском) университете, — 31.10.1918:

«Обращаюсь к Вам с челобитной: Гр. Эд. Зенгер умирает от голода, в буквальном смысле слова, у него от голода — головокружения. Все его средства — жалованье, получаемое в Публичной библиотеке: он там помощник библиотекаря. Он жаждет попасть в Воронеж на кафедру; он доктор классической филологии и *après tout* [прежде всего] порядочный человек — смиренный, коллегиальный и всё ещё, несмотря на ужасающие условия, продолжающий работать. Спасите его!»

От 1.01.1919:

«Очень благодарен Вам за устройство дела Зенгера. Жаль только, что старик (для тех времён 66 лет считались долголетием. — А. П.) совсем расхворался, оголодал, ослабел и ни физически, ни денежно тронуться с места не в состоянии. Его страшит дорога в Воронеж, он убеждён, что не доедет живым. Не знаю, как он окончательно решит. Когда дело началось, он с восторгом отнёсся к этому плану, а теперь, когда всё удалось, он пал духом. Он с семьёю днями ничего не ест и сидит в нетопленной квартире».

От 9.01.1919:

«Старик Зенгер меня изумляет, если он Вам написал, что я “против его воли” его Вам сватал: он с бесконечным жаром, со слезами на глазах меня благодарил за предложение написать Вам о нём. Мало того: ведь частью я с ним переговаривался даже не с глазу на глаз, а через посредство И. М. Гревса (тот самый Иван Михайлович, которому Вяч. Иванов в 1891-м посвятил двадцать пять “Парижских эпиграмм”. — А. П.), так как он живёт на одной лестнице с Зенгером, и у него есть телефон (а у Зенгера нет), — так что у меня даже свидетель есть <...> Он просто пал духом, чисто физически испугался гибели по дороге или в Воронеже, без семьи, без квартиры etc. Он так мне и объяснял и всё охал, что как, мол, будет неловко теперь пред воронежским советом и т. д. Очевидно, он

и решил, что самое “ловкое” — свалить на меня <...> Невольно вспоминаются слова Рошфора об Эмиле Оливье: “Оливье в своих мемуарах до сих пор так врёт, как если бы он всё ещё был министром”. Беда в этом отношении с министрами! Очевидно, образуется привычка. И всё-таки жаль старика бесконечно. Они питаются теперь так, что если г-жа Гревс (Мария Сергеевна. — А. П.) не принесёт им немного супу из конины, то голодают сутками...»

Похоже, осерчав на стариковскую неблагодарность, Тарле прекратил интересоваться его делами, и в письме от 25.07.1919 безразлично пишет Грабарю: «Зенгер, говорят, умер от голода. Воронеж был для него единственным якорем спасения».

Тайный советник Зенгер умер 7.07.1919. Его вторая супруга¹, Елена Николаевна Шведер (1866–1942), родившая девяти детей (некоторые выжили, некоторые даже прославились²), тоже скончалась от голода — в блокадном Ленинграде, семидесяти шести лет от роду.

Уход академика Иконникова. Киев 1918–1920 годов для интеллигентного человека — триллер: не было дров, воды и электричества; антисанитария — была.

Чтобы согреться зимами, рубили деревья в Кадетском гае и волочили их домой (для этого в каждый торец бревна вбивался гвоздь, к которому привязывалась верёвка), воду носили из колодцев за городом, ночью жгли ночники, чернила в домах замерзали, базары были пусты.

Один из киевских поэтов-неоклассиков Юрий Клён (1891–1947) отразил эдакую комфортность в поэме «Попіл імперій»:

Ночами стіл в черзі по хліб.

У місті не тече вода по трубах,

не мився ти вже десять діб,

¹ От брака с первой супругой, Марией Александровной Рудомётовой (1856–1890), родилась дочь Наталия (1879–1896).

² Елизавета (1893–1920, умерла от тифа), близнецы Мария Ашукина (1894–1980) и Елена (1894–1918, умерла от голода), Алексей (1895–1909, утонул), близнецы Татьяна Цявловская (1897–1978) и Николай (1897–1938, расстрелян), Александр (1898–1911, умер от дифтерита), Григорий (1900–1922, погиб в бою), Александра (1901–1905). К времени кончины Зенгера († 7.07.1919) в живых были и, вероятно, жили с отцом на Васильевском острове — Елизавета, Мария, Татьяна и Николай. Гр. Гр. Зенгер служил «красным командиром» и боролся где-нибудь на Дону с Деникиным. Дети Зенгера оказались бездетны.

і не тріщать дрова в холодних грубах.
Будь сам собі кравець і швець.
Нема електрики — здобудеш лою;
маленький світить каганець
у неопаленім твоім покої.
Попробуй вірша настрочить
чорнилом, що в чорнильниці замерзло,
і гнів у нього перелить.
На шмаття душу біс тобі розтерзав.
Щодня міняєш на харчі
десь на Євбазі рушники й обруси.
Коли ж подзвонять уночі,
то сподівайся — щонайменше — трусу.

Императорская (Российская) академия наук на 25.10.1917 насчитывала в учёных рядах 43 действительных члена и 86 членов-корреспондентов. К началу 1920-х число их сократилось едва ли не вдвое.

Ближайший коллега Кулаковского — академик Иконников — страшное время переживёт.

55-летний Вернадский в дневнике от 7.07.1918:

«Был у В. С. Иконникова. Очень постарел. Все эти события на стариков действуют ещё сильнее. Много он говорил, показывал. Больной и старый. По немощам отказывался от принятия участия в заседании Комиссии по Академии наук. Согласился».

Алексей Соболевский в скором некрологе:

«Налетела революционная гроза. Иконников лишился и пенсии, и академического жалования, и вообще всякого дохода. Явилась нужда. Пришлось продать библиотеку. Слабость сил и здоровья усилились. Осенью 1922 г. скончалась его жена (Анна Леопольдовна, “Маман”. — А. П.), постоянная его сотрудница во всех работах. Но всё-таки Иконников успел закончить (в рукописи) третий том “Опыта русской историографии”, столь же значительный по объёму, как два предыдущих. 26 ноября 1923 г. Иконников отошёл в вечность, завещав отправить третий том “Опыта” в Академию наук, если не для напечатания, то для хранения. Сколько я знаю, этот том вполне заслуживает внимания».

Похоронили Иконникова в семейном склепе на горе, на Щекавицком кладбище; гора и кладбище есть, от склепа даже камушка не осталось.

Общее собрание ВУАН, действительным членом которой

Иконников был избран в 1920-м, в заседании от 4.09.1922 выразило соболезнование Владимиру Степановичу в связи с кончиной его супруги Анны Леопольдовны, а через год — 3.12.1923 — приняло постановление уже в связи с его смертью:

«Заслушав доклад акад. Н. П. Василенко о научной деятельности акад. В. С. Иконникова, воспоминания других академиков, постановлено просить дочку покойного Ольгу Владимировну Иконникову передать во Всенародную библиотеку Украины бумаги отца, потребовать передачи в “Губосвіту” портрета акад. В. С. Иконникова, устроить в честь покойного публичное заседание».

Дочь Иконникова — Ольга Петрова (1884–1965), прошедшая ад сталинских лагерей, — написала тогда стихотворение:

У стен стояли полки книг
Вокруг тебя почётной стражей,
И показалось мне в тот миг,
Что книги могут плакать даже...

Внучка Иконникова, Злата Всеволодовна Белоус (1917–2001), много лет служившая в генеральном каталоге Национальной библиотеки Украины имени Вернадского, рассказывала мне, зашифровывая требования на книги Кулаковского, что она ребёнком помнит его в холодном доме деда: забралась в нетопленный камин, и Кулаковский — «высокий, рыжий и лысый» — вытаскивая её, перепачкал сажей руки. «На правой руке у него был какой-то изъян: то ли пальцев не было, то ли что-то ещё — не помню». На фотографии видно, что он и вправду прячет правую руку от объектива.

Киевское византиноведение в начале 1920-х. По смерти Кулаковского кафедра византологии в Университете, преобразованном (в 1920-м) в Высший институт народного образования имени Драгоманова (ВИНО), несмотря на усиленное сокращение профессорских штатов, была сохранена и в 1919/20, и в 1921/22 учебных годах.

С весны 1919-го и по лето 1922-го её занимал петроградский профессор Иван Иванович Соколов (1865–1939). Лекции по истории Византии читались то при двух часах в неделю, то при четырёх, с дополнением к общему курсу и специального отдела — о византийской историографии. Осенью 1919-го преподавание истории Византии было предоставлено Соколову и на Высших женских курсах, с назначением сперва четырёх,

а потом и шести часов в неделю, с ведением практических занятий; преподавание прекратилось осенью 1921 года, вместе с присоединением ВЖК к Университету. В те же годы Соколов читал историю Византии в Археологическом институте, Народном университете, Институте внешних сношений (б. Ближневосточном, основан в 1918-м).

По просьбе Успенского Соколов прислал справку о киевском византиноведении в 1919–1922 годах, которая была опубликована в 23 томе «Византийского временника» (1923). Среди прочего в ней говорится, что византиноведение в ВУАН, в связи с «позднейшими культурными сношениями Украины и Ближнего Востока», исследуется в Археографической комиссии под водительством Иконникова.

«Одним из членов комиссии изучены греческие рукописи в Киеве и Нежине, вновь обследуются с специальным назначением византийские историки, составляется руководство по истории византийской культуры. Археологическая Комиссия при Академии занимается разносторонним изучением Святой Софии Киевской. Наконец, Историческое общество Нестора Летописца, возобновившее свою деятельность в 1921 году под председательством академика Н. П. Василенко, по-прежнему предлагает своим членам рефераты и на византологические темы, как, например, намеченный к докладу реферат “О приёме княгини Ольги в Константинополе, — комментарий к Обряднику Константина Порфирородного”».

Успенский комментирует киевскую справку Соколова:

«Но какие страшные потери испытало византиноведение, со времени великой европейской войны, в рядах русских византинистов! Хотя в “Хронике” было бы необходимо остановиться на этих потерях, но предпочитаем отложить это до более благоприятного времени, когда возможно будет выяснить и проверить случайно доходящие слухи. Если и в других странах поредели ряды византинистов вследствие войны, то трудно рассчитывать на возобновление этих занятий в ближайшие годы. Является мысль о более тесном сближении оставшихся в живых. В настоящее время, казалось бы, естественно ожидать особого внимания к византиноведению в тех новообразовавшихся политических группах славян, которые получили свободу самоопределения. Не кустарным однако способом, не вразброд и поодиночке, а по строго выработанной программе, и в одном органе было бы желательно повести эти занятия, одинаково важные и для серба с хорватом, и для болгарина, и для чеха со словаком, и для поляка и русского».



Иван Иванович Соколов

«Загробных радостей вещественный залог». Закончу обращением к воспоминаниям академика Соболевского о начальном пребывании Кулаковского в Киеве в связи с его воспоминаниями об Иконникове и воспоминаниями студентов.

«Осенью 1882 г. я сделался магистром и немедленно был избран историко-филологическим факультетом в Киеве, а вскоре и утверждён доцентом. Но только в начале 1883 г. я приехал в Киев и вступил в исполнение должности преподавателя истории русского языка и русской литературы. А вместе с тем сделался постоянным гостем Иконникова.

<...> Средства его были невелики, но он не отказывался от гостеприимства и охотно принимал у себя молодых сочленов по факультету.

Таких сочленов было четверо. Старший Ник. Павл. Дашкевич был питомцем Киевского Университета и, следовательно, слушателем Иконникова. Немного моложе были Юлиан Андреевич Кулаковский и Тим. Дм. Флоринский, только что начавшие службу в Киевском Университете. Кулаковский окончил курс в Московском Лицее цес. Николая, но слушал лекции в Московском Университете, отчасти вместе со мною, и мы были уже тогда хорошо знакомы; в Киевский университет он был приглашён для преподавания латинского языка. Флоринский был питомцем Петербургского университета и учеником Ламанского; в Киевский Университет он поступил для преподавания славяноведения. Я был младшим в маленьком дружеском обществе.



Адольф Израилевич Сонин

Мы сблизились между собой. Вместе обедали в одном из киевских ресторанов; вместе гуляли после обеда в университетском саду или просто по Крещатику; вместе ходили в театр и в гости, особенно часто к Иконникову».

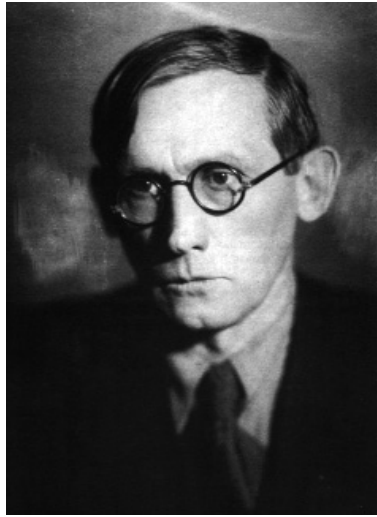
Алексей Соболевский не слишком надолго пережил друзей: умер в мае 1929-го в возрасте 72 лет. Сергей Кулаковский, мальчишкой знавший Соболевского как коллегу отца, в парижской газете «Россия и славянство» откликнулся на его кончину проникновенным текстом (15.06.1929), как и позже — на 70-летний юбилей Фаддея Зелинского (15.03.1930).

Студенты, конечно, вспоминали о другом.

Вот мемуар слушателя его первой лекции по римской литературе в 1914 году Валентина Асмуса (1894–1975).

«Кулаковский был уже старик, но чрезвычайно бодрый, живой и энергичный. На нём был ладно сшитый штатский костюм, нарядные ботинки и изысканные носки. Войдя в аудиторию, он быстро поздоровался, оглядел нас очень строгим взглядом и сразу, без всяких предисловий начал чтение. Читал он энергично, стремительно, и каждая фраза говорила о большой учёности, о безупречном владении предметом, о педагогическом мастерстве.

Никакими записками, конспектами он не пользовался. Он предупредил нас, чтобы, готовясь к экзамену, мы не вздумали пользоваться



Валентин Фердинандович Асмус

Модестовым, и крайне нелестно отозвался о его курсе. Тут же он посоветовал не готовиться и по «ходящим по рукам» его собственным литографированным лекциям. Он рекомендовал вести сначала собственноручные записи и по ним приготовиться к экзамену. Когда лекция уже началась, мы переглянулись и подумали, что он, наверно, преувеличивает наши способности и нашу готовность вести записи по его сложному курсу, который к тому же он читал в быстром темпе и пересыпал латинскими цитатами из самых древних памятников римской литературы... Лекции были содержательны и интересны, а темперамент Кулаковского делал их живыми, порой драматичными. Мы в полной мере оценили эти качества Кулаковского, когда он дошёл до Плавта и начал анализ содержания его комедий. В аудитории часто раздавался дружный хохот. Особенно запомнились пересказы комедий *Aulularia* [*Горшок*], *Menecmi* [*Два Менехма*], *Miles gloriosus* [*Хвастливый воин*]. Свои мастерские пересказы Кулаковский вёл крайне серьёзно, без тени улыбки — в то время как, слушая его, мы часто смеялись безудержно.

В другом месте Асмус указывал, что

«темперамент Кулаковского был темперамент *политический*. Это был профессор, не скрывавший своих «правых» политических убеждений, его чтения были насыщены политической тенденцией. И герои самого историко-литературного процесса, и учёные корифеи — западные и отечественные — истории римской литературы изображались в его курсе как

носители доблестных или вредных политических начал, ими олицетворявшихся. Такими были в изображении Кулаковского и Энний и Лукреций, и Цезарь и Цицерон, и Курциус и Моммзен».

Виктор Романовский, который Университет в 1914-м уже окончил:

«Кулаковский был строгий экзаменатор, но применял свою собственную методику проведения экзаменов. Сначала студенту он задавал общие вопросы по курсу. Когда обнаруживал, что студент достаточно подготовлен, он переходил к деталям, цитировал редкие первоисточники, увлекался сам своим изложением, а студента ставил в трудное положение, так как студент на заданные вопросы не мог отвечать, и думал, что ему готовится неудовлетворительная оценка. Побеседовав таким образом, Ю. А. Кулаковский отпускал его с хорошей оценкой».

Мы постепенно, с советских времён, привыкли, что если ты настоящий профессор, а не тот, кому на заказ написали диссертацию, — выглядишь чуть опрятнее бомжа. Кулаковский следил за собой — ещё как следил. Если уж философ Асмус написал, что на нём были «нарядные ботинки и изысканные носки» (это ж заметить нужно), а за внешним изяществом собственных книг профессор следил так же, как и за их текстом, несложно понять, что у него были ещё те вкус и чувство меры, которые, вестимо, не приобретаются с опытом и возрастом, а даются сразу — на вырост и до конца. Ум и вкус в гуманитаристике — наипервейшее, и в таком симбиозе — редкость. Либо ум, либо вкус — порой встречаются, а вот в совместности — альбиносно. Стилизация рыцарского эпатажа, совершенство в одежде — возможно. Но куда девать сотни написанных печатных листов? Приходится совмещать.

Стиль в искусстве это художественное выражение внутреннего (содержательного) родства внешних форм. Стиль в жизни это содержательное родство человека внутреннего с человеком внешним, если у него есть вкус; если вкуса нет, нет и стиля; стиль виден, когда есть вкус. Как декларировали представители лейденского объединения художников «De Stijl»: цель природы — человек, цель человека — стиль. Кулаковский в Киеве чувствовал себя классической статуей в какофонии скульптур флорентинской Лоджии деи Ланци.

Ромен Роллан в четвёртой книге «Жан-Кристофа» настаивал, что разумный человек всегда знает цену окружающим,



Виктор Александрович Романовский

втихомолку иронизирует над ними, слегка презирует их, но ведёт себя так же, как все, или немногим лучше. «Мысль и действие — два разных мира. Чего ради приносить себя в жертву своим принципам? Мыслить правдиво — пожалуйста! Но зачем говорить правду?»

Ученик и младший коллега Кулаковского по кафедре классической филологии Витольд Клиндер подметил деталь, на которую, вероятно, и другие обращали внимание, общаясь с Кулаковскими, да не записали:

«Его любовь к науке была так велика, что в деле науки он не знал никаких национальных или политических предубеждений, что ради неё он прощал людям многое, — даже расхождение в основных вопросах государственной или общественной жизни, и возможность окунуться на момент в атмосферу чистой научной мысли и живого международного общения в области умственного труда на каком-нибудь научном конгрессе или юбилейном университетском торжестве бывали для него настоящим праздником, с которого он возвращался освящённым и обновлённым».

Это ли не самая точная характеристика учёного, *постоянно* занятого умственной работой и досадующего, что не так ведут себя окружающие, которые позволяют оплаченный государством досуг употребить на науке не потребное? Так, Кулаковский не упускает случая попрекнуть Моммзена, у которого



Николай Павлович Полетика

учился, — его преклонение перед немецкой наукой всё-таки допускает критическое, то есть здоровое к ней отношение, и ошибки/неточности немецких филологов-классиков приводят Кулаковского в тайный восторг: своими трудами он доказывает, что российский учёный лучше заграничного.

Он не сидел просто так, — постоянно о чём-то думал. Считается, в природе самая большая скорость это скорость света, мысль свершается медленней (если движение её материи толковать физически). Но нам точно видно, как мысль движется — свет при ней как бы *стоит*. «Время подвигает вперёд разум народов, но тихо и медленно: беда законодателю облететь его», — писал юный Карамзин. Но учёный если и законодатель, то законодатель *умственного вкуса*, и в его полётах бед нет.

«История Византии» влетела в полукруглые окна киевского университета, будто панночка на Хоме, и — кричалкой во все стороны: время бесконечно, и лишь одним именем отличается от вечности.

«И чья-то бледная рука уже писала святую ложь воспоминаний». Одному из студентов Петру Жуковскому Кулаковский в 1900-м запомнился таким:

«Профессорами древних языков были Кулаковский, Сонни и Леци-



Зинаида Павловна Тулуб

ус. Первый выглядел как древний римлянин с довольно худым лицом. Преподавал нам Тацита и Лукреция достаточно хаотично, не готовясь к лекциям. Не дал и не мог дать надлежащего понятия о великом историке и трагическом мыслителе, поскольку сам был лишён возвышенности духа. Отравлен был русской идеей и паскудным шовинизмом.

Высоко ценил интеллигентность и большую работоспособность своих наилучших, а в 1899–1900 годах немногочисленных учеников четвёртого курса, несмотря на то, что это были поляки Клингер и Якубанис. Всё-таки с горечью говорил, что только поляки как представители западной культуры понимают полезность классического образования.

Иногда классик в нём исчезал, и вспыхивала московитская грубость. Когда Якубанис привёз в Киев сестру и рассказал об этом Кулаковскому, у которого бывал, тот советовал ему не мешать естественной в отношении неё русификации (“пускай русеет”). Брат этого “гуманиста”, Платон, был главным русификатором в Варшаве и редактором паршивенького правительственного “Варшавского дневника”.

В общем, несмотря на это, Юлиан Кулаковский был человек порядочный и оставил в учениках хорошие воспоминания. Жена его отличалась гостеприимством и приятным обхождением <...> По иронии судьбы его сын Сергей нашёл убежище в Польше, является в Варшаве лектором по русской словесности; способный и эрудированный, он написал множе-

ство интересных статей о российских материях в сношении с польскими, и высказывает иные, отличные от отцовских, чувства» (1934).

Собственно, наблюдение Жуковского, несколько неприязненное, лишь подтверждает мнение Клингера о широком интернационализме Кулаковского в научных вопросах. Отделяя подлинные ценности от мнимых, то есть научные от политических, в одном случае он оказывался честным перед собой, во втором — пытался быть честным перед Богом.

Он запомнился Деревцкому как

«одушевлённый знаток античного мира, его языков и литератур, большой мастер слова, идеалист, проникнутый возвышенным гуманитарным настроением, неутомимый и вдумчивый научный работник, добросовестный и преданный своему делу профессор, носитель лучших университетских традиций, нелицемерный друг учащейся молодёжи».

Профессор Николай Полетика вспоминал, что

«весна 1916 года (мой четвёртый семестр) прошла в усиленной учёбе. Я много читал и работал и сдал на высшую оценку экзамены почти по всем предметам второго, третьего и даже четвёртого курсов. До государственных экзаменов мне оставалось всего лишь два курсовых экзамена, в том числе трудная, но очень интересная “История Византии” у проф. Ю. Кулаковского. Декан нашего факультета проф. А. М. Лобода ахнул, просмотрев мою зачётку: “В истории факультета такого ещё не было!” — воскликнул он».

В другом месте, правда, Полетика сообщает несколько иначе: «Летом 1918 года я хорошо сдал “Историю Византии” у проф. Ю. Кулаковского и “Историю новой философии” у проф. Гилярова (высшая оценка)». Но это, пожалуй, несущественно.

Тулуб вспоминает о сдаче экзамена Кулаковскому.

«Летом 1911 года я не только отдыхала, но и много занималась и осенью сдала два целых курса по русской литературе и историю римской литературы у профессора Кулаковского.

Этот экзамен оставил во мне неприятный осадок: во-первых, мы всегда держали у профессоров экзамен по одиночке. Все экзаменующиеся оставались в коридоре, а в аудиторию входила только та, чья очередь отвечать. Билетов у нас не было, спрашивали по всему курсу без обдумывания. Обычно профессор спрашивал один, хотя по правилам полагался ассистент.

У Кулаковского всё было наоборот. Всех экзаменующихся он сразу пригласил в аудиторию. Мы расселись по партам, он задавал вопросы

всей группе и затем тыкал пальцем в одну из присутствующих, и та должна была ответить. Не дослушав ответа, он вдруг махал на неё рукой, и тыкал в другую, и та должна была на лету подхватить неоконченную мысль и продолжать прерванный на полуслове ответ. Потыкавши так во всех нас в течение двух часов, он собирал все наши лекционные книжки и ставил отметки. “Отлично” у него не существовало, зато “удовлетворительно” получали те, кто ничего не знал, а в том числе и многие готовившиеся на соевсть, но терявшиеся от такого несерьёзного метода проверки знаний.

Я была возмущена. Стоило копать в комедиях Плавта и Теренция, во всей лирике Тибулла и Проперция, Катутла и Овидия, изучать их стихословие, читать Горация и Цицерона, Ливия и Тацита и даже “Сатирикон” Петрония, чтобы наравне с чисто ученическим стандартным ответом получить такое же “весьма”. Но... большинство курсисток были довольны, потому что можно было легко сдать экзамен, вовсе не готовясь к нему, так как перед каждой из нас лежали наши записки и мы их свободно перелистывали, отыскивая нужную страницу.

Утешило меня только то, что на государственных экзаменах всё равно не ставят “отлично” и, значит, эта злополучная отметка утонет в общей массе таких же “весьма”».

Приходится признать, что такой способ принятия экзамена, во-первых, экономил время и студента, и особенно профессора, во-вторых, не оставлял никого равнодушным, в-третьих, исключал возможность пересдачи, что тоже — полезная форма антихронофагии. Напрасно Зинаида Павловна так возмущена: ведь училась она не для оценки и экзамена, а для себя. А Кулаковскому, со временем наверняка ставшему женоненавистником, — отрада.

Наталья Полонская-Василенко, окончившая Высшие женские курсы в 1911-м и слушавшая у Кулаковского курс истории Византии:

«Лекции Кулаковского в целом были интересны, читал он их всегда по конспектам, в которые почти не заглядывал. По своему содержанию они носили слишком учёный характер. Он рассказывал об администрации, придворных интригах и борьбе, войнах, но социальных и экономических событий не касался. В частности, была интересной и подробной история Византии: то был курс, который он читал 4 семестра и потом напечатал в трёх толстенных томах.

Здесь я вспомню комичный эпизод, который приключился с Кулаковским: подробно рассказав о событиях в Риме и Равенне во времена

Констанция и Константа, он после звонка повернулся к аудитории и сделал знак рукой, что хочет говорить: будто улей затих. Он заявил: “Я перепутал: всё, что я приписал Констанцию, сделал Констант, и наоборот”, — и вышел. В другой раз было ещё лучше: он, уже очевидно для нас, запутался в придворных интригах византийского двора: я сидела на одной из первых парт, напротив кафедры, и тщательно записывала его слова: раз перечеркнула, другой перечеркнула... Вдруг Кулаковский обращается непосредственно ко мне и кричит: “Да перестаньте записывать! Вы же видите, что я сам запутался в этих интригах!”»

В Кулаковском не было ничего от тех «ординарных и экстраординарных звонарей науки», по поводу которых справедливо сокрушался Георгий Плеханов. Он был образцовым профессором, для которого с защитой докторской диссертации научная деятельность не заканчивается, а только начинается: в полную силу и с живым любопытством.

«Он поражал своей жадной любознательностью и широтой захвата своих научных интересов, но это отнюдь не было признаком дилетантизма и дурной привычки разбрасываться» (Деревицкий).

Он был главным представителем киевской школы классической филологии и византистики конца XIX — первой четверти XX века, составленной именами и сочинениями университетских учёных. Иван Цветаев, Павел Аландский, Витольд Клиндер, Иосиф Лециус, Фёдор Мищенко, Василий Модестов, Вячеслав Петр, Алексей Поспишил, Адольф Сонни, Сергей Дложевский, Иван Шаровольский в разное время и в разном качестве участвовали в жизнеустройстве кафедр греческой и римской словесности Университета. Кулаковский занимал эту кафедру дольше всех — почти сорок лет.

За эти почти сорок лет он стал киевлянином, свидетельством умственной жизни Университета и города, в каком-то смысле его «городским сумасшедшим»: в известных кругах был знаменит безоговорочно.

Хронологически утекло сто лет со дня его смерти, а профессионала, приближающегося к Кулаковскому по уровню, в Киеве до сих пор нет. Не вызрел, не самосоздался. Хотя бы по этой — объективной — причине стоит признать Кулаковского *явлением природы* ума и знания, работоспособности и таланта, да и — городской природы. Такой себе палисадник с забавными цветками.

«Порождающий текст» города, его провокативность всякий раз предлагали в горожане тех, кто встретился в Киеве с самим собой и не захотел расстаться. Но ты видишь более или менее значимого в истории российской культуры рубежа XIX–XX века «персонажа из Википедии», и замечаешь, что он либо родился в Киеве, либо учился в Киеве, либо недоучился в Киеве, либо часто бывал, выступал, проездом, у родственников киевской жены, уезжал и возвращался, — имел к городу неравнодушное отношение, замечал его как *alter ego*, внешний стимул, чтобы развиваться. Только начни перечислять имена — конца не будет. Получится коллаж не биографических, а семантических мотивов, в котором Киев это означающее, в то время как всё остальное будет означаемым: идеи, книги, влюблённости, знаменитость и конфликты.

От Киева времён Кулаковского, времён Великой войны и большевистского переворота мало что осталось. Множества городских адресов нет. Да, собственно, «и эти пройдут».

Не только для большинства его разумных современников, но и теперь качество и объём содеянного Кулаковским недосягаемы. Тогда он вызывал зависть, теперь — восхищение.

Человек, идущий быстро, в вялой толпе всегда приковывает удивлённое внимание и создаёт двигательное неудобство. Попробуйте быстро преодолеть перрон метро в час пик. А когда его нет в живых, он движется помимо толчи со скоростью, которая удобна ему самому, без сопротивления. Теперь его среда не помеха, но подмога.

Объективности для: можно ли причислить Кулаковского к числу ведущих российских антиковедов? Едва ли: современники сделали на этой почве поболее, нежели он. Можно ли — далее — видеть его в ряду ведущих российских византиноведов? Если принять во внимание первенство исследований среди многих других, то, пожалуй, можно. Но с оговорками относительно желаний оставаться «над схваткой». Можно ли, наконец, причислить Кулаковского к числу ведущих российских переводчиков с древних языков или деятелей просвещения? Как Гнедича или Чистякова? Тоже едва ли. — Его современники в этих областях нашли больше признания.

Что же сделал Кулаковский, чтоб заслужить о себе такую толстую книгу?

Он был во многом если не лучшим, то безусловно первым, даже если порой кажется вторым. Выжал из жизни всё, что мог, не шествуя по головам, не лукавствуя, не халтура. Прожил осмысленно, творчески дерзко каждый отпущенный день.

Он должен быть расценён как деятель науки, конгениальный *электичным эпохам*, Риму и Византии, которые как современник изучал с наибольшим учёным пристрастием, в *электичную эпоху* российской государственности — петушино-ропетовское время Александра III и «ворованный» модерн Николая II. И так же, как, по слову Аверинцева, «представители византийской правящей и умственной элиты отлично умели совмещать несовместимое», так и Кулаковский, изучавший эти несовместности, в самом себе совмещал то, что, собственно, совмещению не подлежит, — карьериста с мыслителем, монархиста с либералом, учёного с профессором. Делал он это естественно и со вкусом.

Филипп Монье в книжке про итальянскую литературу кватроченто (1904) поделился наблюдением, мол, приглядывая за совестью одного и того же лица, мы замечаем поразительные сочетания — порока и доблести, жестокости и мягкости, гнусности и благородства. Эка невидаль. Разве бывает иначе с многоэтажными людьми?

Бетховен зачёркивает, буквально вымарывает, чтобы не видно, посвящение Третьей симфонии Наполеону; Бах вписывает посвящение Анне Магдалене в рукопись «Хорошо темперированного клавира» (попробовал бы написать и посвятить «плохо темперированный»); Блок в эпитафии обозвал юность возмездием (за старость?) — у каждого вздымаются смычки образов в «кудрявом порядке». Будто состарившиеся восклицательные знаки, ставшие вопросительными.

У меня остались вопросы к Кулаковскому, и когда-нибудь мы непременно о них с Юлианом Андреевичем побеседуем: грядущие события бросают пред собой длинные тени.

Если Кулаковский и прожил неврединно до сегодняшнего дня, значит, у него завидное будущее. У него есть потенциал развиться от персоны в «Википедии» до подлинного исторического персонажа, имя которого будет чаще звучать, чем умалчиваться. У него убедительный срок годности, как у хорошо устроенной, добротно смастерённой вещи.

НЕОТВЕЧЕННОЕ ПИСЬМО БОРИСА ВАРНЕКЕ

Намеренно выношу этот документ именно сюда: между окончанием пятой главы и послесловием должен быть буфер. В видах исключения он приторочен к книге по всем академическим правилам — с комментариями, ссылками и этим вступительным словом.

Портрет Бориса Васильевича Варнеке, историка театра, читатель видел на *стр.* 45, а цитаты из его объёмистого отзыва о Кулаковском 1907 года рассыпаны по всему тексту.

Когда Варнеке исполнилось тридцать лет — только разменял четвёртый десяток, — статья о нём, сочинённая Александром Иустиновичем Малейным, появилась в тогдашней «Википедии» — «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона (С.-Петербург, 1905, т. 1(1) доп., с. 368).

Незаконнорождённый, не знавший отца и матери, он чудом выжил, по недосмотру властей сменив театр на гимназию, гимназию на театр, по протекции Фёдора Корша — снова на гимназию, которую закончил в 1894-м и поступил в Петербургский историко-филологический институт, который возглавлял Латышев. Фёдор Соколов и Фаддей Зелинский приметили его. Иннокентий Анненский, во время директорства которого Варнеке преподавал в Николаевской царскосельской гимназии (1902–1904), восхищённый способностями Бориса Васильевича, посвятил ему драму «Меланиппа-философ».

Магистерская диссертация: «Очерки из истории древнеримского театра» (С.-Петербург, 1903), докторская — «Наблюдения над древнеримской комедией: К истории типов» (Казань, 1905).

В 1907-м он, доктор римской словесности, производится в статские советники, в 1908-м выпускает первый том «Исто-



*Борис Васильевич Варнеке,
рисунок 1924 года*

рии русского театра». Второй том появится в 1910-м, когда из Казанского Варнеке переходит на кафедру классической филологии Новороссийского университета.

Представление подал декан, доктор теории и истории искусств Алексей Андреевич Павловский (1856–1913), подкрепил заслуженный профессор Эрнст Романович фон Штерн, благожелательные отзывы написали Кулаковский и Зелинский.

Штерн указал на «выдающуюся работоспособность, разносторонность интересов и занятий» молодого профессора, на то, что некоторые его сочинения написаны по-латыни, «чем доказывается не только теоретическое, но и практическое знание того предмета, который придётся Борису Васильевичу преподавать на новом месте».

Рукопись рекомендации Кулаковского разыскать не удалось, но сомнений в том, что он отблагодарил Варнеке тем же проникновенным словом, каким Варнеке почтил Кулаковского в отзыве 1907 года, — таких сомнений быть не может. «Петушка хвалит кукуха за то, что хвалит он петушку?» Едва ли: тогда все были на виду, и особенно не слукавишь, не выдашь мнимые учёные ценности за подлинные. Да иначе не было бы письма, которое здесь публикуется.

Почти тридцать лет прожил Варнеке при большевицкой власти, мирясь с ней как с сюжетами древнегреческой трагедии и комедии, в которых знал толк лучше многих. Тихонько, совслужащим, читал лекции, писал воспоминания «Старые фило-

ния болезни наших культурных растений, причиняемая паразитными грибами» (I и II вып., СПб., 1897—98); «Русския лекарственныя растенія».

Варнеке (Ворисъ Васильевичъ)—филологъ. Высшее образование получилъ въ спб. Имп. историко-филологическомъ институтѣ. Состоитъ профессоромъ казанскаго университета. Главнѣйшіе его труды: «Очерки изъ истории древнеримскаго театра» (СПб., 1908, магист. диссертация); «Теренцій на западно-европ. сценѣ» («Вѣстн. Всем. Ист.», 1900); «Изъ наблюдений надъ древне-римскою комедіей» («Журн. Мнн. Нар. Пр.», 1904); рядъ статей по исторіи древне-римской литературы и лат. языка въ «Филологическомъ Обзорѣннѣ», по исторіи театра вообще—въ журналѣ «Театръ и Искусство» (напр. «Женщина на сценѣ», 1902). См. «Памятную книжку Имп. Спб. Историко-филологическаго Института» (СПб., 1902).

Варнекъ (Константинъ Александровичъ, 1828—1882)—художественный критикъ. Окон-

о-и
нял
бите
Ж
мем
изъ
акад
ств
«Ст
дом
«М
шо
Ж
489)
изг
вал
пож
бог
юся
Ж
зюл
въ

Статья А. И. Малеина
в «Энциклопедическом словаре»
Брокгауза и Ефрона, 1905

логи¹, составляя материалы к биографии Кондакова² и Бертье-Делагарда³, писал заметки об Анненском, Лескове, Мамине-Сибиряке, Петре Петровиче Гнедиче, Овсяннико-Куликовском, Бальмонте, Бунине и артистке Стрепетовой, публиковал книжку за книжкой с хорошими заголовками: «Древнейшие обитатели Новороссии» (Одесса, 1919), «Актёры древней Греции» (Одесса, 1919), «Античный театр» (Харьков, 1929), «История античного театра» (Москва; Ленинград, 1940). Последний труд переиздан в Одессе в 2004-м.

Благодаря биографическому чуду⁴ и исключительному

¹ Б. В. Варнеке. Старые филологи / Вст. ст., подгот. текста, публ. и коммент. И. В. Тункиной // Вестник древней истории. 2013. № 3. С. 191—201; № 4. С. 123—155; 2014. № 1. С. 144—178.

² И. В. Тункина. Н. П. Кондаков по неизданным воспоминаниям Б. В. Варнеке. 1917—1920 годы // Никодим Павлович Кондаков (1844—1925): Личность, научное наследие, архив: К 150-летию со дня рождения. С.-Петербург, 2001. С. 56—62; Б. В. Варнеке. Материалы для биографии Н. П. Кондакова / Публ. И. В. Тункиной // Диаспора: Новые материалы. С.-Петербург, 2002. Вып. 4. С. 72—152.

³ В. Б. Варнеке. А. Л. Бертье-Делагард / Подгот. текста и коммент. И. В. Тункиной // Scripta antiqua: Вопросы древней истории, филологии, искусства и материальной культуры. Альманах. Москва, 2011. Т. 1. С. 467—493.

⁴ «Чудо — в мировоззрении теизма снятие волей всемогущего Бога-Творца положенных этой же волей законов природы, зримо выявляющее для человека стоящую за миром вещей власть Творца над творением» (С. С. Аверинцев. София-Логос: Словарь. [2-е изд.] Киев, 2005. С. 498).

трудолюбию Варнеке, сам «из низов», презрительно относился к студентам «из низов», которые сделали только эти обстоятельства инструментом для достижения жизненных целей. Работая в Пединституте и оставаясь человеком консервативных взглядов, Варнеке не обращал внимания на их знания, ставил хорошие оценки, не понимая, какое отношение могут иметь рабфаковцы к истории искусства, а фраза: «Что там читать быдлу?» сделала его имя в стенах института оригинальным. Профессор-тихоня иногда позволял себе не изменять воззрениям. Точно не за них, а за книжки в 1941-м ему присвоили «Заслуженного деятеля науки Украинской ССР».

Когда фашисты пришли в Одессу, он, не имея возможности эвакуироваться вместе с университетом в Бердянск, с декабря 1942-го начал работать в Румынском королевском университете Транснистрии. В интервью, опубликованном в газете «Молва», даже разоткровенничался:

«С коммунистами мне всё время было не по пути <...> Более двадцати лет коммунисты отравляли сознание народа нелепостями, от которых нужно освобождаться <...> Я и многие мои коллеги с большой охотой выступим с лекциями на нужные темы перед любой аудиторией».

Варнеке будет настаивать, что дал интервью под давлением, не все слова переданы точно, однако другое свидетельство подтверждает будто бы его воззрения:

«С первых дней оккупации стал на путь румынской ориентации <...> Все знали его недоброжелательное отношение к <...> советскому строю, но открыто он свои мысли не выражал».

Саул Боровой: «Одна группа (среди них был профессор Варнеке <...>) стала безоговорочно на нацистские позиции, принимала полностью расистскую идеологию и практику»¹.

Когда его 10.05.1944 после освобождения Одессы от фашистов арестовали, этапировали в Киев, в «Санто Лукьяно» и начали допрашивать, Варнеке все обвинения отвергал. Умер через два с половиной месяца, 31.07.1944, не выдержав тягот заключения, в возрасте 70 лет. После XX съезда КПСС, 29.11.1955 «за недоказанностью предъявленного обвинения» дело в отношении Варнеке было прекращено, и он был реабилитирован.

¹ Александр Бириштейн. Не любил, но служил: Борис Васильевич Варнеке — учёный, сноб, предатель, мученик? // Киевский телеграфъ. 2004. № 218.

Поховонен в Києве. Как и могила Кулаковского, место упокоения неизвестно. Не везёт здесь римским словесникам.

Первую внятную публикацию о Варнеке опубликовала Ирина Тункина в 1998 году¹, и с тех пор «заниматься Варнеке» сделалось хорошим тоном².

Литературовед Николай Ефремович Сиваченко (1920–1988), многолетний директор Института искусствоведения, фольклористики и этнологии имени М. Ф. Рильского АН УССР, в воспоминаниях об Александре Белецком написал о Варнеке:

«У 1938 році я навчався на першому курсі філологічного факультету (українське відділення) Одеського державного університету. Античну історію й історію античної літератури читав нам “убелённый сединами” професор Борис Васильевич Варнеке, відомий дослідник античного театру й античної комедії <...> Мені, як і моїм університетським однокашникам, здавалося, що Б. В. Варнеке — “бог” у своїй галузі, що античності краще за нього вже ніхто й не знає. Давав привід так думати й сам наш професор, бо дуже критично оцінював тогочасну підручникову літературу.

І ось саме з уст цього ревнивого знавця античності я вперше й почув ім'я О. І. Білецького. Про досі мені не відомого вченого наш маститий професор відізвався в такому шанобливому тоні, в якому він ні про кого з учених не говорив. Особливо високо він оцінював підготовлену О. І. Білецьким хрестоматію “Антична література”, яка саме 1938 р. вийшла у світ. За цією книжкою нам, студентам, і рекомендував Б. В. Варнеке знайомитися з творами античної літератури, а також черпати з неї необхідні відомості про життя і творчість античних авторів³.

Если б не обстоятельства, наверняка Варнеке столь же заслуженно говорил и о Кулаковском.

Не сомневаюсь, что письмо, которое Варнеке отправил Кулаковскому дикой осенью 1918 года, — письмо искренней, дея-

¹ И. В. Тункина. Борис Васильевич Варнеке: страницы биографии // Античный мир: Проблемы истории и культуры: Сборник научных статей к 65-летию со дня рождения проф. Э. Д. Фролова / Под ред. И. Я. Фроянова. С.-Петербург, 1998. С. 441–452.

² И. В. Тункина. Б. В. Варнеке и его воспоминания об учёных // Scripta antiqua: Вопросы древней истории, филологии, искусства и материальной культуры. Альманах. Москва, 2011. Т. 1. С. 435–466; И. В. Тункина. Русское и немецкое антиковедение рубежа XIX–XX вв. глазами Б. В. Варнеке // Вестник древней истории. 2013. № 3. С. 182–190.

³ Микола Сиваченко. Академік О. І. Білецький у моєму житті // Про Олександра Білецького: Спогади, статті / Упорд. В. Г. Дончик. Київ, 1984. С. 184.

тельной поддержки старого и ценимого им человека, — показывает, насколько придирчивый к профессионализму Варнеке тепло относился к не менее перфекционировавшему киевскому коллеге. Наверняка отчаявшийся во всём, находившийся в глубокой депрессии Кулаковский попросил Варнеке о помощи.

Кто знал, что ему оставалось жить менее двух месяцев.

О судьбе планировавшегося издания — если оно и вправду планировалось, а не было формой подольше хоть каким-то делом удержать Кулаковского на земле, — мне не известно.

Б. В. Варнеке — Ю. А. Кулаковскому

2 ноября / 20 октября 1918 года

Одесса — Киев

2 нояб. / 20 окт. 1918

Глубокоуважаемый Юлиан Андреевич!

Вчера обсуждали вопрос о переиздании Ваших статей. Прикидывая их объём к нашему формату (мой «Плиний»¹), увидели, что все три статьи пустить сразу будет обременительно, и решили пустить их в два приёма 1) «Лукреций» и «Эпикур», 2) «Христианская церковь»². Наши юристы пришли в особенный восторг от Вашей статьи об Эпикуре, и действительно, я читал её очень давно, когда в Казани писал о Вас статью³, и забыл, а теперь, перечитывая, позавидовал Вашему мастерству пересказывать так ясно запутанные вещи. Недаром Суворин так восторгался Вашим «Бессмертием»⁴. Придумали для первого выпуска

¹ *Плиний Старший*. Об искусстве / Пер. с введ. и примеч. Б. В. Варнеке. Одесса, 1918.

² *Ю. Кулаковский*. Поэма Люкреция «О природе». Киев, 1887; *Ю. Кулаковский*. Философ Эпикур и вновь открытые его изречения. Киев, 1889. Лекции об Эпикуре и Лукреции вместе с книгой об эсхатологии греков переизданы мной в 2002 г. издательством «Алетейя» (С.-Петербург). *Ю. Кулаковский*. Христианская церковь и римский закон в течение двух первых веков. Киев, 1892.

³ *Б. В. Варнеке*. Записка об учёных трудах Юлиана Андреевича Кулаковского, профессора Императорского киевского университета св. Владимира (1876–1906 гг.) // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете. Казань, 1907. Т. XXIII. Вып. 1. Приложение. С. 14–30.

⁴ Речь идёт об Алексее Сергеевиче Суворине (1834–1912), издателе «Нового времени», драматурге и публицисте, и книге Кулаковского «Смерть и бессмертие в представлениях древних греков» (Киев, 1899).

такое заглавие: «Эпикуреизм в Греции и Риме», а за таким — подзаголовки: оба Ваши титула¹. Сначала пойдёт «Филос[офия] Эпикура», потом «Лукреций» (будем так его печатать). Но, м[ожет] б[ыть], Вы сами придумаете более удачное заглавие, только простенькое.

Условия издательства таковы:

1) Вы получаете 50 экземпляров.

2) За каждый лист плата 150 руб., причём за первый — немедленно по выходе книги, а остальные, когда окупятся расходы. Это бывает скоро: мой Плиний не может идти в сравнение по интересу темы, и [тем не менее] за 3 месяца окупился.

Если согласны, пришлите открытку, и я в тот же день сдам в типографию. За перепечатку, без всякого труда со стороны автора, это, по-моему, божеская плата.

Внешность издания Вам известна по «Плинию». Изучив теперь обе Ваши брошюры, прошу согласие на следующее ради экономии бумаги и облегчения [труда] наборщиков:

1) «Лукреций» — выпустить всю первую страницу и начать так (2 стр., 5 строка): «Поэма Лукреция Кара «О природе» (De rerum natura), помимо своего...» и дальше без единого промежутка до стр. 30–31, где выпустить наверху 4 строки <...>

2) В примечаниях сократить сильно греческий набор — это поприще для сплошных опечаток. Напр., 28: оставлять только — Anth. Pal. IX 577².

3) «Философ Эпикур» останется нетронутым, кроме первых семи строк. Но зато маленькая просьба: не прибавите ли к ней (к статье. — А. П.) экскурс страницы на две печатных с резюме статей об Эпикуре: 1) Usener — Rhein. Mus. 1892, 414; 2) Heberdey (Bäll. De corr. Hell. 1897, 364) и 3) Körte. — Rhein. Mus. 1898, 160, тогда вся брошюра будет стоять на уровне последнего слова³. Дополнение прошу прислать не позже, чем через месяц.

Чтобы не задерживать типографию, разрешите все корректуры читать мне с хорошими студентами-классиками.

¹ Речь о заголовках статей Кулаковского.

² Аббревиатура «Палатинской антологии», так называемой «Антологии Кефалы» (рукопись XI века), которая была обнаружена в 1606 году французским учёным Клавидем Салмазием. В IX томе этого собрания содержались декламационные и описательные эпиграммы.

³ Новейшую библиографию об Эпикуре и Лукреции см.: А. Ф. Лосев. История античной эстетики: Ранний эллинизм. Москва, 1979. С. 775–783.

За это время обсудим «Христиан[скую] церковь».

Жду положительного ответа, потому что очень хочу искренно распространения этим Вашим прекрасным работам.

Жена¹ шлёт сердечный привет.

Ваш Б. Варнеке

У нас всё пошло кувырком: забастовка на Курсах и в Университете. Наших идиотов нашли на улице не <нрзб>².

Пушкинист Сергей Бонди злился, мол, встречающиеся у текстолога роковые пометы «нрзб» (неразборчиво) это свидетельство недоделанной, не до конца понятой работы: «“Нрзб” в транскрипции не несчастье, а позор»³.

Можно, пожалуй, сказать и так. Всякий историк — литературовед и текстолог, библиограф и комментатор, биограф и лингвист, то есть человек «без определённого рода занятий», «лицо свободной профессии». В таком случае с ним может случиться любое профессиональное несчастье, тем паче «нрзб».

Какие идиоты, в каком состоянии, кем были найдены на одесской улице осенью 1918-го, мне не удалось прочесть, но я не расстроился, поскольку смог сохранить интригу.

«Нрзб», на которое в этой книге читатель наткнулся едва ли не впервые только здесь, — не свидетельство неверного чтения или порчи рукописи (хотя такое сплошь да рядом), — это свидетельство, что через сто лет порой трудно за нечитабельным словом *угадать* улепётывающую реалию. Это указание на разницу во времени, на прошедшее как на уж теперь точно потерянное в его бытовой реальности.

Здесь нет стыда — здесь веселье, потому что бумаги «надёжнее людей, и — по прошествии времени — страшнее их»⁴. Но: смелость города берёт.

¹ Елена Сергеевна Варнеке (урожд. Матросова).

²Центральный государственный исторический архив Украины, г. Киев. Ф. 264, оп. 1, ед. хр. 194. л. 4–4а/об.

³Цит. по: С. А. Рейсер. Палеография и текстология Нового времени. Москва, 1970. С. 150.

⁴Юлиан Семёнов. Собрание сочинений: В 8 т. Москва, 1991. Т. 3. С. 450.

ЗАШТОРИВАЮ Против кумиротворчества

*Когда занавес уже опущен — неважно,
что происходит на сцене.*

Мирон ПЕТРОВСКИЙ, 14.10.2018

Рассыплю непригодившиеся цитаты. Специально приборёг.

За двадцать с лишком лет, в которые я писал эту книгу, многое поменялось, но при всех отклонениях и паре дюжин других книг и книжек, сочинявшихся параллельно с этой, накопились стружки, ошмётки, даже плевела, связанные с Кулаковским и его временем. Люсьен Февр находил их под верстаком, чтобы сбивать крепкие сборники вроде «Боёв за историю».

В одном из ранних писем Фету, касаясь университетской жизни образца 1887 года, Кулаковский размышлял, мол, «вообще год заканчивается очень мрачно — но ведь и это будет тем запасом, из которого слагается “доброе старое время”. — Это последнее замечание — невольная литературная реминисценция из первой части “Семейства Бухгольц”. Помните прелестное место, как автор искал, куда деваются старые годы?» (7.12.1887).

Фет наверняка помнил, а вот мы совсем не помним: только вчитливым литературоведам ведомо, что в приложении к «Русскому вестнику» за 1886-й был выпущен русский перевод популярного немецкого романа Юлиуса Штинде. У нас ведь как: при жизни авторов известны Штинде и Боборькин, Эжен Сю и Полевой, а посмертно Гёте и Пушкин, Новалис и Баратынский; нет, на вкусы современников полагаться нельзя.

В этом довольно посредственном и поделом забытом сочинении есть место:

«Но что же, в самом деле, делается со старыми годами? Куда-нибудь да должны же они деваться. Разумеется, справедливо, что с последним ударом двенадцати <...> они погружаются в волны забвения <...> Но что же делается со старыми годами, он [учёный] всё же объяснить мне не сумел. Вследствие этого я решился обратиться к поэтам, так как ведь это

они заставляют старые годы погружаться в волны забвения <...> Но и поэты не знали, куда деваются старые годы <...> Наконец, я обратился с интересующим меня вопросом к одной милой доброй старушке <...> — Милый мой, отвечала она мне, — из старых годов составляется доброе старое время. Все они снова восстают в нашей памяти и делаются нашему сердцу гораздо милее прежнего <...> Должно быть, это и в самом деле так, иначе откуда же возьмётся доброе старое время, если не из старых, давно протёкших годов?»

Рассуждение не ахти какое глубокое, но всё-таки в устах Кулаковского, занимавшегося преимущественно добрым старым, очень старым временем, знал толк в исторических извращениях, в старых годах, в том, не куда они деваются, но откуда берутся, — оно звучит точно: пока сам не вытащишь, никакое старое доброе время не явится. Это не рябой чёрт из табакерки.

Артюр Онеггер называл, — правда, в отношении восприятия современной музыки, — такой процесс «заклинанием окаменелостей», сиречь «вправлением мозгов»:

«Для меня “окаменелостью” является тот слушатель, который раз и навсегда решит присутствовать на фестивалях классической музыки и всегда отсутствовать на тех, где исполняют новые произведения».

Но когда новые произведения исполняются как классические или — в моём случае — классические как новые, приходится задним числом заклинять окаменелости их авторов. Что меняется, когда мы сейчас опознаём прошлое по трудам филологов-классиков столетней давности? «Где это?» Когда-когда? Появляется желание пересочинить Нибура, Гиббона, Моммзена и Лависса с Рамбо? Они уже *сделали* время так, что заклинать приходится самих себя — понуждая к чтению хотя бы киевской «Истории Византии» 1910-х.

Иначе говоря, предъявление современности доброго старого времени — обязательное занятие думающего человека, и если «зритель» не готов воспринимать новое (ведь только что вынули), значит, окаменел в умственной замшелости и нуждается, чтобы его заклинали раскрыть глаза, осмотреться в новизне, чтобы не протащиться невежей до комфортабельного киевского крематория.

Архитектоника таких рассуждений терзала наблюдательных давно. По меньшей мере, с той поры, как явились первые вроде Геродота. Или Карамзина.

За полвека до этой кулаковской эпистолы Фету Бестужев-Марлинский, байронический писатель, в рецензии (1833) на роман Николая Полевого «Клятва при Гробе Господнем: Русская быль XV века» настаивал:

«Мы живём в веке историческом <...> История была всегда, свершалась всегда. Но она ходила сперва неслышно, будто кошка, подкрадывалась невзначай, как тать. Она буянила и прежде, разбивала царства, ничтожила народы, бросала героев в прах <...> но народы после тяжкого похмелья забывали вчерашние кровавые попойки, и скоро история оборачивалась сказкою. Теперь иное. Теперь история не в одном деле, но и в памяти, в уме, на сердце у народов <...> Она толкает вас локтями на прогулке, втирается между вами и дамой вашей в котильоне. <...> Мы обвенчались с ней волей и неволею, и нет развода. История — *половина* наша, во всей тяжести этого слова».

Мне по душе девятнадцатый век, его умственная гибкость и чистота. Слова только начали брошюровать в небанальные фразы. К 1833-му Карамзин уже сшил двенадцать томов «Истории Государства Российского», и девять лет как в александровской могиле, — и лучшая «половина» его осталась людям. Романтический декабрист Бестужев, едва переживший Пушкина, утопист, склонный к карамзинскому сентиментализму, а потому и государственный фантазёр, предпочитал глядеть на историю как на жену, — порой желанную, порой постылую («Она постыла мне, как летом холод»), порой глупую, порой разумнее всех, но готовую прийти на выручку, когда тяжело. «Odi et amo», «ненавижу и люблю», — коварно поселился Катулл, Марциал издевался, предложив пародию: «Ох, не люблю я тебя, / Сабидий! За что? Да не знаю. // Знаю только одно: / ох, не люблю я тебя!» Брюсов отнёсся серьёзно, сочинив поэтическую длинноту. В истории, как в браке, важна интонация. Её задаёт мужчина: историк, не фантаст. История — за историком, как женщина — замужем, *за* мужем: не только дышит ему в спину, но прикрывает тылы.

Примерно так мне сочинялось про Кулаковского. Думалось: у жены ведь тоже есть спина, и её тоже должен кто-то прикрывать. Это другой историк, то есть я, подкравшийся. Понимал, что нужно сделать быт литературным фактом, развернуть «кусковую композицию», обходясь без развития фабулы, без подержанного авантюрного жанра.

Но не делать же это традиционно, мол, «жизнь и творчество»? Неинтересно даже мне. Чтоб было интересно читателю, нужно, чтоб было интересно писателю, — этот принцип непререкаем.

Как совместить микроскопический анализ с макроскопическим, вертя подозрную трубу туда-сюда? Это же не демонстрация, не состязание, не борьба с инерцией (как порой казалось), не «псевдоучёное» вмешательство в дела прозы; это, скорее, работа на досуге, подсказанная общим интересом к биографиям забавных персонажей, то есть к второй половине тебя, когда есть время осмотреться и когда опротивевший за столько лет акт писания уступает место желанию записать.

Конечно, хотелось бы приноровить к этой книжке сказанное Павлом Антокольским о работах Тынянова, поскольку от рецензентов не дождёшься.

Антокольский писал:

«Тынянова решительно можно назвать снайпером с оптическим прицелом. В поле его зрения попадало только главное, нужное. Он никогда не терял из виду конечной цели. Его рассказ сжат и не на славу сложен, лишён каких-либо прикрас и отвлечений. Он скуп на слова, настоящий художник слова. Вот почему от этих работ, в сущности очень специальных, невозможно оторваться. Скорее наоборот — их хочется перечитать и перечитывать ещё и ещё. Для такого неходкого жанра это высшая похвала».

В моей книге, из которой никак не выпрыгну, дела обстоят с точностью до наоборот.

Во-первых, — не снайпер.

Во-вторых, в поле зрения попадало всё, что казалось важным.

В-третьих, конечная цель не только терялась из виду: её просто не было. Ну, вправду, может ли смерть персонажа полагаться концом антибиографической книжки? С неё, как со свадьбы у Толстого, всё только начинается. Вот эта книжка и начинается.

В-четвёртых, рассказ мой не сжат и не лишён прикрас, отвлечений, здесь лишнего хоть отбавляй, но мне не стыдно.

В-пятых, на слова не скуп.

В-шестых, не знаю, захочется ли этот текст перечитывать, но меня это уже не касается.

В-седьмых, в наше блоговское время не принято читать тексты более одной-двух страниц, и пишушие, заботясь о при-

жизненной славе, из кожи вон, чтоб эти полторы страницы называть романом. И ты веришь, что это роман.

Ясное утро, в дымных цветах копошатся феи, а здесь попала на глаза новая толстая книга. Как не заскучать?

Конечно, наши тексты шьются с позиций всеведения: мол, ну как же, гляди, как я обо всём этом подробно знаю и говорю, мол, сомневаться не извольте.

Гаспаров в «Записях и выписках»: «В тюркских языках будто бы есть время: *недостоверное прошлое*». Это когда весь материал кладётся на милость победительного пристрастия автора, — особенно когда материал чахлый, словно алтайский чепыжник.

Что ж поделывать, если тебе, рождённому сейчас, не суждено родиться сто лет назад и всё увидеть? Соблазнительно умереть от тифа, ужаса и омерзения в 1919-м? То-то. Приходится терпеть себя как *исторический недоросток*, изучать и пытаться понять свою современность, что по сравнению с той, тифозно-идиотической, — благодать. «За отсутствием крови пишем чернилами», — признавались раньше. Это, пожалуй, удобно.

Метод? Есть гвозди «горячего копчения» — четырёхгранные, кованые, есть «холодного копчения» — червячные, тянутые. Но если ладны, примостить кепку или повеситься можно на тех и других.

Академик Жебелёв зеленел, когда его спрашивали о методе, ненавидел разговоры о методологии. Кто не может говорить по существу, — говорит о методологии. Жебелёв — Андрею Егунову, переводчику с древнегреческого: «кто в вашем возрасте говорит о методологии, то ничего не сделал в науке». Не правда ли, похоже на Моммзена: кто ничего лучшего сделать не может, составляет библиографию и словарь?

Неакадемический Михаил Гершензон в пушкинской брошюрке «Видение поэта», выпущенной в год смерти Кулаковского, академичничал:

«Научный метод, в какой бы области он ни применялся, принципиально игнорирует целостность явления. Он начинает с расчленения вещи на её составные элементы или признаки, с тем, чтобы, выделив из целости один какой-нибудь существенный элемент, сравнить данную вещь по выделенному признаку со всеми другими вещами; дробление и аналогия суть законы научного метода».

В общем-то, сказано точно и по моему случаю: описанной целостности явления не бывает, есть более или менее качественная расчленёнка: разбрасываются составные части биографии, сравниваются случайные события и выстраивается одному мне ведомая логика изложения, благо в нашей словесности слова ползут слева направо, по движению зрачка, и этому удобству хочется потакать, хоть так выказывая деланное уважение к читательскому вниманию.

Другой неакадемист, правда французский, Поль Валери, раздваивал биографу, мол,

«автор, *составляющий* биографию, может пытаться *вжиться* в своего героя либо его *построить*. Это две взаимоисключающих возможности. *Вжиться* значит облечься в неполноту. *Жизнь* в этом смысле вся складывается из анекдотов, деталей, мгновений. *Построение* же, напротив, предполагает *априорность* условий некоего существования, которое могло бы стать *совершенным*».

Люблю французское письмо за торт и завитки; за курсивы и недомолвки; за неточность мысли и за общую, трибунную чистоту. Может, и прав Валери, но составляющий биографию для того и занят этим делом, чтоб и *вжиться* в героя, и его *построить* хотя бы снаружи, как некую crack-building structure. Анекдот без концепта — лукавство, мыльце для читательских глаз; концепт — без анекдота — отчёт о НИР. Боязнь совместить стройку с жильём меня не посещала; посещала боязнь оказаться либо в прорабском плену, либо — бродящим в домашних тапочках по квартире Кулаковского и разбирающим, чем бы, поживившись, смехануть читателя. Это у волн нет цели, — у корабля есть.

А ещё держал я в голове цитату из некролога Кулаковского Моммзену 1903 года:

«История Моммзена написана строго догматически, без ссылок на источники, без доказательств и мотивов такого именно в каждом данном случае отношения автора к свидетельствам традиции; автор не входит также никогда в полемику с воззрениями и выводами других учёных, работавших раньше его на той же почве; он даёт лишь результаты своей творческой переработки всего достояния источников, сохранивших свидетельства о жизни Рима за семь столетий».

Здесь сформулировано, как стоит подступаться к историческому материалу, чтоб не скучно. Важно, что ты сам сказал,

а не что вычитал, переписав, в источниках. Источники следует издавать — как документы, обнаруженные в архиве, с многоэтажными комментариями, но важно вовремя остановиться¹. Остальное — за тобой.

Так гондолы бьются о кривые деревянные сваи венецейской Лагуны. Язык условен, как дом бытия. Сколько в каждом доме ненужных вещей, ковров, столового серебра, пыли и кактусов, — столько же их и в языке. И ещё запах.

Вообще говоря, нам неподвластны наши чувства, но подвластны наши действия, даже если они этими чувствами вызваны: жизнь — чувство (или «смертельная болезнь, передающаяся половым путём»), стройка — действие. Это как в юности: начинаешь было Гегеля с толстенных «Энциклопедии философских наук» и «Науки логики», а в зрелости перечитываешь лишь зазорные фрагментики из «Работ разных лет», изданных Арсением Гульгой: о том, как сидел Гегель на троне Карла Великого и пиво пил. Это закономерно, как и то, что за «Последним делом Холмса» обязательно следует «Пустой дом». Это оттого, что каждому времени развития среднестатистического умника оставлена мировой культурой своя литература, которая всю жизнь с этой культурой роднит. В 25 лет столам Шпенглера, истерикам Ницше и Шатобриановой «поэзии мировой скорби» уже не веришь, это годно для восемнадцати–двадцати, покада тестостерон хорохорит молодецкий чубчик. В 25 при-

¹ Не могу успокоиться, приведу мысль Михаила Леоновича полностью: «Представим себе эти три направления — два крайних и одно промежуточное. На одном крае: масштаб — комментарий к слову; предмет — комментарий к языку и стилю; тип комментария — текстуальный, пословный и построчный. На другом крае: масштаб — комментарий к целому корпусу произведений, целому авторскому творчеству; предмет — комментарий к реалиям и идеям; тип комментария — концепционный, преамбульный. В промежутке между этими крайностями: масштаб — комментарий к произведению; предмет — комментарий к литературному фону, к интертекстуальной ткани; тип комментария — вероятно, будет варьироваться, структурообразующие подтексты потребуют более связного, концепционного описания, а орнаментальные подтексты удовольствуются более беглым, текстуальным, построчным. Я прошу прощения за такую грубую схему: конечно, для каждого комментируемого текста в ней будут выделяться более важные и менее важные аспекты в самых разнообразных сочетаниях, но, может быть, она всё же поможет начинающему комментатору ориентироваться в своих целях и средствах».

ходит тихий Шеллинг, недовольно морща лоб, и раскачивает табуретку, на которой ты примостился, чтобы в собственных глазах возвышаться над окружающими. Затем ироничный Кант вбивает в темя гвоздики трансцендентальной дедукции чистых рассудочных понятий. Бац — и ты вырос. Это сходно с сомнениями Мераба Константиновича, мол, сито истории работает странным образом: в каждый момент вроде господствуют мерзавцы, идиоты, издоимцы, лицемеры, воры, сладострастники, «Штинде и Боборькин», а остаются Рене Декарт и Богдан Ступка. В каждый *данный* тебе момент ум и благородство бесильны, а в исторической памяти всё наоборот. Кулаковский из тех, кто наоборот.

Не замечали, что порой остолбеневаешь перед продуманным *неназыванием* вещей своими именами, перед нарочитым *неопределением* явлений?

Определение подменяется описанием на эмоционально-бытовом языке, и потому исторического оптимизма в таких упражнениях немного. Скажем, модернизм первой половины XX века двигался по пути разрушения, — *чистого*, как критика *эстетической* способности суждения, — без обновляющего восстановления каузальных связей между «моральным законом» и «звёздным небом», между растениями и их корнями, указанием на которые традиционно было занято искусство, склонное к беллетристике, сюжеты его можно пересказать. Каузальные связи символизм прослеживает не сверху вниз, а из стороны в сторону: от «символики эстетических начал» к «кризису индивидуализма». «Копьё Афины» — в твоём сознании.

Но и в контемпорарные времена зритель (читатель) не сможет договориться с самим собой, если не привыкнет называть вещи своими именами наподобие тех, кто сделал это первым.

Факты истории искусства и литературы формируются по-прежнему с двух сторон: *создание* и *вынашивание*. Создают художник или литератор, вынашивают по истории, будто де-тишка куклу, зритель или читатель. Для этого им потребна точность названия. Тогда неважно, что опрятность приведённой цитаты будет прикрывать недостаток собственного острословия, важно, что мгновение смысла (стащу чужое наблюдение: «*м и т ь*» — четыре последовательные клавиши над палочкой пробела на абулафии; будто бессмысленные «*а в ы ф*» или

«о л д ж») создаёт сюжет, вбрасывает в сознание свежую «энергию заблуждения». Вслед за сюжетом выглядывает фабула.

Когда литератор садится за стол и принимается за своё, «в сущности, несвойственное мужчине» (Зощенко) занятие, в нём проклёвывается бабье желание посплетничать с читателем, с самим собой, с персонажами получающихся литературных конструкций. Но «заниматься только одной литературой — это даже не трёхполье, а просто изнурение земли» (Шкловский). Литераторствующий Кулаковский жил не столько за письменным столом, сколько просто занимался тем, что интересно, не испытывал холода на вершинах самооценки, и в этом смысле он счастливый человек. Как всякий, кто проживает достойно. Это вам не сельско-советские «украинские» академики типа Сарбея, Кондуфора или Онищенко, писавшие о прелестях колхозного строя, клерикализме «на службе империализма», успехах классовой борьбы и прочей срамоте, строившие хитросплетительные чиновные козни и матерно матерившие подчинённых. Кулаковский — настоящий.

Конечно, можно стенать по поводу грандиозного политического расстройтва Российской империи в середине 1910-х, можно скорбеть по разным эмоциональным поводам, столь же сегодня удобным, сколь в прошлом мало оправданным (например, о том, что Николаю II перед сном следовало бы почитать не Житие Серафима Саровского и чеховские рассказы, но зубрить наставительного «Государя» Макиавелли: государю же государево), можно впадать в историко-культурные, приправленные религиозной ритуальностью стенания и поминать Толстого, мол, «наследственность царей доказывает, что нам не нужны их достоинства», — стоит ли?

Не правильной ли каждый раз показывать прошлое как современность, не бояться, что Пушкину, Мандельштаму и Стусу «должно быть» стыдно, что мы столько о них знаем? Им не должно быть стыдно: «он и мал, и мерзок — не так, как вы, — иначе!», — сказано о Пушкине.

Да ничего ему не должно, мы ему должны. Должны успеть прочесть хоть раз, как заслуживают его мысль и письмо.

Потому что это о нём сказал молодой Ключевский:

«История слагается из двух великих параллельных движений — из определения отношений между людьми и развития мысли над внешним

фактом, то есть над природой <...> Мир факта есть мир, совершенно чуждый духу и бессознательный; он существует без него; законы его неизменны, дух может действовать на мир, но не может изменить его законы» (18.06.1868).

В хорошей книге «Парадоксы истории — парадоксы античности» (2004) Эд. Фролов, обсуждая импульсы (мотивы) исторического исследования, говорит о большом значении испытываемой историком потребности самовыражения и компенсации, которая ведёт к выбору в качестве предмета изучения духовно близкого исторического явления или персонажа, занятие которым позволяет метафизически переиграть собственную реальную биографию.

«Мальчик, зачитывающийся историческими книгами, тайком грезит, например, о фантастической карьере, на манер Наполеона, но, не видя возможностей или не имея сил воплотить эти мечты в жизнь, кончает тем, что посвящает свои труды изучению любимого героя и его эпохи и становится профессиональным историком».

Может, и так, а может, и не так: мне не хочется быть профессором римской словесности в киевском университете — ни словесности этой не осталось, ни достоинств того университета. Но внешняя жизнь Кулаковского и его внутреннее дело интереснее, чем у многих.

Откуда черпать впечатления, если не путешествуешь, не ныряешь с аквалангом, не лазишь по горам? В «Улиссе» Джойса есть добрый совет: «Закрой глаза и смотри».

Кого-то выгоняли из школы за «громкое поведение и тихие успехи», а потом оказывалось, что это содержательно-сложные люди, в которых было много того, что стоит над обыденностью. Иосиф Бродский, бросивший школу, наверно, в *большом* бахтинском времени стóбит миллионов, которые её закончили.

Кулаковский не стяжал начальственных должностей, особенных денег, бежал чиновной ответственности, всякий раз сообразуя дело с попыткой угадать Божье о себе умышление, и, при смерти, мог сказать словами Пастернака, если бы тот их тогда сочинил и тиснул:

Столom с посудой лучше грохну,
Пускай и отобью кулак,
Но с общим стадом не заглохну
В толпе ничтожеств и кривляк.

В компании личин и кукол
Комедии я не ломал,
И в тон начальству не сюсюкал
В толпе льстецов и прихлебал.

Есть в культуроведении «эффект Линди», своеобразно совмещающий логику понятий с патетикой состояний. Он говорит: артефакты, прошедшие испытание временем, заслуживают, чтобы сохраняться дальше; каждый дополнительный день существования артефакта может означать, что ожидаемая продолжительность его жизни станет более длинной, если не бесконечной. Если книга переиздавалась на протяжении ста лет, можно предсказать, что её будут переиздавать ещё сто лет. Однако, — и в этом главное отличие от портящихся явлений, — если книгу станут переиздавать и через десять лет, можно будет прогнозировать, что она станет переиздаваться и полвека спустя. Вот почему вещи, окружающие нас долгое время, как правило, не стареют, подобно людям, — они *стафуют наоборот*. Каждый год, который вещь сумела пережить, удваивает её ожидаемую продолжительность жизни. В этом залог долговечности написанных биографий.

Успокаивает, что по персонажам теперешней поры невозможно будет сочинить столь подробную книгу: эпистолярный, отлагающийся в архивах, сходит на нет, а хорошо писать научные тексты люди вскоре разучатся. Когда наступит сплошной *скопс-вос-копёрникс*, о гуманитаристике как свободной дисциплине и научной *литературе* придётся забыть.

Перспективы хоть и не вполне радужные, но — объективные: персонаж мельчает. Жизнь большинства можно вместить в одну строку, для жизни учёного порой недостаточно и книги такого вот объёма. Много о Кулаковском не вошло сюда. Но хотя бы есть то, что исхитрилось не войти.

Нассим Н. Талеб в «Антихрупкости» изящно показал, как из хаоса извлекают выгоду. Особенно из культурного хаоса истории. Но эти экспликации — отсюда вон, я и так затянул.

Севрский фарфор и богемское стекло по-прежнему перевозят не в ящиках — в стружках.

Перечень текстов Кулаковского

Монографии и монографические статьи

Praemia Militiae в связи с вопросом о наделе ветеранов землёю // Журнал Министерства народного просвещения (далее: ЖМНП). 1880. Июль. Отд. второй. С. 265–300.

Надел ветеранов землёй и военные поселения в Римской империи: Эпиграфическое исследование // Университетские известия (далее: УИ). 1881. № 9. С. 285–330 [*диссертация pro venia legendi*].

Надел ветеранов землёй и военные поселения в Римской империи: Эпиграфическое исследование. Киев: Унив. тип. (В. И. Завадского), 1881. 4, 45 с.

Армия в римском государстве: Речь перед диспутом на звание приват-доцента 11-го октября 1881 года // УИ. 1881. № 10. С. 373–379.

Светоний и его биографии Цезарей: Первая пробная лекция, читанная на тему от историко-филологического факультета 16 октября 1881 года // УИ. 1881. № 10. С. 380–398.

Светоний и его биографии Цезарей: Первая пробная лекция, читанная на тему от историко-филологического факультета 16 октября 1881 года. Киев: Унив. тип. (В. И. Завадского), 1881. II, 18 с.

Краткий обзор архаизмов у Плавта в связи с влиянием их на критику текста: Вторая пробная лекция, читанная 19 октября 1881 года // УИ. 1882. № 1. С. 1–17.

Краткий обзор архаизмов у Плавта в связи с влиянием их на критику текста: Вторая пробная лекция, читанная 19 октября 1881 года. Киев: Унив. тип. (В. И. Завадского), 1882. II, 18 с.

Речь перед защитой диссертации *pro venia legendi* и две пробные лекции. Киев: Унив. тип. (В. И. Завадского), 1882. 46 с.

Отношения римского правительства к коллегиям (в первые три века Империи) // ЖМНП. 1882. Январь. Отд. второй. С. 45–61.

Коллегии в среде рабов в Римской империи // ЖМНП. 1882. Июнь. Отд. второй. С. 265–270.

Организация разработки рудников в Римской империи: Надпись из *Saltus Burunitanus* // УИ. 1882. № 11. С. 441–458.

Коллегии в древнем Риме: Опыт по истории римских учреждений // УИ. 1882. № 5. С. 73–104; № 7. С. 105–120; № 8. С. 121–152; № 9. С. 153–178; № 10. С. 179–208 [*магистерская диссертация*].

Коллегии в древнем Риме: Опыт по истории римских учреждений. Киев: Унив. тип. (В. И. Завадского), 1882. 4, II, 208, 3 с. [*памяти брата Осипа Кулаковского*]

Восхождение на Везувий // Московские ведомости. 1883. № 247.

Поездка в Пестум // Московские ведомости. 1883. № 308.

Записки Иосифа [Семашко], митрополита литовского // Киевлянин. 1883. № 277.

Италия при римских императорах // УИ. 1884. № 10. С. 211–239 [*посвящена Василию Григорьевичу Васильевскому; написана по поводу книги: С. Jullian. Les Transformations Politiques de l'Italie Sous les Empereurs Romains. Paris, 1884*].

Италия при римских императорах. Киев: Унив. тип. (В. И. Завадского), 1884. 29 с.

История Рима: Лекции, читанные в 1884–1885 учебном году. Киев: Сост. и изд. Ф. В. Вилинский, 1886. Ч. I: С древнейших времён до первой половины V в. до Р. Х. 298 с. [*литографированное издание по рукописному конспекту*]

Предисловие // **Аландский П. И.** Лекции по истории Греции / Под ред. Ю. А. Кулаковского и А. А. Козлова. Киев: Унив. тип. (В. И. Завадского), 1885. С. I–III [*составитель А. А. Козлов*].

Современное состояние английских университетов // Русский вестник. 1886. № 7. С. 361–400.

Поэма Люкреция «О природе»: Речь, произнесённая на Торжественном акте Университета св. Владимира 8-го января 1887 года // УИ. 1887. № 1. С. 1–38.

Поэма Люкреция «О природе»: Речь, произнесённая на Торжественном акте Университета св. Владимира 8-го января 1887 года. Киев: Тип. Ун-та св. Владимира, 1887. II, 38 с.

Монте-Кассино // Русский вестник. 1887. № 9. С. 152–170.

Из Рима // Русский вестник. 1887. № 12. С. 161–198.

Археология в Риме // Русский вестник. 1888. № 1. С. 181–216 [*Продолжение статьи «Из Рима»*].

К вопросу о начале Рима // УИ. 1887. № 1. С. 1–24; № 11. С. 25–48; № 12. С. 49–66; 1888. № 2. С. 67–106; № 4. С. 107–156 [*докторская диссертация*].

К вопросу о начале Рима. Киев: Тип. Ун-та св. Владимира, 1888. 4, 156 с.

Философ Эпикур и вновь открытые его изречения: Публичная лекция, читанная в Университете св. Владимира 25 марта 1889 года // УИ. 1889. № 4. С. 1–21.

Философ Эпикур и вновь открытые его изречения: Публичная лекция, читанная в Университете св. Владимира 25 марта 1889 года. Киев: Т-во печатного дела и торговли И. Н. Кушнерёва и К^о в Москве; Киевск. отд., 1889. 2, 21 с.

Классические языки в русских гимназиях // Русская школа. 1890. Кн. I. С. 45–74; Кн. IV. С. 62–74.

Древности Южной России: Керченская христианская катакомба 491 года. С.–Петербург: Изд. Имп. Археол. комиссии, 1891. VI, 30 с.; 4 л. табл.; 4 полтипажа (Материалы по археологии России, издаваемые Императорской Археологической комиссией. Вып. 6)

Из залы суда // Киевлянин. 1891. № 216.

К вопросу о русском народном стихе // Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (далее: **ЧИОНА**). 1891. Кн. IV. Отд. первый. С. 1–3 [*краткое изложение доклада на заседании 29.01.1889*].

Археологические раскопки близ Керчи летом 1890 г. // **ЧИОНА**. 1891. Кн. V. С. 20–23.

О так называемой стене Ромула на Палатине // Труды VII Археологического съезда в Ярославле (1887) / Под ред. П. С. Уваровой: [В 3 т.]. Москва: Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1892. Т. 3. Отд. протоколов. С. 92–93.

Христианская церковь и римский закон в течение двух первых веков: Публичная лекция, читанная в Императорском Университете св. Владимира 8 декабря 1891 года в пользу пострадавших от неурожая // УИ. 1891. № 12. С. 1–31.

Христианская церковь и римский закон в течение двух первых веков: Публичная лекция, читанная в Императорском Университете св. Владимира 8 декабря 1891 года в пользу пострадавших от неурожая. Киев: Тип. Имп. Ун-та св. Владимира (В. И. Завадского), 1892. 2, 31 с.

Христианская церковь и римский закон в течение двух первых веков: Публичная лекция, читанная в Императорском Университете св. Владимира 8 декабря 1891 года в пользу пострадавших от неурожая // Русское обозрение. 1892. Кн. 1. С. 294–323.

Христианская церковь и римский закон в течение двух первых веков: Ответ на «Несколько замечаний», помещённых в «Трудах Киевской Духовной Академии» // УИ. 1892. № 7. С. 1–58.

Христианская церковь и римский закон в течение двух первых веков: Ответ на «Несколько замечаний», помещённых в «Трудах Киевской Духовной Академии». Киев: Тип. В. И. Завадского, 1892. 2, 58 с.

Археологическая заметка по вопросу о катакомбах в Керчи // Русская мысль. 1892. Кн. 12. С. 220–224.

О керченских катакомбах с фресками // Археологические известия и заметки, издаваемые Имп. Моск. археол. о-вом (далее: **АИЗ**) / Под ред. А. В. Орешникова. Москва, 1893. Т. 1, № 9/10. С. 384–385.

По поводу проекта создать Духовную Академию в Вильне // Киевлянин. 1893. № 334.

Eine altchristliche Grabkammer in Kertsch aus dem Jahre 491 // Römische Quartalschrift für Christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte. 1894. Bd VIII. S. 49–87; 309–327.

Школьное дело в сёлах нашего Юга // Киевлянин. 1894. № 8 [*без подписи*].

«Московские Ведомости» о русском дворянстве // Киевлянин. 1894. № 39 [*без подписи*].

Античная драма и г. Мунэ-Сюлли // Киевлянин. 1894. № 45.

Проект закрепощения дворянства // Киевлянин. 1894. № 50 [*без подписи*].

Справка о венках на гроб // Киевлянин. 1894. № 311 [*без подписи*].

Полемика по поводу церковно-приходских школ // Киевлянин. 1894. № 325; № 327.

К объяснению надписи с именем императора Юстиниана, найденной на Таманском полуострове // Византийский временник (далее: ВВ). 1895. Т. II, кн. 1–2. С. 189–198.

К вопросу об имени города Керчь // *Haristeria*: Сборник статей по филологии и лингвистике в честь Феодора Евгеньевича Корша, заслуженного профессора Московского университета. Москва: Тип. Э. Лиснера и Ю. Романа, 1895. С. 187–201.

Отчёт проф. Ю. А. Кулаковского о его археологических расследованиях в Крыму в 1895 году // Отчёт Императорской Археологической Комиссии за 1895 год. С.-Петербург: Изд. Имп. Археол. комиссии, 1895. С. 117–124.

Настоятельный вопрос учебной практики в наших гимназиях // Русская школа. 1895. Кн. 1. С. 104–115.

Раскопки в Керчи и Анапе летом 1894 г. // ЧИОНЛ. 1895. Кн. IX. Отд. первый. С. 42–44.

Древности Южной России: Две керченские катакомбы с фресками. Приложение: Христианская катакомба, открытая в 1895 году. С.-Петербург: Тип. Глав. управ. уделов, 1896. 2, II, 67, 5 с. (Материалы по археологии России, издаваемые Императорской Археологической комиссией. Вып. 19)

Извлечение из отчёта о раскопках проф. Ю. А. Кулаковского в Таврической губернии // Отчёт Императорской Археологической комиссии за 1894 год. С.-Петербург: Тип. Глав. управ. уделов, 1896. С. 88–97.

Заметки по истории и топографии Крыма: I. С каких пор известны целебные свойства грязей? II. Гурзуд или Карасан упомянуты в «Житии» Иоанна Готского? // АИЗ. Москва, 1896. Т. IV. С. 1–6.

К истории Боспора Киммерийского в конце VI века: По поводу изъяснения надписи Евпатерия // ВВ. 1896. Т. III. Кн. 1–2. С. 1–17.

К вопросу о пифагореизме [царя] Нумы [Помпилия] // Филологическое обозрение (далее: ФО). 1896. Т. X. Отд. второй. С. 177–190.

Цицерон в истории европейской культуры // Киевлянин. 1896. № 95.

К вопросу о новых учительских экзаменах // Киевлянин. 1896. № 107.

Гимназия и учительство // Киевлянин. 1896. № 121; № 122.

Где находилась Вичинская епархия Константинопольского патриархата? // ВВ. 1897. Т. IV, кн. 3–4. С. 315–336.

Смерть и бессмертие в представлениях древних греков: Извлечение из публичных лекций // *Cosmopolis*. 1897. Кн. VII. С. 16–36; Кн. IX. С. 37–48 [*русский отдел французского журнала «Cosmopolis: Revue Internationale»*. Paris: Armand Colin & C^{ie}, 1897].

Где был построен императором Юстинианом храм для абазгов? // АИЗ. Москва, 1897. Т. V. С. 33–37.

О керченских катакомбах с фресками // Труды IX Археологического съезда в Вильне (1893)/ Под ред. гр. П. С. Уваровой и С. С. Слуцкого. Москва: Тип. Э. Лиснера и Ю. Романа, 1897. Т. 2. Отд. протоколов. С. 111–112.

Отчёт проф. Ю. А. Кулаковского о его расследованиях в Крыму // Отчёт Императорской Археологической комиссии за 1895 год. С.-Петербург: Тип. Глав. управ. уделов, 1897. С. 117–124.

Производство археологических раскопок и разведок: В Таврической губернии // Отчёт Императорской Археологической комиссии за 1895 год. С.-Петербург: Тип. Глав. управ. уделов, 1897. С. 17–20 [*изложение отчёта о раскопках в Крыму в 1895 году*].

Гонорар в русских университетах // Киевлянин. 1897. № 263; № 264; № 266; № 267; № 270.

Гонорар в русских университетах. Киев: Типолитогр. Т-ва И. Н. Кушнерёва и К^о, Киевск. отд., 1897. 66 с.

Христианство у алан // ВВ. 1898. Т. V, кн. 1–2. С. 1–18.

Ещё к вопросу о Вичине // ВВ. 1898. Т. V, кн. 3–4. С. 393–397.

Лев Мудрый или Лев Исавр был автором «Тактики»? // ВВ. 1898. Т. V, кн. 3–4. С. 398–403.

К истории готской епархии (в Крыму) в VIII веке // ЖМНП. 1898. Февраль. Отд. второй. С. 173–202.

К истории готской епархии (в Крыму) в VIII веке. С.-Петербург: Тип. В. С. Балашева, 1898. II, 29 с.

Епископа Феодора «Аланское послание» // Записки Императорского Одесского Общества истории и древностей. 1898. Т. XXI, ч. II: Материалы. С. 11–14.

Новые данные для истории старого Крыма. С.-Петербург: Тип. И. Н. Скороходова, 1898. 14 с.; 1 л. карт.

К вопросу о каменных бабах // АИЗ. Москва, 1898. Т. VI. С. 235–240.

Отчёт проф. Ю. А. Кулаковского об археологических исследованиях его в Крыму в 1896 году // Отчёт Императорской Археологической комиссии за 1896 год. С.-Петербург: Тип. Глав. управ. уделов, 1898. С. 159–164.

Производство археологических раскопок и разведок: В Таврической губернии // Отчёт Императорской Археологической комиссии за 1896 год. С.-Петербург: Тип. Глав. управ. уделов, 1897. С. 68–70 [*изложение отчёта о крымских раскопках в 1896 году*].

Гонорар в университетах // Киевлянин. 1898. № 222; № 263.

По поводу циркуляра министра народного просвещения // Киевлянин. 1898. № 340; № 342; № 344.

Смерть и бессмертие в представлениях древних греков. Киев: Тип. С. В. Кульженко, 1899. VIII, 128 с.

Новые данные для истории старого Крыма // Записки Императорского Русского Археологического общества: Труды Отделения археологии древнеклассической, византийской и западноевропейской. С.-Петербург, 1899. Т. X, вып. 3–4. С. 1–12.

Предисловие // *Аландский П. И.* История Греции / Под ред. Ю. А. Кулаковского и А. А. Козлова. 2-е изд. Киев; С.-Петербург: Изд. книгопродавца Н. Н. Оглоблина; Тип. С. В. Кульженко, 1899. С. I–III [*соавтор А. А. Козлов*].

О новейших находках в Старом Крыму // ЧИОНА. 1899. Кн. XIII. Отд. первый. С. 104 [*изложение доклада на заседании Общества 31.01.1898*].

Европейская Сарматия по Птолемею // ЧИОНА. 1899. Кн. XIII. Отд. первый. С. 163–166 [*изложение доклада на заседании Общества 11.04.1899*].

Карта Европейской Сарматии по Птолемею: Приветствие XI Археологическому съезду [в Киеве]. Киев: Тип. С. В. Кульженко, 1899. 2, II, 34 с.; 1 л. карт.

Аланы по сведениям классических и византийских писателей // ЧИОНА. 1899. Кн. XIII. С. 94–168.

Аланы по сведениям классических и византийских писателей. Киев: Тип. Н. Т. Корчак-Новицкого, 1899. 2, III, 1, 72, 1 с.

Приветствие [XI] Археологическому съезду // Киевлянин. 1899. № 227.

Карта Европейской Сарматии по Птолемею: Ответ акад. В. В. Латышеву // ФО. 1899. Т. XVII. Отд. второй. С. 3–19.

Славянское слово «плот» в записи византийцев // ВВ. 1900. Т. VII, кн. 1–2. С. 112–117.

Надписи Nikei и её окрестностей // Известия Русского археологического института в Константинополе. София: Държавна Печатница, 1900. Т. VI, вып. 1. С. 208–215.

Раскопки крымских курганов летом 1896 года // Труды X Археологического съезда в Риге (1896) / Под ред. гр. П. С. Уваровой: [В 3 т.]. Москва: Тип. Г. Лиснера и А. Гешеля, 1900. Т. 3. Отд. протоколов. С. 107–108.

Производство археологических раскопок и разведок: В Таврической губернии // Отчёт Императорской Археологической комиссии за 1897 год. С.-Петербург: Тип. Глав. управ. уделов, 1900. С. 36–39 [*изложение отчёта о раскопках в Крыму в 1897 году*].

Назревший вопрос университетской жизни // Санкт-Петербургские ведомости. 1900. № 3.

К вопросу о реформе средней школы // Киевлянин. 1900. № 339; № 340; № 342; № 344.

Боспор // Большая энциклопедия: Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания / Под ред. С. Н. Южакова и П. Н. Милюкова. С.-Петербург: Типо-литограф. книгоизд-ва. т-ва «Просвещение», [1901]. Т. 3. С. 567–572.

Ещё к вопросу о реформе средней школы // Киевлянин. 1901. № 29.

К вопросу о реформе средней школы // Киевлянин. 1901. № 322; № 327; № 329; № 333.

К вопросу об окрашенных костяках // Труды XI Археологического съезда в Киеве (1899) / Под ред. гр. П. С. Уваровой и С. С. Слуцкого: [В 3 т.]. Москва: Тип. Г. Лиснера и А. Гешеля, 1901. Т. 1. С. 190–196.

К истории Боспора в XI–XII веков // Труды XI Археологического съезда в Киеве (1899) / Под ред. гр. П. С. Уваровой и С. С. Слуцкого: [В 3 т.]. Москва: Тип. Г. Лиснера и А. Гешеля, 1902. Т. 2. Отд. протоколов. С. 132–133.

К вопросу о диархии. Киев: Тип. И. И. Горбунова, 1902. II, 7 с.

Доклад о плате за учение в университетах. С.-Петербург: Тип. МВА, 1902. 12 с.

Вновь открытая присяга на имя Августа // ФО. 1901. Т. XX. Отд. II. С. 159–179.

Друнг и друнгарий // ВВ. 1902. Т. IX, кн. 1–2. С. 1–30.

Особое мнение по вопросу о круге ведомства правления // Труды Высочайше утверждённой комиссии по преобразованию высших учебных заведений. С.-Петербург: Тип. МВА, 1903. Вып. 2. С. 303–307.

Доклад историко-филологической секции по вопросу об испытаниях на учёные степени // Труды Высочайше утверждённой комиссии по преобразованию высших учебных заведений. С.-Петербург: Тип. МВА, 1903. Вып. 3. С. 105–106.

Доклад по вопросу о подготовке преподавателей средних школ // Труды Высочайше утверждённой комиссии по преобразованию высших учебных заведений. С.-Петербург: Тип. МВА, 1903. Вып. 3. С. 194–197.

Докладная записка проф. Ю. А. Кулаковского // Труды Высочайше утверждённой комиссии по преобразованию высших учебных заведений. С.-Петербург: Тип. МВА, 1903. Вып. 3. С. 198–210.

Доклад об учёных степенях // Труды Высочайше утверждённой комиссии по преобразованию высших учебных заведений. С.-Петербург: Тип. МВА, 1903. Вып. 4. С. 146–147.

Открытие Международного исторического конгресса в Риме // Правительственный вестник. 1903. № 75.

Международный конгресс исторических наук в Риме // Правительственный вестник. 1903. № 90; № 91.

Международный конгресс исторических наук в Риме // УИ. 1903. № 5. С. 1–21.

Международный конгресс исторических наук в Риме. Киев: Тип. Имп. Ун-та св. Владимира Акц. о-ва печат. и издат. дела Н. Т. Корчак-Новицкого, 1903. II, 21 с.

Международный конгресс исторических наук в Риме // ЖМНП. 1903. Июль. Отд. третий. С. 1–23.

Византийский лагерь конца X века // ВВ. 1903. Т. X, кн. 1–2. С. 63–90.

Византийский лагерь конца X века. С.-Петербург: Тип. Имп. Акад. наук, 1903. 28 с.

К вопросу о происхождении фемного строя Византийской империи // Сборник статей по истории права, посвящённый Михаилу Флегонтовичу Владимирскому-Буданову его учениками и почитателями по случаю 35-летия его учёно-литературной деятельности (1868–1903 гг.) / Под ред. проф. М. Н. Ясинского. Киев: Тип. С. В. Кульженко, 1904. С. 396–403 [*перепечатана Кулаковским в качестве приложения к третьему тому «Истории Византии»*].

К вопросу о фемах Византийской империи // Изборник Киевский: Тимофею Дмитриевичу Флоринскому посвящают друзья и ученики. Киев: Тип. Петра Барского, 1904. С. 95–118 [*перепечатана Кулаковским в качестве приложения к третьему тому «Истории Византии»*].

К вопросу о фемах Византийской империи // ЧИОНА. 1904. Кн. XVIII. Отд. второй. С. 1–24.

К вопросу о фемах Византийской империи. Киев: Тип. Петра Барского, 1904. II, 24 с.

К вопросу об имени и истории фемы Опсикий // ВВ. 1904. Т. XI, кн. 1–2. С. 49–62 [*перепечатана Кулаковским в качестве приложения к третьему тому «Истории Византии»*].

Греческие города на Черноморском побережье // Книга для чтения по русской истории, составленная при участии профессоров и преподавателей / Под ред. проф. М. В. Довнар-Запольского. Москва: Тип. И. Д. Сытина, 1904. Т. 1. С. 1–26.

Несколько слов в ответ проф. В. И. Модестову // Известия Императорской Археологической комиссии. С.-Петербург: Тип. Глав. управ. уделов, 1904. Вып. 9. С. 178–181.

Sur le question des squelettes colorés [«К вопросу об окрашенных костяках»] // Atti del Congresso internazionale di scienze storiche (Roma, 1–9 aprile 1903). Roma: Tipografia della R. Accademia dei Lincei, 1904. Vol. V. S. 673–681.

Проект нового устава гимназий // Киевлянин. 1904. № 335; № 337; № 339; № 341; № 343; № 345; № 348.

Проект нового устава гимназий. Киев: Типолитограф. Т-ва И. Н. Кушнерёва и К°, Киевск. отд., 1904. 42 с.

Речь на открытии Киевского [художественно-промышленного] музея императора Николая II // Киевлянин. 1904. № 361.

[Речь на открытии Киевского художественно-промышленного и научного музея императора Николая Александровича 30 декабря 1904 г.] // Освящение и открытие Киевского художественно-промышленного и научного музея императора Николая Александровича. Киев: Типолитограф. С. В. Кульженко, 1905. С. 10–20.

Византийский лагерь X века // Труды XII Археологического съезда в Харькове (1902) / Под ред. П. С. Уваровой: [В 3 т.] Москва: Тип. О-ва распространения полезных книг, аренд. В. И. Вороновым, 1905. Т. 3. Отд. протоколов. С. 321–322.

Киевский художественно-промышленный музей императора Николая Александровича // Правительственный вестник. 1905. № 35.

Где начинается территория славян по Иордану? // ЧИОНА. 1905. Кн. XVIII, вып. 3–4. С. 75–77 [изложение доклада в Обществе].

Где начинается территория славян по Иордану? // ЖМНП. 1905. Март. Отд. второй. С. 123–136 [Памяти Владимира Ивановича Ламанского].

Sur le question des squelettes colorés [«К вопросу об окрашенных костяках»] // УИ. 1905. № 3. С. 1–9; № 6. С. 11–14.

Sur le question des squelettes colorés. Киев: Тип. Имп. Ун-та св. Владимира, 1905. II, 14 с.

Вступительное слово председателя Ю. А. Кулаковского перед открытием годовичного торжественного собрания Общества 27 октября 1904 года // ЧИОНА. 1905. Кн. XVIII, вып. 3–4. Отд. первый. С. 77–79.

Прошлое Тавриды: Краткий исторический очерк. Киев: Типолитограф. т-ва И. Н. Кушнерёв и К°, 1906. 4, IV, 145 с.; 9 л. ил., карт.

Предисловие // Аммиан Марцеллин. История / Пер. с лат. Ю. А. Кулаковского, А. И. Сонни. Киев: Тип. С. В. Кульженко, 1906. Вып. I. С. III–IX.

Введение. I: Аммиан Марцеллин. II: Государственное управление империи в IV веке // Аммиан Марцеллин. История / Пер. с лат. Ю. А. Кулаковского, А. И. Сонни. Киев: Тип. С. В. Кульженко, 1906. Вып. I. С. XI–XXXII.

Новые домыслы о происхождении имени Русь // УИ. 1906. № 6. С. 1–10.

Новые домыслы о происхождении имени Русь // Epanos: Сборник статей по литературе и истории в честь заслуженного профессора Императорского Университета св. Владимира Николая Павловича Дашкевича. Киев: Тип. Имп. Ун-та св. Владимира Акц. о-ва печ. и издат. дела Н. Т. Корчак-Новицкого, 1906. С. 300–309.

Предисловие // *Аммиан Марцеллин. История* / Пер. с лат. Ю. А. Кулаковского. Киев: Тип. С. В. Кульженко, 1907. Вып. II. С. VII–XI.

Предисловие // *Аммиан Марцеллин. История* / Пер. с лат. Ю. А. Кулаковского. Киев: Тип. С. В. Кульженко, 1908. Вып. III. С. VII–XI.

О неизданном византийском памятнике X века по военным древностям // ЧИОНА. 1908. Кн. XX, вып. 2. Отд. первый. С. 30–33.

Керчь и её христианские памятники // *Православная Богословская энциклопедия* / Сост. под ред. Н. Н. Глубоковского. С.-Петербург: Издание преемников проф. А. П. Лопухина, 1908. Т. IX. Стб 535–544.

Открытие Киевского общества распространения грамотности и просвещения: [Речи В. Г. Тальберга и Ю. А. Кулаковского]. Киев: Типолитогр. т-ва И. Н. Кушнерёв и К^о, 1908. С. 22–30.

Из Берлина: Международный Конгресс историков // ЖМНП. 1908. Октябрь. Отд. четвёртый. С. 37–55.

Лекции по истории Византии. Киев: [Б/м], [1909]. XXI, 221 с. [*стеклографированное издание*]

Римское государство и его армия в их взаимоотношении и историческом развитии: Публичная лекция, читанная в собрании Киевского отделения Императорского Военно-исторического общества 15-го марта 1909 года // Военный сборник, издаваемый по высочайшему повелению при штабе отдельного гвардейского корпуса. С.-Петербург, 1909. Кн. 8. С. 199–224.

Римское государство и его армия в их взаимоотношении и историческом развитии: Публичная лекция, читанная в собрании Киевского отделения Императорского Военно-исторического общества 15-го марта 1909 г. С.-Петербург: Тип. Глав. управ. уделов, 1909. 27 с.

Раскопки в Абабе-Плиске Русского археологического института (в Константинополе) и об археологических данных для истории Болгарии VII–X веков // ЧИОНА. 1909. Кн. XXI, вып. 3. Отд. первый. С. 78–80.

Археологические новинки с острова Березани // ЧИОНА. 1909. Кн. XXI, вып. 3. Отд. первый. С. 80–82.

История Византии: [В 3 т.]. Киев: Типолитогр. «С. В. Кульженко», 1910. Т. 1: 359–518 годы. С двумя картами, планом Константинополя и разрезом его стен. XVI, 536 с.; 4 л. ил.

История Византии: [В 3 т.]. Киев: Типолитогр. «С. В. Кульженко», 1912. Т. 2: 518–602 годы. С четырьмя картами, тремя рисунками в тексте и одной таблицей. X, 2, 512 с.; 5 л. ил., карт.

Пособие к лекциям по истории римской литературы (Издание студентов-филологов Университета св. Владимира и слушательниц Высших женских курсов). Киев: Типолитогр. «Труд» М. В. Ельника, 1912. 272 с. [*литографированное издание*]

История Византии: [В 3 т.]. Киев: Типолитогр. «С. В. Кульженко», 1913. Т. 1: 359–518 годы. С двумя картами, планом Константинополя и разрезом его стен. 2-е изд., пересмотр. XVI, 552 с.; 4 л. ил.

К вопросу о дате возвращения Креста Господня в Иерусалим из персидского пле-

на // Сборник статей в честь проф. В. П. Бузескула. Издан по поводу тридцатилетия его научно-педагогической деятельности. Харьков: Тип. «Печатное дело», 1914. С. 163–171 [*перепечатана Кулаковским в качестве приложения к третьему тому «Истории Византии»*].

Прошлое Тавриды: Краткий исторический очерк (с 3-мя картами, 7-ю рис. на табл. и 10-ю в тексте). Изд. 2-е, пересмотр. Киев: Типолитограф. «С. В. Кульженко», 1914. 4, IV, 154 с.; 10 л. ил.

Император Фока // УИ. 1914. № 1. С. 1–21.

Император Фока. Киев: Тип. Имп. Ун-та св. Владимира, Акц. о-ва печатн. и издат. дела Н. Т. Корчак-Новицкого, 1914. 2, 21 с.

К критике известий Феофана о последнем годе правления Фоки // ВВ. 1914. Т. XXI. Отд. 1. С. 1–14.

История Византии: [В 3 т.]. Киев: Типолитограф. «С. В. Кульженко», 1915. Т. 3: 602–717 годы. XIV, 2, 432 с.; 2 л. ил.

Русским людям, именующим себя «украинцами» // Киевлянин. 1915. № 258.

Istoriai Vizantii: 3 volumes. London: Variorum Reprints, 1973. Vol. I: 395–518 / Preface by Ivan Dujcev; Vol. II: 518–602; Vol. III: 602–717. 1495 p.: maps, 1 plan.

История Византии: [В 3 т.]. С.-Петербург: Алетейя, 1996. Т. 1: 395–518 годы [Введение. Аркадий, Феодосий, Маркиан, Лев, Зенон, Анастасий]. 448 с. (Византийская библиотека. Исследования)

История Византии: [В 3 т.]. С.-Петербург: Алетейя, 1996. Т. 2: 518–602 годы [Юстин, Юстиниан, Юстин II, Тиверий и Маврикий]. 402 с. (Византийская библиотека. Исследования)

История Византии: [В 3 т.]. С.-Петербург: Алетейя, 1996. Т. 3: 602–717 годы [Фока, Иракий, Константин, Мартина и Иракий Младший, Констант, Константин IV, Юстиниан II, Леонтий и Тиверий, Вардан, Анастасий и Феодосий]. 464 с. (Византийская библиотека. Исследования)

К истории Боспора Киммерийского в конце VI века // Византийская цивилизация в освещении российских ученых (1894–1927 гг.) / Сост. П. И. Жаворонков, Г. Г. Литаврин. Москва: Ладомир, 1999. С. 154–170.

Христианство у алан // Византийская цивилизация в освещении российских ученых (1894–1927 гг.) / Сост. П. И. Жаворонков, Г. Г. Литаврин. Москва: Ладомир, 1999. С. 171–188.

Византийский лагерь конца X века // Византийская цивилизация в освещении российских учёных (1894–1927 гг.) / Сост. П. И. Жаворонков, Г. Г. Литаврин. Москва: Ладомир, 1999. С. 189–216.

Избранные труды по истории аланов и Сарматии / Сост., вст. ст., коммент. С. М. Первалова. С.-Петербург: Алетейя, 2000. 318 с. (Византийская библиотека. Исследования)

Минуле Тавриди (фрагменти) / Пер. з рос. // Хроніка '2000: Український культурологічний альманах. Київ, 2000. Вип. 33: Крим — крізь тисячоліття. С. 18–40.

Прошлое Тавриды / Вступит. ст. А. В. Матвеевой. Киев: Стилос, 2002. 225 с.; 3 карты; 8 ил. (Наукова спадщина сходознавців)

Эсхатология и эпикуреизм в античном мире: Избранные работы / Вст. ст., подгот. текста и коммент. А. А. Пучкова. С.-Петербург: Алетейя, 2001. 256 с. (Античная библиотека. Исследования)

История Византии: [В 3 т.]. 3-е изд., исправ. и доп. С.-Петербург: Алетейя, 2003. Т. 1: 395–518 годы. 492 с. (Византийская библиотека: Исследования)

История Византии: [В 3 т.]. 3-е изд., исправ. и доп. С.-Петербург: Алетейя, 2003. Т. 2: 518–602 годы. 400 с. (Византийская библиотека. Исследования)

История Византии: [В 3 т.]. 3-е изд., исправ. и доп. С.-Петербург: Алетейя, 2004. Т. 3: 602–717 годы. 352 с. (Византийская библиотека. Исследования)

История римской литературы от времени Республики до времени Империи в концептивном изложении / Изд. подгот. А. А. Пучков. Киев: Изд. дом А+С, 2005. LXVI, 328 с.: ил.

Предисловие (к изданию 1908 г.) // *Никифор II Фока*. Стратегика / Пер. со среднегреч. и коммент. А. К. Нефёдкина. С.-Петербург: Алетейя, 2005. С. 106–113.

«Стратегика» и её автор // *Никифор II Фока*. Стратегика / Пер. со среднегреч. и коммент. А. К. Нефёдкина. С.-Петербург: Алетейя, 2005. С. 114–118.

Содержание «Стратегики» // *Никифор II Фока*. Стратегика / Пер. со среднегреч. и коммент. А. К. Нефёдкина. С.-Петербург: Алетейя, 2005. С. 119–142.

Дополнения // *Никифор II Фока*. Стратегика / Пер. со среднегреч. и коммент. А. К. Нефёдкина. С.-Петербург: Алетейя, 2005. С. 143–148.

Смерть и бессмертие в представлениях древних греков. Изд. 2-е. Москва: Либроком, 2012. 136 с. [*репринт*]

К вопросу о начале Рима. Изд. 2-е. Москва: Ленанд, 2014. 168 с. [*репринт*]

История Византии: В 3 т. [4-е изд., стереотип.]. С.-Петербург: Алетейя, 2018. Т. 1: 395–518 годы. 494 с. (Новая византийская библиотека: Исследования)

История Византии: В 3 т. [4-е изд., стереотип.]. С.-Петербург: Алетейя, 2018. Т. 2: 518–602 годы. 400 с. (Новая византийская библиотека. Исследования)

История Византии: В 3 т. [4-е изд., стереотип.]. С.-Петербург: Алетейя, 2019. Т. 3: 602–717 годы. 352 с. (Новая византийская библиотека. Исследования)

Смерть и бессмертие в представлениях древних греков. Изд. 3-е. Москва: Либроком, 2019. 136 с. [*репринт*]

Рецензии

Критическая разработка источников древнейшей римской истории: *K. L. Peter. Zur Kritik der Quellen der älteren römischen Geschichte* // Критическое обозрение: Журнал научной и литературной критики. Москва: Тип. Ф. Б. Миллера, 1880. № 1. Январь. С. 61–62.

Ф. Н. Двьячан. Геродот и его музы: Историко-литературное исследование. Ч. 1. Варшава: Тип. М. Земкевича, 1877. 237 с. // ЖМНП. 1880. Август. Отд. второй. С. 205–212.

Полития афинян: *Xenophontis qui fertur libellus de republica Atheniesium in usum scholarum academicarum* / Ed. A. Kirchhoff. Berolini, 1881; *A. Kirchhoff. Über*

die Schrift vom Staate der Athener // Abhandlungen der Berliner Akademie. 1874. P. 1–51; A. *Kirchhoff*. Über die Abfassungszeit der Schrift vom Staate der Athener // Abhandlungen der Berliner Akademie. 1878. P. 1–25; H. *Müller-Strübing*. *Atbenaion politeia*: Die Attische Schrift vom Staat der Athener: Untersuchungen über die Zeit die Tendenz und deu Verfasser derselben // Philologus Vierter Supplement Bd, 1880 // УИ. 1881. № 7. С. 161–176.

Правители римских провинций: *Ed. Marx*. Essai sur les pouvoirs du gouverneur de province sous la république Romanie et jusqu'à Dioclétien. Paris, 1880 // УИ. 1881. № 11. С. 355–359.

Косвенные налоги у римлян: *M. R. Cagnat*. Etude historique sur les impôts indirects chez les Romains jusqu'aux Invasions des Barbares: D'Après les documents littéraires et épigraphiques. Paris, 1882 // УИ. 1882. № 9. С. 345–360.

Новости эпиграфической литературы: *Corpus inscriptionum latinarum VIII* и *Ephem. Epigr. IV, 2* // УИ. 1882. № 12. С. 371–380.

Римский календарь: *O.-E. Hartmann*. Der römische Kalender. Leipzig, 1882 // УИ. 1883. № 2. С. 45–61.

Новости эпиграфической литературы: *Corpus inscriptionum latinarum. Berolini, 1882. Vol. VI. Part 1–2* // УИ. 1883. № 4. С. 123–130.

Помпейская стенная живопись: *A. Mau*. Geschichte der decorativen Wandmalerei in Pompeji (Mit 20 Tafeln in einer Mappe). Berlin, 1882 // УИ. 1883. № 12. С. 391–398.

Древнейший период римской истории: *O. Gilbert*. Geschichte und Topographie der Stadt Rom im Altertum. Berlin, 1882 // УИ. 1884. № 2. С. 1–22.

Греческие слова в латинском языке: *Fr. O. Weise*. Die griechischen Wörter im Latein. Leipzig, 1882 // УИ. 1884. № 5. С. 124–137.

Армия в Римской империи: *Tb. Mommsen*. Observationes epigraphicae // *Ephem. Epigraphics. Romae; Berolini, 1884. Vol. V*; *Tb. Mommsen*. Die Conscriptionsordnung der römischen Kaiserzeit // *Hermes. 1884. Bd XIX* // УИ. 1884. № 8. С. 112–135.

Италия при римских императорах: *C. Jullian*. Les transformations politiques de l'Italie sous les empereurs Romains. Paris, 1884 // УИ. 1884. № 10. С. 211–239 [*посвящение Василию Григорьевичу Васильевскому*].

Новые книги по истории римской империи: *Tb. Mommsen*. Römische Geschichte. Berlin, 1885. Bd V; *F. Gregorovius*. Der Kaiser Hardian: Gemalde der römisch-hellenischer Welt zu seiner Zeit. Stuttgart, 1884 // ЖМНП. 1885. Декабрь. Отд. второй. С. 199–217.

Древние надписи Черноморского побережья: *B. Latyshev*. Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini graecae et latinae. Petropoli, 1885. Vol. I // ЖМНП. 1886. Март. Отд. второй. С. 100–111.

Учебные пособия по классической филологии: *I. Müller*. Handbuch der Klassischen Alterthunms-Wissenschaft in systematischen Darstellung. Nördlingen, 1885–1886; *M. Bréal, A. Bailly*. Dictionnaire étymologique latin. Paris, 1885; *W. Brambach*. Huelfsbuechlein für lateinische Rechtschreibung. Leipzig, 1884; *A. Marx*. Huelfsbuechlein für die Aussprache der lateinischen Vocale in positionslangen Silben. Berlin, 1883; *Tegge*. Studien zur lateinischen Synonymik: Ein Beitrag zur Methodik des Gymnasialunterrichts. Berlin, 1886 // ЖМНП. 1886. Сентябрь. Отд. второй. С. 1–12.

Новое руководство по римским древностям: *A. Bouché-Leclercq. Manuel des institutions romaines.* Paris, 1886 // ЖМНП. 1886. Декабрь. Отд. второй. С. 370–382.

Отзыв о магистерской диссертации Григория Зенгера «Критический комментарий к некоторым спорным текстам Горация» // УИ. 1886. № 12. С. 6–10.

Русский учёный труд о Горации: *Григорий Зенгер.* Критический комментарий к некоторым спорным текстам Горация. Варшава, 1886 // ЖМНП. 1887. Март. Отд. второй. С. 50–74.

O. Ribbeck. Geschichte der Römischen Dichtung. Stuttgart, 1887. Bd I. Dichtung der Republik // ЖМНП. 1888. Январь. Отд. второй. С. 170–183.

Новые мысли в области греческой метрики: *H. Usener.* Altgriechischer Versbau, ein Versuch vergleichender Metrik. Bonn, 1867 // ЖМНП. 1888. Ноябрь. Отд. II. С. 150–162.

Учебник римских древностей в русском переводе: Римское государственное право. Сочинение Виллемса / Пер. с фр. членов Киевского отделения Общества классической филологии и педагогики под ред. П. Н. Бодянского. Вып. 1. Киев, 1888 [*Willems. Le droit public romain*] // УИ. 1888. № 11. С. 257–272.

Алгушки, комедия Аристофана. Перевёл с греческого с присоединением необходимых примечаний К. Нейлисов. С.-Петербург, 1887 // Русский вестник. 1888. Кн. 2. С. 271–274 [анонимно].

Энеида Вергилия. Перевод А. А. Фета... Ч. 1: I–VI. Москва, 1888 // Русский вестник. 1888. Т. 194. № 1. С. 289–290 [анонимно].

По поводу предполагаемого русского учебного издания классических авторов // ЖМНП. 1890. Февраль. Отд. второй. С. 100–108.

Ф. Еленев. О некоторых желаемых улучшениях в гимназическом образовании. С.-Петербург, 1889; *Оскар Иегер.* Гуманистическая гимназия и петиция о полном переустройстве немецких школ / Предисл. А. Н. Шварца. Москва, 1890 // Русская школа. 1890. Кн. V. С. 137–142.

Тит Макций Плавт. Горшок [Aulularia], перевод А. А. Фета. Москва, 1891 // Русское обозрение. 1891. Кн. 2. С. 917–928.

Древние надписи Черноморского побережья: *B. Latyshev.* Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini graecae et latinae. Petropoli, 1890. Vol. II // ЖМНП. 1891. Май. Отд. второй. С. 171–182.

К вопросу о пеласагах: *O. Crusius.* Beitrage zur griechischen Mythologie. Leipzig, 1886; *A. Hesselmeier.* Die Pelasgerfrage und ihre Lösbarkeit. Tuebingen, 1890 // ФО. 1891. Т. I. Отд. второй. С. 110–118.

Конец язычества: *G. Boissier.* La fin du paganisme: Etude sur les dernières luttes religieuses en Occident au quatrieme siècle. Paris, 1891. Vol. I; II // УИ. 1891. № 10. С. 65–81.

Вновь открытая апология христианства II века: The Apology of Aristides / Ed. and transl. by J. Rendel Harris with appendix by J. Armitage Robinson. Cambridge, 1891 (Texts and Studies, Contributions to Biblical and Patristic Literature / Ed. by J. Armitage Robinson. Vol. 1, № 1) // УИ. 1892. № 4. С. 81–97.

G. Boissier. La fin du paganisme: Etude sur les dernières en Occident au quatrieme siècle. Paris, 1891; *H. Diels.* Sibyllinische Blatter. Berlin, 1890; *G. Studemund.* T. Macci

Plauti fabularum reliquiae Ambrosianae codicis rescripti Ambrosiani apographum confecit et edidit G. Studemand. Berolini, 1889 // *ФО*. 1892. Т. II. Отд. второй. С. 45–51.

Йозеф Стржиговский, Н. В. Покровский. Византийский памятник, найденный в Керчи в 1891 году. С.-Петербург, 1892 (Материалы по археологии России. № 8) // *Русский вестник*. 1892. № 11. С. 306–311.

Археологический съезд в Вильне (Труды Виленского отделения Московского пред-варительного комитета по устройству в Вильне IX Археологического съезда. Вильна, 1893; Акты, издаваемые Виленскою Комиссиею для разбора древних актов. Том XX. Акты, касающиеся города Вильны. Вильна, 1893; *Ю. Ф. Крачковский*. Старая Вильна до конца XVII столетия. Вильна, 1893) // *Русский вестник*. 1893. № 10. С. 197–206.

В. В. Латышев. Греческие и латинские надписи, найденные в Южной России в 1889–1891 годах. С.-Петербург, 1892 // *ФО*. 1893. Т. III. Отд. второй. С. 81–84.

А. Энманн. Zur römischen Königsgeschichte. St.-Petersburg, 1892 // *ФО*. 1893. Т. III. Отд. второй. С. 85–91.

[*В. Латышев*. Scythica et Caucasia e veteribus scriptioribus Graecis et Latinis collegit et cum versione Rossica.] I. Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе. С.-Петербург, 1893. Т. I: Греческие писатели. Вып. 1 // *ФО*. 1893. Т. IV. Отд. второй. С. 165–168.

М. Целлер. Римские государственные и правовые древности: Компендиум для студентов и учителей гимназий / Пер. Ив. Семенова. Москва, 1894 // *ФО*. 1893. Т. V. Отд. второй. С. 129–133.

S. Reinach. Antiquités du Bosphore Cimmérien (1854) rééditées avec un commentaire nouveau et un index général des comptes rendus par Salomon Reinach. Paris, 1892 // *ФО*. 1893. Т. V. Отд. второй. С. 120–123.

Д. Ф. Беляев. Byzantina: Очерки, материалы и заметки по византийским древностям. С.-Петербург, 1891–1893. Кн. I–II // *Русский вестник*. 1893. № 8. С. 344–347.

И. В. Нетушил. Очерк римских государственных древностей. Харьков, 1894 // *ЖМНП*. 1894. Август. Отд. второй. С. 394–405.

Ть. Моммсен. Abriss des römischen Staatsrechts // *ФО*. 1894. Т. VI. Отд. второй. С. 183.

Бартольд Нибур: Его жизнь и деятельность / Пер. с нем. А. О. Вейнберга. Москва, 1894 // *ФО*. 1895. Т. VIII. Отд. второй. С. 61–64.

В. В. Латышев. Греческие и латинские надписи, найденные в Южной России в 1892–1894 годах. С.-Петербург, 1895 (Материалы по археологии России. № 17) // *ФО*. 1895. Т. IX. Отд. второй. С. 25–31.

М. С. Корелин. Памятник античного миросозерцания: Культурный кризис в Римской империи. С.-Петербург, 1895 // *ФО*. 1897. Т. XII. Отд. второй. С. 8–15.

В. В. Латышев. Сборник греческих надписей христианских времён из Южной России. С.-Петербург, 1896 // *ФО*. 1897. Т. XII. Отд. второй. С. 157–161.

В. Латышев. Scythica et Caucasia e veteribus scriptioribus graecis et latinis collegit et cum versione Rossica. I. Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе. С.-Петербург, 1896. Т. I: Греческие писатели. Вып. 2 // *ФО*. 1897. Т. XII. Отд. второй. С. 161–163.

В. В. Латышев. Сборник греческих надписей христианских времен из Южной России. С.-Петербург, 1896 // ВВ. 1897. Т. IV. Кн. 1. С. 232–238.

Schuerer. Die Juden im Bosporianischen Reich und die Genossenschaften der *sebomenoi theos ypsiston*. Berlin, 1897 // ЖМНП. 1898. Апрель. Отд. второй. С. 494–496.

И. Линдеман. Отношение Рубино и Моммзена к гипотезе Нибура о происхождении патрициев и плебеев. Москва, 1898 // ФО. 1898. Т. XV. Отд. второй. С. 136–142.

В. В. Латышев. Греческие и латинские надписи, найденные в Южной России в 1895–1898 годах. С.-Петербург, 1899 (Материалы по археологии России. № 23) // ФО. 1899. Т. XVI. Отд. второй. С. 103–108.

Новоизданный византийский трактат по военному делу: [«De castrametatione»] // ВВ. 1900. Т. VII. Кн. 4. С. 646–660 [памяти В. Г. Васильевского].

А. И. Стороженко. Очерки Переяславской старины // Киевлянин. 1900. № 156.

Готы на Висле: Ф. А. Браун. Разыскания в области готских отношений. Т. 1: Готы и их соседи до V века. Период первый. Готы на Висле. С.-Петербург, 1899 // ЖМНП. 1901. Февраль. Отд. второй. С. 500–527.

Несколько слов по поводу «Ответа» проф. Ф. А. Брауна // ЖМНП. 1901. Май. Отд. второй. С. 262–269.

А. А. Погодин. К истории славянских передвижений. С.-Петербург, 1901 // Известия Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук. С.-Петербург, 1901. Т. VI, кн. 4. С. 345–360.

А. А. Погодин. К истории славянских передвижений. С.-Петербург, 1901. С.-Петербург: Тип. Имп. акад. наук, 1902. 2, 15 с.

Записка готского топарха: *Fr. Westberg*. Die Fragmente des Toparcha Gothicus aus dem X Jahrhundert. С.-Петербург, 1901 // ЖМНП. 1902. Апрель. Отд. второй. С. 449–459.

Э. Д. Гримм. Исследования по истории развития римской императорской власти. С.-Петербург, 1900–1901. Т. 1: Римская императорская власть от Августа до Нерона; Т. 2: Римская императорская власть от Гальбы до Марка Аврелия // ЖМНП. 1902. Июль. Отд. второй. С. 154–171.

Incerti scriptoris Byzantini saeculi X Liber de re militari / Ed. R. Vari. Lipsiae: Bibl. Teubneriana, 1901 // Byzantinische Zeitschrift. 1902. Bd XI. S. 547–558. [В переводе на венгерский язык напечатана в журнале «Egyetemes Philologiai Közlöny», Будапешт. Номер венгерского журнала мною не обнаружен.]

Маврикий. Тактика и стратегия: Первоисточник о военном искусстве императора Льва Философа и Никколо Макиавелли / Пер. с лат. капитана Цыбышева; С предисл. П. А. Гейсмана. С.-Петербург, 1903 // ЖМНП. 1903. Декабрь. Отд. второй. С. 525–553.

Крестьянское землевладение в Византии (по поводу исследования г. Панченко) // ЧИОНА. 1904. Кн. XVIII, вып. 3–4. С. 71–73 [по поводу текста: Б. А. Панченко. Крестьянская собственность в Византии: Земледельческий закон и монастырские документы. София: Държавна Печатница, 1903. XII, 234 с.].

Отзыв о сочинении магистра С. Д. Пападимитриу «Феодор Продром: Историко-литературное исследование. Одесса, 1905», представленном на соискание степени доктора греческой словесности // УИ. 1906. № 8. Отд. первый. С. 1–10 [соавтор А. И. Сонни].

История Византии: Ответ проф. Васильеву // ЖМНП. 1911. Октябрь. Отд. второй. С. 377–388.

Персоналии

Поминка по Павле Ивановиче Аландском: Вступительная лекция, читанная на Высших женских курсах 16 января 1884 года // УИ. 1884. № 3. С. 1–15.

Поминка по Павле Ивановиче Аландском: Вступительная лекция, читанная на Высших женских курсах 16 января 1884 года. Киев: Унив. тип. (В. И. Завадского), 1884. II, 15 с.

Александр Людвигович Деллен // Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Университета св. Владимира (1834–1884 гг.) / Сост. и издан под ред. орд. проф. В. С. Иконникова. Киев: Унив. тип., 1884. С. 175–179 [*с списком трудов*].

Михаил Петрович Драгоманов // Там же. С. 187–188, 809 [*с списком трудов*].

Василий Иванович Модестов // Там же. С. 447–452 [*с списком трудов*].

К юбилею А. А. Фета // Киевлянин. 1889. № 24; № 25.

К юбилею А. А. Фета. Киев: Т-во печатного дела и торговли И. Н. Кушнерёв и К^о в Москве; Киевск. отд., 1889. 10 с. [*отдельный, перевёрстаный на иной формат оттиск из «Киевлянина»*]

Представление о возведении экстраординарного профессора Н. П. Дашкевича в степень доктора истории всеобщей литературы // УИ. 1890. № 11. С. 66–70 [*соавторы Т. Д. Флоринский, Ф. Я. Фортинский и П. В. Владимиров*].

Памяти [Ап. Н.] Майкова // Киевлянин. 1897. № 71; № 72.

Памяти [М. Н.] Муравьёва // Киевлянин. 1898. № 309.

Памяти М. А. Максимовича: Вводное слово председателя общества Ю. А. Кулаковского, сказанное в заседании 12 сентября 1904 года, посвящённом чествованию памяти М. А. Максимовича // ЧИОНА. 1905. Кн. XVIII, вып. 3–4. Отд. первый. С. 105–106.

В память [Теодора] Моммзена: Речь, произнесённая в собрании Исторического общества Нестора Летописца 16 ноября 1903 года // ЧИОНА. 1904. Кн. XVIII, вып. 1. С. 14–18 [*конспект речи*].

Памяти Моммзена: Речь, произнесённая в собрании Исторического общества Нестора Летописца 16 ноября 1903 года // ЖМНП. 1904. Январь. Отд. четвёртый. С. 39–61.

Памяти Моммзена: Речь, произнесённая в собрании Исторического общества Нестора Летописца 16 ноября 1903 года. Киев: Тип. Имп. Ун-та св. Владимира Н. Т. Корчак-Новицкого, 1904. II, 24 с.

Памяти Моммзена: Речь, произнесённая в собрании Исторического общества Нестора Летописца 16 ноября 1903 года // УИ. 1904. № 3. С. 1–24.

Несколько слов в память В. И. Модестова // ЧИОНА. 1908. Кн. XX, вып. 2. Отд. первый. С. 49–50.

Речь [памяти Н. П. Дашкевича] // ЧИОНА. 1908. Кн. XX, вып. 3. Отд. второй. С. 42–45.

Речь // Памяти почётного члена Исторического Общества Нестора Летописца заслуженного ординарного профессора и академика Николая Павловича Дашкевича (ум. 20 января 1908 года). [Киев: Б/и, 1908.] С. 4–7 [*Кулаковский является также автором предведомительного слова (с. 3), составителем и редактором сборника — отписка из XX тома ЧИОНА, 1908*].

Речь [на заседании Исторического Общества Нестора Летописца, посвящённом памяти В. Б. Антоновича] // ЧИОНА. 1909. Кн. XXI, вып. 1–2. Отд. первый «Памяти В. Б. Антоновича». С. 18–22.

Памяти А. Н. Толстого // Киевлянин. 1910. № 318.

Памяти гр. А. Н. Толстого: Речь председателя Общества, почётного члена Ю. А. Кулаковского, произнесённая в заседании 14-го ноября 1910 г. // ЧИОНА. 1911. Кн. XXII, вып. 1–2. С. I–IV.

Биографический очерк [В. С. Иконникова] // УИ. 1914. № 1. С. 1–14.

Список трудов проф. В. С. Иконникова // УИ. 1914. № 1. С. 1–10.

Василий Васильевич Латышев // Протоколы Общих собраний Императорского Русского археологического общества за 1899–1908 годы / Ред. Б. В. Фармаковский. Петроград: Тип. М. П. Александрова, 1915. С. 82–90.

Переводы

Епископ Феодор. Аланское послание / Пер. с греч. // Записки Императорского Одесского Общества истории и древностей. Одесса, 1898. Т. XXI. Ч. II. Материалы. С. 15–27.

Византийский аноним. De castrametatione / Пер. с лат. // ВВ. 1903. Т. X. Кн. 1–2. С. 78–90.

Аммиан Марцеллин. История / Пер. с лат. Ю. А. Кулаковского, А. И. Сонни. Киев: Тип. С. В. Кульженко, 1906. Вып. I. XXXII, 288 с.; 3 карт.

Аммиан Марцеллин. История / Пер. с лат. Ю. А. Кулаковского. Киев: Тип. «С. В. Кульженко», 1907. Вып. II. XII, 284 с.; 5 карт.

Аммиан Марцеллин. История / Пер. с лат. Ю. А. Кулаковского. Киев: Тип. «С. В. Кульженко», 1908. Вып. III. XIV, 296, XXII с.

«Стратегика» императора Никифора: Греческий текст по рукописи Московской Синодальной библиотеки с общими объяснениями // Записки Императорской Академии наук. С.-Петербург, 1908. Т. VIII: Историко-филологическое отделение. № 9. X, 59 с.

Аммиан Марцеллин. История: Пороки сената и римского народа (XIV, 6; XXVIII, 4); Характеристика императора Юлиана (XXV, 4); Битва при Адрианополе (XXXI, 12–13) / Пер. А. И. Сонни; Вст. слово и ред. пер. М. Л. Гаспарова // Памятники поздней античной научно-художественной литературы (II–V века) / Отв. ред. М. Л. Гаспаров. М.: Наука, 1964. С. 312–330.

Аммиан Марцеллин. Римская история / Пер. с лат. Ю. А. Кулаковского и А. И. Сонни; Вст. ст. и науч. ред. текста А. Ю. Лукомского. С.-Петербург: Алетейя, 1994. 576 с. (Античная библиотека. Источники) [*второе, стереотипное издание 1996 года*]

Аммиан Марцеллин. Деяния (Фрагменты) / Пер. Ю. А. Кулаковского и А. И. Сонни // История и историки: Жизнь. Судьба. Творчество: [В 2 т.]. Москва: Острожье, 1997. Т. 1. С. 410–434.

Редактирование

П. И. Аландский. Лекции по истории Греции / Под ред. Ю. А. Кулаковского и А. А. Козлова // УИ. 1884. № 9. С. 1–48; № 10. С. 49–80; № 11. С. 81–112; № 12. С. 113–168; 1885. № 1. С. 169–208; № 2. С. 209–264; № 4. С. 265–274.

П. И. Аландский. Лекции по истории Греции / Под ред. Ю. А. Кулаковского и А. А. Козлова. Киев: Унив. тип. (В. Завадского), 1885. II, 272, IV с.

Кроме того, Кулаковский — ответственный редактор томов ЧИОНА, которые увидели свет в годы, когда он состоял председателем Общества, то есть в 1911–1914 годах (вместе с проф. А. М. Лободой). Это прежде всего относится к: ЧИОНА. 1911. Кн. XXII, вып. 1–2; 1912. Кн. XXII, вып. 3; 1912. Кн. XXIII, вып. 1; 1913. Кн. XXIII, вып. 2; 1914. Кн. XXIV, вып. 1; вып. 2.

О книге XXV за 1915-й, не увидевшей свет, сохранилось свидетельство С. И. Маслова от 26.02.1921: «Книга начата печатанием под редакцией Ю. А. Кулаковского и С. И. Маслова весной 1915 г. в типографии М. Т. Мейнандера, Пушкинская ул., № 20. Печатание продолжалось в типографии И. Крыжановского, Софийская, № 7, которому Мейнандер продал своё предприятие <...> В связи с эвакуацией Университета св. Владимира и Общества Нестора-летописца в Саратов печатание приостановилось. Отпечатанные листы XXV-й книги остались в типографии Крыжановского»¹.

¹ В. Уляновський. Невидані 25-й том і покажчик «Чтений в Историческом обществе Нестора-летописца» // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Т. ССXXII: Праці Историко-філософської секції. Львів, 1991. С. 370–374.

Благодарности

Признателен Олегу Абышко (С.-Петербург), проф. Ирине Войцеховской, проф. Николаю Габрелю, доц. Андрею Домановскому, чл.-кор. НАН Украины Любове Дубровиной, проф. Борису Ерофалову, Евгению Жаркову (Москва), проф. Сергею Иванову (С.-Петербург), Михаилу Кальницкому, Светлане Кулинской, Петру Махлину, Алёне Мокроусовой, проф. Юрию Мосенкису, Елене Ненашевой, проф. Павлу Нерлеру, о. Генриху Папроцкому (Варшава), Мифону Петровскому, Никите Пучкову, проф. Марине Савельевой, Игорю Савкину (С.-Петербург), Илье Святогорову, проф. Михаилу Селивачёву, акад. НАИ Украины Вадиму Скуратовскому, проф. Ирине Тункиной (С.-Петербург), проф. Василию Ульяновскому, Леониду Финбергу, Александру Червинскому, Андрею Шалыгину и всем добрым людям, которые неравнодушием, делом, словом помогли в занятиях книгой.

Слова и чувства особой благодарности — кандидату исторических наук Дмитру Гордиенко и кандидату исторических наук, доценту Виктору Короткому — фактически единственным собеседникам о Кулаковском, его иконографии и стратиграфии; доктору искусствоведения, профессору Екатерине Станиславской, которая поддерживала меня в последние годы работы над книгой, а на финальном этапе, будучи первым читателем её, стойко выдержала груз научной и литературной редакции и изнурение корректурой; директору Издательства «Алмаз» Олегу Юнакову (Нью-Йорк) — за исключительную благожелательность, внимательное прочтение вёрстки и «негорестные заметы».



Оглавление

Биограф на завалинке, или Самовременение интересного 9

Дом на Пушкинской 16

I. ЗАЧИН, ЗАДЕЛ, ЗАВЯЗКА:

Поневеж, Вильна, Москва, первая граница и Моммзен 19

Случилось (19). Младший брат (24). Муравьев-Виленский (25). Вильна (30). Московский Лицей Каткова и Леонтьева (37). Михаил Катков и Павел Леонтьев (43). Университет на Моховой (49). Державная каллиграфия классической филологии (54). Первая граница (61). Моммзен (62). Вячеслав Иванов, Моммзен и Кулаковский (72). Итальянское (76). Первопечатное (77).

II. КИЕВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, РИМСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ, СКАНДАЛЫ и СОСЛУЖИВЦЫ: Киев и другие столицы, 1880-е . . . 81

Киев (81). Нащупывание (83). Свежий царь (86). Первая статья в «Университетских известиях» (89). Киевское обзаведение (91). Габилитасьон (93). Магистерская (95). Сплин и первая защита (100). Москва защитная (104). Образчик латинского панегирика (108). Магистр и сверхдоцент (112). Устав '1884 (113). Неуставное (118). «Восхождение на Везувий» (120). «Поездка в Пестум» (126). Каприс о Риме и его истории (133). К научной археологии: прото-РАИК (136). Монтекассино (140). В Риме и «Из Рима» (141). Друг Аландский (142). Казённые торжества (145). Европы (148). Экстемпоральные экстемпоралии (150).

Юлиан Кулаковский и Василий Латышев:

Отступление первое 153

Магистерский диспут Григория Зенгера (165). Князя Трубецкие (168). Зенгер и жандармы в 1902-м (170). Квартира, Иконников и Голубев (172). Деканские журфиксы (177). Бедный Дашкевич (179). Снова сплин (183). О визуальности (186). Праховская врубелешчина (188). Актовая речь о Лукреции (190). Полонез (196). Вторая диссертация (201). Лекции как текст, звук и наука (203). Через Рим к его началу (204). Инсигнии (207). Афанасий Фет и его компания в их переписке (208). Защита вторая и последняя (219). Эрман — неофициальный оппонент (221). «Для звуков сладких и молитв» (226).

Юлиан Кулаковский, Афанасий Фет и Владимир Соловьёв:

Отступление второе, эпистолярное 228

Первая встреча, почти конфликтная: Московский университет, вторая половина 1870-х (228). Вторая встреча в трёх письмах, окцидентально-пасторальная: Фетовская Воробьёвка, соловьёвские письма 1887-го (240). Третья встреча, заочная: Публичные лекции, конец 1891 года (273).

III. ТЕМАТИЧЕСКАЯ ГУТТАПЕРЧЕВОСТЬ

КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОЛОГИИ и ДРЕВНОСТИ НАДЧЕРНОМОРЬЯ:

Конец 1880-х и первые годы 1890-х 299

Ещё один, последний царь (299). Новый ректор (302). Умственный засев 1890-х (308). «Regum povaugum» (311). Настроение момента (314). Между делом, в поиске темы (315). Лекция об Эпикуре (318). Между Лукрецием и Эпикуром (321). Неприятный Модестов (324). Приноровка к археологическим цыпочкам (329). Первые итоги (331). В новом доме, с соседями (332). Любовь Кулаковская, урождённая Рубцова (340). Тесть (342). Дуров шалит брачными стишками (344). Суженая и потом (347). Литературный салон Полонского (351).

Сыновья

Отступление третье, личное 352

Сергей Кулаковский (352). Арсений Кулаковский (383).

Прошлое Тавриды: в земле — на бумаге (388). Керченские раскопки 1890 года и катакомба '491 (390). Первый женатый год (406). Лично-учёные трения с Ростовцевым (409). Христианские катакомбы и христианские поступки (414). Студенческий выпивон (416). От гонений на христиан к их приятию (419). Девятый археологический съезд в Вильне (422). Крымские дела

1894 года (430). Мыс Зюк (433). Над «Археологической картой Крыма» (438). Качинский «Курган Кулаковского» (443). «Каменная баба», си-
речь мужик (448). Помпейские росписи и снова Ростовцев (453). География
крымских занятий второй половины 1890-х (462). Тексты о крымских древ-
ностях (468). Зоил Модестов (472). Ольвия: жаркое археологическое лето
1900 года (481). Экивок (501).

Кулаковский и классическое образование

Отступление четвёртое, конспективное 503

IV. ОТ РИМЛЯН К РОМЕЯМ:

АММИАН МАРЦЕЛЛИН, «СТРАТЕГИКА»

и УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СУЕТА ПОД ВИЗАНТИЙСКИМИ СВОДАМИ:

Вторая половина 1890-х — 1900-е 525

Природа подползания (525). Вичинская епархия и рецензент Иловай-
ский (528). Храм для абазгов (531). «Записка готского топарха»: контра-
факт и предвидение (532). «Царь Эдип» в Киевской опере (539). Эллинская
эсхатология (546). Кулаковское айдоподобие (555). Борис Некрасов об эс-
хатологии Кулаковского (558). Аланы и «Аланское послание» (560). Карта
Европейской Сарматии (564).

Кулаковский и Анненский

Отступление пятое, снова эпистолярное 574

Послужное председательское (587).

Кулаковский и Дмитрий Беляев

Отступление шестое, документальное 591

Михаил Корелин и рецензия Кулаковского на его «Падение античного ми-
росозерцания» (604). Суета и Фёдор Батюшков (610). В Константинополе,
в Святой Софии (612). Никодим Павлович (616). РАИК и царь (622). После
Турции (624). Студенчество на рубеже столетий: молодецкий разброд
и учебный порядок (626). Новый век (647). Первый год нового века (657).
Ялтинский курьёз 1901 года (660). Кулаковский vs Успенский (666). Вокруг
магистерской защиты Тарле (670). Статский генерал (673). Ученик Павлуц-
кий (674). Лето 1902 года и новые сплетни (675).

Административное сочинительство

в Комиссии по преобразованию высших учебных заведений,
осень–зима 1902 года

Отступление седьмое, казённое и скучное, но необходимое 681

Голос старого профессора (690). Высочайше-комитетские будни (695).
О гонорах профессорам и писателям (697). Профессорский дисциплинарный суд (699). Международный конгресс историков и окрашенные костюмы (700). Русско-японская (706). Городской музей древностей и искусств (709). Аммиан Марцелин и перевод его «Истории» (715). Забавный 1905-й (725). Манифест 17-го октября (733). Гибель князя Трубецкого (742). 1906-й и летнее покушение (746). Член-корреспондент Императорской академии наук (753). Языки исторического материализма в Обществе Нестора Летописца (754). Киев 1907-го: летняя холера и «огарочная психология» осенью (758). Неудобное (761). «Стратегика» императора Никифора и академик Никитин (766). Тимофей Флоринский на Женских курсах (774). Памяти академика Дашкевича (776). Памяти профессора Антоновича (780). Речь в Обществе распространения грамотности (786). 1908 год и киевские благоглупости (789). Берлинский конгресс (792). Холера в Киеве 1907–1909 годов (800). Заслуженный ординарный профессор (804).

У. ТРИ ТОМА «ИСТОРИИ ВИЗАНТИИ», ДВЕ РЕВОЛЮЦИИ, НЕМНОГИЕ ЖЕЛАНИЯ

и МНОГИЕ СОЖАЛЕНИЯ: 1910-е 809

О полезных формах созерцания (809). Трёхтомник (813). Конструкция и композиция (815). Две рецензии Луи Брейе (819). Трудный негатив Васильева (823). Безобразов безобразничает (832). И вновь Брейе (843). Молчание академика Успенского (845). Волны (850). Профессор Кулаковский и император Фока vs академик Успенский (854). И мой камушек в огород (864). Черты исторической прориси (866). В плену бытовых плеоназмов (879). Смерть Толстого и письмовно-переломное 1910-х (881). Университет как социальное бомбоубежище, и царский визит (887). Гибель Петра Аркадьевича (891). «Serta Borysthenica» (897). Съезд преподавателей древних языков (900). Классическая филология и её обитатели в 1912-м (910). Трёхсотлетие (912). Второе «Прошлое Тавриды» (916). Воззрения (918). Пять лет в Красной Поляне (924). Последнее мирное лето (934). Киев военный (941). Профессор Кнауэр и немецкие погромы (945). Гимназист Голу-

бев — критик профессора Кулаковского (947). Снова о санскритологе Кнауэре (952). Смерть жены (959). Дело профессора Лециуса (960). Милитарное (965). Саратовская эвакуация (969). Полемика Кулаковского с Грушевским осенью 1915-го (979). Меж отречением и большевизмом (998). Летние письма Иконникову (1008). Вячеслав Иванов, Владимир Эрн, Павел Флоренский и Красная Поляна (1010). Кафкианское (1016). Вторая гибель Столыпина весной 1917-го (1022). Отчаяние закатных лет (1024). Смерть (1038). Могила (1044). «И сдержанно колокола звонили» (1046). «Я заметил тех прихожан суровое волнение» (1051). Чекисты (1055). Убийство профессора Флоринского (1056). Успенский и Флоринский (1061). Логика большевизма (1065). Большевики в Университете (1066). Оглядки (1069). Домашняя библиотека и архив (1071). Скорбная летопись (1075). Смерть Зенгера (1075). Уход академика Иконникова (1077). Киевское византиноведение в начале 1920-х (1079). «Загробных радостей вещественный залог» (1081). «И чья-то бледная рука уже писала святую ложь воспоминаний» (1086).

Неотвеченное письмо Бориса Варнеке	1093
Зашториваю: Против кумиротворчества	1101
Перечень текстов Кулаковского	1112
Благодарности	1130

Андрей Александрович Пучков

заслуженный деятель искусств Украины
доктор искусствоведения, профессор теории и истории культуры

KULAKOVIUS

КИЕВСКИЙ ПРОФЕССОР РИМСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ
В СТРУЖКАХ ВРЕМЕНИ

Эпопея

Директор Издательства «Алмаз», редактор-консультант — *Олег Юнаков*

Литературный редактор, корректор — *Екатерина Станиславская*

Набор, вёрстка, обработка иллюстраций, обложка — *Андрей Пучков*

Английский перевод на обложке — *Светлана Кулинская*

Препринт — *Александр Червинский*

Подписано к печати 12.07.2019. Формат 84 x 108 ¹/₃₂

Условных печатных листов 77,3. Учётно-издательских листов 70,5.

Тираж 200 экземпляров

Printed in Ukraine